



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

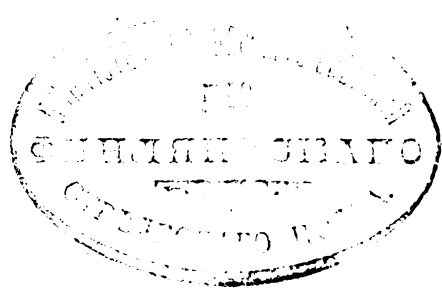
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>













Грав у Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ.

П. Бобаркинъ



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



В. Д. Боборыкина

СОБРАНИЕ

РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ

П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

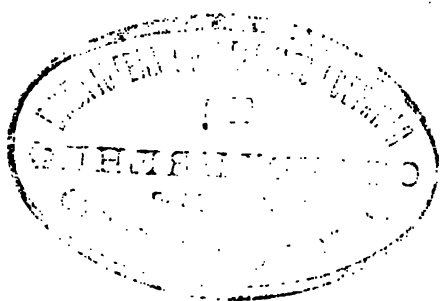
**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.**





ТИП. А. Ф. МАРКА, СР. БОЛШЕ. № 1.





КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ

ВЪ 5-ТИ КНИГАХЪ.



КИТАЙ-ГОРОДЪ.

РОМАНЪ.

Книга первая.

I.

Въ „городѣ“, на площади, противъ биржи, шла будничная дообѣденная жизнь. Выдался теплый сентябрьскій день, съ легкимъ вѣтеркомъ. Солнца было много. Оно падало столбомъ на средину площади, между громаднымъ домомъ Троицкаго подворья и рядомъ лавокъ и конторъ. Вправо оно свѣтило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широкихъ вывѣсокъ съ золотыми буквами, пестрыхъ навѣсовъ, столбовъ, выкрашенныхъ въ зеленую краску, лотковъ съ апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцвѣтными леденцами. Улица и площадь смотрѣли веселой ярмаркой. Во всѣхъ направленіяхъ тянулись возы, дроги, цѣлые обозы. Между ними извивались извозчичьи пролетки, изрѣдка проѣзжала карета, выкидывая ногами сѣрый, жирный жеребецъ въ широкой купеческой эгоисткѣ московскаго фасона. На перекресткахъ выходили безпрестанныя остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались. Городовой что-то такое жужжалъ и махалъ рукой. Растерявшаяся по-купательница, не добѣжавъ до другого тротуара, роняла картузь съ чѣмъ-то съѣстнымъ и громко ахала. По острой, развѣженной мостовой грохотъ и шумъ немолчно носились густыми волнами и заставляли вздрагивать стекла



магазиновъ. Тучки пыли летѣли отовсюду. Вozy и обозы наполняли воздухъ всякими испареніями и запахами, — то отдасть москательнымъ товаромъ, то спиртомъ, то конфетами. Или вдругъ откуда-то долетѣетъ струя, вся переполненная постнымъ масломъ, или лукомъ, или соленой рыбой. Снизу, изъ-за биржи, съ задовъ стараго гостинаго двора поползетъ цѣлая полоса воздуха, пресыщеннаго прѣснымъ откусомъ бумажнаго товара, прессованныхъ штукъ бумажен, миткалю, ситцу, толстой оберточной бумаги.

Нѣтъ конца телѣгамъ и дрогамъ. Везутъ ящики каптонскаго чая въ зеленоватыхъ рогожкахъ съ таинственными клеймами, везутъ распоровшіеся, бурые, безобразнопузатые тюки бухарскаго хлопка, везутъ слитки олова и мѣди. Немилосердно терзаетъ ухо бѣшенный лязгъ и трескъ желѣзныхъ брусевъ и шинъ. Тянутся возы съ бочками бакалеи, сахарныхъ головъ, кофе. Разомъ обдадутъ зловоніемъ телѣги съ кожами. И все это обито солнцемъ и укутано пылью. Кому-то нуженъ этотъ товаръ? „Городъ“ хоронить его и распределяетъ по всей странѣ. Деньги, веселя, цѣнныя бумаги точно рѣютъ промежду товара въ этомъ рыночномъ воздухѣ, гдѣ все жаждетъ наживы, гдѣ дня нельзя дышать безъ того, чтобы не продать и не купить.

На возахъ и въ обозахъ, рядомъ и позади телѣгъ, ломовой, въ измятой шляпенкѣ или засаленномъ картузѣ, съ мощной спиной, въ красной жилеткѣ и пудовыхъ сапогахъ, шагаетъ съ переваломъ невозмутимо-стойко, съ трудовой лѣнью, покрививая, ругаясь, похлестываетъ кнутомъ своего чалаго, широкогрудаго и всегда опоеннаго мерина. подъ раскрашенной дугой. Вотъ лучъ солнца, точно отдѣлившись отъ огненнаго своего снопа, пронизываетъ облако пыли и падаетъ на возъ съ чѣмъ-то темнымъ и рыхлымъ, прикрытымъ рогожей, насквозь промоченной и обтрепанной по краямъ. На возу покачивается парень безъ шапки, съ желтыми, плоскими волосами, красный, въ веснушкахъ, въ пестрядинной рубашкѣ съ разстегнутымъ воротомъ, открывающимъ бѣлую грудь и мѣдный тѣльникъ. Глаза его жмурятся отъ солнца и удовольствія. Онъ широко растянулъ ротъ и засовываетъ въ него кусокъ папушника, держа его обѣими руками. На папушникѣ намазана желтая икра, перемѣшанная съ кусочками крошеннаго лука, промозгло-соленая, тронутая тепломъ.

Но глаза парня совсѣмъ закатились отъ наслажденія. Онъ облизывается и вкусно чмокаетъ, а тѣмъ временемъ незаметно сползаетъ все по скользкой и смрадной рогожкѣ. Съ воза обдаетъ его гнилью и газами разложенія. Зубы щелкаютъ, щеки раздулись; онъ объедаетъ сладко и подосталь.

А за нимъ, снизу отъ Ножовой Линіи, сбоку изъ Черкаскаго переулка, сверху отъ Ильинскихъ воротъ ползетъ товаръ, и надъ этой колышущейся полосой изъ лошадей, экипажей, возовъ, людскихъ головъ стоитъ стопъ; рубль купца, спина мужика поютъ свою нескончаемую пѣсню...

II.

У биржи полеговку собираются мелкіе „зайцы“ — жидки, восточники, шустрые маклаки изъ ярославцевъ, греки... Два жандарма, поставленные тутъ за тѣмъ, чтобы не было толкотни и недозволеннаго торга и чтобы именитые купцы могли безпрепятственно подъѣзжать, похаживаютъ и, нѣтъ-нѣтъ, да и ткнуть въ воздухъ рукой. Но дѣла идутъ своимъ порядкомъ. И на тротуарѣ, и около легковыхъ извозчиковъ, на площади и ниже, къ старымъ рядамъ, стоятъ кучки; юркіе чуйки и пальто перебѣгаютъ отъ одной группы къ другой. Двое смѣльчаковъ присосѣдились даже къ жирандоли около колонны тяжелаго фронтона. Потомъ они отошли къ углу дома Троицкаго подворья, стали въ двухъ шагахъ отъ подъѣзда и продолжали свои переговоры. Они со всѣхъ сторонъ были освѣщены. Одинъ, въ бѣлой папахѣ и длинной черкескѣ желтобурого цвѣта, при кинжалѣ и въ узкихъ штанахъ съ позументомъ, глядѣлъ на своего собесѣдника — скопца разбойничьими, круглыми и глупыми глазами и все дергалъ его за бортъ длиннаго скюртука. Скопецъ немного подавался назадъ, про себя вздыхалъ и часто вскидывалъ глазами кверху.

Кругомъ мальчишки выкрикивали уличный товаръ. Куски краснаго арбуза вырѣзывались издали. А тамъ вонъ, на лоткахъ — золотистыя кисти винограда, вперемежку съ темнокраснымъ, наливнымъ, крымскимъ, величиной въ добрую сливу, и съ подрумяненной антоновкой. Разносчики газетъ забѣгали съ тротуара на средину площади и совали прохожимъ подъ носъ номера листовъ съ яркими заглавными карикатурами. Парфюмерный магазинъ,

съ параднымъ подъѣздомъ и щеголеватой вывѣской, придавалъ нижнему этажу монументальнаго дома богатыхъ монаховъ европейскій видъ. На углу куполь башни, въ новомъ заграничномъ стилѣ, прихорашивалъ всю эту кучу тяжелыхъ, приземистыхъ каменныхъ ящичковъ, уходить въ небо, напоминая каждому, что старыя времена прошли, пора пускать и приманку для глазъ, давать архитекторамъ хорошія деньги, чтобы весело было господамъ купцамъ платить за трактиры и лавки.

А тамъ, дальше, видѣлся кусокъ теплыхъ „рядовъ“. Лѣстница съ аркой, переходы, мостики, широкія окна манили покупателя прохладой лѣтомъ, убѣжищемъ отъ дождя и тепломъ въ трескучіе морозы. Узкій переулочъ уходилъ вдоль, къ Никольской, точно коридоръ съ низкимъ, въ одинъ этажъ, коридоромъ, по лѣвую руку. Церковь съ старинными очертаніями главъ и реберъ крыши выглядывала сбоку изъ-за домовъ. Вся небольшая площадь улыбалась точно ядреная купчиха, надѣвшая всѣ свои кольца и серьги; только на волосахъ у ней „головка“, а остальное все по модѣ, куплено у нѣмца, и дорогой цѣной. Свѣтъ особенно ласково игралъ въ зеркальныхъ стеклахъ дома, гдѣ нѣтъ кое-какихъ лавокъ, а каждое помѣщеніе оплачивается многими тысячами. Домъ, сдавленный, четырехэтажный, по цвѣту какъ будто изъ цѣльнаго камня, не испортилъ бы и лондонскій „Cheapside“ или гамбургскій Jungfer-Stieg. Онъ смотритъ на своего сосѣда и радуется. Такого сосѣдства не стыдно. Но тамъ все-таки трактиръ, служатъ молодцы въ рубашкахъ: а въ немъ все на благородный аршинъ и покрой. Швейцары въ ливреяхъ, массивныя двери, чугуныя лѣстницы, гляпцовитыя конторки, за конторками тихій, благообразный и выученный народъ, хоть въ любой всемірно-извѣстный домъ, хоть къ самому Ротшильду. Правда, деньги на рукахъ у артельщиковъ; но артельщики сидятъ за рѣшетками, ихъ не видно, да и они, по благообразію, подходятъ къ дубовымъ рамамъ съ блистающими стеклами.

Только въ одномъ углу площади запоздалые мостовщики разворотили цѣлыхъ полдесятны, стѣсняють ѣзду и шутиливо перекликаются съ ломовыми и кучерами. Они отдѣлили себя бечевкой и полдничаютъ, сидя на кучѣ голышей вокругъ деревянной чашки, куда они въ квасъ *накрошили* огурцовъ, луку, вяленой рыбы, и хлебають не

спѣша, вытянувши поги, окутанныя въ тряпки поверхъ лаптей. Имъ любо! Солнышко щекочетъ имъ загривки. Дождя, знать, не будетъ до ночи, и то слава Богу!

III.

Въ банкѣ, вверхъ по Ильинкѣ, съ монументальной чугунной лѣстницей и сажеными зеркальными окнами, все въ движеніи. Длинная, въ цѣлый манежъ, зала, съ пролетными арками въ обѣ стороны, наполнена гуломъ головъ, ходьбой, шелканьемъ счетовъ, скрипомъ перьевъ. Ясеневаго дерева перила и толстыя балясины празднично блестятъ. На нихъ пріятно отдыхаетъ глазъ. Надъ каждымъ отдѣленіемъ вывѣшены доски съ золотыми буквами: „учетъ векселей“, „пріемъ вкладовъ“, „текущіе счета“. За рѣшеткой столько же жизни, какъ и въ узковатой полосѣ, гдѣ толчется и проходитъ публика. Контористы, иные съ моднымъ проборомъ, иные подъ гребенку, всѣ въ хорошо спитыхъ сюртукахъ и визиткахъ, мелькаютъ за конторками: то встанутъ съ огромной книгой и перебѣгаютъ съ мѣста на мѣсто, то точно ныряютъ, только головы ихъ видны на нѣсколько секундъ. Всего больше народа у вкладовъ и выдачи денегъ по текущимъ счетамъ.

Сквозь кучку, гдѣ выдѣлялся священникъ съ большимъ наперснымъ крестомъ, въ шоколадной рясѣ, и дама съ кожанымъ мѣшкомъ, немного тугая на ухо и безтолковая, ловко протискался, шикого особенно не задѣвъ, лѣтъ подъ тридцать, не красавецъ, но замѣтной и своеобразной наружности: плотный, широкій въ плечахъ, повыше средняго роста, съ перехватомъ въ талѣ длиннаго двубортнаго сюртука, видимо вышедшаго изъ мастерской француза. Голова его, небольшая, круглая, выпуклая въ бокахъ, съ крутымъ лбомъ, сидѣла на туловищѣ чрезвычайно свободно, поворачивалась часто и легко. Волосы пепельнаго цвѣта, мягкіе, некурчавые, лежали на лбу широкой прядью, какъ на бюстахъ императора Траяна. Борода, немного потемнѣе, такъ же какъ и усы, расчесана была посрединѣ, гдѣ образовался точно вѣеръ съ цѣлой градаціей отѣнковъ, начиная отъ ярко-бѣлокураго на самомъ проборѣ. Губы полускрывали тонкіе усы, пичѣмъ не смазанные. Носъ утолщился книзу. Посрединѣ его шелъ желобокъ, дѣлавшій его шире и некрасивѣе. Свѣтло-каріе глаза смотрѣли возбужденно. Въ нихъ были видны: и юркость, и сознаніе здоровья и силы, и наклонность все осмотрѣть, взвѣсить



и оцѣнить, въ то время какъ легкія складки вдоль носа и приподнятые углы рта улыбались снисходительно, а при случаѣ и вкрадчиво.

Въ посадкѣ этого мужичицы, въ томъ, какъ сидѣлъ на немъ сюртукъ, какъ онъ былъ застегнутъ, въ походкѣ и покроѣ панталонъ,—опытный глазъ отличилъ бы бывшаго военнаго, даже кавалериста. Звали его Палтусовъ.

Онъ протянулъ руку къ контористу,—тотъ въ эту минуту подавалъ дамѣ книгу расписаться,—и чуть-чуть дотронулся до его плеча.

— Евиграфъ Петровичъ въ директорской?—спросилъ онъ теноровымъ голосомъ, скоро, тономъ своего человѣка, умѣющаго дѣлать вопросы служащимъ и не мѣшать имъ.

— Какъ же, пожалуйста! — отвѣтилъ контористъ съ улыбкой.

Палтусовъ незамѣтно пріосанился, передалъ низкую поярковую шляпу изъ правой руки въ лѣвую и пошелъ къ стекляннмъ дверямъ кабинета, гдѣ сидятъ обыкновенно директора.

Навстрѣчу попался ему въ пріемной—тамъ стоялъ диванъ и столъ съ двумя креслами—совсѣмъ круглый человѣкъ, молодой, не старше Палтусова, съ вихромъ на лбу, весь въ черномъ; его веселые темные глаза такъ и бѣгали.

— Ба! Андрей Дмитричъ! Ко мнѣ? По дѣлу?

— Переводецъ простой... Зашелъ посмотрѣть на васъ,—сказалъ ласково Палтусовъ.

— Сію минуту. Присядьте. И я тоже здѣсь примохусь. Я—духомъ!

Круглый директоръ присѣлъ на кончикъ дивана. Палтусовъ помѣстился по-сую сторону стола. Онъ и не замѣтилъ, что тутъ уже сталъ контористъ съ цѣлой пачкой разныхъ печатныхъ бланковъ, ордеровъ всякихъ цвѣтовъ, длины и рисунка.

— Вы посидите, голубчикъ,—кидалъ слова директоръ, а самъ все подмахивалъ,—я мигомъ. Нынче—каторжный день! Такіе задаются... Это что?

— Въ учетный-съ.

— Ладно... Я васъ самъ сведу къ контролеру. Онъ у насъ строгій. Пожалуй, придерется, скажетъ, личность неизвѣстна.

— Знаетъ меня.

— Придерется! А малый—золото! Формалистъ. Въ контроль служилъ... Это еще что?

— Это Федоръ Карлычъ просили подписать,—доложилъ контористъ.

— А ежели проврежся?

— Они говорятъ, что ничего.

— Ну, коли ничего, такъ я подпишу.

Маленькая бѣлая рука директора такъ и летала по бланкамъ. Подпишетъ вдоль, а потомъ поперекъ, и въ третьемъ мѣстѣ еще что-то отмѣтитъ. Палтусовъ любовался, глядя на эту наметанность. Въ головѣ круглаго человѣка происходило два теченія мыслей и фактовъ. Онъ внимательно осматривалъ каждый ордеръ и подписывалъ все съ однимъ и тѣмъ же замысловатымъ росчеркомъ, а въ то же время продолжалъ говорить, улыбался, не успѣвалъ выговаривать всего, что высказывало у него въ головѣ.

— Довольно?—спросилъ онъ, и вздохнулъ.

— Пока все-съ,—отвѣтилъ контористъ.

— Ну, грядите съ миромъ. Дайте передышку.

Контористъ вышелъ. Они остались вдвоемъ.

IV.

— Очень радъ, что зашли,—началъ еще радушнѣе директоръ. Подсаживаясь къ Палтусову, онъ потрепалъ его по плечу и заглянулъ въ глаза.

Тотъ всталъ.

— Боялся помѣшать вамъ.

— Намъ вѣдь всегда некогда. Наше дѣло: чикъ, чикъ, чикъ перомъ, и только пронесите, святыя угодники! А то и подмахнешь ордерокъ на полмилліончика... іудейской фабрикаціи. А потомъ и печатай портретъ въ „Кладдерадачъ“!..

И онъ захохоталъ визгливой дробью.

Палтусовъ вторилъ ему легкимъ барскимъ смѣхомъ.

— Вы захаживайте... Не надолго... Да вѣдь вамъ гдѣ же... Все около женскаго пола...

— Какое!

— Да нечего!.. Куда ни пойдешь, а ужъ Андрей Дмитричъ ведетъ подъ руку то Марью Орестовну, то Людмилу Петровну, то Анну Серафимовну. А супругъ сзади парадсю волочить... И все какихъ! Перваго разбора, милліоны все подъ ними трещать! Съ золотымъ обрѣзомъ!

Они вышли въ общую залу. Директоръ поддерживалъ Палтусова подъ правое плечо, смѣялся, мигалъ и заглядывать въ лицо. Палтусовъ только качалъ головой.



— Все балагурите, Елграфъ Петровичъ.

— Куда ни пойдешь — вездѣ онъ кавалеромъ, и руку сейчасъ согнетъ. И въ Кунцовѣ, и въ Сокольникахъ на кругу, и въ Люблинѣ, опять въ Паркѣ... А зимой! И въ маскарадѣ-то по двѣ маски разомъ... Мы тоже вѣдь имѣемъ наблюдение...

— А сами-то?

— Что жъ?.. я маскарады лю-блю-ю,—протянулъ директоръ и быстро опустилъ голову внизъ, къ груди Палтусова.—Люблю. Это развлеченіе по мнѣ. День-деньской здѣсь въ банкѣ-то этой, сострилъ онъ, — ровно рыжикъ въ укусѣ болтаешься; одурь возьметъ!.. Ни на какое путное дѣло не годишься. Ей-ей! Въ карты я не играю. Ну и завернешь въ маскарадъ. Мужчина я нетронутый... Женихъ въ самой порѣ. Только еще тоски не чувствую.

Онъ остановилъ Палтусова въ проходѣ, противъ лѣстницы, и взялъ его своими короткими руками за бока.

— Что жъ не сватаетесь?

— Говорю, тоски еще не чувствую. Надъ нами не каплетъ. Что жъ, это вы хорошо дѣлаете, что промежду нашимъ братомъ — купеческимъ сыномъ обращаетесь. Онъ сталъ говорить тише. — Давно пора. Вы—бравый! И на войну ходили, и учились, знаете все... Такихъ намъ и нужно. Да что же вы въ гласные-то?

— Не собственникъ...

— Эка! Промысловое свидѣтельство! Табачную лавочку!—Пустое дѣло. А вѣдь они у насъ глупятъ такъ, что нѣтъ никакой возможности. Я и ѣздить нынче пересталъ; кричали въ тѣ поры: не надо намъ бартъ, не надо ученыхъ, давай простецовъ. Сами рѣчи имѣемъ говорить... Вотъ и договорились!

Директоръ опять подхватилъ Палтусова подъ правое плечо. Палтусовъ улыбался и думалъ въ эту минуту въ отвѣтъ на то, что ему говорилъ круглый человечекъ. Онъ почти всегда думалъ о себѣ, потому тихая усмѣшка такъ часто и всплывала на его лицѣ.

V.

— Вотъ и контрольная,—довелъ его директоръ до широкой двойной конторки за перилами.

Директору поклонился сухощавый блондинъ съ лысиной, въ цвѣтномъ галстукѣ. Палтусовъ уже видѣлъ его, но по имени не зналъ.

— Вотъ имъ переводецъ,—сказалъ директоръ контролеру.

— Очень хорошо-съ!—отвѣтилъ тотъ однимъ духомъ, и нахмурилъ брови.

У него въ рукахъ было вѣсколько листовъ, за ухомъ торчало перо, во рту—карандашъ. Онъ что-то искалъ. Щеки его покраснѣли. Нервно перебрасывалъ онъ ворохъ векселей, телеграммъ съ переводами, ордеровъ—и не находилъ. Его нервность сказывалась въ порывистыхъ движеньяхъ рукъ, головы и даже всего корпуса. Онъ то и дѣло вертѣлся на каблучкахъ. Выхватить одинъ бланкъ, отбросить, потомъ опять схватить и насадить на мѣдный крючокъ, висѣвшій на стѣнѣ за его спиной, начнетъ снова швырять и выдувать воздухъ носомъ, а лѣвой рукой ерошить себѣ рѣдкіе волосы, около лысины.

Кругомъ барьера дожидалось человѣкъ пять, больше артельщики.

— Павелъ Павлычъ!—окликнулъ еще разъ директоръ.— Пожалуйста, не задержите Андрея Дмитриевича.

И онъ своими глазками указывалъ Палтусову, какъ торموшится контролеръ.

— Позвольте-съ,—кинулъ тотъ Палтусову, и съ сердцемъ насадилъ на крючокъ еще два бланка.

Палтусовъ досталъ переводъ изъ большого гладкаго портфеля вѣнской работы, въ видѣ пакета. Онъ передалъ сизый листокъ директору. Тотъ сейчасъ же схватилъ глазами сумму.

— Выиграли, что ли, перваго сентября?—спросилъ онъ прищурившись.—Или тетенька какая Богу душу отдала?

— Ни то, ни другое. Такъ, оставались деньжонки...

Вексель былъ на вѣсколько тысячъ рублей.

Контролеръ вручилъ одному изъ артельщиковъ четыре листка разныхъ цвѣтовъ, перечеркнутые и помѣченные и карандашомъ, и чернилами, и сказалъ вслухъ, такъ что директоръ и Палтусовъ слышали:

— И все отъ несоблюденія правилъ! А тутъ и задерживай публику!

Директоръ протянулъ ему вексель Палтусова.

— Золото человѣкъ!—сказалъ онъ шопотомъ, отдавъ Палтусова въ уголь.—Дорогого стѣнть, а копуга. А вы, голубчикъ, къ намъ на текуцій? Вѣдь вы—у насъ?

— Да, пускай лежать...

— Бумагъ не будете покупать?



— Можетъ-быть...

— Мы этихъ не промышляемъ. Вотъ и биржа... Смотришь на такого русскаго молодца, какъ вы, и озоръ беретъ. Что ни маклеръ—нѣмчура. Отъ папенки досталось. А нѣмцы, какъ собаки, вездѣ снюхаются!..

Оба расхохотались.

— Помилуйте,—продолжалъ горячиться директоръ. — Карлушка какой-нибудь паршивый, пара галстуконъ была у него да кальсоны вязаные, состоятъ на побѣгушкахъ у жида въ Зарядьѣ, а глядишь, годика черезъ три—биржевой маклеръ. Нѣмцы выклянчили—въ двадцати тысячахъ дохода... За невѣстой кушъ беретъ... Сами вы плошааете, господа!

— Дайте срокъ!—вырвалось у Палтусова.

И онъ поправилъ тотчасъ же булавку на галстукѣ, точно хотѣлъ сдержать себя.

— Евграфъ Петровичъ!—тихо выговорилъ уже другой контористъ, не тотъ, что былъ въ директорской.—Ждутъ-сь...

И онъ протягивалъ пачку ордеровъ.

— Ну, заболтался; прощайте, голубчикъ, увидимся! Въ первомъ же маскарадѣ, октябрь на дворѣ. Павелъ Павлычъ!—крикнулъ директоръ черезъ спины и головы артельщиковъ.—Не задержите господина Палтусова—прошу!

Ножки его засѣменили. Молоденькій контористъ еле успѣвалъ догонять его. Директоръ на-ходу обернулся и сдѣлалъ Палтусову ручкой.

Исполнительный контролеръ спустилъ свою публику скоро, совалъ имъ въ руки листы съ суровой поспѣшностью. Палтусова онъ отличилъ почтительнымъ приглашеніемъ:

— Пожалуйста въ кассу. Первая вправо-сь!

Касса, гдѣ Палтусову пришлось получить деньги, которыя онъ тутъ же перевелъ на текущій счетъ—расчетную книжку онъ захватилъ—помѣщалась около той, куда вносили. Пока вносили ему сумму и переводили деньги изъ одной кассы въ другую, Палтусовъ, облокотившись о дубовый выступъ кассы, смотрѣлъ на то, какъ считали пачки ассигнацій въ сторонѣ, за небольшимъ желтымъ столомъ, устланнымъ листками розовыхъ и бѣлыхъ бланковъ. Считало нѣсколько молодцовъ въ чуйкахъ и длиннополыхъ сибиркахъ, посланные хозяевами. Онъ съ особымъ выраженіемъ оглядывалъ и мальчишекъ лѣтъ двѣнадцати, десяти, чумазыхъ, въ рваныхъ полубубкахъ,

присланных за кушами или съ кушами въ десятки тысячъ. Они брали пачки, перевязанныя веревочками, развязывали ихъ, мусолили грязные пальцы и принимались считать. Иные и совсѣмъ не считали, а просто доставали пачки изъ холщовыхъ мѣшковъ и накладывали ихъ на прилавокъ, передъ рѣшеткой кассира, безъ всякой бережи, точно картофель или рѣпу. Въ глазахъ Палтусова такъ и рябило. Тысячныя пачки сторублевокъ, выданныя изъ банка и аккуратно сложенныя, возвышались стопками на столѣ и похожи были издали на кипы книжекъ. На текущій счетъ приносили большіе засаленныя бумажки, и мальчишки комкали ихъ, укладывая па прилавокъ. Въ десять минутъ передъ глазами Палтусова пропестрѣли сотни тысячъ. И онъ все не могъ надивиться тому, что дѣтямъ, неграмотнымъ, безъ всякой опаски и контроля, поручаютъ капиталы.

— Въ такой странѣ и не нажиться?—говорили его разбѣгающіеся каріе глаза.—Да надо быть кретиномъ!

VI.

Внизу, у подъѣзда, стояла его пролетка. Онъ ѣздилъ съ мѣсячнымъ извозчикомъ на красивой, но павшей на ноги, сѣрой лошади. Пролетка была новая, полуторная. Работнику онъ приплачивалъ шесть рублей въ мѣсяцъ; подарилъ ему три пары замшевыхъ перчатокъ и два бѣлыхъ платка на шею. Платилъ онъ за экипажъ восемьдесятъ рублей.

Палтусовъ получилъ обратно свою расчетную книжку. Когда швейцаръ подаль ему очень длинное коричневое пальто, однобортное, съ круглымъ, широкимъ воротникомъ-шалью, онъ инстинктивно ощупалъ въ правомъ карманѣ сюртука и портфель, и книжку. Швейцарамъ онъ вездѣ—и въ банкахъ, и въ амбарахъ у богатыхъ купцовъ, и въ присутственныхъ мѣстахъ—давалъ часто и много на водку.

Одинъ изъ унтеръ-офицеровъ выбѣжалъ на подъѣздъ и крикнулъ:

— Подайвай!..

Другой подаль Палтусову его мохнатое, лиловое съ чернымъ одѣяло, которымъ онъ прикрывалъ ноги. Онъ это дѣлалъ и любилъ теплоту, и оберегалъ ноги отъ летучаго ревматизма, схватчиваго, какъ онъ говорилъ, въ Болгаріи, во время перехода черезъ Балканы.

Пролетка стала подъѣзжать; но ее задержалъ цѣлый обозъ, ѣхавшій изъ переулка съ ящиками макаронъ и вермишели. Кучеръ Палтусова выругался; но взглянувъ на барина — замолчалъ. Баринъ степенно натягивалъ на правую руку сѣрую шведскую перчатку и поглядывалъ по сторонамъ, вдыхалъ въ себя свѣжесть улицы, все еще недостаточно нагрѣтой сентябрьскимъ солнцемъ.

Ему давно нравился „городъ“. Онъ чувствовалъ художественную красу въ этомъ скопищѣ азіатскихъ и европейскихъ зданій, улицъ, закоулковъ, перекрестковъ. Ему были по душѣ: это шумное движеніе цѣнностей, обозы, выѣски, амбары, склады, суета и напряжение огромнаго промыслового пункта.

„Тутъ сила,—думалось ему всегда, какъ только онъ попадалъ въ „городъ“,—мошна, производительность!..“

Не на вѣтеръ летять тутъ деньги, а идутъ на какое-нибудь новое дѣло. И жизнь подходила къ рамкѣ. Для такого рынка такіе нужны и ряды, и церкви, и краска на штукатуркѣ, и трактиры, и выѣски. Орда и Византия и скопидомная московская Русь глядѣли тутъ изъ каждой старой трещины.

Глаза Палтусова обернулись въ сторону яркаго краснаго пятна—церкви „Никола большой крестъ“, раскинувшейся на цѣлый кварталъ. Аллая краска ярѣла на солнцѣ, бѣлая украшенія карнизовъ, арокъ, оконъ, куполовъ придавали игривость, легкость храму, стоящему у входа въ главную улицу, точно за тѣмъ, чтобы сейчасъ же всякій иноземецъ понялъ, гдѣ онъ, чего ему ждать, чѣмъ любоваться.

Палтусовъ заглядѣлся на одну изъ боковыхъ главокъ. Весело у него стало на сердцѣ. Деньги, хоть и небольшія, есть, лежатъ вонъ тамъ, наверху, связи растутъ, охоты и выдержки не мало... двадцать восемь лѣтъ, воображеніе играетъ и поможетъ ему найти теплое мѣсто въ тѣни громадныхъ горъ изъ хлопка и миткаля, промежду миллионнаго склада чая и невзрачной, но денежной лавчонки серебряника-мѣнялы.

Провезли, наконецъ, макароны и вермишель. Палтусова усадилъ швейцаръ, подоткнувъ съ обѣихъ сторонъ одѣяло, и низко поклонился.

Кучеръ сдѣлалъ головой полуоборотъ и дотронулся до жда лошади синей вожжей.

— Въ трактиръ!—приказалъ баринъ.



Пролетка повернула на Варварку, проѣхала мимо церкви около Великомученицы Варвары, съ ея окраской свѣжаго зеленого сыра, и лихо остановилась у подъѣзда двухъ-этажнаго трактира, ничѣмъ не отличающагося на видъ отъ перваго попавшагося заведенія средней руки.

Спертый, влажный воздухъ, съ запахомъ табачнаго дыма, кипятка, половиковъ и приностей обдалъ Палтусова, когда онъ всходилъ по лѣстницѣ. Направо, въ просторномъ акваріумъ-садкѣ, вертѣлась или лѣниво двигалась рыба. Этотъ трактирный акваріумъ тоже нравился Палтусову. Онъ всегда подходилъ къ нему и разглядывалъ какую-нибудь матерую стерлядь. Изъ-за буфета выставилась голова приказчика въ нѣмецкомъ платьѣ и кланялась ему.

— Калакуцкій здѣсь?—звонко спросилъ Палтусовъ у молодца при сбереженіи платья.

Молодецъ затруднился. Подскочилъ приказчикъ.

— Калакуцкаго знаете, Сергѣя Степановича?—переспросилъ Палтусовъ.

Приказчикъ закрылъ на секунду глаза и выговорилъ почти на уху:

— Не примѣтилъ. На врядъ ли-съ.

Палтусовъ поблагодарилъ его наклоненіемъ головы и взялъ сначала вправо, въ угловую комнату съ каминомъ, гдѣ больше завтракаютъ, чѣмъ пьютъ чай. Тамъ было еще немного народу. Онъ вернулся и прошелъ черезъ рядъ комнатъ налѣво, набитыхъ мелкимъ торговымъ людомъ. Крайнія, почище и попросторнѣе, извѣстна тѣмъ, что тамъ пьютъ чай и завтракаютъ воротилы стараго гостинаго двора. Около часу всегда можно слышать голосъ Пантелея Ивановича, перваго „прядильщика“, разсуждающаго, поплеывая и шепелявя, о политическихъ дѣлахъ. И половые въ этой комнатѣ служатъ иначе, ходятъ чуть слышно, обращаются къ гостямъ съ почтительной сладостью. Чай и завтраки часто затягиваются, разговоръ хозяевъ переходитъ къ своимъ дѣламъ. Въ воздухѣ запахнеть сотнями тысячъ. Половые, у прилолки или въ сторонѣ у печки, слушаютъ съ неподвижными и напряженными, потѣющими лицами.

И въ этой комнатѣ не было того господина. Они согласились завтракать въ особой комнатѣ, въ „сосновой“ или „березовой“. Палтусовъ освѣдомился, нѣтъ ли Калакуцкаго въ одной изъ нихъ. И тамъ его не было.

Часы показывали десять минутъ перваго.

— Проводи меня въ березовую, наверхъ,—сказалъ Палтусовъ мальчику-половому, блѣднолицому парню лѣтъ четырнадцати, въ короткихъ бѣлыхъ штанахъ и съ длинными волосами, густо смазанными коровьимъ масломъ.

Мальчикъ провелъ его въ дверь налѣво отъ буфета. Они миновали узкій коридоръ. Мальчикъ началъ подниматься по лѣсенкѣ съ раскрашенными деревянными перилами и привелъ на вышку, гдѣ дверь въ березовую комнату приходится противъ лѣстницы. Онъ отворилъ дверь и сталъ у притокови. Палтусовъ оглянулся. Онъ только мелькомъ видѣлъ эту свѣтелку, когда ему разъ, послѣ обѣда, показывали особенности трактира.

— Пошли кого-нибудь пограмотить,—сказалъ онъ мальчику,—и скажи тамъ швейцару, чтобы господина Калауцкаго проводить сюда.

Подростокъ поклонился по-деревенски, тряхнулъ волосами и затворилъ дверь.

Свѣтелка, всею обшита некрашенымъ березовымъ тесомъ, приняла его точно въ колыбель. Въ ней чувствовалась свѣжесть дерева; свѣтъ смягчался матовымъ тономъ березы. Самая тѣспота этого чуланчика возбуждала веселость. Стулья, съ высокими спинками изъ рѣзной березы, съ подушками изъ тисненой красной кожи, зеркало, карнизы, отдѣлка оконъ и дверей перенесли Палтусова къ дѣтскимъ годамъ. Ему казалось, что онъ въ игрушечномъ домикѣ и начнетъ сейчасъ играть съ этой бѣлой мебелью. Изъ окна надъ столомъ, занимающимъ двѣ трети свѣтелки, видъ на Зарядье и Москву-рѣку тѣшилъ глазъ яркостью и пестротой цвѣтныхъ пятенъ: — крыши и куполы, главки, башенки, а дальше муравейникъ синѣющего Замоскворѣчья — и превращалъ трактирный чуланчикъ въ теремъ.

Палтусовъ любилъ все, отзывающееся старой Москвой, любилъ не одинъ „городъ“, но разныя урочища Москвы, находилъ ее живописной и богатой эффектами, выискивалъ уголки, пригорки, пункты, откуда открывается какая-нибудь красивая и своеобразная картина. Но мысль его не могла долго оставаться на художественной сторонѣ предмета. Въ этой трактирной свѣтелкѣ чутье его обоняло и нѣчто другое. И даже крыши и главы подъ его ногами говорили ему все о той же бытовой и промышленной жизни. Онъ точно чуялъ въ воздухѣ ростъ капитализма и продуктовъ. Въ воображеніи его поднимались его

собственные палаты, въ прекрасномъ старо-московскомъ стилѣ, съ золоченой рѣшеткой на крышѣ, съ изразцами, съ рѣзьбой полотенецъ и столбовъ. Настоящія барскія палаты, но не такія низменныя и темныя, какъ тутъ вотъ, почти рядомъ, на Варваркѣ, хоромы бояръ Романовыхъ, а въ пять, въ десять разъ просторнѣе. Какая будетъ у него столовая! Вся въ изразцахъ и въ стѣнной живописи. Печку монументальную, по рисункамъ Чичагова, закажетъ въ Бельгіи. Одна печка будетъ стоить пять тысячъ рублей. Поставцы изъ темнаго вѣкового дуба. Какіе жбаны, енды, блюда съ эмалью будутъ выглядывать оттуда. Вѣдь есть же здѣсь внизу, въ этомъ самомъ трактирѣ, „русская палата“, гдѣ всякій ножъ, каждый стаканъ сдѣланъ по рисунку! Но все-таки это трактиръ. Тутъ нѣтъ своего, барскаго, тонкаго вкуса, нѣтъ любви къ вещамъ, заработаннымъ умомъ, бойкимъ умомъ и знаніемъ людей, ихъ душевной немощи и гризи, ихъ глупости, скарденности, алчности... Славно!

VII.

Мечты его прервалъ половой лѣтъ за тридцать, съ подстриженной рыжеватой бородкой и впалой грудью, — доверенный молодецъ, умѣющій служить хорошимъ гостямъ въ отдѣльныхъ комнатахъ.

— Ну, вотъ что, голубчикъ, — скоро заговорилъ Палтусовъ, отвернувшись отъ окна, — закусочки намъ сначала, но, знаешь, основательной... Балыкъ долженъ быть теперь свѣжей полочки отъ Макарія?

— Самолучшій.

— Не забудь хрищей. Соленыхъ хрищей... Недурно бы фаршированный калачъ; да это долго.

— Минутъ пятнадцать!

— Такъ не надо. Листовка у васъ хороша ли?

— Особенная!

Такъ обсуждены были и другія водки и закуски. Половой отвѣчалъ кратко, но впопадъ, съ наклономъ всего туловища и усиленнымъ миганіемъ сѣрыхъ, большихъ глазъ.

И процессъ заказыванья въ трактиръ нравился Палтусову. Онъ любилъ этихъ ярославцевъ, признавалъ за ними большой умъ и тактъ, считалъ самую тонкою, пріятною и оригинальною прислугой; а онъ жилъ и въ Парижѣ, и въ Лондонѣ. Ему хотѣлось всегда потолковать



съ половымъ, видѣть складъ его ума, чувствовать связь съ этимъ мужикомъ, способнымъ превратиться въ радчика, въ фабриканта, въ желѣзнодорожнаго концессионера. Фамиллярности онъ не допускалъ, да ея никогда и не было со стороны прославца. Всего больше лакомился онъ чувствомъ мѣры у такого бѣлорубашника, остриженнаго въ кружало. Онъ вамъ и скандальную новость сообщить, и дѣльный торговый слухъ, и статейку рекомендуетъ въ „Вѣдомостяхъ“, — и все это кстати, сдержанно, какъ хорошій дипломатъ и полезный собесѣдникъ.

— Съ Богомъ! — отпустилъ Палтусовъ полового. — Тебя какъ звать?

— Алексѣемъ-съ.

— Такъ вотъ, голубчикъ Алексѣй, скажи тамъ внизу, чтобы не прозѣвали Калакуцкаго.

— Сергѣя Степаныча?

— Ты знаешь его?

— Помилуйте!..

Алексѣй не досказалъ; но его блѣдныя большія губы говорили: „миѣ не знать господина Калакуцкаго?“ Онъ отворилъ дверь. Палтусовъ остановилъ его движеніемъ руки.

— Карту винъ принеси съ закуской, и шампанское заморозить.

— Редерь? — больше утвердительно, чѣмъ звукомъ вопроса выговорилъ Алексѣй.

— Н-да; Редерь все лучше остальныхъ... рѣшилъ Палтусовъ и опустился на диванъ, когда шаги Алексѣя послышались внизъ по лѣстницѣ.

Ему захотѣлось глубоко и сладко вздохнуть. Славное житье въ этой пузатой и сочной Москвѣ!.. Въ Петербургѣ физически невозможно такъ себя чувствовать. Глазъ прищипывается. Вездѣ линія — прямая, тягучая и тоскливая. Дождь, изморось, туманъ, желтый, грязный свѣтъ сквозь свинцовыя тучи и облака. Ыдешь — все тѣ же дома, тотъ же „прешпектъ“. У всѣхъ геморой и катаръ. Въ ресторанахъ — татары въ засаленныхъ фракахъ, въ кабинетахъ темно, холодно, пахнетъ вчерашней попойкой; Ыда — безвкусная; оббитые диваны. Ничего характернаго, своего, не привознаго. Нигдѣ не видно, какъ работаетъ, наживаетъ деньги, охорашивается, выдумываетъ яства и питья коренной русскій человѣкъ... То ли дѣло здѣсь!

Онъ вынулъ изъ кармана бумажникъ, досталъ оттуда

какую-то записку, перечелъ се, чмокнулъ губами, потомъ расчесалъ бороду передъ зеркаломъ маленькимъ гребешкомъ въ серебряной оправѣ и снова опустился на диванъ. Долго разсматривалъ онъ свою расчетную книжку. Сумма теперь округлилась. Въ головѣ идутъ расчеты—быстрые, въ цифрахъ. Онъ поправляетъ ихъ и замѣняетъ другими, приводитъ разныя соображенія. Отдѣлать квартиру необходимо. Правда, у него номеръ прекрасный, въ двѣ комнаты; но все-таки—номеръ. Квартира—клади двѣ тысячи. Надо бы и лошадь. Это выгодноѣе. Онъ платитъ восемьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. На это можно держать пару. Вотъ выпадетъ снѣгъ. Онъ и начнетъ съ саней—это втрое дешевле хорошей пролетки или одноконнаго фаэтона. Платья не нужно.

Дверь шумно отворилась. Все пространство ея занялъ очень высокій, вершковъ двѣнадцати, широкій, но не толстый баринъ въ сѣрой шляпѣ, на половину покрытой трауромъ. Онъ похожъ былъ на отставного французскаго генерала или хозяина цирка: длинныя съ просьдью усы, совсѣмъ падающіе на галстукъ, бритое, продолговатое лицо, чуть замѣтная мушка подъ нижней губой, густыя, русыя брови, лысая голова, подъ гребенку остриженная тамъ, гдѣ еще росли волосы. Баринъ одѣтъ былъ живописно: съ отложнымъ широкимъ воротникомъ рубашки, въ черномъ, короткомъ, плотно застегнутомъ пиджакѣ, безъ талии, и панталонахъ-шароварахъ, къ сапогамъ уже. На груди болталось золотое *pinse-nez* на широкой лентѣ.

VIII.

— *C'est parfait!*—захрипѣлъ онъ.—А я внизу васъ ищу!

Патусовъ поднялся и, подскочивъ къ Калакуцкому, протянулъ ему обѣ руки и пожалъ его свободную правую руку. Во всѣхъ этихъ движеніяхъ проскользнула искательность; но улыбающееся благообразное лицо сохраняло достоинство.

— Пожалуйте, пожалуйста, Сергѣй Степановичъ. Я ужъ распорядился закуской! Развѣ васъ не сейчасъ же провели? Я приказалъ...

— Провели...

Калакуцкій немного отдувался и оглянулъ комнату своими тусклыми глазами на выкатѣ съ навислыми вѣками.

— Да мы здѣсь задохнемся!...

— Можно отворить окно...

— Ничего... А веселенькій ватерклозетик!..

Онъ размѣялся задыхающимся смѣхомъ. Палтусовъ ему вторилъ. Онъ усадилъ барина на диванъ. Тотчасъ же пришло двое половыхъ. Столъ въ минуту былъ уставленъ бутылками съ пятью сортами водки. Балыкъ, провѣсная бѣлорыбца, икра и всякая другая закусочная ѣда заиграли въ лучахъ солнца своимъ жиромъ и янтаремъ. Не забыты были и затребованные Палтусовымъ соленые хрящи. Калакуцкій заказалъ завтракъ: паровую севрюжку, котлеты изъ пуларды съ трюфелями и разварныя груши съ рисомъ. Указано было и красное вино.

— Какой номеръ-съ?—спросилъ Алексѣй.

— Да все тотъ же. Я другого не пью.

И Калакуцкій ткнулъ пальцемъ въ большую карту винъ.

Кушанья поданы были скоро и старательно. Они еще не успѣли покончить съ солеными хрящами и осетровымъ балыкомъ, какъ на столѣ уже шипѣла севрюжка въ серебряной кастрюлѣ. За закуской Калакуцкій выпилъ разомъ двѣ рюмки водки, забилъ себѣ куски икры и бѣлорыбцы, засовалъ за ними рожокъ горячаго калача и потомъ больше мычалъ, чѣмъ говорилъ. Но онъ ѣлъ умѣренно. Ему нужно было только притупить первое ощущение голода.

Тутъ онъ сдѣлалъ передышку:

— Измучился я, mon bon, долженъ былъ лазить по лѣсамъ... Канальи!.. Безъ своего глаза пропадешь, какъ шведъ подъ Полтавой...

Рѣчь шла о стройкѣ. Калакуцкій давно занимался подрядами и стройкой домовъ, и все шелъ въ гору. На Палтусова онъ обратилъ вниманіе, знакомилъ его съ дѣлами. Наканунѣ онъ назначилъ ему быть на Варваркѣ въ трактирѣ и хотѣлъ потолковать съ нимъ „посурьезнѣе“ за завтракомъ.

Но Палтусовъ самъ не начиналъ разговора о себѣ. У него былъ на это расчетъ. Калакуцкій — для первыхъ ходовъ — казался ему самымъ лучшимъ рычагомъ. Нюхъ говорилъ Палтусову, что онъ пуженъ этому „ловкачу“, такъ онъ называлъ его про себя, и подъ этой кличкой даже заносилъ въ записную книжку о Калакуцкомъ.

— Такъ вы совсѣмъ москвичемъ дѣляетесь?—спросилъ его Калакуцкій за севрюжкой.



— Дѣлаюсь.

— Штука любезная. Мы въ молодыхъ людяхъ нуждаемся, такихъ вотъ, какъ вы. Очень ужъ овчиной у насъ разить. Никого нельзя ввести въ операцію... Или выжига, или хамъ!..

— Мнѣ нравится Москва.

— Сундукъ у ней хорошъ, да не сразу его отопрешь, голубчикъ. Хамство ужъ очень меня одолеваетъ иной разъ, — даже самъ-то овчиной провоняешь... Честной человѣкъ!.. Вечеромъ прїѣдешь—такъ и разить отъ тебя!..

Онъ тоже не начиналъ безъ подхода. Говорилъ онъ одно, а думалъ другое. Онъ мысленно осматривалъ Палтусова. Малый, кажется, на всѣ руки, и съ достоинствомъ: такое выраженіе у него въ лицѣ; а это—главное съ купцами, особенно если изъ старовѣровъ, и съ иностранцами. Денегъ у него нѣтъ, да ихъ и не нужно. Однако, все лучше, если водится у него пятокъ-десятокъ тысячъ. Заручиться имъ надо, предложить пай.

— Вы, я слышу, *mon cher*,—заговорилъ онъ, такъ, между прочимъ, пропуская стаканчикъ лафиту, — все съ купчиками?..

— Кое-кого знаю,—сказалъ Палтусовъ, чуть-чуть улыбувшись, и отеръ усы салфеткой.

— Это хорошо! Продолжайте! Надо завязать связи. У Марьи Орестовны бываете?

— Какъ же.

— Эта изъ мужа веревки вьетъ. Онъ тоже хамъ и самолюбивое животное. Но его надо ручнымъ сдѣлать. Вы этого не забывайте. Вѣдь онъ постъ занимаетъ. Да что же это я все вамъ не скажу толкомъ... Вы вѣдь знаете,—Калакуцкій наклонился къ нему черезъ локоть,—вы знаете, что у меня теперь для большихъ строекъ... товарищество на вѣрѣ ладится?

— Слышалъ,—отвѣтилъ Палтусовъ ласково и сдержанно.

— А знаете, что я въ прошломъ году, когда у насъ было простое компаньонство, предоставилъ моимъ товарищамъ?

— Въ точности не знаю.

— Семьдесятъ процентиковъ! *Joli? N'est ce pas?*

— *Joli*,—повторилъ Палтусовъ.

Онъ не любилъ французить; но выговоръ былъ у него гораздо лучше, чѣмъ у Калакуцкаго.



— Мнѣ бы хотѣлось и васъ примостить. Въ карманѣ и къ вамъ не залѣзаю...

— У меня крохи, Сергѣй Степановичъ,—выговорилъ съ благородной усмѣшкой Палтусовъ.

— Ничего. Когда совѣмъ налажу, скажу вамъ. Что будетъ—тащите. Не па текущемъ же счету по два процента получить!

Палтусовъ понялъ тотчасъ же, почему Калакуцкій сдѣлалъ ему такое предложеніе. Это его не заставило попятиться. Напротивъ, онъ нашелъ, что это умно и толково. Онъ зналъ, что Калакуцкій зарабатываетъ большія деньги, и всѣ говорятъ, что черезъ три-четыре года онъ будетъ самый крупный строитель-подрядчикъ.

— Благодарю васъ,—сказалъ онъ довѣрчивымъ тономъ и сейчасъ же сообщилъ Калакуцкому, какія у него есть деньжонки, не скрылъ и того, въ какомъ онъ банкѣ лежать, и сколько ему нужно, чтобы обзавестись квартирой.

Калакуцкій все это одобрилъ. Они подходили другъ къ другу. Строитель былъ человѣкъ малограмотный, нигдѣ не учился, вышелъ въ офицеры изъ юнкеровъ, но родился въ барской семьѣ. Его прикрывалъ плохой французскій языкъ и лоскъ, вывозили смѣтка и смѣлость. Но ему нуженъ былъ на время пособникъ въ такомъ родѣ, какъ Палтусовъ, гораздо образованнѣе, повѣе, тоньше его самого.

IX.

Послѣ котлетъ принесли шампанскаго. Палтусовъ угощалъ имъ. Калакуцкій принялъ; но счетъ завтрака они раздѣлили пополамъ. Подали кофе и ликеры. Половые ушли, поставивъ три раскрытыхъ ящика съ сигарами.

— Такъ вотъ, любезнѣйшій Андрей Дмитричъ,—заговорилъ Калакуцкій, и его глаза уставились на Палтусовъ,—я хочу васъ нанимать, или съ вами союзъ заключить.

— Въ какомъ смыслѣ?—спросилъ Палтусовъ.

Вина онъ выпилъ довольно; но языкъ его былъ такъ же сдержанъ, какъ и въ началѣ завтрака. Только щеки стали розовѣе. Онъ очень отъ этого похорошѣлъ.

— Да въ томъ, сударь мой, что вамъ надо быть моимъ тайнымъ агентомъ.

— Агентомъ?—переспросилъ Палтусовъ, переставивъ удареніе.

— Именно! Ха-ха! Я не въ сыщикъ васъ беру. Разу-

дите — вы мнѣ уже говорили, что желали бы присмотрѣться къ дѣламъ и выбрать себѣ, что на руку. Ну, не пойдете же вы ко мнѣ въ конторщики или паридчики?.. Компаньономъ — у васъ капитала нѣтъ... Пай предложу вамъ съ удовольствіемъ. Но этого мало. Вы можете быть весьма и весьма полезны нашимъ операціямъ и теперь, и послѣ... У меня въ головѣ много прожектвъ. Я цѣлые дни занятъ, разрываюсь какъ каторжный, и страшно отъ этого теряю... Тутъ надо человѣка отыскать, туда заѣхать, тамъ понюхать. Вотъ и необходимъ агентъ! Но какой? Вы не обижайтесь... такой, чтобы стоилъ компаньона.

— Понимаю, понимаю,—тихо повторялъ Палтусовъ и глядѣлъ въ стаканъ съ шампанскимъ, точно любовался, какъ иглы тонкаго льда мигали въ винѣ и гнали наверхъ пузырьки газа.

— И не побрезгуете?

— Идея хороша!

— И тянуть нечего. Проволочка всякому дѣлу — капуть!.. А положеніе простое — процентъ. Вамъ небось сказывали, что я умѣю платить и дѣлиться? Это — первое. Примите добрый совѣтъ...

Тутъ глаза Палтусова слегка покраснѣли.

— Идея прекрасная, Сергѣй Степановичъ! — выговорилъ онъ и всталъ со стаканомъ въ рукѣ. Глаза его обѣжали и свѣтелку съ видомъ на пестрый коверъ крышъ и церковныхъ главъ, и то, что стояло на столѣ, и своего собесѣдника, и себя самого, насколько онъ могъ видѣть себя. — У васъ есть инициатива! — уже горячѣе воскликнулъ онъ и поднявъ стаканъ, приблизивъ его къ Калакуцкому.

— Безъ ученыхъ словъ, голубчикъ!..

— Нѣтъ, позвольте его повторить, Сергѣй Степановичъ! Инициатива! По-русски починъ, если вамъ угодно! Отчего мы, дворяне, люди съ образованіемъ, хорошихъ фамилій, уступаемъ всѣмъ этимъ... какъ вы выражаетесь — хамамъ? Отчего? Оттого, что почина нѣтъ. А хамъ — уменъ, Сергѣй Степановичъ!

— Плуть! — вырвалось у Калакуцкаго.

— Уменъ, — повторилъ Палтусовъ. — Я его не презираю. Такой же русакъ, какъ и мы съ вами... Я говорю о мужикѣ; вотъ объ такомъ Алексѣѣ, что служить намъ, о радчикѣ, десятникѣ, штукатурѣ... Мы должны съ ними сладиться и сказать купецкой мопнѣ: пора тебѣ съ нами дѣлиться, а не хочешь, такъ мы тебя подъ пожку.



— Отлично! Да вы ораторъ! Разумѣется, намъ слѣдуетъ выкуривать бороду. Я это и дѣлаю...

— За эту идею позвольте чокнуться, — протянулъ Палтусовъ стаканъ къ Калакуцкому.

Тотъ тоже привсталъ. Они чокнулись и три раза поцѣловались. Это сдѣлалось какъ-то само собой.

И Калакуцкій началъ рассказывать анекдоты изъ своей практики: какъ онъ начиналъ, чему выучился, сколько разъ висѣлъ на волоскѣ. Онъ привиралъ, певольно, въ жару разговора, увеличивалъ цифры убытковъ и барышей, щеголялъ своей смѣткой и дѣловой неустрашимостью. Все это отлично схватывалъ Палтусовъ; но хвастливыя рѣчи строителя, возбужденныя виномъ, пары шампанскаго, ароматъ ликеровъ, дымъ дорогихъ сигаръ образовалъ вокругъ Палтусова атмосферу, въ которой его воображеніе опять заиграло. Вѣдь вотъ этотъ подрядчикъ не Богъ знаетъ какого ума, безъ знаній, съ грубоватой натурой, а ведетъ же теперь чуть ли не миллионныя дѣла! И надо поклониться ему за это. Онъ — первый изъ „піонеровъ“ — дворянъ пошелъ на развѣдки и сталъ выхватывать куски изъ рта толстобрюхихъ лавочниковъ и цѣловальниковъ. Явится онъ, Палтусовъ, а за нимъ и другой, и третій — люди тонкіе, культурные, все понимающіе, и почнутъ прибирать къ рукамъ этотъ купецкій „городъ“, доберутся до его кубышекъ, складовъ и амбаровъ, настроятъ дворцовъ и скупятъ у обанкротившихся кушцовъ ихъ дома, фабрики, лавки, конторы.

И ему казалось, точно онъ не въ свѣтелкѣ трактира, а на воздушномъ шарѣ поднялся на двѣсти сажень отъ земли и смотритъ оттуда на Москву, на Цѣлинку, на ряды и площади, на толкотню и ѣзду чуть замѣтныхъ насѣкомыхъ-людей.

— А сегодня, mon cher, — захрипѣлъ опять Калакуцкій, — не угодно ли вамъ будетъ исполнить два порученьица?

Палтусовъ не удивился этой американской быстротѣ осуществленія плана. Онъ выслушалъ внимательно, записалъ, что нужно, переспросилъ скоро и точно, и незамѣтно, прощаясь съ строителемъ, привелъ его къ размѣрамъ процента за свои услуги.

— Видите, — сказалъ Калакуцкій, выпрямляя грудь. — Дѣлъ у меня нѣсколько. Тѣ идутъ своимъ чередомъ. А вотъ по новому товариществу на вѣрѣ. Расходы, положимъ,

въ триста пятьдесятъ рублей,—протянулъ онъ,—и десять процентовъ съ чистой прибыли. Ça vous va?..

Палтусовъ молча поклонился и пожалъ руку Калакуцкому. Въ головѣ его ужъ сидѣло черновое нотаріальное условіе, которое онъ на-дняхъ и подброситъ патрону.

Онъ такъ и назвалъ его мысленно „патронъ“. Это ему не очень понравилось. Онъ не хотѣлъ бы ни отъ кого зависѣть. Но развѣ это зависимость? Это—купля-продажа—не больше.

Калакуцкій сѣлъ въ дрожки, запряженные парой чубарыхъ лошадокъ, съ пристяжкой, и поскакалъ къ Варварскимъ воротамъ. Палтусовъ остался въ городѣ и велѣлъ кучеру „трогать“ въ Славянской Базаръ.

Х.

Ресторанъ Славянскаго Базара доѣдалъ свои завтраки. Оставалась четверть до двухъ часовъ. Зала, передѣланная изъ трехъэтажнаго базара, въ этотъ ясный день поражала прїѣзжихъ изъ провинціи, да и москвичей, кто въ ней рѣдко бывалъ, своимъ просторомъ, свѣтомъ сверху, движеніемъ, архитектурными подробностями. Чугунные выкрашенные столбы и помость, выступающій посрединѣ, съ купидонами и завитушками, наполняли пустоту огромной махины, останавливали на себѣ глаза, щекотали по-своему смутное художественное чувство даже у зако-рузлыхъ обывателей откуда-нибудь изъ Чухомы или Варнавина. Идущій оваломъ рядъ широкихъ оконъ второго этажа, съ бюстами русскихъ писателей въ простѣнкахъ, показывалъ изнутри драпировки обои подъ изразцы, фигурный двери, просвѣты площадокъ, оконъ, лѣстницъ. Басейнъ съ фонтанчикомъ прибавлялъ къ смягченному топоту ногъ по асфальту тонкое журчаніе струекъ воды. Отъ нихъ шла свѣжесть, которая говорила какъ будто о присутствіи зелени или грота изъ мшистыхъ камней. По стѣнамъ пологіе диваны темно-малиноваго трипа успокаивали зрѣніе и манили къ себѣ за столы, покрытые свѣжимъ, глянцево выглаженнымъ бѣльемъ. Столики поменьше, разставленные по обѣимъ сторонамъ помоста и столбовъ, сгущали трактирную жизнь. Черный съ украшеніями буфетъ подъ часами, занимающій всю заднюю стѣну, покрытый сплошь закусками, смотрѣлъ столкомъ богатой лабораторіи, гдѣ разставлены разноцвѣтные препараты. Справа и слѣва въ переднихъ стояли сумерки. Служители



въ голубыхъ рубашкахъ и казакиныхъ съ сборками на талиѣ, молодцоватые и степенные, молча вѣшали верхнее платье. Изъ стеклянныхъ дверей виднѣлись обширныя сѣни съ лѣстницей наверхъ, завѣшанной триповой веревкой съ кистями, а въ глубинѣ мелькала ѣзда Никольской, блестя вѣтки и подѣзды.

Большими деньгами дышалъ весь отель, отстроенный на славу, немного уже затоптанный и не такъ старательно содержимый, но хлесткій, бросающійся въ носъ своимъ московскимъ комфортомъ и убранствомъ.

Зала ресторана еще не начала пустѣть. Это былъ часъ биржевыхъ маклеровъ и зайцевъ почище, часъ раннихъ обѣдовъ для пріѣзжихъ „изъ губерній“ и позднихъ завтраковъ для тѣхъ, кто любитъ проводить цѣлые дни за трактирной скатертью. Нѣмцевъ и евреевъ сейчасъ можно было признать по носамъ, цвѣту волосъ, короткимъ бакенбардамъ, конторской франтоватости. Они вели за отдѣльными столами бойкіе разговоры, пили немного, но угощали другъ друга, посматривали на часы, охорашивались, разсказывали случаи изъ практики, часто хохотали разомъ, дѣлали нѣмецкіе „виды“. За большимъ столомъ, около самаго бассейна, помѣстилось дворянское семейство, только что пріѣхавшее: отецъ при солдатскомъ Георгіи на коричневомъ пиджакѣ, съ двойнымъ подбородкомъ, мать — въ туалетѣ, гувернантка, штукъ пять подростковъ, родственница-дѣвица, бойкая и сердитая, успѣвшая уже наговорить непріятностей суетливому лакею, тыча ему въ носъ мѣстоименіе „вы“, къ которому, видимо, не была привычна съ прислугою. Они завтракали на цѣлый день, отправляясь осматривать грановитую палату, царь-пушку, соборы, по дорогѣ синодальную типографію, отслушать молебенъ у Иверской, поѣсть пирожковъ у Филиппова на Тверской и до обѣда попасть въ Голофѣевскую галлерей, гдѣ родственница должна непременно купить себѣ подвязки и пару ботинокъ и надѣть ихъ до театра. А билеты рассчитывали добыть у барышниковъ. Ближе къ буфету, за столикомъ, на одной сторонѣ, выдѣлялось двое военныхъ: драгунъ съ воротникомъ персиковаго цвѣта и гусаръ въ свѣтло-голубомъ ментикѣ съ серебромъ. Они „душили“ портеръ. По правую руку, одинъ съ газетой, кончалъ завтракъ сѣдой, высохшій старикъ съ желтымъ лицомъ и плотно-остриженными волосами — изъ Петербурга, большой баринъ. Онъ ѣлъ медленно и брезгливо, вино пилъ съ



водой и, потребовавъ себѣ полосканье, вымылъ руки изъ графина. Лакей говорилъ ему: „ваше сіятельство“. Въ одной изъ нишъ два купца-рыбопромышленника крестились, вставая изъ-за стола. Каждый далъ лакею по мѣдному пятаку. Они потребовали одну порцію селянки помосковски и выпили по три рюмки травнику. Купидоны имъ понравились.

XI.

Палтусовъ вошелъ въ ресторанъ, остановился спиной къ буфету и оглянулъ залу. Его быстрые, дальнзоркіе глаза сейчасъ же различили на противоположномъ концѣ, у дверей въ комнату, замыкающую ресторанъ, группу человѣкъ въ пять биржевиковъ, и между ними того, кто ему былъ нуженъ.

Подвернувшемуся лакею, съ длинными жидкими бакенбардами, онъ сказалъ ласково:

— Не трудитесь, голубчикъ, и прошель черезъ всю залу. Прислугѣ во фракахъ онъ вездѣ говорилъ „вы“.

Онъ нажѣтилъ у стола биржевиковъ молодого брюнета съ лицомъ, какія попадаются въ магазинахъ бѣлья и женскихъ модъ, въ узкихъ бакенбардахъ, съ прической „капльчикомъ“, въ темно-красномъ шарфѣ, перехваченномъ матовымъ золотымъ кольцомъ. Пиджакъ изъ англійскаго шевіота сидѣлъ на немъ гладко и выказывалъ его округленныя, падающія, какъ у женщины, плечи.

— Карлъ Христьянычъ!—окликнулъ его Палтусовъ. Ему и нужно было этого самаго маклера.

Биржевикъ привсталъ и направилъ на него простоватые масляные глаза.

— Почтеніе!—сказалъ онъ съ умышленной интонаціей русскаго нѣмца - шутника, подражающаго „купецкому“ жанру.

И руку подаль нарочно ребромъ, а не ладонью.

Палтусовъ отвѣтилъ ему въ тонъ.

— Изволили откушать?

— Какъ же! Побаловались. Пора и пошабашить.

— Можно на пару словъ?

— Съ нашимъ удовольствіемъ.

И обратившись къ остальнымъ, маклеръ сказалъ имъ по-нѣмски:

— Kinder! Auf Wiedersehen! Precise.

Тѣ почему-то загоготали.



„Карлуша“—такъ его звали пріятели—отряхнулся, далъ лакею на чай, поправилъ галстукъ и взялъ Палтусова подъ руку. Они пошли, не снѣша, въ угловую комнату, гдѣ никого уже не было.

Разговоръ длился не больше десяти минутъ. Маклеръ стоялъ, а Палтусовъ присѣлъ на конецъ дивана.

Слышны были слова: „най“, „новый корпусъ“, „самъ Сергій Степановичъ“, „пустить въ ходъ“, „куртажъ“. Нѣмчикъ только кивалъ головой да игралъ цѣпочкой, и раза два сказалъ:

— Безъ сумлѣнья. Въ настоящемъ видѣ.

Онъ уже иначе не умѣлъ говорить съ русскими, какъ такимъ языкомъ.

— Стало, живетъ?—спросилъ Палтусовъ, поднимаясь и пожимая ему руку.

— Будьте благонадежны...

Маклеръ заторопился.

— Вы ужъ, голубчикъ, извините, пожалуйста, послѣ биржи... А теперь надо...

Изъ губъ его слетѣло нѣсколько именъ. Изъ залы можно было разслышать:

— Къ Пенкеру, на Маросейку, у Кнопа, Корзинкины... Да еще къ Катюру!..

Вышло новое рукопожатіе.

— Какъ курса?—спросилъ на ходу Палтусовъ.

— Курса?

Маклеръ остановился, щелкнулъ языкомъ и выговорилъ:

— Швахъ!

И почти бѣгомъ пустился по ресторану.

Глядя вслѣдъ убѣжавшему нѣмчику, Палтусовъ вспомнилъ сегодняшнія веселыя рѣчи банковскаго директора. Вотъ хоть бы этотъ Карлуша! Какая ему цѣна? А онъ навѣрно зарабатываетъ тысячъ двѣнадцать, а то гляди и всѣ шестнадцать. Но весело цѣлое утро разѣзжать по конторамъ, а потомъ бѣгать по биржевому залу. Да вѣдь у него въ головѣ зато ни одной своей мысли. Онъ дальше десятичныхъ дробей врядъ ли ходилъ. Днемъ колесить по Москвѣ и юлить на биржѣ; послѣ биржи—обѣдъ, а ночью пляшетъ—невѣсть себѣ выплясываетъ—до пѣтуховъ; сегодня въ Большой Алексѣвской, завтра на Разгуляѣ, въ Плетешкахъ, послѣзавтра—на Татарской... И выпляшетъ, возьметъ полмилліона, и банковый учредитель

будеть. Зато онъ нѣмецъ! А Евграфъ Петровичъ увѣряетъ, что „пѣмцы между собой вездѣ спюхаются“.

Онъ улыбнулся. Ему въ сущности нечего было завидовать этому Карлушѣ. Такой „капульчикъ“ долженъ успѣвать при стачкѣ своего брата пѣмца. Чего-нибудь позамысловатѣе выгодной женитьбы и маклерскаго дохода—онъ не выдумаетъ. Не тѣ у него мозги...

У буфета Палтусова кто-то удержалъ двумя руками. Онъ поднялъ голову и разсмѣялся. Съ непритворнымъ удовольствіемъ обнялъ онъ самъ высокаго, немного пухлаго, совсѣмъ бритаго мужчину, однихъ съ нимъ лѣтъ, въ короткой синей визиткѣ и сѣрыхъ панталонахъ. За границей его всякій принялъ бы за молодого французскаго нотаріуса или за англійскаго духовнаго, снявшаго съ себя долгополый скюртъ. Мягкіе русые волосы, съ проборомъ на боку, подстриженные сзади и гладко причесанные спереди, необыкновенно подходили къ крупному носу, золотымъ очкамъ, добрымъ и умнымъ глазамъ этого москвича, къ его заостряющемуся брюшку, тонкой усмѣшкѣ и бѣлымъ рукамъ-огурчикамъ. Держался онъ прямо, даже немного выпрямившись, и не наклонялъ голову, а подавался впередъ всѣмъ туловищемъ.

— Палтусовъ!

— Пирожковъ!

Они громко чмокнули себя въ щеки.

— Гдѣ пропадаете?—спросилъ Палтусовъ, все еще придерживая пріятеля.

— А вы? Я былъ въ деревнѣ съ мая вотъ по сіе время.

— Это и видно.

Палтусовъ указалъ глазами на брюшко Пирожкова.

— Да, есть-таки развитіе сальника. Вотъ все хожу.

— Вы здѣсь завтракаете?

— Покончили. Не выпить ли элю?

— Я тороплюсь. Ахъ, какая досада!

Палтусовъ опять неліцемерно наморщилъ лобъ. Ему очень хотѣлось покаякать съ этимъ „славнымъ малымъ“, котораго онъ считалъ „умницей“ и даже „ученымъ“. Но дѣло не ждало. Онъ это и объяснилъ Пирожкову.

Пріятель не возмущился; безъ всякихъ переливовъ голоса—какъ говорить всѣ почти молодые русскіе,—спросилъ онъ у Палтусова, гдѣ тотъ живетъ и что вообще дѣлаетъ.

— Пускаюсь въ выучку къ Титамъ Титычамъ,—сказалъ Палтусовъ нотой, въ которой сквозила совѣстливость.

— Вотъ что!—протянулъ его пріятель.—Что жъ! штука весьма интересная. Мы не знаемъ этого міра. Теперь новые нравы. Превніе Титы Титычи пахнутъ уже до-реформенной полосой.

— Да я не литераторъ, Иванъ Алексѣичъ; я—для разживы. Что жъ такъ-то болтаться?

Глаза Пирожкова повеселѣли.

— Вы—своего рода Станлэй! Я всегда это говорилъ. Смѣтка у васъ есть, мышцы, нервы... И Балканы переходили.

Они оба тихо разсмѣялись. Палтусовъ выхватилъ часы изъ кармана.

— Батюшки! двадцать третьяго! Голубчикъ Иванъ Алексѣичъ, заверните... Оставьте карточку... Пообѣдаемъ. Вѣдь вы покушать любите попрежнему?

— Есть тотъ грѣхъ!

— Въ „Эрмитажъ“? Стерлядку по-американски, знаете, съ томатами.

По лицу Пирожкова пошла волнистая линія человѣка, знающаго толкъ въ ѣдѣ.

— Такъ на Дмитровкѣ?

— Да, да!.. торопился Палтусовъ.

Они выходили вмѣстѣ. Въ передней Палтусовъ, надѣвъ пальто, опять взялъ Пирожкова за бортъ визитки. Ему вспомнилась ихъ жизнь, года три передъ тѣмъ, въ меблированныхъ комнатахъ у чудака учителя, которому никто не платилъ.

— Ойванда-то наша рушилась!—возбужденно сказалъ онъ Пирожкову.—Славно жили! Что за тишы были! И Василій Алексѣичъ съ своей керосиновой кухней... Гдѣ онъ? Пишетъ ли что? Врядъ ли!

— Умеръ,—отвѣчалъ Пирожковъ, и улыбка застыла у него на губахъ.

Они смолкли.

— Буду ждать!—крикнулъ Палтусовъ изъ сѣней.—Захаживаете ли когда къ Долгушинымъ?

— По пріѣздѣ еще не былъ.

— Гнѣютъ на корню. Дворянское вырожденіе!..

Фраза Палтусова прогудѣла въ сѣняхъ.

ХП.

Малый въ голубой рубашкѣ натянулъ на Пирожкова короткое, уже послужившее пальто, и подаль трость и шляпу. Иванъ Алексѣичъ и зиму, и лѣто ходилъ въ высокой цилиндрической шляпѣ, которую покупалъ всегда къ Пасхѣ. Онъ пошелъ не спѣша.

Встрѣча съ Палтусовымъ и его отнесла къ той зимѣ, когда они жили въ комнатахъ у учителя ариѳметики, Скородумова, въ переулкѣ на Срѣтенкѣ, около церкви „Успенья въ Печатникахъ“. Тогда Иванъ Алексѣичъ серьезно подумывалъ о магистерскомъ экзаменѣ. Прошло три года, а онъ все еще не магистръ. Правда, онъ ѣздилъ за границу, но врядъ ли съ спеціальною цѣлью. Онъ изучалъ много хорошихъ вещей разомъ: и движеніе философскихъ идей, и уличную жизнь, и рестораны, и женщинъ, и театръ, и журнализмъ... Читалъ онъ не мало книжекъ, хаживалъ и въ кабинеты, по своей наукѣ принимался за собираніе спеціальныхъ мемуаровъ и даже заплатилъ три золотыхъ за право имѣть свой столъ съ микроскопомъ. Но какъ-то работы не вышло. Въ Москвѣ время текло опять почти что такъ, какъ оно текло, когда Иванъ Алексѣичъ кончилъ курсъ кандидатомъ и отдыхалъ, живя въ Лоскутномъ. И это славная полоса была. Много пили портю и элю. Цѣлые вечера проводили въ бильярдной; зато журналы и книжки читали запоемъ, точно варенье глотали ложками. Иной разъ, не вставая, въ постели, пролеживали до сумерокъ съ какимъ-нибудь англійскимъ томомъ по психологіи или этнографіи. А тамъ вечеръ—въ театрѣ, молодыхъ актрисъ поддерживали, въ клубѣ любителей поощряли, развивали ихъ, покупали имъ Шекспира, переводили имъ отрывки изъ нѣмецкихъ критиковъ, кто не зналъ языка. Споры, бесѣды... На Срѣтенкѣ, у Скородумова, начался непрерывный содомъ. Сколько прошло отличныхъ ребятъ, или забавныхъ, нелѣпыхъ; но съ ними весело жилось. И какія женщины попадались! Пойдутъ всей гурьбой въ концертъ, въ оперу, наслушаются музыки, и до пяти часовъ утра „пивное царство“, поютъ хоромъ каватины, спорять, иные ругаютъ „итальянщину“, дымя коромысломъ, летятъ имена: Чайковский, Рубинштейнъ, Балакиревъ, Сѣровъ! На другой день голова трещитъ. Идетъ въ ходъ зельтерская вода. Покойникъ Василій Алексѣичъ—опять полоса... Натура этого скитальца,

его причуды, лѣнь, умъ, даровитость; невиданное Пирожковымъ обаяніе на женщинъ, вся жизнь, сотканная изъ нѣжныхъ сношеній съ ними. И на это цѣлый годъ пошелъ. „Номера“ рухнули. Да и пора было. Нѣсколько мѣсяцевъ въ деревнѣ отрезвили. Тутъ ужъ планъ работы выяснился: досуга—волю. Хозяйство ведетъ братъ, кушать можно всласть; но и моціону много. Ходи себѣ по липовой аллеѣ и поглощай книжки. Осень стояла необычая. И теперь жаль, что поторопился въ городъ; да какъ-то нельзя...

Пирожковъ сталъ въ раздумьѣ подъ навѣсомъ подъѣзда—куда идти? Идти можно — куда захочешь. Но никуда не нужно идти Ивану Алексѣичу. Нѣтъ у него ни казенной службы, ни конторы, ни работы въ университетскомъ кабинетѣ. Еще не начиналъ ея. Да и не всѣ тамъ съѣхались, профессоръ въ заграничномъ отпуску, ассистентъ боленъ. Зайти, развѣ, по старой памяти, въ аудиторію?—Не хочется; что за охота припоминать зады? Слышно, какой-то доцентъ у юристовъ собираетъ аудиторію человекъ въ двѣсти, говоритъ ново, смѣло, готовится къ лекціямъ. Недурно бы; да кажется лекціи-то его поутру, съ десяти часовъ. Почитать развѣ газеты въ кондитерской? Такъ лучше подняться въ читальню того же Славянскаго Базара. Тамъ десятка два газетъ. Тяжеленко! Съ нѣкоторыхъ поръ Иванъ Алексѣичъ чувствуетъ иногда легкую одышку, ему непріятны всякіе спуски и подъемы. И печень начала немного пошаливать. Нѣтъ-нѣтъ, да и колотье. Онъ пилъ горькую воду въ деревнѣ.

„Куда же идти?“ еще разъ спросилъ себя Пирожковъ и замедлилъ шагъ мимо цвѣтного, всегда привлекательнаго дома синодальной типографіи. Ему рѣшительно не приходило на память ни одного пріятельскаго лица. Зайти въ окружный судъ? На уголовное засѣданіе? Слушать, какъ обвиняется въ кражѣ со взломомъ крестьянинъ Никифоръ Варсонофьевъ и какъ его будетъ защищать „помощникъ“ изъ свреевъ, съ надрывающею душу картавостью? До этого онъ еще не дошелъ въ Москвѣ...

Москва!.. Онъ имѣлъ къ ней слабость, да и теперь любить ее по-своему, какъ „этнографическій центръ“. Изучать ее было бы занимательно. Разбить на области: фабрики, рабочій людъ, нравы и обычаи вотъ этого самаго „города“, расколъ, проституція. Хорошо! Но ежедневныхъ

ресурсовъ просто для развитого человѣка, какъ онъ, съ европейскими привычками, съ желаньемъ послѣ завтрака поговорить о живомъ вопросѣ, найти сейчасъ же подъ бокомъ кружокъ людей... Этого нѣтъ. Прежде у него былъ Лоскутный, были номера на Срѣтенскѣ... Должно-быть молодость проходить; старые пріатели разбрелись и слинились, новыхъ что-то не вырастало. Вотъ Палтусовъ еще изъ самыхъ бойкихъ; но его тинетъ къ наживѣ — это ясно...

Иванъ Алексѣичъ повелъ носомъ. Пахло фруктами, спѣлыми яблоками и грушами—характерный осенній запахъ Москвы въ ясные сухіе дни. Онъ остановился передъ разносчикомъ, присѣвшимъ на корточкахъ у тротуарной тумбы, и купилъ пару грушъ. Ему очень хотѣлось пить отъ густого, принаго соуса къ дикой козѣ, съѣденной въ ресторанѣ. Груши оказались жестковаты, но вкусны. Иванъ Алексѣичъ не стѣснялся ѣсть ихъ на улицѣ. Онъ любилъ свободу, какою всѣ пользуются на парижскихъ бульварахъ, но оставался джентльменомъ, никогда не позволяя себѣ никакой рѣзкой выходки: это лежало въ его натурѣ.

Фруктовые запахи, вкусъ грушъ, не утолившихъ исполнѣ его жажды, привели его къ мысли о квасной лавкѣ. Вѣдь это въ двухъ шагахъ. Ходъ съ Никольской. Онъ перешелъ улицу.

XIII.

Проникають къ квасной лавкѣ — одна только и пользуется извѣстностью — чрезъ Сундучный рядъ, подъ вывѣску, которая доживетъ навѣрное до дня разрушенія Гостинаго двора, съ его норами, провалившимися плитами и половицами, сыростью, духотой и вонью. Но многіе пожатѣють лѣтомъ о прохладѣ Сундучнаго ряда, гдѣ недалеко отъ входа усталый путникъ, измученный толкотней суровскихъ лавокъ и сорочьей болтовней зазывающихъ мальчишекъ и молодцовъ Ножовой линіи, находилъ квасное и съѣдобное приволье...

Иванъ Алексѣичъ студентомъ, и еще не такъ давно, въ „эпоху“ Лоскутнаго, частенько захаживалъ сюда съ компаніей. Онъ не бывалъ тутъ больше двухъ лѣтъ. Но ничто, кажется, не измѣнилось. Даже красный полинялый сундукъ, обитый жестью, стоялъ все на томъ же мѣстѣ. И другой, поменьше, въ лавкѣ рядомъ, съ боками въ бу-

кетахъ изъ розъ и цвѣтныхъ завитушекъ. И такъ же неудобно идти по покатоу полу, все такъ же натыкаешься на ящики, рогожи, доски.

За нѣсколько шаговъ до квасной лавки обдасть васъ сырой свѣжестью погреба, и ягодные газы начинаютъ васъ щекотать въ ноздряхъ. Доносятся испаренія съѣстного. Три разносчика—безсмѣнно промышляющіе на этомъ мѣстѣ—расположились у входа въ лавку, направо и противъ нея. Они въ постоянной суетѣ. День выпалъ скоромный. У двоихъ имѣлись пирожки съ ливеромъ, съ мясомъ и кашей, съ яйцами и капустой, съ яблоками и вареньемъ. Третій предлагалъ ветчину въ большомъ розовомъ кускѣ съ нѣжнымъ жиромъ и жареные мозги. Подальше стоялъ рыбникъ для любителей постной ѣды и въ скоромный день. Разносчики съ фруктами часто проходили мимо, выкрикивая товаръ, и заглядывали въ квасную лавку.

Каждый разъ, когда, бывало, Иванъ Алексѣичъ приходилъ сюда въ пріятельскомъ обществѣ и спрашивалъ: — „Съ чѣмъ пирожки?“ онъ особенно улыбался отъ созвучья съ собственной фамиліей. Не могъ онъ воздержаться отъ точно такой же улыбки и теперь. Передъ нимъ распаивалъ довольно еще чистую верхнюю холстину жилистый, бѣлокурый разносчикъ, откинувшій отъ тяжести все свое туловище назадъ.

— Прикажете парочку?

Пирожковъ сдѣлалъ знакъ рукой, говорившій: „повремени малость“.

Въ просторной лавкѣ безъ оконъ, темной, голой, пыльной, съ грязью по стѣнамъ, по крашенымъ столамъ и скамейкамъ, по прилавкамъ и деревянной лѣстницѣ — внизъ въ погребъ—съ большой иконой посрединѣ стѣны, все покрыто липкимъ слоемъ сладкихъ остатковъ расплесканнаго и размазаннаго квасу. Было тамъ человѣкъ больше десяти потребителей. Молодцы въ черныхъ и синихъ сибиркахъ, пропитавшихся той же острой и склизкой сыростью и плѣсенью, — одни сбѣгали въ подвалъ и приносили квасъ, другіе — постарше — наливали его въ стаканчики-кружки, внизу пузатенькіе и съ вывернутыми краями. Такіе стаканчики сохранились только въ квасныхъ, у сбитенщиковъ, да по селамъ въ харчевняхъ и шинкахъ.

Свободное мѣсто нашлось для Пирожкова у входа на-

право. Онъ заказалъ себѣ грушеваго квасу. Публика всегда занимала его въ этой квасной лавкѣ. Непремѣнно, кромѣ гостинодворцевъ, заѣзжихъ купцовъ, мелкаго приказнаго люда, двухъ-трехъ обтрепанныхъ личностей въ нѣмецкомъ платьѣ, какихъ въ Ножовой зовутъ „Петрушка Уксусовъ“, очутится здѣсь барыня съ покупками, изъ дворянокъ, соблюдающая свѣтскость, но обѣдѣвшая или скупая. Она наѣдается вполтную, но не любитъ встрѣчаться съ знакомыми и, если можно, не узнаетъ ихъ.

Все смотрѣло и сегодня, какъ тому быть слѣдовало. Иванъ Алексѣичъ оглядывалъ публику, попивая холодный, бьющій въ носъ, мутноватый квасъ. Вотъ и барыня. Она опорожнила три стакана квасу послѣ полфунтоваго ломтя ветчины и четырехъ пирожковъ, и собираетъ свои покупки. Барынь лѣтъ подъ сорокъ. Она нарумянена. Это видно изъ-подъ вуалетки. Носъ и лобъ ея лоснятся отъ испарины. Губы сжаты такъ, какъ онѣ сжимаются у обѣдѣвшихъ помѣщицъ, желающихъ во что бы то ни стало поддержать „положеніе въ обществѣ“. Пирожковъ узналъ ее. Они встрѣчались въ одномъ домѣ, гдѣ ее терпѣть не могли, но принимали запросто.

Барыня, должно-быть, не разглядѣла Пирожкова. Она встала, прикрикнула на мальчишку, заставила его подать себѣ корзину и пошла къ дверямъ. Онъ привсталъ и сказалъ ей:

— Bonjour, madame!

Она вся выпрямилась, громко отвѣтила ему: „Bonjour, monsieur!“ и, отворотясь, вышла изъ лавки.

Разносчикъ съ простывшими наполовину пирожками опять выросъ передъ нимъ. Иванъ Алексѣичъ съѣлъ одинъ съ яблоками, повторилъ съ вареньемъ. Это заново зажгло у него жажду. Онъ спросилъ вишневаго квасу и выпилъ его двѣ кружки. Желудокъ точно расперло какими распорками: поднимался оттуда родъ опьянѣнія, пріятнаго и остраго, какъ отъ шампанскаго. Наискосокъ отъ него, за стеклянной дверью, другой разносчикъ наклонился надъ доскою, служившей ему столомъ, и крошилъ мозги на мелкіе куски; посоливъ ихъ потомъ, положилъ на листъ оберточной бумаги и подаль купцу, вмѣстѣ съ деревянной палочкой — замѣсто вилки — и краюшкой румяной сайки.

Слюнки полились у Ивана Алексѣича. Онъ позавтракать, ѣлъ сейчасъ сладкое, но аппетитъ поддавался раздра-

женью. Гадость вѣдь, въ сущности, это крошево на бумагѣ. А вкусно смотрѣть. За вишневымъ квасомъ пошли кусочки мозговъ. За мозгами сѣдены были два куса арбуза, сахаристаго, съ мелкими, рыхло сидѣвшими зернами, который такъ и таялъ подъ небомъ все еще разгоряченнаго рта.

Выйдя на Никольскую, Иванъ Алексѣичъ придавилъ себя пухлой ручкой по животу, подъ правымъ ребромъ.

„Что же это я?.. Отъ бездѣлья?!“

И ему стало стыдно.

XIV.

Никольская была ему достаточно знакома. Студентомъ онъ покупалъ и продавалъ книги въ лавкѣ Ивана Кольчугина. Сюда же, въ другую лавчонку, продалъ онъ переводъ книжки по технологіи еще на первомъ курсѣ. За листъ заплатили ему по семи рублей. Тогда онъ перебивался; изъ дому получалъ не всегда аккуратно. Вотъ и лавка стараго серебряника. За стекломъ стоятъ позолоченныя солонки русскаго образца съ крышкой и круглая для подношенія „хлѣба-соли“. Не лучше ли вотъ это изучать, чѣмъ засиживаться въ квасной лавкѣ? Тутъ народный вкусъ, рисунокъ, своеобразное изящество...

Но Ивану Алексѣичу показалось, что солонку, которую онъ въ эту минуту разсматривалъ, онъ уже торговалъ разъ, года два тому назадъ. Ему помнилось, что она не серебряная, а мѣдная, позолоченная. Вотъ онъ спросить.

— Солоночка-то,—обратился онъ къ приказчику,—вотъ эта, около образа Николая Чудотворца, какая ей цѣна?

— Три съ полтиной!

„Три съ полтиной!—думалъ онъ,—разумѣется, не серебряная. Съ перваго слова, и такая цѣна!..“

— Да она изъ чего?

— Бронзовая-съ... Черезъ огонь золоченая.

Такъ и есть; онъ не ошибся. Вотъ и зеленое пятнышко на створчатой крышкѣ отъ времени. И его онъ вспомнилъ.

— Штиблеты лаковые!.. Господинъ! штиблеты!—окачивалъ его крикливымъ теноромъ „носящій“, въ резиновыхъ калошахъ на босу ногу, съ испытнымъ лицомъ, подтеками на вискѣ и въ халатѣ.

„Не купить ли?“—Иванъ Алексѣичъ испытывалъ ощущеніе малодушнаго позыва къ покупкамъ, такъ, по-

дѣтски, чего-нибудь... По тѣлу внутри разлилась истома; всего пріятнѣе было останавливаться почаще, перекинуться парой словъ, поглядѣть... А покупка все какъ будто дѣло...

— Цѣна?—спросилъ онъ кротко-смѣшливымъ тономъ, хорошо извѣстнымъ его пріятелямъ.

— Шесть рублей, господинъ!

— Будто?—продолжалъ Иванъ Алексѣичъ въ томъ же тонѣ.

Ему припомнилась сцена изъ англійскаго романа въ русскомъ переводѣ, гдѣ юморъ состоитъ въ томъ, что спрашивали: „Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэръ?“ И опять: „Что вы желаете за эту очень маленькую вещь, сэръ?“ Въ Лоскутномъ они цѣлюю недѣлю „ржали“, отыскавъ этотъ отрывокъ, и безпрестанно повторяли другъ другу: „Что вы желаете за эту чрезвычайно маленькую вещь, сэръ?“

— Шесть рублей — никогда!.. дурачился Иванъ Алексѣичъ.

— Для почину — четыре!.. Нынче праздникъ, господинъ...

— Какой это?

— Опохмеленья!—и халатникъ показалъ зеленые зубы.

Не купить ли въ самомъ дѣлѣ? Онъ тодасть за три рубля. И тотчасъ передъ Пирожковымъ всплыла, какъ живая, сцена: товарищъ его, Чистяковъ, теперь адвокатъ, выдержалъ экзаменъ и на радостяхъ купилъ у носящаго такіе вотъ „штиблеты“. И въ тотъ же день въ Сокольникахъ одна изъ ботинокъ располыснулась отъ носка до щиколки, и онъ остался въ носкахъ. Тоже какой былъ хохоть! И умные, искристые, полные комизма глаза покойника Шумскаго виднѣются ему со сцены, въ пьесѣ, передѣланной съ французскаго, гдѣ онъ приходитъ въ меховой шапкѣ, купленной у „носящаго“ въ городѣ. И какъ онъ художественно игралъ ощущение страха, когда явилось у него пятно на рукѣ и онъ увѣрился, что зарезился отъ шапки! Давно это—еще гимназистомъ видѣлъ.

— Не надо, голубчикъ,—сказалъ Пирожковъ уже серьезно халатнику.

Носящій началъ приставать. Чтобы отдѣлаться отъ него, Иванъ Алексѣичъ перебѣжалъ улицу противъ лавки съ тульскими издѣліями. Мѣдъ самоваровъ, охотничьихъ роговъ, кофейниковъ, тазовъ слѣпила глаза. Ему показа-

лось, что тутъ много новыхъ вещей, какихъ прежде не дѣлали. Онъ поднялся въ лавку. Теперь его еще больше щемило неудержимое, совсѣмъ дѣтское жаланіе что-нибудь купить. Съ полки выглядывало нѣсколько садовыхъ шандаловъ съ пыльными колпаками. Вечера еще стояли теплые. Въ номерахъ, гдѣ онъ живетъ — балконъ. Недурно оставаться подольше на балконѣ.

— Сколько стоитъ?

— Рубль семь гривенъ.

Поторговались. Шандалъ купленъ за рубль пятнадцать копеекъ. Нести его очень неловко. Иванъ Алексѣичъ опять перешелъ улицу, поравнялся съ бумажными лавками въ началѣ „глаголей“ Гостиного двора. Захотѣлось вдругъ купить графленой бумаги и записную книжку. Это еще больше его затруднило; но онъ успокоился послѣ этихъ новыхъ покупокъ.

Вышелъ онъ на Красную площадь. День еще потеплѣлъ послѣ полудня. Свѣтъ, вмѣстѣ съ пылью, такъ и гулялъ по длинному полотну мостовой — отъ Воскресенскихъ воротъ до Василя Блаженного. Направо давить красная кирпичная глыба Историческаго музея, расползшаяся и въ ширь, и въ глубь, съ ея восточной крышей, башнями, минаретами, столбами, выступами, низменнымъ ходомъ. На разстояніи—Пирожковъ нарочно отошелъ влѣво, ближе къ памятнику—музей нравился ему теперь гораздо больше, чѣмъ не такъ давно. Онъ мирился съ нимъ. Прежде онъ почти негодовалъ, находилъ, что эта „груда кирпича“ испортила весь обликъ площади, заперла ее, отняла у Воскресенскихъ воротъ ихъ стародавнюю жизнь.

Глазъ достигалъ до дальняго края безоблачнаго темнѣющаго неба. Девять куполовъ Василя Блаженного, съ перевитыми, зубчатыми, точно булавы, главами, пестрѣли и тѣшили глазъ, словно гирлянда, намалеванная даровитымъ ребенкомъ, разыгравшимся среди мрака и крови, дремучаго холопства и изувѣрныхъ ужасовъ лобнаго мѣста. „Горячечная грѣза зодчаго“,—перевелъ про себя Пирожковъ французскую фразу иноземца-судьи, недавно имъ вычитанную.

Птицы на головахъ Минина и Пожарскаго, протянутая въ пространство рука, пожарный солдатикъ у рѣшетки, осѣвшійся, немощный и плоскій куполь Гостиного двора и вся Ножовая линія съ ея фронтономъ и фризомъ, облѣзлой штукатуркой и барельефами, темные, пятнистые

ящики Никольскихъ и Спасскихъ воротъ, отпотьблая стѣна съ башнями и подъ нею загороженное мѣсто обвалившагося бульвара; а изъ-за зубцовъ стѣны — легкая ротонда сената, голубая церковь, точно перенесенная изъ Италіи, и дальше — сказочныя золотыя луковицы соборовъ — знакомые, сотни разъ воспринятые образы стояли въ своей вѣковой неподвижности... Площадь полна была дребезжанья дрожекъ и глухого грохота тяжелыхъ воевъ. Пѣшеходы и дрожки тянулись внизъ къ Москвѣ-рѣкѣ и по двумъ путямъ въ Кремль. Сѣдоки и извозчики снимали шапки, не дожидая Спасскихъ воротъ. Изъ Никольскихъ чаще спускались экипажи съ господами.

„Мужикъ, артельщикъ, купецъ, купчиха, адвокатъ“, — считалъ Пирожковъ, и минутъ съ десять предавался этой статистикѣ. Въ десять минутъ не проѣхало ни одной кареты, не прошло ни одной женщины, которую онъ способенъ былъ назвать „дамой“.

Его точно ткнуло въ Кремль. Онъ поднялся черезъ Никольскія ворота, замѣтилъ, что внутри ихъ немного поправили штукатурку, взялъ вдоль арсенала, началъ считать пушки и остановился передъ мѣдной доской за стекломъ, гдѣ по-французски говорится, когда всѣ эти пушки взяты у великой арміи.

Вдругъ его кольнуло. Онъ даже покраснѣлъ. Неужели Москва такъ засосала и его? Отъ дворца шло семейство, то самое, что завтракало въ Славянскомъ Базарѣ. Дѣти раскисли. Отецъ кричалъ, весь красный, обращаясь къ женѣ:

— Мерзавцы! Канальи! Вездѣ грабежъ!

„И я — изъ ихъ породы, — подумалъ Иванъ Алексѣичъ, — и я направляюсь, должно-быть, въ Оружейную палату?“

Онъ участилъ шаги и махнулъ извозчику. Къ нему подлетѣло нѣсколько пролетокъ отъ зданія судебныхъ мѣстъ.

Поскорѣ въ университетъ, въ кабинеты, хотъ сторожа спросить, съ нимъ поболтать, хотъ нюхнутъ пыльных шкаповъ съ препаратами!.. А крестъ Ивана горѣлъ алмазомъ и брызгалъ золотыя искры по небу...

— На Моховую! — крикнулъ Пирожковъ, снялъ шляпу идохнулъ полной грудью.

XV.

— Вадима Павловича можно видѣть?—освѣдомился Палтусовъ у артельщика.

Передняя, въ видѣ узкаго коридора, замыкалась дверью въ глубинѣ, а справа другая дверь вела въ контору. Все глядѣло необыкновенно чисто: и вѣшалка, и столъ съ зеркаломъ, и шкафъ, разбитый на клѣтки, съ мѣдными блешками подъ каждой клѣткой.

— Сейчасъ доложу,—сказалъ сухо-вѣжливо артельщикъ и скрылся за дверью.

Это былъ первый дѣловой визитъ Палтусова, по порученію Калакуцкаго, довольно тонкаго свойства. Подрядчикъ хотѣлъ испытать ловкость своего новаго „агента“ и послалъ его именно сюда. Палтусову было бы крайне непріятно потерпѣть неудачу.

Его заставили прождать минуты три; но онѣ показались ему долгими. Раза два выпрямлялъ онъ талію передъ зеркаломъ и даже сталъ отряхивать соринку съ рукава.

— Пожалуйте,—пригласилъ его малый.

Онъ прошелъ черезъ комнату, похожую на контору нотаріуса. Тамъ сидѣло человекъ пять. Посторонняго народа не было.

— Туда, въ уголь,—указалъ ему одинъ изъ служащихъ.

Надо было зайти за рѣшѣтку и взять влѣво мимо конторокъ. Оттуда вышелъ полный, бѣлокурый мужчина. Палтусовъ замѣтилъ его рѣдкіе волосы и типичное лицо купца-чиновника, какіе воспитываются въ коммерческой академіи. Это былъ завѣдующій конторою, но не самъ Вадимъ Павлычъ. Онъ возвращался съ доклада. Палтусову онъ сдѣлалъ небольшой поклонъ.

Палтусовъ ожидалъ вступить въ большой, эффектно обставленный кабинетъ, а попалъ въ тѣсную комнату въ два узкихъ окна, съ изразцовой печкой въ углу и письменнымъ столомъ противъ двери. Налѣво—клеенчатый диванъ; у стола—вѣнскій гнутый стулъ, у печки—высокая конторка, за кресломъ письменнаго стола—полки съ картами: убранство кабинета у средней руки конториста.

Палтусовъ назвалъ себя и прибавилъ: „отъ Сергѣя Степановича Калакуцкаго“.

Надъ столомъ привсталъ и наклонилъ голову человекъ лѣтъ сорока, полный, почти толстый. Его темные, вью-

щіея волосы, матовое, широкое лицо, тонкій носъ и красивая короткая борода шли къ глазамъ его, чернымъ, съ длинными рѣсницами. Глаза эти постоянно смѣялись, и въ складкахъ рта сидѣла усмѣшка. По тому, какъ онъ былъ одѣтъ и держалъ себя, онъ сошелъ бы за купца или фабриканта „изъ новыхъ“, но въ выраженіи всей голы сказывалось что-то не купеческое.

Палтусовъ это тотчасъ же оцѣнилъ. Да онъ и зналъ уже, что Вадимъ Павловичъ Осетровъ попалъ въ дѣла изъ учителей гимназій, что онъ кандидатъ какого-то факультета и всѣмъ обязанъ себѣ, своему уму и предпримчивости. Разбогатѣлъ онъ на рѣчномъ промыслѣ, гдѣ-то на низовьяхъ Волги.

Руки Палтусову онъ первый не протянулъ, но пожалъ, когда тотъ подалъ ему свою.

— Милости прошу!—указалъ онъ ему на стулъ.

Вышла маленькая пауза. Глаза Осетрова произвели въ Палтусовѣ что-то въ родѣ неловкости.

— Я—отъ Сергѣя Степаныча,—повторилъ онъ и началъ скоро, но тѣмъ тономъ, какой онъ желалъ бы самъ придать своимъ рѣчамъ. Началомъ своего визита онъ не былъ доволенъ.

— Да-а?—откликнулся Осетровъ. Онъ говорилъ высокимъ, барскимъ, маслянымъ голосомъ съ маленькой шепелявостью: произносилъ букву „л“, какъ „о“. Въ этомъ слышался московскій уроженецъ.

— Сергѣй Степановичъ уже бесѣдовалъ съ вами по новому товариществу на вѣрѣ, и онъ теперь хотѣлъ бы приступить къ осуществленію.

„Глупо, книжно!“—выругалъ себя Палтусовъ.

— Какъ же, — точно про себя выговорилъ Осетровъ, пододвинувъ къ гостю папирсы, и сказалъ съ интонаціей комическаго чтеца:—угощайтесь.

Палтусовъ обрадовался папирсѣ. Она давала ему „отвлеченіе“. Онъ однимъ мигомъ построилъ въ головѣ нѣсколько фразъ гораздо точнѣе, кратче и дѣловитѣе.

— Ему бы хотѣлось знать,—продолжалъ онъ увѣреннѣе, и совсѣмъ смѣло поглядѣлъ въ смѣющіеся глаза Осетрова,—можетъ ли онъ разсчитывать и на васъ, Вадимъ Павлычъ?

Осетровъ затынулся, откинулъ голову на спинку стула, пустилъ струю, и изъ насмѣшливаго рта его вышелъ звукъ въ родѣ:

— Фэ, фэ, фэ!..

„Не войдетъ“,—рѣшилъ Палтусовъ и почувствовалъ, что у него въ спинѣ испарина.

Ему, конечно, не дѣтей крестить съ Калакуцкимъ! Однимъ крупнымъ пайщикомъ больше или меньше—обойдется; у него хватить и кредиту, и знакомства. Но обидно будетъ, „по первому же абцугу“, дать осячку и вернуться ни съ чѣмъ. Надо чѣмъ-нибудь смазать эту „шелъму“,—такъ опредѣлилъ Осетрова Палтусовъ.

— Да зачѣмъ я ему?—спросилъ Осетровъ ласково-пренебрежительно, и такъ посмотрѣлъ на Палтусова, какъ бы хотѣлъ сказать ему: „да вы развѣ не знаете вашего милѣйшаго Сергѣя Степаныча?“

Палтусовъ и это понялъ. Ему надо было сейчасъ же поставить себя на равную ногу съ Осетровымъ, доложить ему, что они люди одного сорта, „изъ интеллигенціи“, и должны хорошо понимать другъ друга. Этотъ дѣлецъ изъ университетскихъ смотрѣлъ докой—не чета Калакуцкому. Такимъ человѣкомъ слѣдовало заручиться, хотя бы только какъ добрымъ знакомымъ.

XVI.

— Позвольте, Вадимъ Павлычъ,—началъ уже другимъ тономъ Палтусовъ,—быть съ вами по душѣ. Вы меня, можетъ, считаете компаньономъ Калакуцкаго? Человѣкомъ... какъ бы это выразиться... *de son bord*?

Онъ не безъ намѣренія вставилъ французское выраженіе, удачно выбранное.

Осетровъ сидѣлъ на креслѣ въ полъ-оборотъ и смотрѣлъ на него черезъ плечо прищуреннымъ лѣвымъ глазомъ, а губы, скосившись, пускали тонкую струю дыма.

— Вы кто же?—спросилъ онъ мягко, но довольно безцеремонно.

У Палтусова капнула на сердце капелька желчи.

— Я—такой же новичокъ, какъ и вы были, Вадимъ Павлычъ, когда начинали присматриваться къ дѣламъ. Мы съ вами учились сначала другому. Мнѣ ваша карьера немного извѣстна.

Лицо Осетрова обернулось всѣмъ фасомъ. Онъ отнялъ отъ рта папиросу.

— Вы университетскій?

— Я слушалъ лекціи здѣсь,—отвѣтилъ скромно Палту-

совѣ: онъ скрылъ, что экзамена не держалъ,—послѣ того, какъ побывалъ въ военной службѣ, въ кавалеріи.

— Изъ офицеровъ?—съ удареніемъ добавилъ Осетровъ и засмѣялся.

— Да, изъ офицеровъ. Участвовалъ въ послѣдней кампаніи,—вскользь сказалъ Палтусовъ и продолжалъ:—думаю теперь войти въ промысловое дѣло. У Калакуцкаго я занимаюсь его порученіями...

— Что получаете?

Этотъ вопросъ начиналъ коробить Палтусова, но онъ закусилъ губы и сдержалъ себя. Да это ему и не вредило въ сущности.

— Содержаніе до пяти тысячъ. Съ процентами надѣюсь заработать въ этомъ году до десяти.

— Начало не плохое,—одобрительно вымолвилъ Осетровъ.—Вашъ принципаль—шустрый дворянинъ. Пока — и онъ остановился на этомъ словѣ — дѣла его идутъ недурно. Только онъ забираетъ очертя голову, хапаетъ не въ мѣру... Жалуются на его стройку... Я вамъ это говорю по-просту. Да это и всѣ знаютъ.

Палтусовъ промолчалъ.

— Видите ли,—Осетровъ совсѣмъ обернулся и уперся грудью о столъ, а рука его стала играть бѣлымъ костянымъ ножомъ,—для Калакуцкаго я человѣкъ совсѣмъ не подходящий. Да и минута-то такая, когда я самъ создалъ паевое товарищество и вотъ жду на-дняхъ разрѣшенія. Такъ мнѣ изъ-за чего же идти? Мнѣ и самому всѣ деньги нужны. Вы имѣете понятіе о моемъ дѣлѣ?

— Имѣю, хотя и не въ подробностяхъ.

— Привилегія взята на всю Европу и Америку. Парижъ и Бельгія въ прошломъ году сдѣлали мнѣ заказъ на нѣсколько сотъ тысячъ. Не знаю, какъ пойдетъ дальше, а теперь нечего Бога гнѣвить... Мои пайщики получили ни много, ни мало—сто сорокъ процентовъ.

— Сто сорокъ?—воскликнулъ Палтусовъ.

— Да. Будетъ давать и двѣсти, и больше. Когда расширится на всю Россію, да нѣмцевъ прихватимъ...

— Да вѣдь это вчетверо выгоднѣ всякой мануфактуры?—вырвалось у Палтусова.

— Еще бы!.. Шуйское дѣло въ этомъ году тридцать пять дало, такъ объ этомъ какъ звонятъ!..

— Вадимъ Павловичъ,—одушевился Палтусовъ, — вы,

конечно, понимаете... Калакуцкому—онъ уже не казывалъ его „Сергѣемъ Степановичемъ“—нужно ваше имя...

— Я въ учредители не пойду... Я ему это сказалъ досконально.

— Ну, просто пай, другой возьмете... для меня сдѣлайте!..

— Для васъ?—съ недоумѣніемъ переспросилъ Осетровъ.

— Вашъ отказъ поставить меня невыгодно. Онъ напишетъ это моему неумѣнію. А вѣдь мы, Вадимъ Павловичъ, люди изъ одного міра. Между нами должна быть поддержка... стачка...

— Стачка?

— Да-съ, стачка развитія и честности. Вы поднялись однимъ трудомъ и талантомъ. Я вижу въ васъ самый достойный образецъ. Вашъ пай, хоть одинъ, дасть каждому дѣлу другой запахъ; это и для меня гарантія. Я вѣдь пайщикъ Калакуцкаго.

„Экой ты какой, безъ мыльца влѣзешь!“—говорили глаза Осетрова.

— Что жъ,—помолчавъ, сказалъ онъ, — я возьму пая три... не больше.

— Позвольте пожать вашу руку. Вы меня много обязали. — Не посѣтуете, если я съ васъ попрошу взяточку?

— Какую?

— Только уговоръ лучше денегъ. Какъ нѣмцы говорить: *nicht schlimm gemeint*. У васъ пай не всѣ разобраны?

— Нѣтъ еще. Мы удвоили.

— Почему они?

— По тысячѣ рублей.

— Могу я просить у васъ два пая?

— Съ удовольствіемъ. Вотъ когда уладимъ. Понавѣдайтесь.—Вы, значить, при капиталѣ?

— Такъ, крохи...

— Отъ рара и шапан?

— Именно!.. ха-ха!

Произошло рукопожатіе. Осетровъ привсталъ, но до дверей не провожалъ его. Въ передней Палтусовъ далъ двугривенный слугѣ, и когда спулся съ лѣстницы, почувствовалъ, что у него лобъ влаженъ.

„Не моему принципалу чета,—повторялъ онъ на дрожахъ по дорогѣ на Ильинку. — Этотъ—Руэръ, и лицо-то такое же, точно съ юга Франціи. Онъ Калакуцкихъ-то дюжину съѣстъ. Надо его держаться“...

Оба порученія исполнены, и за второе онъ особенно былъ доволенъ. Дворянскій гоноръ немного щемилъ; но все обошлось съ достоинствомъ.

XVII.

Прошло три часа. Въ рядахъ стараго Гостинаго двора дѣятило. И съ утра въ нихъ мало движенія. Подъ низкими сводами приютились „амбары“ — склады самыхъ первыхъ мануфактурныхъ и торговыхъ фирмъ, всего больше изъ хлопчатобумажнаго и прядильнаго дѣла. Эти лавки смотрятъ невзрачно, за исключеніемъ нѣсколькихъ, отдѣланныхъ уже по-новому, съ дорогими стеклами въ дубовыхъ и орѣховыхъ дверяхъ, съ фигурными, чугуными досками. Вдоль стѣнъ стоятъ соломенные диваны и козлы, на какихъ купцы любятъ играть въ „дамки“ и „поддавки“. Кое-гдѣ сидятъ сухіе, пожилые приказчики, въ длинныхъ, ваточныхъ чуйкахъ или просторныхъ пальто съ бобромъ, и однозвучно перекидываются словами. Выползетъ со внутренняго двора, изъ-подъ сводчатыхъ воротъ, огромный возъ съ товаромъ. Лошадь станетъ, вся вытянется, напрягутся жилы. Непомѣрная тяжесть тащить ее назадъ, да тутъ еще подвернулся камень, вывороченный изъ отсырѣлой мостовой, покрытой грязью, съ ямами, цѣлыми ручьями въ дождь, съ обвалами и промоинами. Ломовой, съ безмысленною злобью, хлещетъ лошадь вожжами по глазамъ, подъ брюхо, потомъ ухватить, что попало — полѣно, доску — и колошматить свою собственную животину. Мальчишка изъ трактира съ чайникомъ топчется и кричитъ также на лошадь. Сидѣльцы ухмыляются или бранятъ извозчика.

— Родимая! — гаркнетъ всѣми внутренностями ломовой и, ухвативъ за супонь, выбѣжитъ на улицу, вмѣстѣ съ возомъ, послѣ чего начинается костить своего бурога: — жидъ, анаема, стерва!..

Потомъ опять все тихо. Со двора доносятся голоса, когда идетъ отправка или приѣмъ товара. Тамъ цѣлыя горы тюковъ и ящиковъ захватили арки и выползли со всѣхъ сторонъ на средину двора. Вороха роговъ, цыновъ, плетушекъ, кулей лежатъ тутъ недѣлями и мѣсяцами, мокнуть, прѣютъ, жарятся на солнцѣ. Одной хорошей искры довольно, чтобы все это вспыхнуло и превратило дворъ въ огненную печь. Но хозяева не боятся. Имъ тутъ хорошо и покойно. — Богъ дастъ, и простоятъ все



по-дѣдовски, пока будетъ стоять старый Гостинный дворъ. „Амбары“ у нихъ — наслѣдственные; они ихъ покупали на кровныя деньги. Наемная цѣна имъ высокая. За одинъ створъ до четырехъ тысячъ въ годъ берутъ.

Тяжелый, неуклюжій, покачнувшійся корпусъ глядитъ на двѣ улицы. Посрединѣ онъ сѣлъ книзу; къ улицамъ идутъ подъемы. Изъ рядовъ къ мостовой опускаются каменные ступени или деревянные мостки съ набитыми брусьями, крутые, скользкіе, въ слякоть грозящіе каждому, и трезвому прохожему. Внизу, въ подпольномъ этажѣ размѣстились подвалы и лавки — больше къ Ильинкѣ, гдѣ сѣзжать въ переулокъ и подниматься нестерпимо тяжело для лошадей, а двумъ возамъ нельзя почти разбѣжаться съ товаромъ. А тутъ еще расположилась посудная лавка съ своей соломой, ящиками и корзинками. Насупротивъ, желѣзный и москательный товаръ валяется въ пыли и темнотѣ. Весь этотъ уголъ даетъ свѣжему человѣку чувство рядской тѣсноты и скученности, чего-то татарскаго по своему неудобству, неряшеству, погонѣ за грошовой выгодой.

По Варваркѣ, противъ церкви и поближе, дожидалось двое широкихъ хозяйскихъ пролетовъ, съ заводскими жеребцами. Одинъ кучеръ курилъ; другой нѣтъ. Онъ служилъ у безпоповскаго раскольника. По этой сторонѣ линія смотрѣла повеселѣе. Лавки шли всякія, рядомъ съ амбарами первыхъ тузовъ много и „не пущихъ“.

На двухъ створахъ съ дубовыми дверями мѣдныя доски, старательно отчищенные, ярко выставляли рельефныя слова: „Мирона Станицына сыновья“. Снаружи черезъ стекла дверей просвѣчивали бѣлыя стѣны, чугунная лѣстница во второй этажъ, широкое окно въ глубинѣ, правѣе — перила и конторки. Никакого товара не было видно ни на полу, ни по стѣнамъ. У дверей стоялъ, держась за ручку, молодецъ въ синей чуйкѣ, Его обязанность въ этомъ только и заключалась. Амбаръ былъ изъ самыхъ помѣстительныхъ и шелъ подъ крышу. Въ верхнемъ этажѣ — также съ галлереей — находились склады товара, матерій и суконъ. Матеріи производила фирма „Станицына сыновья“. Сукно шло съ фабрики жены представителя фирмы, старшаго брата. Младшій находился въ слабоуміи.

Конторщики, въ первомъ отдѣленіи амбара, беззвучно писали и изрѣдка щелкали по счетамъ. Ихъ было трое. Старшій въ нѣмецкомъ платьѣ, въ черепаховыхъ очкахъ,

съ клинообразной бородой, въ которой пробивалась уже сѣдина — скорѣе оптикъ или часовщикъ по виду, чѣмъ приказчикъ — нѣтъ-нѣтъ да и посмотреть поверхъ очковъ на дверь въ хозяйскую половину амбара.

На перилахъ лежало два пальто постороннихъ лицъ; одно военное; черезъ дверь долетали раскаты разговора. Слышались жидкіе звуки мужского голоса, картаваго и надтреснутаго, и болѣе молодой горловой баритонъ съ офицерскими переливами. Между ними врѣзывался смѣхъ, должно-быть, плюгавенькаго человѣчка, какой-то нищенскій, вздутый какъ пузырь, ничего не говорящій смѣхъ...

XVIII.

Вдругъ малый пришелъ въ волненіе, схватился за ручку, широко распахнулъ половинку, нагнулъ голову ниже плечъ и тряхнулъ потомъ головой.

Въ амбаръ вошла „сама“. Этого никто не ожидалъ, кромѣ, быть-можетъ, старшаго конторщика. Онъ быстро всталъ, выбѣжалъ изъ-за перегородки, сложивши руки на груди, съ переплетенными пальцами, поклонился два раза и полушопотомъ выговорилъ:

— Матушка, все ли въ добромъ здоровьѣ?

Она поклонилась ему ласково и степенно, какъ кланяются купчихи первыхъ домовъ, одной головой, безъ наклоненія стана. Этой женщинѣ, сквозь прозрачную вуалетку, точно посыпанную золотымъ пескомъ, врядъ ли бы кто далъ больше двадцати трехъ лѣтъ. Ей было уже двадцать семь. Рослая, съ прекраснымъ бюстомъ, не жирной, но не худой шеей и тонкой, умной головой, — она смотрѣла настоящей дамой. Ее охватывало короткое пальто изъ чернаго фая. Оно позволяло любоваться линіей ея талии и переходило въ кружевную оборку. Широкіе, моднаго покроя, рукава, также отдѣланные кружевами и бахромой изъ гофрированныхъ шелковыхъ кусочковъ, выпускали наружу только ея пальцы въ свѣтлосѣрыхъ перчаткахъ. Вокругъ шеи шелъ кружевной высокій барокъ. Изъ-подъ пальто выходило узкое, песочнаго цвѣта, тяжелое платье: спереди настолько высокое, что вся нога, въ башмакахъ съ пряжками и цвѣтныхъ, шелковыхъ чулкахъ, была видна. На ея лобъ и глаза, глубоко сидѣвшіе въ впадинахъ, легла тѣнь отъ полей широкой „рубенсовской“ шляпы съ густымъ темногранатовымъ перомъ.

Въ этой „хозяйкѣ“ по костюму было много европейски-

живописнаго. Но овалъ лица, саванитость его, что-то неуловимое въ движеніяхъ говорило о коренной Руси, о той почвѣ, гдѣ она выросла и распустилась. Красавицей врядъ ли бы ее назвали; но всякій бы остановился.

— Кто здѣсь? — тихо спросила она старшаго конторщика и сдѣлала шагъ назадъ. Лобъ ея наморщился.

— Тотъ-съ... офицеръ-съ, Саввы Иваныча сыночекъ... съ крестомъ... Изволите знать?

Она только опустила глаза и сжала губы. Все лицо ея точно наполнилось презрительнымъ чувствомъ.

— А еще?

— Еще... господинъ Ифкинъ. Такъ, вѣжетен, ихъ прозвание? Они всегда-съ...

Станицына не дала ему договорить и сказала:

— Доложите.

— Да пожалуйста, матушка.

— Доложите,—повторила она.

Старикъ осторожно пріотворилъ дверь. Разговоръ смолкъ. Онъ вошелъ и вернулся тотчасъ же. А за нимъ выбѣжалъ ражій офицеръ, съ краснымъ, лоснящимся лицомъ, завитой, съ какими-то рожками на лбу, еще мальчишкѣ по лѣтамъ, но уже ожирѣлый, въ уланскъ съ краснымъ кантомъ и золотой петлицей на воротникѣ. Уланка была еще парочно пемѣрно коротко и узко, такъ что формы корпета выставлялись напоказъ при каждомъ поворотѣ. Въ петлицѣ торчалъ солдатскій георгіевскій крестъ на широкой лентѣ и какъ будто болѣе чѣмъ въ разѣ, чѣмъ дѣлають обыкновенно.

— Entrez, entrez... Анна Серафимовна! Какъ же вы это съ докладомъ?!. Вашъ мужъ приказалъ вамъ сказать, что у насъ женскаго пола нѣтъ. Ха-ха! Мы здѣсь какъ монахи! Даже стапаны у насъ съ чаемъ!

Онъ и смѣялся, и нахально оглядывалъ ее, и какъ-то переминался съ ноги на ногу, позыкивая шнорами и разставляя ноги по-кавалерійски.

Уланъ приходился дальнимъ родственникомъ ей мужу. Онъ съ камрадомъ пошелъ въкоопредѣляющимся въ гвардію, изъилъ ту суму, но въ тѣхъ чинахъ, куда поступилъ, все-таки не долгалъ офицеромъ. Теперь онъ и спалъ, и вѣдѣлъ, какъ бы ему прикомандироваться, пріѣхалъ въ четыреххѣбечный отсуекъ, пьивествовать и спускалъ отцовскія деньги въ "дѣло" и "благородіе". Родители его пріислались Серафимовскими. Это его помѣло стѣснило;

зато у него былъ французскій языкъ. И врядъ ли во всей, даже гвардейской, кавалеріи кто такъ умѣлъ носить рейтузы и длинный до пояса козырекъ, какъ онъ. Да и никто, когда они стояли подъ Константинополемъ, не слалъ такихъ лаконическихъ французскихъ телеграммъ:

„Papa, perdu dix mille francs. Envoyez traite. Si non— adieu. Feraï un mauvais coup!—Théodule“.

Его дѣйствительно знали „Теоуль“; но онъ переименовалъ себя потомъ въ „Теофила“.

Изъ двери показался штатскій, худой, короткій, съ рѣдкими волосиками на лбу, въ усахъ, смазанныхъ къ концамъ, черноватый, въ короткомъ сюртучкѣ и пестромъ галстукѣ, одинъ изъ заурядныхъ дворянчиковъ, состоявшихъ безсмысленно при мужѣ Станицыной. За нимъ, кромѣ хорошаго обращенія и того, что онъ зналъ дни именинъ и рожденія всѣхъ барынь на Поварской и Пречистенкѣ, уже ничего не значилось.

— Madame!—вскрикнулъ онъ и закатился смѣхомъ.— Veuillez entrer!.. Вы насъ хотѣли накрыть?! N'est ce pas, Théodule?!

И оба они ввели ее въ хозяйское помѣщеніе амбара.

XIX.

Лицомъ къ двери, у большого стола съ двумя низкими пюпитрами краснаго дерева,—диваны и стулья съ сафьян-ной обивкой были такіе же,—вытянулъ ноги на средину комнаты, сидя на краю стола, мужъ Аппы Серафимовны Станицыной, Викторъ Мироновичъ. Онъ казался головой выше улана. Народъ называетъ такое сложеніе „глистой“. Узость плечъ, приподнятыхъ и острыхъ, вытянутая шея съ кадыкомъ, непомѣрная длина рукъ и ногъ дѣлали его непріятнымъ на взглядъ по одной уже фигурѣ. Голова подходила къ остальному складу: лобъ, сдвинутый съ бровей и сверху сжатый, заостренная макушка и выдающийся затылокъ достаточно говорили о его мозговомъ устройствѣ. Желторусые волосы висѣли на вискахъ и на лбу. Въ лицѣ сохранялась молодость и женоподобная, и мальчишеская, что-то изношенное и недозорѣлое, развратное и безнормальное. Онъ страдалъ глазами. Красныя вѣки окружали его желтоватые, длинные глаза, всегда съ одними и тѣми же выраженіемъ подозрѣванія и злоскальства. Рѣсницы по цвѣту были почти свѣтлорыжія. Подъ маленькимъ, раздутымъ кончикомъ носа, открывался по-

стоянно улыбающийся ротъ, съ бѣлыми, но рѣдкими зубами, какъ у дѣтей. Пепельные волоски чуть пробивались на подбородкѣ, ушедшемъ тоже въ клинъ, съ ямкой посрединѣ, хотя онъ и не былъ добръ. Купеческое происхожденіе сидѣло во всемъ его обликѣ; но голосъ, манера тянуть слова параспѣвъ, развѣнченность пріемовъ, сло-вечки на русскомъ и французскомъ языкахъ и туалетъ дѣлали изъ Виктора Мионовича нѣчто весьма мало отзывавшееся старымъ Гостинымъ дворомъ. Шили на него исключительно два парижскихъ бульварныхъ портныхъ: Дюсотта и Бланъ. Галстуки, бѣлье, золотыя мелкія вещи онъ носилъ не иначе, какъ лондонскіе, „точно такіе“, какъ принцъ Галльскій, отъ тѣхъ же самыхъ поставщиковъ.

Въ это утро его худосочное тѣловище просторно драпировалъ пиджакъ. Низкіе стоячіе воротнички, торчащіе на срединѣ шеи, уходили въ галстукъ цвѣта „vert mer-veilleux“. Пріятели не скрывали того, что Станицынъ красить шею особою краской, чтобы она выходила шоколадною. Этому онъ также научился за границей. Ноги его, въ напталонахъ прусскаго покроя, на плоской и длинной ступнѣ, не особенно скрашивали ботинки съ коричневымъ сукномъ. Руками своими онъ любовался, но съ ногтями до сихъ поръ не могъ сладить, придать имъ красивую овальную форму и нѣжный цвѣтъ, хотя и „лѣчился“ у всѣхъ извѣстныхъ „маникуровъ“.

Викторъ Мионовичъ былъ на семь мѣсяцевъ моложе жены.

— Bonjour, madame, — сказалъ онъ ей и по-англійски протянулъ ей руку.

Она пожала, вуалетки не подняла и сѣла на диванъ у лѣвой стѣны.

Улапъ и штатскій стояли передъ ней и все хохотали.

— Я вамъ не помѣшала? — спросила она густымъ, немного глухимъ голосомъ.

Въ ея произношеніи слышалось волжское о, но не очень сильно. Это придавало большую оригинальность ея говору.

— Чаю не угодно? Съ лимончикомъ? — пошутилъ Станицынъ своею фистулой, отъ которой у жены его давно ходятъ мурашки по тѣлу, точно отъ грифели.

— Собираетесь? — спросила она больше мужа, чѣмъ его пріятелей.

— Представьте! — закричалъ улапъ. — Викторъ нынче ушелъ въ дѣла!.. Мы пріѣзжаемъ вотъ съ Фифкой...



Анна Серафимовна удивленно вскинула на него рѣсницами. Ея широкія бархатныя брови слегка поднялись.

— Ха-ха!.. Викторъ! *Ta femme ne sait pas!*.. Вы не знаете, мы такъ Ифкина прозвали... Фифка! Вѣдь хорошо? А?! Что скажете?

Штатскій ослабилъся.

— Такъ вотъ-съ, приѣзжаемъ, зовемъ Виктора къ Генералову, привезли устриць... *Ostende!*.. И вдругъ, упирается! Говорить, нельзя, дѣла, не управился. Въ амбарѣ надо сидѣть. Амбаръ! *C'est cocasse!*

Уланъ перекинулся назадъ всѣмъ своимъ пухлымъ туловищемъ. Въ ухахъ Анны Серафимовны звенѣлъ долго хохотъ обоихъ пріятелей мужа. Она вбокъ посмотрѣла на него. Онъ все еще не мѣнялъ позы, сидѣлъ на ребрѣ стола и носкомъ правой ноги ударялъ о лѣвую. Одинъ разъ его глаза встрѣтились съ ея взглядомъ. Ей показалося, что она прочла въ нихъ:

„Зачѣмъ пожаловали?“

Она знала, что ей всегда можно заставить его опустить свои рыжія рѣсницы, но она этого не сдѣлала.

— *Tu restes décidément?*—французилъ уланъ.

— *J'y suis, j'y reste!*—сострилъ Станицынъ.

Онъ не зналъ въ точности, чья это историческая фраза, но помнилъ, что въ *Café de Madrid* часто повторяли ее.

Произошеніе у него было изломанное, отзывалось близкимъ знакомствомъ съ актрисами „*Folies Dramatiques*“ и „*Théâtre des Nouveautés*“. Основаніе положили гувернеры.

— Ну, Фифка!.. *Détalons!*.. *Chère cousine!*.. Что это вы какія строгія? Точно посѣчь насъ собираетесь. Вы видите: оставляемъ васъ *en tête-à-tête!*.. Это всегда хорошо. Какъ бы сказать... добродѣтельно. Викторъ! мы тебя, голубчикъ, подождемъ до пятого... Идетъ? Вы позволите?—обратился онъ къ Аннѣ Серафимовнѣ.—Муженька-то въ строгости держите. Не женись, Фифка!.. Правда, за тебя, уродъ, никто и не пойдетъ...

Уланъ схватилъ штатскаго подъ-мышки и однимъ взмахомъ поднялъ его на воздухъ. Тотъ взвизгнулъ. Станицынъ лѣниво и немного безпокойно оглянулся, кисло повелъ губами и сказалъ:

— Ступайте, у меня голова кружится. *Des gaillards, comme ça.* Точно васъ съ цѣпи спустили.

— *Madame!*—дурачливо раскланялся уланъ и щелкнулъ шпорами.

-- *Bien bonjour*, Анна Серафимовна,--прибавилъ отъ себя и дворянинъ; онъ по-французски употреблялъ московскіе обороты, въ родѣ этого, или *bien merci*.

Анна Серафимовна привстала и пожала имъ руки безъ улыбки и молча.

Станищныя проводили ихъ за дверь. Въ конторѣ они еще довольно долго болтали. По лицу молодой женщины пробѣгали струйки нервныхъ вздрагиваній. Она сняла вуалетку, а потомъ и шляпу. Ея головѣ жарко стало. Почти черные волосы, гладкіе, густые, причесаны были по-старинному, двумя плоскими прядями, и только сбоку, на лбу, она позволяла себѣ нѣсколько завитковъ; они смягчали строгость очертаній ея лба и линію переносицы. Глаза ея, темно-серые, съ синеватыми бѣлками и загнутыми рѣсницами кверху, безпрестанно то потухали, то вспыхивали. Брови, какъ двѣ пышныхъ собольихъ кисти, не срастались, но близко сходились при каждомъ движеніи лба. Тогда все лицо дѣлалось сурово, почти жестко. Свѣжій ротъ и немного выдающіеся зубы, а главное, подбородокъ, круглый и широкий, проявляли натуру жены Виктора Мироновича и породу ея родителей, людей стойкихъ, рослыхъ, именитыхъ, долго державшихся старыхъ обычаевъ и состоявшихъ еще недавно въ безпоповцахъ.

XX.

Анна Серафимовна хотѣла даже снять пальто, но въ эту минуту вошелъ ея мужъ.

— Здравствуйте-съ,—протянулъ онъ.

Она давно уже была съ нимъ на „вы“, „Викторъ Мироновичъ“. Онъ часто говорилъ ей „ты“ и „Анна“, а „вы“ употреблялъ въ особыхъ случаяхъ.

Викторъ Мироновичъ прошелъ къ столу и сѣлъ за свой бюитръ, отхлебнулъ изъ стакана чаю и обернулся къ ней.

— *Hein?*—пустилъ онъ парижскій звукъ.

Ему онъ выучился въ совершенствѣ.

Ротъ жены его раскрылся, но зубы были сжаты, зрачки глазъ сузились. Она вытянула немного руки и вся выпрямилась на своемъ мѣстѣ.

— Викторъ Мироновичъ,—начала она, и волжское произношеніе слышалось сильнѣе, — всему бываетъ предѣлъ.

— *Hein?*—повторилъ онъ, но уже не тѣмъ звукомъ.

Глаза его вызывающе и глупо поглядѣли на жену. Онъ чего-то ждалъ неприятнаго, но чего—еще не догадывался.

Рука ея опустилась въ карманъ пальто и достала оттуда небольшой портфель изъ черной кожи, съ серебрянымъ вензелемъ. Она нагнула голову, достала изъ портфеля двѣ сложенныхъ бумажки и развернула ихъ, а портфель положила на диванъ.

Тутъ она встала и подошла къ нему. Онъ почувствовалъ на лицѣ ея горячее дыханіе.

— Что это?—подзадоривающимъ звукомъ спросилъ онъ и сдѣлалъ ненавистную ей гримасу губами, точно онъ принимаетъ лѣкарство.

— Ваши векселя,—выговорила она и поблѣднѣла. Дотѣхъ поръ щеки ея хранили румянецъ, рѣдко появившійся на нихъ.

— Мои?

Онъ всталъ и нагнулся. Его голова, клиномъ вверхъ, съ запахомъ помады и фиксажура, пришлась къ ея носу и глазамъ. Что-то непреодолимо-противное было для нея всегда въ этой дѣтской „песуразной“—она такъ называла—головѣ, съ ея въющимися желтыми волосами и чувственнымъ, вытянутымъ затылкомъ.

— Ваши,—еще разъ сказала она и отвела его отъ себя рукой.—Викторъ Миронычъ, вы видите, кѣмъ андосованы?

Она знала дѣловыя слова.

— Кѣмъ?—нахально спросилъ онъ ее, поднявъ голову, и засмѣялся.

Вся кровь многомъ бросилась ей въ голову. Она схватила его за руку, силой посадила въ кресло, оглянувшись, нагнувшись къ нему, стала говорить раздѣльно, точно диктовала ему по тетрадкѣ.

— Вотъ до чего вы дошли. Я купила эти документы. Вы знаете, кому вы ихъ выдали. Подпись видна.—Изъ Парижа они пришли или изъ Віарица,—я ужъ не полюбываю.—Вы мнѣ, Викторъ Миронычъ, клялись—образъ снимали, что больше я объ этой барынѣ не услышу!

Онъ повелъ глазами, и дерзкая усмѣшка появилась опять на его губахъ.

— Не смѣйте такъ на меня глядѣть!—глухо крикнула она.—Мнѣ теперь все равно, какія у васъ метрески. Я вамъ не жена и не буду ею. Значитъ, вы свободны. А я только не хочу, чтобы вы срамили меня и дѣтей моихъ. Разорить ихъ я васъ не позволю!

— Да въ чемъ же дѣло?—истеричливо и на этотъ разъ трусливо спросилъ Станицынъ.



— Я пришла вамъ сказать вотъ что: извольте отъ дѣлъ устраниваться. Дайте мнѣ полную довѣренность.—Кажется, вамъ нечего меня бояться!—Только на моей фабрикѣ и есть порядокъ. Но вы и меня кредиту лишаете. Долгу сколько?

— Сколько?—повторилъ онъ совсѣмъ глупо.

— Сто семьдесятъ тысячъ вами одними сдѣлано въ одиннадцать мѣсяцевъ. Хотите, мы сейчасъ Трифоньча позовемъ?—и она указала на дверь.—И это такіе, которые въ извѣстность приведены; а разныхъ другихъ, по счетамъ, да векселей, не вышедшихъ въ срокъ, да карточныхъ... навѣрно столько же. Вы что же думаете?—Протянете вы такъ-то больше года?

Онъ молчалъ. Два векселя въ сорокъ тысячъ держать въ рукахъ жена. Въ кассѣ значилась самая малость. Фабрика шла въ долгъ. Банки начали затрудняться учитывать его векселя. Это грозное появленіе Анны Серафимовны почти облегчило его.

— А передъ братомъ у васъ и совѣсти нѣтъ,—продолжала она совсѣмъ тихо.—Благо онъ слабоумный, дурачокъ, рукава жуетъ—такъ его и надо грабить... Да, грабить! Вы съ нимъ въ равной долъ. А сколько на него идетъ? Четыре тысячи, да и то ихъ часто нѣтъ. Я заѣзжала къ нему. Онъ жалуется... Вареньица, говоритъ, не даютъ... папиросочекъ... А докторъ ворчитъ... И онъ—плутъ... Срамъ!..

И она отвернула лицо. Глаза ея закрылись, и тѣнь пробѣжала по щекамъ...

— Mais vous êtes drôle... началъ-было онъ и смолкъ.

— Претить мнѣ!—перебила она повелительно и страстно,—скройтесь вы съ глазъ моихъ! Уѣзжайте и проживайте, гдѣ хотите! Будете получать тридцать тысячъ.

— Двѣ тысячи пятьсотъ въ мѣсяцъ?—со смѣхомъ крикнулъ онъ.

— Да, больше нельзя... Не хотите?—съ разстановкой выговорила она.—Ну, тогда раздѣлывайтесь сами. Вамъ негдѣ перехватить. Фабрика станетъ черезъ двѣ недѣли. За васъ я не плательщица. Довольно и того, Викторъ Миرونъчъ, что вы изволили спустить... Я жду!

Станицынь вынулъ двуплѣтный фулярный платокъ, обмахнулся и зашагалъ назадъ и впередъ.

Она дѣло говорила; занять можно, но надо платить, а платить нечѣмъ. Фабрика заложена. Да она еще не

знать, что за этими двумя векселями пойдутъ еще три штуки. Барыня изъ Біарица заказала себѣ новую мебель на Boulevard Haussman и карету у Бишера. И обошлось это въ семьдесятъ тысячъ франковъ. Да еще ювелиръ. А платилъ онъ, Станицынъ, векселями. Только не за тридцать же тысячъ соглашаться!

— Mais, ma chère,—началъ онъ,—какъ же я могу... есть, наконецъ, привычки...

— Черезъ три года будете получать вдвое. Я ручаюсь. А теперь и этого нельзя. И одна моя просьба, уѣзжайте вы поскорѣй, Викторъ Миронычъ; вы видите, я не могла васъ дожидаться, куда пріѣхала!..

Она надѣла шляпу, стала посрединѣ комнаты и сложила руки на поясъ.

— Comme c'est... Станицынъ искалъ слово: — comme c'est propre... Отъ жены такая сдѣлка... ха! ха!..

— Вы это говорите?!..

— Разумѣется... Лучше уѣхать... Вы на все способны!.. Онъ приложился къ пуговкѣ воздушнаго звонка.

XXI.

Вошелъ конторщикъ.

— Позовите Максима Трифоныча,—сказалъ ему Станицынъ и закурилъ сигару.

Анна Серафимовна отошла къ окну, по другую сторону бюро, и стала завязывать шляпку. Она замѣтила, что мужъ сдѣлалъ мимовольное движеніе плечами и пустилъ сразу длинную струю дыма. Побѣда одержана: мужъ сдѣлаетъ такъ, какъ она желаетъ. Но была ли это побѣда? Съ такимъ человѣкомъ немыслимы никакіе уговоры. Чести у него нѣтъ, даже той „купеческой“, какая передавалась изъ рода въ родъ въ ея „фамиліи“. А вѣдь отецъ его считался по всей Москвѣ „честнѣйшимъ мужикомъ“. Откуда же этотъ выродокъ? Мать была „распутная“ и пила еще молодой женщиной. Анна Серафимовна не застала ее въ живыхъ, когда сдѣлалась женой Виктора Мироныча, но слыхала отъ добрыхъ людей. Потому, должно-быть, и меньшой братъ, Карпъ Миронычъ, родился дурачкомъ, а теперь и совсѣмъ полоумный... Да, этотъ постылый и безстыжій мужъ надѣлаетъ сейчасъ же, за границею, новыхъ долговъ. А какъ его удержишь? Онъ взрослый. Фирма существуетъ. Въ Парижѣ ничего не значить, купивши на десять тысячъ франковъ, набрать



въ магазинахъ на двѣсти. Еще пожалуй впутасешься съ нимъ такъ, что и жизни не будешь рада. И теперь-то надо доставать денегъ...

Старшій конторщикъ отворилъ дверь и въ два пріема приблизился къ хозяину, съ наклономъ всего корпуса.

— Написать полную довѣренность надо, Максимъ Трифоновичъ,—небрежно выговорилъ Станицынъ.

Онъ подошелъ къ старику и говорилъ ему дальше вполголоса.

Максимъ Трифоновичъ поднималъ на него глаза и тотчасъ же опускалъ ихъ.

— На чье имя?—чуть слышно спросилъ онъ.

Станицынъ кивнулъ вбокъ головой на жену.

— На управленіе фабриками-съ, съ правомъ выдачи?..

— Ну да, ну да,—перебилъ его Станицынъ.—Вѣдь вы знаете...

— Черновую прикажете?

— Да ужъ это Анна Серафимовна вамъ укажетъ.

Ей непріятно сдѣлалось, что мужъ сейчасъ же распорядился при ней, не соблюдя своего достоинства—непріятно не за него, а за себя, какъ за его жену.

— Завтра утромъ ко мнѣ придите и принесите черновую,—откликнулась она и поправила ленту.

— Больше никакихъ приказаній не будетъ?—освѣдомился старикъ.

— Никакихъ,—точно со смѣхомъ отвѣтилъ Станицынъ и застегнулъ пиджакъ.—И на-дняхъ їду, Максимъ Трифоновичъ. Все дѣло будетъ вести вотъ Анна Серафимовна... до моего возвращенія,—кончилъ онъ хозяйскимъ тономъ.

Максимъ Трифоновичъ перенесъ глазами отъ Виктора Миронича къ его женѣ, глядя на нихъ черезъ очки. Онъ перевелъ дыханіе, но незамѣтно. Сегодня утромъ онъ боялся за все станицинское дѣло и надѣялся на одну Анну Серафимовну. Теперь надо половичье составить довѣренность, на случай непредвидѣнныхъ „претензій“ изъ-за границы.

Станицынъ взялъ съ кресла шляпу и перчатки и, по-моргиваясь отъ сигары, надѣвалъ ихъ.

— Можете идти,—отпустилъ онъ Максима Трифоновича.

Обида, женская гордость, гнѣвъ, презрѣніе какъ-то разомъ опали въ душѣ Анны Серафимовны. Она теперь

ничего определенного не чувствовала. Говорить съ этимъ человѣкомъ ей не о чемъ. Но въ его присутствіи она испытываетъ всегда раздраженіе особаго рода. Точно ей неловко передъ нимъ. И отчего?—Все оттого, что у ней въ голосѣ иногда прорывается приволжское о, да по-французски она не привыкла болтать. Ее учили, и она можетъ вести разговоръ съ иностранцами за границей; а съ нимъ не рѣшалась никогда, особенно при гостяхъ. А онъ всякія слова выговариваетъ, и произношеніе у него отъ французскаго актера не отличишь: у всѣхъ этихъ „мерзкихъ“ по кафе и театрамъ выучился. Она знаетъ ему цѣну, и на его дѣлахъ показываетъ ему, что онъ за человѣкъ, ловить его съ полчинымъ, а все-таки онъ считаетъ себя „изъ другого тѣста“, бариномъ, джентльменомъ, съ принцами знакомъ; а она — „купчиха“. Надо было слышать, съ какимъ выраженіемъ онъ произноситъ это слово. И теперь вотъ онъ струсилъ, расчелъ, что лучше такъ поладить, чѣмъ со срамомъ вылетѣть въ трубу; а все-таки онъ не признастъ ея нравственнаго превосходства, не преклонится передъ ней, и ничѣмъ не заставишь его преклониться. Вотъ это ее и грызетъ, хоть она и не сознается самой себѣ. Такое ничтожество, такая пустельга, какъ Викторъ Мироничъ, у котораго, какъ у кошки, „не душа, а паръ“, и считаетъ себя изъ бѣлой кости, а на нее смотритъ, какъ на кумушку!

Краска опять появилась у ней на щекахъ.

— Васъ пріятели ждутъ,—сказала она съ сердцемъ.

— Дайте мнѣ надѣть перчатки,—возразилъ онъ и задирательно посмотрѣлъ на нее своими воспаленными глазами.

Опять злость закипѣла въ ней. Хорошо, что этотъ чело-
вѣкъ уѣзжаетъ: немудрено и отравить его или руками задушить. Въ какую минуту! Одинъ его голосъ можетъ привести въ изступленіе. Минутами всю ее какъ-то кор-
чить отъ его голоса и смѣха. Развѣ можно выносить, какъ онъ надѣваетъ вотъ теперь перчатки, покачивается, курить, а сейчасъ возьмется за шляпу? Все дышитъ на-
глостью и чванствомъ, закоренѣлой испорченностью купе-
ческаго сына, уже спустившаго, со смерти отца, до трехъ
милліоновъ рублей. Какъ же его заставить преклониться
передъ собой, когда весь евронейскій „high life“, лорды,
маркизы, графы, эрцгерцоги толпились на его праздникѣ,
гдѣ живыхъ цвѣтовъ было на пятнадцать тысячъ фран-

ковъ? Одного нѣмецкаго князька онъ собственноручно оттащаль и заплатилъ отступного. Любвилицъ отбилъ у двухъ владѣтельныхъ особъ. Гдѣ же ему обойтись тридцатью тысячами рублей? Разумѣется, придется платить и всѣ сто тысячъ. Но и то лучше. Одно она хорошо знаетъ, что она ему своихъ денегъ не дастъ, и фабрики своей не заложить. Можетъ дѣтей у ней отнять? Она вся похолодѣла. На это и у него достанетъ ума. Нѣтъ! По чутью, какъ звѣрь, онъ долженъ догадаться, что съ Анной Серафимовной шутки плохи на этотъ счетъ. И головы не снесешь!..

Бѣлки у нея потемнѣли, а зрачки снова сузились.

Въ эту минуту Викторъ Миронычъ стоялъ у двери и пропустилъ сквозь зубы фистулой:

— Bonjour...

Она не обернулась.

XXII.

Одна, въ хозяйской половинѣ амбара, Анна Серафимовна вздохнула свободно. Она прошла съ немного, сѣла въ низкое кресло мужа и, позвонивъ, приказала себѣ подать чаю. Ей принесли стаканъ съ лимономъ. Станицынъ оставилъ на бюитрѣ нѣсколько не просмотрѣнныхъ фактуръ и счетовъ. Анна Серафимовна позвала еще разъ старшаго приказчика.

Старикъ подошелъ къ ручкѣ. Она отдернула. Глаза его смотрѣли умиленно. Максимъ Трифоновичъ искренно любилъ ее и тайно любовался ею, какъ женщиной, давно прозвалъ ее „королевой“ и удивлялся ея дѣловымъ способностямъ.

— До отъѣзда Виктора Мироныча, — сказала она, — я конторой заниматься не буду. Я ужъ на тебя полагаюсь, Трифонычъ, а если нужно усилить счетоводство — возьми еще парня.

При мужѣ она говорила ему „вы“; но съ-глазу-на-глазъ ей, да и самому „Трифонычу“, было ловчѣе такъ.

— Тутъ прибрать надо. Есть что къ спѣху? — спросила она, нагнувъ голову надъ бумагами.

— Платежи больше.

— Ну, такъ это — до завтра... Въ кассѣ сколько?

Трифонычъ помялся и съ жалобной усмѣшкой вымолвилъ:

— Наличными — самая малость.

— Хорошо... Завтра довѣренность какъ слѣдуетъ выправить. Я приготовлю. Виктора Миropyча уже безпокойтъ подписями нечего. Директоръ давно былъ по Рябининской фабрикѣ?

— На той недѣлѣ.

— Написать ему потрудись, чтобы пожаловалъ.

— Слушаю-сь.

— Наверху еще не забирались?

— Нѣтъ еще-сь.

— Крикну-ка имъ, что я сейчасъ поднимусь.

Трифонычъ вышелъ и тихо-тихо притворилъ дверь.

Анна Серафимовна сняла опять шляпку, пальто и перчатки, аккуратно положила шляпку и пальто на диванъ, а перчатки—на шляпку, хлебнула раза два изъ стакана и посрединѣ комнаты вся выпрямилась, подперевъ себя руками сзади подъ ребра. Грудь у нея не опала отъ кормленія двоихъ дѣтей. Весь станъ сохранилъ дѣвственные линіи. Хотя она и никогда не любила мужа, но развѣ она такая, какъ его „французенки“, крашенные, обрюзглыя или сухія, жилистыя? Одни ихъ сильные голоса—отвращеніе! Или та вотъ—тоже, страсть-то его, что въ Біаррицѣ познакомились, и теперь его общищаетъ?.. Вылитая нѣмка изъ Риги,—нога въ полъ-аршина, губы намазаны, глаза навывкатъ. Она видѣла портретъ. — Портретъ-то — шутка: шесть тысячъ стоилъ! Еще годъ-другой, и будетъ она въ дверь толщиной. Влюбись онъ въ нее, въ Анну Серафимовну, и тогда все ту же брезгливость будетъ она къ нему имѣть. Онъ для нея не мужчина; но срамится, имѣя такую жену, съ продажными гадинами, выдавать ихъ по отелямъ за законныхъ женъ?

Глаза ея окинули отдѣлку лифа и юбку изъ тяжелаго свѣтлопесочнаго фая.

Она задумалась. Этотъ песочный цвѣтъ отзывался „купчихой“. Она только тутъ это поняла. Зачѣмъ она выбираетъ такіе цвѣта? Разумѣется, самый купеческій цвѣтъ... „Юзефинка“ говорила вѣдь ей, что не слѣдуетъ... А не все равно. Матерія прекрасная, не маркая, износу ей нѣтъ. Да для кого ей „шикъ“—то имѣть? Она любитъ хорошія вещи, и всякій скажетъ, что она „дамой“ смотритъ, особенно на улицѣ въ шляпкѣ и въ пальто или нарядѣ. Да, на улицѣ въ шляпкѣ; а вотъ выборъ матерій-то и выдается. Не выбирай она купеческихъ колеровъ и не

было бы такъ часто на лицѣ Виктора Мироновича пренебрежительной усмѣшки:

„Пыжисья тоже, а вкусъ-то изъ Пожовой!“

Платъе показалось ей совершенно безвкуснымъ. Она подарить его племянницѣ. Не то, чтобы она стыдилась своего званія, нѣтъ. Не желаетъ она лѣзть въ дворянки; но со вкусомъ одѣваться каждый можетъ... И нечего давать всякой дряннѣ предлогъ смотрѣть на васъ свысока, оттого только, что вы цвѣта подходящаго не умѣете себѣ выбирать.

Наверху въ складахъ матерій и сукна, приказчики приостановились забираться, всѣ причесались и ожидали прихода хозяйки. Верхній амбаръ полонъ былъ свѣта, заходящаго именно теперь къ вечеру. По прилавкамъ и полкамъ играли полосы и „зайчики“. Штуки разноцвѣтнаго товара цѣлыми стопами поднимались на прилавкахъ и по полу, у оконъ и столбовъ, поддерживающихъ своды. Запахъ набивныхъ ситцевъ и другихъ бумажныхъ тканей смѣшивался съ болѣе кислымъ запахомъ прессованнаго сукна. Складъ держался въ большой чистотѣ. Кромѣ штукатуренныхъ стѣнъ, ясеневыхъ полокъ и прилавокъ и чугуннаго пола, лѣстницъ и перегородокъ, не къ чему было пристать пыли и грязи.

Трифонычъ слегка поддерживалъ хозяйку подъ лѣвый локоть, когда она поднималась въ верхній амбаръ.

— Съ мѣсяцъ не была здѣсь,—сказала она и оглянула все помѣщеніе.—Тѣсно дѣлается?

— Нѣтъ-съ, еще упрямлемся,—откликнулся съ поклономъ главный довѣренный приказчикъ, степенный мужчина за сорокъ лѣтъ, съ огромной русой бородой.

Оптовыхъ покупателей уже не ждали больше. Анна Себрафимовна могла оглядѣть товаръ безъ помѣхи. Ей принесли стулъ; но она не сѣла, а отправилась сначала въ „свое“ отдѣленіе, гдѣ лежали сукна. Она знала толкъ въ товарѣ и даже въ фабричномъ дѣлѣ. На своей фабрикѣ почти каждого мальчишку знала она по имени. Съ главнымъ приказчикомъ отдѣленія суконъ она перекинулась двумя-тремя словами, но въ отдѣленіи шерстяного и бумажнаго товара ей захотѣлось пробыть подольше. И тутъ она много разумѣла: сортъ товара сразу называла точнымъ именемъ и рѣдко ошибалась въ фабричной цѣнѣ.

XXIII.

Около прилавка, въ уровень съ нимъ, положены были штуки какой-то темной бумажной ткани.

Анна Серафимовна развернула верхнюю штуку и спросила приказчика:

— Это—бязь?

— Такъ точно.

— По какой цѣнѣ?

Опъ называть.

— Дешевле стала?

— На двѣ копейки спустились,—пояснилъ приказчикъ.

— Все армяне берутъ?

— Такъ точно.

Всѣ приказчики боялись ее гораздо больше, чѣмъ хозяина. Его они давно прозвали „бездонная прорва“ и „лодырь“. Каждый изъ нихъ старался красть. Имъ уже шепнули снизу, что, должно-быть, „сама“ беретъ въ свои руки все дѣло. Тогда надо будетъ подтянуться. Кто-нибудь непременно полетитъ. Трифоница они не долюбливали. Онъ считывалъ что могъ, и съ главными приказчиками у него часто бывали перебранки. Трифоницъ всегда держалъ руку хозяйки, почему его и считали „наушникомъ“ и „старой жлой“.

На лѣстницѣ слышались скорые мужскіе шаги. Анна Серафимовна подняла голову. Это былъ Палтусовъ, въ шляпѣ и пальто. Она вспыхнула. Ей стало сначала неловко оттого, что онъ ее засталъ въ амбарѣ, среди ситцевъ и суконъ, какъ настоящую хозяйку-купчиху. Но это чувство пролетѣло мгновенно, хотя и заставило ее покраснѣть. Ну что жъ такое? Она купчиха, владѣтельница миллионной фабрики, занимается дѣломъ, смелить въ немъ. Тутъ нѣтъ ничего постыднаго. Хорошо, кабы всѣ такъ поступали, какъ она.

Когда Палтусовъ подошелъ къ ней, она совершенно оправилась и протянула ему руку.

— Ъду по Варваркѣ,—мягко заговорилъ онъ, снимая шляпу и низко наклонивъ голову, какъ онъ дѣлалъ только передъ немногими женщинами. — Смотрю, ваша коляска. Спрашиваю. Анна Серафимовна одна въ амбарѣ; а Виктора Миновича нѣтъ... Вы заняты? Не мѣшаю?..

Отъ его голоса она замѣтно оживилась. Въ немъ было что-то такое, что дѣйствовало на нее совсѣмъ особенно.

Передъ нимъ она рѣдко совѣстилась своего званія; но зато ей хочется быть „выше“ этого званія, чтобы онъ видѣлъ въ ней „человѣка“, а не „кумушку“, какъ Викторъ Мионовичъ. И кажется, Палусовъ такъ и начинаетъ на нее смотрѣть. Его наружность она находила рѣзкой противоположностью фигурѣ и лицу мужа. Ей нравился его складъ, ростъ, выраженіе глазъ, голосъ, манера говорить и держать себя... Онъ—„изъ господъ“, съ воспитаньемъ, вездѣ принятъ, служилъ въ кавалеріи и лекціи слушалъ, а не пренебрегаетъ бывать въ купеческихъ домахъ. И держится не какъ баринъ, спустившійся до купцовъ; во все онъ входитъ, обо всемъ обстоятельно разспросить, чрезвычайно просто, никогда не скажетъ ни одной банальной любезности. Съ Викторомъ Мионовичемъ сухо-вѣжливъ. Ни разу у него не ужиналъ. Ему не надо ни его сигаръ, ни его шампанскаго. Такого „барина“ она бы пригласила себѣ въ директоры фабрики, если бъ онъ былъ техникъ. Только она минутами не то боятся его, не то въ чемъ-то какъ будто подозрѣваетъ.

— Мѣшаете?—переспросила она.—Ничуть!

— Разсматриваете товаръ?

— Да, надо....

Она пошла къ лѣстницѣ и его пригласила рукой. Приказчики вразъ поклонились.

— Сами хозяйничать надумали?—говорилъ ей вслѣдъ Палусовъ.

— Фабрикой... своей... я давно занимаюсь, а вотъ теперь...

Она остановилась на лѣстницѣ, двумя ступеньками ниже его, и обернулась, глядя на него снизу вверхъ.

— Супругъ уѣхалъ?

— Уѣзжаетъ.

— Надолго?

— Не знаю. Чай, на всю зиму.

Ея приволжское „чай“ пемного рѣзнуло его ухо, но тотчасъ же и поправилось ему. Голова Анны Серафимовны, съ широкими придами волосъ, блескъ глазъ и стройность стана,—все это окинулъ онъ однимъ взглядомъ и остался доволенъ. Но цвѣтъ платья онъ нашелъ „купецкимъ“. Она подумала то же самое и въ одну съ нимъ минутку, и опять смутилась. Ей стало нестерпимо досадно на это глупое, тяжелое, да вдобавокъ еще очень дорогое платье.

XXIII.

Около прилавка, въ уровень съ нимъ, положены были штуки какой-то темной бумажной ткани.

Анна Серафимовна развернула верхнюю штуку и спросила приказчика:

— Это—бязь?

— Такъ точно.

— По какой цѣнѣ?

Опъ назвалъ.

— Дешевле стала?

— На двѣ конейки спустили,—пояснилъ приказчикъ.

— Все армяне берутъ?

— Такъ точно.

Всѣ приказчики боялись ее гораздо больше, чѣмъ хозяина. Его они давно прозвали „бездонная прорва“ и „лодырь“. Каждый изъ нихъ старался красть. Имъ уже шепнули снизу, что, должно-быть, „сама“ беретъ въ свои руки все дѣло. Тогда падо будетъ подтянуться. Кто-нибудь непременно полетитъ. Трифонъча они не долюбивали. Онъ считывалъ что могъ, и съ главными приказчиками у него часто бывали перебранки. Трифонъчъ всегда держалъ руку хозяйки, почему его и считали „наушникомъ“ и „старой жилой“.

На лѣстницѣ послышались скорые мужскіе шаги. Анна Серафимовна подняла голову. Это былъ Палтусовъ, въ шляпѣ и пальто. Она вспыхнула. Ей стало сначала неловко оттого, что онъ ее засталъ въ амбарѣ, среди ситцевъ и суконъ, какъ настоящую хозяйку-купчиху. Но это чувство пролетѣло мгновенно, хотя и заставило ее покраснѣть. Ну что жъ такое? Она купчиха, владѣтельница миллионной фабрики, занимается дѣломъ, смыслить въ немъ. Тутъ нѣтъ ничего постыднаго. Хорошо, кабы всѣ такъ поступали, какъ она.

Когда Палтусовъ подошелъ къ ней, она совершенно оправилась и протянула ему руку.

— Ъду по Барваркѣ,—мягко заговорить онъ, снимая шляпу и низко наклонивъ голову, какъ онъ дѣлалъ только передъ немногими женщинами. — Смотрю, ваша коляска. Спрашиваю. Анна Серафимовна одна въ амбарѣ; а Виктора Мироновича нѣтъ... Вы заняты? Не мѣшаю?..

Отъ его голоса она замѣтно оживилась. Въ немъ было что-то такое, что дѣйствовало на нее совсѣмъ особенно.

Оба они поднялись разомъ съ дивана.

XXIV.

Имъ обоимъ пріятно было бы остаться еще вдвоемъ въ этомъ хозяйскомъ отдѣленіи амбара. Но если бы у Анны Серафимовны и не случилось экстреннаго дѣла, она бы все-таки поспѣшила уѣхать. Палтусова она принимала нѣсколько разъ у себя на дому; но въ гостиной, въ огромной комнатѣ, на диванѣ, въ роли дамы, она тамъ не такъ близко сидѣла къ нему, думала ее о томъ, слѣдила за собой, была больше стѣснена, какъ хозяйка.

— Можно будетъ нанести вамъ визитъ?—спросилъ Палтусовъ съ продолжительнымъ наклоненіемъ головы и протянулъ ей руку.

— Милости просимъ, —весело сказала она и не успѣла высвободить свою руку, какъ онъ поцѣловалъ ее немного выше кисти, гдѣ у ней поверхъ перчатки извивался длинный до локтя и тонкій браслетъ, въ видѣ змѣи, изъ платины.

— Я хотѣлъ разспросить васъ подробнѣе о вашей школѣ.

Они выходили въ наружное отдѣленіе конторы.

— Идти порядочно. Только вотъ теперь я рѣже буду бздить на фабрику.

„Отъ сердца ли спросилъ онъ про школу?“ подумала она и опустила вуалетку. Трифонычъ выросъ передъ нею. Оба конторщика приподнялись съ своихъ мѣстъ. Палтусовъ еще разъ простился и надѣлъ шляпу, когда брался за ручку двери. Она поклонилась ему и смотрѣла черезъ стекло, какъ онъ вышелъ подъ сводъ рядовъ, повернулъ вправо, спустился съ мостковъ и сѣлъ на пролетку. Его низкая шляпа, изгибъ спины, покрой пальто, лиловое одѣяло на ногахъ, борода съ профилемъ приходились ей очень по вкусу. Все это было и красиво, и умно. Она такъ и сказала про себя: „умно“.

Своимъ подчиненнымъ Анна Серафимовна сдѣлала одинъ общій поклонъ и сказала Трифонычу, подбѣжавшему къ ней, такъ, чтобы никто не разслыхалъ:

— Завтра пораньше зайди... и принеси всѣ платежи, самые пужные.

На что онъ шепнулъ:

— Слушаю, матушка,—и, подавшись назадъ, три раза тряхнулъ сѣдѣющей головой.

Малый у дверей бросился кликать кучера. Подъѣхалъ двухъестный отлогій фаэтонъ съ открытымъ верхомъ. Лошадей Анна Серафимовна любила и кое-когда захаживала въ конюшню. Изъ экономіи она для себя держала только тройку: пару дышловыхъ, вороную съ сѣрой, и одну для одиночки—она часто ѣзжала въ дрожкахъ—темно-караковаго рысака хрѣновскаго завода. Это была ея любимая лошадь. За городомъ въ Паркѣ, или въ Сокольникахъ она обыкновенно говорила своему Ефиму:

— Пусти-ка Зайчика!

Зайчикъ бралъ раза два призы. Дышловыя были отлично выѣзжены. Ефимъ—не очень толстый, коренастый кучеръ, по-московски выбритый и съ большими усами. Жилъ сначала въ наѣзdnикахъ, на помѣщичьихъ заводахъ, пить рѣдко, за лошадьми ухаживалъ умѣло, отличался большою чистоплотностью и цѣнилъ въ хозяйкѣ то, что она любитъ лошадей, знаетъ въ нихъ толкъ и *жалеть* ихъ, ѣздить умѣренно, зимой не морозитъ ни лошадей, ни кучера, когда нужно посылаетъ нанять извозничью карету. При Викторѣ Мироновичѣ состоялъ свой кучеръ, который въ отсутствіи барина пьянствовалъ и водилъ въ конюшню разныхъ „шлюхъ“.

Между Ефимомъ и Анной Серафимовной установилось большое пониманіе.

— Въ Ильинскіе ворота проѣдешь,—приказала она ему.

Малый застегнулъ фартукъ. Фаэтонъ тихо пробрался по переулку. Выѣхавъ на Ильинку, Ефимъ взялъ некрушной рысью. Ёзда на улицѣ поулеглась. Возовъ совсѣмъ почти не видно было. По трескѣ дрожекъ еще перекатывался съ одного тротуара на другой.

Изъ своей легкой на ходу коляски, покачиваясь на пружинахъ шелковой репсовой подушки, Анна Серафимовна глядѣла впередъ, не поворачивая головы по сторонамъ. Она и обыкновенно не дѣлала этого; а теперь ей надо было обдумать много серьезныхъ, дѣловыхъ вещей. Сейчас она должна захватить къ своему пріятелю-совѣтнику Ермилу Оомичу Безрукавкину. Онъ ей банкиръ и душеприказчикъ. Заѣщаніе свое она давно написала. Съ нимъ разговоръ будетъ короткий объ дѣлѣ. Деньги онъ приготовить. Ермилъ Оомичъ очень обрадуется, что съ завтрашняго дня все поступить къ ней на руки. Вотъ только отогнать онъ до умныхъ разговоровъ. А ей къ спѣху. Ждутъ ее обѣдать къ „тетенькѣ“ Марѣ Николаевнѣ

Кречетовой. Тамъ садятся ровно въ пять. Ее подождутъ; но сильно запоздать она сама не хочетъ. Тетенька—человѣкъ нужный. Она при хорошихъ деньгахъ: къ племянницѣ большое довѣріе имѣеть. Придется, быть-можетъ, перехватить. У Ермила Оомича она не желала бы дисконтировать, хотя онъ съ удовольствіемъ, хоть на двѣсти тысячъ, и больше. Да, неизвѣстно еще какіе „сюрпризы“ приготовить муженекъ въ теченіе зимы.

Сквозь эти расчеты и соображенія нѣтъ-нѣтъ то мелькнетъ лицо Палтусова, то вспомнится голосъ и та минута, когда онъ такъ быстро и ново для нея поцѣловалъ ей руку выше кисти. И та минута, когда она стояла на лестницѣ и рассердилась еще сильнѣе на свое песочное платье. Теперь она опять слегка покраснѣла.

Проходилъ разносчикъ съ ананасомъ и виноградомъ.

— Стой!—крикнула Анна Серафимовна Ефиму.

Она подозвала разносчика. „Куплю тетешкѣ“, рѣшила она; но начала основательно торговаться.

Ананасъ уступили ей за три рубля. Это ей доставило удовольствіе: и не дорого, и подарокъ къ обѣду славный. Скупа ли она? Мысль эта все чаще и чаще приходила Аннѣ Серафимовнѣ. Скупа! Пожалуй, и говорить такъ про нее. И не одинъ Викторъ Миновичъ. Но правда ли? Никому она зря не отказывала. Въ домѣ за всѣмъ глазъ имѣеть. Да какъ же иначе-то? На туалетъ—а она любитъ одѣться—тратить тысячи три. Зато въ школу цѣлый шванъ книгъ и пособій пожертвовала. Можно ли безъ расчета?

Нѣжный запахъ ананаса, положеннаго въ открытый верхъ коляски, достигалъ до ея обонянія. И опять всплыли глаза Палтусова. Глазамъ - то она не вѣритъ. Очень ужъ они мягки и умны. Такой человекъ на каждомъ хочетъ играть, какъ на скрипкѣ...

Ефимъ свернулъ съ Маросейки и остановился на просторномъ дворѣ у бокового крыльца въ крытомъ проѣздѣ.

XXV.

Надо было позвонить. Ермилъ Оомичъ жилъ по заграницному. Прислуживали ему камердинеръ и мальчикъ. Какъ холостякъ, онъ дома почти никогда не обѣдалъ: придетъ изъ города, переодѣнется, и на цѣлый вечеръ въ гости или обѣдать; а то въ театръ, если не сидитъ дома и не читаетъ книжку новаго журнала. До журналовъ большой охотникъ и до русскихъ запрещенныхъ книгъ

Анна Серафимовна такъ и разочла: заѣхала къ нему теперь, передъ обѣдомъ. Въ своемъ амбарѣ онъ сидѣлъ только до четвертаго часа, а потомъ заѣзжалъ въ два-три мѣста по городу, а иногда въ Замоскворѣчье. Но домой непременно завернуть, снять визитку, черныи скюртку надѣнуть и шляпу другую. Для амбара у него шелковая, высокая, а для гостей—поярковая, какіи живописцы за границей носятъ.

— Дома Ермилъ Ѳомичъ?

Отворилъ камердинеръ небольшого роста, брюнетъ, франтовато и пестро одѣтый.

— Никакъ нѣтъ-съ. Пожалуйте. Сейчасъ будутъ.

Онъ зналъ Анну Серафимовну. Ермилъ Ѳомичъ ему на-казывалъ, что „эту даму“ всегда просить и освѣдомляться, не угодно ли чего: чаю, кофею, зельтерской или фруктовой воды.

Домъ у Ермила Ѳомича—небольшой, спаружи не очень внушительный, отдѣланъ художникомъ... Уже въ передней фрески на стѣнахъ и по потолку показывали, что хозяинъ не желалъ довольствоваться обыкновенной барской или купеческой лакейской. Отдѣлка слѣдующихъ комнатъ, бібліотеки, столовой, двухъ гостиныхъ, комнаты въ готическомъ вкусѣ, спальни и образной была извѣстна Аннѣ Серафимовнѣ. Она мало понимала въ произведеніяхъ искусства. Картины, бюсты, вазы оставляли ее равнодушной. И своей „тупости“ она не скрывала. Мужъ ея не покупалъ картинъ. Деньги шли у него на кутежи, чванство, женщинъ и карты. Развить свой артистическій вкусъ ей было не на чемъ у себя дома, а за границей на нее нападала ужасная тяжесть и даже уныніе отъ кочеванія по заламъ дрезденской галлерей, Лувра, вѣнскаго Бельведера, флорентинскихъ Уффиций.

Но во второй, маленькой гостиной у Ермила Ѳомича виситъ картина—женская головка. Анна Серафимовна всегда остановится передъ ней, долго смотреть и улыбается. Ей кажется, что эта дѣвочка похожа на ея Маню. Ей къ новому году хочется заказать портретъ дочери. За цѣной не постоитъ. Пригласить изъ Петербурга Константина Маковского.

Камердинеръ ввелъ ее въ первую гостиную, съ узорчатымъ ковромъ и золоченой мебелью съ гобленами и спросилъ, какъ всегда:

— Не угодно ли чего приказать?



Она отвѣтила, что ничего не желаетъ, опустилаcь у окна въ кресло и тутъ только почувствовала усталость въ ногахъ, не отъ ходьбы, а отъ волненій сегодняшняго дня.

Потомъ вынула изъ кармана записную книжечку въ шелковомъ сиреневомъ переплетѣ, прикоснулась кончикомъ языка къ карандашу и записала нѣсколько цифръ.

Надо изложить все Ермилу Ѳомичу покороче и подѣльнѣе насчетъ довѣренности и прочаго. А деньги онъ приготовить. Въ банки она не любила вкладывать. Да и не тотъ процентъ. Бумагъ купить — лопнетъ общество или самъ банкъ. Такой же человѣкъ, какъ Ермилъ Ѳомичъ, не лопнетъ. Ему ничего не значитъ давать ей десять процентовъ. Онъ на дисконтъ и всѣ сорокъ получить съ ся же денегъ.

Съ четверть часа подождала Аппа Серафимовна. Каждый разъ, когда она попадала въ домъ Безрукавкина, ей приходила мысль: почему это Ермилъ Ѳомичъ не присватался за нее десять лѣтъ назадъ? Отецъ отдалъ бы за него непременно. Ему, правда, лѣтъ сильно за пятьдесятъ, а тогда было за сорокъ. Влюбиться въ него трудно; да и зачѣмъ? Жила бы въ почетъ, покойно, онъ бы ее только похваливалъ, нашелъ бы въ ней добрую помощницу. И какое она добро дѣлаетъ—все бы ему по душѣ. Онъ книжечку читаетъ больше ея, да и не очень скупъ. Картины его надо бы похваливать, а она не понимаетъ въ нихъ толку. Такъ она и теперь улыбается, когда онъ ей расписываетъ, что вотъ въ этомъ ландшафтѣ есть особеннаго. Она и теперь къ его языку примѣнилась: знаетъ, что есть „сочная кисть“ и „колоритъ“, и освоилась съ словомъ „зализать“ и „компоновка“. А тогда и подавно бы примѣнилась. И вдовой раньше бы была. Будто больше ничего и не надо?

Глаза Анны Серафимовны блеснули и прикрылись вѣками. Еще разъ кусокъ сегодняшняго разговора съ Палтусовымъ припомнился ей. Онъ называлъ ее „соломенной вдовой“. И она сама это подтвердила. У ней это сорвалось съ языка; а теперь какъ будто и стыдно. Вѣдь развѣ не правда? Только не слѣдовало этого говорить молодому мужчинѣ съ-глазу-на-глазъ, да еще такому, какъ Палтусовъ. Онъ не долженъ знать „тайны ея алькова“. Эту фразу она гдѣ-то недавно прочла. И Ермилъ Ѳомичъ, когда разойдется, то такимъ точно языкомъ говорить.

— А!.. безцѣнная Анна Серафимовна!—раздалось надъ ея головой.

Безрукавкинъ, полный, русый, не очень еще старый, бородатый человѣкъ, въ короткомъ клѣтчатомъ пиджакѣ, на видъ скорѣе помѣщикъ, чѣмъ коммерсантъ, протягивалъ ей обѣ руки.

Она встала. Онъ ее опять усадилъ и, не выпуская рукъ, присѣлъ рядомъ на другое кресло.

— Денегъ надо, Ермилъ Ѳомичъ,—весело начала она.

— Черпайте! Приказывайте! Вашъ слуга и казначей...

— Да, можетъ, моихъ-то не хватитъ...

— Такъ за мои примемся. А развѣ муженекъ?!

Въ десяти словахъ она ему все изложила. Ермилъ Ѳомичъ слушалъ, закрывъ совсѣмъ глаза, и чуть слышно мычалъ.

XXVI.

— Такъ вотъ какъ-съ,—выговорилъ съ удареніемъ Безрукавкинъ и поникъ головой.

— Одобряете?—спросила она.

— Еще бы! Абсолютно!

Онъ встряхнулъ волосами по модѣ сороковыхъ годовъ „à la moujik“, и, улыбаясь, глядѣлъ на свою гостью.

— Еще бы!—повторилъ онъ.—Умница вы, да и какая! Васъ бы надо къ намъ въ биржевой комитетъ или въ думу... Ей-ей! Все это превосходно—и полное мое вамъ одобреніе. Завтра пораньше Трифонъ ко мнѣ... Какую надо сумму и проектецъ довѣренности. У меня есть дока... Изъ нашихъ банковыхъ юрисконсультовъ. Я ему завтра покажу, нарочно заѣду. Такъ вы,—онъ началъ говорить тихо,—пенсіончикъ супругу-то положили?..

Они оба расхохотались.

— А за пазухой надо сотни тысячъ держать!

— Да я такъ и буду готовиться, Ермилъ Ѳомичъ.

— Пожалуй, и не хватитъ!..

Онъ ее жалѣлъ. Съ „дамами“ Безрукавкинъ всегда бывалъ любезенъ; но Анну Серафимовну отличалъ особенно. Его влекли къ ней, кромѣ наружности, ея дѣловая натура и „истовый“ видъ, умѣнье держать себя. И по части „вопросовъ“ можно съ ней пройтись. Серьезныя книжки любить читать; статейку ей укажешь—непремѣнно прочтетъ, слушаетъ его почтительно, спорить мало, и если съ чѣмъ несогласна, возражаетъ умно. Не разъ и онъ

жалѣть, почему не пришло ему на мысль присвататься къ ней десять лѣтъ тому назадъ? Очень ужъ онъ сжился съ своей холостой свободой. Все говорилъ: „такъ-то лучше“, да и не взвѣдѣлся, какъ пятьдесятъ семь годковъ стукнуло.

Анна Серафимовна встала и посмотрѣла, который часъ. Пора на обѣдъ къ теткѣ. Ермилъ Ѳомичъ протянулъ ей обѣ руки и задержалъ ее еще минуты на двѣ въ гостиной.

— Когда же мы сядемъ рядкомъ,—спросилъ онъ,— да потолкуемъ ладкомъ?

— Забываете меня, заѣхали бы какъ-нибудь. Я вечера все дома сижу.

— Какова статейка-то въ послѣднемъ номерѣ, а?

Они перешли въ его библіотеку.

— Не читала еще.

— А-а! Прочтите! Знаменіе времени! Вы раскусите, чѣмъ пахнетъ! Есть что-то такое, какъ бы это сказать... Протестація. Пришелъ конецъ нашему квасу-то. Мы шапками закидаемъ! Мы, да мы! А вся Европа намъ фигу кажется...

Безрукавкинъ быстро подошелъ къ письменному столу и взялъ книгу журнала. Она была развернута. Онъ надѣлъ было очки и собрался прочитать Аннѣ Серафимовнѣ цѣлую страницу.

„Батюшки!“ испугалась она и начала отступать къ двери.

— Торопитесь?—спросилъ онъ съ книжкой въ рукѣ.

— Да, извините, Ермилъ Ѳомичъ, спѣшу.

— Жаль; а тутъ вотъ есть одно выраженіе. Такъ у насъ еще не писали. Я боялся—остановка будетъ мѣсяца на четыре, однако, до сихъ поръ Богъ миловалъ...

— Вотъ вы какой!..—пошутила она.

— Я такой!.. Это точно. Изъ старыхъ западниковъ... У меня какіе друзья-то были? Кто мнѣ дорогу-то указалъ?.. Храни, молъ, Ермилъ, наши... какъ бы это сказать... инструкціи. Я и храню! Передъ Европой я не ки-чусь. Наука...

Онъ не докончилъ и подбѣжалъ къ этажеркѣ съ книгами.

— Эту вещицу не видали?

Глаза его заблестѣли, когда онъ поднесъ брошюру къ лицу Анны Серафимовны. Она прочла заглавіе.

— Интересно?—спросила она боязливымъ звукомъ.

Ермилъ Оомичъ оглянулъ комнату и продолжалъ шопотомъ и немного въ пось:

— Я, вы знаете, этихъ господъ не признаю. Они чрезъ край хватили... Додумались до того, что наука, говорятъ, барское дѣло!.. Каково! Наука! А что бы мы безъ нея были?.. Зулусы, или какъ ихъ еще... вотъ что теперь Станлей, американецъ, посѣщаетъ... А есть два-три мѣта... мое почтеніе! Я отмѣтилъ краснымъ карандашомъ.

Анна Серафимовна стояла уже въ дверяхъ передней.

— Ахъ, да! вамъ къ сѣху... Не хотите ли просмотрѣть брошюру?

— Боюсь, Ермилъ Оомичъ!

— Вы-то?.. Да вы смѣйте любого изъ насъ.

— Гдѣ ужъ! Дай Богъ со своей-то домашней политической справиться.

— Ну, коли такъ, съ Богомъ! Пожалуйте руку. А если что—не побрезгуйте, заверните въ амбаръ.

— У васъ тамъ и безъ меня много дѣла.

— Какой! такъ по инерціи... Ей-Богу! Сидишь-сидишь... Одинъ вексель учтешь, другой, третій; отчетъ по банку или по обществу просмотришь, въ трактиръ чайку. Кистай!.. Ташкентъ!.. По сіе время еще въ татарщинѣ находишься!

И онъ рѣзнулъ себя по горлу.

Въ передней Ермилъ Оомичъ собственноручно отворилъ Аннѣ Серафимовнѣ дверь въ сѣни и крикнулъ камердинеру:

— Проводи!

XXVII.

Къ тетускѣ Марѣ Николаевнѣ ѣзды было четверть часа. Минуть пять она опоздаетъ—не больше. До сихъ поръ все идетъ хорошо. Ермилъ Оомичъ—вѣрный другъ. Онъ считается, какъ и она, скуповатымъ, а по своей части кряжистымъ „дисконтеромъ“, но она знаетъ, что онъ способенъ открыть ей широкій кредитъ. Да до кредита, авось, дѣло и не дойдетъ. Если она и спуститъ весь свой капиталъ въ первые два года, такъ послѣ выберетъ его. А ея суконная фабрика пойдетъ своимъ обычнымъ порядкомъ. Какой на нее „оборотный“ капиталъ нуженъ, она не тронетъ его. Чистаго дохода съ фабрики она не проживетъ, даже если бы съ мануфактуръ Виктора Мироновича и не получалось никакого дохода, до покрытія его

долговъ. Только надо хорошенько все оговорить и слѣдить за нимъ. Пожалуй, придется имѣть вѣрнаго чело-вѣка за границей.

Она задумалась.

Не хорошо! Что жъ это будетъ, въ сущности? Похоже на шпионство. Какое шпионство? Простое наблюденіе... Подъ рукой кому слѣдуетъ дать знать—магазинщикамъ и прочему люду, что хотя онъ и можетъ подписывать векселя, но платить нечѣмъ, все у него заложено, а распоряженіе дѣломъ у жены. Если онъ не уймется—она ему предложитъ дать ей вторую закладную на мануфактуры. Тогда пускай пишетъ векселя. За нею все равно останется его недвижимость. Не хватить у ней своихъ денегъ, Ермилъ Ѳомичъ дастъ безъ залога, учтетъ вексель на какую угодно сумму, да и въ банкахъ можно учесть. У ней лично кредитъ солидный—гдѣ хочетъ: и въ государственномъ, и въ торговомъ, и въ купеческомъ, и въ учетномъ.

Все дѣла да дѣла, расчеты, подозрѣнія, цифры, рубли. Сушь! А день стоитъ такой радостный. Вотъ пять часовъ, а тепло еще не спало. Даже на весну похоже; воздухъ и грѣетъ, и онахиваетъ свѣжестью.

Анна Серафимовна потянула на себя полы шелкового пальто. Она не вернется домой до вечера. А вечеромъ засвѣжѣетъ. Кто знаетъ, быть-можетъ, и морозикъ будетъ. Въдь черезъ нѣсколько дней на дворѣ октябрь. Ей дадутъ что-нибудь тамъ, у тетки. Она не одного роста съ кузипой, зато худощавѣе.

Колиска ѣхала на добрыхъ рысяхъ, Ефимъ натянулъ вожжи. Лошади, настоявшіе до-сыта, немного горячились и закусывали, то та, то другая, удила уздечки. Разъ два на плохой мостовой порядочно качнуло. Но нить мыслей Анны Серафимовны не прервалась. Дѣла не позволяли ей отдаться своимъ ощущеніямъ. Да она, за послѣднее время, точно отказалась отъ своей жизни. Какъ будто забыла, что ей всего двадцать семь лѣтъ, что считаютъ ее хорошенькой, цѣлуютъ ручки, всячески отличаютъ ее, обходятся съ нею совсѣмъ не такъ, какъ съ женщинами ея круга. Не потому ли, что она слыветъ за миллионершу? Кто знаетъ? И этотъ Палтусовъ точно такъ же...

Она не замѣчала, что уже третій разъ послѣ разговора въ амбарѣ мысль ея переходила къ этому чело-вѣку. Ей хотѣлось теперь еще сильнѣе, чтобы онъ не смотрѣлъ на

нее только какъ на купчиху-скопидомку. Надо ей больше читать; вотъ когда дѣло наладится, послѣ отъѣзда мужа. Она не мало читала и любить серьезныя вещи. Не слишкомъ ли ужъ она скромна? Вонъ хотъ бы взять Ермила Өмича. Онъ такъ и рѣжетъ. Правда, не всегда у него иностранное слово кстати. Сегодня онъ пустилъ и „протестаціи“ и „инерцію“... А вѣдь онъ на мѣдныя деньги учился. Когда онъ ей разъ записку написалъ, такъ ни одной живой „яти“ не было. Развѣ у ней такая грамотность? Она изъ пансіона второй ученицей вышла... И дѣтей будетъ сама учить — и русскому, и когда надобность будетъ, такъ и ариѳметикѣ и географіи. Степенность и осторожность ее одолеваетъ. И людей мало видитъ умныхъ, развитыхъ. А Ермилъ Өмичъ промежду нихъ терся лѣтъ еще двадцать пять назадъ; на немъ и осталась эта чешуя... Вотъ онъ „западникъ“ — и поди съ нимъ тягайся!

Ловко, крутымъ поворотомъ влетѣлъ Ефимъ во дворъ одноэтажнаго длиннаго дома съ мезониномъ и крыльями — въ родѣ галлерей — окрашеннаго въ нѣжно-абрикосовый цвѣтъ. Дворъ уходилъ въ глубь, гдѣ за чугуной бѣлой рѣшеткой краснѣли остатки листьевъ на липахъ и кленахъ. Домъ Марѣы Николаевны Кречетовой занималъ широкую полосу земли, спускавшейся къ Лузѣ. Изъ сада видны были извилины рѣки, овраги, фабрики, мостъ, а надъ ними, на другомъ берегу — богатая церковь и хоромы Рогожской, каланча части, и еще дальше — башни и ограды монастыря. Точно особенный городъ поднимался тамъ, весь каменный, съ золотыми точками крестовъ и главъ, съ садами и огородами, съ внѣшне-строгой обрядной жизнью древняго благочестія, съ хозяйскимъ приюльемъ закромовъ, амбаровъ, погребницъ, сараевъ, рабочихъ казармъ, затѣйливыхъ бесѣдокъ и вышекъ.

XXVIII.

Въ переднюю, просторную, низкую, полукруглую комнату, высыпала молодежь встрѣтить Аппу Серафимовну. Поднялись говоръ, смѣхъ, оглядыванье туалета, поцѣлуи. Всѣхъ шумиѣ держала себя ея двоюродная сестра, меньшая, незамужняя дочь Марѣы Николаевны — Любаша, широкоплечая, небольшого роста, грудастая дѣвица. Ея темные волосы были распущены по плечамъ. Замѣтный пушокъ легъ вдоль верхней губы. Разомъ взявшись за руки, накиннулись на гостью двѣ дѣвушки, обѣ блондинки, вы-

сокія, перетянутыя, одна въ короткихъ полосахъ, другая въ косѣ, перевязанной цвѣтною лентой — такія же бойніи, какъ и Любаша, но менѣе рѣзкія и съ болѣе барскими манерами. Одна была консерваторка Кисельникова изъ купеческихъ дочерей, другая — учительница Селезнева, дающая уроки по богатымъ купцамъ, изъ чиновничьей семьи. Онѣ очень походили одна на другую и схоже одѣвались; бывали въ однихъ домахъ, разомъ начинали хохотать и кричать, вмѣстѣ бранились съ своими кавалерами и безпрестанно переглядывались. Въ дверяхъ показались два подростка, въ разстегнутыхъ мундирахъ техническаго училища, а за ними уже изъ залы видна была низменная фигура молодого брюнета въ бородахъ, съ золотымъ ріпсе-пез, въ бѣломъ галстукѣ при черномъ, чрезмѣрно длинномъ сюртукѣ — помощникъ присяжнаго повѣреннаго Мандельштаубъ, изъ некрещенныхъ евреевъ.

— Тетя! Пора! — кричала Любаша, тиская Анну Серафимовну.

Она давно привыкла звать ее „тетя“.

— Всего пять минутъ опоздала.

— Икратъ смерть хочется! — сошкollyничала Любаша на уxo, но такъ, что подружки ея слышали и разразились смѣхомъ.

— Ахъ, Люба! — вырвалось у Селезневой. Она при постороннихъ церемонилась.

— Ну, ладно! — отозвалась Любаша. — Тетя! голубушка! шляпка-то у васъ — цѣлый овинъ. А лихо! Только я ни за что бы не надѣла. Пожалуйста, пожалуйста, родительница ужъ переминается.

Она схватила Анну Серафимовну за плечи и больше потащила, чѣмъ повела въ залу.

— Брысь! брысь! Реалисты-стрекулисты! — крикнула она на техникувъ, расталкивая ихъ. — Не пылить!..

Въ залѣ накрытъ былъ столъ во всю длину, человекъ на четырнадцать. Особой столовой у Марѣи Николаевны не было. Она не любила и большихъ дубовыхъ шкаповъ. Посуда помѣщалась въ „буфетной“ комнатѣ. Бѣлые съ золотымъ обои, рояль, ломберные столы, стулья, образъ съ лампадкой: зала смотрѣла суховато-чопорно и чрезвычайно чисто. За чистотой блюла сама Марѣя Николаевна, а Любаша, напротивъ, оставляла вездѣ слѣды своей не-
порядочности

— Вы не знакомы?—спросила она помощника въ бѣломъ галстукѣ и указывая на Стапицыну.

— Не имѣлъ удовольствія встрѣчать...—началь было онъ.

— Ну, вы какъ затянете. Тетя моя, то, бишь, сестра двоюродная... ну да это все равно... Анна Серафимовна. Видите, какая прелесть... А это адвокатъ... то, бишь, помощникъ Мандельбаумъ.

— Штаубъ,—поправилъ онъ полуобожженно, но улыбающійся.

За Любой давали полтора ста тысячъ — можно было и православіе принять.

— Ну, все равно! Штаубъ, Баумъ, Шмерцъ. Все едино, что хлѣбъ—что мякина... А вы знаете, тети милан, у насъ зять.

— Кто?—тихо спросила Анна Серафимовна, все еще не пришедшая въ себя.

— Зять, Сонинъ мужъ. Докторъ Лепехинъ. Вотъ сейчасъ справлялся тоже — скоро ли обѣдать. А я ему говорю: лопайте закуску!

— Любовь Савишна,—покачалъ головой брюнетъ,—вы все нарочно.

— Сойдетъ!... Для такихъ кавалеровъ—не начать ли парлефрансе?

И она чуть-чуть не высунула ему языкъ. Дѣвицы шли назадъ и все „прыскали“.

Въ дверяхъ гостиной патынулись они еще на подростка — въ солдатскомъ мундирѣ, очкахъ, съ большимъ количествомъ прыщей на красномъ потномъ лицѣ. Онъ хлопнулъ каблуками.

— Это ничего,—пояснила Любаша Аннѣ Серафимовнѣ.— Изъ училища. — И имъ всемъ говорю: что вы къ намъ шатаетесь; зубрить вамъ надо. Ей-Богу, директору напишу, чтобъ пробрали. А они все насчетъ любовной страсти. Этакіе-то корнусятники!

Любаша приложила руку къ сердцу, сgrimасничала и потрянула своей гривой. Анна Серафимовна сдержанно засмѣялась и шепнула ей:

— Полно, не хорошо!

— Сойдетъ!—крикнула ей въ отвѣтъ Любаша и ввела въ гостиную.

XXIX.

На среднемъ диванѣ, подъ двумя портретами „молодыхъ“, писанныхъ тридцать пять лѣтъ передъ тѣмъ, бодро сидѣла Марѳа Николаевна и наклонила голову къ своему собесѣднику, доктору Лепехину, мужу ея старшей дочери Софьи, медицинскому профессору, прїѣзжему изъ провинціи. Марѳа Николаевна сохранилась: темные волосы, зачесанные за уши, совсѣмъ еще не серебрились даже на вискахъ, красиво сдвоенныхъ. Кожа потемнѣла противъ прежняго, но все еще была для ея лѣтъ замѣчательно бѣла. Въ линіи носа, въ глазахъ, не утратившихъ блеска, сидѣло фамиліное сходство съ племянницей. Она немного согнулась, но не сгорбилась. Голову ея драпировала черная кружевная косынка, надѣтая, по своему, въ родѣ платочка. Черное же шелковое платье, съ большой пелериной, придавало ей значительность и округлило ея сухой станъ. Она все собирала и какъ бы закусывала свои тонкія губы, почему кумушки и болтали, что она придерживается рюмочки. Но это была чистѣйшая клевета. Марѳа Николаевна, правда, имѣла привычку выпивать за обѣдомъ иужиномъ по рюмкѣ tenerифу, но къ водкѣ отъ-роду не прикладывалась.

Обширный диванъ, съ высокой рѣзной орѣховой спинкой, раздѣлялъ двѣ большія печи—расположеніе старыхъ домовъ—съ выступами, на которыхъ стояло два бюста изъ алебастра подъ бронзу. Обивка мебели, шелковая, темно-желтая, сливалась съ такого же цвѣта обоями. Отъ нихъ гостиная смотрѣла уныло и сумрачно; да и свѣтъ проникалъ сквозь деревья—комната выходила окнами въ садъ.

Зятя Марѳы Николаевны Анна Серафимовна видѣла всего два раза: когда онъ вѣнчался, да разъ за границей. Ей показалось, что онъ похудѣлъ и обросъ еще больше волосами. Борода начиналась у него тотчасъ подъ нижними вѣками. На головѣ волосы курчавились и торчали въ видѣ шапки. Ему можно было дать лѣтъ тридцать пять. Въ начинающихся сумеркахъ гостиной блестѣли его большіе, круглые глаза восточнаго типа. Онъ весь вошелъ въ кресло и поджалъ подъ него длинныя ноги. Фракъ сидѣлъ на немъ мѣшковато: профессоръ прїѣхалъ отъ какого-то чиновнаго лица.

— Ахъ, Аннушка!—встрѣтила Марѳа Николаевна пле-

мянницу своимъ пѣвучимъ голосомъ.—Мы думали—не будешь. Спасибо, спасибо!

Старуха приподнялась съ дивана, вышла изъ-за стола, обняла Анну Серафимовну и поцѣловала ее два раза.

— Маменька!—вмѣшалась Любаша.—Я велю давать супъ. Мужчинки!—крикнула она,—полумужчинки! закуску можете травить!.. Маршъ!

— Люба! что ты это мелешь?—не то что очень строго, но все-таки по-матерински, остановила ее Марѳа Николаевна.

Она давно перестала сердиться на дочь за ея языкъ и обхождение. Ссориться ей не хотѣлось. Пожалуй, сѣбѣ жить... Лучше на покоѣ дожить, безъ скандала. Марѳа Николаевна только въ этомъ дѣлала поблажку. Въ домѣ хозяйкой была она. Деньги лежали у нея. Всю недвижимость мужъ ей оставилъ въ пожизненное владѣніе, а деньги прямо отдалъ. Люба это прекрасно знала.

— Егоръ Егорычъ,—обратилась она къ зятю, — наша Аннушка-то какая милая... Вы какъ ровно не признали ее.

— Признать-сь,—отвѣтилъ горловымъ голосомъ зять, всталъ и протянулъ руку Аннѣ Серафимовнѣ.

Онъ ей никогда не нравился. Она даже побаивалась его учености и рѣзкаго тона. Говорилъ онъ точно ногу или руку рѣзалъ.

— Закусить милости прошу, — пригласила старуха. — Люба! проси гостей въ залу.

Шлеманницу Марѳа Николаевна придерживала въ гостиной и шепнула ей:

— Не привезъ жену-то!.. Такъ скрутилъ. Даромъ что бойка была. Вотъ я тоже и Любви говорю: дай срокъ-отъ, нарвешься ты вотъ на такого же большака...

Онершись слегка на руку Анны Серафимовны, красивая старуха перешла въ залу, истово перекрестилась большимъ крестомъ, сѣла на хозяйское мѣсто, гдѣ высилась стопа тарелокъ, и начала неторопливо разливать щи.

— Сюда, сюда,—указывала она рядомъ съ собою Аннѣ Серафимовнѣ.

Молодежь долго шу пугалась и топталась около закуски. Изъ задней двери выплыли двѣ сѣрыя фигуры и сѣли, молча поклонившись гостямъ.

— Гдѣ же Митроша?—спросила Марѳа Николаевна.

— Не прѣзжалъ еще!—отклинулась Любаша. — Намъ



изъ-за него не...—Она хотѣла сказать „околѣвать“, но воздержалась.

Остались не занятыми два прибора. Подростки и дѣвицы, наѣввшись закуски, загремѣли стульями и заняли уголъ противъ хозяйки.

XXX.

— Тетя!—крикнула Любаша черезъ весь столъ, упершись объ него руками, — знаете, кого мы еще къ обѣду ждали?

— Кого?

— Сеню Рубцова... вы его помпите ли?

Анна Серафимовна стала вспоминать.

— Рождественникъ дальній,—пояснила Марѳа Николаевна, —Анѣнсы Ивановны покойницы сынокъ. И тебѣ придется также,—наклонилась она къ племянницѣ.

— Нашему слесарю—двоюродный кузнецъ!..—откликнулась Любаша.

Техникъ и юнкеръ какъ-то гаркнули однимъ духомъ.

Профессоръ ѣлъ щи и сильно чмокалъ, посапывая въ тарелку. Прислуживалъ человекъ въ сюртукѣ степеннаго покроя, изъ бывшихъ крѣпостныхъ, а помогала ему горничная, разпосившая поджаристыя большія вотрушки. Посуда изъ англійскаго фаянса, съ синими цвѣтами, придавала сервировкѣ стола характеръ еще болѣе тяжеловатой зажиточности. Въ домѣ всѣ пили квасъ. Два хрустальныхъ кувшина стояли на двухъ концахъ, а посрединѣ ихъ массивный граненый графинъ съ водой. Вина не подавали иначе, какъ при гостяхъ, кромѣ бутылки тене-рифа для Марѳы Николаевны. На этотъ разъ и передъ зятемъ стояла бутылка дорогаго рейнскаго. Молодежи поставили двѣ бутылки лавинской воды; но техники и юнкеръ пили за закускою водку, и глаза ихъ искрились.

— Тетя! — крикнула опять Любаша. — Сеня-то какой сталъ чудной! Мериكانца изъ себя корчитъ. Мы съ нимъ здорово ругаемся.

Анна Серафимовна ничего не отвѣтила. Она разслышала, какъ адвокатскій помощникъ сказалъ Любашѣ:

— А вы большая охотница... до этого?..

Тетка старалась ввести се въ разговоръ съ зятемъ. Онъ обѣихъ давилъ своимъ присутствіемъ, хотя и держался непринужденно, какъ въ трактирѣ, и не выражалъ желанія кого-либо изъ присутствующихъ занимать разговорами.

— Вотъ, Егоръ Егорычъ,—начала Марѳа Николаевна,—разсказываетъ про свои мѣста... Про поляковъ... не очень ихъ одобряетъ...

Онъ только повелъ бѣлками и выпилъ послѣ тарелки шей большую рюмку рейнвейна.

— Егоръ Егорычъ,—подхватила съ своего мѣста Любаша,—прославился тѣмъ, что Дарвинову теорію приложилъ къ обрусѣнію... Не пуцай! какъ у Щедрина...

Вся молодежь расхохоталась. Мандельштаубъ даже взвизгнулъ, бѣлокурныя дѣвицы переглянулись и толкнули одна другую.

— Люба!—строго остановила мать и покачала головой.

Обросшія щеки профессора пошли пятнами.

— А вы знаете ли, что такое Дарвинова теорія?—спросилъ онъ глухо.

— Гни въ бараній рогъ! Кто кого сильнѣе, тотъ того и жри!..—обрѣзала уже въ сердцахъ Люба.

Она терпѣть не могла своего шурина.

— И будемъ гнутьъ съ!—также со злостью отвѣтилъ онъ и ударилъ ножомъ о скатерть.

„Господи!..—подумала Анна Серафимовна, — они подерутся“.

Подали круглый пирогъ съ курицей и рисомъ, какіе подавались въ помѣщичьихъ домахъ до эмансипаціи. Зазывали ножи, всѣ присмирѣли и въ молодомъ углу бѣли запуски... Любаша ужасно дѣйствовала своимъ приборомъ. Анна Серафимовна старалась не глядѣть на нее. Вилку Любаша держала торчкомъ, прямо и „всей пятерней“—какъ замѣчала ей иногда мать, отличавшаяся хорошими купеческими манерами; ножикъ—также, бѣла съ пожа рѣшительно все, а дичь, цыплятъ и всякую птицу исключительно руками, такъ что и подругъ своихъ заразила тѣми же приемами. Невольно бросила Анна Серафимовна взглядъ на свою кузину. Въ эту минуту Любаша совсѣмъ легла на столъ грудью, локти приходились въ уровень съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ ставятъ стаканы, она громко жевала, губы ея лоснились отъ жиру, обѣими руками она держала косточку курицы и обгрызывала ее. Глаза ея задорно были устремлены на зятя и говорили:

„Вотъ дай срокъ, я доложу, задамъ я тебѣ феферу!“

— Какъ вы это страшно сказали,—съ улыбкой замѣтила Анна Серафимовна профессору.

Онъ дожевывалъ и, не поднимая головы, выговорилъ:

— Такой народ!..

— Маменька,—донесся голос Любаша, — здѣсь вина нѣтъ... Тамъ реинвейнъ стоитъ.—и она ткнула рукой въ воздухъ,—а здѣсь хоть бы чихирю какого поставили.

Мать показала головой лакею на свою бутылку тепе-рифу.

— Нѣтъ, нѣтъ! Покорно спасибо. Пожалуйста намъ краснаго!.. Лафиту!

Подозвана была горничная. Марѳа Николаевна что-то шепнула ей и сунула въ руку ключи.

Въ передней слышались шаги.

— Вотъ Митроша!—возвѣстила Любаша; потомъ оглядѣла всѣхъ и вскрикнула:—Вѣдь насъ тринадцать будетъ!..

Всѣ переглянулись, не исключая и зятя. Мать пустила косвенный взглядъ на двѣ сѣрыя фигуры: одна была приживалка—майорша, другая—родственница, вдова злостнаго банкрота.

— Ха-ха!—сквозь зубы разсмѣялся зять и поглядѣлъ на Любашу.—Дарвина нмѣ всеу употреблете, а тринадцати за столомъ бонтесть.

— И боюсь! И всѣ боятся, только стыдно сказать... И вы, когда поща встрѣтите, что-то такое выдѣлываете, я сама видала.

Приживалка-родственница безмолвно встала и отошла въ сторону.

— Поставь ихъ приборъ на ломберный столъ,—приказала лакею Марѳа Николаевна.

Всѣ точно успокоились и стали добѣдать рись и сдобныя корки пирога. Подали и бутылку краснаго вина. Досталось по рюмкѣ молодому концу стола. Любаша пролила свое вино; юнкеръ началъ засыпать пятно солью и высыпать всю солонку.

XXXI.

Къ ручкѣ Марѳы Николаевны подошелъ сынъ ея Митроша, или „Митрофанъ Саввичъ“, какъ звала его сестра, когда желала убѣдить его въ томъ, что онъ „идіотъ“ и „чучело“. Онъ походилъ на сестру только широкой костью и не смотрѣлъ ни гостинодворцемъ, ни биржевикомъ. Всег скорѣе его припиали бы за домашняго учителя, или да за оставшаго военнаго, отпустившаго бороду. Одѣтъ онъ былъ въ модный темный драповый сюртукъ, но все

немъ сидѣло небрежно и точно съ чужого плеча. Рыжеватые волосы, давно не стриженные, выдавались надъ лбомъ длиннымъ клокомъ, борода росла въ разныхъ направленихъ. На переносицѣ залегли двѣ прямыя морщины, и брови часто двигались. Ему минуло двадцать семь лѣтъ.

Митрофанъ Саввичъ поклонился всѣмъ небрежно и торпливо, и сѣлъ рядомъ съ шуриномъ. Онъ его почиталъ и постоянно ему поддакивалъ. Анна Серафимовна знала напередъ, какъ онъ будетъ себя вести: сначала посидитъ молча, будетъ жадно „хлебать“ щи и громко жевать сухую ѣду, а тамъ вдругъ что-нибудь скажетъ насчетъ политики или биржи, и начнетъ кричать сильнѣе, чѣмъ Любаша, точно его кто больно сѣчетъ по голому тѣлу; прокричавшись, замолчитъ и впадетъ въ тупую угрюмость. Если за столомъ сидитъ кто, играющій на какомъ-нибудь инструментѣ, онъ заговоритъ о своемъ корнетъ-цистонѣ. Играетъ онъ цѣлые дни, по возвращеніи домой, собралъ на своей половинѣ цѣлую коллекцію мѣдныхъ инструментовъ, а когда устанетъ, призоветъ двухъ артельщиковъ и приказываетъ имъ дѣйствовать на механическомъ фортепіано. Съ десяти до четырехъ онъ сортируетъ товаръ: жарену, кубовую краску, буру, баканъ, кошениль, скипидаръ, керосинъ. Въ этомъ онъ считается большимъ докой. Передъ обѣдомъ бываетъ на биржѣ. Анна Серафимовна все это знала и почему-то, каждый разъ, говорила себѣ: „А вѣдь свезутъ его когда-нибудь въ Преображенскую больницу“.

Не прошло и пяти минутъ, какъ Митроша выпилъ квасу и уже кричалъ высокой фистулой по поводу какой-то дедши объ англичанахъ:

— Торгаши проклятые!.. Опять гадить!.. Ужъ мы ихъ припремъ!.. Эти самые текинцы! Откуда взялись текинцы? Биконсфильдъ!.. Жидовское отродье! И вдругъ въ лорды прозвели! Съ паршами-то!

Помощникъ присяжнаго повѣреннаго повернулъ голову въ своихъ высокихъ стоячихъ воротникахъ при крикѣ „жидовское отродье“. И „парши“ ему не пришлось по вкусу. Въ другомъ мѣстѣ онъ напомнилъ бы, что и Спильова былъ тоже „съ паршами“, но полторасти тысячь... все полторасти тысячь...

Любаша наклонилась къ нему и сказала громкимъ шопотомъ:

— Пускай его!.. Сейчасъ клапанъ-то закроется! У него вѣдь это вдругъ!..

Дѣвцы хотѣли расхохотаться, но просидѣли тихо: каждая имѣла тайные виды на Митрошу.

Шуринъ согласился съ нимъ. Молодежь слышала, какъ онъ съ какимъ-то даже щелканьемъ своихъ бѣлыхъ зубовъ сказалъ:

— Пустить надо грамоты! Индійскій народъ за насъ.

„Что за столпотвореніе вавилонское“, подумала Анна Серафимовна. — Ее начало давить, какъ во снѣ, когда вась „домовой“ — такъ ей разсказывала когда-то няня — душить своей мохнатой лапой.

Рыба, на длинной деревянной доскѣ, покрытой салфеткой, слѣдовала за пирогомъ. Соусъ „по-русски“ подавала горничная особо. Любаша, какъ и всѣ, кромѣ Анны Серафимовны—ее научилъ мужъ—ѣла всякую рыбу ножомъ и крошила ее, точно она собирается мастерить тюрю. Никто не услышалъ, какъ въ дверяхъ залы показался новый гость, высокаго роста, съ волосами и бородкой каштановаго цвѣта и пробритой губой, что могло бы придавать ему наружность голландскаго или шведскаго шкипера. Но черты его загорѣлаго лица были чисто-русскія, не очень крупныя. Круглый носъ и свѣтло-сѣрые глаза, сочныя губы и широкій подбородокъ, — все это отзывалось Поволжьемъ. Вокругъ рта и подъ носомъ появлялись мелкія складки юмора. Онъ держалъ въ рукахъ шотландскую шапочку. На немъ плотно сидѣлъ клѣтчатый коричневый сюртъ. Его сапоги на двойныхъ подошвахъ издавали сильный скрипъ.

— Сенья!—первая увидала его Любаша, бросила салфетку, не утеревшись, и вскочила изъ-за стола.

— Опять тринадцать будетъ!—крикнула дѣвица Селезнева.

Приживалку посадили на прежнее мѣсто. Было не мало хохоту. Новый гость пожалъ руку Марѣ Николаевнѣ, Любашѣ, ея брату и шурину. Его посадили рядомъ съ Анною Серафимовною.

XXXII.

Ихъ перезнакомили. Дѣйствительно, онъ приходился въ одинаковомъ дальнемъ родствѣ и покойному мужу Мары Николаевны, и ей самой, а стало-быть и Аннѣ Серафимовнѣ. Тетка припомнила племянницѣ, что они

„съ Сеней“ игрывали и даже „дирались“, за что Сеню разъ больно „выдрали“.

Анна Серафимовна незамѣтно, но внимательно оглядѣла его.

— Какъ васъ звать?—тихо спросила она подъ шумъ голосовъ и стукъ ножей.

— Купеческій братъ Любимъ Торцовъ,—пошутилъ онъ.

Говоръ его не то что отзывался иностраннымъ акцентомъ, а звучалъ какъ-то особенно, пожестче московскаго.

— Нѣтъ, по отечеству?

— Тихоничъ! уже совсѣмъ по-купчески произнесъ онъ и даже на „о“ сильнѣе, чѣмъ она произносила.

Это ей понравилось.

— Вы на Волгѣ все жили?—спросила она.

— На Волгѣ... десять лѣтъ невступно.

— Вѣдь я старше васъ?—ласково выговорила она, и въ первый разъ подольше остановила на немъ свои глаза.

Рубцовъ тоже уставилъ глаза въ ея брови: онъ такихъ давно не видалъ.

— Ну, врядъ ли,—бойко, немного хриповатымъ голосомъ отвѣтилъ онъ...—Мнѣ двадцать шестой пошелъ. Я вѣкъ Митрофана на два года моложе.

— А я васъ на два года старше...

Ей и то почему-то было пріятно, что она старше его... На видъ онъ смотрѣлъ тридцатилѣтнимъ.

— И вы,—продолжала она понемногу спрашивать,—давно съ Волги-то?

— Да... семь годовъ будетъ... Аттестатъ зрѣлости не угодилъ получить. Вы нешто не слышали? Отецъ въ дѣлахъ разорился въ лоскъ... И мать въ скорости умерла. Сестра въ Астрахани замужемъ. Вотъ я, спасибо доброму чловѣку,—и уѣхалъ за море.

— Въ Англіи все были?

— И въ Америкѣ тоже. Какія крохи оставались—я махнулъ на нихъ рукой... Да вы что же все про меня? Вы лучше про себя расскажите. Вонъ вы, сестричка, какая... Вы не обидитесь. Я васъ, помню, такъ звалъ.

— Зовите... И по какой же вы тамъ части?

— Да по всякой... Кой-чему научился, какъ слѣдуетъ. Изъ фабричнаго дѣла—суконное знаю порядочно.

— Суконное?—вскричала Анна Серафимовна.

— А что?

— Какъ это *славно!*

— Не хотите ли меня брать?

-- Что же?

— Смотрите! Дорого я!

Онъ разсмѣялся, и она съ нимъ. Имъ стало ловко, весело, они сейчасъ почувствовали, что во всемъ обществѣ только между собою и могутъ вести они разговоръ людей, понимающихъ другъ друга. Появленіе этого „брatца“ сегодня, послѣ сцены въ амбарѣ, предъ открывающеюся передъ нею вереницей дѣловыхъ заботъ и одиночества, — разомъ освѣжило Анну Серафимовну... Не даромъ, точно по предчувствію, спѣшила она къ теткѣ. Ей, конечно, было бы пріятнѣе найти въ Семенѣ Тихоновичѣ побольше нязищества въ манерахъ и въ говорѣ; но и такъ онъ для нея былъ подходящій человѣкъ... Въ немъ она учуяла характеръ и живой умъ. Такой малый — не выдастъ... Остался мальчикомъ въ погромѣ дѣла отца, не пропасть, учился, побывалъ въ Америкѣ... Не шутка! И все-таки не важничаетъ, не тычетъ въ носъ заграницей, говорить сильно на „онъ“, напоминаетъ ей своимъ тономъ дѣтство. Да еще моложе ея на два года!..

Любаша съ прихода Рубцова замѣтно притихла. Она прислушивалась къ разговору его съ Анной Серафимовной, начала насмѣшливо улыбаться, отъ жаренаго — подавали индѣйку, чиненую каштанами — отказалась и сложила даже руки на груди; а ротъ вытерла старательно салфеткой. Она не нападала на этого „брatца“ такъ смѣло, какъ на шурина, а больше отшучивалась.

За пирожнымъ — яблочный пирогъ со сливками — Рубцовъ, видя, какъ она пустила шарикъ въ носъ одному изъ техникувъ, — сказалъ ей тономъ взрослого съ дѣвочкой:

-- Безъ пирожнаго оставимъ!.. Который годокъ-то?

— Двадцать лѣтъ! — отвѣтила она и хотѣла ему показать языкъ.

— Хорошо, что я сегодня здѣсь около бабушки сижу, — обратился онъ къ Аннѣ Серафимовнѣ; — а то кузиночка-то все книжками меня пугаетъ. Все насчетъ обмѣна вещей... Штофъ-вексель. Изъ физиологін-съ!..

— Я вижу, что тебѣ хорошо тамъ, присосѣдился, — подхватила Любаша и начала шептаться съ подругами.

Всѣ три дѣвицы встали изъ-за стола, гремя стульями. Любаша, когда приходилось „прикладываться“ — такъ она называла цѣлованіе руки у матери — не могла не замѣтить Рубцову и Аннѣ Серафимовнѣ:

— Васъ теперь, я вижу, и водой не разольешь.
— Что мы, собаки, что ли?—возразилъ Рубцовъ.—Эхъ, кузиночка! А еще Гамбетту видѣли живого.

XXXIII.

Всѣ перешли въ гостиную; но Любаша и остальная молодежь, видя, что Рубцовъ отошелъ къ окну вмѣстѣ съ Анною Серафимовною, потащила всѣхъ въ мезонинъ, гдѣ помѣщался бильярдъ. Митроша сѣлъ съ шуриномъ играть въ карты въ вистъ. Для этого приглашена была одна изъ приживалокъ—майорша. Марѳа Николаевна отдыхала послѣ обѣда съ полчаса. За столъ сѣли поздно, и глаза у ней слипались.

Она тихо подошла къ племянницѣ, взяла ее за плечи, поцѣловала въ лобъ и поглядѣла на Рубцова, стоявшаго немного поодаль.

— Видишь, Сения, сестрица-то у тебя какая?

И старуха нѣжно погладила племянницу по волосамъ. Глаза Анны Серафимовны такъ и горѣли въ полусвѣтѣ гостиной, гдѣ лампа и двѣ свѣчи за карточнымъ столомъ оставляли темноту по угламъ.

Рубцовъ заглядѣлся на свою „сестрицу“.

— Вамъ, тетенька, бай-бай?—спросила Анна Серафимовна.

— Я на полчаса... Ты посидишь?

— Дѣтей я не видала съ утра.

— Не съѣдать... Ну, я пойду, велю вамъ сладенькаго подать.

Тутъ только Анна Серафимовна вспомнила про ананасъ. Его сейчасъ принесли. Тетка была тронута и сказала шопотомъ:

— Пускай постоитъ. Тѣмъ не стѣитъ давать.

Согнутая спина старухи, съ красивыми очертаніями головы, исчезла въ дверяхъ слѣдующей комнаты.

Рубцовъ указалъ Аннѣ Серафимовнѣ на два кресла у окна.

— Курите?

— Нѣтъ!

— Паленька не позволятъ? Онъ вѣдь на этотъ счетъ строгъ былъ.

— И у самой охоты не было.

Ей дѣлалось все ловчѣе съ нимъ и задушевнѣе, хотя онъ и не смотрѣлъ особенно ласково. Домашнія обиды и



дрянность мужа схватили ее за сердце; но она подавила это чувство. Она не станет ему изливаться. Послѣ, можетъ-быть, когда сойдутся совѣтъ по-родственному.

— У васъ сколько же дѣтокъ?—спросилъ онъ, закуривая собственную хорошую сигару.

— Двое: мальчикъ и дѣвочка.

— Красныя дѣтки?—Про мужа онъ не сталъ разспрашивать,—она догадалась, почему,—сказать только вскользь:—Супруга вашего показали мнѣ разъ на выставкѣ, въ Парижѣ.

Однако, она сообщила ему, между прочимъ, когда подали имъ фрукты и конфеты, что беретъ все дѣло въ свои руки.

— Ой ли!—вскрикнулъ онъ и всталъ.

Тутъ онъ разспросилъ ее про размѣры дѣла, про мануфактуры мужа и про ея суконную фабрику. О фабрикѣ она говорила больше и заохотила его посмотрѣть, и про свою школу упомянула.

— Хвалю!—кратко замѣтилъ онъ.

Съ директоромъ у пей мало ладу, а контрактъ его еще не кончился. Директоръ — нѣмецъ, упрямъ, держится своихъ пріемовъ, а ей сдается, что многое надо бы измѣнить.

— Вы бы заглянули,—пригласила она.

— Какъ, въ родѣ эксперта?—спросилъ онъ съ удивленіемъ на з.

— Вотъ, вотъ!

Прибѣжала Любаша угощать ихъ „своими конфетами“, поднесенными ей Мандельштаубомъ.

— Маменька-то,—разказала она имъ,—ни съ того, ни съ сего, генеральшу прикармливать стала, а та у ней серебряный шандаль и стащила.

— Ахъ!—пожалѣла Анна Серафимовна.

— Да, всѣ вышли, а она и стибрила. Зато настоящая генеральша... У ней, кто чиномъ выше изъ салопницъ,—тотъ ее и разжалобить скорѣе.

Они ничѣмъ не поддержали ея балагурства. Любаша убѣждала и крикнула имъ:

— Естественный подборъ!..

Анна Серафимовна поняла намекъ. Рубцовъ крикнулъ и мотнулъ головой.

— Чудеса въ рѣшетѣ, — началъ онъ. — Москательный товаръ и происхожденіе видовъ Дарвина... и приживалки-генеральши!

— Нынче такъ пошло,—точно про себя замѣтила Анна Серафимовна.

— Да, на линіи дворянъ, какъ мнѣ на той недѣлѣ въ Серпуховѣ лакей въ гостиницѣ сказалъ.

Такъ они и проговорили вдвоемъ. Она узнала, что Рубцовъ еще не поступилъ ни на какое мѣсто. Всего больше рассказывалъ онъ про Америку; но у янки не все одобрялъ, а раза два обозвалъ ихъ даже „жуликами“ и прибавилъ, что вездѣ у нихъ—взятка забралась. Францію хвалилъ.

Партія въ вистъ кончилась. Въ залѣ стали играть и пѣть. Любаша играла бойко, но безалаберно, пѣла съ выраженьемъ, но ничего не могла додѣлать.

— Ничего не любитъ кузиночка-то,—выговорилъ Рубцовъ.—Только тѣшить себя!

Изъ половины Митроши доносились звуки корнета и гулъ механическихъ фортепьянъ. Профессора онъ поилъ венгерскимъ и угостилъ хоромъ:

„Славься, славься, святая Русь!..“

XXXIV.

Засвѣжѣло. Анна Серафимовна уѣхала отъ тетки въ десятомъ часу. Рубцовъ проводилъ ее до коляски. Она взяла съ него слово быть у ней черезъ три дня.

— Мужъ уѣдетъ,—говорила она ему,—по дѣламъ управлюсь... Тогда на свободѣ... Буду ждать къ обѣду...

Коляска поднималась и опускалась. Горѣли сначала керосиновые фонари, потомъ пошелъ газъ, переѣхали одинъ мостъ, опять дорога пошла на изволокъ, городомъ, Кремлемъ—добрыхъ полчаса на хорошихъ рысяхъ. Домъ тетки уходилъ отъ нея и послѣ разговора съ Рубцовымъ обособился, выступалъ во всей своей характерности. Неужели и она живетъ такъ же? Чувство капитала, москальский товаръ, сукно: вѣдь не все ли едино?

„Затѣи. Одинъ дудить въ трубу, другая озорничаетъ, ничего не любятъ, ни для чего не живутъ, кромѣ себя. Какъ еще не повѣсятся съ тоски—удивительное дѣло!“

Ефимъ сдержалъ лошадей у крыльца. Анна Серафимовна не громко позвонила. Сѣни освѣщались въсвѣчей лампой. Ей отворилъ швейцаръ—важный человѣкъ, представленный мужемъ. Она его отпустить на-дняхъ. Бѣлая, лодъ мраморъ, стѣны сѣней и лѣстницы при матовомъ свѣтѣ лампы отсвѣчивали молочнымъ отливомъ.

На верхней площадкѣ ее встрѣтила не старая еще женщина — ея довѣренная горничная-экономка, Авдотья Ивановна, въ короткой шелковой кацавейкѣ и въ „го-ловкѣ“. Она ходила беззвучно, сохраняла слѣды краси-выхъ чертъ лица и говорила сладкимъ московскимъ го-воромъ.

— Что дѣти?—тихо спросила Анна Серафимовна.

— Уложили-съ — започивали. Мадамъ тоже ушедши изъ дѣтской.

При дѣтяхъ состояла англичанка-бонна. Авдотья Ива-повна пошла впередъ со свѣчей, черезъ высокія, полныя темноты, парадныя комнаты. Половина Виктора Миро-ныча помѣщалась внизу. Когда Анна Серафимовна бывала въ гостяхъ и даже дома одна, ни залы, ни двухъ гости-ныхъ не освѣщали.

Домъ спаль, со своей штофной мебелью, гардинами, коврами и люстрами. Чуть слышались шаги обѣихъ жен-щинъ.

— Баринъ заѣзжали недавно,—не поворачиваясь доло-жила Авдотья Ивановна.

Она всегда что-нибудь сообщить про „барина“, хотя Анна Серафимовна и не поощряла этого.

Черезъ коридорчикъ прошли они въ дѣтскую.

— Не разбуди,—шопотомъ сказала Станицына Авдотья Ивановна, останавливая ее у дверей.

Въ дѣтской стоялъ свѣжій воздухъ. Лампадка за аба-журомъ позволяла разглядѣть двѣ кровати съ сѣтками. Мать постояла передъ каждой изъ нихъ, перекрестила и вышла.

Въ своей спальнѣ, съ балдахинномъ кровати, обитымъ голубымъ стеганымъ атласомъ,—Анна Серафимовна очень скоро раздѣлась, съ полчаса почитала ту статью, о ко-торой спрашивалъ ее Ермилъ Ѳомичъ, и задула свѣчу въ половинѣ одиннадцатаго, рассчитывая встать пораньше. Она никогда не запирала дверей.

Часу въ четвертомъ она проснулась и закричала. Ей почудилось во снѣ, что воры забрались къ ней. Спальня тонула въ полутьмѣ лампадки.

— Кто тутъ?!—дико крикнула она и сѣла въ постели, вскинувъ руками.

— Anna! C'est moi!—проговорилъ голосъ ея мужа, не-твердый, но нахальный.—Не бойся!..

Она сейчасъ накинула на себя кофточку. Отъ Виктора

Миронича пахло шампанскимъ. Въ полусвѣтѣ виднѣлись его длинныя ноги, голова клиномъ, глаза искрились и смѣялись.

— Что вамъ нужно отъ меня?—гнѣвно и глухо спросила она.

Мужъ уже сидѣлъ у ней на кровати.

— Анна!—говорилъ онъ не очень пьянымъ, по фальшиво чувствительнымъ голосомъ...—Зачѣмъ намъ ссориться? Будемъ друзьями... Ты видѣла сегодня—я на все согласенъ... Но тридцать тысячъ... *C'est bête!*.. Согласись! это... это...

Вмигъ поняла она, въ чемъ дѣло.

— Вы проигрались?..

— *Mais écoutez...*

— Програлись?—повторила она и совѣмъ сѣла въ постели.—Не лгите! Сколько? Сейчасъ же говорите!

Онъ былъ такъ ей гадокъ въ эту минуту, что рука зудѣла у нея...

— Не кричите такъ!...—обидѣлся онъ и всталъ.

— Сколько? Ну, все равно, завтра мы увидимъ. По уходите, Викторъ Мироничъ, ради Бога, уходите!

— Будто я такъ?.. *Je vous donne si peu sur la peau?*..

И онъ захохоталъ... Вино только тутъ начало забирать его... Но не успѣлъ онъ повернуться, какъ двѣ нервныя руки схватили его за плечи и толкнули къ двери.

Долго, больше получаса, въ спальнѣ раздавалось глухое женское рыданіе. Анна Серафимовна лежала ничкомъ, головой въ подушку.



Книга вторая.

I.

Утромъ, часу въ десятомъ, передъ подъездомъ дома коммерціи совѣтника Евлампія Григорьевича Нѣтова стояла двумѣстная карета. Моросилъ октябрьскій дождикъ. Переулочекъ еще не просыпался, какъ слѣдуетъ. Въ немъ все больше барскіе дома и домики съ мезонинами и колоннами въ александровскомъ вкусѣ. Лавочекъ почти нѣтъ. Бульваръ неподалеку. Домъ Нѣтову строилъ модный архитекторъ, большой охотникъ до древне-русскихъ украшеній и снаружи, и внутри. Стройка и отдѣлка обошлись хозяину въ триста тысячъ, даромъ что домъ всего двухъэтажный. Зато такихъ хоромъ не много найдешь на Москвѣ по фасаду и комнатному убранству.

Кучеръ, въ мѣховомъ кафтанѣ, но еще въ лѣтней шляпѣ, курилъ папиросу. За дышло держался одной рукой конюхъ въ короткой синей сибиркѣ, со щеткой въ другой рукѣ. Они отрывочно разговаривали.

— Куды-ы?—переспросилъ кучеръ, не выпуская изъ рта папиросы.

— Сказывала Глаша,—за границу.

— Вотъ оно что!..

— Легче будетъ.

— Это точно... Онъ куды проще...

— Однако тоже бываетъ привередливъ...

— Съ такихъ-то милліоновъ будешь и ты привередливъ...

Швейцаръ отворилъ наружную массивную дверь, за которой открылась стеклянная. Онъ улыбнулся кучеру и почистилъ бронзовое яблоко звонка.

— Скоро выйдетъ?—крикнулъ ему конюхъ.



— Одѣвается, — смѣшливо отвѣтилъ швейцаръ, не очень рослый, но широкій малый, изъ гусарскихъ вахтеровъ, курносый, въ гороховой ливреѣ, совѣлъ не купеческій привратникъ.

Онъ потеръ еще суконкой чашку звонка и ушелъ. Дождь немного стихъ; вмѣсто дожди начала падать изморось.

— Экъ ее! — замѣтилъ флегматично кучеръ и дернулъ вожжой: правая лошадь часто заигрывала съ лѣвой и кушала дышло.

Дернулъ ее за узду и конюхъ.

Разговоръ прекратился; только слышно было дыханіе рослыхъ, вороныхъ лошадей и вздрагиваніе позолоченныхъ уздечекъ.

Швейцаръ вернулся въ сѣни. То были монументальные пропиленіи. Справа большая комната для сбереженія платья открывалась на площадку дверью въ полу-египетскомъ, полувизантійскомъ „пошибѣ“. Прямо, противъ входа, надъ лѣстницей въ два подъема, шла поперечная галлерей съ тремя арками. Свѣтъ падалъ изъ оконъ второго этажа на разнотѣльный искусственный мраморъ стѣнъ и арки и на бѣлый, настоящій мраморъ самой лѣстницы. Два темно-малиновыхъ ковра, на обонихъ подъемахъ, наминали немного входъ въ дорогой заграничный отель. Но стѣны, верхняя галлерей, арки, столбы, стиль фонарей между арками, украшенія перилъ, мебель въ сѣняхъ и на галлерей выказывали затѣю московскаго миліонщика, отдавашаго себя въ руки молодого, славолюбиваго архитектора.

Ступени лѣстницы, стѣны и арки отливали матовымъ блескомъ; ничто еще не успѣло запылиться или потускѣть. Видны были строгость и глазъ въ порядкахъ этого дома. Швейцаръ тотчасъ же подошелъ къ мраморному подзеркальнику, отряхнулъ и обчистилъ щетку и гребенку, двѣ шпалы и брововую шпалку, лежавшія тутъ вмѣстѣ съ нѣсколькими парами перчатокъ. Потомъ онъ вынесъ изъ нѣсколькой низменной комнаты — гдѣ вѣшалки съ металлическими номерами шли въ нѣсколько рядовъ — стеганую шинель на атласѣ, съ бобромъ, и калоши, бережно поставилъ ихъ около лѣстницы, а шинель сложилъ на кресло, выточенное въ формѣ русской дуги. Другое, точно такое же, стояло симметрично напротивъ. Самъ онъ подошелъ къ зеркалу, поправилъ бѣлый галстукъ и застегнулъ ливрею на послѣднюю верхнюю пуговицу.

На галлерей видны были снизу два офиціанта въ тем-



ныхъ ливреяхъ, съ большими золотыми, тисненными пуговицами. Одинъ стоялъ спиной влѣво, у входа въ парадныя комнаты, другой въ средней аркѣ.

— Одѣлся?—полушопотомъ спросилъ швейцарь.

— Нѣтъ еще... Викентій ходитъ у двери. Стало, не звалъ.

— А на женской половинѣ?..

— Не слышно еще...

Вправо, съ галлерей, проходъ, отдѣленный старинными „сѣнями“ съ деревянной обшивкой, велъ къ кабинету Евлампія Григорьевича. Передъ дверьми прохаживался его камердинеръ, Викентій, довѣренный человекъ, бывший крѣпостной изъ дома князей Курбатовыхъ. Викентій—сѣдой старикъ, бритый, немного сутуловатый, смотритъ начальникомъ отдѣленія; бѣлый галстукъ носить по-старинному, изъ большой косынки.

Онъ прохаживается мелкими шажками передъ дверью изъ корельской березы съ бронзовыми скобками. Не слышно его шаговъ. Больше тридцати лѣтъ носить онъ сапоги безъ каблучковъ, на башмачныхъ подошвахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ пошелъ „по кучечеству“, жалованье его удвоилось. Сначала его взяли въ дворецкіе, но онъ не поладилъ съ барыней, Евлампій Григорьевичъ приставилъ его къ себѣ камердинеромъ.

Ходитъ онъ и ждетъ звонка. Изъ кабинета проведенъ воздушный звонокъ. Это не нравится Викентію: затрещитъ надъ самымъ ухомъ, такъ всего и передернется, да и стѣны портитъ. Въ эту минуту, по его расчету, Евлампій Григорьевичъ выпилъ стаканъ чаю и надѣлъ чистую рубашку, послѣ чего онъ звонитъ, и платье, приготовленное въ туалетномъ кабинетѣ, гдѣ умывальникъ и прочее устройство, подаетъ ему Викентій. Часто онъ позволяетъ себѣ сдѣлать замѣчаніе, что было бы пристойнѣе надѣть въ томъ или иномъ случаѣ.

II.

Кабинетъ Евлампія Григорьевича — высокая длинная комната, родъ огромнаго баула, съ отдѣлкой въ старомосковскомъ стилѣ. Свѣту въ ней гораздо меньше, чѣмъ въ остальныхъ покояхъ. Окна выходятъ на дворъ. Вездѣ обшивка изъ рѣзного дерева: дуба, корельской березы, орѣха. Потолокъ весь штучный, рѣзной, темныхъ колеровъ, съ переплетами и выпуклыми фигурами, съ тонкой позо-

лотой, стоилъ большихъ денегъ. Онъ выписной, работали его гдѣ-то въ Германіи. Поверхъ деревянной обшивки идутъ до потолка кожаные тисненные обои въ клѣтку, съ золотыми разводами и звѣздами. Ихъ нарочно заказывали во Франціи по рисунку. Такихъ обоевъ не отыщется ни у кого. Отъ нихъ кабинетъ смотреть еще угрюмѣе, но „пошибъ“ вознаграждаетъ за неудобство, разумѣется — „на охотника“, кто понимаетъ толкъ. Евлампію Григорьевичу кажется, что онъ изъ такихъ именно „понимающихъ“ охотниковъ. Каждый стулъ, табуретъ, этажерка дѣлались по рисункамъ архитектора. Хозяинъ кабинета не можетъ нигдѣ поглядѣть, ни къ чему прислониться, ни на что сѣсть, чтобы не почувствовать, что эта комната, да и весь домъ, въ нѣкоторомъ родѣ—музей московско-византійскаго рококо. Это сознаніе наполняетъ Евлампія Григорьевича особымъ сладострастнымъ почтеніемъ къ собственному дому. Ему иногда не совсѣмъ ловко бываетъ среди такого количества вещей, заказанныхъ и сдѣланныхъ „по рисунку“, но онъ все больше и больше убѣждается въ томъ, что безъ этихъ вещей и онъ самъ лишится своего отличія отъ другихъ коммерсантовъ, не будетъ имѣть никакого права на то, къ чему теперь стремится.

По самой срединѣ кабинета помѣщается письменный столъ съ цѣлымъ „поставцомъ“, придѣланнымъ къ одному продольному краю, для картоновъ и ящиковъ, съ картинами и русскими полотепцами, пополамъ изъ дуба и чернаго дерева, съ замками, скобами и ключами, выкованными и вырѣзанными „нарочно“. Столъ смотреть издали тѣмъ-то въ родѣ иконостаса. Онъ покрытъ бронзой и кожаными вещами, массивными и дорогими. До чего ни дотронешься, все выбрано подъ-стать остальной отдѣлкѣ. Хозяину стоило только разъ подчиниться, и все, что ни попадало на его столъ, отвѣчало за себя. Фотографическіе портреты, календарь, бювары, сигарочницы, портфели размѣщены были по столу въ извѣстномъ художественномъ порядкѣ. Иногда Евлампію Григорьевичу и хотѣлось бы переставить кое-что, но онъ не смѣлъ. Его архитекторъ разъ навсегда разставилъ вещи—нельзя нарушить стиля. Такъ точно и насчетъ мебели. Гдѣ что было первоначально поставлено, тамъ и стоитъ. Одинъ столикъ въ формѣ коровая, на кривыхъ ножкахъ, очень стѣсняетъ хозяина, когда онъ ходитъ взадъ и впередъ. Онъ, то и дѣло, задѣваетъ его ногой; но архитекторъ чуть не по-

ссорился съ нимъ изъ-за этого столика. Столику слѣдуетъ стоять тутъ, а не въ другомъ мѣстѣ,—Евлампій Григорьевичъ смирился и старается каждый разъ обходить. Даже выборъ того мѣста въ стѣнѣ, гдѣ вѣланъ несгораемый шкафъ, принадлежалъ не ему лично.

Два рѣзныхъ шкапа съ книгами, въ кожаныхъ, позолоченныхъ переплетахъ, сдвигаютъ комнату къ концу, противоположному окнамъ. Книгъ этихъ Евлампій Григорьевичъ никогда не вынимаетъ, но выборъ ихъ былъ сдѣланъ другимъ руководителемъ; переплеты заказывалъ опять архитекторъ, по своему рисунку. Онъ же выписалъ нѣсколько очень дорогихъ коллекцій по исторіи архитектуры и специальныхъ сочиненій. Такихъ изданій „ни у кого нѣтъ“, даже и въ Румянцовскомъ музеѣ...

Надъ диваномъ, наискосокъ отъ письменнаго стола, виситъ поясной женскій портретъ—жены Евлампія Григорьевича, Марьи Орестовны, снятый лѣтъ шесть тому назадъ, въ овальной золотой оправѣ. Три-четыре картины русскихъ художниковъ, въ черныхъ матовыхъ рамахъ, уходятъ въ полусвѣтъ стѣнъ. Были тутъ и жанры, и ландшафты; но попали они случайно: въ любители картинъ хозяинъ кабинета не записывался—онъ не желалъ соперничать съ другими лицами своего сословія. Эта охотничья отрасль мало отзывалась вкусами тѣхъ „совѣтниковъ“ и руководителей, около которыхъ „выровнялся“ Евлампій Григорьевичъ, сталъ тѣмъ, что онъ есть въ настоящую минуту...

На столикъ-табуретъ, около письменнаго стола, допитый стаканъ чаю говорилъ о томъ, что Евлампій Григорьевичъ въ уборной, надѣваетъ чистую рубашку, послѣ вторичнаго умыванія.—Запахъ сигары ходилъ по кабинету, гдѣ стояла свѣжая температура, не больше тринадцати градусовъ.

III.

Уборная раздѣлена на три части: вправо туалетъ и помѣщеніе для того платья, какое приготовлено камердинеромъ; влѣво мраморный умывальникъ съ кранами холодной и горячей воды, на американскій манеръ, съ разноцвѣтными и всякими другими полотепцами... Спальня передѣлана изъ бывшей гардеробной. Это довольно низкая комната, гдѣ всегда душно. Но больше некуда было перейти Евлампію Григорьевичу, когда Марья Орестовна, ссылаясь на совѣтъ своего доктора, объявила мужу, что

отвынѣ они будутъ жить „въ разноту“. Онъ смирился, но съ тѣхъ поръ все еще не утѣшился.

Ему минуло недавно сорокъ лѣтъ. Сложенія онъ сухого; узкая грудь, жидкія ноги и руки; средняго роста, блѣдное лицо скучнаго сидѣльца. Его русая бородка никакъ не поддается щеткѣ, она торчитъ въ разныя стороны. Стрижется онъ не длинно и не коротко. Глаза его, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, часто опущены. Онъ не любитъ смотрѣть на кого-нибудь прямо. Ему, то и дѣло, кажется, что не только люди, — начальство, сослуживцы, знакомые, половые въ трактирѣ, дамы въ концертѣ, свой кучеръ или швейцаръ, — но даже неодушевленные предметы подмигиваютъ и подсмѣиваются надъ нимъ.

Въ это утро онъ серьезно озабоченъ. Ему предстоятъ три визита, и каждый изъ нихъ требуетъ особеннаго разговора. А наканунѣ жена дала почувствовать, что сегодня будетъ что-нибудь чрезвычайное... И уступить надо!.. Нечего и думать о противорѣчій... Но и уступкой не возьмешь, не сдѣлаешь этой неуязвимой, подавляющей его во всемъ Марьи Орестовны тѣмъ, о чемъ онъ изнываетъ долгіе годы... Только ему страшно заглянуть ей въ „чутро“ и увидеть тамъ, какія чувства она къ нему имѣетъ, къ нему, который...

Но сколько разъ попадалъ онъ на зарубку того, что онъ положилъ къ ногамъ Марьи Орестовны, — и все-таки облегченія отъ этого не получилъ...

Рубашка застегнута до верхней запонки. Нѣтовъ позвонилъ и перешелъ въ кабинетъ, — у него была привычка одѣваться не въ спальнѣ и не въ уборной, а въ кабинетѣ.

Викентій вошелъ, перенесъ платье въ кабинетъ, положилъ его на древне-русскіе козлы съ собачьими мордами по концамъ и сталъ подавать разныя части туалета, встряхивая ихъ, каждую отдѣльно, какъ это дѣлаютъ старыя слуги изъ крѣпостныхъ, бывшіе долго въ камердинерахъ.

Нѣтовъ оглянулся на окно и, скосивъ ротъ — зубы у него большіе, желтые — сказалъ:

— На дворѣ-то какая скверь!

— Упалъ барометръ, — въ тонъ ему замѣтилъ Викентій.

— Какой фракъ приготовилъ? — спросилъ Нѣтовъ.

— Второй-съ.

Онъ часто съ утра надѣвалъ фракъ. Ему приходилось



предсѣдательствовать въ разныхъ комитетахъ и собраніяхъ. Заѣзжать переодѣваться — некогда.

— Орденъ прикажете?—освѣдомился Викентій, когда натянулъ на плеча барина фракъ не первой свѣжести—дѣловой фракъ.

— Не надо...

Нѣтовъ надѣлъ бы и свою Анну, и Льва и Солнца второй степени, но Марья Орестовна формально ему приказала: ничего на шею не надѣвать, пока не добьется Владимира, а персидскую звѣзду пристегивать только при пріемахъ какихъ-нибудь именитыхъ гостей. Ордена лежали у него въ особомъ кованомъ ларцѣ съ серебряными горелопефами. Заказалъ себѣ онъ маленькіе ордена для вечеровъ, но и этого не любила Марья Орестовна. Она говорила, что Анну имѣеть всякій частный приставъ.

— Узнай, можно ли къ Марьѣ Орестовнѣ?

Нѣтовъ никогда не произносилъ имени своей жены передъ камердинеромъ, не смущаясь, безъ внутренней потуги. Ему все казалось, что этотъ барскій „хамъ“ съ своей чиновничьей наружностью говорить ему про себя: „Эхъ ты, кавалеръ Льва и Солнца, въ крѣпостномъ услуженіи находишься у бабенки!“

Викентій вышелъ. Нѣтовъ взялъ со стола портфель и ждалъ не безъ волненія.

— Не выходили,—доложилъ, вернувшись, Викентій.

Нѣтовъ вздохнулъ. Этакъ лучше. Не сейчасъ надо испивать чашу.

IV.

Официанты, по знаку Викентія, выпрямились. Мимо одного изъ нихъ прошелъ „баринъ“ — прислуга такъ называла Евлампія Григорьевича — не глядя на него. Ему, до сихъ поръ, точно немножко стыдно передъ прислугою... А въ какомъ сановномъ, хотя бы графскомъ или княжескомъ домѣ, такъ все въ струнѣ, какъ у него?

Безъ Марьи Орестовны онъ никогда бы самъ не добился этого, кровь бы „разночинская“ не допустила.

Лакей отвѣсилъ ему поклонъ. Баринъ приказала и этому официанту, и другимъ людямъ брить себѣ все лицо и волосы подстригать покороче. У ней зрѣла мысль напудрить ихъ въ одинъ изъ большихъ пріемовъ и разставить по дѣйствицѣ. А при этомъ развѣ допустимы усы и даже бакенбарды?

Швейцаръ издалъ увидалъ Евлампія Григорьевича и встряхнулъ еще разъ шинель. Онъ рассчиталъ, что потребуется шинель, а не пальто: холодно и моросить. Викентій шелъ позади барина; дойдя до лѣстницы, онъ сбѣжалъ по другому сходу и взялъ шинель изъ рукъ швейцара.

— А пальто вычищено?— освѣдомился Викентій на всякій случай.

— Готово.

Поклонъ швейцаръ отвѣсилъ такой же, какъ и офицанты. Не мало онъ натерпѣлся отъ барыни. Она долго находила, что онъ кланяется по-солдатски.

— Шинель прикажете?— спросилъ Викентій.

— Шинель.

Камердинеръ накинулъ на него широкую, съ длиннымъ капюшономъ, шинель, съ серебристымъ бобромъ, простеганную мелкими клѣтками, самаго строгаго петербургскаго покроя, крытую темнокоричневымъ сукномъ, немного впадающимъ въ бутылочный цвѣтъ. Марья же Орестовна дала ему совѣтъ заказать такую шинель у Сарра, въ Петербургѣ.

— Статсъ-секретарь Бутковъ послѣ этиакия шинели,— сообщила она ему:— такъ и называются „manteau Boutkov“.

Ему бы никогда не догадаться. И дѣйствительно, когда онъ въ этой шинели, то ощущаетъ сейчасъ особую пріятность, нѣтъ мѣхового запаха, мягко, руку щекочетъ атласъ подкладки, всего проникаетъ струя порядочности, почета, власти... Пахнетъ статсъ-секретаремъ и камергеромъ.

Швейцаръ выбѣжалъ на подъѣздъ. Копюхъ торопливо потеръ щеткой бокъ одной изъ лошадей и отскочилъ въ сторону. Кучеръ перебралъ вожжами и заставилъ пару подпрыгнуть на мѣстѣ. Изморось все еще шла и начала слѣпить глаза кучеру.

На крыльцо вышелъ за швейцаромъ и Викентій. Онъ неизбѣжно дѣлалъ это. Даже Марья Орестовна должна была сознаться, что не она его этому научила. На лицѣ его всегда былъ вопросъ, обращенный къ барину:

„Не угодно ли что приказать, или что забыть изволили?“

Евлампій Григорьевичъ всегда говорилъ ему:

— Ступай.

Но Викентій подсаживалъ его каждый разъ, вмѣстѣ съ швейцаромъ.



Въ каретѣ Нѣтовъ укутался и сѣлъ въ уголь. Портфель положилъ въ особое помѣщеніе, ниже подзеркальника, куда можно положить и книгу или газету. Часто онъ читаетъ въ каретѣ, когда отправляется на какое-нибудь засѣданіе.

То, что онъ найдетъ тамъ, куда ѣдетъ по „своимъ дѣламъ“ и соображеніямъ, отступило передъ тѣмъ, что ожидаетъ его сегодня дома, до обѣда.

Неужели ему весь вѣкъ такъ поджариваться на какой-то сковородѣ?.. Точно онъ лещъ, положенный живымъ въ кипящее масло. Это уподобленіе онъ самъ выдумалъ. Все есть, и впереди можно еще многого добиться... и въ крупномъ чинѣ будетъ, и дворянство дадутъ, и черезъ плечо повѣсятъ, можетъ, черезъ какихъ-нибудь два-три года. Но онъ страдалецъ... Развѣ онъ господинъ у себя въ домѣ?.. Смѣетъ ли онъ поступить хоть въ чемъ-нибудь, какъ самъ желаетъ?.. Да и увѣренности у него нѣтъ... А вѣдь онъ не дуракъ!.. И что же нужно такое имѣть, чтобы обратиться къ себѣ сердце женщины, не принцессы какой-нибудь, такой же купчихи, какъ и онъ?

Евлампій Григорьевичъ попалъ на свою зарубку... Что она такое была?.. Родители проторговались!.. Родня голая:—быть бы ей за какимъ-нибудь лавочникомъ или въ учительницы идти, въ народную школу, благо она въ университетѣ экзамень выдержала... Въ этомъ-то вся и сила!.. Еще при другихъ онъ употребляетъ ученыя слова, а какъ при ней скажетъ, хоть, наиримѣръ, слово „цивилизациа“, она на него посмотритъ искоса, онъ и очутится на сковородѣ...

V.

Первый ранній визитъ сдѣлалъ Нѣтовъ своему дядѣ, Алексѣю Тимоѣевичу Взломцеву, старому человѣку по мануфактурному дѣлу, главѣ крупнѣйшей фирмы. Отъ него кормилось цѣлое населеніе въ тридцать тысячъ прядильщиковъ, ткачей и прочаго фабричнаго люда. Онъ придерживался единовѣрія, но безъ всякаго задора, позволялъ курить другимъ и самъ курилъ, читалъ „свѣтскія“ книжки, любилъ знакомство съ господами, стоящими за старину, за „Россію-матушку“ и единоплеменныхъ „братьевъ“, о которыхъ имѣлъ довольно смутное понятіе. Взломцевъ такъ много занимался по своимъ дѣламъ, что день расписывалъ на часы, и даже родственникамъ, и такимъ по-

четнымъ, какъ Нѣтовъ, назначалъ день и часть, и сейчасъ заносилъ въ книжечку. Жилъ онъ одинъ, въ большомъ, богато отдѣланномъ домѣ съ парадными и „простыми“ комнатами, безъ новыхъ затѣй, такъ, какъ это дѣлалось лѣтъ тридцать-сорокъ назадъ, когда отецъ его трепеталъ передъ полицеймейстеромъ и даже приставу подносилъ самъ бокалъ шампанскаго на подносі.

Нѣтова встрѣтилъ въ конторѣ, рядомъ съ кабинетомъ, высокій, чрезвычайно красивый сѣдой мужчина за шестьдесятъ лѣтъ, одѣтый „по-нѣмецки“ въ длинноватый, темно-кофейный сюртукъ и бѣлый галстукъ. Онъ носилъ окладистую бороду, бѣлые волосы на головѣ. Работалъ онъ стоя передъ конторкой. При входѣ племянника, онъ отпустилъ молодца, стоявшаго у притолки.

Они поцѣловались.

— Чаю хочешь?—спросилъ дядя.

— Пилъ, дяденька.

Евлампій Григорьевичъ не отсталъ отъ привычки называть его „дяденькой“ и у себя, на большихъ обѣдахъ, что коробило Марью Орестовну. Онъ не рассчитывалъ на завѣщаніе дяди, хотя у того наслѣдниками состояли только дочери, и фирмѣ грозилъ переходъ въ руки „Богъ его знаетъ какого“ зятя. Но безъ дяди онъ не могъ вести своей политики. Отъ старика Взломцева исходили идеи и толкали племянника въ извѣстномъ направленіи.

— Ну, что же скажешь?—спросилъ Взломцевъ, снялъ очки и заткнулъ гусиное перо за ухо.

Стальными онъ не писалъ. Глаза его, черные, умные и немного смѣющіеся, говорили, что долго ему некогда разтобарывать съ племянникомъ.

— Да вотъ,—началь, заикаясь, Нѣтовъ и поглядѣлъ на лацкана своего фрака, отчего почувствовалъ себя безпокойнѣе,— какъ насчетъ Константина Глѣбовича, онъ засмалъ просить... пожаловать къ нему... слышно, завѣщаніе составилъ...

— А нешто очень плохъ?

— Плохъ, не доживетъ, говорятъ, до распутицы.

— Что жъ... мы не наслѣдники,—пошутилъ старикъ,— за честь благодаримъ...

— Я вотъ сегодня хочу къ нему заѣхать въ полдень, такъ... узнать, когда онъ желаетъ васъ просить?

— Да, чтобы вѣрно было... и день, и часть... Коли мо-



жетъ, такъ вечеромъ. Тутъ вѣдь исторія-то короткая. Читать мы завѣщаніе не станемъ.

— Конечно-съ. Только у него есть расчетъ на душе-приказчиковъ.

— Я не пойду. Такъ ему и скажи, чтобъ извинилъ меня. Есть люди молодые. Да и своихъ дѣловъ много... Гдѣ мнѣ возиться?.. Еще кляузы пойдутъ! Жена остается... А онъ ей врядъ ли много оставитъ.

— Я полагаю, что не много... Такъ, на прожитіе. Помолчали.

— Жаль его,—выговорилъ дядя,—пожилъ бы.

Нѣтовъ вздохнулъ на особый манеръ.

— Съ нимъ много для тебя уходитъ, Евлампій... Чувствуешь ли ты?

— Помилуйте, дяденька!

— Надо тебѣ другого Константина Глѣбовича искать.

— Гдѣ же сыщешь?

— Да, нонѣ, братецъ, не та полоса пошла... Онъ для своего времени хорошъ былъ... Ну, и событія... Герцеговинцы... Опять за Сербію поднялись, тутъ, глядишь, война. А нынче тихо, не тѣмъ пахнетъ.

— Да, да,—повторялъ Нѣтовъ, отводя глаза отъ дяди.

— Ты достаточно у Лещова-то въ обученіи побывалъ. Пора бы и самому на ноги встать. Не все на помочахъ. Ты, братъ, я на тебя посмотрю, двойственный какой-то человѣкъ... Честь любилъ, а смѣлости у тебя нѣтъ... И не глупъ, не дуракъ-шарень... нельзя сказать; а все это, какъ нынче господа сочинители въ газетахъ пишутъ,— между двумя стульями садишься. Такъ-то...

Старикъ добродушно разсмѣялся.

VI.

У дяди своего Нѣтовъ чувствовалъ себя меньшимъ родственникомъ. Къ этому онъ уже привыкъ. Алексѣй Тимофеевичъ дѣлалъ ему внушенія отеческимъ тономъ, не скрывалъ того, что не считаетъ племянника „звѣздой“, но безъ надобности и не принижалъ его. Къ Взломцеву Нѣтовъ всегда обращался за мнѣніемъ, и рѣдко уходилъ съ пустыми руками.

Появвшись на мѣстѣ, онъ сѣлъ въ сторонку и выговорилъ:

— Вотъ опять тоже Капитонъ Теофилактовичъ.

— Что еще?—насмѣшливо спросилъ старикъ.

— Да какъ же, дяденька, вы разсудите... Былъ все съ нашими... Помните, пріемъ добровольцамъ дѣлалъ... и по Красному Кресту... И во всѣхъ такихъ... дѣлахъ... рѣчи тоже говорилъ... А мы, кажется, оказывали ему всякое почтеніе. А, между прочимъ, онъ между нашими врагами очутился.

— Почему ты такъ думаешь?

— Какъ же-съ! Теперь хоть бы въ этой новой газетѣ пошли разныя статейки и слухи... Прямо личность называютъ. Тутъ непременно по внушеніямъ Капитона Теофилактовича дѣлается.

— Можешь ли доказать?

— Видимое дѣло, дяденька.—Евлампій Григорьевичъ заговорилъ горячѣе.—Кто же кромѣ его знаетъ разныя разности... хотя бы и про насъ съ вами?

— А развѣ и про меня есть что?

— Изволите видѣть, прямо-то не смѣли назвать, а обипяками. Но узнать сейчасъ можно.

— Вре-шь?—все еще весело спросилъ Взломцевъ.

Евлампій Григорьевичъ развернулъ портфель и вынулъ сложенный вчетверо листъ газеты.

— Вотъ, извольте взглянуть.

Онъ указалъ Взломцеву столбецъ и строку. Старикъ надѣлъ черепаховое ринсе-пез, взялъ газету, развернулъ весь листъ, отвелъ его рукой отъ себя на полъ-аршина и медленно, чуть замѣтно шевеля губами, прочелъ указанное мѣсто.

Съ его губъ не сходила усмѣшка, брови не сдвигались... Алексій Тимоѣевичъ не почувствовалъ себя сильно обиженнымъ. Онъ часто говорилъ: „на то и газетки, чтобы быть съ небылицей мѣшать“. Въ статейкѣ имени его не стояло, но намеки были ясны. Подсмѣивались надъ славянолюбіемъ и „кваснымъ“ патріотизмомъ и его племянника, и его самого.

— Изволили видѣть, дяденька?—началъ въ тотъ же тонъ Нѣтошъ.—И къ чему же это исподтишка?.. И сейчасъ „славянолюбцы“ и все такое... А самъ онъ развѣ не въ такихъ же мысляхъ былъ?.. Вездѣ кричалъ и застольныя рѣчи произносилъ... Видѣ это, дяденька, какъ же называть? Честный человѣкъ пойдетъ ли на такое дѣло?

Взломцевъ промолчалъ.

— И все это одинъ свой интересъ...

— А ты думалъ какъ?—перебилъ дядя и тихо разсмѣялся.

— Ему, изволите видѣть, непременно хотѣлось прямо въ дѣйствительныя статскіе... или, чтобъ Станислава черезъ плечо... А вмѣсто того и коллежскаго не получилъ. Такъ мы съ вами, дяденька, тутъ не причинны.

— Ужъ ты меня-то бы не вмѣшивалъ,—порѣзче перебилъ Алексѣй Тимоѣевичъ.

— Да я говорю вообще, дяденька. Но, между прочимъ, и вы косвенно... Нельзя же такъ именитыхъ людей!.. И послѣ того, что онъ себя выдавалъ...

— А ты постой... Все это ты такъ... Очень онъ тебя испугался, хоть ты теперь и въ почетѣ... Ему надо въ дворяне выйти, или надо ему предоставить мѣсто такое, чтобы дѣла его совсѣмъ наладились.

— Это вѣрно-съ.

— Канючить, слѣдственно, нечего. Надо его ручнымъ сдѣлать.

— Я и думалъ то же.

— А придумалъ ли что?

— Да если что представится... А теперь вотъ я къ нему собираюсь... заѣхать... Насчетъ статейки ничего не скажу, а увижу, какъ онъ себя поведетъ.

— Съ пустыми-то руками явишься?.. умно!..

— Чинъ-то ему посулить не велика трудность.

— А ты спервоначалу самъ получи.

Евлампій Григорьевичъ покраснѣлъ. Дядя зналъ всѣ его сокровенныя расчеты.

— Лучше же показать ему, что мы всю его тактику понимаемъ.

— А ты вотъ что...

Взломцевъ потеръ себѣ переносицу.

— Ты говоришь, очень Константинъ Глѣбовичъ плохъ?..

— Да какъ же-съ!.. Недѣли двѣ--больше не проживетъ.

— Надо будетъ его замѣщать.

— Кандидатъ есть.

— До новыхъ выборовъ... Кандидатъ не въ счетъ... Ты ему и посули... да онъ и не плохой директоръ будетъ... Пожалуй, лучше-то и не найдешь.

„И этого придумать не могъ,—дразнилъ себя Евлампій Григорьевичъ,—а вотъ дядя сейчасъ же смекнулъ, въ одну секунду! Эхъ!“

Долго не могъ онъ поднять глаза и взглянуть пристальнѣе на дядю.

— Такъ ли?—спросилъ Алексѣй Тимоѣевичъ.

Племянникъ заходилъ съ опущенной головой.

— А ты сядь! Въ глазахъ у меня рябитъ, когда ты такими манерами поворачиваешься.

— Ваша мысль богатая, дяденька!

— Ну, и побъжай... Лещову такъ и скажи, что Алексѣй-молъ Тимоѳеевичъ благодарить за честь, свидѣтелемъ распишусь, а отъ душеприказчиковъ пускай избавить меня. Довольно и своихъ дѣловъ.

— А вы позволите, если рѣчь зайдетъ о директорствѣ... поставить на видъ, что Алексѣй Тимоѳеевичъ, съ своей стороны, какъ учредитель и главнѣйшій..

— Можешь, только осторожниѣ.

— Да ужъ вы извольте положиться на меня, дяденька.

— Извини, я тебя отпущу.

Старикъ повернулся къ конторкѣ, а потомъ вбокъ подавъ руку племяннику. Нѣтовъ такъ и вышелъ изъ конторы съ опущенной головой.

„Идей у него своихъ не имѣется! Это несомнѣнно. А кажется, чего было проще сообразить насчетъ смерти Лещова?.. Вотъ дядя, такъ голова!“

VII.

Къ другому родственнику—но уже со стороны отца и болѣе дальнему—Евламій Григорьевичъ попалъ въ одиннадцать часовъ. Тотъ жилъ около Басманной. Домъ у Капитона Теофилактовича Краснопѣраго выстроенъ былъ на славу, съ картинной галлереей и зимнимъ садомъ. Лѣтъ двадцать назадъ, этотъ предприниматель сильно прогрѣмѣлъ въ обѣихъ столицахъ. Чисто-русской изворотливостью отличался онъ. До желѣзнодорожной лихорадки, до банковскаго приволья, онъ уже пустилъ въ ходъ цѣлую дюжину обществъ, товариществъ и компаній. Одно время дѣла его такъ поразстроились, что онъ вынырнулъ потому только, что успѣлъ ловко продать всѣ свои паи. Годъ на три, на четыре онъ совсѣмъ притихъ, распродалъ свои картины, приемы прекратилъ, ѣздилъ лѣчиться за границу. Потомъ опять поднялся, но ужъ не могъ и на одну треть дойти до прежняго своего положенія.

Никого онъ такъ не раздражалъ и не тревожилъ, какъ Евламія Григорьевича. Краснопѣрый служилъ живымъ приѣздомъ русской бойкости и изворотливости, кичился своимъ умомъ, умѣньемъ говорить, — хотя говорилъ на обѣдахъ витіевато и шепеливо, — тѣмъ, что онъ все ви-



дѣлъ, все знаетъ, Европу изучилъ и Россію открылъ новые пути богатства, за что давно бы слѣдовало ему поставить монументъ.

Честолюбивая, но самогрызущая душа понимала и ясно видѣла другую, еще болѣе тщеславную, но одаренную разносторонней смѣтливой душой русскаго кулака.

„Цѣловальникъ, подносчикъ, фальшивый мужичонка“, называлъ его про себя Евлампій Григорьевичъ и радовался несказанно, когда вдругъ все заговорили, что Красноперый вылетѣлъ въ трубу съ дефицитомъ въ два миліона. Онъ презиралъ этого „выскачку“, какъ сыпъ купца, хоть и второй когда-то гильдін, по оставившаго ему прочное дѣло, съ доходомъ, въ худой годъ, до двухсотъ тысячъ чистаганомъ. Ему не надо ни компаній составлять, ни людей морочить, ни во вся тяжкая пускаться и Европу удивлять. Онъ, Нѣтовъ,—выше всего этого. Но честь они оба любятъ одинаково. Обоимъ хочется ленту черезъ плечо и дворянство,—для себя самихъ хочется—дѣтей у нихъ нѣтъ. Такъ Красноперый еще подождетъ;—а у него, Нѣтова, и то, и другое будетъ. И онъ, какъ ни какъ, а почетное лицо. Только держать онъ себя и на одну сотую не умѣетъ такъ, какъ этотъ нахаль. Тотъ у Господа Бога табачку попросить. Все министры его пріятель, съ генералъ-адъютантами за панибрата, брюхо впередъ, фразъ ловко сидитъ, на всю залу, съ кѣмъ хочешь, будетъ своимъ суконнымъ языкомъ рацен разводить.

Евлампій Григорьевичъ даже плюнулъ въ окно кареты за сто сажень до дома своего родственника.

Вотъ и теперь... Онъ знаетъ, какъ тотъ его приметъ. Придется проглотить не одну пилюлю. И все это будетъ „неглиже“. Такъ тебя и тычетъ носомъ: „пойми-де и почувствуй, что ты передо мною, хоть и въ почетѣ живешь,—мразь“.

Щеки Евлампія Григорьевича краснѣли и даже пошли пятнами. Онъ хотѣлъ-было взяться за шнурокъ и крикнуть кучеру, чтобы тотъ поворачивалъ назадъ. Но слѣлать визитъ падо. Хуже будетъ. „Диденякъ Алексѣй Тимоѣевичъ не даромъ придумалъ насчетъ мѣста директора. Только каково это будетъ прыгать передъ такой ехидной? Онъ тебя изъ-за угла помоями обливаетъ, а ты къ нему на поклонъ съ дарами приходишь... „Батюшка, сложи гнѣвъ на милость!“ Когда Нѣтовъ страдалъ и сердился про себя, голова его усиленно работала. Онъ находилъ

ль себя и бойкія слова, и злость, и язвительность. Если бы онъ могъ вслухъ такъ кого-нибудь отдѣлать хоть разъ, тогда всѣ бы держали передъ нимъ „ухо остро“. Но онъ чувствовалъ, что никогда у него неостанется духу. Вся горечь уйдетъ внутрь, всосется, потечетъ по жиламъ и отдастся въ горлѣ... Рѣкъ не выйдешь изъ своей кожи!

Его еще разъ непріятно кольнуло, когда карета оставилась на рысяхъ передъ крыльцомъ. А онъ не успѣлъ дорогой обдумать и того, въ какомъ порядкѣ сдѣлаетъ онъ свой „подходъ“; съ чего начнетъ: будетъ ли мягко шептать, или не намекнетъ вовсе на газетную статейку?.. Вылѣзть изъ кареты надо. Дверь отворилась. Его принималъ швейцаръ.

VIII.

И швейцаръ, и остальная прислуга у Капитона Теофилактовича одѣта по-русски, какъ кондукторы и прислуживающіе при шинельной „Славянскаго Базара“, какъ швейцары конторъ и многихъ московскихъ домовъ—въ высокихъ сапогахъ бутылками и короткихъ казакинахъ. Не лучше ли бы было и ему, Нѣтову, такъ одѣтъ прислугу?.. А то выдаетъ себя за славянолюбца и хранителя русскихъ „началъ“, а всѣ въ ливреяхъ, точно у какого нѣмецкаго принца. Но Марья Орестовна такъ распорядилась. Вѣдь и она воспитала себя въ славянолюбіи; по безъ ливреи не соглашается жить. А этотъ вотъ „подносчикъ“ по наружности во всемъ изъ себя русака корчитъ. Самъ фракъ носить, но въ домѣ у него смазными сапогами пахнетъ. Нѣтъ официантовъ, выѣздныхъ, камердинеровъ, буфетчиковъ, одни только „малые“ и „молодцы“.

Изъ узкой передней лѣстница вела во второй этажъ. Съ верхней площадки, черезъ отворенную дверь, Евлампій Григорьевичъ вошелъ въ пріемную комнату, въ родѣ тѣхъ, какія бывають передъ кабинетами министровъ, съ кое-какой отдѣлкой. Къ одной изъ стѣнъ приставленъ былъ столъ, покрытый полинялымъ сипимъ сукномъ. На немъ—закапанная хрустальная чернильница и графины со стаканами.

Дожидалось человѣка три мелкаго люда. У дверей кабинета стоялъ второй по счету казакъ. Онъ впустилъ Евлампія Григорьевича съ докладомъ.

Въ кабинетъ—большой компанѣ, аршинъ десять въ длину—свѣтъ шелъ справа изъ итальянскаго и четырехъ



простыхъ оконъ и падалъ на столъ, помѣщенный поперекъ, огромный столъ въ обыкновенномъ петербургскомъ столярномъ вкусѣ. Мебель сафьянная съ краснымъ деревомъ, безъ особыхъ „рисунковъ“, нѣсколько картинъ и, позади кресла, гдѣ сидѣлъ хозяинъ, его портретъ по всей ростъ, работы лучшаго московскаго портретиста. Сходство было большое; только Капитонъ Теофилактовичъ снимался лѣтъ десять раньше, когда волосы еще не такъ серебрились. На портретѣ его написали стоя, во фракѣ, съ орденомъ на шеѣ, въ бѣломъ галстукѣ, съ моднымъ вырѣзомъ жилета, и съ усмѣшкой, гдѣ можно было и не злоязычному человѣку прочесть вопросъ:

„А чѣмъ же я, примѣрно, не министръ финансовъ?“

Теперешній Капитонъ Теофилактовичъ сидѣлъ въ соломённомъ креслѣ, въ полъ-оборота къ столу и лицомъ къ входной двери. Лицо его прямо такъ и выскочило изъ питейной лавочки, курпосое, рябоватое; скулы выдавались, но ротъ хранилъ самодовольную и горделивую складку. Волосы, мелкокурчавые, онъ сохранилъ и на лбу, и на темени, носилъ ихъ не длинными и бороду подстригалъ. Его домашній свѣтло-сѣрый костюмъ смахивалъ на охотничью куртку. Короткая шея уходила въ широкій косой воротъ ночной рубашки, расшитый шелками, такъ же какъ и края рукавовъ; на пальцахъ остались слѣды чернилъ. Онъ врядъ ли еще умывался; ноги его, съ широкой, мужицкой ступней, засунуты были въ коты изъ плетеныхъ, суконныхъ ремешковъ, какіе носятъ старухи.

При входѣ Евлампія Григорьевича, Красноперый не всталъ и даже не обернулся къ нему тотчасъ же, а продолжалъ говорить съ приказчикомъ. Тотъ стоялъ налѣво, у боковой двери, въ короткомъ пальто, шерстяномъ шарфѣ и большихъ сапогахъ, малый за тридцать лѣтъ, съ смиренно-плутоватымъ лицомъ. Голову онъ наклонилъ, подался всѣмъ корпусомъ и не дѣлалъ ни шагу впередъ, а только перебиралъ ногами. Вся его посадка изображала собою напряженное вниманіе и преклоненіе передъ хозяйскимъ „приказомъ“.

Гость остановился и притановилъ дыханіе. Уже самый приемъ этотъ оскорблялъ его. Развѣ эта „образина“ не могла попросить его въ гостиную и извиниться, приказчика сначала отпустить, а не продолжать передъ нимъ, Евлампіемъ Григорьевичемъ, своихъ домашнихъ распоряжений, да еще въ ночной сорочкѣ и котахъ? Красныя пятна на щекахъ обозначились съ новой силой.

IX.

— Не перепутай,—продолжалъ Красноперый и ткнулъ въ воздухъ грязнымъ указательнымъ пальцемъ.

Когда онъ говорилъ, въ груди у него слышался хрипъ, точно въ засоренномъ чубукѣ. Онъ часто плакалъ.

— Какъ можно-съ,—откликнулся приказчикъ.

— Оттуда къ Мурзуеву... Полушубковъ пятьсотъ штукъ, да хорошихъ, не кислыхъ.

— Слушаю-съ.

— Кажинную штуку пересмотри и перенюхай.

— Слушаю-съ.

— Отъ Мурзуева къ тому... знаешь, въ Зарядьѣ?

— Знаю-съ.

— Капитонъ-моль Теофилактовичъ приказали отпустить холста рубашечнаго двѣ тысячи аршинъ... ярославскаго, полубѣлаго, чтобъ безъ гнили.

— Слушаю-съ.

Тутъ только Красноперый обернулся къ гостю и небрежно сказалъ ему:

— А, Евлампій Григорьевичъ! Здравствуй!.. Обожди маленько... присядь.

Всего обиднѣе то, что онъ ему говорить „ты“. И всегда такъ говорилъ... Они четвероюродные братья, но есть разнища лѣтъ. Другой бы давно далъ знать такому „стребулисту“, что пора оставить эту фамильярность, или ему самому отвѣчать такимъ же „ты“. И на это не хватаетъ духу!..

— Все искупи седни,—опъ, не стѣсняясь, говорилъ „седни“, а въ сановники мѣтилъ,—и сдай въ складъ, подъ расписку.

— Слушаю-съ,—повторилъ въ двадцатый разъ приказчикъ.

— Для васъ все, для вашей команды,—еще небрежнѣе зашѣтилъ Красноперый родственнику.

Евлампій Григорьевичъ хотѣлъ что-то возразить, но лицо хозяина кабинета уже смотрѣло въ профиль на приказчика.

— Съ Богомъ,—отпустилъ Красноперый, и не тотчасъ же обернулся къ Нѣтову, а нагнулъ голову, какъ бы что-то соображая.

Приказчикъ взялся за ручку двери.

— Вонифатьевъ!—крикнулъ хозяинъ.



— Что прикажете-съ?

Больше двухъ шаговъ приказчикъ не сдѣлалъ.

— Вотъ еще что я забылъ, братецъ... По Ильинкѣ проѣзжать будешь, то, бишь, по Никольской, заверни къ Феррейну и отдай ему... не въ аптеку, а въ магазинъ... матеріаловъ.

— Починаю-съ.

— Чтобы все по запискѣ было отпущено безъ задержекъ.

— Записочку...

— Что ты мнѣ тычешь?.. Знаю...

Красноперый, не сѣша, открылъ одинъ изъ ящиковъ, порылся тамъ, досталъ бумажку, сложенную вдвое, и протянулъ.

Приказчикъ подбѣжалъ и взялъ бумажку.

— И такимъ же манеромъ въ складъ прикажете?

— Да, братецъ, и въ складъ... ступай...

„Вотъ и ему, Нѣтову, этотъ куценосый будетъ сейчасъ же говорить „ты“, какъ и Вонифатьеву въ смазныхъ сапогахъ“.

Дверь затворилась за приказчикомъ.

Капитонъ Теофилактовичъ сѣлъ теперь въ кресло, лицомъ къ гостю, потянулся и зѣвнулъ.

— Что не куришь?

— Не хочется,—отвѣтилъ Нѣтовъ, и почувствовалъ, какъ у него школьнический голосъ.

— Добро пожаловать!.. А ты, кажется, въ изумленіе пришелъ, что я тебѣ сказала насчетъ склада?.. Да, братъ, я теперь отдуваюсь... Ваши дамы-то... хоть бы и твоя супруга... только ленточки да медальки носить охотницы: а охотка прошла—и нѣтъ ничего.

— Однако...—началъ было Нѣтовъ.

— Да что тутъ однако, я тебѣ на дѣлѣ показываю... Ты вѣдь тоже соревнователемъ числишься... А заглядывалъ ли ты туда хоть разъ въ полугодіе, вотъ хотя бы съ весны?..

— Вы знаете, Капитонъ Теофилактовичъ, что у меня у одного кажется...

— Нечего кичиться твоими трудами!.. Сидишь да потѣешь въ разныхъ комитетахъ... Ха-ха!.. А послѣ надъ тобой же смѣются... Лучше бы похлопотать о русскомъ рабеномъ воинѣ. Чево! Война прошла... Цѣлымъ батальонамъ ноги отморозило!.. Калѣкъ-перехожихъ надѣлали



то песку морского... Пушай!.. Глядь—ни холста, ни полушубковъ, ни денегъ,—ничего!.. Красноперова за бока!.. Онъ христолюбецъ!..

Х.

Губы Евлампія Григорьевича совсѣмъ побѣлѣли. Онъ то потиралъ руки, то хватался правой рукой за лацканъ фрака. „Бахвальство“ брата душило его. А отвѣчать нечего. Онъ, дѣйствительно, не знаетъ, что дѣлается въ этомъ „складѣ“. И Марья Орестовна что-то туда не ѣздитъ. У ней вышла исторія, она не перенесла одной какой-то фразы отъ предсѣдательши. Съ тѣхъ поръ не даетъ ни копейки, и не дежурить, аршина холста не посылала... А этотъ „Капитошка“ угостилъ его цѣлымъ правоучеьемъ, перечислилъ и полушубки, и холсты, и аптекарскіе товары.

— Такъ-то оно и все идетъ у насъ на Руси православною,—протянулъ Капитонъ Оеофилактовичъ и, прищурившись на гостя, подзадоривающимъ тономъ спросилъ:—Читалъ, какъ васъ съ дяденькой-то ловко отщелкали, а-съ?..

Этого не ожидалъ Нѣтовъ даже и отъ Красноперова. Самъ онъ — завѣдомо подстрекатель пасквиля, и вдругъ издѣвается, какъ ни въ чемъ не бывало!..

— А что же-съ, вамъ это особенно пріятно?—сумѣлъ онъ спросить, и голосъ его дрогнулъ.

— Да мнѣ что? Не дѣтей съ вами крестить! Ругайтесь промежъ себя, намъ же лучше.

— Однако, такая газета стоитъ того, чтобы ее судить...

— Судись, коли охота есть!.. Деньги-то все равно зри тратишь. Ну, найми Федора Никифоровича. Онъ тебя такъ распишетъ, что хоть сейчасъ въ царствіе небесное... Ха-ха!..

— Дядюшка тутъ припутанъ ни къ селу, ни къ городу.

— Факты вѣрные... Скаредъ и самодуръ... Онъ все въ сторонкѣ, да потихоньку, анъ и его — на свѣжую воду... Радуйся! Вѣдь тебя, братъ, супруга въ альдермены, на аглицкій манеръ, произвела... Ну, и стой за свободу слова, за гласность. Ты долженъ это дѣлать, долженъ... Ха-ха-ха!..

Красноперый долго смѣялся, покачиваясь на креслѣ. Ногу онъ задралъ къверху.



Блѣдность Евлампія Григорьевича перешла опять въ красноту. Онъ еще сильнѣе краснѣлъ отъ сознанія, что не въ силахъ сдержатъ себя, съ презрѣнiемъ относиться ко всему этому „гаерству“ и безнаказанной дерзости „мужлана“ и „сивушника“.

— Что жъ вы думаете,—заговорилъ опять Красноперый,—вамъ всѣ въ зубы будутъ глядѣть?.. Хозяйничай, какъ знаешь, батюшка!.. Да я бы васъ еще не такъ! Отдали самыя сурьезныя статьи въ чьи руки?..

— Свѣдущіе люди...

— Отчего шпыняютъ васъ?! Оттого, что вы какого-нибудь голоштаннаго кандидатишку пошлете за границу отхожія мѣста изучать, съ меня же, какъ съ платящаго жителя, сдерете на его содержаніе, а потомъ позволяете ему мудрить и эксперименты производить!.. Эхъ, вы!..

Онъ всталъ, подтянулъ свой костюмъ весьма безцеремонно и пожалъ плечами.

Какъ же говорить послѣ такого приѣма? Только срамиться. И переходъ-то нельзя сдѣлать. Къ чему придратъся? Или разговоръ перевернуть? На это Евлампія Григорьевича никогда не ставало и въ засѣданіяхъ, не то что ужъ въ подобномъ случаѣ.

— Вы это напрасно,—выговорилъ онъ съ большимъ усиленіемъ; лучше всего было молчать: — разумнѣе и ловчѣе ничего не придумаешь...

— Да нечего!.. Газетная лапша—хорошая штука для вашего брата...

— Мы не такъ къ вамъ относимся...

— Кто мы?

— Да хоть бы дядюшка... и я тоже. До сихъ поръ, кажется, имѣлъ я основаніе, Капитонъ Теофилактовичъ, считать васъ русскимъ кореннымъ человѣкомъ... Вы же меня и ввели къ такимъ людямъ, какъ хотя бы Лещовъ, Константинъ Глѣбъичъ...

— Да ты куда это ударился, сударь мой?

— Нешто мы измѣнили? Или передались, что ли? Вонъ другіе себя величаютъ всячески: либералы мы, говорятъ, западники... А я, кажется, все въ томъ же духѣ...

— Надоѣлъ, Евлампій Григорьевичъ, надоѣлъ ты мнѣ своимъ нытьемъ... Славянофилъ ты, что ли? Кто тебя этому надоумилъ? Книжки ты сочинялъ или стихи, какъ Алексѣй Степанычъ—покойникъ? Пренія производилъ съ питерскими умниками, аль опять съ пачетчиками въ



Кремль? Ни пава ты, ни ворона! И Лещовъ надъ тобой же издѣвался!.. Я тебѣ это говорю доподлинно!

XI.

Дальше молчать было невозможно. Евлампій Григорьевичъ задвигался на стулѣ.

— Зачѣмъ же-съ, зачѣмъ же-съ,—заговорилъ онъ. — Я вовсе въ это не желаю входить. Душевно признателенъ за то, что видѣлъ отъ Константина Глѣбовича. И хотя бы онъ за-глаза... при его характерѣ оно и не мудрено: но мы объ этомъ не станемъ-съ...

— Это твое дѣло!—перебилъ Красноперый.

— Не станемъ-съ,—повторилъ Нѣтовъ. — Потому, кто же можетъ въ душу къ другому человѣку залѣзть? А вотъ, Капитонъ Теофилактовичъ, мы съ дялюшкой Алексѣемъ Тимошеевичемъ думаемъ сдѣлать вамъ совсѣмъ другое... сообщеніе.

— Какое такое сообщеніе?

Красноперый подперъ себѣ руки въ бока.

— Такъ какъ Константинъ Глѣбовичъ очень плохъ, можно сказать, въ полномъ разстройствѣ здоровья, такъ мы и думали... по прежнимъ нашимъ связямъ съ вами...

— Ну-у?

— Какъ вы полагаете сами насчетъ мѣстовъ, занимаемыхъ теперь Константиномъ Глѣбовичемъ?..

Лицо Красноперова измѣнило выраженіе. Онъ подался впередъ всѣмъ корпусомъ.

— Какъ же тутъ полагать? Ты говори толкомъ.

— Вѣдь желательно, чтобы, ежели послѣ его кончины мѣста эти останутся вакантными—человѣкъ стоящій получилъ главную силу и могъ сообразно тому дѣйствовать.

-- Дальше что же, сударь мой, дальше-то?

— И чѣмъ раздоры имѣть... и другъ дружку ослаблять, не любезнѣе ли бы было, Капитонъ Теофилактовичъ, въ соглашеніе войти... Если вы къ намъ въ тѣхъ же чувствахъ, какъ и прежде, то мы, съ своей стороны, окажемъ вамъ поддержку.

-- А ты думаешь, для меня ни вѣсть какая благодать на Лещова мѣсто сѣсть?—пренебрежительно спросилъ Красноперый. Онъ сразу уразумѣлъ, въ чемъ дѣло, и уже сообразилъ, какъ надо поломаться. Коли сами залѣзаютъ, стало, онъ имъ нуженъ... Газетныя статейки подѣйствовали.



„Подлецъ ты, подлецъ,—безпомощно бранился про себя Нѣтовъ: — и зачѣмъ я тебя улещаю?.. Надо бы тебя за пасквили къ мировому, а то и въ окружный... Т-е же насъ осрамилъ на всю Москву, и я же долженъ прыгать передъ тобою“.

— Хуже будетъ, ежели кто-нибудь изъ вашихъ заклятыхъ враговъ да попадетъ...—сказалъ съ усиліемъ Нѣтовъ. — Вѣдь вы опять въ дѣла вошли. Кредитъ поднимется сразу и всякое предпріятіе.

— Тихъ, тихъ, а посулы знаешь!

— Почему же вы это за посулы принимаете? Надо предвидѣть-съ.

— Благопріятель еще живъ, а мы ужъ разсчитываемъ, кого бы намъ посадить, чтобы нашу руку гнули. Объявляемъ его мечемъ жребій!..

— Это ужъ совсѣмъ напрасно,—разсердился въявь Нѣтовъ и всталъ. — Вамъ достаточно извѣстно, Капитонъ Теофилактовичъ, что я никакими аферами не занимаюсь (Марья Орестовна не могла его отучить отъ „аферъ“); ежели я и дядюшка Алексѣй Тимофеевичъ объ чемъ хлопотчемъ, такъ это единственно, чтобы люди стоящіе сидѣли на такихъ мѣстахъ. И потому мы полагаемъ, что вамъ съ нами ссориться не изъ чего. Кромѣ всякаго содѣйствія вы отъ насъ ничего не выдали.

— Ладно, ладно!.. Сейчасъ и пѣтушится, ха-ха!..

Красноперый перемѣнилъ тонъ.

— Была бы честь предложена!—вырвалось у Нѣтова.

Но онъ тотчасъ же испугался и ушелъ въ себя.

— Да ладно, я вѣдь не кусаюсь... А ты вотъ что мнѣ скажи: это ты самъ придумалъ насчетъ Лещова?.. Врядъ ли!.. Дядюшка надоумилъ?

— Это все единственно... кто... я ли, дядюшка ли, что для васъ выгоду имѣетъ, вы сообразите сами...

— Плохъ онъ нешто?..—спросилъ вдругъ Красноперый серьезно.

— Вы о комъ, о Константиѣ Глѣбовичѣ?

— Да.

— Очень плохъ... Я вотъ къ нему...

— Удостовериться, сколько дней проживетъ?

— Вовсе не такъ, Капитонъ Теофилактовичъ, вовсе не въ этихъ расчетахъ, а потому собственно, что они просили насчетъ завѣщанія.

— Пишетъ?



— Да-съ... И дядюшку желали въ душеприказчики.

— Тотъ не пошелъ... старый аспидъ?

— У нихъ дѣловъ достаточно и своихъ...

— А ты?

— Мнѣ также вмѣшиваться не хотѣлось бы... подписаться свидѣтелемъ, почему не подписаться...

— Улита ѣдетъ скоро ли будетъ... Лешковъ-то пять разъ ужъ на моей памяти отходилъ, однако, все еще живъ. Онъ Господа Бога слопаеть.

— Не доживетъ до зимы.

— Ну, и пушай его... Вамъ съ дядей вотъ что скажу, другъ любезный: загадывать нечего, можно и провратиться... Коли вы оба со мной ладить хотите... такъ мы посмотримъ...

— Мы надѣмся, что вы, какъ и прежде, этихъ-то, которые надъ нами въ издѣвку... и насчетъ русскихъ и славянъ...

— Это ты не гоноши... Я—русакъ. Въ деревнѣ родился... стало, нечего меня русскому-то духу обучать... А вы очень не тянитесь... за барами, которые... кричать-то много... Онъ, говорить, западникъ... Мы не того направили.. Вы оба о томъ лучше думайте, чтобъ куръ не смѣшить, да стоящихъ людямъ поперекъ дороги не становиться, такъ-то!..

Красноперый всталъ и протянулъ руку Нѣтову. Больше не о чемъ было разговаривать. Хорошо еще, что проводилъ до приѣзжей.

XII.

Не много пріятности предстояло и у Лешова. Но, видно, такой крестъ выпалъ, даромъ ничто не дается.

Всю дорогу — минутъ съ двадцать—на душѣ Евлампія Григорьевича то защемило отъ „пакости“ Красноперова, то начнетъ мутить совѣсть: человекъ умираетъ, проситъ его въ свидѣтели по завѣщанію, училъ уму-разуму, изъ самыхъ немудрыхъ торговцевъ сдѣлалъ изъ него особу, а онъ, какъ „Капитошка“ сейчасъ ржалъ: „объ одеждахъ его мечеть жребій“; срамъ - стыдобушка! Сидеть у его кровати, ровно другъ, а самъ передъ тѣмъ заѣзжалъ къ такому „мерзecu“, какъ Красноперый, сулить ему мѣста Константина Глѣбовича. И зачѣмъ все это?.. Не могъ онъ развѣ жить себѣ припѣваючи? Ни заботъ, ни сухоты, ни обиды. Гдѣ хочешь... въ Ниццу или въ Неаполь, что ли,



поѣзжай. Палаццо тамъ выведи, пѣвчихъ своихъ, церковь собственную... Такъ нѣтъ!.. Все подошло одно къ одному; завелся и выросъ внутри червякъ,—какое—цѣлый глистъ ленточный, гложетъ и гложетъ... И къ людямъ такимъ попалъ въ выучку: Лещовъ, Марья Орестовна. Теперь ужъ и нельзя назадъ, не пускаетъ собственное прошедшее.

Ежится Евлампій Григорьевичъ въ своей мягкой стеганой шинели. Ему не по себѣ, точно онъ передъ припадкомъ лихорадки... Слишкомъ ужъ играли на его нервахъ, да и еще поиграютъ. У Лещова онъ засиживаться не станетъ.. Нѣтъ!.. А дома-то?.. Что такое готовить Марья Орестовна?.. Господи!..

Карета въѣхала въ ворота и остановилась у подъѣзда со стариннымъ навѣсомъ деревяннаго крыльца. Домъ у Лещова былъ небольшой, одноэтажный, съ улицы штукатуренный, въ переулкѣ, около Новинскаго бульвара, старый, купленный съ аукціона; построенъ былъ какимъ-то еще „бригадиромъ“.

Покупщикъ поправилъ его немного внутри, сдѣлалъ потѣлѣе, перестлалъ полы и вставилъ новыя окна; но объ убранствѣ не заботился. Расположеніе комнатъ, почти вся мебель, даже запахъ старыхъ дворянскихъ покоевъ, остались тѣ же. Одна зала была попросторѣе, остальные комнаты тѣсныя и воздухъ въ нихъ всегда стоялъ спертый.

Впустилъ Нѣтова лакей съ длинными усами, въ черномъ сюртукѣ.

— Здравствуйте, батюшка Евлампій Григорьевичъ,—сказалъ онъ съ поклономъ.

— Какъ баринъ?—спросилъ Нѣтовъ, войдя въ переднюю, гдѣ еще сохранились „лари“.

— Очень мучились... Одышка... Совсѣмъ залило... водато...—прибавилъ онъ шопотомъ.—Докторъ въ три часа ночи былъ. Консилиумъ, слышно, хотятъ.

— Кто у него теперь?

— Ждали Качѣева, Аполлона Ѳедоровича,—изволили знать?

— Адвокатъ?

— Да-съ... А тѣхъ вотъ о сю-пору нѣтъ. Верхового послали...

И въ переднюю проникъ запахъ комнаты трудно-больного. Нѣтовъ нахмурился и сжалъ губы. Онъ боялся покойниковъ и умиравшихъ.

Лакей пошелъ впередъ черезъ залу — пустую, скучную



комнату, съ ломберными столами и роялемъ, безъ растений, безъ картинъ, черезъ гостиную съ красной штофной мебелью, проходную, неудобную, и повернулъ налѣво чрезъ комнату, которая у прежнихъ владѣльцевъ называлась „чайной“.

Раскатъ желудочнаго кашля остановилъ и испугалъ Нѣтова. Точно у него самого вышло наружу все нутро. Лакей постучалъ въ дверь и пріотворилъ. Оттуда выглянуло молодое лицо. Они пошептались.

— Пожалуйте, батюшка,—пригласилъ лакей Евлампія Григорьевича.

Больной помѣщался на широкой, двуспальной кровати изъ темнаго орѣха. Шторы были подняты, но свѣтъ входилъ въ комнату сѣрый; коричневые обои дѣлали ее еще болѣе тоскливой. Только дамскій туалетъ, съ серебрянымъ зеркаломъ и кисеей на розовой подкладкѣ, немного освѣжалъ общій видъ. Въ воздухѣ двигались невидимыя полосы эоира, испаренія микстуръ. Въ подушкахъ, опершись о нихъ спиной, Лещовъ только что осилилъ страшный припадокъ удушья и кашля. Голова его опустилась на-бокъ. Изъ длиннаго, отекашаго лица съ рѣдкой бородой, почти совсѣмъ сѣдой, глядѣли два глаза, озлобленные на боль, подозрѣвающіе, полные горечи и безразличнаго чувства ко всѣмъ и ко всему. Глаза эти то расширяли свои зрачки, то суживались и блуждали по комнатѣ. Ротъ кривился. Грудь дышала коротко и томительно. Можно было заключить, что ее „заливаетъ“, какъ сказалъ лакей Нѣтову. Животъ, непомерно раздутый, указывалъ также на послѣдній періодъ водяной. Фланелевое одѣяло прикрывало тѣло больного до пояса. Онъ разметалъ его. На ногахъ лежало другое, полегче. У изголовья стоялъ столикъ съ множествомъ лѣкарствъ. Въ ногахъ, на табуретѣ, лежали игральныя карты и грифельная доска. Подальше, изъ-за кровати, выставился сложенный ломберный столъ; на немъ—бумаги, чернильница съ перомъ и два толстыхъ тома.

Жена Лещова смотрѣла дамой лѣтъ подъ тридцать. Она, какъ-то не подѣ-стать комнатѣ при-смерти больного, была старательно причесана и одѣта, точно для выѣзда, въ шелковое платье, въ браслетѣ и медальонѣ. Ея бѣлокурое, довольно полное и красивое лицо совсѣмъ не ожидалось глазами неопредѣленнаго цѣнта, немного заспанными. Она улыбнулась Нѣтову улыбкой женщины, не же-



лающей никого раздражать и способной все выслушать и перенести.

— Евлампій Григорьевичъ,—тихо сказала жена, наклоняясь надъ нимъ.

— А? что?..—раздраженно окликнулъ онъ.

Она повторила и, обернувшись къ гостю, показала лицомъ, какъ она хорошо переноситъ послѣдніе дни своихъ мученій.

Нѣтовъ подошелъ къ кровати на цыпочкахъ.

— А! пріѣхалъ!.. Спасибо!..

И Лещовъ говорилъ ему „ты“. А онъ ему „вы“.

— Какъ?—спросилъ Нѣтовъ больного.

— Видишь... Душитъ... Скоты у насъ доктора... Разбойники!.. Вотъ хочу Маттеи попробовать... А всѣхъ этихъ жидовъ гнать вонъ!.. Сотенныхъ-то!

Лещовъ схватился за грудь и злобно вскинулъ головой на жену.

— Ну, что торчишь?.. Что торчишь? Господи ты Боже мой!.. Ну, сложи все это съ табуретки!.. И уходи! Не моль ты мнѣ глаза!

Жена взяла карты и грифельную доску и вышла молча, сохраняя все ту же улыбку.

XIII.

— А дядя что? Алексѣй Тимофеевичъ? Ты ему передавать мою просьбу?

— Передавалъ-съ, Константинъ Глѣбовичъ.

— И что же?

— Опи свидѣтелемъ—съ полнымъ удовольствіемъ...

— Стало, въ душеприказчики не хочетъ?

— Изволите видѣть...

— А-а!—перебилъ больной и глаза его сверкнули...—Питается?.. И ты тоже?

— Я, Константинъ Глѣбовичъ... съ полнымъ моимъ удовольствіемъ... только позвольте вамъ доложить...

— Ну да, ну да!.. Ахъ вы, хриstopродавцы!..

Онъ откинулся на подушку. Въ горлѣ у него захрипѣло. Но въ такомъ положеніи онъ оставался не долго. Снова приподнявъ онъ голову и подался впередъ, такъ что его голова почти ткнулась въ лицо Нѣтову.

— Вотъ вы всѣ таковы! Пока человѣкъ живъ, на ногахъ, нуженъ вамъ, глупость-то вашу отчищаетъ, какъ коросту какую,— вы ему всякое уваженіе. А тутъ въ пустя-



какъ — отказъ, трусость поганая, моя хата — съ краю... Славно!.. Чудесно!.. И не надо!..

— Константинъ Глѣбовичъ, вы изволите знать дядюшку! У нихъ дѣловъ собственныхъ по горло. И съ судомъ они опасаются всякихъ столкновенийъ.

— Дѣловъ... Столкновенийъ! Вотъ они у насъ какъ выражаются, господа коммерсанта...

Больной приподнялся и выпрямился. Правую руку онъ вытянулъ, а лѣвой открылъ еще больше воротъ рубашки.

— И въ васъ-то я двадцать-пять лѣтъ самыхъ лучшихъ ясидилъ, въ васъ?! Срамъ вспомнить!.. Меня съ вами начали смѣшивать... въ одну кучу валить... Такой же кулакъ, говорятъ, какъ и всѣ они, воротила, выжига, выкормокъ купеческій. А я магистерскій дипломъ имѣю... Ты это забылъ?..

— Помилуйте, Константинъ Глѣбовичъ...

— А я забылъ!.. За чечевичную похлебку, какъ Цсавъ, продалъ свое первородство. Сталъ съ вашимъ братомъ якшаться!.. И благодарности захотѣлъ...

Ротъ больного сводило. Онъ заметался на постели. Нѣтову сдѣлалось очень жутко. Самъ онъ готовъ былъ сейчасъ пойти въ душеприказчики, но за дядю отвѣчать не могъ.

— Христа-ради, Константинъ Глѣбовичъ,—заговорилъ онъ,—не извольте такъ разстраиваться-съ. Я, съ своей стороны, готовъ.

— Не хочу!..—крикнулъ гнѣвно Лещовъ,—не хочу!.. Убирайтесь!.. Найду и другихъ. Дворника позову, кучера, вонъ Андрея своего... не хуже васъ будутъ... и въ безграмотствѣ не уступятъ... Вотъ... умирать какъ пришлось...

— Я за честь почту-съ,—продолжалъ Нѣтовъ,—быть свидѣтелемъ, коли ваше на то желаніе, Константинъ Глѣбовичъ.

— Не надо!.. Не нуждаюсь... Я васъ насквозь вижу... Вы ужъ и теперь подыскиваете человѣка на мою ваканцію. Чего глаза-то опускаешь, Евлампій Григорьевичъ?.. Ваше степенство! Вонъ и щеки у тебя пятнами пошли...

— Помилуйте-съ!..—прошепталъ Нѣтовъ. Ему ужасно захотѣлось съежиться.

— Ха-ха!—разразился Лещовъ, и его смѣхъ перешелъ въ новые раскаты кашля.

Нѣтовъ переполошился, вскочилъ, схватилъ стаканъ съ какимъ-то питьемъ.



Изъ полуотворенной двери показалось лицо жены.

— Микстура бѣлая, — шопотомъ подсказала она Нѣтову и скрылась.

— Прикажете лѣкарства? — спросилъ тотъ больного.

Лещовъ ничего не отвѣтилъ. Онъ съ усиленіемъ откашливался. Жилы налились у него на лбу и вискахъ. Лицо посинѣло. Надо было поддерживать ему голову. Послѣ припадка, онъ упалъ пластомъ на подушки и съ минуту лежалъ, не раскрывая глазъ. Въ спальнѣ слышалось его дыханіе.

На цыпочкахъ отошелъ Нѣтовъ къ двери.

Вдругъ больной схватился за колокольчикъ и позволилъ. Дверь отворила жена.

— Качѣвъ здѣсь? — чуть слышно спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще!

— Разбойникъ!.. Селадонъ проклятый!..

Онъ уже не обращалъ никакого вниманія на гостя.

— Не угодно ли мой экипажъ? — предложилъ Нѣтовъ, обращаясь къ женѣ.

— Не хочу! — крикнулъ Лещовъ. — Не надо!.. Благопріятели удружили! Оставьте меня! всѣ, всѣ!..

И онъ замахалъ рукой.

XIV.

Нѣтовъ вышелъ за двери съ Лещовой.

Она улыбнулась ему, сложила руки, какъ на картинахъ складываютъ, становясь передъ образомъ, и подняла глаза.

— Ради Бога, — заговорила она, уводя его въ гостиную. — Не раздражайте его. Простите. Онъ виѣ себя.

— Да, я понимаю-съ, — заторопился Нѣтовъ, — совершенно вѣрно изволите говорить. Впѣ себя.

— Пожалуйста, прошу васъ... согласитесь...

Она опустила на диванъ и приложила къ глазамъ батистовый платокъ съ разноцвѣтной монограммой.

— Да я съ полной готовностью. И дядюшка Алексѣй Тимоѣевичъ согласны въ свидѣтели.

— Какіе свидѣтели? — вдругъ спросила она наивнымъ тономъ и отвила платокъ отъ покраснѣвшихъ глазъ.

— По духовной...

Евламій Григорьевичъ прикусилъ себѣ языкъ. Онъ, быть-можетъ, проврался. Вѣдь этихъ вещей не говорить

женамъ. Кто ее знаетъ? Живутъ они, кажется, не очень-то ладно.

— По завѣщанію?—тожно переспросила она и склонила голову на плечо.

— Собственно... я полагаю такъ,—началъ путаться Евлампій Григорьевичъ.

— Ахъ, monsieur Нѣтовъ... и далека отъ всего этого... я ничего не знаю... мой мужъ никогда меня не посвящалъ въ дѣла... Никогда... Онъ смотритъ на меня какъ на дурочку... И вотъ теперь поймите мое положеніе... въ такія минуты... я какъ въ лѣсу... Волю свою онъ не передаетъ мнѣ на словахъ! О, нѣтъ!.. Я не достойна... Я не ропщу... вы понимаете, Евлампій Григорьевичъ... какая будетъ воля моего мужа—я не знаю... Но выборъ исполнителей... такъ важень... ваше участіе...

— Да я всей душой... Только Константинъ Глѣбовичъ разгнѣвались... Они не пожелаютъ меня безъ дядюшки; а Алексѣй Тимофеевичъ разъ что скажетъ, рѣшенія своего не измѣнитъ.

— Кто же будетъ?—всхлипнула Лещова и опять закрыла глаза платкомъ.

Евлампій Григорьевичъ увидалъ себя въ эту минуту на постели, обложеннаго подушками, больного при смерти... Какое-то онъ будетъ составлять завѣщаніе? А его Марья Орестовна что станетъ выдѣлывать? Она и этакъ, пожалуй, не прослезится. Но на нее онъ не посмѣетъ такъ кричать, какъ Лещовъ. Всѣ онъ на одинъ ладъ.

Вбѣжалъ лакей.

— Пожалуйте... — позвалъ онъ барыню. — Гнѣваются... Опять Аполлона Ѳедоровича требуютъ.

— Меня зоветъ?—спросила Лещова съ видомъ жертвы.

— Да-съ! Приказали васъ звать. Звонокъ въ передней. Должно-быть Аполлонъ Ѳедоровичъ.

Лакей убѣжалъ.

— Вы не побудете?—спросила Лещова, вставая, и протянула Нѣтову бѣлую, круглую руку, всю въ кольцахъ.

— Да вѣдь теперь что же-съ, бумаги еще не готовы. Константинъ Глѣбовичъ разгнѣвались... Пожалуй, и въ свидѣтели не пожелаютъ... что же ихъ беспокоитъ? Вы сами изволите видѣть... А если что нужно... дайте знать.

— Ахъ, Евлампій Григорьевичъ,—она оперлась объ его руку и поникла головой,—развѣ я что значу?

— Ну вотъ, быть-можетъ, довѣріе имѣютъ къ адвокату.



— Къ Качѣву?

— Да-съ.

— Не думаю... Я въ сторонѣ... И хочу... чтобы потомъ никто не имѣлъ права...

— Однако, все-таки-съ... Довѣренный человѣкъ и законъ знаетъ... Да и самъ Константиъ Глѣбычъ разсудятъ, когда поспокойнѣе будутъ, кого имъ лучше выбрать... Я съ своей стороны...

А самъ думалъ: „еще впутаеться съ тобой. Почнешь ты оттигивать имущество, если тебѣ мала покажется твоя доля...“

Онъ торопливо сталъ расклапываться.

— Пожалуйста... не извольте меня провожать, вашъ больной какъ бы опять не разгнѣвался?..

Иѣтовъ пятился къ двери весь въ испаринѣ, не зная, какъ ему поскорѣе уйти изъ этого дома, гдѣ еще такъ недавно его, какъ говорилъ Красноперый, „натаскивали“.

Лещова проводила его до залы и на порогѣ еще разъ подняла глаза кверху.

XV.

Въ спальнѣ она застала адвоката Качѣна.

На краю постели сидѣлъ, нагнувъ вправо голову и весело глядя на больного, молодой блондинъ небольшого роста. Его бакенбарды расчесаны, точно двѣ пуховки изъ-подъ пудры, на розовыхъ щекахъ. Лоснящіяся, мягкіе волосы лежали на головѣ послушно, на лбу городками, а на вискахъ разбитые проборомъ на двѣ половины. Усы, свѣтлѣе волосъ, кончались тонкими нитями, по которымъ прошелся брильянтинъ. Голубые глаза смотрѣли на больного, какъ баловники глядятъ на дѣтей. Фракъ со значкомъ сидѣлъ на Качѣвѣ, точно будто онъ ѣхалъ на балъ. По вырѣзу жилета, въ видѣ сердца, широкий галстукъ съ прямообрѣзанными концами падалъ на грудь. Въ манжетахъ желѣли круглые матовые шарики съ жемчужиной посрединѣ. По всей комнатѣ почелъ запахъ прѣсныхъ духовъ и смѣшался съ удушливымъ воздухомъ лѣкарствъ.

Качѣвъ держалъ больного за руку, тамъ, гдѣ пульсъ, докторскимъ приѣмомъ.

— Вотъ и вижу,—говорилъ онъ нараспѣвъ женоподобнымъ голосомъ; въ эту минуту вошла Лещова,—что пятились на кого-то. За это штрафъ. А! Аделаида Пе-

тровна, bonjour! — Онъ вскочилъ и приложился къ рукѣ. Лещова поглядѣла на него съ такимъ же выраженіемъ, какъ и на Нѣтова.

— Дурно ведетъ себя Константинъ Глѣбовичъ...

Мученическое выраженіе разлилось по всему лицу Лещовой.

— Подай бумаги!—прохрипѣлъ больной.

Она не разслышала.

— Бумаги!—закричалъ онъ.—Кому я говорю? Рада! Заплела коклисы! Пріятный мужчина явился. Какъ же тутъ хребтомъ не вилять? И браслеты всѣ надо натянуть.

Качѣвъ и Лещова обернулись къ больному разомъ. Лицо ея продолжало улыбаться; адвокатъ подошелъ къ кровати.

— Опять начали!—пригрозилъ онъ.—Воля ваша, доктору пожалуюсь. Какъ же это вы меня приглашаете? Вамъ надо быть въ полномъ обладаніи своихъ духовныхъ способностей, а не такъ себя вести, Константинъ Глѣбовичъ... Вы этакъ до состоянія невмѣняемости дойдете!

Больной стихъ и даже улыбнулся.

— Ахъ, батюшка,—началъ онъ жаловаться, — раздражаетъ она меня, мочи нѣтъ.

Онъ ткнулъ указательнымъ пальцемъ по направленію жены.

Адвокатъ присѣлъ опять на край постели.

— Уговоръ!—сказалъ онъ.

— Какой?

— О дѣлѣ будемъ толковать—не кипятиться, а то сейчасъ уйду.

— Ладно!

— Или я—вашъ повѣренный, или вы меня для одной трепки пригласили!

— Пригласилъ!—повторилъ Лещовъ.—Нарочныхъ гонять надо!.. Семью собаками не сыщешь!.. У какой барыни подъ юбкой нашли?

— Константинъ Глѣбовичъ! — остановилъ адвокатъ и кивнулъ головой въ сторону Лещовой.

Она подала шкатулку краснаго дерева съ мѣдной отлѣлкой.

— А на что же поставить-то?—грубо спросилъ больной. — Писать-то гдѣ онъ будетъ?.. И этого сообразить не можеть!.. Господи!.. полудурья, полудурья!..

Лещова ни на каплю не измѣнилась въ лицѣ. Только



ея глаза встрѣтились съ глазами адвоката. Качѣву стало неловко, хотя онъ уже привыкъ къ такимъ супружескимъ сценамъ и до болѣзни своего довѣрителя.

— Я прикажу, — особенно кротко выговорила Лещова.

— А сама не можешь? Лакеевъ звать, чтобы всякій скотъ видѣлъ, что я дѣлаю, и сейчасъ всѣмъ просвиринамъ протрубилъ... Баринъ, молъ, съ аблакатомъ записался. Умна!..

— Да вотъ столъ, — напелся Качѣвъ, — мы сейчасъ же приставимъ... Тутъ все есть, что нужно... Пожалуйста.

Они придвинули ломберный столъ къ кровати. Портфель Лещовъ придерживалъ на груди.

— Отлично такъ будетъ! — вскричалъ Качѣвъ и отодвинулъ табуретку. — Ну, Константинъ Глѣбычъ, коли не станете ругаться — я съ вами три короля въ пикетъ сыграю послѣ.

— Ой ли? — обрадованно спросилъ больной, и въ первый разъ глаза его улыбнулись.

Жена его, не дожидаясь новаго окрика, вышла изъ спальни.

XVI.

Портфель лежалъ уже на раскрытомъ столѣ. Лещовъ сначала отперъ его, держа передъ собой. Ключикъ висѣлъ у него на груди въ одной связкѣ съ крестомъ, ладонкой, финифтевымъ образкомъ Митрофанія и золотымъ, плоскимъ медальономъ. Онъ повернулъ его дрожащей рукой. Изъ портфеля вынулъ онъ тетрадь, въ большой листъ, и еще двѣ бумаги такого же формата.

— Что же? — дурачливо началъ Качѣвъ, — мы опять сказку про бѣлаго бычка начнемъ?

— Какого бычка? — полусердито, полуплутливо переспросилъ Лещовъ.

— А то какъ же? Въ десятый разъ будемъ перебирать пункты духовной.

— Да вы что кричите! — перебилъ его больной. — Дверь-то хорошенько притворите, дверь... За каждой скважиной уши! И Христа ради потише... Не можете, что ли, теноръ-то вашъ сдержатъ?.. Подслушивается!.. Все ложь!.. Глазами и такъ, и этакъ... И жертву изъ себя... агнецъ на закланіе... Улыбка-то одна все у меня внутри поворачивается! А нѣ и будетъ съ фигой.



И онъ злобно разсмѣялся. Разсмѣялся и адвокатъ, но по-другому, весело и безперемонно.

— Вы точно изъ послѣдней пьесы Островскаго,—сказалъ онъ, еле сдерживая смѣхъ.

— Какой пьесы?

— Мнѣ разсказывали, онъ на-дняхъ читалъ въ одномъ домѣ, какъ купецъ-изувѣръ собрался тоже завѣщаніе писать и жену обманывалъ, говорилъ, что все ей оставить и племяннику миліонъ, а самъ ни копейки имъ. Все за упокой своей души многогрѣшной... Ха-ха!..

— Чего вы зубоскалите?... Развѣ я такъ? Обманываю я?.. Боюсь я сказать? Хитрю?.. Небось, на вашихъ глазахъ: она знаетъ,—и онъ указалъ на дверь,—что нечего ей разсчитывать. Никакихъ чтобъ расчетовъ. И улыбка-ми она своими меня не подкупить!.. Коли что—такъ я, какъ этотъ самый купецъ... ни единой полушки!..

— Да полноте, Константинъ Глѣбовичъ, что вы юродствуете! Вѣдь завѣщаніе я же писалъ.

— Разорву, сейчасъ разорву!.. такія минуты находятъ, что, кажется, своими бы руками...

— Ха-ха! А купецъ-то зубами хочетъ... желѣзные, говорить, у меня зубы.

— Не смѣйте такъ!—грозно оборвалъ большой Качѣва.

Тотъ помолчалъ, сдѣлалъ попріятнѣе мину и выговорилъ:

— Нужно только пожалѣть отъ души вашу супругу!

— Скажите пожалуйста!

— Да, пожалѣть... Ея выдержка изумительна.

— Выдержка!.. Я знаю...

— Ангельское терпѣніе. А у меня его меньше, Константинъ Глѣбовичъ... Довольно и того, чему я бывалъ свидѣтель, хоть бы сегодняшнимъ днемъ... Я не за этимъ ѣзжу къ вамъ... Если вамъ не угодно...

Онъ началъ подниматься съ табурета.

Лещовъ пугливо оглянулся и привсталъ въ постели.

— Полно, полно... Нечего тутъ кавалера-то изъ себя строить... Не ваша сухота... Давайте о дѣлѣ...

— Да вѣдь все готово!

— Прочтите мнѣ параграфъ... какой бишь...

— О чемъ?

— Объ учрежденіи имени... Константина Глѣбовича Лещова...

— Параграфъ седьмой?



— Да, да...

Адвокатъ началъ перелистывать тетрадь, опустилъ низко голову въ листы. Лещовъ слѣдилъ за нимъ тревожнымъ взглядомъ и дышалъ коротко и прерывисто.

Онъ думалъ:

„Наказалъ же меня Господь. Отнялъ разумъ и соображеніе... Какъ же было поручить составленіе духовной такому шалопаю, красавчику, Нарциссу? Да вѣдь она, Антигона-то облыжная, на него цѣлый годъ буркалы свои плить. Вѣдь они меня еще до смерти отравятъ, подсыплютъ морфію, обворуютъ, сожгутъ завѣщаніе... Развѣ ему, этому шенапану, довольно его практики?.. Что онъ получить? Десять, ну пятнадцать тысячъ... А тутъ сотни... И посулить ей законный бракъ. Успѣешь умереть съ духовной — онъ же оспаривать будетъ пополамъ барыши, вытянетъ у нея потомъ, поступить къ ней на содержаніе... И пойдутъ трудовыя деньги не на хорошее, на родное дѣло, не на увѣковѣченіе имени Лещова, а на французскихъ дѣвокъ, на карты, на кружева и тряпки этой мерзкой притворщицы и набитой дуры!..“

XVII.

Параграфъ былъ прочитанъ. Въ немъ Константинъ Глѣбовичъ оставлялъ крупную сумму на учрежденіе специальной школы и завѣщалъ душеприказчикамъ выхлопотать этой школѣ право называться его именемъ. Когда Качѣвъ раздѣльно, но вполголоса прочитывалъ текстъ параграфа, больной повторялъ про себя, шевелилъ губами. Онъ съ особенной любовью обдѣлывалъ фразы; по нѣскольку разъ заново передѣлывалъ этотъ пунктъ. И теперь два-три слова не поправились ему.

— Постойте,—перебилъ онъ.—Тутъ надо замѣнить.

— Что?—нетерпѣливо спросилъ Качѣвъ.

— Да вотъ это: „ежели, въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній“...

— Облизывали достаточно...

— Кто—я?

— Вы, Лещовъ, Константинъ Глѣбовичъ.

— Какая у меня степень? Вѣдь это между вашей братьей развелись малограмотные скоробрехи; а я не могу: чувство у меня есть художественное. Вы его всѣ утратили... Ремесленники, наймиты вездѣ развелись.

Качѣвъ выпустилъ тетрадь и сложилъ руки на груди.

— Вы забыли уговоръ, Константинъ Глѣбовичъ. Опять ругаться?

— Подайте мнѣ.

Лещовъ потянулся за тетрадью. Адвокатъ подалъ ее.

— Одно слово!.. Все равно надо переписать...—отрывисто заговорилъ Лещовъ.

Его уже начинало опять душить.

— Зачѣмъ переписывать... вѣдь вы ждали свидѣтелей?

— А! свидѣтелей?—разразился Лещовъ.—Былъ тутъ сейчасъ Евлашка Нѣтовъ, тля, безграмотный идиотъ. Я его оболванилъ, я его изъ четвероногаго двуногимъ сдѣлалъ. А онъ... отлыниваетъ... зачуяли, что мертвечиной отъ меня несетъ... Съ дядей своимъ, старой Лисой-Патрикѣвной, ставнулся... Тотъ въ душеприказчики нейдетъ... Я его намѣтилъ... Почестнѣе, потолковѣе другихъ... Теперь кого же я возьму?.. Кого?..

— Помните, —перебилъ Качѣвъ,—у васъ полъ-Москвы знакомыхъ... Ну, барина какого-нибудь изъ вашихъ пріятелей, изъ византійцевъ... ха-ха-ха!

— Откуда у васъ такое слово?

— Робята одобрили...—продолжалъ смѣшливо Качѣвъ.

— Выдохлись они теперь, болтаютъ все на старые лады... Ужъ коли брать, такъ купца. Этотъ хоть умничать не станетъ и счетъ знаетъ... А кого взять?.. Можетъ ли онъ понять мою душу? Раскусить ли онъ —лавочникъ и выжигъ,—что диктовало, какое чувство... вотъ хоть бы этотъ самый седьмой пунктъ?.. Вы не знаете этого народа?.. Вѣдь это бездонная прорва всякаго скудоумія и пошлости!..

Припадокъ кашля былъ гораздо слабѣе. Лещовъ положилъ голову на ладонь правой руки и смотрѣлъ черезъ бѣлокурую голову Качѣва. Голосъ его сталъ ровнѣе, слышались тронутые, унылые звуки...

— Молодой человѣкъ, вотъ вы тоже начали съ этимъ народомъ возжаться... Не продавайтесь! Бога для — не продавайтесь... Хотя бы и такъ, какъ я... Я не плутовалъ!.. Свезутъ меня завтра на погостъ, будутъ вамъ говорить: Лещовъ наворовалъ себѣ состояніе, Лещовъ былъ угольникъ первыхъ плутовъ, фальшивыхъ монетчиковъ... не вѣрьте... Ничего я не укралъ, ничего! Но я пошелъ на сдѣлку... Да. Хотя и тыкалъ ихъ въ носъ, показывалъ имъ ежесекундно свое превосходство, а все-таки ими питался... И опошлѣлъ, каюсь Господу моему и Спасителю!



Опустился... Все думалъ такъ: вотъ буду въ стахъ тысячахъ, а потомъ въ двухстахъ, трехстахъ, и тогда все по-боку и заживу съ другими людьми, спастись стану... Мыслить опять начну... Чувствованія свои очищу... Ань тутъ болѣзнь подползла. И никакіе доктора меня не подымутъ на ноги—вижу я это. Не хуже ихъ ставлю себѣ діагнозу... Вотъ она, трагедія-то. Слушай меня, франтъ-адвокатъ, слушай... коли въ тебѣ душа, а не паръ, гляди на меня, и гляди въ оба и страшись расплаты съ самимъ собою.

Отъ утомленія онъ смолкъ и закрылъ глаза. Лицо еще больше осунулось. Вокругъ глазъ темнѣли бурыя впадины.

Качѣвъ быстро поглядѣлъ на него, положилъ тетрадь въ портфель и перегнулся черезъ столъ.

— Константинъ Глѣбовичъ,—тихо выговорилъ онъ, — право, довольно... выправлять духовную... Когда свидѣтели будутъ готовы, пошлите за мной... Да и безъ меня подпишутъ, вы форму знаете, а душеприказчиковъ найдемъ и поставимъ другихъ...

— Кого?—чуть слышно спросилъ Лещовъ.

— Да того же Нѣтова... А второго... ну хоть меня! Я законъ знаю. Теперь лучше въ карточки поиграть... Я схожу за картами.

Качѣвъ вышелъ.

XVIII.

Въ гостиной, гдѣ адвокатъ нашелъ Лещову съ занятіемъ въ рукахъ, вышелъ разговоръ вполголоса.

— Раздражался?—спросила она кротко.

— Бѣда! Цѣлое поставленіе мнѣ прочелъ. Точно Борисъ Годуновъ послѣдній монологъ... Пожалуйте намъ карты... Маленькій пикетецъ соорудимъ... Я еще поспѣю въ судъ... Ахъ, барыня вы милая!

Онъ поцѣловалъ ее руку, а она его въ затылокъ, встала и пошла къ двери.

— Карты тамъ... въ спальнѣ... А какъ же съ душеприказчиками?

— Я себя предлагаю.

— Добрый другъ,—протянула она и подняла вверхъ глаза.

Глаза адвоката смотрѣли вбокъ. Въ нихъ мелькнула мысль: „кто тебя знаетъ, какъ-то ты себя поведешь послѣ вскрытія завѣщанія“.



Но они больше между собою не шептались. Лещова вошла первая въ спальню.

— Три короли!—громко произнесъ Качѣвъ, входя вслѣдъ за нею, — не больше, Константинъ Глѣбычъ, вы слышите?..

— Какъ тебѣ угодно,—спросила Лещова,—на столъ или положить доску на постель?

— На постель!.. Знаешь вѣдь.

Она достала небольшую доску изъ-за туалета, помѣстила ее на край постели, придвинула табуретъ, положила на доску двѣ колоды и грифельную доску, взбила подушки и помогла мужу приподняться.

Началась партія. Лещова присѣла у нижней спинки кровати и глядѣла въ карты Качѣва. Большой сначала выигралъ. Ему пришло въ первую же игру четырнадцать дамъ и пять и пятнадцать въ трефахъ. Онъ съ наслажденіемъ обиралъ взятки и клалъ ихъ, звонко прицеливая пальцами. И слѣдующія три-четыре игры карта шла къ нему. Но вотъ Качѣвъ взялъ девяносто. Поддаваться, если бъ онъ и хотѣлъ, нельзя было. Лещовъ пришелъ бы въ ярость. Въ прикупкѣ очутилось у Качѣва три туза.

— Ты что намъ обонмъ въ карты глядишь?—спросилъ Лещовъ жену.

— Я не вижу твоихъ картъ, мой другъ.

— Какъ не видишь? Сядь вотъ тутъ.

Онъ указалъ на изголовье.

— Возьми стулъ и сяди... Ковыряй что-нибудь, вяжи, не мозоль такъ глаза.

Жена исполнила его желаніе и сѣла на стулъ у изголовья.

— Береженого Богъ бережетъ,—повторялъ Качѣвъ, сдавая.—Вы, Константинъ Глѣбычъ, очень ужъ горячитесь!.. Снесли не такъ.

— У васъ, поди, учиться надо?

— А хоть бы и у насъ!..

Постъ порядочной игры Лещову, что ни сдача—семерки и осьмерки. Качѣвъ выигралъ короля. Въ счетъ большой раскричался, началъ самъ считать—они играли по одной восьмой—сбился и страшно раскашлялся.

— Не довольно ли?—замѣтила Лещова.

— Не твое дѣло!—оборвалъ онъ ее.

Она хотѣла уйти.



— Сиди тутъ! Сиди!

Какъ суетѣрный игрокъ, онъ имѣлъ свои примѣты.

Послѣ третьей сдачи карты опять потянули къ противнику.

— Что ты тутъ торчишь?.. Стунай! Сидь на другое мѣсто!..

Лещовъ началъ рукой толкать жену. Она отошла къ окну и взяла работу.

Третьяго короля не доиграли. Послѣ новаго взрыва игрецкаго раздраженія, съ Лещовымъ сдѣлался такой припадокъ одышки, что и адвокатъ растерялся. Поскакали за докторомъ; больного посадили въ кресло, въ постели онъ не могъ оставаться. Съ помертвѣлой головой и зактившимися глазами, стоналъ онъ и качался взадъ и впередъ туловищемъ. Его держали жена и лакей.

„Не подпишетъ духовной, — думалъ Качевъ, надѣвая перчатки въ передней, — подкузьмила его водяная... Что жъ! Аделаида Петровна дама въ соку. Только глупенька! А то, кто ее знаетъ, окажется, пожалуй, такой стервовой. Коли у него прямыхъ наслѣдниковъ не объявится, а завѣщанія нѣтъ, въ семи стахъ тысячахъ будетъ, даже больше“.

Онъ самъ затворилъ дверь въ передней. Лакей былъ занятъ съ баринкомъ. „Папутствіе“ Лещова пришло ему на память.

„Нашелъ время каяться“, — разсмѣялся онъ про себя и, выйдя на крыльцо, зычно крикнулъ кучеру-лихачу:

— Перфиль! давай!

XIX.

Марья Орестовна Нѣтова позвонила. Въ ея будуарѣ были звонки электрическіе, а не воздушные; она нашла ихъ „болѣе благородными“. Она только что взяла ванну и отдыхала на длинномъ, атласномъ, стеганомъ стулѣ, съ ногами. Вся комната обтянута голубымъ атласомъ въ бѣлыхъ лѣпныхъ рамкахъ. Такой же и плафонъ. Точно бонбоньерка, вывернутая нутромъ. Туалетъ, большое трюмо, шкапъ, шифоньера — бѣлая подъ лакъ, съ позолотой, кружевные гардины, гарнитуры и буффы — дѣлаютъ комнату нѣжной и дымчатой. Но погода впускала въ это утро двойственный, грязноватый свѣтъ.

На Нѣтовой капотъ изъ пестрой шелковой матеріи — мелкими турецкими цвѣточками, на головѣ легкая на-

болка, ноги—она вытянула ихъ такъ, что видны и шелковые чулки съ шитьемъ—въ золотыхъ туфляхъ. Марья Орестовна блондинка, но не очень яркая: волосы у ней свѣтло-каштановые. Всего красивѣе въ ея головѣ: лобъ, форма черепа, проборъ волосъ и то, какъ она носить косу. Ей за тридцать. На видъ она моложе. Но на переносицѣ то и дѣло ложатся рѣзкія, прямые морщины. Носъ у ней большой, сухой, съ горбиной, узкими и длинными ноздрями, губы зато яркія, но не чистыя, со складками, и неправильные, рѣдкіе, хотя и бѣлые зубы. Она смотритъ часто въ одну точку своими карими, узкими и немного подслѣповатыми глазами. Ея не роскошная грудь сохранила пріятныя очертанія, плечи круглыя, невысокія, нѣсколько откинуты назадъ. Она часто пожимаетъ ими на особый ладъ и при этомъ поворачиваетъ вбокъ голову. Если бы она встала, то оказалась бы ростомъ выше среднего. Руки ея—съ длинными, почти высохшими пальцами, такъ что кольца на нихъ болтаются. Сквозь духи и пудру идетъ отъ нея какой-то лѣкарственный запахъ.

Она допила чашку какао. Она это дѣлала по предписанію доктора и всегда съ гримасой.

Вошла ея первая камеристка, изъ ревельскихъ пѣмоекъ, Берта, крѣпкая, низкорослая дѣвушка, въ стромъ степенномъ платьѣ, и вся въ веснушкахъ.

— Позовите мнѣ экономку, а послѣ—дворецкаго.

Домъ управлялся Марьей Орестовной. Люди у ней ходили въ струнѣ. У Евлампія Григорьевича и не найдется даже такихъ звуковъ, какъ у его супруги, для отдачи приказаній. Она говоритъ иногда въ носъ, чуть замѣтно,—уже совсѣмъ съ барской нервностью и вибраціей.

Экономка—дворянка, женщина лѣтъ за пятьдесятъ, въ черной тюлевой наколкѣ и шелковомъ канотѣ, съ пелеринкой пюсового цвѣта, еще не сѣдая, съ важнымъ выраженіемъ—остановилась въ дверяхъ. При себѣ Пѣтова никогда не посадила бы ее, хотя экономка была званіемъ капитанша и училась въ „патріотическомъ“, какъ дочь офицера, убитаго въ кампанію; а пансенька Марьи Орестовны умеръ только „потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ“.

— Пожалуйста, Глафира Лукинична, — закартавила Марья Орестовна и наморщила лобъ,—больше мнѣ этого какао не дѣлать... Я прекращаю съ завтрашняго дня...



— Что же будете кушать?—спросила экономка низкимъ груднымъ голосомъ.

— Пока чай... И вотъ еще я васъ должна предупредить, Глафира Лукинична, что мнѣ лично... вы, быть-можетъ, и не понадобится больше.

— Какъ жес-съ?

— Если я уѣду за границу... у Евлампія Григорьевича пріему не будетъ такого.

— Но, все-таки...—возразила экономка.

— Доложите ему... Пожелаетъ онъ...

— Вамъ стоить сказать.

Глаза экономки добавили остальное.

Марья Орестовна нахмурилась.

— Просить я не стану... Вы, во всякомъ случаѣ, получите отъ меня содержаніе... за... три мѣсяца... И прошу сдать тогда все, что у васъ на рукахъ, —дворецкому.

Экономка что-то хотѣла возразить, но Марья Орестовна сдѣлала знакъ лѣвой рукой и прибавила:

— Постѣ.

XX.

По уходѣ экономки, Марья Орестовна переложила лѣвую ногу на правую, поправила кружево на груди и поглядѣла въ окно.

Глаза у нея горѣли. Она всю почти ночь не спала. Съ ней это часто бываетъ. Какой-то недугъ подкрадывался къ ней, хотя она ни на что не жалуется. Докторъ къ ней ѣздитъ, иногда и прописываетъ ей: вотъ какао посоветовать пить по утрамъ. Но она ничѣмъ не больна. Первы? Да. Но отчего?

Она не сомкнула глазъ до разсвѣта—думы не позволяли. Не легко убѣждаться окончательно, что она не можетъ продолжать такъ жить — подъ одной крышей съ своимъ Евлампіемъ Григорьевичемъ... Еще недавно могла, а теперь не можетъ. Свыше ся силъ! Тянула она его—тянула въ гору, и вдругъ—тошно!

Она еще разъ позвонила и приказала позвать себѣ дворецкаго.

У ней былъ настоящій *maitre-d'hôtel*, обрусѣлый альзасецъ, Огюстъ, полный блондинъ, въ кудряхъ на круглой головѣ, и съ легкимъ нѣмецкимъ акцентомъ. Онъ служилъ когда-то контръ-метромъ въ ресторанѣ Ворея.

Съ нимъ она говорила по-французски.

Онъ получилъ то же предувѣдомленіе, что и экономка, смутился этимъ больше, но утѣшился, когда услышалъ, что „monsieur Niétoff“, вѣроятно, оставитъ его у себя, даже если барыня и уѣдетъ за границу.

За границу!.. Много разъ она бывала тамъ—сначала съ удовольствіемъ, а потомъ равнодушно, частенько со скукой. Теперь „заграница“ манитъ ее... Она уже видитъ себя въ Позиллипѣ, или въ Ниццѣ на зиму, а на лѣто въ Шилѣ, въ Дьепѣ, на островѣ Уайтѣ, осенью во Флоренціи. Тогда только она и будетъ жить, какъ она всегда мечтала. Одна, съ *dame de compagnie*, изъ умныхъ, пожилыхъ парижанокъ. Развѣ трудно имѣть салонъ? Она и теперь можетъ называться „madame de Niétoff“; а къ тому времени ея „благовѣрному“ дадутъ генеральскій чинъ. И онъ не будетъ припиленъ къ ней, какъ бывало. Никогда! До конца дней ея!..

Марья Орестовна встала. Въ ногахъ она почувствовала большую слабость, точно ихъ кто искалѣчилъ. И такъ губить свое здоровье? Изъ-за кого?

Она перешла въ свой кабинетъ, комнату строгаго стиля, съ темно-фіолетовымъ штофомъ въ черныхъ рамахъ, съ бронзой Louis XVI. Шкапъ съ книгами и письменный столъ — также чернаго дерева. Картины она не любила и стѣны стояли голыми. Только на одной висѣло богатѣйшее венеціанское рѣзное зеркало. Въ этой комнатѣ сидѣли у Марьи Орестовны ея близкіе знакомые—мужчины; послѣ обѣда сюда подавались ликеры и кофе съ сигарами. Евлѣмпія Григорьевича рѣдко приглашали сюда.

Въ просвѣтѣ тяжелой двойной портьеры открывался видъ на два салона и танцевальную залу. Разноцвѣтные сплошные ковры пестрѣли, уходилъ въ даль, до порога залы, гдѣ налощенный паркетъ желѣлъ нѣжными колерами штучнаго пола. Всѣ эти хоромы, еще такъ недавно тѣшившія Марью Орестовну своимъ строгимъ, почти царственнымъ блескомъ, раздражали ее въ это утро, напоминали только, что она не въ своемъ домѣ, что эти ковры, гоблены, штофы, бронзы украшаютъ домъ коммерціи соискателя Нѣтова. Не можетъ же она сказать ему:

— Пошелъ вонъ!..

Какъ онъ ни дрессированъ, но у него достанетъ духу сказать:

— Нѣтъ, не желаю-съ.

Ну, и довольно... Но у ней нѣтъ ничего своего!.. Ни-



чего! Или такъ, пустяки, экономія отъ туалета, отъ расходовъ... Какъ же могла она, въ десять лѣтъ, постоянно работая умомъ и волей, очутиться въ такомъ положеніи?

Нынѣшняя ночь припомнила ей—какъ...

Нѣтова присѣла къ письменному столу, раскрыла серебряный новый бюваръ, взяла листъ продолговатой цвѣтной бумаги, съ монограммой во всю высоту листка, написала записку, позвонила два раза и отдала вошедшему официанту, сказавъ ему:

— Послать сейчасъ выѣздного. Принимать съ трехъ. Если господинъ Палтусовъ будетъ раньше—принять.

XXI.

„Обѣдъ-то вѣдь не заказанъ“,—подумала Марья Орестовна и позвонила. Она не ждала сегодня званныхъ гостей. Палтусовъ, вѣроятно, останется. Еще, быть-можетъ, двое-трое. Но кто-нибудь да долженъ сидѣть. Не можетъ она, да еще сегодня, оставаться съ-глазу-на-глазъ съ Евлампіемъ Григорьевичемъ.

Заказываніе обѣда дѣлалось у ней черезъ экономку. Почти всегда Марья Орестовна входитъ въ подробности. Но на этотъ разъ она сказала появившейся въ дверяхъ Глафирѣ Лукиничнѣ:

— Обѣдъ на пять персонъ... Закуску, какъ всегда...

На письменномъ столѣ лежали газеты, московскія и петербургскія, книжка журнала подъ бандеролью, толстый продолговатый пакетъ съ иностранными марками и большого формата письмо, на синей бумагѣ, тоже заграничное.

Газеты и журналъ Марья Орестовна отложила. Въ пакетѣ оказались образчики матерій отъ Ворта. Она небрежно пересмотрѣла ихъ. Осеннія и зимнія матеріи. Теперь ей не нужно. Сама поѣдетъ и закажетъ. Въ эту минуту ей и одѣваться-то не хочется. Много денегъ ушло на туалеты. Каждый годъ слали ей изъ Парижа, сама ѣздила покупать и заказывать. А много ли это тѣшило ее? Для кого это дѣлалось?..

Въ синемъ конвертѣ съ французскими марками оказалась фактура башмачника—ея поставщика. Въ Москвѣ она никогда не заказывала себѣ обуви. Марья Орестовна погладѣла на итогъ—271 франкъ, и отложила счетъ.

Надо же ей посмотреть, сколько накопилось у ней добра въ гардеробной. Неужели все везти съ собою?

Черезъ пять минутъ она входила вслѣдъ за Бертой

въ обширную и высокую комнату, обставленную ясеновыми шкафами, между которыми помѣщались полки, выкрашенные бѣлой масляной краской, покрыты картонками всякихъ размѣровъ и формъ, синими, бѣлыми, красными. Въ гардеробной стоялъ чистый, свѣжій воздухъ и пахло слегка мускусомъ. У оконъ, справа отъ входа, на особыхъ подставкахъ, развѣшаны были пеньюары и юбки и имѣлось приспособленіе для глаженія мелкихъ вещей. Все дышало большимъ порядкомъ.

— Отоприте,—приказала Бертъ Марья Орестовна указывая ей на первый шкафъ по лѣвую руку.

Въ этомъ шкапу висѣли зимнія платья, укутанныя въ простыни, тяжелыя, расшитыя шелками, серебромъ, золотомъ, съ кружевными отдѣлками. Нѣкоторыя не надѣвались уже болѣе года. Половину этого надо будетъ оставить. Въ слѣдующемъ шкафѣ помѣщались мантильи, накидки, разныя *confections de fantaisie*. Многое уже вышло изъ моды. Но у Марьи Орестовны нѣтъ привычки дарить. А продавать тоже не можетъ. Изъ этого шкапа она выберетъ двѣ-три вещи. Осенніе простые туалеты она возьметъ на дорогу и для ненастныхъ дней въ Ниццѣ, или гдѣ проживетъ зиму; у Ворта закажетъ четыре платья,—не больше.

„Закажетъ!.. Будетъ ли ей по средствамъ? Нынче каждое простое платье стѣитъ у него тысячу франковъ и больше“.

Такъ обревизованъ былъ весь гардеробъ. Одно платье и кофточку она подарила камеристкѣ. Берта густо покрасѣла и сдѣлала книксенъ, подогнувъ правую ногу подъ лѣвую.

Осмотръ гардеробной утомилъ Марью Орестовну. Она вернулась въ кабинетъ и взялась за газеты. Прежде всего за одну, мелкую, московскую, гдѣ за два дня „отдѣлывали“ ея мужа и его дядю. И сегодня, вѣроятно, что-нибудь новое. Съ той статейки и начался въ ней переломъ. Езъ уязвило не оскорбленіе мужу, а то, что она—жена его. Въ тотъ день она читала ему какъ слѣдуетъ, дала приказъ какъ поступить, къ кому ѣхать, что говорить. Ее это раздражило, вызвало желчъ, помогло обдумать цѣлый планъ дѣйствій. А вчера вся эта пошлость припомнилась ей и, какъ послѣдняя капля, заставила разлиться чашу ея душевнаго недуга.

Стояло почти десять лѣтъ работать надъ такимъ чело-

вѣкомъ, какъ ея супругъ. Добьется она того, что ему будутъ писать на пакетахъ: „Его превосходительству“... А потому? Она-то сама, ея-то личная жизнь при чемъ тутъ? Терпѣть, чтобы тебя, въ грошовой газетѣ, всякій пасквилянтъ, получающій по три копейки со строки, срамилъ изъ-за ничтожества твоего Евлампія Григорьевича, чтобы надъ твоимъ „ученичкомъ“ издѣвались, какъ надъ идиотомъ, и тебя показывали въ „натуральномъ видѣ“—такъ и стояло въ фельетонѣ—со всѣми твоими тайными желаніями, замыслами, внутренней работой, заботами о своей „интеллигенціи“, умѣ, связяхъ, артистическихъ, ученыхъ и литературныхъ знакомствахъ?

„Дворянящаяся мѣщанка“—вотъ твоя кличка!..

XXII.

Московская газетка нервно встряхивалась въ рукахъ Марьи Орестовны. Она читала съ лорнетомъ, но ринсе-пез не посила. Вотъ фельетонъ—„обзоръ журналовъ“. Въ отдѣлѣ городскихъ вѣстей и замѣтокъ она пробѣжала одну, двѣ, три красныхъ строки. Что это такое?.. Опять она!.. И ужъ безъ супруга, а въ единственномъ числѣ, какая гадость!.. Нелѣпая, пошлая выдумка!.. Но ее всѣ узнають... Даже вотъ что!.. Грязный намекъ... Этого еще недоставало!..

Лицо Нѣтовой разомъ поблѣднѣло. Во рту у ней тотчасъ же явился горькій вкусъ. Она бросила газету на столъ и начала ходить по кабинету.

Какъ ни бодрись, какъ ни ставь себя на пьедесталъ, по вѣдъ нельзя же выносить такихъ мерзостей! А развѣ за нее онъ способенъ отплатить? Да онъ первый струсить. Дѣла не начнетъ съ редакціей. А если бы началъ, такъ еще хуже осрамится!.. Стрѣляться, что ли, станетъ? Ха-ха! Евлампій-то Григорьевичъ? Да она ничего такого и не хочетъ: ни исторіи, ни суда, ни дуэли. Вонъ отсюда, чтобы ничего не напоминало ей объ этомъ „сидѣльцѣ“ съ мелкой душонкой, пищелской, тщеславной, безсильной даже на зло!

Выдумать грязную слетню на нее, какъ на жену и женщину? На нее! Стоило десять лѣтъ быть вѣрной Евлампію Григорьевичу! Да, вѣрной, когда она могла пользоваться всѣмъ... и здѣсь, и въ Петербургѣ, и за границей. Ей вотъ тридцать второй годъ пошелъ. Сколько блестящихъ мужчинъ склоняли ее на любовь. Она всегда

умѣла нравиться, да и теперь умѣетъ. Кто умѣе ея здѣсь, въ Москвѣ? Знаетъ она этихъ всѣхъ дамъ стараго, дворянскаго общества. Гдѣ же имъ до нея? Чему онѣ учились, что понимаютъ?..

И тутъ ей представились фигура и лицо мужа, съ приторной улыбочкой, глупо-хмурыми бровями и бородкой молодца изъ Ножовой линіи, съ его „изволите видѣть“ и „сдѣлайте ваше одолженіе“, съ его влюбленнымъ лакействомъ. Онъ влюбленъ! Онъ питаетъ затаенную страсть!.. Онъ смѣетъ!.. Проявлять эту страсть она ему никогда не позволяла. Но вѣдь онъ все-таки мужъ... П было время въ первые годы, когда они еще не жили въ разныхъ концахъ дома!..

Желчь еще не уходилась. Въ головѣ цѣлый муравейникъ злобныхъ мыслей такъ и кишѣлъ.

Въ дверяхъ показался офиціантъ съ небольшимъ серебрянымъ подносомъ. Онъ намѣренно кашлянулъ.

— Что?—почти съ испугомъ крикнула Марья Орестовна и тотчасъ же оправилась.

— Дешеша-съ. Прикажете расписаться?

— Я говорила, чтобы швейцаръ расписывался... даже когда я и Евлампій Григорьевичъ дома.

Лакей нырнулъ въ портьеру, вынувъ изъ пакета листокъ свитанціи.

„Отъ Палтусова“,—подумала Марья Орестовна и пошла читать депешу къ окну.

Но депеша была не городская, а изъ Петербурга.

Вотъ это новость! Она рассчитывала на брата, служащаго за границей, думала вызвать его въ Парижъ; а онъ въ Петербургѣ, экспромптомъ по дѣламъ службы, и будетъ черезъ три дня въ Москву.

Все неудачи!.. А, можетъ, и лучше. Свой человекъ. Теперь это придется кстати. Легче будетъ. Онъ могъ бы сослужить ей хорошую службу, но не очень-то она надѣется на его умственные способности... Братъ Коля... Онъ ея же выученикъ. Зато онъ распустилъ хвостъ, какъ павлинъ... можетъ оказаться полезнымъ своимъ французскимъ языкомъ, тономъ, подавляющимъ высокоприличіемъ и сладкой деликатностью. Это такъ...

Уже третій часъ, а она еще не въ туалетѣ... Въ капотъ нельзя принимать, хоть сегодня у ней вокругъ талии опухоль; трудно будетъ затянуть корсетъ. Надо надѣть простую ceinture и платье полегче.



Она вернулась въ будуаръ и хотѣла позвонить. Но рука ея, протянутая къ пуговкѣ электрическаго звонка, опустилась. Лицо все перекосило, прямыя морщины на переносицѣ такъ и врѣзались между бровями, глаза гнѣвно и презрительно пустили два луча.

Изъ-за портьеры выглядывала наклоненная голова Евлампія Григорьевича и озиралась.

— Можно войти?

Что за вольность! Никогда онъ не смѣлъ входить до обѣда въ ея будуаръ. Ну, да все равно. Лучше теперь, чѣмъ тянуть.

— Войдите,—сказала она ему сквозь зубы и стала спиной передъ трюмо.

Евлампій Григорьевичъ вошелъ на цыпочкахъ, во фракѣ, какъ ѣздилъ, и съ портфелемъ подъ мышкой.

XXIII.

— Можно?—повторилъ онъ, не переступая порога.

Марья Орестовна ничего не отвѣчала.

Мужъ ея вытянулъ еще длиннѣе шею и вошелъ со-всѣмъ въ будуаръ. Портфель и шляпу положилъ онъ на кресло, около двери, и приблизился къ Марьѣ Орестовнѣ.

— Забѣхалъ на минутку...—началъ онъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— Очень рада,—отвѣтила Марья Орестовна, и тутъ только повернулась къ нему лицомъ.

Евлампій Григорьевичъ быстро вскинулъ на нее глазами и понялъ, что готовится нѣчто чрезвычайное.

— Вы читали сегодняшнія газеты?

Вопросъ свой Марья Орестовна выговорила болѣе въ ность, чѣмъ обыкновенно.

— Нѣтъ еще...

— Возьмите на столѣ... полюбуйтеесь...

Она назвала газету.

— Это успеется,—откликнулся онъ, чую бѣду.

— Прочтите, вамъ говорятъ. Подайте мнѣ сюда.

Когда Марья Орестовна обрывала слова и отчеканивала каждый слогъ, мужъ ея зналъ, что лучше съ самаго начала разговора со всѣмъ согласиться.

Газету онъ взялъ на столѣ въ кабинетѣ и подаль ей. Она нашла статейку и показала ему.

— Извольте прочесть...

— Что же... опять брата Капитона Θεофилактовича дѣло?

— Читайте!

Евламій Григорьевичъ началъ читать. Онъ разбиралъ мелкую печать не очень бойко. Ему про себя надобно всегда прочесть два раза, а писанное и три раза.

— Ну?—нервно окликнула его Марья Орестовна.

Она прилегла на длинный стулъ, гдѣ пила какао.

Волненіе сразу охватило Нѣтова. На лбу показались капли пота. Лицо пошло пятнами, какъ утромъ у Красноперова.

— Канальи!

— Прошу васъ не браниться!—удержала она его.

— Да какъ же-съ, помилуйте,—началъ онъ, задыхаясь и разводя той рукой, гдѣ у него скомкана была газета.— За это...

— Что за это? Къ мировому потянете, да?

— Нѣтъ-съ, не къ мировому... Въ смиренный домъ!..

Въ первый разъ видѣла она у него такую вспышку возмущенія.

— Сядьте, слушайте, Евламій Григорьевичъ,—охладила она его своимъ голосомъ, гдѣ сквозили обычныя, пре-
вѣбрежительныя ноты.—Вотъ до чего я съ вами дожила.

Глаза его разбѣжались, ротъ онъ разинулъ.

— Вы?.. Я-съ?.. Да нешто я виновенъ тутъ?.. Я готовъ за васъ...

— Я васъ не спрашиваю, на что вы готовы. Вчера еще я много думала... Эта газетная гадость только новый предлогъ...

— Капитошка!..

— Пожалуйста, безъ триніальностей! Ваша родня, вы, весь этотъ людъ... я не хочу входить въ разбирательство. Садитесь, говорятъ вамъ. Я не могу говорить, когда вы мечетесь изъ угла въ уголъ.

Евламій Григорьевичъ сѣлъ у ногъ ея. Глаза его все еще сохраняли растерянное выраженіе. Онъ былъ ей жалокъ въ эту минуту, но она на него не смотрѣла; она опустила глаза и прислушивалась къ своему голосу.

— Страдать изъ-за васъ я не намѣрена,—продолжала она, выговаривая отчетливо и не торопясь,—не перебивайте меня!.. Не намѣрена, говорю я. Вы не можете доставить женѣ вашей ни почета, ни уваженія. Я ли не старалась сдѣлать изъ васъ что-нибудь похожее на... на



то, чѣмъ вы должны быть?.. Ничего изъ васъ не сдѣлаешь... Вы не стоите ни заботъ моихъ, ни усилій... Но я еще молода, Евлампій Григорьевичъ, я не хочу нажить съ вами чахотку... Вы скомпрометировали мое здоровье. У меня была желѣзная натура, а теперь я чувствую паденіе силъ... Развѣ вы стоите этого!

— Марья Орестовна... Машенька!..

Слезы готовы были брызнуть изъ глазъ Евлампія Григорьевича.

— Не перебивайте меня!.. Вы понимаете, чтѣ я говорю?

— Понимаю-сь!

— Я жить хочу... Довольно я съ вами возилась... Я рѣшила третьяго дня ѣхать на осень за границу, на югъ... А теперь я и совсѣмъ не хочу возвращаться въ эту Москву.

— Какъ-сь?

Въ горлѣ у него перехватило.

— Очень просто. Не желаю. Вы должны же, наконецъ, понять, что не могу я теперь имѣть приемы, когда мы съ вами сдѣлались притчей всего города.

— Да помилуйте-сь... Марья Орестовна, матушка!

— Дайте мнѣ кончить.

— Мы ихъ въ арестантскую упечемъ!

— Ха-ха!.. Предоставляю это вамъ самимъ... Но меня здѣсь не будетъ. И вы этого сами должны желать, если у васъ есть хоть капля уваженія къ моей личности.

— Уваженія?.. Любовь моя!..

— Не надо мнѣ вашей любви!—гадливо остановила она его и провела ладонью по своему колѣну.—Ваша любовь—тяжелый крестъ для меня!

Онъ замолчалъ. Щеки его потемнѣли, глаза стали мутны.

— Я васъ предупреждаю, Григорій Евлампіевичъ, что я ѣду изъ Москвы. Я не могу выносить этого города, и въ немъ задыхаюсь.

— Какъ вамъ угодно... вѣдь и я... что же въ самомъ дѣлѣ, и я могу освободить себя...

— То-есть, какъ это?—насмѣшливо спросила она.—Желаете за мной послѣдовать? Нѣтъ-сь,—противула она.—Вы можете оставаться... Мнѣ необходимъ отдыхъ, просторъ... Я хочу жить одна...

— До весны, значитъ?

— И весну, и лѣто, и зиму... На это я имѣю полное право. Какъ вы будете здѣсь управляться—ваше дѣло...



И безъ меня все пойдетъ, потомственное дворянство вамъ дадутъ, Станислава 1-й степени, а потомъ и Анну.

— Нешто мнѣ самому?..

— Пожалуйста... вы для этого только и живете.

— Не грѣхъ вамъ?—вырвалось у него.—До сихъ поръ... на васъ молился...

Марья Орестовна опять провела ладонью по своему колену и нижняя губа ея выпятилась.

— Очень хорошо,—перебила она,—мы оставимъ это. Вы знаете теперь мое желаніе—мое требованіе, Евлампій Григорьевичъ. И до сихъ поръ вы не подумали объ одной вещи...

— О какой?—пугливо и скорбно спросилъ онъ.

— О томъ, что ваша жена не можетъ распорядиться пятью копейками.

— Что вы-съ? Христось съ вами!

Онъ вскочилъ и всплеснулъ руками.

— У нея ничего нѣтъ. Вы ей даете, что вамъ угодно, на ея тряпки... Все ваше...

— Помилуйте, Марья Орестовна!

— Но это фактъ. Вы, Евлампій Григорьевичъ, не понимали моей деликатности. Но пора понять ее. Десять лѣтъ прожить!..

И она въ носъ засмѣялась.

— Вотъ что я хотѣла вамъ сказать. Не удерживаю себя. Вамъ пора по дѣламъ. Мои слова—не капризъ, не нервы... Я ѣду черезъ недѣлю. Остальное, вы понимаете—ваша обязанность.

Марья Орестовна закрыла глаза. Все, что душило ея мужа, осталось у него въ груди. Онъ всталъ и бокомъ вышелъ изъ будуара. Онъ боялся, что если у него вырвется какое-нибудь возраженіе, раздадутся истерическіе крики...

Въ будуарѣ все смолкло. Марья Орестовна открыла сначала одинъ глазъ, потомъ другой, повернула голову, оглянулась, встала и позвонила.

Берта принесла ей черное шелковое платье, ея „мундиръ“, какъ она называла.

XXIV.

До кабинета Евлампій Григорьевичъ шелъ чуть не цѣлыхъ пять минутъ.

Ѣдетъ она на зиму, на годъ, навсегда... Ну, можетъ,



смиляется... А то и соскучится?.. Но не въ этомъ главное горе, Что же онъ-то для Марьи Орестовны? Вещь какая-то? Какъ она рукой-то повела два раза по платью... Точно гадину хотѣла стряхнуть... Господи!..

Голова у него закружилась. Онъ былъ уже на галлерей и схватился рукою о карнизъ. Подбѣжалъ ливрейный лакей.

— Воды прикажете?—тревожно спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не нужно,—выговорилъ съ трудомъ Нѣтовъ.

Ему стало стыдно. Люди подумаютъ, что у него съ женой вышла исторія, что его выгнали.

— Вели подать карету,—приказалъ онъ и прошелъ въ кабинетъ.

Тамъ онъ опрыскалъ себѣ голову одеколономъ съ водой, взялъ чистый платокъ и торопливо спустился съ лѣстницы.

Только что дверца кареты захлопнулась и воронье взяли съ мѣста, изъ-за угла, отъ бульвара, показалась пролетка. Евлампій Григорьевичъ узналъ Палтусова и раскланялся съ нимъ.

„Къ намъ“,—подумалъ онъ, и впервые что-то у него ёкнуло въ груди. Онъ не зналъ ревности, не смѣлъ ея знать, да и жена его такъ со всѣми „ровно“ держала себя, что никакого подозрѣнія онъ имѣть не могъ. Ъздили къ нимъ молодые и среднихъ лѣтъ и пожилые мужчины, военные, чиновники, предводители дворянства, писатели, пианисты, художники, профессора, всякіе умные люди... Марья Орестовна только умныхъ и припимаетъ... Этотъ Палтусовъ сталъ недавно ѡбѣдять... Обѣдалъ и запросто. У нихъ многіе такъ обѣдаютъ. Къ нему почтителенъ больше другихъ, обо всемъ солидно толкуетъ съ нимъ, ловко, не стѣснительно. Такого молодого человѣка слѣдовало бы всячески поддерживать. И въ дѣла бы не мѣшало ввести. Съ Марьей Орестовной держится степенно. Развѣ когда одинъ останется... Да что же это онъ спрашиваетъ? Кто онъ для нея? Вещь, самая тошная... Обезпечь ее! Слѣдуетъ... Говорить, что любить, а не догадался въ десять-то лѣтъ положить на ея имя въ банкъ... Проценты бы выросли... Деликатности-то ея не понималъ. Довелъ до того, что она сама должна была сказать: „пятью копейками распорядиться не могу“.

Угрызенія заслонили въ душѣ мужа всѣ другія чувства. Опъ забылъ, куда онъ ѣдетъ, зачѣмъ, что ему надо го-



ворить, чѣмъ распоряжаться?.. Онъ былъ близокъ къ нервному припадку.

Его не жалѣла жена. Берта подавала ей разные части туалета. Марья Орестовна надѣвала манжеты, а губы ея сжимались и мысль бѣгала отъ одного соображенія къ другому. Наконецъ-то она вздохнетъ свободно... Да. Но все пойдетъ прахомъ... Къ чему же было строить эти хоромы, добиваться того, что ея гостиная стала самой умной въ городѣ, зачѣмъ было толкать полуграмотнаго „купеческаго брата“ въ персонажи? Объ этомъ она уже достаточно думала. Надо по другому начать жить. Только для себя...

Черезъ всѣ комнаты дошелъ звонокъ швейцара. Онъ дернулъ два раза—гости.

Это навѣрно Палтусовъ.

— Поскорѣе, Берта, застегивайте,—выговорила Марья Орестовна, озираясь на дверь въ кабинетъ. — Хорошо, я теперь сама... Скажите, чтобъ провели въ кабинетъ.

Берта вышла. Марья Орестовна застегнула сама остальные пуговки. Ихъ было множество—и на груди, и на бокахъ, и на рукавахъ. Она стерла съ лица пудру и поправила голубую косыночку, стигивавшую ей голову надъ косой. Съ лицомъ ей труднѣе было поладить. Оно не расправлялось. Попробовала она улыбнуться — выходило и кисло, и фальшиво. А она не хотѣла этого... Лучше пусть лицо будетъ разстроено.

Палтусовъ — другъ... Остальные не понимаютъ ее, а этотъ скоро понялъ, безъ всякихъ особенныхъ изліяній съ ея стороны.

„Какъ-то онъ одобритъ ея планъ?“

Въ кабинетѣ шаги, смягченные ковромъ, остановились у письменнаго стола.

— Сейчасъ будутъ-съ,—послышался голосъ лакея.

XXV.

Палтусовъ стоялъ лицомъ къ двери въ будуаръ, откуда вышла Марья Орестовна. Онъ одѣлся во все черное. Отъ этого его бѣлокурная голова съ живописной бородой много выигрышала. Ни на чемъ станіи не останавливались такъ глаза Нѣтовой, какъ на его складной фигурѣ въ пре-красно сшитомъ сюртукѣ.

Они улыбулись другъ другу по-пріятельски. Но Палтусова эта женщина не привлекала. Ему не нравились



ни ея черты, ни выраженіе, ни тонъ, ни какъ она одѣвается. Онъ признавалъ ея умъ, выдержку, искусство, съ какимъ эта купчиха вышколила своего „Евлампія Григорьевича“ и завела у себя „салонъ“. Но она его скорѣе раздражала. Никогда онъ не встрѣчался съ такой разсудочной, бессознательно-себялюбивой жепской натурой. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему. По доброй волѣ онъ ни за что бы не взялъ ее въ любовницы. Въ тѣлѣ онъ считалъ ее гораздо рыхлѣе и болѣзненнѣе, скептически относился къ ея бюсту, хотя и видѣлъ на вечерахъ, что плечи у нея красивы. Около нея онъ ни разу, даже оставаясь наединѣ, не испыталъ никакого пріятнаго волненія, не полюбовался искренно ни туалетомъ ея, ни лбомъ, ни изящной линіей головы. Полное равнодушіе чувствовалъ онъ въ тѣ минуты, когда она не производила въ немъ насады своимъ „подстроенымъ“ разговоромъ, худо скрытымъ тщеславіемъ, уничиженіемъ, сухой злоязычностью, которая въ женщинахъ была ему противнѣе всего. Въ его глазахъ она говорила, думала, двигалась „на пружинахъ“.

Но они скоро сошлись. Онъ замѣтилъ, что Нѣтова имъ интересуется. Въ разговорахъ съ нимъ она брала менѣе увѣренный тонъ, спрашивала его совѣта въ разныхъ вопросахъ такта, знанія приличій, даже туалета, узнавала его литературные вкусы, любила обсуждать съ нимъ романъ или новую пьесу, игру актрисы или актера, громкую петербургскую новость, крупный процессъ... Съ ней онъ держалъ себя почтительно, но безъ всякой поправки разнымъ ея „штучкамъ“. Онъ ей на первыхъ же порахъ сказалъ:

— Марья Орестовна, вы ужъ вашего супруга воспитывайте въ византійскихъ традиціяхъ, а меня оставьте. Перебирать это старье мы не будемъ. Для меня московскіе обыватели одинаковы. А что вы хорошо учились дѣвочкой и съ умными господами дворянами бесѣдовали—это при васъ останется.

Она немного подулась, но съ тѣхъ поръ и стала держать себя съ нимъ на пріятельской ногѣ.

Отъ этого она не сдѣлалась для него симпатичнѣе. Но онъ ѣздилъ къ Нѣтовымъ часто, обѣдывалъ запросто, провожалъ ее въ театръ, въ концерты. Его подзадоривало—кромя выполненія программы: расширять свои связи „въ этихъ сферахъ“—какое-то „охотничье“ чувство... Точно



онъ ждалъ: до чего у него дойдетъ дѣло съ этой „злючкой“, на какую степень самообмана способна будетъ она въ сношеніяхъ съ нимъ, что, наконецъ, выйдетъ изъ ихъ знакомства. Уваженія, настоящаго, честнаго, послѣдовательнаго, у него вообще не было ни къ кому изъ „обывателей“, какъ онъ называлъ всѣхъ этихъ *новыхъ* московскихъ буржуа. Онъ не считалъ себя обязаннымъ передъ ними къ совѣстливости человѣка, живущаго въ обществѣ равныхъ себѣ людей. Онъ смотрѣлъ на себя, какъ на „пюпера“, на одного изъ предприимчивыхъ выходцевъ, отправляющихся въ Калифорнію или на американскій „Дальній Западъ“.

Марья Орестовна скоро и близко подошла къ Палтусову съ протянутой рукой.

Прикосновенія этой руки онъ тоже не любилъ. Рука была высохшая, но влажная, болѣе чѣмъ нужно, и на ея пожатіе онъ отвѣчалъ всегда довольно сильно, по по прищипкѣ или чтобы заглушить брезгливое ощущеніе.

— Васъ застала моя записка? Благодарю. Вы у насъ останетесь обѣдать... да? Садитесь...

Палтусовъ видѣлъ, что тонъ ея былъ гораздо нервнѣе обыкновеннаго. Онъ тихо улыбался, идя за хозяйкой къ низкому дивану, около камина, скрытому на половину развѣсистыми листьями пальмы.

— Былъ дома,—спокойно говорилъ онъ,—дѣла все по-прежнему... останусь у васъ обѣдать...

Онъ взглянулъ на ея платье и спросилъ:

— Сколько пуговокъ?

— Не знаю!

— Слѣдовало бы сосчитать.

— Ахъ, Андрей Дмитриевичъ, полноте... вы мой юрисконсультъ.

— Вотъ какъ!

— Да... сегодня я прошу васъ настроить себя по-серьезнѣе.

На диванчикѣ могли уѣсться двое. Половина ея шлейфа покрывала его ноги.

XXVI.

Въ немногихъ словахъ, дѣльно и ѣдко высказала Марья Орестовна свою „претензію“. Она не скрывала постоянного пренебрежительнаго отношенія къ Евламію Григорьевичу. Не желаетъ она дольше работать надъ его



ни ея черты, ни выраженіе, ни тонъ, ни какъ она одѣвается. Онъ признавалъ ея умъ, выдержку, искусство, съ какимъ эта купчиха вышколила своего „Евлампія Григорьевича“ и завела у себя „салонъ“. Но она его скорѣе раздражала. Никогда онъ не встрѣчался съ такой разсудочной, бессознательно-себялюбивой жепской натурой. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему. По доброй волѣ онъ ни за что бы не взялъ ее въ любовницы. Въ тѣлѣ онъ считалъ ее гораздо рыхлѣе и болѣзненнѣе, скептически относился къ ея бюсту, хотя и видѣлъ на вечерахъ, что плечи у нея красивы. Около нея онъ ни разу, даже оставаясь наединѣ, не испыталъ никакого пріятнаго волненія, не полюбовался искренно ни туалетомъ ся, ни лбомъ, ни изящной линіей головы. Полное равнодушіе чувствовалъ онъ въ тѣ минуты, когда она не производила въ немъ насады своимъ „подстроенымъ“ разговоромъ, худо скрытымъ тщеславіемъ, умничаньемъ, сухой злоязычностью, которая въ женщинахъ была ему противнѣе всего. Въ его глазахъ она говорила, думала, двигалась „на дружинахъ“.

Но они скоро сошлись. Онъ замѣтилъ, что Нѣтова имъ интересуется. Въ разговорахъ съ нимъ она брала менѣе увѣренный тонъ, спрашивала его совѣта въ разныхъ вопросахъ такта, знанія приличій, даже туалета, узнавала его литературные вкусы, любила обсуждать съ нимъ романъ или новую пьесу, игру актрисы или актера, громкую петербургскую новость, крупный процессъ... Съ ней онъ держалъ себя почтительно, но безъ всякой поправки разнымъ ся „штучкамъ“. Онъ ей на первыхъ же порахъ сказалъ:

— Марья Орестовна, вы ужъ вашего супруга воспитывайте въ византійскихъ традиціяхъ, а меня оставьте. Перебирать это старье мы не будемъ. Для меня московскіе обыватели одинаковы. А что вы хорошо учились дѣвочкой и съ умными господами дворянами бесѣдовали—это при васъ останется.

Она немного подулась, но съ тѣхъ поръ и стала держать себя съ нимъ на пріятельской ногѣ.

Отъ этого она не сдѣлалась для него симпатичнѣе. Но онъ ѣздилъ къ Нѣтовымъ часто, обѣдывалъ запросто, провожалъ ее въ театръ, въ концерты. Его подзадоривало—кромя выполненія программы: расширять свои связи „въ этихъ сферахъ“—какое-то „охотничье“ чувство... Точно

— Отчего же?

Глаза ея поглядѣли на Палтусова обидчиво.

— Для васъ будетъ слишкомъ ужъ накладно.

И онъ прибавилъ серьезнымъ тономъ:

— Право, Марья Орестовна, невыгодно... Живите въ уиѣ. А то проиграете.

— Мы это увидимъ позднѣе,—отвѣтила Нѣтова съ усмѣшкой.—Во всякомъ случаѣ, вотъ какъ стоитъ дѣло.

— Дѣло,—повторилъ Палтусовъ ея выраженіе,—пока въ вашихъ рукахъ... Но не переступите за градусъ.

— Что вы хотите сказать?

— Ваша матеріальная самостоятельность стоитъ на первомъ планѣ. Преклоняюсь передъ вашей деликатностью и понимаю ее вполне. Вы не хотѣли заикаться объ этомъ передъ мужемъ. Вы ждали.

— Даже и не ждала. Просто не думала. Вы, конечно, не повѣрите.

— Почему же?

— Потому что вы считаете меня эгоисткой, интриганткой... Но я горда прежде всего. Я стояла выше этого.

— Евлампій Григорьевичъ,—перебилъ ее Палтусовъ,—конечно обезпечилъ уже васъ... на случай смерти.

— Я и этого не знаю. И никогда не справлялась.

Палтусовъ посмотрѣлъ на нее вбокъ. Она не лгала.

— Сложная вы душа,—выговорилъ онъ,—а все-таки мой совѣтъ вамъ: обезпечить себя, но съ мужемъ не разрывать.

— Носить дѣпи, продавать себя, быть въ необходимости отвѣчать на его письма или рисковать, что онъ явится къ свѣтлому празднику ко мнѣ въ гости? Не хочу!

— Та-та-та! Вотъ женщины-то! Даже и умницы, какъ вы, хромають логикой.

— Знаю, знаю... Сейчасъ будетъ Пигасовъ изъ „Рудина“ и его стеариновая свѣчка.

— Обойдемся и безъ Пигасова. Разсудите... Вы разводиться не желаете?

— Нѣтъ.

— Просто уѣзжаете за границу, на неопредѣленное время? Прекрасно... Затѣмъ человека, страстно въ васъ влюбленнаго, бить обухомъ по головѣ, объявлять ему, что онъ... для васъ не существуетъ? Не хотите его видѣть, всегда есть на это средства. Денежной зависимости и безъ

того не будетъ... Сколько я васъ понимаю, вы требуете обезпеченія сразу.

— Да.

— Тѣмъ паче.

Она задумалась и черезъ минуту сказала:

— Вы, быть-можетъ, правы.

XXVII.

Разговоръ наладился. Но ему захотѣлось продолжить „игру“.

— Отчего же такъ это вдругъ, Марья Орестовна? Это на васъ не похоже.

Она начала говорить, какъ ей всегда была противна эта грязная, вонючая Москва, гдѣ нельзя дышать, гдѣ нѣтъ ни простора, ни воздуха, ни общества, ни тротуаровъ, ни искусства, ни умныхъ людей, гдѣ не „стоить“ что-нибудь заводить, къ чему-нибудь стремиться, вести какую-нибудь борьбу.

И потомъ... эти пасквили.

Палтусовъ выслушалъ и поглядѣлъ на Марью Орестовну исподлобья.

— Ага! Неужели они дали толчокъ?

— И да, и нѣтъ,—отвѣтила Нѣтова.

— Стоить!

— Очень стоитъ!—рѣзко повторила Марья Орестовна.— Съ такимъ человѣкомъ, какъ Евлампій Григорьевичъ, я никогда не буду избавлена отъ подобныхъ пріятностей.

Ему были извѣстны статейки московской газеты. Онѣ пришлось кстати, доложили лишнюю щепоть.

Съ этой темы они перевели разговоръ на болѣе пріятныя картины заграничной жизни.

— Что вы любите больше всего? Парижъ, Италію?

— Ничего особенно. Я глупо ѣздила... Всегда являлся Евлампій Григорьевичъ. Теперь я по-другому распоряжусь... и...

— Ахъ, знаете что, Марья Орестовна,—перебилъ Палтусовъ,—вамъ нигдѣ не будетъ такъ хорошо, какъ здѣсь.

— Не можетъ этого быть.

— Повѣрьте! Надо во что-нибудь вдаться, иначе вы умрете отъ пустоты.

— Найду дѣло!

— Такого, чтобы поглотило васъ — нѣтъ, не найдете! Вы здѣсь—центръ.



— Чего это?—съ гримасой спросила она.

— Своего мірка. И этотъ мірокъ создали вы... Куда вы ни бросите взглядъ, все это дѣло вашихъ рукъ. Вы выбирали, вы приказывали, вы сортировали и обои, и мебель, и людей, и отношенія къ нимъ. Шутка!

— Для себя не жила! И все это мелко.

— Не стану спорить... А люди? Ихъ надо найти!

— Меня не забудутъ и старые друзья...—вырвалось у нея.

„Поиграю немножко“,—мелькнуло опять въ головѣ Палтусова.

— Друзья-то не забудутъ. Впрочемъ, не трудно и новыхъ завести. Много по Европѣ бродить охотчаго народа.

— Что это вы, Андрей Дмитріевичъ,—недовольно зашѣтила она. — Я съ дрянью никогда не зналась. Вы бы лучше пообщались мнѣ навѣстить меня.

— А вы когда собираетесь?

— Скоро.

— Въ началѣ нашего сезона? Такъ-то вы заботитесь объ интересахъ вашихъ друзей.

— Кого же?

— Да вотъ хоть бы меня.

— Вамъ отъ моего отъѣзда, я вижу, ни тепло, ни холодно.

— Ошибаетесь!—горячо возразилъ онъ, и только на этотъ разъ искренно.

— Врядъ ли.

— Ошибаетесь, говорю вамъ. Вашъ домъ былъ для меня самый, какъ бы это сказать... позвольте... безъ сентиментальности?

— Говорите пожалуйста.

— Самый выгодный.

— Вотъ какъ!

— Вы не обижайтесь... Самый выгодный. Здѣсь я встрѣчалъ разныхъ людей, нужный для меня. Вашъ супругъ безъ васъ совсѣмъ будетъ не то, что онъ былъ при васъ. Вы умѣли сдѣлать пріятными и вечеръ, и обѣдъ,—тутъ онъ ужъ началъ привирать, — вашъ домъ избавлялъ отъ необходимости дѣлать визиты, рыскать по городу, разглагольствовать.

— Вы говорите точно тайный агентъ.

— Ха-ха-ха! Да, я отчасти такой именно агентъ. А недавно сдѣлался и настоящимъ дѣловымъ агентомъ.



— Гдѣ, у кого?

— Оставимъ это въ тайнѣ. Вы видите, вашъ отъѣздъ мнѣ не выгоденъ.

— А я сама?

Вопросъ выговоренъ былъ гораздо искреннѣе, чѣмъ Палтусовъ ожидалъ. Онъ засталъ его врасплохъ.

— Вы?

— Да, я?

Ея каріе глаза, прищурясь, глядѣли на него.

— И вы также.

— Выгодна?

— Очень.

Она отодвинулась.

— Андрей Дмитріевичъ... Зачѣмъ у васъ этотъ тонъ?.. Я заслуживаю другого.

— Я только откровененъ. И что же тутъ обиднаго для молодой женщины?

— Выгодно!..

— Полноте, Марья Орестовна... Вы не сентиментальный человѣкъ.

— Вы не знаете, — живо перебила она, — какой я человѣкъ. До сихъ поръ я не жила... Я уже говорила вамъ.

Онъ сумѣлъ остановить разговоръ на этомъ спускѣ. Дальше онъ не хотѣлъ раздражать ее — не стоило. Безъ всякой задней мысли спросилъ онъ ее:

— Кто же будетъ представлять здѣсь ваши интересы?

— Денежные?

— Да.

— Надо сначала обезпечить ихъ, Андрей Дмитріевичъ.

— Это сдѣлается. Только не натягивайте супружеской струны. Вы играли на Евлампіи Григорьевичѣ, какъ на послушномъ инструментѣ, но вы мало наблюдали за нимъ.

— Мало!

— Недостаточно. Съ такими натурами нужна особая сноровка... Въ немъ вообще что-то происходитъ, съ нѣкотораго времени.

Она презрительно повела губами.

— Увѣряю васъ, я говорю совершенно серьезно.

— Пускай его проживаетъ здѣсь, какъ знаетъ... Вы спрашиваете, кто будетъ здѣсь представитель моихъ интересовъ? Вотъ случай чаще видѣть васъ.

— Меня? Выбираете меня своимъ *chargé d'affaires*? Для того, чтобы супругъ имѣлъ подозрѣнія?..



— Мнѣ все равно и теперь, а тогда и подавно.

Она встала и прошла по комнатѣ.

Раздался звонъ швейцара. Одинъ ударъ—пріѣздъ са-
мого Евлампія Григорьевича.

— Супругъ и повелитель?—спросилъ Палтусовъ.

— Какъ это хорошо, что вы сегодня у насъ обѣдаете,—
съ удареніемъ выговорила Нѣтова.

XXVIII.

Внизу, въ сѣняхъ, Евлампій Григорьевичъ закричалъ на швейцара, зачѣмъ онъ не выбѣжалъ вынимать его изъ кареты.

Этотъ окрикъ изумилъ гусарскаго вахмистра. Никогда баринъ не дѣлалъ ему и простыхъ замѣчаній, а тутъ раз-
гнѣвался попусту.

— Осмѣлюсь доложить,—оправдывался онъ,—кареты я не разслыхалъ-съ. Стѣны толстыя, притомъ же окна за-
мазаны.

— Нечего!—сердито обрѣзалъ его Нѣтовъ.

Сѣни и лѣстницу онъ оглядѣлъ съ нахмуренными бро-
вами, чего опять съ нимъ никогда не было.

— Кто?—спросилъ онъ швейцара.—Кто гость?

— Господинъ Палтусовъ сидитъ у Марьи Орестовны.

Нѣтовъ началъ подниматься медленно, нетвердой по-
ходкой. Его испугало и раздосадовало то, что часъ передъ
тѣмъ съ нимъ вдругъ ни съ того, ни съ сего сдѣлался
обморокъ. Теперь онъ знаетъ, съ чего — разговоръ съ
Марьей Орестовной. Но для его „званія“ совсѣмъ не-
ужѣстно падать въ обморокъ. И ничего онъ тамъ не слы-
шалъ въ засѣданіи комитета, гдѣ онъ почетный предсѣ-
датель, все путалъ, забывалъ, какъ зовутъ членовъ. Два
раза онъ такъ подписалъ свое имя подъ исходящими бу-
магами, что дѣлопроизводитель долженъ былъ показать
ему. На одной стояло, вмѣсто „коммерціи совѣтникъ“ —
„коммерціи сотникъ“, а на другой имя Евлампій напи-
сано было безъ среднихъ буквъ. Ему стало обидно... Не-
ужели же онъ такъ ужъ и не можетъ стряхнуть съ себя
гнета своей супруги?.. Ну, скучно ей, пройдетъ... Какъ
же ей не любить его? Только не желаетъ показать этого...
Нельзя не любить...

Прежде Евлампій Григорьевичъ не замѣчалъ тяжести
въ ногахъ, когда поднимался по лѣстницѣ. А тутъ, на



верхней площадкѣ долженъ былъ отдышаться, и его опять шатнуло въ сторону.

Подбѣжалъ тотъ же лакей, что подалъ ему стаканъ воды. Нѣтовъ поглядѣлъ на него, и ему показалось, что глаза лакея смѣются надъ нимъ! А кто онъ? Хозяинъ! Баринъ! Почетное лицо!.. И не то что Красноперый или Лещовъ, а „хамъ“ смѣетъ надъ нимъ подсмѣиваться!..

— Что ты ухмыляешься?—глухо спросилъ онъ ливрейнаго официанта.

Официантъ даже не понялъ сразу вопроса.

Нѣтовъ повторилъ.

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣтилъ официантъ.

— То-то! Не смѣть!—крикнулъ онъ и пошелъ въ кабинетъ.

Раздражило его и то, что Викентій не встрѣтилъ его на лѣстницѣ. Пришлось звонить. А Викентій ожидалъ его двадцатью минутами поздне. И когда онъ замѣтилъ камердинеру съ горечью:

— Кажется, не много у васъ дѣла, — то ему опять показалось, что Викентій ухмыльнулся.

Щеки Евлампія Григорьевича зардѣлись. Онъ сдержалъ себя и только крикнулъ:

— Сюртукъ подай!—голосомъ, который ему самому казался страшнымъ.

И борода не повиновалась щеткѣ. Онъ ее приглаживалъ передъ зеркаломъ и такъ, и этакъ; но она все торчала — не выходило никакого вида. Сюртукъ сидитъ скверно... После обѣда надо опять надѣвать фракъ — ѣхать въ другое засѣданіе. Тяжко, зато почетъ. Онъ долженъ теперь самъ объ себѣ думать... Жена уѣдетъ за границу... на всю зиму... Успѣетъ ли онъ урваться хоть на двѣ недѣли? Да Марья Орестовна и не желаетъ...

Въ залѣ, разподрѣтной, мраморной палатѣ, съ нишами, въ два свѣта, съ арками и украшеніями, въ венеціанскомъ стилѣ, — Евлампій Григорьевичъ вдругъ остановился. Онъ совсѣмъ вѣдь забылъ, что ему сказала Марья Орестовна насчетъ ея денежныхъ средствъ... Какъ же это могло случиться? Вылетѣло изъ головы! Надо же сдѣлать смѣту... Какой капиталъ и въ какихъ бумагахъ?

Нѣтовъ круто повернулся и пошелъ назадъ, въ кабинетъ... Безъ счетовъ и записной книжки онъ ничего сообразить не можетъ. Къ обѣду еще успѣетъ... Да и объ чемъ ему говорить съ этимъ Палтусовымъ?.. Зачастилъ

что-то. Но съ нимъ ли желаетъ Марья Орестовна за границу отправиться?

Вопросъ остался безъ отвѣта. Мысль Евлампія Григорьевича перескочила опять къ счетамъ и записной книжкѣ. Торопливо присѣлъ онъ къ письменному столу; съ большимъ трудомъ окинулъ онъ размѣры своихъ цѣнностей... что-то такое забыть, и долго не могъ вспомнить, что именно.

XXIX.

Обѣдъ подали въ половинѣ шестого. Столовая расписана фресками, вдѣланными въ деревянную свѣтло-дубовую рѣзбу. Есть тутъ цѣлые виды Москвы и Троицы, занимающіе полстѣны, и поуже бытовые картины изъ древней городской жизни. Вотъ московскій бояринъ угощаетъ заѣзжаго иностранца. Гость посоловилъ отъ медовъ и мальвазій. Сдобная рослая жена выходитъ изъ терема съ опущенными рѣсницами, вся разукрашена въ оксамитъ и жемчуга, и несетъ на блюдѣ прощальный кубокъ-посошокъ. Хозяинъ съ красной, раздутой рожей хохочетъ надъ „нѣмцемъ“ и упрасиваетъ его „откушать“. Рѣзной дубовый потолокъ спускается низкими карнизамъ надъ этой характерной комнатой. Онъ изукрашенъ изразцами такъ же, какъ и стѣны. Затѣйливая изразцовая печь занимаетъ одну изъ узкихъ поперечныхъ стѣнъ. Она вся расписана и смотритъ издали громаднымъ глинянымъ сосудомъ. Столъ съ четырьмя приборами пропадаетъ въ этой хороминѣ. Онъ освѣщенъ большой жирандолью въ двѣнадцать свѣчей. На стѣнѣ зажжены двѣ лампы-люстры, подъ стиль жирандоли и отдѣлкѣ стѣнъ. Открытый поставецъ, съ мраморной доской, заставленъ закуской. Графинчики, бутылки и кувшины водокъ и бальзамовъ перстрѣютъ позади фарфоровыхъ цвѣтныхъ тарелокъ. Посреднѣ приподнимается граненая ваза съ свѣжей икрой. Точно будутъ закусывать человекъ двадцать. У противоположной стѣны, между двумя фресками, массивный буфетъ дѣланъ на заказъ въ Нюренбергѣ, весь покрытъ скульптурной и рѣзной работой. Онъ имѣетъ видъ церковнаго органа. Въмѣсто металлическихъ трубъ блеститъ серебряная и позолоченная посуда. Майоликъ по стѣнамъ не видно: ни блюды, ни кружки. Архитекторъ не допустилъ этого.

Палтусовъ ввелъ Марью Орестовну изъ коридора-гал-



лерей черезъ вторую гостиную. Больше гостей не было. Они подошли къ закускѣ. Въ отдаленіи стояли два лакея во фракахъ, а у столика съ тарелками—дворецкій.

— Докладывали Евлампію Григорьевичу? — спросила Марья Орестовна у лакея.

— Докладывали-съ.

— Кушайте,—обратилась она къ гостю и указала на икру.

Въ этотъ день Палтусовъ проголодался. Икра такъ и таяла у него на языкѣ. Доносился и ароматъ свѣжаго балыка, и какой-то заливной рыбы. Смакуя закуски, онъ оглянувшись, въ головѣ его раздалось восклицаніе: какъ жить, „подлецы!“

Это онъ говорилъ себѣ каждый разъ, какъ обѣдалъ у Нѣтовыхъ. Ихъ столовая и весь ихъ домъ и дали ему готовый матеріалъ для мечтаній о его будущихъ „русскихъ“ хоромѣхъ. До славянщины ему мало дѣла, хоть онъ и побывалъ въ Сербіи и Болгаріи волонтеромъ, квасу и тулуза тоже не любилъ; но палаты его будутъ въ „стиль“, въ родѣ дома и столовой Нѣтовыхъ. Въ Москвѣ такъ нужно.

Неслышно очутился около него хозяинъ.

— А! Евлампій Григорьевичъ!—вскричалъ онъ.—Какъ вы подкрались...

— Тихонько-съ,—отвѣтилъ Нѣтовъ съ кислой улыбкой, давно надоѣвшей Палтусову.—Такъ лучше-съ...

И онъ засмѣялся отрывистымъ смѣхомъ.

Палтусовъ не считалъ его глухимъ человѣкомъ. Нѣтовъ по-своему интересовалъ его. Этотъ смѣхъ показался ему почему-то глупѣ Евлампія Григорьевича. Онъ пристально поглядѣлъ ему въ лицо—и остановился на глазахъ... Ему сдавалось, что одинъ зрачокъ Нѣтова какъ будто гораздо меньше другого. Что за странность?

— Гдѣ изволили побывать?—спросилъ онъ.—Все засѣдаете?

— Засѣдаемъ-съ, засѣдаемъ,—подхватилъ Нѣтовъ развязнѣе и молодцоватѣе обыкновеннаго.

„Бодрится, — подумалъ Палтусовъ, — послѣ женينوї тренки“.

Марья Орестовна садилась за столъ и тихо сказала:

— Милости прошу.

— Не угодно ли-съ по другой?—пригласилъ Палтусова хозяинъ и налилъ ему алашу.

Они выпили, забили себѣ ротъ маринованнымъ лобстеромъ и сѣли по обѣ стороны хозяйки. Четвертый приборъ такъ и остался незанятымъ. Прислуга разнесла тарелки супа и пирожки. Дворецкій приблизился съ бутылкой мадеры. Первые три минуты всѣ молчали.

XXX.

Такой обѣдъ втроемъ выпалъ на долю Палтусова въ первый разъ. Марья Орестовна не могла или не хотѣла встроиться помягче. Она плохо слушалась совѣтовъ своего пріятеля. На мужа она совсѣмъ не смотрѣла. Нѣтовъ замѣтно волновался, заводилъ разговоръ, но не умѣлъ его поддержать. Его разсѣянность вызывала въ Марьѣ Орестовнѣ презрительное подергиванье плечъ.

„Покорно-спасибо,—сказалъ про себя Палтусовъ послѣ рыбы,—въ другой разъ вы меня на такой обѣдъ не заханите“.

Но къ концу обѣда онъ началъ внимательнѣе наблюдать эту чету и бесѣдовать самъ съ собою. Она была въ сущности занимательна... Что-то такое онъ чуялъ въ нихъ, въ чемъ, до сихъ поръ, не останавливался. Мужа онъ „допускалъ“... Смѣяться надъ нимъ ему было бы противно. Онъ замѣчалъ въ себѣ наклонность къ великодушнымъ чувствамъ. Да и она вѣдь жалка. У него по край ней мѣрѣ есть страсть, въ рабствѣ у жены, любить ее, преклоняется, но страдаетъ. Не даромъ у него такіе странные зрачки. А эта купеческая Рекамье? Что въ ней говорить? Жила, жила, тянулась, дрессировала мужа, точно пуделя какого-то, и вдругъ—все къ чорту!.. И тутъ не ладно... въ головѣ не ладно.

Палтусовъ такъ задумался, что Марья Орестовна два раза должна была его спросить:

— Будете на симфоническомъ?..

— На музыкалкѣ?—переспросилъ онъ.—Буду, если до стану билетъ.

— А у васъ нѣтъ членскаго?

— Пропустилъ. Говорять, свалка была, на Неглинной, у Юргенсона?..

— Огромный успѣхъ!

— Да-съ, шибко торгуютъ,—пошутилъ Евлампій Григорьевичъ.

— Шибко,—поддержалъ его Палтусовъ.

— Потому что идетъ по своей дорогѣ,—тревожно заго-



ворилъ Нѣтовъ,—идеть-съ. Изводите видѣть, оно такъ въ каждомъ дѣлѣ. Чтобы человѣкъ только вѣру въ себя имѣлъ; а когда вѣры нѣтъ—и никакого у него форсу. Какъ будто монета, старая, стертая, не распознаешь, гдѣ значится орелъ, гдѣ рѣшетка.

Марья Орестовна не безъ удивленія прислушивалась.

— Совершенно вѣрно!—откликнулся Палтусовъ.

— Человѣкъ на помочахъ идти не можетъ... Все равно малолѣтній всегда... А стоить ему на свои ноги встать...

„Вонъ онъ куда“, подумалъ Палтусовъ и сочувственно улыбнулся хозяину.

— И тогда все по-другому... Хотя бы и не потрафилъ онъ сразу, да у него на душѣ лучше... И смѣлости прибудеть!

— Хотите еще?—перебила хозяйка, обращаясь къ гостю.

— Пирожного?.. Благодарю. Курить хочу, если позволите.

— Вамъ разрѣшаю.

Евламій Григорьевичъ смолкъ. Жена не смотрѣла на него. Она нашла, что его болтовня—дерзость, за которую она сумѣетъ отплатить. Но взгляды Палтусова подсказалъ ей:

„Смотрите, не перейдите градуса. Сначала добейтесь своего. Вы видите—и въ немъ заговорило мужское достоинство“.

Евламій Григорьевичъ предложилъ ему сигару и спросилъ, чего никогда не дѣлалъ:

— Угодно въ кабинетъ?.. Кофейку... и покурить въ свое удовольствіе?

Палтусовъ согласился,—довелъ хозяйку до салона и сказалъ ей шопотомъ:

— Не возмущайтесь, пожалуйста, я вашу же линію веду.

Она сдѣлала гримасу.

Въ кабинетѣ Евламій Григорьевичъ засуетился, сталъ усаживать Палтусова, наливалъ ему ликера, вынулъ ящикъ сигаръ. Прежде онъ держалъ себя съ нимъ натянуто или неловко-чопорно... Они сидѣли рядомъ на диванѣ. Нѣтовъ раза два поглядѣлъ на письменный столъ и на счеты, лежавшіе посрединѣ стола передъ кресломъ.

— Вотъ-съ,—заговорилъ онъ прямо,—вы, Андрей Дмитриевичъ, человѣкъ просвѣщенный. Вездѣ бывали. И сообразить можете, какъ по-вашему, если дамъ такой, какъ



если бы Марья Орестовна... примѣрно, за границей проживать? И вообще домъ имѣть свой... Какой годовой доходъ?

Такого вопроса не ожидалъ Палтусовъ. Мужъ положительно правился ему больше жены. Онъ остается въ Москвѣ, надо его держаться. Это порядочный человѣкъ, прочный коммерсантъ, выдвинулся впередъ такъ или иначе „на линію“ генерала.

— Годовой доходъ?—переспросилъ Палтусовъ.

— Да-съ?

— Двадцать тысячъ. Если тѣ же привычки будутъ, какъ и здѣсь... тридцать...

— Мало-съ. Я полагаю пятьдесятъ?..

— Коли въ Италіи, напримѣръ, жить, такъ на бумажныя лиры сумма крупная.

Нѣтовъ разсмѣялся и замолчалъ.

Правый зрачокъ у него опять показался Палтусову меньше лѣваго.

— Что же-съ?.. По душѣ сказать,—онъ началъ изливаться,—такая сумма четвертая часть того, что мы имѣемъ. И каждый хорошій мужъ обязанъ первымъ дѣломъ обезпечить... Такъ ли-съ? И волю свою выразить, какъ слѣдуетъ... Особливо ежели благопріобрѣтенное... оно и совершено, да, знаете, въ голову другое-то не пришло? При жизни-то? Изволите разумѣть? При жизни мужа можетъ понадобится... Такой оборотъ выйти?... Безъ развода... Или тамъ чего... И безъ стѣсненія!.. Уѣдетъ жена пожить за границу!.. Она и спокойна. У ней свой доходъ. Простая штука... И любилъ человѣкъ... а между прочимъ не сообразилъ.

Онъ смолкъ и всталъ съ дивана, подошелъ къ столу, вакинулъ нѣсколько костей на счетахъ, отставилъ ихъ въ сторону и потеръ себѣ руки. Палтусовъ смотрѣлъ на него съ любопытствомъ и недоумѣніемъ.

— Марья Орестовна ждутъ васъ... Извините, что держалъ... Я въ засѣданіе...

И Евлампій Григорьевичъ началъ жать ему руку, какъ-то присѣдая и улыбаясь.

— Знаете что,—говорилъ Палтусовъ Марья Орестовнѣ въ гостиной, берясь за шляпу; онъ никогда у ней не засиживался,—вы не пайдете нигдѣ второго Евлампія Григорьевича.

И онъ рассказалъ, объ чемъ изливался ему Нѣтовъ.



Марья Орестовна только потянула въ себя воздухъ.
— Ужъ не знаю... Онъ точно какой шальной сегодня!..
„Будешь!“—добавилъ отъ себя Палтусовъ и поцѣловалъ ея руку.

XXXI.

Ровно черезъ недѣлю хоронили Константина Глѣбовича Лещова.

Октябрь ужъ перевалилъ за вторую половину. День выдался съ утра сиверкій, мокрый, съ иглистымъ, полумерзлымъ дождемъ. Часу въ одиннадцатомъ шло отпѣваніе въ старой, низенькой церкви упраздненнаго монастыря. По двору, въ каменной оградѣ, расположилась публика. Въ церковь вошло не много. Тамъ и не помѣстилось бы, безъ крайней тѣсноты, больше двухсотъ человѣкъ. Служили викарный архіерей и два архимандрита. По желанію покойнаго, занесенному въ завѣщаніе, его отпѣвали въ томъ приходѣ, гдѣ онъ родился. Потемнѣлые своды церкви давили и спирали воздухъ, весь насыщенный ладаномъ, копотью восковыхъ свѣчей и струями хлорной извести и можжевельника. Кругомъ всѣ жаловались, что не слѣдовало отпѣвать въ такой крохотной церкви. Безпрестанно мужчины во фракахъ и шитыхъ мундирахъ выходили на паперть, набитую нищими. Дамъ насчитывали гораздо меньше мужчинъ. Слѣва отъ гроба, у придѣла, группа дамъ въ черномъ окружала вдову покойнаго. Аделаида Петровна стояла на колѣняхъ и, отъ времени до времени, всхлипывала. Ее находили очень интересной...

Пѣли чудовскіе пѣвчіе. Протодіаконъ оттягивалъ длинной минорной нотой конецъ возглашеній. Его „Господу помолимся“ производило въ груди томильную пустоту. Когда зажигали свѣчи для заупокойной обѣдни, то архіерею, двумъ архимандритамъ и двумъ старшимъ священникамъ протодіаконъ подалъ по толстой свѣчѣ зеленого воску. Такую же получила и вдова.

Много разъ разносились уже по церкви слова „болярина Константина“. Потъ шелъ со всѣхъ градомъ. Никто не молился. Кто-то шепчетъ, что будетъ „слово“—и всѣ ужасаются коптѣть еще лишнихъ полчаса.

Но и на дворѣ всѣ раздражались отъ мокрой погоды. У паперти стояла группа бойко болтающихъ мужчинъ. Тутъ встрѣтились знакомые самыхъ разнохарактерныхъ



знаний. Бритое лицо актера, — съ выдающимся носомъ и синими щеками, въ мягкой шляпѣ съ большими полями, — наполовину уходило въ мерлушковый воротникъ длиннаго чернаго пальто. Рядомъ съ нимъ выставлялась треугольная шляпа съ камеръ-юнкерскимъ плюмажемъ и благообразное дворянское лицо, простоватое и томное. Сбоку морщился плотный полковникъ, въ каскѣ и съ рыжей бородой, по петлицамъ пальто — военный судья. Они говорили разомъ, рассказывали веселые анекдоты, ругали погоду. Къ нимъ присосѣживались выходящіе изъ церкви и вновь прибывающіе.

По двору гуляли другія группы. Народъ облѣпилъ одну стѣну и выглядывалъ изъ-за главныхъ воротъ, обступалъ катафалкъ, крытый бѣлымъ газетомъ съ бѣлыми перьями по бокамъ и по срединѣ. Экипажи останавливались у воротъ и потомъ отъѣзжали вверхъ по переулку и внизъ къ Дмитровкѣ. Было грязно. Большая лужа выдалась на самой срединѣ паперти. Ее обходили влѣво, слѣдуя широко разбросанному можжевельнику. Фонарщики, въ черныхъ шляпахъ и шинеляхъ съ капюшонами, завернули подолы и бродили по двору, составивъ свои фонари вдоль стѣны, въ тяжелыхъ поружѣлыхъ сапогахъ и полшубкахъ. Жандармы покачивались въ сѣдлахъ.

На похороны Лещова приглашено было поименно до шестисотъ человекъ. Списокъ составлялъ Качѣевъ. Въ него попали купцы, помѣщики, директора банковъ, литераторы, профессора, актеры. Нѣсколько именъ говорили, что покойный посѣщалъ патріотическія гостинныя. Но оказалось, въ числѣ приглашенныхъ, и довольно вольнодумныхъ людей, либерально мыслящихъ на европейскій ладъ, посѣщающихъ, впрочемъ, и патріотическія гостинныя. Покойный зналъ всю дѣловую Москву и сохранялъ связи съ интеллигенціей. Но по лицамъ, провожавшимъ его въ послѣднюю обитель, трудно было узнать — кому его жаль. Только самые простые купцы, „какъ есть изъ русскихъ“, входившіе въ ограду безъ шапокъ и осѣняя себя крестомъ, казалось, соболѣзновали его кончинѣ.

Служба все тянулась. Уже остряки давно напомнили объ адмиральскомъ часѣ. Какой-то лысый господинъ среднихъ лѣтъ выскочилъ съ паперти безъ шапки вслѣдъ за смуглой, долгоносой барыней въ цвѣтной шляпкѣ, и началъ ей кричать:

— Не хочу знать этихъ мерзавцевъ!



И пошелъ по можжевельнику, размахивая рукою.

А дама усовѣщивала его, повторяя:

— Глядятъ! Глядятъ! Постыдись!

На что онъ еще задорнѣе крикнулъ:

— А мнѣ наплевать!..

Въ группѣ около паперти актеръ переглянулся съ собесѣдниками.

— Господа литераторы,—выговорилъ онъ съ актерскимъ подчеркиваніемъ,—народъ сердитый!

— Сердить, да не силенъ!..—крикнулъ военный судья, и всѣ трое расхохотались, послѣ чего вдругъ сдержали себя и уныло поглядѣли на входъ въ церковь.

— Претить?—спросилъ актеръ камеръ-юнкера.

— И очень!..

— Вы, господа, до кладбища?

— Ну, нѣтъ-съ,—отвѣтилъ за всѣхъ судья и запахнулъ въ пальто.

Ударили на колокольні, и похоронный гулъ поплылъ по отсырѣлому воздуху.

XXXII.

За полчаса до выноса тѣла изъ церкви, Палтусовъ входилъ въ ограду и осторожно пробирался, обходя тѣ мѣста, гдѣ грязь растоптали какъ мѣсиво. Онъ ожидалъ чего-то другого... Съ Лещовымъ онъ познакомился только въ этомъ году и нашелъ его „очень занимательнымъ“. Ему не разъ уже приходило на мысль, что онъ самъ идетъ по той же дорогѣ. Лещовъ представлялъ цѣлую полосу московской жизни. Онъ внесъ съ собою въ дѣла какую-то „идею“. Патріоты съ славянскими симпатіями, которыхъ пріятели Палтусова звали „византійцами“, считали его своимъ. Черезъ него они воспитали въ своемъ духѣ нѣсколько миллионщиковъ-купцовъ, заставляли ихъ поддерживать общества, посылать пожертвованія, записываться въ покровители „братъевъ“, давать деньги на основаніе газетъ, журналовъ, на печатаніе книгъ и брошюръ...

Но теперь что-то покачнулось. Онъ не видитъ ни большого горя, ни большого смущенія. И едипомышленниковъ-то Лещова три-четыре человѣка, да и обчелся... Вотъ и на этихъ похоронахъ такъ же. Палтусовъ оглядѣлъ всѣ кучки. Его зоркіе глаза всюду проникли. На дворѣ онъ замѣтилъ только блѣднолицаго брюнета въ очкахъ изъ



„толка“, да старца съ большой бородой, въ старомодной шинели и шапкѣ, изъ-подъ которой падали на воротникъ длинные съ просѣдью волосы. Старецъ говорилъ въ кучкѣ университетскихъ, улыбался и прищуривалъ добрые глаза. До Палтусова донесся его хриплый грудной басъ провинціального трагика и отрывки его горичихъ фразъ.

„Навѣрно будетъ говорить на могилѣ“, — подумалъ Палтусовъ и поспѣшилъ въ церковь.

Онъ не продрался къ серединѣ. Издали увидать онъ лису голову коренастаго старика въ очкахъ, съ густыми бровями. Его-то онъ и искалъ, для счету, хотѣлъ убѣдиться, окажутся ли налицо единомышленники покойнаго. Вправо отъ архіерея стояли въ мундирахъ, тщательно причесанные, Взломцевъ и Красноперый. У обоихъ низко на грудь были спущены кресты, у одного Станислава, у другого Анны.

Но въ церкви Палтусовъ не выстоялъ больше пяти минутъ. Мимо его прошмыгнулъ распорядитель похоронъ, Качѣвъ, тоже его знакомый, и замѣтилъ ему смѣшливо:

— Каковъ парничокъ-то, а?

Влѣво отъ наперти Палтусовъ примѣтилъ группу изъ троихъ мужчинъ, одѣтыхъ безъ всякаго парада. Онъ узналъ въ нихъ зачинщиковъ разныхъ „контръ“, направленныхъ противъ Нѣтова и его руководителей: покойнаго Лещова и Краснопераго. Одинъ, съ большой мохнатой головой и рябымъ лицомъ, осматривался и часто показывалъ гнилые зубы. Двое другихъ тихо переговаривались. Они смотрѣли заурядными купцами: одинъ брился, другой носилъ жидковатую бороду. Вслѣдъ за Палтусовымъ спустился съ наперти и Красноперый, и тотчасъ присталъ къ кучкѣ, гдѣ торчала треугольная шляпа камеръ-юнкера.

— Каковъ?—доносился до него шепелявый голосъ Краснопераго. — Царство-то небесное какъ захотѣлъ заподучать!.. Перебѣзчикомъ на тотъ свѣтъ явится.

Кто-то изъ группы началъ его разспрашивать.

— Не нашелъ онъ, къ кому обратиться!—кричалъ Красноперый. — Меня не пожелалъ, видите ли... Стрекулистовъ какихъ-то въ душеприказчики взять... Хотя бы въ свидѣтели пригласилъ.

Черезъ минуту актеръ спросилъ:

— Двѣсти тысячъ?.. На школы?.. Молодецъ!



— Да помилюте, батюшка... Одна гордыня!—кричалъ опять Красноперый.

„Вотъ оно что“,—отмѣчалъ про себя Палтусовъ. Все это его чрезвычайно занимало.

— Андрей Дмитриевичъ!—окликнули его.

Съ нимъ раскланивался Нѣтовъ, въ мундирѣ, въ персидской звѣздѣ, очень блѣдный и возбужденный.

— Позвольте познакомиться... Братъ супруги моей... Николай Орестовичъ Леденщиковъ...

Палтусову подалъ руку худой блондинъ, въ длиннѣйшемъ пальто съ котиковымъ воротникомъ. Его прыщавое, чопорное лицо, въ золотомъ ринсе-пез, бритое, съ рыжеватыми усами, смотрѣло на Палтусова, приторно улыбаясь... Сестру онъ напоминалъ развѣ съ носа. Такого вида молодыхъ людей Палтусовъ встрѣчалъ только въ русскихъ посольствахъ за границей, да за абсентомъ Café Riche, на Итальянскомъ бульварѣ. „Разновидность Виктора Станицына“,—опредѣлилъ онъ.

— Enchanté,—выговорилъ братъ Марьи Орестовны, съ необычайно старательнымъ и сладкимъ французскимъ произношеніемъ.

— Слышали, Евлампій Григорьевичъ,—спросилъ Палтусовъ,—завѣщаніе-то Лещова? Двѣсти тысячъ на школы!.. Благородно!

— Слышалъ-съ.

— Да развѣ не вы душеприказчикъ?..

— Нѣтъ-съ!.. Покойникъ просилъ... Дядюшка мой от-казали... Ну, тому и обидно показалось!.. И всякій бы на его мѣстѣ... Онъ обратился къ тѣмъ...

Нѣтовъ указалъ глазами на ту кучку, гдѣ стояли трое „враговъ“ его.

— Неужели?—удивился Палтусовъ.

— И что же-съ?.. Каждый воленъ поступать по совѣсти... Да и какія тутъ-съ партіи?.. Только чтобъ честные люди были... А иной и кричить: я русакъ, я стою за русское дѣло, а на повѣрку выходитъ...

Онъ не досказалъ и раздраженно оглянулся въ сторону наперти, гдѣ замѣтилъ вырѣзанныя поздри своего родственника Красноперого. Палтусовъ прислушивался къ его голосу и смотрѣлъ ему въ лицо. На его глазахъ съ этимъ человѣкомъ что-то происходило... Онъ сбрасывалъ съ себя ярмо...

— Пойдемте въ церковь,—пригласилъ Нѣтовъ своего



зятя.—На кладбище поѣдете?—спросилъ онъ Палтусова, и не дождавшись отвѣта, пошелъ торопливой, развинченной походкой.

XXXIII.

Палтусовъ смотрѣлъ ему вслѣдъ. Умеръ Лещовъ. Марья Орестовна собралась жить въ раздѣлъ съ мужемъ. На чьемъ же попеченіи останется этотъ задержанный обыватель? Надо его прибрать къ рукамъ, пока не явятся новые руководители. Нѣтовъ раскланялся съ Красноперымъ и съ камеръ-юнкеромъ, мимоходомъ, не сталъ съ ними заговаривать, потомъ взялъ въ сторону, раскланялся и съ кучкой, гдѣ выглядывало рябое лицо его врага и „обличителя“, кажется, улыбнулся имъ. Подаль руку всѣмъ тремъ, что-то сказалъ и, сдѣлавъ жестъ правой рукой, перезнакомилъ ихъ съ зятемъ.

Это онъ заявляетъ свою самостоятельность... Въ день похоронъ дядьки показываетъ, что сумѣетъ всячески соблудить себя и подняться. Говорить съ сѣдымъ генераломъ, съ членомъ суда. И очень что-то бойко... Не скоро доберется онъ до церкви. Вошелъ.

На паперти засуетились... Нишіе сбѣжали со ступенекъ и выстроились двумя рядами. Снесли крышку, пѣвчіе въ потертыхъ цвѣтныхъ кунтушахъ съ откидными рукавами, съ фуражками въ рукахъ, начали спускаться, лѣниво поводили головами и подбирали полы. Зазвучало „Со святыми упокой“... Толкотня усиливалась. Показалось духовство. Протодьяконъ надѣлъ на себя теплую скуфью... Запестрѣли митры и камилавки... Гробъ несли на полотенцахъ артельщики и мелкіе конторщики банка. Распорядитель Качѣевъ что-то кричалъ въ церковь... Вдову поддерживали двѣ дамы... Ея головы не было видно...

На все это глядѣлъ Палтусовъ и раза два подумалъ, что и его, лѣтъ черезъ тридцать, будутъ хоронить съ такой же некрасивой и нестройной церемоніей, стоящей большихъ денегъ... Кисти гроба болтались изъ стороны въ сторону. Иглистый дождь мочилъ парчу. Вѣтеръ раздѣвалъ жирные волосы артельщиковъ въ длинныхъ сибиркахъ.

За гробомъ поплелись сановныя лица и пріятели покойнаго. Камеръ-юнкеръ пошелъ слѣва; сзади несъ свой византійскій ликъ Взломцевъ; курпосый, нахальный профиль Красноперого, въ шитомъ воротникѣ и бѣломъ галс-



тужѣ, говорилъ скорѣй о молебнѣ съ водосвятиемъ, по поводу полученной „святыя Анны“, чѣмъ о погребеніи друга и пріятеля... Нѣтовъ шелъ безъ шляпы, все такой же возбужденный, кидая кругомъ быстрые взгляды, говорилъ то съ тѣмъ, то съ другимъ знакомымъ.

Народъ снялъ шапки, но изъ приглашенныхъ многіе остались съ покрытыми головами. Гробъ поставили на катафалкѣ съ трудомъ, чуть не повалили его. Фонарщики зашагали тягучимъ шагомъ, по двое въ рядъ. Впереди—два жандарма, лѣвая рука—въ бокъ, поморщиваясь отъ погоды, попадавшей имъ прямо въ лицо. За каретами двинулись обитыя краснымъ и желтымъ линейки, онѣ покачивались на ходу и дребезжали. Больше половины провожатыхъ бросились къ своимъ экипажамъ.

— Вы не съ нами-съ?—пригласилъ Палтусова Нѣтовъ, догоняя его на обратномъ пути,—у насъ ландо-съ.

Палтусовъ поблагодарилъ. Ему надо было заѣхать въ городъ; но онъ поспѣетъ на кладбище къ тому времени, когда будутъ опускать гробъ въ могилу.

— Ожидаемъ рѣчей-съ,—сказалъ Нѣтовъ.

— Вы не скажете ли?—посмѣялся Палтусовъ.

— Можетъ и скажу-съ!—отвѣтилъ Нѣтовъ съ особеннымъ выраженіемъ.

Заграничный зять усмѣхнулся и протянулъ:

— Интересно...

„Но ты-то интересенъ ли?“—спросилъ про себя Палтусовъ, усаживаясь въ пролетку.

Похоронное шествіе спускалось къ Большой Дмитровкѣ. Пролетка Палтусова черезъ Тверскую и Вознесенскія ворота была уже на Никольской, когда пѣвчіе поровнялись только съ угломъ Столешникова переулка. Минуть черезъ пятьдесятъ онъ подъѣзжалъ къ кладбищу; шествіе близилось къ оградѣ. На сниманіе, заколачиваніе и спускъ гроба пошло не мало времени. Погода немного прояснилась. Стало холоднѣе; изморось уже больше не падала.

Среди чугунныхъ и мраморныхъ памятниковъ, столбовъ, плитъ, урнъ и крестовъ, зіяла глиняная яма. Гробъ ушелъ низко; чтобы бросать землю на крышку гроба, приходилось или нагибаться, или опуститься на аршинъ. Послѣ литіи, одинъ изъ архимандритовъ сказалъ краткое слово, восхваливъ „ученость“ и благочестіе покойнаго... Настала минута нерѣшимости... Полетѣли горсти песку... Его разносилъ артельщикъ; Качѣевъ наблюдалъ, чтобы все

хватило. Изъ толпы, топтавшейся въ молчаніи, вышелъ тотъ лысый старикъ съ надвинутыми бровями, котораго Палтусовъ отыскивалъ въ церкви, во время отпѣванія.

Онъ началъ хрипло выкрикивать слова, словно подсказывалъ человѣку крѣпкому на ухо. Его рѣчь состояла изъ цѣпи сочувственныхъ фразъ: но издали можно было принять ихъ за рядъ окриковъ. Точно онъ сердился на покойника и распекалъ его, какъ подчиненнаго. Сзади многіе ухмылялись... Но старикъ скоро кончилъ и швырнулъ въ гробъ большую горсть песку. За нимъ забросали опоздавшіе... Всѣ начали переглядываться... На противный конецъ ямы, у ногъ покойника, спустился тотъ баринъ, съ длинными волосами, что горячо разговаривалъ въ ограду церкви, въ одной изъ группъ. Онъ долго устанавливалъ какое-то „исконное начало“, и звонкія слова, въ родѣ „прекрасное“, „торжество“, „крѣпость духа“, разлосились по кладбищу. Иные слушатели стали сомнѣваться — сведетъ ли онъ рѣчь свою къ концу. Поднялся шопотъ, а потомъ говоръ, острили, давали прозвища. Онъ все говорилъ и вдругъ, не докончивъ длиннаго періода, воззвалъ къ „вѣчнымъ началамъ правды, добра и красоты“—и раскланялся.

Раздались аплодисменты... Собирались расходиться... Но на краю могилы стоялъ новый ораторъ. Это былъ Нѣтовъ.

XXXIV.

Палтусовъ глазамъ своимъ не вѣрилъ. Ему сдѣлалось даже неловко. Онъ попытался назадъ, но такъ, что лицо и вся фигура Евлампія Григорьевича были ему видны.

— Вотъ, господа-съ,—слышалось ему,—умеръ человѣкъ рѣдкій... въ своемъ родѣ...

— Кто это говорить?—спросилъ кто-то сзади.

— Нѣтовъ!

— Батюшки!

— Какъ въ дѣяніяхъ апостольскихъ... Даръ получилъ по наитію!..

Но Палтусовъ прислушивался.

— И вотъ могила, господа... Иные сейчасъ скажутъ: нашъ онъ былъ, къ нашему согласію принадлежалъ.

„Согласіе? очень недурно!“—одобрилъ Палтусовъ и выдвинулся впередъ.

Евлампій Григорьевичъ скинулъ статсъ-секретарскую

пинель съ одного плеча. Его правая рука свободно двигалась въ воздухѣ. Шитый воротникъ, бѣлый галстукъ, крестъ на шеѣ, на лѣвой груди—звѣзда, вся въ настоящихъ, самимъ вставленнымъ, брильянтахъ, такъ и горять. Весь выпрямился, голова откинута назадъ, волосы какъ-то взбиты, линіи рта волнистыя, возбужденные глаза... Палтусову опять кажется, что зрачки у него не равны, голосъ съ легкой дрожью, но увѣренный и немного, какъ бы, вызывающій... Неузнаваемъ!

— Зачѣмъ,—продолжалъ ораторъ,—намъ всѣ эти прозвища перебирать, господа?.. Славянофилы, напимѣръ, западники, что ли, тамъ... Все это одни слова. А намъ надо дѣло... Не кличка творить человѣка!.. И будто нельзя почтенному гражданину занимать свою позицію? Будто ему кличка доставляетъ ходъ и уваженіе?.. Надо это бросить... Жалуются всѣ:—рукъ нѣтъ, головъ нѣтъ, способныхъ людей и благонамѣренныхъ. Мудрено ли это?.. Потому, господа, что боятся самихъ себя... Все въ кабалу къ другимъ идутъ!..

— Жена написала, а онъ заучилъ,—раздался надъ ухомъ Палтусова чей-то голосъ.

— Здѣсь она, на похоронахъ?

— Нѣтъ, не видно что-то.

— Отзубрилъ знатно!

„Нѣтъ, это не Марья Орестовна,—думалъ Палтусовъ, продолжая слушать,—это экспромптъ. Евлампій Григорьевичъ не писалъ этого на бумажѣ и не заучивалъ“.

— И вотъ, господа,—кончалъ Нѣтовъ,—помянемъ доброй памятью Константина Глѣбовича. Не забудемъ, на что онъ половину своего достоянія пожертвовалъ!.. Не очень-то слѣдуетъ кичиться тѣмъ, что онъ держался такого или другого согласія... Тѣмъ онъ и былъ силенъ, что себѣ цѣну зналъ!.. Такъ и каждому изъ насъ быть слѣдуетъ!.. Вѣчная память ему!..

Къ концу рѣчи всѣ смолкли. Потомъ захлопали горячо и дружно.

— Емеля-то дурачокъ какъ расходился!—крикнулъ громко Красноперый, взявъ за руку старичка-генерала и пошелъ по мосткамъ къ выходу.

Нѣтову жали руку. Онъ стоялъ все съ непокрытой и откинутой головой. Глаза его перебѣгали отъ предмета къ предмету.

— N'est ce pas?—остановилъ Палтусова, двинувшася

за другими, сладкій братъ Марьи Орестовны...—Мой beau frère a très bien dit son fait? Только, кажется, были намеки... Какъ вы находите?

— Молодцомъ!..—искренно похвалилъ Палтусовъ, протолкался и крѣпко пожалъ руку Нѣтова.

Евламнія Григорьевича окружили. Большая голова и гнилые зубы господина отъ враждебной группы виднѣлись рядомъ съ нимъ.

Когда Палтусовъ подходилъ и протягивалъ ему руку, „вожакъ оппозиціи“ смѣлся и трясъ одобрительно волосами.

— Истину, истину изволили изречь... Евлампій Григорьевичъ... Вамъ зачтется... Хорошій баллъ поставимъ... Давно пора такъ-то!..

Нѣтова не обидѣлъ покровительственный голосъ. Его не оставляло возбужденіе. Рука у него вздрагивала.

— Другая полоса теперь! Другая-съ!..—громко провозгласилъ онъ и надѣлъ бобровую шапку, а шляпу взялъ подъ мышку.

— Расскажите вашей сестрицѣ,—тихо сказалъ Палтусовъ его зятю,—какъ отличился ея супругъ.

— Съ особеннымъ удовольствіемъ,—выговорилъ тотъ, и гостинодворскій акцентъ проскользнулъ въ дикцію, наломанную на дворянскій манеръ.

— Къ намъ откушать!—остановилъ Палтусова Нѣтовъ.

Палтусовъ отклонилъ приглашеніе.

— Не все на помочахъ, Андрей Дмитріевичъ! Не такъ ли-съ?..—почти азартно спросилъ его Нѣтовъ и полъзъ въ свое четырехмѣстное ландо.

Палтусовъ простоялъ еще минутъ съ пять. Жапдармы ругались съ кучерами линеискъ. Кареты поѣхали вереницей. Купцы разсаживались въ крытые дрожки. Пѣвчіе, артельщики, похоронныя старухи и всякій сбродъ чуть не дрались, влѣзая въ линейки; народъ шлепалъ по грязи... Начало опять моросить.

„Надо держаться Нѣтова“,—рѣшилъ еще разъ Палтусовъ, и уѣхалъ изъ послѣднихъ.

XXXV.

Вечеромъ, за чаемъ, въ будуарѣ Марьи Орестовны, на атласномъ пуфѣ сидѣлъ братъ ея, прѣбавшій всего три дня назадъ, и рассказывалъ ей, какой успѣхъ имѣла рѣчь Евламнія Григорьевича. Къ обѣду сестра его не



выходила. Она страдала мигренью. Наканунѣ мужъ пришелъ ей сказать, что ея желаніе исполнено, и передалъ ей пакетъ съ цѣнными бумагами, приносящими до пятидесяти тысячъ дохода.

Легкая побѣда потѣшила ее, но не надолго. Евлампій Григорьевичъ сдѣлалъ это слишкомъ скоро, и когда отдавалъ ей слишкомъ тяжелый пакетъ, то въ лицѣ его она усмотрѣла необычайное выраженіе: оно говорило:

„Извольте, будемъ и безъ васъ жить съ царемъ въ головѣ...“

На брата она и безъ того не особенно надѣялась; но въ эти три дня онъ опять весь выдохся передъ ней. Отъ его тощей фигуры, прыщаваго лица, волосъ, изысканныхъ туалетовъ и батистовыхъ платковъ шелъ, во-первыхъ, ненавистный ей запахъ илангилана... Она уже попросила его переменить духи... Потомъ онъ началъ мямлить ей, приторно и желая соблюсти свое „консульское“ достоинство, что ему необходимо камеръ-юнкерство, что безъ этого званія онъ не можетъ существовать. Пять разъ, съ разными новыми вариантами, рассказалъ онъ ей, какъ его представляли „королевѣ и королю“, какъ ихъ величества удивлялись, что такой „gentleman“ до сихъ поръ не отличенъ придворнымъ званіемъ. Ему и безъ того тяжело носить фамилію „Леденщиковъ“. Не можетъ же онъ всѣмъ и каждому сообщать, что его мать была столбовая дворянка, племянница одного князя! Еще за границей имя не такъ плохо звучитъ, но въ Россіи, безъ прибавленія на карточкѣ: „Gentilhomme de la chambre de S. M. l'Empereur“—показаться нельзя... И выходило, что хлопотать объ этомъ слѣдуетъ ей, его „чудесной“ Мари. А для этого надо нѣсколько большихъ обѣдовъ и вечеровъ, отрекомендовать его „особенно“ здѣшнимъ властямъ, поѣхать въ Петербургъ, тамъ завести знакомства въ высшихъ сферахъ, жертвовать, сдѣлаться дамой-патронессой, основать пріютъ, его помѣстить куда-нибудь почетнымъ попечителемъ. Съ миллионнымъ состояніемъ это такъ легко.

Нытье брата открыло вдругъ глаза Марьѣ Орестовнѣ на то, что ее ожидаетъ за границей. Братъ не оставитъ ее въ покоѣ. Онъ сдѣлается ея прихвостнемъ. Денегъ она же ему будетъ давать. И теперь она даетъ ему три тысячи. Очень ей пріятно будетъ видѣть, что онъ, ничтожный „консулъ“, ныжится быть дипломатомъ: онъ съ такимъ



куринымъ мозгомъ не можетъ идти по службѣ. Кромѣ уколовъ самолюбія ничего ее не ждетъ. Ужъ и ей рассказали, какъ ея братецъ на одномъ придворномъ балѣ такъ часто забѣгалъ впередъ всюду, гдѣ шла королева, что на него, наконецъ, обратили вниманіе, только не благосклонное. Анекдотъ кто-то завезъ прошлой зимой сюда, и всѣ его знаютъ.

Своихъ плановъ она не сообщила ему вполне. Но братъ засталъ ее еще въ острый періодъ ея душевной тревоги, и она ему намекнула на свое рѣшеніе отдѣлаться отъ Евлампія Григорьевича.

— Я тебя увѣряю,—деликатно выговаривалъ Николай Орестовичъ каждый слогъ,—твой мужъ очень хорошо... а *très bien troussé son discours*. Какъ тебѣ угодно, Мари, но здѣсь ты особа. И зачѣмъ тебѣ уѣзжать въ началѣ вашего московскаго сезона? Я не на то рассчитывалъ, дорогая моя. Извини, что я тебѣ противорѣчу.

Она заставила его замолчать и послала въ залу—сыграть ей вальсъ Шопена. Цѣлыхъ три часа слушала она его разведенныя сиропомъ рѣчи. Ея выкормокъ положительно раздражалъ ее. Жить съ нимъ за границей по цѣлымъ мѣсяцамъ врядъ ли лучше, чѣмъ имѣть около себя такого мужа, какъ Евлампій Григорьевичъ.

И потомъ, въ ея мужѣ есть что-то новое. Оставить его въ покоѣ; только бы зналъ свою роль въ домѣ. Не оставаться съ нимъ за столомъ; а при постороннихъ пропускать мимо ушей его купеческое „изволите видѣть“. Теперь она съ собственнымъ большимъ состояніемъ. Какой мужъ сдѣлалъ бы это такъ джентльменски? Палтусовъ былъ правъ.

И съ этимъ человѣкомъ у ней далеко не все кончено. Онъ какъ будто играетъ съ нею. А, можетъ-быть, онъ честный человѣкъ, не хочетъ показывать ей такого чувства, какого не находитъ въ себѣ. Но времени впередъ много. Вотъ это—характеръ. Если бъ онъ кидался на деньги, онъ бы сейчасъ же сталъ подбивать ее уѣхать за границу, съ капиталами. Онъ не бросится за ней. Даже и намекъ на это нѣтъ. Безъ него тамъ будетъ очень скучно, очень. Знаетъ она этихъ французовъ и англичанъ въ Трувиллѣ, въ Біарицѣ, венгерскихъ гусаръ въ Маріенбадѣ. Тяжело ей съ ними. Когда она говоритъ по-французски, у ней выходитъ все жидко, тускло, книжно, отзывается русской гвернанткой. И не приобрести ей блеска.



Это дается или не дается. Вотъ Коля какъ старается, а все-таки комми изъ магазина Дарзанса или Море.

Братъ Марьи Орестовны сошелъ съ Шопена на какую-то сладкую мелодію пѣмца Гумберта, а потомъ заигралъ опереточный мотивъ. Головная боль сестры его утихла. неподвижное положеніе на кушеткѣ усыпляло ее полегоньку. Передъ ея глазами сталъ узкій треугольникъ портьеръ черезъ всю амфиладу комнатъ. Вѣки слипались. Изъ залы долетали, но смягченные коврами и шелкомъ стѣнъ и драпировокъ, фривольные звуки приторнаго Николая Орестовича. Но заснуть его сестрѣ мѣшали два видѣнія:— то спустится ей на грудь пакетъ съ цвѣтными бумагами, то вышлыветъ, точно изъ облака, красивая борода съ свѣтлымъ проборомъ на подбородкѣ.

XXXVI.

— Кто тутъ?—пугливо окликнула Марья Орестовна и открыла глаза.

Надъ ней наклонилась борода, но не та благообразная съ изящнымъ проборомъ, а растущая въ разныя стороны борода мужа. Лицо ея было блѣдно и испуганно.

— Что съ вами-съ?—спросилъ онъ боязливымъ шопотомъ.—Я думалъ—обморокъ.

— Нисколько,—недовольно выговорила она, и подняла голову:—Который часъ?

— Двѣнадцатый.

— Коля играетъ?

— Ушелъ къ себѣ.

— А-а!..

Она потянулась и привстала.

— Какъ свѣжо здѣсь.

— Жарокъ, можетъ, у васъ?—заботливо спросилъ Евлампій Григорьевичъ.

Марья Орестовна встала и зѣвнула. Потомъ ей вдругъ сдѣлалось зябко, тошно, весь будуаръ завертѣлся у ней въ глазахъ. Ее накренило въ сторону. Руки мужа удержали ее.

Какая-то новая, неиспытанная ею боль отозвалась гдѣ-то въ тѣлѣ и заставила опуститься на кушетку. И такъ ей стало все противно, она сама, этотъ будуаръ, весь домъ, цѣлый рядъ дней, сулящихъ ей какую-нибудь тайную неизлѣчимуую болѣзнь, медленную потерю силъ, нескончаемыя боли, кто знаетъ: душевный недугъ... Она



разсердилась на свое малодушіе, но не въ силахъ была встать.

Евлампій Григорьевичъ бросился за горничной. Больную перенесли въ спальню. Мужъ вышелъ и сейчасъ послалъ верхового за докторомъ. Прибѣжалъ братъ, сдѣлалъ глупую мину. Она его прогнала. Въ постели головокруженіе прошло. Она опять забылась.

Прибѣжалъ годовой докторъ, постукалъ грудь, прислушался къ сердцу, ничего не нашелъ подозрительнаго, пошутилъ съ нею и намекнулъ на то, что, быть-можетъ, она въ интересномъ положеніи.

Марья Орестовна сначала приняла это съ гримасой, потомъ, по уходѣ доктора, задумалась и вдругъ радостно вздохнула.

Дѣтей у ней не было! Обуза — дѣти, а безъ нихъ какая тоска, какъ она копается въ самой себѣ... Тогда — кровная, живая цѣль, не нужно изводиться въ ѣдкой и себялюбивой заботѣ о томъ, какъ бы мужа вывести на дворянскую дорогу, тревожиться всякой ничтожной газетной статейкой.

Въ будуарѣ она слышала мужскіе шаги. Тамъ сидѣла ея камеристка.

Она позвонила.

— Берта, кто тамъ?

— Баринъ.

— Попросите его.

Глаза Евлампія Григорьевича загорѣлись въ полутьмѣ спальни. Онъ все еще былъ во фракѣ. Корпусомъ онъ наклонился впередъ и на цыпочкахъ подходилъ къ кровати. Въ спальнѣ жены онъ не былъ больше мѣсяца. Лицо его смутило Марью Орестовну. Оно казалось ей слишкомъ возбужденнымъ.

— Присядьте,—сказала она ему и указала на край постели.

Нѣтовъ присѣлъ.

— Какъ докторъ?—серьезно, почти строго спросилъ онъ.

— Онъ вамъ ничего не сказалъ?

— Пишетъ рецептъ въ кабинетѣ...

— Говорить—ничего... только... быть-можетъ...

Щеки Марьи Орестовны зардѣлись.

— Что же такое-съ?

— Можетъ, я въ такомъ положеніи.



— Съ чего бы это-съ?—вырвалось у него.—Нельзя этому быть...

— Почему же?—веселѣе вымолвила она.

Слова ея заставили его вскочить. Онъ метнулся по комнатѣ, въ уголь, потомъ подошелъ къ кровати, взялся за спинку; ему ударило въ голову.

— Вотъ оно-съ,—вскричалъ онъ,—Божье благословеніе! Отчего же и не намъ-съ?..—Ха-ха!..

Марья Орестовна слѣдила за его глазами. Глаза то вспыхивали, то тускнѣли, руки дрожали. Ее схватило за сердце... Опять внутри у ней что-то кольнуло и запыло.

Этотъ мужъ больно ужъ не милъ ей! Не можетъ онъ быть отцомъ ея ребенка... Она не мать. Да и весь онъ какой-то чудной сегодня. Непріятно на него смотрѣть!..

Горячія, сухія губы прикоснулись къ ея лбу... Ей захотѣлось плакать. Не желанное рожденіе здороваго ребенка представилось ей, а собственная смерть...



Книга третья.

I.

На дворѣ разыгралась вьюга. Рождество черезъ нѣсколько дней. Переулокъ, выходящій на Спиридоновку, заносить съ каждымъ новымъ порывомъ вѣтра. Правый тротуаръ совсѣмъ замело. Газъ трепещетъ и мигаетъ въ обмерзлыхъ фонаряхъ. Низенькіе домики точно кутаются въ бѣлыя простыни. Заборы, покрытые и сверху, и снизу рыхлымъ наметомъ снѣга, ныряютъ въ колеблющемся полусвѣтѣ переулка. Стужа не сильна, но вѣтеръ донимаетъ. Переулокъ пустъ, а часъ еще не поздній, около девяти.

Будка на перекресткѣ примостилась къ одноэтажному деревянному дому, въ шесть оконъ, съ крылечкомъ. Только въ крайнемъ окнѣ виденъ свѣтъ, онъ выходитъ изъ узенькой комнаты. Въ глубинѣ ея поставлена кровать; часть лѣвой стѣны ушла подъ лежанку, темную отъ печки. Горитъ лампочка съ фарфоровымъ пьедесталомъ; отъ нея идетъ копоть; зеленый, сверху обгорѣлый, колпакъ усиливаетъ темноту. На лежанкѣ виднѣтся какая-то груда. Къ окну приставлены пальцы, завернутые въ кисею. Другая стѣна почти вся занята сундукомъ, обитымъ жостью. Тутъ же ютится столикъ съ шитымъ коврикомъ. На немъ мазочка и колокольчикъ. Надъ сундукомъ вся стѣна увѣшана портретами: есть и литографія, и дагеротипы, и черные силуэты. Комнатка оклеена сѣренькими обоями. Въ углахъ отсырѣло и на потолкѣ въ двухъ мѣстахъ пятна.

Комнатка служитъ спальней, рабочей комнатою и го-



стиной двумъ старымъ женщинамъ. Одной уже подъ восемьдесятъ лѣтъ, другой—подъ шестьдесятъ. У лампы нагнулась надъ вязаньемъ высохшая, большого роста, блондинка съ просѣдью. Это меньшая старуха. Ея морщинистое, узкое лицо застыло въ улыбкѣ сжатаго рта, наполовину беззубаго. Лысая около темени голова прикрыта обрывкомъ чернаго кружева. Узкія плечи, костлявый станъ, вналая грудь кутаются въ голубую косынку, завязанную за спиной узломъ. Прозрачныя руки такъ и трясутся отъ усиленнаго движенія длинныхъ спиць.

Она вяжетъ платокъ изъ дымчатой, тонкой шерсти. Почти весь опъ уже связанъ. Клубокъ лежитъ на колѣняхъ въ продолговатой, плоской корзинкѣ. Спицы производятъ частый, чиликающій звукъ. Слышно неровное, учащающееся дыханіе вязальщицы. Губы ея, плотно сжатые, вдругъ раскроются, и она начинаетъ считать про себя. Изрѣдка она оглядывается назадъ. На кровати кто-то перевернулся на бокъ. Можно разглядѣть женскую голову, въ старинномъ чепцѣ, съ оборками, подвязанномъ подъ уши, и короткое плотное тѣло въ кацавейкѣ. На ногахъ лежитъ одѣяло.

Въ комнаткѣ тепло только около печки. Изъ окна, отпотѣлаго и запыленного, дуетъ. Въ полуотворенную, одностворчатую дверку проникаетъ холодный воздухъ. И все-таки душно:—отъ лампы, отъ пыли, отъ разныхъ тряпокъ, натканыхъ здѣсь и тамъ, корѣбковъ и личичковъ. Пахнетъ заднимъ гнилымъ покоемъ дворянскаго домика. На лежанкѣ, на войлокѣ, копошилось что-то въ корзинкѣ, укутанной сверху. Нѣтъ-нѣтъ, да и зашуршитъ, послышится грызенье, точно мышь скребется, а потомъ и пискъ. Изъ двери доносится стукъ маятника дешевыхъ стѣнныхъ часовъ. Съ заворота улицы вѣтеръ ударяетъ въ уголъ дома; старыя бревна трещать; гулъ погоды проносится мимо окна и выдаетъ въ него горсти снѣга.

Но въ тѣсной, заброшенной комнаткѣ, гдѣ коптитъ керосиновая лампочка, идетъ работа съ ранняго утра, часу до перваго ночи. Восьмидесятилѣтняя старуха легла отдохнуть; вечеромъ она не можетъ уже вязать. Руки еще не трясутся, но слеза мочить глазъ и мѣшаетъ видѣть. Ея сожительница видитъ хорошо и очковъ никогда не носила. Она просидитъ такъ еще четыре часа. Чай они только что отпили. Ужинать не будутъ. Та, что работаетъ, постелетъ себѣ на сундукъ.

II.

— Фифина!—послышался съ кровати голосъ старшей старухи, звучный и низкій. Зубы у нея сохранились, и она выговариваетъ твердо.

— Что, маман?—отозвалась блондинка и повернула голову.

Она говоритъ надтреснутымъ высокимъ фальцетомъ. Отъ выпавшихъ зубовъ выходитъ свистъ. Есть наивность въ ея манерѣ говорить. Не трудно признать въ ней старую дѣвушку.

— Погляди на нашихъ тютюкъ... Что-то они пищать. Есть ли у нихъ вода?

— Должна быть, маман...

— Посмотри, cher ange... Къ ночи они что-то безпокойны стали.

Та, кого старуха на кровати назвала Фифиной, оставила работу, положила бережно свое вязанье на столъ и тихо подошла къ лежанкѣ. Она приподняла темный платокъ съ корзины и заглянула туда.

— Что же, cher ange?

— Спать, маман, всѣ вмѣстѣ, прижались.

— Всѣ ли?

— Всѣ.

— Ахъ, милые тютюки!—громко вздохнула старуха на кровати, потомъ зѣвнула и перекрестила ротъ.—Pardon de t'avoir dérangée,—прибавила она хорошимъ французскимъ произношеніемъ.

Опять началось вязанье. Въ корзинѣ, стоявшей на лежанкѣ, жило цѣлое семейство песцовъ. Когда Фифина заглянула туда, они всѣ сбились въ кучу; точно небольшая муфта виднѣлась къ одной сторонѣ ихъ жилища.

Тутъ же положена имъ была ѣда и поставлено блюдечко съ питьемъ. Песцы ищутъ тепла. Вели они себя тихо и зимой все больше спали. Эта семья считалась любимцами старухи. Остальныхъ держали на кухнѣ, на русской печи. Съ нихъ обирали пухъ, чистили его, отдавали прастъ, а сами вязали платки, косынки и цѣпляли на продажу въ Ножовую линію и въ галереи на модные магазины. Цѣны стояли на это вязанье хорошія. Ихъ продавали за привозный товаръ съ макарьевской ярмарки, нижегородскаго и оренбургскаго производства.

Черезъ полчаса старуха спросила съ кровати:



- Мужчины уѣхали?
- Кажется.
- Ника не пришелъ проститься... *Pas de sœur...* Такъ вѣдь, Фифина?
- Не знаю, *тамап*, какъ сказать.
- Ахъ, мать моя... Пора тебѣ свое мнѣніе имѣть.
- *Pourquoi m'édire, тамап?*
- Вѣдь я бабка! Отъ меня какія же могутъ быть тайны?

Опять помолчали. Фифина—настоящее ея имя Фелицата Матвѣевна—поправила фитиль лампы, завязала поплотнѣе узелъ своего голубого платка и расправила пальцы. Они снова запрыгали, передвигая спицами. Узоръ выходилъ правильно, скоро, ни одна петелька не была спущена.

- Фифина!
- Что вамъ угодно, *тамап*?
- Фелицата Матвѣевна звала „*тамап*“ свою приѣмную мать и воспитательницу, Катерину Петровну Засѣкину.
- Тася придетъ?
- Разумѣется, *тамап*...
- Да который часъ?
- Недавно было девять...
- Я бы пошла ее смѣнить... Да *Hélène*... не любить.
- Почему же, *тамап*?
- Ахъ, *mon ange*, будто я не замѣчаю? Что съ нею взять... *une mortel*!
- Да-а,—глубоко и громко вздохнула Фифина.
- Ты и нынче до часу?
- Надо завтра кончить, *тамап*.
- Надо, надо.

Въ разговорѣ старухъ звучала одна и та же нота—подчиненія своей судьбѣ. У Фифины она выходила мельче и простоватѣе; у ея приѣмной матери гораздо сильнѣе и сознательнѣе...

Старуха приподнялась и спустила ноги съ кровати. Ей захотѣлось самой поглядѣть, какъ спятъ ея милые звѣрки, давашіе ей и Фифинѣ заработокъ на лишнюю чашку чаю, на платье и теплые чулки, на маленькій подарочекъ внукѣ.

Она ходила бодро и не горбилась. Небольшого роста, недавно еще полная, Катерина Петровна въ этой затхлой и тѣсной комнатѣ сама держала себя ---чно, хотя по-



сила уже третью зиму все тотъ же шелковый капоть, перешитый два раза.

— Тютеньки!.. спать милые...

Она прозвала псцовъ „тютьками“.

III.

У Катерины Петровны лицо бѣлое, почти не морщинистое, съ крупными чертами. Брови сохранились въ видѣ тонкихъ черточекъ. Изъ-подъ чепца не видно сѣдыхъ волосъ. Глаза уже потухли, а были когда-то нѣжно-голубые. Ротъ не провалился; всѣ передніе зубы налицо и не очень пожелтѣли.

Она постояла надъ своими любимыми „звѣрушками“, покачала головой, прикрыла ихъ и подошла къ столу. Рядомъ темнѣло кожаное вольтеровское кресло. Она сѣла въ него. Фифина пододвинула ей скамейку.

— Вотъ совсѣмъ сна нѣтъ,—заговорила она, прищурившись на свѣтъ лампы.

— Еще рано, шатап...

— Знаю... Да я уже чувствую... ходить бы надо. А гдѣ?.. По залѣ... Темно, да и не люблю... Нѣлене все пугается... боится Богъ знаетъ чего. Прежде Тася играла по вечерамъ. Теперь и этого нѣтъ.

Все это сказано было безъ ворчанія, а такъ, про себя. Старуху сокрушало всего сильнѣе то, что она не можетъ по вечерамъ работать. Фифина привыкла больше слушать, чѣмъ говорить, да и боится напутать въ счетѣ. Читать никому, съ тѣхъ поръ, какъ внучка должна часто быть около матери. Старуха опять вернулась на постель.

Лежить Катерина Петровна на постели, въ темнотѣ, чтобы не раздражать зрѣніе, лежитъ и перебираетъ старыя, долгіе годы... Ей кажется, что она прожила цѣлое столѣтіе; но память у ней свѣтла не по лѣтамъ. Ей прекрасно извѣстно, что родилась она въ началѣ этого вѣка. Дѣнадцатый годъ она отчетливо помнитъ. Родилась она тутъ, въ Москвѣ, у большого Вознесенья. Ихъ дома ужъ давно нѣтъ. Онъ былъ деревянный, на дворѣ, бревенчатый, темный, съ пристройками. Такихъ теперь что-то не видать въ Москвѣ. Помнитъ она, какъ отецъ поступилъ въ ополченіе. И мундиръ его помнитъ. Картузъ съ крестошъ... Вдругъ всполошились. Ихъ съ матерью, двумя своченицами матери и сестренкой,—та послѣ умерла въ чахоткѣ,—отправили на своихъ во Владимірѣ. Оттуда



онѣ попали въ Нижній. Тамъ поселились онѣ противъ большого дома на Покровкѣ, такая есть улица въ Нижнемъ, гдѣ жили институтки съ начальницей, привезенныя изъ Москвы же. Домъ былъ генеральскій. Отставной генералъ изъ „гатчинцевъ“ командовалъ мѣстнымъ ополченіемъ. Мать познакомилась съ его семействомъ. Своя музыка была у нихъ, полонъ домъ дворни, въ нанковыхъ сюртукахъ, лакеи вязали чулки въ передней. Кончилась кампанія, перебрались опять въ Москву. Отецъ вскорѣ умеръ. Много ее учили, и по-англійски; а по тогдашнему времени это было въ рѣдкость. Иогель танцамъ училъ, „Гюлень-Сорша“ также. На клавинодахъ — Фильдъ... Брала она и уроки арфы... Тогда арфа считалась для барышень красивымъ и поэтическимъ инструментомъ. Надо было при этомъ и пѣть. Писать литературнымъ слогомъ выучилась она только по-французски. По-русски всегда дѣлала ошибки. Да русскихъ писемъ и писать не къ кому было. Зато французскіе стихи могла свободно рѣимовать. Позднѣ любила Пушкина и Батюшкова. Но это уже замужемъ, въ Петербургѣ. Просидѣла она въ дѣвницахъ до двадцати одного года. Мать разборчива была, да и она сама не торопилась. Нельзя сказать, чтобы она особенно влюбилась въ Никифора Богдановича Засѣкина. Ее всегда считали безчувственной. Стихи она писала, но увлеченій съ ней что-то не случалось. Онъ ей, однакожъ, понравился... Приѣхавъ изъ Петербурга, всѣ имъ интересовались. Высокій, важный, не старый, живавъ подолгу въ чужихъ краяхъ. А главное—умень... Это она отлично поняла. И свое состояніе. Стало, не зарился на деньги... Какъ ужъ это давно!.. Свадьба, посаженнымъ—главнокомандующій,—такъ по-тогдашнему звали генералъ-губернатора, — въ „Модномъ Журналѣ“ князя Шаликова стихи ей посвящены были въ видѣ романса... И на музыку ихъ положили... Она сама пѣла и аккомпанировала себѣ на арфѣ. Вотъ ея миниатюрный портретъ виситъ на кисти, съ птичкой на плечѣ. Находили, что она похожа была на m-lle Georges, только она меньше ростомъ и цвѣтъ волосъ не тотъ. Гдѣ лежатъ теперь ея кавалеры? Сколько милыхъ людей, изъ иностранной коллегіи, польскихъ, изъ колонновожатыхъ,—нынче они по-другому называются,—профессора инженернаго училища, выписанные изъ Парижа императоромъ... Профессоръ Базень... Что за умница! Другой еще... тоже французскій инже-



неръ... Фамилин не припомнишь... Такого тонкого французского разговора больше она уже не вела и не слышала.

IV.

И четырнадцатое декабря... Точно вчера это было!

Нить воспоминаний Катерины Петровны прервется всегда на чемъ-нибудь... Войдутъ, или встать захочется... Они опять поползутъ вереницей... Безъ нихъ слишкомъ тяжело было бы коротать зимніе вечера.

Дверь скрипнула. Изъ темноты на порогѣ выплыла голова молодой дѣвушки. Блестѣли одни глаза, да бѣлѣлъ лобъ, съ котораго волосы были зачесаны назадъ и схвачены круглой гребенкой.

— Почиваетъ бабушка?—тихо спросила она Фифину, взглянувъ въ комнату.

— Нѣтъ, дружокъ, нѣтъ,—откликнулась обрадованнымъ голосомъ Катерина Петровна.

— Чай кушали?

Внучка подскочила къ кровати и поцѣловала старуху въ лобъ. Свѣтъ настолько падалъ на молодую дѣвушку, чтоставлялъ ея маленькую, изящную фигуру, въ сѣромъ платьѣ, съ косынкой на шеѣ. Талія перетянута у ней кожанымъ кушакомъ. Каблуки ботинокъ производятъ легкій стукъ. Она подняла голову, обернулась и спросила Фифину:

— Хотите, почитаю?..

Лицо ея теперь выдѣлялось яснѣе. Оно круглое, тонкій подбородокъ удлиняетъ его. На щекахъ по ямочкѣ. Глаза полузакрыты, смѣются; по могутъ сильно раскрываться, и тогда выраженіе лица дѣлается серьезнымъ и даже энергичнымъ. Глаза эти очень темные, почти черные, при русыхъ волосахъ, распущенныхъ въ концѣ и перехваченныхъ у затылка черепаховой застѣжкой.

Ее звали Тася—уменьшительное отъ Таисіи. Это малодворянское имя дали ей по прихоти отца, который „открылъ“ его въ святцахъ.

Тася подошла скорыми шажками и къ Фифинѣ, потрепала ее по плечу, нагнулась къ вязанью.

— Совсѣмъ мало осталось!—сказала она теплымъ, контрастнымъ голосомъ.

— Завтра кончу,—сообщила Фифина.

— Почитать вамъ, бабушка?



- Ты что, мой дружокъ, теперь-то дѣлала?
- Читала... Маман задремала только сейчасъ.
- Отдохни... Головка у тебя заболить здѣсь...
- Это отчего?
- Отъ ламны.
- Вотъ еще!
- Посиди у меня на кровати...

Тася сѣла на краю, положила лѣвую руку на плечо бабушки и нагнула къ ней свое забавное лицо. На душѣ у старухи сейчасъ же стало свѣтлѣть.

— Вамъ холодно, бабушка, милая,—говорила Тася.— Такой у насъ домъ смѣшной—вездѣ дуетъ. Въ залѣ хоть таракановъ морозъ.

— Фи!..

Старуха покачала головой и мягко, укоризненно усмѣхнулась.

— Простите, бабушка, за слово... нецензурное!..

И она звонко расхохоталась. Ея серебристый смѣхъ прозвучалъ ясной струей вдоль старушечьей комнаты и замеръ.

Бабушка внутренне сокрушалась, что ея Тася возьметъ да и скажетъ иногда словечко, какого въ ея время дѣвушкамъ немислимо было выговорить вслухъ... Или вотъ такую поговорку о тараканахъ... Но какъ тутъ быть?.. Кто ее воспитывалъ? И учили-то съ грѣхомъ пополамъ... Слава Богу, головка-то у ней свѣтлая... А что ее ждетъ? Куда идти, когда все рухнетъ?

Глаза старухи наполнились слезами. Она не могла приласкать этой „дѣвочки“, не огорчившись за нее глубоко. А Катерина Петровна не считала себя чувствительной... Вотъ вѣдь старшая ея внука, Ляля, не выдержала, погибла для нея... и для всѣхъ... Развѣ не погибнуть—въ монахины пойти, да еще въ какую-то Дивеевскую пустынь, въ лѣсъ, конопляное масличе ѣсть съ мужичками, грубыми, пожалуй пьяными?.. Ходить по городамъ заставать за подаваніемъ... во всѣ трактиры, кабаки, харчевни... Шлепай по грязи, выноси ругательства отъ каждаго пьянаго дворника!.. Внука Засѣкиной!.. Катерина Петровна не терпѣла ни монахинь, ни поповъ, ни богомолій, никакого ханжества. Не такія книжки она читала когда-то... Она давно привыкла молчать объ этомъ... Но Ляля умомъ не вышла... Можетъ, и лучше, что она теперь тамъ; а Тася? Что ее ждетъ?..



V.

— Нѣтъ, дружокъ,—отвѣтила Катерина Петровна,—не труди глазки. Ты посиди съ нами, а тамъ и поди къ себѣ. Мать-то совсѣмъ уложила?

— Задремала въ платьѣ, бабушка... Раздѣнемъ позднѣе.

— Не дозоешься, я думаю, этой принцессы-то.

Катерина Петровна тихо засмѣялась.

— Пелагеи?

— Да...

— Она больше въ кухнѣ пребываетъ... Дуняша тамъ сидитъ за дверью... Все носомъ клюетъ...

И слово „клюетъ“ не такъ чтобы очень по вкусу Катерины Петровны, для барышни, но она пропустила его.

— Братъ уѣхалъ?

— Да, послѣ папы.

— Куда, не говорилъ?

— Онъ зашелъ на минутку къ татамъ. Ника со мной мало говорить, бабушка...

— Разумѣется...

— Что жъ тутъ мудренаго?.. Я для него глупа...

— Почему же это?

— Такъ... Скучно ему... Онъ собирается послѣзавтра...

— Слышишь, Фифина?

— Слышу, татамъ.

— Много пожилъ...

— Да что же ему здѣсь дѣлать?—съ живостью замѣтила Тася.

— Ахъ, милая ты моя дурочка, добра ты очень... Все выгородить желаешь братцевъ... А выгородить-то ихъ трудно, другъ мой... И не слѣдуетъ... Дурныхъ сыновей нельзя оправдывать... И всегда скажу—ни одинъ изъ нихъ не сумѣлъ, да и не хотѣлъ отплатить хоть малостию за все, что для нихъ дѣлали... Носились съ ними, носились... Какихъ денегъ они стоили... Перевели ихъ въ первѣйшій полкъ... Затѣмъ только, чтобъ фамилію свою...

— Бабушка, голубчикъ,—зажала ротъ старухѣ Тася, дѣлая ее,—что старое поминать!..

— Ну хорошо, ну хорошо!.. Ты не желаешь... Будь по-твоему.

Старушка прижала къ себѣ Тасю и долго держала ее на груди.



— Какъ ваши тютки?—спросила дѣвушка и подошла къ лежанкѣ.

— Спать,—сказала Фифина.

— А-а,—протянула Тася.—Я пойду, посмотрю, не започивала ли татапа совершенно... Докторъ говоритъ, чтобы ее укладывать... Я бы надѣла халатъ...

— Надѣнь,—откликнулась Катерина Петровна.

— Еще не поздно... Не заѣхалъ бы кто-нибудь.

— Кто же это?—спросила Фифина.

— Андрюша Палтусовъ.

— Есть ему время, дружокъ,—замѣтила бабушка.—Il est dans les affaires.

— А мнѣ бы очень хотѣлось поговорить съ нимъ.

— О чемъ это?

— Послѣ скажу... Онъ могъ бы быть полезенъ папѣ... Не такъ ли, бабусекъ милый?

Тася опустила на колѣни у кровати и глядѣла въ глаза старушкѣ.

— Никто нынче для другихъ не живетъ. На родственное чувство нельзя рассчитывать.

— Нельзя?—дурачливо переспросила Тася.

— Нельзя, дурочка, да и сердиться нечего... Всѣ обѣд-
пали, а то и совсѣмъ разорились... Связей ни у кого нѣтъ
прежнихъ. Надо по-другому себѣ дорогу пролагать... Гдѣ
же тутъ рассчитывать на родственныя чувства?.. А вотъ
ты мнѣ что скажи,—старушка понизила голосъ,—далъ ли
что Ника?

— Кому, бабушка?

— Ну, отцу, что ли? Вѣдь доктору сколько времени
не плачено?

— Больше мѣсяца.

— Ничего не далъ?

— Я не спрашивала...

— Да куда отецъ уѣхалъ?..

— Кажется, въ клубъ!..

— А то куда же?..

Катерина Петровна не договорила.

— Я, бабушка,—начала Тася, низко наклоняясь къ
ней,—я съ Пикой поговорю...

— Поговори.

— Только я не надѣюсь... Въ его глазахъ я такъ...
дѣвчонка... Немного поважнѣе Дуняши...

— Поважнѣе!..—повторила Катерина Петровна.



Слово ей очень не понравилось.

— Можетъ, сегодня... захвачу его...

Тася встала и поправила волосы, выбившіеся у ней сзади.

— Иди, иди,—сказала Катерина Петровна, вставши съ постели.—Одна про всѣхъ... Антигона...

— Почему Антигона, бабушка?

— А ты видно не знаешь, кто такое Антигона была?

— Какъ же не знать? Знаю. Эдипъ и Антигона.

— Семенову я видѣла... Помнишь, Фифина?

— Помню, татап.

— Грамотѣ плохо знала. А какой талантъ...

Старушка встала, выпрямилась, кацавейка ея распахнулась. Правую руку она подняла, точно хотѣла показать какой-то жестъ.

— Антигона! ха-ха!..

Тася засмѣялась опять такъ же звонко, какъ въ первый разъ.

— Что смѣешься?.. Ты насъ поведешь всѣхъ... калѣкъ.. Если во-время не приберетъ могилка...

— Полноте, полноте, бабушка! Такъ не надо!—остановила ее Тася, еще разъ поцѣловала и выбѣжала изъ комнаты.

Обѣ старухи переглянулись. Фифина снова опустила голову, и руки ея замелькали. Катерина Петровна медленно прошла изъ угла въ уголъ, раза два вздохнула и легла на кровать.

— Фифина!

— Что вамъ угодно, татап?

— Quel avenir? Что будетъ съ нею? Страшно! Пока мы бродимъ—это наше дитя... Такъ ли?

— Конечно, татап.

Катерина Петровна смолкла и недвижно лежала на кровати.

VI.

Судьба Таси сокрушаетъ ее. А давно ли гремѣло у Долгушинныхъ? Умирали дѣти Катерины Петровны... Только одна дочь досрела до семнадцати лѣтъ и бойко выскочила замужъ. Такъ это скоро случилось, что мать не успѣла и привыкнуть къ наружности жениха. Отца уже не было въ живыхъ. Пенсія сй онъ не оставилъ, но состояніе удвоилъ... Любилъ деньги, копилъ... Въ ломбард-



ныхъ билетахъ лежало больше ста тысячъ на ассигнаціи. И женихъ Елены имѣлъ отличное состояніе. Въ полку служилъ въ самомъ видномъ. Скоро раскусила его Катерина Петровна. Но отказать не отказала. И безъ того начались съ дочерью припадки... Любовь такая, что весь Петербургъ кричалъ. Un beau brun! Усы, глаза на выкатѣ, плечи, танцевалъ мазурку лучше, чѣмъ въ ея время Иванъ Ивановичъ Сосницкій въ русскомъ театрѣ. Стали жить вмѣстѣ. Домъ въ Шпалерной, дача на Петергофской дорогѣ, вояжи, въ двухъ деревняхъ какихъ-какихъ затѣй не было... А тамъ, въ пять лѣтъ, не больше, залогъ, наличныя деньги прожиты и ея часть захватили. Дала. Позволила и свою долю заложить. Пошли дѣти, сначала мальчики. Въ домѣ что-то въ родѣ трактира... Военные, товарищи зятя, обѣды на двадцать человѣкъ, игра, туалеты и мотовство дѣтей, четырнадцать лошадей на конюшнѣ. Все это держалось въ эмансипаціи и разомъ рухнуло. Зять вышелъ въ отставку... Пришлось подвести итоги. Крестьянскій выкупъ пошелъ на долги. Земля осталась кое-какая... и ту продали. Вотъ тогда не надо было ей жалѣть ни дочери, ни зятя, подумать о Тасѣ. Разжалобили... И она осталась ни съ чѣмъ. Въ деревнюшкѣ, чуть не въ избѣ, прожила съ Фифиной пять зимъ. Схватился зять за службу... Дотянулъ въ губерніи до полковника. Сыновей просили выйти изъ полка. Меньшій по службѣ наскандалилъ, старшій и того хуже. Товарищи узнали, что онъ живетъ насчетъ какой-то барыни... И въ карты нечисто играетъ. Потомъ вдругъ огромное наслѣдство съ ея стороны... Наслѣдница дочь. Переселились въ Москву. Зять вышелъ въ отставку съ чиномъ генерала, купили домъ, зажили опять, пустились въ аферы... Какой-то заводъ, компаньономъ въ подрядѣ. Проживали до пятидесяти тысячъ въ годъ. И разомъ „въ трубу“! Старушка узнала силу этого слова. Имѣнье продали!.. Деньги всѣ ушли!.. Все, все... Остались чуть не на улицѣ... У нея же выклянчили послѣднюю ея землишку. Сыновья ничего не даютъ... Меньшій Петя живетъ на содержаніи у жены, пьяный, глупый; старшій Ника бросить раза два въ годъ по три, по четыре радужныхъ бумажки... Вотъ и этотъ домишко скоро пойдетъ подъ молотокъ. Платить проценты не изъ чего. А лошадей держать, двухъ клячь, кучера, дворника, мальчика, повара, двухъ дѣвушекъ. И дочь ея послѣ всякихъ безумствъ, транжирства, увлеченій италъ-

япцами, скрипачами, фокусниками, спиритами, послѣ... всякихъ юнкеровъ, состоявшихъ при ней, пока у ней были деньги, — заживо умираетъ: ноги отнялись... Она только хнычетъ, капризничаетъ, тяготится, требуетъ расходовъ. Не жаль ея Катеринѣ Петровнѣ, хотя она и родная дочь. Она видитъ передъ собою живое наказаніе. И сама чувствуетъ въ лицѣ этой дочери, какъ плохо она ее воспитала.

Но жалобами не искупишь ничего!.. И виновата ли она?.. Гибнетъ цѣлый родъ! Все покачнулось, чѣмъ держалось дворянство: хорошій тонъ, строгіе нравы, или хоть расчетъ, страхъ, исканіе почета и добраго имени... распалось или сгнило... Отецъ, мать, сыновья... безтолочь, лѣнь, дѣтское тщеславіе, грязь, потеря всякой чести... Такъ, видно, тому слѣдовало быть... Написано свыше...

Вотъ онѣ съ Фифиной не мѣняются... Но долго ли имъ самимъ вязать свою песцовую шерсть?.. Не ждетъ ли ихъ богадѣльня не нынче—завтра?.. Да и въ богадѣльню-то не попадешь безъ просьбъ, безъ протекцій... У купчихки какого-нибудь надо кланяться!

Глубоко вздохнула Катерина Петровна. Лицо ея Таси выглянуло передъ ней; а она лежитъ съ закрытыми глазами...

— Антигона,—прошентала старуха и задремала.

VII.

Тася вернулась въ спальню матери. Комната выходила на балконъ, въ палисадникъ. Изъ широкаго итальянскаго окна вѣяло холодомъ. Свѣча, въ низкомъ подсвѣчникѣ, съ бѣлымъ абажуромъ, стояла одиноко на овальномъ столѣ у ширмъ краснаго дерева; за ними помещалась кровать. Она заглянула за ширмы.

Въ креслѣ, свѣсивъ голову на грудь, спала ея мать, — Елена Никифоровна Долгушина, закутанная по поясъ во фланелевое одѣяло. Отекшее землистое лицо съ перекошеннымъ ртомъ и закрытыми глазами смотрѣло глупо и мертвенно. На головѣ надѣта была вязаная, изъ сѣраго луха, косынка. Обрюзглое и сырое тѣло чувствовалось сквозь шерстяной капоть въ цвѣтахъ и яркихъ полоскахъ по темному фону. Она сильно всхрипывала.

Дѣвушка взяла мать за одно плечо и громко шепнула.

— Лягъ поживать, тапан.



Глаза Долгушиной оставались закрытыми. Она что-то пробормотала.

— Почивать пора, матан!.. Дуняша!—крикнула Тася за дверь, гдѣ, въ темномъ углу на сундукѣ, спала дѣвчона.

Дуняша вскочила и со сна влетѣла въ спальню, ничего не видя и не понимая. Ея ситцевая пелеринка вся сбилась, одна косица расплелась.

— Помоги уложить барыню,—сказала ей Тася дѣловымъ тономъ.

— Пора почивать,—повторила Тася, вернувшись къ матери, черпѣливымъ голосомъ.

Елена Никифоровна подняла голову и взялась за ручку кресла.

— Зачѣмъ ты меня будишь?—недовольно спросила она дочь, не совсѣмъ твердо выговаривая слова.—Я такъ хорошо спала!

На глаза ея надвигались плохо поднимающіяся вѣки. Она была точно въ ползузубытьѣ.

— Докторъ приказалъ, ты знаешь!

— Докторъ,—протянула Елена Никифоровна.—Оставь меня... Ай!..

Ее всю передернуло. Лѣвая рука сорвала съ ноги одѣяло и схватилась за колѣно.

— Опять невралгія?—спросила Тася.

Лобъ ея наморщился.

— Впрыснуть!—проныла Долгушина.

— Такъ часто?!

— Впрыснуть,—почти захныкала мать и начала метаться на креслѣ.

— Помилуй, матан, ты пріучилась... Это очень вредно.

— Подай! Я сама!.. Подай! Дуняша, подай мнѣ машинку.

Она не договорила и начала томительно мычать. Тася знала, что боли не такъ сильны, а просто ея матери хочется морфію. Почти каждый вечеръ повторялась та же сцена. Приходилось все-таки уступать.

Елена Никифоровна металась и ныла. Тасѣ стало страшно. Она взяла съ ночного столика пузырекъ съ иглой для впрыскиванія морфина, и очень ловко впустила ей въ погу нѣсколько капель.

Оханье и нытье мгновенно смолкли.

— Quel délice!..—восторженно выговорила Елена Ники-

форовна.—Я не могу быть безъ морфія, не могу... За что ты меня заставляешь мучиться?..

Тася ничего не отвѣчала. Съ матерью она держалась, какъ сидѣлка. Она опять повторила ей, что надо ложиться въ постель.

Съ помощью Дуняши она перевела мать, подъ руки, съ кресла на кровать, раздѣла и уложила. Послѣ выпрыскиванія наступало всегда забытье, иногда съ легкимъ бредомъ. Мать не спросила ни объ отцѣ, ни о братѣ Таси. Она только днемъ, около полудня, дѣлалась говорлива. И то больше жаловалась или болтала про молодые года, про Петербургъ и своего „сынка“ — кавалерійскаго юнкера, котораго Тася помнила очень хорошо. При этихъ воспоминаніяхъ Тасѣ дѣлалось не по себѣ. Она знала и то, что еще годъ назадъ, предъ тѣмъ, какъ начали отниматься ноги у Елены Никифоровны, мать безобразно притиралась, завивала волосы на лбу, пѣла фистулой, восторгалась оперными итальянцами, накупала ихъ портретовъ у Даццаро и писала имъ записки; а у заѣзжаго испанскаго скрипача поцѣловала руку, когда тотъ въ благодушномъ собраніи сходилъ съ эстрады. Да и то ли еще знала Тася! И не могла уберечься отъ такого знанія...

Дуняша получила нѣсколько приказаній, но по ея глазамъ было видно, что она все еще не очнулась. Тасѣ даже смѣшно стало глядѣть на усилія дѣвочки держать глаза открытыми.

— Ну, ступай и позови Пелагею,—сказала она въ дверяхъ,—а на тебя надежда плоха.

— Сейчасъ, барышня,—прокартавила Дуняша, и такъ, какъ была въ ситцевомъ платьѣ, побѣжала въ кухню, черезъ дворъ.

VIII.

Надо было обойти остальные комнаты, посмотрѣть, заперта ли дверь въ передней. Мальчика Мити навѣрно нѣтъ. Онъ играетъ на гитарѣ въ кухнѣ, въ обществѣ поваря и горничной. А слѣдуетъ приготовить закусить отцу. Онъ въ клубѣ ужинаетъ не всегда,—когда деньги есть, а въ долгъ ему больше не вѣрять... Закуска ставится въ десять часовъ въ залѣ, на ломберномъ столѣ. Мальчикъ долженъ постлать потомъ отцу и брату, одному въ кабинетъ, другому въ гостиной.

Тася завернула изъ коридорчика палѣво, въ свою ком-



патку. Тамъ стояла темнота. Она зажгла свѣчку, пошаривъ рукой на столикъ у кровати. У ней было почище, чѣмъ въ другихъ женскихъ комнатахъ, но такъ же холодно и черезъ день непременно угаръ. У окна письменный столикъ, остатокъ прежней жизни, съ синимъ, теперь обтертымъ бархатомъ и рѣзбой изъ цѣльнаго орѣха. Есть у ней и этажерка съ книгами, и швейная машинка, ручная, въ пятнадцать рублей... Да теперь и шить-то некогда. Только въ этой комнатѣ она совсѣмъ дома. Здѣсь она можетъ уходить въ себя, задавать себѣ разные вопросы и думать... Тутъ же и всплакнетъ. А больше ни при комъ. Даже и съ бабушкой—никогда!

Почитать старушкамъ? Она предлагала. Онѣ долго просидятъ. А ей надо дожидаться брата Нику. Ника придетъ поздно, часу во второмъ, а то и позднѣе. Днемъ она никакъ его не схватить. И смѣлости у нея нѣтъ настоящей, а ночью, когда всѣ уснутъ, вотъ тутъ-то она и заговорить съ нимъ, какъ должно.

Книжку Тася взяла съ этажерки. Это былъ томъ сочиненій Островскаго. Она нагнулась надъ нимъ, просмотрѣла оглавленіе и заложила ленточкой на комедіи „Шутники“. И старухамъ будетъ пріятно, и она прочтетъ лишній разъ Вѣрочку. Можетъ-быть, сегодня у ней выйдетъ гораздо лучше.

Со свѣчей она прошла въ кабинетъ отца, гдѣ пахло жуковскимъ табакомъ. На диванѣ еще не было постлано. Въ залѣ не стояло закуски. Въ гостиной тоже не устроили спанья для Ники. Она дождалась прихода горничной Целагеи—неряшливой и сонной брюнетки, послала Дуняшу за мальчикомъ Митей и всѣмъ распорядилась.

Старухи ждали ее. Она принесла книжку и присѣла къ лампѣ. Катерина Петровна уже два раза вставала и прохаживалась по комнатѣ до прихода Таси.

— Что такое, дружокъ?..—спросила она.

— Пьесу, бабушка... Островскаго.

— Любишь ты этого Островскаго. А прежде объ немъ не слыхать было. Хмѣльницкій—вотъ былъ сочинитель...

— Я знаю, бабушка.

— Что знаешь-то?

— Волшебные замки.

— Да, да... Альнаскарровъ. Въ благородныхъ спектакляхъ все играли... И въ Петербургѣ... и здѣсь... помню.

— Вы послушайте, обратилась Тася больше къ Фифинѣ,—какъ у меня выйдетъ роль Вѣрочки.

— Это дочь старичка?—спросила Фифина.—Ты намъ читала.

— Да,—тихо отвѣтила Тася.—Давно... Бабушка не узнаетъ.

— Что, что?—весело спросила старуха.

— Ничего, бабушка,—подмигнула Тася и начала читать пьмена дѣйствующихъ лицъ.

— Что это за фамилія нынче,—разсуждала вполголоса Катерина Петровна, лежа на кровати.

А того не думала бабушка, что она первая заронила въ Тасю театральную искру... Сколько разъ та, маленькой дѣвчуркой, слыхала отъ бабушки длинные рассказы про театръ, про Семенову, Сосницкаго, Каратыгина, Брянскаго, Яковлева, мужа и жену Дюръ... Катерина Петровна любила ѣздить и въ русскій театръ. Тогда и дамы „хорошаго круга“ посѣщали представленія новыхъ пьесъ. И про французовъ шли такіе же рассказы. Всѣхъ ихъ знала Тася поименно. Была *madame Allan*, Плесси, а изъ мужчинъ Лаферьеръ, давно, когда еще мать Таси ходила въ панталончикахъ. И про московскій театръ охотно говорила Катерина Петровна. Отъ нея Тася узнала, что „Петровский“ театръ—такъ старуха называетъ до сихъ поръ Большой театръ—держалъ какой-то Медоксъ, какъ у него давали оперу „Русалка“. Бабушка иногда напѣвала арію:

„Приди въ чертогъ златой,
О, князь мой дорогой“,—

а потомъ уморительно дѣлала губами и повторяла стишки про какихъ-то „Тарабариковъ“ и „Кифариковъ“. Театръ Медокса сгорѣлъ. И опять горѣлъ тотъ же театръ недавно, передъ крымской войной, когда Таси не было на свѣтѣ. Еще простой плотникъ отличился, спасъ танцовщицу съ крыши, медаль ему повѣсили, и пьесу давали, гдѣ онъ выставленъ героемъ. Бабушка хвалила Щепкина, Рѣпину, знакома была съ Верстовскимъ. Онъ ей писалъ лоты въ альбомъ, еще въ Петербургѣ. И кто-то тутъ же, рядомъ, чернымъ карандашомъ нарисовалъ сго за фортепьянами... Знала Тася отъ бабушки, что въ афишахъ печатали, съ какого подъѣзда надо подъѣзжать къ театру и съ какимъ „лажемъ“ будутъ приниматься ассигнаціи. Она и афишу такую видѣла.

И незамѣтно театральная зала получила для Таси осо-

бое обаяніе. Она любила все въ театрѣ, какой бы онъ ни былъ: большой и роскошный или маленькій, вонъ какъ въ домѣ Секретарева или Нѣмчинова. Ее охватывала пріятная дрожь отъ запаха коридоровъ, газа, отъ вида капеллинеровъ, отъ люстры, занавѣса... Три раза она была на репетиціяхъ благотворительныхъ спектаклей. Одинъ разъ играла въ комедіи: „До поры—до времени“, ужасно сбѣла передъ выходомъ; но на подмосткахъ—„точно ее носили по воздуху ангелы“. Объ ней явилась хвалебная статейка въ газетахъ. Всякой книгѣ, роману, статьѣ она предпочитала пьесу, русскую или французскую. Особенно такую, гдѣ есть „хорошая“ женская роль.

Играла въ Москвѣ въ первый разъ Росси. Мать еще тогда выѣзжала. Они абонировались. Мать восторгалась его голосомъ, лицомъ, покупала карточки, ѣздила представляться ему. Тася не пила и не ѣла послѣ „Лира“, „Макбета“, „Ричарда III“. Ей минутами казалось, что стоить только захотѣть и создашь „Дѣву Орлеанскую“, „Марію Стюартъ“, „Василису Мелентьеву“. Она запира-лась по ночамъ и громкимъ шопотомъ читала монологи. Но трагедія не шла. Разъ она бросила взглядъ на себя въ зеркало и начала хохотать. Такъ смѣшна она самой себѣ показалась въ роли Марины у фонтана, въ діалогѣ съ Димитріемъ. Тутъ она почувствовала, что ей надо изучать, о чемъ она можетъ мечтать... Но учиться? У кого? Въ консерваторіи?.. Гдѣ же!.. Она одна во всемъ домѣ... Какъ мать бросить?.. Да и средства нужны. Теперь о платѣ за ученіе нечего и думать. Есть двѣ старушки, имъ можно каждый вечеръ читать и слушать самое себя. У бабушки свои взгляды. Она не понимаетъ теперешняго театра. Фифина все молчитъ...

IX.

Тася дошла до того мѣста въ комедіи „Шутники“, когда отецъ зоветъ дочь, и Вѣрочка выглядываетъ изъ окна. Выглянуть неоткуда было Тасѣ. Она вытянула шею и сдѣлала милую мордочку. Фифина поглядѣла на нее въ эту минуту и улыбнулась.

— Такъ?—радостно спросила Тася.

— Не знаю.

— Ахъ, тебѣ,—она иногда называла ее тетей,—что это вы такая? Никогда отъ васъ ничего не добьешься.

— Что такое?—вмѣшалась бабушка.



— Да вот я выглянула въ окно, спрашиваю Фелицату Матвѣевну—похоже ли, какое выраженіе?

— Да откуда же ты выглянула-то?—весело спросила Катерина Петровна.

— Ахъ, бабушка, какая вы, право... Изъ окна. Направо отъ зрителей окно. Ну, Вѣрочка и выглядываетъ изъ него.

— Хорошо,—ласково выговорила Фифина.

Она знала, что у Таси есть страсть къ театру, но помочь ей совѣтомъ она не могла. Для нея все было „хорошо“.

Тася продолжала чтеніе. Она мѣняла голосъ, за мужчинъ говорила низкимъ тономъ, старалась припомнить, какъ произносилъ Шумскій. И его она видѣла въ „Шутникахъ“ дѣвочкой лѣтъ тринадцати. Только она и жила интересомъ и содержаніемъ пьесы. Фифина считала про себя свои петли. Бабушка дремала. Нѣтъ, нѣтъ, да и пробормочетъ:

— Continue, mon bijou...

Но Тасѣ ловко. Она привыкла къ этой безмолвной аудитории. Точно она одна въ комнатѣ. Предъ глазами ея театральная рампа, рожки газа, проволока, будка суфлера. Она бѣгаетъ по сценѣ, дурачится, смѣется, ласкается старому отцу. Потомъ она видитъ, какъ на-яву, сцену подъ воротами Китай-города. Это не она, а бѣдный чиновникъ, страстно мечтающій о томъ, какъ бы ему чѣмъ-нибудь скрасить жизнь своей доченьки. Вотъ онъ нашелъ пакетъ съ пятью печатами. Какъ онъ схватилъ его... Тася чуть не уронила лампу.

— Что, что такое?—просыпается бабушка.

Фифина отвѣчаетъ своимъ неизмѣннымъ, простоватымъ тономъ:

— Ничего, маман.

Тасѣ ужасно весело. Но тотчасъ же затѣмъ охватываетъ ее горькая обида этого жалкаго Обрѣшенова. Она не можетъ продолжать. Въ горлѣ у ней слезы. Губы ея сводитъ кривизна отъ усилія не расплакаться.

Бабушка громко всхрипнула. Фифина какъ будто понимаетъ. Въ послѣднемъ актѣ надо Вѣрочкѣ пройтись по сценѣ свѣтлымъ лучомъ. Тася не спрашиваетъ самое себя: удастся ей это или нѣтъ? Она играетъ въ полную игру. Все вобрала она въ себя, всѣ чувства дѣйствующихъ лицъ. Ея сердце и болитъ, и радуется, и наполняется надеж-

дой, вѣрой въ свою молодость. Если бъ вотъ такъ ей сыграть на настоящей сценѣ въ Маломъ театрѣ!.. Господи!

Тася закрыла глаза. Книга выпала у ней изъ рукъ.

— Все?—невозмутимо спросила Фифина.

— Да,—чуть слышно выговорила Тася.

Бабушка опять проснулась.

— Continue,—шепчетъ она,—continue, chérie.

— Она кончила, тамап,—докладываетъ Фифина.

— А?.. Ужъ конецъ!.. Сколько же тутъ актовъ?.. Пять?..

Тася молчитъ. Она сидитъ съ закрытыми глазами. Ей не хочется выходить изъ своего мірка. Передъ ней все еще движутся живые люди, съ такими точно лицами, платьемъ, прическами, какія она видѣла въ театрѣ, дѣтъ больше восьми назадъ.

Вѣрочку играла тогда ея любимая актриса...

Но было ли у ней столько чувства и огня, и веселости, какъ у Таси, вотъ сейчасъ?.. Кто рѣшить, у кого справиться?

— Мерсі, дружокъ, мерсі!..—бормотала Катерина Петровна.—Сна не было... а теперь... я чувствую, что засну...

— Бабушка милая! за откровенность спасибо! Почивайте...

— А который часъ?

— Скоро двѣнадцатъ,—сказала увѣренно Фифина.

— Пора и спать,—выговорила, зѣвая, Катерина Петровна.—Ты кончила, Фифина?

— Я сейчасъ постелю, тамап.

— Дайте я!—вызвалась Тася.

— Зачѣмъ это, дружокъ... Ты столько читала, трудилась!..

— Мы сейчасъ!

Онѣ поднялись вмѣстѣ съ Фифиной, принесли изъ темной каморки тюфячокъ, простыню, двѣ подушки и вазаное полосатое одѣяло. Старухи никогда не звали горничныхъ и дѣлали все сами. Постель была готова въ двѣ-три минуты. Тася простилась съ бабушкой, пожала руку Фифинѣ и спросила, стоя въ двери:

— Что скажете про Вѣрочку?

— Мастерница ты читать... Что же она, подъ конецъ-то умираетъ?

Тася расхохоталась.

— Нѣтъ, бабушка! Это не драма...



— А мнѣ казалось... къ этому идти дѣло.

Старуха начала тихо смѣяться и сдѣлала рукой внячкѣ.
„Сердиться на нихъ нельзя... Надо читать вслухъ... это главное... А потомъ?“

Тася остановилась со свѣчой въ рукахъ въ залѣ, гдѣ на ломберномъ столѣ виднѣлся подносъ съ графинчикомъ водки, бутылкой вина и закуской. Она поставила свѣчку на піанино... Давно она не играетъ... И музыку она любила, увлекалась одно время опереткой, разучивала цѣлыя партитуры. Но это не долго длилось. У ней голосъ, когда она запоетъ, жидкій, смѣшной. Да и далеко ушла та полоса ея дѣвичьей жизни, когда она видѣла себя въ опереточной примадоннѣ. Теперь она знаетъ, что такое она будетъ на подмосткахъ, если когда-нибудь попадетъ туда.

Въ залѣ очень свѣжо. Тася вернулась къ себѣ, накинула на плечи короткое, темное пальтецо и начала ходить около піанино. Изъ передней раздалось сопѣнье мальчика. Мать спитъ послѣ приѣма морфія. Не надо ей давать его, а какъ откажешь? Еще мѣсяцъ, и это превратится въ страсть, въ родъ запоя... Такие случаи бывають... И докторъ ей намекалъ... Все равно умирать...

Тася поймала себя на этой мысли—и вспыхнула. Кому она желала смерти? Родной матери! Ужели она дошла до такого бездушія? Бездушіе ли это? Докторъ не скрываетъ, что ноги совсѣмъ отнянуты, а тамъ рука, языкъ... вѣдь это ужасно!.. Не лучше ли сразу?.. Жизнь уходитъ вездѣ—и въ спальнѣ матери, и въ комнатѣ старухъ. И отецъ доѣдаетъ послѣднія крохи... И братья... Оба „жертвецы“!..

Она давно зоветъ ихъ такъ. Сегодня она попробуетъ... Но вѣдь спасти никто не можетъ все семейство? Дѣло идетъ о кускѣ, о томъ, чтобы дотянуть... Дотянуть!..

Въ передней вздрогнуть надтреснутый колокольчикъ.

Х.

Мальчикъ не сразу услышалъ звонокъ. Тася растолкала его и осмотрѣла закуску, состоявшую изъ селедки и кусочка икры. Хлѣбъ былъ одинъ черный.

Въ залу вошелъ ея отецъ. Валентину Валентиновичу Долгушину минуло пятьдесятъ-девять лѣтъ. Онъ одѣвался отставнымъ военнымъ генераломъ. Росту онъ средняго, съ четырехугольной головой, наполовину лысой. Лицо его пожелтѣло. Подъ глазами лежали мѣшки и зелено-

ватныя полосы. Широкия бавенбарды торчали щетками. И безъ того густыя брови онъ хмурилъ и надувалъ губы. Въ глазахъ перебѣгаль безпокойный огонекъ... Его генеральскій сюртукъ спереди, у петель, сильно лоснился. Шноръ онъ уже не носилъ. Животъ его выдавался впередъ и одну ногу онъ слегка волочилъ. Его пришибъ, года четыре назадъ, первый ударъ.

— Еще не спишь?—спросилъ онъ дочь, и бросилъ картузъ на тотъ столъ, гдѣ стояла закуска. — *Et maman?.. Comment va-t-elle?..*

Этотъ вопросъ задавалъ онъ каждый разъ, непремѣнно по-французски, по въ спальню жены входилъ рѣдко... Цѣлый день онъ все ѣздилъ по городу и домой возвращался только обѣдать и спать.

— Былъ маленькій припадокъ,—отвѣтила Тася.

— *Que faire!*

Валентинъ Валентиновичъ издалъ особый звукъ своими выпяченными губами, налилъ себѣ водки, отломилъ корочку чернаго хлѣба и сильно наморщилъ переносицу, прежде чѣмъ проглотить.

Потомъ онъ присѣлъ къ столу и началъ ковырять икру.

— *Nica n'est pas rentré?*

— Non, papa...

Съ отцомъ Тася говорила свободно; но больше смотрѣла на себя, какъ на наперсницу въ трагедіи, когда онъ изливался за ночной закуской или за обѣдомъ.

— Въ клубъ его не было...

— Ты изъ клуба?

— Да... кабакъ! Ыда отвратительная... Хотѣлъ заказать судачка. Подали такую мерзость — я приказалъ отнести назадъ. И что это за народъ теперь собирается... какіе военные? Шулеръ на шулеръ... Я заѣхалъ... по дѣлу... Думалъ найти тамъ одного нужнаго человѣка.

О дѣлахъ отецъ говорилъ Тасѣ постоянно. Его не оставлялъ духъ предпріятій. Онъ все ищетъ чего-то: не то мѣста, не то залоговъ для подрида. Тася это знаетъ... Вотъ уже нѣсколько лѣтъ доѣдаютъ они крохи въ Москвѣ, а отцу не предложили, и въ шутку, никакого мѣста... хотя бы въ смотрители какіе... Она слышала, что какой-то отставной генералъ пошелъ въ акцизъ простымъ надзирателемъ, кажется... Отчего же бы и отцу не пойти?

— Не нашель?—равнодушно спросила она.

— Разумѣется, прождалъ,—съ какимъ-то удовольствіемъ



отвѣтилъ Долгушинъ.—Вонъ вездѣ, пахнетъ ѣдой, въ читальнѣй депешъ не могъ добиться... Кабакъ!..

Онъ крикнулъ и выпилъ рюмку краснаго вина.

Вино покупали крымское. Но и оно — шесть гривенъ бутылка. Отецъ не можетъ не пить краснаго вина... А долго ли онъ будетъ пить его? Доктору больше мѣсяца не плачено... Но говорить съ нимъ объ этомъ бесполезно.

— Послушай, Тансін, — началъ опять генераль другимъ тономъ, — который тебѣ годъ?

— Двадцать-второй, папа.

— Однако!..

Голось у него давно охрипъ; онъ думалъ, что хрипота къ нему очень идетъ.

— Ни больше, ни меньше, папа...

— Надо выѣзжать...

— Куда?

— Выѣзжать! здѣсь нечего и тратиться... А въ Петербургъ другое дѣло. Братъ, можетъ, раскошелится...

— Ника?

— Это его дѣло! Мѣсяца два-три ты проведешь тамъ... Пора объ этомъ подумать.

— Полно, папа, — серьезно возразила Тася. — Мамап — недвижима... Въ домѣ — никого.

— Мамап будетъ недвижима... очень долго... Ты это знаешь.

— Я не пойду къ Никѣ!..

Она не боялась отца и знала, что все это онъ затѣялъ такъ, сейчасъ вотъ, ни съ того, ни съ сего.

— Партію пужно!..

— Ахъ, полно, — махнула она рукой и отошла къ пианино.

Генераль жевалъ селедку.

— Однако, мой другъ, — началъ онъ болѣе тронутымъ голосомъ, — вникни ты въ свое положеніе... Я мечусь, ищу, бьюсь и такъ и этакъ. Но развѣ моя вина...

— Да я и не виню тебя.

— Нѣтъ, моя это вина, что нынче такое подлое время? *Qu'est-ce la noblesse? Rien!..* Всякая борода тычетъ тебя носомъ и кубышкой. Неудобно ли къ нему въ подрядчики идти?.. Въ винный складъ надсмотрщикомъ... Этого еще не доставало!

— Поступи на службу, — сказала опять очень серьезно Тася.

Опа бросила быстрый взглядъ на бумажникъ.

— Ну, такъ что жъ?

— И сегодня выигралъ, я вижу... Не хочу я у тебя выпрашивать. Дай мнѣ взаймы...

— Безъ отдачи?

— Нѣтъ, я серьезно. Не обижай меня. Взаймы дай, вотъ сейчасъ—и больше у тебя въ теченіе года никто не попросить. Ни мать, ни отецъ, я тебѣ ручаюсь.

— Да я и не дамъ. Не разорваться же мнѣ!

Тася глядѣла все на бумажникъ. Оттуда выставлялись края радужныхъ бумажекъ. Батюшки! Сколько денегъ! Тутъ не одна тысяча. И все это взято въ карты даромъ, все равно, что вынуто изъ кармана. Да и какъ выиграно? Вѣдь брата ея и за карты тоже попросили выйти изъ полка.

— Да, да,—говорила она, схвативъ его за руки,—я знаю... Ты не давай отцу... Они уйдутъ зря... Не можешь на годъ, дай на полгода. Только на полгода, Ника. До лѣта. Взять сидѣлку на тѣ часы, когда меня нѣтъ. Консерваторія, или уроки... на все это... я сосчитала... не больше какъ сто пятьдесятъ рублей. Расходъ на лѣкарство... доктора. Дай хоть по сту рублей на мѣсяцъ, Ника! Черезъ полгода я буду знать...

— Что тебѣ не слѣдовало заниматься глупостями.

— Ну, да, ну, да,—почти со слезами повторила Тася и просительными глазами смотрѣла въ широкое лоснящееся лицо брата.—Положись на меня, Ника. Я прошу взаймы. Меня не обманываетъ мое чувство.

— Тру-ля-ля! чувство!

— Ну, назови какъ хочешь... Больше ничего не придумаешь... Вѣдь непустишь же ты нашихъ стариковъ по міру... На Петю надежда плохая. Лучше не будетъ! Согласенъ...

Братъ лѣниво усмѣхнулся. Онъ былъ дѣйствительно въ солидномъ выигрышѣ, забастовалъ круто, послѣ того, какъ загребъ кушъ.

— Bonnet blanc, blanc bonnet... Только я родителю ничего не дамъ,—сказалъ онъ и взялъ въ руки бумажникъ.—И тебѣ загорѣлось сейчасъ же?

— Можешь проиграть, Ника!

— И то правда! Смекалка у тебя есть.

Онъ вынулъ изъ бумажника пачку пожиже.

— Счастливъ твой богъ, дѣвчурка, бери... Не считаю..



Ника вышелъ въ отца—только на два вершка больше его ростомъ. Онъ начиналъ уже толстѣть. Щеки съ черными бакенбардами по плечамъ, двойной подбородокъ, скулы, калмыцкіе глаза и широкій носъ,—все вмѣстѣ составляло наружность ремонтера, балетнаго любителя и клубнаго игрока. Ноги въ рейтузахъ онъ разставлялъ, какъ истый кавалеристъ. На крупныхъ пальцахъ его съ непріятно бѣлыми ногтями блестяли кольца. Изъ-подъ манжеты лѣвой руки выползалъ браслетъ. Отъ него сильно пахло духами. Лицо покраснѣлось и запахъ духовъ смѣшивался съ парами шампанскаго. Подъ сюртукомъ онъ жилета не носилъ. Бѣлая, топкаго полотна рубашка, съ грахмальной грудью, золотыми пуговицами и стоячимъ, глухимъ воротникомъ, поверхъ офицерскаго галстука, дѣлала грудь еще шире.

Тася подошла къ нему и взяла за обѣ руки.

— Ника,—начала она шопотомъ,—извини... Тебѣ не очень хочется спать?

— Какъ сказать!

— Ты сними галстукъ. Халатъ у тебя есть?.. Да не надо. Останься такъ въ рубашкѣ. Эта комната теплая.

— Въ чемъ дѣло?—шутливо-самодовольно спросилъ онъ горловымъ голосомъ, какой нагуливаютъ себѣ въ гвардейскихъ казармахъ и у Дюссо.

— Ты потише... Папа пріѣхалъ. Онъ можетъ проснуться. Миѣ не хочется, чтобъ онъ зналъ, что я у тебя. Я тебя и подождала сегодня.

— Ладно.

Онъ отошелъ къ столу и снялъ съ себя часы на длинной и массивной цѣпочкѣ съ жетонами, двумя стальными ключами и золотымъ карандашомъ. На столѣ лежалъ уже его бумажникъ. Тася посмотрѣла въ ту сторону и замѣтила, что бумажникъ отдулся. Она сейчасъ догадалась, что братъ игралъ и пріѣхалъ съ большимъ выигрышемъ.

— Присядь... минутку. Я тебя не задержу.

Она было запрыгала около него, но удержалась. Не можетъ она говорить ему: „милый, голубчикъ, Никеша“, какъ говорила маленькой. Она не уважаетъ его. Тася знаетъ, за что его попросили выйти изъ того полка, гдѣ носить золоченыхъ птицъ на каскахъ. Знаетъ она, чѣмъ онъ живетъ въ Петербургѣ. Жалованья онъ не получаетъ, а только носить мундиръ. Да она и не желаетъ одолажаться по-родственному, безъ отдачи.



— Спать хочется,—сказалъ онъ, опускаясь на постель, и громко зѣвнулъ.

Тася сѣла рядомъ съ нимъ и лѣвую руку положила на подушку.

— Ника,—заговорила она шопотомъ, но внятно и одушевленно, съ полужакрытыми глазами,—ты знаешь, въ какомъ мы положеніи? Вѣдь да? Отецъ все мечтаетъ о какихъ-то прожектахъ. Мѣста не беретъ... Да и кто дастъ? Мамап не встанетъ. Ты вотъ уѣдешь... Черезъ мѣсяцъ, докторъ сказалъ мнѣ... ноги совсѣмъ отнимутся...

Сынъ поморщился и досталъ папиросу изъ массивнаго серебрянаго портсигара.

— Къ тому идетъ,—выговорилъ онъ равнодушно.

— На что же жить? Я не для себя.

— Исторія старая... Сами виноваты... Я и такъ даю...

— Ника, Ника, выслушай меня. Я въ первый разъ обратилась къ тебѣ. Я не хочу тащить изъ тебя... На что рассчитывать? Вѣдь не на что? Ты согласишься!

— Et après?—пробасилъ онъ.

— Отецъ сейчасъ говорилъ, что мнѣ надо въ Петербургъ... выѣзжать...

— Съ кѣмъ это?

— Должно-быть, съ тобой.

— Со мной?

Ника опять поморщился.

— Ты не смущайся! Я не желаю.

— Да... родитель далъ маху!.. У меня для молодой дѣвушки... совсѣмъ... не подходящее мѣсто...

И онъ нахально засмѣялся.

— Тс!..—остановила его Тася.—Пожалуйста, тише... Я и сказала... Все это не то.

Тася встала и въ волненіи прошла по гостиной. Въ первый разъ будетъ она вслухъ высказывать свои планы... Не нужно ей одобренія Ники. Но необходима его поддержка.

Съ такимъ братомъ ей тяжелѣе, чѣмъ съ постороннимъ, дѣлиться самой горячей мечтой. Точно она собирается оторвать отъ сердца кусокъ и бросить его на съѣденіе.

XII.

— Когда же ты разрѣшишься?—цинически спросилъ братъ.

— Вотъ что, Ника. Въ двухъ словахъ...

Тася встала передъ нимъ. Ямочки пропали съ ея щекъ, грудь высоко поднималась. Волосы падали ей на лобъ.

— Говори скорѣй!

— Вотъ видишь... Партіи я не сдѣлаю... Выѣзжать не на что. Жениховъ у меня нѣтъ.

— А этоть... Въ очкахъ...

— Кто? Пирожковъ?

— Ну, да.

— Никогда онъ на мнѣ не жепится. Онъ такъ и останется холостякомъ... Да я и не думаю о замужествѣ. У меня другое призваніе...

— Призваніе... туда же!..

— Да. Не смѣйся, Ника, прошу тебя.

Щеки Таси горѣли.

— Не томи и ты!

— Моя дорога—театръ. Ты меня не знаешь. Для тебя это новость. Не возражай мнѣ, сдѣлай милость. Отецъ не станеть упираться, если ты меня поддержишь.

— Я?

— Ты долженъ меня поддержать. Не для одной себя я это дѣлаю. Еще годъ—и отецъ, мать, бабушка, Фелицата Матвѣевна—нищіе, на улицѣ...

— А ты ихъ спасать будешь?

— Не смѣйся, Ника, умоляю тебя. Я не воображаю о себѣ ничего... Ты меня не знаешь. Я не говорю тебѣ, что у меня огромный талантъ. Сначала надо увѣриться, а для того, чтобы знать навѣрно, надо учиться, готовиться.

— Сонни!

— На это надо средства. И, главное, время... Вотъ я и подумала... Годъ должна я быть свободнѣе... Только годъ... И ходить въ консерваторію... или брать уроки. А какъ я могу? Около шамап никого. Необходимо будетъ взять кого-нибудь... компаньонку или бонну, сидѣлку что ли... Пойми, я не отказываюсь! Но вѣдь время идетъ. А черезъ годъ я могу быть на дорогѣ.

— Quelle idée!.. Въ статистики!..

— Ты не можешь такъ говорить, Ника. Наконецъ, я прямо тебѣ скажу: тебѣ вѣдь все равно. Ты насъ не жалѣешь... Сдѣлай, разъ въ жизни, хорошее дѣло...

Голосъ ея возвышался. Братъ крикнулъ совершенно такъ, какъ отецъ, и затянулся.

— Говори толкомъ!

— Ты играешь...

Опа бросила быстрый взглядъ на бумажникъ.

— Ну, такъ что жъ?

— И сегодня выигралъ, я вижу... Не хочу я у тебя выпрашивать. Дай мнѣ взаймы...

— Безъ отдачи?

— Нѣтъ, я серьезно. Не обижай меня. Взаймы дай, вотъ сейчасъ—и больше у тебя въ теченіе года никто не попроситъ. Ни мать, ни отецъ, я тебѣ ручаюсь.

— Да я и не дамъ. Не разорватся же мнѣ!

Тася глядѣла все на бумажникъ. Оттуда выставались края радужныхъ бумажекъ. Батюшки! Сколько денегъ! Тутъ не одна тысяча. И все это взято въ карты даромъ, все равно, что вынуто изъ кармана. Да и какъ выиграно? Вѣдь брата ея и за карты тоже попросили выйти изъ полка.

— Да, да,—говорила она, схвативъ его за руки,—я знаю... Ты не давай отцу... Они уйдутъ зря... Не можешь на годъ, дай на полгода. Только на полгода, Ника. До лѣта. Взять сидѣлку на тѣ часы, когда меня нѣтъ. Консерваторія, или уроки... на все это... я сосчитала... не больше какъ сто пятьдесятъ рублей. Расходъ на лѣкарство... доктора. Дай хоть по сту рублей на мѣсяцъ, Ника! Черезъ полгода я буду знать...

— Что тебѣ не слѣдовало заниматься глупостями.

— Ну, да, ну, да,—почти со слезами повторила Тася и просительными глазами смотрѣла въ широкое лоснящееся лицо брата.—Положись на меня, Ника. Я прошу взаймы. Меня не обманываетъ мое чувство.

— Тру-ля-ля! чувство!

— Ну, назови какъ хочешь... Больше ничего не придумаешь... Вѣдь непустишь же ты нашихъ стариковъ по міру... На Петю надежда плохая. Лучше не будетъ! Согласенъ...

Братъ лѣниво усмѣхнулся. Онъ былъ дѣйствительно въ солидномъ выигрышѣ, забастовалъ круто, послѣ того, какъ загребъ кушъ.

— Bonnet blanc, blanc bonnet... Только я родителю ничего не дамъ,—сказалъ онъ и взялъ въ руки бумажникъ.—И тебѣ загорѣлось сейчасъ же?

— Можешь проиграть, Ника!

— И то правда! Смекалка у тебя есть.

Онъ вынулъ изъ бумажника пачку пожиже.

— Счастливъ твой богъ, дѣвчурка, бери... Не считаю...

Но онъ отлично зналъ, что въ пачкѣ всего семьсотъ рублей.

Тася припала къ его плечу и разрыдалась.

XIII.

Братъ почти выпроводилъ ее отъ себя и сталъ раздѣваться, зѣвая и харкая. У него были уже одышка и кашель. Вечеръ ему удался. Засыпалъ онъ съ папиросой въ зубахъ, и ему долго представлялся зеленый столъ... въ номерѣ „Славянскаго Базара“... плотная фигура купчика. Только ему говорили, что онъ миллионщикъ... А видно, что больше десяти тысячъ у него не было въ бумажникѣ. Тятенки испугался. Какъ бишь его фамилія? Ну, да все равно... Рукавишниковъ, Сырейщиковъ... И туда же—въ амбицію!.. Не такіе виды онъ видалъ... Вѣдь онъ не Расплюевъ. Изъ него „не нащеплешь лучины“. Онъ помнитъ, въ квартирѣ Колемина, когда полиція вошла въ большую комнату въ разгаръ игры, всѣ черетрусили... до гадости... А онъ и бровью не повелъ. И выигрышъ свой успѣлъ сгрести, какъ ни въ чемъ не бывало... тридцать золотыхъ. Не испугался онъ и имя свое дать полицейскому... Этакая важность! Есть чего стыдиться! Весь Петербургъ играетъ, въ двадцати притонахъ... И не въ такихъ еще... Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, вотъ когда его попросили изъ полка выйти,—нибавъ обысковъ не было... Модничанье одно! Прокурору захотѣлось себя показать. Тогда „пижоновъ“, да и не однихъ пижоновъ стригли безъ всякаго милосердія... Онъ счетчикомъ состоялъ, да и то какія деньги перепадали...

Папироса выпала у него изъ рукъ... Онъ засопѣлъ, но въ головѣ, до полнаго погруженія въ сонъ, все еще проходили соображенія и обрывки мыслей. Онъ даже разсмѣялся. Родитель „удралъ идею“, нечего сказать! Тасю къ нему отправить на два мѣсяца. Жить у него... Чудакъ!.. Юза что ли съ ней станетъ выѣзжать въ гранъжондъ? Онъ и дома-то почуветь разъ въ недѣлю. Надо завтра купить гостинецъ Юзѣ, московскаго что-нибудь... мѣхъ у ней есть, да и дорого. Не говорить, до сихъ поръ, подлая, сколько у ней лежитъ въ государственномъ банкѣ билетовъ восточнаго займа? И когда напоишь ее—не развязывается языкъ. Залоговъ у ней тысячь на двадцать-пять есть. Годика съ два можно будетъ съ ней повазандаться, не больше... И скаредна дѣлается; да и рас-

плавается, грудь уже не прежняя и на полу красныя жилки. Да и полка ли она? Врядъ ли. Скорѣй жидовка, даромъ что блондинка! Барыня... хорошаго рода, съ нервами... куда лучше... Было и ихъ не мало... Особенно если глупенька... То ли не житье?.. А все-таки денегъ пѣтъ... Осенью совсѣмъ проигрался... Надо почаще въ Москву ѣздить... на Святки... къ Свѣтлому празднику и въ сентябрѣ, когда отъ Макарія возвращаются... Но безъ Петербурга все-таки жить нельзя...

— Дура Тася! — вслухъ выговорилъ братъ. — „Собой жертвую!..“ Ну ихъ къ Богу!..

На этихъ словахъ Никаноръ Валентиновичъ повернулся къ стѣнѣ и тотчасъ же захрапѣлъ. На дворѣ вѣтеръ все крѣпчалъ. Но гулъ вьюги и трескъ стараго дома не мѣшали ему спать тяжелымъ сномъ игрока, у котораго желудокъ и печень готовятъ въ скоромъ времени завалы и водяную.

А черезъ коридоръ, изъ комнаты его сестры, все еще выходилъ свѣтъ сквозь дверную щель. Тася сидѣла на кровати въ кофтѣ, съ распущенными волосами, и держала въ рукахъ пачку сторублевыхъ. Она уже нѣсколько разъ ихъ перечла. Ихъ было семь штукъ—не больше, семьсотъ рублей. Этого хватить до іюля, по сту рублей въ мѣсяцъ. Ея ученье не будетъ стоить больше пятидесяти, компаньонку можно нанять за двадцать рублей. Спать она будетъ въ угловой. Остается еще не мало. Доктору рублей полтора. Взять его надо годовымъ. Аптекѣ—около ста рублей. А потомъ можно долго забирать на книжку.

Спать она не можетъ. Съ деньгами въ рукахъ—чѣмъ-то вдругъ смущена. Время не ждетъ, завтра или на этой же недѣлѣ надо начинать. Поговорить съ Андрюшей Палтусовымъ. Онъ все какъ-то подсмѣивается, даетъ ей разныя прозвища... Съ Пирожковымъ... Тотъ знаетъ все про театръ, отлично судить... вхожъ къ той... къ Грушевой... И насчетъ консерваторіи все ей узнастъ... Еще примутъ ли ее теперь, послѣ праздниковъ?

Страшно! И сладко, и страшно! Отцу она не станетъ говорить. Просто скажетъ, что нашла работу... Какую?.. Онъ не захочетъ, чтобъ она давала уроки... Ну, все равно... Что-нибудь да выдумаетъ... А мать будетъ рада новому лицу... Ее мать не любитъ. Никогда и не любила. Лгать или не лгать: какая у ней связь съ родными?.. Зачѣмъ же

она сейчас говорила, что дѣлаетъ это для нихъ. Значить, лгала? И да, и нѣтъ. Жаль ихъ. Старухъ еще жалче. Тѣ честныя, тихія, сидитъ Фифина до глубокой ночи, бабушка встаетъ съ огнемъ и тоже вяжетъ... Все у ней вытянули... Она нищая, надо заработать и для нея, когда она въ полную дряхлость впадетъ. А это скоро будетъ. И мать жаль. Хотя въ больницу неизлѣчимыхъ, такъ и то нужны деньги, комнату...

Тася опустила голову. Бумажки упали на кровать. Она этого не замѣтила, потому очнулась, увидала, что у ней нѣтъ ничего въ рукѣ, испугалась. Долго ли потерять? Она вскочила, подошла къ письменному столу и заперла дспяги въ ящикъ, гдѣ у ней лежало нѣсколько тетрадокъ, переписанныхъ ея рукой—роли.

Пирожковъ представился ей въ эту минуту, его добрая усмѣшка, поощряющій тонъ, умные глаза сквозь очки. Она припомнила, что онъ весной, передъ отъѣздомъ въ деревню, рассказывалъ, какое жалованье получаютъ теперь актрисы въ провинціи, да не на оперетки только,—на драму, комедію, *ingénues*. Ему говорилъ въ клубѣ членъ комитета. Онъ приводилъ цифры. Есть актрисы—ихъ нѣсколько—меньше тысячи рублей въ мѣсяцъ „и слышать не хотятъ“.

Тысячу рублей въ мѣсяцъ! Но деньги ли однѣ? Даже если и половину, треть этой суммы! А игра! Она сейчасъ бы пошла даромъ. Какъ же ей нейти, когда нужны эти деньги—безъ нихъ и ей на что же жить? Что дѣлать? Искать жениха? Продавать себя?

Пора, пора! Домъ — гробница, отъ всего ей больно, жутко, только старушки и согрѣваютъ. Отецъ, мать, братъ Ника... Лучше устроить тѣхъ, кого жалко, а самой—дальше, не звать ничего, кромѣ подмостковъ. Ничего!

XIV.

Крутилъ легкій спѣжокъ, часу въ девятомъ, наканунѣ сочельника. Къ крыльцу, освѣщенному двумя фонарями, подъѣхали извозчицы сани. Отъ тротуара перекинута мостки, съ лабитыми на нихъ планками, обмерзлые и обтопанные т. я. зячью ногъ.

Изъ саней вылѣзъ, первымъ, высокій мужчина, въ цилиндрической шляпѣ, въ плотно застегнутомъ пальто съ неширокимъ, чернымъ, барашковымъ воротникомъ и началъ высаживать даму, маленькую фигурку, въ шубкѣ,

крытой сукномъ. Голова ея повязана была бѣлымъ, вязанымъ платкомъ. Лицо все ушло въ края платка. Только глаза блестѣли какъ двѣ искристыя точки.

— Пріѣхали, — сказалъ Пирожковъ, — онъ привезъ Тасю, — такимъ тономъ, какимъ пугаютъ дѣтей, когда приводятъ ихъ къ дантисту.

— Ахъ, Иванъ Алексѣичъ, — раздался голосъ Таси изъ-подъ платка. — Какъ вы пугаете!

И она разсмѣялась.

— Пожалуйста, пожалуйста, — продолжалъ онъ тѣмъ же тономъ. — Авось пронесетъ, Таисія Валентиновна. Полезно будетъ бросить *соур d'œil*... Можетъ, и накроютъ насъ.

— Кто же? — не очень смѣло спросила Тася и остановилась на тротуарѣ.

Вправо, подалѣе, скупилось нѣсколько извозчичьихъ сапей парами, какія по вечерамъ дежурятъ около клубовъ. Тася была тутъ всего разъ, на спектакль одного общества. Давали шекспировскую пьесу. Еще ей такъ захотѣлось тогда сыграть Беатриче изъ „Много шума изъ ничего“. Но тогда она была въ ложѣ, со знакомыми. А одну на простой вечеръ или спектакль ее бы не пустили. Ни отецъ, ни мать, ни бабушка... Сюда нельзя ѣздить дѣвушкамъ „изъ общества“. Тутъ бываетъ „Богъ знаетъ кто“. Это — актерская биржа. И она одна, вечеромъ, съ мужчиной... Должна будетъ скрывать до тѣхъ поръ, пока не объявитъ, чѣмъ она занимается.

Случилось все такъ скоро потому, что она не дождалась Палтусова, а вызывать его не хотѣла. Да и не надѣялась на него. Онъ навѣрно сталъ бы все подсмѣиваться... Такой эгоистъ ничего для нея не сдѣлаетъ!.. Она давно его поняла. Можетъ-быть, онъ и согласится съ ея идеей; но поддержки отъ него не жди. Заѣхалъ очень кстати Иванъ Алексѣичъ. Съ нимъ не нужно долгихъ объясненій. Онъ понялъ сразу. Мягкій, умный, шутливый... Но задумался.

— Добрая моя Таисія Валентиновна, — говорилъ онъ ей третьяго дня, — они сидѣли въ залѣ, — и за обѣ руки ее взялъ, — выдержите ли? Вотъ вопросъ!

— Выдержу! — почти крикнула она.

— Охъ, хорошо, кабы такъ! А видѣли пьесу „Кинъ“?

Она видѣла самого Росси и не забыла сцены, гдѣ Кинъ отговариваетъ молодую дѣвушку отдаваться театру.

Она плакала тогда и въ театрѣ, и у себя, вернувшись домой. Но что же это доказываетъ?

— Какъ я играла тогда въ любительскомъ спектаклѣ?— спросила она Ивана Алексѣевича.

— Огонекъ есть. Но довольно ли этого?

Она убѣжала въ свою комнату, схватила томъ, гдѣ „Шутники“, увела Пирожкова въ гостиную и прочла нѣсколько явленій съ Вѣрочкой.

Онъ зааплодировалъ

— Ну, поговоримте, хорошій человѣкъ,—онъ всегда ее такъ зоветъ,— вамъ въ консерваторію не стоитъ поступать. А лучше заняться у опытнаго актера или актрисы. Теперь я немного поотсталъ отъ этого міра, но я васъ въ Грушевой свезу, если желаете.

Такой онъ былъ милый, что она чуть не расцѣловала его.

Вотъ тогда онъ и сказалъ ей:

— Въ видѣ опыта, поѣдемъ... инкогнито въ такое мѣсто, гдѣ собираются артисты. Это вамъ дастъ предвкусіе. Можеть, и отшатнетесь. Передъ Рождествомъ у нихъ дня три вакаціи. Мы тамъ много народу увидимъ.

Она смѣло согласилась. Ну что за бѣда, если ее кто-нибудь и встрѣтитъ? Кто же? Изъ знакомыхъ отца? Быть не можетъ. Да и надо же начать. Она увидитъ, по крайней мѣрѣ, съ кѣмъ ей придется „служить“ черезъ годъ. Слово „служить“ она уже слыхала. Актеры говорить всегда „служить“, а не „играть“.

Но когда Иванъ Алексѣевичъ взялся за ручку двери, у ней ёкнуло на сердцѣ.

— Разъ,—дурачился онъ,—два, три.. Пожалуйста...

— А посторонніе бываютъ?—робко спросила она.

— Бываютъ-съ и посторонніе... Пожалуйста... Сожигать корабли, такъ сожигать!

Онъ отворилъ дверь. Они вошли въ наружныя сѣнцы, гдѣ горѣлъ одинъ фонарь. Нанесено было снѣгу на ногахъ. Пахнетъ версиномъ. Похоже на входъ въ номера. Еще дверь... И ее отворилъ Пирожковъ. Назадъ уже нельзя!..

XV.

Иванъ Алексѣевичъ ввелъ ее во внутреннія сѣни, на три ступеньки. Ихъ встрѣтилъ швейцаръ въ потертой ливрѣ съ перевязью, видою мужичокъ, съ русой шер-



шавой бородой. Другой привратникъ тутъ же возился около него, въ засаленномъ полусубукѣ и валенкахъ.

Полъ былъ затоптанъ. Перила и стеклянная дверь—выкрашены въ темно-коричневую краску. Стѣны закоп-тѣли. Охватывалъ запахъ лакейскаго житья, смазныхъ сапогъ, тулупа и табаку. Тася сдѣлалось вдругъ брезгливо. Она почувала въ себѣ барышню, дочь генерала Долгушина, внучку Катерины Петровны Засѣкиной.

„Вѣдь это Богъ знаетъ что“,—мимоходно подумала она. и въ нерѣшительности остановилась на площадкѣ.

Швейцаръ отворилъ дверь. Пирожковъ обернулся и смотрѣлъ на нее поверхъ запотѣвшихъ очковъ.

Онъ понялъ ея колебаніе и ея брезгливость. Подби-вать ли дальше милую дѣвушку, вводить ли ее въ этотъ „постоялый дворъ“ господъ артистовъ? Хорошо ли онъ поступаетъ?

Ивана Алексѣевича схватила за сердце мысль, что вѣдь онъ, Пирожковъ, могъ бы избавить ее отъ такой риско-ванной попытки... Зачѣмъ ему искать лучшей дѣвушки? Кончить вѣдь женитьбой. Въ томъ-то и бѣда, что онъ не искалъ... А тамъ, дома, развѣ ее ждетъ что-нибудь свѣтлое или просто толковое, осмысленное?.. Генералъ съ его потѣшной фанаберіей и „проектами“, братъ шулеръ и содержанецъ, колченогая и глухая мать. Еще два-три года, и пойдетъ въ бонны, или... попадетъ на сцену; но ужъ не на этакую, а на ту, гдѣ собой торгуютъ...

— Пожалуйте-съ!—крикнулъ онъ и предложилъ ей руку—подняться въ гардеробную.

Тася поглядѣла вправо. Окошко кассы было закрыто. Лѣстница освѣщалась газовымъ рожкомъ; на противопо-ложной стѣнѣ, около зеркала, прибиты двѣ цвѣтныхъ афиши,—одна красная, другая синяя,—и бѣлый листъ съ печатными заглавными строками. Лѣвѣе выглядывала ви-трина съ краснымъ фономъ, и въ ней полъ-листа, испи-саннаго крупнымъ почеркомъ съ какой-то подписью. По лѣстницѣ шелъ половникъ, безъ ковра. Запахъ сѣней смѣ-нился другимъ сладковатымъ и чаднымъ отъ куренія по-рошкомъ и кухоннаго духа, проползавшаго черезъ сто-ловую.

Они взяли вправо, въ низкую комнату, ухидившую въ какой-то провалъ, отгороженный перилами. Вдоль стѣны, на необитомъ диванѣ, лежало кучками платье. Въ углу, у конторки, дежурилъ полный, бритый лакей въ синемъ

лифрейномъ фракѣ и красномъ жилетѣ. У перилъ стоялъ другой, худощавый, пониже ростомъ, съ бакенбардами.

Пирожковъ записалъ что-то въ книгу и заплатилъ полному лакею. Долго снимала Тася шубку, калоши и платокъ. Она все сильнѣе волновалась. Барышни все еще не успокоились въ ней. Платье она парочно надѣла домашнее, сѣренькое съ кожанымъ кушакомъ. Но волосы заплетла въ косу. Не богато она одѣта, но видно сразу, что ея туалетъ, перчатки, воротничокъ, лицо, манеры мало подходятъ къ этому мѣсту.

И вдругъ на лѣстницѣ, когда они будутъ подниматься туда наверхъ, встрѣтится какой-нибудь знакомый отца...

— Знаете что,—угадай ея волненіе Пирожковъ,—если васъ кто спроситъ, какъ вы сюда попали, говорите—на репетицію.

— Какую?

— Ахъ, Боже мой,—благотворительную!

Тася прошла мимо афишъ, и ей стало легче. Это уже пахло театромъ. Ей захотѣлось даже посмотреть на то, что стояло въ листѣ за стекломъ. Половикъ посрединѣ широкой деревянной лѣстницы пестрѣлъ у ней въ глазахъ. Никогда еще она съ такимъ внутреннимъ безпокойствомъ не поднималась ни по одной лѣстницѣ. Баловъ она не любила, но и не боялась,—нигдѣ. Ей все равно было: идти ли вверхъ, по мраморнымъ ступенямъ благороднаго собранія, или по красному сукну генералъ-губернаторской лѣстницы. А тутъ она не рѣшилась вскинуть голову.

Наверху она остановилась у бѣлыхъ перилъ, гдѣ стоялъ новый лакей.

— Есть репетиція?—спросилъ его Пирожковъ.

— Сейчасъ кончится.

— А въ конторѣ кто?

Тотъ назвалъ кого-то по имени и отчеству.

Тутъ Тася оглянулась. Она припомнила эту комнату—родъ площадки, съ ея голубой мебелью, множествомъ афишъ направо, темной дверью съ надписью—*контора* и аркой. Лѣвѣ рядъ комнатъ. Она помнила, что совсѣмъ налѣво—опять бѣлыя перила и ходъ въ театральную залу съ двумя круглыми лѣсенками на галлерей.

— Оправились?—шепнулъ ей Пирожковъ.

— Не бойтесь,—шутливо сказала она.

— Надо начать съ чаевъ.

плавается, грудь уже не прежняя и на полу красныя жилки. Да и полька ли она? Врядъ ли. Скорѣй жидовка, даромъ что блондинка! Барыня... хорошаго рода, съ нервами... куда лучше... Было и ихъ не мало... Особенно если глупенька... То ли не житье?.. А все-таки денегъ пѣтъ... Осенью совсѣмъ проигрался... Надо почаще въ Москву ѣздить... на Святки... къ Свѣтлому празднику и въ сентябрѣ, когда отъ Макарія возвращаются... Но безъ Петербурга все-таки жить нельзя...

— Дура Тася! — вслухъ выговорилъ братъ. — „Собой жертвую!“ Ну ихъ къ Богу!..

На этихъ словахъ Никаноръ Валентиновичъ повернулся къ стѣнѣ и тотчасъ же захрапѣлъ. На дворѣ вѣтеръ все крѣпчалъ. Но гулъ вьюги и трескъ стараго дома не мѣшали ему спать тяжелымъ сномъ игрока, у котораго желудокъ и печень готовятъ въ скоромъ времени завалы и водяную.

А черезъ коридоръ, изъ комнаты его сестры, все еще выходилъ свѣтъ сквозь дверную щель. Тася сидѣла на кровати въ кофѣ, съ распущенными волосами, и держала въ рукахъ пачку сторублевыхъ. Она уже нѣсколько разъ ихъ перечла. Ихъ было семь штукъ—не больше, семьсотъ рублей. Этого хватить до іюля, по сту рублей въ мѣсяцъ. Ея ученье не будетъ стоить больше пятидесяти, компаньонку можно нанять за двадцать рублей. Спать она будетъ въ угловой. Остается еще не мало. Доктору рублей полтора. Взять его надо годовымъ. Аптекѣ—около ста рублей. А потомъ можно долго забирать на книжку.

Спать она не можетъ. Съ деньгами въ рукахъ—чѣмъ-то вдругъ смущена. Время не ждетъ, завтра или на этой же недѣлѣ надо начинать. Поговорить съ Андрюшей Палтусовымъ. Онъ все какъ-то подсмѣивается, даетъ ей разныя прозвища... Съ Пирожковымъ... Тотъ знаетъ все про театръ, отлично судить... вхожъ къ той... къ Грушевой... И насчетъ консерваторіи все ей узнаеть... Еще примутъ ли ее теперь, послѣ праздниковъ?

Страшно! И сладко, и страшно! Отцу она не станетъ говорить. Просто скажетъ, что нашла работу... Какую?.. Онъ не захочетъ, чтобъ она давала уроки... Ну, все равно... Что-нибудь да выдумаетъ... А мать будетъ рада новому лицу... Ее мать не любитъ. Никогда и не любила. Лгать или не лгать: какая у ней связь съ родными?.. Зачѣмъ же

она сейчас говорила, что дѣлать это для нихъ. Значить, лгала? И да, и нѣтъ. Жаль ихъ. Старухъ еще жалче. Тѣ честныя, тихія, сидитъ Фифина до глубокой ночи, бабушка встаетъ съ огнемъ и тоже вяжетъ... Все у ней вытянули... Она нищая, надо заработать и для нея, когда она въ полную дряхлость впадетъ. А это скоро будетъ. И мать жаль. Хотя въ больницу неизлѣчимыхъ, такъ и то нужны деньги, комнату...

Тася опустила голову. Бумажки упали на кровать. Она этого не замѣтила, потомъ очнулась, увидала, что у ней нѣтъ ничего въ рукѣ, испугалась. Долго ли потерять? Она вскочила, подошла къ письменному столу и заперла деньги въ ящикъ, гдѣ у ней лежало нѣсколько тетрадокъ, переписанныхъ ея рукой—роли.

Пирожковъ представился ей въ эту минуту, его добрая усмѣшка, поощряющій тонъ, умные глаза сквозь очки. Она припомнила, что онъ весной, передъ отъѣздомъ въ деревню, рассказывалъ, какое жалованье получаютъ теперь актрисы въ провинціи, да не на оперетки только,—на драму, комедію, *ingénues*. Ему говорилъ въ клубѣ членъ комитета. Онъ приводилъ цифры. Есть актрисы—ихъ нѣсколько—меньше тысячи рублей въ мѣсяцъ „и слышать не хотятъ“.

Тысячу рублей въ мѣсяцъ! Но деньги ли однѣ? Даже если и половину, треть этой суммы! А игра! Она сейчасъ бы пошла даромъ. Какъ же ей нейти, когда нужны эти деньги—безъ нихъ и ей на что же жить? Что дѣлать? Искать жениха? Продавать себя?

Пора, пора! Домъ—гробница, отъ всего ей больно, жутко, только старушки и согрѣваютъ. Отецъ, мать, братъ Ника... Лучше устроить тѣхъ, кого жалко, а самой—дальше, не звать ничего, кромѣ подмошковъ. Ничего!

XIV.

Крутилъ легкій снѣжокъ, часу въ девятомъ, наканунѣ сочельника. Къ крыльцу, освѣщенному двумя фопарями, подъѣхали извозчицы сани. Отъ тротуара перекинута мостки, съ лабитыми на нихъ планками, обмерзлые и обтопанные т. лязью погъ.

Изъ саней вылѣзъ, первымъ, высокій мужчина, въ цилиндрической шляпѣ, въ плотно застегнутомъ пальто съ неширокимъ, чернымъ, барашковымъ воротникомъ и началъ высаживать даму, маленькую фигурку, въ шубѣ,

комаго старшину... Вы съ нимъ поговорите... Полезно за-
ручиться для дебютовъ...

— Для дебютовъ!—вздыхнула Тася.

— А что же? Для маленькихъ дебютовъ здѣсь.

— На клубной сценѣ я бы не хотѣла.

— Въ видѣ опыта.

XVII.

Столовая обдала Тасю спертымъ воздухомъ, гдѣ можно было распознать паръ чайниковъ, волны папироснаго дыма, запахъ котлетъ и пива, шедшій изъ буфета. На-
лѣво отъ входа за прилавкомъ продавала печенья и фрукты женщина съ усталымъ лицомъ, въ темномъ платьѣ. По-
перекъ комнаты шли накрытые столы. Вдоль правой и
лѣвой стѣны столы поменьше, безъ приборовъ, за ними
уже сидѣло по-двое, по-трое. Лакеи мелькали по залѣ.

Пирожковъ посадилъ Тасю за первый столъ, по лѣвой
стѣнѣ, около окна, и заказалъ порцію чаю.

Въ первый разъ она слышала эти слова: „порцію чая“. Имъ подали подносъ съ двумя чайниками, чашками и пиленымъ сахаромъ въ бумажномъ пакетѣ. Черезъ столъ
отъ нихъ сидѣло двое мужчинъ, оба бритые.

— Актеры,—шепнула ей Пирожковъ.—Одинъ здѣшній,
другого не знаю.

До Таси донеслась сильная картавость одного изъ нихъ,
брюнета съ мелкими чертами красиваго лица.

— Актеръ?—переспросила она.

— Да.

— Какъ же онъ такъ сильно картавить?

— Что дѣлать!..

Она заварила чай. У правой стѣны, за двумя столи-
ками, сидѣли и женщины. Одна глазастая, широкоплечая,
очень молодая и свѣжая, громко говорила, почти кричала.
Волосы у ней были распущены по плечамъ.

— Это кто?—спросила Тася.

— Не знаю... давно здѣсь не былъ.

На речетиціяхъ, за кулисами, гдѣ удалось быть раза
два, она испытывала возбужденіе, какого у ней теперь
не было и слѣда... Ей даже не вѣрилось, что это одно
и то же, что вотъ эти бритые мужчины и женщины съ
размашистыми движеніями принадлежали тому міру, куда
такъ рвалось ея сердце.

— Ну, что же,—заговорилъ Пирожковъ и поглядѣлъ



на нее добрыми глазами,—не очень вамъ здѣсь правится?.. Присмотритесь... Эта столовая, постомъ, была бы для васъ занимательнѣе. Тогда здѣсь настоящій рынокъ... Чего хотите—и благородные отцы, и любовники, и злодѣи. И все это прїѣзжіе изъ провинціи, а ужъ къ концу почти полное истощеніе фипансовъ.

Тася плохо слушала его.

— Вотъ что,—продолжалъ Пирожковъ, — на сяткахъ будетъ тутъ сборный спектакль. Мнѣ старшина сейчасъ говорилъ. Не начать ли прямо съ попытки. Можно и „До поры—до времени“ поставить. Какъ вы думаете?

— Право, не знаю,—отвѣтила Тася.—Я учиться хочу, Иванъ Алексѣвичъ.

— Съ новаго года и начнемъ... А пока для бодрости... Да вотъ и старшина.

Къ нимъ подошелъ сухощавый господинъ, въ бородѣ, въ золотомъ рпсе-пез, въ короткомъ пальтецо, съ крупными чертами лица, тревожный въ пріемахъ.

Пирожковъ представилъ его. Тася не запомнила ни фамилии, ни какъ его звали по имени и отчеству.

— Чайку выпьете?—пригласилъ его Пирожковъ.

— Съ нашимъ удовольствіемъ,—сказалъ старшина и сѣлъ.

Онъ казался очень утомленнымъ.

— Много дѣла?—спросилъ Пирожковъ.

— Просто бѣда! И все одинъ!..

— А другіе?

— Эхъ!..

И онъ махнулъ рукой.

— Что же предполагается на праздникахъ?

— Утренніе спектакли будутъ, дѣтскій праздникъ, костюмированный балъ съ процессіей, да мало ли чего!

— А какъ дѣла?

— Сборы—ничего! Только возни! Я вамъ скажу, скоро пардону запрошу!..

— Вотъ Таисія Валентиновна,—указалъ Пирожковъ на Тасю,—желала бы...

— Вамъ угодно дебютировать-съ?—высокимъ голосомъ выговорилъ старшина.

Тася сильно смутилась.

— Нѣтъ... я не для дебюта...

— Спектакликъ хотите?—не далъ онъ ей докончить.—Дни-то у насъ всѣ разобраны.

Къ старшинѣ подошелъ лакей въ ливреѣ и сказалъ ему что-то на ухо.

— Прошу извиненія,—сказалъ старшина и вскочилъ.— Апаѣемское дѣло!—крикнулъ онъ на ходу Пирожкову и побѣжалъ въ контору.

„Зачѣмъ онъ меня сюда привезъ?“—думала Тася, и ей дѣлалось досадно на „добрѣйшаго“ Ивана Алексѣевича. Все это выходило какъ-то глупо, нескладно. Этотъ торопливый старшина совсѣмъ ей не нуженъ. Онъ даже не заикнулся ни о какомъ актерѣ или актрисѣ, съ которой она могла бы начать работать. А нравы изучать, только расхаживать себя... Тутъ еще можетъ явиться какой-нибудь знакомый отца... Она съ молодымъ мужчиной, за чаемъ... Точно трактиръ!

Тася затуманилась.

XVIII.

Изъ дверей, въ глубинѣ столовой, откуда виднѣлась часть буфетной комнаты, появился мужчина въ черномъ нараспашку сюртукѣ. Его косматая, бѣлокурая голова и такая же борода рѣзко выдѣлялись надъ туловищемъ, нѣсколько согнутымъ. Онъ что-то проговорилъ, выходя къ буфету, махнулъ рукой и приблизился къ столу, гдѣ сидѣли Тася съ Пирожковымъ.

— Ахъ! Иванъ Алексѣевичъ,—взволновалась и почти обрадовалась Тася,—вѣдь сюда идетъ Преженцовъ.

— Кто?

— Мой учитель!.. Вы не помните?..

— Не встрѣчалъ его...

— Да, это давно было... Какъ онъ измѣнился... Онъ, онъ!

Косматая голова все приближалась. Тася окончательно разглядѣла и узнала своего учителя Преженцова. Онъ ходилъ къ нимъ больше года, студентомъ четвертаго курса, лѣтъ шесть тому назадъ, училъ ее русскимъ предметамъ, давалъ ей всякія книжки. Матери ея онъ не понравился; раза два отъ него нахло виномъ... Только у него Тася и занималась какъ слѣдуетъ. Онъ ей принесъ Островскаго... И самъ читалъ купеческія сцены пресмѣшно, и рассказы Слѣпцова хорошо читалъ... Что жъ! Она не боится встрѣчи съ нимъ, здѣсь, въ этой столовой... Онъ все пойметъ...

Учитель ее замѣтилъ и узналъ.

— А-а!—крикнулъ онъ и скорыми шагами подошелъ къ столу.

— Николай Александровичъ!—обрадованно назвала его Тася.

Пирожковъ оглянулся на косматого блондина. Отъ него пахло спиртными парами. Лицо его сильно раскраснѣлось.

— Какими судьбами?—спросилъ онъ Тасю.

Учитель крѣпко пожалъ ей руку.

— Вотъ, можно сказать, сюрпризъ. Вы здѣсь... И въ будничныи день... Какими судьбами? А кавалеръ вашъ... Познакомьте насъ.

Она ихъ познакомила.

— А!—еще громче крикнулъ учитель. — Пирожковъ!.. Какъ пріятно... У насъ есть общіе пріатели... Калашникова... Василия Дмитріевича, знаете, а?

— Какъ же,—сказалъ со сдержанной улыбкой Пирожковъ.

— Я присяду... Можно?..

— Пожалуйста,—пригласилъ его Пирожковъ.

Тася поглядѣла на своего учителя. Его щеки, глаза, волосы,—все показалось ей немного подозрительнымъ...

— Такъ вотъ гдѣ я съ ученичкой-то столкнулся,—говорилъ Преженцовъ и держалъ руку Таси. — Ростомъ не поднялись... все такая же маленькая... И глазки такіе же... Вотъ голосъ не тотъ сталъ... возмужалъ... Ихъ превосходительство какъ изволить поживать? Папенька, маменька? Мамаша меня не одобряла... Нѣтъ!.. Не такого я былъ строенія... Ну, и парле-франсе не имѣлось у меня. Бабушка какъ? Все еще здравствуетъ? И эта, какъ ее: Полина, Фифина!.. Да, Фифина!.. Бабушка — хорошая старушка!..

Онъ дѣлался болтливъ. Тася видѣла, что учитель ея выпилъ. Она не знала, какъ съ нимъ говорить. Это былъ какъ будто не тотъ Николай Александровичъ, не прежній.

Пирожковъ тоже почувствовалъ себя стѣсненнымъ.

— Вы здѣсь членъ?—спросилъ онъ Преженцова.

— Я-то? Это цѣлая исторія... Вотъ видите ли, какой казусъ случился... Меня здѣсь не выбрали. Не подхожу къ такому избранному заведенію. А сегодня съ пріателемъ зашли выпить пива... Все равно... Вы не хотите ли?

Онъ перегнулся къ Тасѣ и спросилъ:

— А это знаменье времени... коли и вы съ нами сидите... Какой ужас!

Прошелъ по столовой старшина. А черезъ минуту въ буфетѣ раздался крупный разговоръ.

Учитель Таси сейчасъ же всталъ, побѣжалъ туда и только крикнулъ:

— Такъ и есть!

Пирожковъ приподнялся и началъ глядѣть въ томъ же направленіи.

— Поѣдьте отсюда,—тихо сказала ему Тася.

Голоса все возвышались, перешли въ звонкіе, крикливые возгласы... Отъ буфета шелъ старшина и другой еще господинъ, съ сѣдоватой бородой, а за нимъ учитель Таси.

— Вы не имѣли права!—говорилъ старшина.

— Я буду протестовать!—повторилъ господинъ съ бородой.

— Протестуйте... Сдѣлайте ваше одолженіе!

Учитель забѣжалъ впередъ и на всю залу крикнулъ:

— Оставь втуне, пренебреги... потребуемъ торжественнаго вывода... Идемъ, Вася...

И обратившись къ столу Таси и Пирожкова, кинулъ имъ:

— Прощенія просимъ!.. Видите, чаю съ вами пить не могу... Паршивая овца!..

Всѣ въ недоумѣніи глядѣли на эту сцену. Передъ конторой еще долго раздавались голоса, и потомъ внизу по лѣстницѣ.

Пирожковъ и Тася молчали. Ивану Алексѣвичу было не по себѣ.

„Зачѣмъ завезъ я ее сюда?—спрашивалъ и онъ себя.— Этакая досада! Такъ неудачно... И старшина ни на что ей не годенъ, а теперь и подавно“.

Она опустила голову и пила потихоньку чай.

— Таисія Валентиновна,—началъ Пирожковъ, сооротивъ комическую мину, — простите великодушно... Незадача намъ.

— Поѣдьте,—шептала она.

— Да вы не бойтесь.

— Нѣтъ, поѣдьте, пожалуйста.

Онъ наскоро расплатился. Тася шла вслѣдъ за нимъ, все еще съ поникшей головой... И боялась она чего-то, и жутко ей было тутъ отъ всего, отъ этихъ лакеевъ, гостей,



чаду, тусклаго освѣщенія, не находила она въ себѣ мужества сейчасъ же превратиться въ простую „актерку“, распивать чай въ перемѣну между двумя актами репетицій.

„Барышня я, барышня“,—повторяла она, сходя въ швейцарскую, и была довольна тѣмъ, что никто изъ знакомыхъ отца не встрѣтилъ ее.

Вѣдь она уѣхала тихонько. Мать, хоть и разбита, но то и дѣло спрашиваетъ ее. Ей не скажешь, что ѣздила смотрѣть на актеровъ... Да и бабушка напугается...

— Какъ же, Таисія Валентиновна?—остановилъ ее Пирожковъ у кассы.—Первый блинъ комомъ. Угодно, чтобы я познакомилъ васъ съ Грушевой?

— Ахъ, погодите... Я что-то совсѣмъ маленькая.

— Подожду...

Тася свободно вздохнула на воздухѣ.

XIX.

На другой день, передъ обѣдомъ, дѣвчонка вбѣжала къ Тасѣ и заторопила ее.

— Маленька гнѣваются, пожалуйста поскорѣе.

Тася нашла мать въ креслѣ, въ сильной ажитации.

— Отравить меня хотите!—закричала Елена Никифоровна, тараща на нее глаза.

— Что такое, маман?

— Какая гадость! Ышь сама!

Она тыкала ложкой въ тарелку супа.

Тася попробовала и чуть замѣтно улыбнулась.

— Супъ хорошъ... изъ курицы.

Мать прослѣдила глазами ея усмѣшку и вся побагровѣла.

Не успѣла Тася выпрямиться, какъ на щекѣ ея прожгѣла пощечина.

Она схватила за щеку. Въ глазахъ у ней потемнѣло. Она сдѣлала надъ собой усиліе, чтобы не толкнуть мать.

Пощечина! Передъ дѣвчонкой Дуняшей! Ей, дѣвушкѣ во двадцать второму году!

Это ее ошеломило.

— Смѣяться!..—кричала и заикалась мать,—смѣяться! Надо мной? Ахъ, ты, мерзкая! Мерзкая... Тварь! Я тебѣ дамъ!

И она опять потянулась къ ней, но Тася схватила Елену Никифоровну за обѣ руки и посадила ее въ кресло.

— Не смѣйте, не смѣйте!—шептала она съ нервной дрожью.—Я не позволю... хуже будетъ!..

Голосъ ея такъ задрожалъ, что мать испугалась.

— Стушай вонъ!.. Вонъ, вонъ!—кричала она и начала метаться и плакать.—Морфію мнѣ, морфію!..

— Какого лѣкарства?—спросила Тасю Дуняша, задерживая ее.

— Не знаю!

И она кинулась въ свою комнату, внѣ себя. Щеки ея пылали, слезы душили ее, но не лились.

Дѣвочкой семи лѣтъ ее выскли разъ... Когда ей было четырнадцать лѣтъ, мать схватила ее за ухо, но она не далась... И теперь, двадцати одного года!.. Мать больна, разбита, близка къ параличу... Но развѣ это оправданіе?..

Бросилась Тася на кровать. Ее всю трясло. Черезъ минуту она начала хохотать. Съ ней случилась первая въ ея жизни истерика. Прежде она не вѣрила въ припадки, видя, какъ мать напускала на себя истерики. А теперь она будетъ знать, что это такое!

Изъ комнаты Таси ничего не долетало ни до старушекъ, ни до кабинета. Отца ея не было дома и брата также. Какъ ни старалась она переломить себя, хохотъ все прорывался, и слезы, и судороги... Такъ билась она съ полчаса. Только и помогла себѣ тѣмъ, что уткнула голову въ подушки и обхватила ихъ обѣими руками.

Потомъ, славивъ съ собою, сѣла на кровать и мутными глазами оглядывала свою комнату. Смеркалось... черезъ полчаса будетъ совсѣмъ темно. Ее зазнобило. Она встала, надѣла платокъ и тихо двинулась отъ кровати къ письменному столу.

Прибила мать! Дала пощечину, какъ горничной!.. Да и тѣхъ теперь нельзя бить. Жаловаться пойдутъ, а то и сами тѣмъ же отвѣтятъ. Примѣры были... На-дняхъ ей рассказывали про знакомую барыню. Но чего же она такъ изумляется? Чѣмъ она лучше Кунцевой?.. А той мать въ прошлую зиму надавала пощечинъ при постороннихъ. И до сихъ поръ кричитъ на нее, какъ на послѣднюю судомойку, ругаетъ ужасными словами, хоть и по-французски: *récore, salope, старуле!* Она и не припомнить всего! И вѣдь это въ хорошемъ, барскомъ обществѣ... Самыя старыя фамиліи... И Лея Тарусина ей жаловалась, что мать ее бьетъ. А она графиня! Ей двадцать третій годъ. И всѣ терпятъ, злятся, презираютъ матерей, называютъ ихъ

за глаза дурами, рассказываютъ про нихъ всякіи гадости... А не уйдутъ! Почему?

Куда идти? Въ гувернантки? Не пойдутъ! И не знаютъ ничего серьезно, да и бояться бѣдности. Какъ же имъ можно! Тутъ есть расчетъ на мужа, а не выйдетъ—все равно на родительскихъ хлѣбахъ проживетъ, хоть и битая.

„Рабство! Рабство!—шепчетъ Тася, ходи по своей комнатѣ.—Какъ низко, гнусно!“

Она ничего дурного не рассказываетъ знакомымъ про мать. Не могла она ее ни любить, ни уважать. И это уже не малое горе. Ей жаль было этой женщины. Она смотрѣла на нее, какъ на „Богомъ убитую“, ходила за ней, хотѣла съ ней дѣлиться, когда встанетъ на свои ноги, будетъ зарабатывать. Ее смущало еще сегодня утромъ то, что она хочетъ оставить ее по цѣлымъ часамъ на понеченіе компаньонки.

Но теперь!.. Исчезли всѣ колебанія... Какъ бы мать ни была „убита“, она понимаетъ, что дѣлаетъ. Вытерпѣть—это значить рисковать, что она будетъ драться каждый день.

Вотъ прійдетъ отецъ, Тася скажетъ ему, что къ матери нужно приставить постороннюю женщину. Если вчера, послѣ посѣщенія клубной столовой, у нея явилось малодушное чувство, то теперь... вонъ, поскорѣе, безъ всякихъ думъ и сомнѣній!

Она не могла оставаться въ своей комнатѣ. Ей было душно. Перешла она въ залу, присѣла къ пианино и заиграла громко, громко.

— Барышня,—прибѣжала Дуняша,—маменька не приказываютъ играть... У нихъ головка болитъ.

— Хорошо,—отвѣтила Тася и захлопнула крышку.

Да, играть не слѣдуетъ. У матери боли. Но развѣ боли оправдываютъ битье по щекамъ взрослой дочери?

„Напишу къ Пирожкову, — думала она, — попрошу его поскорѣе повезти меня къ Грушевой, скорѣй, скорѣй!“

Она не слыхала, какъ въ передней позвонили. Ее засталъ въ залѣ, всю въ слезахъ, съ помятой прической, гость—ихъ дальній родственникъ—Палтусовъ.

XX.

Тася не видала Палтусова давно, больше двухъ мѣсяцевъ. Онъ ѣздилъ къ нимъ очень рѣдко. Прежде онъ больше интересовался ею, когда слушалъ лекціи въ уни-

верситетѣ. Онъ же привезъ къ нимъ и Пирожкова. На родственныхъ правахъ они звали другъ друга „Тася“ и „Андрюша“.

— Что съ вами, кузиночка?—спрашивалъ ее Палтусовъ, уводя въ гостиную.— Вы какая-то растрепѣ, пошутить онъ и оглядѣлъ ее еще разъ.

Тася жала ему руку. Его пріѣздъ пришелся очень кстати.

— Андрюша, милый,—заговорила она ласковѣе обыкновеннаго,—поддержите меня.

— Что такое?

Она не могла сказать ему, что мать дала ей пощечину. Этого она не скажетъ... кромѣ отца, никому. Онъ услышалъ отъ нея только то, что ей теперь надо, сейчасъ, сію минуту.

— Пожалуйста, не труните надо мной, Андрюша, я долго готовлюсь къ этому.

Слово „сцена“ было произнесено. Палтусовъ задумался. Ему жалко стало этой „дѣвочки“,—такъ онъ называлъ ее про себя. Она умненькая, съ прекраснымъ сердцемъ, веселая, часто забавная. Женишка бы ей...

— Замужъ не хотите, Тася?

— За кого?—серьезно спросила она. — Что объ этомъ толковать! Выѣзжать не на что. Такъ, я никому не нравлюсь... да нѣтъ, Андрюша! Это совсѣмъ не то...

И она начала горячо развивать ему свою „идею“. Онъ слушалъ съ тихой усмѣшкой. Очень все искренно, молодо, смѣло, то она говоритъ. Можетъ, у ней и есть талантъ. Жаль все-таки такую дѣвочку... Попадетъ на сцену... Это вѣдь помойная яма. Многія ли выкарабкиваются и могутъ жить на свой заработокъ?.. А она хочетъ кормить семью... Шутка! Жаль!.. Хорошая, воспитанная барышня, его родственница, все-таки генеральская дочь. Но и то сказать... семейка вымираетъ... гниль, дряхлость, глупое нищенство и фанаберія. А то такъ и просто грязь. Стоить на этакого папашу съ мамашей работать!.. Уйти изъ дома—резонъ...

— Съ родителемъ поговорить, что ли?—спросилъ Палтусовъ.

— Пока не надо, Андрюша... Послѣ, можетъ-быть... а вы мнѣ все узнайте хорошенько... Вотъ Пирожковъ хотѣлъ; онъ добрый, но немного мямля... совсѣмъ не туда меня повезъ. Онъ знакомъ съ актрисой Грушевой.

— Да и я ее знаю!

— Знаете, я помню; вы мнѣ рассказывали.

— Такъ чего же вы хотите, кузиночка?

— Съѣздить къ ней, милый... предупредить... поговорить обо мнѣ хорошенько... чтобы она меня выслушала. Я приготавлиюсь. Можетъ ли она со мной заняться? Хоть эту зиму. А то я въ консерваторію поступлю, авось, примутъ и съ новаго года.

Палтусовъ слушалъ. Все это было легко исполнить. Одинъ какой-нибудь визитъ. Довольно онъ своими дѣлами занимается. Не грѣхъ для такой милой дѣвочки потерять утро.

— Извольте-съ,—сказалъ онъ шутливо.

— Да?—радостно вырвалось у Таси.

— Брата нѣтъ?—спросилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ.

— А родитель?

— И отецъ еще не пріѣзжалъ.

— Какъ же это онъ меня просилъ, а самъ по городу рыщеть?

Палтусовъ всталъ и прошелся по гостиной. Онъ пріѣхалъ на просительную записку генерала. Тотъ писалъ ему, что возлагаетъ на него особую надежду. Сначала Палтусовъ не хотѣлъ ѣхать... Долгушинъ навѣрно будетъ денегъ просить. Денегъ онъ не дастъ и никогда не давалъ; заѣхалъ такъ, изъ жалости, по дорогѣ пришлось. Не любить онъ его рожи, его тона, всей его болтовни.

— Папа сейчасъ долженъ быть,—сказала Тася и подошла къ Палтусову.—Только вы, Андрюша, про меня ему ничего еще не говорите. Теперь не стѣдить... Я ему на дняхъ сама скажу, что съ матерью я ладить не могу, и надо взять компаньонку. Деньги у меня есть... на это...

— Гдѣ же добыли?

— Завяла,—шопотомъ отвѣтила Тася.

Она не скажетъ ему, что деньги взяла у брата Ники.

— Подождите минутку.

Ей хотѣлось, чтобы Палтусовъ подождалъ отца. Онъ ей скажетъ, что отецъ затѣялъ. Ей надо все знать. Кто же, кромѣ нея, есть взрослый въ домѣ?

Она смотрѣла на Палтусова. Въ гостиной было уже темно. Его лицо никогда ей особенно не нравилось. И въ сердце его она не вѣрила. Сейчасъ она говорила

ему „милый Андрюша“. Вѣдь это не хорошо! Нуженъ онъ ей, такъ она и ласкаетъ его словами.

Тася примолкла. Не довольна она была собой. Но что же дѣлать? Андрюша единственный человѣкъ вокругъ нея, у котораго есть характеръ, знаетъ жизнь, ловокъ... Съ Иваномъ Алексѣвичемъ далеко не уйдешь. И что же она такое сдѣлала? Попросила переговорить съ актрисой. Если онъ эгоистъ, тѣмъ лучше... Хоть за кого-нибудь похлопочетъ безкорыстно.

— Вотъ и папа,—громко сказала Тася, услышавъ звонокъ въ передней.

Палтусовъ закуривалъ папиросу.

— Задержитъ онъ меня!

— Подите, подите... Вѣдь вы все равно не расчувствуетесь,—пошутила она.

И тому уже была она рада, что разговоръ съ Палтусовымъ отвлекъ ее отъ ощущенія обиды, заставилъ забыть о дикой выходкѣ матери.

Къ ней она не пойдетъ до завтра, даже если мать и будетъ присылать за ней. Надо дать почувствовать. А отцу она сегодня же скажетъ очень просто:

„Не хочу получать пощечинъ. Наймите компаньонку. Я ей буду платить“.

— Андрюша!—шепнула она,—одно словечко...

Палтусовъ подставилъ ухо.

— Позвольте мнѣ сказать отцу, что вы мнѣ дали взаймы...

— Онъ вытянетъ.

— Нѣтъ, я не дамъ.

— Говорите, Тася!

— Спасибо.

Это ей послужитъ. Отдать долгъ надо; вотъ она и скажетъ, что ей слѣдуетъ искать самой выгодной работы.

Палтусовъ пожалъ ей руку, приостановился на порогѣ, обернулся и тихо сказалъ:

— Если вамъ понадобится... вы не скрывайтесь отъ меня.

У него на текущемъ уже лежало десять тысячъ.

— Теперь не нужно.

„У него все лучше было взять, чѣмъ у Ники,—мелькнуло въ головѣ Таси.—А кто его знаетъ, впрочемъ, чѣмъ онъ живетъ?“

XXI.

— А! волонтеръ!..—встрѣтилъ генераль Палтусова, въ кабинетѣ, гдѣ уже совсѣмъ стемнѣло.

„Волонтеромъ“ прозвалъ онъ его послѣ сербской кампаніи. Палтусовъ не любилъ этого прозвища и вообще не жаловалъ безцеремоннаго тона Валентина Валентиновича, котораго считалъ „жалкимъ мыльнымъ пузыремъ“. Но онъ до сихъ поръ не могъ заставить его переимѣнить съ собою фамиліярнаго тона. Не очень нравилось Палтусову и то, что Долгушинъ говорилъ ему „ты“, пользуясь правомъ старшаго родственника.

Сегодня все это было ему еще непріятнѣе. Нуждается въ немъ, пишетъ ему просительныя записки, а туда же хорохорится.

— Здравствуйте, генераль,—отвѣтилъ Палтусовъ насмѣшливо и небрежно пожалъ его руку.

Валентинъ Валентиновичъ снималъ сюртукъ, стоя у обгнзлаго письменнаго стола, на которомъ, кромѣ чернильницы, лежали только счеты и календарь.

Кабинетъ его вмѣщалъ въ себѣ большой съ проваломъ клеенчатый диванъ и два-три стула. Обои въ одномъ мѣстѣ отклеились. Въ комнатѣ стоялъ спертый, табачный воздухъ.

— Темно очень, генераль,—замѣтилъ Палтусовъ.

— Сейчасъ, mon cher, лампу принесутъ. Митька!—крикнулъ онъ въ дверь.

Принесли лампу. Отъ нея пошелъ чадъ керосина. Долгушину мальчикъ подаль короткое генеральское пальто, изъ легкаго сѣраго сукна.

— Ступай,—выслалъ его генераль.

Палтусовъ сѣлъ на диванъ и ждалъ.

— Ты извини, что подождать меня.

„То-то!“—подумалъ Палтусовъ и нарочно промолчалъ.

— Мои стервецы виноваты.

— Какіе такіе?

— Да лошади. Кле возять. Морковью скоро будемъ кормить, братецъ! Ха-ха-ха!

„Ну, братца-то ты могъ бы и не употреблять“,—подумалъ Палтусовъ.

— Зачѣмъ держите?

— Зачѣмъ? По глупости... Изъ гонору.

Генераль опять засмѣялся, подошелъ къ углу, гдѣ у



него стояло нѣсколько чубуковъ, выбралъ одинъ изъ нихъ, уже приготовленный, и закурилъ самъ бумажкой.

Палтусовъ поглядѣлъ на его затылокъ, красный, припухлый, голый, подъ включенной щеткой посѣдѣлыхъ волосъ, точно кусокъ сырого мяса. Весь онъ казался ему такимъ ничтожнымъ индѣйскимъ пѣтухомъ. А говорить ему „братецъ“ и прозвалъ „волонтеромъ“.

— Плохандросы!—прохрипѣлъ генералъ и зачадилъ своимъ жуковымъ.—Послѣдніе дни пришли... Ты вѣдь знаешь, что Елена безъ ногъ.

— Совсѣмъ?—холодно спросилъ Палтусовъ.

— Докторъ сказалъ: черезъ двѣ недѣли отнимутся окончательно... И ротъ уже светло. Une mer à boire, mon cher. Онъ присѣлъ къ Палтусову, засопѣлъ и запыхтѣлъ.

— Я тебя побезпокоилъ. Ну, да ты молодой человѣкъ... Службы нѣтъ.

— Но дѣла много.

— А-а... Въ дѣлахъ!.. Слышалъ я, братецъ, что ты въ подряды пустился.

— Въ подряды?.. Не думалъ. Вы, небось, ссудили капиталомъ?

— У Калакуцкаго, говорили мнѣ въ клубѣ, состоишь чѣмъ-то.

Палтусову не очень понравилось, что въ городѣ уже знаютъ про его „службу“ у Калакуцкаго.

— Враки!

— Однако, и на биржѣ тебя выдаютъ.

— Бываю...

— Ну да, я очень радъ. Такое время. Не хозяйствомъ же заниматься! Здѣсь только бородѣ и почетъ. Ты пой-дешь... у тебя есть нюхъ. Но нельзя же все для себя. Молодежь должна и нашего брата старика поддержать... Сыновья мои для себя живутъ... Отъ Ники всегда какое-нибудь вниманіе, хоть въ малости. А ужъ Петька... Mon cher, je suis un père...

Генералъ не кончилъ и затынулся. Чувствительность ему не удавалась.

— Вы, ваше превосходительство, меня извините, — насмѣшливо заговорилъ Палтусовъ и посмотрѣлъ на часы.

— Занять, небось? Биржевой человѣкъ.

— Спѣшу.

— Сейчасъ, сейчасъ. Дай передохнуть.

Онъ еще ближе подсѣлъ къ Палтусову и обнялъ его лѣвой рукой.

— Вы все жуковский?—спросилъ Палтусовъ, отворачивая лицо.

— Привычка, братецъ!

— Дурная...

— Какая есть!

Генералъ началъ пикироваться.

XXII.

— Вотъ въ чемъ моя просьба, Андрюша—(Палтусовъ еще сильнѣе поморщился).—Есть у насъ тутъ родственникъ жены, троюродный братъ тещи, Куломзовъ, Евграфъ Павловичъ, не слыхалъ про него?

— Слышалъ.

— Извѣстный богачъ, скряга, чудодѣй, старый холостякъ. Однѣхъ уставныхъ грамотъ до пятидесяти писалъ. И ни одной деревни не заложено. Есть же такіе аспиды! Къ намъ онъ давно не ѣздитъ. Ты знаешь... въ какомъ мы теперь аллюрѣ... Да онъ и никуда не ѣздитъ... Въ англискій клубъ разъ въ мѣсяцъ... Видишь ли... Моя старшая дочь, вѣдь ты ее помнишь, Ляля?

— Помню.

— Она ему приходится крестницей; но вышло тутъ одно обстоятельство. Une affaire de rien du tout... Поручиться его просилъ... По пустому документу... И какъ бы ты думалъ, этотъ старый шутъ m'a mis à la porte. Закричалъ, ногами затопалъ. Никогда я ничего подобнаго не видалъ ни отъ кого!

— Такъ вы теперь повторить хотите?

— Дай досказать, братецъ,—уже раздраженно перебилъ генералъ и прислонился къ спинкѣ дивана.—Вѣдь у него деньжищевъ однѣхъ полмилліона, страсть вещей, картинъ, камней, хрусталу... Ограбить давно бы слѣдовало. Женѣ моей онъ приводится вѣдь дядей. Наслѣдниковъ у него нѣтъ. А если есть, то въ такомъ же колѣнѣ!..

— Вы уже справочки навели?

— Навелъ, братецъ. Не продастъ онъ своихъ деревень. Изъ амбиціи этого не сдѣластъ, а деревни всѣ родовыя. Меня онъ можетъ прогнать, но тебя онъ не знаетъ. Ты ужьнешь съ каждымъ найтись. Родственникъ жены...

— Тоже наслѣдникъ!

— Отчасти.



— А потомъ?

— А потомъ, mon cher, — ты мнѣ договорить все не даешь, — пускай онъ одновременно дастъ племянницѣ... или хоть кредитомъ своимъ поддержать.

— Ничего изъ этого не выйдетъ.

— Разжалоби его, братецъ. Ты краснобай. Ты знаешь, въ какомъ положеніи Елена. Не на что лѣчить, въ аптеку платить. И я... самъ видишь, на что я сталъ похожъ.

— Знаете что, генераль?

— Не возражай ты мнѣ...

— Это вѣрнѣйшее средство заставить его все обратить въ деньги.

— Да, если ты бухнешь сразу... Я тебя не объ этомъ прошу. У меня обжектъ на мази... богатый.

— Мѣшки дѣлать изъ травы? Слышалъ! Ха-ха!..

— Нечего, братъ, горло драть... Кредиту нѣтъ... Что мнѣ надо? Появлять ты? Чтобы этотъ старый хрѣнь не отрещивался отъ моей жены, чтобы онъ не скрывалъ, что она послѣдница. А для этого разжалобить его. И начать слѣдуетъ съ того, что я душевно сожалею о старомъ недоразумѣніи... понимаешь?

— И все это вы взваливаете на меня?

— Прошу тебя, mon cher, какъ родного... Не на колѣняхъ же мнѣ передъ тобой стоять!

— Знаете что, генераль?

— Ну, что еще?

— Есть у меня знакомый табачный фабрикантъ. Ему нужно на фабрику акцизнаго надзирателя.

— Такого у меня нѣтъ на примѣтѣ.

— Какъ нѣтъ, а я думалъ, вамъ слѣдуетъ взять это мѣсто.

Долгушинъ вскочилъ съ дивана. Чубукъ вертѣлся у него въ правой рукѣ. Глаза забѣгали, лисина покраснѣла. Палтусовъ въ первую минуту боялся, что онъ его прибить.

— Мнѣ?—задыхался крикнулъ онъ. — Мнѣ надзирателемъ на табачную фабрику?

— А почему же нѣтъ?

— Почему, почему?..

Генераль былъ близокъ къ удару.

— У него уже былъ отставной генераль. Мѣсто покойное... квартира, пятьдесятъ рублей, и лошадокъ можно держать.

— Brisons-là... Я шутку допускаю... но есть всему мѣра.

— Я не шучу,—сухо сказалъ Палтусовъ и поднялся съ дивана.—Пропустите случай, хуже будетъ.

— Хуже... Чего хуже?..

— Хуже того, что теперь есть. Тогда и надзирателя не дадутъ.

— Какъ вы смѣете?—крикнулъ Долгушинъ.

Но потѣхи довольно было Палтусову, онъ перемѣнилъ тонъ.

— Ну, ваше превосходительство, извините... Я не хотѣлъ васъ обижать. Извольте, такъ и быть, съѣзжу къ вашему Крезу.

— Я не желаю.

— Не желаете?—съ удареніемъ переспросилъ Палтусовъ.

— Если по-родственному...

— Да, да. Для вашей дочери дѣлаю... не для васъ.

Долгушинъ что-то пробурчалъ и задымилъ.

Палтусовъ тихо разсмѣялся. Очень ужъ ему жалокъ казался этотъ „индѣйскій пѣтухъ“.

— Когда же ты, братецъ?—какъ ни въ чемъ не бывало, спросилъ генераль.

— На-дняхъ. Дайте адресъ.

Они разстались друзьями. Къ Тасѣ Палтусовъ не зашелъ. Было четыре часа.

XXIII.

На биржу онъ не торопился. У него было свободное время до поздняго обѣда. Сани пробирались по сугробамъ переулка. Бобровый воротникъ пріятно щекоталъ ему уши. Голова нѣжилась въ собольей шапкѣ. Лицо его улыбалось. Въ головѣ все еще прыгала фигура генерала съ чубукомъ и съ краснымъ затылкомъ.

Палтусовъ смотрѣлъ на такихъ родственниковъ, да и вообще на такое дворянство, какъ на нѣчто разлагающееся, имѣющее одинъ „интересъ курьеза“. Слишкомъ ужъ все это ничтожно. Что такое несъ генераль? О чемъ онъ просилъ его? Что за нелѣпость давать ему порученіе къ богатому родственнику?

Но поѣхать опять-таки „для курьеза“ можно, посмотреть—полно, есть ли въ Москвѣ такіе „старые хрычи“ съ нѣтыюдесятью деревнями, окруженные драгоценностями? Палтусовъ не вѣрилъ въ это. Онъ видѣлъ кругомъ одно наденіе. Кто и держится, такъ и то проживаютъ одну

треть, одну пятую прежнихъ доходовъ. Гдѣ же имъ тягаться съ его пріятелями и пріятельницами, въ родѣ Нѣтовыхъ или Станицыныхъ и цѣлаго десятка такихъ же коммерсантовъ?

Каждый разъ, какъ онъ попадаетъ въ эти края, ему кажется, что онъ пріѣхалъ осматривать „катакомбы“. Онъ такъ и прозвалъ дворянскіе кварталы. Ъдетъ онъ вечеромъ по Поварской, по Пречистенкѣ, по Сивцову Вражку, по переулкамъ Арбата... Нѣтъ жизни. У подъѣздовъ хоть бы одна карета стояла. Въ комнатахъ темнота. Только гдѣ-нибудь въ передней или угловой горитъ „экономическая“ лампочка.

Фонари еще зажигали. Послѣдній отблескъ зари догоралъ. Но можно было еще свободно разбирать дома. Сани давно уже колесили по переулкамъ.

— Стой!—крикнулъ вдругъ Палтусовъ.

Небольшой домикъ съ палисадникомъ всплылъ передъ нимъ внезапно. Сбоку примостилось зеленое крылечко съ навѣсомъ, чистенькое, посыпанное пескомъ.

Сани круто повернули къ подъѣзду. Палтусовъ выскочилъ и дернулъ за звонокъ. На одной половинѣ дверей мѣдная доска была занята двумя длинными строчками съ большой короной.

Зайти сюда очень кстати. Это избавляло его отъ лишняго визита, да и когда еще попадетъ онъ въ эти края?

Пріотворилъ дверь человекъ въ сюртукѣ.

— Княжна у себя?

— Пожалуйте.

Онъ впустилъ Палтусова въ маленькую, опрятную переднюю, уже освѣщенную висячей лампой.

Лакей, узнавъ его, еще разъ ему поклонился. Палтусовъ попадалъ въ давно знакомый воздухъ, какого онъ не находилъ въ новыхъ купеческихъ палатахъ. И въ передней, и въ залѣ съ складнымъ столомъ и роялемъ стоялъ особый воздухъ, отзывавшійся какими-то травами, одеколономъ, немного пылью и старой мебелью.

Онъ вошелъ въ гостиную, куда человекъ только что внесъ лампу и поставилъ ее въ уголъ, на мраморную консоль. Гостиная тоже приняла его точно живое существо. Онъ не такъ давно просиживалъ здѣсь вечера за чаемъ и днемъ, часа въ два, въ часы дружескихъ визитовъ. Ничто въ ней не измѣнилось. Тѣ же цвѣты на окнахъ, два горшка у двери въ залу, зеркало съ бронзой, въ стилѣ

имперіи, столъ, покрытый шитой шелками скатертью, другой—зеленымъ сукномъ, весь обложенный книгами, газетами, журналами, крохотное, письменное бюро, качающееся кресло, мебель ситцевая, мягкая, безъ дерева, какая была въ модѣ до крымской кампаніи, двѣ картины и на средней стѣнѣ въ овальной рамѣ портретъ свѣтской красавицы—въ платьѣ сороковыхъ годовъ, съ блондами и вѣнкомъ въ волосахъ. Чуть-чуть пахнетъ папиросами „*shagunland doux*“, и запахъ этотъ подѣ-стать мебели и портрету. На окнахъ кисейныя гардины, шторы спущены. Коверъ положенъ около бюро, гдѣ два кресла стоятъ одно передъ другимъ и ждутъ двухъ мирныхъ собесѣдниковъ.

Палтусовъ потянулъ въ себя воздухъ этой комнаты, и ему стало не то грустно, не то сладко на особый манеръ.

Рѣдко онъ заѣзжалъ теперь къ своей дальней кузинѣ, княжнѣ Куратовой; но онъ не забываетъ ея и ему пріятно ее видѣть. Онъ очень обрадовался, что неожиданно очутился въ ея переулкѣ.

Изъ двери, позади бюро, безъ шума выглянула княжна и остановилась на порогѣ.

Ей пошелъ сороковой годъ. Она наслѣдовала отъ красавицы-матери — что глядѣла на нее съ портрета — такую же мягкую и величавую красоту и высокій ростъ. Черты остались въ видѣ линий, но и только... Она вся потускнѣла съ годами, лицо потеряло румянецъ, нѣжность кожи, покрылось мелкими морщинами, ротъ поблекъ, лобъ обтянулся, бѣлокурые волосы порѣдѣли. Она погнулась, хотя и держалась прямо; но станъ пошелъ въ ширину: сталъ костлявъ. Сохранились только большіе, голубые глаза и руки барскаго изящества.

Княжна ходила неизмѣнно въ черномъ послѣ смерти матери и троихъ братьевъ. Все въ ней было, чтобы правиться и сдѣлать блестящую партію. Но она осталась въ дѣвушкахъ. Она говорила, что ей было „некогда“ подумать о мужѣ. При матери, чахоточной, угасавшей медленно и томительно, она пробыла десятокъ лѣтъ на югѣ Европы. За двумя братьями тоже не мало ходила. Теперь коротаетъ вѣкъ съ отцомъ. Состояніе сѣбли, почти все, два старшихъ брата. Одинъ гвардеецъ и одинъ дипломатъ. Третій, нумизматъ и путешественникъ, умеръ въ Южной Америкѣ.

Палтусовъ улыбнулся ей съ того мѣста, гдѣ стоялъ. Онъ находилъ, что княжна, въ своемъ суконномъ платьѣ

съ пелериной, въ черной косынкѣ на рѣдкихъ волосахъ и строгомъ отложномъ воротникѣ, должна правиться до сихъ поръ. Ее онъ считалъ „своимъ человѣкомъ“ не по идеямъ, не по традиціямъ, а по расѣ. Расу онъ въ себѣ очень цѣнилъ и не забывалъ при случаѣ упомянуть, кому нужно, о своей „умницѣ“-кузинѣ, княжнѣ Лидіи Артамоновнѣ Куратовой, прибавляя: „прекрасный остатокъ добраго стараго времени“.

XXIV.

— Здравствуйте,—сказала она ему своимъ ровнымъ и низкимъ голосомъ.

Такихъ голосовъ нѣтъ у его пріятельницъ изъ купечества.

Глаза ея тоже улынулись.

— Давненько васъ не видно, садитесь.

Они сѣли на два ситцевыхъ кресла; княжна немного наклонила голову и потерла руки — ея обычный жестъ послѣ того, какъ ей пожмешь руку.

— Каюсь,—выговорилъ Палтусовъ полусерьезно.

Онъ любилъ немного пикироваться съ ней въ дружескомъ тонѣ. Темой, въ послѣдній годъ, служили имъ обширныя знакомства его „dans la finance“, какъ выражалась княжна.

— Гдѣ же вы пропадаете?

— Да все дѣлишки. Я вѣдь теперь приказчикъ.

— Приказчикъ? Поздравляю.

— Это васъ огорчаетъ?

— Не очень радуеть.

— Да почему же, chère cousine,—началъ онъ горячѣе.— Здѣсь, въ Москвѣ, надо дѣлаться купцомъ, строителемъ, банкиромъ, если папенька съ маменькой не припасли ренты.

Княжна вздохнула, повернула голову и взяла съ своего бюро шитье, tapisserie, не оставлявшее ее, когда она бесѣдовала.

— Вы вздохнули?—спросилъ Палтусовъ.

— Не буду съ вами спорить, степенно выговорила она, — у васъ своя теорія.

— Но вы не хотите оглянуться.

Она усмѣхнулась.

— Я ничего не вижу—это правда. Выхожу гулять на бульваръ, и то въ хорошую погоду, въ церковь...

— Вотъ отъ этого!

— Послушайте, André,—она одушевилась,—развѣ въ самомъ дѣлѣ... *cette finance... prend le haut du pavé?*

— Абсолютно!

— Вы не увлекаетесь?

— Нисколько.

И онъ началъ ей приводить факты... Кто хозяйничаетъ въ городѣ? Кто распоряжается бюджетомъ цѣлаго нѣмецкаго герцогства? Купцы... Они занимаютъ первыя мѣста въ городскомъ представительствѣ. Время прежнихъ Титовъ Титычей кануло. Милліонныя фирмы передаются изъ рода въ родъ. Какое громадное вліяніе въ скоромъ будущемъ! Судьба населенія въ пять, десять, тридцать тысячъ рабочихъ зависитъ отъ одного человѣка. И человѣкъ этотъ—не помѣщикъ, не титулованный баринъ, а коммерціи совѣтникъ или просто купецъ первой гильдіи, крепить лобъ двумя перстами. А дѣти его проживаютъ въ Ниццѣ, въ Парижѣ, въ Трувиллѣ, кутятъ съ наслѣдными принцами, прикармливаютъ разныхъ упраздненныхъ князьковъ. Жены ихъ все выписываютъ не иначе, какъ отъ Ворта. А дома, обстановка, картины, цѣлые музеи, виллы... Шопенъ и Шуманъ, Чайковскій и Рубинштейнъ,—все это ихъ обыкновенное меню. Тягаться съ ними нѣтъ возможности. Стоить побывать хоть на одномъ большомъ купеческомъ балѣ. Дошло до того, что они не только выписываютъ изъ Петербурга хоры музыкантовъ на одинъ вечеръ, но они выписываютъ блестящихъ офицеровъ, гвардейцевъ, кавалеристовъ, чуть не цѣлыми эскадронами, на мазурку и котильонъ. И тѣ ѣдутъ и пляшутъ, и пьютъ шампанское, любящееся въ буфетахъ съ десяти до шести часовъ утра.

Палтусовъ весь раскраснѣлся. Картина увлекла его самого.

— Вотъ какъ!—точно про себя вымолвила княжна.—Говорать... Я не отъ васъ перваго слышу... Какая-то здѣсь есть купчиха... Рогожина? Такъ, кажется?..

— Есть. Я бываю у нея.

— Это львица?

— Ея татенька былъ калачникъ... да. калачникъ... А теперь къ ней всѣ ѣздятъ.

— Кто же всѣ?

— Да всѣ... Дамы изъ вашего же общества. Я въ прошломъ году танцевалъ тамъ съ madame Кузьминой, съ

княжной Пронской, съ madame Ореусъ, съ Кидищевыми... То же общество, что у генералъ-губернатора.

— Est-elle jolie?

— На мой вкусъ—нѣтъ. Умѣла поставить себя... Une dame patronnesse.

— Она?

— А какъ бы вы думали?!

Княжна положила работу на колѣни.

— Однако, André,—заговорила она съ усмѣшкой,—всѣ эти ваши коммерсанты только и думаютъ о томъ, какъ бы чинъ получить... или крестикъ... Ихъ мечта... добиться дворянства... C'est connu...

— Да! кто потщеславнѣе...

— Ils sont tous comme cela!

— Есть ужъ и такіе, которые стали сознать свою силу. Я знаю молодыхъ фабрикантовъ, заправляющихъ огромными дѣлами... Они не лѣзутъ въ чиновники... Кончить курсъ кандидатомъ... и остается купцомъ, заводчикомъ. Онъ честолюбивъ по-своему.

— А въ концѣ, все-таки... il rêve une décoration!

— Не всѣ! Словомъ,—это сила, и съ ней надо уже считаться.

— И вы хотите поступать къ нимъ... въ...

Слово не сходило съ губъ княжны.

— Въ обученіе,—подсказалъ Палтусовъ и немного покраснѣлъ.—Ничего больше—какъ въ обученіе!.. Надо у нихъ учиться.

— Чему же, André?

— Работѣ, смѣлкѣ, кузина, умѣнью производить цѣнности.

— Какой у васъ сталъ языкъ...

— Настоящій!.. Безъ экономическаго вліянія нѣтъ будущности для насъ.

— Для кого?

— Для насъ... Для людей нашего съ вами происхожденія... Если у насъ есть воспитаніе, умъ, раса, наконецъ, надо все это дисконтировать... а не дожидаться сложа руки, чтобы господа коммерсанты съѣли насъ—и съ хвостикомъ.

Лицо княжны стало еще серьезнѣе.

— Il y a du vrai!.. въ томъ, что вы говорите... Но чья же вина?

— Объ этомъ что же распространяться! Все, что есть!

лучшаго изъ мужчинъ, женщинъ... Я говорю о дворянствѣ, о самомъ видномъ, все это принесено въ жертву... Вотъ хоть бы васъ самихъ взять.

— Я очень счастлива, André!..

— Положимъ. Спорить съ вами не стану. Но теперь это къ слову пришлось. Переберите свою семейную хронику... Какая пустая трата силъ, денегъ, земли... всего!..

— Не вездѣ такъ.

— Вездѣ, вездѣ!.. Я стою за породу, если въ ней есть что-нибудь, но негодую за прошлое нашего сословія... Одно спасеніе—учиться у купцовъ и сѣсть на ихъ мѣсто.

XXV.

— Рара!—обернулась княжна къ двери и привстала.

Всталъ съ своего кресла и Палтусовъ.

Въ гостиную вошелъ старичокъ, очень небольшого роста. Его короткія ручки, лысая голова и бритое лицо, при черномъ суконномъ сюртукѣ и бѣломъ галстукѣ, пріятно настраивали. Щеки его съ мороза смотрѣли свѣжо, а глаза мигали и хмурились отъ свѣта лампы.

— Князь, здравствуйте,—сказалъ ему громко Палтусовъ.

Князь былъ туговатъ на одно ухо, почему часто улыбался, когда чего-нибудь не разслышитъ. Онъ пожалъ руку Палтусова и ласково его обглядылъ.

Старичку пошелъ семьдесятъ четвертый годъ. Двигался онъ довольно бодро и каждый день, какаа бы ни была погода, ходилъ гулять передъ обѣдомъ по Пречистенскому бульвару.

— Bonjour, bonjour,—немного прошамкалъ онъ.

Переднихъ зубовъ онъ давно не досчитывался.

— Какъ погода?—спросила его дочь.

— Прекрасная, прекрасная погода,—повторилъ князь и сѣлъ на качающееся кресло.

— Съ бульвара?—обратился къ нему Палтусовъ.

— Мало гуляетъ въ этотъ часъ, мало,—проговорилъ князь и дѣтски улыбнулся.—Вѣтерокъ есть. Который часъ?

— Пять часовъ, рара,—отвѣтила княжна.

— Да, такъ и должно быть. Вы все ли въ добромъ здоровьѣ?—спросилъ онъ Палтусова.—Давно васъ не было. Лиза, я на полчаса... Газету принесли?

— Да, рара.

— Что есть... въ депешахъ?

— Ничего особеннаго въ политикѣ. Большіе холода въ Парижѣ... бѣдствіе...

— А-а!.. Зима ихъ одолѣла. Хе-хе!.. Скажите...

— Боятся, что ихъ занесетъ снѣгомъ.

— Скажите, пожалуйста!

Старичокъ звѣнулъ, и его кругленькое, чистое личико совершенно по-дѣтски улыбнулось.

— Поди, рара...

— Я пойду...

Онъ всталъ, сдѣлалъ ножкой Палтусову, подмигнувъ еще и вышелъ скорыми шажками.

Этотъ старичокъ наводитъ на Палтусова родъ усыпленія. Когда онъ говорилъ, у Палтусова пробѣгали мурашки по затылку и по спинѣ. Точно ему кто чешетъ пятки мягкой щеткой.

— Какъ князь свѣжъ,—сказалъ тихо Палтусовъ, когда шаги старика стихли въ залѣ.

— Да, я очень довольна его здоровьемъ... особенно въ эту зиму.

— Ему который?

— Семьдесятъ три.

Палтусовъ помолчалъ.

— Кузина, ваша жизнь вся ушла на мать, на братьевъ, на отца. Ну, а послѣ его кончины?

Она сдѣлала движеніе.

— Но вѣдь это будетъ. Останетесь вы однѣ... Вы еще вонъ какая...

— André, я не люблю этой темы...

— Напрасно-съ... На что же вторая половина жизни пойдетъ? Все *abnégation*, да *recueillement*. Вѣдь это все отрицательныя величины, какъ математики называютъ.

— Я не согласна. У меня есть жизнь, вы это знаете. Маленькая по-вашему. По моимъ силамъ и правиламъ, André. Я васъ слушала сейчасъ, до прихода рара, не спорила съ вами. Вы правы... въ фактахъ... Но сами-то вы слѣдите ли за собой? Простите мнѣ *cette reprimande*, ужъ я старуха... Надо слѣдить за собой, а то легко *s'embourber*...

— Какія страшныя слова, кузина!

— Мнѣ кажется, это настоящее слово. По-русски вышло бы рѣзче,—прибавила она съ умной усмѣшкой.—Хотите, чтобъ я сказала вамъ мое впечатлѣніе... насчетъ васъ...

— Говорите.

— Вы ужъ не тотъ, что годъ тому назадъ. У васъ были другія... *d'autres aspirations*... Вы начали смѣяться надъ вашимъ увлеченіемъ, надъ тѣмъ, что вы были въ Сербіи... волонтеромъ, и потомъ въ Болгаріи. Я знаю, что можно смотрѣть на все это не такъ, какъ кричали въ газетахъ... которыя стояли за славянъ. Но я васъ лично беру. Тогда я какъ-то васъ больше понимала. Вы слушали лекціи, хотѣли держать экзаменъ... Я ждала васъ на другой дорогѣ.

— Какой?—почти крикнулъ Палтусовъ и перевернулся въ креслѣ. — Въ ученье я не мѣтилъ, чиновникомъ не хочу быть — и это мнѣ надо поставить въ заслугу. Я изучаю русское общество, кухня, новые его слои... смотрю на себя, какъ на піонера.

— Піонеръ,—повторила княжна и на секунду закрыла глаза.

— Ищу живого и выгоднаго дѣла.

— Выгоднаго, André?

— А то какъ же? Въ этомъ сила—повѣрьте мнѣ. Безъ опоры въ накопленномъ трудѣ ничего нельзя достать.

— Для себя?

— Нѣтъ-съ, не для себя, а для того же общества, для массы, для трудового люда. Я тоже народникъ, я, кухня, чувствую въ себѣ связь и съ мужикомъ, и съ фабричнымъ, и со всякимъ, кто потѣетъ... *raison* за это неизгнѣнное слово.

— Можетъ-быть... Только вы другой стали, André!.. И въ очень короткое время.

— Не мудрено... Но не говорить ли въ васъ задѣтое сословное чувство?

— Вы, сколько я вижу, не стыдитесь нашего происхожденія.

— Расу допускаю. Но особенно не горжусь тѣмъ, что я видѣлъ въ своей фамиліи.

— Зачѣмъ это трогать?

— Это законная жалоба, кухня... Родители передаютъ намъ наслѣдственно не запасы душевнаго здоровья, а часто одно вырожденіе.

— На то есть свобода воли, André!

— Свобода воли! А я вамъ скажу, что если кто изъ насъ въ теченіе десяти лѣтъ не свихнется, онъ долженъ смотрѣть на себя, какъ на героя!

- Все родители виноваты?
— Наполовину—да.
Онъ всталъ, подошелъ къ ней и нагнулъ голову.
— Пора мнѣ. Продолженіе слѣдуетъ.
— Sans gâchepie, André.
— Еще бы!.. Вы вобрали въ себя всю добродѣтель
нашего фобура.
— Не останетесь обѣдать?
— Нѣтъ, не могу. Званъ.
— Dans la finance?
— Къ купчихѣ на сверхъестественную привозную рыбу...
baguette. Въ Москвѣ-то!
— Bon appetit!
Онъ поцѣловалъ у нея руку.

XXVI.

Поздно раскрылъ глаза Палтусовъ. Купеческій обѣдъ съ выписной рыбой „baguette“ затянулся. Было выпито много разныхъ крушоновъ и ликеровъ. Онъ это не очень любилъ. Но отказываться отъ обѣдовъ, ужиновъ и даже попоекъ ему уже нельзя. Онъ скоро распозналъ, что за исключеніемъ двухъ-трехъ домовъ построже, въ родѣ дома Нѣтовыхъ, все держится „за компанію“, въ широкомъ, московскомъ значеніи этого слова. Безъ пріятелей, питья брудершафтовъ, безъ „голубчика“ и „мамочки“ никогда не войдешь въ нутро колоссальной машины, выкидывающей рубли, акціи, тюки хлопка, штуки „пунцового“ товара. Художественная сторона натуры Палтусова помогала ему... Онъ часто забавлялся про себя. Каждый день заводились у него новыя связи. Ему ничего не стоило, безъ всякаго ущерба своему достоинству, подойти къ тону любого „обывателя“. И никто, какъ думалось ему, не понималъ его. Иной, быть-можетъ, считалъ за пройдоху, за „стрекулиста“; но ни у кого не хватало ума и чутъя, чтобы опредѣлить то, что онъ считалъ своимъ „мировоззрѣніемъ“.

Сторы были спущены въ его спальнѣ. Онъ еще жилъ въ меблированныхъ комнатахъ, но за квартиру далъ задатокъ, переберется въ концѣ января. Ему жаль будетъ этихъ номеровъ. Здѣсь онъ чувствовалъ себя свободно, молодо, точно какой пріѣзжій, успѣшно хлопочущій по отысканію наслѣдства. Номерная жизнь напоминаетъ ему



и военную службу, и время слушанія лекцій, и заграничныя поѣздки.

Номера, гдѣ онъ жилъ, считались дорогими и порядочными. Но нравы въ нихъ держались такіе же, какъ и во всѣхъ прочихъ. Стояли тутъ около него двѣ иностранки, принимавшія гостей... во всякое время. Обѣ принимали помѣсячно нарядныя квартирки. Жило три помѣщичьихъ семейства, водилась картежная игра, останавливались заграничныя нѣмцы, изъ комми-вояжеровъ. Но подъѣздъ и лѣстница, ливрея швейцара и половики держались въ чистотѣ, не пахло кухни, лакеи ходили во фракахъ, сливки къ кофе давали не прокислыя.

Умывшись, Палтусовъ, въ свѣтло-сѣромъ сюртукѣ съ голубымъ кантомъ, перешелъ въ другую комнату, отдѣланную гостинной, и позвонилъ.

Коридорный служилъ ему отлично. Онъ получалъ отъ него по пяти рублей. То-и-дѣло Спиридонъ—такъ звали его—сообщалъ ему разныя новости о квартиранткахъ.

И на этотъ разъ, подавая кофе, онъ со степеннѣйшей миной своего усатаго, сухого лица доложилъ:

— Изъ Петербурга есть пріѣзжій товаръ.

— Какой?

— Француженка.

— Дорого?

— Не объявляла еще.

Палтусовъ подумалъ, по уходѣ Спиридона, о своемъ вчерашнемъ разговорѣ съ княжной Куратовой. Его слегка защемило. Ея гостинная дышала честностью и достоинствомъ не напускнымъ, а настоящимъ. Неужели она вѣрно угадала — и онъ уже подернулся пленкой? А какъ же иначе? Безъ этого нельзя. Но жизнь на его сторонѣ. Тамъ — усыпальница, катакомбы. Но отчего же княжна такъ симпатична? Онъ чувствуетъ въ ней женщину больше, чѣмъ въ своихъ пріятельницахъ „dans la finance“.

Палтусовъ засидѣлся за кофеемъ. Перебралъ онъ въ головѣ всѣхъ женщинъ прошлой зимы и этого сезона. Ни одна не заставила его ни разу забытья, не дрогнулъ въ немъ ни одинъ нервъ. Зато и притворяться онъ не хотѣлъ. Это ниже его. Онъ не Никита Долгушинъ. Но вѣдь онъ молодъ, никогда не тратилъ силъ зря, чувствуетъ онъ въ себѣ и артистическую жилку. Не очень ли ужъ онъ слѣдитъ за собой? Надо же „поиграть“ немного. Долго не выдержишь.

Двѣ женщины смотрѣли на него изъ рамокъ толстаго альбома: Анна Серафимовна... Марья Орестовна. Въ сущности ни та, ни другая—не его типъ. Съ Нѣтовой у него въ послѣднія шесть недѣль гораздо больше пріятельства. Но она собирается за границу. Кажется, ей хотѣлось, чтобъ и онъ поѣхалъ. Съ какой стати? Въ этой женщинѣ есть что-то для него почти противное. Никогда она не вызоветъ въ немъ ни малѣйшихъ желаній. Хоть и надѣвается чулки по двадцати рублей пара. Все равно—она поручаетъ ему свои дѣла. Анну Серафимовну онъ не видѣлъ больше мѣсяца. Это—своеобразная фигура! Прекрасно сложена. У ней должна найтись „страсть“ и смѣлость. Но такія женщины опасны.

Палтусовъ, одѣваясь, распредѣлялъ обыкновенно свой день. Онъ вспомнилъ про Долгушина, про разговоръ съ генераломъ, разсмѣялся и рѣшилъ, что заѣдетъ къ этому старику, Куломзову.

„Не однихъ купцовъ-милліонщиковъ, и баръ надо знать „поименно“,—разсудилъ онъ.

Сани ждали его у подъѣзда.

XXVII.

День держался яркій, съ небольшимъ морозомъ. Ѣзда на улицахъ, по случаю праздника, началась съ ранняго утра. Въ четверть часа докатилъ Палтусовъ до церкви Успенья на Могильцахъ. Въ этомъ приходѣ значился домъ гвардіи корнета Евграфа Павловича Куломзова.

Городового ни въ будкѣ, ни на перекресткѣ не оказалось. Въ мелочной лавочкѣ кучеру Палтусова указали на свѣтло-палевый штукатуренный домъ съ мезониномъ и стеклянной галлереей, выходившей на дворъ.

— Къ которому подъѣзду прикажете?—спросилъ кучеръ у Палтусова.

Ихъ было два.

— Одинъ заколоченъ,—разглядѣлъ Палтусовъ.

Сани подъѣхали къ первому, рядомъ съ воротами.

Долго звонилъ Палтусовъ. Онъ уже заносилъ ногу обратно въ сани, когда дверь съ шумомъ отворилась.

— Евграфъ Павловичъ?—увѣренно спросилъ Палтусовъ у стараго лакея въ картузѣ съ позументомъ.

Тотъ помолчалъ и не сразу впустилъ гостя въ длинный свѣтлый ходъ, весь расписанный фресками. Направо и нѣско стояли вѣшалки.

— Какъ объ васъ доложить?

Палтусовъ далъ карточку. Старикъ пошелъ медленной походкой. Галерея стояла не топленной. Въ глубинѣ ея, на площадкѣ, куда вели пять ступеней, виднѣлся каминъ съ зеркаломъ и боковая стѣна, расписанная деревьями и цвѣтами.

Пришлось подождать.

— Пожалуйте,—раздался дряблый голосъ старика. — Пожалуйте сюда. Тамъ холодно будетъ раздѣваться.

Онъ взбѣжалъ по ступенькамъ и взялъ вправо. Темная комната, — родъ приѣмной, гдѣ онъ со свѣту ничего не разобралъ, — показалась ему, когда онъ скинулъ пальто, немного теплѣе галереи.

— Наверхъ-съ,—повелъ его слуга,—въ мезонинъ пожалуйте.

Лѣстница съ деревянными перилами, выкрашенными подъ букъ, скрипѣла. По ступенькамъ лежалъ половинокъ на мѣдныхъ прутьяхъ. Какъ только началъ Палтусовъ подниматься, сверху раздался сначала жидкій лай двухъ собачекъ, а потомъ глухое рычанье водолаза или датскаго дога.

„Да я въ звѣринецъ попалъ“,—весело думалъ Палтусовъ, идя за слугой.

На площадку свѣтъ выходилъ изъ полуотворенной двери налѣво. Выскочилъ желтый, громадный песъ сенъ-бернардской породы, остановился въ дверяхъ и отрывисто залаялъ.

— Не бойтесь,—сказалъ старикъ.—Нерошка, тубо!.. Онъ не кинется.

Жидкій лай продолжался, но въ комнатѣ.

— Пожалуйте-съ.

Палтусовъ попалъ въ высокую комнату, свѣтло-зеленую, окнами на улицу. Одну стѣну занимала большая клѣтка, раздѣленная на отдѣленія. Въ одномъ прыгали двѣ крохотныя обезьянки, въ другомъ щелкала бѣлка, въ просторной половинѣ скакали разноцвѣтныя птички. Онъ сейчасъ же замѣтилъ зеленыхъ попугайчиковъ съ красными головками.

Къ нему подбѣжали двѣ собачки, кингъ-чарльсъ, глазастыя, обросшія, черныя съ желтыми подпалинами, рѣдкой красоты. Пальцы лапъ у нихъ тоже обросли, точно у голубей. Бѣгали онѣ, виляя задомъ и топчась на мѣстѣ. Лаять и та и другая перестали и замахали хвостомъ.

Въ лѣвомъ углу, въ ярко-отчищенной круглой клѣткѣ сидѣлъ бѣлый какаду и покачивался.

„Звѣринецъ и есть“, подтвердилъ Палтусовъ и бросилъ взглядъ на остальное убранство комнаты. Мебель вся была соломенная, узорчатая. Стоялъ еще акварій. Цвѣты и горшки съ растеніями придавали ей оживленіе. Свѣтъ игралъ на всевозможныхъ оттѣнкахъ зеленой краски.

Когда Палтусовъ вошелъ — все немного притихло. Потомъ опять защелкало, запрыгало и защебетало. Съ лѣвой стѣны отъ входа торчали олени рога и надъ шкапомъ съ чучелами выглядывала голова скелета какой-то большой птицы.

Эта гостиная заинтересовала его. Онъ съ любопытствомъ ждалъ выхода хозяина изъ узенькой двери, оклеенной также обоями, еле замѣтной между двумя горшками растеній. Собаки обнюхивали гостя. Сень-бернаръ поглядѣлъ на него грустными и простоватыми глазами и легъ подъ тростниковый столъ, на шкуру бѣлаго медвѣдя.

„Гдѣ же драгоценности? — спросилъ себя Палтусовъ, вспомнивъ хриплую болтовню Долгушина. — Все-то враль курьезный дяденька, все-то враль“.

Дверка скрипнула. Палтусовъ выпрямился. Какаду крикнулъ. Собачки побѣжали къ хозяину.

XXVIII.

Къ Палтусову вышелъ скорыми шажками сухой старикъ въ туфляхъ и короткомъ свѣтломъ шлафрокѣ, выше средняго роста, бритый. Острый носъ и узкій овалъ лица моложавили его. Круглая голова блестѣла отъ припорошеннаго, рыжеватаго паричка съ хохломъ, какіе носили въ тридцатыхъ годахъ. Подъ носомъ торчали усъ точно два кусочка подстриженной и подкрашенной шерсти. Щеки сохранили неестественный румянецъ. Во всей наружности и въ домашнемъ туалетѣ хозяина проглядывала старомодная франтоватость холостяка. Палтусовъ успѣлъ разглядѣть, что онъ притираетъ щеки. Когда хозяинъ раскрылъ свой морщинистый ротъ съ блѣдными и тонкими губами, двѣ новыхъ челюсти такъ и заблестали. Держался онъ, слегка нагнувшись впередъ.

— Чѣмъ могу быть къ услугамъ вашимъ? — встрѣтилъ онъ гостя и, протягивая руки, любезно указалъ на одно изъ соломенныхъ креселъ.

Палтусовъ сѣлъ.



Хозяинъ вертѣлъ въ рукѣ его карточку.

— Палтусовъ, Андрей Дмитріевичъ,—твердо выговорилъ онъ.—Фамилія мнѣ очень знакома. Я служилъ въ колонновожатыхъ... съ однимъ Палтусовымъ... имя, отчество позабылъ.

— Это былъ, вѣроятно, Ѳедоръ Ильичъ, братъ отца, мой родной дядя.

— Весьма пріятно... Фамилія извѣстна... чѣмъ могу?..—спросилъ опять хозяинъ и пристально поглядѣлъ на гостя.

— Евграфъ Павловичъ,—началъ Палтусовъ,—вы извините, если я скажу вамъ сразу, что мой визитъ кажется мнѣ самому... курьезнымъ...

— Какъ это? Не совсѣмъ понимаю, молодой человѣкъ.

Собачки влѣзли старику на колѣни, большой песъ легъ у ногъ.

— Видите ли, я взялся исполнить порученіе... одного вашего родственника. А мнѣ не хотѣлось бы беспокоить васъ. Я очень радъ съ вами познакомиться... Мнѣ такъ много говорили про васъ и вашъ домъ. Старая Москва уходить, надо пользоваться...

Куломзовъ усмѣхнулся.

— Вы опоздали,—сказалъ онъ,—у меня дѣйствительно были разныя вещи... картины, бронза... фарфоръ... Сорокъ лѣтъ собиралъ... для себя; но теперь ничего нѣтъ.

— Продали?

— Нѣтъ, Боже избави... Но здѣсь не держу. Въ деревню перевезъ все до послѣдней вазочки и заколотилъ низъ... Не топлю. И мебели тамъ нѣтъ никакой.

— Живете въ мезонинѣ?

— Въ трехъ комнатахъ. Вотъ это моя менажерія, люблю птицъ и всякихъ звѣрей... Тамъ мой кабинетъ. Половину книгъ оставилъ. Спальня... ванная... и все. Кухни не держу. Иногда въ клубъ... рѣдко... а то гдѣ придется... въ кабачкѣ... въ Эрмитажъ... въ Англію у Дюссо.

„Книжки читаетъ“,—отмѣчалъ про себя Палтусовъ.

— И круглый годъ въ Москвѣ?

— Въ деревню не ѣзжу... Что тамъ дѣлать?.. Съ мужичками не спорю... вездѣ сдалъ землю... Имъ хорошо. За границу ѣзжалъ... еще не такъ давно. Я вамъ, молодой человѣкъ, не предлагаю курить... самъ не курю...

— Я не такой страстный курильщикъ.

— Такъ вы изволили упомянуть о родственникахъ моихъ. Кто это, любопытно? У меня нѣтъ никого.

„Каковъ генералъ!“—подумалъ Палтусовъ.

— Вотъ видите, Евграфъ Павловичъ, какъ я попался. А меня увѣрялъ Валентинъ Валентиновичъ Долгушинъ...

— А! вотъ что! Валентинъ! Понимаю...

И онъ улыбнулся.

— Вы его знаете?

— Какъ не знать!.. Онъ выдаетъ свою жену за мою прямую наслѣдницу. Весьма сожалѣю, молодой человѣкъ, что вы вдалились въ этотъ... обманъ... Не занималъ ли онъ у васъ?

— Богъ миловалъ!

Они оба разсмѣялись.

— Именно... У меня была тутъ дѣлая исторія. Это—отпѣтый человѣкъ. И такими-то теперь полна Москва. Прожились, изолгались, того гляди, очутятся въ этихъ... какъ ихъ теперь называютъ?

— Въ червонныхъ валетахъ,—подсказалъ Палтусовъ.

— Такъ, такъ... въ червонныхъ валетахъ... Вы понимаете... съ вами можно говорить... Ну, куда, ну, куда?—прикрикнулъ старикъ на одну изъ собачекъ, которая лѣзла къ нему на грудь и хотѣла лизнуть его прямо въ лицо.—Тутъ, Жолька, лежи... Вотъ,—обратился онъ къ гостю,—какая ласковая у меня собачурка. Изъ Испаніи самъ вывезъ, здѣсь нѣтъ такой чистой породы. Съ собаками и умирать буду. Былъ такой нѣмецкій философъ... какъ бишь его?.. вы должны знать... на фамиліи плохъ сталъ... Я французскія извлеченія читалъ изъ его мыслей... Онъ смотрѣлъ на жизнь здраво. Съ нами вѣдь природа шутки шутить. Мы своей воли не имѣемъ... бьемся, любимъ... любовь къ женщинѣ... это природа приказываетъ... воля... la volonté... Онъ это по-своему объясняетъ...

— Не Шопенгауэръ ли?—спросилъ Палтусовъ.

— Именно! Онъ, онъ! И біографія его. Вотъ какъ я же... холостякомъ жилъ... У меня и книжки есть... хотите взглянуть?.. Вотъ онъ и сказалъ, что умирать надо съ собаками. Я вамъ покажу... Не хотите ли перейти въ кабинетъ?.. Здѣсь свѣжо...

Онъ всталъ, спустилъ на полъ собачекъ и растворилъ дверку, приглашая рукой гостя.

XXIX.

Вторая комната, такихъ же размѣровъ, съ бѣлыми обоями, заставленная двумя шкапами краснаго дерева и

стариннымъ бюро, съ металлическими инкрустациями, смотрѣла гораздо скучнѣе. Направо, на каминѣ, часы и канделябры желтой мѣди сейчасъ же бросились въ глаза Палтусову своей изящной работой. Кромѣ нѣсколькихъ стульевъ и креселъ и двухъ гравюръ въ деревянныхъ рамахъ, въ кабинетѣ ничего не было.

— Вотъ въ этой книжкѣ...

Хозяинъ отыскалъ на бюро томъ въ желтой оберткѣ и подалъ Палтусову.

— Статья о Шопенгауэрѣ...

— Да, умный нѣмецъ... И своихъ колбасниковъ честишь... Писать не умѣютъ... говорилъ. Это совершенно вѣрно, глаголъ подъ конецъ страницы. Есть ли смыслъ человѣческій?.. Что жъ вы не сядете, чѣмъ могу?

„Память-то отшибло у него“,—подумалъ Палтусовъ и поглядѣлъ еще разъ на часть стѣны, ничѣмъ не занятую.

Его зоркій глазъ отличилъ отъ обоевъ закрашенную полосу, дырочку для ключа и темныя полосы съ трехъ сторонъ. Это былъ вдѣланный въ стѣну несгораемый шкафъ. Онъ отвелъ глаза, чтобы старикъ не замѣтилъ.

— Я не стану васъ беспокоить,—заговорилъ онъ весело и почтительно.—На генерала Долгушина я смотрю, какъ онъ этого заслуживаетъ. Но онъ мой родственникъ. Очень ужъ присталъ ко мнѣ... и все обижается, когда ему скажешь, что лучше бы онъ выпросилъ себѣ мѣсто акцизнаго надзирателя на табачной фабрикѣ.

— Что, что такое? Надзирателя? Онъ и на это не способенъ.

— Ваша правда!

Они опять посмѣялись. Старикъ правился гость.

„А вѣдь ты ростовщикъ?“—вдругъ спросилъ про себя Палтусовъ и поглядѣлъ попристальнѣе на ротъ и зеленатые тусклые глаза гвардіи корнета.

„Ростовщикъ на десятки тысячъ“,—прибавилъ онъ.

Знакомству съ нимъ онъ порадовался на всякій случай.

— Никакихъ у меня наслѣдниковъ здѣсь нѣтъ,—началъ Куломзовъ.—Очень пріятно было познакомиться. Молодыхъ людей... какъ вы... люблю... Но генералъ напрасно беспокоится. Впрочемъ—бѣдность не свой братъ.

Онъ вздохнулъ.

— Жаль не его,—сказалъ Палтусовъ,—жена безъ ногъ, въ параличѣ... старуху-тещу онъ ободралъ... дочь—милая... дѣвица.



— Чего жалѣть? Сами виноваты... У меня здѣсь есть не мало старухъ... моихъ невѣсть... хе-хе! охаютъ, жалуются... клянуть теперешнее время... Дуры вы,—я имъ говорю, когда къ нимъ заѣду,—вы—дуры, а время хорошее... Земля та же, ее не отняли. До эмансипаціи,—онъ произносилъ это слово въ носъ,—десятина въ моихъ мѣстахъ пятьдесятъ рублей была, а теперь она сто и сто десять. Аренда—вдвое выше... Я ничего не потерялъ! Ни одного вершка. А доходы больше. Хозяйство я бросилъ... Зато рента стала вдвое, втрое. И кто же виновать? Скажите на милость. Транжирять-транжирять... и все на вздоръ. Жалости подобно. Только я не жалѣю никого... Не стоить, молодой человѣкъ, не стоить. Чего же удивляться, что дворянство теперь—нуль... такъ что-то... неодушевленное... ха-ха! Вотъ мреть много народу. Это производить эффектъ... Ёдешь такъ по Поварской, по бульвару... Тутъ въ этомъ домѣ всѣ вымерли, въ другомъ, въ третьемъ... Цѣлые переулки есть выморочные. Никого изъ моихъ-то сверстниковъ. Тоскливо бываетъ... хоть и знаешь, что пора ложиться... туда... А все неприятно... Только этого и жаль. А что всѣ прожились... и пускай! Не то что въ надзиратели, будутъ и въ городскихъ, въ извозчикахъ, въ трубочистахъ, а то въ жуликахъ... въ этихъ... валетахъ... Хе-хе!..

Онъ долго смѣялся. Пора было Палтусову и откланяться.

— Жалѣю,—сказалъ онъ, поднимаясь,—что не могъ полюбоваться вашими коллекціями.

— Забито... въ ящикахъ... И деревеньку выбралъ глухую. Воровство большое. И отъ жидковъ отбою не было... все это они знаютъ, и точно въ лавочку какую бѣгали. Очень радъ... Съ племянникомъ сослуживца... Я всегда по утрамъ... милости прошу...

Собачки и желтый песъ проводили Палтусова до лѣстницы.

„Что же это,—кольнуло его,—а за Тасю-то бѣдную хоть бы слово сказалъ потеплѣе. Ну, да все равно ничего бы не далъ. А если онъ вретъ и генеральша—наслѣдница, нечего беспокоиться“.

Въ теченіе зимы онъ завернулъ еще къ этому подрумяненному читателю Шопенгауэра.

„Шопенгауэръ куда залетѣлъ! Москва! Другой нѣтъ!“

Палтусовъ былъ доволенъ этимъ визитомъ, хотя и называлъ его „отмѣнно глупымъ“.



Слугѣ въ галунномъ картузѣ онъ далъ почему-то рубль.

XXX.

Завтракать заѣхалъ Палтусовъ къ Тѣстову; ѣсть ему все еще не хотѣлось со вчерашней ѣды и питья. Онъ на-скоро закусилъ. Сходя съ крыльца, онъ прищурился на свѣтъ и хотѣлъ уже садиться въ сани.

— Куда вы?—крикнули ему сзади.

— Пирожковъ!

Иванъ Алексѣевичъ, въ неизмѣнной высокой шляпѣ и аккуратно застегнутомъ мерлушковомъ пальто, улыбался во весь ротъ. Очки его блестѣли на солнцѣ. Мягкія, бѣ-лыя щеки розовѣли отъ пріятнаго морозца.

— Со мной! не пушу,—заговорилъ онъ, и взялъ Палту-сова по привычкѣ за пуговицу.

— Куда?

— Несчастный! Какъ куда? Да какой сегодня день?

— Не знаю право,—заторопился Палтусовъ, обрадован-ный, впрочемъ, этой встрѣчей.

— Хорошъ любитель просвѣщенія. Татьянинъ день, батюшка! Двѣнадцатое!

— Совсѣмъ забылъ.

Палтусовъ даже смутился.

— Вотъ оно что значить съ коммерсантами-то пребы-вать. Университетскую угодницу забылъ.

— Забылъ!..

— Ну, ничего, во-время захватимъ. Ёдемъ на Моховую. Мы какъ разъ попадемъ къ началу акта, и мѣсто по-лучше займемъ. А то эта зала предательская—ничего не слышно.

— Какъ же это?

Палтусовъ наморщилъ лобъ. Ему надо было побывать въ двухъ мѣстахъ. Ну да для университетскаго празд-ника можно ихъ и по-боку.

— Везите меня, нечего тутъ. Дѣло мытаря надо сего-дня бросить.

Съ этими словами Пирожковъ садился первый въ сани.

Они поѣхали въ университетъ. Дорогой перемолвились о Долгушинныхъ, о Тасѣ, пожалѣли ее, рѣшили, что надо ее познакомиться съ Грушевой и слѣдить за тѣмъ, какъ пойдетъ ученье.

— Баба-ѣра,—сказалъ весело Пирожковъ.—Въ ней всѣ семь смертныхъ грѣховъ сидятъ.



Разсказалъ ему Палтусовъ о порученіи генерала. Они много смѣялись и съ хохотомъ въѣхали во дворъ стараго университета. Палтусовъ оглянулъ рядъ экипажей, карету архіерея съ фореитормъ въ мѣхвой шапкѣ и синемъ кафтанѣ, и ему стало жаль своего ученья, цѣлыхъ трехъ лѣтъ хожденія на лекціи. И онъ могъ бы быть теперь кандидатомъ. Пошелъ бы по другой дорогѣ, стремился бы не къ тому, къ чему его влекутъ теперь „Китай-городъ“ и его обыватели.

— Alma mater!—шутливо сказалъ Пирожковъ, слѣзая съ саней, но въ голосѣ его какая-то нота дрогнула.

— Здравствуй, Леонтій,—поздоровался Палтусовъ со сторожемъ въ темномъ проходѣ, гдѣ ихъ шаги зазвенѣли по чугуннымъ плитамъ.

Пальто свое они оставили не тутъ, а наверху, гдѣ въ передней толпился уже народъ. Палтусовъ поздоровался и со швейцаромъ, сухимъ старикомъ, неизмѣннымъ и подъ парадной перевязью на синей ливреѣ. И швейцаръ тронулъ его. Онъ никогда не чувствовалъ себя, какъ въ этотъ разъ, въ стѣнахъ университета. Въ первой залѣ—они прошли чрезъ бібліотеку—лежали шинели званныхъ гостей. Мимо проходили синіе мундиры, генеральскіе лампы мелькали вперемежку съ бѣлыми рейтузами штатскихъ генераловъ. Въ амбразурѣ окна приземистый господинъ, съ длинными волосами, весь ушедшій въ шитый воротникъ, съ Владиміромъ на шеѣ, громко спорилъ съ худымъ, испитымъ юношей во фракѣ. Старое бритое лицо „суба“ показалось изъ дверей; и оно напомнило Палтусову разныя сцены въ аудиторіяхъ, сходки, волненія.

Пирожковъ шелъ съ нимъ подъ руку и то и дѣло раскланивался. Они провели какихъ-то пріѣзжихъ дамъ и съ трудомъ протискали ихъ къ кресламъ. Полукруглая колоннада вся усыпана была головами студентовъ. Сквозь зелень блестяли золотыя цифры и слова на темномъ бархатѣ. Было много дамъ. На всѣхъ лицахъ Палтусовъ читалъ то особенное выраженіе домашняго праздника, не шумно-веселаго, но чистаго, такого, безъ котораго тяжело было бы дышать въ этой Москвѣ. Шептали тамъ и сямъ, что отчетъ будетъ читать самъ ректоръ, что онъ скажетъ въ началѣ и въ концѣ то, чего всѣ ждали. Будутъ рукоплесканія... Пора, молъ, давно пора университету заявить свои права...

Пропѣли гимнъ. Началось чтеніе какой-то профессор-



ской рѣчи. Ее плохо было слышно, да и мало интересовались ею... Но вотъ и отчетъ... Все смолкло... Слабый голосъ разлетается въ залъ; но ни одно „хорошее“ слово не пропало даромъ... Ихъ подхватывали рукоплесканія. Палтусовъ переглянулся съ Пирожковымъ, и оба они бьютъ въ ладоши, подняли руки, кричатъ... Обоимъ было ужасно весело. Кругомъ Палтусовъ не видитъ знакомыхъ лицъ между студентами; но онъ сливается съ ними... Ему очень хорошо!.. Забылъ онъ про банки, конторы, Никольскую, амбары, своего патрона, своихъ купчихъ.

Вонъ сидитъ Нѣтова. И рядомъ хмурое лицо ея мужа. Онъ не подойдетъ къ нимъ. Онъ отъ нихъ за тысячи верстъ. Здѣсь чувствуетъ онъ, какъ ему съ ними тошно... Иванъ Алексѣевичъ подзадориваетъ его своей усмѣшкой, умными глазами, своимъ брюшкомъ; въ немъ есть что-то тонкое, культурное, доброе, чуждое всякихъ гешефтовъ.

„Гешефтъ“—слово пронизало мозгъ Палтусова.

Опять рукоплещутъ. Еще сильнѣе. Онъ не слыхалъ за что, да развѣ это не все равно!

Всѣ смѣшались. Глаза у всѣхъ блестятъ. Онъ пожмаетъ руку постороннимъ.

— Ловко! Молодецъ!—кричатъ кругомъ его студенты.

Лица дѣвушекъ—есть совсѣмъ юныя—рдѣютъ... И онѣ стоятъ за дорогія вольности университета. И онѣ знаютъ, кто врагъ и кто другъ этихъ старыхъ, честныхъ и выносливыхъ стѣнъ, гдѣ учатъ одной только правдѣ, гдѣ знаютъ заботу, но не о хлѣбѣ единомъ.

— Куда вы?—спросилъ Пирожкова какой-то рыжій паренъ въ большихъ сапогахъ.—Неужто въ Благородку? Вайте съ нами.

— Въ „Эрмитажъ“?

— Да.

— Ыдемъ!—подмигнулъ Палтусову Пирожковъ.—Вѣдь иъ сегодня путь одинъ—изъ „Эрмитажа“ въ „Стрѣльну“.

Палтусовъ кивнулъ головой и молодо такъ оглянулъ еще разъ туго пустѣющую залу, каеэдру, портреты и золотыя цифры на темномъ бархатѣ.

XXXI.

Извозничья пара, взятая у купеческаго клуба, лихо легла къ Триумфальнымъ воротамъ. Сани съ красной обивкой такъ и ныряли въ ухабы Тверской-Ямской. Мелкій снѣжокъ заволакивалъ свѣтъ поднимающейся луны. Пал-

тусовъ и Пирожковъ, прихвативъ съ собой знакомаго учителя словесности изъ малороссовъ, ѣхали въ „Стрѣльну“. У нихъ стоялъ еще въ ушахъ звонъ, гамъ и ревъ отъ обѣда въ „Эрмитажъ“. Они попали въ самую молодую компанію. На двѣ трети были студенты. Чуть не съ супа начались рѣчи, тосты, пожеланія. И безъ шампанскаго чокались и пили „зdrавицы“ чѣмъ попало: краснымъ виномъ, хересомъ, а потомъ и пивомъ. „Gaudeamus“ только въ началѣ пѣлась въ унисонъ. Перешли къ русскимъ пѣснямъ. Тутъ уже все смѣшалось, повскакало съ мѣстъ. Нельзя уже было ничего разобрать. Пошла депутація въ сосѣднюю комнату, гдѣ обѣдало нѣсколько профессоровъ. Привели двоихъ — одного бѣлокураго, въ очкахъ, художаваго, другого — брюнета, очень еще молодого, но непомятно толстаго. Обоихъ стали качать съ азартомъ, подбрасывая ихъ на воздухъ. Толстякъ хохоталъ, взвизгивалъ, поднимался надъ головами точно перина и просилъ пощады. Товарищъ его выносилъ качаніе стоически. И Палтусовъ съ Пирожковымъ принимали участіе въ этомъ варварскомъ, но веселомъ чествованіи. До трехъ разъ принимались качать. Притащили еще двухъ профессоровъ, просили ихъ сказать нѣсколько словъ, ставили имъ вопросы, цѣловались, говорили имъ „ты“, изливались, жаловались. Становилось тяжело. Въ коридорѣ вышелъ крупный споръ съ прислугой. Пора было и на воздухъ.

— Какъ вы, господа? — спрашиваетъ ихъ учитель, когда они выѣхали на шоссе. — Очень шумить въ головѣ?

— У меня нѣтъ... даже досадно, — откликнулся Палтусовъ.

— Наверстаемъ въ „Стрѣльнѣ“, — сказалъ Пирожковъ. — Тамъ полутрезвымъ оставаться нельзя, противно традиціи.

— *Restauratio est mater studiosorum!* — разсмѣялся учитель. Его маленькіе хохлацкіе глаза искрились и слезились противъ вѣтра. — Автомедонъ, пошелъ! — крикнулъ онъ извозчику. — *Regeat классическій обскурантизмъ!*

— Bravo, филологъ! — откликнулся Палтусовъ.

Въ головѣ его дѣйствительно не очень еще сильно шумѣло; хоть за обѣдомъ онъ пилъ брудершафтъ съ цѣлымъ десяткомъ неизвѣстныхъ ему юношей. Одинъ отвелъ его въ уголъ, за колонну — обѣдали въ новой бѣлой залѣ — и спросилъ его:

— Совѣсть не потерялъ еще? Въ принципъ вѣришь?

Это была фраза опьянѣвшаго студента; но Палтусова



она задѣла; онъ началъ увѣрять студента, что для него выше всего связь съ университетомъ, что онъ никогда не забудетъ этой связи, что судить можно человѣка по результатамъ, а время подлое—надо заручиться силой.

— Подлое время! Это ты правильно!—прокричалъ студентъ, и глаза его сразу посоловели. Онъ навалился обѣими руками на плечи Палтусова и вдругъ крикнулъ:— А ты кто такой, могу ли я съ тобой разговаривать? Или ты соглядатай?

Его пришлось отвести освѣжиться. Но это пьяное а parte всю дорогу щекотало Палтусова. Есть, видно, въ молодой честности что-то такое, отчего мурашки пробѣгаютъ и вспыхиваютъ щеки, даже и тогда, когда много вышито, точно отъ внезапнаго „memento mori“.

Пара неслась. Становилось все ярче. Мелькали, всѣ въ инеѣ, деревья шоссе. Вотъ и „Яръ“, весь освѣщенный, съ своей бесѣдкой и террасой, укутанными въ снѣгъ.

— Хочется напиться... до зеленого змія!—крикнулъ учитель.

— Тамъ отъ одного воздуха опьянѣешь!—подхватилъ Пирожковъ.

Захотѣлось напиться и Палтусову; за обѣдомъ это ему не удалось. Но не затѣмъ ли, чтобъ не шевелить въ душѣ никакихъ лишнихъ вопросовъ? Когда хмель вступить въ свои права, легко и сладко со всѣми цѣловаться, и съ чистымъ юношей, и съ пройдохой-адвокатомъ, и съ ожирѣлымъ клубнымъ игрокомъ, съ кѣмъ хочешь! Не разбираешь: кто былъ студентомъ, кто нѣтъ.

Извозчикъ ухнулъ. Сани влетѣли на дворъ „Стрѣльны“, а за ними еще двѣ тройки. Вылѣзали всѣ шумно, переговаривались съ извозчиками, давали имъ на чай. Кого-то вели... Двое лепетали какую-то шансонетку. Сѣни привали ихъ точно передбанникъ... Не хватало номеровъ въшать платье. Изъ залы и коридора лился цѣлый каскадъ хаотическихъ звуковъ: говоръ, пѣніе, бряцанье гитары, смѣхъ, чмоканье, гулъ, визгъ женскихъ голосовъ.

— Татьянашка! Выноси, святая угодница!—гаркнулъ кто-то въ дверяхъ.

XXXII.

Учителя словесности сейчасъ же подхватили двое пирующихъ и увлекли въ коридоръ, въ отдѣльный кабинетъ. Палтусовъ и Пирожковъ вошли въ общую залу. По ней



плавали волны табаку и пряных спиртных испарений жжонки. Этотъ ароматъ покрывалъ собою всѣ остальные запахи. Лица, фигуры, туалеты, мужскія бороды, платья арфистокъ — все сливалось въ дымчатую, угарную, колышущуюся массу. За всѣми столиками пили; посрединѣ коренастый господинъ съ калмыцкимъ лицомъ, въ разстегнутомъ жилетѣ и во фракѣ, плясалъ; нѣсколько человѣкъ, взявшись за руки, ходили, пошатываясь, обнимались и чмокали другъ друга. Красивый и точно восковой брюнетъ сидѣлъ съ арфисткой въ пестрой юбкѣ и шитой рубашкѣ, жалъ ей руки и тоже лѣзъ цѣловаться.

— А!.. Quelle chance!.. — встрѣтилъ Палтусова около двери въ боковую комнату братъ Марьи Орестовны, Nicolas Леденьчиковъ, во фракѣ и *блломъ* жилетѣ, по новой модѣ, и съ какой-то нерусской орденской ленточкой въ петлицѣ.

Палтусову очень не по вкусу пришлась эта встрѣча. Леденьчиковъ былъ навеселѣнъ, закатывалъ глаза, подгибалъ колѣни и съ пренебрежительной усмѣшкой оглядывалъ залу.

— Одинъ?—спросилъ его Палтусовъ и шепнулъ Пирожкову:—Уведите меня.

— Non, мы здѣсь... у цыганъ... Allons... Я васъ представлю... Здѣсь кабакъ...

— А вы бывший студентъ?—съ своей характеристической улыбочкой освѣдомился Пирожковъ.

— Какой вопросъ!—обидѣлся Леденьчиковъ и оглядѣлъ Пирожкова.

— Знаете что,—сказалъ ему Палтусовъ,—вы ужъ ваши онѣры на нынче оставьте.

— Comment l'entendez-vous...

— Да такъ. Сегодня надо быть студентомъ... или не быть здѣсь... Васъ ждутъ... Идите къ вашей компаніи... Меня тоже ждутъ.

Леденьчиковъ хотѣлъ что-то сказать и круто повернулся. Палтусовъ убѣждалъ отъ него, увлекая за собой Пирожкова.

— Тоже студентъ!—горичился Палтусовъ. Онъ зналъ, что Nicolas кончилъ курсъ. — И такихъ здѣсь десятки, если не сотни.

— И я этому радуюсь,—замѣтилъ Пирожковъ. — Вотъ видите: большая борода... въ сюртукѣ по залѣ похаживаетъ... бакалейщикъ, а на магистра исторіи держалъ.



Вотъ у насъ какъ!.. Пускай черносливъ продаетъ, а онъ все-таки нашъ.

Гдѣ-то заплѣли „Стрѣлочка“.

— Уйдемъ отсюда,—потапцилъ Пирожковъ Палтусова,—этой пошлости я не выношу.

Они искали знакомыхъ. Но никого не попадалось. А пить надо! Безъ питья слишкомъ трудно было бы оставаться.

— Господа! Vivat academia! Позвольте предложить...

Ихъ остановилъ у выхода въ коридоръ совсѣмъ не „академическаго“ вида мужчина, лѣтъ подъ пятьдесятъ, сѣдой, стриженный, съ плохо бритыми щеками, въ вицмундирѣ, смахивающій на приказнаго старыхъ временъ. Онъ держалъ въ рукѣ стаканъ вина и совалъ его въ руки Палтусова.

Тотъ переглянулся съ Пирожковымъ.

— Отъ студента студенту,—пьянѣющимъ, но еще довольно твердымъ голосомъ говорилъ онъ, немного покачиваясь.

„Вы бывший студентъ?“—хотѣли его спросить оба пріятеля.

— Сядемъ, выпьемъ съ нимъ, не все ли равно...—шепнулъ Палтусовъ Пирожкову.

— Вы одни?—спросилъ Пирожковъ.

— Не вижу однокурсниковъ... Старъ... и къ обѣду опоздалъ... Пріѣзжай я... вотъ сюда, къ столику... еще стаканчикъ...

— Нѣтъ, не то!—скомандовалъ Палтусовъ.—Вы съ нами жонки... вонъ тамъ... займемъ уголь...

Съ любопытствомъ осматривали они своего новаго товарища. Не все ли равно съ кѣмъ побрататься въ этотъ день?.. Онъ говоритъ, что учился тамъ же, и довольно этого.

— Юристъ?—спросилъ его Палтусовъ, когда жонка была разлита.

— Всеконечно! Въ управѣ благочинія служилъ. За симъ въ губерніи погрязъ... въ полиціи... въ казенной палатѣ... бываетъ и хуже.

— А теперь?

Пирожковъ прислушивался и попивалъ.

— А теперь? При мировомъ сѣздѣ приставъ... И то слава Тебѣ, Господи... Не о томъ мечталъ... когда бралъ билетъ у Никиты Иваныча.



— Помнишь! — вскричалъ Палтусовъ и перешелъ съ нимъ на „ты“.

„Приказный“, такъ они опредѣлили его, сладко закрылъ глаза, выпилъ цѣлый стаканъ и откинулъ голову.

XXXIII.

— Какъ же не помнить! — воскликнулъ приставъ, поднявъ стаканъ и расплескавъ жжонку. — Пять съ крестомъ получилъ. Кануло, — въ голосъ его слышались слезы, — кануло времечко... Поминаютъ ли его добромъ?.. Поди, небось... ругаютъ... теперешніе... вонъ что тамъ съ арфянками... маменькины сынки?.. А я сѣмарь!

— Ты сѣмарь? — переспросилъ его Палтусовъ.

Пирожковъ слушалъ и улыбался. Приказнаго онъ считалъ находкой для дня св. Татьяны.

— Сѣмарь... Изъ вологодской семинаріи. По двадцать третьему году поступилъ. И только у Никиты Иваныча и почувствовалъ, что такое есть право.

Онъ говорилъ съ сѣвернымъ акцентомъ.

— *Justitia*, — подсказалъ Палтусовъ.

— А ты послушай... Я тебѣ представлю. Точно живой онъ передо мною сидитъ. Влѣзетъ на кафедру... знаете... тово немножко... Табачку нюхнулъ, хе-хе! Помните хе-хеканье-то? „Господа, — онъ сильнѣе сталъ упираться на „о“, — сегодняшнюю лекцію мы посвятимъ сервитутамъ. А? хе-хе! Великолѣпнѣйшій институтъ!“

— Очень похоже! — крикнулъ Палтусовъ и ударилъ пристава по плечу.

— Похоже? Знаю, что похоже. Я тамъ въ губерніи сколько разъ воспроизводилъ... Великолѣпнѣйшій институтъ. Разные сервитуты были... *Servitus ligni immittendi*. А? Сосѣда бревномъ въ бокъ, дымку ему пустить. А?.. Дымку! Стѣна смежная, хе-хе-хе! *Servitus balnearii habendi*, съ вѣнникомъ къ сосѣду сходить, съ вѣнникомъ... *Servitus luminis, servitus prospectus*, свѣтъ, солнце... для всѣхъ... А? Я — римлянинъ, я — свободнѣйшій гражданинъ! Не смѣешь отнимать у меня видъ... моремъ хочу любоваться, закатомъ! А? А русскій человѣкъ маленькій, убитый человѣкъ... Не знаетъ сервитутовъ... Иду на Москву-рѣку. А? Хочу любоваться видомъ Кремля, хе-хе... Нельзя... мѣшаетъ домъ... домъ мѣшаетъ... Вывелъ откупщикъ... хе-хе... *Eques!*.. всадникъ!.. И не могу... потому что я — русскій человѣкъ... Скудный... захудалый человѣкъ!..



— Ха-ха!—дружно расхохотались оба пріятеля.

Они придвинулись къ приставу. Палтусову сдѣлалось необычайно весело... Онъ и самъ сознавалъ, что въ лекціяхъ того чудака, котораго представлялъ теперь передъ нимъ приставъ, была творческая, живая струя.

Точно въ отвѣтъ на эти мысли, приставъ вскричалъ:

— Понималъ ли ты, какой онъ есть артистъ? Высокаго таланта! А я понималъ. Маленькины сынки, въ узкихъ брючкахъ, только пошлые анекдотики рассказывали, да по-ослиному гоготали, да хныкали по гостинимъ... Двойку мнѣ закатилъ!.. Семинаристъ проклятый!.. Кто зналъ, у кого въ мозгу не простокваша была, тому не ставилъ... Ну, „ты“ говорилъ на экзаменахъ. Экая важность! Армяшка одинъ, восточный скудоумный человѣкъ, разъ началъ на него орать: „не смѣешь мнѣ говорить ты! Не смѣешь!“ Онъ потомъ надъ собой подтруниваетъ: „обругалъ, говорить, меня восточный человѣкъ. Не тѣ времена... Ругательски обругалъ... И армяне тоже въ исторіи записаны... Римлянъ въ кои-то вѣки побили, при Тиграноцертѣ какомъ-то... Дай Богъ памяти!“

Глаза рассказчика подернулись масломъ. Память о любимомъ профессорѣ, успѣхъ передачи его голоса, манеры, мимики дѣйствовали на него подымательно. И слушатели нашлись чуткіе.

— А эта лекція еще,—увлекался онъ, покачиваясь на стулѣ,—о фидейкомиссахъ?

— Что такое?—не слышалъ Пирожковъ.

— О фидейкомиссахъ,—повторилъ приставъ,—терминъ мудреный... Сушь, казуистика, а какъ у него выходило: романъ, картина, людей живописалъ, какъ художникъ... „Господа... былъ проконсулъ Лентулъ, хе-хе-хе... Египтомъ правилъ... Губернаторъ... И награвилъ...“—Онъ засунулъ руку въ карманъ панталонъ характернымъ жестомъ.—„Много награвилъ... Танцовщицъ держалъ... хе-хе. Прелестныя танцовщицы были въ Египтѣ! Дѣти пошли... А что грабилъ... съ Августомъ дѣлился... Хе-хе! Старъ сталъ... Дѣтей обезпечить надо. Пишетъ онъ цезарю: *Rogo, prescor, deprescor, fidei tuæ committo*. Я тебѣ все отдалъ, что наворовалъ... Мошенникъ! Дѣтей моихъ не обидь... Честію прошу... тебѣ вѣрю... на слово... *fidei committo*... А? Вотъ откуда пошелъ институтъ!..“

Подражатель входилъ въ роль. Никогда еще Палтусовъ не слышалъ такого вѣрнаго схватыванія знакомыхъ зву-



ковъ и въ особенности этого „хе-хе“, извѣстнаго десяткамъ университетскихъ поколѣній.

— Спасибо, спасибо,—говорилъ онъ приставу и подливалъ, и подливалъ ему изъ серебряной миски.

Тотъ пилъ, но мало хмѣлѣлъ; возбужденіе поддерживало его. Ему страстно хотѣлось истощить всѣ свои воспоминанія. Слушатели поощряли его.

— Вотъ тоже,—заново одушевился рассказчикъ,—ругали его за отсталость... закорузлые педанты... Болтаютъ вѣчно, что въ числѣ цензоровъ проврался... Байборода обличилъ въ журналѣ. На смѣхъ подвляли! Бѣсновался онъ тогда! Ну, навралъ. Экая важность... А вотъ мнѣ изъ новенькихъ сказывалъ... у насъ тамъ слѣдователемъ служить... Съ мозгомъ голова. Недавно... ну... лѣтъ пятнадцать... послѣ насъ, а то и меньше... Лексія — приставъ и самъ произносилъ „лексія“—о лежащемъ наслѣдствѣ...

— Какомъ? Лежащемъ?—Пирожковъ расхохотался.

Рассказчикъ кивнулъ на него головой и комически спросилъ Палтусова:

— Не юристъ?

— Естественникъ.

— То-то. Лежащее наслѣдство... Haereditas jascens полатыни. Штука мудренѣйшая... И такъ, и этакъ можно истолковать... Вотъ, приходитъ онъ и говоритъ:—„Господа! на haereditas jascens... ученые смотрѣли до сегодня... хе-хе... какъ на юридическое лицо... И я тридцать безъ малаго лѣтъ повторялъ то же... хе... И съ каеэды утверждалъ... Позвольте вамъ сказать, что я вралъ... И другіе втали. Вышла книжка... хе-хе! Нѣмецкая книжка... Жилъ недавно... въ Берлинѣ... одинъ жидъ, Ляссаль... Умнѣйшій человѣкъ, геніальнѣйшій. За актерку на дуэли убили... хе-хе! За актерку! Онъ доказалъ... какъ дважды два... что всѣ мы втали, хе-хе! Доказалъ, что haereditas jascens... лежащее наслѣдство есть фиксія... хе!.. Фиксія?.. Каюсь... что же, хе-хе... и то сказать... Пухта вралъ, Савинья вралъ... а они почище меня! Мнѣ и Богъ простить!“

Лицо „приказнаго“ сіяло.

— Что? каковъ?.. это небось почестнѣе, чѣмъ по цѣлымъ годамъ квасы-то разводить по новымъ книжкамъ и считать себя непогрѣшимымъ? Тридцать лѣтъ ошибался. Прочелъ. Видить, вѣрно... Ну, и повиписалъ!.. Вѣчная ему память! Старичокъ! Не вернется! А то онъ бы и здѣсь былъ. Въ послѣдній разъ... въ Сокольникахъ



встрѣтился съ нимъ... Тоже что-то о евреяхъ зашла рѣчь. Способный, говорю, народъ, Никита Ивановичъ, какъ тамъ ни чурайся ихъ. А онъ это въ синихъ брюкахъ своихъ, руку въ карманъ засунулъ лѣвую, съ палочкой, въ картузъ идетъ... и говоритъ: „Мудренаго нѣтъ... хе-хе, при сотвореніи міра съ Іеговой кашу изъ одной чашки ѣли! хе!“ Кто такъ кромѣ его скажетъ?.. Артисты!.. Искра была! Художникъ! Когда умирать собрался, могъ бы воскликнуть: *Qualis artifex pereo!*.. Ученость, братцы, наживное дѣло, а вотъ талантъ: воспитать въ насъ, неотесанныхъ, пониманіе... римскаго духа. И умирать буду, душу отведу на Никитѣ Ивановичѣ!

Всѣ примолкли. Зато изъ залы и изъ сосѣдней комнаты несся все тотъ же пьяный гулъ... Хоръ подхватывалъ куплеты. Цыганскій женскій голосъ въ ность, съ шутковскимъ вывертомъ прозудѣлъ:

„А поручикъ разсудилъ,
Пятьсотъ палокъ закатилъ!
Горричихъ!..

И десятки голосовъ гаркнули вслѣдъ за солисткой:

— Горричихъ!

— А мнѣ вотъ это противно!—заговорилъ приставъ,—хоть я и ушелъ отъ *alma mater*. „Закатилъ!“ Хороша цивилизація! Не римская... Вотъ были бы сервитуты. Я бы пошелъ да и сказалъ: оскорбляете мой слухъ, такіе-сякіе! Срамники! Хоть пѣсню-то почеловѣкоподобнѣе бы выбрали. Что жъ, что вы пьяны? И я пилъ... не меньше вашего, а не буду подтягивать: горричихъ... Чего? Палокъ!.. Эхъ! Татарва, рабы, холопы! отъ головы до пятъ! Больше-то мы должно-быть не стоимъ, какъ пятьсотъ палокъ!

— Брось ихъ!—успокаивалъ Палтусовъ.

— Выпьемъ, товарищъ: отъ тебѣ духами пахнетъ, отъ меня приказной избой! А выпьемъ. *Pereat stultitia, pereant osiores!*

Жжонка не была еще допита. Потекли менѣе связныя рѣчи. Все вокругъ колебалось. Чадъ обволакивалъ пьющихъ и пляшущихъ. Пили больше по инерціи... Пощелуи, объятія грозили перейти въ схватки.

XXXIV.

Началось обратное движеніе въ городъ. Тройки, пары, одиночки неслись къ Триумфальнымъ воротамъ. Часа два вышли на крыльцо и наши пріятели. Они поддержи-



вали новаго знакома. Онъ долго крѣпился, но на морозѣ сразу размякъ, говорилъ еще довольно твердо, только ноги отказывались служить.

— Жжонка подкузьмила, — лепеталъ онъ, — давно не пилъ академическаго напитка.

Его посадили на широкую скамейку рядомъ съ Пирожковымъ. Палтусовъ помѣстился къ нимъ лицомъ на сидѣнье около облучка.

— Братцы, — жалобно просилъ онъ, — вы меня сдайте съ рукъ на руки. Я въ Чельшахъ... въ третьемъ отдѣленіи.

— Опасно, — пошутилъ Пирожковъ.

— А!.. третье отдѣленіе... точно. И сегодня небось изъ пляшущихъ-то были соглядатаи.

Палтусовъ вспомнилъ, какъ студентъ спросилъ его: не изъ соглядатаевъ ли онъ?

— И пускай ихъ, — говорилъ приставъ. — Съ меня взятки-гладки... Нынче Татьянинъ день... можно и лишнее сказать... Римскаго духу нѣтъ въ насъ... И русскій чело-вѣкъ — скудный, захудалый чело-вѣкъ. Никита Ивановичъ, батюшка! Ты воистину рекъ... А и соборы были земскіе... При тишайшемъ царѣ... Недовольныхъ сто чело-вѣкъ и больше... въ Соловки, на цѣпь... Вотъ-те и представители!

Сани подѣзжали къ Тверскимъ воротамъ.

— Куда прикажете, господа? — обернулся извозчикъ. — По Грачевкѣ?

— Куда-а? — протянулъ приставъ.

— Приглашаетъ въ злачное мѣсто, слышишь? — сказалъ ему Палтусовъ. — Иванъ Алексѣевичъ... должно-быть, Татьянинъ день не можетъ иначе кончиться...

— Танцовщицы!.. Проконсулъ Лентулъ... Прелестнѣйшія! Возьмите и меня старичка... только не бросайте... Rogo, deгресог!..

Глазки Ивана Алексѣевича сластолюбиво щурились.

— Пьяно тамъ, въ знаменитыхъ залахъ, наскочишь на скандалъ... Полѣзетъ какое-нибудь животное цѣловаться... Слюняво... Развѣ такъ, келейно?.. И приказный будетъ забавень.

Онъ мигнулъ утвердительно.

— Трогай! — крикнулъ Палтусовъ.

— Эхъ, вы, обывательскія!.. — гикнулъ извозчикъ.

Поскакалъ онъ внизъ по Страстному бульвару, мимо „Эрмитажа“, еще освѣщеннаго во второмъ этажѣ, вскачь



пролетѣлъ площадь и подъемъ на Рождественскій бульваръ и ухнулъ на Грачевку.

— „Крымъ“, — узналъ приставъ и качнулъ головой. — Трущоба!..

Грачевка не спала. У трактировъ и номеровъ подслѣповато горѣли фонари и дремали извозчики, слышалась пьяная перебранка... Городовой стоялъ на перекресткѣ... Сани стучались въ ухабы... Изъ каждаго дверей несло виномъ или постнымъ масломъ. Кое-гдѣ въ угольныхъ комнатахъ теплились лампы. Давно не заглядывали сюда приятели... Палтусовъ больше двухъ лѣтъ.

— Иванъ Алексѣичъ, — толкнулъ онъ Пирожкова. — Помните... Мы всей компаніей отъ Стародумова сюда?.. Какъ жилось тогда!

— Да что это вы, Андрей Дмитриевичъ, точно все извиняетесь. Очень ужъ, батюшка, омѣщались съ коммерсантами!

Палтусову и эти переулки сдѣлались дороги, нужды нѣтъ, что это—презрѣнная Грачевка! На душѣ было не то, не то и въ мысляхъ. Тогда не думалось о ловлѣ людей и капиталовъ. Одно есть только сходство съ тѣмъ временемъ. Нѣтъ любви... Нѣтъ и простой интриги. Ему стало даже смѣшно... Молодъ, ловокъ, вездѣ принять, нравится... если бъ хотѣлъ... Но не захочетъ, и долго такъ будетъ.

Вскачь начали подниматься сани по переулку, въ гору, къ Срѣтенкѣ. По обѣ стороны замелькали огни, сначала въ деревянныхъ домикахъ, потомъ въ двухъэтажныхъ домахъ, съ настѣжъ открытыми ходами, откуда смотрѣли ярко освѣщенные узкія крутыя лѣстницы.

— Юсь!—растолкалъ Пирожковъ сосѣда. — Нашли новый сервитутъ.

— Какой?—пробормоталъ тотъ спросонокъ.

— Увидишь, старче. Вылѣзай! — скомандовалъ Палтусовъ.

Извозчикъ осадилъ лошадей. Круглый зеркальный фонарь бросалъ сношъ свѣта на тротуаръ. Они стояли у подъѣзда новаго трехъэтажнаго дома съ скульптурными украшеніями...

Книга четвертая.

I.

— Дома Иванъ Алексѣевичъ Пирожковъ?—спрашивала Тася Долгушина у толстенькой хорошенькой горничной въ сѣняхъ меблированныхъ комнатъ мадамъ Гужо.

— А вотъ я сейчасъ узнаю-сь...

Горничная убѣжала. Тася поднялась по нѣсколькимъ ступенькамъ на площадку съ двумя окнами. Направо стеклянная дверь вела въ переднюю, налѣво—лѣстница во второй этажъ. По лѣстницамъ шелъ коверъ. Пахло куреньемъ. Все смотрѣло чисто; не похоже было на номера. На стѣнѣ, около окна, висѣла пачка листовъ съ карандашомъ. Тася прочла: „Leider, zu Hause nicht getroffen“ — и двѣ большихъ буквы. Въ стеклянную дверь видна была передняя съ лампой, зеркаломъ и новой вѣшалкой.

Вотъ тутъ бы ей жить, если бъ нашлась недорогая комната... Мать съ каждымъ днемъ ожесточается... Отцу Тася прямо сказала, что такъ долго продолжаться не можетъ... Надо думать о кускѣ хлѣба... Она же будетъ кормить ихъ. На Нику имъ надежда плохая... Бабушка сильно огорчилась, отецъ тоже началъ кричать: „срамишь фамилію!“ Она потерпитъ еще, пока возможно, а тамъ уйдетъ... Скандалу она не хочетъ; да и нельзя иначе. Но на что жить одной?.. Наняла она сидѣлку. И та обойдется въ сорокъ рублей. Даромъ и учить не станутъ... Извозчики, то, другое...

— Пожалуйте въ гостиную, — доложила горничная и миг-



нула своими калмыцкими глазками.—Иванъ Алексѣвичъ сейчасъ сойдутъ.

Изъ передней, гдѣ Тася сняла свое мѣховое пальтецо, она прошла въ гостиную съ двумя арками, сквозь которыя видѣлась большая столовая. Столъ накрытъ былъ къ завтраку, приборовъ на шестнадцать. Гостинная съ триповой мебелью, ковромъ, лампой, картинами и столовая съ ея просторомъ и иностранной чистотой нравились Тасѣ. Пирожковъ говорилъ ей, что живетъ совершенно какъ въ Швейцаріи, въ какомъ-нибудь „пансіонѣ“, завтракаетъ и обѣдаетъ за табльдотомъ, въ обществѣ иностранцевъ, очень доволенъ кухней.

Тася присѣла на диванъ. Пробѣжала собачка. Двѣ горничныя доканчивали уставлять приборы. Было около одиннадцати часовъ. На столѣ передъ диваномъ, около лампы, лежалъ альбомъ. Она занялась альбомомъ.

— Извините, Таисія Валентиновна,—заговорилъ Пирожковъ и подошелъ къ ней маленькими шажками.

— Видите, Иванъ Алексѣвичъ, я васъ отыскала, вы, кажется, испугались за меня?

— Почему такъ?

— Да съ того вечера, когда мы были въ клубъ... Я сама тоже смутилась... Но съ тѣхъ поръ еще сильнѣе стремлюсь. На Андриюшу плохая надежда... его не залучишь... Повезите меня къ Грушевой.

— Извольте, извольте.

Пирожковъ присѣлъ около нея на диванѣ, хотѣлъ еще что-то сказать и остановился.

— Да вы какъ будто не сочувствуете, Иванъ Алексѣвичъ?

— Не подождать ли вамъ приѣма въ консерваторію?

— Нѣтъ,—горячо возразила Тася,—ждать мнѣ нельзя. Вотъ Новый годъ прошелъ... скоро и масленица... Что жъ мнѣ ждать, Иванъ Алексѣвичъ?

— А Петербургъ?

— Какъ Петербургъ?

— Тамъ можно въ двухъ мѣстахъ учиться и...

— Нѣтъ,—перебила Тася, вся нервная и съ пылающими щеками,—не разстраивайте моего плана... Вы единственный человѣкъ во всей Москвѣ. Въ Петербургъ я не поѣду... Гдѣ я тамъ буду жить? У брата я не стану...

Онъ самъ сейчасъ же сообразилъ, что у такого брата ей жить не пристало.

— Да вы скажите прямо,—продолжала она,—что васъ удерживаетъ?.. Я тогда сама поѣду къ ней.

Пирожковъ протянулъ Тасѣ руку.

— Таисія Валентиновна,—началъ онъ, — боюсь взять грѣхъ на душу.

— Вы все сцену изъ „Кина“ помните!..

— Нѣтъ, не одно это... Грушева талантлива и опытна. Если она заинтересуется вами, вы найдете отличную учительницу... Но какъ это сдѣлать, не бывая у нея, не входя въ ея общество?

— И войду... Я на все рѣшилась...

— Вы не посѣтуете на меня... Я на себя не возьму грѣха.

— Надо было раньше...

Тася отвернулась... Какой байбакъ этотъ Иванъ Алексѣвичъ! Совсѣмъ и на мужчину не похожъ... Все сочувствовалъ, почти подбивалъ, и вдругъ какой-то *cas de conscience*.

— Мы поищемъ,—успокаивалъ ее Пирожковъ,—я поѣду къ Ивану Васильевичу... можетъ, онъ согласится...

— Не надо!—отрѣзала Тася.

— Вы не сердитесь на меня.

— Не надо, не надо! Извините, что побеспокоила!

Она встала. Пирожковъ мягко улыбался.

— Если угодно,—началъ онъ.

— Нѣтъ, я сама... Ахъ, мужчины, мужчины!—вырвалось у ней.—И Андрюшу не буду просить.

— Устроимъ иначе...

— Не надо, Иванъ Алексѣвичъ!

— Я за васъ боюсь...

— Мнѣ двадцать одинъ годъ... Слава Богу, совершеннолѣтняя.

Тася начинала не на шутку сердиться. Она пошла въ переднюю. Пирожковъ за ней. Онъ хотѣлъ было объяснить ей многое, но Тася поспѣшно надѣла свою шубку, кивнула ему головой и сбѣжала съ лѣстницы.

— Позвоните,—кратко сказалъ ей вслѣдъ Пирожковъ съ площадки.

Она дернула за ручку звонка, откуда проволока шла въ кухню.

Ей отперла другая, тоже хорошенькая, горничная. Тася почти выбѣжала на улицу.

Иванъ Алексѣвичъ вернулся въ залу и, заложивъ свои



бѣлая ручка на полную спину, началъ ходить вдоль накрытаго стола... Онъ немного задумался, но губы вскорѣ распустились опять въ улыбку.

Сердится барышня... Ничего! Да, онъ за нее испугался. Сначала онъ гораздо легче посмотрѣлъ на знакомство Таси съ Грушевой, такъ, по-московски... Потомъ, какъ-то на-дняхъ, вспомнилъ все и сообразилъ.

Отворилась половинка двери изъ комнаты, выходящей въ столовую.

— Bonjour, madame, — поздоровался Пирожковъ.

Хозяйка отвѣтила ему громкимъ: „Bonjour, cher monsieur“, и начала сама поливать цвѣты изъ небольшой зеленой лейки. Madame Гужо была дородная француженка, уроженка Москвы. Въ инныя минуты на нее жутко становилось смотрѣть — того и гляди хватить ее ударъ. Но она здравствовала, двигалась легко и скоро, точно пузырь по водѣ, на своихъ короткихъ ногахъ, всегда прекрасно обутыхъ. Голова ея, прикрытая маленькой косой и рѣдкими русыми волосами, совсѣмъ точно приросла къ шеѣ. Красное лицо съ сѣрыми, веселыми глазками и крошечнымъ носомъ слегка вздрагивало, когда она шла по комнатѣ. Темное шелковое платье — неизмѣнный ея туалетъ — сидѣло на ней въ обтяжку, всегда отлично сшитое. Такъ же неизмѣнно надѣвался узкій полотняный воротничокъ и банты изъ широкихъ лентъ.

По-русски ее звали Дениза Яковлевна. Она не потеряла манеры немного гдѣть, когда говорила по-французски; русскій разговоръ вела также свободно, съ тѣмъ изяществомъ произношенія, какое дается многимъ француженкамъ, родившимся въ русскихъ городахъ. Дениза Яковлевна любила Россію и находила, что въ Парижѣ и вообще за границей жизнь маленькая, мѣщанская, и желала умереть въ Москвѣ. Свой „пансіонъ“ она держала не то чтобы особенно строго, но кое-кого къ себѣ не пускала, не прибывала вывѣски и даже не печатала объявленій въ газетахъ. Она принимала жильцовъ по рекомендаціи, больше иностранцевъ, охотнѣе мужчинъ, чѣмъ женщинъ. Ей хотѣлось, чтобы ея „maison“ былъ единственный во всемъ городѣ. Порядочность, мягкость, хорошій тонъ поддерживались ею и за табльдотомъ, гдѣ она сидѣла на хозяйскихъ мѣстѣхъ, противъ арокъ гостиной. Она любила завести игривый, но пристойный разговоръ и даже нѣмцевъ-контристовъ приучала къ „causerie“. Кормила она сво-

ихъ жильцовъ сытнымъ французскимъ обѣдомъ, но не избѣгала русской ѣды. Завтраки были въ два блюда. Она не долюбивала тѣхъ, кто опаздывалъ, особенно къ завтраку, и затягивалъ ѣду до двухъ часовъ. Ровно въ двѣнадцать становилось на столъ первое, холодное блюдо.

Съ Пирожковымъ они скоро поладили. Она находила Ивана Алексѣевича едва ли не самымъ порядочнымъ изъ своихъ постояльцевъ. Такихъ молодыхъ людей, дворянскихъ фамилій, живущихъ по зимамъ, „des jeunes savants“, она предпочитала иностранцамъ, даже англичанамъ. Тѣ иногда оказывались за обѣдомъ или безобразно молчаливыми, или безперемонными на свой ладъ. Въ прошломъ году она должна была сдѣлать выговоръ двумъ англичанамъ-пріятелямъ. Они вздумали бросать хлѣбные шарики съ одного конца стола на другой. А иногда ни съ того, ни съ сего обидятся и что-нибудь скажутъ грубое, нѣмцы всплывутъ. Безъ ея вмѣшательства выходили бы исторіи. То ли дѣло Пирожковъ!.. Говорить умно, тихо... il a toujours un petit mot pour rire.

— Хорошо почивали?—спросила madame Гужо по-русски.

— Прекрасно!

II.

Часы въ столовой пробили густымъ, медленнымъ боемъ двѣнадцать.

— Варя!—не громко крикнула Дениза Яковлевна горничной, садясь на свое мѣсто.

Стали собираться пансіонеры. Первымъ вошелъ нѣмецъ съ нѣжно-голубыми глазами и рыженатой бородкой, приѣзжающій на зиму за свѣжей икрой, комиссіонеръ изъ Кенигсберга, потянулъ въ себя воздухъ и заткнулъ себѣ салфетку за галстукъ. Онъ молча поклонился въ сторону хозяйки. За нимъ пришла старая дѣвица-дворянка, лѣтъ подъ семьдесятъ, но еще подвижная, не очень сгорбленная, въ наколкѣ и шали. Она каждое утро, послѣ прогулки, съ десяти часовъ играла этюды и сонаты, справлялась часто о цѣнахъ на разные бумаги, по-нѣмецки говорила какъ нѣмка, обожала пирожное, заводила разговоры на патріотическія темы, печенки боялась точно яду, а ветчину ѣла только вареную.

Въ боковыхъ комнатахъ около столовой жили пензенскія помѣщицы, мать съ дочерью. Онѣ пріѣхали на зиму. Дочь большая, широколицая, румяная, тяжелая на ходу,



въ провинціальныхъ туалетахъ; мать—сухая, съ просѣдью, вѣчно въ кружевной косынкѣ, съ ужаснымъ французскимъ и нѣмецкимъ языкомъ вмѣшивалась во всѣ разговоры. Дениза Яковлевна съ трудомъ выносила ихъ, особенно мать. Но онѣ были „d'une famille honorable“ и аккуратно платили. Съ собой онѣ привезли сорокъ пудовъ клажи, посуду, горшки, перины, соленье и варенье, даже кадушку моченыхъ яблоковъ. Онѣ было устроили у себя jours fixes, занимали столовую до трехъ часовъ ночи, собирали родню, офицеровъ, танцевали. Но Дениза Яковлевна прекратила эти вечеринки по жалобѣ всѣхъ квартирантовъ. Съ тѣхъ поръ эти дамы дулись на весь табльдотъ и поговаривали, что поѣдутъ доживать зиму въ Петербургѣ. Весь дворъ былъ заставленъ ихъ коробами и ящиками.

Онѣ вышли отъ себя одна за другой, поклонились на ходу и сѣли рядомъ. Дочь сейчасъ же обратилась къ Пирожкову и громко, точно она говоритъ на улицѣ, спросила его:

— Были на бенефисѣ?

— Нѣтъ, собираюсь на повтореніе...

— А я думала, вы намъ расскажете пьесу...

Пирожковъ промолчалъ. Пара пензенскихъ помѣщицъ сначала забавляла его; но въ немъ не было злости; смѣяться надъ ними не хотѣлось.

Собрался весь почти табльдотъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ контористовъ, занятыхъ по утрамъ. Противъ Пирожкова сѣлъ нѣмецъ съ женой и дочерью, дѣвочкой лѣтъ восьми, продающій какіе-то мѣшки въ хлѣбныхъ губерніяхъ, толстый швабъ съ тупымъ взглядомъ и бритыми усами, при бородѣ. Рядомъ съ швабомъ часовой фабрикантъ изъ Женева, лысый брюнетъ, за сорокъ лѣтъ, съ тягучимъ французскимъ выговоромъ, чопорный, въ тугихъ, высокихъ воротничкахъ... Русскихъ молодыхъ людей, кромѣ Пирожкова, не жило въ пансіонѣ. Всего больше правился ему англичанинъ, учитель и корреспондентъ, въ усахъ, въ характерной лондонской жакеткѣ и двѣтномъ галстукѣ, говорившій на трехъ языкахъ, вѣжливый, образованный, самый порядочный изъ всѣхъ иностранцевъ. Онъ былъ, вмѣстѣ съ Пирожковымъ, слабостью Денизы Яковлевны. Зато она не знала, какъ отдѣлаться отъ американца, верзилы вершковъ двѣнадцати, широкоплечаго, пучеглазаго, съ пробормомъ посрединѣ и съ круглой живописной бородой. Онъ приходилъ завтракать и обѣ-

дать, никому не кланаясь, точно въ трактиръ, не могъ выговорить ни одного звука по-французски или по-нѣмецки, изрѣдка бросалъ два-три слова англичанину, откидывался на спинку стула, мылъ руки водой изъ графина и шумно полоскалъ ротъ.

Пензенскія помѣщицы и съ нимъ порывались бесѣдовать, но ихъ англійскій языкъ не пошелъ дальше пяти-шести вокабулъ.

Дѣвушки обносили первое холодное блюдо—винегретъ. Изъ двухъ оставшихся мѣстъ занялъ одно блондинъ, прилизанный, нѣмецкаго профиля, въ черномъ сюртукѣ и очкахъ, съ чуть замѣтной бородкой и усами—балтійскій уроженецъ, дерптскій кандидатъ правъ, проживавшій въ Москвѣ для практики русскаго языка. Все лѣто провелъ онъ около Химокъ, у стараго деревенскаго попа, получившаго извѣстность между нѣмцами искусствомъ практически обучать иностранцевъ, ѣлъ съ нимъ щи и кашу, болталъ съ двумя поповнами и вернулся хоть и съ прежнимъ акцентомъ, но съ гораздо большимъ навыкомъ. За табльдотомъ его обо всемъ спрашивали, посиживались надъ его памятью и обстоятельностью. Онъ уже зналъ множество вещей о Москвѣ, всевозможные адреса, часы и дни у докторовъ, адвокатовъ, въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, въ банкахъ и конторахъ, праздники и названія книгъ и улицъ.

III.

Тасю попросила подождать минутку горничная, введя ее въ гостиную Настасьи Викторовны Грушевой.

На Пирожкова Тася махнула рукой, назвала его „тряпочкой“. Къ Палтусову она тоже не хотѣла обращаться... Всѣ они на одинъ ладъ... сначала сочувствуютъ, общаются, дразнятъ, а потомъ и на попятный дворъ... Постыдно!.. Она мигомъ все сдѣлала, узнала адресъ Грушевой, когда ее вѣрнѣе застать, и безъ всякихъ рекомендацій взяла да и явилась.

Грушева жила въ небольшомъ штукатуренномъ флигелѣ съ подъѣздомъ на улицу. Тася легко нашла домъ и попала въ тотъ часъ, когда Грушева кончила завтракать. Гостиная, темноватая широкая комната съ низкими по-голкумъ, заинтересовала Тасю. Стояло много цвѣтовъ. Гемная, репсовая мебель наполняла комнату съ малиш-



комъ. На стѣнахъ висѣло множество фотографическихъ портретовъ. На двухъ столахъ лежали богатые альбомы. Въ шкафчикѣ изъ зеркальных стеколъ поставлены были подарки: сервизъ, позолоченный вѣнокъ, серебряный, выкованный ковчежецъ въ старинномъ вкусѣ. Эти подарки наполнили Тасю особымъ чувствомъ... Нигдѣ ничего подобнаго не дѣлается. Только въ театрѣ!.. Женщина можетъ съ гордостью выставить цѣнныя вещи, поднесенныя ей въ бенефисъ отъ восторженныхъ почитателей. И воздухъ въ гостиной Грушевой казался Тасѣ особеннымъ... Пахло, правда, папиросами, но и еще чѣмъ-то хорошимъ, независимымъ трудомъ артистки... Будь это всякая другая квартира—она попала бы къ баринѣ, чиновницѣ, женѣ кого-нибудь или вдовѣ безъ всякой своей физиономіи... А тутъ женщина сама по себѣ значить все... И мужъ при ней только состоялъ бы... Онъ мужъ извѣстной артистки, ничего больше...

Изъ другой комнаты раздавались голоса, мужскіе и женскій... Тася раза два схватывала голосъ Грушевой, знакомый ей по сценѣ. Вѣдь она ужъ не молода, а все еще на первомъ планѣ, переходитъ на другое, болѣе пожилое амплуа... и такъ же талантлива. Про нее всѣ говорятъ, интересуются ею, встрѣчаютъ и провожаютъ рукоплесканиями, когда она читаетъ на какомъ-нибудь вечерѣ съ благотворительною цѣлью... Это особа. Сколько барынь желали бы играть такую роль... завидно!..

Изъ-за портьеры выглянуло сначала лицо. Тася узнала Грушеву, встала съ кресла и покраснѣла.

Къ ней подошла большого роста женщина въ пестрой блузѣ. Широкое, поблеклое и морщинистое лицо ея улыбалось большимъ ртомъ и прищуренными, умными и вызывающими глазами. Ей казалось на видъ лѣтъ подъ сорокъ. Скулы у ней выдавались, довольно длинный носъ сохранялъ пріятную, волнистую линію и загибался немного вверхъ, зубы пожелтѣли, шея, видная изъ-подъ кружевного воротничка отъ кофты, потемнѣла. На головѣ ея былъ надѣтъ домашній батистовый чепчикъ съ оборкой и лентами. На лобъ спускались городки изъ темпорусыхъ волосъ. Станъ ея раздался, но былъ сухошавъ, почти съ плоской грудью. Большія кисти рукъ падали внизъ, какъ у актрисы, хорошо владѣющей ими. На длинныхъ пальцахъ Тася замѣтила нѣсколько колецъ.

— Садитесь, садитесь,—громко пригласила она Тасю, и

сама присѣла къ ней на табуретъ въ позѣ старой знакомой, готовой выслушать что-нибудь интересное.

Тася опустилась на кресло. Она назвала себя, Грушева сдѣлала жестъ головой. Тася въ двухъ словахъ объяснила ей поводъ своего визита. Она не хотѣла упоминать ни о Палтусовѣ, ни о Пирожковѣ, какъ о знакомыхъ Грушевой.

— Вотъ что-о! — оттянула актриса. — А въ консерваторію не хотите?

Тася объяснила ей, что уже поздно, а терять время до будущей осени она не хочетъ.

— Вамъ къ спѣху! — разсмѣялась Грушева и взяла со стола папиросу. — Курите? — спросила она. — Нѣтъ? и прекрасно дѣлаете... У меня вотъ отъ куренья всѣ зубы пожелтѣли.

Она затянулась, еще больше прищурила глаза и нагнула голову къ самому лицу гостыи.

— Настасья Викторовна, — сказала Тася, — вы видите, я серьезно...

Ее опять охватило волненіе. Она не могла докончить.

— Вижу, голубчикъ, вижу!.. Вотъ что я вамъ скажу... Много у меня времени нѣтъ... Знаете, дѣло... Репетиціи, спектакли... я каждый день занята... А вотъ послѣ репетиціи... разъ, другой... въ недѣлю.

Она остановилась.

— Вы... при родныхъ?

— Да, — тихо отвѣтила Тася.

— Они какъ же на это смотрятъ? Кто вашъ отецъ?

— Генераль, — съ усмѣшкой выговорила Тася, и прибавила: — отставной.

— Вонъ видите... Вы меня, пожалуйста, не впутывайте... Я вамъ прямо скажу... Если сразу искры Божьей не окажется... нѣтъ вамъ моего благословенія...

И она потрепала ее по плечу.

Тася опять пріободрилась.

— Настасья Викторовна, — начала она рѣшительнымъ тономъ, — прослушайте меня.

— Роль какую?

— Да, изъ „Шутниковъ“... Я знаю наизусть... Со мной книга.

— Вонъ вы какая! Это хорошо! Книга съ вами есть?

— Есть.

Грушева оглянулась на дверь въ столовую.

— У меня тамъ гости... свои люди... для васъ самый



полезный народъ... одинъ... Рогачевъ... артистъ... вы знаете... а другой авторъ... Сметанкинъ... Они завтракали у меня.

Она встала, подошла къ двери и крикнула:

— Идите сюда, господа!

IV.

Играть при актерѣ, при авторѣ! Сначала у Таси духъ захватило. Грушева, крикнувъ въ дверь, ушла въ столовую... Тася имѣла время приободриться. Пьесу она взяла съ собой „на всякій случай“. Книга лежала въ карманѣ ея шубки. Тася сбѣгала въ переднюю, и когда она была на порогѣ гостиной, изъ столовой вышли гости Грушевой за хозяйкой. За ними слѣдомъ показалась высокая дѣвочка лѣтъ четырнадцать въ длинныхъ косахъ и въ сѣренькомъ, еще полукороткомъ платьѣ.

— Дочь моя,—указала на нее Тася Грушева.

Дочь похожа была на мать глазами и широкими скулами. Она присѣла и прошла черезъ гостиную.

Грушева познакомила Тасю съ обоими мужчинами. Актера Тася видѣла на сценѣ. Онъ былъ сухой, высокій блондинъ, съ большимъ носомъ и сѣрыми глазами на выкатѣ, въ короткомъ пиджакѣ и нестромѣ галстукѣ. Авторъ — какъ-то на бокъ перекосившаяся фигурка, также бѣлокурая, взъерошенная, плохо одѣтая, съ ухмыляющимся, фальшивымъ лицомъ. Тася въ другомъ мѣстѣ приняла бы его за „человѣка“.

— Mademoiselle Долгушина... какъ по имени? — спросила Грушева.

— Таисія Валентиновна.

— Намъ кофей подадутъ... А вы, господа, прослушайте... Владиміръ Антонычъ, — обратилась она къ автору, — вы вашу вѣдь успѣете прочесть?

— Конечно-съ,—пожимаясь, сказалъ драматургъ.

— Я дома цѣлый день... Оставляйтесь у меня обѣдать... а вы, Костенька... давайте реплики этой барышнѣ... Сценку, другую... изъ „Шутниковъ“. Наружность самая настоящая, для ingénue. Не такъ ли, господа?

Актеръ одобрительно промывчалъ, авторъ кисло усмѣхнулся. Грушева сѣла къ столу. Тася осталась посрединѣ гостиной, актеръ около нея на стулѣ, держалъ книгу, авторъ помѣстился на диванѣ.

Принесли кофей. Грушева кивнула Тасѣ головой: не желаетъ ли? Тася отказалась. Ей было не до кофейю.

— Костенька! Начинайте!—скомандовала Грушева.

Актеръ далъ реплику. Тася заговорила. Сначала у ней немного перехватило въ горлѣ. Но она старалась ни на кого не глядѣть. Ей хотѣлось чувствовать себя какъ въ комнатѣ старухъ, вечеромъ, при свѣтѣ лампочки, пахнувшей керосиномъ, или у себя на кровати, когда она въ кофтѣ или рубашкѣ вполголоса говорить цѣлыя тирады.

Сцена пошла все живѣе и живѣе... Актеръ читалъ горловымъ, непріятнымъ голосомъ съ подчеркиваньемъ, но онъ держалъ тонъ; Тасѣ нужно было энергичнѣе выговаривать. Самый звукъ голоса настоящаго актера возбуждалъ ее. Онъ умѣлъ брать паузы и давалъ ей время на мимическую игру. Черезъ пять минутъ она вошла совсѣмъ въ лицо Вѣрочки.

— Вѣрно-съ!—откликнулся съ дивана авторъ жидкимъ голосомъ.

— Такъ, такъ,—какъ бы про себя выговорила Грушева.

Но эти два слова подхвачены были ухомъ Таси. Она пошла смѣлѣе, смѣлѣе. Въ голосѣ у ней заиграли и смѣхъ, и слезы... Движенія стали развязнѣе... Глаза блестя... щеки разгорѣлись... Точно она уже на подмосткахъ.

— Bravo! — крикнула Грушева и поцѣловала ее. — Славно! Костенька! А!..

— Съ огонькомъ,—сказалъ актеръ и тоже всталъ.

Тася поблагодарила его за трудъ.

— Владиміръ Антонычъ, какъ находите? — спросила Грушева автора.

— Пониманье-съ, пониманье-съ и огонекъ... — сказалъ онъ, и его желтые глаза заискрились.

— Вамъ стоить поработать,—рѣшила Грушева.— Вотъ попросите, чтобы Владиміръ Антонычъ вамъ рольку далъ на дебютъ.

— Дебютъ... Еще далеко!—вырвалось у Таси.

— Не такъ далеко!.. Костенька... не правда ли, какъ это она хорошо сказала... въ томъ мѣстѣ?

— Весьма, весьма,—все съ той же важностью подтвердилъ актеръ и закурилъ сигару.

— Послушайте... ахъ забыла... имя у васъ мудреное... Такъ вотъ что, барышня... вы у меня побудьте... Владиміръ Антонычъ намъ пьеску новую прочтетъ... Вы про-



слушайте... Вѣдь ей можно?—обратилась Грушева въ сторону автора.

— Почему же-съ... Сдѣлайте одолженіе...

— Можетъ, и тутъ ролька найдется... У насъ теперь никого нѣтъ.

— Гдѣ?—громко вздохнула Тася.

— Садитесь, садитесь, вотъ сюда,—усадилъ ее Грушева рядомъ съ собой и взяла за руку.—Это нашъ Сарду,—шепнула она ей на ухо.—Ловко передѣлываетъ, отлично труппу изучилъ... Вы съ нимъ полюбезнѣе... въ самомъ дѣлѣ рольку напишете. Онъ нашъ поставщикъ.

Авторъ пошелъ за тетрадью въ столовую. Актеръ расположился на кушеткѣ съ ногами и продолжалъ курить. Тася, вся раскраснѣвшаяся отъ неожиданнаго усиѣха, еле сидѣла на мѣстѣ.

— Костенька!—окликнула Грушева,—вѣдь право хорошо... Барышня-то?..

Онъ только одобительно кивнулъ головой.

— Вы играли?—спросила Тася Грушева.

— Разъ всего, въ любительскомъ.

— И не играйте теперь больше,—сказалъ актеръ.—Любители—губители.

— Это онъ вѣрно,—подтвердила Грушева интонаціей изъ какой-то комедіи.—Ну, да мы поговоримъ съ вами, голубчикъ, послѣзавтра я свободна.

„Поставщикъ“ вернулся и присѣлъ къ столу съ тетрадью.

„Вотъ я какъ,—радостно подумала Тася,—сочинителя буду слушать“.

V.

Чтеніе продолжалось два часа. Авторъ читалъ по-актерски, мѣняя голоса; многое ему удавалось, особенно женскія интонаціи. Пьеса была въ двухъ актахъ, комедія, съ главной ролью для Грушевой. Лица носили русскія фамиліи, но вездѣ сквозила французская подкладка. Тася это понимала. Но ей нравились развитіе сюжета, отдѣльными сценами, бойкость діалога. Она слушала внимательнѣе всѣхъ. Драматургъ это замѣтилъ и нѣсколько разъ улыбнулся ей. Грушева останавливала его часто: то заставить выкинуть слово, то найти, что такая-то сцена „ни къ селу, ни къ городу“. Тотъ отмѣчалъ на поляхъ карандашомъ. Актеръ былъ несовсѣмъ доволенъ своей ролью и больше мычалъ.



— А знаете что, — сказала Грушева послѣ первого акта, — у васъ эта Наденька-то... чуть намѣчена... А вы бы развили... Отличная ingénue выйдетъ...

— Какъ же теперь можно, Настасья Викторовна? Пьеса процензурована... И бенефисъ вашъ черезъ мѣсяцъ.

— Вотъ бы ей, — Грушева указала на Тасю.

— Къ будущему сезончику соорудимъ.

И при чтеніи второго акта, Грушева останавливала автора, требовала сокращеній. Актеръ, напротивъ, находилъ, что ему „нечего почти говорить“. Драматургъ убѣждалъ его въ томъ, что онъ можетъ „создать цѣлое лицо“. Начали они спорить, разбирать разныя сценическія положенія, примѣривать роли къ актерамъ, кому что пойдеть и кто въ чемъ можетъ быть хорошъ. Тася все это слушала, затанувъ дыханіе, чувствовала, что она еще не можетъ такъ разсуждать, что она маленькая, не въ состояніи сразу опредѣлить, какая выйдетъ роль изъ такого-то лица: „выигрышная“ или нѣтъ. Она слушала и щеки ея горѣли. Да, она рождена быть актрисой. Все ей нравилось, пріятно щекотало ее, будило неизвѣданное чувство борьбы, риска, новизны: и эта Грушева съ ея умѣлымъ, пріятельскимъ разговоромъ, и близость „сочинителя“, и актеръ съ его мычаніемъ, бритымъ подбородкомъ, одобрительными восклицаніями и требованіями. Въ этомъ именно мірѣ и будетъ ей хорошо, ни въ какомъ другомъ. И что сравнится съ ощущеніями дебюта, когда и первая „читка“ доставила ей сейчасъ такое наслажденіе? Только тутъ и можно жить! Она и теперь чувствуетъ, что значить „сливаться съ лицомъ“, совсѣмъ забывать самое себя.

Кончилъ читать драматургъ. Грушева встала, подошла къ столу, нагнулась надъ нимъ и дѣловымъ тономъ сказала: — Идетъ!

Актеръ сиустилъ ноги съ кушетки и крикнулъ.

— Константинъ Григорьевичъ недоволенъ, — замѣтилъ сочинитель.

— Къ концу лучше роль.

— Полноте, Костенька, — успокаивала Грушева, — съ гри-мировкой и если воспользоваться хорошенько послѣдней сценой, и очень живеть. А купюры нужно! На одну третъ извольте-ка покровсать, голубчикъ...

Стали торговаться, — что именно и сколько урѣзать. Авторъ сначала убѣждалъ, а потомъ сталъ входить въ амбицію.



Но Грушева повернула по-своему, не дала ему торгаться, сама отчеркнула въ разныхъ мѣстахъ карандашомъ, и онъ послушался.

Тася начала прощаться съ ней. Грушева поцѣловала ее, увеза въ спальню, потрепала еще разъ по плечу, сказала съ удареніемъ, что „искра есть“, назвала нѣсколько пьесъ и назначила два раза въ недѣлю между репетиціей и обѣдомъ.

— Какія же ваши условія, Настасья Викторовна? — чуть слышно выговорила Тася.

— Что?.. Условія?.. Да вы богатая?..

— Нѣтъ,—не затруднилась отвѣтить Тася.

— Уже это мы послѣ... Что жъ мнѣ съ васъ брать? Если настоящую плату... въ родѣ моихъ разовыхъ... Дорого! Вотъ въ Петербургѣ, я слышала, по семидесяти пяти рублей за роль берутъ... Я этимъ не живу, голубчикъ... Ходите...

— Даромъ,—шептала она,—я не хочу...

— Глядя, по разсмотрѣнію,—разсмѣялась Грушева.

Все это было сказано такъ добродушно и просто, что Тася чуть не прослезилась. Она бросилась цѣловать Грушеву.

— Глядя, по разсмотрѣнію,—повторила Грушева и проводила ее въ переднюю.

Въ саниахъ Тася чуть не прыгала. И чего этотъ Пирожковъ пугалъ?.. Славная жепщина! Сейчасъ оцѣнила, приняла участіе, такъ съ ней ловко и хорошо! И прилично... Правда, актеръ сѣлъ съ ногами на кушетку... Но они товарищи.

Полгода какихъ-нибудь и съ такою учительницей—дебютъ, поддержка. Всѣ ее знаютъ, слушаются, „сочинитель“ не очень-то съ ней разсуждаетъ. Взяла карандашъ и вычеркнула всѣ „длинноты“.

Захотѣлось Тасѣ заѣхать къ Пирожкову и сказать ему, что онъ „тряпочка“. Но она не войдетъ къ нему, а только напишетъ тамъ на стѣнѣ и попроситъ горничную...

Такъ она и сдѣлала—позвонила, вошла, оторвала листокъ и написала карандашомъ:

„Ахъ, Иванъ Алексѣичъ! Тряпочка вы! Была; нашли талантъ. Плыву на всѣхъ парусахъ и вамъ того же желаю“.

Листокъ она свернула въ трубочку и отдала Варѣ.

Къ обѣду Тася поспѣла домой.

VI.

Только что Пирожковъ поднялся къ себѣ, послѣ завтрака, за нимъ приближала Варя. Его прислала звать хозяйка.

— Очень нужно васъ,—прибавила запыхавшаяся Варя.

Онъ сошелъ внизъ. Дениза Яковлевна ходила по залѣ скорыми шагами, въ большомъ волненіи.

— Mon ami!..—воскликнула она,—это ужасно!

И тутъ, пополамъ по-французски, пополамъ по-русски, рассказала цѣлую исторію своихъ несчастій, грозящихъ ей совершеннымъ разореніемъ.

Пирожковъ ничего не зналъ. Оказалось, что она заарендовала домъ у купца, пять лѣтъ платила аккуратно, потомъ концовъ съ концами не свела и задолжала ему. Онъ въ уплату долга взялъ всю ея мебель и позволилъ ей продолжать дѣло уже въ званіи распорядительницы, за что она оставила себѣ пятьдесятъ рублей, а весь чистый барышъ ему. Все шло хорошо; но она перестала ладить съ поваромъ. Онъ воровалъ, умничалъ, кричалъ на нее, а теперь, когда она его разочла, стакнулся съ приказчикомъ хозяина и грозитъ выгнать ее вонъ, буянить пьяный въ кухнѣ. Завтра будетъ приказчикъ... Онъ уже приходилъ разъ и сказалъ, что Гордей Парамонычъ приказалъ вамъ „отдать отчетъ и ежели дохода за три послѣдніе мѣсяца нѣтъ, то не прогнѣваться“.

Дениза Яковлевна, рассказывая все это, то била кулакомъ по столу и вскрикивала „le gredin“, то принималась плакать, то проклинала страну, гдѣ „нѣтъ никакихъ законовъ“. Пирожковъ старался доказать ей, что нельзя было съ купчиной ладиться безъ контракта, не выговорить на бумагѣ даже того, какія вещи изъ мебели, посуды, бѣлья составляютъ ея собственность. Дениза Яковлевна соглашалась, называла себя „vieille sotte“, а черезъ минуту начинала опять возмущаться, вздѣвать кверху руки и кричать, что „dans ce gueux de pays tout est possible“.

Иванъ Алексѣевичъ предложилъ ей поговорить съ другими пансіонерами за чаемъ, не согласятся ли они обратиться съ письмомъ къ этому „Гордею Парамонычу“, гдѣ сказать, что всѣ они чрезвычайно довольны госпожей Гужо и не желаютъ очутиться въ номерахъ, управляемыхъ грязнымъ поваромъ.



Дениза Яковлевна расцѣловала его въ обѣ щеки.

Пирожковъ тутъ же набросалъ текстъ письма. Въ десятомъ часу собирались жильцы пить чай. Дениза Яковлевна прилегла на постель. Ее душило. Она не могла справиться съ волненіемъ. Да и какъ же ей самой просить пансіонеровъ. Чай разольетъ Варя.

Сошли въ залу: старая дѣвица-дворянка, американецъ, дерптскій кандидатъ и помѣщица съ дочерью. Пирожковъ сообщилъ имъ, въ чемъ дѣло. Мать съ дочерью разохались, вторила имъ старая дѣвица, кандидатъ сталъ по-русски разсматривать дѣло съ юридической точки зрѣнія. Но когда Пирожковъ предложилъ подписать письмо, всѣ отказались, говоря, что они не могутъ входить въ такія дѣла; американецъ ничего не понялъ и даже отвернулся отъ Пирожкова. Дениза Яковлевна изъ своей комнаты все это слышала. Отворилась дверь, она выбѣжала съ примочкой на головѣ, но въ застегнутомъ до-верху корсажѣ, подбѣжала къ самовару и начала говорить. Посыпались упреки, увѣреніе, что ей ничего не надо, что она не думала выпрашивать у нихъ заступничества, что „cet excellent monsieur Pirochkoff“ самъ отъ себя предложилъ имъ, что она завтра же очутится „sur le rive“, послѣ шестнадцати лѣтъ, въ продолженіе которыхъ „elle gérait une maison modèle“... Кончилось слезами, дамы тоже заговорили, обидѣлись, дерптскій кандидатъ старался найти „законную почву“, Пирожковъ не зналъ, куда ему дѣваться. Madame Гужо расплакалась и убѣждала обратно къ себѣ. Всѣ накинулись на Пирожкова. Онъ надѣлалъ всю эту кутерьму; особенно брюзжала старая дворянка. Наслыу онѣ ушли, спрашивая его же: а будутъ ли ихъ держать до конца мѣсяца и кому жаловаться, если вдругъ хозяинъ дома погонитъ сначала мадамъ Гужо, потомъ и нѣ?..

Варя попросила его къ Денизѣ Яковлевнѣ. На нее страшно было смотрѣть. До истерики дѣло, однакоже, не дошло. Пирожковъ сѣлъ у кровати и старался толкомъ разспросить ее: имѣетъ ли она хоть какія-нибудь фактическія права на инвентарь? Ничего на бумагѣ у ней не было. Онъ ей посовѣтовалъ, — отложивъ свой гоноръ, — поѣхать завтра утромъ къ Гордею Парамонычу, просить ее оставить до весны, а самой искать компаньона.

— *Perdue, perdue!*..—повторила Дениза Яковлевна, поводя налившимися кровью глазами.

Объщала она рано утромъ ѣхать къ хозяину, только просила Пирожкова быть дома, когда придетъ приказчикъ. Она боялась повара, ждала „quelque brutalité“ и жалобно охала, растягивала возгласы.

А внизу, въ кухнѣ, бушевалъ пьяный поварь,—его не хотѣли-было пускать ночевать.

Онъ вломился силою, занялъ свой уголъ, послалъ кухоннаго мужика за пивомъ, зажегъ нѣсколько свѣчей и порывался по лѣстницѣ въ комнаты.

— Я тебя, толстая колода!—хрипѣлъ онъ, нахлобучивая на затылокъ бѣлый беретъ.—Вотъ тебя завтра фуктелями, фуктелями!..

Варя прибѣжала къ хозяйкѣ въ страшномъ перепугѣ. Дениза Яковлевна вскочила и хотѣла посылать за полицейскими. Пирожковъ насилу удержалъ ее. Онъ же долженъ былъ призвать дворника; но дворникъ держалъ руку повара, черезъ него и домовый приказчикъ подружился съ поваромъ.

До двѣнадцатаго часу пансіонъ находился въ осадномъ положеніи, пока поварь не заснулъ, мертвецы напившись.

Старая дворянка сошла сверху освѣдомиться: будетъ ли завтра утромъ какой-нибудь завтракъ.

Пирожковъ, измученный, поднялся въ свою комнату. Онъ съ грустью посмотрѣлъ на свои книги, покрытыя пылью, на микроскопъ и атласы. День за днемъ уплывали у него въ заботахъ „съ боку-припѣка“, Богъ знаетъ за кого и за что, точно будто самъ онъ не имѣетъ никакой личной жизни.

И вездѣ-то всплывалъ передъ нимъ купецъ. Въ исторіи его квартирной хозяйки, француженки, опять онъ, опять „Гордей Парамонычъ“. А вотъ самъ онъ—дворянское дитя—состоитъ въ какихъ-то приспѣшникахъ и сочувственникахъ, никому онъ не можетъ помочь, какъ слѣдуетъ, безсиленъ сдѣлать и пакость, и фактическое добро, никто за нимъ не охотится, не возжелѣтъ къ его мощнѣ, потому что „мощны“—то нѣтъ. Даже Тася, и та написала: „Тряпочка вы, Иванъ Алексѣичъ“.

Еще мѣсяцъ, два—и зима прошла, то-есть цѣлый годъ; а все что-то притягиваетъ къ этой мужицкой и купеческой Москвѣ. Иванъ Алексѣичъ покраснѣлъ, вспомнивъ, какъ давно онъ не видался ни съ кѣмъ изъ прежнихъ знакомыхъ, университетскихъ, изъ того „кружка“, кото-



рый казался ему талантливѣе и лучше всего, что могъ дать ему Петербургъ.

VII.

Рано утромъ, часу въ девятомъ, въ передней, на желтомъ ясеновомъ диванѣ, уже сидѣлъ, сгорбившись, остриженный въ скобку мужичокъ-приказчикъ Гордея Парамонича. Его приняли бы за кучера или старшаго дворника по короткой ваточной сибиркѣ изъ темно-синяго сукна и смазнымъ сапогамъ, пустившимъ духъ по гостиной и столовой. Тулупъ онъ оставилъ въ кухнѣ, черезъ которую и поднялся.

Горничныя, убиравшія обѣ комнаты, ходили мимо него и шумѣли накрахмаленными юбками. Онъ имъ уже поклонился раза два, при чемъ волосы падали ему на посъ и онъ ихъ отмахивалъ назадъ привычнымъ движеніемъ головы. Ему на видъ казалось лѣтъ подъ пятьдесятъ.

Варя уже два раза докладывала, что приказчикъ пришелъ, но Дениза Яковлевна, плохо спавшая, проснулась еще нервнѣе вчерашняго; а этотъ ранній приходъ приказника разстроилъ весь ея планъ. Онъ предупредилъ ея визитъ хозяйну. Какъ тутъ быть?.. Помочь, наставить ее можетъ только „cet excellent Pirochkoff“. Варя была послана наверхъ. Ивана Алексѣевича будили въ нѣсколько приѣмовъ. Къ девяти часамъ онъ, наконецъ, пробормоталъ, что сейчасъ одѣнется и сойдетъ внизъ. Дениза Яковлевна съ вечера уже приготовила свое черное шелковое платье съ кружевной мантилей и разложила ихъ по комнатѣ. Она одѣвалась торопливо, оборвала двѣ пуговицы спереди на корсажѣ, который такъ и трещалъ. Больше полугода не надѣвала она этого платья.

— Что онъ дѣлаетъ?—спрашивала она у Вари въ пятый разъ о приказчикѣ.

— Сидитъ-съ...

— И ничего не говоритъ?

— Ничего-съ...

— А Филатъ?

Филатъ было имя повара, виновника всей исторіи, въ самомъ дѣлѣ грозившей ей возможностью очутиться вдругъ „sur le pavé“.

— Дрыхнеть-съ...

Варя разсмѣялась.

— Nein... что такое?



— Храпять-съ... — съ презрѣніемъ выговорила Варя и подала хозяйкѣ мантилью и батистовый носовой платокъ, sprysнутый одеколономъ.

— А тотъ... другой... поваръ?

— Еще не бываль-съ.

— Господинъ Пирожковъ?

— Сейчасъ сойдутъ... одѣваются...

Кофею Дениза Яковлевна напилась основательно. Съ пустымъ желудкомъ, какъ всѣ французы и француженки, она чувствовала себя и съ пустой головой. Для всякаго разговора по дѣлу, а особенно по такому, ей необходимо было имѣть что-нибудь „sur l'estomac“. Она скушала три тартинки. Въ залу не вошла она прежде, чѣмъ не услышала короткихъ шажковъ Ивана Алексѣевича, съ перевальцемъ и съ пріятнымъ поскрипываніемъ.

— Il est là! — съ дрожью и глухо вскрикнула она, пожавъ руку Пирожкову.

— Кто?

Онъ спросонья все еще не особенно понималъ, въ чемъ дѣло.

— Mais lui... le pricastchik... Je le connais!.. c'est l'ami de l'autre.

И она опустила жирный указательный палецъ внизъ, къ полу, желая показать, что „тотъ“, то-есть поваръ Филать, тамъ внизу.

— Вѣда еще не большая, — успокоительно замѣтилъ Пирожковъ, — онъ вѣдь и хотѣлъ прислать приказчика.

Но Дениза Яковлевна заволновалась. Она не знаетъ, что съ нимъ говорить, не побывавъ у Гордея Парамоныча.

— Такъ ему и скажите... Онъ подождетъ...

— Mais il est capable de faire une saisie!..

— Какая saisie?.. — остановилъ ее Пирожковъ. — Ему не пужно прибѣгать ни къ какимъ мѣрамъ. Вѣдь здѣсь и безъ того все принадлежитъ вашему Гордею Парамонычу.

— Dieu, Dieu! — заплакала Дениза Яковлевна и схватилась за голову.

Предстояло повтореніе вчерашней сцены. Пирожковъ чуть замѣтно поморщился. Искренно жаль ему было француженку, но и очень ужъ она его допекала своей тревожностью. Онъ видѣлъ, что она ничего не добьется. Дениза Яковлевна, кромѣ гонора женщины, смотрящей



на себя какъ на тонко воспитанную особу, прибрѣла въ Москвѣ чисто русское барство... Ей не по чину было кланяться всякому приказчику въ сибиркѣ и ладить съ пьянымъ поваромъ, хотя бы это былъ вопросъ о кускѣ хлѣба.

— Parlez lui de grace...—упрашивала она Пирожкова.

— Позовите его сюда...

— Non, non... я уйду!..

И она убѣжала опять къ себѣ. Пирожковъ дошелъ до передней, гдѣ приказчикъ кланялся ему уже разъ, когда онъ проходилъ мимо, и окликнулъ его:

— Вы отъ Гордея Парамоныча?

— Такъ точно,—мягко отвѣтилъ приказчикъ и сейчасъ же всталъ.

— Пожалуйте сюда...

Приказчикъ сталъ у порога гостиной. Пирожковъ объяснилъ ему, что Дениза Яковлевна сама поѣдетъ къ его хозяину, а онъ будетъ такъ добръ и обождетъ или сѣздить съ ней вмѣстѣ.

— Да это они напрасно-съ, — заговорилъ приказчикъ, поглядывая на полъ и въ бокъ, — Гордей Парамонычъ ихъ препоручили. Со мной и документикъ, довѣренность... если мадамъ сумлѣвается... а такъ какъ по описи надо принять все и расчетъ за три мѣсяца...

Пирожковъ потрепалъ его по плечу и тихо сказалъ:

— Вы, дружище, успѣете... а она дама, надо же и ей уваженіе сдѣлать...

— Это точно... Я подожду-съ...

— Вы ужъ безъ Денизы Яковлевны ничего не производите... она боится...

— Что жъ я могу безъ нихъ? Напрасно онѣ беспокоятся...

Приказчикъ тряхнулъ волосами и прибавилъ:

— Женское дѣло!.. Извѣстно.

VIII.

Варя сбѣгала за извозчикомъ. Дениза Яковлевна надела на голову тюлевую косынку, на шею нитку янтарей и взяла всѣ свои книжки: по забору провизин, приходо-расходную и еще двѣ какихъ-то. Она записывала каждый день; но чистаго барыша за всѣ три мѣсяца приходилось не больше ста рублей. Она успѣла рассказать это Пирожкову, пригласивъ его къ себѣ въ комнату еще разъ.



— Знаете,—шепнул онъ ей,—для своего спокойствія, возьмите вы его съ собой... приказчика...

— Онъ не поѣдетъ...

— Поѣдетъ... я ему скажу...

Въ передней мадамъ Гужо гордо поклонилась приказчику и предоставила Пирожкову переговорить съ нимъ.

— Вотъ онъ, — указалъ Иванъ Алексѣвичъ на французенку, — просить васъ съ ними доѣхать до Гордея Парамоньча.

— Да я и здѣсь подожду-съ... ничего...

— Успокойте... даму, — съ комической миной сказалъ Пирожковъ.

Приказчикъ поялся на одномъ мѣстѣ, повернулъ голову къ двери въ коридоръ, точно поджидая, не появится ли оттуда его благопріятель-поваръ, и выговорилъ:

— Это не суть важно...

Онъ взялъ со стула свою барашковую шапку и отошелъ къ двери.

— Сейчасъ... шубенка моя въ кухнѣ...

Дениза Яковлевна въ шелковой бѣличьей ротондѣ громко дышала и натягивала новую черную перчатку на лѣвую руку.

— Вы видите, онъ смиренный, — сказалъ Пирожковъ.

— Oh! Ces moujiks! La perfidie même!..

Наконецъ-то она уѣхала; но Пирожковъ долженъ былъ общаться не выходить изъ дома и дожидаться ея, — Гордей Парамоньчъ въ пяти минутахъ ѣзды, на бульварѣ.

— Чаю вамъ, баринъ, или кофею? — спросила Варя, почувствовавъ къ нему большое сожалѣніе.

— Все равно, чего-нибудь... сюда.

Наверхъ онъ уже не хотѣлъ подниматься на какихъ-нибудь полчаса. Варя поставила ему большую чашку кофею на столикъ около двери въ комнату мадамы, подъ гравюру „Реформаціи“ Каульбаха, къ которой Пирожковъ сдѣлалъ привычку подходить и въ сотый разъ разглядывать ея фигуры. Принесла ему Варя и газету.

Пирожковъ остановился передъ окномъ, наполовину заслоненнымъ растеніемъ въ кадкѣ. Шелъ мелкій снѣжокъ. Сбоку, влѣво виденъ былъ конецъ бульвара, вправо — пивная съ красно-сипей вывѣской. Прямо изъ переулка поднимался длинный обозъ, должно-быть, съ Николаевской желѣзной дороги. Все та же картина зимней, будничной Москвы.



Раздался громкій, нервный, порывистый звонокъ.

„Это madame“,—подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, и его доброе сердце сжалось, звонокъ что-то не предвѣщалъ ничего хорошаго, хотя могъ быть такой и отъ радости.

Не снимая своей мѣховой ротонды, вкатилась Дениза Яковлевна въ столовую красная и на ходу, задыхаясь, бинула ему:

— Venez, cher monsieur, venez!..

Сибирка приказчика, успѣвшего сбросить съ себя тулупъ на лѣстницѣ, показала въ глубинѣ анфилады.

„Вотъ наказанье!“—про себя воскликнулъ Пирожковъ, отправляясь вслѣдъ за мадамой.

— Oh! le brigand!..—ужъ завизжала Дениза Яковлевна и заметалась по комнатамъ. — Et lui, et sa femme, oh, les coquons!

Послѣдовательно она не въ состояніи была рассказывать. Наткнулась она на жену... та приняла ее за просящую на бѣдность... и сказала: „не прогнѣвайся, матушка“,—передразнила она купчиху. „Elle m'a tutoyé!“ А самъ давно ей „ты“ говорилъ. Онъ только и сказалъ: „Ты мнѣ не ко двору!.. Тысячу рублей привезла ли за три мѣсяца?! „Mille roubles!“...—За домъ мнѣ четыре тысячи даютъ безъ хлопотъ!“

— И дадутъ,—подтвердилъ Пирожковъ.

— Je suis perdue!..—ужъ трагически прошептала Дениза Яковлевна и упала на диванъ, такъ что спинка загремѣла. — Il m'a donné mes quinze jours! Comme à une civinière!..

Слезы текли обильно, за слезами рыданія, за рыданіями маяла-то икота, грозившая ударомъ. Удара боялся Иванъ Алексѣевичъ пуще всего.

— Вотъ что, — заговорилъ онъ ей такъ рѣшительно, что толстуха перестала икать и подняла на него свои круглые, красные глаза, полные слезъ,—вотъ что, у меня есть пріятель...

— Un ami,—машинально перевела она.

— Палтусовъ, онъ съ кушцами въ знакомствѣ, въ дѣлахъ.

— Dans les affaires, — продолжала переводить Дениза Яковлевна.

— Надо черезъ него дѣйствовать... я сейчасъ поѣду.

— Голубчикъ! Родной, батюшка мой!—прорвало французенку.

Она начала душить Пирожкова, прижимать къ своей груди короткими, перетянутыми у кисти ручками.

— Oh, les Russes! Quel coeur! Quel coeur! — всхлипывала она, провожая его въ столовую, гдѣ еще стояла недопитая чашка Ивана Алексѣевича.

IX.

— Вотъ это хвалю!— встрѣтилъ Пирожкова Палтусовъ въ дверяхъ своего кабинета.—Позвольте облобызаться.

Иванъ Алексѣевичъ проѣхалъ сначала въ тѣ меблированныя комнаты, гдѣ жилъ Палтусовъ еще двѣ недѣли назадъ. Тамъ ему сказали, что Палтусовъ перебрался на свою квартиру около Чистыхъ Прудовъ.

Квартира его занимала цѣлый флигелекъ съ подъездомъ на переулокъ, выкрашенный въ желтоватую краску. Окна поднимались отъ тротуара на добрыхъ два аршина. По лѣсенкѣ заново выштукатуренныхъ стѣн шелъ красивый половикъ. Вторая дверь была обита свѣтло-зеленымъ сукномъ съ мѣдными бляшками. Передняя такъ и блистала чистотой. Докладывать о гостѣ ходилъ мальчикъ въ сѣромъ полуфрачкѣ. Въ этихъ подробностяхъ обстановки Иванъ Алексѣевичъ узнавалъ франтоватость своего пріятеля.

Первая комната—столовая—тоже показывала заботливость хозяина, хотя въ ней и не бросалось въ глаза никакихъ особенныхъ затѣй. Тратиться сверхъ мѣры Палтусовъ не желалъ. Кабинетъ отдѣлалъ онъ гораздо богаче остальныхъ двухъ комнатъ, маленькаго салона и такой же маленькой спальни. Кабинетъ онъ оклеилъ темными обоями подъ турецкую ткань и поставилъ мягкою мебелью такого же почти рисунка и цвѣта. Книгъ у него еще не было, но шкафъ подъ черное дерево, завѣшанный изнутри тафтой, занималъ всю стѣну, позади кресла за письменнымъ столомъ. Комната смотрѣла изящнымъ „furniture“.

Пирожковъ и Палтусовъ не видались съ самаго Татьяна дни, когда они повезли приказнаго въ веселое мѣсто.

— Чему обязанъ,—шутливо спросилъ Палтусовъ, вводя пріятеля въ кабинетъ, — въ такой ранній часъ? Ужъ не въ секунданты ли?

Онъ на взглядъ Пирожкова пополнилъ, борода разрослась, щеки порозовѣли. Домашній, синій костюмъ, въ



родъ военной блузы, выставялъ его стройную, крѣпкую фигуру. Пирожковъ замѣтилъ у него на четвертомъ пальцѣ лѣвой руки прекрасной воды рубинъ.

— Въ секунданты!—разсмѣялся Иванъ Алексѣевичъ.— Не тѣ времена. Вы въ губерніи сильный человѣкъ, мы къ нашимъ стопамъ прибѣгаемъ.

Палтусовъ подумалъ, что Пирожковъ дурачится, потомъ сѣлъ съ нимъ на низкій, глубокій диванчикъ, на двоихъ. Обстоятельно, полусерьезно, полшутливо разсказалъ ему пріятель исторію „о нѣкомъ поварѣ Филатѣ, его другѣ приказчикѣ, Гордѣѣ Парамоничѣ и его жертвѣ, французской гражданкѣ, Денизѣ-Элоизѣ Гужо“. Исторія насмѣшила Палтусова, особенно картина бушеванія повара и поведеніе жильцовъ со старой дворянкой включительно, спустившейся внизъ узнать, дадутъ ли ей завтракать на другой день.

Но лицо Ивана Алексѣевича сдѣлалось вдругъ серьезнымъ.

— Гогартовская сцена, — сказалъ онъ, — но ее ужасно жаль, она вѣдь очутится sur la raille, какъ въ мелодрамахъ говорится. Я подумалъ, что спасителемъ можете быть только вы.

— Почему?—со смѣхомъ вскричалъ Палтусовъ.

— Купцовъ много знаете...

— Вотъ что...

Но на вопросъ, кто такой этотъ Гордей Парамоновичъ, Пирожковъ затруднился отвѣтить. Онъ не былъ увѣренъ—прозывается ли онъ Федюхинымъ или Дедюхинымъ.

— Такого не знаю, — уже дѣловымъ звукомъ откликнулся Палтусовъ.

Ему радъ онъ былъ услужить хоть чѣмъ-нибудь. Этого человѣка онъ выдѣлялъ изъ всего московскаго обывательства и никогда на него и въ помыслахъ не разсчитывалъ. Онъ записалъ его въ разрядъ милыхъ, бесполезныхъ теоретиковъ, и даже, когда разъ о немъ думалъ, сказалъ себѣ: „Если Пирожковъ проѣстъ свою деревушку, и я къ тому времени буду въ капиталахъ—я его устрою“.

— Справьтесь, другъ, справьтесь... Кто-нибудь изъ вашихъ знакомцевъ.

— Да кто онъ такой?.. ну, хоть приблизительно.

— Кажется, кирпичомъ промышляеть.

— Чудесно! коли это такъ, тогда мы до него доберемся. Да позвольте, можетъ-быть, и я вспомню... Дедехинъ... Федюкинъ...

Палтусовъ началъ припоминать. Пирожковъ окликнулъ его.

— Андрей Дмитриевичъ!

— Что прикажете, дорогой?

— Вѣдь купецъ въ самомъ дѣлѣ все прибралъ къ своимъ рукамъ... въ этой Москвѣ...

— А вы какъ бы думали? — съ этими словами Палтусовъ вскочилъ и заходилъ передъ диваномъ.

Онъ попадалъ на свою любимую тему.

— Вы дайте срокъ, — прибавилъ Пирожковъ, — тутъ еще другая исторія... васъ тоже просить приказано... но только на обѣдъ... И здѣсь купецъ, и тамъ купецъ...

— Раскусили? — съ разгорѣвшимися глазами вскричалъ Палтусовъ, наклоняясь къ гостю. — Я говорю вамъ... никто и не замѣтилъ, какъ вахлакъ наложилъ на все лапу. И всѣхъ съѣстъ, если вашъ братъ не возьмется за умъ. Не одну французскую madame слопаешь такой Гордѣй Парамоничъ! А онъ навѣрно пишетъ „руль“ — буквами „пъ“. Онъ нѣмца нигдѣ не боится. Ярославскій калачникъ выживаетъ нѣмца-булочника, да не то, что здѣсь, а въ Питерѣ, съ Невского, съ Морской, съ Васильевского острова...

Рѣчь Палтусова прервалъ звонокъ.

— Приемный часъ? — спросилъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Нѣтъ... я позднѣе принимаю... Это кто-нибудь свой. Можеть, Калакуцкій... мой, такъ сказать, принципаль... Вотъ было бы кстати... Онъ навѣрное знаетъ.

— Онъ вѣдь „enterperneur de bâtisses“, какъ въ пѣсенкѣ поется?

— Именно.

Палтусовъ ввелъ въ кабинетъ Калакуцкаго и тотчасъ же познакомилъ съ нимъ Пирожкова.

Иванъ Алексѣевичъ не безъ любопытства оглядѣлъ фигуру подрядчика „изъ благородныхъ“ и остался ею доволенъ; она показалась ему достаточно типичной.

— Душа моя, — торопливо захрипѣлъ Калакуцкій, — я къ вамъ на секунду... завернулъ, чтобы напомнить насчетъ...

Онъ отвелъ Палтусова къ окну и басовымъ хрипомъ досказалъ ему остальное.

Палтусовъ только кивалъ головой. По тому, какъ онъ держался съ „принципаломъ“, Иванъ Алексѣевичъ заключилъ, что подрядчикъ имъ дорожить. Такъ оно и должно



было случиться... Ловкій и бывалый молодець, какъ Палтусовъ, стоилъ дюжины подобныхъ „enterperneurs de bâtisses“, про которыхъ поется въ шутовской пѣсенкѣ... Пирожковъ сталъ ее припоминать и припомнилъ весь первый куплетъ:

„Que j'aime à voir autour de cette table
Des scieurs de long, des ébénistes,
Des enterperneurs de bâtisses,
Que c'est comme un bouquet de fleurs!“

— Вотъ, Сергѣй Степанычъ, обяжите маленькой услугой моего пріятеля,—заговорилъ громко Палтусовъ и подвель Калакуцкаго къ дивану.

— Чѣмъ могу?

Палтусовъ объяснилъ, въ чемъ дѣло.

— Какъ зовутъ этого Гордея Парамоныча?

— Не то Федюхинъ, не то Дедюхинъ,—стыдливо произнесъ Иванъ Алексѣевичъ.

— Федюхинъ!.. А!.. Не Федюхинъ, батюшка, Нефединъ... Это вотъ такъ! Каменоломни имѣть...

— Да, да!..—обрадовался Пирожковъ.

— Знаю... мужикъ простота.

— А не плутъ?

— Плутъ... разумѣется... но плутуетъ онъ по-христіански, простота... жирный... все у него приказчики... Жена, говорятъ, бьетъ его... По пяти дней запоетъ пьеть каждый мѣсяцъ.

— Какъ вы все это знаете?—вырвалось у Пирожкова.

— Еще бы, на томъ стоимъ... Его просить... да о чемъ же, я все въ толкъ не возьму.

— Сергѣй Степанычъ, вы позвольте мнѣ, — вмѣшался Палтусовъ.—Вы вѣдь въ дѣлахъ съ нимъ...

— Былъ, да и теперь еще придется, но веснѣ.

— Ну, такъ я отъ васъ съѣзжу... и съ Иваномъ Алексѣевичемъ мы обсудимъ... чего практичнѣе добиваться для этой Гужо.

— Вотъ и прекрасно... Какой у васъ пріятель-то,—указалъ Калакуцкій Пирожкову на Палтусова. — На все время есть!.. Сдѣлалъ бы другой!.. Держите карманъ!.. Андрей Дмитріевичъ у насъ единственный... Вотъ всероссійская выставка будетъ на Ходынскомъ полѣ... Будемъ его выставять! Merci, merci, mon cher... Еще на пару словъ... Мочи нѣтъ, какъ тороплюсь... Мое вамъ почте-



піе, — онъ кивнулъ Пирожкову и увлекъ Палтусова въ столовую.

Тамъ еще минуты съ двѣ слышался его хрипъ, который то опускался, то поднимался. Оба чему-то разсмѣялись и шумно пошли въ переднюю.

„Хлестко живутъ, — думалъ Иванъ Алексѣевичъ, располагаясь поудобнѣе на диванѣ, — въ гору идутъ... Тутъ-то вотъ и есть настоящая русская жизнь, а не тамъ, гдѣ мы ее ищемъ... Палтусовъ и я — это взрослый человѣкъ и ребенокъ“.

Но Иванъ Алексѣевичъ не способенъ былъ кому-либо завидовать. Ему надо одно: быть болѣе хозяиномъ своего времени. Это-то ему и не удалось. Быть-можетъ, съ годами придетъ особый талантъ, будетъ и онъ умѣть бѣдить на почтовыхъ, а не на долгихъ въ своихъ занятіяхъ, въ выполненіи своихъ работъ.

— Каковъ... на вашъ вкусъ? — раздался надъ нимъ звонкій голосъ Палтусова.

— Принципаль?

— Да.

— Матёръ!

— Между нами, — заговорилъ Палтусовъ потише, — онъ ненадеженъ.

— Въ какомъ смыслѣ?

— Зарывается... Плохо кончить...

Иванъ Алексѣевичъ услышалъ тутъ же цѣлую исповѣдь Палтусова: какъ онъ попалъ въ агенты къ Калакуцкому, какъ успѣлъ въ какихъ-нибудь три-четыре недѣли подняться въ его глазахъ, добылъ ему поддержку самыхъ нужныхъ и „тузистыхъ“ людей, какъ онъ присмотрѣлся къ этому процессу „объегориванья“ путемъ построекъ и подрядовъ и думаетъ начать дѣло на свой страхъ съ будущей же весны, а Калакуцкаго „lâcher“, разумѣется, благороднымъ манеромъ, и сдѣлаетъ это не позднѣе половины поста. Тогда онъ начнетъ иначе, на другихъ основаніяхъ, безъ татарскихъ замашекъ, на англійскій, солидный образецъ. Да и въ Москвѣ есть люди въ такомъ вкусѣ... Пирожковъ услышалъ имя какого-то Осетрова... Вотъ это человѣкъ! Университетскій кандидатъ, до всего дошелъ умомъ, знаніемъ, безупречной честностью. Кредитъ по всему волжскому бассейну; безъ документовъ наберетъ сколько угодно денегъ въ Нижнемъ, Казани, Астрахани... въ Сибири... Вадимъ Павлычъ, одно слово — и ку-



бышки раздаются и изъ нихъ текутъ рубли въ руки высокодаровитаго предприимателя.

— Вы съ нимъ ужъ въ дѣлѣ? — спросилъ Пирожковъ, проникаясь удивленіемъ къ своему пріятелю, къ той быстротѣ, съ которой онъ проникъ „въ міръ цѣнностей и производствъ“, какъ выражался самъ Палтусовъ.

— Онъ мнѣ далъ два пая въ своемъ послѣднемъ крупнѣйшемъ предпріятіи, — конфиденціальнымъ тономъ сообщилъ Палтусовъ. — Это вздоръ; но дорого вотъ что: поддержать съ нимъ связь.

— Фортуна заполучите, — ласково спросилъ Иванъ Алексѣвичъ, пристально взглянувъ на пріятеля. — И повинность соблюдете.

Палтусовъ разсмѣялся.

— Вотъ вамъ, какъ духовнику, все разсказать.

Но онъ забылъ или не хотѣлъ сообщить Пирожкову того, что наканунѣ Марья Орестовна Нѣтова, собираясь за границу, поручила ему полной формальной довѣренностью завѣдываніе своимъ „особымъ“ состояніемъ.

— Завлекательно, — выговорилъ Иванъ Алексѣвичъ.

Палтусовъ предложилъ ему закусить. Иванъ Алексѣвичъ съ большой радостью принялъ предложеніе.

— Но, любезный другъ, — говорилъ Пирожковъ, закусывая кускомъ ветчины — они перешли въ столовую, — все это такъ; а конечная цѣль? Дѣльцомъ быть хорошо только до извѣстнаго предѣла... для человѣка, вкусившаго, какъ вы, высшаго развитія.

Палтусовъ не смутился.

— Конечно, — согласился онъ, — что жъ! Вы думаете, я, какъ парижскій лавочникъ или limonadier, забастую съ рентой и буду ходить въ домино играть, или по-россійски въ трехъ каретахъ буду ѣздить, или палатцу выведу на Комскомъ озерѣ и тамъ хоръ музыкантовъ, балетъ, оперу заведу? Нѣтъ, дорогой Иванъ Алексѣвичъ, не такъ я на это дѣло гляжу-съ!.. Силу надо себѣ приготовить... общественную... политическую...

— Ну ужъ и политическую...

— А вы какъ бы думали, Иванъ Алексѣвичъ?.. Изъ-за чего же вы всѣ бьетесь?..

— Кто всѣ? — кротко остановилъ Пирожковъ.

— А вотъ то, что называется интеллигенціей?

— Да мы не изъ чего не бьемся, а киснемъ.

— Ха-ха! Именно! Я не хотѣлъ употреблять это слово...



Я только временно примазывался, Иванъ Алексѣвичъ, къ университету... Но я вкусилъ все-таки отъ древа познанія... И люди, какъ вы, должны будутъ сказать мнѣ спасибо, когда я добьюсь своего... Если вы всё мечтаете о томъ, что нынче называется „идея“, ну представительство, что ли... пора подумать, кто же попадетъ въ вашу палату?..

— Палата!—вздыхнулъ Пирожковъ.

— Кто? Вотъ отъ города Москвы? А? У кого въ рукахъ цѣлыя волости, округи, кто скупаетъ земли, кто кормитъ десятки тысячъ рабочихъ? Да все тѣ же господа коммерсанты, тотъ же Гордей Парамонычъ! Въ думѣ они выкурили дворянъ! Выкурятъ и въ вашей будущей палатѣ.

— Если такіе, какъ Андрей Дмитріевичъ, не возьмутся за умъ,—прибавилъ весело Пирожковъ.

— Безъ ложной скромности, да-съ!..

Палтусовъ выпилъ стаканъ вина.

— Вотъ такіе Калакуцкіе ничего не сдѣлаютъ... Это мыльные пузыри... Раздулся въ нѣсколько минутъ и пафъ!.. Но Осетровъ—вотъ сила... Мнѣ лучшаго образца и не надо!..

— Хотъ бы однимъ глазкомъ посмотрѣть на вашего богатыря.

— Познакомитесь... современемъ... Вотъ, дорогой Иванъ Алексѣвичъ, мой объектъ...

— Хвалю!

— Такъ вы нашимъ пріятелямъ и скажите: изъ тѣхъ, кто въ Оивайдѣ жили... Палтусовъ, молъ, только временно въ плутократію пустился... Силу накапливаетъ.

— Пріятели!—подхватилъ съ горечью Пирожковъ.—Я никого не вижу... Просто срамъ... Такую ослиную жизнь веду, ничего не дѣлаю, диссертацию заколодило.

— Эхъ, Иванъ Алексѣвичъ, не одни вы... то же поютъ... здѣсь только и можно, что вокругъ купца орудовать... или чистой наукой заниматься... Больше ничего нѣтъ въ Москвѣ... Послѣ будетъ, допускаю... а теперь нѣтъ. Учиться, стремиться, знаете, натаскивать себя на хорошія вещи... надо здѣсь, а не въ Питерѣ... Но человѣку, какъ вы, коли онъ не пойдетъ по чисто ученой дорогѣ, нечего здѣсь дѣлать! Закиснетъ!..

Пирожковъ только вздыхалъ.

— Исключеніе допускаю... для сочинителя, романы кто



пишетъ, комедію... О! здѣсь нища богатаи! Такъ и черпай!.. А за симъ прощайте, буду васъ гнать—пора и за мажачество приниматься.

Онъ позвонилъ и приказалъ мальчику закладывать лошадей.

— И четвероногихъ завели?—спросилъ Пирожковъ, переходя съ хозяиномъ въ кабинетъ.

— Завель, дешевле обходится. А какое же у васъ еще дѣло ко мнѣ?

— Вотъ оно!.. Я забылъ, а вы помните... Поэтому-то вы и достигнете своего; а я съ диссертацией-то превращусь въ ископаемаго, въ улитку... И назовутъ меня именемъ какого-нибудь московскаго трактира... Есть „Terebratula Alfonskii“. Ректоръ такой здѣсь былъ. А тутъ откроютъ „Terebratula Patrikewii“. И это буду я!

Пріятели поцѣловались. Палтусовъ предложилъ-было сани, но Иванъ Алексѣевичъ пошелъ гулять на Чистые Пруды. Они условились повидаться на другой же день утромъ: обработать дѣло мадамъ Гужо.

Х.

Плохо освѣщенная зала Малаго театра пестрѣла публикой. Играли водевиль передъ большой пьесой. Въ амфитеатрѣ сидѣло больше женщинъ, чѣмъ мужчинъ. Всѣ посѣлительницы бенефисовъ значились тутъ на-лицо. Верхняя скамья почти сплошь была занята дамами. Онѣ оглядывали другъ друга, надѣвали перчатки, наводили биночки на бѣгуары и ложи бельэтажа. Двѣ модныхъ шляпки заставили всѣхъ обернуться, сначала на средину второй скамейки сверху, потомъ на правый конецъ верхней. У одной бенефисной щеголихи шляпка, въ видѣ большого блюда, обшитаго атласомъ, сидѣла на затылкѣ, покрытая бѣлыми перьями; у другой — черная шляпка выдвигалась впередъ точно кузовъ. Изъ-подъ него выглядывала голова съ огромными цыганскими глазами. Двѣ круглыхъ, позолоченныхъ булавки придерживали на волосахъ этотъ кузовъ. Пришли еще три пары, всегда появляющіяся въ бенефисахъ, уже не первой молодости, барыни и купчихи, и при нихъ молодые люди, ражіе, съ русыми и черными бородами, въ цвѣтныхъ галстукахъ кольцахъ.

Кресла къ концу водевиля совсѣмъ наполнились. Въ первомъ ряду неизмѣнно виднѣлись тѣ же головы. Между



ними всегда очутится какой-нибудь проѣзжій гусарь, или фигура помѣщика, иногда прямо съ желѣзной дороги. Онъ только что успѣлъ умыться и переодѣться, и купилъ билетъ у барышниковъ за пятнадцать рублей. Въ бельэтажѣ и бенуарахъ не видно особенно изящныхъ туалетовъ. Купеческія семьи сидятъ, дочери впередъ, въ розовыхъ и голубыхъ платьяхъ, съ румяными щеками и приплюснутыми носами. Второй ярусъ почти сплошь купеческій. Въ двухъ ложахъ даже женскія головы, повязанныя платками. Купоны набиты разнымъ людомъ: пріѣзжія, небогатые дворянскія семьи, жены учителей, мелкихъ адвокатовъ, офицеровъ; есть и студенты. Одну ложу совсѣмъ расперли человекъ девять техниковъ. Верхи—бенефисные: чужекъ и кацавеекъ очень мало, преобладаетъ учащаяся молодежь.

Убогій оркестръ, точно въ ярмарочномъ циркѣ, заигралъ что-то послѣ водевиля. Раекъ еще не уgomонился и продолжалъ вызывать водевильнаго комика. Въ креслахъ гудѣли разговоры. Въ залѣ сразу стало жарко.

Вдоль поперечнаго прохода въ кресла подъ амфитеатромъ уже встали въ рядъ: дежурный жапдармскій офицеръ, частный, два квартальныхъ, два-три не дежурныхъ капельдинера въ штатскомъ, старичокъ изъ кассы, чиновникъ конторы и ихъ знакомые, еще нѣсколько неизвѣстнаго званія людей, всегда проникающихъ въ этотъ служебный рядъ.

Всѣмъ хочется посмотрѣть: какой будетъ „пріемъ“ первой актрисѣ. По лѣвому коридору, мимо бенуара, уже понесли двѣ корзинки и вѣнокъ съ буквами изъ фіалокъ и гіацинтовъ. Пріѣхалъ уже старый генералъ въ очкахъ. Передъ нимъ вытянулись внизу, у дивана дежурный солдатикъ и у дверей въ кресла плацъ-адъютантъ. Капельдинеръ, съ этой стороны, развѣтывалъ билеты и глядѣлъ на нихъ въ ріпсе-пез, прикладывая его каждый разъ къ носу. Въ глубинѣ коридора, на скамейкѣ, около хода за кулисы, старичокъ въ длинномъ сюртукѣ съ свѣтлыми пуговицами сидитъ и зѣваетъ.

Послѣ водевиля, сверху затопали по каменнымъ ступенямъ, началось перекочевываніе въ буфетъ черезъ холодныя сѣни мимо кассы, куда все еще приходили покупать билеты, давно распроданные. Сторожа, въ валенкахъ и полушубкахъ, совали входящимъ афиши. Изъ „кофейной“,—такъ зовутъ буфетъ по-московски,—въ ободраную

дверь валить царь. Съ подъѣзда доносятся крики жандармовъ и окрики квартальныхъ. Подъ лѣстницей, при поворотѣ въ кресла, молодецъ въ сибирскѣ бойко торгуетъ пирожками и крымскими яблоками. Въ фойе, гдѣ со всѣхъ лѣстницъ и изъ всѣхъ дверей такъ и вторгается сквозной вѣтеръ, публика уже толчется, ходитъ, сидитъ, усиленно пьетъ сельтерскую воду и морсѣ. Такая же сибирка, какъ и внизу, едва успѣваетъ откупоривать бутылки, наливаетъ и плещетъ на полъ и подносы. Оркестръ смолкъ. Раздался звонокъ со сцены. Два солдата у царской ложи уже наполнили все фойе запахомъ своихъ смазныхъ сапоговъ.

XI.

Передъ самымъ поднятіемъ занавѣса къ большой пьесѣ въ кресла вошелъ Палтусовъ. За зиму онъ пропустилъ много бенефисовъ; вечера были заняты другимъ. На этотъ бенефисъ слѣдовало поѣхать, припомнить немного то время, когда онъ съ пріятельской компаніей отправлялся въ купоны и вызывалъ оттуда, до потери голоса, сегодняшнюю бенефициантку.

Онъ любилъ сидѣть въ мѣстахъ амфитеатра. Въ кассѣ ему оставили крайнее мѣсто на одной изъ нижнихъ скамеекъ. Войдя, онъ остановился въ проходѣ и оглядѣлъ въ бинокль всю залу. Напередъ зналъ онъ, кого увидитъ и въ бенуарѣ, и въ бельэтажѣ, и въ креслахъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ заниматься Москвой въ качествѣ „піонера“, онъ все больше и больше убѣждался въ томъ, что „общество“ вездѣ одно и то же — куда ни поѣдешь. Людей много, но люди эти — „обыватели“, какъ выражается и его пріятель Пирожковъ. Вотъ хоть бы сегодня — не къ кому подойти, ни одной интересной женщины. Все купцы и купцы! Палтусовъ начиналъ находить, что изучать ихъ полезно, но по вечерамъ надо хоть бы чего-нибудь поигривѣ. Направо, въ бенуарѣ — знакомое ему семейство. Онъ раскланялся издали. Страшно богатые и недурные люди, гостепріимные и не безъ образованія, но неизлѣчимо скучные. Палѣво тоже знакомые. Тутъ все на дворянскую ногу, жена сейчасъ о литературѣ заговоритъ. И онъ напередъ знаетъ: что именно, и какими тономъ.

Палтусовъ чувствовалъ себя вообще очень довольнымъ. За три дня передъ тѣмъ въ его дѣловой дорогѣ произо-



шелъ поворотъ въ сторону скорого и большого обогащенія. Онъ ужъ болѣе не агентъ Калакуцкаго. Они распрошались безъ неприятностей, по-джентльменски. Черезъ своего принцепала онъ сошелся съ тѣмъ самымъ каменщикомъ, у котораго madame Гужо завѣдывала меблированными комнатами. Этому мужику, по натурѣ доброму, но всегда въ рукахъ какого-нибудь приказчика, понравился статный и рѣчистый баринъ. Отъ него Палтусовъ узналъ въ точности, что Калакуцкій сильно зарвался. Состоять при немъ не было никакого расчета. Палтусовъ откровенно сказалъ Калакуцкому, что хочетъ попробовать начать свое дѣло. Тотъ не сталъ его удерживать. Купецъ обѣщалъ ему залоги. Навертывался выгоднѣйшій подрядъ. До весны все будетъ обработано.

Когда Палтусовъ сѣлся на свое мѣсто, онъ бросилъ взглядъ вверхъ, на ряды амфитеатра. Подъ царской ложей сидѣла Анна Серафимовна Станицына въ своей шляпкѣ съ гранатовымъ перомъ и черномъ платьѣ, прикрытая короткой пелеринкой изъ чего-то блестящаго. Она его тотчасъ же замѣтила, поклонилась степенно, но глаза улыбнулись. Рядомъ съ ней раскинулась ея кузина Любаша, безъ шляпки, съ длинными двумя косами, въ зеленомъ платьѣ съ вырѣзомъ на груди. Палтусовъ не зналъ, кто она. Онъ почтительно поклонился Станицыной, обратилъ вниманіе и на Любашу, и на блондина съ курчавой, чисто купеческой головой, сидѣвшаго рядомъ съ ней. Это былъ Рубцовъ.

Станицыну Палтусовъ не видалъ больше двухъ мѣсяцевъ. Хотѣлъ-было онъ на-дняхъ поѣхать къ ней и поговорить съ ней насчетъ ея „муженька“. Но онъ этого не сдѣлалъ изъ чувства нравственной щекотливости. Это было бы похоже на подлаживанье къ богатой купчихѣ, которая, въ концѣ концовъ, можетъ настоять на разводѣ, выплатить своему Виктору Миронычу тысячу триста-четыреста отступного... Нѣтъ, Палтусовъ не такъ ведетъ свои дѣла съ купчихами. Вотъ хоть бы Марья Орестовна Нѣтова! Хотя онъ и не фатъ, а трудно ему было не понимать, что она къ нему начинала чувствовать... А развѣ онъ сталъ ее эксплуатировать?.. Она сама передъ отъѣздомъ за границу попросила его быть ея „chargé d'affaires“, дала ему полную довѣренность, поручила свой капиталъ, прямо показала этимъ, что довѣряетъ ему безусловно... Иначе и не могло случиться... Онъ такъ велъ себя съ ней...

Лицо Анны Серафимовны обратилось опять къ нему. Глаза ея, въ полусвѣтѣ театра, казались больше и еще красивѣе. Она немного похудѣла, носъ сталъ тоньше, черный корсажъ изъ шелковаго трико—самая послѣдняя мода—обвивалъ ея грудь и прекрасныя руки. Палтусовъ все это могъ осматривать на свободѣ въ свой бинокль. Препородистая женщина! Онъ не найдетъ привлекательнѣе ея въ гостинныхъ коммерсантовъ. Пора бы ему почаще бывать у пей. Она заслуживаетъ полной симпатіи... Свою печальную долю она несетъ съ достоинствомъ. Дѣло, какъ слышно, она ведетъ отлично, на фабрикѣ устроила школу... Чего же больше желать?.. Нѣтъ въ ней этого противнаго залязанья въ баре, не тянется она за титулованными дамами-патронессами, ѣздитъ только въ свое общество, и то очень мало...

А главное, вѣдь она свободная и одинокая молодая женщина. Развѣ она можетъ считать себя обязанной чѣмъ-нибудь передъ Викторомъ Миронычемъ?.. Палтусовъ вспомнилъ тутъ разговоръ съ ней въ амбарѣ, въ началѣ осени, когда они остались вдвоемъ на диванѣ... Какая она тогда была милая... Только песочное платье портило. Но она и одѣваться стала лучше...

XII.

Занавѣсъ поднялся. Черезъ десять минутъ вышла бенефициантка. Театръ захопалъ и закричалъ. Послѣ перваго треска рукоплесканій, точно залповъ ружейной пальбы, протянулись и возобновлялись новые аплодисменты. Капельмейстеръ подаль изъ оркестра корзины одну за другой. Съ каждымъ подношеніемъ рукоплесканія крѣпчали. Актриса—любимица кланялась въ тронутую позѣ, прижимала руки къ груди, качала головой, потомъ взялась за платокъ и въ волненіи прослезилась.

Когда-то Палтусовъ находилъ ее очень даровитой. Но съ годами, особенно въ послѣдніе два года, она потеряла для него всякое обаяніе. Они съ Пирожковымъ зачислили ее въ разрядъ „кривлякъ“ и въ очень молодыхъ роляхъ съ трудомъ выносили. Пьеса шла шекспировская. Бенефициантка играла молоденькую, игривую и ѣдко-острую дѣвушку, очень старалась, брала всевозможные тоны и ни одной минуты не забывала, что она должна плѣнить всѣхъ молодостью, тонкостью и блескомъ дарованія. Но Палтусову дѣлалось не по себѣ отъ всѣхъ этихъ намѣреній

актрисы сильно за тридцать лѣтъ, съ круглой спиной и широкимъ, пухлымъ лицомъ. Онъ поглядѣлъ въ сторону Анны Серафимовны. Она тоже обернула голову. Глаза ея говорили, что и она чувствуетъ то же самое.

„Вѣдь вотъ,—мысленно одобрилъ ее Палтусовъ,—понимаетъ... не то, что всѣ эти барыни и купчихи съ ихъ доморощенными восторгами“.

Въ слѣдующій антрактъ ему захотѣлось подсѣсть къ ней. Но это было не легко. Справа рядомъ съ ней сидѣла странная особа въ косахъ, налѣво, тоже рядомъ,—курчавый молодецъ въ коричневомъ пиджакѣ.

„Вѣроятно, родственники, — соображалъ Палтусовъ. — Вотъ это неприятно: имѣть такую родню!“

Онъ всталъ, наклонилъ голову, улыбнулся Аннѣ Серафимовнѣ и показалъ ей, что ему хочется съ ней поговорить. Она поняла и что-то сказала Любашѣ. Та кивнула головой и вскочила съ мѣста. Ея широкія плечи, руки, размашистыя манеры забавляли Палтусова.

„Прогнала бы ихъ преспокойно, — говорилъ онъ про себя,—пускай идутъ ѣсть крымскія яблоки въ коридоръ“.

Но Любаша сама предложила Станицыной идти въ фойе.

— Сходи съ Рубцовымъ, — сказала Анна Серафимовна не безъ задней мысли.

— Сеня, желаете? — громко спросила Любаша через Станицыну.

— Покурить мнѣ хочется...

— Мы сначала въ фойе... А оттуда и покурите.

— Какъ же ты одна останешься?

— Экая важность! Съѣдятъ меня, что ли?

— Я бы пошла, — хитрила Анна Серафимовна, — да я боюсь сквозного вѣтра.

— А я не боюсь... Сеня, айда!

Анна Серафимовна поглядѣла на Любашу и даже дернула ее легонько за рукавъ.

— А мнѣ наплевать! — шепнула Любаша своей кузинѣ, махнула рукой Рубцову и стала проталкиваться, задѣвая сидѣвшихъ за колѣна.

Не очень ловко было за нее Аннѣ Серафимовнѣ. Но ѣздить одной ей было еще неприятнѣе. Надо непременно завести компаніонку, чтицу, да скоро ли найдешь хорошую, такую, чтобы не мѣшала.

Любаша и Рубцовъ ушли изъ кресель. Анна Серафи-

мовна взглянула влѣво. Палтусовъ улыбнулся и улыбкой своей благодарилъ ее. Ее этотъ человѣкъ очень интересуетъ. Только она-то для него, должно думать, не занимательна. Не бываетъ у ней по цѣлымъ мѣсяцамъ... Какое мѣсяцъ?.. Съ самаго Рождества не былъ!.. Ему не съ такими женщинами, какъ она, весело... Видно, всѣ мужчины на одну стать... Во всѣхъ хоть чуточку да сидитъ ея Викторъ Миropyчъ, который на-дняхъ угостилъ-таки ея векселькомъ изъ Парижа: нашлись добрые люди, дали ему тридцать тысячъ франковъ, навѣрно по двойному документу. И тамъ этимъ не хуже нашего занимаются. О мужѣ она теперь думаетъ только въ видѣ векселей и долговъ. Человѣкъ совсѣмъ не существуетъ для нея. Свободно ей, никто не портитъ крови, не видитъ она, какъ бывало, его долговязой, жидкой фигуры, противной, подкрашенной шеи, нахальныхъ глазъ, прически, не слышитъ его фистулы, насмѣшекъ, словечекъ и французскихъ непристойностей. Только днями засасываетъ ее одиночество. Если бы не дѣти—превратилась бы она въ злобнаго конторщика, въ хозляку-колотовку. Утромъ—счеты, въ полдень—амбаръ, вечеромъ опять счетныя книги, корреспонденція, хозяйственный разговоръ по торговлѣ и производству, да на фабрику надо съѣздить хоть раза два въ недѣлю. Да еще у ней все нелады съ нѣмцемъ-директоромъ, а контрактъ ему не вышелъ, рабочіе недовольны, были смуты, къ веснѣ, пожалуй, еще хуже будетъ. Деньжищъ за Виктора Миropyча по старымъ долгамъ выплачено—шутка—четыреста тысячъ! Даже ея банкирь и пріятель Безрукавкинъ кряхтѣть начинаетъ, и у него не золотыя яйца насѣдка несетъ...

XIII.

Надо было Палтусову пробраться до самой середины верхняго ряда. Это не такъ легко, когда сидятъ все барыни. Анна Серафимовна смотрѣла на него, и только одни глаза ея улыбались, когда какая-то претолстая дама прибирала-прибирала свои колѣни, и все-таки не могла ухитриться пропустить его, а должна была подняться во весь ростъ.

— Чрезъ Оермопилы прошелъ!—сказала ей Палтусовъ и пріятельски пожалъ руку.

Онъ сѣлъ на мѣсто Любаши. Станицыной сильно хотѣлось упрекнуть его за то, что онъ забылъ ее.

— Вот и васъ увидала,—выговорила она съ улыбкой. Это вышло гораздо задушевнѣе, чѣмъ, можетъ-быть, она сама желала.

— Виновать, виновать,—говорилъ Палтусовъ и не выпускалъ еще ея руки,—забылъ васъ. Нѣтъ, это я лгу, не забылъ нисколько.

— А очень ужъ дѣлами занялись?

— Да!

— Вы, я погляжу, Андрей Дмитричъ, смотрите на насъ, какъ бы это сказать... какъ на рѣдкихъ звѣрей...

— Ха-ха-ха, что вы! Господь съ вами!

— Право, такъ. Мы — звѣринецъ для васъ... Или вы насъ на какое дѣло употребляете... Я вообще говорю... про купцовъ.

Въ словахъ ея слышалась тонкая насмѣшка. Палтусова это задѣло за живое; но онъ не сталъ оправдываться... Ему, въ то же время, и понравилась такая шпилька.

— Вы не въ счетъ, — полусутоливо вымолвилъ онъ въ томъ же тонѣ.

Ихъ разговоръ шелъ вполголоса. Анна Серафимовна прикрывалась большимъ чернымъ вѣеромъ, за который заходило немного и лицо Палтусова.

— Полноте,—началъ онъ искренной нотой,—вотъ это то и доказательство, что я на васъ совсѣмъ иначе смотрю.

— Что? Не понимаю!.. Ахъ, да! Что вы два мѣсяца глазъ не кажете?..

Аннѣ Серафимовнѣ сдѣлалось вдругъ весело. Столькимъ времени она одна съ приказчиками и кой-какими родственниками... Вотъ только Сеня Рубцовъ — подходящий для нея человекъ; но и его она мало видитъ, онъ по ея же дѣламъ бѣдитъ: то на одной фабрикѣ побываетъ, то на другой... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, ей въ „черничку“ обратиться?

Она повторила свой вопросъ.

— Именно это, — подтвердилъ Палтусовъ и слегка наклонилъ къ ней голову.

— Мудрено что-то...

Длинные свои рѣсницы Анна Серафимовна опустила въ эту минуту. Лицо ея въ полъ-оборота приняло выражение тихой усмѣшки и граціи, которыхъ Палтусову еще приходилось подмѣчать.

И ему стало особенно жаль эту самобытную, красивую и умную женщину, связанную съ такимъ мужемъ, и



Викторъ Мирунычъ... Надо хоть что-нибудь рассказать ей про его похождения. Теперь можно.

— Знаете, — шопотомъ спросилъ онъ, — съ кѣмъ я купилъ двѣ недѣли назадъ?

— Съ кѣмъ?

— Съ вашимъ мужемъ.

Она немного затуманилась, но тотчасъ же весело спросила:

— Нешто онъ здѣсь былъ?

— А вы не знали?

— Говорили мнѣ что-то... будто онъ въ Славянскомъ Базарѣ проживалъ. Я вѣдь мимо ушей пропустила.

Эти слова отзывались уже другимъ чувствомъ. Прежде, полгода тому назадъ, она не стала бы такъ говорить съ нимъ о мужѣ. Презрѣніе ея растеть, да и тонъ у нихъ другой... Внутри что-то пріятно пощекотало Палтусова.

— Анна Серафимовна, — заговорилъ онъ еще искренне, — вамъ бы надо имѣть свѣдѣнія повѣрнѣе.

Она сидѣла съ опущенной головой.

— Что объ этомъ! — вырвалось у нея. — Новаго ничего нѣтъ, все то же.

— Здѣсь не мѣсто, — началъ было Палтусовъ и остановился.

Глаза ихъ встрѣтились.

— Вы все однѣ? — спросилъ онъ.

— Да, и дома одна... Вотъ родственникъ мой наѣзистъ.

— Какой это?

— А что сидитъ рядомъ... Рубцовъ... его фамилія.

— Изъ какихъ?

— Вы хотите сказать: изъ русскихъ или изъ воспитанныхъ на иностранный ладъ?

— Ну, да!

— Онъ изъ умныхъ, — оттянула она. — Только вѣрно съ виду вамъ показался такимъ... Онъ въ Англіи долго жилъ.

— Въ Англіи? — переспросилъ Палтусовъ.

— И въ Америкѣ. Всякую работу работалъ. По восьмидесятому году уѣхалъ. Самъ себя образовалъ.

— Вотъ какъ! Анна Серафимовна, это отзывается романъ: русскій американецъ, или изъ одной комедіи Сарду... вы знаете, вѣроятно?

— Онъ совсѣмъ не американецъ — русакомъ остался...



Вотъ это я въ немъ и люблю. Другіе сейчасъ все обезьянить начнутъ, и шепелявость на себя напустятъ, и воротничокъ такой, и проборъ... а онъ все тотъ же.

— Вотъ что!—сказалъ съ удареніемъ Палтусовъ и бокомъ поглядѣлъ на нее.

XIV.

— Что это вы такъ на меня посмотрѣли? — спросила Анна Серафимовна.

— Ничего! Такъ!..

— Ахъ, Андрей Дмитричъ, вамъ-то не пристало.

Но она сказала это опять-таки *лече*, чѣмъ бы полгода назадъ.

— Что жъ такое?—сталъ съ живостью оправдываться Палтусовъ.— Не придирайтесь ко мнѣ... Хорошій человекъ, молодой, понимающій, да если бъ вы къ нему и страстно привязались, какъ же иначе?.. Въ вашихъ-то обстоятельствахъ?!

Все это онъ выговорилъ тихо, только она могла его слышать въ общемъ гулѣ антракта. И ей пришлось очень по душѣ тонъ Палтусова, простота, пріятельское, искреннее отношеніе къ ней.

Въ отиѣтъ она подняла на него глаза и ласково остановила ихъ на немъ.

— Полноте, — выговорила она и прикрыла опять лицо вѣеромъ.

— Объ этомъ въ другой разъ, — уже совсѣмъ шутливо сказалъ Палтусовъ.— Такъ вы все одна. А кто же эта дѣвица съ длинными косами?

— Двоюродная сестра.

— Нигилистка изъ Татарской?

— Ха-ха! Какъ вы узнали?

— А въ самомъ дѣлѣ, развѣ нигилистка?

— Нѣтъ, какая нигилистка!.. А такъ—праву моему не препятствуй, нынѣшня... Они съ Рубцовымъ препотѣшно воюютъ. Только онъ ее побиваетъ... И тутъ вотъ, кажется, есть влеченіе.

— Съ ея стороны?

— Знаете, какъ прежде наши маменьки говорили: одно сердце страдаетъ, другое не знаетъ.

— Только вамъ съ ней... тяжело?

— Да-а.

— Вамъ бы взятьъ чтицу.

— Я сама объ этомъ думаю... Да гдѣ?

— Поручите мнѣ.

Палтусовъ началъ говорить ей о Тасѣ Долгушиной. Мать ея умерла отъ нервнаго удара, разбившаго ее въ нѣсколько секундъ. Сидѣлка подавала ей ложку лѣкарства; она хотѣла проглотить и свалилась, какъ спонъ, со своихъ креселъ... Генерала, среди его рысканій по городу, захватила продажа съ молотка домика на Спиридоновкѣ. Палтусовъ умолчалъ о томъ, что онъ далъ имъ поддержку, назначилъ родъ пенсіона старухамъ, отыскалъ генералу мѣсто акцизнаго надзирателя на табачной фабрикѣ и уже позаботился пріискать Тасѣ дешевую квартиру въ одномъ нѣмецкомъ семействѣ. Но онъ зналъ ея гордость... Надо было найти ей заработокъ, который бы не отнималъ у ней цѣлаго дни. Отъ Грушевой онъ, вмѣстѣ съ Пирожковымъ, отвлекли ее не безъ труда... Они убѣдили ее дожидаться осени для поступленія въ консерваторію, а пока подыскиали ей руководителя изъ знакомыхъ учителей словесности, хорошаго чтеца... Все это сдѣлалось въ нѣсколько дней. Палтусовъ дѣйствовалъ съ такой задушевностью, что Пирожковъ сказалъ ему даже:

— Я думаю, изъ васъ Чичиковъ выйдетъ, а вы—человѣкъ-рубашка!

— Это вздоръ!—отвѣтилъ Палтусовъ безъ всякой рисовки.

Дѣлать толковое добро доставляло ему положительное удовольствіе.

Анна Серафимовна кивала все головой, слушая его.

— Что жъ,—откликнулась она тотчасъ же,—я съ радостью возьму вашу родственницу...

— Когда привезти?

— Да каждый день я дома отъ четырехъ часовъ.

Палтусовъ нагнулся къ ея уху.

— Вотъ видите, все-то теперь коммерсантамъ служить. Генеральская дочь—въ чтицахъ...

— У купчихи,—подсказала Анна Серафимовна.

— Самъ генераль—у табачнаго фабриканта въ надзирателяхъ.

— Вамъ досадно?

— Нѣтъ! Такая коленя.

— А все у насъ,—вздыхнула Анна Серафимовна,—ничего нѣтъ...

Ее затрудняло слово.

— Гдѣ?—спросилъ заинтересованно Палтусовъ.

— Да и здѣсь, и здѣсь!

Она указала на голову и на сердце.

— Давятъ тебя со всѣхъ сторонъ...

— Тюки?—подсказалъ онъ.

— Да, да!

„Какая ты умница“,—подумалъ Палтусовъ, всталъ и протянулъ ей руку.

Антрактъ кончился. Оркестръ доигрывалъ съ грѣхомъ пополамъ какой-то вальсъ. Любаша и Рубцовъ пробирались справа.

— Вы бываєте въ концертахъ?—спросила тихо Анна Серафимовна.

— Въ музыкалѣ?

— Такъ ихъ зовутъ? Я не знала. Да, въ музыкалѣ?

— Билетъ есть; но въ эту зиму забросилъ, да, знаете, въ родѣ барщины какой-то они дѣлаются.

— Это правда...

— Я завтра собираюсь,—проронила Анна Серафимовна и, подавая руку, спросила:—Марья Орестовна Нѣтова какъ поживаетъ за границей?

Палтусовъ быстро поглядѣлъ на нее.

— Все хвораетъ.

„Вотъ что!“—прибавилъ онъ про себя и, вернувшись на свое мѣсто, задумался.

XV.

Она что-нибудь подозрѣваетъ, думаетъ, можетъ-быть, что онъ находится въ связи съ Нѣтовой, слышала, пожалуй, про ихъ дѣловыя отношенія. Это надо разъяснить, показать ей все въ настоящемъ свѣтѣ. Онъ бы никакъ не хотѣлъ терять въ мнѣнii, именно, этой женщины.

Пьеса шла туго. Бенефицианткѣ и первому любовнику удалась одна сцена. Публика вызвала ихъ нѣсколько разъ, но Палтусовъ сидѣлъ равнодушно, не хлопалъ, разсѣянно смотрѣлъ по сторонамъ. Малый театръ потерялъ для него прежнее обаяніе. Не могъ онъ себя наладить на молодое настроеніе. Пьеса казалась набитой непужными вещами, хоть она и шекспировская, обстановка раздражала своей бѣдностью, актеры читали глухо, деревянно. Совсѣмъ не то, что бывало, когда они брали въ складчину ложу и послѣ, до пѣтуховъ, спорили у себя въ номерахъ, за пивомъ. Насилу дождался онъ слѣдующаго антракта. Къ



Станицыной опъ не поднялся. Блондинъ и дѣвица съ косами оставались на своихъ мѣстахъ.

Палтусовъ пошелъ въ фойе и наткнулся на Пирожкова. Иванъ Алексѣевичъ ходилъ, не снимая своей цилиндрической шляпы.

— Не то,—сказалъ ему Пирожковъ.—Хоть не ходи въ Малый театръ.

— Можетъ, мы сами не тѣ?

— У кого былъ талантъ, тѣ излѣнились, а новые изъ рукъ вонъ плохи...

— А Тасю давно видѣли?—спросилъ Палтусовъ.

— Да она здѣсь! Я съ ней въ купонахъ обрѣтаюсь, пожалуйста.

— Не посмотрѣла на трауръ свой?

— Что жъ трауръ? Страсть у нея... Въ послѣдней пьесѣ ingénue какая-то новая.

Пирожковъ взялъ Палтусова подъ руку и отвелъ за колонны.

— Спасибо, спасибо вамъ, дружище,—заговорилъ онъ, ласково глядя на Палтусова.

— А что?

— Да вотъ, за эту дѣвицу... Она мнѣ все рассказала.

— Это пустяки.

— Однако, вы, я говорю, сложная натура. И купцовъ шломятъ мастеръ, и позывы у васъ хорошіе.

— А вы вотъ что,—перебилъ его Палтусовъ.—Пойдете-ка къ этой самой дѣвицѣ.

Онъ рассказалъ пріятелю, какой разговоръ онъ имѣлъ со Станицыной.

Тотъ одобрилъ планъ.

Они поднялись въ коридоръ.

Пирожковъ вошелъ въ одну изъ дверокъ и показался оттуда минуту спустя, ведя за руку Тасю.

Въ черномъ суконномъ платьѣ, съ узкими рукавами и отложнымъ воротникомъ, похудѣлая въ лицѣ, Тася смотрѣла совсѣмъ дѣвочкой и, подойдя ближе къ нему, сказала тихо:

— Вы на меня не дуетесь, Андрюша?

Она теперь такъ его звала.

— За что?

— А вотъ, что я въ театрѣ.

Палтусовъ пожалъ ей руку.

— Что я за цензоръ нравовъ?



— Такъ захотѣлось, такъ захотѣлось видѣть эту дебютантку!

Оба пріятеля рѣшили, что страсть къ сценѣ у ней—неисправимая. Палтусовъ предложилъ ей тутъ же познакомиться съ Станицыной и прибавилъ—почему.

Тася немного призадумалась, но тотчасъ же взяла Палтусова за руку и пожала.

— Вы славный! Я думала, вы другой! Хорошо... Это самое лучшее. Ведите меня къ вашей купчихѣ.

— Въ слѣдующій антрактъ сойдите въ фойе, а я ее приведу.

— Мнѣ еще и потому полезно будетъ,—соображала вслухъ Тася,—я увижу тамъ типы молодыхъ купчихъ. Это нужно изучить.

— Ненасытная!—разсмѣялся Пирожковъ.

— Да, это правда,—созналась Тася,—что только театральное, все это мнѣ знать, жадность ужасная!

Тася увидала, что занавѣсъ поднимается, и бросилась въ свою ложу.

XVI.

Аннѣ Серафимовнѣ понравилась „генеральская дочка“,—такъ она назвала про себя Тасю. Она просила ее пріѣхать посидѣть запросто. Она не стала говорить ей тутъ же о мѣстѣ чтицы или компаньонки. Ея тактъ не ускользнулъ отъ Палтусова. Когда она вернулась, Любаша, ходившая также въ фойе вмѣстѣ съ Рубцовымъ, сейчасъ же спросила:

— Это что за дѣвчурочка въ черномъ?

— Родственница Андрея Дмитриевича Палтусова. Славная, кажется, дѣвушка.

— Что же это она въ сукнѣ-то?

— Мать у ней умерла.

— Видно, не очень убивается.

— Ахъ, Люба,—остановила Анна Серафимовна,—до всего-то тебѣ дѣло!

— Она ничего... Должно-быть, изъ оголтѣлыхъ?

— А вамъ что?—вступился Рубцовъ.

Онъ видѣлъ Тасю.

— Я люблю, когда съ нихъ фанаберію сбиваютъ,—продолжала задорно Любаша.

— Съ кого?—спросилъ Рубцовъ.

— Да съ дворянской дряни.

— Люба!—удержала опять Анна Серафимовна.

Люба поглядѣла на Рубцова, скосившаго на особый ладъ губы, и почувствовала какую-то новую неловкость въ его присутствіи. Онъ былъ недоволенъ, но это-то и подзадоривало ее.

— Это господинъ Палтусовъ?—тихо спросилъ Рубцовъ Анну Серафимовну.

— Да...

Она хотѣла узнать: какъ онъ ему понравился, но побоялась рѣзкаго отзыва.

— Ловкій, по видимости, человекъ,—замѣтилъ Рубцовъ какъ бы про себя.

— Думаете, ловкій?—спросила она.—Вотъ, однако, не обь одномъ себѣ хлопочеть!

— Ну, это еще не Богъ знаетъ что... Родственницу пристроить...

— Послѣ,—остановила его Анна Серафимовна, указавъ на поднимавшійся занавѣсъ.

Ей былъ непріятенъ тонъ Рубцова. И онъ сегодня не далеко ушелъ отъ Любы. Что у нихъ—а еще молодые люди—за замашка: ко всему относиться съ недовѣріемъ, съ злобностью какой-то!

Она, въ теченіе акта, раза два поглядѣла въ сторону Палтусова. Въ антрактѣ онъ издали раскланялся и уѣхалъ до конца пьесы. Онъ ей сказалъ наверху, что будетъ завтра въ концертѣ. И ей показалось, какъ будто онъ жалеетъ говорить съ ней о своихъ отношеніяхъ къ Нѣтовой. Зачѣмъ это? Правда, она слышала разныя вещи. Она имъ не вѣрить.

Однако, это ее все-таки тронуло. Значить, онъ дорожитъ ея мнѣніемъ. А она думала, что онъ и знать ее не хочетъ. У него есть что-то и въ голосѣ, и въ движеніяхъ, и въ словахъ, чтѣ ей особенно нравится.

— Тетя,—Любаша толкнула ее подъ бокъ,—вы куда-то мечтами унеслись.

— Ахъ, это ты!

— Право, унеслись... все этотъ душка-штатскій васъ въ такую мерехлюдію привелъ.

— Пустяки какіе ты все говоришь,—сказала Анна Серафимовна и отвернула голову.

— Умекъ, очень?—спросилъ ее Рубцовъ пять минутъ спустя.

— Вы про кого?



— Да все про вашего ловкача.

— Не зовите его такъ.

— Ну, не буду.

— Вы спрашиваете, уменъ ли? Вотъ какъ-нибудь, если у меня встрѣтитесь, позжаменуйте его.

— Намъ гдѣ же-съ!

Рубцовъ рѣшительно не нравился ей въ этотъ вечеръ. Она хотѣла пригласить его выпить чаю послѣ театра, но не сдѣлаетъ этого. Съ нимъ она могла обо всемъ толковать: и о дѣлахъ, и о своемъ душевномъ настроеніи, но о Палтусовѣ разговоръ не пойдетъ; пускай они познакомятся. Да врядъ ли сойдутся. Сеня гордъ, въ людей не вѣритъ, барчонковъ не любитъ.

Конечъ шекспировской пьесы и маленькую комедію, гдѣ дебютировала новая *ingénue*, Анна Серафимовна прослушала съ чувствомъ тяжести въ груди и въ головѣ. Только на воздухѣ ей стало легко. Она привезла Рубцова и Любашу въ своей каретѣ и должна была развезти ихъ по домамъ. Любаша напрашивалась на чай; но Анна Серафимовна напирала на поздній часъ. И мать ея будетъ беспокоиться.

— А вы, Сеня, домой?—спросила Любаша.

— А то куда же?

Анна Серафимовна улыбнулась въ темнотѣ кареты. Люба начинала ревновать ее къ Рубцову.

— Ну, вотъ вамъ и Шекспиръ!—крикнула Люба.—Такая пустяковина!.. И скучища непролазная!

— Это точно,—подтвердилъ Рубцовъ.

Спорить съ ними Станицына не могла. Пьеса прошла передъ ней точно рядъ туманныхъ картинъ.

Любашу завезли; Рубцовъ взялъ извозчика на полпути. Домой Анна Серафимовна возвращалась одна. Было уже около часу ночи.

XVII.

Не спится Аннѣ Серафимовнѣ. Она живетъ все въ тѣхъ же хоромахъ, лежитъ на той же постели, что и передъ заключеніемъ „сдѣлки“ съ мужемъ. Низъ запертъ и не топится. Да и верхъ бы она заперла, кромѣ спальни, столовой, да дѣтской. Зачѣмъ ей столько комнатъ? И вообще-то она не любитъ тратить попустому деньги. Просторныхъ двѣ-три комнаты, чтобы чистота была, бѣлье тонкое, свѣту побольше. Платьевъ у ней много. На это



она готова тратиться. По-старому-то лучше жилось, все было на своемъ мѣстѣ; а теперь и мужчины, и женщины вышли изъ пазовъ, ни къ тѣмъ, ни къ этимъ не пристали. Она это чувствуетъ на самой себѣ. Что такое она? Вотъ хоть бы Андрей Дмитриевичъ Палтусовъ, какъ онъ на нее смотритъ? И не купчиха, какія прежде бывали, и не барыня. Есть у ней въ головѣ неплохія вещи. На фабрикѣ надо многое уладить, казармы рабочихъ передѣлать, школу тоже по-другому устроить. „Затѣи!—говорятъ разныя кумушки,—отличиться хочеть, чтобы объ ней въ газетахъ написали, попасть потомъ въ почетныя попечительницы пріюта или въ предсѣдательницы общества“.

Бьетъ два часа. Анна Серафимовна не спитъ.

Да, хорошо бы все это, что у ней есть на душѣ, раздѣлить съ милымъ человѣкомъ. Сеня Рубцовъ — малый умный и понимающій. Онъ не попрекаетъ ее затѣями. Только въ немъ чего-то недостаетъ. Можетъ-быть, того же самаго, чего и въ ней нѣтъ. А все это-то и есть въ Андрѣ Дмитриевичѣ Палтусовѣ. Ей такъ кажется...

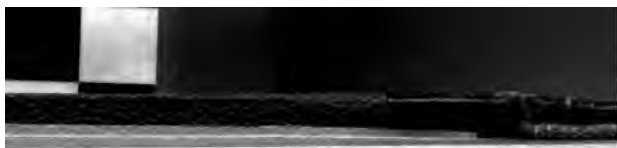
Десять разъ перевернулась Анна Серафимовна съ-боку-на-бокъ. Тонкое полотно подушки нагрѣлось. Она и ее раза два перевернула. Она спитъ съ ночникомъ. Въ спальнѣ воздуху много и засвѣжѣло немножко. Чего бы, кажется, не спать?

Что ея за положеніе теперь! Вдова—не вдова, и не дѣвушка, и свободы нѣтъ. Хорошо еще, что мужъ дѣтей не требуетъ. По его безпутству какія ему дѣти; но настанетъ часъ, когда онъ будетъ вымогать изъ нея, что можетъ, этими самыми дѣтьми... Надо заранѣе приготовить... Вотъ такъ и живи! Скоро и тридцать лѣтъ подползутъ. А видѣла ли она хоть одинъ денекъ свѣта, радости, вотъ того, чѣмъ зачитываются въ книжкахъ? Нужды нѣтъ, что послѣ бываетъ горе, безъ риска не проживешь...

Счастье!.. Это вотъ слово какъ часто повторяютъ, особенно въ книжкахъ. А она, видно, такъ и дни свои кончить, не узнавъ, что такое за счастье бываетъ на землѣ, особенно изъ-за котораго люди рѣжутся и топятся... А могла бы, и очень!.. Виктора Миронича, что ли, испугалась, когда жила съ нимъ?..

Бьетъ три часа. Анна Серафимовна глядитъ на драпировку окна, приходящагося противъ кровати. Сопъ ней-детъ. Начинаетъ бить въ виски.

Хуже вдовства ея положеніе. А кто виновать? Сама.



Прямо потребуй развода, а не пойдешь добромъ—излови, докажи... Нешто это трудно съ такимъ развратникомъ? Ей вѣдь рассказывали про бракоразводные процессы. Стоить это, много, десять тысячъ... И свидѣтели найдутся, которые подъ присягой покажутъ. Нѣтъ, на это она не пойдеть! Изловить. Или откупиться?.. Теперь нельзя еще, и раньше двухъ лѣтъ не покроешь долги. Мужнину фабрику не поставишь на полный ладъ... Онъ, поди, и самъ не прочь. Развѣ такъ можно? Все устрой, очисти его отъ долговъ, работай для дѣтей изъ-за купеческой чести своей, а онъ все потомъ заберетъ, да и скажетъ: разводиться давай!.. Такой человекъ на себя вины не возьметъ. Ему новая женитьба нужна будетъ для какой-нибудь новой пакости.

Охъ! Пришла бы страсть-завноба, вмигъ бы она все перевернула! И развязки бы добилась. Половину своего бы собственнаго состоянія отдала. Что жадничать? У дѣтей будетъ кусокъ хлѣба! Ждать ли этой завнобы? Не прошло ли уже время? Не выѣли ли горечь и обида и жизнь съ постылымъ мужемъ то, чѣмъ сердце любить, чѣмъ душа летитъ навстрѣчу другой душѣ?

Душно Аннѣ Серафимовнѣ подъ атласнымъ одѣяломъ. Хоть на какой бы-нибудь пріятной мысли заснуть... А завтра-то? Въ концертѣ... Андрей Дмитричъ общалъ. Туалетъ надо бѣлый. Онъ къ ней идетъ. Любу не возметь съ собой. Одна поѣдетъ. Сядетъ въ дальней залѣ, около арки. Онъ найдетъ ее.

Бьетъ четыре часа. Анна Серафимовна забылась и что-то шепчетъ во снѣ. Ей снится амбаръ съ полками. На прилавкѣ навалены куски всякихъ цѣтовъ... Но приказчикъ вырываетъ у ней изъ рукъ штуку сукна; штука развертывается, сукно протянулось черезъ весь амбаръ, потомъ дальше, по улицѣ... Ей страшно. Она вскрикиваетъ и просыпается... Бьетъ пять часовъ.

XVIII.

По мраморной лѣстницѣ Благороднаго Собранія поднималась на другой день Анна Серафимовна — одна, безъ Любаши.

Она любила выѣзжать одна, и въ театръ лакея никогда не брала. Только на концерты Музыкальнаго Общества ѣздилъ съ ней человекъ, въ скромной черной ливреѣ, болѣе похожей на пальто, чѣмъ на ливрею. Первые сѣни,



гдѣ пожарные отворяютъ двери, хлопали, сквозной вѣтеръ такъ и гулялъ. Въ большихъ сѣняхъ стѣной стояли лакеи съ шубами. Всѣ прибывающія дамы раздѣвались у лѣстницы. Бѣлый и голубой цвѣта преобладали въ платьяхъ. По красному сукну ступенекъ поднимались слегка колеблющіяся, длинныя, обтянутыя женскія фигуры, волоча шлейфы или подбирая ихъ одной рукой. На площадкѣ передъ широкимъ зеркаломъ стояли нѣсколько дамъ и оправлялись. Правѣе и лѣвѣе у зеркала же топтались молодые люди во фракахъ, двое даже въ бѣлыхъ галстукахъ. Они надѣвали перчатки. На этотъ концертъ съѣхалась вся Москва. Въ программѣ стояла пріѣзжая изъ Милапа пѣвица и исполненіе въ первый разъ новой вещи Чайковского.

Мраморный левъ глядится въ зеркало. Его голова и щитъ съ гербомъ придаютъ лѣстницѣ торжественный стиль. Потолокъ не успѣлъ еще закоптиться. Онъ лѣпной. Жирандоли на верхней площадкѣ зжжены во всѣ рожки. Тамъ, у мраморныхъ сквозныхъ перилъ, мужчины стоятъ и ждутъ, перегнувшись книзу. На стулѣ сидитъ частный приставъ и разговариваетъ съ худымъ, желтымъ брюнетомъ въ сюртукѣ, имѣющимъ видъ зрителя.

Анна Серафимовна остановилась на первой площадкѣ у зеркала, подождавъ немного, пока другія дамы отойдутъ. Сначала она смотрѣла внизъ по лѣстницѣ. Она стояла у перилъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ они заворачиваютъ наверхъ, около льва. Ей видна была вся суматоха и въ сѣняхъ, и лѣвѣе, за арками, гдѣ отдають на сбереженіе платье пріѣхавшіе безъ своей прислуги. Оттуда выбѣгали обдерганные, нечистые лакеи, нанимающіеся поденно, приставили къ публикѣ, тащили каждый къ себѣ, совали номера. На прилавкѣ складывались шубы и пальто, калоши клались въ холщевые мѣшки—и все это исчезало въ глубинахъ конѣшенія съ перегородками. Публика все прибывала. „Вся Москва“ давала себя знать... Вошло уже болѣе двухъ тысячъ человѣкъ. Съ той площадки, гдѣ остановилась Анна Серафимовна, лѣстница и сѣни въ обихъ своихъ отдѣленіяхъ, съ поднимающимися кверху дамами и мужчинами, толкотней за арками, съ толпой лакеевъ, нагруженныхъ узлами, казались какимъ-то однимъ тѣломъ, громаднымъ пестрымъ червемъ, извивающимся въ разныхъ направленіяхъ... И все это—Москва, „хорошее“ общество, ѣдущее сюда каждую субботу. Она никого почти не знаетъ, кромѣ большихъ купеческихъ фамилій... Это все

господа... А почему она не принимает? Кто мѣшает ей? На міру надо жить! Свое купеческое общество ее не тянетъ. Скучно ей въ немъ до тошноты.

Анна Серафимовна подошла къ зеркалу.

Около него только что вертѣлись двѣ дѣвицы, одна въ ярко-красномъ, другая въ нѣжно-персиковомъ платьѣ, перетянутыя, съ длинными корсажами, въ цвѣтахъ, точно онѣ на балъ пріѣхали. Ихъ французскій языкъ раздражалъ ее... Онѣ, можетъ, и купчихи—нынче не разберешь... Одѣты обѣ богато... Шила на нихъ навѣрно Жозефина или Луиза съ Тверской. Своимъ бѣлымъ сливочнаго цвѣта платьемъ строгаго покроя, съ кружевными рукавами, Анна Серафимовна довольна. Она не надѣла только брильянтовыхъ пуговицы, большія, — каждая тысячи по двѣ... Не любить она своихъ вещей; ихъ дарилъ ей когда-то Викторъ Миновичъ... Купленныхъ самой было немного, но всѣ очень цѣнныя.

Въ зеркало она видна себѣ вся, и за ней лѣстница — внизъ и вверхъ. Парадно почувствовала она себя, жутко немного, какъ всегда на людяхъ. Но ей ловко въ платьѣ, перчатки тоже прекрасно сидятъ, на шесть пуговицъ, въ глазахъ сейчасъ прибавилось блеску, даромъ что плохо спала, изъ-подъ кружевного края платья видны шелковые башмачки и ажурные чулки. Никогда она еще не находила себя такой изящной. Кажется, все тяжелое, купеческое слетѣло съ нея. Осмотрѣла она себя быстро, въ нѣсколько секундъ, поправила волосы, на груди что-то, достала билетъ изъ кармана, скрытаго въ складкахъ юбки, и легкими шагами начала подниматься... Глазамъ ея пріятно; но уже не въ первый разъ обоняетъ она запахъ сапожной кожи... И чѣмъ ближе къ входу въ первую залу, тѣмъ онъ слышнѣе. Запахъ этотъ идетъ отъ артельщиковъ въ сибиркахъ, приставленныхъ къ контролю билетовъ. Она знаетъ отлично этотъ запахъ. Ея артельщики ходятъ въ такихъ же сапогахъ. Она подаетъ одному изъ нихъ свой абонементный билетъ. Онъ у ней номерованный, но въ большую залу она не пойдетъ, хорошо, если бѣ удалось занять поближе мѣсто за гостиной съ арками, тамъ, гдѣ полуосвѣщено. Вѣроятно, можно. — Еще четверть часа до начала.



XIX.

У входа во вторую продольную залу направо — столъ съ продажей афишъ. Билетовъ не продають. Въ этой залѣ, откуда ходъ на хоры, стояли группы мужчинъ, дамы только проходили или останавливались предъ зеркаломъ. Но въ слѣдующей комнатѣ, гостиной съ арками, ведущей въ большую залу, ужъ размѣстились дамы, по лѣвой стѣнѣ, на диванахъ и креслахъ, въ свѣтлыхъ туалетахъ, въ цвѣтахъ и полуоткрытыхъ лифахъ.

Анна Серафимовна бросила на нихъ взглядъ бокомъ. Она знала трехъ изъ этихъ дамъ, могла назвать и по фамиліямъ... Вотъ жена желѣзно-дорожника въ рытомъ бархатѣ, съ толстой красной шеей, а у той мужъ въ судебной палатѣ что-то, а третья — вдова или „разводка“ изъ губерніи, вездѣ бываетъ, ридится, на что живетъ — неизвѣстно... Всѣ три оглядываютъ ее. Ей бы не хотѣлось проходить мимо нихъ; да какъ же иначе сдѣлать? Виктора МIRONыча и его похождения каждая знаетъ... А ли одна, гляди, хорошаго слова про нее не скажетъ: „купчиха, кумушка, на „онъ“ говоритъ, ему не такая жена нужна была“. Каждую сладочку осматривать. Скажутъ: „жадная, платье больше трехсотъ рублей не стодитъ, а брильянтовъ жалко надѣвать ей, неравно потеряетъ“.

Щеки сильно разгорѣлись у Анны Серафимовны... Она быстро-быстро дошла до одной изъ арокъ, гдѣ уже мужчины тѣснились такъ, что съ трудомъ можно было проникнуть въ большую залу. Люстры были зажжены не во все свѣчи. Свѣтъ терялся въ пыльной мглѣ между толстыми колоннами; съ хоръ виднѣлись ряды головъ въ два яруса, открывались шеи, рукава, иногда цѣлый бюстъ... Все это тонуло въ темнотѣ стѣны, прорѣзанной полукруглыми окнами. За колоннами внизу, на диванахъ, сплошной цѣпью разсѣлись рано забравшіяся посѣтительницы концертовъ, и чѣмъ ближе къ эстрадѣ, помѣщающейся передъ круглой гостиной, тѣмъ женщинъ больше и больше.

Въ сторону эстрады заглянула-было въ большую залу и Анна Серафимовна, но сейчасъ же подалась назадъ. Въ гостиной вдоль арокъ, на четырехъ рядахъ креселъ, на большихъ диванахъ и по всей противоположной стѣнѣ дужить цѣлый рой женскихъ сдержанныхъ голосовъ. Темныхъ платьевъ почти не было видно... Здѣсь только въ началѣ концерта слушаютъ, но разговоры не прекра-



щаются. Это салонъ, приставленный къ концертной залѣ... Углубиться въ симфонію невозможно. Анна Серафимовна хоть и не считаетъ себя много смыслящей въ музыкѣ, но не одобряетъ этой гостиниой.

Она прошла дальше, въ полуосвѣщенную комнату порочее, почти совсѣмъ безъ мебели. Нѣсколько креселъ стояло у лѣвой стѣны и около карниза. Она сѣла тутъ за угломъ, такъ, чтобы самой уйти въ тѣнь, а видѣть всѣхъ. Это мѣстечко у ней — любимое. Тутъ прохладно, можно сѣсть покойнѣе, закрыть глаза, когда что-нибудь понравится, звуки оркестра доходятъ, хоть и не очень отчетливо, но мягко. Они все-таки заглушаютъ разговоры... Найти ее во всякомъ случаѣ не трудно—кто пожелаетъ.

Вотъ приближается улыбающійся лысый господинъ въ черномъ сюртукѣ. Отъ него она хотѣла бы спрятаться. Непремѣнно подойдетъ и начнетъ говорить приторныя любезности. Не нужно ей и вотъ того крошечнаго гусарика въ красныхъ рейтузахъ и голубомъ ментикѣ... Онъ всѣхъ знаетъ, переходитъ отъ одной дамы къ другой, волосики на лбу расчесаны, какъ у ея сына Мити, что-то такое всѣмъ шепчетъ. А вотъ и пары пошли. Она ихъ давно замѣтила. Лучше не смотрѣть! Какое ей дѣло?.. Точно завидуетъ. Есть чему! Такъ открыто держать около себя любовниковъ—срамъ!

Оркестръ грянулъ. Это была „це-мольная“ симфонія Бетховена. Анна Серафимовна не могла бы разобрать ее на фортепиано. Она ноты знала плохо, музыка не давалась ей никогда и въ пансіонѣ, но она любила эту именно симфонію, слыхала ее чуть не десятки разъ, могла своими ощущеніями описать ее. Она знала, что маленькая фраза въ нѣсколько нотъ будетъ на разные лады повторяться, и такъ, и этакъ, стремительнѣе, образнѣе, сложнѣе — и опять прозвучитъ въ первоначальной простотѣ. Рѣшительно не понимала Анна Серафимовна, какъ это можно сдѣлать что-то большое, широкое, забирающее за живое, могучее изъ нѣсколькихъ потоковъ, изъ какого-то окрика или точно кто палочкой или пальцемъ по стеклу ударилъ... И тѣня виолончели ждала она въ *andante*. Не умѣетъ она выразить, почему въ этой мелодіи есть что-то, прямо отвѣчающее на ея душевные порывы, но что оно такъ — она въ этомъ убѣждена. А потомъ, къ концу, вдругъ пронесется какой-то вихрь: могучій и страстный человѣкъ созываетъ всѣхъ на свое торжество.



XX.

Палтусовъ пріѣхалъ къ концу первой части концерта. Онъ остановился у входа въ гостиную съ арками. Наплывъ публики показался ему чрезвычайнымъ. Куда онъ ни поглядитъ, вездѣ туалеты, туалеты, открытыя или полуобнаженные руки, цвѣты. Правда, тутъ уже „вся Москва“, и та, что притворяется любительницей музыки, и та, что не знаетъ, гдѣ ей показать себя. Онъ давно говоритъ, что „музыкалка“ превратилась въ выставку нарядовъ и невѣсть, въ вечернюю голофтьевскую галерею, куда ѣздить лорнировать, шептаться по угламъ, громко говорить посредиѣ, зѣвать, встрѣчаться со знакомыми на разѣздѣ. Большой городъ, большое общество, когда видишь его въ кучѣ, и деньгами пахнетъ, и пожить хочется всѣмъ...

Глаза Палтусова искали Анну Серафимовну. Онъ вспомнилъ, что видалъ ее прежде въ дальней залѣ, въ сторонѣ, за карнизомъ... Въ большую залу онъ не пойдетъ. Тамъ ея навѣрно нѣтъ. До антракта онъ постоялъ у первой арки, позади длиннаго хвоста мужчинъ, очень прифранченныхъ. Поклонился онъ хорошенькой докторшѣ въ розовомъ шелковомъ платьѣ, другой тоже красивенькой женщиѣ, женѣ адвоката, оглядѣлъ двухъ жидовочекъ, съ тонкими профилями, въ перетянутыхъ до-нельзя лифахъ, и трехъ дѣвицъ въ бѣлыхъ кашемировыхъ платьяхъ съ высокимъ воротомъ, сидѣвшихъ точно въ молочной ваннѣ.

Длинный молодой человѣкъ съ худощавымъ, румянымъ лицомъ и русой бородкой во фракѣ остановилъ Палтусова, когда онъ началъ пробираться чрезъ гостиную.

— А, докторъ!—откликнулся Палтусовъ, пожимая ему руку.—Я думалъ, вы въ Парижѣ.

— Всю зиму здѣсь, — отвѣтилъ тотъ съ кисловатой усмѣшкой.

— Все по женскимъ болѣзнямъ практикуете?

— Какъ же.

— Со старыми книжками возитесь?

Докторъ повелъ плечами и засмѣялся.

— Всякихъ успѣховъ! — сказалъ ему Палтусовъ и пошелъ дальше.

Докторъ жилъ когда-то въ Оивайдѣ—на Срѣтенкѣ, но онъ тотчасъ по окончаніи курса поѣхалъ домашнимъ вра-

чомъ съ барской фамиліей въ Парижъ и на итальянскую зимовку, и съ тѣхъ поръ понагрѣлъ уже руки около художныхъ, богатенькихъ и старенькихъ княгинь. Какъ личность, и по репутаціи, онъ былъ довольно-таки ему противенъ.

По теоріи Палтусова, можно было располагать къ себѣ женщинъ, но непременно молодыхъ, если уже не красивыхъ, завязывать черезъ нихъ связи, пользоваться ихъ довѣріемъ, но ни въ какомъ случаѣ не дѣйствовать черезъ нихъ на мужей и не ухаживать за ними изъ личныхъ расчетовъ, когда онѣ стары, да еще имѣютъ на васъ любовные виды. Докторъ не отвѣчалъ такой программѣ.

— А! Палтусовъ, голубчикъ! — окликнулъ сзади ласковый, низковатый, женскій голосъ.

Онъ обернулся. Передъ нимъ заблестѣли два черныхъ, бархатныхъ глаза, смотрѣвшіе на него бойко и весело. Ему протягивала бѣлую, полуткрытую руку въ свѣтлой шведской перчаткѣ статная, полногрудая, красивая дама лѣтъ подъ тридцать, брюнетка, въ богатомъ пестромъ платьѣ, переливающимъ всевозможными цвѣтами. Голова ея, съ отблескомъ черныхъ волосъ, бѣлые зубы, молочная шея, яркій, алый ротъ заиграли передъ Палтусовымъ. На груди блестѣла брильянтовая брошка.

— Людмила Петровна!

— Хорошъ, батюшка! Полгода глазъ не кажетъ!

— Виноватъ! Не оправдываюсь...

Это была его давнишняя знакомая Людмила Петровна Рогожина. Онъ еще офицеромъ ѣздилъ въ домъ ея отца, читалъ ей книжки, немножко ухаживалъ. Тогда уже она общала развернуться въ роскошную женщину. Изъ небогатой купеческой семьи она попала за миллионера-мануфактуриста.

Сзади, изъ-за ея плеча улыбался супругъ, бѣлый, съ розовыми щеками, пухлый, обросшій какимъ-то мохомъ вмѣсто волосъ, маленькаго роста, съ начинающимся брюшкомъ, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ. Онъ несъ голубую съ серебромъ накидку жены.

— Артамонъ Лукичъ! мое почтеніе! — кивнулъ ему Палтусовъ и сдѣлалъ ручкой.

Тотъ усиленно замоталъ бѣлокурой головой съ плоскими, припосаженными височками.

— Виноватъ, — повторилъ Палтусовъ и нагнулъ голову къ плечу Рогожиной.

— Бестія-то та уѣхала?—шепнула она ему въ ухо.
— Какая бестія?—разсмѣялся онъ.
— А та! Нѣтиха!.. Кривляка-то!.. Дохлая!.. При ней, небось, состоите въ адъютантахъ!

— Полноте!

— Да ужъ нечего! Все знаю! Ну, Богъ простить. Вотъ что, голубчикъ, ко мнѣ въ среду на масленицѣ. Большой плясъ. Невѣсту какую подхватить можно!.. У меня и титулованные будутъ. Пальчики оближете.

— Хорошо!

— То-то же. Безъ обмана.

Она пожала ему руку и поплыла. Супругъ тоже пожалъ руку и прибавилъ сладкимъ теноркомъ:

— Безъ обману! Ха-ха-ха! Въ среду!

XXI.

Изъ своего угла Анна Серафимовна видѣла, какъ вошелъ Палтусовъ, съ кѣмъ раскланивался, съ кѣмъ поговорилъ. Рогожина въ этотъ вечеръ показалась ей особенно красивой. Онѣ были съ ней когда-то пріятельницами и до сихъ поръ—на „ты“. Анна Серафимовна рѣдко ѣздитъ къ ней. Очень ужъ въ этомъ домѣ „вѣтерокъ порхаетъ“, какъ она выражалась.

Когда Рогожина пожимала руку Палтусову, а потомъ что-то сказала ему на ухо—Анну Серафимовну ударило въ жаръ... Она начала обмахиваться вѣеромъ.

— Вотъ вы гдѣ!—заслышался сбоку голосъ Палтусова.

Онъ тотчасъ же сѣлъ рядомъ съ ней.

— Сейчасъ пріѣхали?—спросила она не тѣмъ тономъ, какими бы сама желала.

— Передъ антрактомъ.

Станицына показала ему въ этотъ вечеръ гораздо больше дамой, чѣмъ когда-либо. Въ ней онъ цѣнилъ чистоту русскаго, старо-народняго типа. Такихъ бровей ни у кого не было въ этой гостиной, да и глазъ также. Станъ ея сохранилъ дѣвическую стройность. Въ ней чувствовалась страстность женщины, не знавшей ни супружеской любви, ни запретныхъ наслажденій.

— У Рогожиной на масленицѣ большой плясъ,—заговорилъ Палтусовъ,—вы будете?

— Она меня не звала.

— Конечно, позоветь, поѣзжайте,—убѣдительно выговорилъ онъ

— А вы? Собираетесь, небось?

— Буду.

— Видите что, Андрей Дмитриевичъ,—продолжала Станицына потише,—мнѣ какъ-то неловко.

Въ первый разъ она говорила нѣчто такое постороннему.

— Ахъ, полноте!—возразилъ Палтусовъ. — Зачѣмъ это дѣлать изъ себя жертву?

— Я не дѣлаю, Андрей Дмитриевичъ,—перебила она и сдвинула брови.

— Дѣлаете!—горячо, но дружескимъ звукомъ повторилъ Палтусовъ.—Изъ-за чего же вамъ отказывать себѣ во всемъ? Изъ-за того, что вашъ супругъ...

Она остановила его взглядомъ.

— Ну, не буду... Только вы, пожалуйста, не отказывайтесь отъ бала у Рогожиной,—рука его протянулась къ ней,—попляшемъ, поѣдимъ, шампанскаго попьемъ. Кадриль мнѣ пожалуйста сейчасъ же.

Никогда Палтусовъ не говорилъ съ ней такъ оживленно и добродушно.

— Не знаю... платье...

— Ахъ, Боже мой!

— Надо экономію соблюдать, — шутливымъ шопотомъ продолжала она.

— Вы въ эту зиму навѣрно не были и на одномъ балѣ?

— Нѣтъ, не была.

— Такъ раскошуйтесь на пятьсотъ рублей.

— Не сдѣлаешь!—дѣловымъ тономъ сообразила Анна Серафимовна.

Палтусовъ разсмѣялся.

— Да и нельзя,—прибавила она тѣмъ же тономъ.

— Почему же? Фирму надо поддержать?

— А какъ бы вы думали, Андрей Дмитриевичъ? Каждое кружево сочтутъ... Тысячи рублей и влады.

— Не скупитесь! Въдѣ теперь всѣ фабрики отличныя дѣла дѣлаютъ. Золотая пошлина выручила. У Макарья-то сколько процентиковъ извоили зашибить?

Они оба разсмѣялись надъ своимъ разговоромъ.

Ходьба и гулъ голосовъ стихли въ гостиной. Оркестръ заигралъ. Смолкли и Станицына съ Палтусовымъ. Онъ остался тутъ же, позади ея кресла.

Кто-то игралъ фортепьянный концертъ съ оркестромъ. Такая музыка не захватывала. Анна Серафимовна подъ громкіе пассажи піаниста обдумывала свой туалетъ у



Рогожиныхъ. Завтра же она поѣдетъ къ Жозефиѣ. А если та завалена работой, такъ къ Минангуа... Хочется ей что-нибудь побогаче. Что, въ самомъ дѣлѣ, она будетъ обрѣзывать себя во всемъ изъ-за того, что Викторъ Мироничъ съ „подлыми“ и „безстыжими“ французенками потерялъ всякую совѣсть? Да и въ самомъ дѣлѣ для фирмы полезно. Каждый будетъ видѣть, что платье тысячу рублей стоитъ. А ее знаютъ за экономную женщину.

Давно уже она съ такимъ молодымъ чувствомъ не обдумывала туалетъ. Платье будетъ голубое. Если отдѣлать его серебряными кружевами? Нѣтъ, похоже на оперный костюмъ. Жемчугъ въ модѣ — фальшивымъ она не станетъ обшивать, а настоящаго жалъ, сорвутъ въ танцахъ, раздавятъ... Что-нибудь другое. Ну, да портниха придумаетъ... Коли и Минангуа не возьметъ въ четыре дня сшить—къ Шумской или къ Луизѣ поѣдетъ...

Теперь ее тянетъ на этотъ балъ... Палтусовъ упрашиваетъ. На балъ, въ бѣломъ галстукѣ и во фракѣ, онъ представительнѣе всѣхъ. У него именно такой ростъ, какой нуженъ для молодого мужчины на вечерѣ, въ танцахъ, въ любомъ собраніи. Вѣдь множество здѣсь всякихъ мужчинъ, а никто не смотритъ такъ порядочно и значительно, какъ онъ. Или „адвокатишка“, она такъ и назвала мысленно, или „конторщикъ“, или мелюзга. Фраки натянули—обрадовались случаю; а всего-то въ нихъ и есть содержаніе, что жилеты отъ Бургеса, да лаковые ботинки отъ Широне.

И ее уже не смущаетъ то, что она сидитъ рядомъ съ Палтусовымъ въ полутемномъ уголкѣ на глазахъ всѣхъ снлетницъ.

XXII.

— Анна Серафимовна, — шопотомъ позвалъ ее сбоку Палтусовъ.

Она повернула голову.

— Концертъ этотъ вамъ не очень нравится?

— Нѣтъ.

— Можно поговорить?

Вѣсто отвѣта, она подалась назадъ. Теперь ее видно было только тѣмъ, кто сидѣлъ у стѣны и въ заднемъ ряду стульевъ, а Палтусовъ совсѣмъ скрылся за ея кресломъ.

— Правду ли настоящую скажете? — спросилъ онъ, наклоняясь къ ея затылку.



— Я не охотница лгать.

— Вы зачѣмъ вчера въ театрѣ намекнули на мои отношенія къ Марьѣ Орестовнѣ?

Анна Серафимовна слегка покраснѣла.

— Намекали?—спросилъ съ удареніемъ Палтусовъ.

— Такъ что же?

— Это не отвѣтъ!

— Вамъ непріятно было?

— Нѣтъ,—перебилъ Палтусовъ, — такъ мы не будемъ говорить, Анна Серафимовна. Да здѣсь и не совсѣмъ удобно... Я хотѣлъ только увѣрить васъ, что никакихъ особенныхъ отношеній не было и не можетъ быть... Вы мнѣ вѣрите?

Его лицо было ей видно наполовину... Оно какъ будто немного поблѣднѣло... Голосъ зазвучалъ искренно. По ней пробѣжала внезапная дрожь.

— Я вамъ вѣрю, Андрей Дмитріевичъ.

Эти слова припомнили ей вдругъ сцену, видѣнную на одномъ бенефисѣ... Хорошая дѣвушка, купеческая дочь, вѣрится любимому человѣку... А человѣкъ этотъ—воръ, онъ наканунѣ погрома, ему нужно ея приданое, онъ обводитъ ее, вызвалъ на любовное свиданіе у колодези. Луна свѣтитъ, поэтическая минута. И эта дура сказала ему точь-въ-точь тѣ же слова: „я вамъ вѣрю“. И „жуликъ“ этотъ говорилъ тронутымъ голосомъ; актеръ гримировался ужасно похоже на Палтусова.

— Больше мнѣ ничего и не нужно,—слышался около нея его голосъ.

Онъ оправдывается? Стало-быть, его за живое задрѣло. Не хотѣла она его обидѣть вчера, а такъ, съ языка соскочило. Мало ли что говорятъ! Марья Орестовна—женщина тонкая, воспитанная совсѣмъ на барскій манеръ... Что же мудренаго, если бы и вышло между ними „что-нибудь“. Но врядъ ли. Вотъ она за границу уѣхала, слышно, на полгода. Около денегъ ея поживиться?.. Нѣтъ! Зачѣмъ подозрѣвать?.. Гадко!

— Я вамъ вѣрю, — сказала еще разъ Анна Серафимовна и вбокъ подняла на него свои пушистыя рѣсницы.

„То-то,—говорилъ про себя Палтусовъ,—еще бы ты не вѣрила!“

Въ эту минуту онъ чувствовалъ между собой и всѣмъ тѣмъ людомъ, который мелькалъ предъ нимъ, цѣлую пропасть. Онъ вотъ никому не вѣрилъ изъ этихъ фразни-



ковъ. Каждый на его мѣстѣ извлекъ бы изъ дружескаго знакомства съ Нѣтовой, изъ ея тайной слабости къ нему, что-нибудь весьма существенное... Все кругомъ хапаетъ, воруетъ, производитъ растраты, теряетъ даже сознание того, что свое и что чужое. Теперь, войдя въ дѣлецкій міръ, онъ видитъ, на чемъ держится всякая русская афера. Только у нѣкоторыхъ купеческихъ фамилій и есть еще хозяйская, хоть тоже кулаческая, честность... Такую Анну Серафимовну приходится уважать. Но и она должна уважать его, ставить его „на полочку“ уже по одному тому, какъ онъ съ ней ведетъ дѣло, какъ съ женщиной. Развѣ другой, на его мѣстѣ, не старался бы „примоститься“ тотчасъ послѣ того, какъ она осталась соломенной вдовой?.. Тутъ миллиономъ пахнетъ. Виктора Мironyча спустить, до развода довести, отступного заплатить... Молодая женщина, не старше его, красивая, дѣльная, крупный характеръ. А онъ вотъ два мѣсяца у ней не былъ. Ему не нужно бабьихъ денегъ. Онъ и самъ пробьетъ себѣ дорогу. Какъ же ей не вѣрить ему и не уважать его? И будетъ еще больше уважать. И довѣрять ему станеть, коли онъ захочетъ, точно такъ же, какъ Нѣтова, которую онъ можетъ обокрасть до тла, если ему это вздумается.

Глаза Палтусова перебѣгали отъ одной мужской фигуры къ другой.

„Все жулики!“—говорили эти глаза. Ни въ комъ нѣтъ того, хоть бы дѣльцаго, гонора, безъ котораго, какая же разница между пріобрѣтателемъ и мошенникомъ?..

— Вѣрите?—спросилъ онъ послѣ небольшой паузы.— Спасибо на добромъ словѣ.

Она тихо улыбнулась. Фортепьянный концертъ кончился среди треска рукоплесканій. Теперь говорить было удобнѣе, но почему-то они замолчали. На эстрадѣ, послѣ паузы, зазвѣла всѣмъ обѣщанная, пріѣзжая пѣвица—сопрано. И въ разговорномъ салонѣ немного примолкли. Пѣвица исполнила два номера. Ей похлопали, но умѣренно. Она не понравилась.

— Экая невидаль!—сказалъ кто-то громко въ гостиной. Нѣсколько дамъ переглянулись.

XXIII.

Оставалось еще два номера во второй части программы, но начался уже развѣздъ. Изъ боковыхъ комнатъ, осо-



бенно изъ гостиной, стали подниматься дамы, шумя стульями, мужчины затопали каблуками, изъ большой залы потянулись также къ выходу. Слушать что-нибудь было затруднительно. Но Анна Серафимовна высидѣла до конца.

Палтусовъ предложилъ ей руку. Она еще въ первый разъ шла съ нимъ подъ руку, въ такомъ многолюдствѣ, предъ всей „порядочной“ Москвой. Хорошо ли она дѣлаетъ? Знакомыхъ пока не попадалось. Но вѣдь ее многіе знаютъ въ лицо. Идти съ нимъ ловко; они одного роста. Съ Викторомъ Мироничемъ она терпѣть не могла ходить и въ первый и во второй годъ замужества, а потомъ онъ и самъ никуда почти съ ней не показывался...

Вотъ они въ той комнатѣ, откуда двѣ боковыя двери ведутъ на хоры и въ круглую гостиную. Сразу нахлынула публика. Съ хоръ спускались дамы и дѣвицы въ простенькихъ туалетахъ, въ черныхъ шерстяныхъ платьяхъ, старушки, пожилыя барыни въ наколкахъ, гимназисты, дѣвочки-подростки, дѣти.

— Посмотрите, какія милыя лица, — указалъ ей Палтусовъ на двухъ дѣвушекъ, остановившихся у одного изъ подзеркальниковъ.

Онѣ были навѣрно сестры. Одна высокая, съ длинной таліей, въ черной, бархатной кофточкѣ и въ кружевной фрезѣ. Другая пониже, въ малиновомъ платьѣ съ свѣтлыми пуговицами. Обѣ брюнетки. У высокой щеки и уши горѣли. Изъ-подъ густыхъ бровей глаза такъ и сыпали искры. На лбу курчавились волосы, спускающіеся почти до бровей. Дѣвушка, пониже ростомъ, носила короткіе локоны вмѣсто шиньона. Носъ шелъ ломаной, игривой линіей. Маленькіе глазки искрились. Талія перехвачена была кушакомъ.

— Кто это? — спросила Анна Серафимовна.

— Не знаю ихъ фамиліи, но вижу всегда въ концертахъ и въ Большомъ театрѣ, — выговорилъ Палтусовъ.

Къ брюнеткамъ подошли трое мужчинъ: толстенный офицеръ съ краснымъ воротникомъ, нервный блондинъ съ подстриженной бородой, въ длинномъ сюртукѣ и, по московской модѣ, въ бѣломъ галстукѣ, и черноватый франтъ во фракѣ и лайковыхъ башмакахъ, — съ виду иностранецъ.

Дѣвушка, повыше, заговорила съ военнымъ. Глаза ея еще больше заиграли. Другая улыбалась блондину.



— Вот толкуютъ — невѣсть нѣтъ, — пошутила Анна Серафимовна, — а куда ни взглянешь — все хорошенькія дѣвушки.

— Милыя! — выговорилъ Палтусовъ.

— Что не женитесь?

— Время не пришло.

— Я не сваха, никого сватать не буду, — прибавила она серьезно. — Да и вы, Андрей Дмитричъ, не женитесь. На это надо талантъ имѣть.

Она сказала „талантъ“, а не „талантъ“ — по-московски. Это ему понравилось.

— Батюшки, — прошептала вдругъ она, — не уйдешь отъ старика!

Ее замѣтилъ тотъ лысый господинъ, котораго она уже видала, когда пріѣхала. По дорогѣ онъ подошелъ къ брюнеткамъ, пожалъ имъ руки продолжительно, съ наклоненіемъ всего корпуса, щуря свои мышиные глазки.

Онъ подошелъ и къ Аннѣ Серафимовнѣ и сдѣлалъ жестъ, точно хотѣлъ приложиться къ рукѣ.

— Анна Серафимовна, — сладко проговорилъ онъ, и глазки его совсѣмъ закрылись. — Какъ ваше здоровье? Викторъ Мироснычъ какъ поживаетъ?

Каждый разъ онъ спрашиваетъ ее одно и то же: — о здоровьи и о Викторѣ Мироснычѣ.

— Благодарю васъ, — сухо отвѣтила она и рукой нежно нажала на руку Палтусова, давая ему чувствовать, чтобы онъ повелъ ее дальше.

Они перешли въ послѣднюю залу, передъ площадкой. Здѣсь по стульямъ сидѣли группы дамъ, простывали отъ жары хоръ и большой залы. Развѣздъ шелъ туго. Только половина публики отплыла книзу, другая половина ждала или „дѣлала салонъ“. Всѣмъ хотѣлось говорить.

Мужчины перебѣгали отъ одной группы къ другой.

— Хотите присѣсть? — спросилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ, здѣсь на виду очень.

— Все боитесь?

— Ахъ, Андрей Дмитричъ, — выговорила она полушопотомъ, — вы во мнѣ еще долго не выкурите... купчихи.

— Да и не нужно.

— Ой-ли? — вырвалось у нея.

И она довольно громко засмѣялась. Они вышли уже на площадку. Палтусовъ отвелъ ее въ сторону, направо.

— Надо подождать немного, — сказали онъ, указывая на толпу.

XXIV.

— Аннушка, здравствуй! — поздоровалась съ Анной Серафимовной Рогожина и стала передъ ними.

Мужъ накинулъ ей на плечи голубую мантилью, послѣ чего подбѣжалъ къ Станицыной и низко съ ней раскланялся.

Палтусову Рогожина подмигнула. Этотъ взглядъ, говорившій: „вотъ ты куда подбираешься!“ схватила Анна Серафимовна и внутренне съежилась. Она отдернула на половину руку, которую держалъ Палтусовъ.

— Здравствуй, — выговорила она степеннымъ тономъ.

— Искала тебя по всей залѣ... Ты что же это на твоёмъ мѣстѣ не сидишь, а?

— Не люблю... Очень жарко и къ музыкѣ близко.

— Ну, вотъ что, голубчикъ... У меня плясъ въ среду на масленицѣ... Тебя бы и звать не слѣдовало... Глазъ не кажешь. Вотъ и этотъ молодчикъ тоже. Скрывается гдѣ-то. — Рогожина во второй разъ подмигнула. — Пожа-луйста, милая. Вся губернія пойдетъ писать. Маменекъ не будетъ... Только однѣ хорошенькія... А у кого это мѣсто не ладно, — она обвела лицо, — тѣ высокаго полета.

— Вотъ какъ, — кончикомъ губъ выговорила Анна Серафимовна... Тонъ Рогожиной ее коробилъ.

— Будешь?

— Плохая я танцовка... — начала было Анна Серафимовна.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ-съ, — вмѣшался мужъ Рогожиной, — это никакъ невозможно. Людмилочка говоритъ истинную правду: однѣ только хорошенькія будутъ. Вамъ никакъ нельзя отказаться.

— Не мѣшайся! — крикнула Рогожина.

Станицына покраснѣла.

Къ нимъ подошелъ пріѣзжій генералъ, совсѣмъ бѣлый, съ золотыми аксельбантами. Онъ весь вечеръ любезничалъ съ Рогожиной.

— А! — заговорилъ онъ, обращаясь къ Рогожиной, — здѣсь салонъ... *Esprit d'escalier!*..

— Такъ будете, князь? — Рогожина повернулась къ нему и взяла его за обшлагъ рукава.

— Непремѣнно...

— Прощай!—сказала Рогожина Аннѣ Серафимовнѣ.—
Пойдемте, князь.

Она увела старичка.

— Бой-баба стала моя Людмила Петровна!—замѣтилъ
Палтусовъ.

— Ваша?—переспросила Станицына.

— Я вѣдь ее еще дѣвушкой зналъ... Мы съ ней даже
на „ты“ были одно время.

— У ней это скоро... А какъ вы скажете, Андрей
Дмитричъ... Хорошо ли такой быть, какъ она?

— Въ какомъ смыслѣ?

— Такъ со всѣми обходиться?

— Видите, хорошо... Всѣ къ ней ѣздить... Вся Москва
будетъ... Вотъ увидите... Только вы-то будьте...

— Буду,—тихо и полузакрывъ глаза выговорила она.

Палтусовъ проводилъ ее внизъ, отыскалъ ея человѣка
и самъ надѣлъ на нее шубу. Въ пуховомъ, бѣломъ платкѣ
Анна Серафимовна была еще красивѣе.

Онъ на нее засмотрѣлся.

— А ваша Тася!—сказала она ему у дверей вторыхъ
сѣней.—Когда же ко мнѣ?

— Послѣзавтра.

— Жду.

Еще разъ кивнула она ему головой и пошла, кутаясь
въ песцовую шубу.

У прилавковъ, гдѣ выдавали платье, давка еще не
прекратилась. Изъ дверей врывался холодный воздухъ.
Палтусовъ разсудилъ подняться опять наверхъ.

Съ площадки, гдѣ зеркало, онъ увидалъ наверху у
перилъ Нѣтова. Евлампій Григорьевичъ стоялъ нагнув-
шись надъ перилами и смотрѣлъ внизъ. Его лицо пора-
зило Палтусова. Онъ не видалъ его больше недѣли. Нѣ-
товъ въ послѣдній разъ, какъ они видѣлись, былъ воз-
бужденъ, говорилъ все о какихъ-то „предателяхъ“, про-
силъ прослушать статью, составленную имъ для напеча-
танія отдѣльной брошюрой, гдѣ онъ высказываетъ свои
„правила“. Къ этому человѣку онъ чувствуетъ жалость.
Прибрать его къ рукамъ очень легко, но какъ-то совѣстно.
Угнускать изъ рукъ тоже не слѣдовало.

Нѣтовъ спустился на площадку. Онъ шелъ, глядя раз-
бѣгающимися глазами. Шляпа сидѣла на затылкѣ. Фигура
маленькая.

— Евлампій Григорьевичъ!—окликнулъ его Палтусовъ.



— А-а!.. Это вы!

Онъ точно съ трудомъ узналъ Палтусова, но сейчасъ же подошелъ, взявъ за руку и отвелъ въ уголъ.

— Когда ко мнѣ?—шепнулъ онъ таинственно.

— Когда прикажете, — отвѣтилъ Палтусовъ, поглядывая на него вопросительно.

— Жду!.. Пообѣдать! Навѣстите меня одинокаго!

И, не прощаясь, онъ сбѣжалъ по ступенькамъ.

„Свихнется“, — подумалъ Палтусовъ и не пошелъ за нимъ. Минуты три онъ стоялъ, облокотясь о пьедесталъ льва. Мимо него прошли сестры-брюнетки и за ними ихъ кавалеры. Тутъ двинулся и онъ.

XXV.

— Андрей Дмитричъ! Monsieur Палтусовъ!—крикнулъ кто-то сзади, съ площадки.

Его догонялъ маклеръ-нѣмчикъ, къ которому онъ обращался когда-то въ Славянскомъ Базарѣ отъ имени Калакупкаго.

Карлуша былъ въ полной бальной формѣ. Изъ концерта онъ ѣхалъ на Маросейку, на празднованіе серебряной свадьбы къ нѣмецкимъ коммерсантамъ-милліонщикамъ.

— Маленечко подождите!

Онъ сбѣжалъ къ Палтусову и шепнулъ ему на ухо:

— Сергѣй-то Степановичъ—въ трубу!

— Что вы говорите?—откинулся назадъ Палтусовъ.

Но онъ тотчасъ же подумалъ: „и слѣдовало ожидать“.

— Скажите, что же? — заговорилъ онъ, беря маклера подъ локоть.

Они поднялись прямо на площадку.

— Да что — векселя пошли въ протестъ. Платежей нѣтъ. Дома на волоскѣ.

— И дома?

— Безпремѣнно! Мнѣ Леонтій Трофимычъ говорилъ, потому товарищество — тоже кувырокъ!.. И я не радъ, что тогда обращался... Ну, да мое дѣло сторона. Вы нешто ничего не слыхали?

— Слышалъ кое-что... Я вѣдь больше не занимаюсь его дѣлами.

— То-то! И разлюбезное дѣло... Прощайте. Мнѣ еще къ Теодору заѣхать.. растрепались всѣ волосы отъ жары! Да-съ, профарфорился герръ Калакупкій.

— Какъ вы говорите?

— Профарфорился!.. Такъ Алексѣй Ивановичъ все изволять выражаться... Наше вамъ, — съ огурцомъ пятнадцать.

Онъ засмѣялся, подаль руку Палтусову и, сбѣгая со ступенекъ, заложилъ свою складную шляпу съ синимъ подбоемъ подъ лѣвую мышку. Карлуша ѣздилъ въ бобровой шапкѣ.

Палтусовъ остановился. Онъ рѣшилъ сейчасъ же ѣхать къ Калакуцкому.

Его везъ извозчикъ. Своихъ лошадей онъ ужъ началъ беречь и не ѣздилъ на нихъ по вечерамъ. До дому Калакуцкаго было недалеко, но извозчикъ тапился трусцой.

Палтусовъ предчувствовалъ, что „крахъ“ для его бывшего патрона наступитъ скоро. Хорошо, что онъ уже болѣе двухъ мѣсяцевъ какъ простился съ нимъ. Паевое товарищество задумано было, въ сущности, на фу-фу... Быть-можетъ, къ веснѣ, если бы Калакуцкому удалось завербовать двухъ-трехъ капитальныхъ „мужиковъ“, — дѣло и пошло бы. Но онъ слишкомъ раскинулся. Припомнились Палтусову слова: „хапаетъ“, сказанныя ему Осетровымъ. Вотъ тотъ такъ человѣкъ!

Это пахло полнымъ разореніемъ. Но большой жалости онъ не чувствовалъ къ Калакуцкому. И даже у него замелькали въ головѣ новыя соображенія. Подряды его бывшего патрона не всѣ были захвачены съ глупымъ рискомъ. Есть и очень выгодныя. Если бы заполучить хоть одинъ изъ такихъ стоящихъ подрядовъ? Вѣдь и домовъ у него цѣлыхъ три... Они пойдутъ за безцѣнокъ... Заложены давно. И строены-то были безъ копейки. Забастуй тогда Калакуцкій — и былъ бы онъ крупный домовладелецъ, выплачивалъ бы себѣ банковскіе проценты. Ему давали дутыя оцѣнки, на треть выше стоимости. Да и теперь можно еще сдѣлаться домовладельцемъ такимъ же способомъ. Все-таки кумовство пужно, или, лучше сказать, — организованный обманъ. А тутъ дѣло чистое: приобрести съ аукциона... Охотниковъ не мало найдется и съ своими деньгами. А у него сколько же своихъ-то? И двадцати тысячъ не найдется.

На этомъ вопросѣ остановилъ Палтусова толчокъ въ рывину, выбитую сбоку улицы. Онъ оглянулся и крикнулъ:

— Стой!

Сани уже поравнялись съ огромнымъ четырехъэтажнымъ домомъ о двухъ подъѣздахъ. Это и былъ одинъ изъ домовъ Калакуцкаго, гдѣ проживалъ самъ владѣлецъ.

Быстро расплатившись съ извозчикомъ, Палтусовъ вбѣжалъ въ подъездъ, по-сю сторону большихъ воротъ, сквозь которыя видѣнъ былъ освѣщенный газовыми фонарями глубокой дворъ, весь обстроенный. Ворота стояли еще отворенными на обѣ половинки.

— Сергѣй Степанычъ?—спросилъ онъ у швейцара.

Тотъ встрѣчалъ его у лѣстницы безъ картуза. Палтусовъ замѣтилъ, что лицо у него разстроеное.

— Батюшка баринъ,—заговорилъ шопотомъ швейцаръ, съдѣнькій старичокъ,—нездорово у насъ.

— Какъ нездорово?

— Сергѣй Степановичъ...—онъ досказалъ на ухо Палтусову:—Богу душу отдали...

— Когда?..

У Палтусова перехватило голову.

— Да вотъ съ часъ времени будетъ... Полиція тамъ, за слѣдователемъ... или бишь за прокуроромъ послали.

Семейства у Калакуцкаго не было. Но Палтусовъ зналъ, что онъ содержитъ немолодую уже танцовщицу изъ корифеекъ. Она жила въ томъ же домѣ, въ особой квартирѣ.

— А Лукерья Семеновна?—спросилъ онъ.

— Послали-съ... Онѣ въ театрѣ... Танцуютъ сегодня. Ждемъ съ минуты на минуту.

— Да жилъ онъ... хоть немного?

— Нѣтъ-съ... Какъ, значить, пистолетъ приставилъ къ виску—сразу!.. И камардинъ не вдругъ вошелъ. Чай заваривалъ... Входитъ съ подносомъ, а они лежатъ, голова то на письменномъ столѣ. У стола и сидѣли...

— Такъ тамъ полиція?

— Да-съ — околоточный и хожалый. Докторъ уѣхалъ, изъ части взяли... Что же ему за сухота теперь? И крови-то ничего почти не вышло... Въ мозгъ значить прямо... Страсти!

Старичокъ вздрогнулъ и перекрестился.

— Пожалуйте!..—показалъ онъ рукой вверхъ.

XXVI.

Хозяйская квартира помещалась въ бельэтажѣ. Палтусовъ оглядѣлъ лѣстницу. Матовый, въ видѣ чаши, фонарь,

коверь съ мѣдными спицами, разостланный до первой площадки, большое зеркало надъ мраморнымъ каминомъ внизу, все такъ нарядно и внушительно смотрѣло на него, вплоть до стѣнъ, расписанныхъ въ античномъ вкусѣ, темно-красной краской съ фресками. И въ этой отдѣлкѣ параднаго подъѣзда виднѣлся ловкій строитель изъ дворянъ, умѣвшій все показать „въ авантажъ“. Ничто не говорило, что за дверьми первой квартиры, по правую руку, доигранъ былъ послѣдній актъ дѣлецкой драмы.

„Навѣрно, уголовщина“, — сказалъ себѣ Палтусовъ. Онъ медленно поднимался по большимъ ступенькамъ широкой лѣстницы съ чугунными, бронзированными перилами.

Безъ уголовныхъ подробностей, изъ-за одной несостоятельности, такой человѣкъ, какъ Калакуцкій, врядъ ли всади́лъ бы себѣ пулю...

Онъ позвонилъ. Отперъ человѣкъ Василій, съ перекосеннымъ лицомъ.

— Андрей Дмитричъ! — растерянно воскликнулъ онъ. — Какъ васъ Богъ принесъ?.. Пожалуйте!..

Въ передней сидѣлъ городской въ киверѣ, въ пальто съ мѣховымъ воротникомъ, и сонно хлопалъ глазами. При входѣ Палтусова онъ всталъ.

— Гдѣ? — спросилъ Палтусовъ.

— Въ кабинетѣ-съ. Такъ и оставили... Слѣдовательно...

И камердинеръ повторилъ ему то, что онъ уже слышалъ отъ швейцара.

— Въ театръ послали, — конфиденціально сообщилъ камердинеръ. — Лукерья-то Семеновна... танцуетъ-съ... У нихъ сегодня, въ новомъ балетѣ, въ самомъ концѣ пѣлый номеръ. Ближе половины двѣнадцатаго не будутъ.

Камердинеръ былъ любитель балета и даже свободно выговаривалъ такія слова, какъ „*pas de deux*“.

Передняя освѣщалась стѣнной лампой. Висѣла илькомъ шуба Калакуцкаго рядомъ съ пальто околоточнаго. На подзеркальникѣ лежала мѣховая шапка и на ней пара новыхъ свѣтлыхъ перчатокъ.

— Хотѣли въ балетъ ѣхать-съ, — доложилъ еще камердинеръ, снимая пальто съ Палтусова. — И лошади были готовы... И вотъ!..

Онъ не dokonчилъ. Барина онъ жалѣлъ, хоть покойный и давалъ иногда зуботычины. Жалованья Василій получалъ тридцать рублей.

Палтусовъ прошелъ черезъ столовую и небольшую го-

стиную—онѣ стояли темными—и остановился въ дверяхъ кабинета между двумя тяжелыми портьерами. Свѣтъ высокой фарфоровой лампы ярко падалъ на письменный столъ, занимавшій всю средину комнаты, просторной и оклеенной темными обоями. Изъ-за спинки креселъ,—передъ большимъ круглымъ столомъ,—Палтусову не видно было тѣла самоубійцы. Его оставили въ такомъ положеніи, какъ засталъ его камердинеръ, все еще боявшійся, что его схватятъ. Околоточный присѣлъ къ письменному столу справа. Его курчавая, рыжеватая голова, съ курносимъ въ очкахъ профилемъ, рѣзко выдавалась на фонѣ зеленого сукна и мѣлы кабинета за столомъ. Онѣ писалъ. Слышно было скрипѣніе пера.

На Палтусова напало что-то схожее съ робостью. Въ трусости онѣ не могъ себя упрекнуть. Ему не досталось Георгія, когда онѣ былъ за Балканами въ волонтерахъ, но саблю за храбрость онѣ имѣлъ. Однако, надо же было посмотрѣть недавняго „принципала“. Его начинала шемить мысль, что денежная карьера дворянина, собиравшагося обогатиться купеческія кувышкі, можетъ очень и очень закончиться вотъ такимъ выстрѣломъ.

Палтусовъ вошелъ наконецъ въ кабинетъ. Околоточный поднялъ голову и тотчасъ же всталъ. Ему было плохо видно съ его мѣста. Онѣ могъ принять Палтусова за слѣдователя или товарища прокурора.

— Не беспокойтесь,—сказалъ ему тихо Палтусовъ,—продолжайте ваше дѣло.

Околоточный пристально оглядѣлъ его и призналъ, что это не должностное лицо.

— Что вамъ угодно?—спросилъ онѣ.

— Я заѣхалъ случайно къ Сергѣю Степановичу,—выговорилъ Палтусовъ; но не прибавилъ, что близко зналъ покойнаго, какъ его бывший агентъ.

— Любезнѣйшій,—крикнулъ околоточный Василю,—постороннихъ-то не пускайте!

— Слушаю-съ,—трусливо откликнулся Василій изъ-за портьеры.

— Я на минуту,—сказалъ, какъ бы извиняясь, Палтусовъ.

Тутъ только, около самаго письменнаго стола, онѣ разглядѣлъ тѣло Калакуцкаго. Голова лежала на обѣихъ рукахъ, сложенныхъ подъ нею. Кресло было придвинуто плотно къ столу. Тѣло подалось вправо. На лѣвомъ вискѣ

чернѣлась, повыше уха, маленькая дырочка съ запекшейся кровью. Отложной воротничокъ рубашки былъ въ двухъ мѣстахъ забрызганъ. Лицо, видное Палтусову въ профиль, поблѣднѣло и стало очень красивымъ съ его крупнымъ носомъ, длинными усами и французской бородкой. Можно бы принять мертвеца за спящаго... Одѣлся онъ дѣйствительно въ театръ,—въ двубортный, обшитый ленточкой сюртукъ, застегнутый на четыре пуговицы. Пистолеть лежалъ на полу такъ, какъ его нашелъ Василій.

XXVII.

— Вы такъ и оставили?—обратился Палтусовъ къ околоточному и указалъ на трупъ.

— Да-съ... лакей хотѣлъ на кушетку... Этого нельзя. Слѣдователь забранится. Навѣрняка и прокуроръ будетъ. Поди, какъ бы генераль не пріѣхали.

И околоточный значительно поглядѣлъ на Палтусова.

— Вы не тревожьтесь,—сказалъ Палтусовъ,—я сейчасъ уйду.

— Да и вамъ лучше... Какое удовольствие! И памъ-то съ этими самоубійствами житья нѣтъ. Вѣрьте слову... Хозяева меблированныхъ комнатъ обижаются чрезвычайно. Пріѣдетъ съ желѣзной дороги, какъ слѣдуетъ, номеръ возьметъ, спроситъ порцію чаю... А тамъ и выламываетъ двери. Ночью и натворитъ безобразія. Или опять въ баляхъ, или въ номерахъ для пріѣзжающихъ. Спервоначалу пройдетъ насчетъ женскаго пола...

— Да?—съ улыбкой переспросилъ Палтусовъ.

— Первымъ дѣломъ! Или у проститутки ночевать,—окажется изъ дознанія,—или притащить съ собой, под утро отпустить ее, ну водка или ромъ — и на утро пукнуть... Анаемское время, я вамъ скажу!

— Молодые отъ любви больше?

— Нельзя этого сказать, — вошелъ въ сюжетъ околоточный и даже выпрямился, — студентъ — отъ чувствъ... бывало это, или такъ, сдуру, въ меланхолію войдетъ, оставитъ ерунду какую-нибудь, на письмѣ изложить, жалуется на все, правды говорить, нѣтъ на свѣтъ, а я, говорить, не могу этого вынести... Мечтанія, знаете. Женскій полъ отъ любви, точно... Гимназисты опять попадаютъ, мальчуганы. Они отъ экзаменовъ. А больше расстраты...

— Растраты?—повторилъ Палтусовъ.

— Такъ точно. Чуть деньги растратилъ, хозяйскія или по довѣренности, или просто запутался...

Околоточный смолкъ на минуту и прибавилъ:

— Жуликовъ расплодилось, нѣсть числа!

И вздохнулъ.

— Не мало,—подтвердилъ Палтусовъ.

Онъ глядѣлъ все на голову Калакуцкаго. Сбоку отъ лампы стоялъ овальный портретъ въ орѣховой рамкѣ. На темномъ фонѣ выступала фигура танцовщицы въ балетномъ испанскомъ костюмѣ и въ позѣ съ одной вскинутой ногой.

— Нѣсть числа жуликовъ!—повторилъ околоточный и поправилъ на носу очки. — Генералъ нашъ хочетъ вотъ нашихъ-то, хотя бы мелюзгу-то карманную, истребить... Ничего не сдѣлаетъ-съ! Переодѣвайся, не переодѣвайся въ полушубокъ—не выведешь. А тысячныя-то растраты? Тутъ ужъ подымай выше... Изволили близко знать Сергѣя Степановича?—вдругъ спросилъ онъ другимъ тономъ.

— Довольно близко, — отвѣтилъ Палтусовъ сдержанно.

— Какъ же это такое происшествіе?.. Въ дѣлахъ, видно, позамыавшись?

— Должно-быть...

— Удивленія достойно... Человѣка миллионщикомъ считали... Домъ одинъ этотъ на триста тысячъ не окупишь... Грѣхи!

— Нашли какое-нибудь письмо?—перебилъ Палтусовъ.

Его точно что удерживало въ комнатѣ мертвеца.

— Мы на столѣ ничего не трогали... Изволите сами видѣть... Вотъ около лампы пакетъ. Какъ будто только что написанъ былъ и положенъ. Кровинка и на него угодила.

Вправо, выше лампы, около бронзоваго календаря, лежало письмо большого формата. На него дѣйствительно попала капля крови. Палтусовъ издали, стоя за кресломъ, прочелъ адресъ: „Госпожѣ Калгановой — въ собственныя руки“.

— Вы прочли адресъ?—освѣдомился Палтусовъ.

— Прочелъ-съ... Рука у покойника четкая такая... Госпожѣ Калгановой. Это ихъ мамашка-съ!

— Что?—не разслышалъ Палтусовъ.

Околоточный ухмыльнулся.

— Мамашка-съ, я говорю, на держаніи, стало-быть,

состояла... Это они напрасно сдѣлали... Что же тутъ дѣвицу срамить? Лучше бы самолично отвезти или со слугителемъ послать. Да всегда на человѣка, коли онъ это самое задумаетъ, найдеть затменіе... Въ балетѣ онѣ состоятъ...

Онъ ткнулъ пальцемъ въ фамилію, написанную на конвертѣ.

— Послали за ней... Напрасно. Дурачье-люди. Прискачетъ, ревъ, истерика, крикъ пойдетъ... Въ протоколъ занесутъ, допрашивать еще стануть, слѣдователь у насъ изъ молодыхъ, не умаялся. И только одинъ лишній срамъ... Онѣ вѣдь въ этомъ же домѣ жительство имѣютъ.

— Я знаю,—выговорилъ Палтусовъ.

— Мнѣ вотъ отлучиться-то нельзя... А не надо бы допускать. А какъ не допустить?

„Пускай ее!“—подумалъ Палтусовъ.—Онъ не станетъ мѣшкаться. Танцовщица утѣшится. Дѣтей у нихъ нѣтъ. Вотъ развѣ покойный что-нибудь наблудилъ; такъ „гражданская сторона“ доберется до разныхъ ея вещей и цѣнныхъ бумагъ. Сумѣетъ спустить. Съ этой Лукерьей Семеновной онъ всего разъ обѣдалъ.

Околоточный вышелъ на средину кабинета. Палтусовъ сдѣлалъ также нѣсколько шаговъ къ двери.

— Прощайте,—громко сказалъ онъ.

— Мое почтеніе-съ... Вы хорошо дѣлаете, что не остаетесь... Протоколъ и все такое... И усталъ же я нынче авосьмски,—околоточный весь потянулся,—передъ вечернимъ пожаръ былъ, только что въ трактиръ зашелъ, подчасокъ бѣжить: мертвое тѣло!.. Мое почтеніе-съ!

Палтусовъ бросилъ еще взглядъ на голову самоубійцы и вышелъ изъ кабинета.

XXVIII.

Швейцара въ сѣняхъ уже не было, когда Палтусовъ проходилъ назадъ. Онъ спускался по ступенямъ замедленнымъ шагомъ, съ опущенной головой. Раза два обернулся онъ назадъ и оглядывалъ сѣни. На тротуарѣ, въ подъѣздѣ, онъ постоялъ немного и вмѣсто того, чтобы кликнуть извозчика, повернулъ направо и вошелъ подъ ворота.

Оставалась отпертою только калитка на цѣпи. Дворникъ въ тулупѣ сидѣлъ подъ воротами на скамейкѣ. Въ глубинѣ подворотни — она содержалась въ большой чи-

стотъ—горѣлъ полукруглый фонарь съ газовымъ рожкомъ.

Странно такъ показалось Палтусову, что въ домѣ совершенная тишина, даже дворникъ по обыкновенію дремлетъ, а хозяинъ дома—мертвый въ кабинетѣ, съ пульей въ черепѣ. Такая же тишина стояла на дворѣ. Онъ былъ гораздо больше, чѣмъ думалъ Палтусовъ. Въ глубинѣ помѣщались сарай, конюшни и прачечная, отдѣльнымъ флигелькомъ, и передъ нимъ родъ палисадника, обнесеннаго низкой чугунной рѣшеткой. Домъ шелъ кругомъ шестиграннымъ ящикомъ съ выступами въ двухъ мѣстахъ, со множествомъ подъѣздовъ. На дворѣ не валялось ни грудъ сколотата снѣгу, ни мусору, ни кадушекъ. Снѣгъ со-всѣмъ почти сошелъ съ него и подъ ногами чувствовался асфальтъ.

Палтусовъ вышелъ на самую средину, сталъ спиной къ рѣшеткѣ и долго оглядывалъ все зданіе. Въ него навѣрное вложено до пятисотъ тысячъ рублей. Постройка чудесная.

Видно, что подрядчикъ для себя строилъ. Расположеніе этажей, подъѣзды, выступы, хозяйственные приспособленія,—все смотрѣло нарядно и капитально.

Въ душѣ бывшаго подручнаго самоубійцы-предпринимателя играло въ эту минуту проснувшееся чувство живой приманки—большой, готовой, сулящей впереди осуществленіе его плановъ... Вотъ этотъ домъ! Онъ отлично выстроенъ, тридцать тысячъ дастъ доходу: приобрести его какимъ-нибудь „особымъ“ способомъ,—больше ничего не нужно. Въ немъ найдешь ты прочный грунтъ. Ты пойдешь дальше, но не замотаешься, какъ этотъ отставной поручикъ, кончившій самоубійствомъ.

Фасадъ дома всегда правился Палтусову. На улицу онъ весь былъ выштукатуренъ и выкрашенъ темнымъ ко-
ломъ. Со двора только нижній этажъ выведенъ подъ ка-
мень, а остальные оставлены въ кирпичикахъ съ обшив-
кой настоящимъ камнемъ. Балакупскій любилъ вѣнскіе
постройки, часто похваливалъ ему разные дома на Ринг-
новыя воздвигавшіяся зданія ратуши, музеевъ, универ-
ситета.

Второй этажъ со двора смотрѣлъ также нарядно, чего
не бываетъ въ другихъ домахъ. Каждое окно съ фронтон-
номъ, колонками и балюстрадой внизу. Такъ аппетитно
смотреть на Палтусова вся стѣна. Онъ считаетъ окна
вдоль и вверхъ по этажамъ. Есть что-то затягивающее

въ этомъ ощупываніи глазомъ каменной громадины цѣнностью въ полмилліона рублей. Не слѣдовало ни въ какомъ случаѣ застрѣливаться, владея такимъ домомъ. Всегда можно было извернуться.

Палтусовъ закрылъ глаза. Ему представилось, что онъ хозяинъ, выходитъ одинъ ночью на дворъ своего дома. Онъ превратитъ его въ нѣчто невиданное въ Москвѣ, нѣчто въ родѣ парижскаго Пале-Рояли. Одна половина—громадные магазины, такіе, какъ Лувръ; другая—отель съ американскимъ устройствомъ. На дворѣ—скверъ, аллеи; службы снесены. Сарай помѣщаются на второмъ, заднемъ дворѣ. Въ нижнемъ этажѣ, подъ отелемъ—кафе, какое давно нужно Москвѣ, гарсоны бѣгаютъ въ курткахъ и фартукахъ, зеркала отражаютъ тысячи огней... Жизнь кипитъ въ магазинѣ-монстрѣ, въ отелѣ, въ кафе, на этомъ дворѣ, превращенномъ въ прогулку. Кругомъ лавки брильянщиковъ, модные магазины, еще два кафе, поменьше, въ нихъ играетъ музыка, какъ въ Миланѣ, въ пассажѣ Виктора-Эммануила. Это дѣлается центромъ Москвы, все стекается сюда и зимой и лѣтомъ.

Тянетъ его къ себѣ этотъ домъ, точно онъ—живое существо. Не кирпичомъ ему хочется владѣть, не алчность разжигаетъ его, а чувство силы, упоръ, о который онъ сразу обопрется. Нѣтъ ходу, вліянія, нельзя проявить того, что сознаешь въ себѣ, что выразишь цѣлымъ рядомъ дѣлъ, безъ капитала или такой вотъ кирпичной глыбы.

Тихо вышелъ Палтусовъ на улицу. У подъѣзда, ведущаго въ квартиру Калакуцкаго, уже стояло двое саней. Онъ перешелъ улицу и сталъ у фонаря. Долго осматривалъ онъ фасадъ дома, а на сердцѣ у него все разгоралось желаніе обладать имъ.

XXIX.

Домой пріѣхалъ Палтусовъ въ первомъ часу. Мальчика онъ отпустилъ, сказавъ, что самъ раздѣнется.

Въ сюртукѣ и не снимая перчатокъ, присѣлъ онъ къ письменному столу, отперъ ключомъ верхній ящикъ и вынулъ оттуда бумагу. Это была довѣренность Марьи Орестовны Нѣтовой. Ея деньги положены были имъ, въ разныхъ бумагахъ, на храненіе въ контору государственнаго банка. Но онъ уже раза два вынималъ ихъ и мѣнялъ на другія.

Прощаясь, она сказала ему:

— Андрей Дмитричъ, вы не гонитесь за большими процентами, а впрочемъ, какъ знаете.

Онъ уже ей тогда говорилъ про акціи рязанской дороги и учетнаго банка.

— Какъ знаете, — повторила она, — я на васъ полагаюсь.

— Ну, а представится случай купить выгодно домъ? — такъ, между прочимъ, спросилъ онъ ее тогда.

— Домъ? Зачѣмъ! Я не знаю, — выговорила она съ гримасой, — какъ мнѣ изъ этой отвратительной Москвы уѣхать.

— Землю или вообще недвижимость?..

— Какъ разсудите, — повторила она. — Только, чтобы меня не привязали къ Москвѣ.

— А домъ доходный, — замѣтилъ онъ, — лучше земли.

— Какъ знаете.

Это были ея послѣднія слова.

Онъ припоминалъ ихъ, перечитывая бумагу. Читала ли она сама хорошенько эту довѣренность? Онъ ее списалъ съ обыкновенной формы полной довѣренности. По ней можетъ онъ и покупать, и продавать за свою довѣрительницу, и расходовать ея деньги, какъ ему заблагоразсудится.

Кровь прилила къ головѣ Палтусова. Онъ два раза перечелъ довѣренность, точно не вѣря ея содержанію, всталъ, прошелся по кабинету, опять сѣлъ, началъ писать цифры на листѣ, который оторвалъ отъ цѣлой стопки, приклеенной къ досчечкѣ.

Въ половинѣ второго онъ вышелъ изъ дому. Мальчика онъ не будилъ, а заперъ дверь снаружы ключомъ, взялъ извозчика и велѣлъ везти себя къ Тверскому бульвару.

На площади у Страстного монастыря онъ сошелъ съ саней.

Черезъ десять минутъ онъ опять стоялъ передъ домомъ Калакудкаго. У подъѣзда дожидались тѣ же двое саней. Въ окна освѣщеннаго кабинета, сквозь расшитыя узорами гардины, видно было, какъ ходятъ; мелькали тѣни и въ слѣдующихъ двухъ комнатахъ, уже освѣщенныхъ.

Но это не занимало его. Онъ глядѣлъ на домъ. Ночь дѣлалась свѣтлѣе. Фасадъ четырехъэтажнаго зданія выступалъ между невзрачными домиками съ мезонинами и заборами. Нѣсколько балконовъ и фонариковъ бѣлѣлись въ полумгнѣ ночи.

Обладать имъ есть возможность! Дѣло состоитъ въ выигрышѣ времени. Онъ пойдетъ съ аукціона сейчасъ же, по долгу въ кредитное общество. Денегъ потребуется не очень много. Да если бы и сто тысячъ—онѣ есть, лежать же безъ пользы въ конторѣ государственнаго банка, въ билетахъ восточнаго займа. Высылай проценты два раза въ годъ. Черезъ два-три мѣсяца вся операція сдѣлана. Можно перезаложить въ частныя руки. И этого не надо. Тогда векселя учтутъ въ любомъ банкѣ. На свое имя онъ не купитъ, найдетъ надежное лицо.

Въ мозгу его такъ и скакали одна операція за другой. Такъ это выполнимо, просто—и совсѣмъ не рискованно. Развѣ это присвоеніе чужой собственности? Онъ сейчасъ напишетъ Нѣтовой, и она поддержитъ его; но онъ не хочетъ. Зачѣмъ ему одолжаться открыто, ставить себя въ положеніе кліента? Она довѣряетъ ему—ну и довѣрйй безусловно. Деньги ей нужны только на заграничную жизнь, покупать она сама ничего не хочетъ. Откуда же грозить опасность?

И опять его потянуло внутрь. Онъ перешелъ улицу, нырнулъ въ калитку мимо того же дворника и обошелъ кругомъ, по тротуару, всю площадь двора. Что-то особенно притягательное для него было въ этой внутренности дома Калакуцкаго. Ни на одинъ мигъ не всплыла передъ нимъ мертвая голова съ запекшейся раной, pistolетъ на полу, письмо танцовщицѣ. Подрядчикъ не существовалъ для него. Не думалъ онъ и о возможности такой смерти. Мало ли сколько жадныхъ аферистовъ! Туда имъ и дорога!.. Свою жизнь нельзя такъ отдавать... Она дорого стоитъ.

Такъ же тихо, какъ и въ первый разъ, вышелъ онъ на улицу. Сани все еще стояли. Только свѣту уже не было въ столовой. Голова Палтусова пылала. Онъ пошелъ домой пѣшкомъ.

XXX.

Домъ Рогожиныхъ горѣлъ огнями. Обставленная растеніями галлерей вела къ танцевальной залѣ. У входа въ нее помѣщался буфетъ съ шампанскимъ и зельтерской водой. Тутъ же стоялъ хозяинъ, улыбался входящимъ гостямъ и приглашалъ мужчинъ „пропустить стаканчикъ“. Сѣни и лѣстница играли разноцвѣтнымъ мрахо-

ромъ. Огромное зеркало отражало длинныя вереницы свѣчей во всю анфиладу комнатъ.

Палтусовъ вошелъ въ галлерей передъ самымъ вальсомъ. Хозяинъ подхватилъ его и заставилъ выпить шампанскаго.

— Вы не брезгуйте этимъ мѣстомъ, Андрей Дмитричъ,— говорилъ онъ, придерживая его за руку.— Пойдите здѣсь, всѣ дамы проходятъ. Ревизию можете произвести. Вы вѣдь женихъ... Еще стаканчикъ!

— Довольно,— рѣшительнымъ голосомъ сказалъ Палтусовъ.

— Веселѣй будете! Слава Тебѣ, Господи, что зима на исходѣ. Къ Святой мы съ Людмилой—фюить!.. Въ мѣстечко Парижъ!.. Калакуцкій, слышали, застрѣлился?

Этотъ вопросъ уже разъ сто предложили Палтусову въ послѣднѣе пять дней.

— И видѣлъ.

— Разскажите, пожалуйста, голубчикъ! Вотъ хоть этакая исторія, и то слава Богу. Немножко языки почешутъ. А то вѣрите... Вотъ по осени вернешься изъ-за границы, такая бодрость во всѣхъ жилахъ, есть о чемъ покалякать, что разсказать... И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. Къ новому году и говорить-то никому ужъ не хочется другъ съ другомъ; а къ посту ходятъ какъ мухи сонныя. Такъ какъ же это Калакуцкій-то?

Румяное лицо хозяина такъ радостно улыбалось, точно будто онъ приготовился слушать скоромный анекдотъ. Палтусовъ передалъ ему что самъ видѣлъ.

— А вѣдь вы знаете, что? Подлогъ открыли по подряду. Это мнѣ судейскій одинъ говорилъ.

Артамонъ Лукичъ еще шире ослабилъ свой ротъ.

По галлерей прошло нѣсколько дамъ.

— Статьи-то, статьи-то какія,— шепнулъ Палтусову хозяинъ и побѣжалъ раскланиваться.

Людмила Петровна сдержала слово: старыхъ и дурныхъ дамъ совсѣмъ не входило. Свѣжія лица, стройныя или пышныя бюсты рѣзко отличали купеческія семейства. Ужъ не въ первый разъ замѣчалъ это Палтусовъ. Къ Рогожинымъ ѣздило и много дворянокъ. У тѣхъ попадалось больше худыхъ, сухихъ талій, слишкомъ длинныхъ шей. Лица были у нѣкоторыхъ нервныя, но неправильныя, съ некрасивыми носами. Туалеты купчихъ рѣшительно убивали дворянскіе.

Въ дверяхъ залы показалась хозяйка въ бѣломъ атласномъ платьѣ, съ красной камеліей въ волосахъ. Она принимала своихъ гостей запросто, особенно мужчинъ. Палтусову она шепнула:

— Посмотрите-ка, голубчикъ, какая барышня. Приданого нѣтъ; зато тѣлеса!

Впереди высокой пожилой дамы съ пепельнымъ шиньономъ шла брюнетка. Палтусовъ видѣлъ ее не въ первый разъ. Онъ зналъ, что эта дѣвица—графиня Даллеръ. Ей минуло уже двадцать семь лѣтъ. Еще военнымъ онъ похитилъ ее на балахъ. Она должна выѣзжать не меньше десяти лѣтъ. Черные глаза, большіе, маслянистые, совѣтъ испанскій овалъ лица, смуглаго, но съ нѣжнымъ румянцемъ, яркія губы, бѣлыя, атласныя плечи, золотыя стрѣлы въ густой косѣ, огненное платье съ корсажемъ, обшитымъ черными кружевами, выступало передъ нимъ на фонѣ боковой двери въ ту комнату, гдѣ приготовленъ былъ рояль для тапера. Какая красавица! И сидитъ въ дѣвкахъ! Еще три-четыре года, и начнетъ блекнуть. Рогожина вѣрно говорить: вотъ ему невѣста. Но когда? Когда онъ будетъ въ двухстахъ тысячахъ дохода, не раньше. Такую ему нужно жену для салона, для отдыха отъ дѣла, съ бойкимъ жаргономъ, съ хорошей фамиліей, титулованную. Нужды нѣтъ, если она не очень умна.

— Представить васъ?—спросила Рогожина.

— Представьте, — почти обрадовался Палтусовъ.

Хозяйка подвела его къ этимъ дамамъ. Тетка дѣвицы важно поклонилась Палтусову. Дѣвица заговорила быстро-быстро, немного картавя на парижскій ладъ; глаза ея замечали искры, плечами она повела, а полная рука, въ перчаткѣ чуть не до плеча, замахала вѣеромъ. Во всемъ ея существѣ было что-то близкое къ отчаянію дѣвицы, считающей одиннадцатый сезонъ. Палтусовъ говорилъ съ ней и глядѣлъ на ея гибкую талію и пышный корсажъ. Сколько тутъ рукъ перебивало, — на этой дѣвичьей таліи. Сколько военныхъ и штатскихъ кавалеровъ кружило ее въ вальсахъ, кадрилихъ и котильонахъ! Онъ пригласилъ ее на кадриль. Красавица такъ ласково взглянула на него, что онъ спросилъ тутъ же: не свободна ли была у ней и мазурка? Она отдала ему и мазурку. Ея французскій разговоръ очень напоминалъ ему парижскихъ женщинъ, съ какими ему случалось ужинать въ *sabine's par-ticuliers*. Никто бы не сказалъ, что это незамужняя жен-

щина. Но съ ней ему было весело. Какъ такая дѣвица жаждетъ жизни! Меньше двухсотъ тысячъ ей нельзя прожить. Зато—жена будетъ заглядѣнье. Для такой захочешь получать и триста тысячъ дохода. И добьешься ихъ. Они пустились вальсировать. Она легла на его руку и отвернула голову, рѣсницы полуопустила. Танцуетъ она съ особой нѣгой. Бѣдная! И такъ-то вотъ вытанцовываетъ она себѣ партію... Одинъ, два, три тура... Кто-то наступилъ ей на платье, когда Палтусовъ сажалъ ее на мѣсто. Она, запыхавшись, говоритъ пѣвуче: „merci“—и скорыми шагами пробирается въ гостиную

XXXI.

Палтусовъ смотритъ ей вслѣдъ. Много тутъ и бюстовъ, и талій, и наливныхъ плечъ. Но у ней походка особенная... Порода сказывается. Онъ обернулся и поглядѣлъ на средину залы. Въ эту только минуту замѣтилъ онъ Станицыну въ голубомъ. Она была хороша; но это не графиня Даллеръ. Купчиха! Лицо слишкомъ строго, держится жестко, не знаетъ, какъ опустить руки, цвѣты не хорошо нашиты и слишкомъ много цвѣтовъ. Голубое платье съ серебромъ—точно риза.

Ихъ взгляды встрѣтились. Анна Серафимовна покраснѣла. И Палтусова точно что кольнуло. Не волненіе влюбленнаго человѣка. Нѣтъ! Его кольнуло другое. Эта женщина уважаетъ его, считаетъ неспособнымъ ни на какую сдѣлку съ совѣстью. А онъ... Что же онъ? Онъ можетъ еще сегодня смотрѣть ей прямо въ глаза. Въ помыслахъ своихъ онъ ей не станетъ исповѣдываться. Всякій въ правѣ извлекать изъ своего положенія все, что исполнимо, только бы не залѣзть къ чужому въ карманъ.

Разомъ пришли ему всѣ эти мысли. Онъ быстро подошелъ къ Станицыной, точно хотѣлъ подавить въ себѣ наплывъ непріятнаго чувства.

— Уже танцовали?—спросила она его и поглядѣла на него съ усмѣшкой женщины, чувствующей неловкость.

— Съ графиней Даллеръ,—отвѣтилъ Палтусовъ тономъ танцора.

— Поздравляю... Красавица.

Слова эти сорвались съ губъ Анны Серафимовны.

— Сколько хорошенькихъ! Молодецъ Людмила Петровна! Какой бомондъ!

У Анны Серафимовны явилась та же усмѣшечка не-
ловкости.

Прониграли ригурнель.

— Вы со мной?—спросилъ Палтусовъ.

— А вы нешто забыли?

„Нешто“ рѣзнуло его по уху. Никогда она не смахи-
вала такъ на купчиху. Ему стоило усилія, чтобы улыб-
нуться. Надо было подать ей руку. Станицына вздрогнула;
онъ это почувствовалъ.

Они стали около дверей. Визави Палтусова былъ
распорядитель танцевъ, низенькій офицеръ съ пухлымъ
лицомъ.

— Масса хорошенькихъ!—еще разъ сказалъ Палтусовъ
и оглядѣлъ пары кадрили.

Анна Серафимовна поглядѣла на него и чуть замѣтно
улыбнулась.

— Славный вечеръ, — замѣтила она. — Людмила Пе-
тровна—мастерица.

Она не завидовала хозяйкѣ бала. Всякому свое. У Ро-
гожиной умѣнье давать вечера. И то хорошо. Заста-
вляетъ ѣздить къ себѣ настоящихъ барынь. Сколько ихъ
тутъ!..

— Какъ вамъ нравится вонъ та дѣвица... Вы ее не
знаете?

Онъ указалъ глазами на графиню Даллеръ, забывъ, что
о ней уже былъ разговоръ.

— Видала. Она давно выѣзжаетъ.

— Да, лѣтъ десять,—подтвердилъ Палтусовъ.—Прежде
я какъ-то мало замѣчалъ ее.

— А теперь замѣтили,—подчеркнула Станицына.

— Мнѣ ее жаль.

— Что такъ?

— Посмотрите... Это цѣлая трагедія. Десять лѣтъ вы-
ѣзжаетъ!..

— Какая жалость!

Тонъ ея раздражалъ Палтусова. Многого совсѣмъ не
понимаютъ эти купчихи, даже и умныя.

И Анна Серафимовна никогда не сознавала такъ рѣзко
разницу между собой и Палтусовымъ. Какъ ни возьми,
все-таки онъ баринъ. Вотъ титулованная барышня, небось,
привлекаетъ его. Понятно. А что бы мѣшало ей самой
привлечь къ себѣ такого мужчину? Вѣдь она ни разу не
говорила съ нимъ задушевно. Онъ, быть-можетъ, этого и

ждать. Разговоръ ихъ во время кадрили не клеился. Въ шенѣ, послѣ шестой фигуры, Анна Серафимовна не захотѣла участвовать. Палтусовъ повелъ ее въ дамскій буфетъ.

Весь въ живыхъ цвѣтахъ — гіацинтахъ, камеліяхъ, розахъ, нарциссахъ — поднимался буфетъ съ десертомъ. Графиня Даллеръ пришла туда позднѣе. Она приняла чашку чаю изъ рукъ Палтусова и сѣла. Онъ стоялъ надъ нею и любовался ея бюстомъ, полными плечами, шеей, родинкой на шеѣ, ея атласистыми волосами, такъ красиво проткнутыми золотой стрѣлой.

Кто-то заговорилъ со Станицыной и отвелъ ее въ сторону. Палтусовъ этого и не замѣтилъ даже. Кавалеръ увлекъ графиню Даллеръ при первыхъ звукахъ новаго вальса. Палтусовъ не пошелъ танцевать. Ему захотѣлось было одному, походить по этимъ купеческимъ хоромамъ. Онъ былъ въ особомъ возбужденіи... Вотъ еще мѣсяцъ, другой, много полгода, ну годъ, — и онъ станетъ членомъ той же семьи пріобрѣтателей и денежныхъ людей. Нѣтъ-нѣтъ, да у него и пробѣгутъ по спинѣ мурашки... Онъ все обсудилъ... Опасности, риску — нѣтъ никакого. Больше нечего и думать. Лучше вбирать въ себя краски, ощущенія вечера. На что ни упадетъ взглядъ — все нарядно и богато. Этотъ буфетный салонъ обдастъ васъ запахомъ живыхъ цвѣтовъ. Со стѣнъ массивныя лампы и жирандоли лили свѣтъ на темно-малиновый штофъ. Вазы съ фруктами и конфетами, стѣна камелій, серебряный самоваръ, бритыя лица официантовъ пестрѣли предъ нимъ. И все это купецъ заказалъ, все это ему сдѣлали. А вѣдь во все это можно вложить свой дворянскій вкусъ... Года черезъ два.

Изъ дверей виднѣлась середина танцевальной залы со скульптурнымъ потолкомъ, блѣдными штофными стѣнами и венеціанскими хрустальными люстрами. Контрастъ съ буфетной комнатою пріятно щекоталъ глаза. Дверь направо вела въ первую столовую. Палтусовъ зналъ уже, что тамъ съ 10 часовъ устроенъ родъ ресторана. Это было по-московски. Онъ заглянулъ туда и остановился въ дверяхъ... Тамъ уже шла желудочная жизнь.

XXXII.

Въ этой первой столовой ѣли съ самаго начала вечера. Она дѣйствительно смотрѣла залой ресторана. Накрыты

были маленькіе столики. На каждомъ лежали карточки, какъ въ трактирѣ. Офиціанты подходили и спрашивали— что угодно. За однимъ изъ столиковъ сидѣло трое любителей фды изъ купцовъ и не старый еще генералъ съ бѣлымъ крестомъ на шеѣ. Купцы подливали ему, красные, потные, завязавшіеся салфетками. Палтусовъ узналъ генерала. Еще такъ недавно всѣ носились съ нимъ, какъ съ героемъ. А теперь онъ заживается въ Москвѣ, въ номерѣ гостиницы, пріѣхалъ, слышно, искать денегъ или компаньона на какой-то „гешефтъ“. Видно, энтузіазмъ— дѣло скоротечное. Компаньоны что-то не являются. Быть-можетъ, къ нему же, Палтусову, направить этого генерала, какъ къ дѣльному человѣку, ходко пошедшему въ дѣловомъ мірѣ?.. Ему вспомнилась сцена изъ его волонтерской жизни... Тогда и онъ на все смотрѣлъ иначе... Во что-то вѣрилось. Не очень, впрочемъ, долго. Развѣ не слѣдовало предвидѣть, что герой кончитъ исканьемъ московской кубышки, чтобы не перебиваться въ бѣдности до конца дней своихъ? Всѣ сюда идутъ!

Импровизованный ресторанъ наполнялся. Охотниковъ засѣсть съ самаго начала вечера за столы явилось очень много. Дамъ еще не было. Трактирнымъ воздухомъ сейчас же запахло. Наемные офиціанты внесли съ собой суету клубной службы и купеческихъ парадныхъ поминковъ у „кондитера“. Столовую уже началъ обволакивать паръ... Свѣчи горѣли тусклѣе.

Палтусовъ прошелъ мимо стола съ генераломъ. Ему хотѣлось оглядѣть и другія комнаты. Онъ зналъ, что должна быть поблизости еще комната съ закуской, равняющейся цѣлому ужину, съ водкой, винами и опять шампанскимъ.

Въ закуской, помѣщавшейся въ курильной комнатѣ, рядомъ съ кабинетомъ хозяина, Палтусовъ наткнулся на двухъ профессоровъ и одного доктора по душевнымъ болѣзнямъ. Онъ когда-то встрѣчалъ ихъ въ аудиторіяхъ.

Изъ профессоровъ одинъ былъ очень толстый брюнетъ, съ выдавшимся животомъ, молодой человѣкъ въ просторномъ фракѣ. Его черные глаза смотрѣли насмѣшливо. Въ эту минуту онъ запускалъ въ ротъ ложку съ зернистой икрой. Другой, блондинъ, смотрѣлъ отставнымъ военнымъ. Вдоль его худыхъ, впалыхъ щекъ легли длинныя, загнутые кверху, усы. Оба выказывали нѣкоторую свѣтскость.

— Что-съ,—громко шепнулъ Палтусову толстый,—ка-

ковы купчишки-то? Всю губернію заставили у себя плясать!

— Есть экземпляры богатые,—сказалъ громко блондинъ. Онъ былъ естествоиспытатель.

— Изъ какого класса?—спросилъ его весело Палтусовъ.

— Изъ головорукихъ!

Они расхохотались.

— Вы танцовать?

— Да, пойду,—отвѣтилъ Палтусовъ толстому.

— Нѣтъ, мы вотъ закусить; а закусимъ, и въ ресторанчикъ въ томъ же заведеніи, спросимъ паровую стерлядку или дичинки!

— И бутылочку холодненькаго,—прибавилъ Палтусовъ.

— Нѣтъ, хозяинъ ужъ заставилъ насъ пропустить по гри стакана.

— Вотъ локають-то!—вскричалъ толстый.

Всѣ трое опять разсмѣялись. Въ балагурствѣ этихъ профессоровъ слышались ему звуки завистливаго чувства. Палтусовъ подумалъ:

„Проказивайтесь, милые друзья, надъ купчишками, а все-таки шампанское ихъ локаете и объѣдаетесь зернистой икрой. Съѣдать эти купчишки и васъ, какъ съѣли уже дворянство“.

Профессора ушли. Къ Палтусову пододвинулся докторъ-психіатръ, благообразный, франтоватый, съ окладистой бородой, большого роста.

— А вы все въ Москвѣ?—спросилъ онъ, выпивъ рюмку портвейну.

— Пустилъ корни!

— Что вы!.. Вольный казакъ и коптите въ нашей трясинѣ!.. Хотите, видно, нажить душевную болѣзнь?

— Полноте,—разсмѣялся Палтусовъ,—вы, должно-быть, какъ докторъ Круповъ, всѣхъ считаете сумасшедшими?

— Не всѣхъ, а что на волѣ ходятъ кандидаты въ Преображенскую—это вѣрно.

— Кто же, напримѣръ?

— Да вотъ хоть бы,—заговорилъ потише докторъ,—Нѣтовъ, Евлампій Григорьевичъ, знаете?

— Знаю,—отвѣтилъ спокойно Палтусовъ,—онъ здѣсь?

— Въ карты играетъ въ кабинетѣ.

— И что?

— Готовъ! Прогрессивный...

— Какой?—переспросилъ Палтусовъ.

— Прогрессивный параличъ.

— Скажите, пожалуйста!

И Палтусовъ припомнилъ странные глаза Евлампія Григорьича, его взглядъ, звукъ голоса.

Онъ задумался.

— Нѣтовъ въ кабинетѣ?

— Да!

Палтусовъ отошелъ отъ доктора. Въ кабинетъ онъ не заглянулъ. Ему почему-то не хотѣлось идти раскланиваться съ Евлампіемъ Григорьичемъ. Начинали кадрили. Онъ бросился искать свою даму.

Танцы чередовались. Послѣ третьей кадрили очистили залу и открыли форточки. Хозяйка плавала по комнатамъ, подмигивала мужчинамъ, пристраивала дѣвицъ, сама много танцевала. Хозяинъ съ масляными глазами дежурилъ у шампанскаго и говорилъ неприличности. Таперъ-итальянецъ переигралъ всѣ свои опереточные мотивы. Вечеръ удался на славу.

XXXIII.

Мазурку украшалъ проѣзжій гвардейскій гусаръ въ маляновыхъ рейтузахъ, съ худенькимъ, дѣвичьимъ личикомъ и маленькой головкой на длинной худой шеѣ. Онъ выучился танцевать мазурку въ Варшавѣ. Никто кромѣ него не позволялъ себѣ выкидывать ногу впередъ и нѣсколько вверхъ и дѣлать ею потомъ родъ вѣнзеля. Дирижеръ танцевъ, армейскій пѣхотинецъ, съ завистью поглядывалъ на эти „выкрутасы“, какъ онъ называлъ своей дамѣ штуки гусара. Мазурку соединили съ котильономъ. Въ комнатѣ, гдѣ игралъ таперъ, на столѣ разложены были всѣ вещицы для котильона: множество небольшихъ букетовъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ, звѣзды, банты, картонныя головы. Все это пестрѣло и блестяло въ свѣтѣ двухъ канделябровъ. Нетапцующіе мужчины подходили и разсматривали эти предметы; иные дотрогивались до нихъ. Таперъ игралъ такъ же сильно и шумно, какъ и въ началѣ вечера. Ему была поставлена бутылка шампанскаго на столикъ около рояля.

Анна Серафимовна сидѣла около двери этой проходной комнаты. Ее пригласилъ на мазурку биржевой маклеръ, знакомый Палтусова. Напротивъ нихъ, у двери въ гостиную, помѣстился Палтусовъ съ графиней Даллеръ. Они разговаривали живо и громко. Онъ близко-близко гля-



дѣлъ на свою даму. Имъ было очень весело... Поболтають, посмѣются и оглянутъ залу. Въ ихъ глазахъ Станицына читала:

„Отчего же и не повеселиться у купчишекъ“.

Она не слыхала, что ей говорилъ ея кавалеръ. Карлуша прискучилъ ей ужасно перечисленіемъ тѣхъ вечеровъ, на какихъ онъ долженъ „обязательно“ плясать до поста.

Насилу дождалась она ужина.

Ужинъ подали около четырехъ, на отдѣльныхъ столахъ въ столовой — побольше, рядомъ съ рестораномъ. Растенія густо обставляли эту залу и дѣлали ее похожей на зимній садъ. Воздухъ сгустился. Испаренія широкихъ листьевъ и запахъ цвѣтовъ наполняли его. Огни двухъ люстръ и стѣнныхъ жирандольей выходили ярче на темной зелени.

Свою даму Палтусовъ посадилъ за столикъ въ четыре прибора, подъ тѣнь развѣшенной пальмы. Онъ во время мазурки раза два поглядѣлъ на Станицыну. Ему сдѣлалось немного совѣстно. Надо бы лишній разъ выбрать ее въ котильонѣ, а онъ сдѣлалъ съ ней всего одинъ туръ, точно тяготился ею. Милая она жепщина; да приѣхалъ ему ужъ очень купчихи... Онъ ей скажетъ это при случаѣ.

— Вы позволите около васъ? — раздался голосъ Карлуши.

Маклеръ велъ подъ руку Станицыну.

Палтусовъ наклонилъ голову.

— Jolie femme, — сказала громко его дама и улыбнулась Станицыной.

Пара сѣла. Купчиха и титулованная барышня оглядѣли другъ друга. Станицына разгорѣлась отъ танцевъ. Одинъ разъ и Палтусовъ наклонился въ ея сторону и сказалъ что-то, обидное по своему снисходительному тону.

Станицына замолчала. Ей стыдно стало и за своего кавалера. Онъ то и дѣло вмѣшивался въ разговоръ другой пары, фамильярничалъ съ Палтусовымъ, отчего того коробило. Дѣвица съ роскошными плечами улыбнулась раза два и ему.

И конца ужина Анна Серафимовна насилу дождалась.

Карлуша проводитъ Анну Серафимовну по галлерей и въ сѣни и крикнулъ:

— Человѣкъ Станицыной!..

Графиня Даллеръ уже уѣхала. Палтусовъ поднимался по лѣстницѣ въ галлерею. Наемные ливрейные лакеи обступили его, спрашивая его номеръ. Онъ увидалъ на площадкѣ у зеркала Анну Серафимовну и подошелъ къ ней.

Щеки ея горѣли. Глаза съ поволокой играли и немного какъ бы злобно улыбались.

— Проводили вашу красавицу? — спросила она и покачулась всѣмъ корпусомъ.

— Проводилъ, — простымъ тономъ выговорилъ Палтусовъ.

— Остаетесь еще?

— Нѣтъ, пора.

Глаза Станицыной сдѣлались еще ярче.

— Анна Серафимовна, пожалуйста! — раздался снизу голосъ маклера.

— Вы съ нимъ? — спросилъ Палтусовъ и улыбнулся.

— Какъ съ нимъ? — живо переспросила Станицына.

— Онъ васъ провожаетъ?

— Съ какой стати!

— Что жъ, это, кажется, дѣлается въ Москвѣ.

— Не знаю... А вашу лошадь вы отпустили?

— Отпустилъ.

— Хотите, я васъ подвезу?

— Подвезите.

— Пожалуйста! — крикнулъ пѣмчикъ.

— Иду.

Палтусовъ спустился вслѣдъ за нею. Ему показалось странно, что строгая Станицына пригласила его въ карету. Нѣмчикъ укуталъ ее и сказалъ нѣсколько прибаутокъ.

— Вы еще остаетесь? — спросила она.

— Ручку у хозяйки поцѣловать? Это — первымъ дѣломъ.

Онъ убѣжалъ. Палтусовъ надѣлъ шубу, далъ лакею двугривенный и отворилъ дверь Аннѣ Серафимовнѣ.

— Поѣдемте, — смѣло сказала она. Ея глаза сверкнули въ полутьмѣ улицы.

XXXIV.

Карета глухо загремѣла по рыхлому масляничному свѣгугу. Внутри ея свѣтъ отъ фонарей проходилъ двумя мерцающими полосками. Палтусовъ сѣлъ въ уголъ и поглядѣлъ сбоку на Анну Серафимовну.

Она замолчала. Ей вдругъ стало очень стыдно и даже немного страшно. Что за выходка? Зачѣмъ она пригласила его? Это видѣли. Да если бы никто и не видалъ — все равно. Будь онъ другой человѣкъ, старичокъ Кливинъ — ея вѣчный ухаживатель, даже кто-нибудь изъ самыхъ противныхъ адъютантовъ Виктора Мироныча... А то — Палтусовъ!

И ему было неловко. Приглашеніе Анны Серафимовны походило на вызовъ. Въ ней заговорило женское чувство, очень близкое къ ревности. Ни за что онъ не воспользуется имъ. Конечно, другой на его мѣстѣ сейчасъ же бы началъ дѣйствовать... Взялъ бы за руку, подсѣлъ бы близко-близко и заговорилъ на петрудную тему. Вѣдь она такая красивая — эта Анна Серафимовна, по-своему не хуже той дѣвицы... Не виновата она, что у ней нѣтъ чего-то высшего, того, что французы называютъ „фю“.

Онъ не придвигался. Съ женщинами у него особая, строгія правила. Были у него любовныя исторіи. Въ нихъ онъ почти всегда только отвѣчалъ — не изъ фатовства, но такъ случилось. И не помнить онъ, чтобы женщина захватила его совѣмъ, чтобы онъ самъ безумствовалъ, бросился на колѣни или замеръ въ изнеможеніи отъ полноты страсти или сильнаго, случайнаго порыва.

Ничего такого съ нимъ не бывало, сколько онъ себя помнилъ. Онъ правился нѣсколькимъ, его отличали, пожалуй, увлекались, на все это онъ отвѣчалъ, какъ молодой человѣкъ со вкусомъ и нервами, когда нужно. Зачѣмъ же станетъ онъ теперь пользоваться, быть-можетъ, минутнымъ капризомъ хорошей и несчастной женщины? Сдѣлаться ея любовникомъ, такъ, просто, изъ мужского тщеславія или потому, что это „даромъ“ — пошло! Онъ на это не способенъ! Привязаться къ ней, жениться? Нѣтъ! Обуза. Живой мужъ, разводъ, исторія... У ней большое состояніе... Какой же это будетъ имѣть видъ? Точно онъ обрадовался устроить свою „фортуну“, разбогатѣть на женинныхъ хлѣбахъ. Никогда!

Отъ шубы Анны Серафимовны шелъ смѣшанный запахъ духовъ и дорогого пушистаго мѣха. Ея изящная голова, окутанная въ бѣлый серебристый платокъ, склонилась немного въ его сторону. Глаза искрились въ темнотѣ. До Палтусова доходило ея дыханіе. Одной рукой придерживала она на груди шубу, но другая лежала на колѣняхъ и кисть ея выставилась изъ-подъ края шубы.

Онъ что-то предчувствовалъ, хотѣлъ обернуться и посмотреть на нее пристальнѣе, но не сдѣлалъ этого.

Молча проѣхали они минуты съ двѣ. Это молчаніе начало тяготить его. Анна Серафимовна вдругъ закрыла глаза и откинулась въ глубь кареты. Стыдъ прошелъ. Ей пріятно было сидѣть рядомъ съ нимъ. Что-то жгучее вдругъ защемило у ней въ груди и потомъ сладко разлилось по всему тѣлу. Столько лѣтъ она терпитъ несносную долю!.. Молода, красива, горячая кровь льется по жиламъ, и некого приласкать, хоть разъ въ жизни отдаться безъ оглядки. Въ головѣ ея стали мелькать образы. Все его лицо представляется. Сидятъ они одни въ амбарѣ послѣ ея сцены съ мужемъ. И тогда онъ глядѣлъ на нее такъ добро, жалѣлъ ее, она ему нравилась. Теперь—онъ смущенъ.

— Хорошій вы человѣкъ,—раздался тихій голосъ Палтусова.

Онъ беретъ ея свободную руку. Въ горлѣ ея сперся духъ. Ей неудержимо захотѣлось плакать. Она быстро обернулась къ нему, вскинула руками, обвила ими вокругъ его шеи и начала цѣловать крѣпко, точно душила его, молча. Только ея горячее, порывистое дыханіе слышалось въ каретѣ.

Ухабъ заставилъ карету покачнуться. Анна Серафимовна отняла руки такъ же быстро, схватила ими за голову и зарыдала. Палтусовъ хотѣлъ что-то сказать и пододвинулся. Она отстранила его рукой и совсѣмъ отвернулась. Рыданія она сдержала и выпрямила голову.

— Слышите... — шептала она прерывающимся голосомъ,—я васъ умоляю... ничего между нами не было, ничего, ничего!

— Успокойтесь,—сказалъ онъ тихо.

— Ничего!.. Это... это!.. Я не знаю чтѣ... Господи!

Она закрыла лицо руками и уже тихо заплакала.

Палтусовъ не двигался, онъ оставлялъ ее плакать минуты двѣ.

— Полноте,—началъ онъ дружескимъ тономъ.

— Андрей Дмитричъ... вы честный человѣкъ... Оставьте меня... Нешто не довольно того, чтѣ было?..

Анна Серафимовна не договорила. Щеки ея горѣли, даже уши подъ платкомъ точно жгли ее. Она готова была выпрыгнуть изъ кареты.

— Прошу васъ,—произнесъ Палтусовъ самымъ искреннимъ тономъ.

Она смолкла, подавила слезы, глотала ихъ, чувствовала себя точно маленькой.

— Андрей Дмитричъ... — начала она и не договорила.

Онъ понялъ, что всего лучше ему выйти изъ кареты.

— До моей квартиры два шага,—сказалъ онъ мягко и покойно.

Анна Серафимовна молчала. Палтусовъ дернулъ за шнурокъ, но кучеръ не сразу остановилъ лошадей. Пришлось дернуть еще разъ.

— Хорошій вы человекъ,—прошенталъ онъ, наклонившись къ ней. — Я вашъ другъ, имѣйте ко мнѣ побольше довѣрія.

И онъ поцѣловалъ ея руку, лежавшую поверхъ темной бархатной шубы.

„Не любить, не любить, --- повторяла про себя Анна Серафимовна.— Господи, срамъ какой!..“

Она ничего не могла сказать ему, не могла и протянуть руки. Она сидѣла точно окаменѣлая.

Карета остановилась у бульвара. Палтусовъ вышелъ, заперъ дверку, прежде чѣмъ лакей соскочилъ съ козель, запахнулъ свою шубу и крикнулъ кучеру:

— Трогай!

Было около пяти часовъ утра. Еще не начинало свѣтать; но ночь уже минула. Онъ оглянулся. Стоялъ онъ на площади у вѣзда на Арбатъ, въ десяти шагахъ отъ рѣшетки Пречистенскаго бульвара. Фонари погасли. Онъ посмотрѣлъ на правый угловой домъ Арбата и вспомнилъ, что это трактиръ „Прага“. Разъ какъ-то, еще вольнымъ слушателемъ, онъ шелъ съ двумя пріятелями по Арбату, часу въ двѣнадцатомъ. И всѣмъ захотѣлось ѣсть. Они поднялись въ этотъ самый трактиръ, сѣли въ угловую комнату. Кто-то изъ нихъ спросилъ сыру „бри“. Его не оказалось, но половой вызвался достать. Принесли цѣлый кругъ. Запивая пивомъ, они весь его сѣли и много смѣялись. Какъ тогда весело было! Тогда онъ мечталъ о кандидатскомъ экзаменѣ и о какой-нибудь „либеральной“ профессіи, адвокатствѣ, писательствѣ...

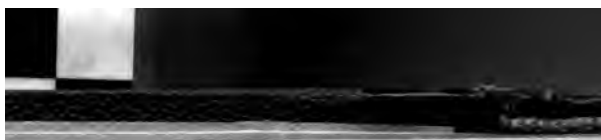
А теперь?

Палтусовъ вошелъ на Пречистенскій бульваръ, сѣлъ на скамейку и смотрѣлъ вслѣдъ быстро удалявшейся каретѣ. Только ея глухой грохотъ и раздавался. Ни души

не видно было кругомъ, кромѣ городского, дремавшаго на перекресткѣ. Истома и усталость отъ танцевъ приковывали Палтусова къ скамьѣ. Но ему не хотѣлось спать. И хорошо, что такъ вышло!.. Ему жаль было Станицыну... Но не о ней сталъ онъ думать. Завтра надо дѣйствовать. Поскорѣй въ Петербургъ—не дальше первой недѣли поста.

Онъ оглянулся. Некрасива матушка-Москва; куда ни взглянешь—все сѣро, грязно, запущено, тускло. Пора очищать ее, пора добираться и до ея сундуковъ... Смѣлымъ Богъ владѣть!..

Подползь извозчикъ. Палтусовъ взялъ его.



Книга пятая и послѣдняя.

I.

Вторая недѣля поста. На улицахъ оттепель. Желтое небо не шлетъ ни дождя, ни снѣга. Лужи и взломанные, темнобурые куски уличнаго льда,—вотъ что видѣла Любаша Кречетова изъ окна гостиной Анны Серафимовны.

Любаша пріѣхала рано для нея. Она вставала въ одиннадцатомъ часу; а сегодня ей удалось быть одѣтой въ десять, чаю напилась она наскоро. Въ четверть двѣнадцатаго она входила уже въ сѣни дома Станицыныхъ.

— Анна Серафимовна выѣхали,—сказалъ ей швейцарь.

Что-нибудь экстренное заставило ея двоюродную сестру выѣхать утромъ. Обыкновенно она выѣзжала послѣ двухъ. Но Любаша все-таки прошла наверхъ, завернула въ дѣтскую, гдѣ бонна-англичанка играла съ дѣтьми въ какую-то поучительную игру, и справилась у Авдотьи Ивановны, въ которомъ часу приходитъ новая „компаньонка“.

Авдотья Ивановна доложила ей, что барышня „приходить“ разное, какъ условятся съ Анной Серафимовной,—иной разъ днемъ, къ полудню, а то и вечеромъ „сидятъ“. Весь день никогда не „остаются“.

— Ты что же,—оборвала ее Любаша,—объ ней говоришь, точно она Милитриса Кирбитьевна какая: остаются, сидятъ?

— А какъ же, матушка?—степенно и кротно спросила Авдотья Ивановна.

— Не велика фря! Мамзель!

— Генеральскаго роду. Сразу видно.

— Въ надзирателяхъ, слышь, отецъ-то, въ акцизныхъ.

— Что жъ, матушка,—возразила Авдотья Ивановна,—

это несчастье, Господь попустилъ. А сейчасъ видно, барышня... обращеніе одно. И добрейшей души. Гордости никакой.

— Еще бы! Изъ милости!.. Чего тутъ гордиться?

Любаша и рвала, и метала. Она не хотѣла даже и продолжать разговоръ о „мамзели“, который сама же начала. Все это оттого, что наканунѣ Рубцовъ сидѣлъ у нихъ и говорилъ о Тасѣ Долгушиной съ сочувствіемъ. Любаша нѣсколько разъ перебивала его возгласомъ:

— Губы!

— Что такое губы? — дакъ онъ ей окрикъ уже не въ первый разъ.

— Губы у вашей милости особенныя, когда вы объ этомъ генеральскомъ потрохѣ изволите расписывать.

Рубцовъ вскочилъ съ кресла.

— Глупо и грубо! — выговорилъ онъ, поводя презрительно губами... — Вамъ, сестричка, до такого потроха далеко, хотъ онъ и генеральскій!

Съ тѣмъ и ушелъ. Любаша бросилась было догонять его, да остановилась посрединѣ залы.

— Наплевать! — вслухъ сказала она и пошла въ свою комнату, стащила съ себя платье, порвала на лифѣ три пуговицы, раздѣлась вплоть до рубашки и начала хохотать со злости.

Что за чудо-юдо, эта генеральская дочь? Отчего это Семенъ Тимоѣичъ изволяетъ, говоря о ней, на особый манеръ губами поводить? Надо „обнюхать“ ее. Завтра же она на цѣлый день отправится къ Станицыной, спозаранокъ; туда явится, навѣрно, и „мериканецъ“, умѣющій только поддразнивать ее, какъ негодную дѣвчонку-птичницу или судойку!

Такъ она и сдѣлала. Туалетомъ своимъ она, хотъ и второпяхъ, но занялась больше обыкновеннаго, вымыла руки старательно, вычистила ногти, волосы завернула на затылкѣ и заткнула модной шпилькой.

— А Семенъ Тимоѣичъ, — не утерпѣла, спросила она Авдотью Ивановну, — когда бываетъ больше?

— Да тоже разпо, — продолжала докладывать та, не мѣняя своего истоваго и благодушнаго тона, — частенько и днемъ... Сегодня навѣрно будутъ: Анна Серафимовна посылали за нимъ и приказывали просить подождать.

Любаша выслушала это немного поспокойнѣе; но внутри у ней продолжало елокотать. „Навѣрно тутъ были разныя

„миндальности“. Эта генеральская мамзель подъ шумокъ начала лебезить съ купеческимъ братомъ. Думаетъ: у него милліоны. А онъ только черезъ край о себѣ воображаетъ, а никогда изъ него настоящаго негоціанта не выйдетъ. Анна Серафимовна вотъ что-то директоромъ-то не беретъ... И шельма же эта тетя: чтобъ у ней побольше мужчинъ бывало, такъ она дѣвицу наняла,—читать, изволите видѣть, занимать пріятными разговорами... Сама она по-французски-то съ грѣхомъ пополамъ, да и на „онъ“ отшибаетъ ея говоръ. Такъ подъ прикрытіемъ тонковоспитанной барышни оно будетъ куда превосходнѣе!..“

Надоѣло Любашѣ стоять у окна и хлопать глазами на уличную слякоть. Она подошла къ зеркалу, вдѣланному въ стѣну. И вся эта гостиная съ золоченой мебелью, ковромъ, лѣннымъ потолкомъ раздражала ее.

„Черти, дьяволы! — бранилась она про себя. — И за какимъ шуткомъ, прости Господи, чертоги такіе вывели? Мужъ съ женой не живутъ вмѣстѣ. Она—скарעדъ, дѣлами заправляетъ, надъ каждой копейкой дрожить... Такъ и жила бы на своей фабрикѣ... А то лектрису ей понадобилось. На-ко, поди!.. На Волгѣ-то—тамъ тятка за косы таскалъ; а здѣсь барыню изъ себя корчитъ и подъ предлогомъ благочестія шашни со всѣми заводитъ!..“

II.

Тася вошла такъ тихо въ гостиную, что Любаша увидала ее только въ зеркало и круто повернулась на одномъ каблукѣ.

„Такъ вотъ эта Милитриса Кирбитъевна!.. Этакая пиголица: носъ въ пуговку, голова комочкомъ, волосики жидкіе; дѣвчоночка изъ пріютскихъ; только что такіа узка; да и манеръ никакихъ не видно“.

Анна Серафимовна уже говорила Тасѣ про свою двоюродную сестру. Тася видѣла ее въ театрѣ, въ тотъ бенефисъ, когда познакомилась со Станицыной. Сверху, изъ своихъ купоновъ, она замѣтила лицо и фигуру Любаша, когда та говорила, нагнувшись къ Станицыной. Ея размашистыя манеры она также замѣтила и спросила еще тогда Пирожкова:

— Будто бы это купчиха?

— А что?—откликнулся онъ.

— Да она отзывается... какъ бы это сказать?

— Должно-быть, изъ купческихъ дарвинистокъ. Нищче и такіи есть.

Вотъ уже недѣли, какъ Тася ходитъ къ Станицыной. Она все еще присматривалась къ этому, совсѣмъ новому для нея міру... Ей было гораздо ловчѣе, чѣмъ она думала. Анну Серафимовну она сразу поняла, почувствовала въ ней характеръ, заинтересовалась ею, какъ оригинальнымъ типомъ. Въ головѣ Таси сидѣло множество лицъ изъ купческихъ комедій. Она все и сравнивала. Анна Серафимовна ни подъ какое лицо не подходила. Съ Рубцовымъ они уже разговаривали. И его она прикидывала къ разнымъ „Ванямъ“, „Андрюшамъ“ и „Митямъ“ изъ пьесъ Островскаго, но и онъ отзывался совсѣмъ не тѣмъ; только въ говорѣ былъ слышенъ иногда купеческій братъ... Въ немъ все прочно сложилось. Онъ много жилъ, много видалъ за границей, работалъ, говорилъ грубовато, смѣло, безъ утайки и съ какимъ-то „себѣ на умѣ“ въ глазахъ, которое ей нравилось. Насчетъ Любаши Анна Серафимовна ее предупредила, сказала ей даже:

— Ужъ вы, пожалуйста, извините ей—для нея законъ не писанъ, юродство на себя напустила; а дѣвушка недурная и съ мозгомъ.

Тася протянула Любашѣ руку и выговорила:

— Я васъ знаю. Вы—кузина Анны Серафимовны... Садитесь, пожалуйста.

Любаша на рукопожатіе отвѣтила; но внутренне опять обругала ее: какъ смѣетъ изъ себя хозяйку представлять? Сейчасъ: „садитесь“—точно она къ ней пришла въ гости.

Но тихій и веселый тонъ Таси помягчилъ ее немножко. Она сѣла и закурила папиросу. Тася положила припеченную съ собой книгу на столъ и подѣла къ ней.

— Тетя загуляла?—спросила Любаша.

— Какое-нибудь спѣшное дѣло, — замѣтила Тася.— Анна Серафимовна всегда дома въ это время.

„Да ты что мени, мать моя, занимаешь?“ — начала опять обрывать про себя Любаша.

Лицо у ней стало злое, глаза потемнѣли. Она ихъ отводила въ сторону; но пѣтъ-нѣтъ, да и обдастъ ими Тасю. Той сдѣлалось вдругъ тяжело. Эта дарвинистка принесла съ собой какое-то напряженіе, что-то грубое и безцеремонное. На лицѣ такъ и было написано, что она никому спуска не дастъ и на все человѣчество смотреть какъ на скотовъ.

— Что теперь читаете съ тетей?—спросила Любаша.— Романъ, небось, какой французскій?

— Нѣтъ, статью одну критическую.

— Ишь ты!

Въ залѣ по паркету приближались шаги. Любаша покраснѣла. Она узнала шаги Рубцова. Тася тоже подумала: не онъ ли? Ей бы теперь очень пріятель былъ его приходъ. Она просто начинала побаиваться Любашу.

Обѣ дѣвушки обернулись разомъ, когда вошелъ Рубцовъ. Любаша сейчасъ же отмѣтила, про себя, что „Сеня“ одѣтъ гораздо франтоватѣе обыкновеннаго. Къ нимъ онъ ходитъ въ „похожалъ“—сѣренкій сюртучокъ у него такой, затрапезный. Тутъ же, извольте полюбоваться, пиджакъ темносиный, и галстукъ новый, и воротнички особенные. А главное—усы началъ отпускать, не хочетъ, видно, смахивать на голландца-машиниста съ парохода.

Рубцовъ уже два-три раза разговаривалъ съ Тасей. Онъ подошелъ къ ней съ протянутой рукой и совсѣмъ не такъ, какъ онъ поздоровался потомъ съ Любашей. И это рѣзнуло Любашу по сердцу. Въ первый разъ, когда онъ обѣдалъ съ Тасей у Анны Серафимовны, вначалѣ онъ высматривалъ „генеральскую дочь“, какъ-то она еще поведетъ себя. Но Тася начала рассказывать про свою страсть къ сценѣ, про отца и мать, про старушекъ—онъ размякъ. Послѣ обѣда онъ самъ уже присѣлъ къ ней. Она читала какую-то новую повѣсть. Ея голосокъ повѣялъ на него пріятной теплотой. И такъ бойко передавала она разговорную рѣчь, чувствовался юморъ и понимание.

— Барышню вы хорошую приобрѣли, сестричка,—сказалъ онъ Станицыной черезъ три дня.

— Пришелъ ее послушать, небось?—спросила Анна Серафимовна.

— Чтица толковая... И такая субтильненькая, дворянское дитя, а безъ важничанья. Хвалю!

Во второй вечеръ Рубцовъ заговорилъ съ Тасей безъ всякихъ прибаутокъ и угловатостей, такъ что Станицына диву далась.

— Нѣтъ Анны Серафимовны,—встрѣтила его Тася.

Любаша сейчасъ же вмѣшалась въ разговоръ.

— Тетя-то ненасытная какая,—заговорила она, напуская на себя передъ Рубцовымъ еще большую развязность.

— Почему такъ?—суховато спросилъ онъ.

— Къ дѣламъ ненасытная... На Макарьевской, видно, въ этомъ году хочеть полмилліона зашибить! Вонъ какъ ее спозаранку по городу носить...

Тася чуть замѣтно усмѣхнулась. Рубцовъ попалъ значеніе этой усмѣшки.

— Сестричку-то извините,—сказалъ ей Рубцовъ, мотнувъ какъ-то особенно головой.

— Что такое? а?—закричала Любаша и встала.

— Очень ужъ, для Великаго поста, удержу себѣ не можете.

— Это что еще?

Въ другое бы время Любаша начала браниться. А тутъ она точно чѣмъ подавилась, замолчала и съежилась.

— Великій, небось, постъ идетъ, — все съ тѣмъ же спокойнымъ балагурствомъ сказалъ Рубцовъ. — Говѣете, люди?

— Отстань!—вырвалось у Любаши.

Она рѣзко встала и отошла къ окну. Тася вопросительно поглядѣла на Рубцова и тотчасъ же улыбкой какъ бы замѣтила ему: „зачѣмъ вы ее дразните?“

— Вы позволите васъ послушать?—обратился къ ней Рубцовъ, сѣлъ поближе и потеръ руки.

— Сегодня беллетристики не будетъ... критическая статья.

— Тѣмъ пріятнѣе-сь.

Любаша у окна не проронила ни одного слова... Ей дѣлалось невыносимо. И гдѣ это рыщеть „мерзкая“ тетя? Вотъ разлетѣлась сама компаньонку высматривать. И радуйся теперь!

III.

Станицына быстро вошла въ гостиную и остановилась въ двухъ шагахъ отъ двери. Она была очень блѣдна.

— Извините, Тансіа Валентиновна, заждались вы меня. Любаша, здравствуй... Сеня! Спасибо. На минутку пожалуй сюда.

Она не подошла къ нимъ здороваться и жестомъ показала Рубцову.

— Сейчасъ,—обратилась она къ дѣвицамъ.—Сеня, на два слова!

Рубцова она увела черезъ залу въ свою уборную, небольшую комнату, около дѣтской.

Ни шляпы, ни пальто съ мѣховой отдѣлкой она не снимала.

— Дѣла, Сеня!—заговорила она отрывисто.—Викторъ Миронычъ угостилъ на этотъ разъ изрядно... Сто тысячъ франковъ, срокъ послѣзавтра.

— Ловко!—вырвалось у Рубцова.

— И на фабрику не ладно.

— Что такое?

— Дѣло дойдетъ, пожалуй, до стачки... А я этого не хочу. Нѣмца я разочту... Неустойку плачу.

— Сколько?

— Десять тысячъ... Но это важнѣе. Ты идешь ко мнѣ? Рубцовъ помолчалъ.

— Скорѣй говори.

— Да мы, сестричка, вдругъ какъ не поладимъ?

— Это почему?

— Такъ, я замѣчаю.

— Полно...

Она вскинула на него рѣсницы.

— Вы привыкли теперь къ другимъ людямъ...

— Не болтай пустого, Сеня,—строго сказала она.—Ты знаешь, что я тебѣ разумѣю за честнаго человѣка. Дѣло ты смыслишь.

— Ну, ладно, ну, ладно,—шутливо заговорилъ онъ и взялъ ее за руку.

Рука дрожала.

— Сестричка, милая,—почти нѣжно вымолвилъ онъ,—что же это вы какъ разстроились? Стѣнать ли? Все уладимъ. А отъ Виктора Мироныча и надо было ждать этого. Ваша воля носить ярмо-то каторжное!..

— Что же мнѣ дѣлать?—почти съ плачемъ воскликнула она и опустилась на стулъ.

— Извѣстное дѣло—что!

— Говори.

— Оставить его на вѣки-вѣчные.

— Я не хочу, чтобъ дѣти...

— Полноте,—остановилъ ее Рубцовъ,—къ чему жадничать?

— Я не жадничаю.

— Анъ, жадничаєте. У васъ свое состояніе большое. Хватить на двоихъ. Ну, хотѣли поддержать имя, фирму, что ли, опытъ произвели. Ничего вы не подѣлаєте! Купить у него мануфактуру... Достанетъ ли у васъ на это

собственного капитала или кредита?.. Да онъ и не продасть. Онъ безъ продажи съ молотка не кончитъ. А вы не пожелаете покупать съ аукціона, пока онъ вашъ мужъ; да и не нужно вамъ.

— Я не жадничаю,—повторила она, задѣтая его словами.

— Это все отчего идетъ? Гдѣ корень?

— Развестись надо!—обронила она.

— Правильно!

— Шутка сказать!

— И совсѣмъ не трудно... Что же, пятнадцати тысячъ цѣлковыхъ, что ли, не найдется?

— Дешевле будетъ,—точно про себя выговорила Ставицына.

— И дешевле... Такіе доки есть по этой части.

Рубцовъ понизилъ голосъ и опять взялъ ее за руку.

Анна Серафимовна закрыла на минуту глаза.

— Вѣдь вотъ и онъ—честный малый и умница—говорить то же, что и она себѣ уже не разъ твердила... Разореніе и срамъ считаются женой Виктора Мироныча!..“

— Не знаю, Сеня,—промолвила она.

— Да вѣдь это, сестричка, все равно, что когда зубъ гнилой заведется. Одно малодушіе, элексирами его разными смачивать, ковырять, пломбу вкладывать. Дайте дерзнуть хорошенько. И конченное дѣло!..

— Это дѣло длинное, а выйти теперь-то какъ...

— По векселю? Заплатить—извѣстно.

— Оградить себя чѣмъ ни есть...

— Ничѣмъ не оградите. Ужъ позвольте вамъ замѣтить, что тогда вы сгоряча такую сдѣлку предложили супругу-то... Онъ парень не глупъ, сейчасъ же смекнулъ, что ему это на руку... Ступай на всѣ четыре стороны, вотъ тебѣ, батюшка, пенсіону тридцать тысячъ, долги твои всѣ покроемъ, а если тебѣ заблагоразсудится, голубчикъ, еще навypycкaть документиковъ—мы съ полнымъ удовольствіемъ...

— Полно, Сеня,—остановила Анна Серафимовна. — Ну, да, глупость великую сдѣлала въ тѣ поры, каюсь...

— А теперь тѣмъ же манеромъ желаете?

— Охъ, не знаю!

Но она застыдилась самой себя. Точно она какая дѣвочка-подростокъ... И такъ, и этакъ...

Лицо у ней приняло сейчасъ же степенный видъ.

— Ты что же, Сеня, идешь ко мнѣ?
— Да, коли у васъ никого нѣтъ, не стоять же дѣлу...
— Спасибо... Ну, я сейчасъ... поди къ барышнямъ, я приду... Ты у насъ на пѣлый день?
— На пѣлый, коли милости вашей будетъ угодно.
Она усмѣхнулась и ласково кивнула ему головой.

IV.

Оставшись одна, Анна Серафимовна опустила голову—она забыла, что была въ шляпкѣ и пальто—и сидѣла такъ минутъ съ пять.

Прошло больше десяти дней съ того, что случилось въ каретѣ. Она видѣла Палтусова всего разъ, мелькомъ, въ Большомъ театрѣ. Она возила дѣтей въ балетъ, въ утренній спектакль, въ концѣ масленицы. Онъ подошелъ къ бенуару, а потомъ, въ слѣдующій антрактъ, вошелъ и въ ложу. Такъ долженъ былъ поступить умный, тонко чувствующій человѣкъ. Никакой перемены въ тонѣ, разговорѣ. Да и какъ же ему было вести себя? Даже если бы онъ и готовъ былъ полюбить ее? Вѣдь она вела себя какъ безумная... Она замужемъ, желаетъ жить „въ законѣ“, блюдетъ свое достоинство, гордость и хочетъ оставить дѣтямъ имя добродѣтельной матери...

А въ каретѣ кинулась!.. И онъ хоть бы взглядомъ сказалъ ей: „что же вы ломаетесь, не угодно ли и дальше пойти, я такъ дурачить себя не позволю!“ Не любить. Равнодушень? Противна она ему? Кто это сказалъ? Чего же она-то ждетъ? Зачѣмъ не высвободить себя? Вотъ, Сеня Рубцовъ, и тотъ прямо говоритъ: „скиньте вы съ себя это каторжное ярмо!“

Она встала, сняла пальто и шляпу, начала стягивать перчатки, потомъ поправила волосы передъ зеркаломъ. На лбу ея не пропадала морщина. Изъ гостиной доносились молодые голоса. Вотъ эти „юнцы“ не знаютъ, небось, ея заботы. И между ними что-нибудь тоже будетъ. Люба и теперь ужъ гоняется за Рубцовымъ. Ахъ! Зачѣмъ ей самъ не восемнадцать, не двадцать лѣтъ?

Любаша все еще стояла у окна, когда Анна Серафимовна вернулась въ гостиную. Рубцовъ снова разговаривалъ съ Тасей.

— Извините, Тансіа Валентиновна,—сказала съ особенной вѣжливостью Станицына,—я васъ заставила даромъ просидѣть.

„Вотъ какія нѣжности, — думала Любаша, — все меня хотеть поразить своими „учливостями“.

— Да вы сегодня, кажется, очень утомлены, не до чтенія.

— Дѣйствительно... Сеня, — обратилась къ Рубцову Станицына, — вѣдь надо бы намъ на фабрику съездить.

— Когда угодно.

— Да хоть сегодня.

— Я свободенъ.

— Это далеко? — спросила Тася.

— Нѣтъ, за Бутырками, въ полчаса можно долетѣть, — отвѣтила Станицына.

— Я никогда не бывала ни на одной фабрикѣ, — сказала Тася.

— Не хотите ли? — предложила Станицына и поглядѣла на Рубцова.

Тотъ одобрительно кивнулъ головой.

— Очень бы интересно, — выговорила Тася серьезно и наивно.

— Вотъ и будущій директоръ фабрики, — указала Станицына на Рубцова.

— Семень Тимошеичъ? — весело вскричала Тася.

Любаша сейчасъ же отошла отъ окна.

— Честъ имѣю проздравить, ваше степенство, — сошкoль-ничала она и присѣла.

Анна Серафимовна подумала въ эту минуту, что вѣдь Долгушина — кузина Палтусова. Вотъ она увидитъ фабрику. Онъ узнаетъ отъ нея, какъ ведется дѣло... Заинтересуется и самъ, быть-можетъ, попросится посмотреть.

„Показать ей школу, порядокъ на фабрикѣ. Пускай же она ему все расскажетъ“...

— Славно, тетя! — крикнула Любаша. — Возьмите и меня.

За эту поѣздку она схватилась. Дорогой и тамъ, на фабрикѣ, можно будетъ, какъ-ни-какъ, поддѣть эту барышню-чтицу. Она ничего навѣрно не читала стоящаго, только пьески да романы... Въ естественныхъ наукахъ — навѣрняка — ни бельмеса. Вотъ она и поразспроситъ ее, такъ, между прочимъ, и насчетъ химіи, и разнаго другого. Случай будутъ.

— А тетенька заволнуется?

— Эка важность! Ну, пошлите, что къ обѣду не буду...

— Обѣдать у меня. Мы вернемся къ шести часамъ... Вамъ занятно будетъ, — обратилась Станицына къ Тасѣ.



— Какъ же! какъ же!—весело откликнулась та и даже захлопала въ ладоши.

„Актерка поганая, — выбранилась Любаша, — все—нарочно, егозить передъ Сенькой“.

— Да у насъ нѣмецкая масленица будетъ!—оживленно выговорилъ Рубцовъ и потеръ руки.—Вѣдь мы на тройкѣ, небось, сестричка?

Рѣшили ѣхать на тройкѣ. Пока привели сани—всѣ трое закусили. Анна Серафимовна была разсѣянна. Любаша нѣсколько разъ пробовала поддѣвать Тасю. Рубцовъ каждый разъ не давалъ ей разойтись. Тася старалась не смотрѣть на то, какъ Любаша дѣйствуетъ ножомъ и вилкой, и не понимала еще, чего отъ нея хочетъ эта купеческая „злюка“.

V.

Тройка миновала Бутырки. Погода прояснилась. Тасю посадили рядомъ съ Анной Серафимовной. Противъ нея сѣлъ Рубцовъ. Рядомъ съ нимъ—на передней же скамейкѣ—Любаша. Она сама предложила Тасѣ помѣститься на задней скамейкѣ, но ей было очень непріятно, что Рубцовъ „угодилъ“ напротивъ „мамзели“.

Тася ѣхала и вспоминала другую тройку, когда они скакали разъ въ паркъ, къ Яру, съ Грушевой. Опять она съ купцами. Должно—быть, изъ этого ужъ не высвободишься. Все купцы! И ѣдетъ она не къ пыганамъ, а на фабрику, въ первый разъ въ жизни. Что-то такое крѣпко-жизненное входило въ сердце Таси. Ея теперешняя „хозяйка“—милліонщица,—настоящій человекъ, управляетъ двумя фабриками, сколько народу подъ командой! И какая у ней выдержка! Всегда ровна, привѣтлива, а на душѣ у ней, навѣрно, не ладно... Даже эта Любаша—пужды нѣтъ, что она вульгарна—все-таки характеръ. Что чувствуетъ, то и говорить. И у ней, навѣрно, сто тысячъ приданого, и она будетъ тоже завѣдывать большой торговлей или фабрикой, если мужъ попадется плохенькій. Глаза Таси перешли къ Рубцову. Онъ сидѣлъ молодцовато, въ мѣховой шапкѣ... Отложной куній воротничекъ красиво окладывалъ овалъ его лица. Похожъ, разумеется, на приказчика, если посмотрѣть дворянскими глазами... А тоже—натура. Вотъ директоромъ цѣлой фабрики будетъ... Все дѣло, работа... Не то что въ ихъ дворянскихъ перелюбахъ..

Сани ныряли въ ухабы. Любаша вскрикивала... Всѣмъ сдѣлалось веселѣе. Рубцовъ раза два спросилъ Тасю:

— Не беспокою ли я васъ?

Взяли влѣво. Кругомъ забѣлѣло поле. Вдали видѣлся лѣсокъ. Кирпично-красный ящикъ фабрики стоялъ на дворѣ за низкимъ заборомъ.

Директора не было на фабрикѣ. Станицына имѣла съ нимъ объясненіе утромъ въ амбарѣ. Онъ не возвращался еще изъ города.

Ихъ встрѣтилъ въ сѣняхъ его помощникъ, коренастый остзейскій нѣмецъ, въ курткѣ и безъ шапки. Лицо у него было красное, широкое, съ черной, подстриженной бородкой. Анна Серафимовна поклонилась ему хозяйскимъ поклономъ. Тася это замѣтила.

Они вошли въ помѣщеніе, гдѣ лежали груды грязной шерсти. Воздухъ былъ пресыщенъ жирными испареніями. Рядомъ промывали. Въ чанахъ прѣла какая-то каша и выходила оттуда въ видѣ чистой желтоватой шерсти. Рабочіе кланялись хозяйкѣ и гостямъ. Они были всѣ въ однихъ рубашкахъ. Анна Серафимовна хранила степенное, чисто-хозяйское выраженіе лица. Любаша какъ-то все подмигивала. Ей хотѣлось показать и Станицыной, и Рубцову, что они „кулаки“.

— Здѣсь ужъ такое мѣсто,—обратилась Станицына къ Тасѣ,—чистоту трудно наблюдать.

— Что вы оправдываетесь, тетя! Сами увидимъ,—виѣшалась Любаша.

Заглянули и туда, гдѣ печи и котлы. Тасѣ жаль сдѣлалось кочегаровъ. Запахъ масла, гари, особый жаръ, смѣшанный съ парами, обдали ее. Рабочіе смотрѣли на нихъ добродушно своими широкими, потными лицами. У одного кочегара воротъ рубашки былъ разстегнутъ и ноги босыя.

— Такъ легче! — сострила Любаша. — Добровольная каторга,—прибавила она громко.

Анна Серафимовна посмотрѣла на нее съ укоризной. Рубцовъ сказалъ ей насмѣшливо:

— Не хотите ли по верхней вонъ галлерей пройтись? Тамъ градусовъ сорокъ. Пользительно будетъ.

Въ нижнихъ топленихъ сѣняхъ и на чугунной лѣстницѣ показалось очень холодно послѣ паровиковъ. Они поднялись навстрѣчу.

Прядильныя машины всего больше заняли Тасю. Въ огромныхъ залахъ ходило взадъ и впередъ, двигая длин-

ныя штуки на колесахъ, по пяти, по шести мальчиковъ. Хозяйка говорила съ ними, почти каждого знала въ лицо. Рубцовъ шелъ позади дамъ, подробно объяснялъ все Тасѣ; отвѣчалъ и на вопросы Любаши, но гораздо кратче.

— А что вотъ этакій мальчикъ получаетъ?—позволила себѣ спросить Тася, понизивъ голосъ.

— Извѣстно, малость,—вмѣшалась Любаша.

— Рублей шесть,—сказалъ Рубцовъ.

— Да,—подтвердила Анна Серафимовна.

— Не разорительно!—подхватила Любаша.

Тася не знала, много это или мало.

На окнахъ, за развѣшанными кусками сукна, сидѣли дѣвушки, въ ситцевыхъ капотахъ, повязанныя цвѣтными платками, больше босыя.

— Что онѣ дѣлають?—спросила Тася.

— Пятнышки красять,—пояснила сама Анна Серафимовна.

Дѣвушки прикладывались кисточками къ чуть замѣтнымъ бѣлымъ пятнышкамъ сукна. Онѣ смотрѣли бодро, отвѣчали бойко.

— Небось, рублика три жалованья? — сказала Любаша и поморщилась.

— Пять рублей,—сухо сообщила Станицына.

Она рѣшительно сожалѣла, что взяла съ собой свою кузину. Ей пріятно было показать Тасѣ, какое у ней благоустройство на фабрикѣ; а эта Любаша разстраивала все впечатлѣніе своими неумѣстными окриками и выходками.

Минуть съ двадцать походили они по другимъ заламъ, гдѣ ткацкіе паровые станки стояли плотнымъ рядомъ и шелъ несмолкаемый гулъ колесъ и машинныхъ ремней. Побывали и въ самомъ верхнемъ помѣщеніи со старыми ручными станками.

VI.

Въ большой комнатѣ, гдѣ лежали всякія вещи: металлическіе прессы, образчики, бракованные куски сукна, Любаша остановила Рубцова. Анна Серафимовна еще не сходила съ Тасей съ верхняго этажа. Рубцову захотѣлось курить.

— Сень,—начала Любаша, — ты идешь къ ней въ директоры?

Она не сказала даже къ „тетѣ“.

— Иду.



— Есть охота!.. Въ наймиты!

— Это почему?

Рубцовъ прислонился къ столу, взялъ въ руку пачку образчиковъ и, наморщивая одинъ глазъ, сталъ ихъ разсматривать.

— Да все какъ въ услуженіе.

— Все вы зря...

— И не вѣрю я ей ни на грошъ!—заговорила горячо Любаша и заходила взадъ и впередъ между двумя шкапами.

— Кому—ей?—спросилъ Рубцовъ.

— Да хозяйкѣ твоей, Аннѣ Серафимовнѣ. Зачѣмъ она насъ сюда притащила?

— Сами напросились.

— Точно мы не понимаемъ. Выставить себя хочетъ благодѣтельница рода человѣческаго: какъ у ней все чудесно на фабрикѣ! И рабочихъ-то она ублажаетъ! И дѣтей-то ихъ учить!.. А все едино, что хлѣбъ, что мякина... Такая же каторжная работа... Постои-ка такъ двѣнадцать часовъ около печки или покряхти за станкомъ...

— Какъ же быть?

— Ахъ, ты, американецъ! Какъ же быть?! Прежде ваша милость что-то не такъ изволила разсуждать?

— Эхъ!..—вырвалось у Рубцова.

— Да, извѣстно, испортился ты!—почти крикнула Любаша и подскочила къ нему. — Разсуди ты одно: рабочий полтинникъ въ день получаетъ...

— И до трехъ рублей.

— Ну, до трехъ... На своихъ харчахъ, небось? А бабы, а дѣвки? Пять цѣлковыхъ, и копти цѣлый день! А барышни идутъ, изволите ли видѣть, на уплату долговъ Виктора Миронича и на чечеревать Анны Серафимовны... Сколотить лишній миллиончикъ, тогда откупиться можно... Развестись... Госпожой Палтусовой быть!

— Это почему?

— Смотрите, какая мудрость догадаться, что она, какъ кошка, вѣззамшись... Все господа дворяне соблазняютъ... Такая ужъ у насъ теперь болѣзнь купеческая...

Она вызывающе-насмѣшливо взглянула на него. Рубцовъ чуть замѣтно покраснѣлъ.

— Слушать тошно!

— Это отчего?—уже совсѣмъ разсердилась Любаша, близко подошла къ нему и взяла его за руку. — Это отчего? Или и у вашей милости рыльце-то въ пушку?..

Рубцовъ отвелъ ее движеніемъ руки

— Вы бы, Любовь (онъ въ первый разъ ее такъ назвалъ), лучше на себя оглянулись. Другіе люди живутъ какъ люди — кто какъ можетъ, а вы только бранитесь, да безъ толку болтаете. Книжки читали, да разума ихъ не уразумѣли. Нѣтъ, этотъ товаръ-то дешевый!.. А угодно другимъ въ носъ тыкать ихъ кулачествомъ, такъ такъ бы и поступали... Не трудно это сдѣлать... Подите къ тѣмъ, кому ваши деньги понадобятся... Отдайте ихъ...

Любаша вся раскраснѣлась сразу, повела глазами и стала противъ Рубцова.

— И отдамъ, когда мнѣ захочется. Когда онѣ у меня будутъ! — глухо крикнула она, но тотчасъ же ея голосъ зазвучалъ по-другому, глаза мигнули разъ, другой и какъ будто подернулись влагой. — У меня теперь ничего нѣтъ, — продолжала она уже не гнѣвно, а искренно, — а когда меня выдѣлать, я сумѣю употребить съ толкомъ деньгу, какая у меня будетъ. Я и хотѣла... по душѣ съ тобой говорить... Устроили бы не кулаческое заведеніе... Коли ты другой человѣкъ, не промышленникъ, вотъ бы и могъ...

Она не досказала, обернулась и отошла къ окну, испугалась, что заплачетъ и выкажетъ ему свою слабость...

— Эхъ, вы! — задорно крикнула она прежнимъ тономъ, оборачиваясь лицомъ къ Рубцову. — Всѣ-то вы на одну статью!.. Ну васъ!

Любаша готова была бы „оттаскать“ его въ эту минуту. И зачѣмъ это она въ „чувствіе“ вдалась съ этимъ „чурбаномъ“, съ „шельмой-парнишкой“... Ему дворянка нужна — видимое дѣло. Сколотить себѣ капиталъ и развѣзжать съ женой, генеральской дочерью, по заграницамъ!..

— Желаю вамъ всякаго успѣха! — сухо сказалъ Рубцовъ, бросилъ на полъ окурокъ папиросы и затопталъ его.

Очень ужъ она ему надоѣла въ послѣднія двѣ недѣли.

— Слышишь! — крикнула Любаша. — Я тебѣ ничего не говорила... ничего!

Дверь отворилась. Станицына вошла первая. Любаша опять отскочила къ окну. Лицо Таси сдѣлалось ей въ эту минуту такъ ненавистно, что она готова была броситься на нее.

— По домамъ? — спросилъ Рубцовъ.

— Вотъ Тасиѣ Валентиновнѣ желательно на шпору поглядѣть...

— Да,—подтвердила Тася.

— И то дѣло,—сказалъ Рубцовъ и двинулся за ними. Любаша пошла, кусая ногти, послѣдней.

VII.

Отправились сначала въ „казарму“. Анна Серафимовна хотѣлось, чтобы родственница Палтусова видѣла, какъ помѣщены рабочіе. Побывали и въ общихъ камерахъ, и въ квартиркахъ женатыхъ рабочихъ. Въ одной изъ камеръ стоялъ очень спертый воздухъ. Любаша зажала себѣ съ гримасой носъ и крикнула:

— Ну, вентиляція!..

Она же подбѣжала къ одной изъ коекъ и такъ же громко крикнула:

— Насѣкомыхъ-то сколько! Батюшки!

Анна Серафимовна покраснѣла и тотчасъ же сказала, обращаясь къ Тасѣ и Рубцову:

— Директоръ съ рабочими изъ-за чистоты тоже воевалъ. Не очень-то любить ее... нашъ народецъ...

— Вентилировать можно бы,—замѣтилъ Рубцовъ.

— Да и постельки-то другія завести,—подхватила Любаша.

Тася только слушала. Она не могла судить—хорошо ли содержать рабочихъ или нѣтъ. У нихъ въ людскихъ, куда она иногда заходила, и грязи было больше, совсѣмъ никакихъ коекъ, а ужъ о тараканахъ и говорить нечего!..

Въ казармѣ женатыхъ рабочихъ воздухъ былъ тоже „не перваго сорта“, по замѣчанію Любашы; номера смотрѣли веселѣе, въ нѣкоторыхъ стояли горшки съ цвѣтами на окнахъ, кое-гдѣ кровати были съ ситцевыми занавѣсками. Но малые ребятинки оставались безъ призора. Ихъ матери всѣ почти ходили на фабрику.

— Кто побольше — учатся, — замѣтила Анна Серафимовна.

Любаша замолчала. Она только взглядывала на Рубцова. Всѣхъ тронхъ—и его, и Тасю, и Станицыну—она послала „ко всѣмъ чертямъ“.

Въ школѣ они застали послѣобѣденный классъ. Дѣвочки и мальчики учились вмѣстѣ. Довольно тѣсная комната была набита дѣтьми. И тутъ стоялъ спертый воздухъ. Учитель—черноватый молодой человѣкъ съ чахоточнымъ лицомъ—и весь классъ встали при появленіи Станицыной.

— Пожалуйста, садитесь, — сказала она, немного стѣсненная.

Лишнихъ стульевъ не было. Посѣтители сѣли на окнахъ. Анна Серафимовна попросила учителя продолжать урокъ.

Учитель, стоя на кафедрѣ, говорилъ громко и раздѣльно фразы и заставлялъ классъ схватывать ихъ на память. Послѣ каждой фразы онъ спрашивалъ:

— Кто можетъ?

И десятокъ дѣвочекъ и мальчиковъ подсказывали на своихъ мѣстахъ и поднимали руку.

— Откуда учитель? — тихо спросила Тася у Анны Серафимовны.

— Изъ учительской семинаріи.

Раза два-три выходили „осѣчки“. Вскочить мальчуганъ, начнетъ и напутаетъ; классъ тихо засмѣется. Учитель сейчасъ остановить. Одна дѣвочка и два мальчика отличались памятью: повторяли отрывки изъ басенъ Крылова въ три-четыре стиха. Тасю это очень заняло. Она тихо спросила у Рубцова, когда онъ пододвинулся къ ихъ окну:

— Это все на счетъ Анны Серафимовны?

— Какъ же, — съ удовольствіемъ отвѣтилъ онъ.

Станицына улыбнулась и сказала Тасѣ:

— А къ осени хочу два класса устроить... тѣсно; а можетъ-быть, и ремесленную школу заведу.

— Благое дѣло! — подтвердилъ Рубцовъ.

Любаша молчала. Она подошла къ кафедрѣ, когда остальные посѣтители уходили, и спросила учителя:

— Жалованья что получаете?

Учитель быстро поглядѣлъ на нее недоумѣвающими глазами и тихо отвѣтилъ:

— Шестьсотъ рублей-съ.

— Съ харчами?

— Квартира и дрова.

Она кивнула головой и пошла съ перевальцемъ.

Анна Серафимовна спускалась молча съ лѣстницы. Она была недовольна посѣщеніемъ фабрики. Правда, въ рабочихъ она не нашла большой смуты. Остаткѣ ей наговорилъ директоръ. Его она разочтеть на-дняхъ. Съ Рубцовымъ она поладить.

Разговоръ съ Любашей немного разстроилъ Рубцова. Его мужская гордость была задѣта. Не этой „шалой озорной дѣвчонкѣ“ учить его благородству. Не кулакъ онъ!

И не станет онъ потакать — хотя бы и въ директоры пошелъ — хозяйской скарденности. Его „сестричка“ — баба хорошая. Нѣмецъ былъ плутъ, зналъ свой карманъ, ненавистничалъ съ фабричными. Можно все на другую ногу поставить. Только зачѣмъ ему такія палаты, какія выведены тутъ на дворѣ для директора? Онъ — одинъ... Глядѣлъ онъ вслѣдъ Тасѣ. Она сѣменила ножками по рыхлому снѣгу... Такая милая дѣвушка — въ мамзеляхъ!

Лицо Рубцова вдругъ просвѣтлѣло. Что-то заиграло у него въ головѣ.

А Тася плала задумавшись. Она чувствовала, что ей, генеральской дочери, придется долго-долго жить съ купцами... даже если и на сцену поступить.

VIII.

Мертвенно-тихо въ домѣ Нѣтовыхъ. Два часа ночи. Евлампій Григорьевичъ вернулся вчера съ вечера, объ эту же пору, и нашелъ на столѣ депешу отъ Марьи Орестовны. Депеша пришла изъ Петербурга и въ ней стояло: „Буду завтра съ курьерскимъ. Приготовить спальню“. Больше ничего. Последнее письмо ея было еще съ юга Франціи. Она не писала около трехъ мѣсяцевъ.

Депеша его не обрадовала и не смутила. Прежнихъ чувствъ Евлампій Григорьевичъ что-то не находилъ въ себѣ. Вотъ на вчерашнемъ вечерѣ онъ жилъ настоящей жизнью. Тамъ ему хоть и дѣлалось по временамъ жутко, зато подмывали разныя вещи. Богатый и литературный баринъ пригласилъ его на свой понедѣльникъ. Его хотѣли опять залучить. Вспоминали покойнаго Лещова, предостерегали, видимо добивались, чтобы онъ опять плясалъ по ихъ дудкѣ. Тамъ были и его родственнички — Красноперый и Вломцевъ. Красноперый много болталъ, Вломцевъ отмалчивался. Хозяинъ сладко такъ говорилъ. Въ немъ, значить, нуждаются. Извѣстно, что: денегъ дай на газету... А онъ ихъ отбрилъ! Они думали, что онъ не можетъ ходить безъ помочей; анъ, вышло, что очень можетъ. Ни въ правыхъ, ни въ лѣвыхъ — ни въ какихъ онъ не желаетъ быть! Хотѣлъ онъ вынуть изъ кармана свое „жизнеописаніе“ и прочесть вслухъ. Онъ три мѣсяца его писалъ и напечатаетъ отдѣльной брошюрой, когда подойдутъ выборы, чтобы всѣ знали — каковъ онъ есть человекъ.

Вернулся онъ сильно возбужденный, въ головѣ зароди-

лось столько мыслей. И вдругъ эта депеша... Марья Орестовна отставила его отъ своей особы сразу и навѣщать себя за границей запретила. Потосковалъ онъ вначалѣ, да что-то скоро забывать сталъ. Казалось ему минутами, что онъ и женатъ никогда не бывалъ. Любовь куда-то ушла... Боялся онъ ея, а теперь не боится... Все-таки она женскаго пола. Попросту сказать—баба! Куда же ей противъ него? Вотъ онъ всю зиму думалъ, и говорилъ, и даже писалъ самъ... Можетъ, ей неприятно бы было, чтобы онъ ее встрѣтилъ на желѣзной дорогѣ. Онъ и не поѣхалъ. Послалъ карету съ лакеемъ.

Ее привезли. Изъ кареты вынесли. Пріѣхалъ съ ней и братъ. Понесли и по лѣстницѣ. Она совсѣмъ зеленая; но голосъ не измѣнился... Первымъ дѣломъ язвительно сказала ему:

— На вокзалъ-то не пожаловали... И хорошо сдѣлали...

Братъ шепнулъ ему, что надо сейчасъ же за докторомъ. Евлампій Григорьевичъ распорядился, но безъ всякой тревоги и суетливости.

Только что ее уложили въ постель, онъ ушелъ въ кабинетъ и не показывался. Это очень покорило брата Марьи Орестовны. Евлампій Григорьевичъ, когда тотъ вошелъ къ нему въ кабинетъ, встрѣтилъ его удивленно. Онъ опять засѣлъ за письменный столъ и поправлялъ печатные листки.

— Братецъ... — началъ полумошотомъ Педенчиковъ, — вы видите, въ какомъ она положеніи.

— Кто-съ?—спросилъ разсѣяннo Нѣтовъ.

— Мари.

— Да!.. Докторъ сейчасъ будетъ.

— Я думаю, нужно консилиумъ... Я боюсь назвать бо-
лѣзнь...

Нѣтовъ не слушалъ. Глаза его все возвращались къ листкамъ, лежащимъ на столѣ.

— Я долженъ васъ предупредить...

— А что-съ?

— Да какъ же.. Мари вѣдь опасна..

— Опасна-съ?

Евлампій Григорьевичъ оставилъ свои листки и повыше приподнял голову.

Братъ Марьи Орестовны, при всей своей сладости, сжалъ губы на особый ладъ. Такая безчувственность просто изумляла его, казалась ему совершенно неприличной.

— А вотъ докторъ чтò скажетъ... Я ничего не могу...
Не обучали-съ...

Глаза Нѣтова бѣгали. Онъ почти смѣялся. Леденщиковъ даже сконфузился и пошелъ къ сестрѣ. Она его прогнала.

Пріѣхалъ годовой докторъ. Евлампій Григорьевичъ поздоровался съ нимъ, потирая руки, съ веселой усмѣшкой, проводилъ его до спальни жены и тотчасъ же вернулся къ себѣ въ кабинетъ. Леденщиковъ въ кабинетѣ сестры прислушивался къ тому, что въ спальнѣ. Минуть черезъ десять вышелъ докторъ съ разстроеннымъ лицомъ и быстро пошелъ къ Нѣтову. Леденщиковъ догналъ его и остановилъ въ залѣ.

— Серьезно?—прокартавилъ онъ.

— Очень, очень!—кинулъ докторъ.

Онъ сказалъ Нѣтову, что надо призвать хирурга, а онъ будетъ ѣздить для общаго лѣченія, намекнулъ на то, что понадобится, быть-можетъ, и консилиумъ.

Нѣтовъ слушалъ его въ позѣ дѣлового человѣка и все повторялъ:

— Такъ-съ... такъ-съ...

Докторъ раза два поглядѣлъ на него пристально и, уходя, на лѣстницѣ сказалъ Леденщикову:

— Вы ужъ займитесь уходомъ за больной. Евлампій Григорьевичъ очень пораженъ.

— Пораженъ?—переспросилъ Леденщиковъ.—Не знаю, мы его нашли такимъ же... страннымъ...

Братъ Марьи Орестовны желалъ одного: чувствительной сцены съ своей „безцѣнной“ Мари.

IX.

Въ спальнѣ Марьи Орестовны тяжелый воздухъ. У ней на груди—язва. Перевязывать ее мучительно больно. Она лежитъ съ закинутой головой. Ее оскорбляетъ ея болѣзнь—карбункулъ. Съ этимъ словомъ Марья Орестовна примирилась... Мазали-мазали. Она ослабла,—это показалось ей подозрительнымъ. Это былъ ракъ. Доктора сказали ей, накопецъ, обвиняками.

Собралась она тотчасъ же въ Москву—умирать. Такъ она и рѣшила про себя. Братъ повезъ ее. Она этого не желала. Онъ присталъ. Довезли бы и такъ, довольно было ея толковой и услужливой горничной-нѣмки. За границей братъ ей еще больше опротивѣлъ. Имѣла она глупость

сказать ему, что у ней есть свое состояніе... Онъ, хотя и глупъ, а полегоньку многое отъ нея выпыталъ. Вотъ теперь и будетъ канючить, приставать, чтобы она завѣщаніе написала въ его пользу... А она не хочетъ этого. Будь Палтусовъ съ ней понѣжнѣ... Она бы оставила ему половину своихъ денегъ. Писалъ онъ аккуратно и мило, почтительно, умно... Но къ ней самъ не собрался, даже и намека на это не было... Гордъ очень... Насильно милой не будешь! Все-таки она посовѣтуется съ нимъ... Довольно этому тошному братцу—„клянчѣ“—и ста тысячъ рублей... Камеръ-юнкерства-то ему что-то не даютъ; да и мало ли болтается камеръ-юнкеровъ совсѣмъ голыхъ?

„Не встану, — говорить про себя больная, — нечего и волноваться“. И минутами точно пріятно ей, что другіе боятся смерти, а она—нѣтъ... Заново жить?.. Какая сладость! За границей она—ничего. Здѣсь опостылѣло ей все... Одинъ человѣкъ есть стоящій, да и тотъ не любить...

Да, сдѣлать бы его своимъ наслѣдникомъ, дать ему почувствовать, какъ она выше его своимъ великодушіемъ, такъ и сказать въ завѣщаніи, что: „считаю, молъ, васъ достойнымъ поддержки, вѣрю, что вы сумѣете употребить даруемыя мною средства на благо общественное; а я почитаю себя счастливой, что открываю такому энергическому и талантливому молодому человѣку широкое поле дѣятельности“...

Въ головѣ ея эти фразы укладываются такъ хорошо. Голова совсѣмъ чиста, и останется такой до послѣдней минуты—она это знаетъ.

А то можно по-другому распорядиться. Ну, оставить ему чтонибудь, тысячъ пятьдесятъ, что ли, да столько же брату, или побольше, чтобы не ходилъ по добрымъ людямъ и не жаловался на нее... Да и то сказать, гдѣ же ему остаться безъ добавочнаго дохода къ жалованью. Да и удержится ли онъ еще на своемъ консульскомъ мѣстѣ? Она даетъ ему три тысячи въ годъ, иногда и больше. И надо оставить столько, чтобы проценты съ капитала давали ему тысячи три, много четыре.

Остальное связать со своимъ именемъ. Завѣщать двѣсти тысячъ — цифра эффектная — на какое-нибудь заведеніе, напримѣръ, хоть на профессиональную школу... Никто у насъ не учитъ двѣшекъ полезнымъ вещамъ. Все науки, да литература, да контрапунктъ, да идеи разныя... Вотъ

и ее, Марью Орестовну, заставъ скроить платье, нарисовать узоръ, что-нибудь склеить или устроить, дать рисунокъ мастеру,—ничего она не можетъ сдѣлать. А въ такой школѣ всему этому будутъ учить.

Два часа продумала Марья Орестовна. И боли утихли, и про смерть забыла... Завѣщаніе все у ней въ головѣ готово... Вотъ пріѣдетъ Палтусовъ, она ему сама продиктуетъ, назначить его душеприказчикомъ, исполнителемъ ея воли... Онъ выхлопочетъ, чтобы школа называлась ея именемъ...

Лежить она съ закрытыми глазами, и ей представляется красивый двухъэтажный домъ, гдѣ-нибудь въ сторонѣ Сокольниковъ или Нескучнаго, на дворѣ, за рѣшеткой... И ярко играютъ на солнцѣ золотыя слова вывѣски: „Профессиональная школа имени Маріи Орестовны Нѣтовой“. И каждый годъ панихида въ годовщину ея смерти: генералъ-губернаторъ, гражданскій губернаторъ, попечитель, всѣ власти, самыя сановныя дамы. Сколько простоить заведеніе, столько будетъ и панихидъ. Но этого еще мало... Палтусовъ составитъ ея жизнеописаніе. Выйдетъ книжка къ открытію школы... Ее будутъ раздавать всѣмъ даромъ, съ ея портретомъ. Надо, чтобы сняли хорошую фотографію съ того портрета, что виситъ у Евлампія Григорьевича въ кабинетѣ. Тамъ у ней такое умное и пріятное выраженіе лица... Палтусовъ сумѣетъ сочинить книжку...

И желаніе его видѣть стало расти въ Марьѣ Орестовнѣ съ каждымъ часомъ. Только она не приметъ его въ спальнѣ... Тутъ такой запахъ... Она велитъ перенести себя въ свой кабинетъ... Онъ не долженъ знать, какая у нея болѣзнь. Строго-на-строго накажетъ она брату и мужу ничего ему не говорить... Лицо у ней блѣдно, но то же самое, какъ и передъ болѣзнью было.

Она такъ мало интересовалась лѣченьемъ, что отвѣтила брату, сказавшему ей насчетъ консилиума:

— Пускай! Все равно!

Х.

На консилиумѣ смертный исходъ былъ научно установленъ. Операциі дѣлать нельзя, антоновъ огонь уже образовался и будетъ разѣдать, сколько бы ни рѣзали.

Годовому доктору поручили сказать Евлампію Григорьевичу, что надо приготовить Марью Орестовну.

Онъ это принялъ такъ равнодушно, что докторъ поглядѣлъ на него.

— Приготовить?—переспросилъ Евлампій Григорьичъ и улыбнулся.—Извольте. Я скажу-съ. Всѣ смертны. Оно, знаете, и лучше, чѣмъ такъ мучиться.

Докторъ съ этимъ согласился.

А больная лежала въ это время съ высоко-поднятой грудью—иначе боли усиливались, и съ низко-опущенной головой и глядѣла въ лѣпной потолокъ своей спальни... По лицамъ докторовъ она поняла, что ждать больше нечего...

— Ахъ, поскорѣ бы!—вырвалось у ней со вздохомъ, когда они всѣ вышли изъ спальни.

Въ который разъ она перебирала въ головѣ ходъ болѣзни, и конецъ ея—не то ракъ, не то гангрена... Не все ли равно... А умъ не засыпаетъ, свѣтель, голова даже почти не болитъ... Скоро, должно-быть, и забытье начнется. Поскорѣ бы!

Противны сдѣлались ей осенью Москва, домъ, погода, улица, мужъ, все... А за границей болѣзнь нашла и умирать тамъ не захотѣлось... Сюда пріѣхала... Только бы никто не мѣшалъ... Хорошо, что горничная-нѣмка ловко служить...

За изголовьемъ кашлянули.

„Что ему?“—подумала съ гримасой Марья Орестовна. Она узнала покашливанье мужа... Съ тѣхъ поръ, какъ она здѣсь опять, онъ ей какъ-то меньше мозолить глаза... Только въ немъ большая перемѣна... Не любитъ она его, а все же ей сдѣлалось странно и какъ будто обидно, что онъ все улыбается, ни разу не всплакнулъ, ободряетъ ее какимъ-то небывалымъ тономъ.

— Это ты?—спросила Марья Орестовна.

Она ему говорить „ты“, онъ ей „вы“, какъ и прежде, только не тотъ звукъ.

Евлампій Григорьевичъ подошелъ, потирая руки.

— Какъ себя чувствуете?—спросилъ онъ и присѣлъ на стулъ, въ ногахъ кровати.

— Что тутъ спрашивать?—оборвала она его.

— Конечно-съ,—вдохнулъ онъ.—Сами извольте разумѣть... Кто подъ колею попадетъ... А кто и такъ.

Марья Орестовна начала всматриваться въ него и подниматься. Улыбка глупѣе прежней, а по теперешнему настроенію—жена умираетъ—и совсѣмъ точно безумная, глаза разбѣгаются.

Она еще приподнялась и молча глядѣла на него.

— Всѣ подъ Богомъ-съ,—выговорилъ онъ, всталъ и началъ, потирая руки, скоро ходить по комнатѣ.

„Да, онъ помутился, — подумала она и ей жаль стало вдругъ. — Не отъ любви ли къ ней? Кто его знаетъ! Просто оттого, что безъ указки остался и не совладалъ съ своей душонкой“.

— Сядь!—строго сказала она ему.

Онъ присѣлъ на край постели:

— Ты видишь, мнѣ не долго жить,—выговаривала она твердо и поучительно,—ты останешься одинъ. Брось ты свои должности и званія разныя... Не твоего это ума. Лещовъ умеръ, у дяди своего дѣла много, Краснопѣрый тебя же будетъ вездѣ въ шуты рядить... Брось!.. Живи такъ—въ почетѣ, ну, добрыя дѣла дѣлай, давай стипендіи, картины, что ли, покупай. Только не торчи ты во фракѣ, съ портфелемъ подъ мышкой, если желаешь, чтобы я спокойно въ могилѣ лежала. Совѣтуйся съ Палтусовымъ, съ Андреемъ Дмитріевичемъ... И по торговымъ дѣламъ... А лучше бы всего, чтобъ тебя приказчики не обворовывали, живи ты на капиталъ, обрати въ деньги... Ну, домъ этотъ держи... угощай, что ли, Москву... Дадутъ и за это генерала... Числись какимъ-нибудь почетнымъ попечителемъ... А дашь покрупнѣе взятку, такъ и Станислава повѣсятъ черезъ плечо...

Евлампій Григорьевичъ не дослушалъ жены. Онъ всталъ, подошелъ къ ея изголовью, разставилъ какъ-то странно ноги, щеки его покраснѣли, глаза загорѣлись и гнѣвно, почти злобно уставились на нее.

— Не ваша сухота, не ваша сухота!—заговорилъ онъ обиженнымъ тономъ.—Мы не въ малолѣтствѣ... Вы о себѣ лучше бы, Марья Орестовна... папутствіе, и отъ всѣхъ прегрѣшеній... А я на своихъ ногахъ, изволите меня слышать и понимать? На своихъ ногахъ!.. И теперь какую въ себѣ чувствую силу, и что я могу, и какъ хочу отдавать себя, значить, обществу и всему гражданству,—я это довольно ясно изложилъ... И брошюра моя готова... Только, **можеть**, страпичку-другую...

Онъ махнулъ рукой и опять заходилъ.

— Сядь!—приказала она ему.

Но онъ не послушался и заговорилъ съ такимъ же волненіемъ.

— Оставь меня!—утомленно сказала она.

Нѣтовъ ушелъ.

Ей было все равно. Поглупѣлъ онъ или собирается совсѣмъ свихнуться. Не стоить онъ и ея напутствія... Пусть живетъ, какъ хочетъ... Хотя гаремъ заводи въ этихъ самыхъ комнатахъ... Авось, Палтусовъ не дастъ совсѣмъ осрамиться.

XI.

Два раза послала она на квартиру Палтусова. Мальчикъ и кучеръ отвѣчали каждый разъ одно и то же, что Андрей Дмитричъ въ Петербургѣ, „адреса не оставляли, а когда будутъ назадъ—не извѣстно“. Кому телеграфировать? Она не знала. Ея братъ придумалъ, послать депешу къ одному сослуживцу, чтобы отыскать Палтусова въ отеляхъ... Ждали четыре дня. Пришла депеша, что Палтусовъ стоитъ у Демута. Туда телеграфировали, что Марья Орестовна очень больна, „при смерти“, велѣла она сама прибавить. Полученъ отвѣтъ: „буду черезъ два дня“.

Прошли сутки... А его нѣтъ... Что же это такое?.. Онъ—довѣренное лицо, у него на рукахъ все ея состояніе, ему шлютъ отчаянную депешу, онъ отвѣчаетъ: „буду черезъ два дня“, и—ничего.

Сколько ей жить? Быть-можетъ, два дня, быть-можетъ, недѣлю—не больше... Она хотѣла распорядиться по его совѣту, оставить на школу тамъ, что ли, или на что-нибудь такое. Но нельзя же такъ обращаться съ ней!..

Ну, не нравится она ему, какъ женщина, такъ, по крайней мѣрѣ, покажи вниманіе. Вотъ они—тонкіе, воспитанные мужчины... За ея ласку, довѣріе—такая расплата! Его только она и отличала изъ всей Москвы. Его мнѣніемъ только и дорожила, въ послѣдній годъ особенно... Пропади-пропадомъ все ея состояніе! Не хочетъ она никакого завѣщанія писать. Еще утомляться, подписывать, слушать, братецъ будетъ канючить, съ Евлампіемъ Григорьевичемъ надо будетъ говорить... Кто наслѣдникъ, тотъ пускай и будетъ наслѣдникъ. Мужу четвертая часть опять вернется, остальное тому... глупому, долговязому.

Досадно ей, горько... Но оставить на школу—кому поручить? Украдутъ, растащутъ, выйдетъ глупо. А то еще братецъ процессъ затѣетъ, будетъ доказывать, что она завѣщаніе писала не въ своемъ умѣ. Его сдѣлать душеприказчикомъ?.. Онъ только самъ станетъ величаться... Довольно съ него.

На другой день съ утра Марья Орестовна почувствовала себя легко... Пришелъ братецъ. Она поглядѣла на него съ насмѣшливой улыбкой и спросила:

— Ты что же не просишь меня?

— О чемъ, Мари?

— Да чтобъ побольше денегъ тебѣ оставила?

Онъ опустилъ глаза и покраснѣлъ.

— Ахъ, полно... Безцѣнная моя,—началъ было онъ.

— Сладокъ ты очень, дружокъ,—перебила она его.— Не обижу.

— Твоя воля, Мари, священна для меня... Но если бъ ты желала...

Марья Орестовна тихо разсмѣялась.

— Завѣщанія, хочешь ты сказать? Для тебя невыгодно будетъ.

Леденщиковъ глупо и испуганно поглядѣлъ на нее.

Она расхохоталась и тотчасъ же поморщилась отъ боли. Онъ наклонился къ ней.

— Мари, дорогая...

— Ступай, ступай!

Очень ужъ сдѣлались ей противны его лицо, голосъ, фигура, полуфальшивая сладость его тона.

Тутъ въ головѣ у ней пошла муть, жаръ сталъ подступать къ мозгу, въ глазахъ зарябило. Она подняла было голову и безпомощно опустила на подушку.

— Ступай, ступай!—повторила она еще разъ.

И захотѣлось ей умереть сегодня же, но одной, совсѣмъ одной, чтобы ее заперли.

Подъ вечеръ Евлампію Григорьевичу доложилъ камердинеръ, что „Марья Орестовна кончаются“.

Онъ и это принялъ холодно и только спросилъ:

— Въ памяти?

Послали за священникомъ. Леденщиковъ не зналъ еще точно суммы сестрина состоянія. Но ему надо было теперь распорядиться, какъ законному наслѣднику, — Евлампій Григорьевичъ въ какомъ-то странномъ разстройствѣ. И онъ долго не протянетъ.

Марья Орестовна хоть и умирала въ полузабытьѣ, но ничего не пускала къ себѣ, кромѣ своей камеристки Берты.

Дорогіе хоромы коммерціи совѣтника Пѣтова замирали вмѣстѣ съ той женщиной, которая создала ихъ... Лѣстница, салоны съ gobленами, столовая съ рѣзнымъ потоло-

комъ стояли въ полутьмѣ кое-гдѣ зажженныхъ лампъ. Въ кабинетѣ сидѣлъ за письменнымъ столомъ повихнувшійся выученикъ Марьи Орестовны. По залѣ ходилъ другой ея воспитанникъ, глупый и ничтожный...

Къ ночи началась суета, поднимающаяся въ домѣ богатой покойницы... Но Евлампій Григорьевичъ съ суевѣрнымъ страхомъ заперся у себя въ кабинетѣ. Онъ чувствовалъ еще обиду напутственныхъ словъ своей жены. Вотъ снесутъ ее на кладбище, и тогда онъ будетъ самъ себѣ господинъ и покажетъ всему городу, на что онъ способенъ и безъ всякихъ помочей... Еще нѣсколько дней—и его „брошюра“ готова, прочтутъ ее и увидятъ, „каковъ онъ есть человѣкъ!“

ХІІ.

Петербургскій поѣздъ опоздалъ на двадцать минутъ. Последнимъ изъ вагона перваго класса вышелъ пассажиръ въ бобровой шапкѣ и пальто съ куннымъ воротникомъ.

Это былъ Палтусовъ. Лицо его осунулось. Съ обѣихъ сторонъ носа легли рѣзкія линіи. Сказывалась не одна плохо проведенная ночь. Онъ еще не совсѣмъ оправился отъ болѣзни. Депеша брата Нѣтовой застала его въ постели. Наканунѣ ночью онъ проснулся съ ужасными болями въ печени. Припадки длились пять дней. Докторъ не пускалъ его. Но онъ настаивалъ на рѣшительной необходимости ѣхать... Боли такъ захватили его, что онъ забылъ и о депешѣ, и объ опасной болѣзни Нѣтовой... Какъ только немного отпустило, онъ всталъ съ постели и, сгорбившись, ходить по комнатѣ, послалъ депешу, написалъ нѣсколько городскихъ писемъ. У него было два-три человѣка съ дѣловыми визитами.

Въ Москвѣ, у себя, онъ не оставилъ петербургскаго адреса. Его удивило то, что депеша отъ Нѣтовой, подписанная ея братомъ, пришла къ нему прямо въ отель Демуть... Всю дорогу онъ былъ тревоженъ. Дома мальчикъ доложилъ ему, что отъ Нѣтовыхъ прислали три раза; а вотъ уже три дня, какъ никто больше не приходитъ.

Это усилило его безпокойство. Онъ велѣлъ сейчасъ же приготовить одѣваться и закладывать лошадь. Былъ первый часъ.

Въ передней позвонили.

— Никого не принимать!—крикнулъ онъ мальчику.

Тотъ пошелъ отпирать. Изъ кабинета слышно было, какъ кто-то вошелъ въ калошахъ.

— Господинъ Леденщиковъ, — доложилъ, показываясь въ дверяхъ, мальчикъ, — требуютъ-съ... я не впускалъ.

— Проси, — поспѣшно приказалъ Палтусовъ.

Онъ замѣтно поблѣднѣлъ.

Братъ Марьи Орестовны остановился въ дверяхъ — въ длинномъ черномъ сюртукѣ, съ крепомъ на рукавѣ и съ перезами на воротникѣ.

— Марья Орестовна? — первый спросилъ Палтусовъ и подалъ руку.

— Моя сестра скончалась вчера, въ ночь...

Въ голосѣ не слышно было слезъ; но глаза тревожно смотрѣли на Палтусова.

— Вчера ночью? — переспросилъ Палтусовъ и подался назадъ.

Онъ забылъ попросить гостя сѣсть, но тотчасъ же спохватился.

— Прошу, — указалъ онъ Леденщикову на кресло у стола.

Въ одинъ мигъ сообразилъ онъ, зачѣмъ тотъ пріѣхалъ и что отвѣчать ему.

— М-г Палтусовъ, — началъ Леденщиковъ, немножко пожимаясь, — сестра моя скончалась, не оставивъ завѣщанія.

— Да? — переспросилъ Палтусовъ.

— Безъ завѣщанія, — повторилъ Леденщиковъ. — Но она сообщила мнѣ еще задолго до кончины, что вы завѣдывали ея дѣлами.

— Точно такъ, — сухо отвѣтилъ Палтусовъ.

— Состояніе, предоставленное ей мужемъ, все было, сколько мнѣ извѣстно, въ бумагахъ?

— Въ бумагахъ.

„Не тани, животное!“ — выбранился про себя Палтусовъ.

— Такъ вотъ я бы и просилъ васъ покорнѣйше принести въ извѣстность всю наличную сумму. Она должна быть въ пятьсотъ тысячъ капитала. Я обращаюсь къ вамъ, какъ братъ и наследникъ... за выдѣломъ четвертой части Евланію Григорьевичу...

Леденщиковъ переложилъ шляпу — и она уже была съ крепомъ — съ праваго колѣна на лѣвое.

Палтусовъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ въ уголъ комнаты и вернулся. Лицо его оставалось блѣднымъ.

— Очень хорошо-съ, — заговорил онъ глуше обыкновеннаго. — Но вы, вѣроятно, знаете, что сестра ваша поручила мнѣ свой капиталъ въ полное распоряженіе?

— Я имѣю копію съ довѣренности.

— Поэтому часть этихъ денегъ находится... какъ бы вамъ это сказать... въ оборотѣ...

— Въ какомъ оборотѣ? — уже съ явной боязнью въ голосѣ спросилъ Леденщиковъ.

— Въ оборотѣ, — повторилъ Палтусовъ.

— Вы отдали ихъ подъ залогъ? Въ такомъ случаѣ у васъ есть закладная или другіе документы.

— Словомъ, — перебилъ его Палтусовъ, — сто тысячъ рублей, даже нѣсколько больше, я не могу реализовать сейчасъ же.

— Но я васъ не понимаю, monsieur Палтусовъ, — болѣе сладкимъ тономъ началъ Леденщиковъ. — Эти деньги должны же быть гдѣ-нибудь... Какъ вы ими распорядились, въ интересахъ вашей довѣрительницы, я не знаю, но онѣ должны быть налицо.

— Я прошу васъ дать мнѣ сроку нѣсколько дней, недѣлю. Вѣдь я же не могъ предвидѣть внезапной кончины вашей сестры.

— Мы вамъ нѣсколько разъ телеграфировали.

— Я самъ заболѣлъ въ Петербургѣ.

— Но, cher monsieur Палтусовъ, я вѣдь не требую, чтобы вы мнѣ сію минуту выложили весь капиталъ Мари. Онъ въ банкѣ, въ бумагахъ... это само собой понимается... Но надо привести въ извѣстность сейчасъ же.

— Къ чему? — возразилъ болѣе спокойнымъ, дѣловымъ тономъ Палтусовъ. — Ваша сестра умерла безъ завѣщанія. Вы и мужъ ея — наследники... Извѣстно, что я занимался ея дѣлами... Мировой судья будетъ дѣйствовать охранительнымъ порядкомъ.

— Но почему же этого не сдѣлать просто, домашнимъ образомъ? Вы пожелаете къ намъ и привезете всѣ эти цѣнности.

— Да, конечно, но я прошу васъ дать мнѣ срокъ.

— Срокъ?

Губы Леденщикова начали блѣднѣть.

— Я распорядился самостоятельно.

— Да-съ, monsieur Палтусовъ, — перебилъ Леденщикъ и всталъ, — но я долженъ васъ предупредить, что

как не угодно будетъ до вечера послѣзавтра пожаловать къ намъ со всѣми документами... я долженъ буду...

— Хорошо-съ,—сухо отрѣзаль Палтусовъ.

— Послѣзавтра,—повторилъ Леденщиковъ и подалъ Палтусову руку.

Къ передней онъ отретировался задомъ. Палтусовъ проводилъ его до дверей.

Кровь сразу прилила къ его лицу, какъ только онъ остался одинъ.

Этотъ глухой и сладкій гостинодворческій дипломатъ не дастъ ему передышки... Не дастъ! Все было у него такъ хорошо рассчитано. И вдругъ смерть Нѣтовой!.. Просить, каяться передъ двумя купчишками?! Никогда!

Надо выиграть время... Будь это не такой купеческій „братецъ“ — они бы столковались... Но тутъ трусливая алчность: хочется поскорѣ пощупать свой капиталъ, свалившійся съ неба.

Первый, кто пришелъ на мысль Палтусову, былъ Осетровъ. Вотъ къ кому надо ѣхать... сию минуту. Если и не будетъ успѣха, то хоть что-нибудь дѣльное вынесешь изъ разговора съ нимъ.

А если онъ откажетъ?.. — Палтусовъ закусилъ губу и въ глазахъ его мелькнула рѣшимость особаго рода.

Черезъ десять минутъ онъ летѣлъ къ Осетрову.

XIII.

Осетровъ былъ у себя. Онъ занималъ цѣлый этажъ, на бульварѣ, въ домѣ разорившихся миллионеровъ, который и остался только этотъ домъ. Палтусовъ не былъ у него на квартирѣ и не видалъ его больше трехъ мѣсцевъ.

Онъ шелъ за лаксемъ по высокимъ комнатамъ увѣренно; но внутри тревога росла. Надо было сохранить на лицѣ выраженіе дѣловой и немного свѣтской развязности; надо показать, что съ того дня, когда они познакомились въ конторѣ, утекло не мало воды въ его пользу. Тогда онъ отрекомендовался какъ фактотумъ подрядчика изъ офицеровъ; теперь онъ долженъ явиться самостоятельной личностью, дѣловой единицей, дѣйствующей на свой страхъ... Съ Осетровымъ онъ, кажется, умѣетъ говорить, попадать въ тонъ... Въ его предпріятіи у него три пая, по тысячѣ рублей... Со своимъ пайщикомъ, хотя бы и на такую малость, не станеть тотъ разыгрывать набоба; слыш-

комъ онъ уменъ для этого, да и сумѣлъ давно оцѣнить, что въ его пайщикѣ есть кое-что, стоящее и вниманья, и поддержки, и довѣрія...

Слово „довѣріе“ не смутило Палтусова и въ эту минуту. Почему же не довѣріе? Развѣ Осетровъ знаетъ, что сейчасъ произошло между нимъ и Леденчиковымъ?.. Да хоть бы, какимъ-нибудь чудомъ, и догадался? Надо предупредить его, говорить прямо, безъ утайки, какъ было дѣло. Онъ человѣкъ практики... Ему постоянно поручались куши чужими людьми, да и воротилой-то онъ сдѣлался только на однѣ чужія деньги... Что онъ такое былъ? Учитель...

— Пожалуйте-съ, — пригласилъ лакей и остановился передъ темной дверью съ глубокой амбразурой.

Палтусовъ не замѣтилъ, черезъ какія комнаты прошелъ до кабинета.

Осетровъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ въ такой же позѣ, какъ въ конторѣ, когда Палтусовъ въ первый разъ явился къ нему отъ Балакуцкаго.

Разсматривать обширный кабинетъ некогда было. Палтусовъ перешелъ къ дѣлу.

— Поддержите меня, — сказалъ онъ Осетрову безъ обиняковъ, — мое положеніе очень крутое. Вы сами человѣкъ, разбогатѣвшій личной энергіей... У меня была довѣрительница — поручила мнѣ свое денежное состояніе. Я распорядился имъ по своему усмотрѣнію. Она скоропостижно умерла. Наслѣдникъ требуетъ — выпнь, да положь — всего капитала... А у меня нѣтъ цѣлой четверти...

Палтусовъ остановился.

— Гдѣ же онъ у васъ? — спросилъ Осетровъ, мягко поглядывая на него.

— Я пустилъ его въ обороть...

— На свое имя?

— Нѣтъ... на чужое...

— Въ какой же это обороть?

— Я далъ бумаги въ залогъ.

— Ну такъ что же за бѣда? Вы такъ и объявите наслѣднику... Это не прощанія деньги...

— Я не могу этого сдѣлать, — рѣшительно выговорилъ Палтусовъ.

— Почему же?

— Потому что наслѣдникъ — скучной дурачокъ. Онъ сочтетъ это за растрату...

— Да...

Осетровъ закурилъ папиросу и прищурилъ глазъ.

— Что же я могу для васъ сдѣлать?

— Дайте мнѣ ваше поручительство... Я выдамъ векселя...

— Мое поручительство?... Пить, любезный Андрей Дмитричъ, я не могу этого.

Палтусовъ опустилъ глаза.

Они оба молчали.

— Я заслужу вамъ, — началъ Палтусовъ. — Въ моемъ поступкѣ вы, дѣловой человѣкъ, не должны видѣть что-нибудь особенное... Отчего же я не могъ воспользоваться случаемъ? Дѣло шло о прекрасной операци... Она удалась бы черезъ два-три мѣсяца... Я возвращаю капиталъ довѣрительницѣ и сразу приобретаю хорошее денежное положеніе.

— Почему же вы такъ не поступили?

— Надо было сейчасъ же дѣйствовать. Она жила въ Ниццѣ... Я вамъ уже сказалъ, что она имѣла ко мнѣ полное довѣріе. Ея смерть — неудача, — и больше ничего!

— Это растяжимые дѣловые принципы, — выговорилъ Осетровъ.

— Но вамъ, — уже горячо возразилъ Палтусовъ, — развѣ не довѣряли сотни тысячъ безъ расписокъ? Вы ихъ пустили въ оборотъ отъ своего имени. Стало, рисковали чужимъ достоинствомъ.

— Совершенно вѣрно, — остановилъ Осетровъ, — но я возвращаю сейчасъ же, сейчасъ, все, что у меня было, при первомъ требованіи, или указывалъ, во что у меня всажены деньги. Сдѣлайте то же и вы.

— Но я вамъ говорилъ, что наслѣдникъ скупердый, дуракъ... съ нимъ это невозможно, бумаги представлены въ заемъ другимъ лицомъ! Какое же я обезпеченіе могу дать такому трусливому и алчному наслѣднику?

— Напрасно съ такимъ народомъ дѣло имѣете...

На лицѣ Осетрова Палтусовъ прочелъ рѣшительный отказъ.

— Вадимъ Павловичъ, — выговорилъ онъ, — я ожидаю отъ васъ другого...

— И получили бы другое, — отвѣтилъ Осетровъ, приподнимаясь надъ столомъ. — Наживать можно и должно, но только не такъ, какъ вы задумали.

Это было сказано серьезно, безъ всякаго вызова. Оставалось удалиться.

— У васъ есть наши акціи? — спросилъ Осетровъ, какъ бы спохватившись. — Если вамъ угодно, я куплю у васъ ихъ по полторы тысячи — больше вамъ не дадутъ...

Палтусова охватило такое злобное чувство, что онъ съ усиленіемъ сдержалъ себя на порогѣ кабинета.

XIV.

„Вхвать къ Станицыной?“ — мелькнуло у него. Онъ вышелъ на крыльцо и глядѣлъ на обширный дворъ. Кучеръ еще не замѣтилъ его и не подавалъ. Такъ простоялъ онъ минуты двѣ...

Станицына! Она выручить! Кто это сказалъ? Въ ней теперь женское чувство расходилось. Она увидала, пожалуй, въ томъ, какъ онъ повелъ съ ней себя, прямое оскорбленіе. Да, другой бы упалъ на колѣни и, долго не думая, предложилъ бы ей сожителство, довелъ бы до развода съ мужемъ, прибралъ бы къ своимъ рукамъ ея фабрику и наличныя деньги. Полно, есть ли онѣ, наличныя-то?.. Она должна была, въ эту зиму, заплатить за мужа нѣсколько сотъ тысячъ... безъ этого она не подняла бы кредиту. А коли наличныхъ нѣтъ, или есть только на оборотъ, на поддержку текущихъ дѣлъ по обѣимъ фабрикамъ, такъ изъ-за чего же онъ будетъ соваться?

Да и не хочетъ онъ ей говорить правды. Ее на мякингъ не проведешь. Она все-таки кулакъ-баба... Позволить ей заподозрить его, и такъ, въ глаза... Ни за что!

Съ женщинами у него — неизмѣнная мораль. Такъ онъ поступалъ, такъ и будетъ поступать. Что-то поднимается внутри его гордость, чувство мужского превосходства, когда онъ думаетъ о своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ. Обязаннымъ имъ онъ ничѣмъ не хочетъ быть. Сначала онъ перепробуетъ все.

Но что же?

Въ ту минуту, когда Палтусовъ крикнулъ: „подавай!“ голова его освѣтилась новой фигурой ярко и отчетливо, и тотчасъ вспомнилъ онъ свой визитъ къ родственнику Долгушина, къ тому „ископаемому“, что сидитъ въ птичникѣ... у него есть деньги. Онъ навѣрно тайный ростовщикъ. Но что же предложить ему въ залогъ? Одну половину бумагъ? Такъ это будетъ Тришкинъ кафтанъ. Нелѣпо!

Почему-то, однакожъ, онъ схватился за эту мысль.

Онъ вспомнилъ адресъ стараго барина, но не прика-
залъ кучеру ѣхать туда, а взялъ извозчика.

Баринъ принялъ его. Онъ вышелъ къ Палтусову со-
вершенно такъ же одѣтый, какъ и въ тотъ разъ, и такъ же
попросилъ его во вторую компану. Старикъ помнилъ о его
визитѣ, опять сказалъ, что служилъ когда-то съ однимъ
Палтусовымъ. Про Долгушина осведомился въ шутливомъ
тонѣ, и когда Палтусовъ сообщилъ ему, что генераль
служить акцизнымъ надзирателемъ на табачной фабрикѣ,
выговорилъ:

— И это для него большой постъ. Свистунъ!

Палтусовъ сидѣлъ такъ, что ему была видна часть
стѣны, гдѣ онъ въ первый разъ замѣтилъ несгораемый
шкафъ. Глаза его остановились на продольной, чуть за-
мѣтной щели. Опять разглядѣлъ онъ и маленькое отвер-
стіе для ключа.

— Чѣмъ могу? — спросилъ баринъ и поправилъ па-
рочокъ.

— На этотъ разъ, — началъ Палтусовъ, — я къ вамъ отъ
себя.

Онъ пристально поглядѣлъ на старика.

— Чѣмъ могу? — повторилъ тотъ.

— Не найдете ли возможности дать мнѣ подѣ обез-
печеніе?..

Губы барина слегка пошевелились и что-то мелькнуло
въ глазахъ.

— Я знаю, что вы ссужаете, — рѣшительно выговорилъ
Палтусовъ, и даже похвалилъ себя внутренно за такую
провидательность.

— Вы изволите говорить, — не мѣняя тона, переспро-
силъ старикъ, — подѣ обезпеченіе?

— Цѣнностями... разныхъ наименованій.

— И какую сумму?

„А, ты ростовщикъ!“ — вскрикнулъ про себя Палтусовъ.

— Сто тысячъ рублей.

— Сто тысячъ рублей?.. Такой свободной суммы я не
имѣю...

— Ну, сколько имѣете...

Старикъ поглядѣлъ на Палтусова косвеннымъ взглядомъ.

— А почему же вы, государь мой, не желаете заложить
ваши цѣнности въ любомъ банкѣ?

Вопросъ этотъ уже побывалъ въ головѣ Палтусова, когда
онъ подъѣзжалъ къ его дому.

— Это фамильныя вещи,—уже солгалъ Палтусовъ.

— Брильянты?—быстро спросилъ старикъ.

— Разныя цѣнности.

Въ головѣ Палтусова разыгрывалась сцена. Вотъ онъ привозитъ свои бумаги. Это будетъ сегодня вечеромъ. Старикъ приготовить сумму... Она у него есть—онъ вретъ. Онъ увидитъ процентныя бумаги вмѣсто брильянтовъ, не можно ему что-нибудь наговорить... Не все ли ему равно? Онъ пойдетъ за деньгами... Броситься на него... Разъ два!.. А собаки? А люди? Развѣ такъ покончилъ со старикомъ недавно, въ Петербургѣ, саперный офицеръ? То было въ квартирѣ. Даже кухарку услалъ... Да и то поймали.

Все это пронеслось въ мозгу Палтусова и заставило его мгновенно покраснѣть. И вдругъ его визитъ къ этому барину, разговоръ, расчеты представились ему во всей ихъ глупости и гадости. Какъ могъ онъ остановиться хоть минуту на такой мысли?.. А просто заложить бумаги можно въ первомъ попавшемся банкѣ... Да какой же толкъ въ этомъ?..

Онъ долженъ былъ сознаться, что голова его ослабѣла. Устыдившись, онъ тотчасъ же всталъ и протянулъ руку хозяину.

— Позвольте захватить къ вамъ на-дняхъ,—сказалъ онъ, любезно улыбаясь.—Вы, во всякомъ случаѣ, не прочь? С процентахъ мы тогда переговоримъ...

— Милости прошу, — кратко отвѣтилъ ему немногo удивленный старикъ, и пошелъ провожать его черезъ комнату съ птицами.

Собаки тоже провожали Палтусова. Онъ сбѣжалъ съ лѣстницы, чувствуя, что щеки его горятъ. Въ первый разъ онъ подумалъ о томъ, какъ можно придушить живого чело-вѣка изъ-за денегъ.

XV.

Звонили ко всенощной... Мартовскій воздухъ смякъ. Днемъ сильно таяло. Солнце повертывало на лѣто. Путь лежалъ Палтусову со Знаменки Кремлемъ. Онъ извозчика не взялъ, пошелъ пѣшкомъ.

Миновалъ онъ ворота съ прорѣзными бойницами проѣздной башни „Кутафын“, бѣлѣющей, точно шатеръ, безъ крыши. Зажигалась яркая ночь. Вокругъ полного мѣсяца, не поднявшагося еще кверху, отъ утренняго тумана шла

круглая пелена, открывающая посрединѣ овалъ—посинѣс, безоблачный, глубокий. И одна только звѣзда внизу и сбоку отъ мѣсяца ярко мерцала. Другихъ звѣздъ еще не было замѣтно.

Палтусовъ остановился у перилъ моста черезъ Александровскій садъ и засмотрѣлся на него. Это позволило ему уйти отъ тревогъ сегодняшняго дня. Внизу темнѣли голыя аллеи сада, мигали фонари. Сбоку на горѣ уходилъ въ небо бельведеръ Румянцевскаго музея съ его стройными павильонами, точно повисшій въ воздухѣ надъ обрывомъ. Чуть слышно доносились звуки по оголяющейся мостовой...

Палтусовъ пошелъ дальше, мостомъ и Троицкими воротами, поднялся въ Кремль. Слева сухо и однообразно жельтълѣли корпусъ арсенала, справа выдвигался рядъ косо поставленныхъ пушекъ, а внизу пирамиды ядеръ. Гулъ соборныхъ колоколовъ разливался тонкою заунывною струею. Ему захотѣлось туда, за рѣшетку, откуда золоченныя главы всплывали въ матовомъ сіяніи луны. Онъ скорыми шагами перешелъ поперекъ площади, повернулъ вправо и взялъ въ узкій коридорчикъ, откуда входятъ въ Успенскій соборъ.

Темные, расписанные столбы собора, полусвѣтъ, лики иконостаса, ладанъ и тихое мельканіе молящагося народа навели на Палтусова родъ дремы... Онъ сначала совсѣмъ забылъ про себя. Ему пужно было за чѣмъ-нибудь слѣдить глазами, что-нибудь слушать... Въ соборѣ не попадалъ онъ много лѣтъ, даже и не помнитъ, когда это было. Теперь его занимала служба, какъ ребенка. Идетъ архіерей въ длинной ризѣ, ее поддерживаетъ сзади инодьяконъ, впереди дяконъ со свѣчей. Архіерей кадитъ передъ образами... Такого облаченія и всего этого шествія Палтусовъ не видалъ еще никогда... Онъ глядѣлъ ему вслѣдъ. Служба перешла на средину собора. Долго онъ не могъ слушать ее. Кровь прилила къ головѣ, сдѣлалось душно, папала тревожность, столбы и иконостасъ точно давили его.

Онъ вышелъ на воздухъ. И разомъ все вернулось къ яму... Онъ воръ!.. Хотѣлъ разжиться на чужіи деньги. Могъ сегодня,—когда братъ Пѣтовой явился къ нему,—прямо сказать: „я вложилъ въ такое-то дѣло сто тысячъ... Вотъ вѣмъ представлены залоги... Вотъ документъ, обезпечивающій эту сдѣлку... на-те“.—И какъ ни жаждетъ

этотъ идоть, онъ все-таки пошелъ бы на соглашеніе. А не пошелъ бы?.. Пускай начиналъ бы проносить, даже уголовное дѣло. Такъ нѣтъ!.. Захотѣлось вынырнуть съ чужимъ капиталомъ!

Машинально двигался Палтусовъ къ Ивану Великому, поднялся кверху, на площадку, гдѣ ходъ въ церковь... Тамъ только онъ очнулся.

Гадость сдѣлана. Леденчиковъ не дать ему передышки, если бъ и рассказать ему все на чистоту, покаяться... Будетъ дѣло. Оно ужъ и теперь началось... Умышленное присвоеніе чужой собственности уже совершено, въ глазахъ *настоящихъ*, честныхъ людей онъ уже погибъ...

Вспомнилъ онъ своего недавняго „принципала“—Калакуцкаго. Черепъ съ чернѣющей ранкой представился ему... И курносое лицо околоточнаго... Вотъ застрѣлился же! Отъ уголовного суда самъ ушелъ. А не Богъ знаетъ какой великой души былъ человѣкъ...

Зазвонили. Палтусовъ поднялъ голову и поглядѣлъ вверхъ, на колокольную. Чего же стѣить забраться вонъ туда, откуда идетъ звонъ? Дверь теперь отперта... Звонарь не доглядитъ. Дать ему рубль. А потомъ легонько подойти къ периламъ. Одинъ скачокъ — и кончено!.. Въ Лондонѣ бросаются же каждый годъ съ колонны на Трафальгаръ-скверѣ, и съ колокольни св. Павла цѣлыми дюжинами бросаются...

Онъ зажмурилъ глаза и открылъ ихъ черезъ нѣсколько секундъ. Внизу плиты уже обнажились отъ снѣга, кое-гдѣ просохли и свѣтились. Его схватило за сердце. Но онъ не успѣлъ испугаться. Новое чувство уже залегло ему на душу...

„Воръ! — думалъ онъ и началъ чуть замѣтно улыбаться. — Пускай! Смерть отъ своей руки еще не ушла. Лучше pistolеть, чѣмъ такой прыжокъ съ колокольни. Сдѣлать это приличнѣй и скромнѣй“.

Онъ началъ спускаться по ступенькамъ. Ему стало вдругъ легко. Ни къ кому онъ больше не кинется, никакихъ денегъ и писемъ не желаетъ писать въ Петербургъ; поѣдетъ теперь домой, ляжетъ спать, хорошенько выспится и будетъ поджидать. Все пойдетъ своимъ чередомъ... Не завтра, такъ послѣзавтра явится и слѣдователь. Не поѣдетъ онъ и на похороны Нѣтовой. Не напишетъ и Широкову. Уснѣетъ... Никогда не рано отправиться на тотъ свѣтъ изъ этой Москвы!..



Благовѣсть продолжался. Выйдя за рѣшетку, Палтусовъ провалился въ рыхломъ снѣгѣ. Это его разсмѣшило.

XVI.

Пирожковъ не хотѣлъ вѣрить слуху, что Палтусовъ „арестованъ“. Ему кто-то сказалъ это наканунѣ вечеромъ. Онъ вскочилъ съ постели въ девятомъ часу, торопливо одѣлся и поѣхалъ къ пріятелю. Мальчика, отворившаго ему дверь, онъ ни о чемъ не спрашивалъ. Тотъ привѣщалъ его со словами:

— Пожалуйте-съ, барины у себя.

Квартирка смотрѣла такъ же чисто и нарядно, какъ и въ тотъ разъ, когда онъ заѣхалъ къ Палтусову попросить за мадамъ Гужо. Ничто не говорило про бѣду.

— Дома! — вслухъ выговорилъ Иванъ Алексѣевичъ въ передней.

Значитъ—вздоръ, вранье, никакого ареста не было.

Палтусова онъ нашелъ на кушеткѣ.

— Что съ вами, нездоровится? — спросилъ его Пирожковъ и сильно потрясъ ему руку.

Лицо Палтусова показалось ему и желтымъ, и осунувшимся.

— Да вотъ съ приѣзда не могу поправиться, — отъликунулся Палтусовъ и всталъ съ кушетки.

На немъ былъ халатъ, чего Пирожковъ никогда не видалъ.

— Вы въ Петербургѣ заболѣли?

— Да, чуть не воспаленіе въ печени схватилъ.

Въ глазахъ пріятеля Палтусовъ прочелъ причину его прихода.

— Иванъ Алексѣичъ, — началъ онъ простымъ, задушевымъ тономъ, — вамъ навѣрно сказали уже, что меня схватили?

— Дѣйствительно.

— Этого еще нѣтъ; но можетъ быть сейчасъ. Я не знаю. Пока, я далъ подписку.

Онъ на одну секунду опустилъ голову и добавилъ съ тихой усмѣшкой:

— Попаду въ кутузку—это вѣрно.

— Но за что же? — искренней потой крикнулъ Иванъ Алексѣичъ.

— За что? За растрату чужого имущества...

Пирожковъ ничего не сказалъ на это, а только усмѣхнулся отрицательно.

— Право! — подтвердилъ Палтусовъ и опять сѣлъ на кушетку, подложивъ подъ себя ноги.

— Да объясните!

— Дѣло самое простое... Получилъ довѣренность на распоряженіе капиталомъ.

— Большимъ?

— Въ нѣсколько сотъ тысячъ.

— И что же?

— Распорядился по своему усмотрѣнію... на это имѣлъ право... Довѣрительница умерла въ мое отсутствіе... Наслѣдникъ пристаѣ къ горлу — давай ему всѣ деньги... А у меня ихъ нѣтъ.

— Какъ же нѣтъ? — изумленно переспросилъ Пирожковъ.

— Такъ, въ наличности нѣтъ...

— Но вы можете доказать.

— Вотъ что, дорогой Иванъ Алексѣичъ, — началъ горяче Палтусовъ и подался впередъ корпусомъ, — взбѣсился я на этихъ купчишекъ, вотъ на умытыхъ-то, что въ барѣ лѣзутъ, по-англійски говорятъ! Если бъ вы видѣли гнусную, облизанную физиономію брата моей довѣрительницы, когда онъ явился ко мнѣ съ угрозой ареста и уголовного преслѣдованія! Я хотѣлъ было повести дѣло просто, по-человѣчески. А потомъ озорство меня взяло... Никакихъ объясненій!.. Пускай арестуютъ!

— Но зачѣмъ же? — Пирожковъ присѣлъ къ нему на кушетку и взялъ его за руку. — Зачѣмъ же такъ, Палтусовъ? Что за бравада? Вы же говорили мнѣ вотъ въ этомъ самомъ кабинетѣ, что купецъ — сила, все прибралъ къ своимъ рукамъ...

— Посмотримъ, кто кого пересилить... Тутъ умъ надо, а не капиталы.

— Умъ!.. Но, Андрей Дмитріичъ... къ чему же доводить себя?..

— Да вѣдь я уже подъ сюркупомъ... Обязался подпиской о невыѣздѣ...

— Что же вы теперь дѣлаете? Какія мѣры?

Пирожковъ разстроено глядѣлъ на Палтусова. Тотъ пожалъ ему руку.

— Добрая вы душа, сочувственная. Не бойтесь. Я волноваться не желаю. Съ адвокатомъ я видѣлся. Выбралъ

не красная, а честная чудака... Я вижу... вамъ хочется подробностей. Зачѣмъ копаться въ этихъ дразгахъ? Для меня это партія въ шахматы... На одномъ осѣлся, на другомъ выплыву!..

Что-то новое слышалось Пирожкову въ звукахъ голоса Палтусова. Ему сдѣлалось не по себѣ. Точно онъ попалъ въ болото и нога ступаетъ на зыбкую кочку.

— Ха-ха-ха! — разразился Палтусовъ. — Полноте... Говорю, выплыву. А если вы увидите, что я въ этой кулачеческой Москвѣ самъ позапылился, — вы забудете, что у васъ былъ такой пріятель.

— Ну, вотъ, ну, вотъ! — возразилъ Пирожковъ, всталъ и въ недоумѣніи заходилъ по кабинету.

Палтусовъ посмотрѣлъ на стѣнные часы.

— Иванъ Алексѣичъ! — окликнулъ онъ. — Знаете что, не засиживайтесь. Я, по моимъ соображеніямъ, жду сегодня архангеловъ.

— Какихъ?

— Слѣдователя или полицію. Уходите. Коли надо будетъ куда-нибудь съѣздить, къ адвокату, что ли, — дамъ вамъ знать; только не стѣсняйтесь... Прямо откажите.

— Полноте! — вырвалось у Пирожкова теплой нотой.

Онъ рѣшительно не зналъ, какъ ему говорить съ пріятелемъ. Черезъ пять минутъ онъ вышелъ.

На улицѣ онъ перебиралъ про себя, какое чувство возбуждаетъ въ немъ Палтусовъ, и не могъ отвѣтить, не могъ сказать: „нѣтъ, онъ честенъ, это — разъяснится“.

Ему показалось, на поворотѣ къ Чистымъ Прудамъ, что въ пролетѣхъ проѣхалъ полицейскій офицеръ со статскимъ.

XVII.

Больше трехъ недѣль, какъ Анна Серафимовна ничего не слыхала о Палтусовѣ. Она спрашивала Тасю. Та знала только, что онъ куда-то уѣхалъ... Надо было рѣшиться — разрывать или нѣтъ съ мужемъ. Рубцовъ продолжалъ стоять за разрывъ. Голова уже давно говорила ей, что она промахнулась, что она только съ разорить, если будетъ завѣдывать дѣлами Виктора Митоныча.

Но не одни дѣла. Когда же наступитъ полная законная воля? Неужели обречь себя на вѣчное вдовство, или махнуть на все и жить себѣ съ „дружкомъ“. Да гдѣ онъ, этотъ дружокъ? И его нѣтъ!

За эти дни она исхудала, подъ глазами круги, во рту

гадко, всю поводить. Но она не хочет поддаваться никакой „лихой болѣсти“. Не таковская она!

Анна Серафимовна собралась ѣхать въ амбаръ. Вошла, Тася въ шляпѣ и кофточкѣ. Это не былъ еще ея часъ.

— Вы слышали, — выговорила она съ разстановкой, — Андрей Дмитричъ...

Станицына поблѣднѣла. Сердце у ней точно совсѣмъ пропало.

— Что?

— Посадили его.

— Посадили!..

Анна Серафимовна не могла придти въ себя.

— За политическое?

— Нѣтъ.

Тася замялась.

— По какому же дѣлу?

— Я не знаю хорошенько... Говорять про... растрату какую-то... Послѣ смерти Нѣтовой открыли...

— Послѣ Нѣтовой?

Она все сообразила. Но быть не можетъ. Это не такой человекъ!

Рука ея протянулась къ Тасѣ. Онѣ обнялись. Анна Серафимовна поцѣловала ее горячо.

— Это такъ что-нибудь, — порывисто заговорила она. — Онъ не могъ...

Обѣ сѣли.

Тася прильнула къ ней. Ей захотѣлось признаться этой „купчихѣ“ въ томъ, что до тѣхъ поръ она считала не ловкимъ рассказывать.

Анна Серафимовна узнала, что Палтусовъ помогалъ семейству Долгушиныхъ еще при жизни матери. Про себя Тася умолчала.

— Вотъ видите, — успокоивала и самое себя Станицына, — такой человекъ не могъ! Гдѣ же онъ сидитъ?

— Я не знаю, — пристыженно отвѣтила Тася.

— Надо узнать...

Анна Серафимовна разспросила, гдѣ живетъ Палтусовъ, и приказала подавать экипажъ.

— Вы оставайтесь, — сказала она Тасѣ, — подождите меня...

— Мнѣ бы надо, — тихо выговорила Тася.

Она чувствовала, какъ „барышня“ проснулась въ ней въ эту минуту. Боятся она разыскивать, гдѣ сидитъ ея

родственникъ, боится полиціи совершенно такъ, какъ ея старушки, чуть дѣло запахнетъ хоть городовымъ. А вотъ такая купчиха не боится... Она любить... она можетъ и спасти его,—пожалуй, и въ Сибирь бы пошла за нимъ... Но стѣить ли опъ этого? Поручиться нельзя.

Тася покраснѣла. Что же это такое? Онъ помогаетъ ей и старушкамъ, а она точно сейчасъ же готова выдать его.

— Анна Серафимовна, — придержала она Станицыну въ залѣ, — вы не подумайте, что я такая гадкая... безсердечная... Вотъ вы — посторонняя, и такъ тепло къ нему относитесь... А мнѣ бы слѣдовало...

— Я узнаю, я узнаю, — повторяла Станицына, идя къ лѣстницѣ.

По лѣстницѣ поднимался Рубцовъ. Онъ заѣхалъ больше для Таси, отправляясь на фабрику.

— Сеня, — сказала ему Станицына, — побудь съ Таисіей Валентиновной — мнѣ къ спѣху...

Онъ замѣтилъ большую переѣмну въ ея лицѣ и успѣлъ спросить у ней на лѣстницѣ:

— Что, иль опять отъ муженька сюрпризъ?

— Нѣтъ, не то, — отвѣтила она и быстро начала сходять внизъ.

— Что такое? — спросилъ Рубцовъ Тасю.

Рубцовъ и Тася проходили залой.

Тася не знала, говорить ли ей... Это можетъ повредить Палтусову... Но вѣдь она сказала уже Станицыной. А Рубцовъ — добрый, въ эти двѣ недѣли они сошлись, точно родные.

Въ гостиной она сѣла на то мѣсто, гдѣ обыкновенно читала Аннѣ Серафимовнѣ, и состроила принужденную улыбку.

— Да вы полноте-съ, — началъ шутливо Рубцовъ, — мы хоть лыкомъ шиты, а понимаемъ... не томите.

Тася передала „слухъ“ про арестъ Палтусова.

— И сестричка кинулась куда же-съ?

— Не знаю!

— Вотъ что, — значительно выговорилъ Рубцовъ и отошелъ къ окну.

Тася молчала. Онъ нѣсколько разъ поглядѣлъ на нее.

Ей тяжело было начинать разговоръ о Палтусовѣ.



XVIII.

Рубцовъ все еще стоялъ у окна, за штофной портьерой. Тася сидѣла на пуффѣ, въ трехъ шагахъ отъ него.

— Вамъ-то что же особенно убиваться?

— Семень Тимоѳеичъ... вы не знаете...

Она не договорила.

— Что же такое именно не знаю?

— А то, что...

Опять у нея слово стало въ горлѣ.

— Насчетъ этого... Палтусова? Что же тутъ знать?..

И предвидѣть, мнѣ кажется, было возможно. Человѣкъ крупнаго мѣста не имѣлъ. Довѣріе къ себѣ внушилъ именитой коммерціи-совѣтницѣ, деньжками ея поживился... Такая нынче мода... вы извините, что я такъ про вашего родственника... А, можетъ, и понапрасну.

— Понапрасну? — повторила Тася и подбѣжала къ нему. — Вы думаете?

— Какъ же я могу знать въ точности, Тансіа Валентиновна?.. Повѣтріе это... всѣ этимъ занимаются. И господа дворяне, и предсѣдатели земскихъ управъ, и адвокаты... а о кассирахъ — такъ и говорить совѣстно!

— Вотъ видите, Семень Тимоѳеичъ, — начала смущенно Тася. — Я бы должна была ѣхать къ нему...

— Да, пожалуй, онъ въ секретѣ сидитъ, такъ и не пустять.

— Анна Серафимовна поѣхала же.

— Ужъ это ихъ дѣло...

— Я должна была, — повторила Тася. — Но очень ужъ мнѣ показалось гадко... если бъ еще онъ что-нибудь другое...

— Зарѣзалъ бы, примѣрно.

— Ахъ, вы все шутите... Что жъ, страсть можетъ такъ налетѣть на человѣка... а то вѣдь... это все равно, что... украсть.

— Не далеко лежитъ отъ кражи.

— Вотъ видите... Только мнѣ бы не надо было такъ говорить. Вѣдь Палтусовъ, — она понизила голосъ, — подерживалъ меня...

— Васъ? — переспросилъ Рубцовъ.

— И не меня одну, Семень Тимоѳеичъ, и старушекъ моихъ...

Ей уже не было стыдно изливаться передъ купчикомъ.



Она рассказала ему всю свою исторію... Старушки живутъ теперь въ одной комнаткѣ, въ номерахъ; содержаніе ихъ обходится рублей въ пятьдесятъ... эти деньги давалъ Палтусовъ. Да платилъ еще за ея уроки.

— Да вы чему же учитесь? — освѣдомился Рубцовъ и опустилъ голову.

Онъ уже сидѣлъ около Таси.

Она ему рассказала опять про свою страсть къ театру. Въ консерваторію поступать было уже поздно, сначала она ходила къ актрисѣ Грушевой; но Палтусовъ и его пріятель Пирожковъ отсовѣтовали. Да она и сама видѣла, что въ обществѣ Грушевой ей не слѣдуетъ быть. Беретъ она теперь уроки у одного пожилого актера. Онъ женатый, держитъ себя съ ней очень почтительно, человѣкъ начитанный, общается съѣзжать изъ нея актрису.

Глаза Таси заискрились, когда она заговорила о своемъ „призваніи“. Рубцовъ слушалъ ее, не поднимая головы, и все подкручивалъ бороду. Голосокъ ея такъ и лѣзъ ему въ душу... Дѣвчурочка эта не даромъ встрѣтилась съ нимъ. Нравится ему въ ней все... Вотъ только „театральство“ это... Да пройдетъ!.. А кто знаетъ: оно-то самое, быть-можетъ, и дѣлаетъ ее такой „трепещущей“... Сердца добраго, въ бѣдности, тяготится теперь тѣмъ, что и поддержка, какую давалъ родственникъ, оказалась не изъ очень-то чистаго источника.

— Послушайте, голубушка, — Рубцовъ въ первый разъ такъ называлъ ее и взялъ ее за руку. — Вы не тормозите себя... Вы видите, какъ сестричка васъ полюбила... Что же съ нами чиниться... Понимаю я, „дворянское дитѣ“.

И онъ тихо разсмѣялся.

— Была, Семенъ Тимоѣенчъ, была. А теперь ничего нѣтъ не надо. Только бы старушкамъ мой кусокъ хлѣба и...

— Театръ? — подсказалъ Рубцовъ.

— Да, да! — точно вдохнувъ въ себя, выговорила Тася.

— А вы вотъ что мнѣ скажите, — почти шопотомъ спросилъ Рубцовъ, — какъ этотъ вашъ родственникъ, можетъ ли воспользоваться хоть бы теперь увлеченіемъ сестрички? А она-таки увлечена, это вѣрно.

— Я не знаю, Семенъ Тимоѣенчъ, вотъ въ томъ-то и бѣда, что мы въ нашемъ барскомъ кругу ничего не знаемъ... Никто насъ не учитъ людей разбирать... Деньги-то его, что онъ намъ давалъ... были, пожалуй, чужія...

— Ну, это еще не известно. Вѣдь онъ, навѣрно, получалъ не мало... агентомъ, кажется, былъ у того, Калакуцкаго, подрядчика, что застрѣлился недавно.

— Все-таки...

Тасѣ сдѣлалось еще тяжелѣе.

— Полноте, — громко и весело сказалъ Рубцовъ. — Не обижайте насъ! Что, въ самомъ дѣлѣ, все дворянскій-то свой гоноръ соблюдаете... Мы друзья ваши... это лучше родственниковъ. Только, чуръ, ужъ не считаться ни съ сестричкой, ни со мной... А жалко вамъ этого Палтусова, повидайтесь съ нимъ, посмотрите, почувствуйте: каковъ онъ на самомъ дѣлѣ.

Рубцовъ всталъ и еще разъ протянулъ ей руку. Тася, слушая его, притихла. Да, съ этимъ человѣкомъ стыдно считаться. Генеральская дочь давно умерла въ ней.

XIX.

Въ частномъ домѣ ***-ской части наступили послѣ-обѣденные сумерки.

Шестой часъ. Въ узкой комнаткѣ, съ однимъ окномъ, на волосняной кушеткѣ, лежитъ Палтусовъ. Третій день проводить онъ подъ арестомъ. Наканунѣ, утромъ, онъ писалъ Пирожкову и просилъ его побывать у адвоката Пахомова, считавшагося, кромѣ своей уголовной практики, и хорошимъ „цивилистомъ“. Передъ обѣдомъ адвокатъ былъ у него. Они проговорили больше часа. Прощаясь, адвокатъ сказалъ ему:

— Не знаю, могу ли я взять на себя ваше дѣло. Не замедлю дать отвѣтъ.

Палтусовъ изложилъ ему свою систему защиты. Тотъ отмалчивался или издавалъ неопредѣленные звуки. Это сообщеніе не удовлетворило арестанта.

Арестантъ!.. Онъ довольно спокойно думалъ о томъ, гдѣ онъ „содержится“, что ожидаетъ его въ недалекомъ будущемъ: — дѣло перешло уже въ руки обвинительной власти. Допросъ слѣдователя завтра утромъ. Къ нему онъ приготовленъ.

Комнатка, гдѣ онъ лежитъ, — дворянская. Собственно тутъ дежурятъ квартальные. Но въ настоящей арестантской камерѣ все и безъ того занято. Съ утра передъ нимъ проходила жизнь „сѣзжей“. Онъ слышалъ изъ своей камеры голоса писмопроводителей, околоточныхъ, родовыхъ, просителей. Какая-то баба, должно-быть, въ

передней, была добрыхъ два часа. Частный приходилъ раза три. Съ Палтусовымъ онъ обошелся мягко. Они оказались въ шапочномъ знакомствѣ по Большому театру. Указывая на него дежурному квартальному, онъ употребилъ выраженіе „онъ“. Квартальный—бывшій драгунскій поручикъ—пришелъ покурить, заспанный, даже не полюбопытствовалъ, по какому дѣлу сидитъ Палтусовъ.

Зала квартиры частнаго примыкала къ канцеляріи. Палтусовъ слышалъ, какъ майоръ ходилъ, звякая шпорами, и напѣвалъ изъ „Корневицкихъ колоколовъ“:

„Взгляните здѣсь, смотрите тамъ:
Нравится-ль все это вамъ?“

Когда умолкла вся утренняя суета, Палтусовъ заглянулъ въ опустѣлую канцелярію. У одного изъ столовъ сидѣлъ худой блондинъ, прилично одѣтый, вѣжливо ему поклонился, всталъ и подошелъ къ нему. Онъ самъ сказалъ Палтусову, что содержится въ томъ же частномъ домѣ; но приставъ предоставилъ ему письменныя занятія и ему случается, за отсутствіемъ квартальнаго или околоточнаго, распоряжаться.

— А по какому вы дѣлу?—спросилъ его Палтусовъ.

— Я — литографъ... Привлеченъ... по подозрѣнію насчетъ билетовъ, оказавшихся подложными.

И онъ сейчасъ же протянулъ Палтусову руку и сказалъ:

— Позвольте быть знакомымъ.

Надо было пожать руку. Литографъ вызвался заботиться о томъ, чтобы Палтусову служилъ лучшій солдатъ, во-время носилъ самоваръ и ѣду. Пришлось еще разъ пожать руку товарищу-арестанту.

На кушеткѣ, въ надвигающихся сумеркахъ, Палтусовъ лежалъ съ закрытыми глазами, но не спалъ. Онъ не поновался. Фактъ налицо. Онъ въ части, слѣдствіе начато, будетъ дѣло. Его оправдають или пошлютъ въ „Сибирь тобольскую“, какъ острилъ одинъ студентъ, съ которымъ онъ когда-то читалъ лекціи уголовнаго права.

Палтусовъ впервые проходилъ въ головѣ свою собственную исторію и спрашивалъ себя: полно, было ли у него когда въ душѣ хоть что-нибудь завѣтное? Кто ему могъ передать нехитрую, ограниченную честность? Отецъ — игрокъ и женолюбъ. Про мать всѣ знали, что она никѣмъ не пренебрегала... даже изъ дворовыхъ... Еще удивительно, какъ изъ него вышелъ такой „порядочный чело-

вѣкъ“. Да, онъ порядочный!.. И съ сердцемъ, и не трусь... Увлекался же Сербіей, и тамъ велъ себя куда лучше многихъ. На войнѣ въ Болгаріи не сдѣлалъ же ни одной гадости. Возмущался и воровствомъ, и нагайками, и адъютантскимъ шалонайствомъ, и безсердечіемъ разныхъ пошляковъ къ солдату... Не можетъ безъ слезъ вспомнить обмороженные ноги цѣлыхъ батальоновъ...

А вотъ теперь ему не стыдно своего „случая“, а просто досадно. Если его что можить, такъ — неудача, сознаніе, что какой-нибудь кунеческій „гошшеух“, глупенькій господинъ Леденщиковъ, столкнулся съ нимъ, заставляетъ его теперь готовиться къ уголовному процессу, губить, хоть и на время, его кредитъ.

И все горче и горче дѣлалось ему только отъ этого. За себя онъ не боялся. Но, быть-можетъ, съ процесса-то и пойдетъ онъ полнымъ ходомъ?.. Сначала строгіе люди будутъ сторониться... Зато масса... Кто же бы на его мѣстѣ изъ людей, бойкихъ и чуткихъ, не воспользовался? Въ комъ заложенъ несокрушимый фундаментъ?.. Даже и разбирать смѣшно!..

Къ нему постучались. Изъ полуотворенной двери показалась бѣлокурая голова „литографа“.

— Къ вамъ посѣтительница.

Палтусовъ быстро всталъ съ кушетки.

— Дама?—спросилъ онъ и подумалъ: „вѣрно Тася“.

— Да-съ, вы не извольте безпокоиться. Приставъ приказалъ.

— Благодарю васъ.

Голова скрылась. Изъ-за двери слышался легкій шорохъ.

XX.

Палтусовъ вышелъ въ канцелярію. У стола, ближайшаго къ его двери, сидѣла дама. Онъ не сразу въ полутемнотѣ узналъ Станицыну.

— Анна Серафимовна!—тихо вскрикнулъ онъ.

Она встала въ большомъ смущеніи. Палтусовъ нагнулся, взялъ ея руку и поцѣловалъ.

Вуалетки Станицына не поднимала. Сквозь нее, въ сумеркахъ, видѣлось милое для нея лицо Палтусова. По туалету онъ былъ тотъ же: и воротнички чистые, и короткий, моднаго покроя пиджакъ. Только блѣдень, да глаза потеряли половину прежняго блеска.

— Хворали?—спросила она, и голосъ ея дрогнулъ.

— Въ Петербургѣ, да... Садитесь, пожалуйста... Только... здѣсь такъ темно.

— Ничего,—сказала она.

Онъ не смущенъ. Лицо тихо улыбается. Ему совѣмъ не стыдно, что его посадили на „сѣзжую“. Такъ она и ожидала. Не можетъ быть, чтобы онъ былъ виноватъ!..

Въ эту минуту она и думать забыла про то, что случилось въ каретѣ, послѣ бала Рогожинныхъ. Ей все равно, что бы и какъ бы онъ объ ней ни думалъ. Не могла она не пріѣхать. А ее не сразу пустили. Да и самой-то не очень ловко было упрашивать пристава.

— Онъ вамъ родственникъ, сударыня?—спрашиваетъ. Играть она не хотѣла. Приставъ усмѣхнулся.

Долго держалъ Палтусовъ ея руку. Она тихо высвободила и спросила:

— Зачѣмъ же васъ сюда? Нешто нельзя было на поруки?

— Залогъ надо... — спокойно отвѣтилъ онъ, — а слѣдователь требуетъ тридцать тысячъ. У меня такихъ денегъ нѣтъ...

— Андрей Дмитричъ...—чуть слышно вымолвила Станицына,—позвольте мнѣ...

Она сидитъ почти безъ капитала. Но такія-то деньги сейчасъ найдутся. Ни одной секунды она не колебалась... Вся расчетливость вылетѣла.

Онъ молча пожалъ ей руку. Когда онъ заговорилъ, голосъ его дрогнулъ отъ искренняго чувства.

— Славная вы, Анна Серафимовна, я вамъ всегда это говорилъ... Вы думали, быть-можетъ, что я такъ только, чувствительными фразами отдѣлывался?.. Спасибо.

— Скажите,—продолжала она въ большомъ смущеніи,—куда поѣхать, кому внести?

— Полноте, не нужно, — остановилъ онъ ее и выпустилъ ея руку.—Залогъ можно бы было найти. Я было и думалъ сначала, да разсудилъ, что не стоить...

— Какъ же не стоить?

Она подняла голову и оглянулась.

— Мнѣ это зачтется.

— Какъ зачтется, Андрей Дмитричъ?

— Послѣ... когда кончится дѣло.

— Дѣло!—повторила Станицына.

Его голосъ такъ и лился къ ней въ душу, и стало его нестерпимо жаль.

— Андрей Дмитричъ... скажите... сколько вся сумма... Можно будетъ достать... скажите.

Щеки ея пылали.

Палтусовъ взялъ ее за обѣ руки.

— Спасибо!—горячо выговорилъ онъ.—Ничему это теперь не поможетъ... Дѣло началось... уголовнымъ порядкомъ... Внесу я или нѣтъ, что слѣдуетъ, прокурорскій надзоръ не прекратитъ дѣла... Да если бъ и не поздно было... Анна Серафимовна, я бы...

Онъ немного помолчалъ; но потомъ разсказалъ ей, что ему пришла мысль ѣхать къ ней послѣ визита Леденщикова... Онъ зналъ, что она способна помочь ему.

— Не могу я отъ женщинъ, даже отъ такихъ, какъ вы, принимать денежныхъ услугъ.

Эти слова не удивили ее. Такой человѣкъ и долженъ такъ говорить и чувствовать. Ей сдѣлалось вдругъ легко. Она вѣрила, что его оправдаютъ. Украсть онъ не можетъ. Просто захотѣлъ выдержать характеръ и выдержать.

Лицо ея Виктора Мироныча представилось ей. Тотъ—на волѣ, именитый коммерсантъ, съ принципами крови знакомъ; а этотъ—въ части сидитъ „колодникомъ“... А нешто можно сравнивать? Будь она свободна, скажи онъ слово, она пошла бы за нимъ въ Сибирь...

— Вы довольны Тасей?—спросилъ онъ ее, видимо желая пережѣнить разговоръ.

— Очень!

Анна Серафимовна начала ее расхваливать и намекнула Палтусову, что ей извѣстно, кто поддерживалъ Тасю и ея старушекъ.

— Вотъ что, голубушка,—сказалъ ей Палтусовъ.—Она дѣвушка хорошая; но дворянское-то худосочіе все-таки въ ней сидитъ. Теперь ей непріятно будетъ принимать отъ меня... Сдѣлайте такъ, чтобы она у васъ побольше заработала... Окажите ей кредитъ... А всего лучше выдайте замужъ... Это будетъ вѣрнѣе сценъ... А потомъ счетецъ мнѣ представьте,—кончилъ онъ весело,—когда я опять полноправнымъ гражданиномъ буду!..

И это тронуло ее. Она встала и начала прощаться съ нимъ.

— Пускай Тася не волнуется—ѣхать ей ко мнѣ или нѣтъ,—сказалъ Палтусовъ, провожая Станицыну до пе-

редней,—ко мнѣ ей не надо ѣздить... Это еще успѣется. Только такія, какъ вы,—прибавилъ онъ и крѣпко пожалъ ей руку,—умѣютъ навѣщать „бѣдныхъ заключенныхъ“.

И онъ тихо разсмѣялся. Станицына уѣхала, глубоко тронутая.

XXI.

— Обождите,—сказала Пирожкову горничная, смахивавшая на гувернантку, вводя его въ кабинетъ присяжнаго повѣреннаго Пахомова.

Онъ уже во второй разъ заѣзжалъ къ нему—все по просьбѣ Палтусова. Въ первый разъ онъ не засталъ адвоката дома и передалъ ему въ запискѣ просьбу Палтусова: быть у него, если можно, въ тотъ же день. Теперь Палтусовъ опять поручилъ ему добиться отвѣта: беретъ онъ на себя дѣло или нѣтъ?

Жутко себя чувствуетъ Иванъ Алексѣичъ. Всего неприятнѣе ему то, что онъ самъ не можетъ разъяснить себѣ: какъ онъ собственно относится къ своему другу? Считаетъ ли его жертвой или подозрѣваетъ, или просто увѣренъ въ растратѣ? Палтусовъ говорилъ съ нимъ въ такомъ тонѣ, что нельзя было не подумать о растратѣ.

Только другъ его смотрѣлъ на нее по-своему.

Но какъ отвернуться отъ него, не исполнить его просьбы, не заѣхать лишній разъ къ адвокату?..

Пирожковъ осмотрѣлся. Онъ стоялъ у камина, въ небольшомъ, довольно высокомъ кабинетѣ, кругомъ установленномъ шкапами съ книгами. Все смотрѣло необычайно удобно и размѣренно въ этой комнатѣ. На свободномъ кускѣ одной изъ боковыхъ стѣнъ висѣло нѣсколько портретовъ. За письменнымъ, узкимъ столомъ,—видимо дѣланымъ по вкусу хозяина,—помѣщался родъ шкафчика съ перегородками для разныхъ бумагъ. Комната дышала уютномъ тихаго рабочаго угла, но мало походила на кабинетъ адвоката-дѣльца.

Въ каминѣ тлѣли угли. Иванъ Алексѣичъ любилъ грѣться. Онъ стоялъ спиной къ огню, когда вошелъ хозяинъ кабинета, человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, средняго роста. Свѣтлорусые волосы, опущенные широкими прядями на виски, удлиняли лицо, смотрѣвшее кротко своими слушающими глазами. Большой носъ и подстриженная борода были чисто русскіе; но держался адвокатъ, въ длин-

новатомъ темно-сѣромъ скюртукѣ и бѣломъ галстукѣ, точно иностранецъ-докторъ.

— Покорно прошу, — пригласилъ онъ Пирожкова на диванъ высокимъ теноровымъ голосомъ.

Пирожковъ попросилъ отвѣта по дѣлу Палтусова.

— Видите ли, — заговорилъ адвокатъ искренно и точно разсуждая съ самимъ собой, — я бы взялся защищать господина Палтусова, если бы онъ не насилывалъ мою совѣсть.

— Вашу совѣсть?

— Да-съ, мою совѣсть. Мнѣ вовсе не пужно проникать въ глубину души подсудимаго. Это метода опасная... Скажетъ онъ мнѣ всю правду — хорошо. Не скажетъ — можно и безъ этого обойтись. Но если онъ мнѣ разскажетъ факты, то мнѣ же надо предоставить и освѣщать ихъ; такъ ли я говорю? — кротко спросилъ онъ.

— Безусловно, — подтвердилъ Пирожковъ.

— Вашъ знакомый можетъ служить типическимъ знаменіемъ времени...

— Въ какомъ же смыслѣ? — спросилъ Пирожковъ.

— Онъ смотритъ на себя, какъ на героя... У него нѣтъ ни малѣйшаго сознанія... неблаговидности его поступка... Онъ требуетъ отъ меня солидарности съ его очень ужъ широкимъ взглядомъ на совѣсть.

Отъ этихъ словъ адвоката Ивана Алексѣича начало коробить.

— Знаменіе времени, — повторилъ Пахомовъ. — Жажда наживы, злость бѣдныхъ и способныхъ людей на купеческую мошну... Это неизбежно; но нельзя же выставять себя на судъ героемъ потому только, что я на чужіи деньги пожелалъ составить себѣ миллионное состояніе...

— А если онъ будетъ оправданъ? — полувопросительно выговорилъ Пирожковъ.

— Очень можетъ быть, но только при моей системѣ защиты — врядъ ли.

„Странный адвокатъ“, — подумалъ Пирожковъ.

— Можно добиться легкаго наказанія, да и то софизмами, на которые я не пойду... Вашъ знакомый обратился не къ тому, къ кому слѣдовало.

По унылому лицу адвоката прошла улыбка.

— Какъ общественный симптомъ, — продолжалъ онъ, — это меня нисколько не удивляетъ. Такъ и слѣдуетъ быть среди той нравственной анархіи, въ какой мы живемъ...

Господинъ Палтусовъ вовсе не испорченнѣе другихъ... Вы, вѣроятно, и сами это знаете... У него есть даже много... разныхъ points d'honneur... Онъ вѣдь бывшій военный?

— Да, служилъ въ кавалеріи,—кратко отвѣтилъ Пирожковъ,—потомъ слушалъ лекціи.

— На юридическомъ?—не безъ ироніи освѣдомился Палтусовъ.

— На юридическомъ.

— Самая опасная смѣсь... Послѣ практики въ законномъ убійствѣ людей—хаосъ нелѣпыхъ теорій и казуистики... Естественныя науки дали бы другой оборотъ мышленію. А впрочемъ, у насъ и онѣ ведутъ только къ первобытной естественности правилъ.

Онъ тихо разсмѣялся, молча потеревъ руки.

Пирожковъ всталъ и, пожавъ ему руку, у дверей спросилъ:

— Такъ и передать Палтусову?

— Такъ и передайте-съ... Насиловать свою совѣсть—не допускаю.

Съ педантической вѣжливостью проводилъ онъ Пирожкова до лѣстницы.

XXII.

Арестанта Пирожковъ засталъ за обѣдомъ, передъ грязнымъ столикомъ у окна.

Ему принесли ѣду изъ сосѣдняго трактира. Она состояла изъ широкаго, во всю тарелку, бифштекса, съ жирной подливкой, хрѣномъ и большими картофелинами, подаваго пирога и пары огурцовъ. На столѣ стояла бутылка вина.

Палтусовъ начиналъ поправляться въ лицѣ.

— Сплю, какъ сурокъ,—встрѣтилъ онъ Пирожкова,—и, странное дѣло,—совсѣмъ нѣтъ охоты къ книгѣ... Читатъ просто не хочется!.. Ну, что же?

Пирожковъ замаялся.

— Отказывается?

— Да.

— Недосугъ?

По мягкости, Иванъ Алексѣевичъ хотѣлъ было солгать; но что-то его точно подтолкнуло.

— Нѣтъ,—мягко, но безъ уклончивости, отвѣтилъ онъ.

— Противъ его принциповъ?—уже не тѣмъ голосомъ спросилъ Палтусовъ.

— Да... онъ говорить, что не можетъ принять вашей системы защиты.

— А другой я не могу допустить.

— Однако, позвольте, Андрей Дмитриевичъ,—заговорилъ Пирожковъ, подсаживаясь къ нему и понизивъ голосъ,—одно изъ двухъ: или вы признаете фактъ, или нѣтъ.

— Какой фактъ?

— Фактъ... который вамъ вѣняють.

— Я сказалъ адвокату то же, что и вамъ,—горячѣе продолжалъ Палтусовъ.—А ему я прибавилъ: если бъ я былъ и виноватъ, то предварительнаго заключенія—вѣдь меня могутъ и въ острогъ перевести—одного достаточно, чтобы произвести уравненіе—слишкомъ даже достаточно!..

Иванъ Алексѣвичъ показалъ своей миной, что онъ не совсѣмъ согласенъ.

— Да какъ же?..—спросилъ, поднимая голову, Палтусовъ.—Вѣдь я могу быть оправданъ!.. И буду оправданъ. Но если бъ и была признана нѣкоторая моя виновность... развѣ мало просидѣть нѣсколько мѣсяцевъ?

Палтусовъ бросилъ салфетку на столъ, всталъ и зашелъ въ другомъ углу узкой комнаты. Пирожковъ поглядывалъ на него и прислушивался къ звукамъ его голоса. Въ нихъ пробивалось больше вѣры, чѣмъ раздраженія.

— Добрѣйшій Иванъ Алексѣвичъ,—продолжалъ Палтусовъ,—вы человѣкъ святой, знаете своихъ моллюсковъ или этнографію Фиджійскихъ острововъ; а я человѣкъ дѣла. Позвольте хоть разъ въ жизни на чистоту открыться вамъ... А потомъ вы можете и плюнуть на меня, сказать: „воръ Палтусовъ и больше ничего!“ Не могу я не бороться съ купеческой мощной!.. Безъ этого въ моей жизни смысла нѣтъ.

— Будто...—вставилъ Пирожковъ.

— Что же!.. Вамъ пріятнѣе было бы, чтобъ я пошелъ въ чинушки, губернатора добился черезъ десять лѣтъ? Тутъ я идею провожу... не улыбайтесь—идею... Все дѣло въ томъ: замараюсь или не замараюсь. Если не замараюсь—ладно!.. И заставлю купечскую утробу признать смѣтку, какая у меня здѣсь значится.

Онъ ударилъ себя по лбу, послѣ чего подошелъ къ Пирожкову и сѣлъ на кушетку.

— Какъ вамъ угодно, Иванъ Алексѣвичъ, такъ и принимайте то, что я вамъ сейчасъ сказалъ... Я васъ беспокоить не стану... Будетъ вашей милости угодно, — онъ



весело улынулся, — зайдете иногда за справочкой... А этому квакуеру, — вот какіе нынче адвокаты завелись, — я самъ напишу, что въ услугахъ его не нуждаюсь... Возьму какого-нибудь замухрышку... Вѣдь это я на первыхъ порахъ только волновался... Въ законѣ не твердѣ... А теперь мнѣ и не нужно уголовной защиты.

— Какъ же не нужно? — наивно воскликнулъ Пирожковъ.

— Меня незаконно арестовали. Поусердствовали слѣдователь и прокуроръ. Они меня подвели подъ статью тысячу семьсотъ одиннадцатую... А тутъ простой гражданскій искъ.

— Такъ вы надѣетесь... попасть на свободу?

— Положительно надѣюсь... Мнѣ хорошій цивилистъ нуженъ, кляузникъ... Пахомовъ плохъ... Все это я работаю... Ну, поддержать меня еще недѣлку, но не больше... Судебная палата не допуститъ... У меня уже былъ здѣсь одинъ баринъ... А разъ дѣло — на гражданской почвѣ, я выплылъ. Это несомнѣнно. Тогда я въ правѣ требовать времени для реализаціи того, что я пустилъ въ оборотъ, выгодный для моей покойной довѣрительницы...

По лицу Пирожкова видно было, что онъ плохо понимаетъ все это. Палтусовъ взялъ его за руку и потрясъ.

— Для васъ это тарабарская грамота!.. Видите — я трусу не праздную... Не судите меня очень строго: я чадо своего вѣка. Каждому своя дорога, Иванъ Алексѣвичъ!..

Продолжать разговоръ Пирожкову сдѣлалось неловко. Палтусовъ это понялъ и самъ выпроводилъ его черезъ нѣсколько минутъ. Арестанта жалѣть было нечего: онъ увѣренъ въ томъ, что его выпустятъ... Можетъ, и такъ! „Статья 1711“ осталась въ памяти Ивана Алексѣвича. Онъ даже позавидовалъ пріятелю, видя въ немъ такую бойкость и увѣренность въ „идеѣ“ своей житейской борьбы.

XXIII.

Въ два часа Пирожковъ долженъ былъ попасть въ университетъ, на диспутъ. Сколько времени не заглядывалъ онъ на университетскій дворъ... Своей жизнью онъ рѣшительно пересталъ жить. Зима прошла поразительно скоро. И въ результатъ ничего... Работалъ ли онъ въ кабинетѣ счетовъ десять разъ? Врядъ ли... Даже чтеніе не шло по вечерамъ... Безпрестанныя помѣхи!..

Этотъ диспутъ служилъ ему горькимъ напоминаніемъ. Онъ встрѣчалъ магистранта въ одномъ студенческомъ кружкѣ. По крайней мѣрѣ, лѣтъ на пять старше онъ его, по выпуску. И вотъ сегодня его магистерскій диспутъ... И книгу написалъ по политической наукѣ, гдѣ не такъ велика литература, не нужно столько копѣтъ надъ матеріалами.

И магистрантъ—изъ купцовъ. Вотъ и подите! Дворяне, культурные люди, люди расы, съ другимъ содержаніемъ мозга, и не могутъ стрихнуть съ себя презрѣнной инертности... А тутъ—татенька торговалъ рыбой или „пунцовымъ“ товаромъ какимъ-нибудь, или пастилу мастерилъ, а сыночекъ пишетъ монографіи о средневѣковыхъ цехахъ или объ ученіи Гуго Гроція.

Обидно!

На дворѣ новаго университета, сбоку, у подъѣзда стояло три кареты и штукъ десять господскихъ саней. Вся шинельная уже была переполнена, когда Пирожковъ вошелъ въ нее. Знакомый унтеръ снялъ съ него пальто и сказалъ ему:

— Не пущаютъ!.. Набито страсть... Вотъ нешто кругомъ...

Онъ шепнулъ швейцару. Тотъ провелъ Пирожкова кругомъ, по боковой лѣстницѣ, черезъ коридоръ, ведущій въ физическую аудиторію, и тихонько впустилъ въ дверь. За колоннами уже все было полно. На скамьяхъ стояли студенты и молодая дѣвушка. Весь помостъ, поднимающійся амфитеатромъ, усыпали головы. Ни публики передъ эстрадой, ни оппонентовъ не было видно. Позади эстрады—бѣлый большой подвижной щитъ для демонстрацій по физикѣ. На немъ выдѣлялась фигура магистранта—румянаго, коренастаго блондина, съ бородкой. Онъ уже говорилъ свою рѣчь, покачиваясь передъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ. На столѣ графинъ и стаканъ.

Пирожковъ оглянулся во все стороны—мѣста нѣтъ. Съ трудомъ взобрался онъ на помостъ и сталъ тутъ, держась за уголокъ „парты“. Поглядѣлъ онъ наверхъ,—хоры тоже усыяны головами. Сводчатый потолокъ, расписанный поблѣднѣвшими малярными фресками, полукруглое окно, впускавшее сѣроватый свѣтъ дни, позади помоста—рѣшѣтка, изъ-за которой видны шкапы и разные приводы. На рѣшѣтку взобралось нѣсколько человѣкъ. Аудиторія неспокойна. То сзади что-нибудь упадетъ и затрещитъ,

то хлопаютъ дверь, то слышится щелкъ замка, то гулъ раздается съ большой площадки, гдѣ толпа требуетъ входа, а „субъ“ съ сторожами не пускаютъ.

Женщинъ очень много. Пирожковъ узналъ нѣкоторыхъ въ лицо, хоть и не зналъ ихъ фамилій... На скамьяхъ помоста, между студентами, сидѣли больше курсистки—такъ казалось Ивану Алексѣвичу. Внизу на креслахъ для гостей—около самыхъ профессорскихъ вицмундировъ—дамы въ туалетахъ. Пирожковъ узналъ разныхъ господъ, известныхъ всей Москвѣ: двухъ славянофиловъ, одного бывшего профессора, трехъ-четырехъ адвокатовъ, толстую даму-писательницу, другую—худую, въ короткихъ волосахъ, ученую дѣвицу съ докторскимъ дипломомъ. Заглядывая внизъ, онъ разглядѣлъ и двоихъ оппонентовъ, и декана, сидѣвшаго лѣвѣе.

Рѣчь магистранта затянулась. Онъ видимо заучилъ ее наизусть и произносилъ тономъ проповѣдника, съ умышленными паузами и съ примѣсью какого-то акцента. Пирожковъ вспомнилъ, что этого купчика воспитывали по-нѣмцки.

Рѣчи похлопали, но не очень сильно. Первымъ оппонировалъ молодой толстый доцентъ, въ черномъ фракѣ. Онъ началъ мягко и держался постоянно джентльменски вѣжливыхъ выраженій; но насмѣшливая нота зазвучала, когда онъ сталъ доказывать магистранту, что тотъ пропустилъ самый важный источникъ, не зналъ, откуда писатель, изученный имъ для диссертациі, взялъ половину своихъ принциповъ. Доказательства полились обильно, прерываемая взрывами короткаго смѣха самого же оппонента. Все притихло. По аудиторіи разносился только его жирный голосъ попеременно съ этимъ короткимъ смѣхомъ. Студенты переглядывались. Лица стали оживляться. Духота еще усилилась. Тихо спрашивали у сосѣдей тѣ, кто плохо слышалъ, что сказалъ оппонентъ. Гулъ на площадкѣ смолкъ. Возбужденіе умственной игры засвѣтилось на молодыхъ лицахъ. Пирожковъ почувствовалъ, что и онъ молодѣетъ. Онъ обрадовался такому настроенію.

Магистрантъ не мѣнилъ выраженія лица, только краснѣлъ и часто мигалъ. Всѣ видѣли, что въ работѣ его большой промахъ. Но онъ началъ возражать увѣренно, доказывая, что настоящаго пропуска нѣтъ, что матеріалы, приводимые имъ, достаточно указываютъ на его начитанность. Оппонентъ опять началъ „донимать“ его,

какъ выразился одинъ студентъ около Пирожкова. Огрызаться магистрантъ не смѣлъ и сдѣлался тихенькимъ. Аудиторія поняла это. Оппонентъ кончилъ пѣсколькими любезными фразами, похвалилъ изложеніе и „способность къ синтезу“. Ему сильно и долго хлопали. Второй оппонентъ ограничивался мелкими замѣтками и больше смѣшилъ слушателей. Но и онъ пощипалъ магистранта.

Диспутъ кончился въ половинѣ пятаго. Провозглашеніе степени подняло рукоплесканія. Захлопали гораздо сильнѣе, чѣмъ ожидалъ Пирожковъ. У него внутри закопошилось недоброе чувство къ этому „купчику“, удостоенному степени магистра. Развѣ онъ, Пирожковъ, не развитѣе его? А вотъ стоитъ въ толпѣ, ничѣмъ себя не представляетъ, слушаетъ аплодисменты такому купчику, посидѣвшему лишній годъ надъ иностранными книжками. Говорить этотъ купчикъ туго и напыщенно, діалектики вътъ, таланта нѣтъ, будетъ весь свой вѣкъ пережевывать факты, добытые другими. А поди, каеэдру дадутъ. Уже кругомъ говорили студенты, что онъ куда-то приглашенъ. Каеэдра давно стоитъ пустая, а никто, видно, не расчелъ... въ адвокаты всѣ идутъ.

Туго расходились. Разомъ прорвался гулъ разговоровъ, раздались оклики, молодой смѣхъ, захлопали дверьми, застучали большими сапогами по помосту, хоры очищались. Знакомыхъ студентовъ у Пирожкова не было. Да и отсталъ онъ отъ студентства. Ему кажется, что онъ другой совсѣмъ человѣкъ. Лица, длинные волосы, рубашки съ цвѣтными воротами, говоръ, балагурство: все эжо стѣсняло его. Онъ точно совѣтился обратиться къ кому-нибудь съ вопросомъ.

На площадкѣ, съ чугуннымъ поломъ, передъ спускомъ по лѣстницѣ, Пирожковъ, въ густой еще толпѣ, гдѣ скупчились больше дамы, столкнулся съ рослымъ блондиномъ въ большой окладистой бородѣ; тотъ велъ подъ руку плотную даму, лѣтъ подъ тридцать, въ черномъ, съ энергическимъ лицомъ.

Встрѣчъ съ ними Пирожковъ обрадовался. Это были мужъ и жена, близко стоявшіе къ университету по своимъ связямъ.

— Гдѣ вы пропадали?—спросилъ его блондинъ.

Иванъ Алексѣевичъ кратко и безпристрастно изложилъ повѣсть своего хожденія по Москвѣ. Мужъ и жена посмѣялись и пригласили его въ этотъ же вечеръ посидѣть.

Магистранта они оба пощипали. Пирожкову приятно было слышать, съ какой интонаціей жена выговорила:

— Купчикъ!

А мужъ сдѣлалъ презрительную мину и сказалъ:

— Не ахтителный!..

Они взяли съ него слово быть у нихъ вечеромъ и пошли подъ руку внизъ по двору, покрытому лужами и кучами еще не растаявшаго снѣга.

Съ годъ не бывалъ Пирожковъ въ этомъ семействѣ. Онъ зналъ, что у нихъ собирается хорошій кружокъ; кое съ кѣмъ изъ друзей онъ встрѣчался. Ему давно хотѣлось поближе къ нимъ присмотрѣться. Теперь случай выпалъ отличный.

Опять почувствовалъ себя Иванъ Алексѣвичъ университетскимъ. Съѣлъ онъ скромный рублевый обѣдъ въ „Эрмитажѣ“, вина не пилъ, удовольствовался пивомъ. Машина играла, а у него въ ушахъ все еще слышались пренія физической аудиторіи. Ничто не даетъ такого чувства, какъ диспутъ, и здѣсь, въ Москвѣ, особенно. Вотъ сегодня вечеромъ онъ, по крайней мѣрѣ, очутится въ воздухѣ идей, расшевелитъ свой мозгъ, вспомнить, какъ слѣдуетъ, что и онъ вѣдь магистрантъ.

Но вечеръ скорѣе разстроилъ его, чѣмъ одушевилъ. Собралось человекъ шесть-семь, больше профессора изъ молодыхъ, одинъ учитель, два писателя. Были и дамы. Разговоръ шелъ о диспутѣ. Смѣялись надъ магистрантомъ, потомъ пошли пересуды и анекдоты. За ужиномъ было шумно, но главной нотой было все-таки сознаніе, что кружки развитыхъ людей—капля въ этомъ морѣ московской бытовой жизни... „Купецъ“ раздражалъ всѣхъ. Иванъ Алексѣвичъ искренно излился и позабавилъ всѣхъ своими, на видъ шутливыми, но внутренне горькими соображеніями.

„Магистрантъ“ въ немъ не воспрянулъ и послѣ этой вечеринки. О работахъ никто не говорилъ. Совсѣмъ не о томъ мечталъ онъ. Поужиналъ онъ плотно и слишкомъ много пилъ пива.

XXIV.

Весь городъ ждетъ — остается десять минутъ до полночи. По площади Большого театра проѣхала карета въ шесть лошадей съ фореиторомъ и кучеромъ въ треугольных шляпахъ. Везли митрополита. Извозчиковъ мало,

прогудить барская или купеческая коляска, продребезжать дрожки, и опять станет тихо. По тротуарамъ спѣшать пѣшеходы: чуйки, пальто мастеровыхъ и приказчиковъ, мелькаютъ подола платьевъ и накрахмаленныхъ юбокъ мѣщанокъ и горничныхъ. Несутъ пасхи и куличи. Въ воздухѣ потянуло запахомъ плошекъ и шкаликовъ. Колоколни освѣщены. Ихъ арки выглядываютъ въ темнотѣ и трепещутъ веселымъ розовымъ свѣтомъ.

Идутъ удара въ колоколъ на Иванѣ Великомъ. Но вотъ гдѣ-то въ Замоскворѣчѣ ударили раньше минуты на три, еще гдѣ-то ближе къ Кремлю, за храмомъ Спаса, въ Яузской части, и пошелъ гулъ, еще мягкій и прерывающійся, а потомъ залилось и все Замоскворѣе. Густая толпа ждала этой минуты у перилъ обрыва.

Иванъ Великій облитъ свѣтомъ плошекъ и шкаликовъ по всѣмъ своимъ выступамъ и пролетамъ. Головы усыпали и выемы большой колоколни, и паранетъ первой площадки, гдѣ церковь, и арки бокового корпуса. Изъ-подъ средняго колокола выглядываютъ также лица. Они ярко освѣщены плошками. Легкій вѣтерокъ въ засвѣжѣвшемъ воздухѣ и паръ отъ дыханія относитъ книзу и въ сторону чадъ горящаго сала. Стѣна Успенскаго собора, обращенная къ Ивану, вся бѣлѣетъ отъ свѣта иллюминаціи и свѣчей, мелькающихъ полосами и кучками въ темной толпѣ. Она дѣлается всего скученнѣе вокругъ Успенскаго собора—ждетъ хода. Можно еще слышать негромкій, переливающийся шелестъ голосовъ. Сквозь большія стеклянные двери собора, внутренность церкви—точно пылающій кэстеръ. Свѣтъ паникадилъ играетъ на золотѣ иконостаса: снопы огненныхъ лучей внизу, вверху, со всѣхъ сторонъ. Многоэтажный фасъ зданія Крестовой палаты также свѣтелъ. На него падаютъ разноцвѣтные огни чугуновой рѣшетки. Въ полусвѣтѣ мощеной плитами площади выступаетъ менѣе массивный византійскій ящикъ Архангельскаго собора.

На Благовѣщенскомъ, по ту сторону воротъ, позолота крыши, такая яркая днемъ, скрыта ея изгибами. На крыльцѣ сплошной стѣной стоитъ народъ, но свѣтъ меньше, чѣмъ въ толпѣ, ожидающей хода вокругъ Успенскаго собора.

Ровно двѣнадцать. Пронизываетъ воздухъ ударъ въ сигнальный „серебряный“ колоколъ. И вотъ съ высоты Ивана поплылъ и точно густой волной сталъ опускаться

низкій тренетный гулъ. Онъ покрылъ всѣ звуки тысячной толпы, трескъ подъѣзжающихъ экипажей, отдаленный звонъ Замоскворѣчья, ближайшій благовѣстъ другихъ кремлевскихъ церквей. На гауптвахтѣ заиграли горнисты. Красное крыльцо лѣвѣе стоитъ въ темнотѣ. Изъ-за толпы не видно солдатъ. Слышны только скачущіе рѣзкіе звуки рожковъ на фонѣ все той же спокойной, ласкающей ухо волны большого колокола. Поближе къ Ивану можно распознать, что колоколъ надтреснутъ. При каждомъ ударѣ языка слышно звяканье, оно сливается съ основной нотой могучаго гудѣнья и придаетъ музыкѣ колокола что-то бо-
лѣе живое.

Проходить еще минутъ десять. Первой вышла процессія изъ церкви Ивана Великаго, заиграло золото хоругвей и ризъ. Народъ поплылъ изъ церкви вслѣдъ за ними. Двинулись и изъ другихъ соборовъ, кромѣ Успенскаго. Опять сигнальный ударъ, и разомъ рванулись колокола. Словно водоворотъ ревущихъ и плачущихъ нотъ завертѣлся и сталъ все захватывать изъ себя, расширять свои волны, потрясать слои воздуха. Жутко и весело дѣлалось отъ этой бури расходившагося металла. Показались хоругви изъ-за угла Успенскаго собора.

Въ толпѣ, сужившей оставленную, аршина въ два, дорожку, пробѣжала дрожь, всѣ подались впередъ. Два квартальныхъ прошли скорымъ шагомъ, приглашая податься. Головы обнажились.

Впереди два молодца, одинъ въ черной чуйкѣ, другой въ пальто, несли факелы. Хоругви держало каждую по нѣсколько человекъ за подвижныя, идущія въ разные стороны, древки. Хоругвеносцы въ галуновыхъ кафтапахъ, въ позументахъ на крестцахъ. Одинъ изъ нихъ, съ широчайшей спиной, на ходу какъ-то особенно изгибался подъ тяжестью кованой хоругви. Пѣвчіе не въ очень свѣтлыхъ кунтушахъ—красное съ синимъ—шли попарно, со свѣчами. Въ колеблющемся яркомъ свѣтѣ мелькали стриженыя головы и худощавыя лица дискантовъ и альтовъ. Рукава кунтушей закинута у нихъ вокругъ шеи. Исаюмники со свѣчами, діаконы, священники и архимандриты шли попарно, потомъ группами. Заблестѣли дикірыи грикирин. Проплыла сѣдая борода „владыки“, съ глупо надѣтой митрой подъ возвышающимися надъ нею отъныки коваными кругами. Головой выше другихъ, про-
тъ молодой, еще не ожирѣлый, протодіаконъ, перева-

ливаясь слегка на правый бокъ. Шитые мундиры генераловъ искрились поверхъ красныхъ лентъ... А тамъ повалилъ, вилотную, народъ, раздвинулъ дорожку и заставилъ стоявшихъ на пути податься назадъ.

Обошли кругомъ. Взвилась въ небо ракета, и съ кремлевской стѣны раздался грохотъ пушки. Нѣсколько минутъ не простылъ воздухъ отъ сотрясеній мѣди и пороха... Толпа забродила по площади, начала кочевать по церквамъ, спускаться и подниматься на Ивана Великаго; слышался гулъ разговоровъ, какъ только смолеъ благоиѣсть.

У высокаго паранета площадки Ивана Великаго стояли Рубцовъ и Тася Долгушина. Они забирались и подъ колокола. Тасю сначала оглушило, но вскорѣ она почувствовала какое-то дикое удовольствіе. Глаза ея блестяли. Съ Рубцовымъ у нихъ шло на ладъ. Они совсѣмъ ужъ спѣлись.

— Посмотрите, Семень Тимоѣенчъ, — напрягаясь, говорила она ему, — какъ это красиво... Вотъ свѣчи стали гасить, скоро и совсѣмъ погаснутъ.

— А вы думаете, впизу-то тамъ, кто больше? Православный народъ?

— Разумѣется!..

— Сойдемте, увидите, что больше нѣмчура. Контористы, гезеля всякіе... Сойдемте—сами увидите.

Они начали спускаться. У Таси немного закружилась голова отъ крутой лѣстницы, чада плошекъ и снующаго вверхъ и внизъ народа. Рубцовъ взялъ ее подъ руку и сказалъ подъ шумокъ:

— Вотъ и видно, что дворянское дитя: нервы-то надо укрѣпить,—собираетесь вѣдь ими дѣйствовать.

— Гдѣ?—наивно спросила Тася.

— Вотъ тебѣ разъ! А на сцепѣ-то?

Такъ они и остались подъ ручку и впизу. Толпы расплзлись уже по площади. Стало темнѣе. Кучки гуляющихъ, побольше и поменьше, останавливались, кочевали съ мѣста на мѣсто. Безпрестанно слышались возгласы: „Ахъ, здравствуйте! Христось воскресъ!.. Вы давно?.. Куда теперь?..“ Видно было, что сюда съѣзжаются, какъ на гулянье, ищутъ знакомыхъ, дѣлаютъ другъ другу визиты. Не мало прїѣзжихъ изъ Петербурга, изъ губернскихъ городовъ, явившихся утромъ по желѣзнымъ дорогамъ. Имъ много говорили про эту ночь въ Москвѣ. Они осма-

тривались съ бѣльшимъ напряженіемъ, чѣмъ туземная масса.

Рубцовъ былъ правъ. Обиліе нѣмецкаго языка удивило Тасю. Ее прежде никогда не возили въ Кремль въ эту ночь. Нѣмцы и французы пришли какъ на зрѣлище. Многіе добросовѣстно запаслись восковыми свѣчами. То и дѣло слышались смѣхъ или энергическія восклицанія. Трещаль и настоящій французскій языкъ толстыхъ модистокъ и перчаточницъ изъ Столешникова переулка и съ Рождественки.

Молоденькій комми и аптекарскіе ученики увивались за парами „нѣмокъ“ съ Кузнецкаго.

— А гдѣ же наши?—спросила Тася Рубцова.

— Должно-быть, на паперти Благовѣщенскаго. Хотите посмотрѣть на пасхи съ куличами, тамъ вонъ, гдѣ церковь-то Двѣнадцати Апостоловъ, на-верху?..

— Предложимте имъ...

Въ полусвѣтѣ паперти Тася узнала Анну Серафимовну и Любашу. Уже больше двухъ недѣль, какъ Любаша почти перестала кланяться съ „компаньонкой“. Тасю это смѣшило. Она не сердилась на крутую купеческую дѣвицу, видѣла, что Рубцовъ на ея сторонѣ.

— Куда же это провалились?—встрѣтила ихъ Любаша, и вся вспыхнула, увидавъ, что Рубцовъ подъ руку съ Тасей.

— Похристосуемся,—сказалъ Аниѣ Серафимовнѣ Рубцовъ.

— Дома, — проговорила она ласково и грустно, протягивая руку Тасѣ. — Вы ко мнѣ... Пора уже... Сыро дѣлается...

— А съ вами? — насмѣшливо спросилъ Рубцовъ Любашу.

— Не желаю...

— Какъ угодно...

— Вы ко мнѣ, Любаша? — пригласила Анна Серафимовна.

— Нѣтъ, мать дожидается. Прощайте,—рѣзко обратилась ко всѣмъ Любаша и пошла.

Ея дожидалась свои коляска. На ночь Свѣтлаго Воскресенья Любаша почему-то возлагала тайныя надежды.

Рубцовъ даже не предложилъ ей подняться на Ивана Яковлева. Да она бы и не поѣхала, если бы не надѣялась на какой-нибудь разговоръ.

Разговора не вышло. Она видѣла, что дворянка отбила у нея того, кого она прочила себѣ въ мужа.

„И наслаждайся!“ — выразилась она мысленно, садясь въ коляску.

Рубцовъ повелъ Станицыну и Тасю смотрѣть куличи и пасхи. Анна Серафимовна была особенно молчалива. Тася взяла ее за руку и прижалась къ ней.

— Тяжело вамъ, голубушка? — полушопотомъ спросила она на ходу.

Анна Серафимовна поцѣловала ее въ лобъ. Рубцовъ замѣтилъ это.

Когда они сходили съ лѣстницы, собираясь домой, Рубцовъ взялъ Станицыну за руку, повыше кисти, и сказалъ, заглядывая ей въ лицо:

— И на нашей, сестричка, улицѣ праздникъ будетъ!

— На твоей-то и скоро, — шепнула она, и, пропустивъ впередъ Тасю, прибавила: — Что плошаешь?.. вотъ тебѣ дѣвушка... На красную бы горку...

Онъ тихо разсмѣялся.

XXV.

На разговорѣ внезапно появился Викторъ Миновичъ. Станицына только что съѣла за столъ съ Тасей и Рубцовымъ, — больше никого не было, — какъ вошелъ ея мужъ, во фракѣ и бѣломъ галстукѣ, улыбающійся своей нахальной усмѣшкой, — поздоровался съ ней англійскимъ рукопожатіемъ, попросилъ познакомить его съ Тасей, съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Рубцова, и когда Анна Серафимовна назвала его, протянулъ ему два пальца.

Появленіе мужа сначала разсердило Станицыну, но она тотчасъ же сообразила, что это не просто, и внутренно обрадовалась. Она даже не спросила его, гдѣ же онъ остановился, почему не вѣхалъ къ себѣ и не занялъ свою половину? Ему и прежде случалось жить въ гостиницѣ, а числиться въ Петербургѣ или Парижѣ.

— Были въ Кремлѣ? — спросилъ онъ, оглядывая ихъ всѣхъ. — Нанюхались шкаликовъ?.. Все одно и то же.

Онъ пополнилъ. Его шел не такъ вытягивалась. Манеры сдѣлались какъ бы поироче. Тася незамѣтно оглядывала его. Рубцовъ кусалъ губы и презрительно на него поглядывалъ, чего, впрочемъ, Викторъ Миновичъ не замѣчалъ. У всѣхъ точно отшибло аппетитъ. Пасхальная баба, въ видѣ толстаго ствола, вся въ цукатахъ и залив-

ныхъ фигурахъ, стояла непочатой. До прихода Станицына поѣли немного пасхи и по одному айду. Вотчина и разные коместибли стояли также нетронутыми.

— Какая охота портить желудокъ! — замѣтилъ брезгливо Викторъ Мировичъ, ни къ чему не прикасаясь; но налилъ себѣ полстакана лафиту, выпилъ, поморщился и съѣлъ корочку хлѣба.

Рубцовъ и Тася скоро ушли. На лѣстницѣ они условились осматривать вмѣстѣ картинную галлерею Третьякова на третій день праздника.

— Что это значить? — шопотомъ спросила его Тася, надѣвая свое пальто.

— Скоро конецъ всему будетъ... я это чую.

Они пожали другъ другу руку и ласково переглянулись...

Въ столовой жена сидѣла на углу стола; мужъ прошелся раза два по комнатѣ, потомъ подошелъ къ ней и положилъ руку на столъ.

— Annette, — заговорилъ онъ, поглядывая на нее бокомъ, — вамъ мой прїѣздъ непріятенъ?

— Мнѣ все равно, вы знаете, — сухо и твердо произнесла Анна Серафимовна. Она замѣтно поблѣднѣла.

— Я прїѣхалъ вотъ зачѣмъ: хотите свободу?

— Какую? — точно машинально спросила она.

— Полную... Я предлагаю вамъ раздѣлъ имущества и разводъ. Вину я беру на себя.

— Вамъ это нужно?

— Конечно, иначе бы я не предлагалъ вамъ. А то, что вы надумали, — извините меня, — очень плохая сдѣлка. Вы, я думаю, и сами это видите?

Она только повела головой.

— Сколько же вы желаете?

— Какъ это вы спросили! Кажется, я съ вами джентльменомъ поступаю... Я беру свое состояніе, у васъ остается свое. Дѣтей я у васъ не отниму. Согласенъ давать на ихъ воспитаніе.

— Не надо! — вырвалось у нея.

Она помолчала.

— Вы женитесь? — спросила она и подняла голову.

— Зачѣмъ вамъ знать? Довольно того — я беру вину на себя. Если и обижаясь, такъ не въ Россіи.

Она все поняла. Паскочилъ, значитъ, на какую-нибудь прелестницу... И нельзя иначе, какъ законнымъ бракомъ...

А знаетъ, что жена вины на себя не приметъ. Ну и пускай его разоряется. Неужели же жалѣть его?

Дѣтей она не отдастъ, да и требовать онъ не посмѣетъ, коли беретъ на себя вину.

Вдругъ ей стало такъ весело, что даже духъ захватило. Свобода! Когда же она и была нужнѣе, какъ не теперь? И представилась ей комнатка въ части. Лежить теперь арестантъ на кушеткѣ одинъ, слышитъ звонъ колоколовъ, а разговѣться не съ кѣмъ, рядомъ храпитъ хожалый, крыса скребется. Захотѣлось ей полетѣть туда, освободить, оправить, сказать ему еще разъ, что она готова на все.

— Подумайте,—раздался въ просторѣ высокой комнаты женоподобный голосъ Виктора Миropyча.—Я остановился въ „Славянскомъ Базарѣ“. Теперь уже поздно. Буду ждать отвѣта. Если вамъ непріятно меня видѣть — пришлите адвоката.

Она отошла къ окну, постояла съ минуту, быстро обернулась и, сдерживая волненіе, сказала громко:

— Согласна.

Черезъ три минуты Станицынъ уѣхалъ. Въ бѣломъ пасхальномъ платьѣ сидѣла Анна Серафимовна въ опустѣлой столовой, одна, еще съ четверть часа. Свѣчи въ двухъ канделябрахъ ярко горѣли. Пасхальная ѣда переливала яркими красками. Тишина точно испугала ее. Она подперла рукой голову, и взоръ ея еще долго уходилъ въ одинъ изъ угловъ комнаты. Рѣшеніе было принято безповоротпо. Арестантъ выйдетъ изъ своего заключенія. Онъ не можетъ быть воромъ! Вотъ онъ на свободѣ. Дѣло рѣшится въ его пользу. Выпишетъ она ему адвокатовъ изъ Петербурга, если здѣшніе плохи. Не пройдетъ и полугода...

Румянецъ покрылъ ея щеки. Пора ей сбросить съ себя тяжесть постылой жизни: пришелъ и для нея свѣтлый праздникъ!..

XXVI.

О Третьяковской галлерей Тася часто слыхала, но никогда еще не попадала въ нее.

Она доѣхала одна. Ее везли по Замоскворѣчью, переѣхали два моста, повернули направо, потомъ въ какой-то переулокъ. Извозчикъ не сразу нашелъ домъ.

Тася прошла нижней залой съ пѣсколыжными перегородами. У лѣстницы во второй этажъ ждалъ ее Рубцовъ.

Въ первый разъ она немного смутилась. Онъ жалъ ей руку и ласково оглядывалъ ее.

— Какъ много картинъ...—выговорила она тономъ дѣвочки.

— Наверху еще больше. Тамъ новѣйшіе мастера. А тутъ старые. Все—русское искусство. Видѣли по дорогѣ, какая богатая коллекція ивановскихъ этюдовъ?..

Она должна была сознаться, что про Иванова слыхала что-то очень смутно, никогда даже не видала его большой картины.

— Вѣдь она здѣсь, въ Румянцовскомъ музеѣ виситъ,—сказалъ Рубцовъ,—какъ же вы?

— Да я,—чистосердечно призналась она,—ничего не знаю. Люблю красивыя картинки... а хорошенько ничего не видала.

Ей легче стало послѣ того, какъ она повинилась Рубцову въ своей неразвитости по этой части.

— Очень ужъ въ театрѣ ушли,—пріятельски замѣтилъ онъ и повелъ ее опять къ выходу.

Онъ все зналъ, началъ указывать ей на портреты, работы старыхъ русскихъ мастеровъ. И фамилій она такихъ никогда не слыхала. Постояли они потомъ передъ этюдами Иванова. Рубцовъ много ей рассказывалъ про этого художника, про его жизнь въ Италіи, спросилъ: помнить ли она воспоминанія о немъ Тургенева? Тася вспомнила и очень этому обрадовалась. Также и про Брюллова говорилъ онъ ей, когда они стояли передъ его вещами.

„Вотъ онъ все знаетъ, — думала Тася, — даромъ что глупескій сынъ; а я круглая невѣжда — генеральская дочь!“

Но это ее не раздражало. Она сказала ему почти то же вслухъ, когда они поднялись наверхъ. Рубцовъ разсмѣялся.

— Всякому свое,—замѣтилъ онъ,—большой премудрости тутъ вѣтъ... захаживалъ, почитывалъ кое-что...

Присѣли они на диванъ у перилъ лѣстницы. Справа, и слѣва, и противъ нихъ глядѣли изъ золотыхъ и черныхъ рамъ портреты, ландшафты, жанры съ русскими лицами, типами, видами, колоритомъ, освѣщеніемъ. Весь этотъ трудъ и талантъ говорили Тасѣ, что можно сдѣлать, если идти по своей настоящей дорогѣ. Рубцовъ точно угадалъ ея мысль.

— Таисія Валентиновна,—началъ онъ вполголоса,—вы въ себѣ истинное призваніе чувствуете насчетъ сцены?

— О, да!—вырвалось у нея.—А вы какъ на это смотрите, что я въ актерки иди хочу?

— Какъ слѣдуетъ смотрю. Если бъ дѣвушка, какъ вы, была моей женой и захотѣла бы этому дѣлу себя посвятить—я бы всей душой поддержалъ ее.

Щеки Таси загорѣлись. Рубцовъ исподлобья поглядѣлъ на нее.

— Я не думала, что вы такъ широко смотрите на вещи,—выговорила она.

— Не обижайте. Ежовый у меня обликъ. Такимъ ужъ воспитался. А внутри у меня другое. Не все же господамъ понимать, что такое талантъ, любить художество. Вотъ, смотрите, купеческая коллекція-то... А какъ составлена! Съ любовью-съ... И писатели русскіе всѣ собраны. Не однѣ тутъ деньги—и любви не мало. Такъ точно и насчетъ театральнаго искусства. Неужли хорошей дѣвушкѣ или женщинѣ не идти на сцену оттого, что въ актерскомъ званіи много соблазну? Идите съ Богомъ!—онъ взялъ ее за руку.—Я васъ отговаривать не стану.

Они поглядѣли другъ на друга; Тася отняла свою руку и сидѣла молча.

— Таисія Валентиновна,—кликнулъ ее Рубцовъ,—можно ли намъ столковаться, а?

— Отчего же нельзя?—спросила она, отводя немного голову.

— Ой ли?

Рубцовъ радостно вздохнулъ и всталъ.

Снизу показались двѣ барыни съ дѣвочкой.

Еще съ полчаса оставалась молодая пара въ верхней залѣ. Рубцовъ продолжалъ все рассказывать Тасѣ. Многихъ писателей она не узнавала по портретамъ. Картины были для нея новизной. Ее никогда не возили на выставки. И эта галерея стала ей мила. Здѣсь что-то началось новое. Она нашла прочнаго человѣка, способнаго поддержать ее. Онъ ее любитъ, просить ея руки, соглашается сразу на то, чтобы она была актрисой. Офицеръ или камеръ-юнкеръ заставилъ бы сойти со сцены, если бъ и влюбился, да и родня каждого жениха „хорошей фамиліи“. А это люди новые, ни отъ кого не зависятъ, кромѣ самихъ себя.

Вотъ и она купчихой будетъ. И славно!.. Они сходили по лѣстницѣ подъ руку. Еще разъ постояли они внизу,

передъ эскизами Иванова и передъ портретами Брюллова и Тропинина.

— Мы побываемъ здѣсь еще разъ,—сказала Тася на крыльцѣ.

— Хотя каждое воскресенье. Я вѣдь теперь на фабрикѣ.

У ней было такое чувство, точно онъ ея давнишній другъ, назначенный ей въ мужа и покровители.

„Купчиха и артистка. Славно“,—рѣшила про себя Тася.

XXVII.

— Васъ господинъ Нѣтовъ желаетъ видѣть,—доложилъ Палтусову солдатикъ.

Евлампій Григорьевичъ вошелъ скорыми шагами, во фракѣ, съ портфелемъ подъ мышкой и съ крестомъ на груди. На лицѣ его игралъ румянецъ; волосы онъ отпустилъ.

Палтусовъ принялъ его точно у себя дома, въ кабинетѣ, безъ всякой неловкости.

— Милости прошу,—указалъ онъ ему на кушетку.

Нѣтовъ сѣлъ и положилъ портфель рядомъ съ собой.

— Я къ вамъ-съ,—торопливо заговорилъ онъ и тотчасъ же оглянулся.—Мы одни?

— Какъ видите,—отвѣтилъ Палтусовъ и сразу рѣшилъ, что мужъ его довѣрительницы въ разстройствѣ.

— Узналъ я, что братъ моей жены... вы знаете, она скончалась... Да... такъ братъ... Николай Орестовичъ началъ противъ васъ дѣло... И вотъ вы находитесь теперь... я къ этому всему неприкосновенъ. Это, съ позволенія сказать,—гадость... Вы человекъ, въ полной мѣрѣ достойный. Я васъ давно poznalъ, Андрей Дмитриевичъ, и если бы я раньше узналъ, то, конечно, ничего бы этого не было.

— Благодарю васъ,—сказалъ Палтусовъ, ожидая, что дальше будетъ.

— Вы одинъ во всей Москвѣ-съ... человекъ съ понятіемъ. Помню я превосходно одинъ нашъ разговоръ... у меня въ кабинетѣ. Съ той самой поры, можно сказать, я и всталъ на собственные ноги... три мѣсяца трудился я... да-съ... три мѣсяца, а вы какъ бы изволили думать... вотъ сейчасъ...

Онъ взялъ портфель, отперъ его и досталъ оттуда брошюру въ свѣтленькой оберткѣ, въ восьмую долю.

— Это ваше произведение?—совершенно серьезно спросил Палтусовъ.

— Брошюра-съ... мое жизнеописаніе: пускай видятъ, какъ человѣкъ дошелъ до полнаго понятія... Я съ самаго своего малолѣтства беру-съ... когда мнѣ отецъ по гривеннику на пряники давалъ. Но я не то, что для восхваленія себя, а открыть глаза всему нашему гражданству... народу-то православному... куда идутъ, кому довѣряютъ. Жалости подобно!.. Тутъ у нихъ подъ бокомъ люди, ничего не желающіе, окромя общаго благоденствія... Да вотъ вы извольте соблаговолить просмотрѣть...

Нѣтовъ совалъ въ руки Палтусова свою брошюру.

Съ первой же страницы Палтусовъ увидалъ, что писано это человѣкомъ не въ своемъ умѣ. Онъ не подалъ никакого вида и съ серьезной миной перелистывалъ всѣ шестьдесятъ страницъ.

— Вы мнѣ позволите,—сказалъ онъ,—на досугѣ просмотрѣть?

— Сдѣлайте ваше одолженіе... И позвольте явиться къ вамъ... Мнѣ ваше сужденіе будетъ дорого... А то, что вы здѣсь находитесь, это ни съ чѣмъ не сообразно и, можно сказать, очень для меня прискорбно... И я сейчасъ же къ господину прокурору...

— Нѣтъ, ужъ вы этого не дѣлайте, Евлампій Григорьевичъ,—остановилъ его Палтусовъ.—Я буду оправданъ... все равно...

И въ то же время онъ думалъ:

„Ловко бы можно было воспользоваться душевнымъ состояніемъ этого коммерсанта. Онъ еще на волѣ гуляетъ“.

Но онъ на это неспособенъ. Это хуже, чѣмъ выѣзжать на увлеченіи женщинъ.

Долго сидѣлъ у него Нѣтовъ, самъ принимался читать отрывки изъ своей брошюры, но какъ-то сердито, ядовито поминалъ про покойную жену, называлъ себя „подвижникомъ“ и еще чѣмъ-то... Потомъ сталъ торопливо прощаться, разсмѣялся и ухарски крикнулъ на порогѣ:

— Не намъ, не намъ, а имени твоему!

Палтусову стало еще легче отъ сознанія, что деньги Марьи Орестовны, и какъ разъ четвертая часть,—наслѣдство человѣка, повихнувшагося умомъ. Его не нынче—завтра запрутъ, а состояніе отдадутъ въ опеку.

Это такъ и вышло. Нѣтовъ поѣхалъ къ своему дядѣ. Тотъ догадался, задержалъ его у себя и послалъ за дру-

гимъ родственникомъ, Красноперымъ. Они отобрали у него брошюру, отправили домой съ двумя артельщиками и отдали приказъ прислугѣ не выпускать его никуда. Евлампій Григорьевичъ сначала бушевалъ, но скоро стихъ и опять сѣлъ что-то писать и считать на счетахъ.

Красноперый привезъ того доктора, съ которымъ Палтусовъ говорилъ на балѣ у Рогожиныхъ.

Психіатръ объявилъ, что „прогрессивный параличъ“ имъ давно замѣченъ у Нѣтова, что болѣзнь будетъ идти все въ гору, но медленно.

— Куда же его,—спросилъ Красноперый,—въ Преображенскую или къ вамъ въ заведеніе?

— Можно и въ домѣ держать.

— Да вѣдь онъ одинъ, урвется, будетъ по городу чертить... срамъ!..

— Тогда помѣщайте у меня.

Черезъ недѣлю опустѣлъ совсѣмъ домъ Нѣтовыхъ. Братецъ Марьи Орестовны уѣхалъ на службу, оставивъ дѣло о наслѣдствѣ въ рукахъ самого дорогого адвоката. Въ заведеніи молодого психіатра, въ веселенькой комнатѣ, сидѣлъ Евлампій Григорьевичъ и все писалъ.

XXVIII.

По одной изъ полукруглыхъ лѣстницъ окружного суда спускался Пирожковъ. Онъ приходилъ справляться по дѣлу Палтусова.

Иванъ Алексѣевичъ замѣтно похудѣлъ. Дѣло его „пріятеля“ выбило его окончательно изъ колеи. И безъ того онъ не мастеръ скоро работать, а тутъ ужъ и совсѣмъ потерялъ всякую систему... И дома у него скверно. Пансіонъ мадамъ Гужо рухнулъ. Купецъ-каменщикъ, котораго просилъ Палтусовъ, далъ отсрочку всего на два мѣсяца; мадамъ Гужо не свела концовъ съ концами и очутилась „sur la paille“. Комнаты сняла какая-то пѣмка, табльдотомъ овладѣли глупые и грубоватые комми и пріѣзжіе комиссіонеры. Онъ сѣхалъ, помѣстился въ номерахъ, гдѣ ему было еще хуже.

Дѣло пріятеля измучило Ивана Алексѣевича. Бросить Палтусова—мерзко... Кто жъ его знаетъ?.. Можетъ-быть, онъ по-своему и правъ?.. Чувствуетъ свое превосходство надъ „обывательскимъ міромъ“ и хочетъ, во что бы то ни стало, утереть носъ всѣмъ этимъ коммерсантамъ. Что жъ!.. Это законное чувство... Иванъ Алексѣевичъ, въ послѣдніе

два мѣсяца, набилъ себѣ душевную оскомину отъ купца... Вездѣ купецъ и во всемъ купецъ! Днями его тошнить въ этой Москвѣ... И хорошо, въ сущности, сдѣлалъ Палтусовъ, что прикарманилъ себѣ сто тысячъ. Онъ ихъ возвратить, если его оправдаютъ и удастся ему составить состояніе, навѣрное возвратить. Самъ онъ вполне увѣренъ, что его оправдаютъ...

„Купецъ“ (Пирожковъ такъ и выражался про себя—собираательно) какъ-то заволокъ собою все, что было для Ивана Алексѣевича милаго въ томъ городѣ, гдѣ прошли его молодые годы. Вотъ уже три дня, какъ въ немъ сидитъ гадливое ощущеніе послѣ одного обѣда.

Встрѣтился онъ съ однимъ знакомымъ студентомъ изъ очень богатыхъ купчиковъ. Тотъ звалъ его къ себѣ обѣдать. Женатъ, живетъ бариномъ, держитъ при себѣ товарища по факультету, кандидата правъ, и потѣшается надъ нимъ при гостяхъ, называетъ его „ярославскимъ дворяниномъ“. Позволяетъ лакею обносить его зеленымъ горошкомъ; а кандидатъ ему вдалбливаетъ въ голову тетрадки римскаго права... Постоянная мечта—быть черезъ десять лѣтъ вице-губернаторомъ, и пускай всѣ знаютъ, что онъ изъ купеческихъ дѣтей!

Такъ стало скверно Ивану Алексѣевичу на этомъ обѣдѣ, что онъ не выдержалъ, при всемъ своемъ благодушіи, отвелъ „ярославскаго дворянина“ въ уголъ и сказалъ ему:

— Какъ вамъ не стыдно унижаться передъ этойкой дрянью?

Цѣлые сутки послѣ того и во рту было скверно... отъ зеленого горошка, которымъ обнесли кандидата.

Теплый, яркій день игралъ на золотыхъ главахъ соборовъ. Пирожковъ прошелъ къ набережной, поглядѣлъ на Замоскворѣчье, вспомнилъ, что онъ больше трехъ разъ стоялъ тутъ со Святой... По бульварамъ гулять ему было скучно; нѣтъ еще зелени на деревьяхъ; шль, вонь отъ домовъ... Куда ни пойдешь, все очутишься въ Кремлѣ.

Возвращался онъ мимо Ивана Великаго, поглядѣлъ на царь-пушку, поискалъ глазами царь-колоколъ и остановился.

Нестерпимую тоску почувствовалъ онъ въ эту минуту.

— Ба! кого я зрю?.. Царь-пушку созерцаете?.. Ха-ха-ха!—раздалось позади Пирожкова.

Онъ почти съ испугомъ обернулся. Какой-то брюнетъ

съ просѣдью, въ очкахъ, съ бородкой, въ пестромъ лѣтнемъ костюмѣ, помахиваетъ тростью и ухмыляется.

— Не узнали?.. А?..

Пирожковъ не сразу, но узналъ его. Ни фамиліи, ни имени не могъ припомнить, да врядъ ли и зналъ хорошенько. Онъ хаживалъ въ номера на Срѣтенку, въ „Ой-ваиду“, пописывалъ что-то и зашибался хмельнымъ.

— Ха-ха!.. Дошли, видно, до того въ матушкѣ Бѣлокаменной, что основы московскаго величія созерцаете? Дойдешь! Это точно!.. Я, милый человѣкъ, не до этого доходилъ.

Въ другой разъ Ивану Алексѣвичу такая фамиліарность очень бы не понравилась; но онъ радъ былъ встрѣтись со всякимъ—только не съ купцомъ.

— Да,—искренно откликнулся онъ,—вонъ надо. Засываетъ.

— А подъ ложечкой у васъ какъ?.. Закусить бы... Хотите въ „Саратовъ“?

— Въ „Саратовъ“?—переспросилъ Пирожковъ.

— Да, тамъ меня компанія дожидается... Журнальчикъ, батенька, сооружаемъ... сатирическое изданіе. На общинномъ началѣ... Довольно намъ батраками-то быть... Вотъ я тутъ былъ у купчины... На крупчаткѣ набилъ миллиончикъ... Такъ мы у него заимообразно... Только крижистъ, животное!.. Ыдемте?

Куда угодно поѣхалъ бы Иванъ Алексѣвичъ. Царь-пушка испугала его. Послѣ того одинъ шагъ и до загула.

Литераторъ съ комическимъ жестомъ подалъ ему руку и довелъ до извозчика.

XXIX.

На перекресткѣ, у Срѣтенскихъ воротъ, низменный, двухъэтажный домъ загнулся на бульваръ. Вдоль бокового фасада, наискось отъ тротуара, выстроился рядъ лихачей. Къ боковому подъѣзду и подвезъ ихъ извозчикъ.

— У насъ тутъ—кабинѣ-партикульѣ,—пригласилъ Пирожкова его спутникъ.

Иванъ Алексѣвичъ помнилъ, что когда-то кутили изъ его пріятелей отправлялись въ „Саратовъ“ съ женскимъ поломъ. Традиція эта сохранялась. И лихачи стоятъ тутъ до глубокой ночи по той же причинѣ.

Литераторъ ввелъ его въ особую комнату изъ коридора. Пирожковъ замѣтилъ, что „Саратовъ“ обновился. Главной

залы въ прежнемъ видѣ уже не было. И машина стояла въ другой комнатѣ. Все смотрѣло почище.

Въ „кабинѣ-партикульѣ“ уже засѣдало человѣка четыре. Пирожковъ оглядѣлъ ихъ быстро. Фамиліи были ему не извѣстны. Одинъ бѣлокурый, лохматый, въ красномъ галстукѣ, говорилъ сипло и поводилъ воспаленными глазами. Двое другихъ смотрѣли выгнанными со службы мелкими чиновниками. Четвертый, толстенный и красный, коротко стриженный господинъ, подбадривалъ половыхъ, составлялъ душу этого кружка.

Когда литераторъ усадилъ Пирожкова, онъ обратился къ остальной компаніи.

— Братцы,—сказалъ онъ,—нашъ гость—ученый мужъ. Но мы и его привлечемъ... А теперь, Шурочка, какъ закусочка?

Шурочкой звали краснаго человѣчка.

— А вотъ вашей милости дожидались. Ерундопель соорудить надо.

— Ерундопель?—спросилъ удивленно Пирожковъ.

— Не разумѣете?—спросилъ Шурочка.—Это драгоценное снадобье... Вотъ извольте прислушать, какъ я буду закусывать.

Онъ обратился къ половому, уперъ одну руку въ бокъ, а другой началъ выразительно поводить.

— Икры салфеточной четверть фунта, масла прованскаго, уксусу, горчицы, лучку накрошить, сардинки четыре очистить, свѣжій огурецъ и пять вареныхъ картофелинъ—счетомъ. Живо!..

Половой удалился.

— Ерундопель,—продолжалъ распорядитель,—выдумка привозная, кажется, изъ Питера, и какой-то литературный генералъ его выдумалъ. Послѣ ерундопеля — соорудимъ лампоно, моего изобрѣтенія.

Про „лампоно“ Пирожковъ слыхалъ.

Начали пить водку. Всѣ выпили рюмокъ по пяти, кромѣ Пирожкова... Его сталъ уже пробирать страхъ отъ такихъ „сочинителей“. Они дѣйствительно затѣвали сатирическій журналъ.

— Савва Евсеичъ долженъ быть,—повторилъ все толстенный, размѣшивая въ глубокой тарелкѣ свой „ерундопель“.

Пріѣхалъ и Савва Евсеичъ, молодой купчикъ, совсѣмъ

крупичатый, съ кроткимъ пухлымъ лицомъ и масляными глазами.

Всѣ вскочили, стали жать ему руку, посадили на диванъ. Пирожкова представили ему уже какъ „сотрудника“. Онъ ужаснулся, хотѣлъ браться за шляпу, но сообразилъ, что голоденъ, и остался.

Черезъ десять минутъ ѣли ботвинью съ бѣлорыбницей. Купчикъ вступилъ въ бесѣду съ двумя другими „сочинителями“ о голубиной охотѣ. До слуха Пирожкова долетали все неслыханныя имъ слова: „турмана, гонимые, дутыши, трубастые, водные, козырные“, какіе-то „грачи-простяжки“. Это даже заинтересовало немного: по компанія сильно выпила... Кто-то ползеть съ нимъ цѣловаться...

Купчикъ уже переженилъ бесѣду. Пошли любительскіе толки о протодьяконахъ, о регентахъ, рассказывалось, какъ такой-то церковный староста тягася съ регентомъ басами, заспорили о томъ, что такое „подголосокъ“.

Ужась овладѣвъ Иваномъ Алексѣвичемъ. Вѣдь и онъ, если поживетъ еще въ этой Москвѣ, очутится на изживеніи вотъ у такого любителя гонимыхъ турмановъ и партезнаго пѣнія.

Онъ собрался уходить. Литераторъ (Пирожковъ такъ и не вспомнилъ его фамиліи) удерживалъ его, обнималъ, потому началъ ругать его „дринью, ученой важнюшкой, аристократишкой“. Компанія гоготала; купчикъ пустилъ ему вдогонку:

— Прощайте-съ, безъ васъ веселѣй!

Иванъ Алексѣвичъ на улицѣ выбранилъ себя энергически. И подѣломъ ему! Зачѣмъ идетъ въ трактиръ съ первымъ попавшимся проходимцемъ? По „купецъ“ дѣлался просто какимъ-то кошмаромъ. Никуда не уйдешь отъ него... И на сатирическій журналъ дастъ онъ деньги; не будетъ самъ бояться попасть въ карикатуру; у него въ услуженіи — голодные мелкіе литераторы. Они ему и пасквиль напишутъ, и карикатуру нарисуютъ на своего брата, или изъ думскихъ на кого нужно, и до „господъ“ доберутся.

— Вонъ! вонъ! — повторилъ Пирожковъ, спускаясь по Рождественскому бульвару.

День разгулялся на славу. Всю линію бульваровъ продѣлалъ Иванъ Алексѣвичъ и только на Никитскомъ бульварѣ немного отдохнулъ. Но пошелъ и дальше.

XXX.

Пречистенскій бульваръ пестрѣлъ гуляющими.

Говорили про дѣло Палтусова, про сумасшествіе Нѣтова, про разводъ Станицыной. Толки эти шли больше между коммерсантами. Дворянскія семьи держались особѣ. Бульваръ уже нѣсколько лѣтъ какъ сдѣлался моднымъ. Высыпала публика симфоническихъ концертовъ.

Пирожковъ столкнулся съ парой: маленькая фигурка въ черномъ и блондинъ съ курчавой головой въ длинномъ темно-сѣромъ „дипломатѣ“.

— Иванъ Алексѣвичъ!—окликнули его.

Ему улыбалась Тася. Ее велъ подъ руку Рубцовъ.

— Вотъ мой женихъ,—представила она его.

Рубцовъ молча протянулъ ему руку. Его лицо понравилось Ивану Алексѣвичу.

Онъ повеселѣлъ.

— Вотъ какъ!—вскричалъ онъ.—А сцена?

— Сцена впереди,—выговорила съ увѣренностью Тася.— Я съ этимъ условіемъ и шла...

Рубцовъ тихо улыбнулся.

— Васъ это не пугаетъ?—спросилъ его Пирожковъ.

— Авось, пройдетъ,—сказалъ съ усмѣшкой Рубцовъ;— а не пройдетъ, такъ и слава Богу!

„Купецъ,—подумалъ Пирожковъ,— такъ и есть... И тутъ безъ него не обошлось“.

Тася немного потупилась.

— Андрея Дмитрича давно не видали?.. Я хотѣла къ нему поѣхать, но онъ передавалъ... (она промолчала, черезъ кого), что не надо...

Ей было совѣстно. Пирожковъ продолжалъ глядѣть на нее добродушно.

— Онъ надѣется...

— Выгорить его дѣло?—кунеческимъ тономъ спросилъ Рубцовъ.

Звукъ этого вопроса покоробилъ Пирожкова.

— Онъ говорить,—продолжалъ уже барскими нотами Пирожковъ,—что его незаконно арестовали.

— Будто-съ?—переспросилъ съ усмѣшкой Рубцовъ.

— Хорошо, кабы!..—вырвалось у Таси.—А вы знаете... бабушка здѣсь... вонъ тамъ, черезъ три скамейки направо.

— Пойду раскланяться... очень радъ повидать Катерину Петровну... А вы еще погуляете?

— Да, еще немножко, — отвѣтила Тася и поглядѣла на Широкова.

Въ ея взглядѣ было: „вы не думайте, что я стыжусь своего жениха: я очень счастлива“.

„И слава Богу“, — подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, приподнимая шляпу.

Онъ чувствовалъ все приливающее раздраженіе.

Старушки сидѣли однѣ на скамейкѣ.

Катерина Петровна держалась еще прямо, въ старушечьей кацавейкѣ и въ шляпѣ съ длиннымъ вуалемъ. На Фифинѣ было свѣтлое пальто, служившее ей уже больше пяти лѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ подошелъ къ рукѣ Катерины Петровны. Она усадила его рядомъ.

— Видѣлъ сейчасъ вашу внучку, — заговорилъ онъ, — и поздравилъ ее...

— Ахъ, вы знаете, милый мой... И слава Богу!

Катерина Петровна оглянулась на обѣ стороны и продолжала:

— Такое время, *mon cher monsieur*, такое время. *La noblesse s'en va...* Посмотрите вотъ, какіе туалеты... все въѣдъ это купчихи... Куда бы она дѣлась?.. А онъ—директоръ фабрики. Немного мужиковать, но умный... Въ Америкѣ былъ... Что дѣлать... Намъ надо потише...

Она понизила голосъ. Фифина приниженно улыбалась.

— Съ нами почтителенъ, — добавила Катерина Петровна.

„И кормить васъ будетъ“, — подумалъ Широковъ.

Онъ бы съ охотой посидѣлъ еще. Старушка всегда ему нравилась. Но Ивана Алексѣевича защемило дворянское чувство. Онъ долженъ былъ сознаться въ этомъ. Ему стало тяжело за Катерину Петровну: Засѣкина—и на хлѣбахъ у куличика, жениха ея внучки!..

Посмотрѣлъ онъ черезъ бульваръ, и взглядъ его уперся въ богатые хоромы съ башней, съ галлереей, настоящей замокъ. И это—купеческій домъ! А дальше и еще, и еще... Началъ онъ стыдить себя: изъ-за чего же ему-то убияться, что его сословіе бѣднѣетъ и гложетъ? Онъ—любитель наукъ, мыслящій человѣкъ, свободенъ отъ всякихъ предразсудковъ, демократъ...

А на сердцѣ все щемило, да щемило.

— У насъ не побываете? — спросила его глупенькая Фифина.

— Гдѣ же, mon ange... онѣ заняты,—сказала Катерина Петровна.

„Онѣ! — чуть не съ ужасомъ повторилъ про себя Пирожковъ. — Точно мѣщанка или купчиха... Бѣдность-то что значитъ“.

Ему положительно не сидѣлось. Онѣ простился со старушками и скорыми шажками пошелъ къ выходу въ сторону храма Спасителя. По обѣимъ сторонамъ бульвара проносились коляски. Одна коляска заставила его поглядѣть вслѣдъ... Показалась ему знакомой фигура мужчины. Цвѣтное перо на шляпѣ дамы мелькнуло красной полосой.

„Точно Палтусовъ“, — подумалъ онѣ и пересталъ глядѣть по сторонамъ.

— Вотъ и опять встрѣтились,—остановилъ его голосъ Таси.

Пришлось еще разъ остановиться.

— Какъ нашли бабушку?..—спросила Тася.

— Бодра.

— Старушки у насъ будутъ жить,—сказала съ удареніемъ Тася и поглядѣла на Пирожкова.

Этотъ взглядъ значилъ: „ты не думай, мой будущій мужъ все сдѣлаетъ, что я желаю“.

— А генераль какъ поживаетъ?—спросилъ Пирожковъ.

— Онѣ — при мѣстѣ... Жалуются... Можно будетъ его иначе пристроить.

„На конеческіе хлѣба“, — прибавилъ мысленно Пирожковъ.

Въ эту минуту прогремѣла коляска. Они стояли почти у перилъ бульвара и разомъ обернулись.

— Анна Серафимовна! — вскрикнула Тася. — Съ кѣмъ это?

— Да это Палтусовъ! — вскрикнулъ и Пирожковъ.

— Вашъ пріятель-с? — спросилъ его съ улыбкой Рубцовъ.

— Да-съ,—отвѣтилъ ему въ тонѣ Иванъ Алексѣевичъ.

— Стало, его выпустили! — искренно воскликнула Тася. — Ну, вотъ видите,—обратилась она къ Рубцову. — Разумѣется, онѣ не виновенъ!

Тотъ только выпустилъ воздухъ подъ носъ, скосивъ губу.

— Третьяго дня онѣ еще сидѣлъ, — сказалъ Пирожковъ, — но для него это не сюрпризъ... Все доказывалъ, что статья 1711-я къ нему не примѣнима.

— Да, еще немножко, — отвѣтила Тася и поглядѣла на Пирожкова.

Въ ея взглядѣ было: „вы не думайте, что я стыжусь своего жениха; я очень счастлива“.

„И слава Богу“, — подумалъ Иванъ Алексѣевичъ, приподнимая шляпу.

Онъ чувствовалъ все приливающее раздраженіе.

Старушки сидѣли однѣ на скамейкѣ.

Катерина Петровна держалась еще прямо, въ старушечьей кацавейкѣ и въ шляпѣ съ длиннымъ вуалемъ. На Фифинѣ было свѣтлое пальто, служившее ей уже больше пяти лѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ подошелъ къ рукѣ Катерины Петровны. Она усадила его рядомъ.

— Видѣлъ сейчасъ вашу внучку, — заговорилъ онъ, — и поздравилъ ее...

— Ахъ, вы знаете, милый мой... И слава Богу!

Катерина Петровна оглянулась на обѣ стороны и продолжала:

— Такое время, *mon cher monsieur*, такое время. La noblesse s'en va... Посмотрите вотъ, какіе туалеты... все въ это купчихи... Куда бы она дѣлась?.. А онъ—директоръ фабрики. Немного мужиковать, но умный... Въ Америкѣ былъ... Что дѣлать... Намъ надо потише...

Она понизила голосъ. Фифина приниженно улыбалась.

— Съ нами почтителенъ, — добавила Катерина Петровна.

„И кормить васъ будетъ“, — подумалъ Пирожковъ.

Онъ бы съ охотой посидѣлъ еще. Старушка всегда ему нравилась. Но Ивана Алексѣевича защемило дворянское чувство. Онъ долженъ былъ сознаться въ этомъ. Ему стало тяжело за Катерину Петровну: Засѣкина—и на хлѣбахъ у купчика, жениха ея впучки!..

Посмотрѣлъ онъ черезъ бульваръ, и взглядъ его уперся въ богатые хоромы съ башней, съ галлереей, настоящей замокъ. И это—купеческій домъ! А дальше и еще, и еще... Началъ онъ стыдить себя: изъ-за чего же ему-то убияться, что его сословіе бѣднѣетъ и гложетъ? Онъ—любитель наукъ, мыслящій человѣкъ, свободенъ отъ всякихъ предразсудковъ, демократъ...

А на сердцѣ все щемило, да щемило.

— У насъ не побываете? — спросила его маленькая Фифина.

жителями въ сибиркахъ и высокихъ сапогахъ—покрывались верхнимъ платьемъ. Стоящій при входѣ малый то и дѣло дергалъ за ручки. Шелъ все больше купецъ. А потомъ стали подѣзжать и господа... У всѣхъ лица сіяли... Справлялось чисто-московское торжество.

Площадь передъ Воскресенскими воротами полна была дребезжанія дрожекъ. Извозчики-лихачи выстроились въ рядъ, поближе къ рельсамъ желѣзно-конной дороги. Вагоны ползли вверхъ и внизъ, грузно останавливаясь передъ станціей, издали похожей на большой птичникъ. Изъ-за нея выставляется желтое зданіе старыхъ присутственныхъ мѣстъ, скучное и плотно-сколоченное, навѣшающее память о „ямѣ“ и первобытныхъ приказныхъ. Лавчонки около Иверской идутъ въ гору. Снопъ зажженныхъ свѣчей выдѣляется на солнечномъ свѣтѣ въ глубинѣ часовни. На паперти въ два ряда выстроились монахины съ книжками. Поднимаются и опускаются головы отвѣщающихъ земные поклоны. Тонительно тащатся пролетки вверхъ подъ ворота. Двѣ остроконечныя башни съ гербами пускаютъ яркую ноту въ этотъ хоръ впечатлѣній глаза, уха и обонянія. Минареты и крыши историческаго музея даютъ ощущеніе настоящаго Востока. Справа рѣшетка Александровскаго сада и стѣна Кремля съ цѣлой вереницей желтыхъ, свѣтло-бирюзовыхъ, персиковыхъ, желтыхъ стѣнъ. А тамъ, правѣе, огромный золотой шишакъ храма Спасителя. И пылъ, пылъ гуляетъ во всѣхъ направленіяхъ, играя въ солнечныхъ лучахъ.

Куда ни взглянешь, вездѣ воздвигнуты хоромины для необъятнаго чрева всѣхъ „хозяевъ“, приказчиковъ, артельщиковъ, молодцовъ. Сплошная стѣна, идущая до угла Театральной площади,—вся въ трактирахъ... Рядомъ съ громадиной „Московского“—„Большой Патрикѣвскій“. А подалѣе, на перекресткѣ Тверской и Охотнаго ряда,—опять каменная многоэтажная глыба, недавно отстроенная: „Большой Новомосковскій трактиръ“. А въ Охотной—свой, благочестивый трактиръ, гдѣ въ общей залѣ не курятъ. И тутъ же внизу Охотный рядъ развернулъ линію своихъ вонючихъ лавокъ и погребовъ. Мясники и рыбаки въ запачканныхъ фартукахъ молятся на свою заступницу „Прасковею-Пятницу“: — красное пятно церкви мечется издали въ глаза, съ свѣтло-синими пятью главами.

Гости все прибываютъ въ новооткрытую залу. Селянки,

растегая, ботвиньи чередуются на столахъ. Все блеститъ и ликуетъ. Желудокъ растягивается... Все вмѣститъ въ себя этотъ луженый котель: и русскую и французскую еду, и ерофеичъ и шато-икемъ.

Машина загрохотала съ какими-то остервенѣнiемъ. Захлебывается трактирный людъ. Колокола зазвенѣли пверху разговоровъ, ходьбы, смѣха, возгласовъ, сквернословiя, поверхъ дыма папиросъ и чада котлетъ съ горошкомъ. Оглушительно трещитъ машина побѣдный хоръ:

„Славься, славься, святая Русь!“

Оглавленіе I тома.

Китай-городъ.

Романъ въ 5 книгахъ.

	стр.
Книга первая	5
Книга вторая	92
Книга третья	173
Книга четвертая	256
Книга пятая и послѣдняя	344

СОБРАНИЕ
РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ
П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.



Тип. А. Ф. МАРКСА, Ср. Подъяч., № 1.

БЕЗЪ МУЖЕЙ.

(повѣсть.)

Памяти великаго мастера.

I.

Тихо. На утесѣ прокричалъ орелъ. Быстро сгущалась ночь; на небѣ заискрились звѣзды: съ моря въ воздухѣ поплыла влага, но тепло еще дышало въ лицо по всему побережью. Въ темнотѣ, подъемъ въ гору, по шоссе, изгибался полосой отъ окраины, гдѣ разсыпались голыши, вплоть до площадки; тамъ, среди кипарисовъ, сѣрѣло зданіе, все въ окнахъ. Въ немъ освѣтится то одно окно, то другое.

Дорога вела вдоль виноградниковъ. Нахло дымкомъ— гдѣ-нибудь сторожа разложили костеръ. Сверху, подъ сводомъ неба, занялись гребни скалъ, отражая вспышку зари. По срединѣ пути, въ спускѣ къ котловинѣ, купа деревьевъ наклонилась надъ перилами моста. У самаго шоссе журчали изъ желобовъ два ствола воды.

Передъ тѣмъ только что приходили сюда съ графинями двѣ дамы, напѣдили и вернулись наверхъ. Вода была ключевая, на вкусъ кисловатая, студѣная. За ней не лѣнились ходить и господа.

По горѣ, то здѣсь, то тамъ, въ домикахъ, изъ-за деревьевъ парка забѣгали огни. Тѣни сливались и падали слоями. Звуки шаговъ доносились звучнѣе. По небу пробѣжала звѣзда. Вдали трепетно лизнуло по облаку пламя маяка. Море покоилось пластомъ стали и беззвучно вздрагивало.

Къ ключу подходила женщина въ черномъ—цѣтъ ея платья отставала рѣзко отъ темноты ночи. Она шла тихо, но твердо, тѣло ея слегка колыхалось, а голову наклонила она впередъ и не глядѣла по сторонамъ. Отъ худобы она казалась выше средняго роста, изъ-подъ ободка косынки полосой пепла легла просѣдь волосъ. Лицо смутно расплывалось въ овалъ. Только изъ впадинъ зрачки замѣтно блестя.

Она несла бутылку. На спускѣ къ ключу она оступилась, пугливо вскрикнула, отерла ботинку о траву, нагнулась и подставила горлышко подъ струю. Назадъ пошла она сначала скорѣе, спотыкалась о щебенъ дороги, потомъ опустила голову и впала въ раздумье. Походка сейчасъ же замедлилась. Въ одномъ мѣстѣ откосъ горы выдался клиномъ. Въ виноградики, надъ тычинками лозъ, зачернѣлъ длинный мужской станъ. Винтовка торчала за спиной сторожа-татарина. Онъ чуть замѣтно двигался между грядъ.

Она вскинула вверхъ голову, увидала сторожа, отшатнулась и вскрикнула.

— Ничиво!—успокоилъ ее татаринъ, по-русски, и тихо засмѣялся горломя.

— Ахъ!—больше вздохнула, чѣмъ воскликнула она, и прошла рукой по глазамъ.—Караульщикъ?

— Точно такъ.

Дальше она опять ускорила шагъ. Только у крутого спуска, передъ лѣсенкой, она остановилась, довольно долго глядѣла на ленту моря и сбѣжала внизъ къ домику; подъ навѣсомъ крылечка отперла она ключомъ дверь и скрылась.

II.

Но ее видѣло, когда она нацѣживала воду въ бутылку, цѣлое общество гуляющихъ: оно сидѣло по ту сторону деревьевъ, на скамьѣ. Ее узнали и въ темнотѣ.

Сидѣло двое мужчинъ и три дамы. Разговоръ пошелъ шопотомъ.

Маленькая женщина въ свѣтломъ платьѣ (всѣ онѣ были безъ шляпокъ) наклонила голову и, захлебываясь, говорила:

— Это она... видите, какъ она ходитъ? Разумѣется, сумасшедшая!..

— Ну, Людмила... кто это знаетъ?—возразилъ слабымъ

голосомъ мужчина въ макферлантѣ—мужъ ея, контористъ изъ Петербурга.

— Ты ее не видалъ хорошенько.

— За табльд'отомъ она не бываетъ,—замѣтила полная, низенькая дѣвушка, въ короткомъ клѣтчатомъ платьѣ. Изъ-подъ юбки бѣлѣлись чулки въ башмакахъ съ прорѣзами.

Между ними сидѣлъ мужчина съ густой бородой въ бѣломъ лѣтнемъ костюмѣ и соломенной шляпѣ.

— Ахъ, mesdames,—звонко сказалъ онъ,—просто больная... Ну, можетъ, и разстройство какое... Кто же нынче не боленъ душевно. Новые психіатры...

Онъ не докончилъ и круто повернулся къ брюнеткѣ, сидѣвшей направо отъ него, на самомъ краю скамьи.

— Такъ какъ же, mademoiselle Усманская, вы не участвуете въ нашемъ пикникѣ?—спросилъ онъ дѣвушку въ сѣромъ платьѣ.

Она сидѣла, облокотясь о спинку скамьи. Волосы ея—совсѣмъ черные—были на лбу взбиты по-модному. Отъ нея шелъ запахъ гелиотропа.

— Вы думаете, что вамъ будетъ весело?

Густой голосъ ея немного вздрагивалъ.

— И какъ еще!—крикнулъ мужчина въ бородѣ, всталъ и началъ говорить съ жестами.—Кавалькада: пять кавалеровъ, столько же дамъ. Два татарина. Одинъ изъ нихъ съ провіантомъ. Обѣдать тамъ, на Ай-Петри. Будемъ танцевать. Въ восьмомъ часу новый привалъ, и назадъ. Домой попадемъ къ ужину. Помилуйте,—обратился онъ опять къ дѣвушкѣ въ сѣромъ,—вы совсѣмъ не пользуетесь природой. Такая красота!.. Только тамъ, на высотахъ, и живешь!.. Вѣдь вы ѣздите верхомъ?

— Да.

— А до сихъ поръ я не видалъ васъ ни разу на конѣ.

— На конѣ!.. — повторила дѣвушка, и про себя разсѣялась.

— Угодно? Я распоряжусь, прикажу Мехмеду съ вечера, чтобы еще была лошадь съ дамскимъ сѣдломъ.

Дѣвушка промолчала. Толстенъкая дѣвица въ короткомъ платьѣ поглядѣла на мужчину въ бѣломъ: „зачѣмъ же вы ее упрощаете, она насъ стѣснить, она слишкомъ аристократка“.

III.

И въ самомъ дѣлѣ, она была не ихъ общества и тона. Даже сидѣла она, хотъ и оперлась о спинку скамьи,—такъ, какъ будто дожидается удобной минуты распрощаться со всѣми и уйти. Ей давно надо быть дома. Совсѣмъ ночь; а она засиживается съ незнакомыми. Мать ждетъ ее, и можетъ опять выйти сцена. Но она рада была, хотъ одинъ вечеръ, очутиться среди веселыхъ, непринужденныхъ людей. Этотъ Павелъ Павловичъ—такъ звали мужчину съ бородой—душа всего табльд'ота. Онъ начиналъ ей правиться. Кажется, онъ адвокатъ.

— Который часъ?—вдругъ спросила она, не давая отвѣта на разспросы Павла Павловича.

— Десять скоро,—отвѣтила жена конториста.

— Мнѣ пора,—твердо выговорила она и поднялась.

За ней встали и остальные. Обѣ дамы остались назади. Рядомъ съ ними мужчина въ макферланѣ.

— Торѡпитесь?—спросилъ на ходу Павелъ Павловичъ.

— Да, поздно,—отвѣтила она и вбокъ поглядѣла на него.

Онъ шелъ грудью впередъ и закинувъ голову. Глаза онъ наполовину закрылъ. Шагаль онъ легко, и лѣвая его рука двигалась съ жестомъ военнаго. Свою длинную бороду носилъ онъ книзу уже; щеки выдались отъ полноты и загара. Изъ-подъ шляпы темнѣли волосы. Но она видѣла, когда онъ снималъ шляпу, что у него начинается рѣдѣть маковка. Который ему годъ—она опредѣлить не можетъ: между тридцатью и сорока.

— Подниматься легче будетъ,—сказалъ онъ, улыбнулся и предложилъ ей руку.

У ней было чуть замѣтное колебаніе; но она протянула свою и пошла съ нимъ въ ногу.

Ея голова приходилась ему по плечо. А когда онъ увидѣлъ ее въ первый разъ, въ столовой, она показалась ему очень крупнаго роста. Онъ тогда, съ другого конца стола, замѣтилъ ея голову, большую, круглую, съ взбитыми на лбу волосами, ея сочныя губы, расширенныя ноздри, скулы, смуглое лицо, широкій станъ, затянутый въ длинный корсажъ и жестковатый. Брови ея, густыя и прямыя, и родинку съ волосиками на лѣвой щекѣ онъ также замѣтилъ. Возлѣ нея сидѣла ея мать, маленькая, совсѣмъ бурая „барынька“ (онъ такъ ее назвалъ про себя),

въ морщинахъ, въ накладкѣ изъ буколы коричневаго цвѣта, съ лорнетомъ. Она была въ свѣтломъ платьѣ и кружевной косынкѣ, съ наколкой на волосахъ; всѣхъ осматривала въ лорнетъ, дѣлала гримасы ртомъ со вставными изсиня зубами. Своими ужимками она показывала, что всѣ, кто сидитъ за столомъ— „не изъ общества“.

Послѣ того онѣ только еще одинъ разъ являлись за табльд'отъ.

IV.

— Васъ какъ зовутъ?—спросилъ онъ на ходу и слегка потянулъ ея, ускоряя шагъ.

— Вы знаете.

— Имя, отчество?

— Марья Денисовна.

Ей странно было говорить съ мужчиной по-русски. Въ гостиныхъ это не дѣлается, по крайней мѣрѣ, въ началѣ разговора. А она любила русскій языкъ; ее даже огорчало то, что у ней странный выговоръ. Изъ всѣхъ мужчинъ, видѣнныхъ ею, здѣсь, въ паркѣ или въ общей столовой, этотъ Павелъ Павловичъ, кажется, самый интересный. Но онъ, навѣрно, несвободно говоритъ по-французски. Онъ тоже „не изъ общества“, хотя очень развязенъ и боекъ на слова. Что онъ адвокатъ — она почти рѣшила.

— Марья Денисовна, я вижу, вы не любите женскихъ пересудъ.

— Зачѣмъ? — спросила она и покраснѣла, замѣтивъ ошибку противъ языка: ей слѣдовало сказать: „почему“.

— Да вотъ, насчетъ этой дамы... Ну что такого тутъ страннаго, что она ни съ кѣмъ не знакомится? И сейчасъ — сумасшедшая!.. Одна барыня увѣряетъ даже, что она пьетъ.

— Что?

— Пьетъ... не знаю ужъ что: вино... то-есть напивается.

— Фи!..

Дѣвушка сдѣлала движеніе всѣмъ станомъ.

— Вотъ видите!.. Иначе и нельзя. Живутъ вмѣстѣ, сидятъ по комнатамъ, пьютъ кофе, киснуть... Вмѣсто того, чтобы цѣлый день лазить по горамъ, скакать, купаться по три раза... Вы въ которомъ часу? — вдругъ оборвалъ онъ свою рѣчь.

— Что?



— Купаетесь?

Такой простой вопрос сейчас бы возмутил ее мать. Вѣдь она дѣвушка, онъ молодой еще мужчина, не представленный имъ; ночью, идетъ съ ней подъ руку и говорить о часахъ купанья въ такомъ тонѣ, точно будто онъ ея близкій родственникъ.

Онъ опять сбоку поглядѣлъ на нее и усмѣхнулся.

— Вы очень торопитесь? Развѣ вы не можете возвращаться, какъ вамъ вздумается?

— Нѣтъ, не могу, — сухо отвѣтила она.

Павель Павловичъ понялъ, что вопросъ его былъ лишній.

„Сердится дѣвица, — подумалъ онъ. — Хочется пожить, да маменька держитъ малолѣткомъ. А, кажется, намъ годовъ-то порядочно“.

Но такъ какъ онъ всегда жалѣлъ всѣхъ русскихъ дѣвушекъ, то и тутъ мягко взглянулъ на нее и задумался.

Они шли молча минуты три. Небо уже кишѣло звѣздами.

У.

Павель Павловичъ Гущинъ считалъ себя защитникомъ и другомъ русскихъ дѣвушекъ вообще. Онъ смотрѣлъ на нихъ съ нѣжностью; немного покровительственно обращался съ тѣми, кого встрѣчалъ въ пріятельскихъ кружкахъ. Вотъ и теперь онъ почувствовалъ жалость къ этой свѣтской барышнѣ, кажется, уже порядочныхъ лѣтъ и подъ надзоромъ, должно-быть, дрянной матери, набитой чванствомъ. Знаніе жизни, связи съ женщинами, двѣ дуэли, смѣлость и благородство поступковъ въ щекотливыхъ случаяхъ, — все это давало ему, въ собственныхъ глазахъ, право глядѣть на свою новую знакомую, какъ ласковый учитель глядитъ на воспитанницъ, когда заговариваетъ съ ними въ перемѣну, а самъ боится окрика классной дамы.

— И завтра не можете на пикникъ? — спросилъ онъ шутливо, но мягко.

Онъ хотѣлъ показать ей, что понимаетъ ея невольное раздраженіе.

— Мы собираемся въ Ялту.

— Да вѣдь вы уже были тамъ?

— Проѣздомъ. Мы еще ничего не видали.

— А если бъ вы остались дома... пустили бы васъ?

Она засмѣялась.

— Вы не сердитесь. Я васъ не дразню; по мнѣ за васъ обидно.

— Къ чему?—жестковато выговорила она.

— Помилуйте! Гдѣ мы? Въ какомъ мы году? Оглянитесь вокругъ васъ. Сколько дѣвушекъ на полной свободѣ... живутъ, ѣздятъ однѣ, уѣзжаютъ за границу, рѣшаютъ свою судьбу, любятъ... Это—невозможно!

— Очень возможно!—сказала она и смолкла.

Ей не слѣдовало и этого: чтѣ бы она ни испытывала—большое мѣщанство жаловаться. Особенно мужчинѣ его лѣтъ. Еще мальчику-офицеру, иногда, выгодно сказать двѣ-три горькихъ фразы. Воображеніе сейчасъ заиграетъ у офицера. Въ десять минутъ она поняла этого бородатого адвоката. Онъ обращался съ ней ласково и поощрительно; а она, тѣмъ временемъ, разбирала его сухо и спокойно. Съ такимъ человѣкомъ не нужно много тонкости. Надо дѣйствовать сильными минутами. Онъ считалъ ее „такъ-себѣ“, свѣтской барышней, накрахмаленной, задерганной, пугливой и совсѣмъ не жившей. Еще немножко, и онъ начнетъ говорить съ ней фамиллярно, такъ съ дѣвчонкой.

А она, когда встрѣтила его на берегу и присоединилась къ гуляющимъ, разорвала послѣднюю нитку чего-то, чтѣ ей казалось прежде чувствомъ къ матери. Она ожесточилась. И теперь одна голова ея работала: если онъ адвокатъ, у него можетъ быть порядочная практика, онъ добръ, веселаго нрава, у него — либеральныя идеи, онъ легко поймается на великодушномъ порывѣ; лѣтъ ему, пожалуй, тридцать пять, такіе мужчины всегда нѣсколько запаздываютъ жениться — тѣмъ лучше. Только не надо его допускать до фамиллярности, до тона добраго дяди, готоваго взять племянницу подъ крылышко.

VI.

— Вы здѣсь отдыхаете?—спросила она гораздо мягче.

— Да, это мои вакаціи.

— Гдѣ?

— Тамъ, гдѣ я читаю.

— Вы читаете?—спросила она съ недоумѣніемъ.

— Лекціи.

— А-а...

Это ей показалось лучше, чѣмъ адвокатура; но что это даетъ—она не знала

— Вы...

Она искала слова.

— Я профессоръ.

Онъ прибавилъ—какого права. Сказалъ и гдѣ:—въ одномъ изъ южныхъ университетовъ.

— Это близко отсюда?

Опять ей сдѣлалось непріятно, что она задаетъ дѣтскіе вопросы.

— Не далеко, — весело отвѣтилъ онъ, и вдругъ сталъ напѣвать что-то.

Это ее и разсмѣшило, и укололо. Да, онъ „не изъ общества“. Кто же это начнетъ въ разговорѣ съ свѣтской дѣвушкой напѣвать?.. Почему же послѣ того не засвистать? Она было хотѣла проучить его, но подумала: „не слѣдуетъ теперь“. Его довольное лицо, бодрая походка съ покачиваніемъ, костюмъ изъ китайскаго шелка начинали сердить ее больше, чѣмъ то, что онъ запѣлъ. Такъ и пышало отъ него свободой и тѣмъ, что онъ молодъ, видный собой, занимаетъ положеніе, природу любить, appetite у него отличный...

Почему все это у него, а не у ней! Онъ уже ей не казался ни добрымъ, ни понимающимъ. Но что жъ изъ этого? Каковъ бы онъ ни былъ, она не можетъ разбирать съ нимъ всѣ оттѣнки своего интимнаго чувства. Она должна все это припрятать. Иначе ей не уйти изъ каторги. Французское слово „baigne“ было ею произнесено въ головѣ. Думала она по-французски.

— Я хотѣла бы поѣхать верхомъ, — начала она, — но только не въ такомъ большомъ обществѣ.

— Бонтесь смѣшаться кое съ кѣмъ?

— Это неудобно, — отвѣтила она такъ значительно, что онъ перемѣнилъ тонъ.

— Вы, кажется, хорошо ѣздите? — поспѣшила спросить она.

Ей стало досадно, что по-русски она говорить безцвѣтно: не хватаетъ словъ. Просто она глупѣетъ. Будь это по-французски, она бы ему въ четверть часа показала, какъ она умѣетъ говорить и думать. На томъ языкѣ готовилъ фразы. Ими играешь, какъ шариками. А тутъ надо заново составлять фразы. И въ салонахъ ихъ никогда не произносятъ.

— Хотите, какъ-нибудь маленькую прогулку въ Алуку?

Вотъ начнутся лунныя ночи. Чудо! Особенно въ верхнемъ паркѣ.

„А что это будетъ стоять? Но если у насъ пойдетъ на ладъ, она должна согласиться“.

Мать свою Марья Денисовна называла про себя „она“.

— Когда захотите—скажите мнѣ. Ваша мамаша можетъ на меня положиться.

VII.

Они поднялись наверхъ. По обширной площадкѣ еще гуляли. Подъ фиговымъ деревомъ, на длинномъ диванѣ сидѣло нѣсколько человѣкъ. Отъ кухни къ сѣрому зданію пробѣгали лакеи и носили самовары и посуду. У колодца слышно было какъ лошади жуютъ сѣно. Паркъ шелъ вверхъ террасами.

— Вы вѣдь наверху живете?—спросилъ Гущинъ.— Позвольте мнѣ проводить васъ. Совсѣмъ темно. Я знаю хорошо дорожки.

Руку свою она уже успѣла выдернуть. Они шли рядомъ. Въ нихъ всматривались гуляющіе.

— Павелъ Павлычъ! — раздался женскій голосъ съ дивана.

— Васъ зовутъ, — тихо выговорила дѣвушка, — я не вижу кто.

— Павелъ Павлычъ!—донеслось изъ другой группы.

— Какъ васъ любить...

Она сказала это просто. Ему понравилось.

— Все насчетъ пикника. Да я еще успѣю вернуться.

По каменной узкой лѣсенкѣ, высѣченной въ горѣ, стали они подниматься на первую террасу, гдѣ въ двухъ домикахъ свѣтились огни. Она могла бы и отблагодарить его, подняться одна; но эти проводы казались ей не лишними. Отнынѣ она не будетъ терять ни одной секунды даромъ. И все, что она задумаетъ, она выполнитъ, не взирая ни на что! Будь это еще двѣ недѣли назадъ, она не пошла бы даже гулять съ незнакомыми. Но теперь, что бы ее ни ждало дома, она ко всему готова.

Со второй террасы они вступили въ аллею, совсѣмъ темную. Подъ ногами мягко разстилалась прошлогодняя хвоя и сухіе листья орѣшника. Сквозь листву мигали звѣзды.

Справа залаяла собака, другая подхватила, и обѣ залились жидкимъ лаемъ.

— Цыц! Розка! Фиделька!—крикнуть на нихъ молодой
женскій голосъ.
И въ аллеѣ забѣлѣлось.

— Здравствуйте, барышня,—звонко послышалось среди
почи.

— Поля... это вы?—спросила Марья Денисовна и оста-
новилась.

— Я, барышня.
У Поля былъ пріятный гортанный голосокъ. Вблизи
Гущинъ разсмотрѣлъ, что она прикрыла голову татарской
чадрой, расшитой шелками по кисей. Онъ пригвѣтилъ эту
дѣвочку. Ей пошелъ шестнадцатый годъ.

И встрѣча съ Полей не смутила Марью Денисовну.
Когда горничная убѣжала, Гущинъ опять подалъ руку
своей дамѣ.

VIII.

Аллея перешла въ голую, неровную полянку, засажен-
ную оливковыми деревьями. Они чуть-чуть серебрились.
Отъ полянки паркъ сдѣлался гуще, пошли хвойныя де-
ревья и крупный орѣшникъ. Дорожка сузилась. Темнота
стояла синяя.

— А если онъ меня вдругъ поцѣлуетъ?—спросила про
себя дѣвушка.

И не смутилась своимъ вопросомъ. Но она не чувство-
вала никакого волненія, даже и такого, какое даютъ
когда статный кавалеръ беретъ за талю. Спут-
ническое. Ему было съ ней
другими дамами и
отече

душень, онъ бы на этомъ поигралъ. Но жалость къ дѣвущкѣ покрыла все остальное.

— Вотъ скоро и ваша калитка,—сказалъ онъ тихо.

Она остановилась.

— Благодарю васъ. Вамъ пора вернуться. Здѣсь два шага.

— Собаки?

— Я знаю ихъ.

— Такъ рѣшено... мы ѣдемъ въ Алуку, какъ только дождемся полнолунія? Тогда позвольте взять еще одну только даму.

— Кого же? Изъ этихъ?

— Жена моя приѣдетъ черезъ недѣлю. Она зажила въ Швальбахѣ.

— Жена ваша?..

Голосъ у ней упалъ противъ ея воли; но Гущинъ этого не замѣтилъ.

— Да... А васъ это удивляетъ? Благодарю. Самый лучший комплиментъ мнѣ.

Она поклонилась молча, руки ему не дала, и пошла къ калиткѣ.

Гущинъ побѣжалъ съ горы.

IX.

Домикъ, въ родѣ будки, раздѣленъ на двѣ комнаты. Между ними нѣтъ двери въ дощатой перегородкѣ. Одно окно выходитъ къ изгороди, другое, слѣва отъ входа,—на дворъ. Въ первомъ окнѣ только и былъ свѣтъ.

Марья Денисовна отперла ключомъ дверь изъ крошечныхъ сѣней, и вошла въ темноту.

— C'est vous? — спросили изъ-за перегородки высокой нотой.

Она ничего не отвѣтила и зажгла свѣчу. Еле можно было повернуться. Кровать и комодъ со столомъ занимали почти всю комнату. Вдоль перегородки, подъ двумя простынями, висѣли платья.

— C'est vous?—послышался вопросъ рѣзче и визгливѣе.

— C'est moi,—отвѣтила дѣвушка и стала раздѣваться.

Она знала, что мать сегодня не войдетъ къ ней; а если будетъ сцена, то завтра, передъ отправленіемъ въ Ялту. Да и то чего-нибудь „большого“—не случится. Послѣ того, что нынче было передъ обѣдомъ, мать можетъ ожидать всего.

Но *чего?* Вотъ этотъ вопросъ и всталъ передъ ней, когда она, наскоро раздѣвшись, легла и потушила свѣчу.

— Вы спите?—спросили ее по-русски.

— Я устала,—отвѣтила она и нарочно закрыла глаза.

Говорить съ матерью сдѣлалось для нея невыносимымъ, хуже чѣмъ выслушивать ея окрики и приставанья. Она кончить тѣмъ, что перестанетъ совсѣмъ говорить; будетъ только отвѣчать—односложно.

Но чѣмъ же она запугаетъ мать? А нужно. Опять нѣтъ никого въ виду. Тотъ профессоръ могъ бы спасти ее. Она бы не стала бросаться ему на шею, но сошлась бы съ нимъ скоро. Нѣсколько искреннихъ разговоровъ, и поправься она ему—отчего же бы и не конецъ? Онъ женатъ, и кажется прочно. Голосъ его звучалъ такъ мягко, когда онъ упоминалъ о женѣ. Лѣжится въ Швальбахѣ. Стало, болѣзненная. Зачѣмъ, зачѣмъ тутъ жена?..

Такія мысли уже не смущаютъ и не стыдятъ Марью Денисовну. Нѣтъ больше мочи выносить положенія двадцатичетырехлѣтней дѣвушки, нейдущей съ рукъ у матери. Есть предѣлъ: за нимъ то чувство, что вы—товаръ, невольница на торгѣ невѣсты, переходитъ въ ожесточеніе. Все, что бы ни ожидало васъ въ замужествѣ, —лучше того, какъ вы живете. Мать стала давно постылымъ существомъ. Въ ея лицѣ стояла передъ дѣвушкой одна алчность расчета: выдать повыгоднѣе и жить потомъ на хлѣбахъ зятя. Тайная нищета, тщеславіе, духъ касты, всѣ виды жалкаго и смѣшнаго себялюбія,—вотъ что была для нея мать. Уже второй годъ пошелъ, какъ она ей ненавистна до послѣдней степени. Мать—убійца! иначе она не въ силахъ считать ее. И это преступленіе отняло у дочери средство защиты. Чѣмъ она испугаетъ ее, какой угрозой?..

X.

Если бъ не то, что случилось около двухъ лѣтъ тому назадъ, она—когда ей придется совсѣмъ немоту—пришла бы и сказала матери:

— Еще одна ваша выходка, и я брошусь въ море. Вы знаете, что я на вѣтеръ не говорю.

Но одна утопленница уже есть. Такая угроза—ни къ чему. Сестра Лили не грозила, а просто утопилась. Черезъ недѣлю придетъ день ея памяти. Это было на водахъ,—всегда въѣды воды, сезоны!—въ августѣ. Случился генералъ въ уѣздѣ съ бригадой. Какого же еще жениха?

Мать напрягла послѣднія усилія. Лили—прозрачная, кроткая—выслушала приказъ: поправиться генералу и не разсуждать о томъ, что онъ пошлъ, толстъ, съ краснымъ прыщавымъ затылкомъ и грубыми шуточками. Черезъ мѣсяцъ ее объявили невѣстой. Послѣднія крохи были собраны для приданого. Задолжали во всѣхъ магазинахъ Кузнецкаго и пассажа Солодовникова; зато что за подвѣчное платье было! Лили улыбалась, съ сестрой избѣгала разговоры, должно-быть, боялась ея, считала ее въ уговорѣ съ матерью. Въ публичномъ саду былъ большой прудъ. Лили ходила туда читать. Наканунѣ свадьбы она долго не возвращалась къ чаю; а ушла—когда всѣ еще спали.

Первая—сестра увидала письмо, незапечатанное, безъ адреса, пробѣжала его и бросилась къ матери.

Въ письмѣ стояло по-русски:

„Милая мама, я не могла побороть себя. Знаю, что огорчу васъ съ Мери; но это выше силъ моихъ. Онъ мнѣ противенъ, когда беретъ меня за руку — меня тошнитъ. А поцѣлуй его—просто мученье! Ты израсходовала на мое приданое. Это меня терзаетъ; но я, ей-Богу, не могу. Страшный грѣхъ беру на себя, но Богъ проститъ. Прости и ты. И Маня пусть проститъ меня за то же. Не ищите меня. Не нужно. Меня уже нѣтъ въ живыхъ, когда вы читаете эти строки. Ключи отъ моихъ сундуковъ лежатъ на полочкѣ, подъ кроватью. Крѣпко цѣлую васъ. Христосъ съ вами.

„Лили“.

У ней у первой блеснула мысль — „Лили утопилась“. Пробѣжали къ пруду, ѣздили въ лодкѣ съ баграми, насили вытащили. Она надѣла себѣ на голову наволочку, а шею перевязала шнуркомъ и привѣсила къ нему гири: гдѣ-то нашла старую гирю отъ стѣнныхъ часовъ.

И лежала она бѣлая, точно въ саванѣ, съ укутанной головой, на травѣ, на берегу, пока пришли полицейскіе и слѣдователи.

XI.

И что же?.. Мать изъ похоронъ сдѣлала зрѣлище. На Лили надѣли подвѣчное платье, выписанное изъ Москвы. Сбѣжался весь городокъ, всѣ больные. Офицеры несли гробъ. А слѣдовало бы подвѣчное платье прибрать для старшей дочери, оставшейся въ живыхъ. Ей мать и дала

повяты, на другой день послѣ похоронъ, что женихъ долженъ остаться въ фамиліи, что это будетъ даже очень благородно и красиво.

Она только пожала плечами. Теперь бы она и за него пошла. Лили она завидовала. Та раньше догадалась. Идти на самоубійство, послѣ нея, будетъ—обезьянство. И угроза—исчезла. Скажетъ она: „я утоплюсь“, мать ей отвѣтитъ: — Вы меня этимъ не испугаете!

А смѣлости нѣтъ:—не бросаться въ воду, не вѣшаться, а просто уйти, начать другую жизнь. Вѣдь если все будетъ лучше того, что она теперь испытываетъ, чего же бояться?..

Барышня выросла въ ней и держать ее въ рабствѣ. Страшить мѣщанская грязь, какъ будто черезъ годъ онѣ съ матерью не нищія! Все равно ничего у нихъ не останется. Долговъ столько, что имъ своимъ трудомъ никогда не выплатить. Все равно должна же она пойти въ гувернантки, въ классныя дамы, а мать вымолить себѣ мѣсто какой-нибудь кастелянши или жилички Вдовьяго Дома. Отецъ пенсіи не оставилъ; одно время удалось ему пристроиться къ концессіи, но кончилось это почти банкротствомъ и даже судомъ. Хорошо, что въ-время умеръ. Онъ былъ бы навѣрно осужденъ. Надѣялись на карьеру брата Володи. Впереди манило флигель-адъютантство. Его убили въ Болгаріи, на Зеленыхъ-Горахъ. Будь мужчины живы, все бы какъ-нибудь иначе дышалось. Но съ - глазу - на - глазь, недѣли, мѣсяцы, годы... безконечныя зимы съ - выѣздами, походы на воды, на берегъ моря, въ модныя загородныя мѣста Москвы, Петербурга. Двумъ женихамъ было отказано: навели справки, они сами рассчитывали на приданое, прожились. Одинъ оказался что-то въ родѣ бѣглаго... Но этому уже четыре года. Въ четыре года ничего похожего на серьезное ухаживанье... Или отъ нея требовали выхода замужъ за стариковъ, за всѣмъ извѣстныхъ развратниковъ. А когда начиналъ ѣздить чаще молодой человѣкъ, не очень глупый, не очень пустой — на нее нападало гадливое чувство къ себѣ.

Надо было объявить ему про то, что у ней есть въ прошедшемъ...

XII.

Свою „chute“—она называла это всегда по-французски—вспоминала Марья Денисовна только въ такихъ случаяхъ.

А въ промежутки между видами на сватовство она впадала въ безпамятность. У ней не было вчерашняго дня. Грызть себя она уже не могла. Слишкомъ она себя жалѣла. И все, что лѣтъ семь назадъ вызывало бы въ ней укоры совѣсти, теперь стало дѣломъ самымъ простымъ и неизбѣжнымъ.

Надо лгать и скрывать. Безъ лжи не проживешь двухъ часовъ. Прежде, бывало, какъ она возмущалась, если горничная солжетъ. Начнетъ стыдить ее: „какъ тебѣ, Дуняша, не совѣстно?“ Сама расплачется отъ волненія.

А теперь?! Ей даже доставляетъ родъ удовольствія — пресѣчь ворчанье матери хорошо состроенной, вѣской ложью.

И гдѣ конецъ? Смерть матери? Она давно дошла до перебирания этого вопроса. Другого нехода нѣтъ. Что же можетъ быть гаже? А между тѣмъ, что-то ее связываетъ съ матерью, не одна кровь, а другое еще, барское, свѣтское. Она часто смѣется надъ нею, ея запоздалыми манерами, взглядами, словами; а не можетъ не сознавать, что и въ ней есть частица того же тѣста; на немъ замѣсили и ея собственный составъ. Потому-то она такъ и видитъ насквозь свою мать. Никакихъ недоумѣннй у нея быть не можетъ; ничего, чѣмъ бы она могла оправдать ее. Если это материнская любовь и забота то что же, послѣ того, злоба и несправедливость?

Завтра поѣздка въ Ялту, на два дня, готовить ей рядъ медкихъ гадостей. Она не упиралась. Но она впередъ видитъ все сдѣленіе дерганій и волненій: будутъ копеечничать — и все-таки, чтобы было все по-барски. Надо нанять коляску; а взять два мѣста, въ общемъ экипажѣ, неприлично. Сегодня приходитъ извозчикъ, съ нимъ торговались цѣлый часъ. Онъ три раза возвращался и хотѣлъ дать знать утромъ. Условиться съ нимъ надо будетъ ей, мать просыпается поздно.

Какая тоска! Тащиться по жарѣ, въ пыли шоссеиной дороги, разряженной, проскучать, видѣть мельканіе какихъ-нибудь „уродовъ“...

А можетъ-быть, именно тамъ произойдетъ встрѣча съ тѣмъ, кто все сразу пойметъ, все проститъ, обо всемъ догадается, ни о чемъ не будетъ допрашивать, полюбитъ, обезпечитъ, уѣдетъ далеко, окунетъ въ новую жизнь... Отчего же не въ Ялтѣ?

Съ этой мыслью она заснула.

XIII.

Седьмой часъ утра. Жаръ уже стоялъ надъ горой и даже изъ-подъ тѣни прогонялъ прохладу; съ побережья поднимаются, по крутымъ тропинкамъ, купальщики. Купальныя будочки свѣтятся издали продолговатыми бѣлыми пятнами. На небѣ ни одного клочка облака. Поодаль отъ мужского купанья, въ густыхъ бирюзовыхъ волнахъ пощется полная женщина въ широкой шляпкѣ, съ опущенными полями. Ей любо въ водѣ. Она то начнетъ плавать, по-женски колотить ногами по водѣ и всплывать ее съ шумомъ, то ляжетъ на спину, вытянетъ ноги и подниметъ голову, чуть-чуть разводя бѣлыми, гладкими руками. Ея плечи и шея выступаютъ съ округленнымъ блескомъ атласа изъ желтаго костюма, перехваченнаго кушакомъ. Вокругъ нея—пѣна и чешуйки золота на колыханіи зеленой и синей ряби—точно махровый вѣнецъ. По тропинкѣ поднимается мужчина въ кителѣ и закрываетъ лицо холстиннымъ зонтикомъ со стороны моря.

Въ большомъ зданіи и въ желтоватыхъ низкихъ домахъ уже идетъ жизнь. Опять забѣгала прислуга изъ кухни и обратно. У колодца два босоногихъ татарчонка чистятъ овощи. Въ сторонѣ, подъ фиговымъ деревомъ приготовлены верховыя лошади. Сверху, по аллеѣ, куда вчера Павелъ Павловичъ провожалъ Марью Денисовну, промелькнуло спѣшными шагами нѣсколько молодыхъ статныхъ татаръ, въ черныхъ барашковыхъ шапочкахъ съ золотой звѣздой на тулѣ, въ нанковыхъ курткахъ и шароварахъ. Одинъ спѣшилъ напоить лошадей, два другихъ пронесли въ корзинахъ виноградъ и груши.

Наверху, выше того мѣста, гдѣ жила съ матерью Марья Денисовна, въ каменномъ зданіи, жильцы одни за другими выбирали виноградъ, только что утромъ срѣзанный и разложенный сортами, вѣшали, накладывали въ корзиночки и расходились по дорожкамъ парка—сѣдять свою порцію до завтрака. Жаръ все прибываетъ. Только вѣтерокъ, пѣть-пѣть, да и вспыхнетъ между деревьями и остудитъ лѣжного блистающее лѣтнее утро.

XIV.

Въ семь часовъ, широкій въ плечахъ, малаго роста, на кривыхъ ногахъ, извозчикъ, въ полурусскомъ, полутатарскомъ платьѣ—шапочка на немъ была баранья, рубаха—

красная, кумачная — осторожно постучать кнутовищемъ въ окно домика, съ той стороны, гдѣ комната барышни.

Марья Денисовна проснулась въ половинѣ седьмого, ждала извозчика и почти уже кончила свой утренній туалетъ.

Она подняла завѣсъ, выставила голову и тихо сказала ему:

— Сейчасъ я выйду.

Извозчика звали Николай. Онъ выдавалъ себя за грека, а извозчики татары считали его цыганомъ. Говорилъ онъ чисто по-русски, съ лица смотрѣлъ дѣйствительно цыганомъ, но могъ быть и грекомъ. Онъ переминался съ одной кривой ноги на другую. Рукава его рубахи торчали изъ прорѣзовъ жилетки, скроенной по-татарски, узко, изъ пестраго темнаго ситца, на крючкахъ, а не на пуговицахъ. Онъ носилъ часы на серебряной длинной цѣпочкѣ: суконные шаровары выпускалъ по-великорусски, поверхъ высокихъ смазныхъ сапоговъ.

Вчера онъ затребовалъ тринадцать рублей — въ Ялту и обратно и тамъ простоялъ два дня. Мать Марьи Денисовны замахала руками и разсердилась. Вернувшись въ третій разъ, онъ спустилъ до десяти. Усманскія давали восемь, съ его кормомъ. Торговаться должна была дочь. Старая Усманская сидѣла у себя, въ чуланчикѣ, прислушиваясь къ разговору, и только вскрикивала раздраженно:

— Mais c'est un brigand!.. Mais ça n'a pas de nom!

— Что же, Николай?—спросила дѣвушка и отвела его въ сторону, настолько, чтобы не будить мать, а скорѣе, чтобы та не выѣшивалась своими возгласами.

— Кормъ вашъ?

— Но какъ же намъ... этимъ заниматься?

— Дай двѣ бумажки.

— Такъ это выйдетъ десять...

Она знала, что на всю поѣздку имъ нельзя истратить больше бѣленькой.

Николай сдвинулъ шапочку на затылокъ и хлестнулъ кнутомъ по концу сапога въ пыли.

— Не сходно!

— Какъ знаешь, — твердо сказала дѣвушка и повернула къ двери.

— Варышня!.. Стой! Стой! Такъ и быть — накинъ полтину!

Четвертакъ она накинута. Условились—быть Николаю въ девять часовъ, тройкой. Багажу возьмутъ онѣ сундукъ и два мѣшка.

XV.

По уходѣ Николая, Марья Денисовна не сейчасъ вернулась въ свою комнату—мать ея все еще спала,—а встала въ тѣнь, отъ крыши, оглядывала и вдыхала въ себя воздухъ, слегка щурилась отъ солнца.

Который уже разъ она съ завистью смотритъ на все то, что здѣсь, въ этомъ уголкѣ Крыма, дѣлается около нея. Всѣ живутъ на волѣ и какъ слѣдуетъ. Одна только она—хуже и ниже всякой продажной женщины. И такія сравненія она уже употребляетъ. Тѣ, по крайней мѣрѣ, никого не обманываютъ... А онѣ съ матерью... у нихъ вѣдь не написано на лицѣ:

„Не имѣйте съ нами никакого дѣла, если вы свободный мужчина, способный прокормить семью“.

Она смотрѣла на двухъэтажный домъ и на другой съ террасой, гдѣ помѣщался рестораникъ. Тамъ онѣ обѣдали гораздо чаще, чѣмъ внизу за общимъ столомъ. Въ просторной комнатѣ, выходящей на террасу, живетъ блондинъ съ женой. Она слышала, что онъ—ученый, магистръ, провелъ здѣсь цѣлую зиму, для здоровья жены. Оба молодые, все читаютъ и пишутъ, говорятъ много, смѣются, много и гуляютъ, иногда сильно заспорятъ. Доходило и до слезъ; но чаще цѣлуются. Ей видно. Гдѣ же ей мечтать о такой жизни?.. Рядомъ съ ними, стѣна-обѣстѣну—дама, за тридцать, худая, въ большой шляпѣ ходить, изыщно одѣта, всегда весела. Мужъ ея живетъ внизу, они вмѣстѣ обѣдаютъ, точно у нихъ, каждый разъ, свиданія, когда она его ждетъ.

На дворикъ гостиницы вышла здоровая служанка, босикомъ—такъ ходятъ на югѣ, потянулась и начала чистить ножи. Что за здоровье! И этой горничной дѣвкѣ—лучше. У ней, навѣрно, есть женихъ или другой кто. Всегда хохочетъ, возится съ собакой, съ воданосомъ, съ пова-ренкомъ, въ день избѣгаетъ верстъ двадцать, сыта, одѣта, получаетъ на чаѣ.

Вышла содержательница гостиницы—Амалія Карловна, покормила своего ослика морковью, приказала его осѣд-лать и поѣхала на немъ по хозяйству. На ней только что вымытое холстинковое платье и соломенная шляпа.

Ея сухощавое тѣло стройко сидитъ въ сѣдлѣ. Ей она завидуетъ иногда до злости. Съ мужемъ она живетъ душою въ душу. Онъ уѣхалъ за провизіей въ Алупку. Цѣлый день она на ногахъ. Все держится ея надзоромъ. Почему же ей, безприданницѣ, почти нищей, не пойти за какого-нибудь приказчика, фермера, винодѣла или садовника, и жить вотъ припѣваючи среди прекрасной природы, въ довольствѣ и даже почетѣ?..

XVI.

Она достала, черезъ окно, зонтикъ со столика и спустилась внизъ, по аллеѣ парка.

Издали она разглядѣла темную площадку, гдѣ фонтанъ, въ лаврахъ, у крыльца каменнаго дома, въ восточномъ стилѣ. Тамъ живетъ три семейства. Вопъ сбѣжалось нѣсколько татарокъ: умыться и захлебнуть воды въ кувшины. Съ красавицей Фатьмой (она уже просватана) Марья Денисовна знакома. За ними прыгаютъ ребятишки. У дѣвчонокъ развѣваются по воздуху косички волосъ, вырощенныхъ хиной. Показалось платьѣ какой-то барыни. Она подходитъ къ фонтану, вынимаетъ гроздья винограда, обмакиваетъ ихъ, по очереди, въ воду бассейна и раскладываетъ по гранитному краю. Медленно движется вчерашній мужчина, что былъ въ макферлантѣ, — сегодня онъ въ парусинномъ пальто, — ѣстъ виноградъ и выплевываетъ косточки. Ей видны движенія его рукъ и головы.

Какъ бы ей хотѣлось поѣсть винограда. И для здоровья было бы хорошо: у ней то и дѣло поднимается желчь, душитъ ее, производитъ припадки; она лежитъ пластомъ по цѣлымъ суткамъ. Но мать сказала, что это — одна трата денегъ. А своихъ у ней нѣтъ ни одного рубля въ портмонѣ.

Всѣ живутъ, какъ имъ хочется — кушаютъ, ѣдятъ виноградъ, пьютъ вино, ѣздятъ верхомъ, играютъ въ карты... Почему же бы съ ними не сойтись? Мать побывала два-три раза внизу и рѣшила, что это все „de petites gens“, и нѣтъ ни одного человѣка „стоящаго“, т.-е. жениха.

На одного была надежда, да и онъ женатъ. А остальное — все мужья съ жепами, дѣти, подростки, много дѣвицъ, и даже пожилыхъ, старшій чиновникъ на пенсіи; за нимъ всѣ ухаживаютъ; былъ еще докторъ, любимецъ всѣхъ дамъ; но онъ три дня какъ уѣхалъ въ Одессу.

Остался одинъ какой-то испитой штатскій. Нельзя даже приблизительно сказать, кто онъ.

А мать рассчитывала на большой выборъ. Этотъ „курортъ“ сдѣлался вдругъ ненужнымъ. Потянулась глупая жизнь безъ всякой цѣли. И купаться мать не позволяетъ иначе, какъ ночью. Отдѣльных часовъ нѣтъ, а она находитъ, что и въ костюмѣ неприлично.

— Et Trouville? Et Biarritz?—возражала ей дочь.

— Trouville est Trouville! Et ça—c'est un trou.

И надо было вставать очень рано и бѣгать купаться тайкомъ. Сегодня она не успѣла, и по всему тѣлу ея разливалась неприятная первая истома.

XVII.

Въ девять часовъ Ольга Евграфовна—мать Марьи Денисовны—еще не была готова. Коляска, тройкой, стояла у изгороди, и Николай похаживалъ около лошадей и поглядывалъ, скоро ли покажутся барыни. Онъ боялся, что жаръ дойдетъ его тройку, и они не попадутъ въ Ялту до полдня.

Дочь вошла къ матери всего одинъ разъ — сказать ей, что коляска нанята за восемь рублей двадцать пять копеекъ. Ольга Евграфовна поморщилась: ей и эта цѣна—дешевая по тому времени—показалась „ужасной“.

Она сидѣла на кровати и перебирала свои наколки и еще какую-то мелочь. Облысѣлая голова, безъ накладки, вдоль пробора тинулась блесоватымъ пятномъ. За уши она закинула косички. Желтое лицо все было изрыто складками дряблой кожи. Ротъ она безпрестанно собирала движеніемъ узкихъ губъ. Носъ у ней былъ совсѣмъ не такой, какъ у дочери — длиннѣе, уже, съ пережабинкой на переносицѣ. Глаза сходились—съ зеленоватыми зрачками. Безъ накладки она смотрѣла старухой. Сидя, она согнулась, собралась въ комокъ. Выбораніе наколокъ, воротничковъ и перчатокъ, чищеныхъ и новыхъ, взяло у ней больше часу. Укладываться она не умѣла. Призывали номерную горничную. Ольга Евграфовна сдѣлала на нее нѣсколько окриковъ. Дочь помогала уложиться, когда сундукъ горничная переволокла кругомъ изъ одной комнаты въ другую.

— Quelle chaleur!—повторяла Ольга Евграфовна.

Дочь молчала и только разъ сказала:

— Если вамъ нездоровится, мы можемъ отложить.

Онѣ больше года, какъ говорили другъ другу „вы“, и по-французски, и по-русски.

Николай торопиль и началъ даже громко ворчать. Барыня сказала дочери изъ окна:

— Dites lui qu'il se taise.

Марья Денисовна успокоила его, и двадцать минутъ десятого онѣ усѣлись, на передокъ положили два мѣшка: а Николай взвалилъ сундукъ на козла, сѣлъ на него и заболталъ погами въ воздухѣ.

Изъ парка дорога завилалась и вправо, и влѣво: спуски— одинъ другого круче; тормоза у коляски не было. Барыня вскрикивала на каждомъ поворотѣ и хваталась то за кузовъ, то за руку дочери. Марья Денисовна сидѣла молча и строго смотрѣла сверху. Солнце пекло.

XVIII.

— Алуки сичасъ! — крикнулъ Николай съ сундука и повернулся лицомъ.— Попонть!.. Садъ—хорошъ!.. Смотрѣть. Можно дворецъ.

Дочь глазами спросила мать: хочетъ ли она осмотрѣть дворецъ.

— Des dépenses! — пропустила та сквозь свои большіе, вставные зубы.

— Взапрѣли лошади! Попонть, — настаивалъ Николай.

Отъ слова „взапрѣли“ Ольга Евграфовна отвернулась. По губамъ дочери скользнула усмѣшка.

— Laissez le faire, — выговорила она и крикнула извозчику:— Можешь дать отдохнуть!

Николай ударилъ вожжами по дышловымъ. Фээтонъ покатиъ пологимъ спускомъ, и скоро попалъ въ аллею парка, взбивая бѣлую ѣдкую пыль. Остановились они у воротъ. Сквозь нихъ виденъ былъ весь дворъ напролетъ до вторыхъ воротъ—справа сѣрыя стѣны службъ и дворца, лѣва, поверхъ низменнаго строенія, вьющаяся зелень въ дышловыхъ цвѣтахъ.

Марья Денисовна только теперь разглядѣла красоту архитектуры. Когда онѣ ѣхали изъ Ялты, сумерки уже обволакивали все. Ей стало веселѣе отъ взгляда на дворецъ. Справа открывалась часть цвѣтника. Магноліи, рододендроны, азалии, лавровая вишня смотрѣли отовсюду. Она предложила матери пройтись по цвѣтнику и посмотреть—если пускаютъ—на комнаты. Она знала, что дворецъ стоялъ пустой. Мать отказалась идти: жарко да и

давать надо вездѣ на водку. Марья Денисовна пошла одна, встрѣтила за калиткой садовника, спросила его, какъ пройти къ дворцу, и сейчасъ же—нальво—попала къ мраморной лѣстницѣ, со львами, спускающейся къ полгорѣ надъ моремъ. Она минутъ десять любовалась на фасадъ, съ башенками, съ полукруглой впадиной верхней террасы, съ арабскими надписями, изсѣченными въ дикомъ камнѣ. Ей не вѣрилось, что это—не дальній, чужой югъ, не Италія, а Россія... Внизу море горѣло на солнцѣ, и только на самой линіи кругозора синимъ поясомъ лежало вдоль бездоннаго голубого свода. Оттуда доходилъ еле слышный шумъ. Бѣлыя, мясистыя чашки магнолій празднично стояли на стебляхъ. Въ цвѣтникѣ клумбы изгибались затѣйливо и радостно. Правѣе, нѣсколько ниже, темнѣла итальянская веранда, вся обвитая растеніями.

XIX.

Ей захотѣлось остаться тутъ, въ тѣни, подъ винограднымъ трельяжемъ, у восточнаго фонтанчика, вдѣланнаго въ стѣну. Она присѣла, закрыла глаза и забылась. На нѣсколько мгновений все отлетѣло отъ нея: то, что она сама, ея мать, постылая жизнь тамъ, въ домикѣ, ненужная поѣздка въ Ялту...

Позднѣе ея слегка раздувались. Она вдыхала воздухъ, насыщенный запахами цвѣтовъ и зелени. Родъ опьянѣнія почувствовала она, и тотчасъ же подумала: „а вѣдь это славно чѣмъ-нибудь опьянять себя... все пропадетъ!“ Тамъ, гдѣ онъ жилъ, она ни разу не испытывала такого захвата всѣхъ чувствъ среди роскоши природы.

Еще двѣ-три минуты, и она бы заплакала.

— Комнаты осмотрѣть теперь нельзя-съ. Ушелъ татинъ, который къ этому приставленъ, у него ключи... Часъ въ пять, подвечеръ,—говорилъ ей садовникъ.

Она быстро раскрыла глаза, встала, поблагодарила его и пошла вверхъ, опять по мраморной лѣстницѣ. Если у ней и были свои деньги—она бы затруднилась дать ему на водку: онъ смотрѣлъ студентомъ-агрономомъ.

По плитамъ, выложеннымъ по рисунку, подошла къ зеркальнымъ окнамъ и разглядывала внутреннее убранство столовой. Причудливо пестрѣли двѣ огромныхъ янтарныхъ вазы по обѣ стороны камина. Онъ приковывалъ ее взглядъ.

И разомъ горечь разлилась по ней; даже злость

хватила ее. Въдь есть же такіе счастливы: обладаютъ чертогами—и даже не живутъ въ нихъ! Тутъ, въ оставленныхъ комнатахъ, больше добра, чѣмъ у ней съ матерью было съ тѣхъ поръ, какъ она себя помнитъ. Не можетъ она ничѣмъ любоваться: все отравлено! Будь у ней хоть одна свобода—она не стала бы такъ гадко завидовать. Развѣ не лучше: напиться въ прачки и придти отдыхать вотъ сюда, любоваться всѣми этими чудными видами, вдыхать благоуханіе, смотрѣть на море, на небо, на цвѣты, на мраморные чертоги?..

— *Quelle bourde!*—выговорила она вслухъ, выбрала себя „дурой“, круто повернулась на каблукъ и пошла лѣниво къ калиткѣ.

Мать ея уже сердилась.

XX.

Лошади давно напились. Николай что-то жевалъ и перебиралъ ногами. Опъ уже сидѣлъ на сундукѣ.

— *Toujours des rêvasseries!*—проговорила мать и повернулась къ дочери спиной.

„И въ самомъ дѣлѣ,—подумала дѣвушка,—однѣ только rêvasseries... Къ чему? Что есть, то и нужно брать. Можетъ-быть, въ этой самой Ялтѣ...“

Она не докончила и назвала себя „идіоткой“: горькая гримаска легла на ея губахъ, ярко-красныхъ и выпуклыхъ.

Жаръ началъ допимать и лошадей. Дорога дѣлалась все красивѣе; но глазъ дѣвушки уже привыкъ къ цвѣту горъ, къ блѣднотѣ оливковыхъ деревьевъ, къ конусамъ кипарисовъ, къ золоту утренняго моря. Въ двухъ мѣстахъ Николай придерживалъ тройку, останавливался и тыкалъ рукой внизъ.

Бѣлый остовъ дворца въ Оріандѣ, выжженной пожаромъ, легко ширился на фонѣ зелени. Красота мѣста заставила и Ольгу Евграфовну сказать:

— *C'est bien joli!*

Но дочь ея смотрѣла уже затуманенными глазами и на утѣсъ съ маякомъ, и на гущи парка съ его подъемами и спусками. Еще равнодушнѣе поглядѣла она изъ коляски на разбросанныя по холмамъ приземистыя строенія Ливадіи. Она промолчала, когда мать замѣтила, не оборачиваясь къ ней:

— *Je m'attendais à quelque chose de plus grandiose!..*

— Ялта! Смотри, барышня!—крикнулъ Николай и хлестнул правую дышловою.

Марья Денисовна привстала. Городокъ охорашивался въ своей бухтѣ, игралъ на солнцѣ нѣжными тонами дерева и камня. Вода приняла густо-смарагдовый колеръ въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ побережья, а мелкіе валы, набѣгающіе на камни, взбивали пѣну, какъ бахрому къ синей, волнующейся ткани. Въ высотѣ—худощавая церковь-башня... по спускамъ—балконы и колонки вилъ, внизу—цѣлая вереница веселыхъ домовъ, парусина купаленъ, крыши пристаней и кафѣ, а дальше—бѣлый съ чернымъ, округленный остовъ парохода.

На минутѣ доброе чувство вздрогнуло въ Марьѣ Денисовнѣ.

XXI.

И видъ города нашла она такимъ, что даже подумала:—„неужели это та самая Ялта?“

Но двѣ недѣли назадъ она ѣхала оттуда, а не туда, утомленная пароходомъ изъ Севастополя и качкой, закрывала глаза отъ пыли по городскому шоссе.

Теперь она невольно сравнивала этотъ русскій купальный городокъ съ тѣмъ мѣстечкомъ во Франціи, гдѣ онѣ провели два мѣсяца въ третьемъ году. Сестра Лили была еще жива. Мать рассчитывала на успѣшность „кампаніи“ на морѣ, въ Дьеппѣ или Трувиллѣ. Цѣны испугали ихъ. Въ Трувиллѣ, если показываться, гдѣ нужно, и жить въ хорошемъ отелѣ—приходилось тратить до семидесяти франковъ въ день.

Поѣхали онѣ искать мѣстъ подешевле. Рекомендовали имъ новое, бойкое мѣсто съ хорошимъ купаньемъ—Кабуръ. Но тамъ тоже требуютъ по пятнадцати франковъ съ лица. Потащились онѣ въ третьемъ классѣ дальше, вдоль берега, останавливались въ каждой „дырѣ“—un trou, какъ называла Ольга Евграфовна. Тянутся рыбацкія деревушки, съ громкимъ именемъ „морскихъ купаній“. Выбрали онѣ мѣстечко побойчѣе, Luc-sur-mer. Но что это была за жизнь, съ половины августа, когда погода испортилась въ концѣ!..

Ютились онѣ въ двухъ маленькихъ мансардахъ дешеваго отеля. Грязно, тѣсно, шумъ, бѣготня по лѣстницѣ, перебранка прислуги въ кухнѣ, въ столовой, за обѣдомъ Богъ знаетъ какой народъ, безцеремонность

гарсоновъ; въ заведеніи купаленъ—не добьешься каморки раздѣваться; грубая старуха притащитъ вамъ пайку съ теплой водой; простыни сырыя; выйдешь къ морю—отъ костюма дрожишь, всѣ нахально смотрятъ на тебя; на днѣ—камни, варекъ, спотыкаешься, боишься прибоя; а нанять *baigneur*'а мать не хочетъ... Никакой природы: тянутся однѣ *falésy*. И шагай по нимъ. Ни одного кустика. Ночи темныя; идутъ онѣ гуськомъ, попадаютъ въ лужи, дождь мороситъ. Глядѣть на море стало уже черезъ недѣлю тошно.

А тутъ передъ ней какая красота! Точно блески самоцвѣтныхъ камней, горы зеленѣютъ у самой воды; а вверху—дымчатыя скалы съ сахаристой игрой на гребняхъ. И стоило тогда тащиться за три тысячи верстъ, чтобы смотрѣть въ грошовомъ казино, какъ танцмейстеръ учить дѣвчонокъ, а маменьки ихъ сидятъ и вяжутъ...

XXII.

— Въ „Россію“?—спросилъ Николай и разинулъ ротъ до ушей.

Мать поглядѣла на нее и сказала:

— Nous allons nous informer.

Николаю онѣ ничего не отвѣтили. Онъ понялъ, что надо везти въ „Россію“. Обѣ дамы отряхнули пыль платками, поправили шляпки и перемѣнили свои позы, прислонились больше къ спинкѣ сидѣнья.

Фаятонъ катился уже по улицѣ. Вотъ аптека, кафѣ на водѣ... У самого шоссе продаютъ виноградъ. Пыль взбивается клубами прямо въ лицо. По весело! По тротуарамъ еще мало гуляющихъ. Попалось нѣсколько колясокъ. Поднялись по мелкому щебню на скверъ отеля. Совершенная тишина. Ни одного экипажа. На высокомъ крыльцѣ не видно прислуги.

Николай крикнулъ и слѣзъ. Вышелъ швейцаръ изъ нѣмцевъ, въ картузѣ съ галупомъ.

— Есть комнаты?—спросила дочь.

— Два номера всего осталось.

— Descendons!—довольно рѣшительно выговорила мать, и первая полѣзла изъ фаятона.

Она нашла, что швейцаръ долженъ бы поусерднѣе поддерживать ее подъ руку.

— Quel animal!—успѣла она выбраться.

Въ сѣняхъ на нихъ пахнула прохлада. Швейцаръ подвелъ ихъ къ доскѣ и указалъ на номера.

— *Princesse Tergassow*,—обрадовалась мать,—въ десятыхъ номерѣ.

И тише добавила по-французски:

— Все еще не выдала дочери... даромъ что красавица и съ талантами.

Но это не было сказано, чтобы утѣшить дочь, а злобно: глаза ея посвѣтлѣли.

Она приказала дочери подняться съ швейцаромъ и выбрать комнату, которая просторнѣе. Но прежде чѣмъ они пошли, она провела ручкой своего зонтика по доскѣ и вскричала:

— *Des marchands! Des parvenus!..* Посмотри, какіе-то Пшеницыны, Сытниковы... Вотъ кто нынче—господа!

Дочь ничего на это не замѣтила и пошла вслѣдъ за швейцаромъ. Одна компата была въ три рубля, узенькая; другая въ три окна, но ходила пять рублей. Ольга Евграфовна пожала плечами и, ничего не говоря швейцару, стала опускаться съ крыльца.

Ихъ повезли въ ту гостиницу, гдѣ онѣ ночевали, когда пріѣхали изъ Севастополя.

XXIII.

Дорогой Марья Денисовна вспомнила, что швейцаръ, проходя мимо цѣлаго ряда номеровъ, сказалъ:

— Это все купчиха Боченкова занимаетъ, изъ Москвы—со свитой.

— Со свитой?—возмутилась и она.—Купчиха!

И еще онъ ей назвалъ какого-то молодого „богача“; фамилія его—Шеломовъ—осталась у ней также въ памяти.

Изъ „Россіи“ Николай поѣхалъ неохотно, почти шагомъ. Вся утренняя жизнь Ялты металась въ глаза. Обѣ оглянувшись на фруктовые лавки, подъ навѣсомъ, со столбомъ, на самой срединѣ площадки. На столикѣ графинъ и стаканы переливали граненымъ хрусталемъ. Груши, сливы, марабеллы, виноградъ, абрикосы рѣзкими пятнами чередовались вдоль и поперекъ прилавка.

Ничего еще не попробовала Марья Денисовна съ тѣхъ поръ, какъ живетъ на южномъ берегу. Лавки дразнили ее богатствомъ выбора. Сидѣльцы съ тонкими профилями и смѣющимися подбородками выглядывали изъ-подъ навѣсовъ своими круглыми бархатными глазами. Татарскій



базаръ уходилъ въ глубь, подъ пролетныя ворота каменнаго дома. Николай предложилъ остановиться тутъ, въ гостиницѣ.

— Первый сортъ!—увѣрилъ онъ.

Но дамы не согласились. Дочь прикрикнула на него, и онъ уже безъ остановокъ провезъ ихъ еще нѣсколько домовъ и сталъ у подъѣзда отеля, гдѣ на самую улицу выползла широкая доска съ именами всѣхъ постояльцевъ, лакеевъ, поваровъ и судомоекъ. Это Ольгѣ Евграфовнѣ не понравилось; но одинъ изъ лакеевъ сказалъ ей спокойно:

— Полиція требуетъ и посейчасъ.

Ихъ провели изъ перваго этажа, по мостику, черезъ дворъ, въ заднее отдѣленіе и дали комнату на галлерейкѣ—темную, но просторную и не жаркую. Напротивъ, на галлерейкѣ же, онѣ могли сидѣть, пить чай и кушать, если желаютъ. Номеръ меньше двухъ съ полтиной не отдали.

Умывшись, дамы сошли въ садикъ, разведенный на дворѣ, съ накрытыми столами. Надъ столами спускались кисти рододендроновъ. Въ углу журчалъ фонтанчикъ. Бѣлье, приборы смотрѣли опрятно. Прислуга во фракахъ. Мать заказала яицъ всмятку и порцію кофею.

— Какъ васъ кликать?—спросила она красиваго лакея съ мелкими чертами.

— Ахметка,—отвѣтилъ онъ весело.

Онѣ разсмѣялись тому, какъ онъ самъ звалъ себя.

XXIV.

Долго ѣли и пили онѣ молча. Со вчерашней сцены у нихъ еще не было никакихъ отношеній. Мать какъ будто поняла, что отнынѣ она можетъ требовать отъ дочери только одного: — не дѣлай никакого esclandre! Выйти замужъ нужно — для обѣихъ. Въ гувернантки она не пойдетъ. Какъ ни прыгай—лучше же при матери искать жениха, чѣмъ одной, въ чужихъ людяхъ.

Марья Денисовна готова была обсудить что онѣ будутъ дѣлать здѣсь.

Разговоръ пошелъ отрывочно по-французски и очень тихо, такъ что сидѣвшій неподалеку полный офицеръ въ уланской формѣ, какъ ни напрягался—ничего разслышать не могъ.

— Надо сдѣлать визитъ Терласовымъ, — сказала мать.

— Визитъ?

— Или лучше пойти туда обѣдать... Все равно рубль. Взглядъ дочери говорилъ:

„Она считается красавицей, зачѣмъ же я буду около нея—въ тѣни?“

Мать поняла.

— Княжна... все такая же, — она прикоснулась пальцемъ ко лбу, — даромъ что съ голосомъ. Я что-то слышала... здѣсь старый графъ... тотъ, что завѣдывалъ...

— Но онъ женатъ, у него дѣти большія...

— Нынче все возможно.

Эту фразу: „tout est possible“, мать произнесла больше съ укоромъ, чѣмъ возмущившись: — „все-де возможно, но не для насъ, мы и самаго обыкновеннаго не добьемся“.

Она поглядѣла на дочь. Ее всю перекосило.

„Развѣ можно понравиться съ такимъ дерзкимъ и хмурымъ видомъ? Никакой distinction. Сидитъ точно бонна, которая собирается сказать грубость“.

Всего сильнѣе придиралась Ольга Евграфовна къ носу и рту дочери, находила ихъ до-нельзя вульгарными и даже... неприличными.

„Sensuelle! — повторяла она про себя, — sensuelle!.. Quelque chose de bestial!“

Дочь это знала.

XXV.

До обѣда время прошло томительно. Сходили купаться. Мать сидѣла на берегу, на скамейкѣ; дочь славно выкупалась. Не было, по крайней мѣрѣ, замѣчаній насчетъ костюма, неприличія—мужчинъ вблизи. Марья Денисовна сидѣла въ водѣ до тѣхъ поръ, пока дрожь не начала ее пронизывать.

Надо было согрѣться. Мать разомлѣла отъ жара. Дочь, не прося у гей позволенія, сказала:

— Я пойду въ горы, мнѣ свѣжо отъ воды.

И пошла. Мѣстности она совсѣмъ не знала, взяла по переулку и стала подниматься по крутой, каменистой тропкѣ, дошла до татарской деревни и оттуда спустилась въ лошину. Посрединѣ ея течетъ рѣчка. Воздухъ разливаетъ вокругъ влажную мглу. Ей захотѣлось заснуть. Не все ли равно гдѣ? Подъ первымъ деревомъ. Мать не закричить:

— Voilà du propre!

Она выбрала мѣстечко, гдѣ трава не была притоптана,

прислонилась спиной къ пню дубка и скоро заснула. Спала она больше часа, и когда раскрыла глаза, солнце уже заглянуло подъ вѣтви дубка. Сладко потянулась дѣвушка и еще нѣсколько минутъ сидѣла подъ деревомъ, прищуривъ глаза.

Но надо было идти. Мать, навѣрно, сердится. Полчаса уйдетъ на туалетъ къ обѣду, а тамъ потащатся въ дорожной отель, показывать себя „хорошей“ публикѣ... Та княжна Тергасова, что живетъ въ „Россіи“, тоже давно сидитъ въ невѣстахъ; Ольга Евграфовна говоритъ просто: въ „дѣвкахъ“, когда употребляетъ русскій языкъ. Мать княжны—недалекая, пухлая барыня—не иначе хочетъ ее выдать, какъ за какого-нибудь принца.

„Жаль, черногорскій князь давно женатъ“,—подумала Марья Денисовна и усмѣхнулась.

И ей представилась княжна: ея широкія плечи, талія—въ рюмочку, ростъ, восточный носъ, усики длинныя, задушливыя, но ничего не выражающіе глаза; вотъ уже около десяти лѣтъ, какъ она выѣзжаетъ и поетъ въ салонахъ, успѣла утомить свой контральтъ; но зато сколько лѣтъ ею восхищались и пророчили ей блистательную партію. Она и сама стала смотрѣть на себя, какъ на будущую „морганатическую супругу“ владѣтельной особы.

А вотъ нейдетъ же съ рукъ у матери: что-то не слышать было объ очень выгодныхъ сватовствахъ. Но та—съ хорошими средствами. Ей и не нужно никакой другой жизни. Замужемъ она останется такой же; только принимать будетъ въ своей гостиной одна, а не при матери. Тѣ же пойдутъ балы, концерты, тѣ же ухаживатели, тѣ же восхищенія ея красотой и голосомъ; только брильянтовъ и кружевъ будетъ больше носить.

XXVI.

Дума о красивой княжнѣ раздражила ее меньше, чѣмъ бы она сама ожидала. Вѣдь ей до всего этого никакого вѣтъ дѣла. Сама-то она не можетъ дольше такъ жить! Последній срокъ—возвращеніе изъ Крыма. Что тогда выйдетъ—она еще не знаетъ; но такой предѣлъ она положила.

Назадъ Марья Денисовна шла скорѣе и вся разгорѣлась. Смуглость ея лица слилась съ густымъ румянцемъ. Мать навѣрно бы сказала ей что-нибудь фдкое насчетъ ея лица, отсутствія въ немъ изящества и благородства.

Ольга Евграфовна возмутилась этимъ подмигиваньемъ и крикнула ему:

— Пропусти!

Всѣ трое усмѣхнулись. Дочь поняла эту усмѣшку:

„Знаемъ, молъ, васъ... Копейки за душой нѣтъ, а туда же покрикиваешь, старая“.

Ей самой стало смѣшно. Самый молодой изъ троихъ татаръ сказалъ ей вслѣдъ ласково:

— Барышню бы покаталъ!

И всѣ трое тихо засмѣялись и заговорили по-своему.

XXVIII.

Въ отелѣ обѣденное время началось съ четвертаго часа, а было уже половина пятаго. То и дѣло сновали лакеи изъ столовой въ читальню, гдѣ съ утра, на трехъ столахъ, играли въ карты; никакихъ газетъ или журналовъ не было видно. Бильярдную давно уже отдали подъ номеръ — признакъ бойкаго сезона, когда поплыветъ Москва, купеческія дамы въ ожиданіи мужей — отъ Макарія.

Всѣ почти столы въ залѣ уже заняты. На террасѣ тоже обѣдаютъ. Справа, въ продолговатомъ отдѣльномъ кабинетѣ, веселое общество. Тамъ громко говорятъ, раздаются возгласы, хохотъ. Два лакея суетливо служатъ. Посрединѣ, между двумя мужчинами, совсѣмъ круглая, краснощекая блондинка, вся пестрая, съ открытой шеей, необычайной бѣлизны — миллионщица Боченкова. Налѣво отъ нея молодой человѣкъ, почти мальчикъ, брюнетъ, женоподобный, очень красивый, съ нахальными глазами. Направо офицеръ въ кавказской формѣ. Трое бородастыхъ статскихъ, въ родѣ купцовъ или помѣщиковъ, и напротивъ купчихи — пожилая дама, съ виду приживалка изъ нѣмокъ.

У нихъ на столѣ двѣ вазы съ бутылками шампанскаго. Мужчины всѣ курятъ: стали курить тотчасъ послѣ второго блюда. Трудно разобрать, о чемъ идетъ разговоръ. Всѣ шумятъ разомъ.

Обѣдающіе въ залѣ оглядываются на отдѣльный кабинетъ. Въ залѣ чинно. Столы подлиннѣе заняты цѣлыми семействами. За столиками сидятъ больше пары — мужья съ женами или матери съ дочерьми. Въ столовой прохладно и стоитъ пріятный сѣроватый свѣтъ. За прилавкомъ буфета дама съ иностраннымъ пролетомъ тихо

XXVII.

Въ отелѣ Марья Денисовна остановилась на галлерейкѣ и спросила себя въ послѣдній разъ:

„Какъ же быть?“

Ея внезапная тревога слишкомъ непріятно потрясла ее. Она сама была рада освободиться отъ нея, и подумала:

„Я могла ошибиться!“

Къ номеру подходила она своей обыкновенной походкой; только лицо горѣло пятнами.

Мать—одѣтая къ обѣду—сидѣла противъ двери, на диванчикѣ, и сейчасъ же это замѣтила.

— Qu'est-ce? — спросила она и указала пальцемъ на щеки.

— La chaleur, — отвѣтила дочь и начала поспѣшно мѣнять туалетъ.

Никакихъ объясненій между ними не произошло.

Молча спускались онѣ съ площадки второго этажа. Ольга Евграфовна искоса оглядывала туалетъ дочери. Все-то на ней торчитъ отъ ея жесткой фигуры—что ни надѣньте на нее. Никакой нѣтъ граціи, ничего даже дворянскаго. Только и есть, что красныя губы да волосы черныя. Выдашь ее!..

О гусарѣ Марья Денисовна сдѣлала надъ собой усиліе не думать. И перестала. Это ее порадовало. Значить — она можетъ пересилить свое волненіе, когда захочетъ. Вѣдь если болѣться встрѣчи съ нимъ всегда и вездѣ—нельзя никуда показываться. Да и что ей за дѣло въ сущности? Все равно, она не можетъ выносить своей теперешней жизни.

Когда онѣ подходили къ отелю „Россія“, она разсѣянно смотрѣла на попадавшіеся экипажи и всадниковъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ входа во дворъ, она подольше остановилась взглянуть на татарина въ расшитой золотомъ курткѣ съ пожилымъ, красивымъ лицомъ. Она сейчасъ подумала, что онъ, должно-быть, ѣздитъ съ барынями въ горы и теперь дожидается заказовъ у отеля. Итъ двадцать назадъ имъ навѣрно увлекались. Онъ разговаривалъ съ двумя такими же расшитыми татарами, молодыми и не такъ красивыми. Одинъ изъ нихъ подмигнулъ Усманскимъ и спросилъ:

— Лошадей прикажете?

Немного она поплутала, зашла въ какой-то тупой переулокъ и должна была вернуться на прежнюю дорогу. Въ городѣ она наобумъ взяла влѣво и вышла къ базару, по ту сторону пролетныхъ воротъ, мимо которыхъ везъ ихъ сегодня Николай по шоссе.

Запахъ жареной рыбы и чахъ еще отъ чего-то заставили ее отворачивать лицо. Ей безпрестанно попадались оборванные дѣти, татары въ ситцевыхъ курткахъ съ лотками, русскія торговки. Будь она совсѣмъ одна, ее бы это заняло на нѣкоторомъ отдаленіи.

Въ воротахъ она немного остановилась. Передъ ней мелькали гуляющіе и экипажи. По берегу движеніе усилилось.

Въ фаятонѣ съ яркимъ трипомъ проѣхалъ офицеръ въ гусарской формѣ. Онъ развалился и смотрѣлъ въ ея сторону.

Она отшатнулась, а потомъ сейчасъ сдѣлала быстро три шага и даже выглянула изъ-подъ воротъ — влѣво, куда проѣхалъ фаятонъ.

„Неужели онъ?“ — спросила она. Она начала холодѣть: а черезъ десять секундъ щеки ея запылали.

„Онъ?.. Скопинъ?.. Не можетъ быть!.. Почему?..“

На этомъ вопросѣ она споткнулась, и тихо-тихо пошла по тротуару. До отеля оставалось нѣсколько минутъ ходьбы, а она двигалась чуть не четверть часа.

Почему же этотъ гусаръ не можетъ быть Скопинымъ? Его курчавые, рыжеватые волосы, и такъ же надѣваетъ назадъ фуражку, и ноги его, и синяя, эта широкая спина, такая жирная и глупая.

Онъ!

Тогда надо бѣжать, притвориться, напустить на себя болѣзни, заставить мать вернуться сегодня же. Она не хочетъ съ нимъ встрѣчаться, даже если бъ онъ и велъ себя скромно. Но мать его узнаетъ, она способна заговорить съ нимъ, когда онъ попадется имъ на берегу, или въ саду, или въ столовой отеля.

Въ вискахъ у ней застучало. Она испугалась прилива крови и даже взялась рукой за лобъ.

Онъ? Не онъ? То ей ясно было, что непременно—онъ, то она говорила себѣ, что ей только показалось. Мало ли гусаровъ!..

XXVII.

Въ отелѣ Марья Денисовна остановилась на галлерейкѣ и спросила себя въ послѣдній разъ:

„Какъ же быть?“

Ея внезапная тревога слишкомъ непріятно потрясла ее. Она сама была рада освободиться отъ нея, и подумала:

„Я могла ошибиться!“

Къ номеру подходила она своей обыкновенной походкой; только лицо горѣло пятнами.

Мать—одѣтая къ обѣду—сидѣла противъ двери, на диванчикѣ, и сейчасъ же это замѣтила.

— Qu'est-ce? — спросила она и указала пальцемъ на щеки.

— La chaleur, — отвѣтила дочь и начала поспѣшно мѣнять туалетъ.

Никакихъ объясненій между ними не произошло.

Молча спускались онѣ съ площадки второго этажа. Ольга Евграфовна искоса оглядывала туалетъ дочери. Все-то на ней торчитъ отъ ея жесткой фигуры—что ни видѣйте на нее. Никакой нѣтъ граціи, ничего даже дворянскаго. Только и есть, что красныя губы да волосы черные. Выдашь ее!..

О гусарѣ Марья Денисовна сдѣлала надъ собой усиліе не думать. И перестала. Это ее порадовало. Значитъ — она можетъ пересилить свое волненіе, когда захочетъ. Вѣдь если бояться встрѣчи съ нимъ всегда и вездѣ — нельзя никуда показываться. Да и что ей за дѣло въ сущности? Все равно, она не можетъ выносить своей теперешней жизни.

Когда онѣ подходили къ отелю „Россія“, она разсѣянно смотрѣла на попадавшіеся экипажи и всадниковъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ входа во дворъ, она подольше остановилась взглянуть на татарина въ расшитой золотомъ курткѣ съ пожилымъ, красивымъ лицомъ. Она сейчасъ подумала, что онъ, должно-быть, ѣздитъ съ барынями въ горы и теперь дожидается заказовъ у отеля. Іѣтъ двадцать назадъ имъ навѣрно увлекались. Онъ разговаривалъ съ двумя такими же расшитыми татарами, молодыми и не такъ красивыми. Одинъ изъ нихъ подмигнулъ Усманскимъ и спросилъ:

— Лошадей прикажете?

ладать. За ихъ столомъ—милѣ. Военный тихо смѣшитъ и мать, и дочь. Четвертое мѣсто занято мальчикомъ, въ матросскомъ костюмѣ съ загорѣлой шеей; длинные волосы подстрижены у него по модѣ, на лбу. Мальчикъ пьетъ вино, и тоже участвуетъ въ разговорѣ.

Изъ отдѣльнаго кабинета лакей отворилъ дверь, и оттуда вырвался гамъ. Ольга Евграфовна даже вздрогнула.

— Кто это?—спросила она у лакея.

— Боченкова... госпожа... изъ Москвы, миллионщица...

Гримаса Ольги Евграфовны остановила объясненія лакея.

— *Quelle horreur!*—прошептала она, по еще разъ туда поглядѣла.

Поглядѣла за ней и дочь.

Ей видны были, съ ея мѣста, затылокъ и крутая золотистая коса Боченковой, и ея плечи, и профиль молодого красавчика.

„Что это за противный фатъ!—подумала она.—Изъ какихъ?.. Купецъ?“

И не могла удержаться почти отъ такой же гримасы, какъ и мать ея.

XXX.

Но то шумное, непорядочное общество пировало себѣ и знать не хотѣло претензій барынь въ родѣ ея матери, да и ея самой. Вотъ эти живутъ, а не глѣхнутъ, какъ она, въ унижительной долѣ. У нихъ свои деньги, полная воля... Навѣрно, эта Боченкова—вдова, или развѣхалась съ мужемъ—это нынче силошъ и рядомъ. А „*gommeux*“—этотъ румяный мальчикъ, вѣроятно...

Марья Денисовна не произнесла про себя слова: „*son amant*“; но безъ словъ подумала.

Изъ отдѣльнаго кабинета дошла до нея струя прянаго воздуха: смѣсъ духовъ, табаку, сигарнаго дыма, вина, запаха апельсиновъ, что-то трактирное и распущенное; но молодое, тревожное и до-нельзя обидное.

Ни приволья и шума, ни даже простого довольства на своей волѣ у ней не будетъ. Передъ ней гримаса матери. Искусственные зубы Ольги Евграфовны жуютъ цыпленка, а носъ брезгливо наморщень.

Дверь съ площадки широко отворилась и вошли три дамы.

— *C'est la princesse?*—прошептала Ольга Евграфовна, бросила косточку цыпленка, торопливо утерла ротъ и собралась подняться.

[illegible]

b
 ch
 to
 in
 X. to
 193-
 co-
 1.4400

ATTACH
TO FILE
CROSSING

...люція въ
 ...спросила.
 ...расовы въ.

указа.гь ру-
ра нмь при-

Усманскихъ.
я и приехать
и, конечно, такъ
полностью для
требовать, что
на одной сѣмѣ,
Денисовъ не
и отъ это все
и, конечно, и не
но, оцѣнить, что
поэтому, что
и, конечно, что

вога при появленіи новыхъ мужскихъ фигуръ въ столовой.

Наконецъ, мать поднялась. Послѣдній взглядъ бросила Марья Денисовна на двухъ сестеръ—и еще сильнѣе пронизала ее мысль: „никогда, никогда не удастся тебѣ пожить такъ, какъ онѣ проживутъ весь свой вѣкъ“.

Швейцаръ доложилъ Ольгѣ Евграфовнѣ, что княгиня съ княжной уѣхали съ утра къ знакомымъ въ имѣнье, между Ливадіей и Ориандой, и домой надо ихъ ждать вечеромъ, поздно.

Что же было дѣлать, куда идти? Знакомыхъ никого. Дочь предложила отыскать Николая и прокатиться. Имъ говорили, что около Ялты есть водопадъ, въ лѣсу, въ красивой мѣстности. На это мать не согласилась: извозчикъ потребуетъ прибавки, а и безъ того — все втридорога. Такъ онѣ и остались въ городѣ. Пошли-было въ садъ около своего отеля; но тамъ солнце все выжгло: ни тѣни, ни зелени. Оставалось гулянье по берегу. Пыль била имъ глаза—безпрестанно проѣзжали фаэтоны, кавалькады скакали по пути къ Ливадіи. Всѣ бѣгутъ отъ пыли и духоты; а онѣ, точно нарочно, пріѣхали жариться и задыхаться.

XXXII.

Не пошли онѣ и въ клубъ. Некому было ихъ ввести, да Ольга Евграфовна и не допускала „никакихъ клубовъ“. Богъ знаетъ, какое тамъ собирается общество. И Марья Денисовна не настаивала. Она согласна бы была ѣхать назадъ, хоть въ тотъ же вечеръ. Пили онѣ чай на балконѣ отеля „Россія“, сначала молча, а потомъ мать стала бранить Ялту.

— Abomination!—отрывисто выговаривала она.—Пыль, вонь! И купанье—гадость... арбузные корки плаваютъ... Personne de connaissances!..

Дочь не возражала. Ее можно бы, со стороны, принять за demoiselle de compagnie, привыкшую ко всему, что будетъ говорить барыня.

И спать имъ не хотѣлось. Въ комнатахъ къ ночи сопреется душный воздухъ. Кромѣ сидѣнья у самаго моря, ничего не придумаешь. Море издавало однообразный шумъ. Оно и днемъ порядочно пріѣлось. Ольга Евграфовна подъ прибой задремала на скамейкѣ. Марья Дени-

совна замѣтила это, встала, пошла къ самому краю, сѣла на камень, зажмурила глаза и такъ сидѣла недвижно.

Никакихъ у ней не было желаній. Какъ будто и вся ея горечь стихла. Полное равнодушіе окутывало ее. Своя жизнь казалась ей такой ничтожной, что не стоило и бороться. Ничего лучшаго не будетъ. А то, что уже было, говорило противъ нея. Кого можетъ она осчастливить? Кому она нужна? У ней не достало характера и на то, что сдѣлала слабая Лили. Долгій рядъ годовъ дѣвичьяго рабства высушилъ ее, исковеркалъ. Ни одного чистаго чувства она въ себѣ не находила. Все было перерыто и загрознено. Богатыхъ дураковъ, которые бы бросились на женитьбу зря,—нѣтъ, что-то, нигдѣ, да и неужели продать себя, все равно, что стаканъ воды выпить? А человѣкъ съ душой—отшатнется отъ нея, не оттого только, что у ней въ прошедшемъ есть „пятно“; но онъ пожелаетъ найти въ ней душу, наивность.

Ни того, ни другого въ ней нѣтъ—вышло. Красоты тоже нѣтъ, граціи—еще менѣе. Кокетничать—и того не умѣетъ. Она не глупа; да и умъ-то ея—жесткій; а когда она захочетъ быть любезна, у ней выходитъ это нескладно. Ни къ какому обществу она не подходитъ. То, что ей нѣтъ называетъ „la vraie société“—скучно, она его насквозь видитъ. Въ другое общество ее не пускаютъ, да и сама она—чуть познакомится съ лицами попроще, чувствуетъ себя не по себѣ, не знаетъ какъ съ ними говорить.

Больше часа просидѣла она такъ на камнѣ!

XXXIII.

Спать имъ было все-таки душно. Изъ кухни шелъ запахъ съѣстнаго до поздняго часа. Онѣ молчали, ворочались въ постеляхъ и глядѣли обѣ на свѣтлыя пятна оконъ, выплывавшія изъ темноты. Мать жалѣла денегъ и приписывала неудачу поѣздки дочери; за ней вѣдь всюду шла „la malchance“, что бы ни предпринять, куда бы ни поѣхать. Послѣ смерти Лили—Ольга Евграфовна приписала самоубійство младшей дочери припадку безумія—пошло еще хуже. Даже никто и не знакомится изъ молодыхъ людей.

Завтра будетъ двадцатью-пятью рублями меньше; хорошо если хватить доѣхать до Москвы. Придется, пожалуй, опять на пароходѣ; настанутъ бурные дни, промучаешься, хоть проѣздъ и не долгій.

А потомъ?

Дочь—думала Ольга Евграфовна—похожа на безумную. Но надо переждать и тогда, улучивъ минуту, произвести на нее давленіе. Только бы наложить руку на приличнаго жениха. Должно-быть, надо спустить уровень требованій. Если бъ представился какой-нибудь коммерсантъ, съ образованіемъ? Нынче есть такіе, что на видъ не отличишь отъ иностранца, attaché посольства. По-англійски многіе говорятъ. Ихъ вездѣ принимаютъ. Но вѣдь такой коммерсантъ или банкиръ идетъ на удочку красоты. Ума имъ не нужно; да Ольга Евграфовна и не считала свою старшую дочь умной. Дерзкой, упорной—да. И не только дерзкой; но и хитрой, испорченной. Богъ знаетъ, что таится въ ней! Будь у ней настоящій умъ, она сумѣла бы и при своей все-таки видной наружности интересовать мужчинъ, если не молодыхъ, блестящихъ, то людей средних лѣтъ—прокуроровъ, инженеровъ съ хорошими мѣстами, полковниковъ генеральнаго штаба, которые любятъ серьезные разговоры съ дѣвицами. Къ нимъ надо немного поддѣлаться. На свѣтскій разговоръ, по-французски, эти господа не очень бойки... Что жъ дѣлать! Хоть по-русски, да чтобы былъ толкъ.

А дочь, въ это время, старалась забыть, гдѣ она, съ кѣмъ спать въ одной комнатѣ, то, что нужно ей завтра опять одѣваться, идти куда-то, поджидать знакомствъ, ѣхать домой, чтобы тамъ продолжать ту же невозможную жизнь. Ужъ и то было счастіемъ, что мать боится снова выводить ее изъ себя. Это молчаніе было бы тяжело для каждой дочери, но ее оно радовало.

XXXIV.

За утреннимъ кофеемъ Ольга Евграфовна начала вслухъ разсуждать, какъ будто просила совѣта у дочери. Рѣчь шла опять о томъ: дѣлать ли первымъ визитъ княгинѣ Тергасовой.

Дочь ничего не говорила.

— Dites donc votre avis!

— Cela m'est indifférent.

Мать шопотомъ стала ставить на видъ бездушіе и злость дочери. Для кого же это все дѣлается? Кругомъ сидѣли посторонніе и завтракали. Ольга Евграфовна сдержала себя и, прекративъ бесполезный разговоръ съ дочерью, приказала позвать посыльнаго. Она ему объяснила, съ



большой обстоятельностью, у кого спросить о Тергасовыхъ, и какъ передать княгинѣ, что Ольга Евграфовна Усманская приказала кланяться и узнать, въ которомъ часу можетъ она съ Марьей Денисовной застать у себя княгиню съ княжной.

Когда посыльный ушелъ, Ольга Евграфовна успокоила себя вслухъ тѣмъ соображеніемъ, что онѣ — прїѣзжія, и имъ слѣдуетъ первымъ сдѣлать визитъ, тѣмъ болѣе, что княгиня особа „третьяго класса“, а по теперешнему увлеченію стараго графа княжной, кто знаетъ, куда онѣ съ дочерью могутъ еще проникнуть?..

И на это дочь ничего не замѣтила, а допивала только свой кофе.

Вернулся посыльный: княгиня приказали благодарить; будутъ дома весь день до обѣда и очень рады видѣть Ольгу Евграфовну съ барышней.

Но кидаться къ Тергасовымъ нельзя было сейчасъ же; слѣдовало переждать по крайней мѣрѣ часа два. Туалетъ дочери Ольга Евграфовна находила: „sans gêne, ni raison“.

Мѣнять туалета дочь не захотѣла. Жаръ стоялъ еще удушливѣе вчерашняго, а тутъ надо еще переодеваться... Другое платье требовало такого же цвѣта перчатокъ. Боязнъ расхода успокоила Ольгу Евграфовну. Но она настояла, чтобы вокругъ шеи намотана была блонда: это хоть и жарко, но очень модно. Англичанки носятъ такъ, и надо эту моду вводить.

Избѣгая сцены, Марья Денисовна обвязала шею блондой очень высоко, точно у ней болитъ горло и она прикрыла пластырь.

XXXV.

Тергасовы приняли Усманскихъ въ богатомъ номерѣ-салонѣ, съ вѣнской мебелью. На столѣ и двухъ подзеркальникахъ стояли букеты и корзины изъ цвѣтовъ. Воздухъ, полный цвѣточнаго запаха и англійскихъ духовъ, наполнялъ просторную комнату. Княгиня, съ трудомъ двигаясь отъ полноты, въ бирюзовомъ капотѣ съ кружевами, встала и пошла къ нимъ навстрѣчу. За нею неслышно и съ неподвижной головой плыла и княжна, высокая, съ низкой-низкой таліей, перетянутой золотымъ кушакомъ, въ свѣтлой тафтѣ, съ прозрачными рукавами, уже пожелтѣлая отъ утомленія десяти зимъ, но все съ



тѣми же глазами, въ формѣ миндалей, усиками, бѣлыми, кавказскимъ носомъ.

Дѣвицы пожали другъ другу руку по-англійски, очень крѣпко, сѣли на другой половинѣ гостиной и заговорили по-французски, не перебивая себя, по разъ установленной программѣ, обѣ низкими голосами, безъ малѣйшаго оживленія: у княжны рѣчь текла еще лѣнивѣе, чѣмъ у Марьи Денисовны.

— Ина,—обратилась къ ней мать по-русски,—вотъ я прошу madame Усманскую съ нами сегодня на водопадъ, въ нашей коляскѣ.

— Parfaitement, maman,—отвѣтила княжна и взялась длинными пальцами за талію.

Ольга Евграфовна сочла нужнымъ сдѣлать нѣсколько возраженій насчетъ того, какъ бы имъ не опоздать домой.

— Вы еще успѣете вернуться сегодня. Даже пріятнѣе... по холодку.

Княгиня была родомъ чистая русская, тамбовская помѣщица, дочь прочила за принца, но охотно говорила по-русски.

Протекло минутъ съ двадцать въ визитныхъ разговорахъ. Вошелъ, безъ доклада, гусарскій офицеръ, въ голубомъ съ серебромъ, полный; лицо у него было красное и простоватое. Онъ носилъ рыжеватые, длинные усы и короткіе курчавые волосы. Въ лицѣ его сквозило что-то мальчишеское по выраженію толстыхъ губъ и вздернутаго носа. Онъ вошелъ, шелкнулъ шпорами, поклонился понинѣшнему, одной головой, низко спустивъ ее на грудь, и засмѣялся.

— Проигралъ, княгиня, пари!—громко сказалъ онъ.—Завтра идетъ „Дикарка“, а не „Майорша“.

И съ этими словами онъ подошелъ къ ручкѣ княгини.

— Monsieur Скопинъ,—представила его хозяйка.

— Mais... si je ne me trompe...—отвѣтила Ольга Евграфовна,—je connais un peu monsieur.

XXXVI

Отъ лица Марьи Денисовны отхлынула вся кровь. Какъ только раздался голосъ гусара, она закрыла глаза и не открывала ихъ, пока не слышала того, что произнесла мать. Княжна не замѣтила ничего. Она перевела свой затуманенный взглядъ къ гусару.



Но вотъ гость около дѣвицы.

— Marie,—слышитъ она голосъ матери,—c'est monsieur Скопинъ.

Она быстро поглядѣла на него. Лицо гусара было все такъ же красно. Онъ сначала подалъ руку княжнѣ; теперь онъ переминался съ одной ноги на другую и продолжалъ смѣяться.

— Проигралъ, проигралъ пари!—повторилъ онъ, и въ ея сторону сказалъ: — Bonjour, mademoiselle... сколько лѣтъ!

Въ звукѣ этихъ „сколько лѣтъ“ было для нея столько нестерпимо противнаго, что она сразу покраснѣла.

Глаза ея говорили ему: „не угодно ли намъ сейчасъ же забыть о моемъ существованіи“.

Но она сознавала, что этого сдѣлать нельзя. Вѣдь ея мать громко объявила, что это ихъ знакомый. Гусаръ присѣлъ къ княжнѣ и продолжалъ разговоръ. Онъ побылъ всего десять минутъ, подошелъ къ матерямъ, осѣдомился у Ольги Евграфовны, надолго ли она въ Ялтѣ и гдѣ живетъ. Кажется, она приглашала его къ нимъ. Княгиня спросила его:

— Вы не забыли? Ровно въ шесть часовъ мы выѣзжаемъ. Вы съ Иной верхами... А ваша дочь не ѣздитъ?..

— Я отвыкла,—отвѣтила за себя Марья Денисовна.

Гусаръ щелкнулъ шпорами. Совсѣмъ въ туманѣ она подала ему руку. Княгиня на прощанье сказала имъ:

— Да отчего бы намъ не пообѣдать вмѣстѣ?..

— Мы дали слово... знакомымъ, — быстро сказала Марья Денисовна и такъ поглядѣла на мать, что та подержала.

„Дороже будетъ стоять, — подумала она,—хоть разъ въ жизни нашлась“.

Домой Марья Денисовна шла все въ томъ же туманѣ и повторяла: „я не буду, я не буду тамъ“.

Сказаться больной? Ей стало гадко играть комедію. Она рѣшила, передъ обѣдомъ, уйти одной купаться, а матери предложить отдохнуть...

Выкупавшись, она вернулась въ отель и внизу, въ ресторанѣ, написала нѣсколько строкъ матери:

„Ne m'attendez pas. On m'a proposé une autre partie. J'ai accepté. Vous me trouverez ce soir à la maison“.

До седьмого часу она просидѣла наверху, въ садикѣ какой-то незанятой виллы. Она видѣла, какъ Тергасовы



проѣхали въ коляскѣ къ ихъ отелю. Скорыми шагами спустилась она къ шоссе и пошла по дорогѣ въ Ливадію.

XXXVII.

Она шла и шла. Ноги передвигались у ней сами собой. Ливадія уже была позади. Солнце сѣло за горами. Въ горлѣ у ней пересохло: вотъ это одно и утомляло ее.

Никто не попадался. На душѣ не было жутко; она хотѣла только идти. Дорогой она обдумываетъ. Да и чего тутъ обдумывать?! Не избѣжать полнаго разрыва съ матерью. А та не дастъ денегъ на возвращеніе ни въ Москву, ни въ Петербургъ. Тѣмъ лучше!

Что бы ни произошло, она не могла оставаться въ Ялтѣ. И мать ея никогда ничего не узнаетъ!

Усталость начала замедлять шагъ. Присѣсть негдѣ. Шоссе своими изгибами обманывало и раздражало. Чу! сади поднимается экипажъ... Тутъ она въ первый разъ только спросила себя: „да неужели я пѣшкомъ до самаго дома?“ А какъ же она доѣдетъ? Гдѣ возьметъ лошадей? И денегъ у ней нѣтъ, да и ничего она не знаетъ... Все явственнѣе шумъ колесъ; слышно, какъ они раздавливаютъ мелкій щебень шоссе. Въ ухѣ такъ непріятно отъ этого звука.

Поглядѣла она назадъ. Ничего не видно. Подъемъ тутъ круче, чѣмъ пойдетъ дальше. Но вотъ головы лошадей, извозчикъ въ бѣломъ холстинномъ картузѣ и свѣтломъ армякѣ: она можетъ это разглядѣть. Тройка темно-гнѣдыхъ. Изъ-за лѣваго плеча кучера видна дамская шляпка.

Неужели это мать? Нѣтъ, Николай совсѣмъ по другому одѣтъ и ростомъ меньше. Дама не одна въ коляскѣ.

Шоссе сузилось. Надо держаться къ одной сторонѣ. Къ горѣ—неудобно, лежать кучи щебня. Къ обрыву еще хуже, пристаяжная можетъ задѣть, того и гляди оступится нога и упадешь внизъ. Марья Денисовна перешла съ одной стороны на другую и стала на краю. Коляска уже поднялась на изволокъ и поѣхала рысью.

Ей показалось, что ее непременно сбросятъ внизъ. Она замахала платкомъ. Въ коляскѣ поднялась мужская фигура и что-то крикнула извозчику. Въ трехъ шагахъ отъ дѣвушки лошади стали. Стыдно ей сдѣлалось; она хотѣла крикнуть имъ:—„поѣжайте, поѣжайте!“ Но не крикнула.

Изъ экипажа выскочилъ небольшого роста молодой че-

ловѣкъ въ сѣрой пуховой шляпѣ и люстриновомъ плащѣ. Онъ подбѣжалъ къ ней.

XXXVIII.

— Вамъ что-нибудь угодно?—торопливо спросилъ онъ.

Марья Денисовна смутилась и поглядѣла на него быстро и тревожно. Она замѣтила его маленькій носъ съ ринсепезъ, черную бородку и худыя загорѣлыя щеки.

— Ничего... извините...

— Вы испугались лошадей?

— Да...

Онъ говорилъ мягко и глядѣлъ на нее добрыми глазами.

— Можеть, вамъ не хорошо?

Тонъ этого вопроса заставилъ ее подумать, что онъ докторъ.

— Я утомилась немного.

— Да вы куда же?

Она назвала мѣсто.

— Такъ вѣдь это больше пятнадцати верстъ отсюда. Вы не дойдете. Мнѣ кажется... у васъ...

Онъ немного замялся, отбѣжалъ къ коляскѣ, переговорилъ что-то вполголоса съ дамой и съ мужчиной, сидѣвшими рядомъ на заднихъ мѣстахъ, и скоро опять вернулся.

— Мы втроемъ, ѣдемъ изъ Ялты... У насъ свободное мѣсто... Это профессоръ Сапентовъ, вы, можеть, слышали, нашъ извѣстный діагностъ... съ супругой, а я его ассистентъ... докторъ Чернавинъ. Они васъ просятъ... Мы васъ доставимъ до Алупки, а оттуда не трудно и пѣшкомъ, всего четыре версты. Дадимъ провожатаго.

Отказываться было не изъ чего. Подѣхала коляска. Ассистентъ посадилъ ее, и она должна была пожать руки профессору и его женѣ.

„Что я скажу имъ? — второпихъ подумала она и отвѣтила: — надо что-нибудь солгать; не въ первый разъ“.

Прежде всего она нѣсколько разъ поблагодарила ихъ. Она быстро сочинила цѣлую исторію. Ее не подождали, она не сообразила, что такъ далеко. Всѣ слушали ее просто и не задавали никакихъ вопросовъ. Можно было и ничего не выдумывать.

Молодой человѣкъ совсѣмъ прижался къ боку, чтобъ ей было больше мѣста; дама попросила ее протянуть ноги;



профессоръ сперва все улыбался и поглаживалъ бороду, а потомъ густымъ баскомъ выговорилъ:

— Вамъ, барышня, не дойти бы и до полуночи. И прекрасно сдѣлали, что дали намъ сигналъ платкомъ.

— Нашъ извозчикъ можетъ васъ и до дому довести...— предложила дама, и поглядѣла на мужа.

Онъ ей кивнулъ головой.

XXXIX.

Тутъ только Марья Денисовна разглядѣла ихъ. Мужъ былъ лѣтъ подь сорокъ, плотный, сутуловатый, съ русой длинной бородой. Онъ смотрѣлъ человѣкомъ, вышедшимъ изъ духовнаго званія. Такіе сѣрые большіе глаза и толстоватый къ концу носъ видала она у нестарыхъ священниковъ и дьяконовъ. Глаза умно и насмѣшливо улыбались. Сидѣлъ онъ сгорбившись, въ парусинномъ балахонѣ и стружковой шляпѣ. Голосъ у него тоже напоминалъ басъ дьякона и въ манерѣ произносить слышалось что-то рѣзковатое въ звукахъ „а“ и „о“. Она никогда и нигдѣ его не встрѣчала.

Жена профессора была его лѣтъ на десять моложе. Встрѣтъ ее Марья Денисовна одну, въ большомъ городѣ, она приняла бы ее, быть-можетъ, за купчиху: по ея нестрому туалету и волосамъ льняного цвѣта. Модная шляпка сидѣла на этихъ кудельныхъ волосахъ назадъ, а не сильно впередъ, какъ бы ей слѣдовало. На шеѣ и на рукахъ было слишкомъ много золотыхъ вещей и перчатки короткія. Лицо—рыхловатое и круглое съ добрымъ носомъ пуговкой—сильно загорѣло. Узенькіе глаза смотрѣли на нее немного съ недоумѣніемъ, скорѣе ласково.

Но когда она спросила мужа насчетъ извозчика—Марью Денисовну точно что укололо.

Этотъ голосъ!.. Гдѣ, когда она его слышала? Голова ее начала быстро-быстро искать въ прошедшемъ. Это было не больше, какъ пять лѣтъ... Неужели?!

Она начала холодѣть, руки у ней затряслись. Неужели сегодня судьба нарочно ловить ее безъ всякой жалости?..

Необычайнаго усилія стоило ей подавить свое внезапное разстройство. Она изъ-подъ глубокой модной шляпки стала всматриваться въ лицо профессорши; въ сумеркахъ это можно было сдѣлать.

Да, широкое лицо, волосы какъ ленъ, съ такими же городками на лбу, ноздри, рѣзко вырѣзанныя, узенькіе



глаза... Только она пополнила и кажется уже тридцатилетней замужней женщиной.

Она! акушерка Троицкая... Несомненно! Но она ее не узнает: это видно. Имени ее она и тогда не знала... Какъ ей помнить? А вдругъ!?. Если бы эта женщина была одна, можно было бы и не записывать; но съ мужемъ, съ его ассистентомъ... Какой ужасъ!..

XL.

Запроситься вонъ изъ коляски? Они примутъ ее за сумасшедшую. Да и не станутъ пускать. Самое лучшее: притвориться ужасно утомленной, закрыть глаза и принять расслабленную позу.

Такъ она и сдѣлала.

— Вамъ не хорошо?—тихонько спросилъ ее ассистентъ.

Она ничего не отвѣтила.

— Пожалуйте на мое мѣсто, — предложилъ профессор. — Извините, я сразу не догадался.

— Разумѣется, Иванъ Ивановичъ, — подтвердила жена и поклонилась, чтобы взять Марью Денисовну за талию и пересадить.

— Нѣтъ! — почти вскрикнула дѣвушка. — Мнѣ хорошо здѣсь... воздухъ мнѣ въ лицо... Сидите, пожалуйста.

Она говорила все это не раскрывая глазъ. Испугалась она того, что жена профессора разглядитъ ее, когда нагнется къ ея лицу, и узнаетъ.

— Какъ угодно, — пробасилъ профессор и переглянулся съ ассистентомъ.

Въ его глазахъ умнаго, бездеремоннаго практиканта можно было прочесть: „Должно-быть, фруктами злоупотребляла, барышня“.

Такъ и оставалась Марья Денисовна, почти до самой Алупки. Она слушала ихъ разговоръ вполголоса. Они говорили о Ялтѣ, о Гурфузѣ, гдѣ провели два дня, о какомъ-то другѣ, котораго ожидаютъ на-дняхъ изъ Моксы, о томъ, что не надо больше ѣсть борщу съ томатами, и что виноградъ въ Ялтѣ хуже, чѣмъ у нихъ.

— Какъ вы себя чувствуете? — спросилъ ее ассистентъ, когда они были верстахъ въ трехъ отъ Алупки.

Она видѣла, что она не спитъ.

— Благодарю васъ, — проговорила она измѣненнымъ голосомъ.

Сердце у ней все еще билось усиленно. Каждую се-



кунду она или вспыхивала, или холодила: вотъ-вотъ жена профессора вспомнить и узнать ее. Ошибиться она не могла. Дѣвичью фамилію этой профессорши она отчетливо вспомнила. И почему же ей было не выйти за доктора? Онъ тѣмъ временемъ получилъ извѣстность. Теперь она, конечно, не практикуетъ больше. Но и теперь во всемъ тонѣ этой женщины есть что-то прямо показывающее, что она практиковала. Марья Денисовна вспомнила и то, что до своего акушерства Троицкая побывала въ кордебалетѣ, ходила экстерной въ театральную школу. Свою судьбу акушерка ей успѣла рассказать въ тѣ десять часовъ, съ десяти до восьми, которые она провела въ ея квартирѣ.

XLI.

— Мы и въ Алупкѣ!—сказалъ полупопотомъ ассистентъ.

Профессоръ ничего не замѣтилъ. Марья Денисовнѣ послышалось, что онъ, какъ будто, зѣвнулъ. Жена что-то сказала ему на ухо. Онъ промычалъ, а потомъ добавилъ:

— Понятное дѣло.

Вѣхали въ аллею и повернули въ гору.

— Вамъ пѣшкомъ нельзя,—замѣтила жена профессора и слегка дотронулась до ея колѣнъ.

Она открыла глаза. Еще нѣсколько минутъ, и они простятся. Эта женщина рѣшительно не узнала ея. Надо какъ можно меньше говорить.

— Благодарю васъ,—чуть слышно проговорила она.

„А чѣмъ я заплачу извозчику?—Я дойду пѣшкомъ“.

— Вы въ большомъ домѣ или въ этихъ маленькихъ пагончикахъ, что въ паркѣ построены?—пошутилъ профессоръ.

— Ъзда меня раздражаетъ, — заговорила погромче Марья Денисовна. — Я пройдуся пѣшкомъ, тутъ всего четыре версты.

— Какъ знаете,—сказалъ профессоръ.—Оно, можетъ, и лучше будетъ.

Жена не возражала. Ассистентъ поглядѣлъ на дѣвушку вбокъ и потомъ на профессора. И на его лицѣ было написано: „Иванъ Ивановичъ зря ничего не скажетъ“.

Коляска—мимо красивой мечети—спустилась въ проѣздъ между балаганами съ фруктами. Тутъ скучились татары-торговцы, мальчишки, парни, ожидающіеся случая получить на водку отъ господъ—поддержать лошадь или сбѣгать куда-нибудь... Деревянная гостиница въ полувосточ-

номъ вкусѣ, съ наружными галлереями, темнѣла въ глубинѣ.

— Вы здѣсь живете? — спросила Марья Денисовна. — Позвольте мнѣ сойти...

Мужъ и жена подались впередъ, и каждый протянулъ ей руку.

— Доброго здоровья, — сказалъ профессоръ, и въ его взглядѣ она прочла: — „только, милая, не вздумай ко мнѣ за консультаціей обращаться; я пріѣхалъ сюда отдыхать, а не лѣчить“.

— Право бы доѣхали, — добавила жена.

— Оставь! — чуть слышно остановилъ ее профессоръ.

— Вы найдете ли дорогу до шоссе? — заботливо и крѣтко спросилъ ассистентъ.

— О, да!.. Я здѣсь бывала.

Торопливо выскочила она изъ коляски, сдѣлала имъ общій поклонъ и взяла направо по переулку. Она болѣе всего рада была тому, что никто изъ нихъ не спросилъ ея фамиліи. Солгать, назваться другимъ именемъ или не отвѣтить на вопросъ — она не нашла бы въ себѣ достаточно мужества.

XIII.

Вотъ она на шоссе. Еще свѣтло. Полоса дороги бѣлѣется рѣзко. Въ небѣ чуть замѣтенъ узкій серіи мѣсяца. Шаги ея звонко раздаются во влажномъ воздухѣ, пропитанномъ растительными испареніями парка. Она идетъ бодро, но не бѣжитъ. Въ головѣ у ней все еще сидитъ, какъ гвоздь, чувство страха, смѣшаннаго съ радостью, что вотъ та женщина ея не узнала. Ей уже пужды иѣтъ до того, что тамъ, въ Ялтѣ, гусарь способенъ выболтать первому встрѣчному все... Да навѣрно онъ сотни разъ и разбалтывалъ мужчинамъ и женщинамъ, за которыми волочился... женщинамъ, конечно, и называлъ ее. Этотъ позоръ отошелъ въ даль. Она разучилась думать о немъ уже больше двухъ лѣтъ, — точно будто она была застрахована отъ встрѣчи съ нимъ, въ Петербургѣ или за границей. Развѣ пять лѣтъ много времени? Давно ли это было?

Мать поѣхала тогда хлопотать о какомъ-то спорномъ наслѣдствѣ. Сестру Лили еще не взяли изъ института. Она гостила у кузины — старше ея на пять лѣтъ, свѣтской московской барыни, богатой, съ дуракомъ мужемъ. О ея

легкихъ нравахъ давно ходили слухи; но мать повторяла, что это—клевета, а сплетничаютъ разныя барыни изъ „petite noblesse“. Прогостить у ней зиму, значить навѣрно выйти замужъ. Въ домѣ кузины, послѣ тисковъ матери, сразу показалось какъ въ раю. Выѣзжай, уходи, дѣлай что хочешь, держи себя какъ тебѣ вздумается. Полонъ домъ мужчинъ. Гусарь Скопинъ считался очень богатымъ—и дуракомъ. Кузина ей каждый день твердила:

— Душа моя, если хочешь прожить на волѣ и весело— жени на себѣ богатаго дурака.

Она указывала, безъ церемоній, на своего мужа, тоже отставного гусара.

Гостиная кузины дышала однимъ позывомъ: пожить на счетъ мужчины, повеселиться — и чтобы все было шито-крыто. Напало на нее озорство. Она захотѣла поскорѣе, не думая ни о чемъ, заручиться глупымъ и богатымъ женихомъ. Кузина помогла:

— Надо идти прямо, — говорила та, — и ничего не бояться. Чѣмъ дальше, мой другъ, зайдешь, тѣмъ вѣрнѣе.

И опять ссылалась на себя.

— Тебѣ уже двадцать стукнуло. Состоянія у васъ нѣтъ, и съ такой махан, какъ твоя, никто на тебѣ не женится. Надо воспользоваться этой зимой.

Все это было вѣрно: она сама чувствовала логику кузины. И въ ней самой уже накопилась горечь. Жизнь съ матерью становилась несносной. Два сватовства разстроились въ зиму передъ тѣмъ. Ее цѣлые дни пилили за глупость и безталанность.

XLIII.

Гусаръ былъ и тогда такой же глупый, болтливый, плохо воспитанный, даже съ плохимъ французскимъ языкомъ, надоедливый до-нельзя. Но кто-то пустилъ слухъ, что онъ страшно богатъ. Поэтому на лучшихъ балахъ онъ водилъ котильонъ, командовалъ смѣнно и шумно, съ ошибками противъ языка. Она тогда и не спрашивала себя: хорошъ онъ или уродъ, есть у него хоть маленькій умъ, что-нибудь похожее на душу, на правила... Въ ней замерли эти требованія. Не помнить она, чтобы было пущено особенное кокетство. Кузина говорила, что „дурачокъ Скопинъ идетъ отлично на удочку“.

Онъ и безъ того ѣздилъ каждый день. Кузина не скрывала ей—съ какими намѣреніями.

— Но я ему, душа моя, сказала: вы можете ѣздить, но ничего не добьетесь. Онъ и этимъ остался доволенъ. Но ты не обижайся, не говори, что я тебѣ уступаю свои обглодочки. Ты — дѣвушка. Тебѣ нуженъ мужъ. Будь я на твоёмъ мѣстѣ, я бы не задумалась сейчасъ же выйти за него.

И такія разсужденія не оскорбляли ее тогда.

Гусара стала настраивать кузина, шептать ему, что онъ будетъ совсѣмъ „уродъ“, если упустить такую дѣвушку. Конечно, глала ему насчетъ состоянія... Можетъ-быть, льстила самолюбію, увѣряла его, что Мари влюблена въ него „до безумія“. Онъ скоро измѣнилъ тонъ, искалъ интимныхъ разговоровъ, уводилъ ее въ залу, когда тамъ никого не было, привозилъ конфеты, букеты, началъ вести себя почти женихомъ. Но матери она ничего не писала, просила и кузину молчать. Мать его видѣла раза два-три до своего отъѣзда, по тяжбѣ, въ Саратовъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ они цѣловались въ уголъ. Кузина нарочно оставляла ихъ вдвоемъ. Разъ, въ сумерки, онъ забѣжалъ за ней въ ея комнату. Она могла бы выгнать его, но не выгнала, думала, что все кончится лишнимъ подѣлуемъ. Теперь она не можетъ сказать, что это было. Конечно, не насиліе. Нѣсколько недѣль въ обществѣ кузины развратили ее такъ, что она сама на все шла и если не говорила себѣ: „да, я не остановлюсь ни передъ чѣмъ“, — то не хотѣла ни о чемъ думать и отдавалась теченію.

Она не испугалась и на другой день. У ней не достало, однако, духу сейчасъ же сказать ему:

— Извольте писать татамъ и просить моей руки.

Особый родъ стыда, стыда за то, что онъ глушъ и ба-наленъ, удержалъ ее отъ откровенности съ кузиной. Онъ все не говорилъ, что желаетъ писать матери. Прошло еще двѣ недѣли. И вдругъ гусаръ исчезъ, уѣхалъ въ Ма-лороссію въ четырехмѣсячный отпускъ. Кузина ни о чемъ „серьезномъ“ и не догадывалась; но все-таки стала его называть „негодяемъ“ и утѣшать ее тѣмъ, что такихъ сыщется много. Она узнала, кромѣ того, что онъ и „не думалъ“ быть богатъ.

XLIV.

Тутъ только поняла она свое положеніе. И все скрыла отъ кузины; скрывала упорно, искусно, продолжала ѣздить,



танцовать, никогда такъ не веселилась, и ни разу не задала себѣ вопроса: „Если я кому-нибудь понравлюсь— какъ же я скажу всю правду?“

Она даже забыла о необходимости выйти замужъ, а только хотѣла забыться и схоронить концы... Никто же не зналъ... даже ея опытная кузина. Приѣхала мать только постомъ. Тутъ она почувствовала, что ждетъ ее еще черезъ нѣсколько мѣсяцевъ... И рѣшилась скрывать до конца, до послѣдней возможности, сдѣлаться матерью тайно. Эта рѣшимость поглотила ее всю. Ничего другого она не видѣла впереди, впала въ совершенную безчувственность, сносила характеръ матери, подчинялась ея надзору, какъ за маленькой дѣвочкой, находила какое-то удовольствіе въ этомъ обманѣ. Ее не пускаютъ одну купить лентъ на Кузнецкій мостъ, а она будетъ скоро матерью! Съ кузины она потребовала клятвы — ни однимъ словомъ не проговориться объ ухаживаніяхъ гусара. Мать ворчала весь постъ и всю весну: какъ возможно быть настолько „résolue“, чтобы не сумѣть найти мужа въ такой гостинной, какъ у ея племянницы.

Никто ничего не замѣчалъ.

Да полно, было ли все это? Какъ же могла она вынести, не умереть, не схватить воспаленія; какъ ей удалось скрыть отъ матери?.. Не умерла, даже не заболѣла, и все скрыла. Тогда только она поняла, какое у ней здоровье. Не даромъ мать говорила, что она „une fille de ferme“ по своему сложенію.

Сегодня передъ ней проходятъ сцены и разговоры, пять лѣтъ спавшіе въ душѣ.

XLV.

Совсѣмъ стемнѣло, когда Марья Денисовна обогнула мысъ и стала спускаться къ первымъ домикамъ, гдѣ уже свѣтились окна. До того поглотило ее прошедшее, что она ни разу не подумала о томъ: что теперь ея мать, гдѣ она, какую сцену придется ей вынести изъ-за своей „esca-
rade“—такъ навѣрно назоветъ мать то, что она сдѣлала. Усталости у ней не было, ни въ ногахъ, ни въ головѣ. Хотѣлось одного: еще куда-нибудь и во что-нибудь уйти и не возвращаться въ ненавистную будку раньше глубокой ночи.

Прошедшее: гусаръ, день у акушерки Троицкой, то, что этотъ офицеръ отецъ ея ребенка, что та женщина

видѣла ея позоръ—мучили ее, какъ что-то до-нельзя противное. Но сердце молчало. Только бы опять схоронить концы и поставить одинъ большой крестъ надъ тѣмъ, что было. И еще ядовитѣе наikipала въ ней ненависть къ матери—другимъ словомъ не могла она назвать своего чувства и не хотѣла даже... Кто же довелъ ее до всего этого?

Мать, одна мать!..

Марья Денисовна поднялась къ площадкѣ, гдѣ третьяго дня съ разныхъ сторонъ окликали Павла Павловича. Широкія окна столовой были освѣщены ярче обыкновеннаго. Она разглядѣла въ темнотѣ, что татаринъ проваживаетъ лошадей. Изъ кухни безпрестанно бѣжали горничныя и лакеи. Что-нибудь такое тамъ происходитъ особенное.

— Поля!—остановила она горничную въ чадрѣ.

— Ахъ, барышня!..

— Что здѣсь такое?

— А это съ катанья вернулись.

— Да развѣ они сегодня, а не вчера ѣздили?..

— Сегодня-съ. Вчера у одной дамы... что-то заболѣло. Исторія случилась тутъ... Всѣ въ страхѣ были.

— Что такое?—спросила Марья Денисовна, насильно втравляя себя въ любопытство.

— Да господинъ тотъ... съ бородой... Павелъ Павлычъ и барышня... полная-то такая... отстали... Всѣ здѣсь переполошились... Думали—убили ихъ... ха-ха! Посылали гонцовъ... Они сейчасъ только вернулись.

Поля еще разъ засмѣялась и съ поклономъ побѣжала за водой.

— Пойду я туда,—подумала Марья Денисовна.

XLVI.

Столовая гудѣла. У стола, накрытаго глаголемъ, съ двумя лампами, сидѣло человѣкъ до пятнадцати; всѣ разговаривали, ѣли, наливали себѣ въ стаканы, смѣялись, перебивали другъ друга. Посрединѣ сидѣлъ Павелъ Павлычъ, въ темной блузѣ, перетянутой ремнемъ, въ высокихъ сапогахъ. Онъ только что прожевалъ кусокъ говядины, запилъ „рислингомъ“, поднялъ вилку и началъ говорить. Лицо его дышало несельемъ и удалью. Онъ подмигивалъ пухленькой дѣвушкѣ, той самой, что гуляла третьяго дня съ Марьей Денисовной. Контористъ съ же-



ной были тутъ также. Пожилая дама большого роста, съ просѣдью, держала дѣвушку за руку и качала головой; но глаза ея улыбались.

Сидѣлъ еще тутъ старикъ въ парусинномъ пальто, пять-шесть дамъ и дѣвицъ и трое статскихъ.

Марья Денисовна догадалась, что половина этого общества ѣздила въ горы. Она начала понимать, что случилось въ дорогѣ.

— Ну что же можетъ быть прощѣ?—спрашивалъ Павелъ Павлычъ; онъ обращался къ пожилой дамѣ.—Разсудите сами. Ваша внучка—скачетъ чудесно... А остальные боятся подъ-гору... Умора! Особенно вонъ Анна Матвѣевна!

— Извините! Я смѣло ѣзжу!

— Ха-ха... Смѣло!.. Ну, положимъ. Это мы завтра при свидѣтеляхъ спросимъ у Мехмеда. Вотъ внучка ваша и поскакала... Я за ней. Дѣлаю два-три поворота... Догналъ. И стали поджидать. Ждали десять минутъ. Я кричу. Мертвый бы услышалъ. Назадъ поднялись, доѣхали до перекрестка. Нѣтъ никого!

— Еще бы — въ другую сторону совѣить! — крикнула Анна Матвѣевна, дама съ короткими волосами, очень красная.

— Это вѣрно! Сбился я. Я и беру на себя всю вину. Поскакали сначала внизъ, потомъ вверхъ. И попали куда? Угадайте?

— Въ Ливадію?—крикнулъ кто-то.

— Въ Эрикликъ, выше Ливадіи. Наверху, тамъ, насъ у воротъ остановили. И долженъ былъ соврать... Суровость на себя напустить—только этимъ способомъ мы и очутились на шоссе. А тамъ ужъ сбиться нельзя было.

Пухленькая дѣвушка смѣялась, ѣла быстро, игриво всѣхъ оглядывала и глазами говорила:

„Ей-Богу, все это сущая правда! Можете намъ вѣрить!“

Молодые дамы улыбались недовѣрчиво. Пожилая дама вздохнула.

— Ну, и слава Богу! Вонъ у васъ аппетитъ-то какой! —

XLVII.

И всѣмъ стало еще веселѣе. Марья Денисовна видѣла ихъ и слушала изъ темнаго угла, около двери въ зимній садъ. Вотъ какъ живутъ люди. Молоденькая дѣвушка —



этой маленькой барышнѣ не больше восемнадцати—пропала въ горахъ съ красивымъ, совсѣмъ не старымъ мужчиной. Пріѣхали двумя часами позднѣе. Что бы тутъ было, если бъ съ нею случилось то же самое? Какихъ „гадостей“ не отрыла бы въ этомъ ея мать!.. А за нихъ только испугались; бабушка—приличная дама, мягко смотритъ на нихъ и радуется тому, что все благополучно обошлось. Всѣ даже рады происшествію: тревогѣ, посылкѣ татаръ на шоссе, шуму, бѣготнѣ, импровизованному ужину.

Въ груди ея заныло. Еще секунда, и она разрыдается, но она подавила въ себѣ и это.

— Танцевать надо, танцевать! Mesdames! Людмила Васильевна... Пожалуйста! Скорѣе вальсъ. Надо пользоваться минутой.

Это кричалъ Павелъ Павлычъ, шумно, весело, взялъ за талію пухленькую дѣвушку и вывелъ ее на средину столовой. Жена конториста побѣжала въ темноту, за колонны, гдѣ стояло старое, разбитое фортепьяно, и бойко, по-петербургски, заиграла вальсъ Штрауса: „Freut euch des Lebens“.

Павелъ Павлычъ закружился по столовой. За нимъ еще двѣ пары. Фортепьяно дребезжало; но раскатистый его гулъ подымалъ наивностью звука. Первая пара провертелась мимо Марьи Денисовны. Тутъ только Гущинъ заглянулъ въ нее и на-лету крикнулъ:

— Вернулись! Съ вами туръ!..

Но она не могла выдержать и вышла на галерею. Звуки фортепьяно ворвались туда за нею и дразнили ее, кололи, хохотали надъ ней, надъ ея тайнымъ срамомъ, лганьемъ, грязью, гнусностью ея добровольной каторги.

Она сошла съ лѣстницы на площадку, а оттуда взяла внизъ по крутому спуску на ту дорогу, откуда она третьяго дня поднималась съ профессоромъ объ эту же пору. Вальсъ все дребезжалъ и шумѣлъ за стеклянными дверьми столовой; въ окнахъ мелькали головы и спины. Дѣвушка шла все внизъ, къ морю—и такъ ей нестерпимы сдѣлались звуки, что она заткнула уши и побѣжала.

XLVIII.

Миновала она котловину съ ключомъ студеной воды, и вдругъ пошла медленнѣе; по всему тѣлу разлилась слабость, ноги у ней подкашивались отъ внутренняго потря-



сенія. Насилу добрела она до скамьи, опустилась на нее и заплакала, сначала глухо, потом зарыдала.

Слезы у ней рѣдко появлялись. Поэтому мать и называла ее „истуканомъ“. Когда плачъ вырывался у ней изъ груди, то всегда съ физической болью. И теперь рыданія смѣшивались съ истерической икотой. Платкомъ она зажимала ротъ. Еще нѣсколько секундъ такихъ душевныхъ мукъ, и она способна была бы кинуться въ море съ утеса, наклонившагося надъ водой въ ста саженьяхъ правѣе.

— Что съ вами?—раздался надъ ней женскій голосъ.

Передъ ней стояла женщина въ черномъ платьѣ, съ кружевной косынкой на головѣ, и держала въ рукахъ бутылку. Марья Денисовна узнала фигуру той дамы, про которую говорили третьяго дня, объ эту же пору, что она—сумасшедшая.

— Не угодно ли отхлебнуть водицы?

Рыданія не позволяли Марѣ Денисовнѣ отвѣчать.

Дама присѣла къ ней близко, взяла за свободную руку, пожала и прошептала:

— Женское горе!.. Чувствую!..

Отъ нея пахло на дѣвушку сердечной теплотой. Слезы полились обильнѣе и мягче. Черезъ минуту голова ея лежала на плечѣ дамы. Слабость долго не позволяла ей говорить.

— Пойдемте... ко мнѣ... отдохните. Вы въ жару; за-свѣжѣло. Простудитесь.

Дама произносила слова отрывисто и чуть слышно. Будь Марья Денисовна спокойнѣе—она бы нашла такую манеру странной.

— Благодарю,—съ трудомъ выговорила дѣвушка.

— Я близко... внизъ нѣсколько ступеней... Обопритесь на меня.

Когда Марья Денисовна оперлась на руку дамы, она почувствовала въ тѣлѣ ея провожатой вздрагиванія. Они и ей сообщились. Она еле переступала ногами. Дама поддерживала ее за талию. Сама она шла колеблющейся походкой. Спускаться по лѣсенкѣ было очень трудно.

XLIX.

Дама отперла дверь подъ навѣсомъ крылечка и ввела къ себѣ Марью Денисовну. Горѣлъ ночникъ. Особенный гѣлкарственный запахъ стоялъ въ душной комнатѣ.

— Здѣсь... здѣсь... кровать... ложитесь.



Марья Денисовна легла. Теперь ей вступило въ голову. Сразу стало ей душно.

— Окно, окно!.. — успѣла она выговорить; въ глазахъ замутилось.

Окно отворили; но воздухъ комнатки оставался такимъ же душнымъ.

Голову ломило невыносимо.

— Я вамъ сниму... корсетъ.

Но раздѣться не было силъ. Дама начала тревожно ходить по комнатѣ, отыскивая пузырьки съ лѣкарствами, предлагала компрессъ на голову. Кое-какъ разстегнула она лифъ. Платье было на Марьѣ Денисовнѣ то самое, въ которомъ она дѣлала визитъ Тергасовымъ.

— Вамъ... надо... совсѣмъ раздѣться...

Марья Денисовна слышала и понимала то, что ей говорятъ, но слабость не позволяла ей дѣлать движеній руками. Такъ пролежала она съ полчаса.

— Кажется, докторъ... живеть... въ большомъ домѣ?— прошептала дама.

— Не нужно... Благодарю.

Въ платѣе ее начало душить. Надо было снять корсетъ. Она уже могла подняться. Сбросила платье, стала сама отмыкать спереди застежки корсета.

Прошло еще съ четверть часа. Эти женщины не знали другъ друга даже по имени. Когда Марьѣ Денисовнѣ немного полегчало, она подняла голову, протянула руку и тихо выговорила:

— Скажите мнѣ, у кого я?

Дама быстро подошла къ ней, сѣла въ ногахъ, на колѣни, и нагнула къ ней лицо. Марья Денисовна могла теперь разглядѣть его въ полусвѣтѣ комнатки.

Лицо это глядѣло на нее и улыбалось; но глаза блуждали. Блѣдность щекъ переходила въ землистый цвѣтъ. Въ правой рукѣ она держала цвѣтокъ и все имъ помахивала. Во всемъ ея сѣлѣ замѣчалось трепетаніе. Косынки она не сняла. Волосы съ сильной просѣдью не отнимали у ней молодости, но молодости болѣзненной, странной.

— Неужели права, — подумала Марья Денисовна, — что говорили тогда...

L.

— Вамъ зачѣмъ же мое имя?—спросила дама и сильнѣе замахала цвѣткомъ.—У меня его нѣтъ... настоящаго.

— Какъ... нѣтъ?—выговорила еще съ трудомъ Марья Денисовна.

— Дѣвичье... мое имя... Прежнева. Знаете; прежняя... Ха-ха!.. Отъ которой ничего не осталось.

„Она разстроена въ умѣ!“—подумала дѣвушка.

— Прежнева?—выговорила она вслухъ.

— Съ мужемъ когда жила... не такую фамилію носила... Шеломова.

— Шеломова?..—повторила Марья Денисовна, какъ бы про себя.

И ей представился отель „Россія“, столовая и шумный обѣдъ въ отдѣльномъ кабинетѣ... Тотъ красивенькій мальчикъ, женоподобный, что сидѣлъ около полной купчихи изъ Москвы... Развѣ швейцаръ не говорилъ ей про Шеломова?.. Конечно...

— У васъ сынъ?

— Какъ вы знаете?..—вскрикнула дама и бросилась къ ней такъ, что Марья Денисовна пугливо подалась назадъ.

Все лицо этой женщины потемнѣло, глаза заискрились, руки задрожали, пѣтокъ выпалъ изъ правой руки. Но она тотчасъ же сѣла опять на край постели и смущенно заговорила:

— Простите... Я напугала васъ. Вы не знаете меня. Первый разъ въ жизни видите. Вы такъ спросили... Я думала... не проста...

Въ голосѣ ея зазвучали подавленные слезы, что-то глубоко страстное и жалкое.

Она встала, заметалась по комнаткѣ, подбѣжала къ столу, открыла ящикъ, взяла тамъ какую-то вещь, потомъ оставила сейчасъ же и задвинула такъ же быстро. Все это не взяло и двухъ минутъ.

— Нѣтъ! Не стану!—вслухъ вырвалось у ней.

Возгласъ удивилъ Марью Денисовну. Въ этой женщинѣ было что-то располагающее къ себѣ и жалкое.

— Видите...—слабо выговорила Марья Денисовна, — я была въ Ялтѣ... Я оттуда... пріѣхала.

— Въ Ялтѣ? Въ Ялтѣ?

— Да, и тамъ въ отелѣ „Россія“... мнѣ называлъ швейцаръ какого-то Шеломова... Изъ Москвы.

— Да?

Трепещущія руки схватили Марью Денисовну. Она уже была въ объятіяхъ этой женщины: та дѣловала ее и судорожно сжимала.

— Я не могу!—слабо вскрикнула дѣвушка.

— Ахъ, простите... Но вы назвали... фамилію... Вы говорите... въ отелѣ „Россія“?

— Да.

— Шеломовъ?.. Какой?.. Полный, лѣтъ подѣ пятьдесятъ... борода... курчавый?..

— Нѣтъ,—твердо отвѣтила Марья Денисовна,—очень молодой и почти мальчикъ.

— Какой?

— Красивый...

Она хотѣла прибавить: „довольно противный“, но не сказала этого.

— Володѣ?.. Господи!..

Раздались рыданія, возгласы... Такихъ Марья Денисовна никогда и не слыхивала. Они такъ возбудили ее сразу, что она вскочила, не чувствуя уже никакой слабости, и забѣгала по комнатѣ, ища чего-нибудь, воды, капель...

II.

Рыданія и возгласы перешли въ припадокъ съ судорогами. Марья Денисовна положила ее на ту же постель, гдѣ передъ тѣмъ сама лежала. Она дрожала отъ нервности; но о себѣ уже не думала. Передъ ней билась настоящая больная.

Чѣмъ помочь?

Вспомнила она, что та выдвигала ящикъ и что-то оттуда брала и назадъ положила. Конечно, лѣкарство. Но что именно? Она подбѣжала къ столику и выдвинула весь ящикъ до конца. Блеснуло что-то металлическое. Она сразу не поняла, что это. Иголлка съ пузырькомъ. Смутно вспомнила она, что, кажется, такъ выписываютъ морфій.

Припадокъ стихъ, но раздались глухія стenanія.

— Дайте... дайте,—стонала больная.—Бога ради!

Марья Денисовна подбѣжала къ кровати.

— Тамъ, въ столикѣ... игла... мнѣ вспрыснуть...

— Чего? Морфію?

— Да, да!.. Поскорѣй.

Но Марья Денисовна не знала, что именно нужно дѣлать. Вольная быстро и судорожно выхватила у ней иглу съ пузырькомъ, что-то такое мгновенно сдѣлала и упала головой на подушку. Черезъ минуту она уже стихла,

впала въ полудремоту и произносила отрывисто невнятные слова.

Марья Денисовна присѣла къ ней въ ноги и прислушивалась. Вдругъ ею овладѣло совсѣмъ иное чувство. Эта женщина должна была перенести больше ея мученій... Она, быть-можетъ, и въ своемъ умѣ. И этотъ морфій!.. Безпомощную жертву добила жизнь. А въ себѣ самой она чувствовала силы. Вотъ теперь—ночь, навѣрно двѣнадцатый часъ, она убѣжала изъ Ялты, мать уже пріѣхала, ждетъ, способна, Богъ знаетъ, чего надѣлать. И ей—ничего! Она не пойдетъ домой, не броситъ этой жалкой женщины, останется при ней всю ночь, забудетъ, что она, *м-lle Усманская*,—„изъ общества“.

Волненіе больной стихло. Но она не спала, а улыбалась и глядѣла на свою гостью полузакрытыми глазами.

— Володя,—сладко прошептала она и заснула.

Гостья встала съ конца кровати и пересѣла въ кресло. Она рѣшила провести тутъ ночь.

ЛII.

Въ столовой большого дома, до третьяго часа ночи, шло веселье. Послѣ вальса танцовали двѣ кадрили, и даже мазурку, пѣли хоромъ. Общество высыпало на площадку, затѣяло горѣлки въ темнотѣ. Хохотъ и визгъ разносились по всему парку.

Танцы еще гудѣли, когда по извивамъ шоссе поднималась коляска. Николай понукалъ лошадей въ гору и курилъ. Ольга Евграфовна моричилась отъ табаку. Выходка дочери держала ее въ столбнякѣ. Она не бросилась ее отыскивать, а даже Тергасовой и ея дочери сказала:

— *Ma fille est une folle!*

И поѣхала съ ними смотрѣть водопадъ, вернулась въ отель—не нашла тамъ дочери, не дала ни одной копейки на водку, когда расплачивалась по счету, только приказала въ отель записать: какъ зовутъ извозчика, и откуда онъ родомъ.

— Ты меня, пожалуй, убьешь,—сказала она ему, когда садилась въ фаятонтъ.

До тѣхъ поръ она еще надѣялась на то, что дочь на что-нибудь годна. Теперь—ни одного рубля не истратитъ она на ея туалетъ. Эта потерянная и полоумная способна на все. Но надо поступить какъ-нибудь чрезвычайно.

Не пустить ее, когда она явится? Небось, не бросится

въ море; у ней не такая чувствительная душа, какая была у Лили. Запереть на все время?.. Это ни къ чему не поведетъ. Она закоренѣлая негодница — „une misérable“ — повторяла Ольга Евграфовна, кутаясь въ шаль.

Николай подвезъ ее къ изгороди.

На дворѣ никого не было. Онъ крикнулъ. Никакого отвѣта.

Ольга Евграфовна поглядѣла въ сторону ихъ домика. Свѣта нѣтъ въ окнѣ дочери.

Николаю пришлось нести сундукъ одному. Лакей выбѣжалъ уже послѣ и донесъ ручной багажъ. Онъ же подалъ и огня.

— А барышня?—спросила Ольга Евграфовна.

— Какая-съ?

— Да моя же дочь!..

Будь это не ночью, Ольга Евграфовна дала бы ему пощечину.

Дочери не было дома.

Часть вторая.

I.

Часовъ около восьми—обѣдъ за общимъ столомъ давно уже отошелъ; на боковой площадкѣ, позади сѣраго дома, разсѣлись вокругъ стола пріѣзжіе изъ Ялты.

Это было то самое общество, что обѣдало въ отелѣ „Россія“, въ отдѣльномъ кабинетѣ. Четырехмѣстная коляска четверней отдыхала за угломъ, въ тѣни. Татаринъ, рослый и молодой, весь въ золотомъ шитьѣ, проваживалъ трехъ лошадей. Одна — иноходецъ — покачивалась подъ дамскимъ сѣдломъ темно-малиноваго бархата.

На скамейкѣ со спинкой, между двумя мужчинами, сидѣла купчиха Боченкова въ свѣтлосиней амазонкѣ и низкомъ мужскомъ цилиндрѣ. Дымчатый вуаль она откинула на плечо. Высокій, стоячій воротникъ сдавливалъ ей шею и подпиралъ ея двойной подбородокъ. Грудь сжималъ узкій корсажъ; пуговицы чуть держались на немъ. Амазонку она носила короткую. Изъ-подъ приподнятаго края юбки выставила она подъемистую ногу, обутую въ лакированный сапогъ.

Справа отъ нея развалился хорошенькій брюнетикъ, тотъ, что сидѣлъ рядомъ съ ней и за обѣдомъ въ Ялтѣ. Слѣва, бокомъ, вытянулся, а правую руку закинулъ на спинку и наклонилъ къ ней голову мужчина лѣтъ подъ сорокъ, смуглый, волосатый и толстогубый. Носъ его, сплюснутый и поздрявый, сжимало золотое ринсе-пез. Скулы щекъ остро выдавались впередъ. Борода мелко росла и торчала въ разные стороны. Волосы онъ зачесывалъ назадъ, низковатый лобъ наполовину загорѣлъ. И его, и двоихъ мужчинъ его же лѣтъ, занимавшихъ два стула

по ту сторону стола, по бокамъ пожилой дамы изъ нѣмокъ, всякій бы принялъ за московскихъ купцовъ. Но онъ былъ адвокатъ по бракоразводнымъ дѣламъ; его вѣзави — рябой блондинъ, тоже въ бородѣ, неопрятный и близорукий—пианистъ и композиторъ; а третій—съ лысиной, въ бородѣ и въ клѣтчатой парѣ—секретарь желѣзнодорожнаго сѣзда, изъ студентовъ. Этотъ всего больше походилъ на конториста. Его глазки-коринки возбужденно перебѣгали отъ одного лица къ другому. Хорошенькій брюнетъ смотрѣлъ не русскимъ купчикомъ, а скорѣе сыномъ иностраннаго банкира. На немъ плотно сидѣли гороховая куртка и такіе же рейтузы, въ обтяжку, на два вершка ниже колѣнъ, съ двумя пуговицами надъ высокими сапогами. Свою черную войлочную шляпу съ вуалемъ онъ снялъ.

II.

— Что жъ они не иссутъ?! —закричалъ брюнетикъ голосомъ избалованнаго мальчика и задвигался на своемъ мѣстѣ.

— Володенька, не бурлите!

Лысый, обращаясь къ Воченковой, прибавилъ:

— Гликерія Уаровна, успокойте юношу.

Она провела влажными бѣлками своихъ глазъ по лицу и фигурѣ брюнета, откинула голову назадъ и раскрыла ротъ, откуда крупные зубы блеснули двумя полосками.

— Да если жарко,—выговорила она ласково и со вздохомъ.

— Доброта вы наша неутолимая!—сказалъ адвокатъ.— Ручку вашу. Во всемъ московскомъ царствѣ нѣтъ другой души такой, какъ у Лукерьи Уваровны.

Онъ произносилъ ея имя по-просту и дѣлалъ это нарочно; а она не обижалась. И многое позволила бы она адвокату, только бы онъ ее поскорѣе развелъ. За это дѣло онъ, по условію, получалъ сорокъ тысячъ.

— Голубушка,—попросилъ композиторъ,—и мнѣ пожалуйте.

Онъ потянулся черезъ столъ. Глаза его давно уже посоловѣли, и послѣ обѣда, въ Ялтѣ, онъ всю дорогу дремалъ. Къ десяти часамъ вечера онъ рѣдко не бывалъ „готовъ“, и Гликерія Уаровна говорила ему:

— Ахъ, Лаврентій Ильичъ... Опять вы не годитесь, голубчикъ; а общали мнѣ поиграть.

Въ Крымъ привезла она его на свой счетъ, такъ же какъ и адвоката, и секретаря съѣзда. Это вмѣстѣ съ нѣмкой и была ея „свита“, о которой сообщилъ швейцаръ отеля.

— Лавря—тово?...—подмигнувъ секретарь съѣзда.

— Блаженъ мужъ!

Всѣ засмѣялись остротѣ адвоката, кромѣ брюнетика. Онъ ёжилъ и хмурилъ брови.

— Шеломовъ!.. Вы ужасный человѣкъ!—заговорилъ съ нимъ секретарь. — Разстраиваете наше веселье. И хотъ бы вы пили по-христіански... А то вы только видъ дѣлаете... А сами себѣ на умѣ.

— Ну, полно болтать... Лукичъ! — оборвалъ 'его Шеломовъ, какъ обрываетъ дидьку барчонокъ при матери-баловницѣ.

И прозвище „Лукичъ“ пришлось отлично къ секретарю. Его звали Сергѣй Лукичъ Полотеровъ. Всѣ засмѣялись.

— Сейчасъ... милый, — успокоительно проговорила Боченкова, сняла замшевую перчатку съ правой руки и положила ее на плечо Шеломова.—Вонъ и несутъ.

Изъ-за угла показались два лакея. Они несли вино и все остальное для крющоновъ.

III.

Когда секретарь состряпалъ питье съ сахаромъ и апельсинами—всѣ стали наливать себѣ суповой ложкой и пить. Боченкова подливала Шеломову, и бѣлки ея глазъ еще томнѣе прохаживались по немъ. Адвокатъ медленно процѣживалъ искристую жидкость сѣвозъ свои выпяченные губы, секретарь смаковалъ и пилъ короткими глотками, а музыкантъ тянулъ какъ квасъ, стаканъ за стаканомъ, посапывалъ, закрывалъ глаза и облизывалъ усы. Черезъ двадцать минутъ вокругъ нихъ ходили пары, пахло виномъ и апельсинами. Щеки у всѣхъ горѣли, кромѣ нѣмки. На ея землистомъ лицѣ застыла улыбка широкаго рта. Трудно было бы сказать: зачѣмъ держитъ ее при себѣ Гликерія Уаровна.

Пошли разговоры особаго свойства: о мужчинахъ и женщинахъ, о мужьяхъ и женахъ, намеки на любовныя связи въ Москвѣ изъ міра коммерсантовъ и присяжныхъ повѣренныхъ, желѣзнодорожниковъ и модныхъ врачей, актеровъ, скрипачей и дантистовъ. Сдавалось, что въ

этомъ мірѣ—все возможно, были бы деньги. По лицу Боченковой, красному и разомлѣвшему, расплылась улыбка; она какъ будто говорила: „Съ нашимъ капиталомъ — какія же могутъ быть задержки тому, что намъ угодно?“

Передъ своей свитой она вела себя съ Шеломовымъ, какъ съ женихомъ, и если не на „ты“, то скорѣе по привычкѣ. Она и мужу, когда еще была влюблена въ него, говорила тоже „вы“. Валерьянъ Оадѣичъ—адвокатъ—ведетъ дѣло мастерски. Свидѣтели давно подготовлены. Мужъ долго упираться не сталъ, онъ теперь „обзавелся“, жениться во второй разъ не захочетъ; а если бъ его кто подбилъ—„не бери на себя вины“,—то можно уличить и съ настоящими, а не съ подставными свидѣтелями. На это Валерьянъ Оадѣичъ—первый ходокъ на Москвѣ. И онъ не изъ одной жадности, самъ говорилъ ей не такъ давно:

— Матушка, Лукерья Уваровна, да зачѣмъ вы на себя опять ярмо это накладываете хотите? Ну, живите себѣ, какъ вамъ угодно. У васъ видъ отдѣльный. И миллионы свои. Хоть къ себѣ въ домъ этого красавчика поселите. Кто вамъ можетъ препятствовать?

Она не пожелала жить *такъ*. Володя ея на восемь лѣтъ моложе, — уйдетъ. Положимъ, и вѣнчанье, по нынѣшнему времени, не много значить; а все—придержка. За что же она ему сразу сказала, когда они сошлись: — Володя, половина моего—твое?..

А у ней четыре дома въ Москвѣ, рыбныя ловли въ Астрахани, да капитала больше шестисотъ тысячъ. Неужели за это и подъ вѣнецъ не стать, пока еще онъ такой красавчикъ?

Гликерія Уаровна смотрѣла на Володю Шеломова, какъ на свое пріобрѣтеніе. Можетъ, послѣ вѣнчанья, онъ ее и побивать будетъ... Тогда она увидитъ.

IV.

— А знаете исторію съ картинкой изъ дырчлини? — спросилъ секретарь.

— Это еще что?—лѣниво отозвалась Боченкова.

Рука ея лежала въ рукѣ Володи. Композиторъ открылъ одинъ глазъ и съ трудомъ выговорилъ:

— Ужъ ты... анекдотистъ!..

— Спи!—крикнулъ ему Володя.—Контрапунктъ!

Посмѣялись и этому прозвищу.

— Расскажите, голубчикъ, не тяните,—пригласила Гликерія Уаровна.

— Изъ какой дырьюли? — заинтересовался адвокатъ, положилъ локти на столъ и наклонилъ свою долговолосую голову.

— Да отъ нашего куафера. Теодоръ... или какъ онъ прозывается... Сидоровъ изъ Парижа... знаете, туда, за персидскую лавку?..

— Ну, знаю! Дальше!—крикнулъ Володя.

— Слушаю-съ, ваше благородіе... не извольте сумнѣваться... Получите все въ аккуратъ.

Секретарь состроилъ смѣшное лицо и приложилъ руку къ лѣвому виску, какъ дѣлаютъ подъ козырекъ.

— Не мямли!

Володя, послѣ трехъ стакановъ, принялъ тонъ хозяина, который прихлебателями своей столовой можетъ понукать какъ вздумаетъ. Свита Гликеріи Уаровны допускала съ собой такой тонъ, даже и адвокатъ.

— Такъ вотъ-съ, государи мои, вы видали княжну Тергасову съ маменькой?

— Усы у ней,—перебила Боченкова.—И, Господи, какъ тянется. Плечи впередъ. Да и подлѣточекъ. Навѣрно, старше меня, даромъ что въ дѣвицахъ. Изъ армянокъ, небось?

— Совершенно вѣрно,—продолжалъ рассказчикъ.— Но теперь въ нее вторымъ старче... графъ Гольденкранцъ.

— Да вѣдь у него жена, дѣти, внуки? — выговорилъ композиторъ, смутно понимавшій еще о чемъ идетъ рѣчь.

— Что жъ изъ этого? Онъ до того дошелъ, что хотъ разводиться.

— Да годокъ-то ему который? — спросилъ адвокатъ,—можетъ, подъ восемьдесятъ? И вѣнчать не будутъ.

— Сердце не разбираетъ, — вымолвила Боченкова.— Старичка жалко, ей-Богу... Рассказывайте, Лукичъ.

Она уже перепяла прозвище у Шеломова и при этомъ подумала: „какой Володя у меня на слова находчивый, что твоя бритва!“

Володя прилегъ къ ней плечомъ и, не смущаясь тѣмъ, что они на виду у всѣхъ постояльцевъ сѣраго дома, — прикоснулся губами къ затылку Гликеріи Уаровны. Ее отъ этого глухого поцѣлуи такъ и обдало жаромъ.

V.

— Рассказывайте, Лукич! — немного задыхавшись, повторила она.

— Ну, вотъ-съ... Княжна съ маменькой изволила ѣздить по лавкамъ. И заѣхали къ Теодору... насчетъ шиньона... что ли... или какой-нибудь косметики. У него всякая штука есть. Такое событіе — ихъ сіятельства — чуть король испанскій не сватался послѣ смерти первой жены... и вдругъ попали на двѣ минуты въ парикмахерскую, гдѣ нашего брата стригутъ и бреютъ.

— Особенно Лукичу... маковку! — крикнулъ Володя, и расхохотался.

— Я продолжаю: у Теодора, или какъ тамъ его... забылъ... во второй-то комнатѣ, въ салонѣ, прямо противъ двери, на стѣнѣ — олеографія. Знаете, новая вещь — въ Парижѣ года три какъ была выставлена. Жанръ съ сюжетомъ. На террасѣ сидитъ генералъ, въ домашней формѣ, въ капи, одна нога у него лежитъ укутанная на стулѣ... подагра, значить. Играетъ съ нимъ въ шахматы молодая жена, красивая. И мораль къ этому имѣется, правоученіе. Это-де благоразумный бракъ — mariage de raison.

— Ты что намъ переводишь... Мы понимаемъ... и говорить! — крикнулъ Шеломовъ.

Онъ началъ уже „тыкать“ секретаря. Пьянъ онъ не былъ, но воспользовался выпитымъ виномъ, чтобы позволить себѣ эту безцеремонность. На „ты“ онъ бы не сталъ пить съ ними.

Секретарь только покачалъ головой, глядя на Боченкову: „Избаловали, моль, голубушка, въ лоскъ“.

Гликерія Уаровна отвела свои глаза на Володю и шепнула ему:

— Ужъ вы дайте ему выболтать.

— Да-съ, благоразумный бракъ... Картинка пикантная. Только олеографія... одно слово... Я къ себѣ не повѣшу. По-моему, это хуже въ сто разъ фотографій.

— Почему? — вдругъ спросилъ композиторъ, совсѣмъ сонный.

— Нишкни! — кинулъ ему секретарь и хлебнулъ изъ стакана. — Олеографія, какъ олеографія. Въ цырюльнѣ ей и висѣть. Но княжна восхитилась. Уѣхали онѣ съ маменькой. А сюжета-то она, издали, хорошенько не раз-

глядѣла... видѣла только что-то пестренькое. И говорить она, въ тотъ же день, вечеромъ, старцу: какую я интересную картинку видѣла сегодня... Гдѣ?—ей не хотѣлось упоминать о парикмахерской. — Въ какой-то лавкѣ. И что жъ? Старецъ поднимаетъ на ноги всѣхъ алыгвазиловъ. Рыщутъ по Ялтѣ, въ лавкахъ во всѣхъ. Никакой нѣтъ олеографіи съ интереснымъ сюжетикомъ. Въ аптеки даже забрались, въ булочныя... Нѣтъ олеографіи!

— Ха-ха-ха!—вдругъ точно прорвало композитора.

И всѣ захохотали разомъ.

VI.

— Ну, завернули и къ Теодору. Тамъ-то она, голу-бушка, и ждетъ. Сейчасъ ее цапъ-парапъ. Утромъ, только что княжна открыла глаза, и надъ ея кроватью виситъ она.

— И только-то?—спросилъ Володя.

— А что же вамъ?—обидѣлся немного секретарь.—Вы не изволили понять весь смакъ этого происшествія?

— Только-то?—школьнически повторилъ Шеломовъ.

— Мало?! Старецъ, не зная сюжета, взбудоражилъ весь городъ, и точно въ поученіе предмету своей страсти повѣсилъ: па, молю, ангелъ мой, смотри, любуйся, знай, что тебя ожидаетъ, если бѣ я, добившись развода съ законной супругой, поступилъ въ твои мужья. Стала бы ты со мной въ шахматы поигрывать и ногу мнѣ укутывать.

— Только-то?!—въ третій разъ крикнулъ Шеломовъ.

— Лукерья Уваровна,—сказалъ адвокат, и взялъ ее за руку,—уймите вы маленько вашего итенца. Что жъ! Исторія, какъ исторія—не хуже самой олеографіи...

— Ахъ, господи,—прервала Боченкова, и тоже, какъ и сосѣдъ ея, положила локти на столъ.—Вы только на смѣхъ поднимать этого старика. А онъ, сердешный, любить, страдаетъ. Вѣдь онъ не виноватъ, что ему столько годовъ! Не разбираетъ любовь-то...

— Это точно,—перебилъ ее Шеломовъ.—Разбираетъ только вино. Вотъ оно и разобрало контрапунктиста!

— Bravo!—крикнулъ адвокат.—Володенька! На этотъ разъ каламбуръ славный! Разбираетъ...

— А!.. Разбираетъ!—спросонья догадался музыкантъ и захохоталъ.

— Довольно!—скомандовалъ Шеломовъ.—Душно! Отскдѣли всѣ бока. Пройдемтесь хоть къ морю. Выкупаться бы славно.

— Всѣмъ вѣстѣ?—спросилъ секретарь.

— Ахъ, Лукичъ, какой вы безстыдникъ! — остановила его Боченкова.

— Пойдемте, пойдемте! Я знаю ходъ,—вызвался секретарь.—Посмотримъ на монаха.

— Какого?—спросилъ Шеломовъ.

— Утесъ въ море выдался... точно монахъ съ капюшономъ на головѣ.

— Выдумываешь?

— Есть охота!..

Секретарь немного поморщился отъ этого „ты“.

— Идемте... только потише, голубчики,—застонала Гликерія Уаровна и грузно стала вставать со скамьи.

Ее повели подъ руки ея кавалеры. Секретарь предложилъ руку нѣмкѣ, не проронившей ни одного слова. Музыкантъ поплелся за ними, опираясь на палку. На площадкѣ гуляющіе оглядывали ихъ издали. Весь домъ уже зналъ, что это за пріѣзжіе и откуда. Сверху все время смотрѣли на нихъ двѣ пожилыя дѣвицы изъ своихъ комнатъ.

VII.

Они спускались по шоссе, громко говорили, смѣялись, останавливались на пути, присаживались на скамейки. Нѣмъ, кто имъ попадался навстрѣчу, мужчины кланялись и дѣлали гримасы. Двѣ-три дамы хотѣли даже жаловаться смотрителю дома и требовать, чтобы ихъ пригласили вести себя скромнѣе.

Къ берегу моря они спустились не по дорожкѣ, а прямо по откосу. Начался визгъ. Гликерія Уаровна чуть не упала. Нѣмка тоже оступилась. Музыкантъ Шеломовъ толкнулъ, и тотъ скатился внизъ на кучу кремней, при взрывѣ хохота. Съли они на эту самую кучу и начали бросать оттуда камешки; завязались пари у Володи съ адвокатомъ. Пошло на сотни рублей. Въ пари приняла участіе Боченкова, большая охотница до азартныхъ игръ. Съ кучи они поднялись, и у самой воды стояли и кидали камни, спорили о разстояніяхъ; Шеломовъ сказалъ нѣсколько дерзостей секретарю. Тотъ тоже сталъ держать пари и почти каждый разъ побивалъ расхажившагося Володю. Всѣ они разомъ кричали и махали руками. Одинъ только музыкантъ сѣлъ на облизанные водой голыши. Склонился на бокъ, а потомъ и совсѣмъ легъ.

— Лавря! баиньки!—крикнулъ ему Шеломовъ и, повернувшись къ водѣ, взмахнулъ рукой.

Камень взвился и упалъ въ воду въ десяти саженьяхъ.

— Я дальше.

— И не думали!—возразилъ секретарь.

Заключеніе давалъ адвокатъ.

— Вровень,—рѣшилъ онъ.

— Довольно, господа. Теперь бы чудесно выкупаться,—предложилъ секретарь.

— Какъ же это?—спросила Боченкова и разсмѣялась.

— Раздѣвайте Лаврю! Берите его за сапоги!—скомандовалъ Шеломовъ и подбѣжалъ къ музыканту.

Двое другихъ схватили его за ноги. Тотъ поднялъ голову и сталъ отпихивать ихъ ногами. Произошла свалка. Купчиха взвизгивала отъ смѣху. Такъ возились нѣсколько минутъ. Музыкантъ лежалъ подъ всей кучей и громко охалъ. Первый сжалился надъ нимъ секретарь. Они встали и начали оправляться. Боченкова обмахивала Володю расшитымъ батистовымъ платкомъ.

VIII.

Изъ-за кустовъ, надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ дурачились эти пріѣзжіе, выглядывало блѣдное женское лицо, мелькало черное платье.

Лидія Никаноровна Прженева всматривалась въ одного изъ мужчинъ, въ самого молодого. Она вышла погулять раньше обыкновеннаго. До нея донеслись крики, смѣхъ, взвизгиванія, хлопанье камней о воду. Первый вечеръ могла она выходить. Дня три пролежала она. За ней ухаживала ея новый другъ, Марья Денисовна. И сегодня Усмалская пробыла у ней отъ завтрака до обѣда.

„Какъ только оправлюсь,—рѣшила она наканунѣ,—пойду въ Ялту. Узнаю, точно ли это Володя, пойду къ нему, прямо брошусь на шею. Онъ меня не оттолкнетъ. Однимъ глазкомъ взглянуть на него!“

И вотъ только что пошла она отъ себя къ каменной лѣсѣнкѣ, голоса веселой компаніи остановили ее. И тотчасъ же она подумала:

„Это изъ Ялты пріѣхали. Знаютъ, быть-можетъ, моего Володю“.

Она разглядѣла, что было четверо мужчинъ и двѣ дамы, узнала, кто изъ нихъ самый молодой; но онъ стоялъ все спиной, у берега моря, и только разъ повернулся въ



профиль. Трудно ей было рѣшить навѣрно; а сердце все-таки сильно застучало, и холодный потъ выступилъ на лбу. Она схватилась за вѣтви, чтобы не пошатнуться отъ внезапной слабости. Онъ ли? Прошло цѣлыхъ десять лѣтъ. Больше! Одиннадцать. Тогда у Володи волосы вились свѣтлорусые. А этотъ брюнетъ. Но вотъ онъ обернулся всѣмъ лицомъ и подбѣжалъ къ кучѣ камней, гдѣ лежалъ рябой, съ взъерошенными волосами, точно совсѣмъ пьяный, мужчина. Ее насквозь пронзило. Она впилась глазами въ лицо. Этотъ носъ! — точно отцовскій, круглыми брови, улыбка... Онъ, онъ!

Еще сильнѣе должна была она схватиться за вѣтви. Головокруженіе не прошло до тѣхъ поръ, пока она не закрыла глазъ и не сдѣлала надъ собой усилія. И опять сомнѣніе: онъ ли? Но почему же не подойти, не спросить? А если онъ отвѣтитъ: „да, я Владиміръ Шеломовъ, что вамъ угодно?“ Сказать: „Володя, я мать твоя, Пржепева!“ Онъ можетъ отвѣтитъ: „У меня матери нѣтъ, я ея не знаю“. И скажетъ это при постороннихъ, при какихъ-то кутилахъ... при той толстой блондинкѣ... Кто она? Усманская говорила, что видѣла ее за обѣдомъ въ отелѣ. Эта амазонка держитъ съ нимъ себя, какъ родная, какъ жена или... любовница.

„Побѣгу къ Марьѣ Денисовнѣ! Она мнѣ скажетъ“. За эту мысль схватилась она и, ничего не видя передъ собой, бросилась по лѣсенкѣ наверхъ.

IX.

Марья Денисовна шла къ ней. Онѣ встрѣтились на первой террасѣ, выше большой площадки. Пржепева вся дрожала и схватила обѣ ея руки.

— Что съ вами? Зачѣмъ выходили? — успѣла выговорить Марья Денисовна.

— Идите! Они уйдутъ. Вы...

Досказать Пржепева не могла и сѣла на траву, охваченная опять головокруженіемъ. Шатаясь, встала она, оперлась на руку Усманской и сама повела ее внизъ. Та узнала въ чемъ дѣло.

Когда онѣ подходили къ дому, коляска тронулась.

— Глядите, глядите! — отчаянно крикнула Пржепева и такъ рванулась впередъ, что чуть-чуть не упала внизъ съ крутого спуска.

Боченкова уже сидѣла на бѣлой лошади и подбирала

поводья. Татаринъ управлялъ ей амазонку. Ея кавалеръ горячилъ своего караковаго: лошадь прыгала и повертывалась.

— Это... онъ? Онъ?—спрашивала, задыхаясь, Прженева.

— Да, это тотъ бркетъ... Шеломовъ.

— Володя!—глухо крикнула Прженева и пошатнулась.

Ея прятельница взяла ее за талію и отвела къ скамейкѣ, подъ грушевое дерево. Кавалькада скакала внизъ по шоссе. Клубы пыли заслоняли всадниковъ; только бѣлый вуаль на шляпѣ Шеломова мелькалъ еще издали.

— Володя... онъ... онъ...—шептала Прженева и всхлипывала.

Марья Денисовна стояла нагнувшись, и у ней, тамъ гдѣ-то, внутри, отдавались всхлипыванія этой женщины. „Зачѣмъ назвала я ей Шеломова?—подумала она.—Можетъ-быть, она и не стала бы разыскивать“. Но ей вспомнились сейчасъ же безконечныя рѣчи этой матери, возбужденныя морфіемъ, какъ она поѣдетъ въ Ялту, какъ упадетъ на грудь къ своему сыну и выплечетъ свое десятилѣтнее горе, и одинъ часъ свиданія вознаградитъ ее за все, за все.

„Все равно—случилось бы“,—думала Марья Денисовна, и повела, почти понесла Прженову, еле переступая съ ноги на ногу. Она взяла по другой дорогѣ, минуя большую площадку, чтобы не попадаться гуляющимъ.

Х.

Сердцу ея еще мало говорили терзанія матери. Она понимала ихъ больше головой. Зачѣмъ бросаться къ сыну, поднимать старое? Мальчикъ — фатъ, испорченный, вѣроятно, состоитъ при богатой купчихѣ въ роли друга.

Мало еще перенесла мукъ эта обездоленная Лидія Никаноровна! Одно ея замужество могло утратить каждую дѣвушку, какъ бы ей плохо ни приходилось. Въ три дня, въ промежуткахъ припадковъ и крайней слабости, отрывками, безпомощно и скомканно, передавала ей Прженева свою повѣсть. Родилась она въ богатой дворянской семьѣ, была одна дочь. Отецъ и мать такъ и дышали на нее. Учили ее дома. Тогда только что пошли идеи о воспитаніи, гуманности. Брали на-домъ учителей, профессоровъ изъ университета. Отецъ былъ въ большихъ дѣлахъ, мать умерла, когда ей минуло четырнадцать лѣтъ. Конторой отца завѣдывалъ нѣкто Шеломовъ, университетскій кан-

дидать, смѣлый и върадчивый. Онъ вліялъ и на ея воспитаніе; отецъ вѣрялся ему слѣпо. Всѣмъ ворочалъ онъ. Дѣвочкѣ управляющій проповѣдывалъ тайно самыя „новыя“ тогда идеи, билъ себя въ грудь, когда говорилъ о народѣ, неравенствѣ, о гнусномъ барствѣ, о высокомъ служеніи всѣмъ „нуждающимся и обремененнымъ“. И она стала на него молиться. Ей еще не наступило шестнадцати лѣтъ, когда она объявила отцу, что любитъ Шеломова и хочетъ быть его женой. Старикъ согласился. Черезъ два года онъ умеръ. Все состояніе перешло ей. Въ первые три года мужъ проповѣдывалъ ей тѣ же идеи; но дѣла все забиралъ въ свои руки. Она, какъ малое дитя, дала ему полную довѣренность, а потомъ и совсѣмъ уступила почти все. Смутно ей казалось, что между словами и всей жизнью мужа было противорѣчіе. Но онъ держалъ ее, какъ малолѣтка, во всемъ, вплоть до выбора кормилицъ и нянекъ для сына. Все чаще утѣжалъ онъ по дѣламъ, на Уралъ, на Волгу, за границу. Когда Володѣ пошелъ восьмой годъ, Шеломовъ потребовалъ развода. Это ее ошеломило. Въ своемъ ослѣпленіи, въ рабской любви она не замѣчала, охладѣлъ онъ къ ней, или нѣтъ, а та женщина, которую онъ приготовилъ себѣ во вторыя жены, жила въ томъ же городѣ, бывала у нихъ. Ей приказали—она повиновалась, только молила оставить при ней сына. Сына общали. Она пошла на все:—взяла вину на себя, даже отсидѣла на покаяніи.

XI.

Но сына у ней отняли и назначили годовое содержаніе въ полторы тысячи рублей. Вторая жена пожелала, чтобъ мальчикъ воспитывался при отцѣ; а отецъ явился ей доказывать, что этого требовала „логика“ — въ глазахъ „всѣхъ порядочныхъ людей“.

— Вы взяли на себя вину,—сказалъ онъ ей,—съ чѣмъ же сообразно, что сынъ мой будетъ при васъ?.. Онъ носить мою фамилію, а вы—госпожа Прежнева.

И въ этомъ она ему покорилась. Отъ его голоса и взгляда ее пробирала дрожь. Но натура не выдержала. Съ тѣхъ поръ напала на нее хворость, цѣлый рядъ всякихъ болей: и въ головѣ, и въ груди, и ногахъ; доходило до постоянныхъ конвульсій; куда она ни ѣздила, на какія воды—не помогало... И лѣчиться стало слишкомъ дорого, а мужъ больше не давалъ. Сына совсѣмъ отняли,

уѣхали на три года за границу; оттуда они прїѣзжали въ Россію только по дѣламъ. Пошли у второй жены дѣти; двое осталось въ живыхъ. Ни одного письма не получила она въ десять лѣтъ отъ сына; а ей не отвѣчали. Но она узнавала, гдѣ онъ; когда его отдали въ гимназію—знала она, что онъ вышелъ оттуда, не кончивъ курса, что собой очень красивъ, слышала, что сталъ помогать отцу въ под-
рядкахъ; отецъ его балуетъ, отдѣлилъ ему часть своего капитала.

Въ послѣдній годъ она потеряла его слѣдъ, слышала только, что переѣхалъ въ Москву. Цѣлую зиму проболѣла она въ Крыму. Въ десять лѣтъ три раза ее лѣчили отъ душевной болѣзни, а она знаетъ, что никогда съ ума не сходила. Нестерпимыя боли и бессонницы прїучили ее къ морфію. А потомъ тоска, потребность забвенія тянули все чаще и чаще дѣлать себѣ впрыскиванія; а потомъ—ходить, лежать, говорить въ туманѣ. Вотъ почему ее считаютъ полубезумной, а иные увѣряютъ, что она пьетъ: она и это знаетъ.

Въ послѣднія двѣ недѣли передъ встрѣчей съ Усманской, на нее нападала такая тоска, что она только морфіемъ спасалась отъ безмѣрныхъ душевныхъ страданій. И точно какой-то внутренній голосъ—увѣряла она—говорилъ ей, что сынъ ея живетъ поблизости. Она часто бредила, доходила до галлюцинацій, видѣла его; но всегда маленькаго, въ курточкѣ, въ кудряхъ.

XII.

Дѣла Прженева стала бодрѣе. Марья Денисовна усадила ее въ кресла, растворила настежь окно и дверь.

— Не смѣйте волноваться,—хмурия нарочно брови, сказала она ей.—И говорите вы слишкомъ много. Все будетъ... Не уйдетъ отъ васъ сынъ.

Ей была вновь роль сидѣлки и старшей сестры. Это ей позволило уйти отъ самой себя.

— Я ничего, я ничего,—повторяла Прженева, улыбаясь, вся трепетала, оправляла руками косынку на головѣ. Глаза ея усиленно мигали, пальцы вздрагивали.

— Успокойтесь, умоляю васъ; а то сейчасъ же опять припадокъ будетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ... только...

И она поглядѣла быстро-быстро на ящикъ на столѣ.

Значеніе этого взгляда уже знала Марья Денисовна. Тамъ лежала игла и морфій.

— Нѣтъ, Лидія Никаноровна,—строго выговорила дѣвушка,—этого не будетъ. И я у васъ отберу... Вы мнѣ общали.

— Отберете?.. Какъ же это?.. Ну хорошо, ну хорошо. Я вѣдь рѣже... Ей-Богу, я рѣже... Я могу и день, и даже недѣлю... Но сразу—нельзя!..

— Не говорите!

— Молчу.

Усманская уже слышала отъ нея, еще сегодня, послѣ завтрака, длинный разсказъ, какъ она брала съ собою всюду морфій и иглу. На какой-то публичной лекціи ей такъ захотѣлось разъ впрыснуть, что она побѣжала въ дамскую комнату, расталкивая всѣхъ, и выпустила тамъ себѣ сколько нужно.

— Голубчикъ вы мой,—шептала она вчера, когда была еще очень слаба,—вы этого не знаете... Это хуже пьянства... Зато все изъ сердца вышибетъ... Такъ въ туманѣ и живешь... Или точно давно, давно ничего не чувствовалъ. Не веселье, а одурѣніе... Вы на меня смотрите и думаете: жалкая... безумная... хуже пьяницы.

И тогда она долго плакала. Марья Денисовна боялась, что и теперь польются слезы, и не удержать ихъ.

— Право, я возьму,—сказала она и открыла ящикъ.

Прежневая слѣдила за ней глазами, видѣла, какъ та завернула все въ бумагу и положила въ карманъ.

— Можетъ пригодиться,—вымолвила она и жалобно улынулась.

XIII.

Но долго молчать она не могла.

— Милая,—зашептала она и глазами ловила взглядъ Марьи Денисовны,—какъ же теперь? Я поѣду.

— Вы не поѣдете, Лидія Никаноровна.

— Десять лѣтъ!

Слезы уже заблестали на рѣспицахъ.

— Если онъ помнитъ васъ... онъ пріѣдетъ самъ.

— Какъ же онъ пріѣдетъ?

— Напишите ему письмо. Я вамъ напишу.

— Нѣтъ, я сама!

— Пошлю вамъ на почту. Все сдѣлаю.

— Голубушка!..



Слезы уже текли по щекамъ крупными каплями.

Больше Марья Денисовна не позволила говорить Пржезневой. Та ее послушалась.

— Посидите на воздухѣ. Я вамъ вынесу кресло, а сама пойду погулять, а то вы будете все говорить.

Ей было ново и пріятно ухаживать за этой женщиной, укладывать ее, оттирать. Такъ жила она третій день.

Она пересадила Пржезневу на постель, вынесла кресло подъ навѣсъ, привела и усадила ее, покрыла ноги пледомъ и, уходя, сказала:

— Ужъ какъ угодно... я вамъ иголки не дамъ и этого ужаснаго лѣкарства.

— А если боли... невыносимы?..

— Вы притворяться не будете? Нѣтъ, боли теперь не явятся. А такъ я ни за что не дамъ!..

Она засмѣялась и поглядѣла еще разъ на Пржезневу.

— Милая, — прошептала та и протянула къ ней обѣ руки, всѣ высохшія и желтыя, — поцѣлуйте меня.

Теперь она могла ее цѣловать — привыкла; а въ первый день она должна была каждый разъ подавить въ себѣ безглаголивое чувство. Отъ Пржезневой шелъ лѣкарственный запахъ. Бѣлье на ней было заношенное: неряшливость давно пришла къ ней отъ лежанья, припадковъ, одиночества, житья по мебелированнымъ комнатамъ.

— Вы понимаете меня... даромъ, что — не мать!.. — прошептала Пржезнева.

XIV.

Эти слова всколыхнули Марью Денисовну. И такъ неожиданно!

„Даромъ, что не мать!“ — повторяла она мысленно, поднимаясь отъ Пржезневой.

И ее обманываетъ она, выдаетъ себя за непорочную дѣвушку даже передъ такимъ безобиднымъ, жалкимъ существомъ, какъ эта женщина. Нѣтъ! Она бы ее не стала обманывать, если бъ та спросила ее прямо, почему съ ней случился на дорогѣ истерическій припадокъ? Но Пржезнева сама впала въ истерику, и цѣлыхъ два дня говорила все о себѣ; а про то, что заставило рыдать Марью Денисовну, — она уже забыла. И вообще она не могла останавливаться подолгу ни на чемъ, нѣсколько разъ возвращалась къ одному и тому же факту и спрашивала все:



— Вѣдь я вамъ это не говорила еще?

Обманывать она не будетъ Прежневу. И вчера еще захотѣлось рассказать ей все, до послѣдней черточки—не скрывать своего позора; но безъ слезъ, безъ истерикъ. Къ чему это? Только выказывать свое малодушіе. Вѣдь у ней нѣтъ угрызений. Она только гадливость чувствуетъ къ прошлому, къ тому, что могла она вступить въ связь съ такимъ созданиємъ, какъ гусаръ Скопинъ. Изъ Ялты убѣжала она просто оттого, что не хотѣла ни подъ какимъ видомъ быть съ нимъ вмѣстѣ, испытывать добровольной кары. Это „паденіе“ и само по себѣ было нелѣпо, да и всю ея дѣвичью жизнь сдѣлало еще ужаснѣе; при каждомъ сближеніи съ порядочнымъ человѣкомъ—надо было мучиться тѣмъ: когда она должна объявить ему о пятнѣ своего прошедшаго?

И встрѣча съ бывшей акушеркой потрясла ее, какъ второй ударъ въ теченіе одного дня. Не раскаяніе говорило въ ней, а только страхъ быть узнанной—все равно, если бы она когда-нибудь украла у модистки кусокъ кружева, была замѣчена и потомъ встрѣтилась съ ней... Повѣсть Прежневой, рана материнской души, страстное желаніе видѣть сына казались ей почти маніей—„пунктикомъ“, какъ выразилась бы Ольга Евграфовна. Ни разу, въ эти три дня, проведенные въ домикѣ Прежневой, не вспыхнулъ въ ея сердцѣ огонекъ материнства. Жена доктора ее не узнала. О чемъ же больше сокрушаться? Въ Алупку она не поѣдетъ. Все утопѣть въ прошедшемъ. Былъ ребенокъ. Теперь нѣтъ его. Навѣрно, умеръ. Она помнить только что-то красное и сморщенное.

XV.

Хорошо ужъ и то, что она вотъ идетъ одна, куда хочетъ, не ночевала дома, третій день проводить съ больной, домой возвращается только завтракать и обѣдать.

И все обошлось съ матерью въ какихъ-нибудь полчаса, и оттого, что она, когда шла домой, утромъ третьяго дня, ничего не боялась—даже самой отвратительной сцены. Первой начала она сама говорить, и такъ еще никогда не говорила.

— Жить, какъ вы желаете,—сказала она матери,—я не могу, да и для васъ это не выгодно.

— Не выгодно?—закричала мать.

— Да, не выгодно.

Сцена шла по-французски.

И она стала доказывать матери, что нелѣпо разсчитывать на блестящую партію. Онѣ не могутъ занимать мѣста, какъ надо, въ свѣтскомъ обществѣ. Если искать жениховъ—она выразилась: „faire une chasse aux promiss“,—то необходимо держать себя свободно, почти какъ молодой дамѣ, выбирать между людьми немолодыхъ лѣтъ, вдовцами, изъ средняго общества: докторовъ, адвокатовъ, прокуроровъ, коммерсантовъ, помѣщиковъ.

Мать была поражена ея тономъ и доводами. Окрики и брань—какъ на „дѣвчонку“—были уже неумѣстны. Это поняла Ольга Евграфовна и сидѣла, перебирала ртомъ и общипывала бахрому на платкѣ. Угрозы никакой ей не сказала дочь; но въ звукахъ ея голоса впервые слышалось что-то, подсказавшее матери:

„Если ты не сдашься—все равно она сбѣжитъ!“

Объ исторіи въ Ялтѣ, объ этой ескараде, было сказано всего нѣсколько словъ.

— Не хотѣла быть въ обществѣ Скопина,—смѣло говорила Марья Денисовна.—Онъ дерзокъ и глупъ. Я встрѣтила знакомыхъ,—она выдумала фамилію,—вы ихъ не знаете. Они меня подвезли; а потомъ я попала къ больной. У ней и провела ночь. Вотъ и все.

Это „voilà tout“ показалось Ольгѣ Евграфовнѣ чѣмъ-то чудовищнымъ по своей „irrévérence“, но прежняго вернуть было уже нельзя.

— Знайте,—сказала она подѣ конецъ разговора,—что я вамъ даю срокъ пять мѣсяцевъ. Къ новому году вы должны найти себѣ мужа. Намъ нечѣмъ жить.

— Я это знаю,—отвѣтила дочь.

XVI.

На краю площадки, подѣ лавровымъ деревомъ, на складномъ стулѣ, сидѣлъ Гущинъ, въ своемъ шелковомъ костюмѣ. Марья Денисовна увидала его шаговъ за пятьдесятъ. Ей захотѣлось поговорить съ нимъ.

Нужды нѣтъ, что онъ женатый. Теперь она будетъ съ нимъ по-другому. Отбивать его у жены она не хочетъ: не настолько тщеславна, да ей и не по вкусу были бы всякій раздоръ, ревность, бракоразводный процессъ, скандалъ. Можетъ-быть, къ тому же, профессорша красивѣе ея и не старше лѣтами... Но Павелъ Павлычъ человекъ нужный. Жаль, что онъ служить не въ Петербургѣ и не

въ Москвѣ. Такіе люди бываютъ центры кружковъ... Свѣтскимъ выѣздамъ приходится сказать—прости. Искать надо именно въ кружкахъ, куда вхожъ такой пріятный профессоръ, какъ Гущинъ. У него навѣрно множество друзей и товарищей по всей Россіи... Съ нимъ надо начать бесѣдовать въ другомъ духѣ, выслушивать его со-пѣты, не разбирать его про себя, жестко и зло, а создать себѣ изъ него союзника. Съ нимъ она привыкнетъ къ болѣе простому обращенію, выучится вести по-русски разговоръ, не какъ чопорная барышня, а какъ говорятъ вонъ тамъ, за общимъ столомъ, всѣ эти дамы и дѣвушки, разныя курсистки и жены чиновниковъ, докторовъ, ученыхъ. А то она чувствуетъ себя, среди ихъ, совершенно „dé-çà-rayée“... И съ ними полезно сходиться, изучать ихъ. Разумѣется, очень скоро можно будетъ оставить ихъ позади. У нихъ нѣтъ ея теперешней опытности и свѣтскости. Стоить только овладѣть тѣмъ, что у нихъ въ ходу, что составляетъ ихъ „topics of conversation“, какъ называла ея англичанка... Вѣдь она говоритъ и читаетъ на четырехъ иностранныхъ языкахъ. Мать не пустила бы ее ни на какіе курсы—о курсахъ въ ихъ свѣтѣ говорить съ ужасомъ,—но она любила и любитъ читать. Дѣльных книгъ мало перебивало въ ея рукахъ, да и некогда было—ни по зимамъ, ни въ лѣтніе сезоны. Заняться этимъ, попросить указаній вотъ у такого Гущина, и черезъ два-три мѣсяца можно навести на себя совсѣмъ другой „genre“.

Въ ту минуту, когда она подходила къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ Гущинъ, Марья Денисовна почувствовала даже ро-дъ удовольствія именно оттого, что она можетъ держаться съ нимъ совершенно иначе. Двѣ недѣли, какія онъ проведутъ еще въ Крыму, получили для нея не тотъ смыслъ, какъ прежде: имъ нужно было воспользоваться.

XVII.

— Ахъ! mademoiselle Усманская! Какъ я радъ!

Гущинъ подошелъ къ ней съ книгой въ одной рукѣ, а другой снялъ и низко опустилъ шляпу.

— Читаете?—спросила она его и указала глазами на книгу, въ восьмую долю, въ темно-сѣрой оберткѣ.

Видно было, что онъ ее только что разрѣзалъ.

По звуку ея вопроса, Гущинъ понялъ, что она будетъ иначе себя вести съ нимъ. Онъ весело блеснулъ своими свѣтло-карими, еще очень молодыми глазами и разсмѣялся.

— Вы мнѣ сегодня нравитесь.

— Очень рада, — отвѣтила Марья Денисовна такъ же бойко.

— Право!.. Въ первый разъ вы взяли хорошій тонъ. А то вы были какъ на веревочкѣ. Хотите присѣсть... Тутъ есть еще другой складной стулъ.

Они сѣли рядомъ. Внизу темнѣло море.

— Точно чернила, — сказала Марья Денисовна.

— Вы любите реальные сравненія?

— У меня такъ вырвалось. Вы со мной, Павелъ Павлычъ, — она еще не звала его такъ, — не употребляйте мудреныхъ словъ.

— Какъ? Васъ пугаетъ слово реальный? Быть не можетъ. Вы навѣрно знаете три иностранныхъ языка.

— Реальный... Это—*réaliste*. Я понимаю. Но по-русски я не привыкла къ такимъ выраженіямъ.

— Приучитесь!

— Хочу.

— Въ добрый часъ!

— И вы мнѣ, пожалуйста, помогите.

— Помидуйте... всей душой.

— Вотъ пріѣдетъ ваша жена—познакомьте насъ.

Она нарочно поторопилась сказать это: пускай онъ не думаетъ, что у ней виды на него съ хищнической цѣлью.

— Буся моя будетъ ужасно рада.

— Вы такъ зовете жену вашу?

— Да, она такая маленькая.

„Въ самомъ дѣлѣ, онъ славный человекъ, — думала дѣвушка, — и нѣтъ въ немъ никакой ученой важности“.

— Что это за книга? Русская? — спросила она.

— Переводъ извѣстнаго этюда Морлея о Руссо.

— Вы и по-англійски, конечно, знаете?

— Знаю; но мнѣ прислали переводъ. Хорошо сдѣланъ. Вы знакомы съ книгами Морлея?

— Никогда не слыхала такого имени, — отвѣтила Марья Денисовна.

— Быть не можетъ!..

— Какъ видите.

XVIII.

Такъ они проболтали до половины десятого. Ночь уже спустилась такъ же быстро, какъ и тогда, какъ они шли къ ея домику. Профессоръ разспрашивалъ ее о поѣздѣ

въ Ялту и попенялъ за то, что она убѣжала изъ столовой, не захотѣла съ нимъ протанцовать тура вальса.

Она начала горячо увѣрять его, что никакого нежеланія тутъ не было, а сдѣлалось ей слишкомъ горько отъ картины веселья, и она разрыдалась.

— Съ той ночи многое перемѣнилось, — значительно выговорила она, — и если у васъ опять будетъ что-нибудь — рассчитывайте на меня.

— И верхомъ поѣдете?

— Непремѣнно.

Гущинъ, на ея разпросы о постояльцахъ большого дома и домиковъ, давалъ ей подробныя свѣдѣнія. Онъ всѣхъ зналъ. Марья Денисовна пожелала „поглядѣть“ на тѣхъ изъ дамъ и дѣвицъ, кто, по его мнѣнью, занимательнѣе.

— Вамъ что нужно? — вскричалъ Гущинъ, обрадованный такой быстрой перемѣной въ „задержанной“ барышнѣ. — Благой примѣръ независимыхъ русскихъ женщинъ васъ вылѣчить безъ всякихъ проповѣдей. Вы увидите, какъ можно, живя на крошечныя средства, блаженствовать.

— Ужъ и блаженствовать, — насмѣшливо повторила Усманская.

— Да-съ, блаженствовать! Да вотъ, чтобъ не далеко ходить... Угодно, я съ вами побываю въ скиту?

— Что это такое скить?

— Скить — вы знаете что... гдѣ монашки-раскольницы живутъ... Это я прозвалъ одинъ домикъ... тамъ вонъ, у самага вѣзда, его не видно изъ-за кипарисовъ. Живутъ тамъ двѣ дѣвицы... пожилыя. Одной ужъ подъ сорокъ лѣтъ...

— Успокоилась, — точно для себя выговорила Усманская.

— Вовсе нѣтъ! И не думала успокаиваться. Вся пылаетъ, вся кипитъ! Одна у ней цѣль и отрада — знаніе, идеал... И дружба. Хотите къ нимъ?

— Какъ, сейчасъ?.. Какъ же это будетъ?..

— Ну, вотъ видите... и барышня сказала. Да такъ же. Онѣ навѣрно сидятъ на балкончикѣ, чаекъ пьютъ съ простоквашей, яицами. Хлѣбъ свой, разныя лепешечки. Я имъ скажу: „вотъ барышня хочетъ знакомиться съ хорошими людьми“, больше никакихъ представленій не нужно.

Она подумала и согласилась.

XIX.

Гущинъ повелъ ее подъ руку. Теперь она и не замѣтила даже, какъ ея рука очутилась около его стана. Они шли скоро и продолжали весело разговаривать. И Гущинъ чувствовалъ себя вполне въ своей стихіи. Можетъ-быть, онъ приписывалъ даже вліянію ихъ перваго разговора то, что „барышня“ набирается другихъ мыслей и сбрасываетъ съ себя свои претензіи. Это его искренно радовало.

„У ней навѣрно есть характеръ, — думалъ онъ, продолжая перекидываться фразами. — Какія брови и губы, и все лицо энергично! Надо только показать ей новые исходы“.

— Вотъ и скитъ! — вскричалъ Гущинъ, и ускорилъ шагъ. — Мы попадемъ какъ разъ въ пору.

Они подходили къ домику съ крытой галлерею. Можно было издали рассмотреть фигуру надъ перилами.

— Это Катерина Яковлевна Русанова! — вскричалъ Гущинъ.

— У ней короткіе волосы. Нигилистка?

— Ха-ха! Какъ вы это спросили!.. На взглядъ вашей маманъ, конечно, изъ „нигилистиковъ“. Такъ вѣдь въ Москвѣ называютъ серьезныхъ дѣвушекъ кумушки съ Цоварской и Сивцева-Вражка. Вотъ увидите. Только лучше ужъ и вамъ сразу скажу, что у ней докторскій дипломъ.

— Лѣчить?

— Никого не лѣчить. Она — докторъ естественныхъ наукъ.

— Гдѣ же она училась? — спросила Усманская и подумала: „вотъ еще охота“.

— За границей.

— Въ Швейцаріи?

— Почему же непременно въ Швейцаріи? Это у васъ тоже одно изъ свѣтскихъ пугалъ. Въ Германіи защищала докторскую диссертацию.

— Какъ это страшно!

Оба разсмѣялись.

— Навелъ Навычтъ! — крикнули ему съ галлерей.

— Только, право, мнѣ не совѣмъ ловко, — весело говорила Марья Денисовна.

— А вотъ я сейчасъ васъ выдамъ.



— Нѣтъ, не надо... Я такихъ ученыхъ боюсь. Я ничего не знаю.

— Старая пѣсня!

XX.

Съ этими словами Гуцинъ подвелъ Марью Денисовну къ домику.

Черезъ перила галлерейки перегнулась женщина въ темномъ платьѣ и протянула Гуцину руку.

Въ двѣ-три секунды оглядѣла ее Усманская, насколько можно было въ густыхъ сумеркахъ надвинувшейся ночи. Лицо — худощавое, кажется, съ просѣдью въ волосахъ, большіе глаза, зубы сохранились и сверкнули въ широкой и ласковой усмѣшкѣ.

— Ха-ха-ха! — разсыпался по воздуху ея смѣхъ — еще очень молодой — лѣтъ на двадцать моложе ея лѣтъ. — Павелъ Павлычъ, вы глазами ищите Котикъ?

Но она не договорила, увидавъ, что онъ съ дамой.

— Катерина Яковлевна, я вамъ веду гостью. М-ше Усманская. Хочу познакомить ее со скитомъ. А Котикъ?

— Вотъ видите... О Котикѣ сейчасъ же освѣдомится профессоръ... Котикъ!

— Иду, иду! — крикнулъ изъ комнаты женскій, тонкій голосокъ. — Свѣчку уставляю въ фонарь.

— Какъ всегда — изображаетъ евангельскую Марю, — сказалъ Гуцинъ, все еще стоя съ Марьей Денисовной у крыльца.

— Да, да... въ своемъ элементѣ... Да что жъ вы стоите?.. Милости просимъ, — сказала Русанова въ сторону гостыи, — мѣста хватить.

— И угощеніе будетъ? — спросилъ Гуцинъ.

— И угощеніе. Есть простокваша... есть варенныя сливы со сливками... Котикъ сегодня самъ хлѣбъ пекутъ, па молоко. Самоваръ тоже готовъ... Всего будетъ.

„Сами хлѣбы пекутъ, варить варенье, — думала Марья Денисовна, поднимаясь по ступенькамъ. — Какъ здѣсь славно пахнетъ!“

Пахло свѣжеиспеченнымъ хлѣбомъ, молочной ѣдой, хорошимъ вареньемъ. Все это было разставлено на столнѣхъ, занимавшемъ собою почти всю ширину галлерей. Стулья стояли съ боковъ.

Русанова крѣпко пожала руку гостыи и посмотрѣла на нее прищурившись, но съ улыбкой. Марья Денисовнѣ въ

XIX.

Гущинъ повелъ ее подъ руку. Теперь она и не замѣтила даже, какъ ея рука очутилась около его стана. Они шли скоро и продолжали весело разговаривать. И Гущинъ чувствовалъ себя вполне въ своей стихіи. Можетъ-быть, онъ приписывалъ даже влиянію ихъ перваго разговора то, что „барышня“ набирается другихъ мыслей и сбрасываетъ съ себя свои претензіи. Это его искренно радовало.

„У ней навѣрно есть характеръ, — думалъ онъ, продолжалъ перекидываться фразами. — Какія брови и губы, и все лицо энергично! Надо только показать ей новые исходы“.

— Вотъ и скитъ! — вскричалъ Гущинъ, и ускорилъ шагъ. — Мы попадемъ какъ разъ въ пору.

Они подходили къ домику съ крытой галлерею. Можно было издали разсмотрѣть фигуру надъ перилами.

— Это Катерина Яковлевна Русанова! — вскричалъ Гущинъ.

— У ней короткіе волосы. Нигилистка?

— Ха-ха! Какъ вы это спросили!.. На взглядъ вашей маманъ, конечно, изъ „нигилистиковъ“. Такъ вѣдь въ Москвѣ называютъ серьезныхъ дѣвушекъ кумушки съ Поварской и Сивцева-Вражка. Вотъ увидите. Только лучше ужъ и вамъ сразу скажу, что у ней докторскій дипломъ.

— Лѣчить?

— Никого не лѣчить. Она — докторъ естественныхъ наукъ.

— Гдѣ же она училась? — спросила Усманская и подумала: „вотъ еще охота“.

— За границей.

— Въ Швейцаріи?

— Почему же непременно въ Швейцаріи? Это у васъ тоже одно изъ свѣтскихъ пугалъ. Въ Германіи защищала докторскую диссертацию.

— Какъ это страшно!

Оба разсмѣялись.

— Навелъ Навычтъ! — крикнули ему съ галлерей.

— Только, право, мы не совѣмъ ловко, — весело выговорила Марья Денисовна.

— А вотъ и сейчасъ васъ выдамъ.

— Нѣтъ, не надо... Я такихъ ученыхъ боюсь. Я ничего не знаю.

— Старая пѣсня!

XX.

Съ этими словами Гушинъ подвелъ Марью Денисовну къ домику.

Черезъ перила галлерейки перегнулась женщина въ темномъ платьѣ и протянула Гушину руку.

Въ двѣ-три секунды оглядѣла ее Усманская, насколько можно было въ густыхъ сумеркахъ надвинувшейся ночи. Лицо — худощавое, кажется, съ просѣдью въ волосахъ, большіе глаза, зубы сохранились и сверкнули въ широкой и ласковой усмѣшкѣ.

— Ха-ха-ха! — разсыпался по воздуху ея смѣхъ — еще очень молодой — лѣтъ на двадцать моложе ея лѣтъ. — Павелъ Павлычъ, вы глазами ищите Котика?

Но она не договорила, увидавъ, что онъ съ дамой.

— Катерина Яковлевна, я вамъ веду гостью. М-ле Усманская. Хочу познакомить ее со скитомъ. А Котикъ?

— Вотъ видите... О Котикѣ сейчасъ же освѣдомится профессоръ... Котикъ!

— Иду, иду! — крикнулъ изъ комнаты женскій, тонкій голосокъ. — Свѣчку уставляю въ фонарь.

— Какъ всегда — изображаетъ евангельскую Марю, — сказалъ Гушинъ, все еще стоя съ Марьей Денисовной у крыльца.

— Да, да... въ своемъ элементѣ... Да что жъ вы стоите?.. Милости просимъ, — сказала Русанова въ сторону гостыи, — мѣста хватить.

— И угощеніе будетъ? — спросилъ Гушинъ.

— И угощеніе. Есть простокваша... есть варенныя сливы со сливками... Котикъ сегодня самъ хлѣбъ пекутъ, па мѣлокѣ. Самоваръ тоже готовъ... Всего будетъ.

— Сами хлѣбы пекутъ, варятъ варенье, — думала Марья Денисовна, поднимаясь по ступенькамъ. — Какъ здѣсь славно пахнетъ!

Пахло свѣжеиспеченнымъ хлѣбомъ, молочной ѣдой, хорошимъ вареньемъ. Все это было разставлено на столѣ, занимавшемъ собою почти всю ширину галлерей. Стулья стояли съ боковъ.

Русанова крѣпко пожала руку гостыи и посмотрѣла на нее прищурившись, но съ улыбкой. Марья Денисовна въ

такой споръ между мужчиной и дамой въ любой свѣтской гостиниой былъ бы невозможенъ. Но отчего? Оттого, что никакой мужчина не станетъ спорить съ дамой или дѣвушкой о чемъ-нибудь дѣльномъ. Можетъ-быть, о романѣ, да и то больше перебирать: можно этотъ романъ читать порядочной женщиной или нѣтъ?

XXIII.

Вдругъ Марья Денисовна вспомнила, что у ней больная. Пора бѣжать въ другой домикъ. Она поспѣшно допила чай, встала и начала извиняться.

— Куда?.. — громко остановилъ ее Гущинъ. — У насъ еще не рѣшенъ вопросъ... Катерины Яковлевны вы еще порядкомъ не видали... И васъ долженъ проводить.

Отъ провожанья она отказалась, пожала руку Русановой, но затруднилась сказать ей нѣсколько обыкновенныхъ свѣтскихъ фразъ.

— Безъ прощанья! — сказала ей та, все еще пожимая руку. — Мы каждый вечеръ дома, гуляемъ только по ночамъ, поздно.

— Да мнѣ кажется, что я въ вашемъ обществѣ... слишкомъ... глуха, — тише выговорила Усманская и разсмѣялась.

— Здѣсь наберетесь всего... — заговорилъ Гущинъ. — Вотъ разспросите Катерину Яковлевну, какъ она покинула родительскій домъ. Тоже вѣдь воспиталась въ шелкахъ и бархатахъ...

„Не такъ, какъ я“, — подумала Усманская.

— Если позволите... буду у васъ, — вымолвила она и почувствовала себя совсѣмъ дѣвчонкой.

— Котикъ! — позвала Русанова, — m-me Усманская уходитъ.

— Не беспокойте, пожалуйста.

— Не подаю вамъ руки, — извинилась Захарова, подбѣжавъ къ столу, — не успѣла вымыть. Павлу Павлычу хочу сдѣлать сюрпризъ.

— Видите, видите, — весело подхватила Русанова, — Котикъ въ васъ влюбленъ...

— Катя!.. Что ты!... Что ты!

Захарова вся зардѣлась и тотчасъ же убѣжала.

Гущинъ порывался проводить Марью Денисовну, но она рѣшительно отказалась и пошла одна.

— Слово свое сдержите! Ждемъ васъ! — проговорила ей

вслѣдъ Русанова, перекинулась черезъ перила и долго кивала головой во мглѣ засвѣтлившей ночи.

Вернется ли она? Ее охватило тамъ что-то совсѣмъ новое; обѣ онѣ — симпатичны; особенно этотъ „Котикъ“; только сама-то она не подходитъ къ нимъ! Но Гущинъ правъ: въ ихъ „скиту“ она привыкнетъ къ другому складу жизни, будетъ умѣть говорить и спорить съ дѣльными мужчинами, найдетъ „исходъ“ — какъ выражался Павелъ Павлычъ.

Скорой ходьбы понадобилось двадцать минутъ. Когда она заглянула въ окно при свѣтѣ ночника, Прженева спала.

XXIV.

Четыре дня спустя, опять подъ вечеръ, у ключа, Прженева подбѣжала къ Усманской, безъ косынки на головѣ, съ развѣвающимися волосами, красная и трепещущая.

— Неслась къ вамъ, — задыхаясь, говорила она и чуть не упала.

— Что? Будетъ?

— Да, да!..

Надо было усадить ее на скамью. Онѣ вмѣстѣ сочиняли письмо къ Володѣ. Усманская отправила его съ хозяиномъ гостиницы. Отвѣта тотъ не привезъ; но видѣлъ Шеломова, который сказалъ ему, что напишетъ по почтѣ. Всѣ эти три дня надо было ходить за Прженовой: ея ажитация не ослабѣвала до ночи. Нѣсколько разъ она начинала упрашивать Марью Денисовну вприснуть хоть капелъку морфію; но та была непреклонна. Послѣ просьбъ со слезами, она бранила себя всякими бранными словами, рвала волосы, переходила къ смѣху, къ ласкамъ, мечтала вслухъ, — какъ Володя будетъ у ней, она его совсѣмъ передѣляетъ въ „чудное созданіе“, онъ возьметъ ее жить къ себѣ... Марья Денисовна нарочно охлаждала ее, доказывала, что въ двѣнадцать лѣтъ онъ, конечно, забыть мать; хорошо, если откликнется хоть нѣсколькими словами и не огорчить ее своей холодностью и непочтительнымъ обхожденіемъ. Лучше же было подготовить ее ко всему худшему. Но Прженева не спорила, даже не огорчалась. Она, въ промежуткахъ слезъ и упрасиваній дать ей морфію, мечтала и мечтала... Минутами Усманской казалось, что передъ ней полусумасшедшая.

Она спрашивала себя: „Можно ли такъ безумствовать? Какая радость увидать испорченнаго фатинку?“

Материнство все еще спало въ ней. Въ душѣ не поднималось ничево около этой покинутой матери, ушедшей въ мечты и порывы. Усманская ставила себя мысленно въ такое же положеніе. Она была бы слишкомъ обижена поведеніемъ мужа, возмущена его предательствомъ; ревность, гордость, сознаніе своихъ законнѣйшихъ правъ давно перешли бы въ ней въ полную презирающую холодность. Ее она распространила бы и на сына, воспитаннаго въ забвеніи матери женщиной, разбившей, отнявшей у ней все. Только „божья коровка“, какъ Лидія Никаноровна, съ ея нервами, расшатанными морфіемъ, могла еще терпѣться, исходить въ надеждахъ и воздушныхъ замкахъ...

XXV.

— Вотъ, вотъ... прочтите...—задыхаясь, говорила Прженева и шарила лѣвой рукой въ карманъ платья, не находила его, искала въ правомъ, еще больше заволновалась и, наконецъ, вытащила скомканный листокъ модной бумаги, наръзанной вдоль, пѣжно-перловаго цвѣта, съ длинной золотой монограммой.

Она опустила голову на плечо Усманской и поцѣловала ее въ щеку.

— Читайте...—шептала она съ закрытыми глазами.

Голосъ замиралъ въ сладкой истомѣ блаженства.

„Какое безуміе!“ — почти брезгливо сказала про себя Усманская и разгладила рукой скомканную записку.

Стояло нѣсколько строкъ. Записка не начиналась даже словомъ „мамаша“, или „матушка“, или „папа“.

„Въ четвергъ,—написано было конторскимъ почеркомъ съ усами и росчерками, — послѣ обѣда пріѣду васъ провѣдать и посидѣть на вольномъ воздухѣ. Однако, прошу никакихъ исторій не поднимать.

„Владиміръ Шеломовъ“.

И такая-то записка наполняетъ эту несчастную блаженствомъ!

— Въ четвергъ! — порывисто прошептала она. — вѣдь это завтра, понимаете ли, душа моя, завтра!

Прженева вскочила и стала прыгать и бить въ ладоши. Глаза ея забѣгали по сторонамъ, волосы еще больше растрепались. Усманская поглядѣла на нее со страхомъ,

поднялась со скамьи, взяла ее за обѣ руки и стала успокаивать.

— Ха-ха!..—смѣялась Прежнева, обнимала и цѣловала ее,—вы боитесь... душа моя... Я вижу... думаете, чудачка съ ума сошла... да? И такъ и знала. Нѣтъ же, нѣтъ, милая... Я отъ радости... Вѣдь двѣнадцать лѣтъ Володя...

Голова ея упала въ колѣни Усманской. Рыданія и взвизгиванія чередой колыхали ея изможденное тѣло вмѣстѣ со смѣхомъ, но не истерическимъ, а безумно-радостнымъ.

Марью Денисовну кольнуло. Потомъ это блаженство, хлынувшее черезъ край материнской души, начало мутить ее физически. Жѣлъчь—съ ней часто случались припадки—подступила вдругъ. Она не могла больше выносить радости Прежневой, высвободила свои колѣни изъ-подъ головы ея и проговорила тихо:

— Полноте... довольно... Я такъ не могу!

XXVI.

Прежнева смолкла, испуганно, какъ дѣвочка, взглянула на нее, сдержала новый взрывъ смѣха, обняла ее и припала головой къ ея груди.

— Милая... не буду! Не бойтесь. Простите. Вамъ неприятно. Кто же можетъ понять?... Оставьте меня. Я побѣгу... наверхъ... Измучить себя надо. Бѣгу... не ходите за мной... Не бойтесь... Чай будемъ нить — да? Черезъ часикъ... И вы увидите... какая я тихонькая буду!

Прежнева побѣжала сначала внизъ, взяла направо по крутой дорожкѣ вверхъ, между виноградниками, обернулась еще, сдѣлала Марья Денисовнѣ ручку и скрылась за двумя дубками.

Бояться за нее не хотѣлось Марья Денисовнѣ. „Не упадетъ! Будетъ дома“. Она это подумала почти съ сердцемъ. Но ей было все-таки не по себѣ. Подъ ложкой сосало. Вотъ сейчасъ замутить еще сильнѣе. Надо торопиться или домой, или къ домику Прежневой. Лучшее домой. Если это жѣлъчь, то не пройдетъ до ночи, да и завтра придется лежать пластомъ съ ужасной головной болью. Нѣтъ, это не жѣлъчь. Жутко стало на душѣ; а не отъ печени... Тоскливое и раздражающее чувство, еще совсѣмъ не вызнанное и не уясненное, засѣло внутри, просится куда-то и не можетъ выйти, лопнуть, разрѣшиться слезами или чѣмъ-нибудь инымъ.

Сидѣть на мѣстѣ—несносно. Она спустилась къ берегу;



попадающіе подъ ноги камешки раздражаютъ ее. Поскорѣе — къ большимъ глыбамъ, у самаго края воды. На одинъ изъ этихъ камней можно слегка подняться и сѣсть наверху, смотрѣть, какъ подъ нимъ кипитъ пѣна прибоя.

Добралась она до большого камня, перескочила черезъ двѣ щели, куда вода подтекаетъ, и сѣла на гладкую площадку, всю пестрящую изломомъ мраморныхъ слоевъ, перемежанныхъ съ гранитомъ. Сидѣть удобно, протанувъ ноги къ морю. Въ лицо летятъ брызги, вѣтерокъ играетъ волосами на лбу, пахнетъ солью и водорослями. Но на душѣ все такъ же нудно. И съ каждой минутой хуже и хуже. За горло схватить родъ спазма, къ глазамъ подступаютъ слезы; но онѣ не текутъ изъ орбитъ, рыданія не вырываются изъ груди. Въ голову бьетъ, мысль витаетъ около чего-то забытаго, постылаго; какъ будто не можетъ вспомнить, а потомъ пугается, не хочетъ вспоминать. Лучше было бы убѣжать куда-нибудь мыслью, за море... или смотрѣть на одну точку, на горизонтъ, вонъ на парусъ рыбацкой лодки, или вверхъ на звѣзду...

XXVII.

„И ты—мать!“

Эти три слова внезапно выплыли и встали въ головѣ, не какъ смутная мысль, а какъ слова, начертанныя на темномъ фонѣ яркими буквами.

„Да!“—повторила она и поникла головой. Жаръ запылалъ у ней на лбу и на груди,— по всему тѣлу... Испарина смѣнила его мгновенно...

„Да—и я мать,—продолжала она читать слова въ своей головѣ,—а гдѣ же мой ребенокъ?“

Вопросъ выскочилъ самъ: она его не хотѣла задавать! Зачѣмъ онъ ей теперь? То сгинуло. Того не было никогда. Кромѣ стыда и безплодной боли, что же принесутъ ей такіе вопросы? Злость напала на нее. Страхнуть съ себя это непонятное, дикое настроеніе, бросить его въ море, окунуться туда, въ воду, и выплыть со свѣжей головой, какъ ей случалось испытывать по утрамъ, послѣ тяжелаго сна съ видѣньями.

Руки ея, полусознательно, начали было разстегивать платье. Голова же подумала, что еще не стемнѣло, что могутъ въ пяти шагахъ быть гуляющіе.

Платье осталось на ея плечахъ. Она не окунулась, а

сидѣла, согнувъ колѣни, положила на нихъ голову и смотрѣла на одну точку — на чуть бѣлѣющее пятно паруса. Вопросъ опять стоялъ въ головѣ, не хотѣлъ уходить ни за что.

„Гдѣ твой ребенокъ?“

И она, какъ бы противъ воли, начала думать, что этотъ ребенокъ можетъ жить, живетъ и теперь, ему четыре года, онъ красивый мальчикъ, въ черныхъ кудряхъ, похожъ на нее... Но гдѣ онъ? Она никогда объ этомъ не спрашивала себя. Гдѣ-то, когда-то слыхала она или читала, что дѣтей, отнесенныхъ въ воспитательный домъ, отдають въ деревни. Да, она читала случайно въ газетѣ цѣлую статью. Вотъ теперь вспомнила и то, что ихъ зовутъ „питомцы“. Воспитываютъ ихъ бабы, изъ подгороднихъ деревень, кормятъ гадко, держатъ въ грязи, дѣти мрутъ сотнями... бабы скрываютъ часто ихъ смерть, чтобъ получать за нихъ содержаніе.

Какъ быстро и отчетливо она возстановила въ память газетную статью. Стало-быть, и ея мальчикъ прошелъ черезъ то же... умеръ!

Слово „умеръ“ прозвучало внутри ея и облило ее тотчасъ холодомъ ээира. Но почему непременно онъ? Баба полюбила его, выкормила; онъ здоровый, краснощекій, проживетъ сто лѣтъ...

XXVIII.

„Но вѣдь онъ, все равно, умеръ для тебя! Ты его не найдешь“.

„Не найду“, — повторила она про себя, и тутъ только хлынули рыданія.

Они не облегчили ее. Чѣмъ больше лилось слезъ, тѣмъ ядовитѣе капли горечи падали ей на сердце. Ничего такого она не испытала во всю свою жизнь. Чувство было невыносимѣе всѣхъ дѣвичихъ мукъ, дрязгъ, огорченій, схватокъ съ матерью, отчаянныхъ вызововъ судьбѣ и позорной доли барышни, обреченной на ловлю жениха. Она не умѣла утишить боли, справиться съ нею. Море тутъ, подъ ногами. Броситься въ него? Не боязнь удержала ее, а что-то впереди, въ туманѣ, —какой-то приказъ, зарокъ; онъ тянулъ ее, удерживалъ отъ легкаго исхода вольной смерти. Пальцы ея правой руки безпричинно стали отряхивать и ощущивать платье. У ней въ карманѣ что-то лежитъ. Игла и морфій. Она забыла ихъ въ

этомъ платьѣ. Чего же лучше? Вѣдь она видѣла, какъ Прежнева, черезъ десять секундъ, переставала плакать и мучиться, улыбалась полубезумной улыбкой и начинала болтать долго, несвязно и уноситься куда-то, въ такой же міръ забвенія, какъ отъ опіума или гашиша. Здѣсь можно проколоть себѣ что хочешь: ногу, грудь; никого нѣтъ, никто не увидитъ.

Рука схватила въ карманѣ свертокъ и выхватила его безповоротнымъ движеніемъ.

„А вдругъ хуже будетъ?“—съ ужасомъ подумала она и такъ же быстро спрятала свертокъ въ карманъ. Нѣсколько разъ опускала она туда руку и выдергивала ее. Волны душевныхъ колебаній качали ее изъ стороны въ сторону. Ей немного какъ будто полегчало; она встала безъ усилій, потребность въ ходьбѣ, въ усталости явилась сейчасъ же. По другой тропчкѣ, каменистой и обсыпчатой, хватаясь за нити и сучья, полѣзла она наверхъ, все выше и выше. Только бы скорѣе выбиться изъ силъ, задохнуться, что-нибудь ощутить такое, послѣ чего тѣло падаетъ какъ спопъ, а голова переходитъ въ небытіе обморока...

Такъ бѣжала она по скалистымъ верхамъ, покуда могла лѣзть все кверху. Но силы не оставляли ее. Съ крикомъ ярости махнула она рукой въ одномъ мѣстѣ, откуда нельзя уже было подниматься, и побѣжала внизъ; платье цѣплялось за сучья, ботинки давно уже были разодраны. Бѣжала она по направленію къ домику Прежневой...

XXIX.

Подъ навѣсомъ шумѣлъ на столікѣ самоваръ. Лидія Никаноровна сидѣла въ креслахъ, тихо улыбалась и поглядывала на записку перловаго двѣта. Лампа освѣщала окно, и столъ, и всю сторону навѣса.

Шумно сбѣжала къ ней Усманская по лѣсенкѣ, задыхаясь, сидѣла еще нѣсколько шаговъ и упала на колѣни, около ея кресла, головой припала къ ней и беззвучно всхлипывала, вся потрясенная.

Долго не могла она говорить; но когда подняла голову, поглядѣла прямо въ глаза Прежневой и увидала ея все еще блаженное выраженіе глазъ, крикнула:

— И я мать! Хочу! хочу! Отдайте мнѣ моего ребенка!

Прежнева пугливо оглядѣла ее. Не подѣйствовала ли

она сама на Усманскую? Не припадокъ ли душевнаго разстройства?

— Милая, милая,—начала она ее успокаивать.—Полните, что вы... выпейте... капли у меня прекрасныя.

Рыданія прекратились, и однимъ духомъ Марья Денисовна открыла ей первой свою тайну.

— Гдѣ онъ?—уже шопотомъ спрашивала она, все еще стоя на колѣняхъ передъ Прежневой. — Бросила его... какъ собачонку!..

По мѣрѣ того, какъ она это говорила, у ней внутри разгоралось новое чувство. Для ней вдругъ стало ясно, зачѣмъ она живетъ, что ей нужно дѣлать, куда идти, для кого работать!.. У ней есть одна цѣль—ребенокъ!

Это чувство покрывало собою терзанія за свое преступленіе: она такъ назвала свой дѣвическій проступокъ.

Прежнева слушала ее съ участіемъ; но она сама была слишкомъ переполнена своей радостью, чтобы уйти въ душу Усманской. Когда она услышала разсказъ о двухъ встрѣчахъ въ одинъ день: съ гусаромъ и съ бывшей акушеркой, то что-то припомнила, взяла Усманскую руками за голову, поцѣловала и прошептала:

— Бѣдная вы моя... вѣдь нынче... нельзя...

— Чего нельзя?—вся встрепенувшись, спросила Усманская.

— Кажется... я читала.

Но она уже испугалась, что сказала лишнее.

— Вотъ вы понимаете меня... не смѣйтесь... надо мной... понимаете.

Теперь только Усманская поняла ее.

XXX.

Но Прежнева такъ и не досказала ей, когда волненіе Усманской унялось, того, что ей пришло на память. Она гдѣ-то читала, или слышала, что дѣтей, отданныхъ въ воспитательный домъ, уже не возвращаютъ назадъ, номеровъ больше не выдаютъ. Не хотѣла она убитъ ее сразу.

— Номерокъ вы не велѣли взять тогда? — спросила она.—Припомните.

Марья Денисовна помнила, что сама акушерка посоветовала ей взять номеръ; но гдѣ онъ—она не знаетъ. Она такъ поглощена была тогда тѣмъ, какъ ей вернуться домой къ чаю, да и не хотѣла она знать этого

ребенка, можетъ-быть, обрадовалась бы, если бы онъ родился мертвымъ.

А теперь!..

— Вотъ... Богъ-то и помогъ,—шептала, наклонившись надъ нею Прежнева,—авось... надо узнать... быть-можетъ, эта... жена-то профессора...

— Да, да!—вскричала Марья Денисовна, и начала ходить около домика, по дорожкѣ.

Хоть сейчасъ бы полетѣла она въ Алупку.

— Вамъ самой-то... неловко... душа моя. Я съѣзжу... къ этой профессоршѣ.

— Нѣтъ! Нѣтъ!—вскричала Марья Денисовна, остановилась и сдѣлала сильный жестъ правой рукой.—Завтра же я къ ней, утромъ.

— Милая... вы... барышня... можетъ кто услышать... Вы мнѣ все запишите на бумажкѣ. Ей-Богу, я не забуду ничего... Завтра прійдетъ Володя... Онъ меня воскресить... А въ пятницу я сама утромъ.

На это Усманская не согласилась. Она начала говорить сильно и горячо: какъ она отправится къ женѣ профессора, сразу ей откроется, напомнитъ ей все, до мельчайшихъ подробностей, добьется отъ нея непременно!

Обѣ матери сидѣли рядомъ, на кровати, полусвѣщенныя лампой, рука въ руку, глядяши одна на другую умиленными глазами и жили однимъ чувствомъ. Время шло. Имъ не было ни скучно, ни страшно. Онѣ обѣ вѣрили.

Шелъ уже двѣнадцатый часъ, когда Усманская собралась домой. Прежнева проводила ее до спуска къ влѣчу.

— Звѣздъ-то, звѣздъ-то сколько,—съ дѣтской радостью говорила Прежнева, закидывая голову.—Вотъ... та звѣздочка... моего Володи... А вашего, милая, какъ зовутъ?.. Можетъ, также Володя—да?.. Вошь ему ту отдадимъ... что прямо надъ головой...

Дѣвушка-мать ничего не отвѣчала, но долго глядѣла на звѣзду, и въ душѣ ея все росла и росла потребность жертвы...

XXXI.

Съ матерью у ней уже не было больше переговоровъ насчетъ того: куда идти и въ которомъ часу? Но Марья Денисовна, вернувшись, зашла къ матери проститься. Сразу смякъ ей топъ съ нею. Она захотѣла повести со-всѣмъ по-другому свое обхожденіе.



„Притворюсь,—говорила она себѣ, когда шла домой,— смирю себя, поддѣлаюсь къ ней, какъ только возможно“.

Такая ложь будетъ для нея сладкой ложью, высокимъ притворствомъ. Она способна была увѣрять въ своемъ желаніи сдѣлать блестящую или денежную партію, выслушивать всѣ совѣты матери по туалету, умѣнно вести себя въ обществѣ, насчетъ разныхъ „manœuvres“. Будетъ обнадеживать и тѣмъ, что онѣ могутъ еще прогнать двѣ зимы на разные „expédients“. Только бы она оставила ее въ покоѣ до возвращенія въ Москву.

Обдумывая все это, она не казалась гадкой самой себѣ. Въдѣ впереди онъ, ея ребенокъ, ея сынъ! „Только не Володя“,—добавила она умственно. Не только на хитрость и притворство, но она готова пойти на униженія, выслушивать брань, испытать хоть побои. Сейчасъ же вернулись къ ней силы. Она знаетъ себѣ пѣну. Нужды нѣтъ, что у ней нѣтъ диплома на гувернантку; языкамъ ее выучили хорошо, по-французски и по-англійски пишетъ лучше чѣмъ по-русски. Неужели она не пропитаетъ и не сдѣлаетъ человѣкомъ одного мальчика, не продавая себя въ замужество, какъ барышня, тайно имѣвшая когда-то ребенка?.. Вотъ мужчинѣ — ни одному она лгать никогда не будетъ. Да и не нужно ей никого! Женихъ!— Это только необходимый предметъ разговоровъ съ матерью до той минуты, когда она уйдетъ.

А это будетъ, какъ только ей вернуть ребенка. Въ этомъ она не сомнѣвалась,—забыла вырвавшуюся у Пржемыевой фразу. Увѣренность переходила у ней во что-то непоколебимое.

Матери она предложила, прощаясь съ нею—даже поцѣловала у ней руку—завтра передъ обѣдомъ, почитать ей по-французски, въ тѣни кипарисовъ, внизу, надъ обрывомъ морского берега; выбрала для этого взятую съ собою книжку „Revue des deux Mondes“. Ольга Евграфовна считала этотъ журналъ незамѣнимымъ и высоконравственнымъ. Въ головѣ матери уже третій день какъ складывался выводъ:

„Marie bâcle un mariage. Laissons la faire“.

XXXII.

Въ Алупку Марья Денисовна рассчитала пойти утромъ, пораньше, чтобы вернуться къ завтраку. Мать знала, что она, по утрамъ, уходитъ купаться и долго гуляетъ. Вече-

ромъ жену профессора можно было и не застать. Они навѣрно каждый день ѣздить кататься. Самый удобный часъ—утромъ, за чаемъ или только что та одѣнется.

День начинался большимъ жаромъ; но это ее не испугало. Хозяинъ гостиницы ѣздилъ за провизіей каждый день, въ тильбюри, гдѣ оставалось еще одно мѣсто. Но она не хотѣла просить его, не изъ боязни толковъ и сплетенъ, а ей тяжело бы былъ всякій разговоръ дорогой, да и все равно придется идти назадъ пѣшкомъ: она не можетъ же заставлять его дожидаться.

Въ половинѣ восьмого, она, въ холстинковомъ туалетѣ и подъ такимъ же зонтикомъ, пошла ровнымъ шагомъ по направленію къ Алупкѣ, сдерживала свой шагъ и старалась даже думать о чемъ-нибудь другомъ—до такой степени новое чувство наполняло ее съ утра. Хозяинъ гостиницы давно уже уѣхалъ. Но врядъ ли кто-нибудь встрѣтитъ или обгонитъ на дорогѣ. Да и не все ли ей равно? Только бы застать въ Алупкѣ жену профессора. Вѣдь они могли уѣхать...

При этой мысли она на одну секунду похолодѣла и остановилась; но сейчасъ же пошла быстрее. Если бъ и въ самомъ дѣлѣ она ихъ не нашла больше въ Алупкѣ, жена профессора все-таки не уйдетъ отъ нея. Ея мужъ—извѣстный консультантъ. Мѣсяць позднеѣ, какихъ-нибудь двѣ-три недѣли, и она у ней, и все ей припомнить, и добыется, и спасетъ своего сына...

Такъ должно быть!

На поворотѣ, около мыса—онъ напомнилъ ей побѣгъ изъ Ялты—она слышала конскій топотъ. Ей сдѣлалось тревожно. Всадникъ, весь въ бѣломъ, скачетъ къ ней навстрѣчу, окруженный клубами пыли.

Это былъ Гущинъ. Онъ ее узналъ и замахалъ шляпой. Отъ разспросовъ не уйдешь.

— Марья Денисовна!—закричалъ онъ за десять шаговъ и придержалъ лошадь, нагнулся впередъ и побѣжалъ мелкой рысью. Лошадь пошла съ перевальцемъ, иноходью.

Поровнявшись съ Усманской, онъ остановился, еще разъ снялъ шляпу и нагнулся къ ней.

— Каково утро!—радостно крикнулъ онъ.—Отчего же вы пѣшкомъ?.. Куда? Просто гуляете?

Она могла бы сказать „да“; но лгать она не хотѣла.

— Въ Алупку.

— Туда и обратно?

— Какъ видите.

XXXIII.

— И я туда ѣздилъ... справляться: не тамъ ли живетъ профессоръ Сапіентовъ.

— Сапіентовъ!—вырвалось у ней.

Какъ она себя ни перевозмогала, но кровь отхлынула отъ ея лица и ноги подкосились.

— Вы его знаете?.. Брали консультацію?.. Можетъ-быть, къ нему?.. Такъ я васъ долженъ предупредить, что онъ отъ всѣхъ скрывается... никакихъ больныхъ не принимаетъ. Мнѣ ужъ это говорили. А мы съ нимъ товарищи по университету, только на разныхъ факультетахъ. Еще спить!.. И жена также. Я тамъ велѣлъ сказать имъ, что прошу ихъ къ намъ, вечеромъ, и чтобъ они мнѣ дали знать, когда будутъ. Во вторникъ я жду жену.

Отвѣчать на прямой вопросъ уже не нужно было. Гущинъ слишкомъ много наговорилъ послѣ того.

— Я не лѣчусь!—сказала Усманская, выпрямилась и перевела духъ.

— А вы, кажется, жаловались на печень?.. Такъ вы просто гулять? Не схватите солнечнаго удара. Я, какъ приѣду,—въ волны!.. Прощайте. Сапіентовъ—голова замѣчательная. Если приѣдетъ—я вамъ дамъ знать. И жена у него славная. Изъ акушеровъ кажется.

Гущинъ усакала. Она стояла посреди дороги и озиравалась. Опять судьба играла съ ней. Сапіентовъ приѣдетъ къ нимъ съ женой. Гущинъ будетъ непременно знакомить. Какъ тогда быть?

Но это еще—„тогда“. А теперь она сама идетъ на розыски.

Къ гостиницѣ она подходила опять съ прежнимъ настроеніемъ. Пекло ужасно; но ее не томилъ жаръ. Прямо подошла она къ дому, поднялась на галлерейку и спросила у лакея, съ самоваромъ въ рукахъ:

— Госпожа Сапіентова?

— Вамъ къ нимъ самимъ? Насчетъ лѣченія? Такъ господинъ Сапіентовъ не принимаютъ.

— Нѣтъ, я просто въ гости.

— Сейчасъ только сама барыня встали. Вотъ я самоваръ несу.

— Скажите, что дама желаетъ ихъ видѣть. Знакомая.

— Скажу-съ.

Дождаться пришлось тутъ же. Лакей унесъ самоваръ;



но вернулись не тотчасъ же. Профессорша, видно, не была еще одѣта, какъ должно.

XXXIV.

Отворилось окно на галлерейку, и голова съ волосами кудельнаго цвѣта выглянула оттуда.

— Ахъ, это вы! Сейчасъ. Пожалуйста ко мнѣ. Только... безпорядокъ... у меня.

Сапѣнтова сейчасъ же узнала ее. Марья Денисовна подбѣжала къ окну, взяла ее за обѣ руки и быстро прошептала:

— Вамъ нельзя выйти... въ паркъ?

— Чаю еще не пила. Поздно встали. Тутъ прїѣзжали товарищъ... Иванъ-Иваныча—Гущинъ. Онъ не у васъ ли тамъ живетъ? Да войдите ко мнѣ. У мужа особенно спалъ. Онъ еще не скоро придетъ. И чайку бы написались... Чапечку?..

Видно было, что профессорша боится жары и въ паркъ не выйдетъ.

Въ дверяхъ своей комнаты Сапѣнтова еще разъ поздоровалась съ гостьей и пригласила ее откушать чаю.

— Вы къ Ивану Иванычу?—спросила она вполголоса и указала головой на дверь.—Такъ онъ практики здѣсь бѣгаетъ, совѣтовъ не даетъ... Ужъ вы извините.

— Я къ вамъ,—выговорила Марья Денисовна и ощутила мгновенное смущеніе.

Но къ столу присѣла она уже въ полной рѣшимости сейчасъ, безъ всякихъ вступлений, поставить бывшей акушеркѣ страшный вопросъ. Она даже не спросила ее, слышно ли черезъ перегородку, и только спустила немного звукъ голоса.

— Вотъ и прекрасно. Мы очень рады. Иванъ Иванычъ тогда безпокоился, какъ вы дойдете пѣшкомъ. А ассистентъ—такъ тотъ просто влюбился въ васъ.

— Вы меня не узнаете?—прервала Усманская, и встала во весь ростъ.—И тогда по дорогѣ не вспомнили?

— Ахъ, батюшки! Вѣдь что-то тогда мнѣ показалось. Сапѣнтова отошла, повернула голову на тотъ и на другой бокъ, прищурила глаза и засмѣялась.

— Да, да! Что-то есть какъ будто знакомое, а не могу назвать...

— Я—Усманская... вы имени моего не знали.

Она припомнила Сапѣнтовой ноябрьскій день, барышню,

приѣхавшую на извозчикѣ, ребенка, отвезеннаго ею въ воспитательный домъ.

— Голубчикъ! — крикнула Сапѣнтова, и вдругъ стала говорить шопотомъ, по старой привычкѣ акушеровъ. — Это вы!.. Вотъ встрѣча-то! Молодцомъ какимъ вы тогда... ха-ха!.. Послѣ вы ко мнѣ не являлись...

XXXV.

Съ отрывистымъ смѣхомъ Сапѣнтова говорила долго-долго. Усманская не скоро могла остановить ее. Но она почувствовала, что тонъ профессорши сталъ безцеремоннымъ. Нѣсколько словъ сразу произвели между ними сближеніе, которое даютъ сообщничество, пятно и грѣхъ. Глаза бывшей акушерки веселѣе замигали. Она наливала чай и повертывалась головой, и раза два похлопала ладонью по плечу своей гостьи.

— Замужемъ небось? — спросила она, и подмигнула правымъ глазомъ.

— Я дѣвушка, — отвѣтила Усманская уже строже.

— А надо бы... какъ говорится... грѣхъ приккрыть.

Щеки Усманской зардѣлись. Долго она не могла выносить такой фамиллярности.

— Вы носили моего ребенка, — заговорила она такъ, что Сапѣнтова притихла, — я отчетливо помню, что вы взяли номеръ и сказали мнѣ, что такъ лучше будетъ... можно потомъ... отыскать его.

— Вонъ у васъ память-то какая!.. Что жъ... можетъ, такъ оно и было. Я всегда напоминала. Только, теперь ужъ нельзя этого...

— Чего нельзя? — вся вздрогнувъ, спросила Усманская.

— Назадъ-то братъ. Иванъ Ивановичъ мой разсуждаетъ, что такъ лучше. Острастки больше для господъ Донъ-Жуановъ.

— Но вѣдь это тогда было? Вы сохранили номеръ?..

— Вамъ, чай, отдала?.. Вы не помните?

— Нѣтъ, этого не было, я не подумала.

— Вотъ оно что, — проговорила серьезнѣе Сапѣнтова и приложила даже палецъ ко лбу — этому жесту се учили еще въ театральной школѣ.

— Не убивайте меня! — прошептала Усманская, и слезы выступили у ней на рѣсницахъ.

— Погодите, погодите... Надо сообразить.

Съ минуту Сапѣнтова молчала, встала изъ-за стола,

подошла къ окну, опять вернулась, и, наклонившись Усманской, раздѣльно и тихо выговорила:

— Счастливъ вашъ Богъ, что у меня аккуратно есть... Мои всѣ дѣла по акушерской части я въ снотности держала. Ежели я номеръ тогда взяла, онъ у вас найдется.

— Здѣсь?..—радостно прервала Усманская.

— Нѣтъ, голубушка, со мной здѣсь ничего, платяевъ да бѣлья нѣтъ.

Дверь тихонько отворилась. Сапентова замолчала отошла отъ гостей.

XXXVI.

Оглянулась и Усманская. Просунувъ голову въ ассистентъ и въ нерѣшительности остановился.

— Можно?—боязливо спросилъ онъ.

— Ну, Николай Васильчъ, — заговорила Сапентова, протягивая ему руку, — вы, голубчикъ, чайку попейте, а вамъ сейчасъ стаканчикъ налью, — да и отпущу васъ на вольный воздухъ. У насъ тутъ... свой рай.

— Извините, я не зналъ.

Ассистентъ поклонился Усманской, сдѣлалъ шагъ въ ея сторону и сталъ, отъ смущенія, застѣвая лѣтній сюртучокъ.

— Ваше здоровье?—позволилъ онъ себѣ спросить.

Она ему отвѣтила разсѣянно.

— Вотъ вамъ чай, а вотъ вамъ и Богъ! — сказала профессорша, выпроваживая его въ дверь.

У стола она опять приняла ту же позу тонъ доброй соумышленницы.

— Дайте срокъ, — заговорила она, — мы вернемся.

— Когда? — не утерпѣла спросить Усманская.

— Мой Иванъ Ивановичъ поѣстъ еще въ Москву пятью... Ему и пора... къ лекціямъ.

— На Москву.

— Такъ чего же лучше!.. Только, душенька, готовьтесь къ тому: можетъ, нынче не вы, а Иванъ Ивановичъ по старымъ запискамъ. У меня всѣ записки. Такая и шкатулочка у меня есть. Иванъ Ивановичъ хвалитъ меня. Иной разъ заговоритъ, захочется поработать. Я жъ

тикую, въ барыняхъ, въ профессорскихъ дамахъ состою... ха-ха!..

И она закурила папиросу.

За перегородкой кто-то началъ ходить.

— Это Иванъ Ивановичъ, — шопотомъ сказала Сапиентова. — Вамъ его пугаться нечего. Я вѣдь васъ не выдамъ.

Правый глазъ опять мигнулъ.

— До Москвы, — глухо вымолвила Усманская.

— Да, до Москвы. Адресъ нашъ легкій.

Усманская записала адресъ. Ей больше нечего было говорить. Видѣть профессора она не хотѣла. Боялась она сильнѣе всего возвращаться къ вопросу: выдадутъ ли ребенка, если и сохранился его номеръ? Въ головѣ у нея сдѣлалось смутно. Не предложи ей Сапиентова чаю съ хлѣбомъ, она вдругъ бы ослабѣла. Чай выпила она торопливо и ушла до прихода профессора.

— Счастливы вашъ Богъ, — шепнула ей еще разъ Сапиентова, — что у меня аккуратность есть!

XXXVII.

Съ утра до обѣда Прженева не могла присѣсть ни на минуту. Сначала она прибирала свою комнату, обтирала пыль, добыла цвѣтовъ, связала въ букетъ, поставила ихъ въ стаканъ. Ее заботило и то, какъ приготовить вечерній чай. Купила она вина; но не знала, придется ли оно по вкусу Володѣ; нашлись у ней американскіе сухари, да боялась она — не сухи ли. Виноградъ всѣмъ надобѣлъ; а грушъ такихъ, какъ въ Ялтѣ, у татаръ не нашлось.

Своимъ туалетомъ она занялась съ такой же тревожной заботой. Въмѣсто своего ежедневнаго чернаго платья изъ дешеваго кретона, она надѣла батистовое, суроваго цвѣта, приготовила кружевную наколку и даже пристегнула цвѣтокъ къ груди. И цѣлый день не выпускала она изъ рукъ оливковой вѣтки, постоянно вертѣла и теребила ее.

Она знала, что Усманская уйдетъ въ Алупку. Да ей и не нужно было никакой помощи. Слабости, обморока — она уже не боялась, къ морфію ее не тянуло. Чѣмъ ближе время подходило къ обѣду, тѣмъ чаще она выбѣгала подышать. Володя обѣщалъ быть къ вечеру; она это знала; но все-таки оглядывалась и при каждомъ шорохѣ поднималась по лѣсенкѣ на шоссе.

Скоро и семь часовъ. Дни стали короткіе. Въ половинѣ

восьмого уже заходить солнце за горы. Неужели его не будетъ?..

Ей послышался конскій топотъ. Она выбѣжала на шоссе, шаговъ на сто отъ того мѣста, гдѣ поднимается лѣстница. Всадникъ приближался на гнѣдой лошади. Это онъ!

У ней потемнѣло въ глазахъ. Она замахала платкомъ; но онъ не прибавилъ шагу. Покачиваясь въ сѣдлѣ, онъ курилъ сигару и помахивалъ хлыстикомъ. Она подбѣжала къ нему и чуть не схватилась за стремя. Лошадь шарахнулась въ сторону.

— Осторожибе!—рѣзко крикнулъ онъ ей, приподнялся на стременахъ, осадилъ и не сталъ еще слѣзать.

— Володя!—замирающимъ голосомъ вскрикнула Пренева.

— Гдѣ же лошадь оставить?—спросилъ онъ.—Къ вамъ можно спуститься?..

— Нѣтъ, нѣтъ, — заволновалась она, — туда, ко мнѣ лѣсенка... А то далеко кругомъ... Надо вотъ тамъ, къ дереву.

— Украдутъ, пожалуй. Лошадь чужая. Я одинъ изъ Алуки. Тамъ меня компанія ждетъ.

Тутъ онъ слѣзъ съ лошади.

XXXVIII.

Броситься къ нему на шею она не посмѣла, а только схватила его за свободную руку и впилась глазами въ лицо. Она искала милыхъ, незабвенныхъ для нея чертъ мальчика съ свѣтло-русыми кудрями. Волосы—почти черныя, но такъ же вьются; овалъ лица вытянулся, сталъ сухощавъ, и носъ тонкій, съ горбинкой; глаза потемнѣли, почти синіе; но такіе же большіе. Красавецъ!.. Она не могла оторвать глазъ. Сынъ сдѣлалъ движеніе и высвободилъ руку. Ея руки онъ не поцѣловалъ; видно было, что ему не пришло это и въ голову.

— Нѣтъ, не украдутъ... тутъ караульщикъ... — лепетала она.

— Куда же идти?

— Прямо... Тамъ моя комнатка... Только у меня тѣсно... Мы подъ навѣсомъ... хорошо будетъ... чайку.

— Чаю я не желаю.

— Чего-нибудь... вина.

— Сейчас пилъ въ Алупкѣ. И безъ того жара. Каждый день все выпивки.

Щеки его покраснѣлись, но онъ былъ трезвъ; къ ежедневнымъ обѣдамъ, завтракамъ и ужинамъ онъ давно припился.

Они говорили, не употребляя ни „ты“, ни „вы“.

— Все верхомъ изъ Алупки?—спросила Прженева.

— Изъ Ялты... мнѣ не въ диковинку.

Шагъ онъ ускорилъ. Мать едва успѣвала за нимъ. На его лицѣ ничего не значилось, кромѣ гримасы отъ заходящаго солнца: одинъ глазъ онъ закрылъ и наморщилъ шеку.

И вдругъ онъ засвисталъ. Мать все глядѣла на него съ тѣмъ же экстазомъ и не слыхала этого свиста. Ничего она не хотѣла спрашивать; боялась чѣмъ-нибудь огорчить его; но, если бъ она смѣла, она остановила бы его, припала къ его груди, сдавила его въ объятіяхъ и повторяла бы безъ конца:

— Володя, Володя!.. Радость моя!..

Такъ дошли они до спуска къ лѣсенкѣ.

— Здѣсь, что ли, привязать?—спросилъ онъ и остановился.

— Да, да... Неудобно... Какъ бы не вырвалась!..

Стыдно ей стало, какъ дѣвчкѣ: не могла она объ этомъ подумать?..

— Ну, хорошо!..

Его голосъ, жидкій и женоподобный, становился все непріятнѣе.

Лошадь онъ привязалъ за поводъ къ низкой сосенкѣ, попробовалъ—крѣпко ли, и пошелъ впередъ. Спускаясь по ступенькамъ, опять засвисталъ.

XXXIX.

Чаю Шеломовъ не захотѣлъ; отъ вина также отказался; взялъ раскусилъ сливу, насили се доблѣ и закурилъ новую сигару; разсѣлся въ кресло и высоко заложилъ правую ногу на лѣвую.

Подъ ней точно горѣла земля. Ни минуты она не могла сохранять одного положенія. То встанеть, то сидеть, то принесть что-нибудь и поставить передъ нимъ на столъ, а оливковая вѣтка все въ рукѣ и судорожно вертится въ разные стороны.

— Вамъ уродно было видѣть меня,—началъ онъ, снявъ шляпу и положилъ себѣ на колѣни.

— Володя! — тутъ только посмѣла она выговорить. — Неужели?..

Она не смѣла докончить и разрыдалась.

— Пожалуйста, безъ слезъ!—сказалъ онъ съ новой гримасой. — Я не люблю сценъ! Вотъ видите—я пріѣхалъ. Что же-съ... Васъ я почти не помню. Вы точно моя мать?

— Да, да...—всхлипывая, повторяла она, и звукъ этихъ словъ схватилъ бы всякаго за сердце; но ему было только скучно.

— Я это знаю. Но между вами и папенькой давно все кончено. Меня вы уступили. Судить васъ я не желаю. Кто правъ, кто виноватъ... Это совершенно излишне. Если вамъ что нужно попросить у отца... Это, собственно, не мое дѣло... Но я, пожалуй, попрошу. Онъ мнѣ не откажетъ. Особливо теперь... Когда я такую партію дѣлаю.

— Партію?..—повторила она, подавленная тѣмъ, что сейчасъ слышала.

— Да... Вотъ я здѣсь тогда пріѣзжалъ съ моей невѣстой. Коммерціи совѣтница Боченкова.

— Замужемъ, — не въ тонѣ вопроса, а точно для себя прошептала Прженева.

— Это—пока. Разводъ не за горами. Первая невѣста во всей Москвѣ, — это можно сказать безъ хвастовства. Отцу очень пріятно будетъ въ насъ компаньоновъ имѣть. Только мы папенькѣ не очень дадимся въ лапы. Онъ тоже—ловкачъ!

Шеломовъ свистнулъ и ударилъ хлыстомъ по воздуху.

— Будь счастливъ, радость моя!..

— Да ужъ это наше дѣло.

Глаза его остановились на лицѣ матери. Ему тутъ только пришло на память, что ее давно считали полоумной; а въ послѣднее время онъ слыхалъ отъ отца, что она тайкомъ пьетъ.

XL.

— Дитя мое! — глухо крикнула она и близко подошла къ нему.

Обѣ руки ея вытянулись, она хотѣла, видно, схватить его за голову.

— Полноте, — остановилъ онъ, — вы не разстраивайте



себя. У васъ, кажется, припадки бываютъ... и безъ того... Все это лишнее.

Неподвижно, съ устремленными на него глазами, стояла она, опустивъ руки.

— Неужели,—съ трудомъ выговорила она, какъ бы искала словъ,—неужели ничего нѣтъ между нами? Дитя мое!

Голова опустилась въ ладони рукъ, быстро поднявшихся до лица. Все тѣло вздрагивало. Она пошатнулась и чуть не упала на уголь стола. Щеломовъ всталъ и взялъ ее за талию.

— Къ чему все это?—уже съ сердцемъ сказалъ онъ.—Мнѣ совсѣмъ не пристало входить въ ваши старые счеты съ папенькой. Кажется, понять это не трудно.

— Умерла...—прошептала она,—умерла—нѣтъ сына.

— Надо правду говорить. Другая женщина обо мнѣ заботилась. Да и зачѣмъ все это? Извините... Я думалъ что серьезное, дѣльное... Тогда я, быть-можетъ... Вотъ и невѣста моя... добрая барыня. А тутъ, помилуйте... Смеркается. Меня ждутъ.

Силы оставили ее. Онъ пододвинулъ ей кресло, куда она безпомощно опустилась. Шляпу онъ уже надѣлъ и только что хотѣлъ сказать „прощайте“, какъ позади за-слышалъ шаги по лѣсенкѣ и обернулся.

Оттуда сошла Усманская. Она еще сверху все видѣла и поняла.

— Вашей матушкѣ дурно?—спросила она его.

— Кажется... не знаю,—отвѣтилъ онъ и поглядѣлъ на нее, надвинувъ брови.

— Ничего...—пролепетала Прежнева.—Володя, ты ужъ уходишь... дитя мое?

При Усманской она сдѣлала надъ собой усиліе и начала говорить ему „ты“, чтобы показать ей свои материнскія права.

На ея вопросъ Щеломовъ промолчалъ и надѣвалъ перчатку на правую руку.

— Ваша мать васъ спрашиваетъ,—сказала ему Усманская и поглядѣла на него въ упоръ.

— Слышу-съ!—отвѣтилъ онъ съ нахальнымъ блескомъ въ зрачкахъ глазъ.—Успокойтесь когда... и коли что особенно нужно—напишите. Только поскорѣе. Наше житіе въ Крыму на исходѣ. Въ Москву пора.

Видя, что онъ собирается идти, Усманская шепнула ему:

— Извольте поцѣловать у ней руку.

Онъ, совсѣмъ уже злобно, вытянулъ нижнюю губу, сдѣлалъ общій поклонъ и пошелъ къ лѣстницѣ.

XLI.

— Володя!..—застонала Прженева; по она была уже пригвождена къ креслу.—Милая...—позвала она Усманскую, — упрсите его... еще разокъ... Я виновата... безумная!

Усманская пожала ей руку, успѣла поцѣловать въ лобъ и догнала Шеломова въ ту минуту, когда онъ уже принялся-было отвязывать поводъ лошади.

— М-г Шеломовъ! — крикнула она, и сама не узнала своего голоса: такъ онъ задрожалъ въ воздухѣ.

Голова у ней болѣла. Послѣ завтрака, отъ ея возвращенія въ жаръ, схватилъ ее припадокъ мигрень, почему она и не могла сбѣгать до обѣда къ Прженевой. Но боль головы только усиливала ея негодованіе.

— Что вамъ угодно? — спросилъ онъ, не поднимая шляпы.

— Вы не можете такъ вести себя съ родной матерью!

Эту фразу она сказала нарочно по-французски, желая вызвать его на французскій разговоръ.

— Извините. Я привычку имѣю по-русски выражаться.

— Вы хотите убить ее?

— Зачѣмъ же-съ такія слова употреблять. Да и вы, кажется, посторонній человѣкъ.

Она не дала ему докончить и заговорила съ такой силой, что онъ притихъ, и когда она приостановилась, громко вздохнулъ.

— Все это такъ-съ, — выговорилъ онъ съ насмѣшкой въ голосъ, — но въ себѣ чувства нельзя разогрѣть. Къ ней—хоть она и мать мнѣ приходится—я не имѣю... какъ бы сказать...

— Такъ не обращаются съ несчастной женщиной! — перебила Усманская.

Голова болѣла у ней такъ, что она еле шла. Они двигались медленно вверхъ по шоссе.

— Несчастная?.. То дѣло... разводъ — давно быльемъ поросло... какъ говорится. Она получаетъ годовое содержаніе. Въ разсудѣ она, кажется, не совсѣмъ тверда... да,—онъ оглянулся, кромѣ того... Я самъ теперь вижу, что добрые люди не враги... Слабость какую имѣеть...

— Какую?—чуть не крикнула Усманская.

— Вамъ должно быть извѣстно, если вы съ ней пріятельницы. Слабость насчетъ напитков...

— Это—ложь!

Но она захотѣла сказать этому бездушному мальчишкѣ, до чего довели его мать, до какой другой страсти.

— Знаете ли вы?..—спросила она и остановилась.

„Нѣтъ, и этого онъ не узнаеть!“

XLII.

— Помилуйте,—возразилъ Шеломовъ,—да это сейчасъ видно. Къ ней надо бы кого-нибудь приставить. У меня самого нѣтъ такихъ капиталовъ. Но я скоро женюсь. Невѣста моя миллионное состояніе имѣетъ, и душа у ней мягкая. Мы, пожалуй, можемъ...

— Вы женитесь?—перебила Усманская, и у ней внутри такъ заклокотало, что она ѣдко и сурово прибавила:—Московскую вупчиху, старше себя, берете, конечно.

— Почему же это—конечно?—возразилъ онъ, разозлился и поблѣднѣлъ.

— Вы пошли по папенькѣ, — отвѣтила Усманская, изумляясь сама, откуда у ней берутся такіе звуки и фразы по-русски.

— Вамъ что же до этого за дѣло?—спросилъ совсѣмъ грубо Шеломовъ и всталъ противъ нея, посреди дороги.

— Въ первый разъ вижу такое созданіе, какъ вы,—сказала она и сложила на груди руки.—Смотрю на васъ, и мнѣ невыносимо жаль вашей несчастной матери. Какъ можно было рваться къ такому сыну! Но я прошу васъ сказать мнѣ сейчасъ и не лгать: когда вы уѣзжаете изъ Ялты?

— Коли это васъ такъ интересуесть—дней черезъ пять собираемся.

— Вы вѣдь не пустите къ себѣ мать вашу въ Москвѣ? Или гдѣ вы будете тамъ жить?..

— Къ чему же это? Тамъ отецъ съ моей мачихой. Тамъ вся родня моей невѣсты. Чужая женщина, и съ такими еще слабостями. Страшное дѣло!

— Благодарю васъ. Вы можете ѣхать, я васъ больше не удерживаю.

Шеломовъ поклонился, вскочилъ въ сѣдло и вдругъ расхохотался, звонко, на всю дорогу. Смѣхъ звучалъ школьнически.

XLIII.

Усманская нашла Пржегневу на лѣсенкѣ, еле живую. Она прилегла и вытянула вверхъ голову, желая слышать хоть топотъ лошади. Съ трудомъ можно было увести ее въ комнату и уложить на постель. Вмѣсто слезъ, криковъ или горькихъ жалобъ, она увидала у ней ея блаженную улыбку, сладко блуждающіе зрачки; а голосъ былъ убитый, но мечтательный, уносящійся куда-то...

— Ничего... Я счастлива...—говорила она.—Какой красавецъ!.. Вѣдь правда?.. Не сердитесь на него... милая... Я сама виновата. Онъ такъ добръ. Сейчасъ хотѣлъ помочь мнѣ.

Возражать было бы слишкомъ жестоко. Но и обманывать ее она не хотѣла, считала еще опаснѣе.

— Лидія Никаноровна, забудьте вашего сына. Онъ такъ воспитанъ, что не можетъ сойтись съ вами.

— Это будетъ, это будетъ...—повторяла Пржегнева.—Я ничего не требую. Вотъ видите, какъ у меня на сердцѣ ангелы поютъ... Не нужно ничего. И... отрады моей не прошу у васъ... Онъ отца любитъ; но я его увижу... А кто мнѣ помѣшаетъ въ Москвѣ?.. Его невѣста добрая... Онъ самъ говорилъ.

— Вы радуетесь его женитьбѣ на миллионщицѣ-купчихѣ?

— Какъ же не влюбиться въ него?

— Но онъ-то...

И тутъ опять Усманская не договорила.

На Пржегневу нашло затемнѣніе. Она продолжала быть въ экстазѣ. Про свою тайну, свиданіе съ Сапіентовой, надежды и планы Усманская не могла говорить съ этой женщиной, дошедшей до какого-то бреда на-яву. Да и не хотѣлось ей теперь изливаться никому—будь у ней хоть подруга ея лѣтъ, возстань изъ гроба ея сестра Лили. Одного человѣка она спросила бы—Гущина. Можетъ-быть, онъ въ состояніи сказать ей навѣрно то, чего не знала Сапіентова. Съ нимъ она способна заговорить и о воспитательномъ домѣ.

Пржегнева заснула.

„Нужно ли такъ жалѣть ее? — подумала Усманская, сѣла въ кресло и опустила голову, ослабленную пятичасовой болью. — Живетъ въ мірѣ призраковъ. И такой сынъ можетъ быть и у меня“, — прибавила она и содрогнулась.

XLIV.

Подходилъ день отъѣзда Усманскихъ. Дочь ни въ чемъ не противорѣчила матери; но Ольга Евграфовна не могла снаряжаться въ путь, не перебравъ опять всего, что ее раздражало въ теченіе глупо проведеннаго сезона. Не совсѣмъ спокойно ждала Марья Денисовна пріѣзда профессора Сапіентова въ гости къ Гушину, и сама объ этомъ не спрашивала Павла Павловича. Но разъ, встрѣтившись съ нею на берегу, онъ попенялъ на то, что Сапіентовъ обманулъ его, посулилъ быть и уѣхалъ слишкомъ поспѣшно въ Москву.

— Вы когда?—спросила Усманская.

— Да вотъ и мнѣ пора. Буся моя сюда не пріѣдетъ; она вернется съ знакомыми прямо домой, а купаться будетъ въ Нѣмецкомъ морѣ.

— А скитъ?

— Скитницы васъ ждутъ. Право, передъ отъѣздомъ, побывайте у нихъ, заставьте Катерину Яковлевну рассказать вамъ, какъ она ушла изъ дому. Это придастъ вамъ бодрости.

— Развѣ я похожа на боязливую?

Вопросъ этотъ Марья Денисовна задала веселой нотой.

— На что-то вы рѣшились — это вѣрно, — въ тонъ ей отвѣтилъ Гушинъ.

— Рѣшилась, — повторила она.

— Отлично! — вскричалъ онъ и протянулъ ей руку.

— Павелъ Павлычъ, — заговорила она тише и серьезнѣе, — можетъ-быть, придется придти къ вамъ за чѣмъ-нибудь... вы не отдѣляетесь фразой... нѣтъ?

— Что вы, Богъ съ вами!..

Но больше она ничего ему не сказала. Ее наполняло упорное желаніе все сдѣлать самой, тихо, безвѣстно, безъ сочувствій и сожалѣній. Больше и не слѣдовало говорить съ нимъ, чтобъ не позволить себѣ чего-нибудь лишняго. Всякая нескромность была бы хвастовствомъ, бравадой. То, что ее ждало тамъ... въ Москвѣ, не требуетъ болтовни и чувствительныхъ откровенностей.

— Мы еще не прощались? — спросилъ Гушинъ, когда она уходила.

— Ъдемъ мы въ среду.

— Позвольте принести вамъ букетъ?

— Merci... лучше безъ цвѣтовъ. Это можетъ раздра-

жить шапан. Она, вѣдь, знаетъ, что вы не женихъ. Что же дразнить?

Они оба разсмѣялись и еще разъ пожали другъ другу руку.

— А верхомъ мы такъ и не ѣздили!—крикнулъ ей Гущинъ, отойдя шаговъ на тридцать.

— И никогда не буду ѣздить!

— Что такъ?

Она только махнула рукой.

XLV.

Скитницы дѣйствительно поджидали „барышню“—такъ онѣ называли Усманскую въ разговорахъ съ Гущинимъ. Онъ зашелъ сказать имъ, что она придетъ съ ними проститься, и просилъ Катерину Яковлевну „подбодрить ее“ своимъ примѣромъ, исторіей всей своей жизни.

— Въ барышнѣ,—говорилъ онъ, благодушно улыбаясь,—проснулся протестъ. Она, кажется, совсѣмъ готова сдѣлать рѣшительный шагъ.

Въ фантази Павла Павлыча развивалась уже картина тайныхъ стремленій свѣтской дѣвицы къ наукѣ, къ самостоятельному труду. Вотъ она исчезаетъ изъ родительскаго дома, переходитъ границу, друзья поддерживаютъ ее, и первые два семестра она страстно отдается занятіямъ; кто-нибудь тронетъ сердце матери, мать смягчается и дастъ ей средства кончить курсъ. Она—докторъ парижскаго университета, какъ та русская дѣвушка, которую чествовалъ весь факультетъ и, во главѣ, знаменитый Шарко... У ней сейчасъ же практика, газеты кричатъ о ней, зарабатываетъ она до сорока тысячъ франковъ. Мать пріѣзжаетъ къ ней и преклоняется передъ ея талантомъ и силой души. Разныя русскія барыни дѣлаютъ ей визиты, ухаживаютъ за ней, пріѣзжаютъ за совѣтами, дожидаются въ ея пріемномъ салонѣ, гдѣ ихъ поражаетъ роскошь обстановки. И онъ заѣдетъ къ ней, уже пожилымъ человѣкомъ, какъ къ доброй знакомой, порадуется ея торжеству, станетъ сначала звать ее домой, а потомъ согласится, что не изъ чего ей покидать столицу міра, гдѣ такъ скоро признали ея талантъ и дали ей всесвѣтную извѣстность. Пускай то общество, которое замораживало ея порыванія, почувствуетъ, что оно недостойно никакихъ жертвъ...

Долго мечтавъ Павелъ Павлычъ за Марью Денисовну,

когда лежалъ передъ обѣдомъ, на пладѣ, въ кипарисной рощицѣ, въ промежуткахъ между чтеніемъ англійской книжки по обычному праву. И то, что онъ читалъ, нравилось ему, и великодушныя думы о дѣвухѣ, куда присасывалась частичка сознанія превосходства мужчины, пробившаго себѣ дорогу, вливали въ него особое возбужденіе и давали ему полноту жизненнаго пульса. Голова содѣйствовала желудку. Аппетитъ послѣ купанья, верховой ѣзды, чтенія и думъ удвоился. За общимъ столомъ Павелъ Павлычъ выпьетъ свою бутылку рислинга, повторить второго кушанья, закурить сигару и пойдетъ отдохнуть на галерею въ качающемся креслѣ послѣ веселаго разговора съ дѣвицами и дамами. Ему тогда такъ хорошо! Онъ забываетъ даже, что черезъ двѣ недѣли надо взойти на кафедру и соорудить серьезное лицо, и въ который уже разъ произносить громогласно:

— Милостивые государи!..

XLVI.

— Такъ вотъ-съ, — рассказывала Усманской Катерина Яковлевна у стола, гдѣ Котикъ опять наставилъ всякой всячины, — латинскій языкъ для меня былъ—все... у другихъ подъ подушкой романъ, а у меня—грамматика. Мать ни о чемъ, конечно, не догадывалась. Никуда меня—безъ компаньонки или ливрейнаго лакея. А грамматику Цумфта я все-таки купила въ гостиномъ дворѣ и не разставлялась съ ней, какъ Котикъ не разстается съ своимъ „Спутникомъ жизни“.

— Спутникъ жизни?.. —переспросила Марья Денисовна.

— Котикъ! Покажи ей своего „Спутника“.

— Сейчасъ!—крикнула Захарова изъ комнаты и выбѣжала съ толстой книгой въ рукѣ.—Вотъ, посмотрите, тутъ все есть.

На первомъ листѣ стояло заглавіе: „Спутникъ жизни“.

— Московскаго производства, —указала Катерина Яковлевна на то, гдѣ отпечатана книга.—Всю мудрость Котикъ оттуда черпаетъ.

— А какъ же?—перебила Захарова.—И по астрономіи все есть, и по исторіи, и какъ простоквашу дѣлать!.. Катя, больше не нужно?.. У меня еще много дѣла.

— Ступай и уноси своего „Спутника“.

Катерина Яковлевна закурила папиросу и, нагнувшись надъ столомъ, продолжала въ томъ же веселомъ тонѣ:

— Когда все подготовили мнѣ добрые люди, подошелъ день какихъ-то именинъ. Я съ утра была въ туалетѣ, мамѣ нездоровилось. Послала она меня къ теткѣ, чтобы съ ней дѣлать визиты. Я, какъ была въ платьѣ изъ фая, въ бархатной шубкѣ съ соболями, прямо и очутилась на большой дорогѣ... бѣглянкой... Какія на мнѣ были Juwelen—продала; а въ пять часовъ сидѣла уже въ третьемъ классѣ варшавской дороги. И тутъ... ха-ха!.. препотѣшная подробность... Подходить ко мнѣ какая-то дама, спрашиваетъ: до какого города я ѣду... и просить взять подъ свой присмотръ двухъ барышень, отправляющихся въ первый разъ въ жизни въ Вильну.

Разсказъ былъ подробный. Переходить черезъ границу, не имѣя паспорта, приходилось по болоту, въ легкихъ ботинкахъ, въ туманѣ; не обошлось безъ тревоги—пограничный стражникъ стрѣлялъ въ нее. Но черезъ два дня бѣглянка была уже на мѣстѣ, а черезъ полгода мать приѣхала къ ней на свиданіе. Семь лѣтъ работъ въ университетахъ и поѣздкахъ съ научной цѣлью пронеслись точно семь недѣль. Давно у ней степень доктора, родители умерли, примиренные съ нею, хоть и жалѣли про себя, что она промѣняла хорошую партію на латынь и всякую другую ученость. И не вѣрится ей самой, что она когда-то танцевала на балахъ, рядили ее въ цвѣты, декольтировали, прочили за флигель-адъютантовъ... у нихъ съ Котикомъ теперь по два лѣтнихъ, да по два зимнихъ платья; у ней сундукъ книгъ; а у Котика—ея „Спутникъ“, гдѣ и астрономія, и простокваша.

XLVII.

Слушала Марья Денисовна и спрашивала себя: почему же этотъ разсказъ не говоритъ ей, какъ будто, ничего новаго? Развѣ она сама испытала что-нибудь похожее на это? Вѣдь Катерина Яковлевна была настоящая свѣтская барышня, изъ знатнаго дома, воспиталась подъ строгимъ надзоромъ, въ воздухѣ, переполненномъ предрассудками. Чего стоило рѣшиться бѣжать въ визитномъ туалетѣ, безъ перемѣны бѣлья, съ сорока рублями, въ глухую осень? Это ли не смѣлость и не выдержка?..

Но сама она уже не нуждалась въ такомъ примѣрѣ. Павелъ Павлычъ напрасно хлопоталъ о такой „притчѣ“. Она не побѣжитъ за границу, въ нее не будутъ стрѣлять, она не станетъ учиться по-латыни, не приобрететъ сте-

пени доктора и не будет жить потомъ жизнью ученаго. То, что она сдѣлаетъ, будетъ проще, безвѣстнѣе и гораздо „ужаснѣе“ для дочери генеральши Усманской. Она будетъ кормить и воспитывать своего сына,—больше ничего.

— Кушайте,—прогѣлъ надъ ея головой ласковый голосъ Захаровой.— Вотъ и крендельки. Если понравятся... я еще испеку.

Вотъ такой, какъ этотъ Котикъ, она желаетъ быть: умѣть все варить и печь, хлопотать и ухаживать. И чтобы домовитость шла рука объ руку съ работой внѣ дома.

Она горячо поцѣловала Захарову, а потомъ и ея сожительницу.

— Ну, что жъ?—спросила ее Катерина Яковлевна послѣ большой паузы.— Если въ самомъ дѣлѣ васъ нужно переправить...

— Нѣтъ, мнѣ за границей нечего дѣлать.

— Какъ такъ? А Павелъ Павлычъ намъ наговорилъ тутъ...

— Онъ своимъ воображеніемъ...

— Такъ, такъ! Слышишь, Котикъ! Вотъ и тебя онъ по своему идеализируетъ, а ты и размякла. Стало, внутри отечества останетесь?—обратилась она опять къ Усманской.— А все же, если рѣшились съ домашнимъ рабствомъ покончить...

— Позвольте мнѣ пока помолчать объ этомъ,—выговорила Усманская и крѣпко пожала ей руку.— Это не отъ недостатка довѣрія...

— Понятное дѣло! Вы въ Питерѣ будете?

— Еще не знаю... можетъ, попаду и туда.

— Насъ тамъ найдете. Вы когда отсюда?

— Послѣзавтра.

— Слышишь, Котикъ! Она вамъ сюрпризъ на дорогу готовить. Только смотрите—не увлекайтесь, а то въ лоскъ желудокъ испортите.

— Ахъ, Катя!.. Кто тебѣ позволилъ... болтать? Это ужасно!

Захарова вся затрепетала, и даже, убогая, погрозила пальцемъ своему другу.

Катерина Яковлевна проводила Усманскую до подъема въ гору.

XLVIII.

Прежнева получила изъ Ялты письмо отъ сына.

„Предупреждаю васъ,—писалъ онъ,—что я съ сегодняшняго дня въ Ялтѣ больше не нахожусь; а въ Москвѣ — куда я ѣду съ невѣстой моей—не могу для васъ ничего предпринять и вообще вмѣшиваться въ старыя дѣла. Меня прошу не беспокоить по причинамъ, которыя я вамъ доподлинно объяснялъ. Напраслины на себя не могу говорить и чувствъ имѣть къ вамъ, какъ къ матери. Отъ излишнихъ же разстройствъ буду всячески остерегаться.

„Владиміръ Шеломовъ“.

Когда Марья Денисовна пришла къ ней проститься, Прежнева сначала глядѣла на нее блуждающими глазами, ничего не слушала, только громко вздыхала; а потомъ упала передъ ней на колѣни и стала упрашивать возвратить ей то, что одно помогаетъ забывать всѣ ея мѣки.

— Вы не получите этого!—горячо отвѣтила Усманская.

Чувство прежней жалости къ Прежневой прошло въ ней. Эта женщина скорѣе тяготила ее; но все-таки она не хотѣла возвращать ей отравы.

— Вѣдь я достапу же,—начала ее уговаривать Прежнева болѣе связнымъ языкомъ. — Каждый докторъ мнѣ пропишетъ; у меня рецептъ есть.

— Рецептъ?—переспросила Усманская.

— Ей-Богу, есть... Я пошлю въ Ялту... Но это цѣлыя сутки... Я не могу, не могу!

Она стала ползать на колѣняхъ и просить.

— Отдайте! Вы не имѣете права!.. Это хуже чѣмъ ограбить!.. Отдайте!

Надо было прекратить сцену. Черезъ часъ она принесла ей свертокъ; онъ такъ и пролежалъ у ней въ барманѣ другого платья.

— Гдѣ же вы будете жить?—спросила она, уходя.

Ей стало стыдно своей сухости. Жалость опять прокрадась въ сердце.

— Здѣсь останусь... здѣсь... здѣсь...—повторяла Прежнева, качая головой.

Она уже успѣла вырешнѣть себѣ, и блаженная улыбка заблуждала на губахъ; а въ правой рукѣ уже торчала какая-то вѣтка.

— Не пишите его больше,—сказала ей Усманская, какъ и старшіе говорить дѣти.

— Видѣла... Красавецъ!.. Милліонщица невѣста. Вотъ какого родила... Сама кормила... Сама!..

Что же было съ ней дѣлать? Душная комнатка, какъ гробъ, пачала тѣснить Марью Денисовну. Она поцѣловала Пржегневу, сдѣлавъ надъ собой усиліе.

Та даже не спросила, куда она ѣдетъ.

XLIX.

Послѣ бурливаго дня — самыя смѣлыя купальщицы не рѣшались идти въ воду — замирала мягкая вечерняя заря. На томъ самомъ камнѣ, гдѣ съ Усманской произошелъ переломъ, она не сидѣла, а стояла и прощалась съ моремъ. Незамѣтно полюбила она его. Съ нимъ, съ этой многоцвѣтной зыбью, связаны были для нея пикогда еще не испытанныя чувства...

Глядѣла она на отблескъ заката — солнце скрылось за утесомъ — и жалѣла, что нѣтъ на этомъ побережьи такихъ закатовъ солнца, какъ въ сѣверной Франціи. Вспомнила она одинъ вечеръ въ Нормандіи.

Сначала половина неба была темно-фіолетовая и совсѣмъ заволокла солнце. Оно выглянуло щелью въ видѣ треугольника. Щель все дѣлалась больше, и рубиновый шаръ выплыть и всталъ посрединѣ закруглившагося облака.

Онѣ сидѣли съ сестрой Лили, на „plage“, въ соломенной будочкѣ и любовались. И когда она сравнила цвѣтъ солнца съ рубиномъ, то Лили вздохнула по-институтски и выговорила:

— Настоящій, настоящій рубинъ!

Потомъ облако растаяло. Рубиновый шаръ пустилъ отъ себя, черезъ широкій рукавъ молочной полосы, потокъ лавы, въ родѣ столба, такого же цвѣта, только съ огненными краями. Потокъ этотъ всплывалъ въ поперечную зыбь, лиловую, съ розовыми сверкающими нитями.

— Такъ въ балетахъ бываетъ! — сравнила Лили.

Какъ живо ей это представилось теперь, въ минуту разставанья съ мѣстами, откуда она ѣдетъ *другую*. Лили погибла въ водѣ потому только, что не достало духу сказать матери:

— Я не хочу быть проданной этому противному генералу, не хочу!..

А вотъ она не бросится въ море теперь, не бросилась бы, если бъ весь этотъ лѣчебный табльдотъ узналъ, что она около пяти лѣтъ тому назадъ сдѣлалась матерью. Не

стала бы она показывать всѣмъ своего ребенка и хвастаться имъ, но и хорониться отъ всѣхъ не стала бы. И будь жива Лили, она сумѣла бы и ее настроить такъ, чтобъ переѣмъ свою долю на что-нибудь иное...

Тихо шла она по берегу, переступая по камешкамъ. Нѣсколько гладкихъ кремней, красивыхъ, съ крапинками, она выбрала и взяла съ собой. По дорогѣ она глазами прощалась со всей природой. Такого чувства у ней прежде не было. Останься она одна, на свободѣ—она зажила бы съ этой природой въ любви и единеніи. Когда-нибудь—вернется она сюда, и не одна, съ мальчикомъ; поведетъ его на высоты, будетъ ему рассказывать про все, о чемъ онъ ее только станетъ спрашивать.

О Володѣ Шеломовѣ она и забыла. И мать его не представлялась ей въ эту минуту.

L.

— Вотъ гдѣ вы! — вызвалъ ее изъ раздумья возгласъ Гущина.

Это было на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они говорили, въ первый разъ, по-другому.

— Шла съ вами прощаться, — сказала Усманская и протянула ему руку.

— То-то! Грѣшно было бы уѣхать тайкомъ.

Глаза его ласково оглядывали ее. Точно онъ ее снаряжалъ въ путь—подъ своимъ благословеніемъ и покровительствомъ. Она чуть замѣтно усмѣхнулась отъ этой мысли. Припомнилось ей ихъ возвращеніе, ночью, подъ руку. Сущность не измѣнилась. Какъ тогда, такъ и теперь, Павелъ Павлычъ смотрѣлъ на нее взглядомъ мужчины, которому кажется, что онъ видитъ ее насквозь и готовъ оказать ей поддержку, если она исправится; а настоящей-то правды онъ не знаетъ,—не только ея прошедшаго, ея дѣвичьяго проступка, но и того, кто она такая теперь, что перебивало въ ея душѣ. Она чувствовала себя гораздо старше его. Этотъ добрый Гущина только еще тѣшилъ жизнью, а она уже собралась нести свой крестъ.

„Что бы ты мнѣ ни сказалъ,—думала она,—я все это знаю, и не туда пойду, куда ты думаешь“.

Но она не обижалась тономъ Гущина. Пускай его тѣлитъ! Онъ добрый и чистенькій человекъ. Встрѣча съ нимъ, когда она начнетъ жить по-другому, будетъ ей



пріятна. Это сказалося въ ея прощальныхъ словахъ и новомъ рукопожатіи. Гущинъ пошелъ съ ней и все говорилъ о будущемъ русскихъ женщинъ, доказывалъ,—хотя она и не спорила,—что нравственность не будетъ ничего значить до тѣхъ поръ, пока женщина радикально не добьется всѣхъ правъ на трудъ. Она слушала его и ображалась:

„Только бы мнѣ въ какомъ-нибудь занятіи получать хоть тридцать рублей въ мѣсяцъ, при готовомъ содержаніи,—я воспитаю его непременно!“

Быть-можетъ, придется попросить протекціи и у Павла Павлыча... Какъ-то онъ тогда заговорить съ ней? Не барышня въ модномъ туалетѣ, которую здѣсь всѣ считаютъ „аристократкой“, а безвѣстная дѣвушка съ ребенкомъ, „дѣвушка-мать“,—„fille-mère“,—подумала она по-французски, нищая, разорвавшая съ тѣмъ, что мать ея одно только и считала „обществомъ“?

И тутъ вспомнилась ей Прежнева. У той вѣдь все-таки есть кусокъ хлѣба. Но порывы и упованія всей ея жизни—во что они воплотились? Въ купеческаго „Альфонса“, въ бездушнаго мальчишку, котораго можно задушить своими руками—до такой степени онъ гадокъ!..

Все могло случиться и съ ней...

LI.

Раньше, чѣмъ въ то утро, когда онѣ ѣздили въ Алушку, коляска ждала у изгороди. Подрядили опять Николая. Ольга Евграфовна сама торговалась, и торги заняли два дня. Денегъ было совсѣмъ на исходѣ. Дочь предлагала ѣхать на пароходѣ; но въ Ялтѣ случился сильный прибой, прошелъ слухъ, что убило даже пріѣзжаго барина, старика, ударивъ его о столбъ купальни. Одинъ пароходъ изъ Севастополя сильно запоздалъ. Страхъ качки и бури не давалъ покоя Ольгѣ Евграфовнѣ. Когда она уговорила съ Николаемъ за шестнадцать рублей—опять довольно дешево—и дала задатокъ, то всю ночь не спала отъ мысли, что этотъ цыганъ, гдѣ-нибудь, стакнувшись съ шайкой разбойниковъ, зарѣжетъ ее или по меньшей мѣрѣ ограбить.

— Вѣдь вырѣзали же здѣсь цѣлую фамилію,—говорила она дочери,—и до сихъ поръ не могутъ найти злодѣевъ.

— Тогда поѣдемъ на пароходѣ.

Но отъ слова „пароходъ“ Ольга Евграфовна серди-

лась и кричала, что не дѣло ея дочери распоряжаться и умяничать.

На всѣ эти выходки Марья Денисовна не давала никакого отпора. Такая кротость, минутами, смущала мать, и она начинала тогда думать: не замышляетъ ли дочь чего-нибудь... если не ограбить ее, то произвести „une indignité“.

На такой мысли она останавливалась не подолгу. Въ ней притуплялась уже прежняя рьяность матери-свахи. Смутно она уже допускала, что, можетъ-быть, оно и лучше такъ — предоставить на волю Божию и позволить „дѣвѣ на возрастѣ“ промыслить себѣ самой мужа.

Въ пять часовъ она уже умывалась, охая и жалуясь черезъ перегородку на то, что всю ночь она не сомкнула вѣкъ. Укладываніе еще не было, однако, кончено. Хозяйку разбудили. Марья Денисовна напоминала матери, что лучше бы было заплатить по счету съ вечера; но получила въ отвѣтъ:

— Вотъ еще какія нѣжности!.. C'est une hôtellerie, rien de plus!

Поднялась только для нихъ и вся прислуга. Насилу дочь уговорила Ольгу Евграфовну дать хоть по два двугривенныхъ человѣку и горничной.

Сундуки уже были выпесены. Николай возился около нихъ съ лакеемъ, когда къ калиткѣ изгороди подошла Русанова съ своимъ другомъ. Марья Денисовна увидала ихъ.

— Qui est ce?—спросила строго Ольга Евграфовна.

— De très bonnes personnes, — отвѣтила она и пошла къ нимъ навстрѣчу.

Захарова держала въ рукахъ свертокъ въ газетной бумагѣ, красѣла и часто вскидывала рѣсницами.

— Вотъ онъ, сюрпризъ-то!—показала рукой Русанова.— Перепеловъ сама изжарила. Жирные-прежирные!..

— Не бойтесь, она всегда пугаетъ,—перебила Захарова и обѣими руками подала ей пакетъ.

— Marie!—позвала Ольга Евграфовна.

— Тсъ! пачальство! — шепнула дурачливо Русанова.— Добраге пути, и въ Питерѣ насъ не забывайте.

Торопливо поцѣловались онѣ съ нею и побѣжали по аллеѣ, обернулись шагахъ въ десяти, и каждая махнула платкомъ.

Свертокъ былъ очень тяжелъ и отъ него превкусно пахло.

По холодку онѣ ѣхали не много. Солнце все ярче пригрѣвало; но жаръ не томилъ. Что-то такое ворчала Ольга Евграфовна, но что—дочь ея не могла бы ни повторить, ни вспомнить. Всю дорогу, до Байдарскихъ воротъ, она не отрывала глазъ отъ моря, скалъ и зеленыхъ спусковъ. Никакой тоски, тревоги, страха или сомнѣнія она не испытывала. Такъ должны идти на бой новобранцы. Весело, хоть и знаешь, что впереди не одна смерть—напавалъ, а чаще увѣченье, зіющія раны, гангрена, мученья операций, зараза госпиталей, агонія съ страшнымъ бредомъ... Уже за одно это она благодарила все: и ласковое Небо, откуда три недѣли не лило хмураго дождя, и еще Солнце радостную, многоцвѣтную воду, и скалы, и деревья, и воздухъ, и Ялту, оставшуюся позади, и Алупку, и всѣхъ, съ кѣмъ судьба столкнула ее. Даже того пошлаго офицера благодарила она за внезапную встрѣчу. Безъ него она возвращалась бы съ матерью такой же озлобленной рабыней, безъ просвѣта въ будущемъ, съ мѣднымъ пятнакомъ вѣсто сердца, живымъ трупомъ.

— Байдары!—крикнулъ Николай, и указалъ вдали ворота, когда они миновали туннель.

Ей стало жаль разстаться съ дорогой по приморской выси.

Ольга Евграфовна выбрала пыль и прибавила съ подергиваніемъ плечъ:

— Si jamais je mets le pied dans ce pays bête!

Остановились онѣ на станціи, по ту сторону воротъ. Николай почти требовалъ остановки въ самихъ Байдаркахъ, такъ какъ получалъ тамъ въ трактирѣ даровой кормъ, но Ольга Евграфовна сообразила, что тутъ казенная станція, и все будетъ дешевле, и закричала на него. Дочь должна была ее поддержать.

На станціи нашелся обѣдъ; но онѣ спросили себѣ только борщу. Свертокъ Котика вмѣщалъ въ себѣ, кромѣ сдобнаго хлѣба, лепешекъ, грушъ, цѣлый десятокъ жареныхъ, чрезвычайно жирныхъ перепеловъ.

Съ жадностью накинулась на нихъ Ольга Евграфовна. Дочь замѣтила ей:

— Prenez garde, maman.

Та, конечно, не послушалась и съѣла пять штукъ и пожелала соснуть. Молодой смотритель ходилъ съ Марьей

Денисовной въ горы—показывать ей пещеру, переводить ее съ камня на камень въ одномъ опасномъ мѣстѣ; она крѣпилась и ни разу даже не вскрикнула. Вернулись они—Ольга Евграфовна еще спала. Но не успѣла мать сѣсть въ коляску, какъ ее замутило отъ перепеловъ, и всю дорогу она ныла и повертывалась съ боку на бокъ, заставляя останавливаться и кончила бранью, увѣряя, что ее „отравили съ намѣрепіемъ“.

Среди этого шумнаго вздора катился экипажъ по тихимъ отлогостямъ, миновалъ и поле съ памятникомъ Инкерманскому дѣлу, засвѣтло было уже верстахъ въ двѣнадцати отъ Севастополя; а мимо Георгіевскаго монастыря проѣхалъ когда начало смеркаться.

— Quelle poussière! — дала окрикъ на пыль Ольга Евграфовна.

И Марья Денисовна закрыла на минуту глаза. По обѣ стороны пошли блѣсоватыя груды камней, заборы, развалины домовъ.

— Севастополь!—объявилъ Николай и ударилъ по лошади.

III.

Въ полутемнотѣ, на ступеняхъ Графской пристани, сидѣла Марья Денисовна. Мать должна была лечь сейчасъ же по пріѣздѣ въ отель, и когда она успокоилась—можно было пойти погулять. Сна совсѣмъ не было.

Внизу разбросаны фонари въ докахъ, на пароходахъ, въ бухтѣ, на желѣзной дорогѣ. Чуть проглядываетъ и мѣсяцъ сквозь тусклое пятно облаковъ; но при блескѣ звѣздъ можно было разсмотрѣть на холмѣ обнаженный остовъ длиннаго зданія и черную статую во весь ростъ на высокомъ пьедесталѣ... Кругомъ шли тихіе разговоры гуляющихъ.

Она закрыла глаза. На нее нашло въ этомъ разрушенномъ городѣ, съ его пылью, грудями камней, тишиной и уныніемъ расплывающихся улицъ и вѣздовъ—настроение, неизвѣданное по своей не то сладкой, не то сосущей грусти. Особенно тутъ, на этихъ ступеняхъ.

Становилось уже поздно. Она поднялась подъ порткомъ, пошла по тротуару съ запыленными акаціями, мимо ярко освѣщенныхъ фруктовыхъ лавокъ. Но цвѣтныя пятна грушъ, винограда, яблокъ, сливъ не веселили покурой



площади, расходившейся въ три стороны. Около отеля она наткнулась на что-то.

Нищій, татаринъ-калъка съ подогнутыми ногами, ползая на рукахъ, попросилъ у ней милостыни—у ней не было ничего. Она поспѣшно перешла наискосокъ черезъ площадь, туда, гдѣ подъемъ на бульваръ съ воротами и лѣстницей. Неровныя плиты говорили также о разрушеніи. Поднялась она къ памятнику и сѣла на первую скамейку. Городъ замеръ. Ощущеніе каменной могилы нашло на нее. Никогда она не думала, во всю свою жизнь барышви, о томъ, что было здѣсь... Сотни тысячъ смертей... Смутно она что-то слыхала отъ брата. Читала какіе-то рассказы. Имя русскаго писателя пришло ей на память.

Ей стало стыдно. Еще утромъ она чуть не сравнивала себя съ героями, идущими на бой.

Гдѣ-то внизу, въ трактирномъ садикѣ, вдругъ забрехала арфа и хриплый дѣтскій голосъ затянулъ „Стрѣлочка“. А по всемъ улицамъ и съѣздамъ, на площади и на бульварѣ за ея спиной чуть видимая бѣлая пыль крутила и лѣзла въ глаза.

Дѣвушка застыла въ нѣмой и строгой думѣ.

Она еще больше знала теперь, для чего ей жить и куда идти.



ПСАРНЯ.

(ПОСВЯЩАЕТСЯ И. С. ТУРГЕНЕВУ.)

Дорогой Иванъ Сергѣевичъ!

Кому же, если не вамъ, посвятить очеркъ, гдѣ предметъ изображенія—рядомъ съ людьми—братья и сестры «Негаза», обреченнаго вами на безсмертіе? Я не охотникъ—ни псовый, ни ружейный. Въ жизни не закололъ я ни одного звѣря, не подстрѣлилъ ни одной птицы. Но въ дѣтствѣ—лѣтъ шестнадцати—меня брали на псовую охоту, и поблизости, лѣтомъ, и въ отъѣздѣе поле—осенью. Съ малыхъ годовъ меня занималъ псарный дворъ, его обиходъ, люди и животныя—главное, собаки и щенки. Травить мнѣ не давали, да и хорошо дѣлали. Крики зайцевъ мѣшали мнѣ душѣ: по картишка угонки борзыхъ, хоръ варкой стаи въ острову привлекали меня. Только, и тогда, и теперь, я любилъ и люблю собаку не исключительно за ея охотничіе стѣны и таланты, какъ большинство промысловыхъ егерей и артистовъ—любителей охоты изъ господъ. Между ними—насколько мнѣ приводилось слушать рассказы, видѣть ихъ въ обращеніи съ псами, читать охотничьи книги, очерки, статьи—не замѣчалъ я много любви къ собакамъ, *какъ собакъ*, помню ея пригодности къ забавѣ человека. Ее хвалятъ, ласкаютъ, если хотите любить—за что? За то, что она доставляетъ наслажденіе скачкой, гонкой, травлей, музыкальнымъ лаемъ въ лѣсу, чутымъ и стойкимъ въ болотѣ. Но какъ только она негодна, «сопедишь поля»—ее на осину; да и въ ружейной охотѣ (что вамъ лучше меня извѣстно) не очень-то итакно съ ней обращаются. Словомъ, я держу кинуть мысль, что охотничье чувство къ собакамъ—чувство довольно-таки себялюбивое, не дошедшее до полнаго сліянія съ животнымъ въ спланианіи, не знающей ника-



кихъ расчетовъ и постороннихъ утѣхъ. Вѣдь любить же собака человѣка, несмотря на то, что онъ всячески тиранить ее. Знаю, что трудно слиться съ душевной жизнью животного. Не впасть, при этомъ, въ то, что психологи называютъ антропоморфизмомъ — невозможно. Зато, совсѣмъ не трудно полюбить собаку по-человѣчески — хотя бы въ отвѣтъ на ея собачью привязанность. Песъ и безъ того обиженъ, не одними господами охотниками, но и господами учеными. Бремъ называетъ пса «добрымъ дуракомъ» и выдвигаетъ напоказъ высшій умъ кошки. Добрый дуракъ!.. Одинъ вашъ Пегазъ былъ — ума палата. А развѣ не доказательство высшей натуры — эта любовь всякой собаки — породистой или дворняги, и къ тяжелой работѣ, и къ потѣхѣ, и къ художественной сторонѣ того, чему научили ее? На охотѣ, на рынкахъ заграничныхъ городовъ, въ блестящихъ циркахъ и на дырявомъ коврѣ ярмарочнаго паяца — вездѣ-вездѣ вы видите этого вѣрнаго, пылаго, веселаго, любезнаго сердцу пса, порывающагося поработать, потѣшить добрыхъ людей, не щадя своихъ животовъ.

Чистую, человѣчно-художественную любовь къ псу вложилъ я въ душу простого псаря — пріятеля моего въ дѣтствѣ, воспитавшаго себя на псарѣ. Вамъ прекрасно извѣстно, что народъ нашъ — не въ обиду будь ему сказано — не отличается особой нѣжностью ни къ скоту, ни къ звѣрю, ни къ собакамъ. Песъ для него — «поганый». Этого не надо забывать... Кошку онъ считаетъ чище и уважаетъ ее больше. Но не надо забывать и того, что народъ въ тискахъ легенды, сказки, мифа и суевѣрія, смѣшаннаго съ предписаніями вѣры. Почему же бы считатьъ онъ собаку «поганой»? И его жестокость къ животнымъ, побой похода, безжалостные виды пздѣвательства надъ собакой — наполовину отъ нужды, отъ суровости всего быта. Гдѣ тутъ «скоты миловать»? Тутъ и съ человѣкомъ-то сплюнь и рядомъ обходится по-собачьи. Только въ избранныхъ чуткихъ душахъ любовь къ природѣ вообще переходитъ и въ любовь къ звѣрю, къ Божьей птицкѣ, къ зайцу, къ щенку. Таковъ и мой Андришка — по-своему поэтъ и мыслитель, нѣжная женственная натура. Онъ не выдуманъ — вы это увидите. Для Андришки его званіе «корытничаго» и потому «выжлятника» было только поводомъ къ внутренней жизни милостивца безсловесной твари. У псовыхъ охотниковъ прощѣ и извиненія въ томъ, что мой очеркъ писанъ совсѣмъ не для того, для чего обыкновенно «сочиняютъ» разные рассказы и записки. Въ нихъ на первомъ планѣ — охотникъ, его приключенія, его потѣха, щекотанье его безконечнаго самолюбія и дѣтскаго задора, наконецъ, техническія тонкости и

курьезы... Природа, ея красоты, ея могучія освѣжающія объятія всегда въ нихъ—одна обстановка, декорація, грунтъ, а цѣль—тривля, удаля, удовлетвореніе чувства, не нашедшаго себѣ другой менѣе хищной сферы. Много дружества ждутъ звѣри отъ не-охотниковъ. Хорошо отдохнуть на добромъ чувствѣ къ животному, да еще такому, какъ собака. Возиться съ своими близкими—наше писательское призваніе; но не слишкомъ ли много придаемъ мы вѣсу всякимъ дѣяшкамъ и страстишкамъ чело-вѣческихъ своръ, смычковъ и стай? Наше людское высокомеріе не допускаетъ насъ признать высокую гармонію въ душевномъ складѣ добраго пса. Что ни свойство—то прочный голосъ природы, что ни проявленіе—то ласка, преданность, веселость, храбрость, великодушіе! Мы пренебрежительно говоримъ: «инстинктъ», «безмысленные позывы», а того не знаемъ, что вся наша людская бѣда—въ извращеніи инстинктовъ, въ беспорядочномъ, часто безумномъ попираніи здоровыхъ позывовъ и аппетитовъ.

Мнѣ рассказывали про покойнаго В. П. Боткина, — вашего сверстника и пріятеля, — какъ онъ говаривалъ, что желалъ бы умереть, глядя на любящіе, полные ласки, глаза двухъ собакъ, что выше этой нѣжности нѣтъ на свѣтѣ. Не знаю, былъ ли онъ охотникъ. Если не былъ — такое чувство къ псамъ — большая похвала челоуѣку и художнику. И мнѣ когда-то, въ тяжелую полосу русской хандры, одинъ французскій писатель говорилъ въ сочувственномъ письмѣ: «Къ любви женщины не стоитъ стремиться, повѣрьте; заведите собаку — это дастъ вамъ полное чувство жизни». Я слишкомъ люблю собаку, чтобы заводить у себя домашняго раба, котораго непременно будешь муштровать по своему челоуѣческому своеволію. Но кому я проповѣдую? Вы сами такъ любите вѣрнѣйшаго друга людей! Примите же мое приношеніе и не обезсудьте, если чего не дописалъ.

П. Б.

I.

Ранняя весна. Снѣгъ сошелъ съ крутой выпуклости горы. По взлобку ея тянется частоколъ барскаго сада. Мурава зазеленѣла по всему подъему; зажелтѣли и двѣ тропки, пробитыя крестъ-на-крестъ. Но въ оврагахъ, по близости, и дальше къ дубовому лѣску залегли еще снѣжные сугробы и блестятъ въ лучахъ веселаго солнца. Внизу, у рѣчки, наискосокъ мостика, приземистый, продолговатый деревянный срубъ съ низкой крышей—весь закоптѣлый—дымится и сверху изъ трубъ, и съ боковъ, изъ раскрытыхъ, створчатыхъ дверей. Это—собачья кухня. Внутри отъ дыму ничего не видно свѣжему человѣку. Коптять конину. Мясо подвѣшено надъ печью. Дымъ густой пеленой обволакиваетъ его. На земляномъ полу валяются въ кучѣ лошадиныя вываренныя кости, голова, ребра, позвонки. Тамъ и сямъ разбросаны куски кожи съ шерстью, ноги съ копытами. Запекшаяся кровь застыла цѣлыми лужами, охлажденная свернувшейся волокнистой. Сквозь дымъ проглядываютъ красно-желтыя легкія, вздутыя и блестящія съ своими лопастями и заворотами; тутъ же лежатъ и другія внутренности. Чадъ отъ крови, ободранной кожи и сукровицы смѣшивается съ дымомъ еловыхъ дровъ и гуляетъ сквозь сарай отъ одной двери до другой.

Два псаря сидятъ въ углу, поближе къ той двери, что смотритъ на мостикъ, около глинянаго горшка, и посматриваютъ въ него; каждый помѣшиваетъ что-то палочкой. Позади ихъ, у стѣны, два большихъ ушата для овсянки, чанъ съ водой и котелъ ведра въ три. Оба псаря одѣты

въ старые темно-бурые казакины изъ домашнего сукна, грубаго, немного лучше крестьянскаго, что идетъ на зипуны. Шаровары у нихъ изъ такого же сукна, въ заплаткахъ, затрапезные псарные штаны поскрипѣли отъ времени, протерлись и пороллись почасту — у одного около кухни и псарнаго двора, у другого—тутъ же и въ острову, на простыхъ непарадныхъ выѣздахъ, ободрались о сучья въ густомъ орѣшникѣ и ельникѣ. На одномъ псарѣ штаны засунуты въ сапоги съ порыжѣлыми голенищами, у другого спущены на шлепальцы изъ опокровъ, на босу ногу...

Псарю въ опоркахъ лѣтъ, должно-быть, за шестьдесятъ. Онъ—приземистый, какъ и его собачья кухня, старичокъ, широкій въ кости. Его маленькое лицо совсѣмъ закоптѣло. Борода давно не брита и еще темнѣе всего остального облика. Сѣрые, добрые глазки слезятся отъ долголѣтняго подкапчиванія вмѣстѣ съ конскими окороками. Носъ у него сморщенный книзу, точно онъ сейчасъ здѣлалъ добрую понюшку „березоваго“. Волосы пошли сѣдиной, но не очень; курчавы и выбиваются изъ-подъ ермолки, сшитой изъ разнообразныхъ ситцевыхъ лоскутковъ. Въ зубахъ этого юркаго и первнаго старичка торчитъ короткий, обмусоленный чубучокъ. Онъ покуриваетъ корешки. Трубочка круглая, деревянная, съ мѣдной крышкой. Табакъ потрескиваетъ и струя его ползетъ ему прямо въ лѣвую ноздрю. Второй псаръ—молодой парень, лѣтъ восемнадцати—много по двадцатому году. Онъ сидитъ полусежа, вытянувъ ноги вправо и подпиралъ туловище лѣвой рукой. Правой онъ помѣшиваетъ въ горшкѣ. На немъ старый охотничій картузь изъ краснаго сукна, перешедшаго въ сизо-малиновый цвѣтъ. Картузь четырехугольный, съ черными кантами и съ кистью, на манеръ польской шапки, свѣсилъ на-бокъ и къ задѣ заломленъ по-псарски, съ синимъ суконнымъ же околышемъ и большимъ козыремъ, посредникъ надтреснутымъ. Изъ-подъ козыря выглядываетъ сухощавое, овальное лицо, кожей бѣлое, безъ бороды и съ чуть замѣтнымъ пушкомъ на верхней губѣ. Носъ у него немного вздернутъ, съ нѣжными ноздрами; каріе большіе глаза смотрятъ мягко и вдумчиво; русые, засвѣтлѣвшіе отъ солнца плоскіе волосы падаютъ двумя широкими прядями на уши. Парень этотъ въ плечахъ узковать и держится немного сутуло. Роста онъ средняго и несовсѣмъ еще сложился. Штаны болтаются у него на худощавыхъ ногахъ.

II.

— Дядя Иванъ,—сказалъ напряженнымъ голосомъ молодой парень и вынулъ мѣшалку изъ горшка,—поди, довольно...

— Нѣтъ, Андрюха, накинь пойдеть,—прошамкалъ безъ зубовъ старый псарь.

Его Андрюшка звалъ всегда „дядя Иванъ“, а на деревнѣ, во дворѣ и остальные псары звали его „Михѣичъ“. Андрюшка говорилъ съ нимъ громко. Михѣичъ былъ тугъ на одно ухо и уже лѣтъ больше десяти въ псаряхъ не ѣздилъ, а состоялъ собачьимъ „кухмистеромъ“.

— Больше какъ минутъ пятнадцать не слѣдь,—выговорилъ молодой псарь убѣжденнымъ голосомъ.

— Кто тебѣ сказывалъ?

— Егеръ Василій въ книжкѣ читалъ. Четверть часа варить, говорить, отъ двухъ штофовъ.

— Ладно,—подмигнулъ Михѣичъ и сдѣлалъ затяжку.— Двадцать годовъ знаю препорцію. А ты, Андрюха, больно мудришь, я погляжу.

Оба опять помѣшали жидкость. Они варили въ горшкѣ корень бѣлаго чемеричника. Около Михѣича, на земляномъ полу, въ тряпкѣ, лежитъ что-то бѣлое, въ кускахъ, и порошокъ желтаго колера. Эти снадобья—поташъ и сѣрная печень. Вотъ они процѣдятъ сѣвзозъ тряпицу въ другой горшокъ, пониже и покруглѣе, и всыплютъ туда оба снадобья, послѣ того поставятъ на золу и будутъ помѣшивать, а потомъ остудятъ.

Михѣичемъ держится не только вся кухня, но и аптека для борзыхъ и гончихъ. Какъ сойдетъ снѣгъ, вплоть до первой пороши, онъ ходитъ по оврагамъ и полямъ, по лѣсамъ и перелѣсьямъ и своими подслѣповатыми глазами ищетъ травъ и корешковъ. Онъ же покупаетъ лѣкарство въ москательномъ ряду. Доѣзжачій денегъ ему не даетъ, пропиваетъ, хоть и ставитъ на счетъ барину. Михѣичу остаются кости отъ лошадиныхъ тушъ, да и то не всѣ. Торговцы-„кошатники“ покупаютъ кости вмѣстѣ со шкурой—и вотъ на эти гроши Михѣичъ раздобудетъ поташу, сѣры, бакуна, скипидара, всего, что нужно для частныхъ собачьихъ болѣзней.

Андрюшка долгіе годы водится съ Михѣичемъ, научился отъ него, какъ что варить, знаетъ, какъ звать всякую траву, что давать щенкамъ и осенистымъ псамъ, умѣетъ распо-

знавать болѣзни, отличать одну накожную нечисть отъ другой. Только съ нѣкоторыхъ поръ Михѣичъ немного обижается, что его выученикъ началъ его самого поучивать, хотя и почтительно. Михѣичъ грамотѣ не обученъ, а Андрюшка добывалъ какія-то книжки и оттуда вычитывалъ разные рецепты... То у него не такъ, другое, и „препорція“ не та, а иного и совсѣмъ не надо. Но мягкая душа Михѣича не способна на окрикъ, на злобное чувство. Онъ любитъ своего Андрюху. Вотъ, на-дняхъ еще, приступилъ онъ къ варкѣ „дегтярной смазки“, такого же цѣлебнаго средства, какъ и то, что они варятъ теперь—отъ коросты. Михѣичъ начинаетъ этой варкой свой псарный годъ... Онъ священнодѣйствуетъ. Выберетъ онъ хорошій, поливной горшокъ, не поскупится и гривну за него дать, чтобы мурава была густая, темная, чтобы звонъ шелъ отъ горшка, когда его шелкнешь. Приготовить онъ и клейстеръ—замазать крышку, когда все будетъ положено, и печь въ псарной избѣ вытопить особенно, и припасетъ всѣ снадобья... Вотъ и въ этомъ году такимъ же порядкомъ все изготавилъ. Такъ и тутъ Андрюшка почалъ умищать.

— Дядя Иванъ,—говорить,—на коровьемъ маслѣ мягче будетъ.

А испоконъ вѣку Михѣичъ бралъ свиное сало. И виданое ли дѣло мастерить смазку на коровьемъ маслѣ?.. Не послушался! Деготь тоже, по Андрюшкину толкованію, надо было развести въ молокѣ—„на-ко поди!“—и въ препорціи яри-мѣдянки, сѣры и квасцовъ они поспорили. Однако, Андрюшка уступилъ. Онъ всегда уступалъ Михѣичу.

III.

Михѣичъ, послѣ варки снадобья отъ коросты, пошелъ на скотный дворъ, гдѣ у него въ стрипухахъ жила своя ченица. Онъ наказалъ Андрюшкѣ присматривать за копченьемъ „собачьей ветчины“. Коптили послѣднюю весеннюю порцію въ этомъ году—до наступленія осени. Зачастили теплые дни. Черезъ двѣ недѣли перестанутъ подмѣшивать къ овсянкѣ копченую конину вплоть до осени; но запастись ветчиной надо будетъ и лѣтомъ.

Андрюшка вышелъ изъ кухни, снялъ на минуту картузь, потянулся—и пошелъ, не спѣша, къ псарнѣ. Псарный дворъ стоитъ подъ горой, саженьяхъ въ пятидесяти

отъ кухни, на томъ же берегу рѣчки. Онъ построенъ былъ заново — старый сгорѣлъ, когда Андришку взяли изъ деревенскихъ дворовыхъ на псарню, лѣтъ шесть тому назадъ. Изба, въ три окна, съ жильемъ подъ крышей, раздѣляетъ два двора; лѣвѣе — большой дворъ идетъ въ гору крутой покатошью. Тутъ держать гончихъ и борзыхъ собакъ, кромѣ барскихъ. Дворъ замыкается сверху длиннымъ срубомъ, со скошенной крышей. Въ немъ четыре закуты — двѣ для гончихъ, двѣ для борзыхъ. Справа отъ избы дворикъ съ двумя закутами для суекъ въ разводкѣ и для щенковъ. Дворикъ этотъ на ровномъ мѣстѣ. Въ избѣ Андришка живетъ вмѣстѣ съ доѣзжачимъ и другими псаремъ. Доѣзжачій помѣщается съ весны въ горницѣ, а они оба въ избѣ. Михѣичъ спитъ зимой на полатахъ, а съ весны перебирается въ свою свѣтелку подъ крышу. Случается ему частенько заснуть и въ кухнѣ.

Андришка подошелъ къ избѣ и сѣлъ на заваленку. Ходъ на псарный дворъ сбоку, черезъ калитку. Въ избу проходить надо дворомъ, подъ навѣсъ, направо, гдѣ стоятъ корыта для обѣденнаго корма стаи и борзыхъ. Калитка не запирается снаружи. Она держится за щеколду. Собаки выпущены изъ закутъ. Слышно и снаружи, за высокимъ тесовымъ заборомъ, какъ онѣ ходятъ по двору, звизгиваютъ, зѣваютъ.

Только что сѣлъ Андришка, на дворѣ зарычала одна собака, потомъ вышла схватка. Андришка снялъ арапникъ, висѣвшій всегда на деревянномъ крючкѣ, у калитки, отворилъ ее очень быстро, переступилъ высокій порогъ и сталъ лицомъ къ стаѣ, опершись о бревно забора, хлопнулъ арапникомъ звонко и съ какимъ-то особеннымъ раскатомъ и высокимъ, нервнымъ голосомъ крикнулъ:

— На мѣста!..

Гончія были выпущены вмѣстѣ съ борзыми. Онѣ держались нѣсколько особо, къ навѣсу отъ забора — съ другой стороны двора, и по привычкѣ своей сбились въ кучу. Борзые лежали вразсыпную, лѣвѣе отъ калитки, а также на помостѣ вдоль закутъ, на мосткахъ, положенныхъ внизъ отъ помоста, и въ самыхъ закутахъ — кто позябче и полѣннѣе.

Стая гончихъ была слишкомъ въ двадцать смычковъ. Посрединѣ помѣщались всегда старые выжлецы и выжловки — крупнѣе и лучше стѣтами, настоящей „костром-

знавать болѣзни, отличать одну накожную нечисть отъ другой. Только съ нѣкоторыхъ поръ Михѣичъ немного обижається, что его выученикъ началъ его самого поучивать, хотя и почитательно. Михѣичъ грамотѣ не обучень, а Андрюшка добывалъ какія-то книжки и оттуда вычитывалъ разные рецепты... То у него не такъ, другое, и „препорція“ не та, а иного и совсѣмъ не надо. Но мягкая душа Михѣича не способна на окрикъ, на злобное чувство. Онъ любитъ своего Андрюху. Вотъ, на-дняхъ еще, приступилъ онъ къ варкѣ „дегтярной смазки“, такого же цѣлебнаго средства, какъ и то, что они варятъ теперь—отъ коросты. Михѣичъ начинаетъ этой варкой свой псарный годъ... Онъ священнодѣйствуетъ. Выберетъ онъ хорошій, поливной горшокъ, не поскупится и гривну за него дать, чтобы мурава была густая, темная, чтобы звонъ шелъ отъ горшка, когда его щелкнешь. Приготовить онъ и клейстеръ—замазать крышку, когда все будетъ положено, и печь въ псарной избѣ вытопить особенно, и припасетъ всѣ снадобья... Вотъ и въ этомъ году такимъ же порядкомъ все изготавилъ. Такъ и тутъ Андрюшка почалъ умничать.

— Дядя Иванъ,—говорить,—на коровьемъ маслѣ мягче будетъ.

А испоконъ вѣку Михѣичъ бралъ свиное сало. И виданое ли дѣло мастерить смазку на коровьемъ маслѣ?.. Не послушался! Деготь тоже, по Андрюшкину толкованію, надо было развести въ молокѣ—„на-ко поди!“—и въ препорціи яри-мѣдянки, сѣры и квасцовъ они поспорили. Однако, Андрюшка уступилъ. Онъ всегда уступалъ Михѣичу.

III.

Михѣичъ, послѣ варки снадобья отъ коросты, пошелъ на скотный дворъ, гдѣ у него въ стряпухахъ жила свояченица. Онъ наказалъ Андрюшкѣ присматривать за копченьемъ „собачьей ветчины“. Коптили послѣднюю весеннюю порцію въ этомъ году—до наступленія осени. Зачастили теплые дни. Черезъ двѣ недѣли перестанутъ подмѣшивать къ овсянкѣ копченую конину вплоть до осени; но запастись ветчинну надо будетъ и лѣтомъ.

Андрюшка вышелъ изъ кухни, снялъ на минуту картузъ, потянулся—и пошелъ, не сѣша, къ псарнѣ. Псарный дворъ стоитъ подъ горой, саженахъ въ пятидесяти

отъ кухни, на томъ же берегу рѣчки. Онъ построенъ былъ заново — старый сгорѣлъ, когда Андришку взяли изъ деревенскихъ дворовыхъ на псарню, лѣтъ шесть тому назадъ. Изба, въ три окна, съ жильемъ подъ крышей, раздѣляетъ два двора; лѣвѣе — большой дворъ идетъ въ гору крутой покатошью. Тутъ держать гончихъ и борзыхъ собакъ, кромѣ барскихъ. Дворъ замыкается сверху длиннымъ срубомъ, со скошенной крышей. Въ немъ четыре закуты — двѣ для гончихъ, двѣ для борзыхъ. Справа отъ избы дворикъ съ двумя закутами для сукъ въ разводкѣ и для щенковъ. Дворикъ этотъ на ровномъ мѣстѣ. Въ избѣ Андришка живетъ вмѣстѣ съ доѣзжачимъ и другимъ псаремъ. Доѣзжачій помѣщается съ весны въ горницѣ, а они оба въ избѣ. Михѣичъ спитъ зимой на полатяхъ, а съ весны перебирается въ свою свѣтелку подъ крышу. Случается ему частенько заснуть и въ кухнѣ.

Андришка подошелъ къ избѣ и сѣлъ на заваленку. Ходъ на псарный дворъ сбоку, черезъ калитку. Въ избу проходить надо дворомъ, подъ навѣсъ, направо, гдѣ стоятъ корыта для обѣденнаго корма стаи и борзыхъ. Калитка не запирается снаружи. Она держится за щеколду. Собаки выпущены изъ закутъ. Слышно и снаружи, за высокимъ тесовымъ заборомъ, какъ онѣ ходятъ по двору, звизгиваютъ, зѣваютъ.

Только что сѣлъ Андришка, на дворѣ зарычала одна собака, потомъ вышла схватка. Андришка снялъ арапникъ, висѣвшій всегда на деревянномъ крючкѣ, у калитки, отворилъ ее очень быстро, переступилъ высокій порогъ и сталъ лицомъ къ стаѣ, опершись о бревно забора, хлопнулъ арапникомъ звонко и съ какимъ-то особеннымъ раскатомъ и высокимъ, нервнымъ голосомъ крикнулъ:

— На мѣста!..

Гончія были выпущены вмѣстѣ съ борзыми. Онѣ держались нѣсколько особо, къ навѣсу отъ забора — съ другой стороны двора, и по привычкѣ своей сбились въ кучу. Борзые лежали вразсыпную, лѣвѣе отъ калитки, а также на помостѣ вдоль закутъ, на мосткахъ, положенныхъ внизъ отъ помоста, и въ самыхъ закутахъ — кто позябче и полѣннѣе.

Стая гончихъ была слишкомъ въ двадцать смычковъ. Посрединѣ помѣщались всегда старые выжлецы и выжловки — крупнѣе и лучше стѣтами, настоящей „костром-

ихъ, перепутавшись мордами и ногами, полулежали, сидѣли и стояли собаки постарше. Рѣже одна отъ другой держались молодые гончарки, нюхали, чесались, крутили хвостами, взглядывали на Андрюшку.

Онъ глядѣлъ на стаю, и между нимъ и всѣми этими псами чувствовалась связь. Стая знала его гораздо больше, чѣмъ самого доѣзжачаго. Только арапникъ удерживалъ. А то бы они сейчасъ облѣпили его и принялись бы ласкать

V.

Да, хорошо знаетъ ихъ Андрюшка. И соперничество Вопилъ съ Набатою заприимѣтилъ онъ первый... Вонъ юлитъ хвостомъ муругая молодая выжловка Скрипка... За ней водятся грѣшки. Воровата, поровитъ ухватить лишній кусокъ изъ овсянки, таскаетъ въ закуту разную дрянъ, а въ острову гонить противъ слѣда—„въ пятку“, безъ толку горлится и взвизгиваетъ. „Идти на кругахъ“—мастеръ молодой выжлецъ, Замарай; но отбойчивъ, послѣднимъ выбѣжитъ на опушку, когда въ два рога трубятъ сборъ. И до женскаго пола—очень ужъ охочъ. Двѣ сестры-однопометницы—Волторка и Докука, сиротливыя выжловки, но ладныя, хорошо одѣты и горячи въ острову, держатся вмѣстѣ, часто играютъ, лижутъ одна другую. И хворы: то шелудь, то посца, то натеку въ сгибахъ ногъ. Возишься съ ними и зиму, и лѣто. Доѣзжачій хотѣлъ давно на осину, да баринъ не приказываетъ. И всѣ клочки слились для Андрюшки съ собаками. Каждое слово приняло въ глазахъ его образъ, цвѣтъ, стати, примѣты. Спроси его теперь баринъ или какой сторонній посѣтитель, и сряду, и въ разбивку, онъ не забудетъ ни одного имени. Половина стаи воспиталась на его рукахъ. Онъ помнитъ вонъ того верзилу—Капарея слѣпымъ щенкомъ, и Красавку—первую выжловку въ стаѣ—какъ ей зашибло лапу по четвертому мѣсяцу, и они съ Михѣичемъ мастерили ей перевязку въ лубкахъ.

И натерпѣлся же онъ съ этими клочками. Не сразу онѣ ему дались. Онъ, мальчикомъ, путалъ борзые клочки съ гончими, называлъ Кндаемъ Громилу, а Рѣззу Овсянкой. Иныя имена до году не давались ему. Околѣлъ недавно выжлецъ Зепало. Никакъ онъ не могъ его выговорить: то Запало скажетъ, то Жепало. А доѣзжачій сейчасъ—въ зубы. Михѣичъ научилъ его лечь на печи, глаза

зажмурить и говорить сначала подь рядъ клнчки и чтобъ собаку сейчасъ увидать передъ собой, какъ живую, а тамъ—съ разбивку. Вотъ, бывало, и лежитъ такъ Андрюшка, или лѣтомъ въ овражѣ, за кустами черемухи, и шепчетъ:

— Соловей, Замысль, Смотрокъ, Бүшуй. Соловка, Тревога, Фильтра, Угрюма, Шельма.

Такимъ же точно манеромъ и борзыхъ:

— Подаръ, Красай, Побѣждай. Досада. Пальма, Обида, Бритва, Отлика, Вьюга...

Борзыхъ, которыя содержались на псарномъ дворѣ, онъ долженъ былъ также знать поодиначкѣ. Ихъ никогда не держали больше двадцати штукъ. Борзятниковъ, изъ дворовыхъ, ѣзжало человѣка четыре, кромя стремянного. Каждому полагалось по двѣ собаки, а третью они заводили отъ себя, вымѣнивали, получали въ подарокъ, какъ бы тайкомъ отъ барина, всегда почти рѣзвыхъ, но съ плохими стѣями. Держать ихъ и кормить не приказывали на псарнѣ; но баринъ не досмотритъ, а доѣзжачему—полистофа водки.

И этихъ незаконныхъ собачонокъ любилъ Андрюшка... Къ борзымъ щенкамъ у него даже какъ-то больше было жалости, чѣмъ къ гончимъ... Хотя онъ и не ѣзжалъ съ борзыми, но каждая собака знала его. Вотъ и теперь: онъ всѣ потянулись къ нему, вразсыпную. Смѣлѣе другихъ оказалась сѣрая, полукучная сучка—Отрада—изъ крынокъ, ходившая со стремяннымъ. Она подошла къ Андрюшкѣ, завиляла своимъ смѣшнымъ, короткимъ хвостомъ и лизнула языкомъ. Онъ позволилъ ей, и только когда Отрада подумала было стать на заднія лапы—дать на нее окрикъ, хлопнулъ еще разъ арапникомъ и повернулся къ калиткѣ, бросивъ взглядъ на борзыхъ. Половина ихъ лежала въ закутѣ... Въ углу, у забора, сидѣлъ половой, псовый борзой—съ тонкимъ щипцомъ и глазами точно сливы—молодая, веселая собака. Онъ подвѣлъ уши и воззрился на псаря. Андрюшка обернулъ голову, прихвѣтилъ его и окликнулъ:

— Похвалушка!.. О-го-го!..

Похвалъ рванулся: но калитка захлопнулась за Андрюшкой. Стая расплылась. Тотчасъ же прошло въ ней мгновенное напряженіе. Много собакъ легли и задремали; другія стали бродить по двору. Ланати воду изъ небольшого корытца, перебѣгали изъ одной закуты въ другую.

VI.

Андрюшка сѣлъ опять на заваленку. Передъ нимъ, много лѣтъ, открывалась дорога по той сторонѣ рѣчки и на изволкѣ, покрытомъ зеленью, церковь села Оедякова — казеннаго села, гдѣ стояли солдаты. Отъ псарни до Оедякова съ версту; но съ заваленки видна только колокольня съ зеленой крышей. Прямо, на широкомъ склонѣ, въ озимяхъ и яровой паши — два лѣска, куда весной ѣздить иногда со стаей, для напуска и натаскиванья молодыхъ собакъ. Оба лѣска — ядренные, больше изъ осинника, черемухи и орѣшника. Правѣе, выше обоихъ острововъ, изъ-за синяго сосноваго бора выставляется еще церковь — приходъ деревни, гдѣ родился Андрюшка... Боръ тоже казенный... До него версты четыре. Туда ѣздить только осенью. Онъ идетъ на десять верстъ. Въ немъ до сихъ поръ случается гонять „по красному звѣрю“. Подъ горой, за поворотомъ, гдѣ идетъ къ барской усадьбѣ крутая дорога отъ моста, — прудъ и кругомъ овражистая рощица — вся дубовая, съ ручьемъ въ глубинѣ... Оттуда Андрюшка каждый годъ носитъ ежей; водятся тамъ и змѣи, но онъ ихъ не боится. На днѣ ручья лежитъ много „опоки“, глинистаго, мягкаго камня. Изъ него вырѣзываетъ онъ трубки и разныя штучки, печатки, въ зимнее время...

Андрюшка сѣлъ на заваленку и прищурился отъ солнца. Изъ кухни все еще шелъ дымъ. Андрюшка все въ точности исполняетъ то, что ему скажетъ Михѣичъ... Только не любитъ онъ сидѣть сложа руки и къ табаку у него нѣтъ пристрастія. Но ему всегда пріятно поглядѣть на стаю. Точно всѣ эти собачьи морды сродни ему. И это чувство зародилось въ немъ не сразу. Онъ, мальчикомъ, ругался: „песъ, собачій сынъ, поганая морда!“ Щенковъ и ему случалось бить, топить, мазать имъ скипидаромъ носъ. Вплоть до того времени, какъ сталъ онъ ѣздить настоящимъ псаремъ, — не было въ немъ теперешней жалости къ псамъ. Входилъ онъ въ охотничій вкусъ, сталъ различать ладныхъ собакъ отъ плохихъ, похваливать ихъ голосъ, чутье, смѣтку, но все-таки смотрѣлъ на нихъ такъ же, какъ и другіе псаря, какъ и доѣзжачій.

— Нешто у нихъ есть душа? — говаривалъ онъ.

И Михѣичъ, — на что уже мягкій старикъ, — и тотъ отвѣтитъ:

— Души у пса захотѣлъ!

Но разъ, на отъѣзжемъ полѣ, въ обѣденный перевалъ, случилась самая простая вещь, а глубоко запала въ чуткое сердце Андрюшки.

Какъ онъ сядетъ такъ вотъ одинъ, безъ дѣла, по-думаетъ о собакахъ, ему сейчасъ и представится этотъ случай.

VII.

Осень. Полянка—перелѣсокъ между двумя островами—вся свѣтится отъ желтаго и краснаго листа опушекъ. День ясный, чуть-чуть морозецъ, утренникъ былъ славный. До завтрака, въ одномъ острову, позади, гнали важно... На барина поставили шестерыхъ матерыхъ русаковъ... Начуяли и по красному звѣрю, да увильнула лиса. Послѣ завтрака перешли въ другой островъ, густой осинникъ и дубникъ, а листъ еще не опалъ; черезъ островъ идетъ оврагъ... Сначала гнали какъ слѣдуетъ... Андрюшка и другой выжлятникъ, Степанъ Рябовъ, не больше какъ минутъ пять и порскали всего. Доѣзжачій—онъ накатунѣ сильно урѣзалъ—наскочилъ на оврагъ; лошадь подъ нимъ была башкирская, бѣшеная, да вдобавокъ кривая—прямо бултыхъ, и изъ сѣдла вонъ... Стая замѣшалась; по горячему урвались за передовымъ собакъ десять; прочія стали рыскать, тявкать, пошли гнать въ пятку. Андрюшка ѣздилъ по лѣвую руку отъ доѣзжачаго и ничего сразу не увидалъ... Онъ же его нашель, въ оврагѣ, совсѣмъ разбитаго, посадилъ въ сѣдло. Скулу себѣ доѣзжачій подбилъ, одну штанину распоролъ до колѣнъ. Надо было мигомъ перехватить стаю, чтобы не пустить тѣхъ, что погнали по горячему, на опушку. На это Сенька—чортъ! Какъ только очутился въ сѣдлѣ, сейчасъ стремглавъ по какой хочешь чащѣ: канава ли, оврагъ ли цѣлый—все едино! Однако, не перехватилъ. Баринъ осерчалъ сильно... Затрубили сборъ, начуяли опять, работа пошла хорошая... Поставили до пятнадцати зайцевъ, да только все охотникамъ-борзятникамъ, а не барину. Поваръ Михайлъ Ивановичъ двухъ русаковъ затравилъ, Павлу-сапожнику—на что ужъ шалый—и тому парочка матерыхъ досталась, Егоръ—хоть и слѣпой—добрыхъ бѣляковъ штуки три всторочилъ. А на барина, какъ ни бились, кромѣ двухъ паршивенькихъ бѣлячковъ, ничего не поставили... Да и то одинъ ушелъ...

Бѣда!.. Привалъ назначенъ былъ на перелѣсъ... Выѣхали. Половины стан нѣтъ—стомилаь, горячо больно гнала спервоначалу, а потомъ и расплзлась. На изволкѣ, у полевыхъ дрожекъ, „камардинъ“ Гриша хлопочетъ во кругъ обѣда съ пузатымъ Михайломъ Ивановичемъ... Баринъ слѣзъ съ лошади,—Пулька прозывается,—не погладилъ ее, собакамъ прикормки не бросилъ, окрикъ далъ на стремянного Ѳедотку и пошелъ къ стаѣ. Картузъ на немъ высокій, блиномъ, поднялся на лбу; длинный казачинъ на лисьемъ мѣху перетянутъ шелковымъ кушакомъ, кинжалъ блеститъ за кушакомъ, арапникъ держитъ за рукоятку изъ козей ноги. Доѣзжачій съ Степаномъ Рябовымъ трубятъ сборъ. Трусятъ съ опушки отсталыя и разметавшіяся по острову гончарки. Андрюшка стоитъ поодаль... Видитъ онъ, съ какимъ лицомъ подходитъ баринъ къ доѣзжачему. Вотъ онъ совсѣмъ плотно подошелъ къ нему и поднялъ ту руку, которая арапникъ держитъ. И доѣзжачій, и выжлятникъ перестали трубить.

— Что ты!..—заслышался глухой, шамкающій голосъ барина.

Сенька что-то буркнулъ и попятился назадъ.

— Молчать!

Рука барина, поднятая надъ головой Сеньки, дрогнула въ воздухъ и спустила сложенный арапникъ на лѣвую щеку доѣзжачаго. Андрюшка стоялъ ни живъ, ни мертвъ. Губы у него тряслись. Но глаза упали тотчасъ же на стаю... Она вся подобралась и плотно окружила Сеньку. Андрюшка зналъ, какъ она слушается доѣзжачаго. Стоило ему гаркнуть—и барина разнесли бы въ клочья... Попробуй, гаркни!.. Арапникъ еще нѣсколько разъ опустился на подбитую скулу и багровую щеку Сеньки. Онъ только моталъ головой въ другую сторону и шурился. У Андрюшки кровь бросилась въ лицо. Весь онъ пылалъ.

Глянулъ онъ направо, налѣво—видитъ: Гриша-камардинъ пересмѣливается съ поваромъ, и оба киваютъ на Сеньку,—такъ, тебѣ и надо, собачьему сыну; Бога благодарить, что всю скулу тебѣ баринъ не своротилъ. Слуцись съ Андрюшкой такая же бѣда, они бы и надъ нимъ издѣвались. А все равно „холопы“, какъ и онъ. Вотъ подай барину этотъ самый Гриша тарелку не съ той руки, и ему отвѣдать арапника... Безстыжіе люди!.. Хамы безсердечные!.. Положимъ, доѣзжачій—самъ тоже „сахаръ“,

и овсянку воруетъ, и щенятъ на-сторону продаетъ, и пьянствуетъ. Да сегодня-то онъ ни въ чемъ не повиненъ. Свалился въ оврагъ отъ горячности, не поставилъ на барина матерыхъ русаковъ—такъ нешто это возможно по заказу?..

Нудно и боязно Андрюшкѣ... Онъ самъ зажмурился. Ему слышенъ шелкъ ударовъ арапника. Раскрылъ онъ глаза, а стоя вся уже въ сборѣ и еще плотнѣе прикучилась къ доѣзжающему. Сенька отводитъ голову отъ ударовъ барина, правая его рука держитъ красный картузь, а лѣвая—большой витой арапникъ. И къ нему съ обѣихъ сторонъ, отдѣлившись маленько отъ прочихъ собакъ, подползли двѣ гончарки—старый кобель Гаркало, муруго-пѣгій, съ большой головой, злобный песъ, и ласковая чуткостая выжловка—Замчишка... Обѣ лижутъ ему руки и озираются на барина...

Андрюшку мигомъ индо слеза прошибла. Собаки, нечистые псы, и такую жалость имѣютъ!.. Нѣтъ, вретъ Михѣичъ, не паръ у нихъ, а тоже душа, хоть и не чловѣчья!.. Эти двѣ гончарки только и учуяли, каково Сенькѣ подъ ударами арапника по голой щекѣ.

Съ той самой поры сталъ Андрюшка совсѣмъ по-другому смотрѣть на пса. И старыя собаки, и щенки полюбились ему. Какъ только какую-нибудь изъ гончихъ или борзыхъ за старостью и болѣзнями прикажутъ вздернуть или щенятъ-однопометниковъ, отобравъ попородистѣе,—остальныхъ въ рѣку тонить,—у Андрюшки сверлитъ подъ ложкой, въ головѣ мутить, сверно ему цѣлыхъ два дня...

VIII.

Вешній легкій вѣтерокъ потянулъ ему въ лицо. Онъ снялъ опять картузь, сладко зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ и вдохнулъ въ себя длинную струю воздуха. Грудь такъ легко дышится; во всѣхъ суставахъ истома. Андрюшка закинулъ немного назадъ голову, выпрямилъ грудь и пустилъ высокой фистулой:

— А-га-га-га!..

По шестнадцатому году объявилась у него особая способность. Онъ началъ выдѣлывать голосомъ родъ трели на самыхъ высокихъ нотахъ. Это еще покойный Гайновъ—доѣзжачій—пазывалъ „колокольчикомъ порскать“. За „колокольчикъ“ баринъ его отличалъ, два раза день-

гами дарилъ, сапоги далъ не въ примѣръ прочимъ псарямъ. Три года голосъ у Андрюшки все такой же высокій былъ. Навострился онъ разнымъ штукамъ выдѣлывать — и такъ, и этакъ. Баринъ стоитъ у лаза съ борзыми — и только бросить гончихъ въ островъ, сейчасъ прислушаться начнеть къ Андрюшкину „колокольчику“. Помнить Андрюшка, какъ старикъ Гайновъ крикивалъ, подбочившись въ сѣдлѣ и заломивъ картузь на ухо, маленько подъ хмелькомъ:

— Дочуй, собаченьки, дочуй!

Въ самый разъ умѣлъ онъ такъ же кричать, хоть это и не его было дѣло, а доѣзжачаго.

Но вотъ прошлой осенью перехватило ему горло: въ отъѣзжемъ полѣ продрогъ на ночлегъ... Колокольчикъ уже не тотъ вышелъ. Барину-то въ первый день еще невдомекъ было, а потомъ онъ и говорить:

— Андрюшка, гдѣ же голосъ-то у тебя?.. Пропиль, что ли?

Зимой простудился шибко, въ жару больше недѣли лежалъ. Михѣичъ лѣчилъ. А потомъ въ горлѣ нарывъ душилъ его, насилу лопнулъ. Поправлялся туго, однако, къ посту оправился какъ слѣдуетъ... И стало его раздумье брать; въ сумерки, лежа на полатяхъ царной избы, или проснувшись на разсвѣтѣ... Не потерять бы ему своего колокольчика. Что тогда будетъ? Силъ у него немного, ѣздить хоть и бойко, но устаетъ куда раньше, не то что доѣзжачаго Сеньки, но и пожилого Степана Рябова... Погонять его, приставить къ коровнику... А ему съ собаками разстаться больно жутко будетъ... И на псарнѣ ему любо, и въ острову. Да и какъ онъ станетъ порскать безъ своего колокольчика?..

Страшно ему было пытаться свой голосъ: остался у него колокольчикъ или нѣтъ?.. Такъ и не пыталъ вотъ до этой минуты...

Андрюшка пустилъ сначала:

— А-га-га!..

Звукъ былъ грудной, гуще прежняго, шелъ изъ самаго пупа. Точно будто не его голосъ... А для порсканья хорошъ...

Онъ крикнулъ, немного приподнявшись:

— Вались, миленькія, вались!..

И это вышло ладно. Андрюшка всталъ, повернулся

влѣво, полузакрывъ глаза, ладонь правой руки приложилъ къ уху и хотѣлъ зажаться...

Но колокольчика не вышло... Трель на самыхъ высокихъ нотахъ оборвалась. Нѣсколько потоковъ выскочило и потомъ вдругъ сипѣ. Даже крикнуло въ горлѣ.

Оторопѣлъ Андрюшка. Потъ у него выступилъ по всему лбу. Онъ спустился на заваленку, руки у него упали на колѣна разомъ, на рѣсницахъ блеснули слезы. Нѣтъ больше колокольчика! Печѣмъ тѣшить барина. Теперь онъ заурядный псарь... Для другого и простого порсканья достаточно, а отъ него будутъ требовать прежней голосовой удали.

Солянце ударило ему прямо въ лицо и заиграло на влажныхъ рѣсницахъ. Андрюшка долго плакалъ.

IX.

На „псовищѣ“ для маленькихъ щенятъ—около барскихъ амбаровъ, противъ скотнаго двора—по зеленой муравѣ играетъ штукъ пятнадцать щенковъ, борзыхъ и гончихъ. Имъ срублена тутъ же и закута. Держать ихъ особо отъ псарни. Нужно имъ изъ-подъ крутой горы кормъ каждый день таскать.

Посрединѣ псовища, обнесеннаго частоколомъ, большое корыто съ водой, подъ развѣсистой липкой; одна всего липка и растеть. Двѣ другихъ не принялись—завили. Стоитъ жаркій день. Щенатамъ прохладно въ тѣни. Они всѣ ранняго помета... Гончихъ больше, чѣмъ борзыхъ. Бѣгаютъ они по псовищу, лапы расплзаются у нихъ; они шлепаются, грызутся.

Въ калитку вошелъ Андрюшка. Это было утро, часу въ девятомъ. Ему доѣзжачій приказалъ быть у щенятъ и ждать его. Надо отобрать самыхъ ладныхъ и вести на показъ барину. Онъ назначить клички, по своему списку; плохихъ утопить. Доѣзжачему, быть-можетъ, удастся продать и на-сторону.

Андрюшка загорѣлъ. Усы у него замѣтнѣе пробиваются. Онъ уже раза два брился съ тѣхъ поръ, какъ господа переѣхали на лѣто въ усадьбу. Боялся онъ шибко прѣзда барина. Порскать „колокольчикомъ“ онъ окончательно не могъ. Михѣичъ ему и полосканье давалъ, на меду, съ шалфеемъ. Только и ждалъ Андрюшка: вотъ велѣтъ сѣдлатъ—поблизости напустить гончихъ въ островъ, послушать барину, какъ патасканы молодые собаки...

Прошли двѣ-три недѣли. Около Петрова дня—приказъ: раннимъ послѣобѣдомъ сѣдлатъ. Баринъ выѣхалъ на полевыхъ дрожкахъ, верхомъ не садился, и борзыхъ при немъ не было. Добѣзжавій даже сказывалъ Андрюшкѣ, что въ баринѣ охота какъ будто слабѣетъ. Съ докладомъ, по-прежнему, ходилъ къ нему Сенька, передъ старостой, въ сумерки; однако, противъ прежняго, нѣтъ господскаго окрика, не спрашиваетъ про многое, въ кличкахъ сталъ путаться.

Бросили гончихъ, начали порскать. Андрюшка голосомъ пустилъ во всю глотку; по колокольчиномъ и не пытался. Стая валилась ладно, молодая гончарки перечили мало, дружно донимали, двухъ бѣляковъ „на щипцѣ держали“. И лай у иныхъ объявился заливистый и густой. Когда выѣхали и затрубили сборъ, баринъ сошелъ съ дрожекъ и оглядѣлъ молодыхъ собакъ. Андрюшкѣ ничего не сказаль. Точно и забылъ совѣтъ, какимъ онъ голосомъ прежде порскалъ.

На душѣ отлегло съ тѣхъ поръ. Но сталъ чутъ Андрюшка, что всему псарному дѣлу словно конецъ приходитъ. Сенька еще пуще запьянствовалъ, случалось и овсянку пропивать. Вотъ и теперь—надо вести щенятъ на показъ барину, а у нихъ у всѣхъ животы раздуло. На нихъ отпускался полуситный хлѣбъ и студень изъ бараньихъ ногъ; все это Сенька прикарманивалъ и овсянку, никуда не годную, приказывалъ замѣшивать. Съ нимъ въ стачкѣ ключникъ; Михѣичъ сколько ворчалъ, жаловаться собирался идти къ барину, однако, не сунулся.

Въ гончихъ щенятахъ намѣтилъ Андрюшка одного кобелька—мурѹго-пѣгаго, отъ Вопилы и Румянки. Славная собака выйдетъ. Сенькѣ онъ не показался. А Андрюшка съ Михѣичемъ ему ребра щупали, затылочную кость,—она торчитъ и желобочекъ есть посрединѣ. Михѣичъ искалъ „крючка“ на большемъ ребрѣ; не нашель. Барину ни въ какомъ случаѣ нельзя такого щенка показывать. Онъ изъ „арликановъ“ будетъ: одинъ глазъ темный, а другою бѣлесоватый—„сывороточный“.

Щенокъ вотъ для чего понадобился Андрюшкѣ. Давно ужъ онъ водилъ знакомство съ ружейнымъ охотникомъ Васильемъ, изъ вольноотпущенныхъ. Еще мальчикомъ Андрюшка ему зайчатъ лавливалъ и по пятакъ продавалъ, ежей тоже, а потомъ они въ пріятельство вошли; иной разъ и уточку или чирковъ пару подарить Ан-

дрюшкѣ. Василій—бывшій выѣздной лакей, грамотѣ отлично знаетъ и есть у него книжка дареная, старинная: изъ нея онъ ужъ не одна разсказывалъ Андрюшкѣ про охоту, про звѣрей и птицъ, про болѣзни, про лѣкарства и про всякіе охотничьи снаряды и снасти. Вотъ изъ этой-то книжки павѣрняка и узнавалъ Андрюшка, отъ Василія, разныя разности и поправлялъ Михѣича. Но въ руки Василій книжки своей не давалъ.

На-дняхъ проходить мимо псарной избы, пробирается въ артемьевскіе луга; было это послѣ самаго Петрова дни; остановился, трубочки покурить, присѣлъ и говорить:

— Ты бы, Андрей Иванычъ, мнѣ щеночка хорошаго, изъ гончихъ кобельковъ, подсудобилъ, а то и парочку.

— Тебѣ для чѣго?—спрашиваетъ Андрюшка.

— Да хочу ихъ выдрессировать съ ружьемъ. Офицеръ есть въ батальонѣ, изъ чухонъ, изъ Финляндіи, оттуда за Петербургомъ, такъ у него смычокъ гончихъ есть. Ходятъ подъ ружьемъ. На зайца способны и на всякую лѣсную птицу... Можно, пожалуй, и на медвѣдя съ ними ходить.

Андрюшкѣ тутъ и пришла сильная охота выторговать себѣ за это ту книжку.

Онъ такъ и сказалъ Василію.

Тотъ ему въ отвѣтъ:

— Совсѣмъ не подарю—завѣтная. Такой не купишь. Ей чуть не сто лѣтъ; а на подержанье дамъ.

Такъ и поладили. Андрюшка выбралъ кобелька и подбиралъ выжловку. Въ первый разъ хотѣлъ онъ попользоваться щенятами. До тѣхъ поръ ни одной собачонки, ни одного щенка не стибрилъ, не продалъ на-сторону. Добѣзжачій бы только не надумалъ, что тутъ поживиться можно,—тогда не дать,—лучше утопить прикажетъ.

X.

Выбранный Андрюшкой щенокъ былъ такой же пузатый, какъ и прочіе. Онъ въ эту минуту игралъ съ гончаркой же отъ другого помета. Она была почти такой же шерсти, и тоже разноглазая. Вотъ ее-то бы и выпросить въ одинъ смычокъ съ кобелькомъ, для подарка Василію. Андрюшка подозвалъ ихъ, повалилъ на спину, пощупалъ у обоихъ щенковъ чутье, потрогалъ голову, лапы расправилъ,—какъ, молъ, будутъ держать зацѣпу: въ комкѣ,

или по-кошачьи... Оба щенка барахтались, немного огрызались, хватали его за руку острыми зубами. Морды ихъ — въ складкахъ — смотрѣли смѣшно и хмуро, уши падали впередъ, хвосты весело поднимались и двигались изъ стороны въ сторону. Въ умѣ Андрюшка перебиралъ клички. У него ихъ запасено довольно... Но ему хочется свою кличку дать, и кобельку, и сучкѣ... Скажетъ онъ Василию:

— Вотъ тебѣ смычокъ: Пискунъ и Смекалка.

Обѣ клички онъ самъ выдумалъ. Такихъ нѣтъ въ стаѣ. Да и надобли ему всѣ эти Громилы, Гаркалы, Вопилы, Соловки и Капарейки. Будь онъ баринъ или доѣзжачій такой, чтобы самому, безъ спроса, клички давать, онъ бы каждого щенка называлъ по складу и характеру: какія онъ стѣти выказываетъ и чего отъ него ждать въ острову. А то выходитъ частенько, что зовутъ иного выжлеца Помчило, а онъ „пѣшій“, на ноги тутъ, и слѣдовало бы его кликать Верзило, за ростъ за большой.

Борзые щенята облѣпили Андрюшку. Ихъ-то и нужно вести къ барину. А они—не въ приборѣ: шелудивы будутъ, сейчасъ видно; животы имъ разнесло еще пуще, чѣмъ у гончихъ, двое „боками посятъ“. Да и не отъ тѣхъ собакъ они, какъ бы слѣдовало. Сенька спяна „поблюлъ“ Азіата—изъ барской своры—съ Рѣзвой, а слѣдовало взять Зарѣзку—и баринъ такъ приказывалъ. Вотъ у щенятъ-то у всѣхъ, отъ этого помста, щипцы никуда и не годятся—„подузы“, задъ завалился, „черныя мяса“ плохи будутъ, уши, ровно у „крымокъ“, висятъ, не поднимаются, да и сидятъ низко. И „одѣты“ бѣдно: не то псовые, не то „хортые“—не разберешь. Дрянъ собачонки!

Все это обидно Андрюшкѣ. Переводятся ладныя собаки. Баринъ самъ въ дряхлость приходитъ, Сенька удержу себѣ не знаетъ: стыдъ потерялъ, курить и въ хвостъ, и въ голову, съ солдаткой изъ казеннаго села, пьянчужкой, связался. Прежде такой гадости не было, чтобы бабъ водить на ночь въ царскую избу; а теперь до поздней ночи гульба идетъ, по штофу вдвоемъ вытягиваютъ, гармоника, пѣсни безстыжія, сквернословіе, дерутся, на дворъ выбѣжала она, наемщица, въ одной рубахѣ, а Сенька за ней съ арапникомъ. Михѣичъ ужъ которую ночь въ собѣ чьей кухнѣ спитъ. И Андрюшкѣ мерзко. Онъ подъ крышу въ свѣтелку уходить, такъ и тамъ его мутитъ. Не любитъ онъ гульбы. Съ бабами онъ не возится. И помысловъ ему

такихъ не приходитъ. Иной разъ злость его разбереть. Сейчасъ бы вотъ и пошелъ къ барину.

— Ваше, молъ, превосходительство,—такъ и такъ. Все псовое дѣло идетъ въ раззоръ и половина стаи перепорчена. Ваша воля: коли я по злобѣ доношу, пускай мнѣ—лобъ!..

Да и совѣсть зазреть. Какъ пойдешь? Вопъ и Михѣичъ—на что ужъ душа его скорбитъ—не смѣетъ идти, да и не гожд. Коли такъ взять: Сенька все же свой братъ, псарь, при одномъ дѣлѣ состоитъ, доставалось ему не мало и арапника, и розогъ, и въ „трубной“ полгода выдержали, пожарнымъ.

Языкъ не поворачивается; да только и смотрѣть-то на него противно Андрюшкѣ, и говорить-то съ нимъ—индо въ горлѣ перехватываетъ.

XI.

Доѣзжачій сильно хлопнулъ калиткой, когда вошелъ. Сенька Пустарнакъ былъ лѣтъ на семь старше Андрюшки. У него лицо смуглое, самое псарское, со шрамомъ на лѣвой щекѣ, носъ широкій, съ горбомъ, темные усы онъ закручивалъ, брови густыя, вѣки всегда воспалены, подтеки на вискахъ; волосы сильно курчавятся. Во всемъ обликѣ удалство и загулъ, глаза точно подмигиваютъ, взглядъ ихъ то масляный, то наглый и злобный. Сенька и въ будни ходитъ въ старомъ парадномъ казакинѣ синяго сукна, изъ какого лакеямъ пьютъ фракы: воротникъ стоячій, выложенный кругомъ колечками изъ краснаго тонкаго шнура; красныя же суконныя „груды“ — все равно, что у казачковъ — съ четырьмя валиками; штаны такіе же, съ лампасами. Подпоясанъ онъ ремнемъ; на головѣ такой же картузъ, какъ и на Андрюшкѣ, — только доѣзжачій носить его, заломивъ назадъ. Отъ этого лицо у него выходитъ еще гулливѣе.

Андрюшка бросилъ щенятъ и крикнулъ на нихъ, завидѣвъ доѣзжачаго. Толстыя губы Сеньки разбухли. Онъ съ вечера пьянствовалъ. И какъ онъ это къ барину поидеть: правда, выснался, а все гарью отъ него изо рта отдаетъ.

— Какъ мы ихъ поволочемъ? — сердито спросилъ Пустарнакъ, и равнодушно оглядѣлъ щенятъ.

— Я, Семенъ Парменычъ, ремешковъ штуки три захватилъ,—отвѣтилъ Андрюшка не очень чтобы сладкимъ

голосомъ и полѣзъ рукой въ карманъ своихъ шароваръ.

— Передавишь... Гончихъ нечего водить. Такъ доложу...

— Раздуло брюхо-то больно борзымъ... и шелуди у двоихъ...

Сенька гнѣвно поглядѣлъ на псаря.

— А тебѣ какая сухота?

— Я для опаски, Семенъ Парменычъ, какъ бы, то-есть, генераль...

— Генераль, генераль!—передразнилъ его Сенька. — Что ты рыло-то свое суешь? Кто доѣзжачій-то: ты али я?

Андрюшка немного поблѣднѣлъ, но огрызаться на Сеньку ему не слѣдовало. У него же надо просить пару гончихъ щенковъ. Сенька серчалъ не на него, а чуялъ бѣду. Наканунѣ они съ ключникомъ поспорили. Воровали они вмѣстѣ. Тотъ клялся-божился извести его, хотя бы и себя загубить. Сдѣлаеть, ракали, горбатая ехидна! А тутъ еще у щенковъ пузо раздуло отъ скверной овсянки, вмѣсто ситнаго хлѣба со студнемъ.

Сенька тоже подумалъ, что ему не слѣдъ съ псарями грѣться; надо хоть съ ними ладить. Этакой вотъ, Андрюшка, даромъ что потихоня, тоже лѣзетъ напакостить. Да и помимо всего прочаго — и насчетъ собакъ. Баринъ будетъ спрашивать: „отъ кого такой-то щенокъ?“ — а у Сеньки отъ заноя память отшибло; еще перевереть, пожалуй.

— Подай-ко вонъ того,—указалъ доѣзжачій Андрюшѣ на борзого кобелька половой шерсти съ бѣлымъ брюхомъ.

Голось у Сеньки сталъ помягче.

Андрюшка поймалъ щенка.

— Отъ Катая и Язвы... — полуутвердительно выговорилъ Пустарнакъ.

— Никакъ нѣтъ,—поправилъ Андрюшка.

— Эка!

— Не отъ Катая, Семенъ Парменычъ, а отъ Подара и Бритвы.

— Шутъ ихъ дери, запомятовалъ!

Онъ занаматовалъ и насчетъ гончихъ, заспорилъ было, но сдался: Андрюшка напомнилъ ему, что трое чубаропѣгихъ щенятъ не отъ Гуслиста, а отъ Плакуна.

Доѣзжачій притихъ. Сталъ было онъ нащупывать ребра и головы борзымъ, да бросилъ. Андрюшка слѣдилъ за

нимъ глазами. Онъ помнилъ, какъ покойникъ Антонъ Гайновъ дѣлалъ это вмѣстѣ съ Михѣичемъ. Оба они вѣрили въ то, что хорошій щенокъ родится „съ лишнимъ ребромъ“—„сарное“ называется—и въ „крючокъ“ вѣрили, волоски считали подъ нижней щекой. Коли одинъ всего волосокъ—быть собакѣ перваго сорта. И на вѣсъ брали, и темя сильно по пѣсколку разъ давили. Андрюшка теменю придерживался, но въ лишнее ребро не вѣрилъ. Ему и егеръ Василій сколько разъ говаривалъ, что это „одна глупость“, и костей всегда „одинъ комплектъ“ бываетъ. Насчетъ „крючка“ Андрюшка былъ въ неувѣренности; но думалось ему часто, что и крючка никакого нѣтъ.

Сенька зналъ только одно: ухватить щенка, борзого ли, гончаго ли, за хвостъ и головой внизъ. Коли барахтается — хорошъ, а коли опуститъ голову и ноги свѣсить —никуда не годенъ. Отъ матерей онъ отнималъ щенятъ рано, иныхъ по второму мѣсяцу, изъ-за вороватости своей. Говорилъ, что черезчуръ много мать отъ кормленья „трескаетъ“. Ему сподручнѣе было къ общему корыту ставить. Михѣичъ съ Андрюшкой сами выпрашивали у скотницы снятого молока и давали лакать щенятамъ, и тюрю имъ молочную мастерили, изъ своихъ объѣдковъ.

Довѣзачій началъ хватать щенковъ за хвостъ, у двоихъ пощупалъ теменной хрящъ. И все ругался:

— Сволочь! На осину васъ!

А потомъ и скверными словами. Отобралъ, однако, четырехъ борзыхъ — вести къ барину. Изъ гончихъ выбралъ три смычка. Объ остальныхъ пока ничего не сказалъ...

„Думаетъ продать“,—рѣшилъ про себя Андрюшка.

— А какъ вотъ этихъ понимаете? — спросилъ онъ Сеньку, и указалъ на кобелька и выжловку.

— Арликань!

— Генералъ не любитъ...

— Кормить печего зря...

Тутъ Андрюшка выпросилъ ихъ. Сенька потребовалъ „магарыча“. Насилу завѣрилъ его, что это для подарка.

— Василій Ефимычъ самъ уважить: уточекъ принесть, или щеночка сбудетъ за хорошія деньги. Господь много знаетъ!..

Мерзко было на душѣ у Андрюшки, когда онъ улещалъ доѣзжачаго. А тотъ и не доглядѣлъ, что собаки — даромъ, что арликань—выйдутъ отличныя!

XII.

Поджидаетъ Андрюшка, сидя на заваленкѣ, у царной избы, — это его любимое мѣсто, — егеря Василя. Щенки приготовлены. Василій долженъ пройти домой около трехъ часовъ. Живетъ онъ на хуторкѣ, въ трехъ верстахъ отъ города и въ четырехъ отъ усадьбы.

Зазорно какъ будто маленько — барское добро на сторуону, тайкомъ, дарить. И то сказать: все равно закинули бы обоихъ щенковъ. Да и сдается Андрюшкѣ, что не долго простоятъ вся царни... Доѣзжачій скоро выскочить. Баринъ, на этотъ разъ, осерчалъ шибко и тукманки двѣ далъ Пустарнаку за то, что щенки пузаты и плохи статьями. Слышалъ Андрюшка — въ людской избѣ гуторили — ключникъ Емельянъ опять жаловаться собрался на доѣзжачаго; „хоть и самъ угожу, быть-можетъ, на поселенье, да все генералу докажу“.

И докажетъ, мужикъ злобный... Вѣда стрясется скоро. Андрюшкѣ опять жаль доѣзжачаго... У него есть такая мысль: какъ Сеньку въ арестантскую роту, или лобъ — и царнѣй конецъ. Ужъ и теперь, видимое дѣло, что баринъ только для парада собакъ держитъ. А пристрастія пѣтъ. Были же не такъ давно, во дворѣ, свои музыканты. И музыкантская есть до сихъ поръ, въ томъ флигелѣ, гдѣ кухня. Помнитъ Андрюшка, какъ тамъ играли раза два въ недѣлю, и мальчиковъ на скрипкѣ учили. А теперь нѣтъ ничего; только контрабасъ торчитъ, съ львиной головой, за печкою. Музыканты почти всѣ перевелись. Въ солдаты отдали Оедьку-поваренка — на волторнѣ игралъ, Сашку, стреминнымъ ѣздилъ — первая скрипка былъ, Алешку-буфетчика — контрабасъ; Григорій-поваръ — флейта — по оброку ходитъ, пьянчужка, по трактирамъ больше шляется. Остался чуть ли не одинъ Павелъ — съ борзыми ѣздитъ — на кларнетѣ игралъ.

Такъ вотъ и со царней будетъ!..

Который разъ западастъ это на душу Андрюшкѣ. Къ чему его приставятъ тогда? Ни къ какому дѣлу онъ, кромѣ псоваго, не приученъ, хотя, быть-можетъ, и способенъ былъ бы, если бы его отдали „въ ученье“. И къ фельдшерскому дѣлу, и въ писаря бы, или въ портные. Онъ и теперь можетъ, что нужно, зачинить, а то такъ и скроить. Такъ вѣдь надо учиться. Выйдетъ приказъ:



ступай въ скотники. Хорошо, если къ лошадямъ приставятъ; и лошадей-то охотничьихъ переведутъ небось...

Обрадовался Андрюшка, запримѣтивъ Василья, какъ тотъ шагаетъ, внизъ подъ изволокъ, къ мосту. И дума съ него соскочила. Началъ даже картузомъ своимъ махать. Пошелъ егерю навстрѣчу. Они сошлись позади кухни. Василій—высокій, темноволосый человѣкъ, среднихъ лѣтъ, въ плечахъ очень широкъ, только немного сутуловатъ. Лицо длинное, бѣлое, съ легкимъ загаромъ, и усы франтоватые, съ колечками; бороду бреетъ. Ходитъ въ сѣромъ, твиновомъ сюртукѣ, и манишку черную шелковую носить, шейный шарфъ, часы съ цѣпочкой, на головѣ фуражка новая изъ цвѣтной матеріи, на ногахъ нанковья панталоны и хорошіе, мягкіе сапоги ремешкомъ связаны. Все у него аккуратно пригнано: и ягдташъ, и фляжка, и сумочка еще холщевая, для съѣстного, и пороховница. Винтовка дорогого стоитъ—у офицера задешево купилъ. Василій хмелемъ не зашибается, а вышиваетъ на охотѣ, сколько ему слѣдуетъ. Спокойный человѣкъ, учтивый и говорить всегда уважительно, не сквернословить и хвастанья охотничьяго въ немъ нѣтъ. Водятся и денежки.

Встрѣтились они на самомъ мосту, руку другъ другу подали, и картузы каждый приподняли.

— Василію Ефимычу!

— Андрею Ивановичу!

При егерѣ легашъ курляндской породы, уже не молодой песь, съ раздвоеннымъ носомъ и отвислымъ животомъ, Рокса, умная и ласковая собака—больше для стойки, вплавъ и для дальнихъ походовъ отяжелѣла.

Андрюшка остановился и оперся о перила моста.

— Готово!—весело и дружелюбно выговорилъ онъ.

— Гончарокъ?

— Въ лучшемъ видѣ.

— Кобелька?

— Парочку!

— Ну, вотъ, спасибо, — протянулъ егеръ и еще разъ пожалъ Андрюшкѣ руку.

— А вы, Василій Ефимычъ, обѣщаніе свое...

— Еще бы! Вотъ она.

Егеръ ударилъ ладонью по холщевому мѣшку, отдувшемуся съ одной стороны.

— Здѣсь, значитъ, книжица?—спросилъ Андрюшка.

— Уговоръ лучше денегъ, — сказалъ егеръ. — Въ собственность не уступаю, а на поддержаніе.

— Скоро ли ее прочтешь всю-то, Василій Ефимычъ?

— Держи, хошь до зимы, а то и до весны, только чтобъ сохранна была...

Василій вынулъ изъ холщевой сумки книжку въ шестнадцатую долю, плотную, въ кожаномъ буромъ переплетѣ, съ чернильными пятнами.

— Вотъ и премудрость, — сказалъ онъ весело и подаль книжку пріятелю.

Такъ и ухватился за нее Андрюшка, сейчасъ развернулъ и сталъ громко читать.

— „Совершенный егеръ, стрѣлокъ“... Какъ же, Василій Ефимычъ... а объ нашемъ-то дѣлѣ?..

— А ты читай дальше. Не видишь нѣшто: „и псовый охотникъ“, — указалъ ему пальцемъ Василій. А тутъ ниже-то что напечатано?

Андрюшка прочелъ:

— „Съ приложеніемъ притомъ достаточнаго описанія о псовой охотѣ, также высвориваніи и наѣздкѣ борзыхъ и гончихъ собакъ“.

— Видишь! — вразумительно замѣтилъ егеръ.

Лицо псаря совсѣмъ сіяло.

XIII.

Они пошли къ псарю. Андрюшка не выпускалъ изъ рукъ книжки. Василій закурилъ трубочку и, остановившись еще разъ, указалъ пальцемъ на заглавіе.

— Прочти, — цифры умѣешь, небось, читать, — въ которомъ году книжка-то напечатана.

Медленно, но все-таки разобралъ Андрюшка, что напечатана она въ Санктисербургѣ въ 1791 году. Эта цифра наполнила его высокимъ почтеніемъ къ книжкѣ; онъ и сообразить сразу не смогъ, насколько она его самого старше. Василій взялъ у него на минуту книжку и показалъ на оборотную страницу цвѣтной бумажки, передъ заглавной страницей.

— Видите, Андрей Ивановичъ, — перешелъ онъ съ нимъ на „вы“, — въ какихъ рукахъ книжка была.

И опъ прочелъ таинственно и значительно:

— „Изъ числа книгъ, принадлежащихъ до Алексѣя Языкова“.

Послѣ чего показалъ псарю на то, что стоитъ подъ

этими строками. Сдѣланъ крестъ: на верхнемъ концѣ римское „ХІ“, на нижнемъ—„15-го дня“, справа и слѣва—„1793 года“.

Еще выше поднялась книжка въ глазахъ Андрюшки. Прошли они на псарню. Щенки привязаны были въ сѣняхъ, подъ лѣсенкою въ верхнюю свѣтелку. Они поправились егерю. Посмѣялся онъ и надъ кличками, какія выдумалъ Андрюшка.

— Ладно,—говорить,—Андрей Ивановичъ, пусть будетъ по-вашему. Кобелекъ заправскій. И сучка не плоха.

И онъ подарилъ ему убитую имъ уточку, предложилъ выпить изъ своей фляжки, да Андрюшка отказался. Они разстались закадычными пріятелями.

Проводилъ его Андрюшка до выгона, за деревней, и простился у опушки лѣса, по дорогѣ въ городъ. Книжку онъ держалъ за пазухой и пошелъ на псарню ускореннымъ шагомъ. На задахъ псарни, подъ черемухой, выбралъ онъ укромное мѣсто и легъ въ траву, неподалеку отъ рѣчки.

Раскрылъ онъ книжку и даже покраснѣлъ. Михѣичу онъ ничего не скажетъ про нее. Сначала хорошенько начитается, а какъ тотъ что-нибудь по-своему начнетъ мудрить, Андрюшка ему сейчасъ и утретъ носъ. Тогда ужъ на чистоту все—сейчасъ книжку, и укажетъ, гдѣ что стоитъ, и страница какая. Кафтанъ онъ снялъ и положилъ себѣ подъ голову. Читалъ онъ вслухъ.

Сначала оглавленіе... Сразу ему очень хорошо показалось: какія „качества“ долженъ имѣть „совершенный егеръ“. Подумалъ онъ было: псарь—не егеръ, но тотчас же разсудилъ, что это все равно, и тотъ, и другой ходятъ вокругъ звѣря и собаки, и тому, и другому нужно себѣ, на каждый часъ и во всемъ, отчетъ отдавать.

Перечень „качествъ“ этихъ занимаетъ цѣлую страницу. Андрюшка раза три перечелъ ихъ, каждое раздѣльно, а потомъ сосчиталъ, сколько ихъ. Оказалось двадцать одно качество. И сталъ онъ себя спрашивать, все равно, что на духу, есть ли у него: богобоязливость, острое зрѣніе, хорошій слухъ, рѣзвыя ноги, нѣтъ ли „припадковъ на тѣлѣ“, свободно ли дыханіе, а чрезъ то громкій голосъ, способность есть ли къ перенесенію всякихъ трудовъ, не сонливость, „безсучливость“ въ охотѣ, трезвость, вѣрность, здравый разсудокъ, „примѣчаніе“ (т.-е. наблюдательность), здоровые и прямые зубы, скорость „въ пред-

пріятіяхъ“, отважность и неустрашимость, склонность къ собакамъ, любленіе чистоты ружья своего, молчаливость и беззавистливость?..

Что жъ! на каждое почти качество Андрюшка могъ отвѣтить утвердительно... И всему этому слѣдуетъ быть въ псарѣ. Вотъ только до „любленія“ чистоты ружья псарь не имѣетъ касательства. Какъ передъ Богомъ, онъ не знаетъ за собой изъясновъ, почитай, по всѣмъ пунктамъ... Неустрашимость заставила его задуматься... Добъзачій куда его смѣлѣй; да вѣдь и онъ не трусь, и въ ѣздѣ, и въ обращеніи со стаей... Случалось ему и волка сострунить. „Беззавистенъ“ онъ вполне, никому не завидуетъ, трезвъ, въ словѣ своемъ вѣренъ. Онъ взялся за зубы, попуцаль—крѣпки ли они у него. Зубами онъ никогда не маялся, а склонность къ собакамъ у него—на рѣдкость. Ужъ самъ Михѣичъ ему то и дѣло говорить:

— Ты, Андрюшка, со псами ровно мамынька рѣдная хороводишься.

Но нѣкоторые пункты онъ сейчасъ пожелать узнать въ подробности. Громко, молитвеннымъ тономъ прочелъ Андрюшка: „долженъ онъ быть не суевѣренъ и оставить всѣ пустыя примѣты, какъ-то: совиный крикъ, вытье звѣрей, встрѣчу попа“. Онъ сознался, что примѣтъ этихъ онъ держится, и больно не любить съ попомъ повстрѣчаться. Статью о трезвости прочелъ онъ особенно весело и раза два даже расхохотался. Вотъ бы добъзачему почитать вслухъ, „для души спасенія“. Точно будто для Сеньки Пустарнака стоять въ концѣ такіа слова: „а какъ хмель въ головѣ заступитъ мѣсто двѣнадцати небесныхъ знаковь, тогда вмѣсто исправленія своей должности будетъ онъ дѣлать великіе непорядки, а напоследокъ и должность свою совсѣмъ забыть можетъ“. А какіе это „двѣнадцать небесныхъ знаковь“? Подумаль-подумаль Андрюшка и рѣшилъ освѣдомиться у Василя. Бывала у него печатная тетрадь, гдѣ царь Соломонъ небесный кругъ чертитъ, и тамъ, поди, можно это узнать. Прочелъ онъ, что и собаку надо любить умѣючи и что „молчаливость есть душа важныхъ предпріятій“

XIV.

Цѣлыхъ три дня не могъ оторваться Андрюшка отъ „Совершеннаго егеря“. Онъ читалъ сначала про звѣрей и передъ нимъ, точно живые, запрыгали разные звѣри.



Припоминались ему тѣ дни, когда онъ, малолѣткомъ, имѣлъ охоту до зайчатъ, еще до той поры, какъ его на псарню взяли. Держалъ онъ въ печуркѣ, въ скотной избѣ, двѣ пары зайчатъ — двухъ бѣляковъ и двухъ тумаконъ: подарилъ ему пастухъ. Потомъ онъ сталъ самъ ловить зайчатъ и продавать ихъ. Знаетъ онъ хорошо всѣ повадки, штуки и забавы „косого“. И въ старой заветной книжкѣ находитъ онъ теперь подтвержденіе многихъ своихъ примѣтъ и свѣдѣній... Ему самому приходило, наприимѣръ, на умъ: какъ сразу отличить самца отъ самки, когда заяцъ лежитъ на логонѣ? И ему тоже сдавалось, что зайчиха горбится и лежитъ уши свѣсивши, а самецъ владеть ихъ прямо по спинѣ. Зналъ онъ также (наблюлъ и Михѣичъ не разъ ему сказывалъ), что зайчиха „первымъ брюхомъ“ несетъ не больше одного, а тамъ все больше и больше ценить зайчатъ, до шести штукъ. И кормить она ихъ мало, поди недѣли не кормить; начинаетъ опять бѣгать съ самцами.

— Этотъ косой, — балагурить, бывало, дядя Иванъ, — самый паскудный звѣрь насчетъ женскаго естества.

Слыхалъ Андрюшка толки промежду охотниками и о томъ, не бываетъ ли такихъ зайцевъ, что въ одно время и самцы, и самки; а то и такъ, что изъ самца въ самку обращаются? И самъ онъ, бывало, мнетъ-мнетъ зайчонка, а не можетъ отличить, какого онъ пола, мужского или женскаго. Въ книжкѣ онъ прочелъ — отчего это происходитъ; а чтобы взаправду двуполые родились — того не бываетъ. Зналъ и то Андрюшка, что заяцъ, не въ примѣръ кролику, родится зрячимъ. Разъ ему довелось заполучить зайчатъ, самыхъ маленькихъ, еле ползали, а всѣ зрячіе были и сами кормиться начали на третій день, какъ онъ ихъ въ печурку посадилъ. Жалость его къ зайцу ослабла, когда онъ прочиталъ, что самецъ не любитъ быть около самки, пожретъ молодыхъ, коли при немъ родятся. Сочинитель прибавлялъ, что самъ часто находилъ въ желудкѣ у старыхъ зайцевъ кости и челюсти маленькихъ зайчиковъ. И все это самецъ дѣлаетъ, чтобы заполучить опять зайчиху...

Андрюшка индо силюнеть. Гадко ему стало. Паскудный выходитъ звѣрь. А кричитъ, ровно ребенокъ, когда приходится его зарѣзать, отбить отъ гончихъ... Съ крика этого Андрюшку коробитъ. Маленькіе зайчата ему любы по сіе время.

Вотъ тоже и па ежей онъ охотился съ малолѣтства. Сначала боялся ежей; но вскорѣ стали они для него заняты. Съ Михѣичемъ долго кормилъ онъ ежа, ручнымъ сдѣлавъ, да сбѣжалъ—шельма!.. Звѣрь умный, полезный. И въ книжкѣ стоитъ: „на мышей онъ великій искоренитель“. Жретъ онъ все; а зимой спитъ и почти что ничего не ѣстъ... И про рожденіе его прочелъ Андрюшка мудреную статью. Несетъ ли онъ яйца или нѣтъ? Пророчество Исайино приведено: „возгнѣздится“, молъ. А какъ это понимать? Однако, прибавлено, что въ нѣмецкой-де библии „господинъ Лютеръ не выразумѣлъ подлиннаго разума еврейскихъ словъ, а, можетъ-быть, написалъ по той догадкѣ, что ежи родятся почти голые, безъ шерсти“. Кто такой былъ „господинъ Лютеръ“—Андрюшкѣ было совсѣмъ невразумительно.

Читалъ онъ такъ три дня цѣлыхъ. Только къ собакамъ ходилъ по три раза въ день, ни разу ни въ людскую, ни въ скотную избу не заглянулъ. Но вдругъ взяло его смущеніе: да гдѣ же говорится о борзыхъ и гончихъ, о псарѣхъ и болѣзняхъ собачьихъ, о наѣздахъ и высвариваніи? Все оглавленіе онъ по нѣскольку разъ перечелъ. Идетъ рѣчь о духовой, т.-е. ружейной собакѣ и ея выправкѣ, и разные совѣты, опять же все егерю, а не псарю, не корытничему, не ловчему. Идетъ потомъ рѣчь о дикихъ козахъ, о свиньяхъ дикихъ, о какихъ Андрюшка и слыхомъ не слыхалъ, о барсукѣ, о волкахъ, рыси, выдрѣ, песцахъ и корсакахъ, о норкѣ, суркѣ, хомякѣ и бѣлкѣ. Такимъ же точно манеромъ—о „нижней“ дичи, о пѣвчихъ птицахъ, о цаплѣ или „чаплѣ“, объ уткахъ и глухаряхъ. Многихъ названій не слыхалъ Андрюшка: савки какія-то, плутопоски, шилохвосты, крахалы, гагары. Узналъ онъ о чайкахъ всякаго цвѣта, о мартышкѣ и разбойникѣ, о пыркѣ или водяной курочкѣ, о всякаго цвѣта и званія куликахъ, о ржанкѣ или сивкѣ. Отыскалъ, что пеструю ржанку называютъ „колокольчикомъ“,—это заставило его еще разъ затуманиться о своемъ утраченномъ „колокольчикѣ“. Дошелъ онъ и до послѣднихъ страницъ, гдѣ говорится о курахтанахъ, травникѣ, зуйкѣ и чибисѣ.

На „чибисѣ“ книжка обрывалась безъ конца. Видно, что не хватало нѣсколькихъ листовъ. Андрюшка читалъ вслухъ:

„Сколько есть родовъ чибисовъ или пигалицъ?“
и останавливался на словахъ:

„Перваго рода сія птица раньше всѣхъ окажется и“
Дальше идти некуда. Но гдѣ же псовая охота? Ея не было въ книжкѣ. Неужели Василий обманулъ? Онъ въ него вѣрилъ, какъ въ степеннаго егеря и благопріятеля. На заглавной страницѣ увидалъ онъ: „томъ первый“. Не понималъ хорошенько, что это значить „томъ“, но догадывался—значить, только одна половина. А про другую егеря ничего не говорилъ; увѣрялъ вѣдь и пальцемъ показывалъ на слова: „съ приложеніемъ притомъ достаточнаго описанія о псовой охотѣ“.

Сильно огорчился Андрюшка. Книжка ему опостылѣла.

XV.

Попался, наконецъ, и доѣзжачій, разомъ по двумъ дѣламъ... Ключникъ пошелъ къ барину и такъ ловко допелъ на Сеньку, что себя совершенно выгородилъ, и въ тотъ же день въ скотной избѣ Сенька „наохальничалъ“ пьяный со старухой Дормидоновной, обозвалъ ее скверными словами и шлыкъ съ головы содралъ. Старуха къ барину, на что смѣлости хватило, допросилась у камердинера и бухъ въ ноги, воетъ. А у барина-то ключникъ только что побывалъ.

Приказъ вышелъ: Сеньку—на конюшню, „сто лозановъ“. Сунулись брать его—онъ еще въ скотной избѣ бурлилъ. Отъ конюховъ и скотниковъ онъ вырвался, и на псарню. Прибѣжалъ онъ въ одной красной рубахѣ, воротъ разстегнуть, грудь голая, глазами поводитъ, одинъ сапогъ треснулъ и нога въ портянкѣ видна. Андрюшка съ Михѣичемъ собирались овсянку нести, собакъ кормить. Сенька—въ псарную избу, ровно бѣсноватый, оретъ благимъ матомъ:

— Не подходи, зарѣжу!

Ушать съ овсянкой они оставили. Глядятъ—съ горы бѣжить Левонтій-скотникъ, да кучеръ Никита, да двое конюховъ—ребята все здоровые.

— Вяжите его!—кричатъ они имъ, и къ избѣ.

Андрюшка переглянулся съ Михѣичемъ.

— Нѣтъ, ужъ мы не станемъ,—прошамкалъ старикъ.

— Вѣдь вы—псари!—крикнулъ кучеръ Никита.

— Вяжите вы, вамъ велѣно,—сказалъ, отвернувшись, и Андрюшка.

Сердце у него сжалось. Сенька запереться не успѣлъ, схватилъ ножъ и началъ махать и такъ, и этакъ на

псарномъ дворѣ. Хорошо еще, что собаки были передъ кормомъ въ закутахъ. А то бы онъ пустилъ всю стаю — въ отчаянность впалъ. Однако, окружили его, сзади за руки ухватили. Долго бился Сенька, двоихъ такъ подъ микитки хватилъ, что плашмя ударились о-земь.

Въ эту свалку ни Андрюшка, ни Михѣичъ не вмѣшались. Подошелъ, тѣмъ временемъ, Степанъ Рябовъ. Онъ испугался, потемнѣлъ весь и слова не сказалъ. Сеньку онъ тоже не любилъ, но и въ немъ, видно, какое-то особое чувство дрогнуло. Все-таки свой же братъ—псарь.

Поволокли Сеньку. Онъ въ гору упирался и барахтался. Хмель еще гулялъ у него въ головѣ. Михѣичъ первый напомнилъ Андрюшкѣ и Степану Рябову, что пора кормить собакъ. Солнце уже сѣло за горой.

Притащили ушатъ съ овсянкой, налили ее въ корыта, оба псаря падѣли на себя по рогу на голубой шелковсй перевязи, взяли арапники, Михѣичъ отворилъ закуты. Гончія кинулись впизъ по мосткамъ одной сплошной массой. Борзые — вразсыпную. У нихъ и корыта были особые, по въ одну линію.

За доѣзжачаго командовалъ старшій по лѣтамъ Степанъ Рябовъ. Онъ не перекинулся ни однимъ словомъ ни съ Андрюшкой, ни съ Михѣичемъ. Стоялъ онъ съ хмурымъ рябымъ лицомъ (оттого ему такое и прозваніе дали), нагнувши голову вбокъ, въ старомъ кафтанѣ изъ толстаго сукна, какъ и Андрюшка.

Собаки бросились и облѣпили корыта съ обѣихъ сторонъ. Но ни одна не смѣла начать лакать. Онѣ только взвизгивали и толкались, да и то не очень.

Затрубили псари. У нихъ выходило ладно. Андрюшка, хоть и не крѣпокъ былъ грудью, игралъ лучше Рябова. Брали они въ топъ, одинъ повыше, другой пониже.

„Трумъ-ту-ту-трумъ-ту-ту-у!“ — разносилось по лощинѣ и подымалось къ барской усадьбѣ, среди тишины сумерекъ.

Вдругъ сверху раздался, заглушенные разстояніемъ, жалостные крики.

— Семена Парменыча, знать, полосуютъ! — слышалъ и Михѣичъ въ звонкомъ вечернемъ воздухѣ.

Оба псаря остановились. Рябовъ только крикнулъ и опять затрубилъ, а Андрюшка не сразу совладалъ съ собою.

„Трумъ-ту-ту, трумъ-ту-ту!“ — загудѣло опять складно и



размѣренно минуты съ двѣ—баринъ любилъ, чтобы долго трубили. И сквозь трубное гудѣніе прорывались крики, долетавшіе изъ конюшни. Должно-быть, конюхи и кучера отъ себя усердствовали, вымещали на Сенькѣ его буйство.

— Дбруцѣ!—крикнулъ горломъ Степанъ Рябовъ.

Стая и борзые кинулись на корыта, морды исчезли въ овсянкѣ, хвосты запрыгали и завилили. Долго не слышно было ничего, кромѣ лаканья.

Смокли и жалобные крики доѣзжачаго. Псари дали собакамъ облизать корыта и отогнали потомъ арапниками. Михѣичъ съ Андрюшкой понесли обратно пустой ушатъ. Къ нимъ подбѣжалъ у кухни мальчишка-дворовый, Мишанька, сынъ скотницы.

— Братцы,—крикнулъ опъ,—Сенька-то сбѣжалъ, ухватилъ ножъ въ людской, да и въ лѣсъ!.. Таково боязно!..

Все тревожище дѣлалось на душѣ у Андрюшки. Что-то еще стрясется? Пустарнакъ на псарнѣ рѣзать ихъ будетъ или уворуетъ что? Пошли они къ Рябову; тотъ тупо молчалъ. Ему нездоровилось.

— Ну, и пускай его, — выговорилъ онъ. — Я ужинать пойду.

Черезъ полчаса прибѣжалъ барскій казачокъ, Васька Квасовъ. И прямо къ Андрюшкѣ.

— Къ барину ступай!

У Андрюшки колѣна задрожали. Онъ хотѣлъ было сбѣгать за параднымъ кафтаномъ, да Квасовъ не далъ.

— Иди въ чемъ есть, еще загнѣвается!

— Ну, братъ Андрюха, не плошай! — проводилъ его Михѣичъ.

Совсѣмъ уже за вечерѣло.

XVI.

Баринъ произвелъ Андрюшку въ доѣзжаче—мимо Степана Рябова, старшаго по лѣтамъ и службѣ. Андрюшка совсѣмъ оторопѣлъ, когда его ввели въ кабинетъ, и только низко опускалъ голову, отвѣщая поклоны.

— Какъ же вы, каналѣ, — спросилъ его баринъ, — не донесли мнѣ, что Сенька овсянку воруетъ?

— Не осмѣлились, ваше превосходительство, — съ дрожью въ голосѣ отвѣтилъ Андрюшка.

Приказалъ доложить на завтра о собакахъ и, отпуская, выговорилъ:

— Только деньгамъ переводъ — всѣхъ васъ на одну осину!

Эти слова запали въ душу Андрюшкѣ. Видитъ онъ, что баринъ одряхлѣлъ. Однѣ брови еще остались грозныя. Нѣтъ въ немъ ни капли прежней охоты. Такъ, для видимости, поддерживаетъ псарню. Въ другое бы время — какой еще чести: попасть въ доѣзжачіе, можно сказать, мальчишкой. Вотъ теперь-то и заводи порядки, блюди собакъ, по-божески. Лестно, а радости настоящей нѣтъ въ сердцѣ Андрюшки.

Зашелъ онъ въ скотную избу, въ застольную. Ему передъ Рябовымъ совѣстно!

— Вы, — говоритъ онъ ему, — Степанъ Веденѣичъ, не обижайтесь... Барская воля... Знаю, что супротивъ васъ я малолѣтокъ.

Рябовъ ничего не сказалъ. Развѣ о доходѣ отъ лошадиныхъ тушъ пожалѣлъ; а дѣла онъ не любилъ. У него свое рукомерло было: сапожнымъ мастерствомъ промышлялъ.

Михѣичъ порадовался, по плечу Андрюшку потрепалъ и говоритъ ему:

— Теперь ты у насъ набольшій. Надо бы съ тебя за это магарычъ, — косушечку, что ли!

У Андрюшки не было ни гроша. Но онъ посулилъ старику косушечку и прибавилъ:

— Ты ужъ, дядя Иванъ, по-старому со мной... Человѣкъ ты душевный, опытный.

Но не было радости на душѣ Андрюшки. Ему не вѣрилось, что псарня простоятъ долго.

Сенька пробѣгалъ недѣлю, шлеяся по городу, а потомъ самъ пришелъ и въ ноги барину.

— Иду, — говоритъ, — въ солдаты, ваше превосходительство. Только освободите отъ сраму: въ арестантскую отдавайте.

Баринъ уважилъ и съчъ больше не сталъ. Сенька сейчасъ же попалъ въ доѣзжачіе къ полковнику въ гаузонный батальонъ.

Все поуспокоилось. Андрюшка на первомъ докладѣ рину рублѣ, а потомъ скоро примѣнился. Видѣлъ одно: скупевекъ сталъ генералъ на псарню, вишь, и "прова" уходитъ. Надо перевести половину собакъ. Больше было, чѣмъ показывалъ Сенька

ѣзжачаго по цѣлому часу, а теперь вошелъ—докладъ сдѣлалъ, что-нибудь спросить—и ступай. Да и не каждый день. Частенько Андрюшка не разбереть, что ему баринъ скажетъ, шамкаетъ онъ больно, да и тихо говорить. Изъ-за этого частенько „дурака“ стало доставаться.

Съ ключникомъ сначала у него лады пошли; а вскорѣ Андрюшка увидалъ, что и онъ плутъ естественный, и его на сдѣлку подманивать началъ. Увидалъ Андрюшка, что такъ измучаешься и безвинно подъ барскій гнѣвъ угодишь. Посовѣтовался онъ съ Михѣичемъ и доложилъ обо всемъ генералу. Ключника смѣнили; но отъ этого самаго на Андрюшку всѣ въ скотной избѣ и на господскомъ дворѣ коситься стали, а то такъ и шпынять: „ябедникъ, себя хочетъ безсребренникомъ выставить; на-ко поди: святой—съ полочки снятой“. Пуще всѣхъ женщины загуторили. И Степанъ Рябовъ тихо ворчалъ. Онъ цѣлые дни сапоги шилъ, въ скотной избѣ. Не докличешься его и въ рогъ трубить по вечеру, къ корыту. Больше все Михѣичъ отдувается. А взыскивать съ Рябова Андрюшкѣ какъ будто совѣстно: моложе онъ его чуть не на десять лѣтъ. Просить другого пса—баринъ заругается, скажетъ: „и безъ того псарня деньги и кормъ ѣстъ“.

Началъ Андрюшка затуманиваться.

И съ егеремъ Васильемъ у него на разладъ пошло. Онъ ему попенялъ, что книжка-то не вся... Тотъ надъ нимъ же подтрунивать вздумалъ: „у васъ,—говорить,—Андрей Ивановичъ, глаза-то гдѣ же были, грамотѣ обучены, видѣли: томъ первый“.

Очень это не показалось Андрюшкѣ. Вотъ, считалъ человекъ совѣтъ „правильнымъ“, да и тотъ вышелъ съ изъязномъ.

По псарному хозяйству у него пошло ладно. Съ Михѣичемъ они ни разу не повздорили. Андрюшка съ нимъ сталъ дѣлиться во всемъ, что приходилось отъ лошадиныхъ шкуръ и костей. Давалъ и Рябову. Ему все еще было передъ нимъ немножко зазорно... Но отводилъ онъ душу только на псарномъ дворѣ, со стаей и на псовищѣ у щенковъ. Выпустить стаю и любитъ ее; иной разъ приляжетъ у крыльца и подзоветъ своихъ любимцевъ къ себѣ, позволяеть имъ обнюхивать и лизать себя. До осени онъ бы, по своей охотѣ, хотъ каждый день выпускалъ стаю въ мелкіе острова поблизости, да Степанъ Рябовъ ворчалъ. Однако, каждую недѣлю выпускали. Баринъ вы-



ѣзжалъ три раза на полевыхъ дрожкахъ, слушалъ стаю, хвалилъ и спрашивалъ про новые голоса. Выровнялось четыре новыхъ смычка, и славно спѣлись... Только у барина все уходила и уходила охота...

И щенковъ поправили, стали „по-божески“ кормить ихъ, чума со всѣми прошла благополучно, выравнивались ладныя собаки. Когда баринъ приказалъ—половину перевести, Андрюшкѣ сдѣлалось такъ жалъ ихъ, что онъ взялъ на себя, скрылъ отъ барина, авось забудетъ; а когда осень минуетъ, можно будетъ дворовымъ борзятникамъ раздать, овсянки та же мѣра пойдетъ, а мясо—ихъ дѣло съ Михѣичемъ, ничего не стѣить, отъ него же барышъ идетъ.

XVII.

Подошла и осень. Господа перебрались въ городъ, но баринъ ни разу не ѣздилъ въ отъѣзжее поле. Приключилась съ нимъ боль какая-то въ ногѣ, подагра, что ли, а можетъ и отъ старости просто... Затихло совсѣмъ на псарнѣ. Со Степаномъ Рябовымъ Андрюшкѣ плохо приходилось: не хочетъ ѣздить, да и конечно! И трубить-то не ходилъ. А стая выравнилась на славу: все половопѣгя, рослая, молодая собаки... Одному доѣзжаему какъ-то и зазорно было выѣзжать съ ними въ островъ. Борзятники всѣ изъ дворовыхъ, съ господами въ городѣ жили. Михѣича пробовалъ Андрюшка брать; да больно ужъ слѣпъ сталъ и въ сѣдлѣ еле держится... Пришлось поугатъ Рябова. До перваго снѣга разъ цытокъ выѣзжали. Гнали чудесно. У Андрюшки, вмѣсто колокольчика, голосъ сталъ грудной, зычный такой и опять съ особыми переливами. Въѣдетъ онъ въ островъ, стая назади, не спѣша двигается, и такъ себѣ покрикиваетъ на разные лады... И обидно ему, что некому новаго голоса его прослушать. Похвалилъ бы баринъ навѣрно. Ему самому почудится и покойникъ Гайновъ, и Сенька—такъ онъ по-ихнему порскавъ умѣетъ. Любуется онъ стайе, помогаетъ ей дочуять. Не нужно ему выбиваться изъ силъ, чтобы непременно на барина русака выставить. Въ порѣдѣломъ лѣсу, между стволовъ, по землѣ, покрытой листьями, бѣгутъ гончарки, хвосты напряглись у нихъ, морды то поднимаютъ, то опускаютъ, бѣгутъ за передовой собакой... Вотъ затыкала одна, двѣ; залился вожакъ Вопило—и пошла музыка! Ан-

дрышка покачивается и ѣдет легкой рысью, къ правому уху приложить руку и покрикиваетъ:

— Собаченьки, вались!

Не одна угонка ему любя, не зайцы, а каждая гончарка. Жалѣеть онъ ее и точно радуется, что вотъ звѣрь, похожъ и на волка, и на лису, а какъ его выучить можно, и лаеетъ умѣючи, чуетъ все, боится и любить человѣка...

По порошѣ онъ ѣздилъ съ борзыми, бралъ барскія своры. Года за три, когда баринъ не скупился еще на псовое дѣло, куплены были привезенные издалека два густопсовыхъ борзыхъ: Злоимъ (псари звали „Взлаимъ“) и Завладай: одинъ свѣтло-половый, съ темной полосой вдоль спины, большой красоты песъ, другой—бѣлый, съ желтыми пятнами, поменьше ростомъ и поглубѣ посадкой, и щипецъ покороче. Злоимъ былъ и ласковѣе, лѣтомъ все больше въ барскихъ комнатахъ лежалъ, на диванѣ. По порошѣ они оба славно травили. Вдвоемъ повалили бы и волка.

Стала снѣжная зима. Совсѣмъ затихла псарня. Степанъ Рябовъ сидѣлъ въ скотной избѣ, да тачалъ сапоги. Михѣичъ коптилъ ветчину. Въ псарной избѣ Андрюшка плелъ арапники и мастерилъ лѣкарства.

Разъ, въ воскресный день, послѣ обѣда, часу такъ въ первомъ, говорить ему Михѣичъ:

— Андрюха, хощь я барскихъ-то борзыхъ свожу погулять?

Пошелъ по дорогѣ къ селу Одеякову. День стоялъ морозный, свѣтлый. Что-то скоро вернулся старикъ, да не одинъ, а за нимъ офицеръ, ротный, оттуда изъ села; тамъ солдаты стояли...

Бѣда стряслась! Злоима съ Завладаемъ Михѣичъ и пусти побѣгать: собаки старыя, степенныя, можно было безъ оглядки... Бѣгали они, бѣгали, да и воззрились на прохожаго. А это самый ротный-то и былъ. Онъ шелъ пѣшкомъ. Вѣтерокъ у него капюшонъ отъ шинели поднялъ, да на голову. Собакамъ-то и показалось, должно-быть, чудно. Стрѣлой домчались онѣ до офицера—оба волкодавы—смяли его, и ну рвать. Хорошо еще, что капюшонъ ему голову окутало. Онѣ весь капюшонъ обгрызли и снизу полы. Завладай—злостнѣе Злоима, далъ хватку въ загривокъ и въ правую икру; до крови не прокусилъ сквозь сукно; однако, слѣдъ оставилъ; а шинель вся изгажена!..

Дѣло! Офицеръ потребовалъ Андрюшку, разсвирѣпѣлъ,



такъ и лѣзеть; приѣжали староста, управитель, земскій, выборный... Приказываетъ офицеръ Михѣича связать. Андрюшка не допустилъ. Михѣичъ ни живъ, ни мертвъ, трясется, пожелтѣлъ весь. Управитель его тоже отстоялъ.

— Извольте,—говоритъ,—генералу жаловаться.

— Подводу мнѣ!—скомандовалъ офицеръ.

Подводу дали.

Офицеръ опять на Андрюшку накинулся:

— Какъ же ты, разбойничья рожа, выпускаешь собакъ не на привязи?

Андрюшка ему въ отвѣтъ съ усмѣшкой:

— Не понимаете вы, сударь, въ нашемъ званіи. Извольте жаловаться. Собаки не люди... Опять же, собаки барской своры, шести осеней, привычныя; а вышло такъ—мы въ отвѣтъ.

Тутъ же и оба борзыхъ стоятъ, смотреть на Андрюшку большими, ясными глазами, оба такіе красивые и смиренные. Какъ ему на нихъ сердать, за что? Мало ли и чelовѣку что померещится?

Офицеръ тащилъ было и Михѣича въ городъ, на подвoдѣ; да Андрюшка не пустилъ и прямо сказалъ управителю:

— Видите, чай—еле душа въ тѣлѣ. Старикъ!

Съ офицеромъ поѣхалъ управитель. Взяли и Андрюшку. Онъ не упирался, самъ сказалъ:

— Въ отвѣтъ я долженъ идти... Проваживать слѣдовало Рябову, а я ему попустилъ. Дядя Иванъ по усердію пошелъ.

XVIII.

Изъ-за офицерской разодранной шинели вышла цѣлая исторія... Въ городѣ загудѣли толки. Барина въ газетахъ пропечатали: живыхъ, молъ, людей борзыми травить. А время стояло смутное. О волѣ всѣ гуторили. Генералъ испугался. На Андрюшку даже и не крикнулъ хорошенько, не ударилъ; только нахмурился и сказалъ:

— Провалитесь вы всѣ!

Офицеръ дѣло было затѣялъ... Баринъ откупился—пятьсотъ рублей заплатилъ; а шинеленка много тридцати стоила.

Вернулся Андрюшка на исарню, а Михѣичъ лежитъ, охаетъ на печкѣ. Желтуха у него сдѣлалась, а потомъ бредъ. Черезъ недѣлю померъ.



Совсѣмъ осиротѣлъ молодой доѣзжачій. И круто же ему приходилось всю зиму. Баринъ приказалъ черезъ управителя Степану Рябову помогать Андрюшкѣ по кухонной части, а Рябовъ отъ рукъ отбился. Приходилось самому доѣзжачему и овсянку варить, и мясо коптить, и ушатъ носить съ мальчишкой со скотнаго двора, да и тому приплачивалъ. Запахло волей. Дворовые, которые оставались въ усадьбѣ, начали побаиваться, что ихъ погонять. Воровство пошло. Таскали и дрова, и кормъ, и солому, и сѣно, и цѣлые срубы свозили. Съ новымъ ключникомъ у Андрюшки каждый день перебранки выходили... На борзыхъ болѣзни зачастили, опухоли въ сгибахъ, воспа. Нѣсколько собакъ поколѣло отъ воспаленія легкихъ. Просилъ Андрюшка управителя проконопатить на зиму закуты. Тотъ не уважилъ просьбы. Стая гончихъ нагрѣвалась только своимъ паромъ, сбившись въ кучу. Мѣнять солому на подстилку не изъ чего было каждый день. Чума прикинулась и на гончихъ. Заболѣлъ любимый смычокъ Андрюшки — вожакъ Вопило и выжловка Румянка... Онъ заскорбѣлъ, перевелъ ихъ въ избу, мазалъ, давалъ слабительное, кормилъ изъ своихъ рукъ. Послѣ того, какъ его соперникъ, Набатъ, въ концѣ лѣта околѣлъ, Вопило сталъ первымъ передовымъ выжломъ; такъ понималъ Андрюшку, ровно человѣкъ. Подъ стать ему выровнялась и Румянка, сучка на рѣдкость и ласковая такая, что отбивать ее надо, все руки лижетъ. Вылѣчили ихъ Андрюшка; но гончихъ передохло собакъ до десяти.

На масленицѣ, въ самый „прощенный день“, когда всѣ дворовые въ усадьбѣ были навеселѣ, на псарню пришелъ вдругъ Сенька Пустарнакъ, въ солдатской шапкѣ и новомъ полушубкѣ, тоже сильно подъ хмелькомъ. Въ рукахъ гармоника, на шеѣ платокъ шелковый, подпоясанъ ремнемъ, съ серебрянымъ черкесскимъ наборомъ. Раздобрѣлъ какъ!.. Андрюшка ему обрадовался. Сенька затребовалъ полуштофъ.

— Ты,—говорить,—большіе доходы имѣешь!

Жилъ онъ же у батальоннаго командира въ гарнизонѣ, „ловчимъ“ себя величалъ; полковникъ его любилъ, окромѣ доходовъ, жалованья по шести рублей въ мѣсяцъ. Чай, сахаръ барскій. Раза два, точно, „отполосовали“, а то жизнь не въ примѣръ веселѣе и привольнѣе: городъ, компанія, писаря, денщики, женскаго полу—сколько хочешь.

— Ты бы въ солдаты шелъ,—подбивалъ онъ Андрюшку, продолжая куражиться.—Все равно штрафишься.

— Воля будетъ,—возразилъ Андрюшка.

Онъ затуманился, слушая рассказы Сеньки.

— Воля! Велика сласть! Чай, ты—дворовый.

— Ну, такъ что жъ?

— Ну, по шеямъ и вытолкають. Мнѣ писарь батальонный сказывалъ—крестьянамъ-то одни дворы останутся, а земли ни-же-ни!

Сенька убрался, какъ смерклось, къ кумѣ, на порядокъ пьянствовать пошелъ. Андрюшка остался одинъ за столомъ. Въ избѣ холодно, темно. Горѣла девятириковая сальная свѣчка. Тоскливо ему стало. Нѣтъ у него никого. Собаки мрутъ, псарня рушится.

А баринъ въ такое сталъ смущеніе входить, что и лакеевъ бояться началъ—убьютъ. Пришла изъ города вѣсть, что въ деревню господа не переберутся на лѣто.

На Оминой педѣлѣ потребовалъ управитель къ себѣ Андрюшку и велѣлъ ѣхать въ городъ. Баринъ надумалъ перевести псарню.

Андрюшка слыхалъ и отъ Михѣича, и отъ Гайнова, что это значить. Когда хорошій охотникъ порѣшитъ со псарней—всѣхъ собакъ борзыхъ и гончихъ, вмѣстѣ съ щенятами, на осину....

— Какъ прикажете, ваше превосходительство?—спросилъ онъ, а у самого внутри точно что затынуло.

— Знаешь, какъ? Чтобы ни одного щенка на-сторону!..

И управителю строго наказалъ.

Два дня ходилъ Андрюшка какъ шальной. Выпустить собакъ на дворъ и смотреть на нихъ долго-долго... Одинъ смычокъ и одна свора больно ужъ ему дороги... Свора барская: Злоимъ съ Завладеемъ. У барина жалости не хватило—взять ихъ въ домъ, пускай бы доживали. Очень ужъ молва пошла про то, что „офицера въ ключья изорвали“, противны стали и генералу оба пса!.. Смычокъ гончихъ—Вошилу съ Румянкой—Андрюшка ночью отдѣлил отъ стаи, вывелъ тихонько и передалъ пріятель-мельнику изъ деревни Утечино, и денегъ далъ, чтобы кормилъ, пока не придетъ за ними.

Насталъ день казни. Не могъ доѣзжацій вѣшать самъ собакъ. Наконецъ, обрубилъ онъ сучья на двухъ черемухахъ, приготовилъ старыхъ четыре кулья изъ-подъ овсинки, навязалъ камней, добылъ веревокъ...



— 163 —

— Вѣшай ты! — сказалъ онъ Рябову. — Возьми Мишаньку на подмогу.

И ушелъ въ Дуплянку. Уходя, онъ смотрѣлъ, какъ первыхъ повели Злоима съ Завладеемъ, а сзади другую барскую свору — Азіата и Бритву. Обѣ своры скрылись за угломъ псарнаго строенія. Изъ Дуплянки онъ пѣшкомъ убѣжалъ въ городъ, повалился въ ноги къ барину и сталъ молить: отдай бы его въ солдаты — по охотѣ.

Баринъ согласился. Вопило и Румянка очутились при немъ недѣли черезъ двѣ. Андрюшку угнали далеко. Онъ попалъ въ драгуны.

Къ осени на мѣстѣ, гдѣ стояла псарня и собачья кухня, валялись головешки да гнилыя доски.



УМЕРЕТЬ—УСНУТЬ...

(РАЗСКАЗЪ.)

„Vis, et fais ta journée; aime, et fais ton sommeil“.
Victor Hugo: Religions et Religion.

I.

Доктору Елкину двадцать восемь лѣтъ. Онъ еще студентомъ началъ кашлять, простудился на взморьѣ. У него, съ дѣтства, была страсть къ рыбной ловлѣ. Случилось это на третьемъ курсѣ. Онъ не обратилъ вниманія, не сталъ лѣчиться, на вакацію не ѣздилъ въ деревню. Да и не на что было. Онъ жилъ на стипендію. Уроковъ не набиралъ; ему нужно было работать. Съ первыхъ экзаменовъ, въ академіи, онъ взглянулъ на себя, какъ на работающаго научнаго студента. Такъ посмотрѣли на него и товарищи, и профессора. Золотая медаль, взятая за сочиненіе еще на четвертомъ курсѣ, подѣлала остальное. Вотъ онъ докторъ. Вотъ его шлютъ за границу—въ Вѣну, въ Парижъ, въ Лондонъ. Онъ учевый и горячій, смѣлый до дерзости хирургъ.

Но разъ, еще въ академіи, онъ порывисто закашлялся передъ операціей. Бистурій выпалъ у него изъ рукъ. Кровь хлынула горломъ. Въ обморокъ онъ не упалъ, но такъ ослабъ, что его должны были отвезти домой. Тутъ только онъ пошелъ къ профессору, далъ себѣ выстучать. Легкія были еще цѣлы. Послали его на кумысъ. Онъ просекалъ въ Самарѣ, страдалъ отъ жары, не могъ тамъ работать, дѣлался днями нестерпимо раздражителенъ. Однако, попопѣлъ. Кровохарканье не появлялось больше. Дорогой въ Нижвій онъ заснулъ на палубѣ, и проснулся

съ дрожью. Начались поты. Лѣченья — какъ не бывало. Подползъ періодъ страшной болѣзни, смягченный для больныхъ туманнымъ словомъ „катаръ“. Но Елкинъ зналъ, что это такое. Онъ не испугался. Не то, чтобы его охватило самообманъ чакоточныхъ. Въ него запахло, скорѣе, другое чувство — чувство вызова, но не бравады. Онъ вызывалъ болѣзнь. Онъ какъ бы говорилъ ей:

„Ну, что же, ты — всеильна; но не думай, что я сдѣлаюсь твоимъ рабомъ. Ты пойдешь своимъ путемъ, а я моимъ. Сколько мнѣ отсчитано дней, столько я и проживу, не тужа, наблюдая тебя въ твоей разрушительной гряднѣ“.

И онъ выполнялъ этотъ вызовъ. Онъ взялъ заграничную командировку, ѣздилъ, слушалъ лекціи, посѣщалъ госпитали, дѣлалъ операціи, написалъ нѣсколько работъ. Въ часы отдыха — не отставалъ отъ товарищей. Его выдали въ театрахъ, въ вѣнскомъ Пратерѣ, въ парижскомъ Бюлье, въ лондонскомъ Креморнѣ. Онъ любилъ ходить всюду, гдѣ пестрая толпа, гдѣ много нарядныхъ, здоровыхъ, красивыхъ женщинъ. Товарищи-докторанты иногда подтрунивали надъ нимъ, называли его „тайнымъ сладенной“, знали, что онъ очень воспримчивъ къ женской красотѣ. Елкинъ не скрывалъ этого. Онъ не позволялъ себѣ „явныхъ глупостей“, но и не отставалъ отъ другихъ, не запирался, никогда не нылъ. Иногда, въ тихой бесѣдѣ съ пріятелемъ, возвращаясь домой, замедленнымъ шагомъ, онъ начиналъ сердиться на свою болѣзнь, язвить ее, дѣлать вслухъ соображенія: сколько можно прожить съ однимъ легкимъ. Онъ уже зналъ, что правое легкое у него тронуто, хотя и не образовалось еще кавернъ.

Разъ, въ Вѣнѣ, послѣ поѣздки въ горы, гдѣ такъ все блистало — и луга, и небо, и гребни горнаго лѣса, гдѣ все такъ дурчливо и шумно справляли чьи-то русскія именины, у Елкина ночью опять хлынула кровь. И вышло ея двѣ лохани. Онъ слегъ. Товарищи перепугались. Приглашена была знаменитость по терапіи. Елкинъ, послѣ выстукиванія и выслушиванія, въ упоръ, съ улыбкой спросилъ нѣмца:

— Сколько вы мнѣ даете жизни?

Тотъ хотѣлъ-было сострить; но больной остановилъ его строже, и сказалъ твердо и значительно:

— Мнѣ это нужно знать. У меня есть интересныя работы.

— Въ Италиі, на покоѣ, безъ труда проживете и десять лѣтъ.

— А вотъ такъ, какъ я живу?

Профессоръ наморщилъ правую щеку и протянулъ:

— За два года я ручаюсь. Развѣ схватите воспаленіе.

II.

Елкинъ и тутъ не испугался. Онъ не зря потребовалъ приговора отъ знаменитости, выстукавшей на своемъ вѣку десятки тысячъ чахоточныхъ. Ему надо было расположить потолокъ свое время. Не станетъ же онъ обкрадывать академію! Онъ долженъ кончить свои работы, напечатать ихъ, приготовить нѣсколько тонкихъ препаратовъ по хирургической анатоміи, прочесть хоть часть курса, показать молодымъ людямъ все „новенькое“, что онъ выучился дѣлать за границей.

Но... приговоръ отдался у него въ сердцѣ. Ему назначили крайній срокъ—два года, быть-можетъ, короче; но уже больше—не жди! Это его начало оказывать холодной струей. Совершенно такое ощущеніе. Сидитъ онъ за книгой или разсматриваетъ какой-нибудь инструментъ, углубится въ микроскопъ, или приводитъ въ порядокъ матеріалы новой работы... И вдругъ, его точно обдаетъ душемъ. Онъ вздрогнетъ. Мысль уже пронизала его мозгъ:

„Два года! Помни! Больше не проживешь!“

И всѣ боли злой чахотки разомъ наполняютъ и разорутъ его грудь. Ему съ особой рѣзкостью слышится хрипѣніе въ горлѣ, свистящее, прерывистое дыханіе, онъ обоняетъ запахъ этого дыханія, его начинаютъ нестерпимо раздражать кашель и мокрота. Онъ съ припадками злости не плюетъ, а плюется. И точно черезъ микроскопъ, онъ сквозь грудную стѣнку проникаетъ глазомъ въ вещество своихъ легкихъ, видитъ эти дыры и ямы, эти сѣроватые узелки бугорчатки, которые вотъ-вотъ разползутся и станутъ гноемъ и кавернами... Онъ съ ужасомъ и омерзѣніемъ бросался на кровать и метался, весь охваченный внутреннимъ огнемъ, бездыханный, облитый липкимъ потомъ...

Но это длилось всегда не больше пяти минутъ. Онъ стыдился своего малодушія. Опять начиналъ онъ ратоборство уже не съ болѣзнью, а съ смертнымъ приговоромъ. Зайдетъ товарищъ, онъ непременно скажетъ ему:



— Знаешь, братъ, я, какъ институтка, считаю дни до выпуска. Мнѣ четыреста дней осталось.

— Ну, пошелъ!..

— Да нечего. Постукай. Въ правомъ-то легкомъ какія-то тряпицы болтаются, да и то съ одной лѣвой стороны.

И заговорить о своей работѣ, обстоятельно, съ любовью, одушевится, кашляетъ легко; когда схватить колотье или жжение, только наморщиваетъ свою переносицу.

Но незамѣтно, безъ философскихъ книжекъ, безъ чтенія горькихъ поэмъ съ вѣчными жалобами жалкаго человѣчества на суровую и бессмысленную юдоль скорби,—этотъ пылкій человѣкъ, обреченный на вѣрную смерть, сталъ перебирать смыслъ своей казни, сравнивать свое заурядное положеніе съ ужасами, страшнѣе которыхъ не создаетъ жизнь и творчество. Вотъ приговорили убійцу къ казни. Онъ отравилъ жену, изъ-за грязной корысти. И онъ—химикъ, аптекарь. Жизнь ея была застрахована въ его пользу. У него любовница. Жену онъ билъ, тиранилъ, заставлялъ чуть не ноги мыть у его любовницы—безстыжей дѣвки, подобранной имъ въ помойной ямѣ свальнаго разврата... Злодѣй! Гаже, отвратительнѣе ничего не придумать! Но рѣзать ему голову машиной, торжественно, подъ прикрытіемъ батальона солдатъ, съ духовникомъ, полицейскими, судьями, журналистами, знатыми иностранцами, со всѣмъ этимъ трусливо-гнуснымъ аппаратомъ мясной лавки и бойни, передъ полушьяной толпой зѣвакъ, воровъ, мальчишекъ, глупыхъ шалопаевъ, свѣтскихъ модницъ и проститутокъ, устраивать тутъ свой омерзительный пикникъ?!—Это еще гаже! Этому имени нѣтъ! Сидитъ этотъ коварный и подлый подливатель ціанъ-кали, сидитъ въ своей тюремной кельѣ. Апелляція отвергнута. Но просьба о помилованіи? Завтра, чуть свѣтъ, войдетъ начальникъ сыскной полиціи и скажетъ:

— Мужайтесь. Васъ ждутъ... Идемъ.

Но онъ надѣялся все время. Онъ вѣрилъ въ свой умъ, изворотливость; концы схоронены. Его осудили по совокупности уликъ. Кто видѣлъ, какъ онъ подмѣшивалъ ядъ?—Никто. Онъ ни разу не задрожалъ. Съ ядовитой увѣренностью подсмѣивался онъ надъ свидѣтелями, надъ прокуроромъ, даже надъ президентомъ.

Онъ надѣется... и когда? Десять часовъ до минуты, когда его голова въ страшномъ миганіи полетитъ въ корзину, и кровь, какъ изъ ушата, зальетъ желтѣющія отруби.



Онъ надѣется! Да. Ему приносятъ ужинать. Аппетитъ у него славный. Онъ можетъ ѣсть мясо, пить красное вино. Ничто ему не напоминаетъ о собственномъ мясѣ и крови. Послѣ ужина, онъ ложится и засыпаетъ какъ убитый! А въ семь часовъ, когда палачъ съ помощникомъ введутъ его, связаннаго, съ обрѣзаннымъ воротомъ рубашки, на помость, его интересное, задумчивое лицо оглянетъ грязно-сѣрую массу колышавшейся публики, и онъ громкимъ голосомъ скажетъ:

— Господа, я умираю невинный!

И тутъ — козыри въ рукѣ этого отравителя! А онъ, докторъ Елкинъ, долженъ отсчитывать каждый день, и сознательно, безъ признака надежды, идти навстрѣчу... не гильотинѣ, а безпощадно-копотливой болѣзни, сѣдующей его заживо. Мозгъ ясенъ, кровь приливаетъ къ нему, каждый мигъ освѣщенъ пониманіемъ науки. И за что? Чтò есть въ его жизни, кромѣ труда, простой, безсознательной честности? Вины нѣтъ, но есть тамъ, наверху, въ восходящей женской линіи — слабогрудая женщина. Ну, и отсчитывай свои дни, и знай напередъ, что каждая лишняя ночь принесетъ мѣки еще жгучѣе, а воздухъ будетъ все убывать, убывать, убывать!..

Ужасно это великое злодѣйство природы!

III.

На пригоркѣ, надъ моремъ, въ тѣни сосенъ, лежалъ докторъ Елкинъ, на сухой травѣ, покрытой слоемъ красно-бурой хвои. Жадно вглядывался онъ въ море и въ багровый, почти малиновый кругъ солнца, ожидая, какъ оно вотъ-вотъ нырнетъ въ изсѣра-синюю зыбь.

Съ той полосы его душевной жизни, когда онъ сравнилъ себя впервые съ осужденнымъ на казнь, прошло слишкомъ годъ. А онъ все еще дышитъ. Изъ-за границы вернулся онъ въ срокъ. Стоило на него взглянуть, чтобы увидеть, какъ онъ плохъ. Предлагали ему Санъ-Ремо, Мадеру. Онъ отказалъ. Съ сентября началъ онъ читать лекціи, говорилъ довольно твердо и громко, но каждый разъ лежалъ, послѣ того, плашмя, до обѣда. Операциі онъ дѣлалъ, но рѣзать боялся, что дрогнетъ рука. Главное, ему страстно хотѣлось передать студентамъ все свое научное добро. Дня не проходило, чтобы онъ не предложилъ имъ какихъ-нибудь особенныхъ демонстрацій.

Миновала зима. Петербургская ростепель, съ вѣтромъ



и слякотью, уложила его на три недѣли въ постель. Онъ вознегодовалъ. Со стороны судьбы это было „просто подло“ — изъ двухъ лѣтъ, отмежеванныхъ ему, украсть почти цѣлый мѣсяцъ! Къ экзаменамъ онъ всталъ. Товарищи гнали его вонъ изъ Петербурга непременно на югъ. Елкинъ не согласился. Въ концѣ іюля онъ поѣхалъ на Балтійское море. Онъ любилъ его съ дѣтства.

— Чего же лучше, — говорилъ онъ своему сослуживцу-терапевту, — тамъ хвоей можно дышать на всемъ прибрежьи. Умирать въ такомъ воздухѣ, право, толковѣе, чѣмъ въ парникѣ, на вашемъ хваленomъ Генуэзскомъ заливѣ.

Былъ восьмой часъ. До заката оставалось нѣсколько минутъ. Кругомъ, по холмамъ — тишина. На одномъ изъ пригорковъ виднѣется скамья и столъ. Въ котловинѣ, полной запаха хвои, нѣсколько жидкихъ кустиковъ. Позади — рядъ домиковъ съ желтыми заборами. Воздухъ переполненъ испареніями сосновой смолы, а съ моря доносятся струйки соленого вкуса.

Низкій столбъ разбрызганнаго золотисто-краснаго свѣта падаетъ почти вровень съ горизонтомъ и разсыпается по корнямъ сосенъ, по дерну, по притоптанной бурой хвоѣ. Въ этотъ столбъ и вошло все изможденное, нервное, незамѣтно трепещущее тѣло больного. Холщевую шляпу онъ сбросилъ съ себя. Голову поддерживаютъ двѣ бѣлыя прозрачныя руки съ алыми ладонями. Въ нихъ чувствуется нервная дрожь. Высокая, сдавленная въ вискахъ, голова покрыта волнистыми вверхъ волосами свѣтло-русаго, почти огненнаго цвѣта. Вся жизнь ушла въ глубокіе глаза съ красивымъ разрѣзомъ, темносѣрые. Зрачокъ расширенъ. Въ немъ то и дѣло вспыхиваетъ огонекъ. Рѣсницы — густыя и темныя, такія же, какъ усы, и длинная, узкая борода, на щекахъ точно подбритая. Заостренный носъ съ прозрачными ноздрями. Лицо — начетчика изъ раскольничьей мѣстности. Щеки уже совсѣмъ не видно. Только двѣ красныя точки выдвигаютъ впередъ скулы, подъ которыми залегли ямы. Ротъ съ крупными губами полуоткрытъ. Дыханіе судорожнымъ вздрагиваніемъ замѣтно въ горлѣ. Широкій складъ туловища скрываетъ ужасающую худобу. Свѣтлый люстринъ визитки и панталонъ лежатъ большими складками на этомъ тѣлѣ, гдѣ жиръ и мышцы давно высосалъ жаръ скоротечнаго истощенія.

Онъ поглядѣлъ влѣво. гдѣ сосны росли погуще. Глаза



его ярко вспыхнули отъ удовольствія. Никогда еще не видалъ онъ такого отраженія солнечнаго свѣта. Точно изъ земли билъ фонтанъ и расходился вѣеромъ янтарно-рубиновыхъ брызгъ — снизу потемнѣе, кверху, сливаясь съ блѣдно-опаловымъ пологомъ заката и съ широкой полосой, шедшей до двухъ третей всего пространства воды, гдѣ начиналась, безъ промежуточныхъ тоновъ, поперечная, сизо-розовая рябь.

— Экая прелесть! — сказалъ онъ вслухъ.

Совсѣмъ уже малиновый шаръ солнца вдругъ разрѣзала пополамъ тонкая дымка лиловаго облака, словно помѣстила его въ кольцо. И не въ этотъ только разъ Елкину казалось, что не солнце садится въ море, а само море затопляетъ солнце. Вотъ уже полшара. Сверху отрѣзана горбушка, еще цвѣтище, точно наливной рубинъ. Ее все слизываетъ и слизываетъ снизу уровень воды. Вотъ чуть замѣтная полоска... „Ломтикъ моркови“, — сравнилъ Елкинъ, и тихо разсмѣялся.

Но и ломтикъ началъ сокращаться, перешелъ въ точку. Еще секунда — и нѣтъ ничего. Лиловое облако растаяло и слилось съ матовой бронзой заката. А море стало синѣе, рѣзкой чертой отдѣлилось отъ неба и пошло все поперечной, стальной чешуей.

Елкинъ закрылъ глаза и прислушивался къ шуму моря. Настоящаго вѣтра не было. Его лицо опахивалъ мягкій вѣтерокъ, отдававшійся чуть-чуть въ его ухахъ. Отъ воды идетъ одинъ немолчный звукъ. Похожъ онъ и на шелестъ липъ въ большомъ русскомъ саду, и на отдаленное паденіе воды на мельницѣ, или на горный ручей. И нѣтъ этому конца. Не дрему, а живое, громадное, всеобъемлющее чувство вливалъ этотъ шумъ въ еле-дышащую грудь чахоточнаго.

IV.

Теперь — вотъ уже нѣсколько мѣсяцевъ — онъ больше не возмущается. Была минута, когда онъ подумалъ о самоубійствѣ. Но всего одна минута. Онъ стыдилъ себя потому цѣлый мѣсяцъ. Ну, да, страданія бессмысленны, они усилятся къ концу. Разумнѣе закончить ихъ. Разумнѣе? Почему? Раньше срока онъ не умретъ. Зачѣмъ же самому помогать смерти, дѣлаться ея трусливымъ сообщникомъ? Нелѣпо и постыдно. Одно изъ двухъ: или онъ сгоритъ незамѣтно, какъ многіе чахотные, во снѣ, перевернется



на бокъ и — духъ вопъ, или ему выпадетъ на долю агонія. Такъ неужели не найдется добраго человѣка—предписать ему побольше морфія или другого снадобья, чтобъ мозгъ скорѣе закрывалъ свое телеграфное бюро и не докладывалъ о томъ, какъ страдаютъ ткани. Вотъ вѣдь и все!..

Любить онъ — въ эту минуту роскошнаго морского заката — всю природу: зелень, воздухъ, запахъ моря, мягкую хвою, а пуще остального—солнце. Не умомъ однимъ, а всѣмъ своимъ существомъ ощущаетъ онъ связь съ источникомъ жизни, энергіи,—всего, всего!.. Ну, что жъ. Онъ самъ перегорѣлъ раньше срока, не накопилъ запаса, который льется оттуда, сверху, изъ огненной массы, потонувшей сейчасъ въ видъ малиноваго шара. Никогда еще не говорилъ въ немъ такъ страстно великій таинственный голосъ природы. Онъ хорошо помнитъ—никогда!

И онъ не сдерживалъ крупной слезы, скатившейся ему на бороду. Небывалая истома примиренья передъ вѣчнымъ живымъ „нѣчто“, передъ закономъ естества, передъ ежеминутнымъ чудомъ всего, что движется и живетъ, охватила его до состоянія просвѣтленнаго блаженства. Жалость къ себѣ, къ тому, сколько заложено было въ немъ душевныхъ силъ, обреченныхъ на гибель, растворилась въ этомъ новомъ всепокрывающемъ чувствѣ...

— Ничто не пропадаетъ! Ничто не исчезнетъ! — шептали его лихорадочныя губы. — Едино все это, что надо мной и вокругъ меня!..

Но какъ ему хотѣлось, въ то же время, вобрать въ себя больше красокъ, живыхъ настроеній, ласкъ отъ этой природы. Страстная любовь къ жизни сливалась съ благоговѣніемъ передъ великимъ чудомъ вселенной. Чтобы испытать такое чувство,—нужно было ему знать, что онъ умретъ съ первымъ осеннимъ вѣтромъ.

Вчера онъ купался. Для него уже не существовала опасность простуды. Кругомъ прыгали въ водѣ мальчишки, больше жиденята, съ смуглымъ мускулистымъ тѣломъ, визжали, барахтались, брызгались. Онъ съ любовью анатома разглядывалъ ихъ. Человѣческое тѣло, въ его изгибахъ, на водѣ, въ вольныхъ движеніяхъ ногъ, рукъ, бедръ, грудной кѣтки, поглощало его. Онъ забывалъ совершенно свою жалкую, нищенскую слабость, не смотрѣлъ на свои высунувшіяся ребра, ноги „какъ плети“, бурю впадину груди. Ему не было завидно.



Вотъ и теперь, слышалъ онъ сзади переливъ дѣтскихъ голосовъ и радостно повернулъ назадъ голову. По лѣсенкѣ, съ перилами, поднималась пѣлая ватага дѣтей—чистыхъ, нѣмецкихъ дѣтей—шесть дѣвочекъ и два мальчика. Кто поменьше, карабкался на крутой подъемъ. Кто постарше — шли степенно. Заправляла всей ихъ партіей дѣвочка лѣтъ десяти, въ большой соломенной шляпѣ, въ видѣ короба, съ длинной таліей, съ книжкой въ рукахъ. Елкинъ осматривалъ ихъ издали, каждаго поодиночкѣ. У одной дѣвочки, лѣтъ трехъ, голенькія ноги, изъ-подъ парусиновой короткой юбки, привели его въ восторгъ. Шляпа на затылкѣ обнажала лобъ дѣвочки съ гладкими волосами, срѣзанными напередѣ, по-англійски.

— Что за бутузъ!.. Божество!—прошпнталъ Елкинъ, и началъ слѣдить ласковыми глазами за косолапеными движеніями ребенка.

— Baby!—крикнула старшая дѣвочка тономъ наибольшей, —nicht so schnell! nicht so schnell!

На мальчикахъ были солдатскія фуражки безъ козырьковъ, съ синими околышами. Они на ходу подбирали сосновыя шишки. Гуськомъ поднялись всѣ дѣти, наверху потоптались на одномъ мѣстѣ, потомъ мальчики и мелюзга изъ дѣвочекъ подошли къ Елкину и уставились на него.

Онъ имъ улыбался, дѣвочку съ англійскими волосами подозвалъ рукой. Она покраснѣла. Мальчики въ солдатскихъ фуражкахъ пододвинулись поближе. Щеки у нихъ точно кто подпиралъ изнутри. Оба они покраснѣлись, и волосы, цвѣта пакли, вудрявились изъ-подъ синихъ околышей. Маленькіе глазки искрились отъ радостнаго чувства дѣтской энергіи.

— Kinder, kommt, kommt!—закричала строго старшая дѣвочка.

— Lassen sie!—тихо остановилъ онъ ее.

Но дѣти послушно отступили и, смолкнувъ, стали спускаться съ пригорка.

Онъ провожалъ ихъ долгимъ взглядомъ. Можетъ, и не удастся уже больше увидать такого чуднаго ребенка, какъ эта дѣвчурка съ голенькими ножками? Холостымъ, безъ потомства, послѣднимъ въ родѣ долженъ онъ умирать. Развѣ это не лучше? Что же бы онъ передалъ по наслѣдству вотъ такой прелестной дѣвочки? Скоротечную чахотку? А то и того хуже: долголѣтнюю блѣдную не-



мочь, жалкое прозябанье безъ крови, безъ мышцъ, безъ вкуса къ жизни...

V.

Засвѣжѣло. Шумъ прибоя поднимался все явственнѣе. Забѣгали бѣлые зайчики. Подулъ вѣтеръ съ сѣверо-запада. Но Елкину не хотѣлось двигаться съ своей хвон, гдѣ его груди такъ хорошо дышалось. Внизу, вдоль влажнаго прибитаго песка, плоскія волны то и дѣло лизали побережье. Справа, влѣво и въ противоположную сторону тихо двигались фигуры гуляющихъ, — больше парно. Нѣтъ-нѣтъ — проѣдетъ экипажъ, въ шорахъ, съ кучеромъ въ высокой цилиндрической шляпѣ, или пара пѣни съ дамой въ соломенной вѣкторіи, или амазонка съ кавалеромъ. Передъ нимъ все это движется такъ безшумно, точно въ панорамѣ. Не слышно ни топота копытъ, ни скрипа колесъ, ни разговоровъ.

И это мельканіе дамъ, мужчинъ, экипажей, всадниковъ вызвало въ немъ еще новое настроеніе. И ему онъ обрадовался. Ему захотѣлось пожить „на міру“. Тутъ, на купаньяхъ, все чуждо, хуже чѣмъ за границей. А надо бы въ свой большой городъ. Въ тотъ же Петербургъ. Августъ уже на дворѣ. Городская жизнь начинается.

Гдѣ-то, очень близко, въ одномъ изъ овражковъ раздались громкіе голоса, русскій языкъ пополамъ съ французскими и англійскими фразами. Опъ такъ былъ поглощенъ собой и природой, что не замѣтилъ, что въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него уже больше получаса играютъ въ крокетъ.

Елкинъ привсталъ, надѣлъ шляпу, застегнулъ визитку и присѣлъ къ дереву, поджавъ подъ себя ноги, въ полъ-оборота къ обществу, игравшему въ крокетъ.

Тутъ было четыре дѣвцы: одна — длинная, какъ тычинка хмелю, другая ей по плечу, — сестры, въ одинаковыхъ вышитыхъ платьяхъ изъ Лувра и цвѣтныхъ казакахъ; при нихъ русская англичаночка, курносенькая и миловидная, въ синемъ кретоновомъ капотикѣ, въ родѣ ливренъ, съ капюшономъ; еще плотная, краснощекая пѣмка-баронесса, пухлый французъ-учитель изъ Петербурга и жилистый, загорѣлый брѣнетъ, балтійскій полякъ. Нѣмка поразила Елкина своимъ здоровьемъ. Онъ разглядѣлъ съ широкою ступню и даже состригъ про себя:

„Да, на большой ногѣ онѣ здѣсь живутъ“.

Долгая барышня взвизгивала безпрестанно и потомъ тянула въ носъ:

— Monsieur Courcelle, à vous de jouer!

Въ другое время, лѣтъ пять-шесть назадъ, даже въ прошломъ году, онъ поглядѣлъ бы на этихъ дѣвицъ съ недовольной миной или презрительной усмѣшкой. — „Барышни, худосочное отродье, коптятъ небо, ходичая золотуха“, — потъ что бы онъ сказалъ про себя. Но теперь вышло совсѣмъ не то. Никакого предубѣжденія не ощутилъ онъ въ себѣ. Онъ видѣлъ передъ собою игру молодыхъ людей. Ихъ влекла все та же природа. Крокетъ—одинъ предлогъ, выдуманный лицемѣрными англичанами.

И ему стало досадно на себя, досадно и обидно. Зачѣмъ онъ прежде, когда еще было здоровье, избѣгалъ общества дамъ и дѣвицъ? Тогдашній его „демократизмъ“ показался ему непростительно-глупымъ. Онъ самъ, по своей винѣ, отнял у себя столько хорошихъ минутъ знакомства съ нѣжными женскими натурами, не слыхалъ кроткихъ, изящныхъ голосовъ, не видалъ вблизи ни граціи, ни милаго кокетства, ни горячаго порыва дѣвушки, въ расцвѣтѣ ея душевной красоты. Что онъ видѣлъ? Пестрыя толпы въ столицахъ, кокотокъ въ Мабиллѣ, или уличныхъ женщинъ на вѣнскомъ Грабенѣ и лондонскомъ Най-Маркет! Иногда на сценѣ, тоже за границей, ему понравится актриса. Онъ купить ея карточку, читаетъ о ней фельетоны въ газетахъ, ждалъ выхода одной у театральнаго подъѣзда. Воображеніемъ онъ сближался съ ней, слышалъ ея голосъ, дополнял ея сценическій обликъ блескомъ ума, обаяніемъ натуры. Познакомиться съ ней... Какъ? Языками онъ владѣлъ плохо. Да и съ какой стати „затесался“ бы русскій „лѣкарь“ къ какой-нибудь знаменитости—и бухъ ей:

„Позвольте быть знакому. Вы мнѣ очень нравитесь“.

И такъ прошла молодость. О любви ему некогда было и подумать. Вспомнилъ онъ тутъ о двухъ-трехъ знакомствахъ съ русскими работающими дѣвушками. Тѣ даже и мысли-то въ немъ не вызывали, что онѣ особы другого пола. Длинные разговоры съ научными терминами, уроки, атласы, препараты по анатоміи, клеенчатые фартуки, ломтики колбасы, запахъ папирсъ,—вотъ что осталось у него въ памяти.

„Хорошіе парни“,—выражался онъ про нихъ тогда, да и теперь то же скажетъ.



Да, не любилъ! И женщины, ея красоты и обаянія не зналъ—да такъ и умереть мѣсяца черезъ три. По его расчету, осталось семьдесятъ три дня, если нѣмецъ предсказалъ вѣрно. Стыдно ему сдѣлалось, когда онъ продолжалъ глядѣть на дѣвицъ, играющихъ въ крокетъ,--къ чему сводились всѣ его отношенія къ женщинѣ, какъ источнику любви и радости?.. Онъ даже вспыхнулъ, и вспыхнулъ въ первый разъ, думая объ этомъ. Ему вспомнились студенческія похождения. Ну, тогда слишкомъ бушевала кровь. Но дальше грубаго усмиренія аппетитовъ никто не шелъ. А потомъ? Науку онъ любилъ; былъ чувствителенъ къ женской красотѣ. Какъ? Ему нравилось тѣло, одно тѣло. Прежде, онъ помнитъ, ему бывало жаль этихъ несчастныхъ, бѣгающихъ по бульварамъ и люднымъ улицамъ, по баламъ и кафе, на ловлю мужчинъ. Обидно за женщину, горько за человѣчество, создавшее такой видъ погони за кускомъ хлѣба. Да; но онъ не пренебрегалъ этими женщинами. Онъ платилъ имъ. Ему случалось даже хвалиться передъ товарищами за кружкой пива, что „вотъ какую я вчера заполучилъ Амалію или Фифину“.

„Заполучилъ“. Это именно слово и было въ ходу въ ихъ холостыхъ разговорахъ. И, точно ассортиментъ галтуковъ или порцій ѣды, проходятъ передъ нимъ: блондинки съ колоссальными шиньонами и бѣлоснѣжными формами, и сухенькія брюнетки, и греческіе и вздернутые носы, и овальныя плечи, и „богатые“ бедра. Онъ даже, одно время, записывалъ ихъ въ книжечку, поименно, и съ обозначеніемъ числа и мѣсяца. А вѣдь онъ смотрѣлъ на себя, какъ на скромнаго, почти добродѣтельнаго мужчину. Цинизма и въ разговорахъ не любилъ онъ дальше извѣстной черты. Его даже считали чопорнымъ по этой части, хотя и знали, что онъ „не прочь“.

Краска поздняго стыда долго не сходила съ лица Елкина. Будь онъ посмѣлѣе и не такъ слабъ, онъ способенъ былъ бы повиниться передъ барышнями. И ему еще сильнѣе захотѣлось въ городъ. Онъ заведетъ знакомства, будетъ ѣздить въ Павловскъ, найдетъ нѣсколько милыхъ семействъ. Все это отъ него зависитъ. Съ половины августа Петербургъ оживаетъ. Зажгутъ фонари. А тамъ и сентябрь...

Мысль о сентябрѣ не испугала его. Онъ приподнялся, держась за стволъ тонкой сосны. Общество собрало свои палки, шары и дуги и вошло, со смѣхомъ и разговорами,

въ калитку одной изъ дачъ, съ новой гонтовой крышей. Вѣтеръ все свѣжѣлъ. Но Елкину дышалось еще лучше. Была минута, когда проблескъ дѣтской радостной надежды, какъ ночной огонекъ, вспыхнулъ и озарилъ его мозгъ:

„А, быть-можетъ, процессъ разрушенія остановится?“

Онъ ничего не отвѣтилъ; но спустился бодро, шагая большими шагами. Онъ рѣшилъ не заживаться здѣсь больше недѣли.

VI.

Передъ обѣдомъ, въ послѣднихъ числахъ августа, Елкинъ тихо двигался вверхъ по Большой Морской. Городъ смотрѣлъ еще по-лѣтнему. Стоялъ душный, солнечный, потный день. Грудн больного приходилось плохо. Онъ утромъ поѣхалъ къ товарищу на острова, думать освѣжиться. Но на пароходъ его прохватило. Товарища онъ не засталъ и, ходя по аллеямъ острова, чувствовалъ себя точно въ теплицѣ. Въ городѣ ему стало лучше. Къ пятому часу Морская полна была движенія. Елкинъ находилъ улицу очень красивой, да и вообще Петербургъ заново предсталъ передъ нимъ въ просторѣ и грандіозности набережныхъ, рѣки, стройныхъ каменныхъ перспективъ.

— Какой городъ! Какой городъ!—повторялъ онъ часто, точно онъ его изучаетъ въ первый прїѣздъ, а не родился тутъ, въ Гавани, не знаетъ этого Петербурга вплоть до переулковъ Выборгской.

Глаза его упали на боковую синюю вывѣску съ бѣлыми буквами. Это была постоянная выставка. Онъ рѣдко ходилъ на выставки по недосугу, да и любилъ повторять, что мало смыслить; но за границей останавливался всегда передъ витринами художественныхъ магазиновъ.

Елкинъ вошелъ. Онъ самому себѣ казался иностранцемъ или прїѣзжимъ изъ губерніи. Его это забавляло. На лѣстницѣ и на верхней просторной площадкѣ, гдѣ стояла пріятная свѣжесть, ему уже иначе дышалось. Кассирша въ темномъ платьѣ указала ему рукой на ходъ вправо. Онъ попалъ сначала въ музей прикладныхъ искусствъ. Пошелъ онъ по сыроватымъ комнатамъ, гдѣ въ шкапахъ нестрѣли передъ нимъ горшки, бокалы, болванчики, куски старыхъ матерій, тарелки, японскіе божки, бронзовыя статуэтки, деревянная посуда... Это утомило

его. Онъ не могъ ничему отдаться, сосредоточить себя, выбрать какую-нибудь вещь и любовно обглядывать ее со всѣхъ сторонъ. Последнія комнаты онъ пробѣжалъ, и когда попалъ опять въ боковое помѣщеніе музея, думая очутиться у выхода—то даже разсердился. Все это было ему чуждо, тускло, или слишкомъ причудливо, или слишкомъ скучено, отзывалось лавкой старьевщика на Шукшномъ. Онъ созпавалъ свое невѣжество; но ничто его не радовало. Все это походило на кабинетъ минераловъ. Настоящая жизнь, съ красками и вчерашнимъ днемъ правды и поэзіи, отсутствовала для него во всѣхъ этихъ ужасно дорогихъ и рѣдкихъ коллекціяхъ...

— Да гдѣ же картины?—спросилъ онъ у служителя.

— А вотъ налѣво, пожалуйста.

Елкинъ кинулся туда, точно онъ хотѣлъ нырнуть въ свѣжую проточную воду. Въ первой же залѣ, въ сторонѣ, на мольбертѣ стоялъ женскій портретъ. Елкинъ прошелъ мимо, не обернувшись: его издали привлекалъ пейзажъ съ заревомъ заката. Онъ видѣлъ на-дняхъ такой закатъ. Но вблизи пейзажъ ему не понравился. Слишкомъ ужъ размашиста была мазня. Небо, вода, солнце не дышали жизнью. Уныло обернулся онъ назадъ и увидалъ лицо. Сначала глаза и брови. Онъ подскочилъ къ портрету и замеръ. Ни письмо, ни мастерство, съ какими отдѣланъ былъ бархатъ шляпы, ни корсажъ, ни вязка руки, ни умѣнье художника усадить — ничего онъ не разглядывалъ... Лицо, глаза, брови, взглядъ и прозрачность этого лица, какая-то одухотворенная кожа, сквозь которую видна каждая жилка, трепещетъ каждый нервъ...

— Неужели—русская? — шепталъ онъ про себя. — Не можетъ быть! Испанка? Или оттуда, изъ славянскихъ странъ?

И онъ ушелъ въ эти глаза, какіе-то вытягивающіе въ себя, бездонные и необычно лучезарные, положительно освѣщающіе все, что вокругъ нихъ. Эти глаза—русскіе. Они говорятъ по-русски. Это не Матильда, не Казимира, не Эмма; а Ольга, Вѣра, Татьяна... Да, Тапечка, Варя, Настенька... Брови дышатъ тепломъ и нѣгой—въ морозный день, когда она вбѣжитъ съ улицы, въ шубкѣ, въ меховой шапкѣ, послѣ катанья на тройкѣ, и подставитъ эти брови любимому человеку. Вотъ когда можно умереть—когда *должно* умереть! Улыбка—не насмѣшка, а наше русское себѣ-на-умѣ; но доброе, шаловливое себѣ-

на-умѣ женщины, которая не можетъ не чувствовать, что она—лучъ свѣта, что безъ нея не зачѣмъ жить; что она однимъ пальчикомъ остановить всякую враждебную стихію!..

Онъ ласкалъ этотъ плѣнительный и дышащій всей грудью образъ. Даже волосы—гладкіе, милые русскіе волосы—были ему близки; онъ ихъ зналъ съ дѣтства; но какъ они заканчиваются ея обликъ! У висковъ немного вьются... нѣсколько волосиковъ; а на лобъ надвинулись густой грядкой, и не знаешь—что роскошнѣе, что краше: волосы или брови и полуоткрытый ротъ, оттѣненный загибомъ точно выточенного носика съ розовыми ноздрями, гдѣ высокая порода досказала свое послѣднее слово.

— Пожалуйте, запирайте будутъ,—пригласилъ его удалиться слугитель.

Елкинъ какъ-то дико посмотрѣлъ на него.

— Запираютъ?—спросилъ онъ машинально.

— Да-съ.

Онъ еще разъ окинулъ портретъ горячимъ взглядомъ и скоро-скоро сошелъ съ лѣстницы, даже запыхался. Внизу, въ швейцарской, онъ стоялъ нѣсколько минутъ, точно въ нерѣшимости: подняться ему еще разъ, или идти.

Только на улицѣ онъ спросилъ себя: „а кто писалъ эту женщину и какъ ея фамилія?“ Каталога онъ не догадался купить, да, кажется, и не продаютъ. Ну, хоть фамилію художника. Всегда есть подпись въ правомъ или въ лѣвомъ углу. Теперь уже поздно. Онъ зайдетъ еще разъ на недѣлѣ.

— Непремѣнно!—воскликнулъ Елкинъ про себя.

VII.

Но онъ не попалъ на постоянную выставку на той же недѣлѣ. Три дождливыхъ дня съ изморосью заперли его дома. Да и надо было начинать скоро свой курсъ. Елкинъ хотѣлъ умереть „на бреши“. Всего бы лучше на лекціи, такъ, сразу, но врядъ ли удастся? Три дня лежалъ онъ на кушеткѣ, съ книгами, и безпрестанно все смотрѣлъ на барометръ. Его тянуло на воздухъ, ну хоть просто на улицу, гдѣ толкуются люди, къ какимъ-нибудь знакомымъ. Барометръ къ вечеру третьяго дня сталъ показывать къ ведру. На другой день случилось воскресенье. Елкинъ съ утра вышелъ изъ дома, цѣлый день бродилъ или ѣздилъ, обѣдалъ позднѣе обыкновеннаго.



Въ сумерки, шелъ онъ по набережной. Онъ поглядѣлъ на рѣку и сравнилъ ее съ морскимъ побережьемъ.

У подъѣзда одного изъ трехъэтажныхъ домовъ стояло нѣсколько каретъ. Елкинъ облокотился о гранитный парапетъ набережной и сталъ глядѣть на подъѣздъ. Показалось ему странно, что входитъ туда всякій народъ: барыни, офицеры, чуйки, женщины въ головкахъ, солдаты. Чтѣ бы это такое было? Похороны?—Не тотъ часъ...

Онъ перешелъ черезъ мостовую.

— Чей домъ?—спросилъ онъ кучера.

Тотъ назвалъ извѣстную дворянскую фамилію.

— Что же это такое тутъ?

Кучеръ—это былъ каретный извозчикъ—усмѣхнулся.

— Моленная.

— Какая?

— Кто ихъ знаетъ. Баринъ самъ проповѣди держитъ. Мы ихъ видали. Къ намъ, въ Ямскую, ѣзжалъ, книжки дарилъ.

— Книжки?

— Да, душеспасительныя. Добрый баринъ.

Елкинъ что-то слышалъ объ этомъ баринѣ и этой моленной, но вскользь.

— Можно входить съ улицы?—спросилъ онъ еще кучера.

— Извѣстно. Всякаго принимаютъ... Сами видите.

Въ стеклянную, съ бронзой, дверь все входила публика. Елкина это заинтересовало. Вслѣдъ за двумя старушками, въ чепцахъ, и сапернымъ унтеръ-офицеромъ онъ вошелъ не очень рѣшительнымъ шагомъ въ обширныя сѣни барскихъ хоромъ. Сѣни со сводами поворачивали вправо. Нужно было подняться нѣсколько ступенекъ. По пути разставлены лакеи, во фракахъ и въ ливреяхъ, неподвижные, скучающіе, съ выраженіемъ нѣсколько задѣтаго достоинства, но вѣжливые и—чему должно—выучены. Всѣ сѣни покрыты были верхнимъ платьемъ. Ливрея швейцара съ жирнымъ веселымъ лицомъ выставлялась изъ-за арки, у входа наверхъ, въ залу.

Елкинъ обратился къ швейцару и спросилъ наобумъ:

— Началось?

— Сейчасъ, — отвѣтилъ тотъ добродушно и серьезно, голосомъ, какой слышится въ перквахъ.

Швейцаръ снялъ съ него пальто, заведя его въ полуосвѣщенный закоулокъ, гдѣ всѣ вѣшалки были уже переполнены. Онъ положилъ пальто Елкина на длинный и

Заглянувъ въ залу, онъ застегнулъ пиджакъ на верхнюю пуговицу и поднялся на эстраду, приставленную къ стѣнѣ, отдѣлявшей гостиную отъ залы. За нимъ протѣснились нѣсколько дамъ и адъютантъ. Конногвардеецъ, съ брошюрой въ рукахъ, оперся лѣвой рукой, въ замшевой перчаткѣ, о спинку простого черного стула.

VIII.

И Елкинъ приподнялся на своемъ креслѣ, чтобы по-смотрѣть: какой видъ представляетъ собою эта „моленная“. Ему заслоняли одинъ уголь двѣ женскихъ шляпки; но лѣвѣе онъ могъ свободно видѣть. Подъ эстрадой начиналась стѣна головъ, уходящая въ глубь залы; жепщины гораздо больше мужчинъ, молодыя, старыя, въ туалетахъ, эполеты, погоны, чиповничьи бритыя щеки, сѣдые старики, лысины, дѣтскія лица. А тамъ, за колоннами, въ полусвѣтѣ, силошная масса новыхъ головъ „простого народа“. Все смолкло и замерло въ ожиданіи.

Послышался голосъ съ эстрады. Елкинъ увидалъ, что это говоритъ блондинъ въ пиджакѣ.

— Номеръ третій!—донеслось до его слуха.

— Какой, какой номеръ? — начали переспрашивать около него.

Дама съ двумя дочерьми засуетилась, сунула брошюру въ руки одной изъ нихъ, сама схватила другую брошюру на столъ и начала торопливо перелистывать, повторяя:

— Le numéro trois, n'est ce pas? Le numéro trois? Sophie, n'est ce pas?

Елкина это заставило усмѣхнуться. Кто-то и ему протянулъ брошюру съ зеленой оберткой. Онъ взялъ, но не развертывалъ.

Съ эстрады раздалось медленное чтеніе вслухъ русскихъ стиховъ. Чтеніе было неискusstное, въ особомъ, чувствительномъ тонѣ, какой употребляютъ родители или гувернантки, когда хотятъ разжалобить дѣтей. Елкину не хотѣлось вслушиваться въ смыслъ этихъ стиховъ. Замѣтилъ онъ только, что рѣча хромала. Но его веселое, безобидное, почти дѣтское настроеніе не прекращалось.

Занграли на фисгармоникѣ,—должно-быть, на эстрадѣ же, вбокъ отъ того, кто прочелъ вслухъ стихи. Потому всѣ зашѣли, какъ въ кирахъ, слѣдомъ за каждымъ аккордомъ, не то, чтобы особенно хорошо, но и не фальшиво. Преобладали женскіе голоса. Медленный ритмъ,



повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ, однообразная мелодія убаюкивали Елкина за его гардиной.

„Вотъ бы такъ и заснуть навсегда,—думалось ему,—когда придетъ срокъ. Чтобъ ничто не тревожило и не возбуждало. Все равно, что они поютъ. Только бы не фальшивили“.

Черезъ минуту онъ добавилъ:

„Всѣ эти дамы, барышни, гвардейцы, помѣщики, салопницы, солдаты и апраксинцы,—всѣ хотятъ спастись, не премѣнно спастись. Царствія небеснаго! Меньше имъ нельзя. Ну, и стараются, и поютъ, и будутъ, должно-быть, слушать длинную проповѣдь досужаго и добраго барина, желающаго всѣмъ сердцемъ спасти ихъ. Но вѣдь смерть для нихъ—тамъ, гдѣ-то за горами, въ туманѣ. А скажика любому изъ нихъ: ты приговоренъ, тебѣ жить два мѣсяца. Запоетъ ли кто? Да еще подъ музыку? Врядъ ли!“

Онъ не подсмѣивался надъ ними. Нѣтъ. Онъ видѣлъ и чувствовалъ одно: вѣчную потребность скрасить если не эту жизнь, то хоть то, что ждетъ тебя тамъ, гдѣ-то...

— Люди — человѣки! — прошепталъ онъ про себя, закрылъ глаза и впалъ въ сладкую дрему подъ гулъ проповѣди.

Она началась послѣ пѣнія. Ему слышался тотъ же картавый голосъ съ дворянской хрипотой, съ тѣми же чувствительными нотами, точно проповѣдникъ обращался къ малолѣтнимъ. Въ смыслъ онъ опять не вникалъ. Донесется до него какой-нибудь текстъ, не по-славянски, а на русскомъ языкѣ, или одна фраза повторяется два раза. И потомъ опять пойдетъ гулъ съ одними и тѣми же переливами голоса и, вѣроятно, съ возвращеніемъ къ главному доводу.

„Какъ усердствуетъ“,—замѣтилъ про себя Елкинъ и почувствовалъ, какъ у него по головѣ пошли мурашки перваго усыпленія.

IX.

Переливы голоса смолкли. Елкинъ вышелъ изъ своей дремы и посмотрѣлъ на часы. Проповѣдь шла добрыхъ три четверти часа. Въ залѣ закашляли, засморкались, зажужали разговоры. Около него тоже раздалась болтовня шопотомъ, больше по-французски. Онъ всталъ и приблизился къ двери. Проповѣдникъ пожималъ руку дамъ, та, съ влажными, умиленными глазами, какъ-то присѣдала

Заглянувъ въ залу, онъ застегнулъ пиджакъ на верхнюю пуговицу и поднялся на эстраду, приставленную къ стѣнѣ, отдѣлявшей гостиную отъ залы. За нимъ протѣснились нѣсколько дамъ и адъютантъ. Конногвардеецъ, съ брошюрой въ рукахъ, оперся лѣвой рукой, въ замшевой перчаткѣ, о спинку простого черного стула.

VIII.

И Елкинъ приподнялся на своемъ креслѣ, чтобы по-смотреть: какой видъ представляетъ собою эта „моленная“. Ему заслоняли одинъ уголъ двѣ женскихъ шляпки; но лѣвѣе онъ могъ свободно видѣть. Подъ эстрадой начиналась стѣна головъ, уходящая въ глубь залы; жепщины гораздо больше мужчинъ, молодыя, старыя, въ туалетахъ, эпoletы, погонны, чиновничьи бритыя щеки, сѣдые старики, лысины, дѣтскія лица. А тамъ, за колоннами, въ полусвѣтѣ, сплошная масса новыхъ головъ „простого народа“. Все смолкло и замерло въ ожиданіи.

Послышался голосъ съ эстрады. Елкинъ увидалъ, что это говоритъ блондинъ въ пиджакѣ.

— Номеръ третій!—донеслось до его слуха.

— Какой, какой номеръ? — начали переспрашивать около него.

Дама съ двумя дочерьми засуетилась, сунула брошюру въ руки одной изъ нихъ, сама схватила другую брошюру на столъ и начала торопливо перелистывать, повторяя:

— Le numéro trois, n'est ce pas? Le numéro trois? Sophie, n'est ce pas?

Елкина это заставило усмѣхнуться. Кто-то и ему протянулъ брошюру съ зеленой оберткой. Онъ взялъ, но не развертывалъ.

Съ эстрады раздавалось медленное чтеніе вслухъ русскихъ стиховъ. Чтеніе было неискusstное, въ особомъ, чувствительномъ тонѣ, какой употребляютъ родители или гувернантки, когда хотятъ разжалобить дѣтей. Елкину не хотѣлось вслушиваться въ смыслъ этихъ стиховъ. Замѣтилъ онъ только, что рѣча хромала. Но его веселое, безобидное, почти дѣтское настроеніе не прекращалось.

Заиграли на фисгармоникѣ,—должно-быть, на эстрадѣ же, вбокъ отъ того, кто прочелъ вслухъ стихи. Потомъ всѣ запѣли, какъ въ киркахъ, слѣдомъ за каждымъ аккордомъ, не то, чтобы особенно хорошо, но и не фальшиво. Преобладали женскіе голоса. Медленный ритмъ,

повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ, однообразная мелодія убаюкивали Елкина за его гардиной.

„Вотъ бы такъ и заснуть навсегда,—думалось ему,—когда придетъ срокъ. Чтобъ ничто не тревожило и не возбуждало. Все равно, что они поютъ. Только бы не фальшивили“.

Черезъ минуту онъ добавилъ:

„Всѣ эти дамы, барышни, гвардейцы, помѣщики, салопницы, солдаты и апраксинцы,—всѣ хотятъ спастись, не премѣнно спастись. Царствія небеснаго! Меньше имъ нельзя. Ну, и стараются, и поютъ, и будутъ, должно-быть, слушать длинную проповѣдь досужаго и добраго барина, желающаго всѣмъ сердцемъ спасти ихъ. Но вѣдь смерти для нихъ—тамъ, гдѣ-то за горами, въ туманѣ. А скажика любому изъ нихъ: ты приговоренъ, тебѣ жить два мѣсяца. Запоетъ ли кто? Да еще подъ музыку? Врядъ ли!“

Онъ не подсмѣивался надъ ними. Нѣтъ. Онъ видѣлъ и чувствовалъ одно: вѣчную потребность скрасить если не эту жизнь, то хоть то, что ждетъ тебя тамъ, гдѣ-то...

— Люди — человѣки! — прошепталъ онъ про себя, закрылъ глаза и впалъ въ сладкую дрему подъ гулъ проповѣди.

Она началась послѣ пѣнія. Ему слышался тотъ же картавый голосъ съ дворянской хрипотой, съ тѣми же чувствительными нотами, точно проповѣдникъ обращался къ малолѣтнимъ. Въ смыслъ онъ опять не вникалъ. Доносится до него какой-нибудь текстъ, не по-славянски, а на русскомъ языкѣ, или одна фраза повторяется два раза. И потомъ опять пойдетъ гулъ съ одними и тѣми же переливами голоса и, вѣроятно, съ возвращеніемъ къ главному доводу.

„Какъ усердствуетъ“,—замѣтилъ про себя Елкинъ и почувствовалъ, какъ у него по головѣ пошли мурашки нервнаго усыпленія.

IX.

Переливы голоса смолкли. Елкинъ вышелъ изъ своей дремы и посмотрѣлъ на часы. Проповѣдь шла добрыхъ три четверти часа. Въ залѣ закашляли, засморкались, зажужали разговоры. Около него тоже раздалась болтовня шопотомъ, больше по-французски. Онъ всталъ и приблизился къ двери. Проповѣдникъ пожималъ руку дамъ, та, съ влажными, умиленными глазами, какъ-то пристдала

передъ нимъ. Онъ отиралъ бѣлымиъ батистовымиъ платкомъ крупныя капли пота на лбу.

— Не угодно ли туда?—обратился онъ опять къ Елкину и указалъ ему рукой на залу.

„Сдѣлаю я ему это удовольствіе“,—сказалъ Елкинъ мысленно и протискался къ первому ряду кресель. Свѣтъ залы, послѣ пріятныхъ сумерекъ штофнаго салона, заставилъ его зажмуриться. Онъ остановился у эстрады, опершись о перила, потомъ раскрылъ глаза и сталъ искать, гдѣ бы ему присѣсть.

Противъ него, въ двухъ шагахъ, вся въ бѣломъ—она!—женщина портрета.

Онъ схватился за голову и невольно еще разъ закрылъ глаза. Она, она! Ея голова, волосы, глаза! И смотритъ на него вопросительно; а губы раскрылись, кротко смѣются, точно хочетъ она пожурить его:

„Откуда это ты вылъзъ? Причепшись, видишь—все хощее общество; ну, поди сюда, сядь около меня“.

Щеки его, а потомъ все лицо, зардѣлись его прохватила испарина. Никогда еще въ жизни онъ не бывалъ охваченъ такимъ припадкомъ стыда и смущенія. Ни на экзаменѣ студентомъ, ни мальчикомъ въ школѣ, ни передъ первой операціей камнешъченія на трупѣ, когда онъ принялъ одну мышцу за другую и профессоръ довольно ѣдко подтрунилъ надъ нимъ. Никто бы не разувѣрилъ его въ эту минуту, что на него смотрятъ и знаютъ его секретъ. Еще двѣ секунды, и съ нимъ бы сдѣлалась дурнота. Онъ уже начиналъ чувствовать, какъ кровь отплываетъ отъ мозга, сердце замерло, въ рукахъ холодъ...

„Батюшки! какъ глупо, какъ нелѣпо! Срамъ!“

— Вотъ свободное мѣсто,—послышалось ему.

Первый звукъ этого голоса, съ свѣжей дрожью, точно вѣтерокъ, заставилъ его встряхнуться и овладѣть собою.

Господи! Это говорила она. Да, она и показывала ему головой на пустое кресло черезъ два мѣста отъ нея, на заворотѣ ряда, такъ что оттуда она будетъ видна. Онъ однимъ шагомъ опустился въ кресло и глубоко вздохнулъ. Лицо и голова его были влажны. Но онъ уже не могъ оторвать отъ нея глазъ. Она сидѣла къ нему въ полъ-оборота, какъ на портретѣ, только съ другой стороны. Въ ушахъ горѣли крупныя, ввинченныя брильянты, на шеѣ густое ожерелье, на рукахъ, въ длинныхъ шведскихъ перчаткахъ, два массивныхъ матовыхъ браслета.



Она любитъ украшенія. Что жъ тутъ удивительнаго? Эти брильянтоваыя пуговицы въ ушахъ не затмеваютъ прозрачнаго блеска ея глазъ, вечеромъ совсѣмъ черныхъ, а только выставляютъ ихъ живую, трепещущую, глубокую прелесть. Бѣлое кашемировое узкое платье облило ее. Художникъ овладѣлъ на портретѣ ея лицомъ; но онъ пренебрегъ станомъ, плечами, волнистыми липіями груди. Онъ слишкомъ задрапировалъ ее. А такое тѣло—само здорovie, сама красота, нѣга!..

И Елкинъ чуть не вслухъ выговорилъ—не восторженный стихъ поэта, а трезвое латинское изреченіе, давно вычитанное имъ. Но слова этого изреченія показались ему прекрасной, свѣтлой мудростью; они были счастливымъ отголоскомъ того, что онъ уже испыталъ отчасти, глядя на античную группу салона. Да, великая истина въ этихъ сухихъ словахъ: *Venustas et pulchritudo corporis secerni non potest a valetudine!*..“

Онъ позналъ, что такое значить, когда все окружающее пропадетъ, сойдетъ съ поля зрѣнія и одинъ предметъ поглотить васъ до уничтоженія васъ самихъ. Его гнѣющій, близкій къ разрушенію тѣлесный остовъ нѣлъ гимнъ этому роскошному, блистающему чаду природы. Умирая, онъ благословлялъ его на долгій и радостный путь. А самъ покорно исчезалъ, благодарный за такую минуту внезапнаго откровенія красоты, здоровья и творческой силы. Это было выше всего, о чемъ Елкинъ когда либо мечталъ. Да онъ и не мечталъ никогда ни о чемъ подобномъ. И не будь онъ приговоренъ къ смерти, онъ не былъ бы способенъ на такое чувство...

Въ залѣ примолкли. На эстраду вошелъ опять блондинъ и та дѣвушка въ сѣромъ платьѣ, которую Елкинъ примѣтилъ при входѣ въ гостиную. Она сѣла за фисгармонику.

— Номеръ шестой!—выговорилъ громко проповѣдникъ.

Листы зашуршали. Елкинъ смотрѣлъ только на нее. Она откинула голову назадъ. Къ ней наклонился небольшого роста франтоватый мужчина съ подстриженной сѣдой бородкой и очень высокими воротничками. Онъ взялъ у ней брошюрку, привычной рукой развернулъ и указалъ на номеръ. Она поблагодарила его глазами, и какъ будто серьезно ушла въ чтеніе стиховъ. Но глаза сіяли не изувѣрствомъ, а радостью жизни. Елкину видно было, какъ ея губы про себя выговаривали стихъ, медленно, слѣди

проповѣдникомъ. Онъ нашелъ тотчасъ номеръ пѣсни и сталъ выговаривать вслѣдъ за нею. Вотъ они произносили одно и то же слово. Она произнесла въ одинъ разъ съ нимъ: и эти „жемчужинки живыя“, и „небесное царство“, и два раза это ничего не значащее „словно“, отъ котораго онъ въ другое время расхохотался бы на всю залу.

Дѣвица въ сѣромъ взяла аккордъ. Опять начали пѣть, какъ и въ началѣ вечера, звукъ за звукомъ. И она поетъ. Ротъ ея раскрывается. Рѣсницы опущены, и вдругъ поднимаются и пустятъ лучи, пастоящіе лучи, въ параллель съ огнемъ брильянтовыхъ пуговицъ. Развѣ не для него и не для нея отысканъ этотъ текстъ въ пѣсенѣ—номеръ шестой? „Подобно камнямъ въ вѣнцѣ, они возсіють“. А она развѣ не самоцвѣтный камень, стоящій цѣлаго царства? Она-то и есть та *жемчужинка*, о которой поютъ всѣ эти петербуржцы, снѣдаемые тоской и тяжестью сѣренькой, болотной, тупой, безпроглядной жизни. Но одинъ онъ видитъ, что это за жемчужина.

И Елкинъ пѣлъ, не отрывая отъ нея глазъ:

„Онъ вернется, Онъ вернется
На землю, Царь славы
Взять жемчужинки живыя,
Любимыи Имъ“.

Кто онъ? Какой царь славы? Ничего онъ этого не знаетъ, да и не надо ему знать. Онъ пѣлъ для нея, онъ пѣлъ ей—слова ему подложили. Кто же жемчужинка, коли не она? И онъ сливается съ нею въ одно дыханіе, въ одинъ звукъ. Какого еще блаженства?..

Дальше, дальше... Онъ повторялъ все ту же мелодію. Ему она сдѣлалась дорогой, милой. Каждое слово имѣло для него свой смыслъ:

„Словно ясныя звѣзды
На небѣ сверкаютъ,
Такъ онъ возсіють
На царскомъ вѣнцѣ“.

Что за бѣда, что это лепетъ какого-то дитяти, плохо обученнаго грамотѣ!.. Голосъ Елкина крѣпчалъ; сладкую дрожь чувствовалъ онъ въ груди. Онъ пѣлъ настоящимъ голосомъ... Или ему казалось такъ. А развѣ это не все равно?

„Онъ возьметъ ихъ, Онъ возьметъ ихъ
Въ небесное царство“;

Отъ земли Онъ соберетъ ихъ,
Любимыхъ своихъ,
Словно“...

Почему „словно“? Что это значить? Онъ не спрашивалъ. Жалобный пригвѣсъ съ преобладаніемъ женскихъ голосовъ хваталъ его за сердце. Не его ли это хоронить? Что жъ, пускай поютъ. Но нѣтъ. Вѣдь это ее долженъ взять „царь славы“, какъ свою любимую жемчужину... Ее? Теперь?! Слезы брызнули у него изъ глазъ. Онъ не могъ продолжать. А если бы она умерла вмѣстѣ съ нимъ, въ одинъ мигъ? Никому бы не досталась, никому! Его тѣло будетъ разлагаться въ гробу, а она, благоуханная, въ кружевахъ, съ этими брильянтами въ ушахъ, вся теплая и трепетная, съ опьяняющимъ волшебствомъ взгляда, улыбки, мраморно-прекрасныхъ рукъ раскроетъ свои объятія другому?! И непременно раскроетъ. Злость, ярость мужчины закипѣла въ немъ, стала въ горлѣ, точно заперла его. Елкинъ судорожно засунулъ руку подъ воротъ рубашки и оттянулъ его.

Въ залѣ пѣли послѣдній куплетъ. Онъ прислушался; но не могъ слѣдить влажными глазами по брошюрѣ:

„Кто изъ дѣтокъ, кто изъ дѣтокъ
Спасителя любить,
Тѣ жемчужинки живыя,
Любимыя Имъ,
Словно“.

Это наполнило его опять. О себѣ онъ уже не думалъ. Она—„любимая“. Кто же можетъ не любить ее? Та, кто создалъ ее, сама безконечная природа должна ежесекундно любоваться ею, какъ самоцвѣтнымъ камнемъ на „царскомъ вѣнцѣ“.

Опять протянулась жалобно-восторженная нота, пропѣтая сотнями голосовъ, и долго стояла въ ушахъ Елкина.

Задвигали креслами. Служба кончилась. Красавица встала. Всталъ и онъ, но не смѣлъ тронуться. Сѣденькій господинъ, въ высокихъ воротничкахъ, подалъ ей руку. Они прошли мимо него. Шлейфъ ея платья коснулся его ногъ. Она обернулась къ нему и такъ же ласково, какъ первую свою фразу, насчетъ свободнаго мѣста, выговорила:

— Извините, пожалуйста.

Елкинъ чувствовалъ, что онъ стоитъ съ разинутымъ ртомъ и безумными глазами



Но пара скрылась въ дверяхъ гостиной. Елкинъ бросился вслѣдъ. Выходили медленно и чинно, гуськомъ. Ея голова, прядь локоновъ, ползущая по спинѣ, брилльянтовая пуговица праваго уха влекли его. Онѣ не могли скрыться отъ него. Если бъ онъ упустилъ ихъ изъ вида, то чувствовалъ бы ихъ близость.

Какъ онъ любовно обращался къ этой штофной гостиной, ко всему этому дому. Ему, иначе какъ для курьеза, неприлично было бы посѣщать такую „моленную“ Встрѣться съ нимъ товарищъ-медикъ, надо бы непременно увѣрить его:

— И я, братъ, тоже, для потѣхи.

И онъ солгалъ бы. Никакой потѣхи онъ не доставлялъ себѣ. Онъ благословлялъ устроителя этого фребелевскаго сада богоисканія. Гдѣ же бы онъ встрѣтилъ ее иначе?..

Въ сѣняхъ сѣденькій баринъ подозвалъ ливрейнаго лакея и сталъ выѣсть съ нимъ подавать ей плащъ и бѣлый вязаный платокъ. До Елкина не доносилось ихъ разговора.

„Мужъ?“—спросилъ онъ себя, и тотчасъ же отвѣтилъ:— „Нѣтъ“.

Баринъ пожалъ ей руку, а потомъ поцѣловалъ поверхъ перчатк. Она скоро, нагнувъ немного голову, сбѣжала по ступенькамъ. Лакей подсадилъ ее въ карету, собственную, парой въ шорахъ. Елкинъ забылъ даже, что онъ безъ пальто. Но бѣжать къ швейцару, взять извозчика, догонять?.. А потомъ? Или спросить у швейцара? Къ чему? Развѣ онъ можетъ явиться такъ?.. А если бъ и можно было? Вѣдь ему жить—два мѣсяца „цѣлѣбно“. А то и меньше.

Пальто Елкина лежало одиноко на длинномъ полированномъ столѣ темнаго лака.

— А я ужъ сомнѣвался,—сказалъ ему швейцаръ.

Все опустѣло. На улицѣ стояла ночь.

Х.

Но портретъ—на выставкѣ. Смотрѣть на него позволяютъ съ ранняго утра до пяти часовъ. На другой день Елкинъ пролежалъ и былъ такъ слабъ, что не могъ держать книги въ рукахъ. Эта слабость не досаждала ему. Никакихъ мыслей, заботъ, опасеній, соображеній не бороздило его мозгъ. Всплывалъ одинъ образъ, но уже не половинный, какъ тамъ, на портретѣ, а во весь ростъ,



съ гармоніей цѣлаго, съ движеніями, то плавными, то игривыми... Ничего больше. Науки точно не существовало, студентовъ, желанія работать на ихъ пользу—до самой смерти. И ему не совѣстно. Изнутри поднимается точно какая волна, подплываетъ, наполняетъ сердце, а губы лепечуть одно слово. Какое? Онъ не знаетъ. Любовь ли это? Голова не можетъ спрашивать. У ней нѣтъ на это ни силъ. ни охоты.

На слѣдующее утро Елкинъ всталъ и началъ одѣваться съ намѣреніемъ идти въ Большую Морскую. Пошелъ онъ пѣшкомъ. Утро стояло свѣжее, почью морозило, сухой воздухъ рѣзалъ ему грудь. Зато солнце играло и тѣшило его глаза нарядной вереницей домовъ. Ноги передвигались, но такъ медленно. Нетерпѣніе взяло его. Онъ нанялъ извозчика за Пассажемъ и все понукалъ.

Каждый день будетъ онъ ходить. Съ этимъ и сойдетъ въ могилу. Никого онъ не обезпочитъ, никого не смутитъ. На портретъ всякій воленъ смотрѣть хоть по цѣлымъ часамъ. Съ этой мыслью онъ поднялся по лѣстницѣ музея. Та же кассирша приняла отъ него входную плату. Служитель призналъ его и поклонился. Посѣтителей еще никого не было.

Гдѣ же мольбертъ съ портретомъ? Исчезъ! Елкинъ кинулся вправо, влѣво, обѣжалъ всѣ залы—нигдѣ!...

Это его ошеломило, ударило обухомъ. Смертельная бѣда стряслась съ нимъ. Онъ готовъ былъ зарыдать. Какъ же это? Недѣли не прошло? Портретъ былъ тутъ! И вдругъ нѣтъ! Онъ задавалъ себѣ эти вопросы, не понимая, что они бессмысленны. Былъ портретъ или картина, а потомъ прибрали, или продали, или взяли къ себѣ назадъ художникъ. Это вѣдь не былъ портретъ. Онъ теперь только сообразилъ. Платье, шляпка, украшенія—все это смотрѣло картиной. Ну, и купили.

Проходилъ служитель. Елкинъ подошелъ къ нему, хотѣлъ обо всемъ разспросить и промчалъ что-то. Его охватилъ стыдъ. Какъ онъ будетъ разспрашивать объ ней? Заставить сторожа рассказывать точно о какомъ диванѣ или скамейкѣ, которая все стояла, а потомъ ее прибрали!..

Присѣлъ онъ на стулъ. Все въ немъ разомъ рухнуло, опустилось, въ погахъ—смертельная слабость, воздуху въ легкихъ—ни одного пузырька. Дойдетъ ли онъ до лѣстницы? Малодушно-боязно стало ему своей немощи. Ра-



зомъ потерялъ онъ всякую надежду даже на то, что онъ можетъ еще ходить, говорить, мыслить.

Держась дрожащей рукой за перила, сталъ онъ спускаться. Швейцаръ долженъ былъ натянуть на него пальто и застегнуть. Видъ посѣтителя заставилъ швейцара усомниться:—можно ли отпустить его одного пѣшкомъ.

— Не прикажете ли скликать извозчика?—спросилъ онъ.

Но глаза Елкина заискрились. Вѣдь онъ можетъ пойти въ „моленную“! Она тамъ будетъ. Будетъ ли? Нѣтъ, она не изъ этой секты. Разъ она пріѣхала, попѣла, но постоянно не бываетъ. Это для него—неоспоримо. И глаза опять посоловѣли. А художникъ! Кто—художникъ? Это знаютъ здѣсь. Тотъ же швейцаръ знаетъ. Къ художнику поѣхать, сказать ему прямо:

— Облагодѣтельствуйте, дайте посмотрѣть еще разъ!

Елкинъ вскрикнулъ отъ радости. Онъ спросилъ, сейчасъ же, чья это картина стояла въ первой залѣ, влѣво, на мольбертѣ?

Швейцаръ, безъ запинки, отвѣтилъ:

— Въ воскресенье увезли. Профессора Рощина.

Рощинъ, Рощинъ!—заиграли мысли въ головѣ Елкина. Звукъ знакомый. Ну, да, онъ его знаетъ, Рощинъ! Такой бойкій! Борода, острые глаза.

И ему вспомнился вполне отчетливо, до посылки за границу, этотъ Рощинъ въ клиникѣ. Напоролся на сукъ, въ лѣсу, поджидая какого-то звѣря. И Елкинъ—ассистентомъ, осматривалъ его по два раза на дню.

„Онъ! Онъ самый!“

— Гдѣ живетъ этотъ профессоръ? Знаете?—съ дрожью въ голосѣ спросилъ Елкинъ.

Швейцаръ тотчасъ далъ адресъ

XI.

— Здѣсь профессоръ Рощинъ живетъ?—спрашивалъ Елкинъ въ сѣняхъ новаго, богато-отдѣланнаго дома, на набережной, у сѣденькаго швейцара изъ нѣмцевъ.

— Профессоръ?—переспросилъ тотъ. — Рощинъ --- художникъ—вверхъ.

— Ну да, ну да,—назойливо повторялъ Елкинъ, обрадовавшись, что нашелъ.—Дома?

— Должно-быть, дома.

Швейцаръ сейчасъ же позвонилъ и попросилъ Елкина *спуститься внизъ* калоши, чтобы не топтать ковра. У подъема

на лѣстницу стояли два массивныхъ канделябра, подъ античную бронзу. Елкинъ поглядѣлъ на нихъ и подумалъ:

„Вотъ онъ какъ разжился!“

Подниматься ему было тяжело, даже такъ тяжело, что онъ сидѣлъ на двухъ площадкахъ. На первой, сквозь зеркальныя стекла, онъ видѣлъ переднюю большой квартиры. На подзеркальникахъ лежало нѣсколько военныхъ фуражекъ съ яркими околышами. Въ залѣ, мимо дверей и черезъ переднюю, проходили молоденькіе офицеры—одинъ гусарь, другой уланъ, два юнкера. Бряцанье ихъ шпоръ слышалось сквозь стѣну. Солнце играло въ зеркалѣ. Лучъ его проникалъ изъ залы. Квартира смотрѣла ужасно веселой, праздничной и какъ-то офицерски-молодой.

На второй площадкѣ Елкинъ посидѣлъ поменьше. Надъ нимъ изъ квартиры Рощина пріотворилась уже дверь. Освѣщеніе было сверху, черезъ стеклянную крышу. Изъ дверей выглядывало морщинистое, усатое лицо пожилого лакея въ коричневой визиткѣ.

Онъ ждалъ гостя. Елкинъ сталъ поспѣшно подниматься на послѣдній рядъ ступенекъ. Наверху онъ зашатался. Лакей, въ недоумѣніи, поддержалъ его и проговорилъ хмуро:

— Вамъ кого?

— Профессора Рощина.

Елкинъ отдышался, прислонившись къ периламъ.

— Вотъ моя карточка. Доложите.

Человѣкъ впустилъ его въ переднюю и лѣнивыми шагами скрылся въ коридорѣ.

— Проси, проси!—крикнулъ звучный мужской голосъ.

У Елкина даже въ ушахъ пропорхнула пріятная дрожь.

Въ первой комнатѣ, окнами на рѣку, съ голубой мебелью, просторной, улыбающейся, прибранной точно будуаръ молодой женщины, ему пожималъ руку художникъ.

— Какъ же, какъ же!—заговорилъ онъ своимъ высокимъ баритономъ, — помню васъ и до сихъ поръ спасибо говорю! Ухаживали вы за мной, точно сидѣлка. Вотъ это славно, что надумали меня отыскать и зайти. Да еще утѣрчкомъ, да еще съ такимъ неаполитанскимъ освѣщеніемъ. Каковъ денёкъ-то? Даромъ, что сентябрь, а? Вотъ и подите: какія съ нашимъ братомъ Петербургъ шутки шутить!

Художникъ остановился и боковымъ, быстрымъ и точнымъ взглядомъ окинулъ лицо и всю фигуру своего гостя.

Елкинъ тоже поглядѣлъ на него, въ эту минуту, и въ глазахъ Рощина прочелъ свой приговоръ.

„И ты сразу догадался“,—подумалъ онъ, и улыбнулся ему.

— Я присяду, — сказалъ онъ, сдерживая припадокъ кашля.

— Да и я тоже хорошъ! Садитесь, голубчикъ. Вотъ сюда, на этотъ диванчикъ. Ну, какъ вы?

Слова опять замерли на губахъ живописца. А Елкинъ подавилъ щекочущее чувство въ горлѣ и съ особымъ удовольствіемъ продолжалъ разсматривать голову, все тѣло, туалетъ, золотыя вещи Рощина.

Онъ бы его не сразу узналъ. Передъ нимъ стоялъ настоящій русскій молодецъ, съ русой, слегка вьющейся бородой и такими же кудреватыми, не длинными волосами. На лбу волосы нѣсколько порѣдѣли и еще болѣе открывали высокий, изящный, красиваго подъема, замѣчательный бѣлый лобъ. Но всего болѣе нравились ему глаза Рощина. Они смѣялись и точно ловили краски, линіи, выраженіе. Это чувствовалось сразу. Глаза были сѣрые, какіе всего чаще встрѣчаешь у ярославскихъ крестьянъ-питерщиковъ. Въ остальномъ лицо не отличалось никакой особой красотой. Одѣвался Рощинъ безъ претензій артиста, но любилъ характерные покрои, и въ томъ, какого цвѣта выбралъ онъ галстукъ, какъ завязалъ его, въ складкахъ домашняго сюртука, въ запонкахъ, въ рисункѣ утренней цвѣтной рубашки изъ плотнаго оксфорда—сквозила потребностъ художника.

— Молодцомъ вы!—заговорилъ и Елкинъ.—Какъ работаете, какъ живете! И здоровье у васъ какое—загляденье!..

— Ничего, ничего! Дѣлишками доволенъ. Только Петербургъ одолеваетъ. Вотъ въ прошломъ году квартиру эту нашелъ. Ну, кусается, — на такомъ мѣстѣ. Видъ. Мастерская тутъ же. Я сейчасъ вамъ покажу. И вдругъ—вы помните, небось?—два мѣсяца точно киселемъ какимъ небо-то вымазано было. Цвѣтъ на всемъ—дымъ съ изгарью, желтый туманъ. Пинешь въ этой изгари: портреты, картины, эскизы. Проглянешь солнышко—обольетъ всѣ твои холсты — какъ взгипнешь. Мерзость! Отвратъ! Ни одной живой краски. Хотъ въ печку! А это все заказы, къ спѣху! Какъ быть? Обидно и горько. Что жъ бы вы думали? Въ разгаръ зимы—работищи куча—все это побросалъ—и



въ Парижъ. Тамъ холодъ, руки въ волдыряхъ; знаете эти... анжелюры... Но солнце бываетъ. И натурщицы есть. Тамъ только и двинулъ впередъ свою большую вещь, а здѣсь пробавляюсь портретами...

Онъ говорилъ скоро, но съ мелодіей московскаго говора, какъ-то подмывательно. Елкину стало еще пріятнѣе отъ близости этого человѣка.

— Молодцомъ!—повторялъ онъ.

— Ну, а вы какъ?—Знаю, профессоръ... Здоровьище-то какъ? Не первый сортъ? Вамъ бы на югъ. Вѣдь здѣсь черезъ двѣ недѣли—адъ кромѣшный.

Елкинъ только усмѣхнулся. Художникъ понялъ эту усмѣшку.

— Портретикъ, что ли?

И прибавилъ мысленно: „Не поздно ли, другъ, задумалъ?“

— Портретикъ! — размѣялся Елкинъ. — Шутникъ вы. Нѣтъ, я по другому. Одна ваша работа...

— Заинтересовались? — перебилъ его Рошинъ, и глаза его пошли точно иглами. — Что жъ, это лестно. Не хотите ли взглянуть на текущія работы? И квартирой похвастаюсь. Нѣсколько лѣтъ собиралъ. Брикъ-а-бракъ люблю. Не всѣ у насъ любятъ; а я люблю. Думаю, что художнику непростительно жить какъ чиновнику изъ комиссаріата.

XII.

Рошинъ подхватилъ его и повелъ въ мастерскую. Они вступили въ обширный—четыре окна на рѣку—салонъ, гдѣ свѣтъ покрывалъ теперь всю заднюю стѣну и переливалъ по сотнѣ выпуклостей, драпировокъ, позолоты, скульптурныхъ вещей, металлическихъ блюде и золотыхъ кубковъ, развѣшанныхъ по стѣнамъ. Старые гобелены отражали солнце блѣдными, желтыми и розоватыми отблесками своихъ поблеклыхъ красокъ. Въ нихъ было что-то нѣжное, тихо улыбающееся, неумовимо изящное, рядомъ съ яркими чувственными занавѣсами изъ восточныхъ атласистыхъ полосъ и бархатныхъ ковровъ, развѣшанныхъ тамъ и сямъ. Картины, начатые портреты, эскизы безъ рамокъ лежали, висѣли и стояли на мольбертахъ и подставкахъ. Сверху опускалась лампа-люстра старой бронзы. Шаръ, посерединѣ ея, бросалъ острые

лучи на полъ и на ближайшую черную раму одного портрета.

— Покажите, покажите!—попросилъ Елкинъ, кивнувъ головой на портретъ.

— Сейчасъ, сейчасъ. Минуточкой. Въ столовую и кофейную мою заверните, голубчикъ.

Въ столовой старинный фаянсъ и фарфоръ, по стѣнамъ и въ двухъ рѣзныхъ черныхъ шкапахъ, придавалъ небольшой комнатѣ настроеніе и складъ художественнаго хранилища. Кофейная — вся въ арабскихъ лѣтнихъ тканяхъ, укутанная сверху до низу, гдѣ самый звукъ голоса сейчасъ же упалъ и смягчился — обдала Елкина разрѣженнымъ воздухомъ.

— Тамъ, въ мастерской, вольѣ дышать,—сказалъ онъ.

Они вернулись туда. Отъ этихъ впечатлѣній у Елкина пошли круги передъ глазами. Онъ тяжело опустился на старинную табуретку. Но ему стало сейчасъ же хорошо. Онъ испытывалъ начало сильнаго нервнаго возбужденія. Въ такой прекрасной декораціи ему надо говорить и разспрашивать о ней. Сердце застучало въ груди.

— Одобряете?—спросилъ художникъ.

— Еще бы!.. А у меня къ вамъ просьба.

— Все, что угодно.

Нетвердо, отводя глаза отъ Рощина, Елкинъ объяснилъ, что ему хочется насладиться еще портретомъ женщины, которую—онъ этого не скрылъ—видѣлъ и живую.

Художникъ сначала разсмѣялся и потрепалъ гостя по плечу, стоя надъ нимъ.

— Такъ вы вотъ какъ?.. А?.. Что жъ? Хорошо. Вкусъ прекрасный! Это, голубчикъ, первая женщина въ Питерѣ. Намъ можете повѣрить. Только вотъ вѣдь въ чемъ штука...

Елкинъ испуганно и жалко поглядѣлъ на него.

— На выставку портретъ попалъ случайно. Просили тамъ. Онъ не продажный. Это былъ заказъ.

— А не картина? Вѣдь въ костюмѣ? — пролепеталъ Елкинъ.

— Точно. Въ костюмѣ. Она такъ одѣвалась на костюмированный балъ. И что это за прелесть, я вамъ скажу! Какое чувство художественное! И умница, и веселая, и дѣтокъ какъ любить...

— Дѣтокъ?—вырвалось у Елкина.

— Да, у ней цѣлыхъ трое. Мужъ хорошій господинъ, суховатъ немного, знаете—изъ здѣшнихъ петербургскихъ



выкормковъ: но ничего... Какъ же быть-то? Портретъ для мужа и писанъ. У него въ кабинетѣ виситъ. Надъ письменнымъ столомъ. Поѣдемте къ нимъ. Я васъ представлю. Люди хорошіе. Модиятся, но не очень.

— Нѣтъ, нѣтъ!—замоталъ Елкинъ головой.

— Ахъ, батюшки, да что же это я? Совсѣмъ точно отшибло. Вѣдь если вы почувствовали сразу эту несравненную прелесть, такъ вотъ вамъ она въ другомъ видѣ.

— Какъ? — почти захлебнувшись, выговорилъ Елкинъ.

— Я ея портретъ пишу. Ужъ настоящій, во весь ростъ, и дѣтки будутъ. Тѣхъ послѣ. Знаете, съ ребятишками — комиссія.

Елкинъ поднялся. Художникъ подошелъ къ одному изъ мольбертовъ. Портретъ, длинный въ ширину, былъ завѣшенъ. Когда Рошинъ отдернулъ темный коленкоръ, изъ загроможденнаго фона, въ лѣвомъ углу полотна, выдѣлилась, точно выплыла, въ столбъ солнечнаго свѣта, ея голова, наклоненная, смотрящая нѣсколько внизъ, съ распущеннымъ локономъ вдоль правой щеки. Только голова и была отдѣлана съ шеей и высокой фрезой изъ прозрачнаго тюля.

— Ну какъ, ну какъ?—торопилъ Рошинъ.—Она живая или нѣтъ?

— Живая!—трепетными губами повторилъ Елкинъ.

Его наполнило глубокое, благодарное чувство къ художнику.

— Вотъ такіе портреты я радъ писать! — продолжалъ Рошинъ; но гость его не слушалъ.— Это — натура. А то, голубчикъ, меня одолѣли наши барыни. Одной улыбка удается, или роза въ хорошо вплететь... а за ней и всѣ пошли. И чтобъ непремѣнно такая же улыбка. Критика ругается. На пятачковые, говорятъ, размѣниваешь талантъ. Картины пиши! А какъ тутъ писать, когда солнце-то отпущается намъ про великій праздникъ?..

„Мать, трое дѣтей, мужъ, — повторилъ про себя Елкинъ.— Да, глаза смотреть на ребенка. Такъ улыбается только мать двадцати двухъ лѣтъ. Она сама его кормила. И двухъ остальныхъ. Но мужа не надо въ картинѣ. Не надо. Это — оскверненіе! Да его, слава Богу, и не будетъ“.

— Докторъ! — крикнулъ ему въ ухо Рошинъ, — да вы въ экстазѣ! Какъ васъ забрало. И счастливычикъ же вы, — знаете что?

— Что?

— Главнаго-то я вамъ и не досказалъ. Она черезъ десять минутъ здѣсь будетъ.

— Здѣсь?

Воздухъ совсѣмъ изсякъ въ груди Елкина. Онъ схватился за горло, но опять поборолъ малодушное чувство. Ему захотѣлось бѣжать. Онъ не выдержитъ ея взгляда. Какъ же это? Сейчасъ? Она будетъ тутъ, въ этой мастерской! Умрешь! А отчего бы и не умереть? Славно! Онъ сдѣлалъ глубокую и сладкую передышку.

— Что, голубчикъ!.. Задалъ я вамъ баню? Ха-ха-ха!..

Рощинъ опять потрепалъ его по плечу. Его искренняя веселость, точно пѣнистое вино, подлила догорающему тѣлу больного нѣсколько драгоценныхъ капель жизни.

— Я, ничего,—сумѣлъ выговорить Елкинъ и отеръ лобъ.

Рѣзкій звонокъ швейцара заставилъ ихъ обоихъ обернуться.

— Она!.. Ну, не трусить... Небеса—въ одномъ взглядѣ! Вы въ сорочкѣ родились, докторъ.

XIII.

Шелестъ платья, чуть слышный тукъ-тукъ походки по ковру. Портьеру откинулъ Рощинъ. Въ дверяхъ стояла она, въ блѣдно-голубомъ пеньюарѣ, съ фрезой. Кружева и ленты извивались вдоль ея стана до самого пола. Въ волосы вилетена бархатка, одинъ локоть отброшенъ.

Дрожь, неудержимая, страшная и сладкая пробѣжала по тѣлу Елкина. Онъ стоялъ у мольберта и схватился рукой объ уголъ портрета.

Глаза красавицы вопросительно, но не сердито, обратились къ хозяину.

— Извиненія прошу, — пріятельскимъ тономъ заговорилъ Рощинъ.—Нарушилъ нашъ пароль. Вы добрая. Сейчасъ поймете.

„Онъ меня выдастъ!“—испугался Елкинъ и замеръ.

— Докторъ Елкинъ зашелъ ко мнѣ неожиданно. А онъ мнѣ жизнь спасъ...

— Какъ? — радостно и удивленно спросила она, и сейчасъ же узнала Елкина.

— Да такъ, отъ раны лѣчилъ. И какъ лѣчилъ! Я бы его долженъ былъ прогнать. Заговорились, да если бы вы знали...

Рощинъ спохватился и только встряхнулъ волосами.



Елкинъ сдѣлалъ два шага къ двери и чуть слышно вымолвилъ:

— Я сейчасъ.

— Я васъ не гоню, — сказала она и пригладила себѣ рукой волосы. — Мы еще успѣемъ. Идѣ да, Валентинъ Александровичъ?..

— Съ вами десять минутъ стоить цѣлаго сеанса. Ручку-то пожалуйста.

И онъ, на ходу, поцѣловалъ протянутую ему руку. Портретъ былъ уже завѣшенъ.

— Мы не очень быстро двигаемся, — сказала она, и обернулась лицомъ къ Елкину.

Его видъ поразилъ ее. Глаза потухли на мгновеніе. Жалость схватила ее.

— Докторъ, черезъ пять минутъ мы васъ удалимъ. Присядьте—гостя будете,—обратился Рошинъ къ ней. — А у меня ничего не приготовлено. Простите, голубушка. Я мигомъ!

И онъ выбѣжалъ изъ мастерской.

Двѣ-три секунды стояло молчаніе. Елкинъ не въ силахъ былъ говорить. Ему почуялось, что воздуху у него нѣтъ уже ни капли, говорить нечѣмъ. Онъ смотрѣлъ на нее, чего-то ожидая. Только бы уйти отсюда, или со-всѣмъ изъ жизни и унести ее съ собой въ глазахъ, въ мозгу. Это такъ и бываетъ со всѣми осужденными на казнь. Онъ читалъ.

Она подалась къ нему на два шага и улыбнулась.

— Сядьте, пожалуйста, докторъ. Вы устали. Вы... больны?

Елкинъ послушался какъ дитя. Она нагнулась къ нему и спросила:

— Вы были въ то воскресенье тамъ?..

— Въ моленной?

— Какъ?..—Она тихо засмѣялась. — Да, въ моленной?

— Былъ.

— Я васъ узнала.

Вотъ она беретъ табуретъ и садится противъ него, близко-близко. Глаза у него застилаютъ и сквозь туманъ свѣтятся зрачки ея глазъ, и блеститъ ротъ, и жилки просвѣчиваютъ подъ кожей. Въ мастерской еще прибыло свѣту. Ему кажется, что все это грѣзы.

И вдругъ онъ опустился на коверъ, ноги согнулись, руки вытянулись къ ней. Надломленный, онъ зарыдалъ и



приложился губами къ ея платью. Его опьянило, въ головѣ стучить. Онъ уже не слышитъ, что произносятъ его губы.

— Я трупъ,—шепталъ онъ, силясь вдохнуть побольше воздуха. — Я мертвецъ. Мнѣ жить недѣлю, двѣ... а то и два часа. Вы слышите... Никогда не любилъ... Увидѣлъ васъ тамъ... на выставкѣ... портретъ. Рощина работа. Жемчужина... Они пѣли: вы—жемчужина... Живите. Простите. Я грязь. Я гниль. Не позволяйте мнѣ цѣловать ваши колѣни. Заражу васъ...

Она не отшатнулась. Краска покрыла ея лицо, а глаза съ испугомъ и умиленіемъ согрѣвали этого человѣка, въ агоніи, въ невиданномъ ею возбужденіи страсти, восторга, просвѣтлѣнія...

— Что вы, что вы?—вырвалось у ней.

— Красота, красота! Я — въ гробу, вы видите. Милостыню прошу, милостыню... еще разъ поглядѣть... У васъ любовь святая, дѣтская. Но вѣдь я милостыню! И благословлю...

Онъ схватилъ ея руку, поцѣловалъ два раза безумно-радостно и отшатнулся, съ ужасомъ въ закатывающихся зрачкахъ.

— Сотрите!.. — шепталъ онъ угасающимъ голосомъ, — сейчасъ! Прилипнетъ!..

Руки ея протянулись къ нему. Голова Елкина упала вѣтвомъ на плечо, и все тѣло рухнуло на бокъ, къ ногамъ ея. Она бросилась на полъ, поглядѣла ему въ глаза, схватила машинально за руку, вскрикнула и лишилась чувствъ.

Рощинъ вбѣжалъ съ палитрой и ящикомъ. Ящикъ выпалъ у него изъ рукъ. Онъ все понималъ. Елкинъ былъ — трупъ. Красавица проснется...

Онъ стоялъ все съ палитрой, которая такъ и застыла на большомъ пальцѣ лѣвой руки. Мертвецъ у него въ квартирѣ! Молодая женщина, бездыханная, на полу. Но испуга не было въ сѣрыхъ иглистыхъ глазахъ артиста. На губахъ вспыхнула улыбка. Все лицо, вся поза говорили, какъ художникъ внезапно и могуче овладѣлъ человѣкомъ: онъ любовался. Картина была найдена!..



ПРИСТРОИЛСЯ.

(повѣсть.)

I.

Отставной унтеръ-офицеръ Грибцовъ стоялъ у зеркала, около перегородки для вѣшанья платья, и смотрѣлъ на свѣтъ старческими сѣрыми глазами. Онъ еще держится на ногахъ; но его уже сильно погнуло; по щекамъ пошли красныя жилки, брови повылѣзли. Къ нему приставлены два мальчика и молодой малый изъ уланскихъ вахтеровъ. Это обижаетъ старика. Когда поднимется по широкой парадной лѣстницѣ кто-нибудь изъ давнишнихъ гостей, онъ самъ снимаетъ шубу или пальто и говорить, не снѣша, точно со вздохомъ:

— Здравствуйте, батюшка!

И старается каждый разъ припомнить имя и отчество.

Теперь заведеніе помѣщено въ чертогахъ, а ему любо вспоминать про прежній трактиръ, на другой сторонѣ улицы, гдѣ его шинельная ютилась въ самомъ буфетѣ, а онъ сидѣлъ въ углу, въ полупотемкахъ, и вслухъ разбиралъ „Московскія Вѣдомости“. Тѣсненько жилось и съ гряздой, а сердцу мило. И—занятно! Здѣсь только пройдутъ этой большой, ни къ чему не нужной комнатой, а тамъ первое мѣсто во всемъ трактирѣ считалось: и къ водкѣ каждый подойдетъ, и закусить, кулебяки кусокъ или корюшки маринованной, присядеть къ столу, сейчасъ газету, а то и журналъ цѣлый... Сколько годовъ „сочинитель“ Николай Ѳедорычъ ходилъ. Дни цѣлые

просиживалъ передъ буфетомъ, у перваго стола. Придетъ во-второмъ часу, листовки двѣ рюмки выпьетъ и сейчасъ, немного заикаясь, громко окличетъ:

— Грибцовъ!

— Чего изволите?

— „Вѣдомости“ читаешь?

— Такъ точно.

— Одобряешь?

— Одобряю-съ.

Газеты пересмотритъ одну за другой, толстый журналъ возьметъ, почитаетъ и начнетъ балагурить. Буфетъ — „раемъ“ называлъ, хозяина — „Саваоомъ“, буфетчика Михайлу — „архангеломъ“, горку для водокъ, въ видѣ ствола съ сучьями, „древомъ познанія добра и зла“. Въ театръ не стоило заглядывать — своя комедія была. Обѣдать ходилъ въ бильярдную, непременно, чтобы щей или борщу, потомъ партійки двѣ сыграетъ и частенько тутъ же на диванѣ прикурнетъ, а то домой сходитъ — неподалежку жилъ, — вечеромъ, часовъ въ девять, ужъ сидитъ у своего стола, почитываетъ и балагурить...

Въ дверь, противъ лѣстницы, видна зала въ два свѣта, все голубая: яркій морозный день льется въ двойной рядъ оконъ съ короткими верхними драпировками. Еще дальше темнѣетъ зелень зимняго сада. Эта половина трактира была еще пуста. Шелъ первый часъ, часъ завтраковъ, больше на той половинѣ, гдѣ буфетъ и машина. Мальчики въ сѣрыхъ полуфракахъ сновали черезъ темную комнату передъ буфетомъ. Лакеи — наполовину татары — раскладывали карточки по столамъ въ комнатахъ, выходящихъ окнами на Невскій... За буфетомъ приказчикъ, съ спокойнымъ блѣднымъ лицомъ, похаживалъ за прилавкомъ и тихо покрикивалъ на мальчиковъ.

Народу прибывало. Вслѣдъ за двумя артиллерійскими офицерами и военнымъ медикомъ, медленно поднялся по лѣстницѣ молодой человекъ, въ высокой цилиндрической шляпѣ и пальто съ бобровымъ воротникомъ. Пальто сидѣло на немъ, какъ на вѣшалкѣ, поверхъ высокихъ ботинковъ торчали панталоны изъ дорогого трико, но зашма-ранный по бортамъ. Весь онъ какъ-то перекосялся и шелъ съ посадкой загулявшаго мастерового. И лилъ у него — испитое и сонное — было въ такомъ же родѣ. Онъ носилъ темнорусые усы и бородку.

Пальто началъ стаскивать съ него одинъ изъ мальчи-



ковъ. Грибцовъ приподнялся было со своего табурета, но, увидавъ, кто пришелъ, тотчасъ же опустился.

Изъ пальто гость вылезъ въ синей жакетѣ, безъ талии. Она сидѣла на немъ такъ же, какъ и пальто, плохо была чищена, но видимо пита у хорошаго портного. Уныло осматрѣлся гость, взялъ сначала влѣво, къ большой залѣ, неловко повернулся и пошелъ къ буфету. Помощникъ Грибцова и оба мальчика раскланялись съ нимъ фамиллярно, а старикъ пустилъ изъ-за перегородки:

— Не сразу дяденькины денежки пропьеть... Долго еще будетъ шлаться...

— Потому компанію любить... Ну, и подають ему, какъ барину,—замѣтилъ одинъ изъ мальчиковъ.

Всѣ трое разсмѣялись, а Грибцовъ покачалъ головой и выговорилъ только:

— Грѣхи!..

II.

Гость выпилъ у буфета двѣ рюмки, закусилъ спѣшно, глядя все вбокъ, и потащился, волоча ноги, въ дальнюю комнату съ органомъ. Панталоны волочились у него сзади по полу. Одно плечо онъ держалъ выше другого, шляпу несъ, какъ носятъ доханку съ водой. На худой шеѣ пестрый шарфъ затыкала цѣнная булавка съ жемчужиной, но воротнички рубашки были помяты и руки безъ перчатокъ, съ грязными ногтями. Курчавые волосы стояли комокъ на лбу.

Онъ сѣлъ за столъ, подозвалъ человѣка и что-то заказалъ. Газеты онъ не спросилъ, а сидѣлъ, нагнувъ низко голову, и поводилъ ее, поглядывая на завтракающихъ. Его можно бы было принять за сильно выпившаго. Но онъ только опохмелялся. Онъ начиналъ свой день. Изъ одного трактира переходилъ онъ въ другой, ища компаніи, говорилъ мало и точно съ трудомъ, за всѣхъ знакомыхъ платилъ, сидѣлъ до самаго поздняго часа и рѣдко возвращался домой одинъ—почти всегда его отвозили съ слугителемъ.

Грибцовъ не даромъ относился къ этому гостю презрительно. Не больше двухъ лѣтъ назадъ, гость этотъ служилъ самъ въ трактирѣ, звался просто „Федькой“ и подавалъ бифштексы... Онъ былъ изъ захудалаго купеческаго рода, перебравшагося въ мѣщанство, но еще знался нѣсколько годовъ „купеческимъ сыномъ“. Отъ дяди

достался ему капиталъ въ полтора ста тысячъ. Изъ Оедьки превращается онъ въ третьей гильдіи купца „Федора Онисимыча Бурцева“. И стало его тянуть въ тотъ самый трактиръ, гдѣ еще такъ недавно ему давали гривенники, гдѣ онъ откупоривалъ бутылки пива и сельтерской воды. Служилъ онъ всегда скверно, все у него валилось изъ рукъ, пробки не выходили изъ горлышка, вода расплескивалась. Разъ въ недѣлю онъ слегка „урѣзывалъ“. Пяницей, однако, не считался.

Теперь деньги налегли на него праздничной обузой. Тоска гложетъ его дома. Читать онъ умѣлъ одни заглавія газетъ, въ торговлю его не тянуло; часто грудь у него болѣла... И точно службу несъ онъ, ходя по трактирамъ. Гордости и чванства онъ не зналъ, лакеямъ совѣстился говорить „ты“. Мальчиковъ звалъ „Миша“, „Ваня“ и давалъ всѣмъ на водку очень щедро, но все-таки ему мало оказывали уваженія, служили съ усмѣшками и за панибрата, и въ каждомъ трактирѣ сейчасъ же узнавали, что онъ самъ былъ „Петрушкой Уксу-вымъ“.

Сегодня поджидаетъ Бурцевъ компанію, особенно одного новаго пріятеля... На прошлой недѣлѣ сидѣлъ онъ за столомъ въ этой самой комнатѣ, уже вечеромъ, и такъ ему грустно стало отъ одинокаго питья пива. Къ тому же столу подсаживается молодой человѣкъ его лѣтъ, съ газетой. Очень онъ Бурцеву понравился видомъ своимъ.

— Вы не купческаго званія будете? — спрашиваетъ онъ его.

— Въ настоящее время, — отвѣчалъ тотъ, — я не этого званія, а роду дѣйствительно купческаго.

— А какъ звать прикажете?

— Крупениковъ, Антонъ Сергѣевъ.

— А я — купческій сынъ Федоръ Бурцевъ.

Онъ себя всегда „купческимъ сыномъ“ называетъ.

Спросилъ онъ сейчасъ мадеры. Гость поблагодарилъ, и двѣ бутылочки они усидѣли. И оказался этотъ Крупениковъ душевнѣйшимъ малымъ, и съ перваго разговора достаточно со своей судьбой познакомилъ.

Были у него деньги — остались отъ родителей — небольшая, но окупитъ сильно пощипалъ наслѣдство. По юности своей, онъ, выйдя изъ гимназіи, немного „чертилъ“ по Москвѣ. Онъ и родомъ московскій. Объявился у него голосъ. Поѣхалъ учиться и за границей былъ. На это по-



слѣдній достатокъ пошелъ. Вернулся, думалъ себѣ сразу одобреніе найти, прогремѣть. А между тѣмъ, чуть не въ хористахъ состоитъ на шестистахъ рубляхъ. Малый молодой, пожить хочется, и тоска его гложетъ, что ходу ему не даютъ.

Бурцеву понравилось и то, что „артистъ“ (такъ онъ его называлъ про себя) съ благородствомъ себя держитъ, не сталъ къ нему въ дружбу втираться и взаймы денегъ просить. А видимое дѣло—нуждается: обѣда въ семь гривенъ не можетъ себѣ спросить, и платье—хоть и въ чистотѣ соблюдаетъ, сильно поношено. Главное: гордости въ немъ никакой. Не кичится тѣмъ, что на театрѣ служить и уроки ему давали гдѣ-то за границей, по золотому за урокъ.

Бурцевъ не прочь его бы и поддержать. Да не однѣхъ ему денегъ надо, а ходъ получить по своему дѣлу. Вотъ тогда и окладъ дадутъ, и въ газетахъ хвалить будутъ, и за вечеръ по три радужныхъ платить станутъ.

Первая бутылка пива была уже выпита, когда къ столу подошелъ тотъ, кого поджидалъ Бурцевъ.

III.

Онъ казался гораздо моложе Бурцева, но бѣлокурые подстриженные волосы уже порѣдѣли на лбу. Круглыя щеки съ румянцемъ, голубые, большіе, немного разбѣгающіеся глаза, вырѣзъ ноздрей, усмѣшка—все это говорило о купеческомъ происхожденіи. Глаза улыбались, но на лицѣ лежала тѣнь, а по губамъ, яркимъ и свѣжимъ, проходила черта обиженности—чисто-русское выраженіе. По сложенію, онъ былъ полноватъ, средняго роста и носилъ подстриженную густую бородку съ рыжиной. Вокругъ глазъ сидѣло по нѣсколько веснушекъ. Сѣрый пиджакъ и такія же панталоны донашивалъ онъ изъ своего лѣтняго платья; длинныя отложные воротнички и маншеты были чисты.

Бурцевъ привсталъ, крѣпко пожалъ ему руку и пригласилъ жестомъ руки на диванъ.

— Пожалуйте, хереску не прикажете ли?

Крупениковъ отеръ платкомъ лобъ и, опуская платокъ въ наружный боковой карманъ, произнесъ высокимъ пріятнымъ голосомъ, съ московскимъ акцентомъ:

— Умаялся нынче какъ... страсть!

— А закусить?... Не угодно ли хорошій биточекъ или почекъ въ мадерѣ?

Бурцевъ выговаривалъ слова унылымъ звукомъ; но глаза его останавливались на новомъ трактирномъ пріятелѣ съ особой лаской, насколько онъ умѣлъ это выразить. Онъ внутренно гордился знакомствомъ съ артистомъ.

Крупениковъ осмотрѣлъ комнату. Бурцевъ замѣтилъ это.

— Поджидаете нешто кого?

— Обѣщался тутъ одинъ нашъ хористъ, Мухояровъ...

— Это какой-съ? Длинные волосы... и брови срослись?..

Точно какъ будто изъ духовнаго званія?

— Ха-ха!.. Похожъ. Именно онъ и есть самый.

— Мы ихъ давно знаемъ... Они больше въ бильярдной. Этимъ, кажется, и промышляютъ... хотя противъ маркеда здѣшняго—далеко.

— Онъ, онъ!

— Не видалъ въ этой половинѣ. А быть ему въ бильярдной... Спосылаемъ мальчика.

Бурцевъ подозревалъ человѣка.

— Мухоярова господина знаете? На бильярдѣ хорошо играетъ!

— Знаю-съ,—утвердительно выговорилъ лакей.

— Попросите сюда. Господинъ, молъ, Крупениковъ пришелъ. А Бурцевъ проситъ откусать портеру.

Лакей ушелъ.

— Мы съ нимъ тоже въ знакомствѣ,—прибавилъ Бурцевъ.—Выпить основательно любить. И не гордъ. А вамъ по дѣлу?

— Да, что жъ прикажете дѣлать?!—вырвалось у Крупеникова, и щеки его сразу покраснѣли.—Надо на разныя штуки подыматься! Мухояровъ сведетъ меня съ актеромъ однимъ. Сусанипъ—фамилія... Пенсію получаетъ и мастерить любительскіе спектакли. Такъ въ опереткѣ одной, одноактной, въ бенефисъ его, въ клубномъ спектаклѣ...

Крупениковъ остановился и закурилъ папиросу на свѣчѣ. Но мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, рѣсницы все опускались и губы выражали все сильнѣе усмѣшку обиженности. Ему совѣстно было передъ этимъ трактирнымъ купчикомъ. Добрый онъ малый, да гдѣ же у него пониманіе? И то ужъ достаточно горько для артиста съ чувствомъ, что принимаешь его угощеніе.



— И Сусанина этого мы видали здѣсь,—точно обрадовавшись, сказалъ Бурцевъ.

— Не знаю, что изъ этого будетъ. Онъ, слышно, малый ловкій...

— Это точно. Жаловались, которыхъ онъ нанималъ... норовить на даровщинку.

— Я и на это пойду, на первыхъ порахъ. Надо же себя хоть передъ клубной публикой заявить! А концертовъ долго ждать, да въ концертахъ и нельзя показати игры никакой...

Щеки его все разгорались. Волненіе овладѣло имъ въ разговорѣ о карьерѣ. Онъ не могъ его сдержать, хоть и совѣстно было каждый разъ такъ изливаться передъ первымъ попавшимся трактирнымъ посѣтителемъ. Голосъ его дѣлался выше и все чаще и чаще вздрагивалъ.

За буфетомъ онъ выпилъ большую рюмку горькой. Двѣ рюмки хересу и квасной стаканъ портеру приподняли его душевное настроеніе.

— Извѣстное дѣло! зачѣмъ не попробовать?...—выговаривалъ съ усиліемъ Бурцевъ.—Я, Антонъ Сергѣичъ, всей душой!..

Пространно изливаться онъ не умѣлъ, даже и въ сильномъ хмелю. Крупеникова трогала эта быстрая симпатія къ нему бывшаго трактирнаго лакея.

„Все лучше, чѣмъ ничего“,—думалъ онъ; но у него не было тайныхъ расчетовъ на карманъ Бурцева. До этого онъ не хотѣлъ „унижаться“.

— И въ опереткѣ можно себя показать!—бодрѣе вскричалъ онъ, и глаза его заиграли жидкимъ блескомъ.

IV.

Изъ бильярдной явился хористъ Мухомаровъ, такого именно вида, какъ его опредѣлилъ Бурцевъ, и заговорилъ басомъ протодіакона. Его и перетащилъ въ хоръ изъ монаховъ какой-то первый тепоръ, любившій ѣздить на богомолья.

Мухомаровъ двинулъ свою высокую и плечистую фигуру бокомъ. Длинный черный сюртукъ его весь былъ перепачканъ мѣломъ, обшлага засучены, на шеѣ визаный шарфъ.

— А, почтеннѣйшій! — окликнулъ онъ Бурцева и подалъ ему огромную руку, заросшую волосами.—Портерку? Извольте! Ваше здоровье! И вамъ, господинъ теноръ! Стре-

кулисть тотъ сейчасъ явится. Я его видѣлъ тамъ, въ зимнемъ саду, кого-то обрабатываетъ. Вы, дружище, съ нимъ поостроже; я ужъ ему говорилъ, какъ надо съ вами обойтись. Онъ норовить десять рубликовъ за представленіе.

Хористъ уже сидѣлъ и дымилъ своей толстой, крученой папиросой, вставленной въ длинный мундштукъ изъ тростника.

Крупеникова немного коробило отъ его фамильярнаго и семинарскаго тона. Все-таки, самъ онъ значится въ числѣ исполнителей, хоть и выходныхъ ролей; а Мухоморовъ—простой хористъ, горлодеръ безъ всякаго музыкальнаго образованія. Но, по крайней мѣрѣ, этотъ монастырскій служба не ехидствуетъ, не завидуетъ. Можно съ нимъ хоть поругать оперные порядки и начальство, не боясь, что онъ побѣжитъ ябедничать...

— Эльцу! Господя! — приглашалъ Бурцевъ. — Одно къ одному, значить... Спервоначалу портеръ, а потомъ эль!

— Отмѣнно! — пробасилъ Мухоморовъ и допилъ свой портеръ.

Бурцевъ подозвалъ лакея и заказалъ ему на ухо:

— Съ такимъ ярлыкомъ... знаете?—онъ сдѣлалъ пальцемъ какую-то фигуру.—А не того, что всѣмъ даютъ.

— Любитель!—пустилъ басомъ хористъ и ударилъ Бурцева по плечу.—Эти напитки—самые лучшіе для нашего брата. Господинъ теноръ! и вамъ совѣтую ихъ держаться. А вотъ что употребляютъ всякую дрянъ передъ выходомъ на сцену: яйца сырые, сельтерскую воду тамъ, что ли... такъ я считаю это однимъ суевѣріемъ. Госпожа Патти, слышно, стаканъ пива выпиваетъ. А покойникъ Осипъ Леонасычъ говаривалъ... А! гряди, чадо!—крикнулъ Мухоморовъ и всталъ навстрѣчу новому гостю.

Актерикъ на пенсіи, Сусанинъ, человѣчекъ съ тонкимъ и длиннымъ носомъ, бритый и совсѣмъ лысый, въ кѣтчато-кофейномъ костюмѣ, приблизился къ столу желтыми шажками, потирая руки.

— Васъ, кажется, встрѣчалъ здѣсь?—сладко спросилъ онъ Бурцева, и тотчасъ же прищурился на тенора. — Господина Крупеникова извѣю удовольствіе видѣть?

Голосъ у него отзывался звуками учтиваго капельди-нера.

Крупеникову вдругъ противно стало толковать съ этимъ актеромъ при Мухоморовѣ и Бурцевѣ, играть роль *protégé* грубаго горлана-хориста.



— Мы послѣ,—выговорилъ онъ.

— Спектакликъ-то мнѣ хочется наладить... Вотъ Виссаріонъ Ивановичъ говорилъ, что вы согласны взять Галатею...

Слегка отуманенная голова Крупеникова не освободила его отъ новаго наплыва горечи и приниженности. Не туда рвался онъ, не такого случая ждалъ. Передъ нимъ горѣла, точно огненная, та звѣзда, которая откроетъ ему ходъ къ славѣ и успѣху. Потерить еще полгода, а можетъ, и меньше... Кто-нибудь вдругъ заболѣетъ. Партіи у него давно выучены. Онъ самъ вызывается. Его „выкачиваютъ“ десять разъ. Или его ведутъ къ композитору... создать новое лицо...

Глаза Крупеникова ушли въ эту минуту далеко. Мимо дверей въ слѣдующую комнату мелькали лакеи и гости. Но вотъ онъ останавливается на одной фигурѣ и видитъ, что она идетъ къ буфету.

— Позвольте, господа! — быстро выговорилъ онъ и всталъ.— Знакомый... надо его догнать!

И почти побѣжалъ черезъ слѣдующую комнату. Онъ дѣйствительно узналъ знакомаго. Съ этимъ человѣкомъ уйдетъ онъ въ свои надежды и мечты, отведетъ душу съ настоящимъ музыкантомъ.

V.

Онъ догналъ въ большой залъ человѣка лѣтъ подлѣ сорокъ, рослаго брюнета, съ зачесанными назадъ свѣдѣющими волосами, въ толстомъ драповомъ сюртукѣ.

— Евстафій Петровичъ! — радостно крикнулъ онъ, — какъ я счастливъ видѣть васъ!

Ему улыбнулось въ отвѣтъ поблекшее лицо музыканта и смотрѣло на него круглыми, воспаленными глазами. Носъ, немного вздернутый, былъ красенъ. По щекамъ шли пятна. Жидкая борода росла неровно. Но все это скрашивалось улыбкой. Ротъ дышалъ добродушіемъ. Его мало портили даже несвѣжіе зубы. Онъ подаль Крупеникову тонкую, красивую руку съ длинными пальцами.

— А, голубчикъ! — отозвался онъ мягкимъ, синоватымъ голосомъ.— Душевно радъ! Давно не видалъ васъ.

— Вы здѣсь кушаете? — почтительно спросилъ Крупениковъ.

— Закусить зашелъ, по дорогѣ. Въ той комнатѣ кое-

кого повстрѣчалъ... я тамъ себѣ велѣлъ подать, въ зимнемъ саду... А вы?

— Я такъ, путался съ одной компаніей, да очень ужъ она мнѣ... Вы позволите посидѣть около васъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

Крупениковъ радостно переминался, слѣдуя бокомъ за своимъ знакомымъ. Онъ могъ хоть сколько-нибудь отвѣсти душу съ понимающимъ человѣкомъ. Съ Евстафіемъ Петровичемъ Ковринымъ познакомился онъ въ одномъ концертѣ. Ковринъ—отличный піанистъ и сочиняетъ пьесы. Его голосъ сильно хвалили. До сихъ поръ помнитъ онъ лестныя слова Коврина. Музыкантъ ѣлъ скоро. Крупениковъ сидѣлъ около него въ одной изъ бесѣдокъ зимняго сада.

— Ну, какъ вы, голубчикъ, устроились здѣсь?—спросилъ Ковринъ и запилъ кусокъ мяса пивомъ.

— Бѣдствую,—тихо и чуть не со слезами выговорилъ Крупениковъ.—Все равно, что хористъ, числюсь на роляхъ, а ничего не пою-съ.

И вылилъ онъ всю свою душевную горечь: сказалъ и то, что вотъ сейчасъ соглашался даже на клубной сценѣ въ опереткѣ выступать. Ему легко было изливаться Коврину. Онъ чувствовалъ доброту и мягкость піаниста. Тотъ слушалъ, поглядывая на него своими ласковыми, воспаленными глазами.

— Голосъ у васъ прекрасный,—сказалъ Ковринъ, утерся салфеткой и закурилъ папиросу.—Нѣсколько нотокъ совѣтъ бархатныхъ. И лирическій огонѣкъ есть, въ русскомъ вкусѣ. Вы могли бы создать бытовое лицо. Выждать надо. Я, лѣнтяй, который годъ все обдумываю... А вотъ что вы мнѣ скажите: хотите вы поручить свою судьбу одной толковой бабѣ?

— Какъ бабѣ-съ?

— Такъ... И второй вамъ еще вопросъ: есть страсти у васъ?

Онъ понизилъ голосъ.

— То-есть, какія же это?—недоумѣвалъ Крупениковъ.

— А вотъ хоть бы это?

Ковринъ выразительно и съ усмѣшкой щелкнулъ по пустой уже бутылкѣ пива.

— Я не пьяница,—искренней нотой отвѣтилъ Крупениковъ,—а не отказываюсь, если съ пріятелемъ. Прежде и покучивалъ, когда деньги водились, молодъ былъ; однако, въ мѣру, и теперь всегда могу остановиться.



— Можете? Это хорошо. А вот я, душа моя, вамъ прямо признаюсь, слабъ. Ужъ какъ это явилось—долго рассказывать. И никакъ я съ собой не могъ совладать, опустился, забросилъ совсѣмъ инструментъ, забросилъ все... Никакихъ идей. Вотъ толковая-то баба и взяла меня въ руки. И постушилъ я къ ней на исправленіе. Тяжеленько подчасъ, зато есть надзоръ. Здѣсь не засижусь. Рюмку водки выпилъ, стаканъ пива—и довольно. А то какими глазами погляжу я на Прасковью Ермиловну, а?

Онъ разсмѣялся. Крупениковъ все еще недоумѣвалъ.

— Да вы, голубчикъ, не подумайте, что эта Прасковья Ермиловна—какая-нибудь сожительница моя или что она меня содержитъ изъ любовнаго влеченія. Тутъ другая статья. Вотъ потому-то я и васъ спросилъ: хотите ли вы поручить свою судьбу толковой бабѣ? О Прасковѣ Ермиловнѣ Скакуновой не слыхали развѣ?

— Нѣтъ, не приводилось,—очень серьезно выговорилъ Крупениковъ.

— Прасковья Ермиловна—это, голубчикъ, дѣлецъ по музыкальной части; она учитъ, доставляетъ мѣста, выводитъ въ люди. Такой второй у насъ нѣтъ.

— Артистка?

— Бывшая. У ней своя школа. Да вы послушайте. Вотъ какъ я совсѣмъ развихлялся, она беретъ меня въ уголъ, да и говоритъ: „Ковринъ!—мы съ ней ужъ давно на ты,—ты совсѣмъ погубишь себя. Одного тебя оставлять нельзя“.—„Совершенно вѣрно“,—отвѣчаю я ей. „Иди ко мнѣ. Я тебѣ квартиру, столъ и сто рублей жалованья, будешь учить теоріи и игрѣ; только я тебя сначала выдержу и денегъ на руки полностью давать не стану“. И я согласился, да вотъ больше года и проживаю у ней. Сначала тяжеленько было—не скрою, даже до бурь у насъ доходило; одинъ разъ собрался было бѣжать... Но она вела свою линію, и все это душевно, отъ добраго сердца. Положимъ, я ей нуженъ; но вмѣсто меня она могла бы сейчасъ найти. Нынче голодныхъ-то музыкантовъ довольно по Петербургу рыщеть. Черезъ три-четыре мѣсяца втянулся и сталъ субординацію выносить съ легкимъ сердцемъ. Чувствую, что безъ Прасковьи Ермиловны я долго не продержусь. Такъ вотъ, душа моя, васъ и надо свести къ моей начальницѣ. Лучше нея никто вамъ не укажетъ ходовъ.

Щеки Крупеникова опять разгорѣлись, зрачки голубыхъ глазъ сильно расширились.

— А онѣ какихъ лѣтъ?—спросилъ онъ.

— Прасковья-то Ермиловна? Да ужъ подѣ пятьдесятъ. Только она еще ничего—лицо пріятное... Одно—тучность одолеваетъ.

— Въ замужествѣ находятся?

— Кажется, вдова, а достоверно не знаю. У ней бывали сердечныя исторіи; сердце у ней и до сихъ поръ пѣжное...

Ковринъ тихо размѣялся и позвонилъ. Расплатившись, онъ обратился опять къ Крупеникову и пріятельскимъ тономъ сказалъ:

— Если хотите, зайдите ко мнѣ. Теперь Прасковья Ермиловна должна быть дома.

— Я несказанно радъ! Не знаю, какъ васъ благодарить, Евстафій Петровичъ!

У Крупеникова перехватило даже голосъ. Онъ быстро всталъ и нервно оглянулся по направленію къ залѣ.

— Васъ тамъ ждутъ?—спросилъ Ковринъ.

— Нѣтъ, я ужъ туда не пойду! Знаете, Евстафій Петровичъ, мнѣ тяжко сдѣлалось. Народъ-то ужъ больно не подходящій. Шапка моя тамъ осталась, я человѣка пошлю...

Онъ послалъ лакея. Въ передней, когда ему подавали шубу, лакей, ходившій за шапкой, передалъ ему приглашеніе: „пожаловать къ тѣмъ господамъ“.

Крупениковъ махнулъ рукой, догоняя Коврина, сходявшаго съ лѣстницы.

— Что жъ прикажете сказать?—спросилъ въ слѣдъ лакей.

— Тороплюсь, не могу!—крикнулъ Крупениковъ.

„Бурцевъ, навѣрно, совсѣмъ уже пьянъ,—тревожно думалъ онъ,—а съ тѣми я не хочу и связываться. Вотъ Евстафій Петровича буду держаться!“

Піанистъ стоялъ внизу, на площадкѣ, въ старенькомъ пальмерстонѣ и натягивалъ зимнія касторовыя перчатки.

VI.

Школа Прасковьи Ермиловны Скакуновой занимала цѣлый этажъ, съ особымъ ходомъ, въ одномъ изъ новыхъ переулковъ Литейной части.

Они прошли по узкому коридорчику въ комнату піа-



ниста, высокую, въ два большія окна, съ перегородкой, драпированной зеленой портьерой. Стояло въ углу роялино. Изъ-за стеклъ узкаго шкапа видѣлись переплеты потныхъ тетрадей. Двѣ книги нотъ лежали на инструментѣ. Въ этой комнатѣ пахло папироснымъ дымомъ; видно было, однако, что ее старательно убираютъ въ отсутствіе жильца. Мебель подъ воскъ, съ зеленымъ шерстянымъ рещомъ, отзывалась Апраксинымъ; но ее разставили весело и уютно. У окна стояло длинное кресло съ плюштромъ и деревянными подстѣвчиками. Занавѣски на окнахъ блестяли отъ свѣта морознаго дня.

— Вотъ видите,—заговорилъ погромче Ковринъ,—какъ меня Прасковья-то Ермиловна помѣстила? Точно въ какомъ швейцарскомъ пансіонѣ. Чистотой даже доѣзжаетъ немножко. Каждую субботу—мытьё оконъ. И занавѣски чистыя, разъ въ мѣсяцъ. Зато живешь, какъ, бывало, въ родительскомъ домѣ. Въ постелькѣ лежать чисто, мягко, два раза въ недѣлю бѣлье мѣняють. Садитесь, покурите. У меня классъ—въ три. Я минуткой переодѣнусь.

Ковринъ исчезъ за перегородкой, откуда вышелъ въ короткой курточкѣ изъ потертаго желтовато-коричневаго бархата.

Крупеникову сдѣлалось по себѣ. Да, хозяйка этой квартиры—толковая баба. Съ ней не пропадешь.

— Хорошо у васъ,—сказалъ онъ вслухъ и вздохнулъ.— Даже завидно, Евстафій Петровичъ. Живешь въ померахъ; въ комнатѣ темнота, копоть, въ углахъ сырость, въ занавѣскахъ науки завелись. Ихъ и къ Свѣтлому празднику не перетряхаютъ. А вѣдь цѣна не маленькая: тридцать рублей плачу.

— Только субординація! И все это, голубчикъ, безобидно, материнской рукой... Новыхъ сколько вещей куплено изъ моихъ же денегъ. А на столѣ какъ аппетитно все выглядитъ; садись и работай!

Ковринъ указалъ на новый письменный столъ. Посрединѣ его лежала потная бумага большого формата, какая употребляется для музыкальныхъ композицій. Изъ фарфороваго бокала смотрѣли нѣсколько карандашей и перьевъ.

— Превосходно работать! — со вздохомъ выговорилъ Крупениковъ.

— Лѣнь раньше насъ родилась. Подтянуться-то трудно ужъ очень. Да я надѣюсь постомъ засѣсть.



— По драматической?

— Может-быть... А пока надо тряхнуть стариной, за романы приняться.

VII.

Шумно влетѣло въ комнату что-то пестрое и яркое. Крупениковъ, стоявшій у печки, вправо отъ двери, даже подался въ сторону.

Коврину пожимала руку и покачивалась на мѣстѣ полная, краснощекая, рослая дѣвушка. Ея огромные, темные глаза смѣялись и сыпали искры. Роскошная грудь высоко подымалась. Она, вѣроятно, только что бѣгала по комнатѣ. Ротъ она широко раскрыла, бѣлые крупные зубы блистали на солнечномъ свѣтѣ. Въ ротъ засовывала она бутербродъ толстенными пальчиками свободной лѣвой руки. Ея красныя, пухлыя, немного выпяченныя наружу губы такъ и забирали куски. Она ихъ облизывала языкомъ, скоро и весело. Голова ея, сжатая туго закрученной косой, сидѣла на могучихъ плечахъ темного вбѣгъ. Волосы на темени и на вискахъ лоснились и отливали. Широкий бюстъ еле держался въ узкомъ, свѣтлооклѣтчатомъ казакѣ съ металлическими пуговицами, надѣтомъ поверхъ пестрой юбки другого цвѣта.

— Ого-го! — загоготала она низкимъ голосомъ, почти баритономъ, когда проглотила послѣдній кусокъ, продолжая трясти руку Коврина. — Куда это вы изволили запропасться, а?

Ковринъ поглядѣлъ на Крупеникова, точно хотѣлъ ему сказать глазами:

„Каковъ голосокъ-то у дѣвицы?“

— Дайте лучше насъ познакомить съ симпатичнымъ артистомъ. Крупениковъ, теноръ... Прина Степановна Веселкина, будущая наша примадонна-контральто.

— Послѣ дождичка въ четвергъ! — расхохоталась дѣвушка. — Что за церемоніи такія? Это артистъ — ну, и довольно. Давайте ланку. И — просто Ариша Веселкина. Голосъ есть, да ужъ больно неудобень. Нынче, говорятъ, и оперъ совсѣмъ не пишутъ для такихъ тромбоновъ. Ахъ, милушка, Евстафій Петровичъ, соблаговолите, Христа ради, наширосочки затянутся; свои-то забыла. Ни у кого нѣтъ, да и настоящая наша запрещаешь.

Ариша сгримасничала, вытянула лицо и ротъ округ-



лила колечкомъ, стала въ позу и высокимъ голосомъ проговорила:

— Дѣвицы, я вамъ рекомендую не курить. Эта привычка вредна для артистокъ. Вы меня огорчите.

Ковринъ разсмѣялся, Крупениковъ тоже. Ариша оглянулась, какъ школьница, на дверь и сказала своимъ жирнымъ баскомъ, скороговоркой:

— Сладости у насъ непомѣрной мать-настоятельница, а стелеть жестко! Вотъ и Евстафій Петровичъ у ней въ струнѣ ходить...

— Это вѣрно, — откликнулся вполголоса Ковринъ и также оглянулся на дверь. — Что, Прасковья Ермиловна въ классѣ?

— У себя. О васъ справлялась. Мнѣ замѣчаніе изволили сдѣлать, что мало сольфеджій пою.

— И это вѣрно.

— Да я бы васъ всѣхъ выгнала, если бы въ трубу-то мою затрубила какъ сѣдуетъ.

И, повернувшись на каблукъ своей крупной, но красивой ноги, въ башмакахъ съ переплетомъ, она пустила вполголоса:

Мнѣ твердили, напѣвал:

Полюби, плутовка!

У мужчинъ, у всѣхъ така-аа

Скверная споровка!

— Срамъ! — крикнулъ Ковринъ. — Цыганщина!

— А то что жъ? Я — цыганка по всему. Это вы меня только съ Скакуницей въ Альбони прочите. Ну, не сердитесь, Ковринька, не буду. Что жъ мнѣ дѣлать, коли изъ меня претъ? Разный вздоръ хочется пѣть и болтать. Вы, — повернулась она къ Крупеникову, — васъ какъ звать по имени, отчеству?

— Антонъ Сергѣевъ.

— Вы вѣдь въ оперѣ служите? Я помню, видѣла васъ въ чемъ-то, вотъ и забыла въ чемъ...

— Не мудрено-съ, — отвѣтилъ Крупениковъ и сильно покраснѣлъ. — Вѣстникомъ какимъ-нибудь или гишпанцемъ безъ рѣчей.

— Гишпанцемъ! И то, кажется, такъ, въ „Гугенотахъ“. Да?

— Въ „Гугенотахъ“ я, точно, занятъ — кавалера изображаю.

— Дайте срокъ, — вмѣшался Ковринъ и потрепалъ по

плечу тенора.—Вы должны выдвинуться, не нынче-завтра. Вотъ съ Ириной-то Степановной создадите два характерные типа въ бытовой музыкальной драмѣ!

— Буки-ум-бу!—загрохотала Ариша.—Однако, настоятельница-то хватится. Моя очередь сейчасъ; навѣрно приплыветъ. Прощайте!

Она комически присѣла.

— Вотъ что, голубушка, — остановилъ ее Ковринъ. — Спросите-ка Прасковью Еремилловну, можетъ ли она насъ принять передъ моимъ урокомъ у себя?

— Я бою-юсь,—сошкольничала Ариша.

— Ну, полноте. Она вѣдь въ насъ души не чааетъ!

— Знаемъ мы! А за ангажементъ и сдеретъ процентъ! Или по-заграничному, контрактъ заставить подписать: столько-то, молъ, изъ жалованья, каждый годъ, въ теченіе десяти лѣтъ.

— Грѣхъ вамъ! Грѣхъ вамъ!—заговорилъ пианистъ.—Совѣтъ она не такая! Вы, Антонъ Сергѣичъ, не вѣрьте!

Крупениковъ только поежился и усмѣхнулся.

— Такъ скажете?—спросилъ Ковринъ.

— Для васъ, душа мой, въ огонь и въ воду! — пробасила Ариша и выбѣжала изъ комнаты.

VIII.

— Лихая особа,—выговорилъ Ковринъ, подходя къ гостю.—Лѣнива только. Хохлушка родомъ. Голосомъ, дѣйствительно, Альбони можетъ выйти. Для такихъ натуръ новая музыка нужна, своя, залихватская, колоритная. Вотъ вѣдь и у васъ въ голосѣ и манерѣ есть что-то особенное. Не въ Раулѣ вы будете хороши, а въ какомъ-нибудь парнѣ бытовой, лирической драмы.

— Я и самъ такъ понимаю-сь, Евстафій Петровичъ, да гдѣ же показать-то себя?

Крупениковъ отвѣтилъ съ чуть замѣтнымъ дрожаніемъ въ голосѣ. Онъ не могъ сдержать этой дрожи, какъ только рѣчь заходила объ его артистической судьбѣ. И голову нагибалъ онъ немного вбокъ, и весь гнулся.

— Вы только не вѣрьте болтушкѣ,—продолжалъ Ковринъ, похаживая около рояля. — Она Прасковью Еремилловну настоятельница зоветъ... Суровости въ ней никакой нѣтъ. Вы сами сейчасъ увидите. Она вся крупичатая: изъ Москвы родомъ.

— Изъ Москвы-съ? — радостно спросилъ Крупениковъ.



— Да, настоящая москвичка: и языкъ прекрасный, мягкость звуковъ — такъ здѣсь не умѣютъ говорить. Я хоть и въ Петербургѣ выросъ, а здѣшнее произношеніе ненавижу.

— Это точно, — оживился Крупениковъ, — въ Александринскій театръ зайдешь, ровно иностранцы какіе. На мѣсто „любовь“ здѣшнія актрисы „любовъ“ выговариваютъ... А „крофъ“ у нихъ „кровъ“ выходитъ. И мнѣ претило не разъ.

— Да, да! Чиповничество всѣхъ заѣло. Вамъ, голубчикъ, будетъ очень по себѣ съ нашей настоятельницей — я это впередъ вижу. И не способна она бездушно выжимать сокъ изъ своихъ ученицъ. Эта хохотуша такъ, зря сболтнула.

Добрый музыкантъ поторопился успокоить тенора, замѣтивъ, что тотъ внутренне волнуется.

— Да это что же за бѣда-съ? — возразилъ Крупениковъ и тоже заходилъ по комнатѣ. — Вотъ въ Италіи такіе есть агенты... Они и дерутъ съ васъ, да все-таки васъ на линію выведутъ. Бери съ меня процентъ, да давай мнѣ ходъ, возможность чтобы была показать себя. А здѣсь одна казенная привилегія! Куда вы дѣнетесь? Въ провинцію? Всего-то три оперные театра: Харьковъ, Кіевъ, Казань, да и обчелся. Опять же антрепренеръ сейчасъ говоритъ: „я долженъ васъ слышать, а то какъ же я вамъ хорошее жалованье пазначу? По крайности, если бы вы хоть изъ консерваторіи вышли. У васъ диплома не имѣется. Васъ начальство учебное отрекомендовать не можетъ.

Глаза Крупеникова стали больше и заблигали. Голосъ дѣлался выше и рѣзче. И руками онъ сильно разводилъ.

— А вы не изъ консерваторіи? — просто и вскользь сказалъ Ковринъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, — рѣзко крикнулъ Крупениковъ и сталъ посрединѣ комнаты, весь красный. — И что въ этомъ за бѣда-съ? Мы знаемъ тоже, какихъ гусей съ дипломами-то выпускаютъ! Выйдетъ, воздуху наберетъ — куакъ! Хватъ, и взялъ полутопомъ выше, да и звука-то никакого нѣтъ! А мы, быть-можетъ, учились-то и не у такихъ профессоровъ... И денегъ-то собственныхъ не одну тысячу положили. И никакихъ мы отъ казны или покровителей субсидіевъ не получали!..

— Конечно, конечно, — успокоилъ его Ковринъ, подождавъ и положивъ ему руку на плечо. — Все это, душа



мой, отлично пойметъ Прасковья Ермиловна. Чуткая баба,—выговорилъ онъ потише,—сами увидите.

Въ дверь постучали. Они оба подняли голову.

— Войдите!—крикнулъ Ковринъ.

Вошла горничная.

— Евстафій Петровичъ,—проговорила она молодымъ, пѣвучимъ голосомъ,—Прасковья Ермиловна приказали сказать вамъ, что они васъ ждутъ у себя-съ, и ихъ,—она указала головой на Крупеникова,—приказали просить.

— Сейчасъ!—возбужденно откликнулся пианистъ.

— Ну, отправимся, голубчикъ. Я вотъ только волосы маленько оправлю.

Ковринъ пошелъ за перегородку. Крупениковъ бросилъ папиросу въ пепельницу и обдернулъ свой сѣрый лѣтній пиджакъ.

— Евстафій Петровичъ!—почти шопотомъ обозвалъ онъ.

— Что прикажете?

— Въдь вотъ исторія-то-съ... Я совсѣмъ и забылъ. Прилично ли будетъ въ первый разъ къ почтенной дамѣ и въ такомъ затрапезномъ одѣяніи? Прямо изъ трактира?

— Это вы насчетъ своего платья?

— Да-съ.

— Помилуйте. Да вы франтомъ.

— Лѣтняя пара. Опять же пиджакъ...

— Вы видите, я въ домашнемъ сюртучкѣ иду.

— Вы—совсѣмъ другое дѣло...

— Прасковья Ермиловна—свой человекъ, товарищъ, интимныхъ церемоній не любитъ. Эхъ, батюшка, какъ васъ Ариша-то напугала!

— Позвольте хоть гребеночку, поправить волосы.

— Сколько угодно. Пожалуйста сюда.

За перегородкой теноръ оглядѣлся въ зеркало, расчесалъ бородку, хватилъ голову щеткой и весь отряхнулся. Онъ все еще сильно волновался. Но ему было вообще приятно. Все видѣнное здѣсь освѣжило его отъ трактирной компаніи Бурцевыхъ и Мухоморовыхъ.

Пианистъ взялъ его за руку и повелъ. Крупениковъ почувалъ запахъ туалетнаго уксуса, которымъ обмылся Ковринъ: не за тѣмъ ли, чтобы истребить запахъ трактирнаго завтрака?



IX.

Прасковья Ермиловна Скакунова встрѣтила ихъ около дверей не гостиной, а своей особой большой комнаты, съ перегородкой. Первая половина отдѣлана была кабинетомъ, вторая служила ей спальней и будуаромъ. Прежде всего, Крупеникова обдалъ запахъ одеколона и еще какихъ-то духовъ. Душалось легко и пріятно въ этой комнатѣ. Пестрый веселый кретонъ на мебели, гардинахъ и портьерахъ, растенія въ пестрыхъ горшкахъ, блескъ отъ трюмо охватили его переливомъ красокъ. Онъ даже закрылъ глаза на нѣсколько минутъ, слушая, какъ музыкантъ представляетъ его.

Первый его взглядъ упалъ на бѣлокурую голову полной, почти толстой женщины. Свѣтлые волосы на лбу были наложены завитушками, коса изъ своихъ волосъ поднималась выше темени, лицо улыбалось — широкое и мясистое, съ ямочками на щекахъ. Брови почти сливались съ кожей. Въ сѣрыхъ глазахъ сохранилась игра. Губы поблекли, но передніе зубы бѣлѣлись. Полную шею сдавливалъ отложной, тугой, лоснящійся воротничокъ. Свѣтлосѣрое франтоватое платье съ короткой пелериной скрывало толщину охвата талии. Грудь, сдавленная въ тѣсномъ корсетѣ, такъ и выдвигалась впередъ.

„Да она — ужъ старуха!“ — хотѣлъ сказать про себя теноръ, и тотчасъ же поправился: — „добрѣйшей, должно быть, души“.

— Очень, очень рада, — протянула Скакунова высокой грудной нотой.

Въ этомъ звукѣ Крупениковъ сейчасъ же почувалъ московскую уроженку. Онъ пожалъ руку, бѣлую, пухлую, съ пальцами-огурчиками и съ ямочкой надъ каждымъ нижнимъ суставомъ. Рука была аппетитна.

„Право, она еще ничего, — добавилъ онъ мысленно, — однако, годовъ ей, навѣрно, за сорокъ, а то и за сорокъ пять“.

— Присядьте, присядьте, — приглашала хозяйка ласковымъ и ободряющимъ тономъ. — Я о васъ слышала... Какъ же!.. Какъ же!.. Вотъ это хорошо, Стасенька, — обернулась она къ Коврину, — что ты привелъ ихъ ко мнѣ. Не хотите ли папироску? Я сама не курю и ученицамъ не позволяю, а мужчинамъ нельзя нынче одной минуты пробыть безъ куренья.

Крупеникову стало меньше неловко. Он прислал на кресло, рядомъ съ хозяйкой, помѣстившейся на диванчикѣ. Ковринъ заходилъ по комнатѣ.

— Вотъ,—заговорилъ онъ,—я Антопу Сергѣевичу указалъ на самого настоящаго человѣка. Ему ходу не даютъ. Кто же лучше Прасковьи Ермиловны наставитъ на путь?

Скакунова усмѣхнулась и кивнула въ сторону Коврина, точно хотѣла сказать: „очень ужъ расписываетъ“.

— Я ему,—продолжалъ разговорившійся Ковринъ,—про себя рассказалъ. Безъ субординаціи нашему брату невозможно.

Быстрые, хотъ и ласковые, глаза Скакуновой оглядѣли музыканта. Его разгорѣвшіяся щеки, показались ей подозрительными.

— Стасенька, вы это гдѣ же изволили встрѣтиться съ ними?

Она спросила это полушутливо, материнскимъ тономъ.

Ковринъ скорыми шагами подошелъ къ Скакуновой и взялъ ее за руку.

— Голубушка! я, значить, въ подозрѣніи? За что?

— Гдѣ же повстрѣчались-то? — повторила она и прищурила одинъ глазъ.

— Въ трактирномъ заведеніи, скрывать не хочу. Но какъ я себя тамъ велъ — вотъ что нужно изслѣдовать. Рюмка водки...

— Однако...

— Всего одна! И бутылка пива.

— А дома-то развѣ не было завтрака? Шатунъ!..

— Точно, и дома можно было поѣсть, и полтора цѣлковыхъ остались бы въ карманѣ. Но вы не извольте на меня ворчать. Это былъ, въ нѣкоторомъ родѣ, искусъ...

— Устоялъ?..

Скакунова разсмѣялась, но сейчасъ же съ другимъ выраженіемъ оглинула и Коврина, и Крупеникова.

— Я ему про себя рассказывалъ,—указалъ Ковринъ на Крупеникова.— Съ этого и разговоръ по душѣ начался. Вотъ, молъ, живой примѣръ, какъ Прасковья Ермиловна людей направляетъ...

— Объ этомъ чтó же?—остановила она пианиста.

Ея движеніе очень понравилось Крупеникову.

— Какіе же тутъ секреты?! Онъ—нашъ братъ артистъ. И прямо его спросилъ: не имѣетъ ли страсти?

— Въ родѣ Стасеньки?—пошутила Скакунова.



— Именно! Не имѣетъ. Тѣмъ лучше.

Въ коридорѣ раздался звонокъ.

— Пора въ классъ, — сказала Скакунова Коврину. —
Нынче надо подольше посидѣть, ты знаешь...

— Да, да! — заторопился Ковринъ.

— А, поди, не подготовился къ лекціи-то?

— Готовился. Только захватить упражненія.

— Ну, и съ Богомъ.

Все это она говорила мягко, точно старшая сестра или мать. Тонъ ея продолжалъ нравиться Крупеникову.

— Позвольте и мнѣ удалиться, началъ-было онъ и привсталъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, куда вы? Вѣдь у меня класса нѣтъ! Его надо прогурить, а то разболтается и объ урокъ забудеть. Ну, Стасенька, извольте-ка отправляться!

— Иду, иду! — крикнулъ Ковринъ, пожалъ руку тенору и пошелъ къ двери. Отворивъ ее, онъ остановился, закинулъ волосы за правый високъ и окликнулъ:

— Прасковья Еремиевна!

— Что, милый другъ?

— Главное — подбодрите нашего пѣвца и тряхните всѣмъ вашимъ знакомствомъ... И насчетъ начальства.

— Знаю, знаю. Никакъ его не выгонишь. Вотъ, другой разъ, штрафъ буду брать. А дѣвицы-то теперь, поди, въ форточку курятъ. Потомъ у всѣхъ горло заложить. Идите, Стасенька!

Ковринъ еще разъ кивнулъ Крупеникову и захлопнулъ за собою дверь.

— Право, мнѣ совѣстно, — началъ-было опять раскланиваться Крупениковъ.

— Ахъ, вы какой... Да бросьте вы вашу шапку. Мнѣ самой время дорого... Я бы вамъ сказала. А теперь вотъ съ полчаса самыхъ удобныхъ. Да что же вы не курите?

Все это было сказано такъ ласково и просто, что Крупениковъ совсѣмъ оттаялъ. Онъ отложилъ свою шапку, взялъ папиросу, закурилъ и, точно про себя, выговорилъ вслухъ:

— Право! Очень ужъ вы ко мнѣ добры!

Х.

Не такую ожидалъ онъ пайти эту „бабу-дѣльцу“ послѣ поясненій Коврина въ трактирѣ и у него въ комнатѣ, послѣ того, какъ балагурила Ариша Веселкина. Передъ



нимъ, дѣйствительно, добрейшей души дама, съ благородными манерами, мягкая, отлично все понимающая. Сейчасъ же что-то пролилось ему въ сердце теплое, такое, чего онъ съ дѣтства не испытывалъ. Онъ даже вспомнилъ, что вѣдь онъ давно — круглый сирота. Точно онъ мальчикомъ пришелъ провести воскресенье къ тетенькѣ, балующей его. Всю педѣлю обращались съ нимъ грубо товарищи и надзиратели, а тетенька приглубить, вареньица дать, въ головку поцѣлуетъ, назоветъ Антошей. Одна такая тетка была у него, и у ней въ комнатѣ такъ же пахло. Все говорило о присутствіи ласки мягкой, пухлой женщины — старше тебя, опытной, но зато снисходительной и податливой на всякую ласку.

Ему уже совершенно ловко. Вотъ она присаживается и говорить такъ родственно:

— Вы меня не дичитесь, голубчикъ. Ковриная, по слабости своей, много, пожалуй, тутъ и лишняго наговорила. Я рада, что могла сго опять... какъ вамъ это сказать... ну, да онъ самъ объ этомъ объявилъ, такъ и я попросту скажу... вытрезвить. А васъ вѣдь не надо вытрезвлять? Вы, я вижу, обижены. Это — хуже всего. У насъ вездѣ взятки, да кумовство. И я сама чрезъ это все проходила. И я была въ загонѣ. Теперь меня, точно, уважаютъ, а почему? — потому что я ни въ комъ не нуждаюсь. Сама знала и нужду, и обиду, — поэтому, когда въ другихъ вижу Божью искру — поддерживаю.

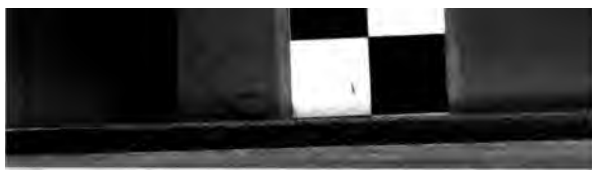
Онъ слушалъ, низко наклонилъ голову и сдерживалъ дыханіе. Слезы уже подступили къ глазамъ. Ему стыдно было взглянуть на нее.

— А голосъ вашъ, признаться, забыла. Стасенька-то мой уносится очень любить. Вкусъ у него богатый; по много и зря говорить.

И эти слова тронули Крупеникова. Другая бы не стала такъ искренно говорить. Не хочетъ лгать и отвертываться пустыми словами. Ужасно захотѣлось ему пропѣть ей что-нибудь сейчасъ же. Въ груди у него столько скопилось чувства: еще темного, и онъ разрыдается.

Все еще не поднимая головы, онъ поглядѣлъ вбокъ. Онъ только теперь разглядѣлъ низковатое пианно, представленное къ перегородкѣ, и рядомъ бѣлую этажерку для нотъ.

— Вы не знаете... моего голоса, — съ трудомъ выговорилъ онъ, — позвольте мнѣ...



Онъ быстро всталъ и подошелъ къ пианино.

— Да зачѣмъ же?—остановила было она его.—Въ другой разъ...

Онъ уже сѣлъ на табуретъ.

— Сидя-то быть неудобно. Не хотите ли я вамъ съаккомпанирую? Можеть, и наизусть знаете?

... Изъ „Русалки“.

— Чудесно! Сейчасъ найду. Арию князя?

Не сѣша, нашла она зеленую переплетенную тетрадь и положила ее на пюпитръ. Онъ сталъ сзади. Пока она брала вступительные аккорды, онъ оправился отъ своего волненія.

— Начинайте, — сказала она вполголоса и обернула голову.

Онъ запѣлъ:

„Невольню къ этимъ грустнымъ берегамъ
Мени влечетъ таинственная сила!“

Комната была большая. Голосъ его разлился по ней звонко и мягко, сначала съ дрожью, потомъ согрѣлся, и мелодія потекла все задушевнѣе и теплѣе.

Фразу:

„Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала
Свободнаго — свободная любовь!“

Крупениковъ произнесъ характерно и красиво.

— Славно!—вполголоса вскричала Скакунова.

Когда арія дошла до конца, она встала, протянула ему обѣ руки и тронутымъ голосомъ сказала:

— Вы талантливы, голубчикъ; души — пропасть, и голосъ славный, сильный...

Ея щеки зарозовѣли. И глазами она его приласкала.

Крупеникову опять захотѣлось плакать. Онъ поцѣловалъ одну изъ протянутыхъ рукъ и почувствовалъ, какъ губы Прасковьи Ермиловны прикоснулись къ его волосамъ. Такъ ему тепло и сердечно! Какъ было бы хорошо, если бы она взяла его въ сыновья. Къ такой добрейшей душѣ сладко прильнуть. Съ ней все, что есть въ тебѣ хорошаго, какъ въ артистѣ, оживеть, распухнетъ...

Держа его за руку, она сѣла съ нимъ рядомъ на диванчикъ и стала говорить еще мягче и задушевнѣе. Обо всемъ разспросила, все узнала. Сейчасъ же и про себя объявила, что она — московка, и такъ же, какъ и онъ, купеческаго рода, по матери. Шестьсотъ рублей получаетъ артистъ съ такимъ голосомъ, на все про все! Какъ тутъ



жить молодому человѣку въ полной силѣ, да еще такому, что свои деньги имѣлъ, за границей учился, по золотому профессорамъ плачивалъ? Она ему дастъ, коли онъ желаетъ, репетиторское мѣсто, по классу пѣнія. И завтра, а то и сегодня она поѣдетъ хлопотать. Она знаетъ, къ кому обратиться. Композиторы, критики у ней есть на примѣтѣ. Дождаться только хорошаго случая, потерпѣть, а въ длинныхъ ролькахъ не показываться. А не выгорить—антрепренеры у ней же въ рукѣ. Ея рекомендаціи что-нибудь да значить. Дотянуть до конца сезона, а на лѣто — въ провинцію. Постомъ, въ концертахъ умѣючи заявить себя передъ публикой. И объ этомъ она поспрашивается.

— Вы лучше родной матери!—съ трудомъ выговорилъ Крупениковъ.

Онъ слышалъ, какъ въ голосѣ ея зазвучали самыя теплыя ноты. Ему не стыдно было благодарить ее. Никакой гордости и обиды не чувствовалъ онъ отъ этого покровительства. Разъ два еще прижался онъ къ ея рукѣ.

Прасковья Ермиловна, совершенно ужъ какъ мать, обняла его подъ конецъ.

— Это не сирота Стасенька привелъ васъ,—сказала она ему, подводя къ двери.—Вижу, еще денекъ, другой—и отчаянность на васъ напала бы. И кончено. Врагъ-то слепецъ,—выговорила она съ улыбкой и вздохомъ доброй няни.

Крупениковъ радъ былъ отдаться въ руки этой няни. Онъ зналъ, что слабости въ немъ много. Того и гляди, сгипнешь въ компаніи Бурцевыхъ. А въ ней, сквозь теплоту и ласку, видна твердость. Только прильни и не криви душой.

XI.

По уходѣ молодого тенора, Прасковья Ермиловна долго оставалась въ особомъ настроеніи. Все у ней внутри всколыхнулось. Благородныя чувства прилили къ ея сердцу, желаніе защитить, наставить, а главное — пригрѣть и обласкать. Она и вообще не считала еще себя старухой, но тутъ у ней слѣзло съ плечъ цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ.

Много она любила. Мужчины легли на ея плечи тяжелой ношей. Съ давней поры, лѣтъ чуть не тридцать тому назадъ, она должна была денно и нощно бороться съ



своимъ сердцемъ. Кажется, чего лучше, какъ прожить безъ этихъ мужчинъ? Что въ нихъ привлекательнаго? Грубы, пьютъ, курятъ, грязны, говорятъ сальности, способны проиграть все до рубашки, въ женщинѣ видятъ одно тѣло... Ни благодарности, ни душевнаго порыва, ни тонкой нѣжности, ни простой деликатности съ любящей женщиной... Настоящее звѣрье!

А не сохранишь своей свободы! Все тянетъ къ этому отродью. Знаешь всю ихъ негодность и очутишься шута рабой или впутаешься въ глупую исторію, или закабалишь себя на много-много лѣтъ. Прикинется барашкомъ, глазами поводить, усики, голосъ прямо въ душу идетъ, бѣденъ, загнанъ, талантъ есть, а то такъ просто молодость, да жалобныя слова говорить — и не устоишь. И дура-дурой! Нельзя ошейника-то своего сбросить до тѣхъ поръ, пока не откупишься деньгами или не умереть это сокровище!

Какую любовь свою ни вспомнишь, вездѣ приходилось расплачиваться собственной кожей. Дѣвушкой ужъ со всѣмъ глупо врѣзалась. Сколько лѣтъ тянулось издыханье, поцѣлуи шли, но аллеямъ гуляли, на подъѣздахъ жданье, сувениры, истерики, слезы, а все кончилось тѣмъ же, чѣмъ и въ другихъ случаяхъ, когда дѣло сразу идетъ на всѣхъ парахъ. Пришлось грѣхъ хоронить, комедию цѣлыми годами играть передъ добрыми людьми, за дѣвицу себя выдавать. Хорошо, что ребенокъ не жилъ. Было бы ему сладко, нечего сказать! А выходъ изъ этой десятилѣтней любви? Оказался онъ такимъ же „салдафономъ“, какъ и сотни другихъ, законный бракъ сулилъ, а когда свѣжесть лица, да мягкость кожи не тѣ стали — преспокойно завелъ себя какую-то чухопку. И обижаться не смѣй! Хорошо еще, что изъ тебя денегъ не тянулъ, не ввелъ тебя въ болѣзнь и нищету. И за то Господа Бога благодарн!

Чего: лучше здоровой, не старой жепщинѣ, въ полномъ соку, съ житейской смѣткой и находчивостью, — жить, да обставлятъ себя получше и добро дѣлать отъ избытка? Какъ бы не такъ! Засасывать начинаетъ тоска. Или закрадется жалость къ первому понавшемуся замухрышкѣ. Дѣтей больше не родилось, а материнство-то не умерло въ душѣ. Съ кѣмъ-нибудь надо возиться; нянька-то сидитъ во всемъ женскомъ естествѣ. И непременно съ мужчиной. Брать на воспитаніе дѣвочку-сиротку — не хочется. Очень



ужь и съ ученицами много возни. Ну, и подвернется... Ниже травы, тише воды опъ, когда ему „цыпъ-цыпъ“ дѣлаешь. Готовъ въ услуженіе поступить. Одѣнешь его, мѣсто выхлопочешь, человѣкомъ сдѣлаешь и въ мужья возьмешь. Самой хочется въ законѣ пожить. И его-то поднять, чтобы онъ права надъ тобой имѣлъ, чтобы очень-то не презиралъ самого себя: что вотъ, молъ, у бабы живетъ на хлѣбахъ. Опять каторга! Глупъ, тошный, брюзга, лѣнтяй, хуже всякаго лакея. Гдѣ глаза были, что такое въ головѣ залегло, затменіе что ли, когда его въ мужья брала? Какъ ни уходишь въ дѣло, какъ ни стараешься подавить свою горечь — невозможно. Тутъ прилѣпишься къ кому угодно, и чѣмъ онъ вороватѣе, тѣмъ скорѣе все случится. И года не берутъ, разумъ, опытность, знаніе этихъ развратниковъ, сластолюбцевъ и обманщиковъ. Тутъ ужь ничто не беретъ. Отдаешься всѣмъ сердцемъ, чувство изъ тебя ключомъ бьетъ, ревешь отъ избытка нѣжности, ничего не замѣчаешь: ни своей дурости, ни того, что обходить тебя, какъ послѣднюю глупую бабу. Сколько примешь тяготы, денегъ, хлопотъ, стыда, пройдохества, чтобы отъ тошнаго мужа отдѣлаться. Насилу откупишься, и что же? Мечтаешь о новомъ рабѣ, какъ тотъ, желанный-то, въ этотъ рай тебя введетъ, забудетъ, что ты его на десять лѣтъ старше, и станете вы ворковать. Ань вмѣсто того: — срамъ, пьянство, карты, дебошъ, побой, полная мерзость. А подъ конецъ — издѣвательство, тебя же называютъ развратной бабой, нахально кричатъ, что только изъ-за денегъ и можно было съ тобой путаться!.. Господи!

И какъ еще достало здоровья, силъ, чтобы поддержать себя, не хлопнуться совсѣмъ въ грязь! Нѣтъ, глупа, глупа въ чувствахъ своихъ съ мужчинами, а въ остальномъ не тотъ человѣкъ; боятся, уважаютъ, считают даже колотковкой! Да и въ самомъ дѣлѣ, умѣетъ же справиться со своимъ заведеніемъ; всѣ знаютъ ее, всюду хорошій пріемъ и почетъ, до сихъ поръ считается артисткой. Сумѣла сбившагося въ конецъ Коврина оправить. И онъ ея боится, какъ огня; а она ни разу на него и не прикрикнула. Надѣется и совсѣмъ его вылѣчить и заставить работать: пускай композиторствомъ со свѣжими силами займется; можетъ, и цѣлую оперу напишетъ. На всю жизнь его облагодѣтельствовала. А отчего? Оттого, что нѣжности къ нему настоящей не почувствовала, той прежней, женской, что къ мужчинамъ влечетъ и глаза застилаетъ.



Вотъ и этотъ тенорокъ. Жалко его ужасно! Такой молодой, простой, безъ хитрости, изнываетъ отъ желанія выдвинуться впередъ. Тутъ все въ немъ и трепещетъ! Нельзя его не приласкать. Тутъ любовнаго увлеченія быть не можетъ. Все равно, что съ Ковринымъ; только приглубить его хочется. Ему не больше двадцати пяти-шести лѣтъ. Шутка, на двадцать лѣтъ она его старше! Года возьмутъ свое—опасаться нечего. И усталость называется послѣ всѣхъ прежнихъ мученій. Надо съ этимъ покончить. Ужъ матерью быть, такъ въ самомъ дѣлѣ матерью, пожалуй, и бабушкой. Такъ-то!..

XII.

Въ тотъ же день, передъ самымъ обѣдомъ, Прасковья Ермиловна уѣхала со двора. Она попала къ сборному часу одного иностраннаго табль-д'ота. Тамъ надо было прежде всего пощупать почву. Меблированныя комнаты содержалъ французъ, бывшій поваръ, женатый на обрусѣлой француженкѣ, бывшей опереточной пѣвицѣ. У нихъ квартируютъ всегда итальянцы; изъ русскихъ—тоже пѣвцы и пѣвицы, ищущіе мѣста; обѣдать ходятъ два театральные чиновника, одинъ покрупнѣе, другой мелкій, докторъ и еще два-три постоянные посѣтителя изъ меломановъ.

Хозяйку Прасковья Ермиловна нашла въ узкой комнатѣ, передъ столовой, за конторкой. Противъ двери въ столовую, у лѣвой стѣны, примостился небольшой столъ съ водкой и закуской. Обрусѣлая француженка молодилась. Ей на видъ, въ полусвѣтѣ комнаты, нельзя было дать больше тридцати, но Скакупова считала ее своей ровесницей. Мужемъ она помышала почти какъ лакеемъ. Онъ съ утра прикладывался къ красному вину и за обѣдомъ надобдалъ всѣмъ своей болтовней съ южнымъ акцентомъ. Всѣ гости потѣшались надъ нимъ, передразнивая, какъ онъ произноситъ „estation“, вмѣсто „station“, и „escorpion“, вмѣсто „scorpion“, говорили ему прямо въ глаза, что онъ вреть, когда онъ рассказывалъ въ сотый разъ свои похождения на французскомъ военномъ корветѣ, во время кругосвѣтнаго плаванія, гдѣ онъ состоялъ корабельнымъ поваромъ. Господинъ Мусильякъ—такъ его звали—не обижался и продолжалъ трещать своимъ гасконскимъ языкомъ. Онъ самъ приправлялъ салатъ и присматривалъ на кухнѣ; кушанья подавались больше южныя—итальянскія и даже испанскія—съ перцемъ и чес-



покомъ. Дѣла мебелированныхъ комнатъ шли плоховато. Держались онѣ только тѣмъ, что госпожа Мусильякъ сумѣла привлечь когда-то одну особу, высокопоставленную въ театральномъ мірѣ. Съ тѣхъ поръ прошло болѣе шести лѣтъ, но, по преданію, она все еще считалась не безъ вліянія. Теперь каждый день обѣдало двое служащихъ. Про одного подъ шумокъ говорили, какъ про настоящего хозяина табль-д'ота. Онъ всегда садился рядомъ съ госпожой Мусильякъ, ему ставили особенное вино; иногда онъ привозилъ закуски или какого-нибудь ликёру, блюда начинали обносить съ него. Около него сидѣлъ всегда мелкій „чинушъ“, какъ называла его Скакунова, но очень юркій, услужливый, большой сплетникъ. Отъ него можно узнать во-время всякую новость. Итальянцы и русскіе артисты мѣнялись по сезонамъ. Два тенора—одинъ испанецъ родомъ—жили каждую зиму. Часто ходилъ докторъ-шутникъ, молодой еще человѣкъ, съ черной бородой, пускающій въ ходъ полуприличныя остроты. Онъ говорилъ по-французски смѣло, но до смѣшного плохо: этотъ языкъ преобладалъ за столомъ. Почти всегда проживала и ходила обѣдать какая-нибудь пѣвица, ожидающая дебютовъ. Съ нея брали втридорога за комнату, заманивали ее обѣщаніями, заставляли тратиться на уроки у итальянцевъ и къ концу сезона сплавляли.

Вся столовая, продолговая комната въ два окна, обвѣшана сотнями фотографій разныхъ величинъ и во всевозможныхъ рамкахъ. Тутъ портреты всѣхъ пѣвцовъ, пѣвицъ, танцовщиковъ, танцовщицъ, актеровъ, актрисъ, знаменитостей оперетки и кафе-концертовъ. Многіе изъ иностранцевъ жили въ этихъ комнатахъ и дарили свои карточки и альбомные портреты съ надписями.

Столъ былъ накрытъ на двѣнадцать человѣкъ.

Элоиза Адольфовна Мусильякъ говорила съ Прасковьей Ермиловой всегда по-русски. Она прекрасно знала, что эта гостья пріѣзжала только по дѣлу. Иногда Скакунова оставалась и обѣдать. Сегодня ей хотѣлось поразспросить о чемъ слѣдуетъ у маленькаго чиновника.

— Егоровъ будетъ?—освѣдомилась она вполголоса у хозяйки, присаживаясь къ конторкѣ.—Я вамъ, милочка, не мѣшаю?

— Будетъ непременно,—сказала дѣловымъ тономъ Мусильякъ.

— А здоровье Павла Михайловича?



„Павелъ Михайловичъ“ было имя чиновника покрупнѣе, играющаго роль настоящаго хозяина за столомъ.

— Благодарю васъ, — отвѣтила француженка, точно дама, благодарщая за своего мужа.

Первымъ пришелъ теноръ, испанецъ родомъ, толстенкій, низкорослый, съ подстриженной бородкой, очень смуглый.

— Готовъ! — крикнулъ онъ умышленно ломанымъ языкомъ и подбѣжалъ къ слуховой трубѣ, проведенной въ кухню. — Двѣ порціи карандашъ! — пустилъ онъ въ трубу. — Одна порцій патронташъ!..

Съ этого дурачества онъ начиналъ каждый день, и когда всѣ соберутся, повторялъ его еще разъ. Пришли еще два оперные пѣвца, два меломана, одинъ съдой, другой неопредѣленныхъ лѣтъ, явился и господинъ Мусильякъ, съ краснымъ, лоснящимся бритымъ лицомъ и рыжеватыми усами, въ потертой визиткѣ, отъ которой несло кухней. Пришла большого роста, широкоплечая и съ широкимъ лицомъ блондинка въ красномъ трико-джерсеѣ и въ длинныхъ косахъ.

— Кто это? — освѣдомилась Прасковья Ермиловна, все еще сидѣвшая около конторки.

— Полька одна, фамилія Левандовская.

— Дебютируетъ?

— Обѣщаютъ дебютировать...

— Какой голосъ?

— Контральто.

— Сильный?

— Очень... только мало училась.

Прасковья Ермиловна сейчасъ же подумала о своей Аришѣ. Она ее любила, хотя и была съ ней строже, чѣмъ съ другими. Вотъ примутъ такую польку — и будетъ мѣсто занято. А той еще добрый годъ, коли не два, надо учиться. Дѣвушка честная, даромъ что сорванцомъ смотритъ. У этакой же польки что есть завѣтнаго? На всякую сдѣлку пойдетъ, съ кѣмъ угодно: и съ первымъ пѣвцомъ, и съ капельмейстеромъ, и съ режиссеромъ.

Лицо Прасковьи Ермиловны немного затуманилось.

Пришелъ докторъ, что-то сошкольничалъ, наливая себѣ водки, и близко-близко подошелъ къ пѣвицѣ. Госпожа Мусильякъ кончила свои счета, встала, отряхнулась и заглянула въ столовую.

— Вы съ нами не останетесь? — спросила она Прасковью Ермиловну.



— Нѣтъ, милочка, прикажите мнѣ поставить приборъ. Прасковья Ермиловна разсудила, что надо остаться и отобѣдать.

XIII.

Въ четверть седьмого всѣ были въ сборѣ. И оба чиновника пришли, и музыкантъ-итальянецъ съ женой-нѣмкой. Теноръ еще разъ крикнулъ въ слуховую трубу: „порцій карандашъ!“—всѣ громко разсмѣялись. Господинъ Муслиякъ, на своемъ углу стола, приготовлялъ салатъ и затынулъ уже какую-то исторію изъ кругосвѣтнаго плаванія.

Чиновнику покрупнѣе, Павлу Михайловичу, Прасковья Ермиловна успѣла что-то шепнуть. Хозяйка посадила ее по лѣвую руку отъ него, а рядомъ съ ней, лѣвѣе, маленькаго чиновника. Съ тѣмъ они весь обѣдъ говорили вполголоса по-русски, подъ шумъ и трескъ разговоровъ, гдѣ французскіе и итальянскіе возгласы и фразы пересыпались.

Въ передышку, между блюдами, Прасковья Ермиловна оглядывала общество. Всѣ эти мужчины уже на дорогѣ, каждому есть ходъ: и пѣвцамъ, и музыкантамъ, и доктору. Оттого они такъ и гогочутъ. Что вонь въ томъ теноришкѣ есть путнаго? Двѣ ноты, да и тѣ головныя. А поди, тысячь пятнадцать въ сезонъ получаетъ?! Заплатишь агенту, когда еще съ голосомъ былъ, а потомъ и пошелъ по всѣмъ столицамъ. И каждый годъ дороже дѣлается, пока совсѣмъ не осипнетъ.

Горькое чувство не въ первый разъ поднимается въ Прасковью Ермиловну, когда она думаетъ о томъ, какъ итальянцевъ и всякихъ заѣзжихъ артистовъ ублажаютъ у насъ, въ ущербъ своимъ талантамъ. Она—патріотка. Удивительно, какъ еще она сама могла пробиться, обезпечить себѣ кусокъ хлѣба на старость лѣтъ? А каково бѣдному молодому человѣку, вотъ хоть бы такому Бруненикову? Даже глаза ея стали влажны.

Къ концу обѣда она поклонилась къ своему сосѣду справа и сказала ему вполголоса:

— Такъ вы, пожалуйста, голубчикъ, Павелъ Михайлычъ... Надо же дать жить человѣку. Голосъ—масло!

Павелъ Михайлычъ что-то промывчалъ.

— Безъ обмана?—спросила Прасковья Ермиловна.

— Безъ обмана,—повторилъ онъ.



Мелкій чиновничекъ все что-то ей пашёштывалъ во время пирожнаго и кофею. Она улыбалась, прихлебывая изъ чашки.

— Ужь я на васъ, Митенька, надѣюсь,—говорила она покровительственно.

— Такъ и будемъ дѣйствовать, кума.

Онъ называлъ ее „кума“ не въ шутку. Скагунова крестила у него дѣвочку. Этотъ Егоровъ сдѣлаетъ непременно, о чемъ она его просить. А съ нимъ каждый пріятель, всѣмъ онъ можетъ услужить по своей должности. Онъ же сообщилъ ей, чего слѣдуетъ добиваться на первыхъ порахъ. Есть двѣ-три небольшія партіи, гдѣ Крупеникову выгодно появиться. Это устроить не трудно. Онъ и самъ бы этого добился, да не умѣетъ.

Прасковья Ермиловна узнала тутъ, что „тенорокъ“—такъ называлъ Крупеникова чиновничекъ—очень ужъ „амбиціозенъ“, и дикость въ немъ есть, простоватость какая-то; ни къ кому онъ какъ слѣдуетъ не обратится, не выждетъ подходящей минуты. Такіе отзывы еще больше растрогали Прасковью Ермиловну. Что жъ такое, что онъ не умѣетъ ничего добиться? Значить, у него душа чистая, гордая; значить, онъ не способенъ ни подличать, ни унижаться. Но особенно защищать она его не стала: передъ чиновникомъ назвала только „прекрасной души юношей“.

Изъ-за стола поднялась она въ возбужденномъ настроеніи, еще разъ пошептала съ Павломъ Михайлычемъ и отвела хозяйку въ уголъ. Съ ней она умѣла ладить. Безъ подарочка тутъ не обойдется.

Домой она не поѣхала, а пошла пѣшкомъ. Стоялъ свѣтлый, сухой, морозный вечеръ. Пріятны ей были ея хлопоты. Не для себя она пускала всѣ эти пружины. Просто, доброе дѣло дѣлала, и не сухое, формальное, а душевное. Идетъ она въ шубѣ, а ей легко, не чувствуетъ своей толщины и нога правая не ноетъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ у ней когда-то вывихъ былъ. Много ли ей это стояло? Часа два потеряла, да за обѣдъ съ полбутылкой вина два рубля двадцать, а сколько отрады получила!

На Невскомъ, противъ памятника Екатерины, съ Прасковьей Ермиловной столкнулся носъ къ носу мужчина въ енотовой шубѣ, безъ капюшона, съ сѣдой бородой.

— А, Купоросовъ!—узнала она его.—Куда шагаете?

Это былъ пріятель, музыкальный критикъ. И какъ удачно вышло, что онъ именно теперь встрѣтился, когда она про-



должала обдумывать устройство артистической судьбы своего новаго любимца.

Купоросовъ, очень близорукій, не сразу призналъ ее и тотчасъ же началъ что-то бурлить о новой оперѣ, шедшей въ Марининскомъ театрѣ. Послышались бранные возгласы. Слова: „ерунда“, „мерзость“, „навозъ“ и другія выраженія въ такомъ же родѣ сыпались какъ горохъ.

Прасковья Ермиловна удалось, однако, остановить его и перевести разговоръ на молодого тенора съ отличнымъ голосомъ, съ русскимъ размахомъ, задумчивымъ, оригинальнымъ тономъ. Надо его поддержать. Купоросовъ пожелалъ прослушать его, и если онъ окажется „безъ итальянщины“, дать ему нѣсколько совѣтовъ. Слышно, что композиторъ Симбирскій пріѣзжаетъ изъ Москвы ставить оперу. Навѣрно, въ ней не мало будетъ „навоза“, но кое-что ему удастся. Онъ поговоритъ Симбирскому объ этомъ Крупениковъ, если у него окажется хорошій „пошибъ“ голоса.

Прасковья Ермиловна держала критика за рукавъ и приговаривала:

— Ужъ вы не умничайте, голубчикъ... Русскую школу я и сама люблю, да голосъ-то прежде всего надобенъ...

— И кастраты пѣли!—перебилъ Купоросовъ.

— Говорю я вамъ: паренекъ чудесный. Вотъ ваша-то компанія все мечтаетъ выпустить на сцену своего героя въ бытовомъ вкусѣ, и чтобы колюрить былъ. Лучше не найдете. На той недѣлѣ пришли бы ко мнѣ и Всеславцева бы привели.

— Онъ заперся; Богу молится...

— Такъ этого еще... ну, вы знаете кого. Стасеньку Коврина аккомпанировать заставимъ. Спасибо скажете.

Купоросовъ куда-то торопился, но обѣщалъ пріѣхать прослушать тенора.

XIV.

Другимъ воздухомъ повѣяло на Крупеникова. И у себя, въ пыльномъ номерѣ, и на улицѣ, и за кулисами, и въ трактирѣ, вездѣ онъ иначе себя чувствуетъ. Походка изменилась, пѣть уже унылой усмѣшки съ выраженіемъ обиды. Онъ началъ весело ждать.

Режиссеръ два раза ласково говорилъ съ нимъ. Вліятельный копторскій чиновникъ подошелъ разъ и спрашивалъ: какъ онъ доволенъ своимъ положеніемъ? На одной



недѣль два раза ставили на афишу. Разумѣется, выдвигаться въ ансамбль нельзя; но пѣть въ хорошемъ финалѣ все-таки выгодноѣ, чѣмъ протянуть одинъ какой-нибудь речитативъ. Слышали его критикъ Купоросовъ и еще два музыканта у Прасковьи Ермиловны и очень одобрили. Онъ имъ пришелся по душѣ.

— Намъ такого нужно!—кричалъ критикъ.

Началъ онъ и свои занятія въ классахъ Скакуновой, репетируетъ по классу пѣнія. Это ему особенно весело; самъ-то онъ мало учился, а все-таки на себя иначе смотришь. Все-таки преподаватель. Прасковья Ермиловна съ каждымъ днемъ все добрѣе. Не говоритъ ничего про то, что за него хлопочетъ, да онъ видитъ же, откуда это идетъ. Отъ другого человѣка, даже отъ пріятеля, не то, что ужъ отъ женщины, онъ не принялъ бы, амбиція бы не позволила. А тутъ—ничего.

Даже радостно ему. Онъ увѣровалъ сразу въ то, что это—женщина особенная, послана ему не даромъ, за его „сиротство“ и „незадачу“, въ награду за благородство его помысловъ и въ охрану на всю жизнь. Никто не одѣнилъ его такъ по первому разговору. Не одинъ голосъ замѣтила она, а душу всего человѣка поняла. Всю свою материнскую теплоту вылила, не торгуясь, безъ всякихъ корыстныхъ расчетовъ. Развѣ бы такъ она вела себя, если бы имѣла на него виды, какъ на молодого, пріятнаго лицомъ мужчину? Не умѣетъ онъ, что ли, разобрать, чтѣ въ женщинѣ дѣйствуетъ, какая пружина? Скорѣе ему самому трудно бываетъ сдерживать себя: такъ бы и припалъ къ ней.

Заѣхала она къ нему посмотреть, какъ онъ живетъ. Сейчасъ же все устроила, отыскала отличныя двѣ меблированныя комнаты, поближе къ ея классамъ, и перевезла. Оставшись съ-глазу-на-глазъ въ номерѣ, такъ ли бы она повела себя, коли бы у ней иное было на умѣ? Ни единого взгляда, ни единого слова, а только одна ласка, какъ съ сыномъ.

Въ новой квартирѣ у него свѣтло, воздухъ отличный, чистота, инструментъ за дешевую цѣну она же добыла. Предложила ему столоваться у ней: беретъ двадцать рублей въ мѣсяцъ; даромъ не стала кормить, напрасно обижать человѣка; говорить: „изъ жалованья вычту“, а жалованья платить шестьдесятъ рублей, больше чѣмъ въ театрѣ получаешь. И весь день совѣмъ по-другому по-



дѣль. Первымъ дѣломъ, никакого трактирнаго шатанья Бурцевыхъ и Мухояровыхъ не видишь. За кулисами Мухояровъ, подъ хмелькомъ, началъ было панибратствовать, такъ сейчасъ же ему и отпоръ былъ сдѣланъ... Часовъ-то свободныхъ оказалось вдвое больше. Утромъ часика два за фортепьяно посидишь, поучишься, голосоъ провѣтришь, къ классу подготовишься. Позавтракаешь дома: такъ Прасковья Ермиловна уговаривалась съ хозяйкой. Отъ водки устранишь себя. Не хорошо, коли пахнуть будетъ, хотя бы и малость, совѣстно передъ Прасковьей Ермиловной. И приятно себѣ самому, что какъ будто страхъ начинаешь имѣть, точно въ дѣтствѣ, но не рабскій какой-нибудь страхъ, а въ умиленіе приходишь, когда подумаешь объ этомъ. Послѣ завтрака урокъ, черезъ день... Такъ тебя и тянетъ, и въ свободный день зайдешь. Всегда пріемъ тебѣ, точно первенцу любимому, сейчасъ кофей со сливками, разспросы, слухи по ценѣ; пропѣть заставить что-нибудь новое, совѣтъ всегда отличный дастъ, укажетъ, къ чему надо бы еще подготовиться, къ какой партіи, на всякій случай. Къ Коврину завернешь въ комнату. У него такимъ же манеромъ хорошіе разговоры, челювѣкъ добрый-шій, простой, знаетъ много; теперь сочинять опять началъ—все подъ ея же наставленіемъ; прослушаетъ, замѣтитъ что-нибудь, лучше всякаго газетнаго критика.

За одно душевное довольство надо передъ ней на колѣняхъ стоять. Съ утра до поздней ночи ходишь поднявъ голову, не ковыряешь себя, не ноешь, не ищешь трактирнаго пьянчужку, чтобы только выслушать, какъ ты судьбу свою клянешь. Достоинство чувствуешь въ себѣ не такъ, какъ прежде, безъ всякой фанаберіи, тихо и благородно. Что въ тебѣ есть, то и объявится. Коли талантъ въ тебѣ—не пропадетъ зря. Увѣренность явилась, и ждать теперь можно хоть цѣлый годъ... Оно и лучше такъ-то: подучишься, есть время. На одну-то удалъ, да на хорошія верхнія ноты рассчитывать нельзя. Разумомъ надо выше стать, вдумываться, смотрѣть на то, какъ другіе играютъ, подмѣчать промахи, хорошему учиться, а не ломаться: „я, молъ, какъ выйду въ выигрышной роли, такъ всѣхъ и посажу!“ Въ роли-то не одно пѣніе. Нынче вонъ требуютъ „создать“ лицо, въ кожу къ нему влѣзть, чтобы и походка, и гримировка, и тонъ, и темпъ, и мало ли что. Все это онъ теперь слышитъ каждый день, благодаря все ей же, Прасковѣ Ермиловнѣ. Прежде ему въ



голову и одной десятой не входило мыслей разных, какія теперь уже сами собою ползутъ. За кулисами или когда въ оркестрѣ сядетъ слушать и смотрѣть—онъ другими глазами смотреть, другими ушами слушаетъ. Начинаетъ онъ понимать, чего хотятъ русскіе новые композиторы, про какой „колоритъ“ они толкуютъ, почему имъ любы бытовья сцены, что они называютъ „сочной“ музыкой. Сколько словъ, терминовъ, оборотовъ, указаній! Даже страшно и подумать, что вотъ дають тебѣ создать лицо. Создать! Но страхъ-то этотъ сладкій, отъ него мурашки ползають, духъ захватываетъ при одномъ мечтаніи.

Въ двѣ какія-нибудь недѣли женщина, своей неизреченной добротой и лаской, что можетъ изъ человѣка сдѣлать! И все это незамѣтно, безъ натуги, безъ всякихъ приставаній. Идешь къ ней въ ученье: вей изъ меня веревки, только не оставь своей лаской, только будь со мной все такая же, чтобы вѣра въ тебя была, въ твое добро и неоставленіе!

Минутами Крупениковъ принимался тихо плакать, думая о своей благодѣтельности.

XV.

Вечеромъ, въ комнатѣ Прасковьи Ермиловны горѣла подъ абажуромъ одна только свѣча на письменномъ столѣ. Скакунова сидѣла въ бѣломъ капотѣ и просматривала счеты. Съ утра ей нездоровилась. Она не была даже въ классахъ, поручила надзоръ Коврину. Но къ вечеру голова прошла, только душило ее немного. Эта нервнось бываетъ съ ней раза два въ мѣсяцъ. Больше, вѣроятно, отъ полноты.

Она знаетъ, что попозднѣе, часамъ къ одиннадцати, „Антоша“—она такъ уже зоветъ Крупеникова—непремѣнно зайдетъ изъ театра узнать о ея здоровьѣ. Теперь у ней совсѣмъ такое чувство, какъ у не очень еще старой матери къ молоденькому сыну, только что вышедшему изъ заведенія. Никакой непріятной тревоги, никакихъ особаго рода волненій—ничего. Тихая и теплая забота. Наньчаться она можетъ теперь вдоволь, и уже не такъ, какъ со Стасенькой,—гораздо нѣжнѣе. Да и разница есть. Тотъ—усталый, надорванный; хорошо, если опять не собьется; а этотъ—молодой, ничѣмъ еще не тронутъ.

И какъ онъ ведетъ себя въ классѣ съ дѣвцами! Точно самъ дѣвица. Хоть и купеческаго рода, а деликатность у



него удивительная. Ариша Веселкина такъ на него и на-пираетъ; топъ у нея ужасный, а у него каждое слово мягко и съ достоинствомъ. Если бы и другое чувство имѣть къ нему, то и тогда нечего было бы ревновать.

На этой мысли Прасковья Ермиловна задумалась. Въ квартирѣ стояла полная тишина. Ковринъ былъ въ го-стяхъ. Сквозь двойныя рамы изрѣдка слышалось, какъ проѣзжаютъ сани.

Съ вечера дверь въ сѣни запиралась. Затрепалъ воз-душный звонокъ. Прасковья Ермиловна положила перо и закрыла книгу. Она не зажгла другой свѣчи, она боялась свѣта, чтобы опять не разболѣлась голова, а только пере-ставила ее на другой столъ и подумала:

„Чаю ему надо. Нынче большой морозъ. Навѣрно про-зубъ“.

Крупениковъ прислалъ сначала горничную узнать, мож-но ли видѣть Прасковью Ермиловну. Вошелъ онъ на цы-почкахъ, съ шапкой въ рукѣ. Съ морознаго воздуха отъ лица его пышло свѣжестью. Глаза весело блестя.

— Холодно вамъ отъ меня?— бережно спросилъ онъ и остановился въ дверяхъ.

Она пригласила его сѣсть поближе и поцѣловала въ голову, когда онъ наклонился къ ея рукѣ.

— Ну, что?— окликнула она. — Хорошенькое есть что-нибудь?

— Помилуйте! Такая удача!..

— Что такое?— радостно вскричала она и поднялась съ кресла.

— „Русланъ“ долженъ былъ идти, — началъ Крупени-ковъ; онъ торопился и глоталъ слова. — А баянъ-то и за-хворай...

— Вы вызвались?

— И-съ! У меня что-то было этакое... какъ бы ска-зать—предчувствіе...

— Бываетъ!

— Именно предчувствіе... Я вѣдь не занятъ... Думалъ уходить, да очень ужъ я первый актъ люблю.

— Еще бы! Дивно!

Они не перебивали другъ друга; восклицанія Пра-сковьи Ермиловны шли рядомъ съ его прерывистымъ раз-сказомъ.

— Вдругъ помощникъ режиссера бѣжитъ: стрѣлся со мной около уборныхъ— „Крупениковъ, говорить, режиссеръ“



спрашиваетъ, можете вы сразу баяна?“ И, только, знаете, головой кивнулъ, даже ничего не сказалъ и прямо бѣгу одѣваться. Въ груди у меня все ходуномъ ходитъ! Ахъ, голубушка!—вырвалось у него, — ни съ чѣмъ это нельзя сравнить! И страхъ, и томить тебя, и въ глазахъ круги, и сладко такъ, кажется, ни за какія бы сокровища никому не уступилъ. Вотъ какъ-съ. Явись тотъ, выздоровѣй вдругъ—я бы, кажется, тутъ на мѣстѣ повалился.

— Полно, полно... Антоша!

Отъ волненія она начала ему говорить „ты“.

— Ну-съ, анонсъ сейчасъ сдѣлали. Въ публикѣ зашикали при моемъ имени. Каково это? А я ужъ сижу въ костюмѣ...

— За гусями?

— Да, за гусями. Всѣ слышать; за большимъ-то столомъ, гдѣ сидятъ наши наибольшіе-то, пересмѣхнулись. У меня въ головѣ совсѣмъ померкло. Хористы, хористки, точно рожи мнѣ строить.

— Что ты это? Богъ съ тобой!..

— Ей-же-ей, рожи строить. Я ни живъ, ни мертвъ... Однако...

— И успѣхъ?! — порывисто перебила она его и схватила за обѣ руки.—Успѣхъ?..

— Заставили повторить-съ! Никогда этого не бывало! Пріемъ такой!

Онъ не договорилъ, испугался, что расплачется.

Прасковья Ермиловна обняла его и поцѣловала въ лобъ. Круениковъ приникъ къ ея плечу. И что-то въ немъ заходило. Ужасная, почти нестерпимая радость подмывала его. Онъ держалъ ее и цѣловалъ. Ему надо было вылить въ горячихъ ласкахъ всю свою душу. Онъ забылъ, что она годится ему въ матери. Все въ ней, въ эту минуту, было для него дорого и привлекательно. Сладкое томленіе смѣнило тотчасъ же порывъ бурной радости. Благодарность душила его...

— Родная! — повторялъ онъ, — милушка моя! Люблю тебя... люблю!

И продолжалъ цѣловать ея руки, голову, плечи. Она ушла вся въ этотъ взрывъ. Ничего подобного она не помнила. Женщина проснулась въ ней...

Черезъ полчаса она сидѣла съ нимъ рядомъ и обводила его блаженнымъ взглядомъ, а правой рукой гладила по волосамъ.



Онъ все еще пылалъ. То встанетъ и пачистъ прыгать по комнатѣ, то схватить ее за талію и цѣлуетъ, то повторяетъ какое-нибудь одно слово или смѣется, поддѣски глядя на нее влажными глазами.

Она и не взвидѣла, какъ онъ сдѣлался ея любовникомъ. Даже когда онъ ушелъ, поздно, во второмъ часу, и она, по своей привычкѣ, засвѣтила лампадку и начала, стоя, креститься,—Прасковья Ермиловна точно забыла, что случилось два часа передъ тѣмъ.

XVI.

Недѣли черезъ двѣ, утромъ, послѣ своего урока, Крупениковъ завернулъ къ Коврину посидѣть. Музыкантъ сейчасъ же замѣтилъ, что теноръ пришелъ къ нему не с проста: лицо у него было слишкомъ возбуждено.

Въ эти двѣ недѣли онъ еще разъ пѣлъ въ „Русланѣ“, но за болѣзнью: партіи ему еще не давали; общали только, что онъ будетъ чередоваться. Прасковья Ермиловна еще сильнѣе тронула его своимъ поведеніемъ. На другой день, когда они остались вдвоемъ, она ему сказала:

— Антоша! ты себя не обманывай! Ну, сердце у тебя переполнилось... Я этимъ не воспользуюсь. Мнѣ сорокъ пять лѣтъ стукнуло.

Онъ только цѣловалъ ея руки. Она заплакала и сразу повѣрила въ свое счастье. Потребность въ мужской любви и ласкѣ еще глубоко сидѣла въ ней. Прежній горькій опытъ сразу забылся.

Наружно все пошло по-старому. Она говорила ему „ты, Антоша“, совершенно такъ, какъ и Коврину. Но Крупениковъ очень ужъ сіялъ, когда они бывали втроемъ; то и дѣло поглядывалъ на Прасковью Ермиловну, цѣловалъ у ней руки и называлъ „мамашей“. Дней черезъ десять, Ковринъ сталъ какъ будто догадываться, но врядъ ли онъ предполагалъ, что дѣло дошло до полнаго сближенія.

— Что скажете, голубчикъ? — встрѣтилъ его Ковринъ обычнымъ вопросомъ.

Онъ пилъ кофей и покуривалъ. Никакихъ намековъ на отношенія тенора къ Скакуновой онъ не желалъ дѣлать. Крупениковъ, потирая руки, потоптался немножко на одномъ мѣстѣ, потомъ присѣлъ къ столику, на которомъ стоялъ стаканъ кофейю, и наклонилъ голову.



— По душѣ хочется поговорить съ вами, Евстафій Петровичъ.

— Что жъ мѣшаетъ?

— Я вамъ вѣрю и уважаю васъ; вы—человѣкъ истинно христіанскаго...

— Полноте. Что за акаѣсть! — перебилъ его Ковринъ и разсмѣялся.

— Да такъ-съ. Евстафій Петровичъ, вы меня не выдадите. Объ такой женщинѣ надо благоговѣйно... Тутъ не слабость или вождельніе...

Крупениковъ запутался и покраснѣлъ до ушей.

— Вы не волнуйтесь, Антонъ Сергѣичъ!

Ковринъ взялъ его за руку. На рѣсницахъ Крупеникова блестяли слезы. Онъ весь вздрагивалъ.

— Простите, — бормоталъ онъ. — Я не могу хладнокровно. Сколько эта женщина во мнѣ чувства вызвала. И какое я къ ней имѣю обожаніе... ей-Богу! Мнѣ будетъ за нее до смерти обидно, если теперь кто-нибудь... вы меня понимаете, Евстафій Петровичъ?

— Полюбилась вамъ Прасковья Ермиловна?—спросилъ музыкантъ вполголоса. — Что жъ? Тѣмъ лучше. Субординація, мой милый Антонъ Сергѣичъ, еще скорѣе пойдетъ.

— Охъ, не извольте шутить, Евстафій Петровичъ, не извольте! Жизнь моя совсѣмъ преобразилась. Только Прасковья Ермиловна и научила себя понимать, и все, что артисту нужно...

Онъ опять сталъ путаться. Коврину сдѣлалось его жаль.

— Успокойтесь, голубчикъ. Я за васъ dokonчу. Вы полюбили ее. Ну, что жъ! она это оцѣнитъ. Она и теперь, кажется, уже оцѣнила. Во всѣхъ женщинахъ, душа моя, благодарность есть, а ужъ колыми паче въ женщинахъ на возрастѣ, которымъ давно пятый десятокъ идетъ.

— Нѣтъ-съ! Зачѣмъ же такъ-съ? Для меня въ настоящій разъ судьба рѣшается...

Краска мгновенно пропала съ лица Крупеникова. Онъ всталъ и затоптался около кресла, гдѣ сидѣлъ Ковринъ. Волненіе его все росло.

— Что же, наконецъ, вы у меня, дружище, спрашиваете? Что вы хотите дѣлать? Въ любви ей объясняться?

— Этого совсѣмъ не надо-съ!..

— Значитъ, что же?

— Евстафій Петровичъ! — порывисто заговорилъ Крупениковъ, — вы меня ввели сюда, вамъ я всѣмъ обязанъ.



Поддержите меня и въ этомъ разѣ. Онѣ, — онѣ уже пересталъ называть ее по имени, — въ своемъ благородствѣ думаютъ, что мнѣ впослѣдствіи въ тягость будутъ. Но неужели же одно тѣло-съ? А душа-то, ничего нешто не значить? Душа-то? А какой же еще души искать? Опять же кому? Артисту!

Ковринъ, наконецъ, понялъ, въ чемъ дѣло. Его добрыя губы сложились въ усмѣшку съ другимъ выраженіемъ.

— Вы, стало-быть, — медленно и почти шопотомъ спросилъ онъ, — руку ей предложить хотите, а можетъ, и предложили ужъ?

— Зачѣмъ такъ выражаться, Евстафій Петровичъ! — вскрикнулъ Крупениковъ и заходилъ по комнатѣ. — Руку! Такъ только на театрѣ говорятъ. Руку! Что же такое моя рука? Или мое имя? Я еще ничего не значу. Можетъ, и вообще-то объ себѣ черезчуръ много возмечталъ! Не руку, а всю душу... Какъ сынъ любящій! Больше! До гроба!

Ковринъ поднялся съ кресла, подошелъ къ Крупеникову, положилъ ему на плечи обѣ руки и долго на него глядѣлъ.

— Вы это серьезно, голубчикъ? — съ удареніемъ выговорилъ онъ.

— А то какъ же-съ, Евстафій Петровичъ? — громко дыша и поводя глазами, спросилъ тотъ.

— Ну, такъ я васъ долженъ остановить, — сказалъ Ковринъ. — Вы хотите быть мужемъ Прасковьи Ермиловны? Если она сама отказывается, цѣлую ея ручки. Это доказываетъ, что я въ ней не ошибался. Она не хочетъ губить васъ.

— Губить-съ?!

Крупениковъ истерически захохоталъ.

— Да, губить! — повторилъ музыкантъ. — Вы — юноша, вамъ есть ли двадцать пять?

— Чтò значать года, Евстафій Петровичъ? Неужели въ нихъ сила?

— Выдвинуть васъ, направить, развить, особенно практически — да, на это нѣтъ лучше Прасковьи Ермиловны; но вамъ теперь взять въ жены чуть не пятидесятилѣтнюю женщину?.. Душа моя, я при одной мысли за васъ трепещу! И прощайтесь со всѣмъ: со свободой, съ голосомъ, съ карьерой, съ поэзіей жизни! Это ужасно!..

— А это какъ же-съ? — перебилъ его Крупениковъ и, схвативъ за обѣ руки, близко приставилъ къ его лицу свое лицо,—это какъ же будетъ, по-вашему, Евстафій Петровичъ: видѣть доброту, ласку, заботу, попеченіе... ходъ вамъ доставили... настоящая дорога передъ вами... все это взять себѣ, такъ, значить, здорово-живешь? Пить-ѣсть, какъ сыръ въ маслѣ кататься, а потомъ и пошла вонь, когда ты мнѣ больше не годна! Другія найдутся, помоложе!.. Это нешто честно? Вы мнѣ такъ, значить, совѣтуете? Полноте! Я васъ слишкомъ высоко ставлю! Вы это, Евстафій Петровичъ, обмолвились!

. XVII.

Голосъ Крупеникова поднялся до самыхъ высокихъ нотъ. Когда онъ договаривалъ, въ комнату вошла Прасковья Ермиловна.

Ковринъ увидалъ ее первый. Она могла слышать послѣднія фразы. Лицо ея было полуниспугано. Крупениковъ оглянувшись, выпустилъ руки Коврина и отскочилъ въ сторону. Но это была одна секунда. Онъ поднялъ голову и такъ же горячо, какъ говорилъ Коврину, обратился и къ ней:

— Вотъ, голубушка, я Евстафію Петровичу, какъ нашему общему другу, открылся и просилъ его содѣйствія. Пожалуйте сюда. Прошу васъ покорнѣйше.

Прасковья Ермиловна медленно подвигалась и съ недоумѣніемъ поглядывала на обоихъ. Но она начинала уже догадываться.

— Да зачѣмъ же сейчасъ? — началъ было Ковринъ шутливымъ тономъ.

— Нѣтъ, позвольте, Евстафій Петровичъ!—стремительно перебилъ его Крупениковъ,—позвольте ужъ мнѣ говорить. Это для меня—первое, святое дѣло! Вотъ при васъ—вы намъ другъ—при васъ я всего себя, всю свою душу полагаю передъ Прасковьей Ермиловной и прошу ихъ поручить мнѣ свою жизнь... до гроба!

Слезы душили его. Прасковья Ермиловна взяла его за локоть и начала материнскими звуками:

— Полно, Антоша, очень ужъ ты нервенъ. Твое чувство ко мнѣ я вижу. И Стасенька видитъ его. Чтò я такое для тебя сдѣлала? Не возноси ты меня сверхъ мѣры...

— Позвольте,—перебилъ онъ ее, сдержавъ слезы, и даже



отвелъ ея руку. — Я при Евстафѣ Петровичѣ говорю: дайте успокоеніе душѣ моей! Высокую честь окажите мнѣ. Будемъ любить другъ друга, чтобы всѣмъ въ глаза прямо смотрѣть. Лучше ничего не можетъ быть на свѣтѣ! И я каждому скажу, что блаженнѣе меня нѣтъ на свѣтѣ человека! И передъ всѣми я гордиться буду, что супруга моя—такая особа, какъ Прасковья Ермиловна!..

Онъ громко заплакалъ и упалъ ей на плечо. Прасковья Ермиловна стояла съ опущенными глазами. Все лицо ея слегка вздрагивало. Ковринъ смущенно смотрѣлъ вбокъ. Онъ не зналъ, что сказать. Сцена получила такой поворотъ, что у него не хватило духа заговорить въ такомъ же тонѣ, какъ до прихода Скакуновой. А онъ чувствовалъ, что дѣло близится къ кризису, что эта женщина не устоитъ, тутъ же, на глазахъ его, свяжетъ по рукамъ бѣднаго, нервознаго малаго, доведеннаго до энтузіазма мягкой заботливостью няньки. Еще минута—и человекъ погибъ.

„А можетъ,—подумалъ онъ,—ему лучше и не надо?“

Прасковья Ермиловна отдѣлилась немного отъ Крупеникова и протянула руку Коврину.

— Что же, Стасенька, — сказала она, — тебѣ теперь все извѣстно. Я не соглашалась, да видно Богъ велитъ! Будь нашимъ духовникомъ. При тебѣ Антоша просить меня быть его женой, при тебѣ я и отвѣтъ даю... послѣдній! Отказать ему я не могу. Ему хочется, чтобы мы оба добрымъ людямъ прямо въ глаза смотрѣли. Онъ на это имѣетъ право — такъ ли? И ты бы на его мѣстѣ такъ же поступилъ. Остается — мои года... Я ихъ не скрываю. Я на двадцать лѣтъ его старше.

Крупениковъ сдѣлалъ истерическое движеніе.

— Ну, хорошо, не буду говорить. Шла въ мѣшкѣ не утаишь. Краситься и сурмить брови я, Антоша, не хочу... Вотъ, при Стасенькѣ говорю: сколько пролюбишь меня, столько и буду тебѣ женой. А потомъ въ матери гоюсь... Стѣснять тебя не стану: у меня разумъ есть. Пережди, не возноси меня на облака. Протрезвись, а потомъ ужъ и дѣйствуй.

— Ничего я не желаю. кромѣ того, чтобы вамъ передъ Господомъ Богомъ клятву принести! выговорилъ Крупениковъ, обнявъ сперва Прасковью Ермиловну, а потомъ и Коврина.

Музыкантъ совсѣмъ оторопѣлъ. Теперь ужъ говорить



ему нечего, послѣ словъ самой Прасковьи Ермиловны. Разумѣется, этотъ пылкій паренекъ полѣзетъ къ вѣнцу на будущей недѣлѣ.

— Мамочка!—крикнулъ Крупениковъ,—надо спрыснуть чѣмъ ни на есть.

Купеческая натура проснулась въ этомъ возгласѣ.

— Не рано ли?—пошутила Прасковья Ермиловна тронутымъ голосомъ.

— Фриштикъ маленький! Вѣдь не въ трактиръ же намъ идти съ Евстафіемъ Петровичемъ! Вы сами не допустите.

— Ну, приходите въ столовую, — еще веселѣ сказала она и подѣловалась даже съ Ковринымъ.

Когда мужчины остались одни, Ковринъ развелъ руками.

— Батюшка! Что же вы это меня какъ подвели? — спросилъ онъ.

Въ отвѣтъ Крупениковъ разразился хохотомъ и хохоталъ минуты двѣ.

— Вотъ-съ каковы мы!—пополамъ со смѣхомъ заговорилъ онъ, бѣгалъ и почти прыгая по комнатѣ. — Только вы не сердитесь! Судьба, Евстафій Петровичъ, судьба! Я какъ началъ, вошелъ въ полное чувство, а въ эту самую минуту отворяется дверь — и Прасковья Ермиловна собственной особой! Ну, я и продолжалъ. Вы—другъ и благородный свидѣтель. На нее это сразу подѣйствовало!

И онъ опять разразился. Отъ этого хохота Коврина начало даже коробить.

— Ну, голубчикъ,—съ нѣкоторой горечью сказалъ онъ,—я мерзко поступилъ, опѣшилъ...

— Это что же вы опять?

— Нѣтъ вамъ моего благословенія. Пользуйтесь минутой, одумайтесь! Она сама даетъ вамъ передышку, не заставляйте петлю...

— Шутники вы, Евстафій Петровичъ! — снова захохоталъ Крупениковъ и выбѣжалъ изъ комнаты.

„Самъ лѣзетъ—можетъ, такъ и нужно“,—подумалъ музыкантъ ему вслѣдъ.

XVIII.

„Молодые“ жили уже больше мѣсяца. Когда Прасковья Ермиловна, за нѣсколько дней до свадьбы, стала устраивать по-новому свое помѣщеніе, она увидала, что хоро-

шаго кабинета не выкроишь для „Антоши“ ни изъ комнаты около столовой, гдѣ сложены были разныя старыя вещи, ни изъ одной изъ учебныхъ комнатъ: и безъ того классы помѣщались тѣсно. Приходилось потревожить „Стасеньку“.

Она сказала это Коврину деликатно и, притомъ, совершенно по-пріятельски.

— Ты понимаешь, голубчикъ, — пояснила она, — мнѣ вѣдь передъ нимъ совѣстно — въ матери ему гожаюсь! Ужъ кому-кому, а тебѣ признаюсь: къ свѣтлому празднику мнѣ сорокъ шесть стукнетъ, слишкомъ на двадцать лѣтъ его старше. Онъ мнѣ метрику свою показывалъ. Надо его понарядить помѣстить. А отъ насъ изъ дому я тебя не пушчу...

— Я бы могъ только столоваться, — замѣтилъ было Ковринъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Ни за что... теперь-то тебѣ и надо при мнѣ быть! Ты ужъ не обижайся!

И она была права. На Коврина раза два въ годъ нападала хмурость, нервозность какая-то, признаки возврата его слабости. Прасковья Ермиловна отлично изучила это. Онъ и вообще-то сталъ ѣдиться и съ ней, и съ ея женихомъ. Еще разъ пробовалъ Ковринъ образумить тенора. Тотъ обидѣлся и попросилъ его объ этомъ болѣе „не разговаривать“. Скакунова почувствовала сама, что онъ отговаривалъ Крупеникова жениться на ней, но она не обидѣлась, сказала даже ему, что она съ нимъ согласна, „да отказаться-то нѣтъ силы—все еще пожить хочется“.

Однако, Ковринъ принялъ за охлажденіе къ нему свое перемѣщеніе изъ большой и удобной комнаты на улицу въ тѣсноватый кабинетикъ, гдѣ еле-еле ютилось въ углу роялино, а кровать заставлена была ширмами. Это переселеніе разомъ подавило музыканта. Точно съ свѣтлыми полосами зимняго дня ушло и душевное довольство изъ комнатъ съ окнами на дворъ, упиравшимися въ темно-коричневую стѣну. Разговорчивость его пропадала. За столомъ онъ больше жаловался на то, что не работается, на тяжесть въ желудкѣ, на головныя боли, на холодъ. Прасковья Ермиловна старалась завести общій разговоръ, шутила, потчивала его даже „херескомъ“. Но Ковринъ не поддавался. Ей хотѣлось, чтобы онъ съ ея мужемъ выпилъ на „ты“. Она объ этомъ раза два заговаривала. Ковринъ уклонялся. Даже не совсѣмъ ловко ей начало дѣлаться.



Вѣдь Антоша могъ подумать, что Ковринъ былъ съ нею въ связи, а теперь дуется. Она полу-шутя, полу-серьезно, заговорила и объ этомъ съ мужемъ. Онъ чуть не разсердился, какъ она можетъ предполагать, что онъ способенъ заподозрить ее въ такомъ „срамѣ“? Коврину, по его толкованію, просто непріятно, что онъ былъ противъ ихъ брака — и больше ничего. Прасковья Ермиловна и успокоилась на этомъ. Она видѣла, до какой степени ея Антоша „блаженствуетъ“. Чистота его души умиляла ее. Онъ тѣшился, какъ малое дитя, прибѣгалъ къ ней со всякой малостью, ни одному помыслу своему не давалъ ходу, не спросившись у ней. Никогда никто изъ тѣхъ, кого она любила, не отдавался ей, съ первыхъ же дней, съ такой безотвѣтностью. Она плавала. Нянька, учительница, мать и возлюбленная — все въ ней было глубоко удовлетворено.

Она замѣтно посвѣжѣла. Желтоватый цвѣтъ пухлыхъ щекъ поблѣдѣлъ и по утрамъ игралъ слабымъ румянцемъ. Шея налилась и блестѣла. Въ глазахъ появилась игривость, особенно, когда она шутила съ своимъ Антошей. Волосами она стала заниматься гораздо старательнѣе прежняго, спустила косу, въ видѣ завитого жгута, на шею, и перевязывала темнымъ бантомъ. Рядомъ съ мужемъ, когда они сидѣли утромъ за завтракомъ, она совсѣмъ не смотрѣла пожилой женщиной. Если бъ не ея толщина, ей бы никто не далъ больше тридцати двухъ-трехъ лѣтъ. Ея Антоша, при его плотномъ сложеніи и съ волосами, рѣдѣющими на лбу, не кололъ ей глаза молодостью. Ему легко было дать столько же лѣтъ. И къ школѣ бракъ Прасковьи Ермиловны какъ-то хорошо пришелся. Никто, ни учителя, ни ученицы, этому не удивились. Ужъ она бы замѣтила! Антошу всѣ очень любили, особенно въ старшемъ классѣ. Даже Ариша Веселкина — на что ужъ сорванецъ — и та не позволила себѣ никакихъ шуточекъ. И все такъ повеселѣло, точно на праздникахъ. Погода стоитъ ясная, съ легкими морозами; пройдетъ Прасковья Ермиловна, нащиплетъ ей щеки — она еще помолодѣетъ, и придетъ въ классъ; дѣвицы всѣ франтоватыя, учатся гораздо лучше прежняго, каждой хочется поправиться ея Антошѣ. Ей извѣстно, что двѣ ужъ по немъ „страдаютъ“. Это смѣшить ее. Прежде она, къ концу дня, утомлялась, часто дѣлала выговоры, чувствовала, что ея тяготятся, а чуть она за дверь — пере-



дразниваютъ ее. Теперь у ней со всѣми большіе лады. Въ три недѣли не пришлось ей ни одного замѣчанія сдѣлать. Ни нервныхъ припадковъ, ни одышки, ни бессонницы, ни раздраженія — ничего! Стала она себя сравнивать съ невиннымъ младенцемъ — такъ у ней на душѣ чисто и радостно. И не одного Антошу она жалѣетъ. Кому можетъ помочь — всѣмъ готова она протянуть руку. Еще недавно, передъ этой встрѣчей, она часто роптала, полегоньку становилась суше, думала о копейкѣ на черный день, внутренно, про себя, начинала глядѣть на людей, какъ на такое отродье, противъ котораго надо всегда держать камень за пазухой; а теперь кто хочешь приди! Ей хотѣлось бы дѣлать больше добра, быть еще ласковѣе, всѣхъ пригрѣть.

Вотъ поэтому-то хмурость и замѣнутость Коврина стали ее не на шутку огорчать. Выпроводить его она вовсе не желаетъ. Она нужна ему: это — ея твердое убѣжденіе. Вѣдь она его держитъ не изъ корыстныхъ видовъ. Положимъ, онъ — даровитый музыкантъ и преподаватель не плохой. Да вѣдь Петербургъ, по музыкальной части, не блиномъ сошелся. Учителя она сейчасъ же добудетъ на его мѣсто. Но ей *стыдуютъ* довести его до того, чтобы онъ что-нибудь крупное написалъ: симфонію или концертъ фортепьянный, романсовъ бы нѣсколько, а то и оперу. А въ такомъ съѣженномъ настроеніи не долго и до взрыва задремавшей страсти.

Она разсудила — переждать и тайно производить надзоръ. Денегъ онъ не проеитъ. И то хорошо. Антоша, по своей голубиной добротѣ, тоже перетерпитъ. При случаѣ, можно будетъ и наставленіе ему дать, какъ вести себя съ Ковринымъ.

XIX.

Мужа Прасковьи Ермиловны и въ театрѣ, и вездѣ, гдѣ она съ нимъ показывалась, изъ „господина Крупеникова“ перевели уже въ „Антонъ Сергѣича“. Жена, дѣловая женщина, приподняла его сейчасъ же въ глазахъ начальства, отчасти товарищей, разныхъ устроителей концертовъ, клубныхъ антрепренеровъ. Въ газетахъ были о немъ сочувственные отзывы. Одинъ репортёръ напалъ на дирекцію за то, что она выпускаетъ такого симпатичнаго и свѣжаго пѣвца только за болѣзнь другихъ и въ маленькихъ партіяхъ. Заговорилъ о немъ печатно и Купо-



росовъ, по-своему, прикрикнулъ въ видѣ предостереженія, чтобы онъ—Боже избави—не увлекался однимъ итальянскимъ сладкозвучіемъ, а готовилъ бы себя къ созданію русскаго лица въ оперѣ кого-нибудь изъ молодыхъ русскихъ композиторовъ. И этотъ окрикъ подѣйствовалъ. Особенно онъ понравился самому Крупеникову. Прасковья Ермиловнѣ не нужно было даже усиленно хлопотать и подмасливать. Ея Антоша пошелъ, полегоньку, въ ходъ. Въ двухъ большихъ благотворительныхъ концертахъ Крупеникова заставили повторять, студенты кричали и вызывали его до десяти разъ. Ему тутъ же было сдѣлано предложеніе: пѣть въ одномъ клубѣ, каждую недѣлю, за очень хорошую плату. Онъ спросился Прасковьи Ермиловны. Она посоветовала пропѣть всего разъ, меньше ста рублей не брать, а отъ остальныхъ вечеровъ отказаться.

— Не мозоль, Антоша, глаза публикѣ до тѣхъ поръ, пока не ступишь твердой ногой на сцену.

Совѣтъ этотъ онъ принялъ съ благодарностью и высокимъ почтеніемъ, какъ и все остальное, чему она его учила.

Вся внутренняя жизнь артиста ушла въ немъ на подготовку себя къ тому желанному „лицу“, какое онъ долженъ былъ не нынче—завтра создать. Онъ вѣрилъ, что день этотъ настанетъ, и даже, быть-можетъ, скоро: завтра, послѣзавтра. И все сильнѣе замирало въ немъ сердце. Случалось не спать напролетъ ночей, рядомъ съ женой, спавшей, какъ убитая. Эта новая большая партія должна была доказать, что такая женщина, какъ Прасковья Ермиловна, не даромъ выбрала его, не даромъ отличили его и поощряли его такіе люди, какъ Ковринъ и „самъ“ Купоросовъ. Не къ руладамъ своимъ прислушивался онъ, когда упражнялся по утрамъ, не къ чистотѣ нотъ верхняго и средняго регистра, а къ чему-то особенному въ груди и въ мозгу. Онъ не зналъ и предвидѣть не могъ, какого „царенька“ придется ему создавать на сценѣ: будетъ ли это какой-нибудь князь, въ такомъ родѣ, какъ въ „Русалкѣ“, или витязь, или опричникъ, или мужичокъ? Надо было готовить разные бытовые приемы: такъ ему твердили всѣ музыканты новой школы. Какіе это приемы?—онъ понималъ смутно, но душой чувствовалъ, что въ немъ накапливаются они. Въ головѣ его мелькали разныя оперныя сцены. Вотъ онъ ведетъ любовный речи-



готивъ съ боярышней подъ кустомъ рябины. На немъ шитый галунами бархатный кафтанъ. Онъ будетъ стоять вотъ такъ, по-своему, а не такъ, какъ стоятъ тенора, приложивъ руку къ четвертому лѣвому ребру и растопыривъ ноги. Свою возлюбленную обниметъ онъ тоже по-своему, не тогда только, когда имъ нужно пѣть одну фразу, — какъ это дѣлаютъ всѣ пѣвцы на свѣтѣ. Нѣтъ! У него игра будетъ на первомъ планѣ. Не станетъ онъ ни растягивать ферматъ на итальянскій фасонъ, ни подкатывать глаза подъ лобъ, ни разводить руками. Онъ уйдетъ совсѣмъ въ то, про что онъ поетъ. Или вотъ онъ приходитъ къ колдуну. Нечистая сила пахнула на него. Волосы у него дыбомъ, воротъ рубахи распахнуть, зрачки расширены, голову его качаетъ въ разныя стороны. Все это онъ можетъ исполнить. Въ душѣ его ужась и смертная тоска. Голосъ перехватывается. Это не теноровыя звуки, а стоны. Онъ прерывисто говоритъ подъ музыку; мелодія сливается съ дикціей. Такъ и слѣдуетъ; этимъ онъ и станетъ любъ публикѣ. Тогда только она и оцѣнитъ его. Актеръ въ немъ поднимется на одну высоту съ пѣвцомъ, а то и выше хватить.

Какъ онъ будетъ произносить речитативы, отдѣльныя слова, возгласы, пѣлыя мелодіи, онъ ужъ это теперь чувствуетъ, только никто еще не подложилъ ему такихъ нотъ, никто не дастъ текста. Изъ стараго репертуара онъ не хочетъ повторять теноровыхъ партій, боится впасть въ обезьянство. Въ нихъ ничего уже создать нельзя. Возьмешь ноту—и сейчасъ передъ тобой такой-то, какъ живой, встанетъ: видишь его позу, лицо, какъ онъ голову закидываетъ назадъ, слышишь, какъ растягиваетъ слова или развиваетъ мелодію. Не сбросишь съ себя чужого образца! Только въ чемъ-нибудь своемъ, совсѣмъ новомъ, и можно самого себя понять, добиться своего собственного облика. Потому-то вездѣ, и у насъ, и за границей, и бьются за новую партію, новую роль, въ комедіи, въ драмѣ, въ опереткѣ, въ серьезной оперѣ: — душатъ другъ друга подвохами, какъ голодные псы, вырываютъ другъ у друга лакомый кусокъ; женщины собой торгуютъ, любовниковъ у другихъ отбиваютъ, подкупаютъ режиссеровъ, передъ начальствомъ ползаютъ, унижаются. А удастся попасть въ любимцы публики, даютъ взятки, алчно слѣдить, какъ бы кто изъ начинающихъ не выдвинулся впередъ.

Противно все это! Онъ хочетъ быть чистъ, какъ агнецъ. Если онъ на что способенъ, пускай это опѣнитъ публика и критика. Только дайте ему заявить себя.

Цѣлыми ночами думаетъ онъ объ этомъ. И вдругъ ему станетъ страшно. А какъ онъ схватитъ болѣзнь и въ одну недѣлю умереть? Въ Петербургѣ легче всего: и тифъ, и дифтеритъ, и оспа. Умирать въ такіе годы... Онъ весь затрясется и прильнетъ къ Прасковѣ Ермиловнѣ, разбудитъ ее, приласкается, какъ маленькій. И тотчасъ у него отляжетъ, пройдетъ всякій страхъ. Съ ней онъ не можетъ умереть такъ рано. Не дастъ она въ обиду никому, не позволитъ и болѣзни сломить его, выльчить, выходить.

Онъ кидался цѣловать у ней руки и повторялъ:

— Не умру я зря! Добьюсь я своего! Поймутъ меня, поймутъ!

XX.

Мечты сбылись — и выше всякихъ чаяній. Приѣхалъ композиторъ изъ Москвы ставить новую оперу. Прасковья Ермиловна давно въ знакомствѣ съ нимъ. Интригъ много было противъ Антоши. Однако, композиторъ самъ выбралъ. Потомъ былъ у нихъ съ партіей, прослушалъ нѣсколько номеровъ и сказалъ:

— Лучше мнѣ не надо. Вы отлично попали въ тонъ. Теперь только разработайте.

Когда остались они вдвоемъ съ Прасковьей Ермиловной, Кручениковъ весь дрожалъ отъ радости. Глаза у него такъ запрыгали, что она встревожилась, стала его понтъ холодной водой и компрессъ положила на голову.

— Этакъ нельзя, — повторяла она, — ты уходишь себя, Антоша!

— Ах, лочка! — возбужденно шепталъ онъ, — вы только поймите: хорошую, новую партію далъ самъ композиторъ! Послѣ обглодковъ-то разныхъ, послѣ того, какъ держали чуть не въ простыхъ хористахъ!

Двѣ ночи напролетъ онъ не могъ спать. Классныя занятія сдѣлались ему тягостны. Онъ попросилъ освободить его на время репетицій новой оперы. Цѣлые дни готовилъ онъ свою партію, по десяти, по двадцати разъ повторялъ одну фразу, ежеминутно бѣгалъ въ комнату жены за совѣтомъ, забѣгалъ и къ Ковринѣ; но тотъ началъ



пропадать. Прасковья Ермиловна качала головой и боялась, что съ музыкантомъ начнется „его болѣзнь“.

Пришелъ день первой репетиціи съ оркестромъ. Лихорадка била Крупеникова. Все у него вылетѣло разомъ изъ головы, какъ только капельмейстеръ палочкой показалъ ему начинать: фразировка, игра, какое слово надо выдѣлить поярче, что брать грудью, что въ ползвукъ. Нѣсколько секундъ онъ былъ въ ужасѣ, похолодѣлъ, схватился за голову, точно предчувствуя обморокъ. Оркестръ привелъ его въ себя, онъ началъ вспоминать и запѣлъ.

Композиторъ стоялъ въ сторонѣ, не перебивалъ, одобрительно кивалъ головой; капельмейстеръ былъ также доволенъ. До самаго конца своей первой сцены Крупениковъ пѣлъ и говорилъ речитативы „виѣ себя“, что-то его подмывало: онъ уже не видалъ ни палочки дирижера, ни оркестра, не сбился ни въ одномъ полтактѣ. Ему привелось пѣть съ той самой дебютанткой, рослой, широколицей полькой Левандовской, которую Скакунова видѣла за табль-д'отомъ. Онъ съ ней не встрѣчался до этой первой репетиціи. Она путала часто, хватала его за руки, чтобы не сбиться, и въ промежуткахъ говорила:

— Ахъ, какъ вы тверды, ахъ, какъ вы тверды!..

Остальные исполнители шли кое-какъ, плохо еще знали текстъ; многое вели безъ всякой игры, не желали понапрасну уставать. Крупениковъ ничего этого не замѣчалъ.

Въ антрактѣ композиторъ поблагодарилъ его, но посоветовалъ „не тратиться на пробахъ черезъ мѣру“.

Онъ слушалъ и не вѣрилъ, что у него вышло что-нибудь порядочное. Въ остальныхъ актахъ съ нимъ дѣлалось то же самое: такъ же позабывалъ все передъ тѣмъ, какъ ему начинать—и разомъ точно что прорывалось въ немъ. Домой онъ пріѣхалъ совсѣмъ мертвый отъ усталости. Прасковья Ермиловна должна была уложить его въ постель. Ночью онъ бредилъ. Безпокойство его росло съ каждой новой репетиціей. Онъ ничего не вѣлъ за столомъ. Его мучила жажда; но онъ не смѣлъ пить за обѣдомъ вино. Въ театрѣ, на пробахъ, онъ спрашивалъ у всѣхъ, вплоть до помощника режиссера, до сфлера, до простыхъ хористовъ: какъ у него идетъ, не провалится ли онъ со срамомъ на первомъ представленіи?

Композитору стало его жаль. Онъ нѣсколько разъ его



успокаивать и отводить въ сторону, прося поберечь свои силы для спектакля.

— Поймите, Христа ради!—со слезами въ голосѣ говорилъ ему Крупениковъ,—вѣдь это на всю жизнь дорога! Вѣдь такой партіи двадцать лѣтъ ждутъ, да не выпадетъ такой удачи! Вы меня выбрали, вы мнѣ оказали довѣріе, искру во мнѣ открыли; а я буду такъ себѣ, неглиже съ отвагой попѣвать?!

— Не очень усердствуйте! — повторялъ ему композиторъ.—Ваша жена намъ то же скажетъ!

— Она по добротѣ и любви своей! Но вы меня поймите!

Надъ его возбужденностью, страхомъ и волненіемъ начали подтрунивать даже хористы. Пѣвецъ-баритонъ, исполнившій главную роль, обрѣзалъ его при всѣхъ:

— Что это вы, Крупениковъ, точно съ писаной торбой, съ партіей вашей носитесь!..

Онъ промолчалъ, но поблѣднѣлъ и затрясся.

„Дуракъ я, дуракъ съ торбой, — повторялъ онъ про себя.—Ладно!.. Вотъ мы увидимъ!..“

И неувѣренность въ себѣ, страхъ перваго спектакля росли въ немъ съ каждымъ часомъ. Его партнерка-полька шутливо подзадоривала его и все приглашала хорошенько кутнуть.

— Какъ?—почти съ ужасомъ спросилъ онъ ее.

— Да такъ, на тройкѣ... Шампанскаго бутылки двѣ на брата. Послѣ перваго представленія—ужинъ за вами. Слышите: въ „Самаркандъ“!

— Извольте, идеть!

Но тутъ же его испугала собственная дерзость: собираться кутить, когда можешь съ позоромъ провалиться.

— Знаете что, — сказала ему дебютантка, — если вы коньячку не выпьете передъ спектаклемъ, вы упадете въ обморокъ...

Онъ только моталъ головой. Глаза его блуждали. Въ головѣ у него были однѣ мелодіи его партіи. Онъ перебиралъ въ сотый разъ интонаціи, боясь потерять то, что онъ такъ томительно выработалъ.

XXI.

Въ уборной свѣтло. Горятъ газовыя лампы по обѣимъ сторонамъ трюмо. Крупениковъ, полурасдѣтый, сидитъ на диванчикѣ и пьетъ зельтерскую воду. У дверей портной

разложили костюмъ и что-то притачиваетъ на рукавѣ. Офиціантъ изъ буфета дожидается съ подносомъ и пустой полубутылкой.

Противъ Крупеникова, придерживаясь рукой за край трюмо, стоитъ Прасковья Ермиловна, въ черномъ бархатномъ платьѣ, сильно стянутая, такъ что вся кровь бросилась ей въ лицо. Широкій кружевной воротникъ, съ концами, въ видѣ fishu, лежитъ на ея жирныхъ плечахъ. Лѣвой рукой она обмахивается вѣеромъ съ страусовыми перьями. Она похожа на концертную пѣвицу передъ выходомъ въ залу. Глаза ея блестятъ. Ея Антоша дебютируетъ. Онъ тутъ, сидитъ и пьетъ сельтерскую воду; она его довела-таки до карьеры. Одно смущаетъ ея сегодняшнюю радость: Ковринъ „запилъ“. Нѣсколько дней она старалась это скрывать, даже отъ мужа. Но Крупениковъ захотѣлъ пригласить его въ ложу, спрашивалъ о немъ—надо было сказать, что онъ пропадаетъ уже четвертый день и приходитъ ночью „совсѣмъ хотъ выжи“. Такъ выразился о немъ швейцаръ.

Кто-то его поклъ на сторонѣ. Она ему денегъ не даетъ. Но настанетъ такой день, когда онъ запрется у себя и запьетъ уже по-другому.

Безпокоилась она не мало все время репетицій. Антоша совсѣмъ извелся. Но сегодня — копецъ этой лихорадки артиста. Онъ будетъ имѣть большой успѣхъ. Никто въ этомъ не сомнѣвается.

Всѣ имъ заинтересованы. Купоросовъ общалъ цѣлую статью. Вотъ сейчасъ она пойдетъ въ залу, приведетъ его сюда, чтобы онъ сбодрилъ Антошу.

Прасковья Ермиловна остановилась глазами на поху-дѣломъ и обритомъ лицѣ Крупеникова.

— Зачѣмъ только ты обрился!.. Вѣдь надо же бороду наклеивать?—сказала она ему тономъ материнскаго упрека.—Что будетъ тебя раздражать.

— Ужъ оставьте, мамочка,—отвѣтилъ онъ серьезно и отдалъ стаканъ лакею.—Цѣбъ волосъ не тотъ совсѣмъ. Не тотъ и человѣкъ. Опять же длиннѣе...

— Привязать...

— Въ привязной бородѣ? Что вы-съ! Готово? — крикнулъ онъ портному.

— Два стежка...

— Позови-ка, голубчикъ, Сашу—парикмахера.

Крупениковъ всталъ и подошелъ къ женѣ.



— Знаете что?—неувѣренно началъ онъ. — Надо вѣдь мнѣ проглотить чего-нибудь крѣпительнаго...

Онъ взглянулъ на нее, какъ на пьянку.

— Чего крѣпительнаго?

— Да коньяку... Я боюсь!—шопотомъ продолжалъ онъ. — Въ обморокъ хлопнешься...

— Пустяки, Антоша!—не очень строго выговорила Прасковья Ермиловна. — Ну, стаканъ вина краснаго.

— Не стоить, вѣрьте слову... Надо коньяку... Я вѣдь знаю препорцію.

Крупениковъ засмѣялся, какъ мальчикъ, выпрашивающій ложку варенья. Прасковья Ермиловна на минуту затуманилась.

— Право, Антоша, не было бы хуже... Еще собьешься!..

— Для этого именно. А то я не могу секунды пробыть, чтобы не считать тактовъ и не повторять мелодіи... Надо, чтобы у меня и другое что-нибудь въ головѣ явилось...

По ея виду ему кажется, что она согласна.

— Любезный! — кричитъ Крупениковъ лакею. — Принеси-ка сюда еще бутылочку водицы и коньяку!

— Рюмку прикажете?

— Нѣтъ, графинчикъ... рюмки на три.

Официантъ торопливо вышелъ. Прасковья Ермиловна оправила лифъ и взяла мужа за руку.

— Смотри, Антоша, не возбуждай себя очень! Хуже будетъ.

Онъ и самъ не желалъ ничего спиртнаго. Какъ лѣкарство проглотить онъ коньяку, а не то, чтобы такъ, отъ бездѣлья.

Оставшись одинъ, Крупениковъ сѣлъ къ трюмо и началъ гримировать верхнюю часть лица, глаза, брови и носъ. Сейчасъ придетъ парикмахеръ и принесетъ волосы для бороды и парикъ. Волненія онъ что-то не чувствуетъ. Точно онъ увѣренность получилъ въ дѣйствіе трехъ рюмокъ коньяку.

„Меньше двухъ, и основательныхъ, никакъ нельзя“, — рѣшилъ онъ, подводя себѣ брови.

Дверь пріотворили изъ коридора. Просунулась бѣлокурая голова дебютантки Левандовской.

— Вы еще не готовы? — крикнула она. — Сейчасъ звонокъ.



— Усибю,—смѣлымъ тономъ отвѣтилъ онъ, и самъ удивился, откуда у него такая бодрость.

— А я готова. Помните обѣщаніе?

— Какое?

Онъ совсѣмъ забылъ.

— А па тройкѣ-то? Или вы на попятный, жена не позволяете?

— Ну, вотъ еще какія новости! Валимъ!

Такъ онъ ухарски крикнулъ это „валимъ“, что не узналъ своего собственнаго голоса.

— Ладно! Со мной два кавалера будетъ.

Она произнесла „кавалера“.

Дверь хлопнула. Рука Крупеникова остановилась на полпути къ щекѣ съ цвѣтнымъ карандашомъ, которымъ онъ гримировался.

Кутежъ! Тройка! „Самаркандъ“! А Прасковья Ермиловна? Стъ ней—неловко, она съ незнакомыми мужчинами не поѣдетъ. Да и какой же это будетъ кутежъ? А надо. Онъ чувствовалъ, что надо: чѣмъ бы ни кончился вечеръ—успѣхомъ или проваломъ. Безъ попойки, шума, болтовни, ѣзды вскачь, морознаго воздуха на нѣсколько верстъ не переживешь сегодняшняго спектакля—болѣзнь схватишь. Онъ такъ и скажетъ Прасковья Ермиловнѣ. Она пойметъ.

Лакей принесъ коньяку. Пришелъ парикмахеръ. Черезъ четверть часа Крупениковъ былъ готовъ и въ ту минуту, какъ идти на сцену, проглотилъ двѣ большія рюмки.

XXII.

Прасковья Ермиловна запоздала въ задѣ, ждала Купорова и побѣжала одна на сцену. Она нашла мужа у боковыхъ кулисъ, въ костюмѣ, не сразу узнала его въ парикъ и бородѣ другого цвѣта, и быстрымъ шопотомъ сказала ему:

— Купоросовъ опоздалъ. Приведе, послѣ перваго акта. Стъ Богомъ, Антоша! Я пойду въ ложу...

Онъ такъ смѣло готовился къ выходу, что тряхнулъ молодецки головой и кинулъ ей:

— Теперь намъ—море по колѣно!

Помощникъ режиссера крикнулъ:

— Господинъ Крупениковъ! Пожалуйста!

Крупениковъ еще разъ тряхнулъ головой, улыбнулся Прасковья Ермиловнѣ и бросился въ кулису.

Она побѣжала въ ложу.



Двѣ большія рюмки коньяку взяли свое. Никакой трусости не чувствовалъ ея Антоша. Онъ ничего не забылъ передъ той минутой, какъ ему начинать. Его возбужденность все росла, голосъ крѣпчалъ, глаза горѣли, онъ увлекъ и дебютантку. Ни о чемъ онъ не думалъ, ничего не припоминалъ, ни о чемъ не беспокоился. Все шло само собой.

Въ ложѣ у Прасковьи Ермиловны сидѣлъ Купоросовъ и двое изъ учителей ея школы.

— Каковъ, каковъ Антоша?—шептала она критику.

— Молодцомъ, молодцомъ,—бормоталъ критикъ.

— Голубчикъ, пойдемте послѣ этого акта къ нему въ уборную поддержать его, чтобы онъ въ третьемъ-то отличился.

— Послушаемъ, послушаемъ дальше.

— Нѣтъ ужъ, пожалуйста! Вы видите, какъ публика принимаетъ. Но ваше слово для него особенно дорого.

А публика отлично принимала ея Антошу. Его вызвали два раза по уходѣ со сцены. Прасковья Ермиловна не узнавала его въ двухъ-трехъ мѣстахъ: до такой степени онъ горячо игралъ и пѣлъ.

— Игра-то, игра-то!—указывала она Купоросову.

Тотъ одобрительно мычалъ.

Она повела его въ уборную мужа. Крупеникова нашли они въ коридорѣ. Онъ пилъ зельтерскую воду, но она была съ коньякомъ.

Прасковья Ермиловна обняла его и прослезилась. Купоросовъ потрепалъ по плечу и началъ говорить ему пріятныя вещи, но такимъ тономъ, точно онъ его распекаетъ.

Крупениковъ слушалъ и взглядывалъ на длинную бороду и мохнатую голову критика, на его крупный носъ и нахмуренныя брови. Вотъ теперь онъ его совсѣмъ не боится—ни капельки. Что Купоросовъ ни говори—отъ этого онъ не будетъ пѣть и играть ни хуже, ни лучше.

— Только все еще на ферматахъ тянете по-итальянски, батюшка, бросить это надо! И въ музыкѣ-то самой много мармелада!—гудѣлъ критикъ.

Прасковья Ермиловна заволновалась, какъ бы похвалы не кончились распеканьемъ, и заторопила Антошу: ему надо было мѣнять костюмъ.

Купоросовъ ушелъ. Прасковья Ермиловна проводила его до лѣстницы и вернулась въ уборную.

— Вотъ, маточка, — говорилъ ей Крупениковъ, весь



красный и сіяющій,—вотъ вы боялись насчетъ коньячку... А онъ какъ подѣйствовалъ... Все рукой сняло!

— Ну, это, мой другъ, отъ увѣренности: много работалъ.

— Нѣтъ-съ, отличное средство, — возразилъ онъ даже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ.

Прасковья Ермиловна зорко посмотрѣла на него: что, если онъ потребуетъ еще коньяку и угостится къ третьему акту, на радостяхъ?

Она отвела его въ уголъ, къ зеркалу; въ уборную вошелъ портной и стоялъ у двери.

— Антоша!—шопотомъ начала она, съ дрожью въ голосъ,—умоляю тебя, не дѣлай ты этой глупости. Поддержалъ свой куражъ, и довольно. Еще одна рюмка, и ты спадешь съ голоса или спутаешься. Дай мнѣ слово, — строже добавила она, и долго глядѣла ему въ глаза, — честное слово...

Она ужъ замѣтила, когда говорила ему, что у него въ глазахъ новое какое-то выраженіе. Не было прежней кротости, мягкой приниженности любящаго сына.

— Дашь мнѣ слово?—повторила она.

— Даю, даю,—нетерпѣливо отиѣтилъ онъ.—Одѣваться надо, опоздаешь съ вами!

И этого бы онъ не сказалъ еще вчера.

Прасковья Ермиловна вышла изъ уборной медленно и, остановившись передъ дверью, обернула голову и жестомъ головы досказала:

— Смотри же, сдержи честное слово!

Ему было и смѣшно, и немножко досадно. Чего боится? Точно онъ малолѣтній или пьяница. Возилась съ Ковринымъ, вотъ и остались страхи.

Но слово было дано. Да онъ и не желаетъ. Сейчас выпилъ онъ коньяку съ зельтерской водой. Ну, и довольно.

Переодѣвшись, онъ дожидался своего выхода съ неудержимымъ зудомъ: поскорѣе опять явиться передъ слушателями, показать имъ, какъ онъ отдѣлалъ свою партію, заставить себѣ больше хлопать, чѣмъ первому пѣвцу-баптисту.

Въ кулисахъ дебютантка схватила его за руку и шепнула на ухо:

— Просто влюбилась въ васъ, такъ вы пѣли... Ыдемъ, а? Онъ вспомнилъ о тройкахъ.

— Непремѣнно!—отиѣтилъ онъ, и даже забылъ совсѣмъ про Прасковью Ермиловну.



— Заказали? У меня ужъ есть.

— Пошлю. Сейчасъ приведутъ.

Иначе, какъ на тройкѣ, онъ не могъ кончить этого вечера. Ужъ и теперь голова его горитъ и всѣ жилы бьются.

XXIII.

Вечеръ кончился блестяще для исполнителей. Вызывали и композитора, но меньше, чѣмъ Крупеникова; его имя кричали почти столько же, сколько и имена перваго баритона и главной пѣвицы. Сверху, изъ галлерей четвертаго яруса, ему махали платками. Онъ появлялся до десяти разъ. Дебютантка взяла голосомъ, но играла плохо. Вызывали и ее.

Слово, данное Прасковѣ Ермиловнѣ, Крупениковъ сдержалъ. Онъ не пилъ больше коньяку, ни цѣликомъ, ни въ водѣ. Въ каждый антрактъ она прибѣгала на сцену и приводила кого-нибудь изъ знакомыхъ музыкантовъ или рецензентовъ. Безпрестанно повторяла она ему, чтобы онъ не волновался, со слезами радости на глазахъ вызвала похвалы, показывала его, точно своего дорогого мальчика, сдающаго блестяще трудные экзамены.

Въ первый разъ это его начало раздражать; но онъ улыбался, громко дышалъ, жаль руки, качалъ головой. Къ послѣднему акту его возбужденіе дошло до „градуса“, послѣ котораго онъ уже больше не могъ подняться, ни въ грѣ, ни въ пѣніи. Вызовы нежного облегчили его, дали выходъ чему-то, что давило его виски и стояло въ груди коломъ. Но и послѣ вызововъ его тянуло на морозъ, летѣть въ саняхъ, такъ, чтобы духъ захватывало...

Дебютантка еще разъ шепнула ему:

— Смотрите же. Мы будемъ ждать на подъѣздѣ. Пошлите за тройкой.

Вызовы съ трудомъ смолкли. Загасили газъ, подняли занавѣсъ. Но на верхахъ кто-то рывкнулъ:

— Крупеникова!

Прасковья Ермиловна слышала этотъ крикъ. Она стояла у дверей уборной. Крупеникова задержалъ режиссеръ и что-то говорилъ, пожимая ему руку.

— Ну, дитя мое,—приняла она его въ объятія, когда они очутились вдвоемъ въ уборной,—я такъ счастлива, такъ счастлива! Успѣхъ огромный! Всѣ кричатъ: какой свѣжій талантъ! Раздѣвайся, Антоша, простынь; я про-



сила моихъ гостей на чашку чаю, спрыснемъ твое торжество, выпьемъ по бокальчику. И Купоросовъ будетъ. А ты—отдохни и въ театральной каретѣ поѣдешь.

Онъ чуть-чуть отстранилъ ее рукой и выговорилъ тономъ товарища:

— Чай пить? Нѣтъ!.. Я кататься ѣду, мнѣ воздухъ нуженъ.

— Кататься?.. Куда?

Прасковья Ермиловна подалась назадъ.

Лицо у него было странное, брови сдвинуты, ротъ полукрѣпъ, зубы стиснуты, глаза точно больше.

— Антоша,—заговорила она, впадая въ свой материнскій тонъ,—какъ же тебѣ можно ѣхать? Ты развѣ куда ужинать собираешься? На тройкѣ?..

— Да, на тройкѣ-съ.

Онъ сталъ опять мягче, взялъ ее за руку, подѣловалъ щеку.

— Маточка, не удерживайте меня! Не могу я оставаться въ комнатахъ. Не могу!

И въ голосъ его слышались ребяческія слезы.

Ей ужасно стало жаль его. Но какъ же пустить его одного? Съ кѣмъ? Видно, онъ согласился съ компаніей. Что эта полка шептала ему?

Влюбленная женщина заговорила въ Прасковью Ермиловну и усилила страхъ няньки и матери.

— Антоша, ты волеешь куда хочешь ѣхать, только ты меня сильно огорчишь.

Онъ опустилъ голову и нервно двигалъ носкомъ правого сапога.

„Значить—нельзя“.—подумалъ онъ, какъ мальчикъ, которому не удалось выпросить пирожного.

— Нельзя, стало-быть?—вслухъ произнесъ онъ вопросительно.

— Да ужъ если тебѣ такъ захотѣлось, ну, пошлемъ отъ насъ за двумя тройками, прокатимся...

— Отъ насъ?—переспросилъ онъ и, махнувъ рукой, добавилъ:—Нѣтъ, ужъ что жъ это за катанье будетъ-съ!

Прасковья Ермиловна измѣнилась въ лицѣ. Она поняла смыслъ этой фразы.

— Кто же тебя приглашалъ? Оперныя дамы, вѣроятно?

Она не кончила. Такихъ разговоровъ между ними никогда еще не было.

Крушениковъ отошелъ къ столу и началъ раздѣваться.



Онъ боялся, что дебютантка пришлетъ за нимъ при женѣ.

— Хорошо, я не поѣду,—заговорилъ онъ подавленнымъ голосомъ.—Позовите ко мнѣ портного, поѣзжайте домой. Я приѣду въ театральную.

Прасковья Ермиловна поняла, что ему хочется поскорѣе ее выпроводить. Не собирается ли онъ обмануть ее? Улетитъ на тройкѣ съ пьяницами, пропадетъ на всю ночь. Какая-нибудь мерзавка увлечетъ его. А послѣзавтра повтореніе оперы.

— Ты даешь мнѣ честное слово, Антоша?—напряженно-мягко окликнула она его у двери.

— Ахъ, Господи!—вырвалось у него.—Что же это все честныя слова давать? Не воръ я! Не обманщикъ! Дайте мнѣ въ себя придти... Сказалъ, приѣду...

Къ своему голосу онъ не прислушивался. Онъ только сдерживалъ себя, чтобы не закричать.

„Послѣ спасибо мнѣ скажетъ“, — подумала Прасковья Ермиловна и послѣшню пошла одѣваться.

„Одной слово далъ—другую обману, —выговорилъ про себя Крупениковъ.—Надо было послушаться. Вѣдь это—Прасковья Ермиловна, а онъ ей всѣмъ обязанъ!.. Огорчишь ее, будетъ еще Богъ знаетъ что думать, насчетъ женскаго пола. Надо слушаться“.

Онъ нѣсколько разъ повторилъ послѣднюю фразу. Портной помогъ ему раздѣться. Пришли „отъ госпожи Левандовской“ сказать, что „ихъ ожидаютъ“. Онъ отвѣтилъ, что ему „никакъ нельзя, дурно себя почувствовать“.

И въ самомъ дѣлѣ, онъ чувствовалъ себя до-нельзя тяжело. Точно онъ попалъ въ какой-то парникъ и его тамъ закупорили.

XXIV.

Дома гостей было четверо мужчинъ. Прасковья Ермиловна пригласила еще Аришу Веселкину. Она была также въ театрѣ и упросила взять ее; порывалась и за кулисы поздравить Крупеникова, да ей сказали, что постороннихъ, особенно барышень, туда не пускаютъ.

Ждали Крупеникова долго. Сначала разговоръ былъ оживленъ: Купоросовъ наполовину ругалъ оперу, молодой профессоръ гармоніи поддакивалъ ему, два другіе музыканта хвалили одного „Антоня Сергѣича“, восхищались его народной манерой произносить речитативы. Прасковья Ермиловна начала беспокоиться.



Всѣ сидѣли за чаемъ, въ столовой, когда вошелъ Крупениковъ.

Онъ хотѣлъ улыбнуться всему этому обществу, но улыбка вышла у него такая странная, что Купоросовъ крикнулъ ему, черезъ столъ:

— Что это вы, батюшка, какой кислый? Точно съ панихиды.

— Какъ не устать!—вступилась тотчасъ же Прасковья Ермаиловна.

— Это точно,—выговорилъ онъ и сѣлъ слѣва отъ са-
мовара, рядомъ съ Аришей.

— А гдѣ же Ковринъ?—спросилъ одинъ изъ гостей.—
Вѣдь онъ у васъ живетъ?..

— Какъ же,—отвѣтила Прасковья Ермаиловна,—только
я его совсѣмъ не вижу... Дѣла какія-то...

Ей не хотѣлось объявить, что онъ „закурилъ“.

— Какія же дѣла-сѣ?—вдругъ какъ бы обиженно оклик-
нулъ Крупениковъ.—Вы желаете скрыть. Все находился
подъ началомъ, а теперь не выдержалъ. Евстафій Петро-
вичъ,—продолжалъ онъ съ усмѣшкой, оглядывая гостей,—
давно въ задумчивость сталъ впадать, а теперь чертить
началъ...

— Чертить?—не понялъ одинъ изъ музыкантовъ.

— Да-сѣ; я это по-нашему, по-московски, называю.

— Антоша! зачѣмъ же говорить... чего хорошенько не
знаешь?—замѣтила Прасковья Ермаиловна.

— Позвольте!—почти гнѣвно отвѣтилъ онъ и весь
вспыхнулъ.—Очень хорошо знаю-сѣ, потому и говорю. Я
Евстафія Петровича знаю-сѣ, и душевно люблю. Огова-
ривать мнѣ его нѣтъ надобности! Крѣпился человѣкъ—
и не выдержалъ. Вотъ ужъ онъ который день дома-то не
ночуетъ.

Прасковья Ермаиловна поблѣднѣла. Никогда бы она не
ожидала отъ своего Антоши такой выходки. Ужели онъ,
какъ злой мальчикъ, мстилъ ей за то, что она не пустила
его кутить?

Надо было вывернуться. Она приказала подать бутылку
шампанскаго. Выпили по бокалу; но сдѣлалось скучно и
натянута. Купоросовъ заспорилъ съ молодымъ профессо-
ромъ.

Ариша отвела Крупеникова къ окну, пожала ему руку,
поздравила еще разъ и допила свой бокалъ.

— Вы—милка: такъ вы хорошо пѣли!—вполголоса го-



ворила она, стоя нарочно спиной, чтобы не слышно было Прасковья Ермиловнѣ.—Просто прелесть! Я не ожидала. Обижайтесь, не обижайтесь. И за то вамъ спасибо, что вы командиршѣ носъ утерли.

Онъ слушалъ ее и припоминалъ, какъ онъ въ первый разъ разговаривалъ съ ней у Коврина, и что она тогда говорила про его теперешнюю жену.

— Стасенька бѣдный! — продолжала Ариша, — запилъ! И запьешь! Если бъ его взаперти не держали, какъ мальчика маленькаго, да деньги ему на руки отдавали, онъ бы кутнулъ день — другой. А теперь чѣмъ это пахнетъ!

— Да, да, — прошептала вдругъ Крупениковъ и схватила ее руку. — Это точно. Долго они еще сидѣть будутъ? — спросилъ онъ, указывая головой на гостей.

— Для васъ вѣдь это все дѣлается, — сказала Ариша и повела дурачливо плечами.

— Нѣтъ моей мочи!

Онъ схватился рукой за голову.

— Идите баиньки!.. А знаете, лихо бы прокатиться! Ночь какая, новый мѣсяцъ, снѣжокъ порхаетъ!

Щеки Ариши рдѣли. Точно онѣ сговорились съ той, съ Левацковской. Ему стало невыносимо въ этой столовой. Онъ подошелъ къ женѣ, нагнулся и шепнулъ ей:

— Я пойду въ кабинетъ, у меня, мочи нѣтъ, — голова болить.

— Ступай, ступай, — заботливо сказала она, — я извинюсь.

Она была даже рада этой головной боли: успокоится, заснетъ, гости поскорѣе уйдутъ. А выходку его объяснять возбужденіемъ спектакля.

Крупениковъ ушелъ, ни съ кѣмъ не простившись. Въ кабинетъ онъ легъ на диванъ, не раздѣваясь, снялъ только сюртукъ. Онъ потушилъ свѣчу, но руки и ноги зудѣли, въ груди раздраженіе все усиливалось. То плакать захочется, то сдѣлается невыносимо горько.

Вотъ онъ, тотъ желанный день, когда его оцѣнила вся публика! Сколько вызововъ, какіе крики! А ему такъ скверно — хоть бросайся въ прорубь головой внизъ... Отчего? Давить что-то, сковываетъ. Онъ — на помочахъ... И успѣхъ-то — не его успѣхъ. Не смѣетъ онъ отвести душу по-своему, не мечтать ему о ласкахъ страстно любящей молодой дѣвушки. Иди въ спальню своей благодѣтельницы, ложись рядомъ съ ней на двуспальную кровать.



Авось она, если ты приведешь ее въ умиленіе, позволить тебѣ прокатиться одному на лихачѣ по Невскому, да и то, чтобы „горлышко“ не простудить, чтобы вечеромъ она тебя доставила публикѣ въ сохранности!

Злость начала душить его. Онъ грызъ кожаную подушку. А „благодѣтельница“ придетъ, какъ только проводить гостей, придетъ и поведетъ къ себѣ укладывать Антошу въ постельку.

Онъ вскочилъ и заперся изнутри, легъ опять и сталъ, затаивъ дыханіе, ждать. Черезъ полчаса, Прасковья Ермиловна окликнула его. Онъ притворился спящимъ. Она возвращалась еще два раза. Онъ лежалъ мертвенно тихо. Въ два часа ночи его оставили въ покоѣ.

XXV.

Сна не было и не могло быть. Тоска грызла его, особал, какой онъ никогда еще не зналъ. Ему нѣтъ выхода: онъ—рабъ. Ничего у него нѣтъ своего: ни голоса, ни умѣнья, ни таланта, ни свободы, ни надежды на новую вольную жизнь. Все это „принадлежитъ“ Прасковѣ Ермиловнѣ.

„Будто?“—спросилъ онъ себя къ разсвѣту, возмущенный этимъ чувствомъ гнетущаго рабства. Женщина, еще вчера бывшая для него и матерью, и другомъ, и возлюбленной, дѣлалась ему ненавистна. Хоть сейчасъ бѣжать!

Рано утромъ, часу въ восьмомъ, позвонили въ передней. Онъ поднялся, спустилъ ноги съ дивана, потомъ надѣлъ скюртку. Никто не отпиралъ. Горничныя еще спали.

Онъ вышелъ на цыпочкахъ въ переднюю и самъ отперъ.

У дверей стоялъ Ковринъ, въ осеннемъ старомъ пальто и шапкѣ, съ посинѣлымъ лицомъ и выпученными, точно безумными глазами. Въ другое время Крушениковъ испугался бы; но тутъ онъ бросился къ нему, схватилъ за руку, быстро ввелъ въ переднюю, поддержалъ его на ходу—тотъ качался—и провелъ прямо въ его комнату.

Ему стало сейчасъ же легче, какъ только онъ увидалъ Коврина. Онъ готовъ былъ обнять его и расцѣловать.

— Батюшка, Евстафій Петровичъ!—говорилъ онъ тропутымъ голосомъ.—Откуда? Дайте я сниму пальто, сядьте... не хотите ли чего?

Ковринъ далъ стащить съ себя пальто, снялъ шапку, опустился въ кресло, поглядѣлъ на него налитыми глазами и вдругъ жалобно запросилъ:



— Достаньте... Христа ради... чего-нибудь... стаканчикъ маленький... голу-убчикъ!

— Знаю, знаю, ← отвѣтилъ Крупениковъ, все такъ же ласково,—сейчасъ достану, понимаю я очень, каково вамъ...

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты, прошелъ тихонько къ буфету, досталъ графинчикъ—въ немъ всегда была горькая—такъ же скоро вернулся и налилъ самъ рюмку.

Ковринъ дрожащей рукой взялъ ее и проглотилъ, а за ней и еще двѣ.

— Гдѣ былъ, спросишь? — пролепеталъ онъ и улыбнулся. — Въ номерѣ лежалъ, въ баняхъ четверо суток... „Нуй“ пилъ: бургонское такое. А потомъ простую, а сегодня выгнали. Денегъ нѣтъ. Шуба ушла. Дали вонъ, видишь, какую хламиду... Что, тенорокъ, глядишь на меня? Тотъ ли это Евстафій Петровичъ? Тотъ самый! Ты не думай, что я на тебя дулся. Нѣтъ, не на тебя; а за тебя, милый мой, за тебя! Ты—пропащій человѣкъ. И я бы не такъ запилъ, нѣтъ... Вѣрь мнѣ, у меня это проходило... Очень она меня, директриса-то наша, доѣхала своей системой!

— Да, да!—глухо вскричалъ Крупениковъ.

— А, небось, начинаешь чувствовать? Я тебѣ говорилъ: не губи себя! Знаю—ты пошелъ въ гору, въ новой оперѣ пѣлъ. Когда пѣлъ?

— Вчера,—уныло отвѣтилъ Крупениковъ.

— Что такъ кисло говоришь? Знать, фіаско, другъ?

— Нѣтъ, пріемъ большой!

— А отчего же ты такой?

Ковринъ прищурился и ткнулъ пальцемъ въ плечо Крупеникова.

— Отчего?

Слова сначала замерли. Испугался онъ говорить все. И кому же? Пьющему запоемъ человѣку. Что за нужда! Этотъ человѣкъ запилъ отъ нея же, отъ Прасковьи Ермаиловны, отъ ея сладкой выучки, отъ ея попеченій... На зло ей!

И Ковринъ понялъ его, съ первыхъ словъ понялъ.

— Не пустили тебя? Такъ, такъ!.. Дай срокъ, и не то еще будетъ! Жалованье станеть отбирать, засаживать за фортепіано. Тебя на вольный воздухъ тянуло, ты задыхался. Мудрено, какъ это у тебя голова не лопнула, а нянька и благодѣтельница запрещаетъ: „покушай съ нами чайку, Антоша, это пользительнѣе будетъ“.



Ковринъ пьянѣлъ туго. Онъ долго говорилъ про себя, про свои работы, надежды и планы. Съ тѣхъ поръ, какъ поступилъ въ нахлѣбники къ Прасковѣ Ермиловнѣ и сталъ „благодаренъ“, изыскала фантазія, не приходитъ ни одного мотива.

— Прости меня,—жалобно лепеталъ онъ, тряся Крупеникова за руку,—Христа ради, прости! Я тебя сюда привелъ, на эту сладкую деспотку указалъ, я тебя загубилъ! Вотъ ты увидишь: одну роль создалъ, а больше уже ничего не создашь!

„Такъ, такъ,—шепталъ про себя Крупениковъ и глядѣлъ на полъ, поводя растопыренными пальцами правой руки.—Пьянчуга этотъ правъ. Такъ и будетъ!“

— Какъ же быть?!—вскрикнулъ онъ съ ужасомъ.

— Бѣжать! И меня пускай выгонять... Я запрусь здѣсь... на пять сутокъ. Ты мнѣ приноси тихонько мою порцію. Мы ее дождемъ. А самъ бѣги! Будь мужчиной! Хотѣлось кутнуть во всю ширь—дай волю себѣ! И сегодня же, слышишь, ступай на тройкѣ въ трактиръ, съ барышнями, съ офицерами, съ кѣмъ хочешь. Побойшься—задушить тебя, голову разорветъ на части.

— Полноте,—остановилъ онъ Коврина. — Вы на меня положитесь...

— Покажемъ мы нашей командиршѣ, каковы мы мальчики!..

Ковринъ засмѣялся и прилегъ на кровать.

— Евстафій Петровичъ,—прошепталъ Крупениковъ,—страшно мнѣ дѣлается!

— А-а!—чуть лепеча, протянулъ Ковринъ. — Страшно! То-то, паренекъ. Самое страшное, это—вотъ такія толстыя, сладкія бабы. Добра—ангелъ во плоти—руки мягкія, голосъ мягкій... А она прибираетъ къ этимъ рукамъ. И съѣстъ. Съдая будетъ, дряхлая, въ скаредность вдастся, а ты у ней будешь ручки цѣловать.

Слушалъ Крупениковъ и поддакивалъ ему съ возрастающимъ ужасомъ. Теперь только разобралъ онъ, что такое эта пухлая, дряблая баба. Все „радость моя“, да „жизнь моя“, ни одного окрика, а глядишь—у ней въ крѣпостномъ услуженіи...

Вотъ и будешь такой, какъ Ковринъ. Лучше запить, а то голова нестерпимо горитъ и горло перехватило.

Ему сдѣлалось такъ страшно, что онъ закрылъ глаза и упалъ головой на столъ.



XXVI.

Прасковья Ермиловна проснулась поздно. Ей доложила горничная, что Антонъ Сергѣича уже нѣтъ, а Евстафій Петровичъ „запершись“ у себя въ комнатѣ.

Крупениковъ, не переодѣваясь, убѣжалъ изъ дому. Въ двѣнадцать часовъ онъ входилъ по лѣстницѣ трактира, гдѣ когда-то познакомился съ купеческимъ сыномъ Бурцевымъ. На него-то онъ и рассчитывалъ. Тотъ, навѣрное, придетъ къ завтраку. Съ нимъ онъ „закатится“ на дѣлныя сутки. Именно такого человѣка, какъ Бурцевъ, ему надо было, чтобы почиталъ его, не умничалъ, понималъ, кто съ нимъ соглашается компанію водить. У Бурцева онъ и денегъ возьметъ—разумѣется, займы. Своихъ у него нѣтъ. Вѣдь онъ отдавалъ жалованье ей, благодѣтельницѣ, а учительствуетъ въ ея классахъ даромъ.

Бурцева онъ нашелъ все за тѣмъ же столомъ, въ комнатѣ, гдѣ машина. На вчерашнемъ представленіи онъ присутствовалъ, „самолично“ вызывалъ и много про Крупеникова въ газетахъ читалъ и радовался. Только одно ему было больно, что господинъ артистъ такъ его „забыли“. И денегъ онъ самъ предложилъ, точно это была его обязанность, и сейчасъ же вынулъ три радужныя. Не теряя времени, затребовалъ онъ разныхъ водокъ и винъ и сталъ заказывать ѣду, спрашивая безпрестанно Крупеникова:

— Какъ на вашъ вкусъ?

Крупениковъ умилился. Вотъ въ этой трактирной комнатѣ его, въ началѣ сезона, угощалъ тотъ же Бурцевъ. Тогда онъ перебивался съ хлѣба на квасъ, ждалъ актера-антрепренера, соглашался даже и въ опереткахъ нѣтъ. А сегодня онъ—всѣми признанный артистъ. И не Прасковья Ермиловна сдѣлала это, а его собственный талантъ! Онъ стоитъ на своихъ ногахъ. Воля ему нужна, а не помощи! Хочешь кутить—и кути! Нужды нѣтъ, что Бурцевъ—бывшій половой. Въ немъ преданность есть, съ нимъ душа нараспашку.

Явился и Мухоморовъ. И съ нимъ чокался онъ безъ гордости. Теперь тотъ чувствуетъ, какая между ними есть разница. Прохороводился онъ съ ними до пятого часу, взялъ лихача на углу Литейной и поѣхалъ къ дебютанткѣ. Она только что встала послѣ вчерашняго ужина, сердилась на него, подразнила, но тотчасъ же простила,



дала поцѣловать ручку, а потомъ и шейку. Они поѣхали объѣзжать за городъ, вдвоемъ, вернулись поздно. Къ себѣ въ номеръ она его не пустила, засмѣялась и сказала ему, убѣгая въ подъѣздъ:

— Жена ждетъ. Уважать ее надо; она почтенныхъ лѣтъ...

Хмель гудѣлъ въ головѣ Крупеникова. Хохотъ польки возбѣсилъ его. Домой онъ не возвращался до слѣдующаго утра.

Онъ пріѣхалъ въ двѣнадцатомъ часу дня, въ приличномъ видѣ, умытый, въ вычищенномъ платьѣ и, не спрашивая, гдѣ Прасковья Ермиловна, прошелъ прямо въ классъ. Это былъ его часъ. Онъ около двухъ недѣль не давалъ уроковъ, но дѣвицамъ было сказано, что послѣ перваго представленія занятія опять возобновятся.

Четыре дѣвицы старшаго класса ждали его; въ томъ числѣ и Ариша Веселкина. По ихъ лицамъ онъ догадался, что онѣ знаютъ про его кутежъ. Урокъ начался.

Всѣ четыре дѣвицы были рослы, красивы и очень франтовато одѣты. Ариша открыла свою бѣлую шею до ямочки между ключицами: на ней былъ матросскій воротничекъ. Другая, блондинка, выставляла свой бюстъ въ черномъ шелковомъ трико.

Ихъ румяныя лица, блескъ глазъ, круглыя плечи, талии, модныя ботинки—заиграли въ глазахъ Крупеникова. И всѣ эти дѣвушки глядятъ на него съ подмигивающимъ выраженіемъ, особенно Ариша Веселкина.

Въ ихъ глазахъ онъ читалъ:

„Ахъ, вы, бѣдненькій! связались со старой бабой, поступили къ ней въ услуженіе и возите теперь свою тачку! Проститесь съ молодой любовью! Идите просить прощенія за вчерашнее“...

Онъ старался имъ улыбаться, быть добрымъ, внимательнымъ; но его тонъ дѣлался все раздраженнѣе, онъ придирался, на одну закричалъ, Аришѣ сказалъ грубость.

— Пожалуй, — отрѣзала она ему въ отвѣтъ, такъ, что остальные слышали, — хорохорьтесь! Вы смѣлости набираетесь! Будетъ вамъ взбучка.

Онъ вскочилъ изъ-за фортепіано и хотѣлъ вывести ее изъ класса, но испугался.

А какъ вдругъ всѣ онѣ заговорятъ? Ужъ и такъ онѣ глазами срамятъ его:

„Сердишься, а мы тебя не боимся... Бѣдненькій! Про-



дался старой бабѣ; она ему въ бабушки годится, а онъ съ ней нѣжничаешь. Артиста, видите ли, изъ него сдѣлала, карьеру открыла... Безстыдникъ!”

Да, все это читаль онъ на лицахъ дѣвицъ. Насилу довелъ онъ классъ до конца. Онъ молчалъ, тревожно взглядывалъ на нихъ, щеки его горѣли, въ виски опять начало стучать, какъ послѣ перваго представленія. Неужели такъ будетъ каждый день? Ему нельзя смотрѣть на молодыхъ, красивыхъ дѣвушекъ. Онѣ ушли отъ него. Не имѣть ему молодой жены, не знать ему молодой любви!

А ей, этой сорокапятилѣтней старухѣ, подавай настоящую любовь. Она, вонъ видите, и ребенка желаетъ имѣть. Ей судьба послала свѣжаго муженька, послѣ всѣхъ любовныхъ похождений. Тутъ ему въ первый разъ представился вопросъ: а сколько у ней перебивало любовниковъ? И мужъ былъ, не одинъ, кажется? Отчего же онъ, какъ Емеля-дурачокъ, никогда не поинтересовался узнать, съ кѣмъ и когда она жуировала? Ковринъ навѣрно знаетъ.

Изъ класса онъ прошелъ къ Коврину. Комната оказалась пустой, безъ постели, безъ книгъ и ноть. Ему сказала горничная, что Прасковья Ермиловна вчера „попросили Евстафія Петровича выѣхать”.

Вотъ оно что! Это его возмутило. Когда не нуженъ чело­вѣкъ — вонъ его, на улицу! Всякая неловкость, что не ночевалъ дома, исчезла въ немъ. Станетъ онъ отдавать ей отчетъ! Ему хотѣлось сорвать на ней все, что у него накопѣло, и сейчасъ же, сію минуту...

— Гдѣ она?—рѣзко спросилъ онъ у горничной.

— Онѣ въ гостиной. У нихъ гости. Военный какой-то.

Онъ и этимъ не смутился и съ возбужденнымъ, почти гнѣвнымъ лицомъ вошелъ въ гостиную.

XXVII.

Вошелъ и сталъ въ дверяхъ. На диванѣ развалился генералъ съ простѣю и длинными усами, въ эполетахъ и съ сигарой въ рукѣ. Прасковья Ермиловна сидѣла рядомъ, наклонившись къ нему, и что-то говорила вполголоса. Она была въ капотѣ.

Крупениковъ кашлянулъ. Генералъ поднялъ голову и оправился. Прасковья Ермиловна поднялась, тревожно взглянула на Крупеникова, и щеки ея пошли красными пятнами.

— Ахъ, вотъ и мужъ мой! Позвольте вамъ представить.



— Весьма пріятно, — пробасилъ генераль и протянулъ руку.

Послѣ рукопожатія вышла пауза.

Мужъ и жена поглядѣли другъ на друга. Она съ укоризной, онъ съ вызывающей усмѣшкой. Его глаза спрашивали: „Это что за гусь?“

— Вотъ генераль Толкуновъ, — заговорила она, — мой давнишній знакомый... еще изъ Москвы.

— А-а! — протянулъ Крупениковъ и тутъ же подумалъ: — „изъ старыхъ дружковъ!“

— Мужъ-то у васъ, другъ мой, въ полномъ соку.

Генераль повелъ усами и тихо засмѣялся. Отъ этого смѣха Крупеникова бросило въ жаръ.

„Какъ! и ты?..“

И онъ выругался про себя.

— Слышалъ про вашъ талантъ... Поѣду васъ слушать... Непремѣнно. Вотъ кумушка мнѣ креслецо добудетъ, а теперь желаю вамъ добраго здоровья.

Въ томъ, какъ гость поцѣловалъ руку Прасковьи Ермиловны, было что-то особенное. Она проводила его до передней. Крупениковъ не пошелъ.

Онъ ждалъ ее, стоя у печки.

— Антоша, — заговорила она вполголоса, близко подойдя къ нему, — за что ты меня такъ тревожишь?..

— Кто это? — рѣзко перебилъ онъ ее.

— Иванъ Денисычъ Толкуновъ.

— Вы съ нимъ какъ же? Изъ старыхъ дружковъ? а?

— Что ты, Антоша?

— Отвѣчайте! Я васъ спрашиваю не потѣхи ради...

Прасковья Ермиловна протянула ему руку. Онъ отвелъ.

— Какъ тебѣ не грѣхъ такъ, Антоша!..

Но онъ смотрѣлъ на нее злобно и пристально. Подъ этимъ взглядомъ она больше и больше смущалась.

— А! — вскрикнулъ онъ. — Такъ и есть. Чего же вамъ отъ меня прятаться? Пріѣхалъ ненарокомъ старый дружокъ. Бываетъ. Такъ бы и сказали. Со мной нечего церемониться. Прикажете съ визитомъ къ нему или на побѣгушки? Свѣжаго муженька добыли — вотъ что его превосходительство изволилъ найти.

Она не возражала. Да, это былъ, дѣйствительно, первый челоуѣкъ, научившій ее, что такое любовь. Генераль былъ тогда моложе, хороше собою, но такъ же пошелъ, какъ и теперь. И она глупа была. Прошло около двад-



пяти лѣтъ. Вотъ онъ пріѣхалъ къ ней по-пріятельски и сейчасъ тутъ же пускаетъ свои офицерскія прибаутки, по-старому: поздравляетъ съ молодымъ мужемъ, говоритъ сальности. Развѣ она стала бы скрывать свое прошедшее? Только рѣчи о немъ не заходило. Никто не имѣетъ на нее правъ! И этого-то генерала она въ другой разъ не пуститъ. Онъ вошелъ, не назвавшись.

Все это она могла бы сказать Антошѣ, но не о себѣ ей надо думать, а о немъ, объ его силахъ, здоровьѣ, талантѣ. Вотъ уже около мѣсяца, какъ онъ внѣ себя.

— Радость моя!—тихо заговорила она,—успокойся ты, ради Бога! Ну, настоялъ на своемъ, убѣжалъ, кутнулъ... И довольно, завтра тебѣ пѣть, приходи ты въ себя!.. Не губи своего таланта!

Ея руки хотѣли обнять его, но онъ вырвался, отбѣжалъ къ окну и крикнулъ:

— Оставьте меня! Я самъ себѣ гадокъ! Не мужъ я вашъ, а хамъ, рабъ!.. рабъ!..

Съ нимъ сдѣлался припадокъ. Прасковья Еремилловна не растерялась. Докторъ объявилъ, что его нельзя отпускать одного изъ дому. Нечего было думать объ участіи въ спектаклѣ. Надо было приставить къ нему двухъ сидѣлокъ.

Когда жена, улучивъ минуту, спросила его:

— Антоша, что тебѣ угодно, радость моя?

Онъ обернулся спиной, закрылъ глаза и простоналъ:

— Похоронили, заперли! Надѣвайте кандалы! Только не кажитесь вы мнѣ на глаза! Задущу!

XXVIII.

Первый часъ ночи. Въ спальнѣ Прасковьи Еремилловны горитъ лампадка. Постель стоитъ нетронутой.

Вотъ уже десять дней, какъ Крупеникова не выпускаютъ изъ дому. Онъ порывался бѣжать. Его заперли. Ѣздитъ докторъ-психіатръ. Онъ обнадеживаетъ; но у ней самой надежда плохая. Мужъ не выноситъ ея. Какъ только она войдетъ къ нему въ комнату, онъ забьется въ уголъ и молчитъ или начинаетъ кричать и браниться.

Черезъ доктора она узнала, что Антоша считаетъ ее своимъ заклятымъ врагомъ, увѣряетъ, что она украла у него талантъ, оклеветала передъ начальствомъ, хочетъ „ѣздить на немъ верхомъ“ и выжимать сокъ, что онъ не можетъ уже пѣть—она заговорила его голосъ.

Манія преслѣдованія пришла вмѣстѣ съ маніей величія. Онъ говорилъ о себѣ, какъ о великомъ артистѣ, безвременно погибшемъ. И каждый оперный день, четыре раза въ недѣлю, онъ порывался бѣжать. Человѣкъ, представленный къ нему, удерживалъ его, потомъ запиралъ. Начинался крикъ, стукъ въ дверь, битые мебели. Она не смѣла показываться въ эти часы.

Все расклеилось. Мѣсто Коврина, попавшаго въ клинику отъ бѣлой горячки, занималъ піанистъ изъ самыхъ посредственныхъ. Репетиціи пѣнія она должна была вести сама, но у ней голова шла кругомъ; она вздрагивала безпрестанно и прислушивалась, нѣтъ ли шума въ комнатѣ мужа. Докторъ совѣтовалъ помѣстить его въ лѣчебницу. Она не соглашалась.

Прасковья Ермиловна сидѣла въ кофѣ у своего письменнаго стола. Въ ночномъ чепчикѣ она смотрѣла совсѣмъ старухой. Двѣ глубокія морщины легли по обѣимъ сторонамъ носа, подбородокъ обрюзгъ и раздвоился, въ бѣлокурыхъ волосахъ выступила замѣтная сѣдина.

Женщина, та, что такъ часто „ловила“ на мужчинахъ, столько отдала имъ на своемъ вѣку—умерла въ ней. Тамъ, черезъ коридоръ, не любовникъ ея, не мужъ, а сынъ: такое къ нему чувство. Никого она такъ чисто и безкорыстно не любила, и что вышло?.. Погибъ отъ нея, отъ ея слабости: дала себя обойти, забыла, что она его на двадцать лѣтъ старше, не сумѣла быть умной нянькой...

Уже нѣсколько дней, какъ она стала чувствовать какую-то неловкость: подъ ложкой сосетъ, по утрамъ тошнота. Она не обращала на это вниманія. Но это странное нездоровье не проходило. Спросила она у доктора. Тотъ повелъ губами и шепнулъ ей:

— Да вы беременны!

Она испугалась, замахала руками. Какія глупости! Двадцать лѣтъ слишкомъ знаетъ мужчинъ, имѣла одного ребенка молодой дѣвушкой, и вдругъ, почти старухой, сорока слишкомъ лѣтъ... Глупости!

Но эти „глупости“ давали себя знать. Сегодня она побывала у одной „кумы“. Кума объявила ей, что это „такъ“ и уже „во второмъ мѣсяцѣ“.

Сначала она обрадовалась, но не надолго. Ее умилила мысль кормить, нянчить, выходить ребенка отъ Антоши. Но тотчасъ затѣмъ она впала въ большое уныніе... Онъ—безумный! Когда началась болѣзнь? Кто можетъ это опре-



дѣлать? Онъ и до репетиціи новой оперы уже бывалъ внѣ себя...

И его ребенокъ будетъ такой же.

Она съ ужасомъ оглядывала свою спальню, потонувшую въ мягкой мглѣ, еле освѣщенную бѣлымъ щиткомъ лампы. Да, родится въ отца. Такъ должно быть: кто моложе и сильнѣе, въ того и родятся дѣти, это она не разъ видала.

Какъ быть?.. Пойти на воровское дѣло, попросить у кумы хорошаго снадобья? Нѣтъ! Этого она ни въ жизнь не сдѣлаетъ! Надо ждать, выкормить и до самой смерти бояться, что дитя вдругъ свихнется, и навѣки. Отецъ будетъ въ это время сидѣть въ халатѣ, на девятой верстѣ, не хватить, быть-можетъ, средствъ держать его въ лѣчебницѣ. И она попадетъ туда же, не выдержитъ и ея натура...

А пока—она мать...





БЕЗВѢСТНАЯ.

(РАЗСКАЗЪ.)

„Pressez toute chose, un gémissement
en sortira“.

L'abbé Roux. Pensées

I.

Въ двухъ окнахъ, влѣво отъ воротъ, въ подвальномъ этажѣ большого купеческаго дома, на Лиговкѣ, совсѣмъ оледенѣлыхъ, свѣтъ лампадки вотъ-вотъ померкнетъ. На дворѣ градусовъ двадцать морозу. По пустотѣ и тиши замѣтно, что поздній часъ. На углу переулка, наискосокъ мостика, заснулъ извозчикъ и совсѣмъ засунулъ голову въ передокъ саней. У воротъ дома бѣлѣтся тулупъ дежурнаго дворника.

Изъ-за угла вышла кухарка, съ платкомъ на головѣ. Она оглядѣлась вправо и влѣво, что-то такое сообразила и пошла торопливо, кутаясь на ходу въ платокъ и шлепая по бойкому, неровному тротуару стоптанными башмаками.

У воротъ, не доходя до дворника,—онъ сидѣлъ по ту сторону, на скамьѣ,—кухарка подняла голову и начала взглядываться въ стѣну, отыскала глазами небольшую темную вывѣску и тогда только подошла къ дворнику и потянула его за рукавъ.

— Чево надо?

Голосъ дворника показывалъ, что онъ сейчасъ же повернется къ ней спиной и опять задремлетъ.

— Бабка тутъ, что ли?



- Чево?
- Да бабка-галанка?
- Здѣсь.
- Въ которомъ этажѣ?
- Да вонъ окна-то... свѣтъ гдѣ...
- Въ подвальномъ, значить?
- Въ подвальномъ.
- Пропусти въ калитку, милый...
- Не заперта, лѣзь.

Она нагнула голову и пролѣзла между цѣпью и порогомъ. Густая темнота понадвинулась на нее.

— Изъ подворотни ходъ? — оеликнула она дворнику вполшопота.

— Да; нащупай, звонокъ есть, вправо сейчасъ...

Звонокъ издалъ рѣзкій и короткий звукъ. Кухарка стояла у самой двери и ощупывала ее обѣими руками. Обрывки не то клеенки, не то рогожи шуршали подъ ея правой ладонью.

Она не долго ждала. Изнутри ее спросили:

— Кто тамъ?

— За вами, матушка! Больно нужно!

— Сейчасъ, — раздалось въ отвѣтъ изъ глубины комнаты, и дверь стали отпирать не больше какъ черезъ минуту.

Половинка дверей отпихнула кухарку назадъ. Надо бы пойти сейчасъ пару, какъ всегда изъ дворничьихъ и жарко натопленныхъ подвальныхъ квартиръ; но паръ не показывался. Въ квартирѣ акушерки никогда не бывало тепло, особенно въ первой комнаткѣ, гдѣ плитку два дня уже какъ не топили.

Со свѣчей въ рукѣ стояла передъ кухаркой маленькая, далеко не старая еще на видъ женщина, въ юбкѣ и сѣромъ платкѣ, въ клѣтку, безъ ночного чепчика. Зачесанные, на ночь, бѣлокурые волосы лежали кучкой на маковкѣ, пригнутые шпилькой. Она немного шурилась отъ свѣта. Полное лицо съ желтоватой кожей смотрѣло просто: сѣрые, прищуренные глаза, добрые и крупно вырѣзанные, окинули быстро всю фигуру кухарки. Пухлые губы широко раскрылись улыбкой. Лѣвая, свободная рука придерживала платокъ на груди.

— Входите, голубчикъ, входите... Я мигомъ!—пригласила она кухарку.—Присядьте... Холодно у меня... Вотъ къ этой стѣнѣ... Она еще тепленька..

Все это она выговаривала на ходу въ комнату, гдѣ стала одѣваться, безъ торопливости, какъ собираются на свое дѣло люди, привычныя къ такимъ ночнымъ приходамъ, знающіе, какія вещи имъ надо захватить съ собою, заранее помирившіеся съ тѣмъ, что имъ въ эту ночь уже больше не спать.

Въ одной квадратной комнатѣ, низкой и сыроватой по угламъ, состояло ея помѣщеніе. Кровать ютилась за ширмами, влѣво отъ входа; направо всю стѣну занималъ старенькій, покрытый ситцемъ диванъ; надъ нимъ, по стѣнѣ, много фотографическихъ портретовъ и карточекъ; на окнахъ—цвѣты; подъ ними раскрытый ломберный столъ съ вчерашнимъ шитьемъ; въ лѣвомъ углу, гдѣ догорала лампадка передъ образомъ, шкафчикъ надъ комодомъ красного дерева. Все смотрѣло чистенько, но очень бѣдно. На окнахъ висѣли темно-коричневые занавѣски на шнурахъ.

Одѣлась акушерка скоро-скоро, что-то достала изъ комода и шкафчика и подошла къ вѣшалкѣ, гдѣ висѣли драповое пальто и шубка на кротовыхъ шкуркахъ, крытая сукномъ. Она надѣла шубку.

— Да васъ какъ звать? — вдругъ, какъ бы вспомнивъ что-то, окликнули ее изъ кухни.

— Фамилія моя, голубчикъ? — спокойно и все еще съ улыбкой спросила акушерка.

— Да. Евсѣева, что ли? Никакъ такъ?

— Этакъ, этакъ... Марья Трофимовна...

— То-то... Готовы, матушка?

— Готова!

— Больно ужъ мается...

— У кого?

— Работница... У дворниковъ... Извозчики гдѣ стоятъ...

— Идемте.

Марья Трофимовна повернула голову, не забыть бы чего, перекрестилась и скорыми, бодрыми шажками—ботики ея поскрипывали—вышла въ кухню со свѣчей въ рукѣ, поставила ее на опрокинутую кадку, служившую замѣсто стола, положила коробку спичекъ, и прежде чѣмъ тушить, оглянула еще разъ кухарку.

Ей понравилось это рябоватое, круглое лицо, съ прядью черныхъ волосъ, выбившихся на самый носъ, широкій и смѣшной: одна ноздря была уже другой.

— А тебя какъ звать?—спросила она.



— Пелагея.

— Вы вмѣстѣ съ той работницей спите?

— Вмѣстѣ, матушка, вмѣстѣ.

Свѣчу Евѣева задула и выпустила впередъ кухарку. Она аккуратно заперла ключомъ наружную дверь и, выйдя за Пелагеей въ калитку на тротуаръ, успѣла сказать ласково дорнику:

— Мы съ тобой, Игнатъ, опять дежурные...

Дворникъ разслышалъ, сквозь сонъ, ея слова, но ничего не сказалъ въ отвѣтъ.

II.

Въ такіе ночные походы,—рѣдко и они выпадаютъ,—Марья Трофимовна чувствовала себя особенно легко, почти радостно. Здоровье у ней на рѣдкость. „Я—двуужильная какая-то“, — говоритъ она часто, какъ говорятъ про лошадей, способныхъ сдвинуть всякій возъ. Ни по свойствамъ души своей, ни по нуждѣ, не могла она отказываться, оттягивать визиты, напускать на себя самое нездоровье. Въ такихъ-то случаяхъ ея дѣло и вставало передъ ней во всей своей человѣчной простотѣ и пользѣ. Она знала, что разбудить ее вотъ такая кухарка у дворниковъ, гдѣ извозчики почуютъ и держатъ лошадей, или еще того хуже: изъ угловъ кто-нибудь прибѣжить, замаранная дѣвчонка зоветъ къ побирущкѣ, въ грязь, въ чадъ и нестерпимую духоту, гдѣ нѣтъ ни воды, ни чистой тряпки, а она ничего, шутить, сама все найдетъ и знаетъ, что больше полтинника ей не могутъ заплатить. А то и даромъ.

И теперь, январь на исходѣ, а ея доходъ, за мѣсяць практики, не дошелъ и до бѣлой ассигнаціи. Какъ жить?.. А живетъ, никому почти не должна, и если бы...

Марья Трофимовна остановилась, точно на какой зарубкѣ, и не захотѣла думать въ этомъ же направленіи. Деньги, заработокъ, сведеніе концовъ съ концами поднимались всегда, сами собой, откуда-то изъ глубины, и всегда въ однихъ и тѣхъ же цифрахъ, маленькихъ расчетахъ, маленькихъ надеждахъ и соображеніяхъ.

Но они не разстраивали ее настолько, чтобы она была хоть на минуту, куда идетъ, чтó ей нужно дѣлать, кто ждетъ отъ нея помощи.

Своего званія она, дѣвица лѣтъ тридцати восьми, до сихъ поръ немного не то что стыдится, а стѣсняется



передъ знакомыми изъ образованныхъ дѣвушекъ и молодыхъ людей. Съ народомъ, съ пациентками, со всякими пожилыми простыми людьми, съ ними она всего больше водится, усвоила она себѣ спокойный тонъ, всегда немного съ шуточкой надъ своими обязанностями. Они всѣ считаютъ ее почему-то вдовой и обращаются какъ съ женщиной гораздо старше лѣтами. Такъ и ей удобнѣе. Никто ловчѣе и умѣлѣе ея не найдетъ въ самой бѣдной и грязной обстановкѣ, въ какой хотите поздній часъ ночи, и врядъ ли другая такъ ладить съ простонародьемъ, такъ изучила нравы, привычки, суевѣрья, примѣты, пороки и замашки темнаго и совсѣмъ бѣднаго, и полубѣднаго петербургскаго люда: мелкихъ чиновничьихъ семей, артельщиковъ, унтеровъ, дворниковъ, прислуги всякаго рода, впавшихъ въ нищету дворянскихъ семей, недавно повѣнчанныхъ паръ изъ учащейся молодежи, изъ огромнаго класса ищущихъ занятій.

Въ околоткѣ ее хорошо знаютъ, даже и съ Васильевскаго иной разъ обращались, а настоящаго ходу ей нѣтъ, да и не будетъ: въ такую ужъ она попала колею. Надо-бенъ особый случай: принять у какой-нибудь богатѣйшей и родовитой купчихи или чиновной барыни. Но это почти невсѣможно. Въ купеческихъ семьяхъ средней руки Марья Трофимовна принимала; перепало ей тогда сразу до тридцати, до сорока рублей. Но ей непріятно вспомнить такія вотъ купеческія крестины. Унизительно обходить съ тарелкой или подносомъ крестнаго и крестную съ гостями и глядѣть, какъ тебѣ, подъ салфетку, кладутъ желтыя и зеленыя бумажки, точно арфлянкѣ какой въ трактирѣ, послѣ того, какъ пропѣла: „Спи, ангелъ мой“. Лучше ей у бѣдняковъ, даже совсѣмъ легко и хорошо, и если бъ платили ей хоть маленькое жалованье, она не желала бы никакихъ подачекъ.

Такія мысли начинаютъ непремѣнно рѣять въ головѣ Марьи Трофимовны, когда она идетъ съ провожатой, къ снѣху, и ожидаетъ, что, пожалуй, уже поздно, что только напрасно ее потревожили. Но на это она никогда не сердилась, да и вообще не помнитъ, чтобы она гнѣвно или раздраженно на кого-нибудь дала окрикъ, что бы съ ней ни вышло. Пьяныхъ она, въ первые годы практики, ужасно боялась, но и къ нимъ привыкла, усылала ихъ, если они мѣшали, и не обижалась, когда кто ей отвѣтитъ дерзко или бранно.



— Ты въ одномъ платьѣ?—сказала Марья Трофимовна, оглянувшись, на ходу, въ сторону Целагеи. — Морозъ какой!

— Тутъ близехонько! Ничего!

Отъ Целагеи всегда пышило, точно отъ печки. Она могла, въ какой угодно морозъ, пробѣжать по улицѣ въ одномъ сарафанѣ и въ опоркахъ на босу ногу.

Холодъ все крѣпчалъ. Фонари по той сторонѣ Лиговки—керосиновые, а не газовые, мигали грязнымъ свѣтомъ, а газовые, по переулку, гдѣ шли скорымъ шагомъ обѣ женщины, совсѣмъ обмерзли и только по самой срединѣ каждаго стекла небольшое пятно пропускало свѣтъ, скованный со всѣхъ сторонъ заблѣвшимъ льдомъ.

Что ей нужно было, Марья Трофимовна разспросила у Целагеи на ходу. Большой трудности не предвидѣла она; женщина здоровал, солдатка и уже не „перворождающая“. Боялась она серьезныхъ случаевъ, гдѣ законъ велить обращаться къ доктору.

Во-первыхъ, гдѣ его взять? Къ такой вотъ работницѣ-солдаткѣ доктора не дозовешься, ни частнаго, ни съ воли. А если прїѣдетъ, такъ поздно, когда настоящая минута пропущена. И тутъ Марья Трофимовна совершенно теряется, покраснѣетъ, не то говорить, запинаясь въ отвѣтахъ, точно она сама ничего не смыслить, хуже чѣмъ на первомъ экзаменѣ изъ анатоміи. До сихъ поръ—она практикуетъ уже около восьми лѣтъ—не можетъ она держать себя при докторсахъ посуровѣе и посмѣлѣе.

Развѣ уже докторъ-то изъ очень тихонькихъ, или самъ настолько неопытенъ, что выпрашиваетъ для собственнаго руководства.

— Сюды, сюды, — потянула Целагею за рукавъ Марью Трофимовну.

Онѣ вошли въ полуоткрытыя ворота деревяннаго одноэтажнаго дома съ мезониномъ. Сейчасъ же ее обдалъ запахъ, какой бываетъ на дворахъ, гдѣ живутъ извозчики. Въ темнотѣ, въ глубинѣ двора, ходили около саней два ночныхъ извозчика,—они только что зашабашили; шель уже пятый часъ утра, но еще стояла густая мгла. Изъ конюшни, вправо, ползъ паръ отъ дыханья лошадей и навоза. Одинъ изъ извозчиковъ зажегъ фонарь, и красноватое пламя сальной свѣчи всплыло среди темноты продолговатымъ языкомъ.



— Куды шлею-то забросилъ?—раздался хмурый голосъ и заставилъ Марью Трофимовну повернуть голову.

— Бойко, матушка, тутъ, бойко, — удержала ее кухарка. — Сюды вотъ пожалуйста. Только головкой не стукнитесь. Низенькая дверь-то.

Она, дѣйствительно, почувствовала подъ подошвами своихъ ботишковъ обледенѣлую лужу, вѣроятно, помоевъ. Если бъ Пелагея не предупредила ее, она навѣрное бы оступилась, на ходу она была довольно легка, но тѣломъ полновата и ходила съ перевальцемъ.

На морозѣ испаренья и запахи жилья, въ подвальномъ флигелѣ, не ошеломляли такъ, какъ въ оттепель. Кухарка отворила съ усиленіемъ примерзшую дверь, обитую рогожей, и даже Марья Трофимовна, несмотря на свою покладливость, отшатнулась.

— Молодцы наши спать тутъ. А куфня-то налѣво, сейчасъ вотъ взять надо за дощатую переборку.

Въ избѣ спало человѣкъ десять извозчиковъ, въ повалку, на скамьяхъ и на полу. За чьи-то ноги задѣла Евсеѣва и кто-то, спросонья, выбранилъ ее.

Слѣва, сквозь щель полуиритворенной двери, виднѣлся свѣтъ...

— Здѣсь?—шопотомъ спросила она.

— Тутъ, тутъ...

Изъ-за перегородки раздавались стоны, заглушаемые, должно-быть, тѣмъ, что работница держала что-нибудь въ зубахъ, чтобы не кричать во весь голосъ.

— Мается,—проговорила Пелагея.

Что-то еще прошентала ей на ухо Евсеѣва и получила въ отвѣтъ:

— Поищу... Только наврядъ есть ли...

Послѣ чего пропустила ее за перегородку, а сама стала ошупью искать чего-то въ печуркѣ. Она совсѣмъ успокоилась, какъ только привела акушерку, и даже сейчасъ же вкусно зѣвнула. Ей такъ захотѣлось вдругъ спать, что она сѣла тутъ же на низкую скамейку, подъ полатами,—съ нихъ тоже слышался храпъ извозчиковъ,—и забыла, чего отъ нея ждетъ Марья Трофимовна.

— Пелагеюшка, что же?—окликнула ее та, шопотомъ, въ дверку.

— Ась?—спросила она уже спросонья.

— Или запомитовала?

— Запомитовала, и взаправду.



Стены стали слабнуть. Приходит Марья Трофимовны приободриль работницу.

Изъ мужиковъ никто совсѣмъ не просыпался; только одинъ пробурчалъ во снѣ:

— Чево вамъ, черти?..

III.

Домой Евсеѣва вернулась, когда уже совсѣмъ разсвѣло, и безъ всякаго вознагражденія. Она и къ этому привыкла. Родился мальчикъ, съ огромной головой. Мальчиковъ она всегда ждала. Это ей напомнило другой случай, не такъ давно.

Приходитъ молодой человѣкъ, совсѣмъ еще юный. Она думала, что къ какой-нибудь родственницѣ приглашаетъ, а онъ говоритъ: „къ женѣ“. Нѣмцы, молодые, ему двадцать четвертый годъ, ей двадцатый. Онъ служитъ въ магазинѣ приказникомъ. Помнитъ она ихъ квартиру необыкновенной чистоты. Кухня—хоть сейчасъ на выставку. Даже подъ метелками подбиты клеенки. Ванна поставлена возлѣ плиты, и отъ крана съ холодной водой кибка идетъ къ ваннѣ; однимъ словомъ, видно, что все своими средствами смастерили, и такъ ужъ аккуратно, такъ аккуратно. На полкахъ бумажки вырѣзаны фестонами; приди въ бархатномъ платьѣ въ такую кухню—не запачкаешься. Спальня подъ-стать кухнѣ. И оба, мужъ и жена, радырадешеньки, что у нихъ будетъ ребенокъ. Родился, вотъ какъ у этой работницы, прекрупный мальчуганъ. Отецъ былъ въ магазинѣ, прибѣжалъ, видитъ, что у него сынъ, весь вспыхнулъ, какъ дѣвица, и расплывалъ ее въ обѣ щеки. Какой восторгъ! У всѣхъ ихъ братьевъ и сестеръ—дѣвчонки, а у нихъ однихъ только мальчикъ. Сейчасъ телеграммы полетѣли къ бабушкѣ съ дѣдушкой, и дня два приходили къ нимъ поздравительныя депеши.

Сколько, сколько всплываетъ въ головѣ ея смѣшныхъ и жалкихъ случаевъ. Давно ли она носила цѣлую недѣлю хлѣба, кусокъ пирога къ одной женщинѣ, въ пустую прачечную, куда дворникъ пустилъ ее изъ милости. Сама не доѣдала. И ей—ничего! Нѣтъ въ ней ни озлобленія, ни усталости. Въ народѣ, среди самой ужасной грязи, пьянства и безпушества, она находила человѣчность къ тѣмъ, кто мучится, и всегда почти радость въ отцахъ, особенно, когда явится на свѣтъ мальчикъ, а часто и отцу-то съ матерью ѣсть нечего.



Какъ живая стоитъ передъ нею одна дѣвчонка на по-сѣгушкахъ — кажется, Дуней ее звали. Прибѣжала, вся ушла въ большой платокъ, только глазки, какъ мыши-ные, бѣгаютъ, и говорить порывисто:

— Бабушка, пожалуйста, бабушка, милая, пожалуйста.

Было это осенью, мѣсяца три тому назадъ. Повела ее Дуняша — вотъ какъ и сегодня же Пелагеюшка — по набережной, пришли на большой дворъ, кругомъ домъ — лицикомъ, поднялись по грязной лѣстницѣ въ четвертый этажъ, вошли въ длинный-длинный коридоръ. По стѣнѣ висятъ рядками юбки, платья мастерицъ. И подъ одной такой рядкой кровать. На голыхъ доскахъ лежитъ молоденькая мастерица. Швейныя машины стучать. Помнить, какъ вмѣсто рубашки для ребенка принесли старое по-лотенце, да лоскутковъ — обрѣзковъ отъ платьевъ, какъ потомъ, уже на разсвѣтъ, отправили слѣпую совсѣмъ ста-руху въ воспитательный.

Или еще у еврея, въ кассѣ ссудъ. Надъ самой кро-ватью висятъ ряды залежалыхъ сапогъ. Приходили все потомъ разряженные еврейки — поздравлять; и теперь въ ушахъ ея стоитъ точно гулъ отъ ихъ гортанной бол-товни; а за перегородкой шумъ у закладчика-хозяина, брань, хлопанье дверями.

И сколько еще, сколько такихъ эпизодовъ! Марья Тро-фимовна любитъ останавливаться мыслью на смѣшныхъ сценахъ, больше все такихъ, что трудно рассказать въ гостиной, хоть въ нихъ и нѣтъ ничего особенно непри-личнаго, а все-таки нельзя. Она любитъ вспоминать ихъ, не потому, чтобы она хотѣла посмѣяться надъ своими пациентками, да и вообще надъ бѣднымъ людомъ. Такой ужъ у ней складъ головы и характера. Съ нимъ ей легче жить.

Вотъ и сегодня, когда она на разсвѣтъ прилегла, не раздѣваясь, на кровать, чтобы доспать „свою порцію“ — она такъ говорила — ея природная наклонность къ шуткѣ и юмору не позволила ей долго и тревожно думать о томъ, что будетъ завтра или сегодня же, только передъ обѣдомъ.

А будетъ то, что придетъ къ ней Маруся, ея приемышъ, придетъ обѣдать — воскресенье — и попроситъ на булавки, а дать печего. Непремѣнно попроситъ и сдѣлаетъ это съ особой миной, точно ей это слѣдуетъ по закону, и прибавитъ каждый разъ:



— Пожалуй, хоть не давайте, ваша воля.

И эти слова, каждый разъ, рѣжутъ Марью Трофимовну по сердцу. Если у ней приготовленъ рубль, Маруся такъ скажетъ: „мерси!“—что лучше бы уже она отвѣтила грубостью.

Когда почью она проснулась отъ звонка — Пелагея сильно дернула — и сообразила сейчасъ, что пришли за ней по дѣлу, вторая ея мысль была: заработаю, Марусѣ будетъ на булавки желтенькая.

Но желтенькой не было. Или она и была, да единственная, съ мелочью. Если отдать ее, надо будетъ жить въ долгъ—неизвѣстно, сколько дней. И безъ того у ней въ лавочкѣ книжка, и въ кухмистерской она платитъ два раза въ мѣсяцъ.

Щемить у ней на сердцѣ, когда она раздумается объ этой дѣвочкѣ.

Взяла ее самымъ обыкновеннымъ манеромъ. Такъ же вотъ пришли за ней къ вдовѣ-чиновницѣ, осталась съ двумя дѣтьми и третьяго ждала. Нищета полнѣйшая. Умерла въ родахъ. Мальчику шелъ седьмой годъ; дѣвочка на два года старше. Случилось это въ самомъ началѣ практики Марьи Трофимовны. Тогда и заработокъ былъ побольше какъ-то, да и на свои силы увѣреннѣе смотрѣла. Дѣти хорошенькія, особливо дѣвочка. Хоть на улицу за подаянѣмъ иди, какъ только свезли мать на кладбище. Всегда она любила дѣтей; дѣвичья доля—перевалило ей уже за тридцать—стала тяготить ее, хотѣлось привязанности, цѣли, для кого-нибудь жить, о комъ-нибудь безпрестанно думать, на кого-нибудь дышать.

Мальчика взяли въ пріютъ—она же похлопотала,—а дѣвочку приняла замѣсто дочери. Сначала при ней жила; только пошли нелады и огорченія, да и средствъ не хватало учить ее, какъ бы слѣдовало. Думала она сначала—повести ее попроще, выучить ремеслу, въ портнихи или шляпницы отдать, въ мастерскую или пріютъ, гдѣ учатъ этому, да жалко стало. Слишкомъ хорошо она знала, что такое ученица у хозяйки, если даже и такая, которая въ пріютѣ училась. Да и дѣвочка была видная такая изъ себя, голосъ у ней рано оказался и способность большая: гдѣ услышитъ — шарманка или музыка мимо пройдетъ — сейчасъ повторяетъ. Въ школу сначала дешевенькую отдала; училась Маруся не очень чтобы хорошо; но, глав-



ное, пошли огорченія для Марьи Трофимовны изъ-за ея характера.

Грубить или дуется, чванлива, лгать рано начала, франтовата и требовательна: подай то, да купи это, и слезы сейчасъ, что вотъ у другихъ и ленточка, и ботинки, и кушачокъ, а у ней нѣтъ.

Отдала потомъ въ гимназію. Очень тяжело было платить за нее и одѣвать, а училась она не настолько хорошо, чтобы просить объ освобожденіи отъ платы. Голосъ выручилъ. Заинтересовался одинъ преподаватель. Выхлопоталъ ей бесплатные уроки въ одну музыкальную школу. Тамъ ее, на первыхъ порахъ, захвалили. Возмечтала она сразу: „я артистка буду, въ оперу меня возьмутъ, десять тысячъ жалованья“; она тогда и ноты-то еле знала, а ужъ четырнадцать лѣтъ ей минуло. Такое счастье ей выпало, что черезъ годъ поступила на даровое помѣщеніе со столомъ въ семейство одно—тоже приняли въ ней участіе изъ-за голоса. Такъ прошло еще два года: но ученье и музыкальное не спорилось.

Объ оперѣ она только мечтала.

IV.

Часу въ третьемъ пришла Маруся. Марья Трофимовна все передумывала, до ея прихода, на разные лады: сколько она ей дастъ на булавки, и рѣшила, что полтинникъ склотить, а больше никакъ невозможно. Она уже приготовилась къ минамъ и тону своей питомицы.

Маруся входила всегда прямо въ комнату въ мѣховомъ бархатномъ пальто—Марья Трофимовна до сихъ поръ не знаетъ, откуда оно—и шляпкѣ, прикрытой бѣлымъ шелковымъ платкомъ, и долго такъ оставалась, подъ предлогомъ, что въ квартирѣ „хоть таракановъ морозъ“.

Ко всему этому Евсеѣва готовилась каждый разъ. Два обѣда приносила ей, по воскресеньямъ, на домъ мальчикъ изъ кухмистерской. Она купить чего-нибудь еще, два пирожка у Филиппова или къ чаю вотрушку съ вареньемъ.

Но Маруся ѣстъ нехотя, все какъ-то швыряетъ, чашенко скажетъ даже:

— Ахъ, какая это гадость! Какъ это вы ѣдите, мамаша!

Дать на нее окрикъ, показать ей, какъ она неделикатна—не хватаетъ у Марьи Трофимовны духу. Эта дѣвочка производить на нее особенное обаяніе. Смотрить на



нес и все время любитъся; отъ голоса ея пріятно вздрагиваетъ и сама себя все обвиняетъ въ томъ, что не умѣла Марусю привязать къ себѣ сильнѣе, размягчить ее, сдѣлать другой.

На недѣль сама забѣжить къ ней раза два-три. Идетъ туда и знаетъ напередъ, что или не застанетъ дома, или придетъ невпопадъ, и Маруся ей это непременно замѣтитъ.

А все тянетъ. Иной разъ такъ сильно, что вечеромъ, уже поздно, начнетъ Марья Трофимовна торопливо одѣваться и бѣжить на Екатерининскій каналъ.

Маруся позвонила на этотъ разъ еще громче обыкновеннаго. Марья Трофимовна уже знала ея звонокъ и всегда устремлялась отворить. Сегодня у ней ёкнуло сердце. Должно-быть, что-нибудь особенное. Ужъ не отказали ли ей? Выгнали, быть-можетъ? Ничего нѣтъ мудренаго. Что-нибудь сгубила или еще того хуже... поймали!

Все это промелькнуло мигомъ въ головѣ Евсеѣвой, когда она переходила отъ стола — гдѣ уже дожидался обѣдъ въ судкахъ—къ входной двери.

Окруженная морознымъ паромъ, Маруся перескочила порогъ и поцѣловала Евсеѣву звонко и даже прильнула къ ней немного.

Марья Трофимовна такъ и разгорѣлась отъ этого поцѣлуя: онъ былъ совсѣмъ не такой, какъ всегда, когда Маруся подставляла только щеку и говорила точно подъ носъ:

— Здравствуйте, мамаша.

И „мамашей“—то не всегда называла ее.

Она потащила Марью Трофимовну въ комнату и на ходу нѣсколько разъ повторила:

— Что я вамъ скажу! Что я вамъ скажу!

Всѣ волненія и страхи Евсеѣвой улеглись отъ одного веселаго и высокаго звука этихъ словъ. Нѣтъ, Маруся не будетъ сегодня морщиться отъ бѣды и все возьметъ съ благодарностью, хотя бы и полтинникъ.

— Что, что такое?—радостно спрашивала Евсеѣва, подерживая на ходу платокъ, который сваливался у ней съ лѣваго плеча.

— Ахъ, устала. Чуть не бѣгомъ бѣжала сюда. Пустите, мамаша.

Маруся почти упала на диванъ — на немъ она послѣ



обѣда непременно развалится—вытянула ноги и вся подалась назадъ, съ громкимъ, рѣзкимъ смѣхомъ.

Глаза Марьи Трофимовны любовно оглядывали и ея видный станъ, охваченный шубкой „по талѣ“, очень узкой и стянутой черной атласной лентой, и ея плечи, и лею, несмотря на морозъ, открытую, и большіе темно-сѣрые, смѣлые, и, въ эту минуту, возбужденные глаза, рѣсницы, отъ которыхъ глаза казались почти синими, цвѣтъ щекъ, нащипанныхъ морозомъ, удивительно бѣлые зубы и даже срѣзанный, непріятный подбородокъ. Подъ вуалеткой красноватаго тюля темно-русые волосы, завитые въ мелкія колечки, падали низко къ бровямъ, загнутымъ правильной дугой. Маруся уже подводила ихъ закопченной на свѣчѣ шпилькой. Губы толстоватыя и очень красныя—ихъ она еще не умѣла красить—были у ней круто выворочены, такъ что десны обнажались, и вверху, и внизу, очень глубоко.

Шляпка—мужской формы, съ кистью красныхъ вишенъ напередѣ, сползла съ нея отъ сильнаго движенія. Ботинки на высокихъ, изогнутыхъ каблучкахъ, безъ галошъ, изъ глянцовитой тонкой кожи, съ узкими носками, были въ свѣгу. Она ихъ даже не отрясла.

Первая замѣтила это Марья Трофимовна.

— Ноги-то простудишь. Все безъ калошъ!

— Вотъ еще важности!—закричала Маруся и приподнялась довольно грузно—для своего возраста она уже отяжелѣла.—Кто же это нынче бахилы носить?

— Снимай, снимай, изомнешь.

— Да у васъ, поди, опять стужа!

— Нѣтъ, и печку, и плиту топила.

— Ахъ, мамаша...—заговорила Маруся выше тономъ, и сейчасъ же подошла къ зеркалу, въ простѣнкѣ, надъ столомъ, гдѣ дожидался обѣдъ.

— Маруся,—остановила ее Елсеѣва,—сядемъ обѣдать, а то все простынетъ.

— Сядемте, за мной задержки не будетъ.

Она сняла шляпку съ вуалеткой, а Марья Трофимовна помогла ей стащить съ себя шубку.

Тонъ у Маруси былъ совсѣмъ не дѣвочки по семнадцатому году. Она привыкла говорить, особенно съ пріемной матерью, кидая слова; такъ вотъ, какъ переговариваются между собою товарки, ученицы изъ одного угла класса въ другой, пріятельницы, оставшіяся наединѣ, или



на прогулкѣ. Марья Трофимовна давно замѣчала, что у ея пріемыша складывается такая манера говорить; иногда останавливала ее, но получала всегда пренебрежительныя отговорки, и давно уже замолчала.

— Вы и вообразить себѣ не можете, — начала еще возбужденнѣе Маруся, садясь за столъ, — какая штука устраивается!

Она положила оба локтя на столъ и начала ѣсть лѣнивыя щи, не отнимая праваго локтя отъ стола.

— Хорошая?—почти съ захватываніемъ голоса спросила Марья Трофимовна.

— Да, не плохая, если все устроится.

— Что же, Марусенька?

Вотъ сейчасъ объявить Маруся, что домохозяинъ, гдѣ она жила въ семействѣ, вдовецъ, еще не очень старый, потомственный почетный гражданинъ, плѣнившись ея лицомъ, прислалъ просить ея руки. А почему же нѣтъ? И не такіе примѣры бываютъ.

Скоро-скоро хлебала Маруся щи, почмокивала при этомъ, и глаза ее задорно и хвастливо взглядывали на Марью Трофимовну.

— Не томи, голубка!—выговорила она.

— Вотъ сейчасъ, не сразу. Ухъ! Даже проголодалась!

И Маруся поспѣшно утерлась салфеткой.

V.

Марья Трофимовна положила руку на столъ, держала въ ней ножикъ и съ тревожной улыбкой вглядывалась въ Марусю.

Сквозь замерзлое стекло низкаго окна протянулся лучъ и упалъ на лицо дѣвушки.

Что-то было въ этомъ лицѣ, да и въ томъ, какъ Маруся сидѣла, перекинувшись вбокъ, какъ она ѣла и нагибалась надъ тарелкой, въ ея возгласахъ и вскидываніи глазами, — было и навсегда останется—тревожное, ускользящее и даже зловѣщее для сердца Марьи Трофимовны.

И она была молода, выросла безъ строгаго надзора, знала нужду, считалась хорошенькой, хотѣлось и ей жить, а вотъ этого чего-то, нынѣшняго, въ ней не было.

И это „что-то“ звучитъ во всемъ... И въ радостной вѣсти, что Маруся нарочно затягиваетъ. Если и удача какая-нибудь, врядъ ли такая, чтобы обрадовала ее...

— Во... мамочка,—Марья Трофимовна слегка покраснѣла отъ ласковаго слова,—вы все сомнѣвались въ моемъ голосѣ, хвастуньей меня звали.

— Когда же? Хвастуньей собственно не называла.

— Да ужъ позвольте-съ: всегда холодной водой на меня брызните... Анъ вотъ и шлепсъ вамъ, шлепсъ!

Маруся расхохоталась. Ея десны, розовыя и твердыя, обнажились и придали лицу выраженіе вызывающее, дерзкое. Его особенно не любила Марья Трофимовна, но никогда не замѣчала этого Марусѣ: „Такъ у ней отъ рожденія,—думала она каждый разъ,—не ея вина“.

— Ну, хорошо,—кратко выговорила она.—Ты покушай порядкомъ, я подожду.

Съ улыбкой своихъ умныхъ глазъ она оглядѣла еще разъ Марусю и стала спокойнѣе ѣсть.

— Вы, мамочка,—начала опять Маруся такъ же возбужденно,—я знаю ужъ... сейчасъ начнете нериничать... закричите...

— Когда же я на тебя кричу?

Маруся звонко положила ножъ съ вилокъ на тарелку, сдѣлала жестъ правой рукой и встала.

— Мнѣ нѣтъ никакого расчета коптѣть въ гимназін.

— Какъ?

Такъ и ждала Марья Трофимовна... Вотъ оно—радостное-то извѣстіе!..

Но она промолчала: только полузакрyla глаза и перестала ѣсть.

— Разумѣется, не къ чему мнѣ теперь коптѣть... (Маруся начала расхаживать по комнатѣ; салфеткой она помахивала)... — Когда мнѣ цѣлый ангажементъ предлагаютъ сразу.

— Ангажементъ?.. — повторила Марья Трофимовна и быстро повернулась въ ту сторону, гдѣ Маруся расхаживала.

— Да-съ, настоящій... И къ посту чтобъ въ трупнѣ быть...

— Маруся... это такъ что-нибудь... пустые розказни... Голосъ у тебѣ есть, я не спору; да училась ты еще мало... И курса не кончила...

— Ну, вотъ, ну, вотъ! — закричала дѣвушка.—Я такъ и знала! И что это за каторжная жизнь!

Салфетка полетѣла на диванъ. Сама Маруся бросилась туда же и уткнула голову въ уголокъ подушки.



— Да ты толкомъ Расскажи, не дури!

Сейчасъ же Марья Трофимовна стало ее ужасно жаль; но она чувствовала, что если она сегодня, вотъ сейчасъ, уступить, Маруся погибла, кто-то ее схватитъ и уведетъ.

Такъ быстро и такъ сильно было это чувство, что сердце у ней въ груди точно остановилось.

— Ну, вотъ,—повторила Маруся. Она не повертывала головы и собралась, кажется, разревѣться.

Ея слезы всегда дѣйствовали особенно на Марью Трофимовну. Сколько разъ, когда она передумывала о своей питомицѣ, стыдила она самой себя, смѣялась надъ собой—и все-таки знала напередъ, что Маруся слезами можетъ сдѣлать изъ нея что хочетъ.

— Полно, полно,—заговорила она съ замѣтно перепуганнымъ лицомъ.

Она встала и, присѣвъ на диванъ, дотронулась рукой до колѣна Маруси.

Та движеніемъ ноги хотѣла оттолкнуть ее.

— Полно,—уже строже, набравшись духу, выговорила Марья Трофимовна.—Пора бы и вѣрить въ то, что тебѣ жизнь забѣдать не желаю... да и не умѣю.

Вскликиванія смолкли. Маруся откинула голову отъ подушки, выпрямилась, поглядѣла боковымъ взглядомъ на Марью Трофимовну, и сейчасъ же лицо ея приняло увѣренный, вызывающій видъ.

— Ученье у меня идетъ плохо,—начала она говорить, точно взрослая сестра малолѣтней. — Голова не такъ устроена... Къ музыкѣ вотъ, къ пѣнью (она говорила пѣнью, а не пѣнію)—другое дѣло. Мнѣ копѣть надо еще года три, коли не попросятъ выйти... Да и не вынесу я такого срама—дылда такая, чуть не подъ двадцать лѣтъ, а въ классѣ оставить еще на годъ, изъ какой-нибудь физики скаустишься...

„Это вѣрно,—думала Марья Трофимовна, схватывая слова Маруси,—не кончить она какъ слѣдуетъ, я давно себя говорю“.

— Вѣдь не въ оперу же тебя зовутъ?—вдругъ спросила она Марусю.

— Въ оперу!.. Куда сейчасъ захотѣли!

— Да ты, Маруся, сама все мечтала... Ничего не хотѣла, какъ въ оперу...

— Мало ли что!.. Глупа была! Да и опера, настоящая... не уйдетъ. Для нея деньги нужны, для ученія.



За границу надо, въ Миланъ... А этакъ и деньгу можно зашибить!..

— Голодна будешь,—перебила ее Марья Трофимовна,—сядь... что ль... этакъ-то все поладнѣе будетъ.

— Не хочу я ѣсть!

— Хоть сладкаго; пирожное есть...

— Ужъ воображаю!

Марья Трофимовна не обидѣлась; да она и привыкла къ такимъ выходкамъ.

Однако, Маруся присѣла опять къ столу, положила себѣ на тарелку кусокъ торта и начала ѣсть, небрежно, съ гримаской. Слезы исчезли изъ глазъ, но щеки оставались съ яркимъ румянцемъ гнѣвнаго волненія.

VI.

Въ разговорѣ вышелъ перерывъ. Маруся не начинала опять о томъ же. Марья Трофимовна продолжала бояться чего-то.

Но Маруся не выдержала.

— Вы думаете, мамаша, что я зря?... Такъ вотъ вамъ въ двухъ словахъ... Одинъ артистъ, здѣсь онъ на время, московскій, слышалъ мой голосъ, сейчасъ далъ депешу туда, въ Москву, антрепренеру, и если я согласна, хоть сейчасъ... на хорошее жалованье...

„Антрепренеръ... Москва... одинъ артистъ... хорошее жалованье...“

Эти слова завертѣлись въ головѣ Марьи Трофимовны.

— Въ оперу?—выговорила она.

— Экъ вы... сейчасъ! Мало ли я о чемъ мечтала. Къ этому, что ли, опять возвращаться!..

— Кто же этотъ артистъ?

— Вѣдь вы не знаете... если я и фамилію скажу... Бобровъ... Всѣ отъ него тамъ въ восторгѣ. Какой баритонъ, въ родѣ какъ теноръ... Въ „Синей бородѣ“ и здѣсь пѣлъ... вѣнокъ ему поднесли.

— Стало-быть, это... въ опереткѣ?

Марья Трофимовна не на что было ходить въ театръ—развѣ въ раекъ, а оттуда она ничего не видѣла, да и задышалась отъ жары. Но театръ она ужасно любила съ дѣтства. Она читала всегда съ удовольствіемъ все, что стоитъ подъ рубрикой „Театръ и музыка“, знала названіе пьесъ, сюжеты ихъ, даже и оперетокъ.

Вотъ она и вспомнила сейчасъ, что „Синяя борода“—



оперетка, и, кажется, она читала на-дняхъ объ этомъ артистѣ Бобровѣ.

Ее схватило за сердце еще сильнѣе. Все для нея стало мигомъ ясно.

Этотъ пріѣзжій опереточный пѣвецъ хочетъ сбить Марусю, подманиваетъ ее, увезетъ съ собою въ Москву, погубитъ ее.

— Маруся!—вырвалось у ней почти со слезами,—Бога ради не дѣлай ты этого...

— Да чего? Чего не дѣлать-то?.. Не дали и досказать.

— Я знаю, я вижу—отсюда...

— Ха-ха! Вижу!.. Какъ же это?

— Доучись! Умоляю тебя!

— Наладили... Коли вы такъ, я слова больше не скажу.

Дѣвушка вскочила и начала одѣваться.

— Куда ты?

Голосъ продолжалъ дрожать у Марьи Трофимовны.

— Есть мнѣ интересъ быть здѣсь. Вы матерью считаетесь, все говорите: „люблю, люблю“; а тутъ счастье мнѣ открывается... Мнѣ, какъ вамъ угодно—Маруся стояла на срединѣ комнаты и застегивала пальто,—а я въ гимназій этой копѣтъ больше не намѣрена. Ничего мнѣ тамъ не добиться. Что я, въ садовницы, что ли, фребелевскія или въ педагогички попаду?.. Много-много что въ бонны!.. Такъ благодарю покорно.

Она присѣла съ озорствомъ и повернула къ двери.

Марья Трофимовна подбѣжала къ ней, обняла, стала удерживать.

— Ну, полно, скажи толкомъ, Маруся, я тебѣ добра...

— Слышала тысячу разъ! Прощайте. Мнѣ нужно.

— Куда же?

— Нужно... Къ знакомымъ... Теперь ужъ пятый часъ, смеркается.

— Да какъ же это, Маруся, — растерянно говорила Марья Трофимовна,—вѣдь ты опять—на цѣлую недѣлю?

— Можетъ, и больше...

— Ну, я зайду...

— Нѣтъ-съ... Ко мнѣ я не могу принимать, у меня и комнаты порядочной нѣтъ. Ужъ отъ однихъ этихъ аспи-довъ-благодѣтелей отдѣлаться, такъ и то благодать.

— Отдѣлаться... Какъ?

— Да такъ же, очень просто! Каждый кусокъ считаютъ, такъ въ ротъ тебѣ и смотрять... Прощайте, что жъ вы меня насильно, что ли, хотите держать?..

Руки опустились у Марьи Трофимовны. Въ звукахъ голоса Маруси было что-то совсѣмъ новое. Такъ прежде она не говорила. Тутъ—мужчина, любовное влеченіе; быть-можетъ, теперь уже и поздно!.. Пытливо и тревожно посмотрѣла она въ лицо Маруси: кровь отхлынула отъ щекъ, лицо злое и зазорное... Никакой связи съ нею въ сердцѣ этой несчастной дѣвочки.

— Богъ съ тобой,—прошентала она, и ей стало обидно за свое разстройство.

Она подавила слезы, повернулась и, не удерживая болѣе свою воспитанницу, отошла къ кровати.

— Прощайте! — звонко, почти съ радостью крикнула дѣвушка и захлопнула за собою наружную дверь.

Сумерки сгущались. Наступила тишина. Марья Трофимовна присѣла на постель и оглянулась. Никогда она еще не знала такой горечи. И тотчасъ же ее подняло съ постели. Она торопливо начала одѣваться, не прибравъ ничего на столѣ... Ей влекло на улицу: она готова была бѣжать вдогонку... Необходимо выслѣдить дѣвочку... Честность, на секунду, возмутилась въ ней...

„Шпіонить за ней? Не шпіонить, а спасти“.

Маруся побѣжала на свиданіе, непременно, такъ должно быть!..

„Надо спасти!“

Въ двѣ-три минуты она собралась и была уже подъ воротами. Замокъ щелкнулъ. Она задумалась и не сразу вышла на улицу.

„А зачѣмъ?—спросила она себя.—Только еще больше терзаній. Пускай идетъ на гибель“.

Но это только промелькнуло. Страхъ за Марусю, упреки себѣ — „допустила, не доглядѣла“ — грызли ее и подталкивали. На послѣдніе деньги взяла бы она извозчика; но, быть-можетъ, и такъ догонитъ.

Вышла она на улицу. Надо взять направо... Марья Трофимовна обогнула угловой домъ, и глаза ея быстро прошлись вдоль всего тротуара.

VII.

Пошелъ уже седьмой часъ, когда Марья Трофимовна попала зрячь на Невскій, на перекрестокъ между Михай-



ловской и Гостинимъ дворомъ. Свѣтъ электрическихъ фонарей заставилъ ее на минуту зажмурить глаза. Она давно не попадала на Невскій и всего разъ, издали, переходя отъ Литейной на Владимірскую, видѣла голубое мерцаніе фонарей, съ дымчатымъ заревомъ, по ту сторону Анничкова моста.

Она не догнала Маруси. Но домой она не вернулась. „А можетъ-быть, гдѣ-нибудь попадется“, — думала она, и внутренняя тревога все росла въ пей. Быстрыми шагами, глядя по сторонамъ, исходила она нѣсколько улицъ и переулковъ. Хотѣла-было броситься туда, гдѣ жила Маруся, да посовѣстилась... Сказать, что зашла такъ, просто?.. Она ужъ чѣмъ-нибудь да выдастъ свою тревогу. Да и не туда убѣжала Маруся. Непремѣнно на свиданіе съ нимъ, съ этимъ опереточнымъ пѣвцомъ. Для Марьи Трофимовны это было несомнѣнно.

И вотъ, когда она, измучившись отъ ходьбы, хотѣла уже тащиться къ себѣ, ей точно въ голову что ударило вмѣстѣ съ мыслью: „на Михайловской улицѣ, около магазина гутанерчевыхъ издѣлій“.

Почему около этого магазина? Она вспомнила, что онъ называется „Макинтошъ“. Да, „Макинтошъ“. Это слово повело за собой и другую подробность. Кто-то, не такъ давно, рассказывалъ ей, кажется, какая-то пациентка (она могла даже сказать: какая) признавалась ей въ своемъ „грѣхѣ“. И „душенька“ вызвалъ ее въ первый разъ къ этому самому „Макинтошу“. Тутъ часто назначаютъ свиданія.

Все это крутилось въ головѣ Марьи Трофимовны. Придерживала она одной рукой салопчикъ и съ оглядкой переходила Невскій. Ноги, въ резиновыхъ высокихъ калошахъ, погружались въ снѣжную кашу улицы цвѣта сухого толокна. Вверхъ и внизъ не смолкала ѣзда—почти что одни извозчики. Часъ шель обѣденный для господъ, а въ театры еще было рано. По тротуару солнечной стороны, въ бѣловато-сизомъ свѣтѣ электрическихъ фонарей, двигалось много гуляющихъ, и разговоры гудѣли. Она начала вглядываться: все больше молодые мужчины, съ бородками, въ родѣ приказчиковъ, не мало и подростковъ, въ солдатскихъ шинеляхъ, въ барашковыхъ шапкахъ, съ приподнятыми цвѣтными тульями. Между ними мелькають, особой походкой, женскія фигуры. На нихъ—нальто съ узкими талиями; высокія шляпки такъ и торчатъ вверхъ,

на иныхъ задорно, на другихъ смѣшно. Марья Трофимовна хорошо знала, что это за женщины. Но не всѣ были такія. Проходили и молодыя дѣвушки, по двѣ, по три, съ кавалерами, видоми скорѣе на барышень похожи, чѣмъ на швей. Онѣ громко разговаривали, смѣялись.

Она повернула въ Михайловскую улицу. Направо будетъ магазинъ резиновыхъ издѣлій. Она была уже увѣрена, что любовныя свиданія назначаютъ всего чаще въ Михайловской: или около Европейской гостиницы, или напротивъ, около магазина „Макинтошъ“. Вотъ и магазинъ. Ей даже стало какъ бы немного совѣстно: точно она сама идетъ на свиданіе.

Народу проходило меньше. Около высокаго подъѣзда въ магазинъ она столкнулась съ брюнетомъ въ скунсовой шубкѣ на отлетѣ и бобровой шапкѣ набекрень. Онъ былъ рослый и лицомъ похожъ на армянина.

„Опъ, опъ!“—прошептала она, и ей захотѣлось остановить его, взять за руку, умолить „Христомъ-Богомъ“ не губить ея дѣвочки. Она и остановилась—было. Прохожіи тоже замялся на ходу: ему было неудобно пройти по тротуару, суженному въ этомъ мѣстѣ.

Марья Трофимовна взглянула на него, чувствуя, что блѣднѣетъ, и сошла съ тротуара, сама дала ему дорогу.

Брюнетъ слегка запахнулъ, поглядѣлъ на нее точно съ вопросомъ—и пошелъ развалистымъ и учащеннымъ шагомъ къ Невскому.

„Нѣтъ, не опъ!“—успокоила она себя.

И сейчасъ же сообразила, что тотъ, актеръ опереточный, врядъ ли носить большую бороду. Актеръ долженъ быть бритый, а у этого борода покрываетъ чуть не полгруды. Посмотрѣла она черезъ улицу долгимъ взглядомъ; прошла имъ по тротуару Европейской гостиницы, стоя все еще около подъѣзда магазина резиновыхъ издѣлій. Ей видно было и внутри воротъ отеля. Газовыя канделябры ярче освѣщали проходящихъ. Промельнуло нѣсколько женщинъ, и въ одиночку, и по-двое. И мужчины шли, съ той стороны, отъ угла Большой Итальянской. Но никто что-то не останавливался, не заговаривалъ; ни одной пары не видно было, похожей на любовное свиданіе.

Тутъ только усталость вдругъ точно подкосила Марью Трофимовну, и вся ея бѣготня показалась ей глупой и жалкой. Она чуть не заплакала на улицѣ.

Вѣжать къ благодѣтелямъ Маруси—безполезно. Дѣвочка



не вернется раньше ночи. Она и прежде уходила от нея, тотчас послѣ обѣда, къ подругамъ; ей часто дарили билеты въ театръ или брали съ собой въ ложу.

Совсѣмъ разбитая, двигалась Марья Трофимовна внизъ по Невскому, ни въ кого уже не вглядывалась, шла съ поникшей головой. Не малодушна она, а теперь ей самой хотѣлось, чтобы кто-нибудь сказалъ ей ободряющее слово; на кого-нибудь опереться бы вотъ въ эту именно минуту, поглядѣть, какъ люди живутъ въ довольствѣ, увѣренные въ себѣ, безъ заботы о завтрашнемъ грошѣ и безъ такихъ жалкихъ волненій.

Поблизости, въ переулкѣ,—квартира ея давнишней пріятельницы Переверзевой, такой же, какъ она, акушерки... Такой же!..

И вся разница въ судьбѣ и жизни этой Переверзевой представилась ей. Учились только вмѣстѣ, а потомъ какое же сравненіе!.. Та и на курсы ужъ поступила молодой вдовой; у ней денежки остались отъ мужа или свое приданое—Марья Трофимовна хорошенько не знаетъ. Практику она себѣ добыла сразу; явилась и любовь, взаимная, на рѣдкость. Правда, „другъ“—не законный мужъ, да она сама не хотѣла. Отъ Марьи Трофимовны у ней секретовъ не было, хотя онѣ и рѣдко видались.

— Старше я его на нѣсколько лѣтъ, — весело говорила она ей, когда Марья Трофимовна, бывало, зайдетъ къ ней, — не удержишь мужчину вѣнцомъ; довольно мнѣ и перваго... тоже чадушко быть. Не хочу я любимаго человека въ кабалѣ держать.

Живутъ они, какъ мужъ съ женой, но на разныхъ квартирахъ, въ одномъ домѣ. Онъ служитъ въ банкѣ, хорошее мѣсто занимаетъ. И оба—такіе веселые, все смѣются, да подшъваютъ, здоровые: она хоть старше его, а кажется ровесницей. Такъ это между ними было ровно: съ поддержкой, со скромностью, при постороннихъ другъ другу „вы“ говорятъ; никакихъ вольностей, никто и не подумаетъ, кому не извѣстно. Какъ мать она его полюбила, и вотъ уже больше десяти лѣтъ съ нимъ нянчится. Онъ студентомъ былъ, бѣдный, хилый, не очень бойкій на ученье. Переверзева ему сейчасъ и мѣсто нашла, и съ пужными людьми свела; глядь, черезъ два-три года онъ уже на трехъ тысячахъ жалованья. Всѣмъ онъ ей обязанъ: не одной карьерой своей—и жизнью. Часто болѣзнями съ нимъ случались, и въ студентахъ, и послѣ. Она его вы-

ходила, на кумысь возила, за границу; а теперь онъ круглый сталъ, точно огурецъ гладкій. И все-то удавалось этой Переверзевой! Практику получила въ хорошихъ семьяхъ, не гнушалась, впрочемъ, и средней руки паціентами, завела у себя и комнаты для роженецъ, а потомъ залу для женской пассивной гимнастики. Не дальше, какъ въ прошломъ году, о Рождествѣ, предлагала она, сама первая, Марья Трофимовнѣ поступить къ ней въ помощницы.

Почему не пошла? Да какъ-то ей не по душѣ эти „пріюты“ для роженецъ. Не то, чтобы она въ чемъ подозрѣвала Переверзеву; только въ такой практикѣ нельзя безъ тайнъ да разныхъ увертокъ... Надо каждую принимать, кто явится да хорошія деньги заплатить... А мало ли кто тутъ бываетъ, шито-крыто? Вотъ въ помощницы по гимнастикѣ не пошла тогда—это великую глупость сдѣлала... А все отчего? Не хотѣлось разставаться со своей квартиркой. Переверзевой нужно было у ней жить,—чтобы всегда наготовѣ. А какъ же Маруся-то? Она придетъ въ воскресенье, или въ другой день прибѣжить, переночуетъ иногда все-таки какъ въ домѣ, къ ней, къ „мамѣ“!.. У Переверзевой она бы стала стѣсняться за свою дѣвочку. Маруся, пожалуй, отрѣзала бы:

— Что это: вы въ услуженіе поступили? Къ вамъ и ходить-то нельзя: въ чужихъ людяхъ живете, угла своего нѣтъ!

Такъ и отказалась, и сколько разъ горько жалѣла. Наверно, она и отъ практики своей многое бы ей уступила: ей самой и дома много работы. При ней можно быть какъ у Христа за пазухой. Развѣ если бы пришлось совсѣмъ ужъ плохо жить! Переверзева не горда, къ ней не совѣстно самой обратиться... Только теперь вотъ, сейчасъ, она ни о чемъ не будетъ просить для себя... Только бы та ей совѣтъ добрый подала, только бы около нея, около ея энергіи и житейской смѣлости взять себя самое въ руки, не грѣшить малодушіемъ, не губить дѣвочки изъ-за своей же постыдной слабости и трусости.

Подходила Марья Трофимовна къ тому переулку, гдѣ жила Переверзева, и ей такъ ярко представлялось ея лицо: круглое, свѣжее, точно подъ лакомъ, темные волосы, тоже съ лоскомъ, мелкія черты, свѣтлокаріе глаза, вся ея плотная, широкая въ кости, рослая фигура, ея обычное, неизмѣнное выраженіе лица, говорящее вамъ:



„Ну, что поинить, падо дѣйствовать, посмотрите-ка на мени!“

И ея домашній нарядный капоть, съ тонкимъ бѣльемъ, даже ея духи припомнились ей...

VIII.

Переверзева занимала большую квартиру, въ первомъ этажѣ, ходъ прямо съ отдѣльнаго подъѣзда.

Марья Трофимовна позвонила, и видѣ двери, аккуратно обитой зеленымъ сукномъ, доска съ фамиліей, особый звонокъ для ночного времени, ящикъ для писемъ и газетъ,— все это такъ шло къ ея пріятельницѣ, такъ ото всего этого пахло дѣльной и бойкой жизнью, хозяйскимъ глазомъ, домовитостью, довольствомъ.

Ей отперла сама Переверзева.

Въ передней стоялъ полусвѣтъ, и Марья Трофимовна не могла сразу разглядѣть ея лицо.

— Вы, Евсеѣва? — окликнулъ ее голосъ Переверзевой.

Онъ ей показался не такъ звонокъ, какъ бывало прежде.

— Я, я,—кратко отвѣтила она и тихо прошла въ дверь.

Онѣ поцѣловались.

— Сколько не были!.. Забыли меня, грѣшно... Раздѣвайтесь, пойдемте ко мнѣ...

Переверзева помогла ей снять салопчикъ и повела ее мимо коридора въ свою половину, изъ двухъ комнатъ: первая—спальня съ большими шкапами, вторая, пониже, широкая комната, полная всякой мебели, картинокъ, вазочекъ, вышиваній, цвѣтовъ, полочекъ и ковриковъ. Въ ней стоялъ запахъ благовоннаго куренья. Лампа обливала свѣтомъ столъ, гдѣ уже приготовленъ былъ чайный приборъ.

— Вотъ кстати и чайку папьетесь. За дѣломъ пожаловали, или такъ, поглядѣть, совѣсть зазрила, узнать: жива ли, молъ, Авдотья Николаевна?

Переверзева говорила скоро, попрежнему, тѣмъ же ласковымъ тономъ, но Марья Трофимовна успѣла уже оглядѣть ее...

— Да что это вы?—спросила она нерѣшительно.— Никакъ больны были... Какъ похудѣли... Узнать нельзя...

— Всяко было! — отвѣтила Переверзева и кивнула головой на особый ладъ. — Садитесь... Сейчасъ Марюша и самоварчикъ принесетъ. Вы какъ?

— Да... что я,—начала остановками Марья Трофимовна.—Браните меня... Дѣйствительно, около года глазъ не казала... И вдругъ вотъ захотѣлось... Когда...

Она не договорила. Еще одно слово, и она разревется; а этого она не любила, стыдилась слезъ и знала, что это ей „нейдетъ“—даже говорила про себя: „не къ рождѣ“.

Удержалась она, поглядѣла на Переверзеву, и ей сердце ёкнуло, не за себя одну, не за свою только тревогу, а и за то, что она прочла на этомъ лицѣ.

Не то одно, что Авдотья Николаевна вся какъ-то по-сохла и кожей потемнѣла; а глаза стали другіе. Ротъ улыбается, и въ то же время глаза сухіе и вдавленные.

„Не та Переверзева, не та“,—подумала Марья Трофимовна, и даже ея домашній распахной капотъ, шитый шелкомъ, смотрѣлъ иначе.

— Про меня что,—заговорила она,—вы про себя скажите... Навѣрно были больны?

Спросила она съ большимъ участіемъ. Переверзева поглядѣла на нее и потрепала по плечу.

— Спасибо. Вы такая же добрая душа... Всяко было, Евсеѣва... Сначала тифецъ, потомъ внутри нарывъ образовался... умирала три мѣсяца... отлежалась, на кумысъ была, въ Крымъ возили... Вотъ видите, ничего. Дьявольское у меня здоровье... Только не та ужъ я... Вы, я думаю, не узнали?... Совсѣмъ старуха.

— Гдѣ же...

— Да я объ одномъ и прошу Господа Бога: на старушечье положеніе перейти.

Въ голосѣ Переверзевой зазвучали ноты, какихъ Марья Трофимовна никогда не слыхала у нея.

— Что же такъ?—чуть слышно спросила она.

— Вы не знаете, голубчикъ, я вѣдь теперь одна, какъ перстъ,—протянула Переверзева.

Горничная вошла съ самоваромъ. Переверзева начала мыть чашки.

Съ минуту онѣ обѣ молчали.

— Какъ перстъ... Вы что на меня смотрите?.. Такъ спокойнѣе...

Бѣлые ея пальцы поворачивали чашку въ водѣ и обтирали ее быстро и нервно.

— Неужели Леонидъ... такъ вѣдь, кажется? --- заговорила Евсеѣва почти шопотомъ...

Ей вдругъ страшно стало выговорить слово „скончался“.



Потомъ она взглянула на цвѣтной капоть Авдотьи Николаевны и подумала: „Она бы въ черномъ ходила“.

— Женился! — вскричала со смѣхомъ Переверзева и стала еще быстрѣе мыть и перетирать чашки.

— Какъ же? — вырвалось у Марьи Трофимовны. У ней и въ горлѣ пересохло. — Вѣдь онъ вами и живъ сталъ...

Она не могла удержаться отъ усмѣшки и неучтиваго тона этихъ своихъ словъ.

— Мало ли что, милая!..

И тутъ Авдотья Николаевна оставила мытье чашекъ и рассказала ей все: какъ отъ нея скрывали свое ухаживанье, а потомъ къ ней же обратились, чтобы устроить сватовство; она же должна была себя за „тетку“ выдавать; какъ потомъ предлагали ей что-то въ родѣ „отступного“, а послѣ вѣнца — она и посаженной матерью у него была — ее черезъ недѣлю же уложилъ тифъ, а тамъ нарывъ, лѣчение, развѣзды... И теперь — одиночество полное, безповоротное, послѣ пятнадцати лѣтъ житья „душа въ душу“.

Марья Трофимовна слушала подавленная. Даже ни одного слова не нашлось у нея ободряющаго...

— И вѣдь любить ее! — вскрикнула вдругъ Переверзева.

Рассказъ свой она вела съ улыбкой, даже шуточно, только изрѣдка пожиметъ плечами или сдѣлаетъ движеніе кистью руки; а тутъ вдругъ голосъ задрожалъ, дернуло углы рта, глаза покраснѣли сразу...

— Любить! Души не чаешь!.. А она хуже моей Марюши... Ни лица, ни образованья... ни приданаго большаго... Ребеночекъ родился. Вотъ что!.. Дѣтолюбіе, видите ли!..

И она засмѣялась.

— Ужъ эту онъ не бросить, — закончила она. — Вотъ какое дѣло!.. Жить нужно, Евсева, руки на себя наложить я не подумала: чего-то у меня нѣтъ для самоубійства, а смерть этакихъ, какъ я, не беретъ!.. Не хотите ли вареньица? Какими тутъ утѣшеніями разведешь такое горе?

— Вамъ только захотѣть, — заговорила Марья Трофимовна, — можете замужъ выйти... Найдется человѣкъ, оцѣнить...

— Спасибо, голубчикъ, спасибо! Отставного провіантмейстера съ подагрой, что ли?.. И дѣло-то мое мнѣ на половину опостылѣло... Къ веснѣ я квартиру сдать, ком-

нать держать не буду для роженицъ. Гимнастику удержу... больше для себя...

Она помолчала и заговорила со смѣхомъ:

— А то меня задушить, параличъ хватить. Что за радость калѣкой оставаться? Сразу не пришибетъ такую, какъ я... Вотъ!..

Свое горе куда-то ушло у Марьи Трофимовны. Такъ съ ней всегда бывало. Передъ ней билась живая душа, рапенаая на смерть... Ужъ Переверзевой не найти такой второй привязанности. Только ея желѣзная натура будетъ, по привычкѣ, выполнить обычный свой обиходъ. А на сердцѣ смерть.

Какъ-то у ней ротъ не раскрывался, чтобы начать жаловаться на свою Марусю, тревожиться, просить совѣта.

— Какъ же это?..—повторяла она, любовно оглядывая Переверзеву, и рука ея дотронулась до круглаго плеча акушерки.

— Ужъ если тоска очень заберетъ, возьму на воспитаніе дѣвчонку какую ни на есть, вотъ такъ, какъ вы сдѣлали... У меня заработки есть... Быть-можетъ, хоть тутъ не выйдетъ такого... водевиля...

Хочетъ взять приемыша. Но вѣдь дѣвочка-то можетъ оказаться хуже Маруси!.. Надо сейчасъ рассказать Авдотѣ Николаевнѣ, съ чѣмъ она сама шла сюда, какія радости видить она отъ своей приемной дочери, излиться, попросить совѣта, самое предостеречь...

Но Марья Трофимовна молчала. Она только разстроить Переверзеву! Жаловаться на Марусю, показывать свою тревогу—это значить пугать ее, воздерживать! А у ней, вѣдь, только, поди, и осталось, что эта надежда: взять на воспитаніе дѣвчонку, вызвать въ себѣ материнство, начать опять нянчиться, какъ она нянчилась съ своимъ „Телемъ“...

„Нѣтъ, я ничего не скажу... послѣ... послѣ“...

Такъ ничего и не сказала. Когда Переверзева сама перевела разговоръ на ея дѣла, на практику, на Марусю, она отдѣлалась шуточками... Ей стало стыдно заикнуться даже о томъ: какъ она бьется среди этихъ тревогъ за свою дѣвчонку, какъ плохо идетъ практика, какъ впереди ничего, кромѣ богадѣльни... Да и туда попадешь ли?..

— Пропадете опять? — сказала ей на прощанье Переверзева.

— Ваши гости!.. — шутливо отвѣтила Марья Трофи-



мовна и пошла отъ нея такъ, какъ будто она заходила напиться чайку съ вареньемъ и погрѣться у самовара.

IX.

Цѣлую недѣлю провела Евсеѣва въ тревогѣ. Маруся ускользала отъ нея. Придешь въ послѣобѣденное время—ей скажутъ: барышня ушли. Она сидитъ-сидитъ до десяти часовъ—Маруся не возвращается.

Въ одно изъ такихъ посѣщеній вошла въ комнатку, гдѣ она дожидалась, сама барыня. Она первая стала спрашивать ее про Марусю и замѣтила, что „такъ молодой дѣвухкѣ вести себя нельзя“, намекнула на то, что „если такъ пойдетъ дальше“, то они ее дольше держать у себя не будутъ. Марья Трофимовна не выдержала — расплакалась. Барыня стала ей выговаривать: какъ она такъ слаба, что не имѣетъ никакого „нравственнаго вліянія“ на свою пріемную дочь. Видно было, что этимъ „благодѣтелямъ“ Маруся сильно надоѣла, и они ее, все равно, попросятъ удалиться.

— Скажите мнѣ, — убитымъ голосомъ спросила Марья Трофимовна, — развѣ вы думаете, что она погибла?

— Это вамъ надо знать, а не мнѣ, — безгласно отвѣтила ей барыня и вышла.

Осталась Марья Трофимовна одна въ комнаткѣ Маруси, сѣла на ея кровать и такъ просидѣла больше двухъ часовъ: свѣча вся почти догорѣла...

Куда дѣвались ея шуточка, ея бодрость... Чувствуетъ она, что дѣвочка ея уже „погибла“ или погибнетъ, какъ только останется на волѣ, уѣдетъ отсюда въ Москву. И она безсильна. Что она можетъ сдѣлать? Еле-еле сколачиваетъ она платить за ученіе въ гимназію. Если такъ плохо пойдетъ практика въ августѣ, — нечего и думать заплатить за полугодіе. Здѣсь Марусей тоже тяготятся... Взять къ себѣ... Она сбѣжитъ, непременно сбѣжитъ. Просто, возьметъ да и очутится въ какомъ-нибудь кафе-шантанѣ, или хористкой. Чѣмъ больше она думаетъ, тѣмъ бесполезнѣе кажется ей всякій запретъ, всякая борьба.

Одного страшится ея сердце: потерять совсѣмъ Марусю... Что же сдѣлать... Такая натура у дѣвочки: кровь играетъ, любовь возьметъ свое не нынче — завтра... Она уже чувствуетъ, что готова все простить, только бы не совсѣмъ потерять ее, не остаться „какъ перстъ“, какъ Перевезева!..

Марья Трофимовна и не замѣчаетъ, что било уже двѣнадцать. Сейчасъ догоритъ свѣчка и запылаетъ бумажка...

— Вы тутъ?

Маруся окликнула ее и, въ палъто, подошла къ ней на кровать, обняла и поцѣловала.

— Извини... поздно...—начала какъ бы оправдываться Марья Трофимовна.—Очень ужъ я соскучилась.

И слезы показались у ней на рѣсницахъ. Совсѣмъ не то хотѣла она сказать. Надо было подавить свою слабость, выказать характеръ... Гдѣ!..

— Вы видѣли ту... снафиду? — шопотомъ спросила ее Маруся и кивнула головой въ сторону двери.

— Она вошла... Маруся... она тебя...

— Знаю! — почти крикнула Маруся, легла поперекъ кровати и вскинула ногами...—Отлично, что вы пришли... Мочи моей нѣтъ!.. Они воображали изъ меня изъ родѣ бонны сдѣлать... съ дохлой ихъ дѣвчонкой хороводиться... Я только не хотѣла, мамочка, васъ разстраивать; а вотъ уже больше недѣли эти искаріоты меня всячески пыряютъ... Мочи моей нѣтъ!.. Завтра меня здѣсь духу не будетъ...

Маруся вскочила и каблукъ ея застучали по полу.

— Потише, ради Христа,—удержала ее Марья Трофимовна за рукавъ.

— Не выгонять, небось, теперь, почью!..

— А ты какъ знаешь?..

Сейчасъ же припомнила она Марусѣ, какъ, года два назадъ, какіе-то господа выгнали, ночью, на дачѣ, гувернантку, а она взяла да и утопилась тутъ же въ Невѣ.

— Я не утоплюсь! — вскричала Маруся, и тутъ только сняла шляпу.—Ну, мамочка, васъ Самъ Богъ прислать... Воля ваша—я не могу такъ жить... Вотъ свѣча сейчасъ догоритъ, а тѣ аспиды больше одной на три вечера не дають... Растабарывать намъ долго нельзя... Вы обо мнѣ соскучились... Вы у меня добрая...

Послѣдній слѣдъ строгости растаялъ въ душѣ Марьи Трофимовны.

— Какъ же ты... Господи?..—чуть слышно прошептала она.—Маруся... чѣмъ же мы съ тобой?..

Она не договорила. Стыдно ей стало сознаться въ своей крайней бѣдности; Маруси она не прокормить, развѣ въ долги надо войти неоплатные.



— Прощайте, мамочка!.. Впотьмахъ нельзя же такъ... Я спать хочу; а завтра все, все узнаете. Я къ вамъ переѣду всего на три-четыре дня... Вы не бойтесь. Деньги у насъ есть...

Она наклонилась къ уху Марьи Трофимовны и повторила:

— Есть!

— Какъ, отъ кого?—съ ужасомъ выговорила Евсеѣва.

— Задатокъ.

— Задатокъ?

— Да полно вамъ!.. Точно я украла... Я теперь — артистка. Вотъ всю недѣлю я хлопотала... Тоже вѣдь не сразу; а теперь... задатокъ.

Рукой она ударила по правому карману пальто. Она еще не снимала его.

„Кончено, кончено все... — про себя шептала Марья Трофимовна. — Эти деньги... эти деньги...”

Она не сомнѣвалась, что „деньги эти—цѣна гибели ея дѣвочки“. Кто же дастъ такъ?.. Негодовать, выходить изъ себя уже поздно, да она и слишкомъ была разбита...

Свѣча, въ самомъ дѣлѣ, догорѣла. Надо идти...

Она встала, беззвучно поцѣловала Марусю и даже ничего не сказала на прощанье. Машинально пробралась она мимо кухни, гдѣ кто-то уже храпѣлъ, и тогда только вспомнила, что у ней въ карманѣ коробка длинныхъ восковыхъ спичекъ... Маруся отворила ей дверь на заднюю лѣстницу; она спустилась со спичкой въ рукѣ и на улицѣ только потупила ее. Все это сдѣлалось какъ во снѣ. Одно она чувствовала и помнила: Маруся будетъ у ней завтра ночевать, Маруся съ ней ласкова; у ней есть дочь; она не одна какъ персть...

И „задатокъ“ вылетѣлъ у ней изъ головы. Только что она пришла къ себѣ, какъ за ней приближали къ роженцѣ. Она не успѣла даже ничего захватить съ собою—такъ ее торопила маленькая дѣвочка, которая дрогла подъ дырявымъ платкомъ... За эту ночную помощь Марья Трофимовна получила три двугривенныхъ и нѣсколько пятаковъ.

X.

И все потомъ вышло такъ, какъ хотѣла Маруся. Съ тѣхъ поръ протянулось три, больше — четыре долгихъ



мѣсяца, а Марья Трофимовна все спрашиваетъ себя, и ночью, засыная, и утромъ, только что встанетъ:

„Какъ я ее отпустила?“

Такъ и отпустила, и провожала на желѣзную дорогу, крестила, благословляла, писала ей каждую недѣлю, ждала ей писемъ съ замираніемъ сердца. Эта дѣвочка сдѣлалась ей еще дороже, какъ только паровозъ умчалъ ее въ Москву. Тогда только поняла Марья Трофимовна—чего она лишилась, какъ ея жизнь потускнѣла...

Маруся, когда уѣзжала, говорила ей: •

— Ну, мамочка, вамъ теперь все легче будетъ. Вѣдь я вамъ хоть и не больно сколько, а все-таки стоила... У меня мое жалованье будетъ. Можетъ, когда попаду на настоящее амплуа, такъ и васъ выпишу, и не нужно вамъ будетъ гадостями вашими заниматься.

Она всегда называла ея дѣло „гадостями“.

И слова Маруси были ей пріятны. Она, сквозь слезы, улыбалась ей и даже раза два отвѣтила на ея смѣхъ, на дурачества и ужимки. Обѣ онѣ насмѣялись надъ какой-то барыней въ допотопномъ салопѣ.

Задатокъ, что такъ ужаснулъ Марью Трофимовну въ комнаткѣ у Маруси, уже не пугалъ. Она вѣрила всему, что ей говорила Маруся. Тотъ пѣвецъ, что такъ страшенъ былъ, что представлялся соблазнителемъ, выходилъ, по разсказу ея, добрымъ малымъ. Онъ ей выхлопоталъ ангажементъ на маленькія рольки, прямо на жалованье, но самъ уѣхалъ сейчасъ же въ Москву, доигрывать зимній сезонъ...

— Маруся! Маруся!—только повторяла Марья Трофимовна и не могла ее начать допрашивать, какъ на исповѣди.

Но ей не вѣрилось, что ея дѣвочка уже „погибла“. Вѣдь не даромъ у ней житейскій опытъ. Нѣтъ, у Маруси лицо и усмѣшка дѣвушки, еще не знавшей грѣха... Ну, можетъ-быть, дошло до подѣлуевъ... Марья Трофимовна вспомнила свою первую любовь, въ Москвѣ, двадцать лѣтъ назадъ... Вѣдь тоже могло кончиться грѣхомъ, однако не кончилось — и она дѣвушка, хоть всѣ ее и считаютъ вдовой.

Да, всему она вѣрила, слушая Марусю. Та, въ день отъѣзда, обняла ее крѣпко-крѣпко, всплакнула и вдругъ, точно спохватилась, говорить:



— Вы, вѣдь, мамочка, безъ копейки сидите... Возьмите у меня хоть красненькую.

Она взяла. И ей не было стыдно, а, напротивъ, пріятно, гордость какую-то она почувствовала: вотъ и моя Маруся зарабатываетъ деньги и со мной дѣлится.

Послѣ, черезъ мѣсяцъ, все это она обсудила и ей казалось ея поведеніе такимъ глупымъ, пошлымъ, преступнымъ, ужаснымъ!.. А всего больше глупымъ. Лежитъ она въ кровати и все перебираетъ: какъ она глупа была, безжалостно смѣется надъ собою... Вѣдь знала же она, что за Марусей съ дѣтства водилось: прилыгать, похвалиться, а то такъ и цѣлая исторія сочинять. Съ годами оно не проходило. Одно было, кажется, вѣрно, что ангажементъ она получила; да и то, навѣрное, не на маленькія роли, а хористкой; и не на шестьдесятъ рублей въ мѣсяцъ, а много на тридцать. И какъ только Маруся попала въ Москву, ничего отъ нея нельзя было узнать толкомъ. Сначала написала довольно большое письмо о томъ, какъ ее слушалъ антрепренеръ, о которомъ она выражалась, что онъ „магъ и волшебникъ“, — и остался ея голосомъ очень доволенъ, адреса квартиры не дала, а просила писать прямо въ театръ. Потомъ шесть недѣль прошло — ни одной строчки.

Настрадалась Марья Трофимовна, тосковала выше всякой мѣры, похудѣла, стала тяготиться практикой, сидѣла по цѣлымъ днямъ въ плохо протопленной комнатѣ и гадала; а надъ гаданьемъ она всегда смѣялась. Думала она обратиться къ антрепренеру, или къ этому цѣвцу, тенору или баритону; имя его она помнила изъ рассказовъ Маруси. Однако, ни того, ни другого не сдѣлала. Робость на нее напала, небывалое малодушіе. И съ каждымъ днемъ все нестерпимѣе хотѣлось видѣть свою дѣвочку, приласкать ее, услышать ея смѣхъ, полюбоваться на ея стройный станъ. Если бы Маруся бросила ей хоть одно слово: „пріѣзжайте, мамочка“ — она бы все распродала, поселилась бы у ней хоть въ кухнѣ, готовить бы ей стала, бѣлье стирать...

Она признавалась сама себѣ въ этой страсти къ своему пріемышу, не хотѣла лгать передъ самой собой, сознавала, что это постыдно, что ея дѣло — святое дѣло: въ ея услугахъ нуждаются бѣдняки, приниженные и обойденныя жизнью, какъ и она сама. Все это представлялось ей честной головѣ, и сердце ея откликалось на такія мысли, и



краска вдругъ выступить на щекахъ, а все-таки она не могла жить безъ Маруси.

Послѣ шестинедѣльнаго молчанія Маруся прислала почтовую карту: была нездорова, а теперь, постомъ, много работы на репетиціяхъ къ весеннему сезону—больше ничего.

Сто разъ перечитывала Марья Трофимовна эту карту, всю въ штемпеляхъ, написанную блѣсоватыми чернилами. Была больна? Чѣмъ? Ея воображеніе приводило ей все самое худшее... Ужъ не въ „такомъ“ ли она положеніи? Развѣ она признается теперь, на волѣ, опереточная хористка... Хоть жива! И слово „жива“ все собой прикрывало и искупляло. Только бы увидать ее... Но когда?

Этотъ вопросъ началъ глотать сердце Марьи Трофимовны. Она не могла оставаться такъ, по шести недѣлямъ, въ неизвѣстности... Это—выше ея силъ.

Отчего бы ей и не переѣхать въ Москву? Вѣдь Москва—ея родной городъ. У ней найдутся тамъ подруги, даже и родственники должны быть... Она училась въ Петербургѣ—хорошо училась; на новомъ мѣстѣ, гдѣ-нибудь въ купеческомъ „училищѣ“, не трудно найти практику, особенно такой неприхотливой, какъ она.

Эта мысль уже не покидала ее съ тѣхъ поръ. Но она не посмѣла написать Марусѣ, даже намекнуть ей. Только напугаешь. Зачѣмъ? А вотъ, къ веснѣ, продать свою рухлядь и прямо пріѣхать, какъ будто поглядѣть на нее. Потомъ и остаться.

Еще мѣсяцъ промель безъ писемъ отъ Маруси. Постъ уже позади; Оомина недѣли. У Марьи Трофимовны набралось такъ много визитовъ, что она и не взвидѣла, какъ пролетѣла Святая. Письмо Маруси, уже не на картѣ, а на двухъ листкахъ—всю ее всколыхнуло. Рѣзкія жалобы на все: и на театральные порядки, и, главное, на мужчинъ. Такъ писать можетъ только страстная дѣвочка, обманутая или уже наполовину брошенная.

Этотъ пѣвецъ, разумѣется, бросилъ ее, можетъ, и надругался, и сталъ преслѣдовать. Мало ли ихъ тамъ, въ хорѣ, смазливыхъ? Но такая, какъ Маруся, не снесетъ. Она отравится, да и его зарѣжетъ сначала. Двѣ ночи напролетъ не спала Марья Трофимовна. Все ярче представлялись ей картины: точно она сама совсѣмъ брошенная, опозоренная дѣвушка. И не смѣшно ей на себя. Лихорадка кака-то особенная бьетъ ее. Письма-то не могла



въ отвѣтъ написать — въ первый день; а потомъ, какъ сѣла, такъ на двѣнадцати страницахъ все умоляла Марусю признаться, что такое вышло, слезы капали на бумагу, руки еле ходили отъ волненія, и все-таки она не могла кончить сразу этого письма: такъ у ней выливалась душа потокомъ возгласовъ, пѣжныхъ словъ и даже заклинаній.

Еще недѣля—нѣтъ отвѣта. Марья Трофимовна депешу — и на депешу никакого отклика. Телеграфировать антрепренеру или режиссеру? Но про кого? Вѣдь Маруся не написала ей даже подъ какой фамиліей она играетъ; сказала только вскользь, что у ней будетъ „чудесная фамилія“.

Въ четыре дня распродала Марья Трофимовна все до послѣдней кадушки—купили старьевщики со Щукина, и какъ она ихъ не усовѣщивала, больше девяноста трехъ рублей не получила. А отъ Маруси—ничего.

Пахло весной, когда она прощалась глазами съ Петербургомъ изъ окна вагона дешеваго пассажирскаго поѣзда. Городъ уже отошелъ въ дымчатую даль, а она все еще искала его затуманеннымъ взглядомъ. Никуда не ѣздила она больше десяти лѣтъ, даже и лѣтомъ: разъ была въ гостяхъ въ Царскомъ, да въ Петергофѣ раза два. Теперь только, въ вагонѣ, что-то подступило ей къ сердцу: жалко этого города, до слезъ жаль и всѣхъ, съ кѣмъ дѣло сблизило ее: всѣхъ дешевыхъ и даровыхъ пациентокъ, мелюзги, голыдбы въ разныхъ углахъ и концахъ Петербурга. Связь эту она еще больше чувствовала тутъ, сидя на деревянной скамейкѣ, среди сѣренькаго набора пассажировъ третьяго класса. Но вѣдь завтра она увидитъ, разыщетъ свою Марусю.

А вдругъ ея и слѣдъ простылъ? Марья Трофимовна холодѣла, растерянно озиралась, готова была схватить за руку свою сосѣдку-старуху, повязанную по-бабьи, и начать ее спрашивать: какъ она думаетъ, вѣдь Маруся не можетъ же такъ стинуть?..

Эти приступы цѣмящей тоски схватывали нѣсколько разъ, въ родѣ перемежающейся лихорадки, и, только убаюканная сильной качкой стараго вагона, свалилась она головой на подушку и заснула въ неудобной позѣ...

И пробужденіе ея было такое же тревожное. До Москвы еще далеко. Поѣздъ идетъ цѣлыя сутки. Съ разсвѣта до прихода прошло еще чуть не цѣлый день. У



ней и книжки не было съ собой. Свои, медицинскія, она уложила въ сундучокъ, куда вошло почти все ея добро. Деньги, около шестидесяти рублей (пришлось раздать по мелкимъ долгамъ больше десяти рублей), зашиты въ замшевомъ мѣшочкѣ на груди. И мѣшочекъ этотъ, ночью, беспокоилъ ее. Она то и дѣло просыпалась, схватывала себя за грудь, нащупывала, тутъ ли онъ, какъ бы не срѣзали. Она читала въ газетахъ, какъ нынче „шалаютъ“ въ вагонахъ, и всего больше въ вагонахъ третьяго класса. Окуриваютъ чѣмъ-то, а то и просто срѣзжутъ во время перваго, крѣпкаго сна.

Откуда у ней эта нервность явилась? Себя не узнаетъ. Давно ли она ничего-то не боялась; жила одна, въ подвальной квартирѣ. Какъ легко было забраться къ ней и самое зарѣзать. Даже дворникъ нерѣдко говаривалъ ей:

— Смѣлая вы, сударыня.

А она ему всегда въ отвѣтъ:

— Обманутся, Игнатюшка, господа мазурики. У меня всего имущества: крестъ да пуговица, какъ у служивыхъ.

Съ полудня въ вагонѣ началось движеніе, укладка, охорашиванье, завертыванье; стали подъѣзжать къ Москвѣ.

— Скоро и Химки!—сказалъ кто-то вслухъ.

Это слово „Химки“ пропизало Марью Трофимовну. Она даже покраснѣла.

Химки!.. Давно ли ѣздила туда... на Петровъ день. Не въ самыя Химки, а подальше, гдѣ еще такіе красивые пригорки, лопцины, имѣнье есть съ паркомъ? Соколово, кажется, прозывается? На ней было голубое платье цвѣточками, крестная подарила... Ее подъ руку повелъ, въ гору, къ усадьбѣ...

Неужели все это кануло? И этого человѣка уже въ живыхъ нѣтъ. Ей не вѣрилось, что съ того времени прошло больше пятнадцати лѣтъ. И всѣ двадцать... Что за нужда... Химки! Вотъ они существуютъ, и зелень кругомъ, сейчасъ и Москва! Прорѣзалъ поѣздъ Сокольники... Опять сколько тутъ пережито...

Марья Трофимовна обернулась, встряхнула свое пальто, надѣла шляпку, пожалѣла, что не вышла на станціи умыться—за это больше пятачка не возьмутъ—и ее сразу, вдругъ, освѣтила увѣренность, что Маруся тутъ, здорова, смѣется, а то письмо—такъ, минутное раздраженіе; что



займутъ онѣ въ чистенькой квартирѣ, гдѣ-нибудь на Самотекѣ, или повыше тамъ, около Екатерининскаго института. Съ садикомъ можно найти двѣ комнатки. И въ театрѣ ей не далеко бѣгать. Вѣдь театрѣ въ саду, оттуда рукой подать.

Разомъ вернулось къ Марьѣ Трофимовнѣ знаніе Москвы; точно она вчера еще ходила по всѣмъ этимъ мѣстамъ. Самотека, а тамъ и Цвѣтной, гдѣ въ дѣтствѣ она бѣгала, и балаганы гдѣ стояли, и пахло такъ резедой и гвоздикой. Тамъ и переулки, ея кровные переулки, и Срѣтенка, и Сухаревка—все такъ и заройлось въ ея головѣ.

XI.

„Куда, однако, пристать? — подумала Марья Трофимовна, подѣзжая къ станціи: никого вѣдь у нея не осталось въ Москвѣ, къ кому можно прямо вѣзхать. И въ перепискѣ она ни съ кѣмъ не состояла.—Надо—въ номера!“

Но сердце у нея опять вздрогнуло, когда поѣздъ вошелъ подъ желѣзныя стропила дебаркадера. Затерялась было она въ толпѣ; кто-то почти сбиль ея съ ногъ; артельщики забѣгали въ длинномъ хвостѣ пассажировъ съ котомками, узлами, рогожами, кулками, подушками. Мало кто попользовался ихъ услугами. Навѣрно половина пассажировъ была все простой народъ и даже цѣлая вереница мужиковъ, рабочихъ съ инструментами въ котомкахъ.

Безъ артельщика Марья Трофимовна растерялась бы совсѣмъ. Ея петербургская дѣльность и бывалость исчезли отъ душевнаго волненія. Даже руки вздрагивали, когда она отдавала артельщику одинъ изъ своихъ узловъ.

— Багажъ имѣется?—бойко спросилъ онъ ее.

Ей даже досадно стало, что тамъ еще сундучокъ есть въ багажѣ. Сейчасъ бы вотъ положить все, что было при ней въ вагонѣ, и летѣть... А теперь надо вѣзжаться въ гостиницу... Очень ей этого не хотѣлось...

Она посоветовалась съ артельщикомъ. Выдался толковый малый.

— Вамъ этого не надо, сударыня. Багажъ вы оставьте,—сундучокъ, что ли... тамъ, въ багажномъ; у васъ квитанція есть; это все у меня. Вотъ и номеръ мой—двадцать девятый.

— Сохранно будетъ?—спросила его, кротно улыбаясь, Марья Трофимовна.

— Помилуйте... Вѣдь мы достояньемъ отвѣчаемъ.

Она улыбнулась снова. Слово „достояніе“ успокоило ее своимъ звукомъ.

У крыльца галѣли легковые извозчики, совали ей жестянки. Артельщикъ помогъ ей и тутъ, приторговавъ ей за два двугривенныхъ на Самотеку. Ей, послѣ петербургской ѣзды, и это показалось очень дорого.

Два узла она все-таки же взяла съ собой „на всякій случай“; оставила у артельщика только подушки да мѣшокъ съ разнымъ „дрянцомъ“, какъ она сама называла.

Пролетка, съ откиднымъ верхомъ, тряская и высокая, по-московски, подбрасывала ее и трещала по разлѣзшейся мостовой. День стоялъ все такой же свѣтлый и теплый, какъ и утромъ былъ; даже потеплѣе стало. Весна давала о себѣ знать не такъ, какъ въ Петербургѣ, въ ту же пору. И деревья, здѣсь и тамъ, зеленѣли прямо надъ заборами.

Мѣста около московской машины мало измѣнились—туда, вверхъ, къ Краснымъ воротамъ и правѣе, куда извозчикъ повезъ Марью Трофимовну, по направленію къ Самотекѣ. Кажется ей, что вотъ этотъ длинный, извилистый переулочекъ совсѣмъ тотъ же. Та же грязноватая и изрытая мостовая, бани, портерня, балашни съ паромъ изъ подвальныхъ оконъ, мастеровые попадаются съ испитыми лицами, въ халатахъ, въ стоптанныхъ опоркахъ на босую ногу; такъ же продаются на лоткахъ „кокурки“ на постномъ маслѣ, и по всему переулку пахнетъ постнымъ днемъ. Только людиѣе стало, больше треску, гораздо больше всякихъ вывѣсокъ шивныхъ и трактирныхъ заведеній.

Послѣ Петербурга, все погрязнѣе, шумно, нараспашку; на улицѣ живутъ, какъ у себя въ комнатахъ. Между двумя перекрестками Марья Трофимовна насчитала до двадцати мужчинъ и женщинъ безъ шапокъ и съ непокрытыми головами... Вольнѣе, хоть и съ гряздой, и пестрѣе; такъ изъ каждой харчевушки или мучного лабаза и ползетъ особый какой-то, свой, московскій духъ...

Ей стало опять радостно на душѣ. Далеко ли до Самотеки? Вотъ уже и Цвѣтной бульваръ. Она взглянула влѣво: все новые дома; красныя двѣ глыбы,—одна совсѣмъ круглая.



— Это панорама,—пояснилъ ей извозчикъ,—а то—Саломонскаго циркъ: по зимамъ конное ристаніе бываетъ.

Марья Трофимовна во второй разъ широко улыбнулась слову. Артельщикъ пустилъ слово „достоянье“, а этотъ вотъ паренекъ „ристаніе“ гдѣ-то подцѣпилъ.

— Это что же такое, голубчикъ?—почти вскрикнула она, когда пролетка проѣхала дальше и поровнялась съ мѣстомъ, гдѣ еще недавно стоялъ Самотецкій прудъ.

— Самотека!—отвѣтилъ весело извозчикъ.

— Какъ Самотека? Это садъ какой-то... Совсѣмъ другое мѣсто...

Извозчикъ обернулъ къ ней щекастое лицо и показалъ всѣ свои бѣлые зубы.

— Знать не признали, сударыня? Или не здѣшняя вы?

— Да когда же это все передѣлалось?

— Первый годъ такъ въ настоящемъ видѣ... А заваляли прудъ давненько ужъ!..

Узнать нельзя! Марья Трофимовна и жалко стало прежняго, заглохшаго, развороченнаго оврага, и радостно за новую прогулку... И ея старушка-Москва охорашивается...

Дальше идутъ тоже все новыя аллеи, цѣлый молодой паркъ. Она разспросила обо всемъ извозчика. Шутка! Такое гулянье: тянется вплоть почти до института. Они уже ѣхали по лѣвой сторонѣ Самотеки, гдѣ тоже идетъ бульваръ. Вотъ сейчасъ и подъемъ будетъ въ гору, на Божedomку. Тутъ какъ будто все по-старому осталось. Она и садъ этотъ отлично помнитъ. Ее брали дѣвочкой-подросткомъ раза два. Зато какая радость была! Тогда гремѣлъ тутъ Морель, и оркестръ Сакса, и на пруду брильянтовые фейерверки жгли; цѣлыя морскія сраженія давались. И цыганъ она тутъ въ первый разъ въ жизни слышала на эстрадѣ... Не слыхала она до того и французскихъ шансонетокъ, и ей смутно помнится, какъ на эстрадѣ какая-то брюнетка передергивала юбками. Но она сама стояла въ толпѣ и не могла всего видѣть.

Повернула пролетка въ переулокъ и начала подниматься на крутой подъемъ, шагомъ.

Волненіе свое Марья Трофимовна сдерживала тѣмъ, что сжимала крѣпко правой рукой одинъ изъ узловъ.

— Вамъ къ самому саду?—спросилъ ее извозчикъ, къ лѣстницѣ?

— Да, да... — порывисто выговаривала она.—Я, голубчикъ, не знаю... давно не была въ Москвѣ. А гдѣ входъ?..



— Есть вѣдь, никакъ, и задній ходъ для актерокъ. Это онъ сказалъ такъ, наобумъ; но слово „актерокъ“ и кольнуло ее, и заставило еще сильнѣе забиться сердце.

Подѣхали съ лѣстницѣ. Наверху, на площадкѣ—раскрашенный входъ и двѣ кассы. Все у нея въ глазахъ запестрѣло. Она соскочила на мостовую въ одинъ мигъ и засуетилась; хотѣла-было брать съ собою и узлы.

— Да вы поспрошайте, барыня, мы подождемъ,—основательно замѣтилъ ей извозчикъ.

Одна касса была заперта; въ другой виднѣлась голова молодого брюнета. Марья Трофимовна недовѣрчиво подошла къ нему и заговорила:

— Позвольте узнать...

— Вамъ ложу?—остановилъ онъ ее.

Выговаривалъ онъ съ нерусскимъ акцентомъ.

— Нѣтъ... я справку... артистка тутъ...

Онъ ее не сразу понялъ и не сразу спросилъ:

— Какъ фамилія?

Надо было назвать ей настоящую фамилію: Балаханцева, а театральной она не знала.

— Балаханцева,—выговорила она самымъ мягкимъ голосомъ.

— Какъ?—переспросилъ кассиръ и поморщился.

Она повторила.

— Такой нѣтъ.

— Въ хорѣ...—попробовала она пояснить.

— И въ хорѣ... Я не знаю...

И онъ отвернулся и сталъ считать на счетахъ.

Какъ могла она не узнать актерской фамиліи Маруси? Вѣдь это безуміе какое-то!.. И вотъ, теперь нѣтъ возможности допытаться!..

Она такъ разстроилась, что ей не пришла даже мысль объ адресномъ столѣ, гдѣ Маруся должна была значиться на основаніи своего паспорта.

Постояла она съ минуту, бросила еще разъ жалобный взглядъ вглубь кассы, заикнулась было:

— Позвольте!

И смолкла... А тутъ еще извозчикъ... Какъ бы не уѣхалъ: она не догадалась и номера посмотреть. Нѣтъ, извозчикъ стоитъ.

Какъ быть?

Вся глупость ея поѣздки, этого бѣгства изъ Петербурга встала передъ ней. Но страхъ за Марусю превозмогъ.



Ей вдругъ показалось, что это—конецъ: Маруси больше ужъ нѣтъ въ Москвѣ... Или она наложила на себя руки, или сгинула, уѣхала куда-нибудь, съ гори, съ трупой, на югъ, на какую-нибудь ярмарку.

Мысли чередовались быстро-быстро, а Марья Трофимовна все стояла въ двухъ шагахъ отъ кассы, но уже ближе къ лѣстницѣ.

— Да вамъ кого, сударыня? — спросилъ ее кто-то хриплымъ голосомъ, и на нее повѣяло дыханіе съ запахомъ спиртного.

Передъ ней что-то въ родѣ швейцара или сторожа, съ усами, одѣтаго еще не парадно... Она его совсѣмъ и не примѣтила.

Обрадованно бросилась она къ нему и сейчасъ же сунула ему въ руку два пятиалтынныхъ. Это очень подѣйствовало. Марья Трофимовна рассказала ему, въ чемъ дѣло,—подробнѣе, чѣмъ кассиру.

— Да я всѣхъ знаю барышень... Черноватая изъ себя?.. Большого роста... Изъ Питера?..

— Да, да!.. Балаханцева ея настоящая фамилія.

— Этакій нѣтъ...

— Я знаю, голубчикъ, она по-другому называется... Красивая... Въ посту она поступила...

— Это точно, — согласился усачъ. — Жила она, еще о Святой, на Срѣтенкѣ, въ номерахъ, тутъ — наискосокъ „Саратова“... Изволите знать?

— Помню, помню,—готова была она прилгать, только чтобы онъ добрался до Маруси...

Но все-таки фамиліи онъ не припомнилъ, даже и какъ она въ афишахъ называется. Только обнадежилъ и, по плечу ее хлопнувъ, сказалъ, чтобы сегодня — пораньше, передъ началомъ — пріѣхала. Онъ ее проведетъ къ дамъ театра.

— Делекторъ ругается, и чтобы, значить, постороннихъ не было, да я уже уважу вамъ.

И онъ подмигнувъ ей правымъ глазомъ и получивъ отъ нея еще пятиалтынный.

XII.

А до вечера? Она посовѣтовалась съ извозчикомъ. Какъ же вещи? И не имѣть пристанища... Вдругъ Маруси, въ самомъ дѣлѣ, не окажется въ трупѣ? Вѣдь



надо же будетъ ѣхать ночевать. Багажъ поздно не выдаютъ. Да и теперь, съ узлами, куда же она дѣнется?

Извозчикъ, хотя и молодой парень, а резонно ей сказалъ:

— За багажомъ надо вернуться, барыня. Мало ли что случится можетъ.

Она повторяла про себя догадки сторожа о „той, петербургской“. Вѣдь онъ вспомнилъ же сейчасъ, что та жила еще на Пасхѣ (давно ли, значить?) наискосокъ отъ трактира „Саратовъ“. Этотъ трактиръ Марья Трофимовна знаетъ. Про него говаривали въ ихъ переулкѣ. И тогда онъ былъ тутъ же, кажется, у Срѣтенскихъ воротъ...

— Гдѣ „Саратовъ“? — спросила она, когда пролетка уже поднималась къ Краснымъ воротамъ.

— Трактиръ?..

— Да, да, милый...

Она боялась, какъ бы и этотъ парень чего не запомнилъ.

— У Срѣтенскихъ воротъ. Первое заведеніе насчетъ лихачей.

И онъ сталъ ей рассказывать, перевернувшись опять въ полъ-оборота на козлахъ, что у „Саратова“ стоятъ самые дорогіе извозчики съ тысячными рысакими.

— Заприжекъ до двадцати иной разъ бываетъ, — пояснилъ онъ. — Мѣсто такое... Въ заведеніи...

Но онъ не окончилъ. Должно-быть, сообразилъ, что дамѣ рассказывать про „все такое“ — не пристало.

Не скоро дотащились они до вокзала. Марья Трофимовна не торговалась съ парнемъ за обратный конецъ; онъ было ее прижалъ; но артельщикъ съ номеромъ двадцать девятымъ усовѣстилъ его, добылъ ея сундучокъ и сторговался на Срѣтенку, съ багажомъ.

Она сама захотѣла на Срѣтенку. Тамъ, быть-можетъ, она встрѣтитъ Марусю, въ этихъ самыхъ номерахъ, около „Саратова“. Да и все ея дѣтство прошло тутъ. Въ двухъ шагахъ и переулокъ, гдѣ ее выкормили. Можетъ, и домишко цѣлъ...

— Ты знаешь номера наискосокъ отъ „Саратова“?

— Это къ Рождественскому бульвару? На углу? Какъ не знать!.. Да вы нешто туда?

— Туда, — отвѣтила Марья Трофимовна рѣшительно.

Парень въ третій разъ обернулся къ ней всѣмъ лицомъ и приподнялъ сзади шляпу, какъ бы собираясь почесать затылокъ.



— Вамъ, сударыня, въ тѣхъ номерахъ будетъ... тово...

— А что?—почти съ испугомъ спросила она.

— Тамъ хорошій проѣзжающій не останавливается, а больше съ дѣвками, изъ того самаго „Саратова“, значить...

Онъ не договорилъ и повернулъ голову.

„Съ дѣвками... изъ „Саратова“... И Маруся въ такихъ номерахъ!“

Вся она опять похолодѣла, какъ въ вагонѣ, когда ей представлялись всякіе ужасы насчетъ ея питомицы. А почему же это невозможно? Кто же поручится, что она давно не попала въ какой-нибудь вертепъ?.. Опоили, орамили, изъ трупы выгнали, пить-ѣсть надо — и вотъ она въ такихъ номерахъ... Купчикъ или офицеръ—ея возлюбленный—возить ее по садамъ... и спаиваетъ... Маруся изъ такихъ... У нея всегда была охота кутнуть, выпить чего-нибудь покрѣпче, наливки... О шампанскомъ она говорила, захлебывалась...

— Такъ куда же ѣхать прикажете, сударыня? — прервалъ вопросъ извозчика думы Марьи Трофимовны.

Она растерялась, не знала, какъ и быть...

— Ты ступай все-таки на Срѣтенку.

— Мы васъ доставимъ въ хорошее мѣсто. Подальше, дома черезъ три, есть настоящія комнаты... Будете довольны...

Она только кивнула головой. Привезли ее въ меблированныя комнаты, съ крытымъ подъѣздомъ, въ родѣ гостиницы.

— А вотъ и „Саратовъ“, — показавъ ей парень, когда они завертывали на Срѣтенку.

Коридорный, видошъ угрюмый, но обходительный, сейчасъ устроилъ ее въ узенькой комнатѣ второго этажа; цѣну сказалъ, когда ея вещи были уже внесены — рубль въ сутки, а помѣсячно—двадцать пять рублей. Для нея — дорого. Но она осталась. Вотъ сегодня найдетъ Марусю, и если къ ней не переѣдетъ, все равно найдетъ себѣ квартирку много въ семь рублей.

Такъ ей вдругъ стало одиноко, жутко, дико въ этой узкой комнатѣ, съ пылью и спертымъ запахомъ дешеваго номера. Сѣла она у окна и съ полчаса не могла даже приняться за свой сундучокъ, достать изъ мѣшка мыло, умыться, отдать почистить свое пальто. Окно выходило бокомъ на улицу. И, прежде всего, издали глядѣли на

нее зеленыя двери съ подъездомъ трактира „Саратовъ“. Нѣсколько дрожекъ выстроились вдоль тротуара, педь дорогами попонами.

Разговоръ съ извозчикомъ не выходилъ у нея изъ головы. Онъ точно отбилъ у нея и руки, и ноги, не хотѣлось ей двинуться... Она смотрѣла и смотрѣла, и прислушивалась къ трескотнѣ ѣзды, смягченной двойными рамами, еще не выставленными, съ цѣлымъ слоемъ пыли на стеклахъ.

„Что же это я?“ — чуть не вслухъ выговорила она и вскочила со стула.

Черезъ двадцать минутъ она, умытая и въ вычищенномъ пальтецѣ—оно ей служило уже третій годъ,—сошла на тротуаръ бодрыми короткими шажками и повернула къ Рождественскому бульвару.

Да, на углу, ходъ съ бульвара, дѣйствительно номера „для проѣзжающихъ“, и извозчики стоятъ такіе же, кажется, какъ и около „Саратова“. На крыльцо вышелъ коридорный и крикнулъ:

— Силантій!.. Подавай!.. Барышни готовы...

„Какія барышни?“—повторила про себя Марья Трофимовна, и тотчасъ же отвѣтила себѣ—*какія!* Краска ударила ей въ голову. Стало ей стыдно, точно будто этотъ коридорный крикнулъ, что вотъ сейчасъ выйдетъ Маруся и поѣдетъ на лихачѣ. Страшно ей сдѣлалось войти на крыльцо и спросить: не проживаетъ ли тутъ госпожа Балаханцева?

Она перешла улицу и, немножко подальше, стала наискосокъ бульвара; онъ тутъ только и начинается.

Она должна была дожидаться появленія этихъ „барышень“. Лихачъ сѣлъ на козлы, бросилъ папирску, что-то крикнулъ другому извозчику попроще и передернулъ вожжами. Пролетка у него узкая и очень низкая, безъ верха.

— Подавай!—крикнулъ опять коридорный.

Съ крыльца скоро-скоро, почти бѣгомъ, спустились двѣ „барышни“. Марья Трофимовна такъ и впилась въ нихъ глазами. Съ ея бывалостью она мигомъ распознала въ нихъ пѣмокъ—и у нея отлегло отъ сердца. Но она все-таки не двинулась съ мѣста, пока обѣ нѣмки, разряженные, въ высокихъ шляпкахъ съ красными перьями, не разсѣлись, громко разговаривая ломанымъ языкомъ и съ лихачомъ, и съ коридорнымъ. Все разглядѣла: и ихъ лица, и тальи, и туалеты, и все повторяла мысленно:



„Вотъ какія тутъ живутъ“.

Идти спрашивать Марусю у нея окончательно не хватило смѣлости; да и гадко стало, оскорбительно за свою „дѣвочку“. Она пристыдила себя и перешла опять улицу, къ бульвару.

По сосѣдству, у Успенья-въ-Печатникахъ, ударили къ вечернѣ. Въ дѣтствѣ она бѣгала въ эту церковь, и еще къ Троицѣ „Листы“. Любила всего больше „утреню“, — какъ говорятъ московскіе. И богомольна она была, пока жила въ Москвѣ. Въ Петербургѣ все это какъ-то отпало. Здѣсь, вонъ, сколько церквей, куда ни взгляни!..

По бульвару проходило довольно народу, — больше простого. Прогуливались только пьянки съ дѣтьми да женщины въ платкахъ особаго какого-то вида. Марья Трофимовна догадалась, какого онѣ сорта, и ей опять стало горько: напомнило про тѣ угловые номера и ея страхи и подозрѣнія насчетъ Маруси... Сверху Рождественскаго бульвара открывался передъ нею видъ: она начала всматриваться въ него, оглядывать съ разныхъ сторонъ, стала отгонять отъ себя мысли. Да и Москва забирала ее. Такая пестрая и красивая уходила панорама бульвара все вверхъ, къ Тверскимъ воротамъ... Деревья шли двойной полосой пѣжной зелени... Пятиглавыя церкви, цвѣтныя стѣны домовъ; вдали красная колокольня Петровскаго монастыря и блѣдно-розоватая башня Страстного... Узнала она и Екатерининскую больницу, и длинное бѣлое двухъэтажное зданіе Эрмитажа...

Родной городъ расшевелилъ въ ней что-то, радовалъ, помогалъ ей легче переносить свою тревогу. Вотъ вѣдь она одна — ни души у нея здѣсь нѣтъ, кромѣ Маруси, — да и та, можетъ, улетѣла, — а она не боится. Ей Москва сразу стала дорожке Петербурга. Впервые испытала она сладость прошлаго, какое бы оно ни было... Какъ въ немъ все блестяло красками, трогало и привлекало! Скука, обида, нужда, слезы, погибшая любовь, молодость, — все утраты точно не оставили никакихъ горькихъ слѣдовъ въ душѣ, только цѣлую вереницу образовъ... Они всплывали каждую минуту и все сильнѣе скрашивали вотъ эту самую мѣстность: Рождественскій бульваръ (попросту „Трубу“), Грачевку, все съ тѣмъ же трактиромъ „Крымъ“ и съ рядомъ крутыхъ переулковъ. Дѣвочкой Марья Трофимовна застыдится, бывало, когда какой-нибудь гимназистикъ спроситъ ее:



— А вы гдѣ живете?

И она должна отвѣтить:

— Въ Тупикѣ, около Нижняго Колосова.

Она уже понимала, что это нехорошій переулочъ; да и весь-то околотокъ... Одна Грачевка чего стоить!..

А теперь ей вдругъ дороги стали и Труба, и Грачевка, и всѣ переулки. Тутъ вѣдь, въ одномъ изъ этихъ переулковъ-тупиковъ (тотъ поприличіе), должны сохраниться и остатки семьи, гдѣ она воспиталась. Домикъ, навѣрно, стоитъ еще. Куда она ни взглянетъ, все еще держатся эти деревянные домики, розовые, бурные, зеленые.

Ускореннымъ шагомъ спустилась она внизъ.

XIII.

Должно-быть, какой-нибудь храмовой праздникъ случился: что-то ужъ много пьяненькихъ начало попадаться, когда она вошла на Грачевку. Одинъ даже попугалъ ее: она отъ такихъ отвыкла въ Петербургѣ, хоть и попадала въ самыя пьяныя мѣста, около Сѣнной. На немъ, кромѣ халата въ лохмотьяхъ, кажется, ничего и не было. Посоловѣлое, съ подтеками лицо, голова вся въ вихрахъ, голая, мохнатая грудь... Съ одной стороны тротуара на другую его такъ и качаетъ... Онъ ничего уже и не видитъ передъ собою...

— Нагрузился, бѣдненькій! — вырвалось у Марьи Трофимовны, когда они поровнялись.

Юморъ брать верхъ надъ испугомъ. Она подалась — уступила ему дорогу. Растерзанный халатникъ поднялъ правую руку надъ ея головой и кривнулъ:

— Тревога всѣмъ частямъ!.. Налривай!..

— Что орешь?.. Ошалѣлъ!.. — дала на него окрикъ бабалавочница.

Она стояла на порогѣ закусочной и ѣла сѣмечки.

Водкой, помоями, лукомъ и постнымъ масломъ несло изъ каждой подворотни и изъ захватанныхъ дверей подпивныхъ и кабаковъ. Изъ второго этажа красного, неотштукатуреннаго дома доносилось гудѣнье машины.

Но все-таки и Грачевка стала наряднѣе и почище прежняго. Марья Трофимовна бодрѣе смотрѣла вправо и влево. Изъ каменные дома, есть даже и въ четыре этажа, а прежде и двухъэтажный-то каменный былъ на рѣдкость. Яркія вывѣски меблированныхъ комнатъ, парикмахерскихъ. Особенно даже много развелось куаферовъ,



съ перечисленіемъ на вывѣскахъ, какіе у нихъ имѣются „бандо“ и „шиньоны“... Отчего бы ихъ здѣсь такъ расплодилось?

„А переулки? — поправила себя Марья Трофимовна. — Не мало требуется въ этихъ мѣстахъ нарядныхъ причесокъ... И вывѣска акушерки. Э, да вотъ и еще... — Она улыбнулась тому, что на одной изъ нихъ это званіе было написано на четырехъ языкахъ: даже „midwife“. — И кому это на Грачевкѣ понадобится по-англійски отыскивать нашу сестру?“ — спросила она про себя, и вплоть до перекрестка Нижняго и Верхняго Колосова переулковъ шла веселая. Москва ее молодила и даже память о томъ домикѣ, гдѣ все уже, поди, перемерло, какъ-то не щемила ей сердца.

Переулочекъ кончается тупикомъ. Черезъ „рѣшетку“ домъ — совсѣмъ не тотъ... даже и ошибиться было бы не трудно, принять одинъ переулокъ за другой. Тамъ, въ самой глубинѣ, гдѣ огороды начинаются и идутъ въ гору, къ Сухаревой, на много десятинъ, — тамъ и стоялъ буренькій домикъ въ пять оконъ съ подвальными комнатками во дворъ. Со двора торчала голубятня надъ сарайчикомъ.

Въ переулкѣ-тупикѣ не видать прохожихъ. Она оглянула его быстро-быстро во всѣхъ направленіяхъ... Исчезъ домикъ!.. Снесли? Крыша не та... Но вонъ тамъ, вправо, на самомъ днѣ тупика... это онъ!.. Только крыша другая. Теперь онъ изжелта-сѣрый, и крыша какъ будто не та: пониже, не такъ торчитъ, какъ прежде.

Тихо пошла Марья Трофимовна посрединѣ мостовой. Противъ воротъ — они были заперты — она остановилась и прочла на доскѣ:

— „Купца третьей гильдіи Сигова“.

Въ чужихъ уже рукахъ, значитъ, — никого не осталось. А все-таки надо узнать. Она отворила калитку. Въ окнахъ домика шторы были спущены, и все показывало, что хозяева спятъ. Лай раздался на дворѣ и звуки цѣпи. Это ее не испугало. Она переступила высокій порогъ калитки и пошла по доскамъ къ крылечку.

Цѣпная собака — изъ овчарокъ — запрыгала на цѣпи, но лаять скоро перестала. Конура напомнила ей любимицу ея „Зюку“, дворнягу; только та бѣгала на волѣ и ни на кого никогда не лаяла...

Никто не показывался ни на заднемъ крыльцѣ, изъ



кухни, ни на переднемъ. Дворъ обстроили заново. Два сарайчика влѣво, гдѣ входъ въ садъ. Рѣшетчатый заборъ окрашенъ въ яркую зеленую краску, и видно, что садъ держать въ порядкѣ: липы и одна береза—ее сажали при ней—теперь выше сарайчиковъ сажени на двѣ...

— Кого вамъ?

Изъ подвальной комнаты -- ея компанки! -- выглянуло женское лицо, желтое, морщинистое, волосы съ просѣдью...

Неужели это Анна Савельевна?.. „Сестрица“ ея воспитателей, которую она звала „тетенькой“ и боялась какъ холеры? Ее-то всего меньше рассчитывала она найти тутъ. Тогда она была молодая вдова, педурна собою, только злючка и гордала, жила отдѣльно; у нея водились деньги и все къ ней, черезъ свахъ, обращались офицеры и чиновники изъ палаты...

Да полно, она ли?

Надо было откликнуться. Марья Трофимовна скорыми шажками подошла къ окну.

— Извините... Мнѣ хотѣлось справиться: кто изъ Меморскихъ живетъ здѣсь... А вы не Анна Савельевна?

— Я, я... а вы-то кто, позвольте узнать?

Вопросъ звучалъ недовѣрчиво.

— Я—Евсѣева... Машенька... помните, быть-можетъ?

— Машенька? Меморскихъ пріемышъ? Пелагеи Агаѣоновны внучатная племянница?

— Да-съ,—почти сконфуженно отвѣтила Марья Трофимовна.

— Вамъ чего же?— все такъ же недовѣрчиво и точно съ усмѣшкой спросили ее.

— Да я... изъ Петербурга... хотѣла побывать на родныхъ мѣстахъ... узнать, нѣтъ ли кого въ живыхъ... Вы не позволите ли къ вамъ на минутку?

— Ко мнѣ — нельзя-съ, — отозвалась „тетенька“, и ея блѣдныя губы даже повело. — Если вы желаете такъ поговорить... узнать... подождите. Я выйду на дворъ.

„Бойся меня: ужъ не думаетъ ли, что ограблю?“ — спросила себя Евсѣева, и не обидѣлась.

Она терпѣливо стала ждать. „Тетенька“ не тотчасъ вышла. Когда она показалась въ дверяхъ задняго крыльца, Марья Трофимовна ее еще менѣе узнавала: и ростъ не тотъ, согнулась и на-бокъ держится. Голову она покрыла сѣрымъ платкомъ и щеку подвязала, и вся куталась въ старую мантилью изъ порыжѣлой мохнатой матеріи: лѣтъ

двадцать пять—тридцать, она была модной и называлась „урсъ“.

Подходила къ ней Анна Савельевна сбоку, странной походкой. Только одинъ глазъ смотрѣлъ возбужденно и недовѣрчиво, а другой былъ наполовину прикрытъ бѣлымъ платкомъ, которымъ она подвизала щеку.

— Свѣжесть, свѣжесть, — заговорила она, — вотъ какъ только вечеромъ... тепла ужъ и нѣтъ.

И вся съежилась.

— Какой еще погоды! — замѣтила Евсеѣва.

— Солнце-то не грѣетъ... Или ужъ у меня сырость... въ подвалѣ живу... въ подвалѣ-съ... Такъ вы Машенька? Не узнала бы васъ, не взыщите, много годовъ... Не молоденькія мы съ вами... Я васъ къ себѣ не пустила... У меня сыро... да и посадить некуда... Собачья конура!..

И глазъ ея зло оглинулся на домъ.

— Да и здѣсь хорошо... Нельзя ли въ садъ пройти?

— Въ садъ? Поди запертъ... Запираютъ. Точно я воровать буду цвѣтки!.. Купчишки! — шопотомъ выговорила она, — вотъ нажрались и дрыхнуть. Всѣхъ до одного человѣка перерѣзать могутъ—объ этомъ и заботки нѣтъ. Я только одна и смотрю, чтобы кто не забрался. Собака тоже ожирѣла, не лааетъ, да они и отъ лая не продерутъ зѣнокъ-то своихъ...

Замкъ, однако, не было въ калиткѣ. Онѣ вошли въ садикъ. Пахло цвѣтомъ яблони и черемухи. Марья Трофимовна закрыла глаза и сладко вобрала въ себя этотъ духъ... Ея спутница тяготила ее; но надо было поговорить съ ней, если она сама это затѣяла, выслушать отъ нея исторію домика въ Тушикѣ...

Анна Савельевна говорила охотно, но съ желчными прищелкиваньями языкомъ. Меморскіе, воспитавшіе Марью Трофимовну, давно умерли, еще до ея переѣзда въ Петербургъ. Изъ ихъ дѣтей дочь умерла въ Сибири, за учителемъ, больше десяти лѣтъ назадъ, а два сына сгинули. Домишко проданъ былъ съ торговъ. Анна Савельевна и про себя рассказала: ее провели на какихъ-то денежныхъ дѣлахъ, и она еле спасла кое-какія крохи; думала купить домикъ Меморскихъ, да „кучишко“ перебилъ, и она его долго-долго „срамила“, пока опъ ее пустилъ въ жилища, подшевле, какъ родственницу бывшихъ домовладѣльцевъ...

Подъ конецъ своего разсказа она посмѣяла, но не про-



слезилась ни разу, и только косвенно замѣтила, что она — „человѣкъ больной“, еле живетъ на свои „гроши“ и нельзя „на нее обижаться“. Евсева слушала и понимала, что та боится, какъ бы она не стала проситься къ ней погостить. На этотъ счетъ она ее сейчасъ же успокоила, сдѣлала надъ собой усилие, взяла свой обычный петербургскій тонъ, сказала, что пріѣхала по своимъ надобностямъ, а въ Петербургѣ практикуетъ уже десять лѣтъ. Это успокоило „тетеньку“, и она начала жаловаться на свои болѣзни и просить совѣтовъ у даровой акушерки.

— Всѣ, всѣ, милая, или перемерли, или сгнули... Вотъ тотъ юнкерокъ, что, помните, кажется, и за вами ухаживалъ...

Марья Трофимовна слегка покраснѣла.

— Какъ, башъ, его фамилья была?.. Еще на Устрѣтенкѣ у него мать жила, туда, къ Сухаревой...

— Амосовъ, — сказала Евсева, а краска все еще не сходила съ ея щекъ.

— Ну вотъ, ну вотъ... Онъ въ офицеры вышелъ и сначала какъ загремѣлъ... и въ полковыхъ адъютантахъ никакъ былъ — каску съ хвостомъ носилъ... Вѣдь онъ въ карабинерномъ, что ли...

— Въ гренадерской дивизіи, — подсказала Марья Трофимовна, чувствуя, какъ волненіе все еще не оставляетъ ее.

— Въ гренадерскомъ, оно и есть — ваша правда. Мать умерла... старушка-то, говорятъ, подъ-конецъ, попивала, знаете; въ параличѣ ноги давно отнялись. Онъ домика спустилъ, и, должно-быть, ужъ въ крови, отъ матери... закутилъ и совсѣмъ сгинулъ. Изъ полка выгнали за дебоширство... И неизвѣстно гдѣ... Кто-то говорилъ... на Хитровомъ рынкѣ... въ „золотой ротѣ“...

Анна Савельевна говорила это уже безъ желчной гримасы, а съ сокрушеніемъ: что, вотъ, все перемерло и прахомъ пошло, и ея очередь близко; только она этого не сказала прямо: смерти она боялась пуще всего. Марья Трофимовна поняла и это.

И вдругъ ей захотѣлось побыть одной въ садикѣ. Память о дѣвическихъ годахъ охватила ее сильнѣе послѣ того, что рассказала тетенька.

— Вамъ не свѣжо ли? — сказала она и поднялась со скамейки, гдѣ онѣ сидѣли подъ зеленымъ переплетомъ бесѣдки, еще не покрытымъ листьями ползучаго растенія.

— Сырость здѣсь, сырость...— согласилась вдова и начала кутаться.

— Извините...

Онѣ вышли изъ садика.

— Извините, что обезпокоила васъ, — договорила Евсѣева и протянула ей руку.

— Надолго въ Москву?—спросила Анна Савельевна съ прежнимъ недовѣріемъ.

— Не могу еще опредѣлить.

Глаза вдовы говорили: „Только ко мнѣ, матушка, не повадся шататься; я и не пущу!“

Она проводила Марью Трофимовну до передняго крыльца.

— Позвольте мнѣ на минутку еще въ садикъ... сорвать, на память, вѣтку яблони. Небольшой будетъ изъяснъ хозяевамъ.

Она выговаривала это въ смущеніи.

— Мнѣ, пожалуй... только ужъ я уйду, а то эти лабазники еще придерутся, — скажутъ: я вожу чужихъ деревья ломать.

Анна Савельевна спустилась внизъ, не подавая еще разъ руки Евсѣевой и не обернувшись отъ двери.

Почти украдкой вошла опять Евсѣева въ садикъ. Отъ калитки вела тѣсная аллея, вся обставленная густыми кустами сирени. Площадка съ круглымъ столомъ и диваномъ смотрѣла еще голо. И въ клумбы цвѣтовъ еще не сажали. Но тутъ она и не оставалась; она пошла въ край, къ забору, гдѣ тянулись огороды. Тамъ нѣсколько фруктовыхъ деревьевъ стояли всѣ въ цвѣту. Одно — груша — раскинулось свѣтло-розовымъ шатромъ.

Подъ это дерево нагнулась Марья Трофимовна и, войдя, сѣла на скамью, а головой прислонилась къ стволу.

Шатеръ цвѣтовъ нѣжилъ ее и обволакивалъ тонкимъ благоуханіемъ. Это дерево было ей особенно памятно. Вотъ такъ же цвѣли яблони и грушевыя деревья. Стояла чудная весна, еще краше и благодатнѣе. Но подъ шатромъ цвѣтовъ укрывалась она тогда не одна. Подъ нимъ былъ взятъ и отданъ первый поцѣлуй...

Марья Трофимовна закрыла глаза и долго вдыхала въ себя тонкій запахъ. И сами собою, еще безъ всякихъ горькихъ думъ и выводовъ, подступили слезы. Онѣ потекли по щекамъ тихо, а глаза все еще она держала закрытыми. Эти слезы прошли у нея скоро, и сердце какъ



будто остановилось, ничего не ощущало, и голова оставалась слегка затуманенной. Но вот она раскрыла глаза и оглянулась, повернула ихъ въ ту сторону, гдѣ поверхъ глухого забора были видны огороды, зады домовъ и грифельнаго цвѣта столбъ Сухаревой башни съ острой зеленой шапкой.

Разомъ нахлынули мысли. Никогда, въ Петербургѣ, въ самыя трудныя минуты, ничего такого не приходило ей въ голову.

Вся ея жизнь—а ей пошелъ уже тридцать девятый—встала и представилась ей одной сплошной „глупостью“, и глупостью жестокой, съ издѣвательствомъ надъ всѣми ея самыми законными побужденіями. Хотя одно ея чувство—дало ли оно ей не то что одну великую радость, а что-нибудь, похожее на отраду? Здѣсь вотъ, въ этомъ Туникѣ, у ея воспитателей, дѣвочкой, на какую жизнь ее обрекали? Зачѣмъ не дали ей сгнуться замарашкой, въ кори или крупѣ, гдѣ-нибудь въ трущобѣ, куда она попала, оставшись круглой сиротой? Держали, все-таки, барышней „приказнаго званія“, и правила у нея рано сложились, любящая она вышла, а не злая, не порочная... А могла бы...

Мальчики только и дѣла дѣлали, что дразнили ее, били, ябедничали матери, ругали ее словомъ „пріемышъ“. Вотъ тутъ, подъ этимъ самымъ грушевымъ деревомъ, забилось ея дѣвичье сердце. И тѣ же мальчики—уже тогда большіе были балбесы—подглядѣли, начали свое озорство, рассказывали разныя отвратительныя гадости про того, кто ее поцѣловалъ въ первый разъ; проходу ей не давали... Благодѣтельница-тетка чуть не выгнала, потому что не сумѣла притянуть будущаго офицера и женить на себѣ. Какую-нибудь недѣлю только любила она... во всю-то свою жизнь. И откуда взялась у нея охота учиться? Пятнадцать почти лѣтъ перебивалась она потомъ,—и хотя бы ждала чего впереди, а то вѣдь знала, что не выйти ей изъ своей честной нищеты, не вкусить ей того, что другимъ дается даромъ. Чего! Взяла себѣ дочь, начала играть въ материнскія чувства. Старая дѣва... и туда же ударилась въ любовь къ пріемышу-дѣвчонкѣ!.. Безуміе, насмѣшка надъ самой собой!

Слово „Провидѣніе“ мелькнуло въ головѣ Марьи Трофимовны. „Какое? Гдѣ? Въ чемъ?..“

И ужъ не за себя только было ей горько и обидно, а



за всѣхъ. Она, акушерка, помогала роженію столько ребячь... Зачѣмъ?.. Разводила только нищихъ, преступниковъ, проституттокъ, идіотовъ. А съ какой вѣрой въ свое дѣло, съ какой внутренней гордостью шла она, каждый разъ, на зовъ. Вѣдь отлично она знала, что ребенка отправятъ въ воспитательный,—и это еще хорошо, а то карбаться ему въ грязи, вони, смрадѣ, грубости, пьянствѣ, въ безпрестанныхъ болѣзняхъ. Гдѣ у нея былъ здравый смыслъ? И этимъ ремесломъ надо питаться! Отъ его крохъ воспитала она свою дѣвочку. Вся она ушла въ нее, постыдно любить эту Марусю—и не можетъ отвѣчь ее ни отъ какого зла и позора. А осталась бы она честной—развѣ не все равно? Вышла бы замужъ за студента—нынѣ это легче всего—дѣти, болѣзни и та же нищета, да еще нестерпимѣе отъ ученія, отъ умственного голода. Всего хочется отвѣдать, и яснѣ видишь, какъ кулакъ да рубль вездѣ въ почетѣ, какъ правда затоптана удачей, а на душевную доблесть плюетъ всякій, кто урветъ себѣ кусокъ пирога. Да и сытые-то не меньше голодныхъ маются... Еще хуже!.. Вотъ она прилетѣла въ Москву, страдаетъ, волнуется, холодѣетъ и замираетъ... И все это изъ-за чего?.. Изъ-за одной блажи, изъ одного мечтанья: представила себѣ, что безъ Маруси жить не можетъ, а вѣдь и съ Марусей, и безъ Маруси, и ей самой, и всѣмъ, всѣмъ одинаково гадко, всѣхъ жизнь подсадить и накроетъ! Злую издѣвку надъ всѣми посылаетъ судьба; да и нѣтъ никакой судьбы, а есть что-то, что приказываетъ жить, карбаться, ждать, плакать, смѣяться, прыгать точно куклы на проволокахъ, „Петрушка Укусовъ“—огромная, безграницная кукольная комедія...

Руки Марьи Трофимовны опустились въ зеленѣющій дернъ, головой она поникла на грудь и такъ оставалась съ четверть часа... Глаза ни на что не глядѣли и были полусомкнуты. Добрый и веселый ротъ раскрылся, да такъ и не мѣнялъ выраженія внутренней боли.

Она поднялась, вся отряхнулась, поправила на головѣ шляпку и выскочила на дорожку изъ-подъ низкихъ вѣтвей грушеваго дерева.

„Что это я?“—чуть не вслухъ вскрикнула она испуганно.

Рука ея потянулась къ вѣткѣ съ нѣсколькими цвѣтами. Она сломала ее, поднесла къ лицу, понюхала и долгимъ окружающимъ взглядомъ оглядѣла еще разъ садикъ. Скоро-



скоро пошла она... Она уходила отъ этихъ неожиданныхъ и страшныхъ мыслей, никогда не забиравшихся къ ней въ душу... Не за тѣмъ вернулась она въ садикъ.

— Мамзель, что вы это озорничаете? — остановилъ ее голосъ сзати.

Она обернулась. У сарайчика стоялъ, должно-быть, хозяинъ: въ розовой рубахѣ на выпускъ и короткомъ арха-лухѣ; круглая его голова курчавилась сѣдыми кудрями; животь сильно подался впередъ.

Точно въ дѣтствѣ, когда ловили съ малиной или яблоками, испугалась Марья Трофимовна и даже выронила изъ рукъ вѣтку.

— Въ чужомъ саду—это не порядокъ,—уже помягче сказалъ купецъ Сиговъ и, чтобы ее разглядѣть, прикрылъ глаза ладонью.—Да вы не туточная?

— Простите,—промолвила Евсеѣва и подняла вѣтку: она ей была въ эту минуту особенно дорога.

Приободрившись, она подошла къ хозяину поближе и сказала однимъ духомъ:

— Я здѣсь воспиталась... У Меморскихъ... Навѣстить прѣѣхала... Прошла въ садикъ... За вѣтку вы ужъ не выщипите...

— Не суть важно; только попали съ улицы какъ же?..

Онъ оглянулся сердито на овчарку, и та начала лаять и прыгать на цѣпи.

Въ форточкѣ подвального жилья показалось лицо „тетенки“. Она и вида не подала, что знаетъ Евсеѣву.

Только на Цвѣтномъ бульварѣ очнулась Марья Трофимовна и почти упала на скамейку: такъ у нея ослабли ноги... Она отгоняла отъ себя то, что налетѣло на нее въ садикѣ купца Сигова.

Затѣмъ ли она прѣѣхала въ Москву?

— Батюшки!—вслухъ испугалась она. — Вѣдь никакъ уже седьмой часъ?..

Усачъ у кассы говорилъ ей, что надо пораньше, до прѣѣзда публики. Онъ именно назначилъ: „часу въ седьмомъ, когда вся команда собирается“.

Еще разъ оправила себя Марья Трофимовна и пошла внизъ, къ Самотекѣ. Она и забыла чего-нибудь перекусить. Съ утра такъ ѣздила и ходила она—цѣлыхъ шесть часовъ—и голодъ не далъ знать ей о себѣ. И теперь если бъ ее кто-нибудь спросилъ:

— Ъли вы сегодня?

Она затруднилась бы отвѣтить.

Засвѣжѣло, но солнце еще не собиралося садиться. Пыли стало меньше. По Цвѣтному гуляло много народу; но она ни на что уже не оглядывалась и спѣшила къ Самотекѣ. Не хотѣла и не могла она перебирать вопроса: „найдется Маруся, или нѣтъ?“ Ей довольно было и того, что ожиданіе, тревога, возбужденность страха такъ еще наполняютъ ее. О себѣ, о своей долѣ, она не могла уже думать...

Пѣшкомъ конецъ показался ей долгимъ. Но вотъ сейчасъ и переулочекъ. Она миновала бани, гдѣ стоятъ извозчики. Поднимется—и она тамъ!..

XIV.

Усачъ узналъ ее тотчасъ же и подвелъ къ актерскому входу въ театръ. Въ саду еще не было публики. Только официанты накрывали скатертями столы у круга и въ сторонѣ, гдѣ бѣлѣлся большой алебастровый бюстъ среди еще наполовину оголенныхъ дѣревьевъ.

Жутко опять сдѣлалось Марѣ Трофимовнѣ. Садъ, буфетъ, эстрада, столы, столбы на отдѣльномъ плацу, сѣрая глыба высокаго деревяннаго театра, дышали для нея чѣмъ-то совершенно чужимъ, почти зловѣщимъ. Отъ нихъ она не ждала ничего добраго.

На скамейкѣ, у самаго актерскаго входа, сидѣла женщина, по платью и лицу въ родѣ горничной.

— Вотъ имъ нужна тутъ одна барышня,—поручилъ ее усачъ. И пояснилъ:—Портниха это театральная. Она вамъ все расскажетъ, сударыня. Прощенья просимъ. Миѣ пора и къ должности.

Онъ уже надѣлъ голубую ливрею и треугольную шляпу. Пришлось дать ему еще на водку. Въ такомъ мѣстѣ безъ двугривеннаго ничего не добьешься.

Двугривеннымъ начала она и знакомство съ портнихой.

— Вамъ кого, сударыня?—спросила ее та лѣниво и небрежно, даже и послѣ того, какъ получила на чай.

— Балаханцеву... Адреса ея не знаю... а сегодня нарочно пріѣхала изъ Питера,—не удержалась Марья Трофимовна.

— Балаханцева? Такой нѣтъ у насъ. Я всѣхъ на память знаю.

Этакого именно отвѣта и должна была ждать она, а



все-таки онъ ее еще разъ огорчилъ. Она вѣдь знала сама, что Маруся по театру иначе прозывается.

Своей тревогой она не хотѣла дѣлиться съ этой прожженной портнихой; но еще разъ не удержалась и начала описывать наружность Маруси.

— Славская это, по всѣмъ примѣтамъ.

— Славская? Такъ и на афишѣ?

— Мы вѣдь, сударыня, не знаемъ, какъ онѣ въ паспортѣ прописаны. А эта Славская родственница вамъ приходится?

Марья Трофимовна отвѣтила глухо.

— Славская, навѣрно. Только вы не на такой спектакль напали. Сегодня ее въ пажахъ точно будто нѣтъ.

— Въ пажахъ? — переспросила Евсева. — Это что же такое?

— Не знаете? Изъ хористокъ, которыя поскладнѣе... Ихъ такъ и зовутъ: пажами... Въ трико, значить, онѣ, каждый вечеръ, по-мужски...

— Ну да, ну да,—уже глотая слезы, промолвила Евсева какъ бы мысленно.

— На афишку вы поглядите... вонъ тамъ... у столба... Да навѣрно ея нѣтъ... Что-то мнѣ сдается, не значитъ ли она въ отпуску?

— Больна?—вырвалось у Евсейвой.

— Что-то я, какъ будто, и вчера ея не видала, а ей слѣдовало участвовать... „Бокаччіо“ давали. Всѣмъ пажамъ надо быть въ сборѣ...

— Можетъ, знаете, гдѣ живетъ госпожа Славская?

У нея даже дыханіе перехватило.

— Справлюсь... Погодите... никакъ въ Телешевскихъ номерахъ, или вотъ тутъ...

— На Срѣтенкѣ?—подказала Евсева.

— И то, должно-быть, тамъ. „Грандъ-Отель“, что ли, называется.

Портниха наморщила одну бровь и прибавила:

— Нѣтъ, тамъ Пересыпина живетъ... Содержитъ ее мучникъ отъ Сухаревки...

Это сообщеніе о „содержателѣ“ иначе направило разговоръ... Марья Трофимовна сама не хотѣла дѣлать разсросовъ; но портниха тутъ только и оживилась...

И въ пять минутъ все узнала Евсева. Славскую—не было уже никакого сомнѣнія, что это Маруся—смавилъ первый актеръ; а теперь онъ ее бросилъ... Съ тѣмъ она



теперь „путається“—доподлинно неизвѣстно еще за кулисами, но, навѣрно,—съ кѣмъ-нибудь.

— И хорошо еще, коли изъ гостей кого подцѣпила, а то если изъ нашихъ,—еще ее обереть, и въ больницѣ на-лежится; такъ-то, сударыня.

Портниха почему-то прищелкнула языкомъ при этихъ словахъ и подперла обѣими руками свою тощую грудь, прикрытую голубой полинялой пелеринкой.

Ни жива, ни мертва, сидѣла Марья Трофимовна. Что же еще? О чемъ узнавать? Что исправлять и спасать?..

Такъ горько стало, что чуть-чуть она истерически не расхохоталась.

А все-таки надо было ждать. Рабочіе проходили мимо нея, хористы—мужчины, а потомъ и дѣвцы, нѣкоторые очень нарядныя. Изъ-за кулисъ уже слышался гулъ, смѣхъ, рулады, перебранка. Въ саду прибывала публика, заходили пары, заигралъ оркестръ... На плацу гимнасты и рабочіе приготовляли свои сѣтки, веревки, трапеціи... Потянуло по нѣсколько влажному воздуху запахомъ кот-летъ и еще чѣмъ-то съѣстнымъ.

Портниха ушла. Марья Трофимовна сидѣла, и глаза ея ничего уже не видѣли послѣ удара обухомъ по го-ловѣ. Она выдержала, не вскрикнула, даже, кажется, улыбалась, когда та ей кинула слово „путається“, говори о любовныхъ похожденіяхъ Маруси.

Ея дѣтище!.. Сколько лѣтъ дрожала надъ ней!.. Гос-поди!.. Сколько лѣтъ?.. Да, полно, былъ ли надъ ней над-зоръ? Развѣ она знала, какъ ея дѣвочка вела себя въ послѣднюю зиму? Да и раньше? Откуда у нея вдругъ бархатное зимнее пальто появилось?.. И разныя вещицы?.. А она еще увѣрила себя, что Маруся — нетронутая дѣ-вушка... Кто ее увѣрилъ? По лицу узнала, что ли? Такъ, вотъ, сейчасъ мимо нея больше дюжины промелькнуло дѣвушекъ. Двѣ-три такъ и пышаты свѣжестью, лица дѣт-скія. А разспроси еще у портнихи—такъ у каждой най-дется возлюбленный или старый содержатель.

Чего ждать, чего ждать?!

Глаза ея все сильнѣе застилали слезы... Мимо про-шелъ шумно, давая на кого-то окрикъ, коренастый муж-чина въ странномъ костюмѣ: большіе сапоги, парусинная блуза съ греческими рукавами, надѣтая прямо на тѣло; шея голая, какъ у женщины; грудь вся въ цѣпляхъ, мо-

нетахъ и брелокахъ. На головѣ—матросскій картузь. За нимъ пробѣжало двое служащихъ при театрѣ...

— Каналья! Сволочь!—раздавалось изъ-за ограды для гимнастовъ.

Она этого ничего не видала и не слыхала. Но взгляды ея упали на что-то яркое, изжелта-зеленое. То была высокая шляпка, въ полъ-аршина, надѣтая впередъ и вбокъ, вся въ лентахъ, перьяхъ и цвѣтахъ. Такого же почти травяного цвѣта пальто, съ самой узкой таліей, все въ бляхахъ и подковахъ и съ выпяченной турнирой сзади...

„Вотъ и барышни со Срѣтенки появились“,—вдругъ промелькнуло у нея въ головѣ, но она еще не разглядѣла ни лица, ни походки.

— Начали?—вдругъ раздалось почти надъ ея головой.

— Маруся! — глухо вскрикнула она и хотѣла встать, но ноги у нея подкосило.

— Мамаша!

Маруся обернулась, развела руки, махнула зонтикомъ въ воздухъ, не покраснѣла, не обрадовалась замѣтно, а только подошла къ ней, сѣла сейчасъ же на скамейку, нагнула голову и потомъ разсмѣялась:

— Вотъ выкинули штуку!

Онѣ поцѣловались. Марья Трофимовна вся дрожала и ничего не могла выговорить. Руки ея хотѣли обнять Марусю за талію и безпомощно опустились...

— Здѣсь... жива...—пролепетала она, удерживая слезы, блѣднѣя и всхлиывая.

Стыдно ей стало и за Марусю, и за себя... Кругомъ народъ... Хорошо, что музыка заглушала всѣ остальные звуки.

— Это какъ?—спросила Маруся и вскочила со скамьи.

— Провѣдать тебя...

— Надолго?..

— Какъ поживется...

Выговоривъ, упрековъ Марья Трофимовна не могла дѣлать. Да у нея все это и вылетѣло. Она улыбалась; она рада бы была, если бъ какое-нибудь дурачество Маруси поощрило ее, вызвало бы въ ней самой шутиливый тонъ.

Но глаза жадно оглядывали Марусю... На кого она стала похожа? Двѣ капли—на тѣхъ барышень, что сѣли на пролетку лихача у Рождественскаго бульвара. Что за прическа!.. Боже ты мой! Весь лобъ покрытъ взбитыми

волосами, вплоть до бровей. Ото всей пахнет пудрой и крѣпкими духами... Юбка у платья короткая, вся нога выступаетъ въ ботинкѣ изъ желтой кожи. Въ томъ, какъ Маруся откинулась назадъ, въ подергиваньи плечъ, въ движеньяхъ головы, въ самомъ звукѣ голоса—уже горловомъ и хриповатомъ—Марья Трофимовна читала безповоротный приговоръ:

„Погибла, погибла!“

Взглянула она опять въ лицо своего дѣтища: глаза подведены, и губы въ красной помадѣ, и пудра на щекахъ, и брови закручены дугой. Никакого смущенія—ни проблеска... И радости нѣтъ... Даже не улыбнулась. Только взглядъ бѣгаетъ. Онъ сталъ злѣе, фальшивѣе...

— Что жъ вы не написали... а вдругъ такъ? — спросила Маруся и тутъ же оглянулась въ сторону, и даже наморщила лобъ.

— Отъ тебя ничего не было, Маруся... Вотъ я и собралась.

— Испугались. Ха-ха-ха! Чтò мнѣ дѣлается...

Отъ этого смѣха у Марьи Трофимовны внутри заныло.

— Ну, слава Богу... — выговорила она, все еще улыбаясь, а губы у нея подергивало; она боялась, что не выдержитъ.

— Да что мы здѣсь... Идемъ въ уборную... Я нынче не занята. На той недѣлѣ какъ лошади работала. Нашъ-то чадушко—антрепренеръ,—пояснила она,—какъ бѣшеный волкъ рыскалъ по сценѣ-то, до седьмого пота всѣхъ понималъ... Просто каторжная жизнь!

Она это говорила довольно громко, поднимаясь по лѣсенкѣ за кулисы. Марья Трофимовна слушала и уже боялась, какъ бы кто не донесъ на Марусю ея начальству.

На сценѣ шло представленіе. Онѣ прошли мимо кулисъ, гдѣ Марью Трофимовну—она никогда не попадала за кулисы—обдало и свѣтомъ, и особымъ запахомъ... Фигуранты сидѣли въ костюмахъ; каска пожарнаго свѣтилась въ глубинѣ; декорации тѣснились у прохода.

— Сюда вотъ,—отворила ей Маруся дверку.—Теперь никого здѣсь нѣтъ.

Это была не общая уборная хористокъ, а одна изъ тѣхъ, что назначаются для солистовъ, на амплуа.

— Ну, поцѣлуемся! Здравствуйте, мамаша! Очень рада! Только напрасно беспокоились... Тоже вѣдь стòитъ ѣзда-

то; или въ лотерею выиграли?.. Фу, ты, жарща ана-
ѳемская!

Маруся скинула съ себя шляпку и пальто, бросила и то, и другое на кресло, погасила одинъ изъ газовыхъ рожковъ у трюмо, а потомъ сѣла противъ Марьи Трофимовны въ ярко-пунцовомъ атласномъ лифѣ на клѣтчатою юбкѣ. Ноги она разставила и закинула голову назадъ, а платкомъ обмахивалась.

Слезы остановились у Марьи Трофимовны тамъ гдѣ-то, въ груди. Она машинально засмѣялась. Ей легче стало вести разговоръ въ шутиломъ тонѣ...

— Такъ ты нынче вольный казакъ?—спросила она.

— Да, мнѣ все едино. Я до перваго числа дослуживаю.

— Куда же ты?..

— Охъ, мамочка... — заговорила Маруся и положила одну ногу на другую. — Ничего вы не понимаете житейскаго. Вотъ меня воспитали... а все вы какъ маленькая... Я въ полгода того посмотрѣлась и сама восчувствовала, точно я въ семи котлахъ купалась... Ученая! Ха-ха-ха!..

— Не смѣйся такъ, ради Бога... Что съ тобой?.. Скажи мнѣ...

Головой Марья Трофимовна прильнула къ груди Маруси. Дольше она не могла выдерживать веселый тонъ.

— Письмо мое помните? — рѣзко и вызывающе крикнула Маруся.

— Оно-то меня и переполошило.

— Думали—бѣдъ надѣлаю?..

— Все думала... все было...

— А слѣдовало тогда этой черномазой образинѣ купороснымъ масломъ плеснуть, чтобы гулялъ тогда по Европѣ съ пуделемъ и просилъ на пропитаніе, какъ калики перехожіе... Моментъ пропустила, а теперь уже глуно. Да и думать я о немъ забыла... Что онъ — первый сюжетъ, что нашъ плотникъ, Махоркинъ... Ха-ха-ха!

Только бы она не смѣялась! Этотъ смѣхъ обдавалъ Марью Трофимовну ужасомъ.

— Манюшка! — успѣла она выговорить и глѣху, глѣху разрыдалась.

— А вы не надрывайтесь надо мной: я вѣдь еще не въ гробу... Житейская школа называется... Мало ли о чемъ мечтала... Дебютъ въ „Периколѣ“, а теперь вотъ



въ „пажахъ“ стоимъ... Только послѣ перваго числа они отъ меня вотъ чего дождутся!

Она показала кукишъ и вскочила.

— Нечего канючить, мамаша! Ну и прекрасно, что пріѣхали. Я вамъ, благо, и писать собиралась... Исторія короткая. Глупа была; поумнѣла. Со всѣми этими подлецами,—и она злобно поглядѣла сквозь дверь,—я не хочу дня оставаться дольше перваго... Ничего я не должна... Не нужно намъ подачекъ! Мы сами кого хотѣли, того и полюбили...

Она опять развалилась на стулѣ и хлопнула себя по тому мѣсту, гдѣ карманъ.

— Чортъ!.. Забыла... Память у меня куриная стала. У васъ папироски есть?

— Когда же я курила, Манюша?

— Пора бы... Ха-ха... Въ малолѣтствѣ находитесь. И наши-то всѣ на сценѣ... Этакое свинство!

Никакихъ вопросовъ уже не дѣлала мысленно Марья Трофимовна. Она видѣла теперь, что случилось изъ ея Маруси въ какихъ-нибудь четыре мѣсяца. Женщина, узнавшая мужчину, сидѣла передъ ней. Было бы смѣшно даже заговорить съ ней въ тонѣ увѣщанія. И что-то особенное зашевелилось въ душѣ пріемной матери... Вѣдь эта „погибшая“ дѣвушка все-таки живетъ въ своей волѣ, испытала страсть; бросили ее, озлобили, но она и теперь съ кѣмъ-то утѣшается... Жалко все это, позорно для хорошо воспитанной дѣвицы; но развѣ ея-то собственная непорочность на что-нибудь нужна была? Она-то развѣ не жалка тоже по-своему?

— Хотите въ залу?—спросила Маруся и начала надѣвать шляпку.—Я могу контрмарку попросить...

— Зачѣмъ же?

— Экая важность!.. Вотъ и полюбуйтесь на перваго-то сюжета... На моего благодѣтеля... Онъ нынче своимъ надтреснутымъ горломъ рулады выводитъ...

— А ты?.. Со мной?—чуть слышно выговорила Евсѣева.

— Я приду... послѣ... Мнѣ нужно повидаться со знакомыми... Вечеръ еще великъ. Отошелъ актъ!

Она начала торопливо напяливать пальто и, одѣвшись, повела за собой Марью Трофимовну.



XV.

Вечеръ былъ дѣйствительно великъ для ея приѣмной матери. Марья Трофимовна высидѣла цѣлый актъ оперетки. Маруся прибѣжала къ ней на минутку, въ мѣста за креслами, и шепнула ей: кого играетъ ея „благодѣтель“ и какъ его фамилія.

Когда онъ вышелъ и запѣлъ, драпируясь въ мантию, и сталъ помахивать правой рукой, а на публику глядѣлъ съ самоувѣренной усмѣшкой, она прильнула къ нему глазами... Да онъ изъ какихъ-нибудь инородцевъ... И произносить-то плохо, поетъ глухимъ голосомъ, немного по-цыгански, игры никакой нѣтъ, а публика его „принимаетъ“.

Чѣмъ дольше она на него глядѣла, тѣмъ сильнѣе набиралась мужества: въ антрактѣ пойти за кулисы, такъ, прямо въ уборную, и сказать ему, какъ онъ гнусно поступилъ съ Марусей. Не можетъ быть, чтобы у него ничего уже не было въ душѣ!.. Хотя крошечку совѣсти да осталось же. Бросилъ онъ ея дѣвочку... Пускай хоть не доводитъ ее до отчаянья, не толкаетъ ее въ пропасть. Онъ много значить въ труппѣ; можетъ поддержать...

Мысли начали путаться у Марьи Трофимовны къ концу акта, но рѣшимость пойти, говорить съ этимъ брюнетомъ въ шляпѣ съ перьями не пропадала.

Актъ отошелъ. Маруся не показывалась. Это только приободрило Марью Трофимовну. Она незамѣтно проскользнула за кулисы и дѣловымъ тономъ спросила у рабочаго:

— Гдѣ уборная господина Боброва?

Тотъ ее провелъ. Она стукнула въ дверь.

— Войдите!—крикнули изнутри.

Онъ былъ одинъ, стоялъ передъ зеркаломъ и пудрилъ себѣ лицо.

Фигура и туалетъ Евсеѣвой, должно-быть, удивили его. Довольно вѣжливо спросилъ онъ:

— Вамъ угодно?

Не дала она себѣ ни малѣйшей передышки и высказала все — откуда только слова брались. Слезъ не было; ни возгласовъ, ни жалобъ, ни угрозъ. Говорила она тихо, точно сама въ чемъ исповѣдывалась, но такъ говорила, что актеръ ни разу ея не прервалъ.

— Вы не должны ей передавать, что я къ вамъ обратился... Сдѣлайте хоть что-нибудь для дѣвушки, которую вы выбросили на такую дорогу...

Тутъ она сѣла на табуретъ и сразу смокла...

Первый сюжетъ говорить былъ не мастеръ. Онъ сначала все улыбался и поводилъ плечами, курилъ и помаывалъ головой, но когда она смокла, онъ точно выпалилъ:

— Съ нею ничего не выйдетъ!

И онъ сталъ доказывать Марьѣ Трофимовнѣ, что у него было искреннее желаніе поставить Марусю на ноги, но она работать не хотѣла, а сразу мечтала быть на видныхъ роляхъ.

Вопросъ о томъ, что онъ ее покинулъ, увлекъ и бросилъ—онъ, разумѣется, обошелъ. Сказалъ только:

— Всякій порядочный человѣкъ знаетъ, что ему надо дѣлать.

Эта фраза заставила Марью Трофимовну сказать ему, безъ слезъ, медленно и сильно:

— Такъ, стало, можно дѣвушку... погубить, а потомъ—и ничего... ни передъ Богомъ, ни передъ людьми?

Губы первого сюжета покривила усмѣшка. Онъ выговорилъ вполголоса, но очень внятно:

— А вы, мадамъ, думаете, что ваша пріемная дочь была... въ Петербургѣ... Вы меня понимаете? Такъ это совсѣмъ напрасно. Я въ отвѣтъ не буду. Не то чтобы это похоже было съ вашей стороны... какъ бы сказать... на шантажъ. Я этого не говорю!—поспѣшилъ онъ прибавить и даже сдѣлалъ жестъ рукой, точно будто хотѣлъ осадить ее сверху внизъ.

Она закрыла глаза и чувствовала, что ея приходъ сюда—только новое униженіе за Марусю, и совершенно напрасное.

— Васъ я понимаю не съ такой стороны,—продолжалъ актеръ.—Вы жалѣете... любите ее. Повѣрьте: не стоить эта дѣвочка... И васъ она проведетъ и выведетъ. Скандалистка. И здѣсь ее держать не будутъ. Съ первого числа—и фью! Раза три я изъ-за нея попадалъ въ такія исторіи. Дралась съ товарками. Помилуй Боже! Я сколько лѣтъ служу, а такой скандалистки еще не видалъ. Да кто же съ ней будетъ жить?—спросилъ онъ убѣжденно, и не предполагая, что слово „жить“ ударить Евсѣеву какъ ножомъ.

Она продолжала молчать.

— Вы пріѣхали сюда спасать ее?.. Позвольте вамъ самимъ... совѣтъ дать... Теперь ваша воспитанница свяжись съ однимъ... валетомъ.



— Съ кѣмъ?—спросила она, не сразу понявъ.

— Шантажистъ уже форменный. Безъ мѣста шатается. Съ этимъ она—мое почтеніе—куда попадетъ. За рѣшетку, навѣрно. Это ужъ я вамъ говорю... какъ честный человѣкъ. Такъ нешто... дѣвушка... съ понятіемъ и которая соблюдаетъ себя... свяжется съ такой сволочью?

Онъ даже сплюнулъ и затянулся папиросой.

У дверей раздался звонокъ и крикъ:

— На сцену!..

— Вы меня извините, мадамъ, — сказалъ онъ и отошелъ къ зеркалу. — Мнѣ еще надо вотъ... поправить. Досталась вамъ дочка... нечего сказать... Мое почтеніе.

Безъ словъ вышла она изъ уборной перваго сюжета и не знала, какъ ей поскорѣе попасть на воздухъ. Если бы Маруся поймала ее, навѣрно вышла бы сцена. Да и въ самомъ дѣлѣ, чего она добилась?..

Приниженію сѣла она на ту же скамейку, гдѣ ожидала Марусю до спектакля.

Давно уже стемнѣло. Изъ нѣсколькихъ лампъ лился электрическій свѣтъ, и за его предѣломъ темнота выступала рѣзче. Съ эстрады слышалось хоровое пѣніе съ бубномъ. Густая толпа стояла спинами къ театру. Вдоль круга двигались пары и заходили въ сторону, къ темнѣющей площадкѣ гимнастовъ. Пары дѣлались все чаще. За столами, гдѣ свѣчи мелькали желтыми языками въ шандалахъ со стеклами, фли и пили; шумный разговоръ прорѣзывалъ то и дѣло женскій смѣхъ.

На все это глядѣла Марья Трофимовна, и ей казалось, что сюда она попала за тѣмъ, чтобы узнать, наконецъ:— какъ жизнь идетъ для тѣхъ, кто не знаетъ ея разныхъ сентиментальныхъ глупостей. Что-то совѣмъ новое, торжествующее, безпощадное, тупое въ своемъ безстыдствѣ обступало ее. И то, что пѣлось въ театрѣ, и здѣсь въ саду — блуждающія пары и повсюдный смотръ и выборъ женщинъ, — и такъ это просто, безъ всякаго покрова и стѣсненія. Гдѣ же тутъ совѣсть ея, съ чувствами... старой дѣвы, наивной и смѣшной, беспильной и жалкой?..

Да, Маруся ея давно уже была предназначена для такой именно жизни, вотъ для такого сада, для перехода отъ одного мужчины къ другому. Какъ же она не догадалась объ этомъ? А еще захотѣла спасать, направлять!..

Вонъ идетъ пара... завертываетъ налѣво, за купу деревьевъ, по узкой дорожкѣ. Свѣтъ только проводилъ ихъ

въ тѣнь и не пошелъ дальше. Она смотритъ на эту пару какъ будто съ намѣреніемъ, съ любопытствомъ. Мужчина—сухой, длинный, въ высокой шляпѣ и короткомъ пиджакѣ, почти курткѣ, и панталоны на немъ свѣтлыя. Его Марья Трофимовна видѣла. Онъ остановился. Женщина повернулась къ нему лицомъ и что-то говоритъ, горячо, машетъ зонтикомъ... Онъ все пятится къ свѣту.

Да это Маруся! А длинноногій ея кавалеръ, навѣрно, тотъ, съ которымъ она теперь „путається“.

Мысленно Евсеѣва выговорила это слово.

Вотъ они вышли и въ яркій свѣтъ. Ея зеленое пальто стало желтымъ. Лицо—и на такомъ разстояніи—бѣлое, а ротъ точно провалился: отъ яркой краски совсѣмъ черный.

Онъ уже не держитъ ее подъ руку; ему, видимо, хочется уйти. Она продолжаетъ говорить такъ же горячо, не пускаетъ его или дѣлаетъ упреки. Длинноногій все-таки идетъ къ одному изъ столовъ. И она за нимъ. За этимъ столомъ видна шляпка и двое мужчинъ.

Присѣли оба. Она сейчасъ же встала. Ее угощаютъ. Она наклонилась: вѣроятно, выпила стаканъ, но оставаться не хочетъ, еще что-то говоритъ на ухо ему и съ рѣзкимъ жестомъ отходить отъ стола, идетъ къ театру.

„Завтра уѣду!“ — вскрикнула про себя Марья Трофимовна и вся выпрямилась на скамейкѣ.

Куда уѣдетъ? Въ Петербургъ? Но вѣдь она всѣ свои пожитки продала. Квартиру сдала. На что же она станетъ обзаводиться? У нея ужъ не будетъ и половины денегъ, когда она вернется. Да и какъ же это можно этакимъ манеромъ? Сейчасъ—малодушіе, жалкое безсиліе, бѣгство. Это гадко, бездушно... Развѣ такъ любить! Теперь-то и нужно дѣйствовать. Нельзя ее бросить. Она ухватится за несчастную дѣвочку, ляжетъ поперекъ дороги къ той пропасти, куда ее толкаетъ вотъ вся эта жизнь.

Маруся пошла къ театру сначала порывисто... Остановилась. Ее тянетъ туда, къ столу, гдѣ онъ... Секунды три-четыре была въ нерѣшительности, повернула опять къ театру...

Значитъ, есть же въ ней достоинство, хочетъ выдержать характеръ.

„Неужели онъ... шантажистъ?“

Марья Трофимовна прибавила:

„Изъ стихтъ... изъ влетовъ?“

Да кто бы онъ ни былъ — надо ей узнать его. Она ничего не испугается,—хоть злодѣй, хоть бѣглый! Тѣмъ паче!..

Маруся идетъ скорѣе, голову опустила; видно, что кусаетъ губы; правая рука бьетъ зонтикомъ по бедру, — сердится. Что жъ, это хорошо! Теперь-то и надо ковать желѣзо!..

Идетъ она за кулисы и никого уже не замѣчаетъ; электрическій свѣтъ слѣпить каждому глаза.

— Маруся!—остановила ее на ходу Марья Трофимовна такимъ же почти звукомъ, какъ и въ первый разъ.

— Что это, какъ вы меня испугали! — отеликнулась Маруся.

Она дѣйствительно вся вздрогнула отъ оклика.

— Присядь, — спокойно выговорила Марья Трофимовна.—Нагулялась.

— А вы что же не въ театрѣ? Что это, мамаша!.. Вы и здѣсь за мной надзоръ устроить хотите? Такъ вы это напрасно...

— Полно...

— Да ужъ нечего! Зачѣмъ вы тутъ на скамейкѣ сѣли?

Ея раздраженный, почти грубый тонъ уже не дѣйствовалъ на Евсѣеву. Что-то дальше будетъ.

— Если вы пріѣхали со мной повидаться, такъ, пожалуйста, не извольте слѣдить за мной! И безъ васъ тошно!..

Послѣднее слово вырвалось уже отъ сердца, но съ горечью обиды и... кажется, ревности.

— Присядь,—такъ же невозмутимо выговорила Марья Трофимовна.

— Есть ли что гаже на свѣтѣ мужчинъ!—вскрикнула Маруся и сѣла на скамейку.—Одинъ безстыжѣе другого!

„Вотъ это хорошо!“—подумала Евсѣева.

— Вы сейчасъ видѣли, что я тутъ съ однимъ человѣкомъ ходила. Я не скрываюсь... Чего мнѣ?.. Талантъ у него... комикъ. Вы не думайте, что это такъ чумичка какая-нибудь, или на велосипедѣ по кругу ѣздить... Простакъ!

— Простой души? — спросила Марья Трофимовна, забывъ, что это—театральный терминъ.

— Ахъ, что вы!.. Простакъ—молодой комикъ значить. И голосокъ милый. А ужъ насчетъ мимики—ни у одного у насъ нѣтъ и капельки его игры.

„Онъ, онъ!.. Шантажисты!“ — рѣшила Марья Трофимовна.

— И вотъ извольте... Какая-то... — Маруся употребила ругательное слово, но выговорила его глухо. — Ободранная кошка... бѣлила сыплются, точно штукатурка. Только извольте чувствовать — примадонной себя величаетъ!.. Ангажементъ въ Саратовѣ... Въ какомъ-то вокзалѣ будетъ пѣть.

Она задыхалась. Ее вдругъ всю подернуло. Оттуда, отъ стола, послышался смѣхъ.

— Ишь ржутъ! — вырвалось у нея... — Ну, хорошо же!

Въ этомъ возгласѣ и въ жестѣ еще проявилась дѣвочка.

— Не ходи, — тихо подсказала Евсѣева.

— Я пойду туда!? — гнѣвная и вся красная — пудра давно опала съ ея щекъ — крикнула она. — Я пойду? Да Алешка у меня ноги лижи, — я и тогда...

Голосъ ея все поднимался... Глаза такъ и выдались... Марья Трофимовна стало за нее страшно. Она взяла Марусю за руку и шепнула ей:

— Уйдемъ отсюда... Ко мнѣ... Брось ихъ!

— Къ вамъ?.. Пойдемъ! Мамаша, я къ вамъ — ночевать?.. Можно?

— Еще бы!

Марья Трофимовна чуть не захлебнулась отъ радости. Къ ней!.. Лягутъ въ одну постель... или она себя на полу постелеть, а Марусю на кровать, какъ бывало въ Петербургѣ. Тутъ только она вспомнила и про то, что съ утра не ѣла. Вотъ онѣ поѣдятъ вмѣстѣ. Поди, и Маруся голодна.

— Мы поужинаемъ, — также шопотомъ сказала она ей на ухо. — Хочешь?

— Кутнемъ! — со смѣхомъ подхватила Маруся.

— Только не здѣсь, — сказала торопливо Марья Трофимовна.

— Провались онѣ совсѣмъ, съ своей проклятой лавочкой!..

Маруся встала, окинула гнѣвнымъ взглядомъ весь садъ, и театръ, и кругъ со столами.

Поднялась и Марья Трофимовна. Ей казалось, въ ту минуту, что въ дѣтенышѣ ея произошелъ нравственный переворотъ, что-то такое въ родѣ наитія свыше, — ударъ, который человѣческую душу очищаетъ въ одно мгновеніе.

Она взяла опять Марусю за руку и держала ее крѣпко-крѣпко.

— Идемъ, Манечка, идемъ!.. — сказала она, вся радостная.

А Марусю все еще тянуло туда, къ столу, гдѣ долгоногій ея „простакъ“ чокался съ примадонной и двумя бородатыми господами въ мафферланахъ.

— Придешь,—точно про себя говорила Маруся,—придешь, знай, какъ щенокъ ползать будешь. Пожалуйста, голубчикъ, разлетись... и за извозчика заплатитъ нечѣмъ будетъ. А тебѣ—шлепъ по носу... Поцѣлуй пробой да и ступай домой!

Все это слушала Марья Трофимовна, но плохо разумѣла смыслъ выходки. Она не соображала уже: значить, это возлюбленный Маруси? Значить, онъ къ ней прѣзжаетъ по ночамъ, въ ея номеръ?

Ни на чемъ этомъ уже не могла остановиться голова ея. Одно она знала, одно ее проникало:

„Вотъ сейчасъ возьму Марусю, посажу на пролетку и мигомъ очутимся мы у меня на Срѣтенкѣ, и я ее не выпущу, я спасу ее!“

— Идемъ, идемъ,—повторяла она и даже потянула Марусю за собой.

— Куда вы... мамаша, да погодите... Я должна въ уборную. Забыла тамъ вчера ботинки и новый корсетъ. Еще четыре денька,—и ноги моей не будетъ въ этой чертовой переноскѣ!

Какъ бы она не скрылась изъ-за кулисъ, другимъ ходомъ! Пять минутъ жданья показались Марьѣ Трофимовнѣ тяжелыми. Она уже собралась было кинуться за кулисы, но Маруся вышла съ узелкомъ въ рукахъ.

— Не хочу я мимо этихъ животныхъ проходить,—выговорила она злобно.—Возьмите сюда, вправо. Кругомъ обойдемъ.

Она бросила послѣдній гнѣвный взглядъ въ сторону стола, гдѣ выше другихъ торчала цилиндрическая шляпа ея друга.

Не помнила себя Марья Трофимовна отъ почти безумной радости, когда проходила съ Марусей по дорожкамъ, гдѣ имъ попадались одиноко бродившія женщины. Вотъ и кругъ передъ выходомъ. Неужели въ самомъ дѣлѣ она увозитъ свою Марусю къ себѣ подъ крылышко изъ этого вертепа?



— Прощайте!—крикнула Маруся какому-то служащему у контроля.—На будущей недѣлѣ избавлю васъ отъ своего лицеизрѣнія.

— Что такъ?—спросилъ ее молодой мужской голосъ.

Этотъ разговоръ дошелъ до ушей Марьи Трофимовны точно издалека.

— Воиъ изъ Москвы!.. Ангажементъ!..

— Что вы!..

— Чего вы удивляетесь? Неужели, думаете, на сорокато рублѣхъ пріятно каждый день горю драть? Прощенья просимъ...

Грубость словъ и выраженій уже не дѣйствовали на Марью Трофимовну. Она опять схватила руку Маруси. На подъѣздѣ подвернулся все тотъ же усачъ. Онъ хотѣлъ крикнуть извозчика.

— Сами найдемъ,—отрѣзала Маруся.—Ты, пьянчуга, только ханать на водки гораздъ.

Онъ спустился по переулку. Извозчики приставали къ нимъ. Маруся только все повторяла рѣзко и криливо:

— Срѣтенка, четвертакъ!

Нашелся, наконецъ, охотникъ.

Въ пролеткѣ Марья Трофимовна почти истерически обняла Марусю.

XVI.

Чистые-Пруды уже въ густой зелени. Прошла недѣля теплой, почти жаркой погоды, съ той ночи, когда пролетка весело катила съ Божедомки въ номера на Срѣтенку.

Въ сумерки двигалась Евсеѣва по правой аллеѣ вдоль пруда, еще не покрытаго зеленой плѣсенью... Гуляющихъ побыло; дѣтей увели; но молодежь—гимназисты, подростки-дѣвушки, воспитанники въ военныхъ шинеляхъ—попадались по-трое, по-четверо.

Куда шла она? Марья Трофимовна сама не знала. Впервые у нея было чувство, когда васъ выгнать на улицу.

Да, у нея нѣтъ квартиры, нѣтъ пожитковъ, а денегъ всего полтинникъ, вотъ—въ карманѣ пальто. Хорошо еще, что отпустили въ пальто: могли и его задержать.

Опять, все равно, что въ Петербургѣ, когда Маруся скрутила свой отъѣздъ въ Москву,—совершенно такъ же все случилось быстро, незамѣтно, безъ всякаго участія

воли... Ей только было жаль, она только любила свою дѣвочку; она только довѣряла.

И что же вышло?.. Приласкалась къ ней Маруся, у нея въ номерахъ. Пробыла съ ней два дня; вмѣстѣ гуляли, ѣздили въ Сокольники, дѣлали планы, какъ онѣ заживутъ въ Москвѣ зимой. Маруся получила ангажементъ—такъ она увѣряла—въ Рыбинскѣ, играть въ водевиляхъ и въ одноактныхъ опереткахъ. Призналась она еще разъ, что „приняла участіе“ въ талантливомъ „простаки“, томъ самомъ, что гулялъ съ ней въ саду, въ высокой шляпѣ. Она побурлила недолго. Ревность ея улеглась, какъ только она съѣздила къ себѣ. Они помирились.

Надо было признать фактъ: у Маруси была связь и, вѣроятно, не первая. Марья Трофимовна уже не заикалась ни о чемъ, только все твердила:

— Манечка, хорошій ли онъ человѣкъ?

А Маруся повторяла:

— Когда захочу, тогда и выйду за него. Онъ въ ногахъ валяется—я не хочу!.. Надъ нами не каплетъ.

Что же: въ актерскомъ быту—не такъ, какъ на міру: надо признать нравы, какъ они есть. И Марья Трофимовна, точно дѣвочка, выслушивала отъ опытной молодой женщины, что разсчитывать все на партію—когда въ актрисы пошла—да „соблюдать себя“—чистая „утопія“. Это слово „утопія“ Маруся произносила особенно презрительно. Когда-нибудь попадетъ она въ „звѣзды“, прогремитъ сначала въ провинціи, а потомъ здѣсь или въ петербургской „Аркадіи“... Тогда и партію сдѣлаешь... Примѣры бывали—и не одинъ...

Въ два дня жизни по душѣ съ Марусей Марья Трофимовна такъ себя не помнила отъ радости, что ей ея дѣвочка казалась и доброй, и откровенной, и желающей учиться, добиваться своей цѣли. Она почти негодовала на перваго сюжета: онъ оклеветать ее нарочно, чтобы только свалить съ себя вину. Съ трудомъ удерживалась она не пересказать Марусѣ разговора съ нимъ... Но о немъ сама Маруся ничего не упоминала: точно будто она съ нимъ никогда и знакома не была. Это тоже очень трогало Марью Трофимовну.

„Благородно! — повторяла она про себя. — Зла не помнить“.

На третій день Маруся прибѣжала—лица на ней нѣтъ.



Истерика. Страшно напугала. Дѣло... Подозрѣніе падаетъ на ея возлюбленнаго... Надо сейчасъ хоть сорокъ рублей. Иначе все погибло...

Ни одной секунды не возражала она—дала эти деньги; осталась сама съ нѣсколькими рублями. Исчезла Маруся на цѣлыя сутки... Потомъ опять прибѣжала. Подошло первое число—надо ѣхать въ Рыбинскъ, а „задатокъ“, выданный ей, ея „простака“ давно прожилъ. Выѣхать не съ чѣмъ, и заказывать платье нельзя: не „голою же“ играть, какъ она говорила въ отчаяніи, со слезами, поднимая кулаки, точно всѣ виноваты въ ея „незадачѣ“.

Послѣдніе рубли отдала Марья Трофимовна. Какъ же не отдать?.. Гдѣ же возьметъ Маруся? А лучше, какъ тамъ, въ Рыбинскѣ, пропустить срокъ, и ступай пѣшкомъ, или... торгуй собою... Разъ Маруся и кривнула:

— Разумѣется, въ камеліи пойдешь!..

Все уладилось. Можно ѣхать. Маруся, накануне отъѣзда, была пѣжна, клала все ей голову на плечо, ластилась, какъ никогда.

— Мамаша,—сказала она вдругъ,—что же вамъ оставаться здѣсь? Поѣдьте съ нами, а пока переѣзжайте ко мнѣ... и вещи наши перевезите.

Она такъ и сдѣлала: переѣхала къ Марусѣ и мечтала ѣхать съ ней на Волгу. Чего ей надо? Ну, она будетъ у нихъ экономкой, и бѣлье выстираетъ; можетъ, практика какая выпадетъ: городъ богатый, купеческій... Да и что она останется одна въ Москвѣ? На что будетъ жить? Съ чѣмъ вернется въ Питеръ?

Ее и трогало, и веселило это предложеніе Маруси... Значитъ, сердце есть, хочетъ хоть чѣмъ-нибудь отплатить за все, что въ нее вложено... Да и не пужно ничего, кромѣ любви и ласки...

Переѣхала. У Маруси были двѣ комнатки. Въ одной она и размѣстилась. На другой день Маруся—„простака“ своего она ей не показывала—говорить ей:

— Свой багажъ я уже отправила съ товарнымъ поѣздомъ.

Просыпается Марья Трофимовна на третій день. Что-то тихо рядомъ.

Маруся уѣхала тайкомъ; оставила записку:

„Мамаша, простите. Онъ не согласился взять васъ—говорить, намъ надо будетъ переѣзжать все лѣто. Это стѣснить. До свиданія зимой“.

И только.

Марья Трофимовна вступило въ голову. Она была больше сутокъ въ оцѣпенѣніи. Но этимъ не кончилось. Хозяинъ, когда она захотѣла съѣхать и взять гдѣ-нибудь уголь,—у нея не было и рубля въ карманѣ,—задержалъ ее вещи. Онъ объявилъ ей, что потому только и отпустилъ госпожу Славскую,—она ему была должна за мѣсяцъ,—что та представила ему свою „мамашу“, какъ поручительницу, которая и займетъ ее помѣщеніе, и заплатитъ за нее.

Все это было сдѣлано за ее спиной; она, какъ малолѣтняя, ни о чемъ не догадывалась... Черезъ нѣсколько часовъ она очутилась на улицѣ... Идти жаловаться? Куда? Оставаться въ квартирѣ? Еще больше должать? ѣхать въ Рыбинскъ? На что? Да и кто же знаетъ: туда ли поѣхала Маруся? А можетъ, въ Нижній, въ Саратовъ, въ Одессу?

Когда первое ошеломленіе прошло, Марьей Трофимовной овладѣла горечь, злость настоящая, такая, что у нея на языкъ явилось ощущеніе желчи. Она вся потемнѣла... Нельзя хуже обойтись, какъ обошлась съ ней жизнь... Вотъ она нищая, на улицѣ, обманута своимъ дѣтищемъ, въ своихъ собственныхъ глазахъ; одурочена, ограблена до послѣдней почти копейки, до послѣдней нитки, кромѣ того, что у нея на плечахъ.

Она такъ и сказала хозяину:

— Извольте, берите мой багажъ, удерживайте. Мнѣ платить нечѣмъ...

И ушла. Ее сначала хотѣли задержать; но хозяинъ одумался. Ему выгоднѣе было удовольствоваться ее пожитками. А начнешь дѣло—еще, пожалуй, все ей присудятъ. Она могла кипуться въ участокъ. Всякая охота, всякая энергія рухнула. Только одна неизмѣримая горечь затопляла ее душу.

Голодная, не замѣчая своего голода, двигалась она по бульварамъ—улица точно пугала ее—снизу вверхъ. Въ сумеркахъ попала она на Чистые-Пруды.

Опредѣленнаго вопроса: гдѣ она будетъ почевать? что же теперь дѣлать ей, одной, во всей Москвѣ?—она не задала себѣ. Ей было буквально „все равно“. Оборвалась кака-то нить. Любовь эта, куда она все положила, слишкомъ ее оскорбила, подсиѣла, обездолила. И то, что ей, впервые, пришло тамъ, въ Туникѣ, въ садикѣ, подъ гру-

шевымъ деревомъ, теперь встало передъ ней, какъ настоящая правда жизни.

„Да, все такъ, безъ цѣли, безъ добра и награды вертится на свѣтѣ... Ни правды, ни любви не нужно, и чѣмъ нелѣпѣе, глупѣе, безобразнѣе падаютъ карты въ этомъ ужасномъ гранпасянскѣ, тѣмъ это вѣрнѣе дѣйствительности“...

Вотъ что выходило изъ отрывочныхъ мыслей, которыя, отъ времени до времени, встряхивали ея тяжесть, окаменѣлость всего ея существа.

Холодно ей стало, на особый ладъ, бездушно холодно. Люди по бульварамъ, дѣти, въ особенности барыни, студенты, военные, рабочіе съ котомками—плотники и каменщики, — всѣ ей сонскѣмъ сторонніе... Люди же... не стоятъ ни слезы, ни вздоха, ни куска хлѣба... Помогай, не помогай — все будетъ вертѣться то же колесо... Все такъ же зря...

Прежде, бывало, каждому нищему она хоть копеечку да подастъ. Знала она отлично, сколько между ними пьяницъ, обманщиковъ, воровъ, закоренѣлыхъ бродягъ, а все-таки подавала, не могла не подать...

Сегодня, нужды нѣтъ, что у нея осталось два двугривенныхъ и мѣдью сколько-то — будь у нея и нѣсколько красненькихъ — она ничего бы никому не подала. По дорогѣ сколько нищихъ останавливали ее; она и не знала, что ихъ столько въ Москвѣ... Всѣ они ей были чужды, даже противны; она сторонилась, завидя подозрительную фигуру...

Ну, и она нищая. А не протянетъ руки. Умереть на улицѣ, а не протянетъ: такъ ей, по крайней мѣрѣ, тогда казалось. Зачѣмъ она станетъ поддерживать жизнь нищаго, даже если онъ и не обманщикъ?.. Чѣмъ больше ихъ умереть, тѣмъ лучше... Право!..

Ноги начали подкашиваться: она сѣла на скамью, въ самомъ загибѣ пруда, туда, къ Покровкѣ...

Голодъ только тутъ далъ ей себя почувствовать. Откуда-то сзади, точно нарочно, запахло калачами и теплымъ чернымъ хлѣбомъ. Что же, она купить себѣ сайку, яйцо, всего на ятакъ. О полегѣ она почему-то усиленно избѣгала думать.

— Позвольте васъ побеспокоить, сударыня... Благородный человѣкъ... Не откажите...

Она еще не поднимала головы, но уже знала, что это



за звукъ. Глухой офицерскій голосъ... Вишь, зачѣмъ пошелъ!.. Извѣстно: поручикъ просить на бѣдность. Еще удивительно, какъ о ранахъ изъ-подъ Севастополя не приплелъ...

— Сударыня... Вѣрьте слову... униженье...

Злю ее взяло. Она подняла голову и собралась крикнуть ему:

„Проходите!.. Очень мнѣ нужно!..“

Слова замерли.

Офицеръ стоялъ около скамейки, вбокъ, но очень близко. Отставной военный скрутокъ, фуражка съ краснымъ околышемъ, сапоги еще цѣлые, подпирается палкой.

Голосъ, длинный овалъ лица, родимыя пятна около носа, ростъ... Неужели—Амосовъ, Петруша, что былъ юнкеромъ въ гренадерской дивизіи, ея первая любовь, тотъ, что взялъ и первый поцѣлуй, въ садикѣ, подъ грушевымъ деревомъ? Она все это вспомнила, не торопясь, всматривалась въ него, говоря себѣ мысленно:

„Похожъ, только не онъ. Да вѣдь и тотъ—такой же! У меня попросилъ бы милостыни. И этотъ попросить и пропеть. Онъ уже клюкнулъ“.

Слеза не прошибла ее; руки не задрожали; но что-то опять новое,—особенная, другая горечь прилила къ той, теперь уже старой. Надъ могилой, около покойника, такъ, должно-быть, чувствуешь. Плакать? Все уже выплакано. Пьяница и тотъ, побирушка, можетъ, и жуликъ... Что жъ мудренаго?

Офицеръ ждалъ съ недоумѣніемъ.

— Смѣю спросить? — окликнулъ онъ и, кажется, смутился.

— Вы вѣдь не Амосовъ, Петръ Данилычъ, со Срѣтенки?

— Никакъ нѣтъ.

Офицеръ, какъ будто, застыдился и, пожавшись, сказалъ:

— Позвольте присѣсть?

— Садитесь,—выговорила она съ улыбкой.

— Не осудите—не осудимы будете... Однихъ вознесетъ, другихъ...

— Я и не осуждаю, — перебила она его и поглядѣла на него вбокъ.

— Вы въ достаткѣ... Не откажите...

— Вы у меня просите? — выговорила Марья Трофимовна. — Забавно. А, можетъ, я не богаче васъ... вы почему знаете?

— Простите! Простите шутить...

Онъ былъ совершенно пришибленъ своимъ нищенствомъ.

Она это поняла, но ей не стало, отъ его сходства съ Петрушей, жалче свою „первую любовь“. И совѣстно ей не было за него.

„Оба мы бродяги“, — подумала она, и захотѣлось ей узнать, есть ли у него квартира.

Тогда она показала бы этому побирושкѣ, что она еще болѣе нищая, чѣмъ онъ, если есть.

— Послушайте, — начала она веселѣе, почти задорно, — у васъ вѣдь навѣрно квартира хоть какая-нибудь имѣется?..

Онъ оглянулся, сдѣлалъ какое-то неуловимое движеніе своей длинной шеей и быстро выговорилъ:

— Никакъ нѣтъ!.. Вамъ я лгать не стану... Прошу понять...

И въ этотъ отвѣтъ онъ вложилъ все достоинство свое: по звуку она повѣрила; она была, въ ту минуту, уже не довѣрчивая, поглупѣвшая мать Маруси, а опытная, бывалая акушерка.

Ей опять захотѣлось выпросить у него, гдѣ же онъ ночуетъ, коли нѣтъ постоянного угла.

— Такъ вы, — продолжала она все еще полшутливо, — какъ птица небесная... гдѣ придется, тамъ и прикурнете?.. Что жъ, теперь тепло... Можно и на вольномъ воздухѣ, всю ночь...

— Не скажите, — возразилъ онъ уже въ болѣе дѣловомъ тонѣ, — на бульварахъ не дають спать всю ночь хожалые; въ паркѣ развѣ... А ночь засвѣжѣетъ. До іюля мѣсяца еще очень свѣжо, иной разъ и въ родѣ морозца.

— Гдѣ же вы ночуете? — уже настойчивѣе спросила она его.

Онъ сдѣлалъ свой неуловимый жестъ шеей.

— Извѣстно гдѣ... На Хитровомъ...

— На Хитровомъ рынкѣ? — вспомнила она.

— Совершенно вѣрно-съ... Есть тамъ и даровое помѣщеніе...

— Ночлежный домъ?

— Да-съ, на иждивеніи двухъ первой гильдіи купцовъ. Въ просторѣчій Ляпинка называется.

Два слова: „иждивеніе“ и „просторѣчіе“ напомнили ей слово извозчика: „ристаніе“.

Она чуть не разсмѣялась.

— Даромъ?..



— Даромъ-съ... И даже сбить... поутру... А почлежниковъ не мало благороднаго званія.. впавшихъ въ несчастіе... вотъ какъ и я... Когда фортуна отвернетъ свое колесо, подпяться невозможно...

Офицеръ вздохнулъ и всталъ въ просительную позу...

— Теперь еще легко попасть и попозднѣ ежели придти, а зимой, сверхъ комплекта, иной разъ больше согнн прижимають... А опоздалъ, — какъ хочешь, коли нѣтъ питачка.

— А питачокъ за что платять?—спросила быстро Марья Трофимовна.

— За койку... Тамъ вездѣ кругомъ съемщицы... Не изволите знать?.. Извините... для васъ это все низкіе предметы... А вѣрите... если благородный человѣкъ...

Онъ впадалъ опять въ тонъ просящаго офицера.

Тутъ у нея въ груди что-то заиграло, забилося, точно мотылекъ... Горечь стала менѣ острой; но обида всей жизни выступила передъ ней еще безпощаднѣй въ лицѣ этого пьяненькаго побирунки, похожаго на ея первую любовь, на ея жениха, за котораго она приняла дѣвужкой столько срама и слезъ... Въ одинъ день, какое... Провидѣніе добивало ее, учило уму-разуму, казало въ самой близинѣ, въ двухъ шагахъ отъ нея, нищенство, и того хуже... И она можетъ сдѣлаться пьянчужкой... Почему знать?.. Вѣдь говорила же недавно „тетенька“, что ея офицеръ пошелъ въ мать: та испивала, и онъ началъ, когда лѣта пришли...

Сразу всякое чувство стыда, порядочности, достоинства показалось ей такимъ жалкимъ вздоромъ...

„Все равно, все равно...—повторяла она мысленно.—И всѣ равны... во всѣхъ грѣзъ и порокъ, всѣ могутъ быть эжецами, и душегубами, и пьяницами, и ворами, и сумасшедшими...“

А офицеръ все стоялъ въ просительной позѣ.

— ...И сегодня печѣмъ будетъ заплатить за уголь... Хозяйка не пуститъ даромъ... Придется въ Ляпинку... Честный человѣкъ...

„У меня просить!—перевела она себѣ его бормотанье.—А вѣдь я, и вправду, богаче его...“

Марья Трофимовна пащупала въ карманѣ мелочь, и ей точно захотѣлось поразить офицера своей щедростью—раздѣлить съ нимъ что у нея тамъ лежало. Она вынула

то, что захватила двумя пальцами. Это были два двугривенныхъ.

Молча подала она ихъ, встала и почти побѣжала отъ него, не слушая того, какъ онъ ее благодарилъ.

XVII.

Ходила она еще часа два. Фонари давно уже горѣли. Ызда стала рѣже... Сколько переулковъ, площадокъ, перекрестковъ миновала она. Только около десяти часовъ, когда была она неподалеку отъ земліного вала, всталъ передъ ней вопросъ:

— А гдѣ же ночевать?

И совершенно спокойно, съ тихой усмѣшкой, которую она сама почувствовала на губахъ, Марья Трофимовна отвѣтила: „въ этой... въ Лянинкѣ“. Ей сначала не пришло на умъ то, что было уже поздно; не испугалась она и того, что можетъ тамъ столкнуться съ своимъ знакомымъ, съ пьянчужкой-офицеромъ. Она знала отлично, что онъ лгалъ безстыдно, какъ закоренѣлый пьяница, что ей два двугривенныхъ, послѣдніе, пошли сейчасъ же въ кабакъ или портерную, а ночевать онъ пошелъ въ эту самую Ляпинку.

На какомъ-то проѣздѣ, гдѣ прошипѣлъ грузный вагонъ желѣзно-конной дороги, она спросила у городского твердымъ голосомъ:

— Какъ дойти до Хитрова рынка?

Тотъ объяснилъ ей вѣжливо и съ большими подробностями... Ошибиться было трудно. Тамъ помѣщалось при входѣ зданіе части.

— Спуститесь проулкомъ,—пояснилъ городской,—мимо ночлежнаго дома.

— Мимо Лянинки?—подсказала она.

— Такъ точно...

Черезъ двадцать минутъ она дошла до этого самаго переулка. Вонъ и казанча части видѣется. Зданіе тянется въ родѣ тюрьмы или больницы; къ подъѣзду загородки идутъ... Это самое и есть.

По переулку пустъ. Ни единой души около подъѣзда, ни на другомъ, узкомъ и крутомъ тротуарѣ, спускающемся вдоль низкаго каменнаго забора.

„Опоздала“,—подумала Евсеѣва тупо, безъ всякой даже досады.

Она не знала, какъ и гдѣ звонить; да и не отошруть

ей одной. Ни минуты она не стала волноваться. Заперто, такъ заперто. Не все ли равно? Ноги, правда, ноютъ, почти отказываются. Ну, пойдетъ на бульваръ,—ихъ вѣдь много по Москвѣ,—сядетъ на скамейку, заснетъ, навѣрно заснетъ; разбудить „хозяинъ“ (такъ вѣдь называлъ офицеръ),—она на другой бульваръ; оттуда тоже прогонять. Она прямо скажетъ, чтобы ее взяли, свезли въ участокъ, куда хотятъ... Есть такой „комитетъ“, — она знаетъ. Пускай ее запишутъ въ нищіе... Не станетъ она работать, какъ прежде... Зачѣмъ? Для кого?

И ей представилось нахально смѣющееся лицо Маруси, съ красными губами и обнаженными деснами... То-то она со своимъ „простакомъ“, гдѣ-нибудь на пароходѣ или въ бесѣдѣ, на Волгѣ, въ ресторанѣ, потѣшаются надъ старой душой, которую обвели и заставили лѣзть въ петлю за нихъ!.. А офицеръ, пьяный, издѣвается тоже надъ ней и съ прибаутками рассказываетъ сосѣду по ночлежному дому, какая ему встрѣча была сегодня.

— Скупа, бестія! — навѣрно, выругался онъ, — только сорокъ копеекъ отвалила!

Эти образы все ожесточаютъ ее и дѣлаютъ безчувственнѣе къ своему положенію. Она двигается машинально. Сошла внизъ по переулку... Площадь. Слева, гдѣ часть съ каланчой, на засоренной мостовой нѣтъ ничего; правѣе — всякая всячина, оставшаяся отъ денного торга. Съ трехъ сторонъ, стѣной, въ родѣ ящика, идутъ двухъ-этажные дома, всѣ въ окнахъ. Освѣщеніе вездѣ, кромѣ одного темнаго мѣста. Она разглядѣла ворота и глубину двора, а на дворѣ тоже каменный домъ, весь освѣщенный.

Совсѣмъ не такъ, какъ она думала пайти этотъ „рынокъ“: она ждала чего-то гораздо зловѣщѣе, тѣснѣе, грязнѣе, страшнѣе... Трактиръ, кабакъ, съѣстная лавка, еще трактиръ... Окна растворены; виденъ народъ, рубахи мужчинъ, красные платки бабъ и дѣвочек... гамъ, чаевитіе, водка, пиво, простоволосыя женщины. Она сейчасъ догадалась, — какія: какъ потому смѣются, перекрикиваются съ одного стола на другой... Играетъ органъ...

Обогнула она по тротуарамъ всю почти площадь; нашло на нее неизвѣданное еще озорство; вотъ тутъ же, на рыпкѣ, прилечь у какой-нибудь кучи... Да кажется, копошатся человѣческія фигуры... Она бродяга, нищан. Почему же ей не растянуться прямо на мостовой? Она уже не находила мысль ни безумной, ни унижительной... Какъ

только станетъ потише, она выберетъ мѣстечко... Да она еще богачка; вѣдь на ней пальто. Оно не очень поношено. Тутъ же завтра дадутъ рублей пять.

Марья Трофимовна стала гладить его правой и лѣвой рукой. Сукно еще крѣпкое. Лѣвая рука прошла по карману.

Да никакъ тамъ что-то есть?.. Неужели деньги?.. Она нащупала. Деньги. Осталось у нея два пятака и двѣ копейки—„семишникъ“, какъ называется народъ.

Она имъ не особенно обрадовалась; но все-таки сообразила: переночую въ ночлежномъ домѣ. Эта ночевка представлялась ей хуже, чѣмъ на воздухѣ, тутъ, на клочкѣ стоптанной, грязной соломы или подъ навѣсомъ палатки... Она помнила хорошо, въ какихъ она бывала въ Петербургѣ углахъ, въ какихъ подвалахъ, гдѣ тоже пускаютъ ночевать...

— Что жъ?.. Ей лучше теперь нечего и желать. Она повернула назадъ, къ той сторонѣ площади, гдѣ самый шумный трактиръ и ворота съ темнымъ дворомъ. Почему-то она сообразила, что на дворѣ-то и должны быть ночлежные квартиры.

Она не ошиблась. У воротъ кто-то ей указалъ:

— Идите въ любую дверь,—хоть въ тотъ домъ, хоть сюда, во флигеляхъ. Вездѣ примутъ.

— Плата пять копеекъ?—спросила она безъ всякаго смущенія въ голосъ.

— Обнаковенно.

На дворѣ не такъ темно, какъ казалось ей издали. „Должно-быть,—сообразила она,—посрединѣ-то домъ барскій, даже былъ съ флигелями, а теперь—трущобы. Такъ тому и слѣдуетъ. Такова жизнь“...—добавила она, усмѣхаясь въ полутемнотѣ и вглядываясь въ дорожку, которая вела прямо къ главной двери.

Вошла она въ сѣни. Ее удивило то, что такъ свѣтло. Лѣстница и коридоры,—все это освѣщено ярче, чѣмъ въ иномъ хорошемъ домѣ, керосиномъ. Спускаться не нужно, а, напротивъ, подниматься. И внизу должны быть квартиры, да ее потянуло наверхъ. Ни удушливаго запаха, ни особенной нечистоты. Во многихъ домахъ въ Петербургѣ, да и въ томъ, гдѣ она выжила столько годовъ, задняя лѣстница и весной вдвое грязнѣй и вонючѣе.

Вѣрно она попала въ дворянское отдѣленіе. Запросятъ больше пятака... У нея двѣнадцать копеекъ. Можетъ, и



всѣ двѣнадцать заплатить: а завтра... Что завтра?.. Сказано: нищамъ и бродягамъ.

Въ коридорѣ нѣсколько дверей. Она дернула за первую налѣво и попала въ высокое помѣщеніе, гдѣ было такъ же свѣтло, какъ и на лѣстницѣ, жарко, полно народа,—мужчинъ и женщинъ, довольно шумно, и стоялъ уже особый запахъ.

Направо отъ входа, въ отгороженной каморкѣ, съ высокою кроватью и множествомъ подушекъ, съ кѣтомъ и двумя зажженными лампадками, жила съемщица, не старая еще баба, въ ситцевомъ капотѣ, повязанная платкомъ. Она встрѣтила Марью Трофимовну привѣтливо, только лицо у нея было красное, въ пятнахъ, и нечистый ротъ, который она все складывала въ комочекъ.

— Вамъ съ постелькой?—спросила она низкимъ голосомъ.

— А цѣна?

— Гривенничекъ, матушка... Пожалуйте... Вонъ тамъ, въ углу, и занавѣсочка есть.

Вслѣдъ за хозяйкой она прошла чрезъ все помѣщеніе. По всѣмъ стѣнамъ нѣры шли въ два этажа. Лампа висѣла посрединѣ потолка, надъ столомъ. Вокругъ него, на скамьяхъ, сидѣло человѣкъ шесть, семь; двое, въ рубашкахъ, смахивали на рабочихъ; остальные—въ рваномъ городскомъ платьѣ; двое—совсѣмъ еще мальчишки. Они играли въ какую-то азартную игру. На столѣ штофъ уже подходилъ къ концу и валялись обѣдки чего-то съѣстного.

Играющіе покосились на вошедшую „барыню“, но играть не перестали и громко спорили, кидали бранныя слова; поднимались и взрывы смѣха.

По нѣрамъ, и вверху, и внизу, должно, не всѣ еще спали... Цѣны мужики разувались... Бродяги и нищіе лежали въ платьѣ; по ихъ было не много. Больше рабочіе, крестьяне. И запахъ стоялъ мужицкій, знакомый Марьѣ Трофимовнѣ по петербургскимъ угламъ. Бабы спали тоже въ платьяхъ... Спали и парами, за занавѣсками, и просто такъ. Парами лежали и въ нижнихъ нѣрахъ, прямо на полу, безъ всякой подстилки.

Съемщица разсчитывала, что барыня спроситъ чего-нибудь, чайку или бутылку пива, и устраивала ее съ отѣнкомъ почтительнаго обхожденія. Она ей отдала уголокъ за запавѣской и принесла подушку. Черезъ окно



стояла и настоящая постель съ двумя большими ситцевыми подушками и стеганымъ розовымъ одѣяломъ.

— Это помѣсячно нанимаетъ,—пояснила хозяйка,—старичокъ приказнаго званія... Все у него свое... Придетъ попозднѣ... Безпокойства отъ него не будетъ...

Не только не дѣлалось Марьѣ Трофимовнѣ жутко, или совѣстно, или боязно, но она досадовала на себя: зачѣмъ пришла почевать въ такое помѣщеніе, гдѣ не одни бродяги и побирušки, а и старики со своими постелями. Не того она ждала. Ей точно надо было пройти въ этотъ же вечеръ, въ эту же ночь, черезъ всѣ виды униженія, обмана, издѣвательства, „великой глупости“, которую называютъ человѣческой жизнью.

— Ничего не требуется? — съ удареніемъ спросила съемщица.

Она поблагодарила ее и задернула занавѣску. Раздѣваясь она не сразу стала. Что-то удерживало: старое, дѣвичье, опрятное и стыдливое... Но она и это нашла нелѣпнымъ и раздѣлась; пальто и платье положила подъ подушку, ботинокъ не сняла. Она не боялась, что ее ограбятъ ночью, украдутъ и пальто, и платье. Паспорта у нея не было,—хозяинъ меблированныхъ комнатъ оставилъ у себя. Приди полиція,—она въ полной формѣ бродяга, не имѣющая вида... Одно уже къ одному!..

За столомъ продолжали играть. Потребовали было еще полшштофъ. Къ играющимъ подсѣла женщина въ красномъ сарафанѣ, изъ такихъ, что Марья Трофимовна видѣла въ окна трактира... Она запѣла какіе-то куплеты,—не пѣсню, а куплеты со срамными словами... Кажется, съемщица пристыдила ее... Направо отъ угла Марья Трофимовна раздавался уже храпъ... Подъ нею тоже возлились... Пыльный мужской голосъ и бабій, визгливый, хныкающий... Дерутся!..

— Пошла, шкура! — крикнулъ мужчина, и изъ-подъ пары на полъ выскочила и растянулась на полу нищенка, простоволосая, все въ боличкахъ, босая, ужасная!..

Но Марья Трофимовна глядѣла на нее, не ежилась, не содрогалась. Вѣдь это теперь ея товарики... Почему же она знаетъ, что „жизнь“ не доведетъ и ее до того же самаго?

— Варваръ!..—хныкала нищенка.—Мало тебѣ, Проду, двухъ сорокоушекъ... Прорва бездонная!..

Нанскосокъ лежалъ молодой малый, мастеровой. Его

лицо, худое и насмѣшливое, было видно изъ угла Марьи Трофимовны.

— Что котъ-то?.. Не свой братъ, тетенька!..—крикнулъ онъ нищенкѣ.

И обернулся къ сосѣду, рабочему-мужику, съ разговоромъ. Слова его долетали до нея очень явственно сквозь шумъ играющихъ за столомъ. Женщина въ красномъ сарафанѣ начала опять напѣвать.

Черезъ десять минутъ Марья Трофимовна уже знала, чтѣ такое „коты“ на языкѣ Хитрова рынка. Нищенка, что лежала подъ нею, содержала своего „душеньку“. Онъ цѣлый день лежалъ на койкѣ или сидѣлъ въ трактирѣ, а она на него работала. „И такихъ *котовъ*, должно-быть, сотни въ ночлежныхъ домахъ, здѣсь, на Хитровомъ?“—спрашивала она себя, и это открытіе какъ нельзя больше подходило подѣ то, что ей дала жизнь. „Любовь!.. А въ самомъ-то концѣ этого вѣчнаго обмана—„котъ“ съ Хитрова рынка, живущій насчетъ нищенки... И нищенка его обожаетъ... Онъ же ее топчетъ ногами, зная, что она приползетъ и добудетъ денегъ, и принесетъ ему сорокоушку! И такъ будетъ всегда, тысячи лѣтъ!..“

Она чуть-чуть не расхохоталась.

Вдругъ все притихло въ ночлежномъ помѣщеніи. Кто-то изъ двери шепнулъ какихъ-то два слова хозяйкѣ. Она выбѣжала изъ своей каморки и бросилась къ столу... Сейчасъ же исчезли карты и водка. Женщина въ красномъ куда-то точно провалилась подѣ нѣру. Изъ игравшихъ остались, однако, трое вокругъ стола въ непринужденныхъ, навѣчныхъ позахъ; остальные полѣзли на свои мѣста.

— Неужели облава?—шепнулъ кто-то около Евсеѣвой.

Нищенка уже безъ спроса полѣзла къ своему коту.

Всѣ замолкли разомъ. Съемщица остановилась въ дверяхъ своей каморки и ничего не говорила. Въ коридорѣ слышались шаги.

„Полиція!“—почти радостно подумала Евсеѣва.

XVIII.

Ей были видны изъ-за занавѣски вся середина комнатъ и входная дверь, приходившаяся въ дальнемъ углу комнаты. Она даже привстала, взяла пальто изъ-подѣ подушки и приодѣлась имъ.

А вдругъ какъ въ самомъ дѣлѣ станутъ осматривать



паспорты? Она раздѣта... Такъ, при всѣхъ, при городо-
вомъ и приставѣ... И заставить идти ночевать въ часть...

Но она не схватилась за платье; только надѣла въ ру-
кава пальто и прилегла въ полусидячей позѣ...

Большой оторопи не произошло среди ночлежниковъ.
Безпаспортныхъ было мало; она, когда входила, видѣла,
что больше все мужики, настоящіе, деревенскіе...

Но испугались всѣ одного появленія полиціи. Молча-
ніе, хотъ и длилось не больше минуты, показалось и ей
томительнымъ.

Дверь толкнули изъ коридора съ усиленіемъ. И она, когда
входила, не сразу ее отворила.

Всѣ у стола поднялись. И многіе привстали на кой-
кахъ. Но одна баба, деревенская, въ темномъ сарафанѣ,
пробиравшаяся спать подъ верхнюю нару, прямо противъ
входа, такъ испугалась, что осталась на полу, на кор-
точкахъ. Платокъ сбился у нея съ головы. Вся она сжа-
лась въ комокъ и даже голову уткнула въ колѣни. Глядя
на нее, Марья Трофимовна чуть опять громко не расхо-
хоталась.

Она ждала свѣтлыхъ пуговицъ и фуражки съ кокардой.

Но первымъ вошелъ штатскій, среднихъ лѣтъ мужчина,
въ длинномъ пальто, въ ринсе-пез, съ темной бородкой и
въ мягкой поярковой шляпѣ. За нимъ, почти рядомъ,
другой, уже пожилой, съ большой сѣдой бородой, тол-
стый, въ очкахъ, подпирался сучковатой палкой.

„Сыщики“,—мелькнуло у нея въ головѣ, какъ навѣрно
и у всѣхъ ночлежниковъ, бывалыхъ, не-деревенскихъ.

За двумя штатскими влетѣлъ и заюлилъ передъ ними,
какъ бы показывая имъ путь, шустрый, вертлявый око-
лоточный, по всѣмъ признакамъ, изъ еврейчиковъ, съ
усиками на красивенькомъ лицѣ и тоже въ очкахъ. Онъ
уже что-то такое имъ заговорилъ, въ видѣ поясненія.

Переступилъ за порогъ и приставъ, въ шинели и фу-
ражкѣ. Изъ-подъ шинели виденъ былъ скрутокъ, а не
мундиръ. Приставъ выступалъ медленно, не смотрѣлъ
хмуро, а скорѣе улыбался, и его сѣдые, широкіе, казац-
кіе усы совсѣмъ не придавали ему строгости. Широкая,
нѣсколько уже тучная фигура горбилась. Такія лица
Марья Трофимовна видала у старыхъ малороссовъ. За
нимъ, съ портфелемъ, вошелъ худой, франтоватый „по-
ручникъ“ (такъ въ ея дѣтствѣ звали въ Москвѣ кварта-
льныхъ) съ длинными бакенбардами.

Первое, что увидалъ приставъ, была, разумѣется, баба на полу. Она наполовину успѣла уже залѣзть въ свою мурью.

— Эй, тетка! — окликнулъ ее приставъ. — Ты въ почевку туда?

Онъ говорилъ съ какимъ-то не-великорусскимъ акцентомъ.

— Въ почевку, кормилецъ, — отвѣтила она и такъ забавно поглядѣла на него, что свита пристава разсмѣялась.

— Матушка, — обратился приставъ къ съемщицѣ, довольно мягко, въ правоучительномъ тонѣ, — подъ нары пускать ночевать не позволится, по правиламъ...

— Слушаю, ваше высокоблагородіе, — выговорила хозяйка и отретировалась къ своей каморкѣ.

„Вотъ сейчасъ начнутъ“, — подумала Евсева.

Но ни приставъ, ни его помощники, ни околоточный ничего такого не начинали, что похоже бы было на обыскъ или на осмотръ паспортовъ. Даже дверь осталась полуотворенной, и въ коридоръ не видно было ни одной темной фигуры городского.

— На сколько мѣсть? — тихо спросилъ одинъ изъ штатскихъ, помоложе, обратившись больше въ сторону еврейчика.

— На сколько? — переспросилъ приставъ.

Хозяйка подалась впередъ.

— На сорокъ, — отвѣтилъ за нее околоточный.

Другой штатскій, съдой, отошелъ и оглядывалъ нары.

„Нѣтъ, это не сыщики, — рѣшила Евсева: — врядъ ли будутъ допрашивать“.

Ей это было непріятно. Она желала чего-нибудь сильнаго, рѣшительнаго, почевки въ части или и того хуже...

„Кто же они?“ — спросила она себя про штатскихъ.

И ей почти тотчасъ же пришелъ отвѣтъ:

„Это — газетчики, репортеры“.

Она постоянно читала въ Петербургѣ дешевыя газеты, знала, что пынче, по доброй волѣ, сотрудники обходятъ разныя трущобы, и одни, и съ полиціей.

Когда она это сообразила, вся компанія собралась уже въ обратный путь. Прошло врядъ ли больше трехъ-четырехъ минутъ.

— Смотри же, матушка, — подтвердилъ хозяйкѣ приставъ, — внизь не пускать!.. Штрафъ взыщу!..

Околоточный что-то такое ему доложилъ, сбоку, шопотомъ.

— Угодно во флигель? — спросилъ штатскихъ приставъ. — Тамъ будетъ погрязнѣ; а здѣсь... изволите видѣть... еще сносно...

Съдой господинъ оглядѣлъ еще все помѣщеніе, вскинулъ глазами и на потолокъ, пожевалъ губами и замѣтилъ:

— Сравнительно... очень сносно... Такіе ли бываютъ углы!

Евсѣева, со своей койки, молча съ нимъ согласилась.

Тонъ съдого окончательно убѣдилъ ее въ томъ, что это сторонніе посѣтители, изучающіе московскую жизнь.

Когда она объ этомъ подумала, она надъ ними подсмѣялась.

„Изучаютъ тоже!.. А сами точно не могутъ угодить, вотъ такъ же, какъ и я, не хуже другихъ благородныхъ, на койку... а то и въ богадѣльню?“

Приставъ со свитой былъ уже у выхода.

— Такъ во флигель прикажете, ваше высокоблагородіе? — торопливо освѣдомился околоточный и забѣжалъ впередъ.

— Какъ господамъ угодно, — все такъ же невозмутимо добродушно сказалъ приставъ.

Съдой пожевалъ губами: должно-быть, ему уже достаточно было хожденія; но черноватый быстро отвѣтилъ:

— Пойдемте, господа.

И всѣ ушли. Съемщица проводила ихъ въ коридоръ и, тотчасъ же вернувшись, шикнула на тѣхъ, что остались у стола и думали, кажется, продолжать кутежъ.

— Господа, а господа! Довольно похороводили... Еще честь-честью сошло-то. Благодареніе Владычицъ!.. Пора и на боковую...

— Тетенка, одну еще партійку! — запросилъ подгулявшій халатникъ, съ обстриженной головой, малый лѣтъ семнадцати, не больше.

— А у тебя, Гришутка, паспортъ-то гдѣ? — спросила его хозяйка. — Въ какой конторѣ его писали?

— У Яузскаго моста, какъ пойдешь по набережной, первая лѣстница съ фонаремъ, — сострилъ тотъ.

— То-то же. Страха на васъ нѣтъ, оглашенные!.. Огонь потушу...

— Права не имѣешь, тетка! — басомъ откликнулся кто-то изъ-подъ нѣры.

Всѣ разсмѣялись, кто не спалъ.

Однако, увѣщаніе съемщицы подѣйствовало; игроки допили полуштофъ и разбрелись въ разные углы.

Больше никто не явился со двора. Черезъ нѣсколько секундъ всѣ уже спали... Хозяйка заперла дверь на задвижку, долго молилась передъ кіотомъ, раздѣлась и потушила одну лампаду, а дверь въ свою каморку тоже заперла на крючокъ.

Кто посапывалъ, кто бредилъ, кто храпѣлъ; иные лежали какъ мертвыя тѣла: навзничъ и съ открытыми глазами.

Сонъ быстро сталъ овладѣвать и Евсѣевой... Она прикрылась пальто и положила правую руку подъ подушку, какъ дѣлала всегда въ Петербургѣ.

Засыпала она съ болѣе тихимъ чувствомъ. Ею овладѣло полнѣйшее равнодушіе, нежеланіе ни думать о томъ, что будетъ завтра, ни перебирать свою судьбу, ни заниматься тѣмъ, что около нея дѣлается и гдѣ она. Эта душевная дремота была сильнѣе физической истомы, наступившей быстро отъ жары и духоты ночлежнаго помѣщенія. Никакого образа не вышло передъ ней. Только одно сознаніе,—но такое ясное: „мнѣ все равно“.

XIX.

Ее разбудилъ шумъ. Раскрыла она глаза — свѣтъ, такой же, какъ и дагеча, когда она пришла на ночлегъ. Но не сразу она отдала себѣ отчетъ, гдѣ она.

Вправо отъ нея, вѣроятно, тоже въ углу, суетятся, раздаются глухіе стоны, женскіе стоны...

„Роженица!“—выскочило слово у нея въ головѣ. Сонъ отлетѣлъ. Все такъ стало просто и хорошо, попрежнему... Точно ее разбудили, у нея, на Лиговкѣ, ночью, часу въ третьемъ,—шелъ какъ разъ третій часъ и теперь,—и она въ пять минутъ соберется и бѣжитъ, въ снѣгъ, въ пургу, въ сильный морозъ, въ слякоть,—всегда безъ отказа.

Стоны все сильнѣе. Другой женскій голосъ что-то гуторитъ. Кто-то слѣзаетъ съ койки. Дверь въ каморку хозяйки скрипнула: видно, и та поднялась. Много народу проснулось и зѣваетъ...

Мигомъ надѣла на себя пальто Евсѣева, ловко соскочила на полъ, безъ ботинокъ—она ихъ сняла на ночь—и подбѣжала къ роженицѣ.

Она не ошиблась. Если не нищенка, то бездомная, уже

совсѣмъ почти старуха, въ затасканномъ капотишкѣ, вся черная, кажется, чахоточная... Сильно мучится...

— Экое дѣло!—бормочетъ надъ ней тоже ночлежница, помоложе, крестьянка, здоровая, но совершенно неумѣлая, можетъ-быть, не замужняя.

— Куда вы, сударыня? — остановила Евсѣеву съѣмщица. — Извините... Вотъ какая оказія... И не стыдно: такой вотъ сюрпризъ... Съ кѣмъ ее отправлять въ покой?.. Вамъ почивать помѣшали...

— Ничего, — отвѣтила Евсѣева, скоро, весело, дѣловымъ тономъ и заворачивала уже рукава.

— Да вы, сударыня...

— Я—бабушка; это моихъ рукъ дѣло...

Она не договорила и устремилась къ женщинѣ. Вести ее—если бы и было на чемъ и на что—нечего и думать. Долголѣтняя практика подсказала ей, что черезъ полчаса, много черезъ часъ, все будетъ кончено.

И она начала дѣйствовать. Все сегодняшнее вылетѣло изъ нея. Не сходила ли она временно съ ума? Чтѣ такое она думала, говорила про себя, какъ могла впасть въ такую отчаянность? Вотъ ея дѣло... Вотъ она судьба, вотъ назначеніе, все то же... И здѣсь, и въ ночлежной квартирѣ не ушла она отъ своей звѣзды...

И такая внезапная и могучая радость охватила ее, что она не испытывала ни малѣйшей робости, какъ всегда бывало въ своей практикѣ... Вернулись къ ней шутка, смѣхъ, простое, выносливое, пріятельское отношеніе къ народу, къ своей практикѣ.

— Господа кавалеры, — обратилась она полупомотомъ къ двумъ ночлежникамъ, — вы уступили бы немножко мѣстечка... дамѣ... Случай такой... Безъ него и насъ бы на свѣтѣ не было.

Оба „кавалера“ поняли ея шутку и сошли внизъ, легли подъ нѣру... Нѣсколько женщинъ еще проснулись и стали спускаться.

— Вы, тетеньки, не утруждайтесь понапрасну. Мнѣ одной достаточно, да такой, чтобы не боялась...

По комнатѣ прошелъ уже одобрителный гулъ: вотъ барыня—бабушка оказалась, сама, безъ зова. Только самые „отчаянные“ ругались, что не даютъ имъ спать. Съѣмщица морщилась, но постоялки ея всѣ были добрые... Кто-то принесъ полотенце и еще какихъ-то тряпочекъ...

— Хозяюшка, теплой водицы бы... Самоварчикъ развести,—попросила Марья Трофимовна.

— Гдѣ же теперь, сударыня?.. И безъ того такая... пачкотня... для васъ...

— Въ лавкѣ въ чайной взять, — сказать кто-то, — на рынкѣ. Навѣрняка еще не заперли...

Ей еще кто-то пояснилъ, что на Хитровкѣ такіа лавки есть, для горячей воды.

Но у роженицы не было ни полушки. Она ничего не могла и выговорить. Марья Трофимовна боялась — переживетъ ли?

И вдругъ она вспомнила, что вѣдь у нея должна остаться въ карманѣ пальто семитка... У нея было три мѣдных монеты, а не двѣ, тѣ, что она отдала хозяйкѣ.

Сердце ёкнуло у нея, когда рука шарила въ карманѣ... Вдругъ какъ нѣтъ?

Тутъ!

— Вотъ, хозяйюшка, семитка!—захлебываясь отъ радостнаго чувства, вскричала она.

— Дайте, матушка, я сбѣгаю,—предложила себя баба.

— Смотри, совѣмъ не пронади!—подозрительно замѣтила съемщица.

— Чтой-то ты! Грѣхъ такой возьму я на душу?..

Баба на-скоро одѣлась. Другая ее заступила. Съемщица убралась къ себѣ. Но стоны дѣлались все продолжительнѣе... Еще много народу проснулось. Ворчанье, однако, стихало, когда просыпавшіеся видѣли, что произошло.

Марья Трофимовна вся отдалась своему дѣлу. Только бы благополучно! Только бы остались жить и мать, и ребенокъ! Большой будетъ... И навѣрно мальчикъ...

Ея собственная судьба и обидная доля представились ей какъ и быть слѣдовало. Чего же ей больше? Сколькимъ нужна ея помощь! А пропитаться — пропитается... Какой вздоръ! Здѣсь ли, въ Питерѣ, хоть въ деревнѣ... Да зачѣмъ?.. На одномъ такомъ Хитровомъ рынкѣ и напоить, и накормить, и пригрѣютъ.

Да, она цѣлый день, да и все время въ Москвѣ, и тогда, въ Тушикѣ, подъ грушевымъ деревомъ, была внѣ себя... На нее „находило“...

Ушла Маруся, убѣжала, обманула, сбилась съ пути... Вернется, навѣрно, вернется—больная, можетъ, зараженная. Кто ее пригрѣетъ? Найдется и для бѣглянки уголь, пока есть у нея, у Марьи Трофимовны, голова и руки!

Развѣ она разслабла? Вотъ какъ у нея все спорится. Хоть въ клиникѣ—лучше никто не приметъ.

Припесли воды. Она сбѣгала къ хозяйкѣ и добилась масла.

Та даже удивилась.

— Что же это вамъ, матушка? Вѣдь она потаскушка... Охота!.. Все равно, родить...

Эти слова возмутили ее; но она себя сдержала—нельзя ссориться. Хозяйка—нужный человѣкъ для той, для роженницы.

Начинало чуть-чуть свѣтать, когда все благополучно кончилось.

Мальчикъ, да такой крупный—отъ этакой-то дохлой матери! Нашлось въ чемъ и повить его. Но куда дѣвать?

Мать его такъ ослабѣла, что Марья Трофимовна начала пугаться, стала упрашивать хозяйку—не гнать ея завтра, хоть сутки-другія, общала ей заплатить и за постой, за ѣду.

И ни разу не спросила она себя: да чѣмъ же я заплачу? Ей казалось это такъ просто. Она *непретѣнно* добудетъ все, что нужно. И въ больницѣ мѣсто, коли на то пошло!.. Вѣдь найдется хоть одинъ добрый человѣкъ, ординаторъ. Да и не на улицѣ же умирать этой несчастной... По закону слѣдуетъ.

Но мальчикъ ее особенно беспокоилъ и трогалъ. Въ воспитательный снесутъ. Въ первый разъ ей стало такъ жалко ребенка. Сколькихъ она и сама возила, и всегда жалѣла; а теперь, вотъ, до слезъ жалъ.

— Есть у нея паспортъ?—спросила она съемщицу.

— Есть, да давно просроченъ. Она—я вамъ докладывала—потаскушка...

— Мужъ есть?

— Какой мужъ!.. Съ ней и на Хитровомъ-то никто жить не станетъ... Такъ пригуляла...

Съемщица все больше возмущала ее, но она еще сильнѣе сдерживала себя.

— Куда же она ребенка?

— Извѣстно куда... подкинетъ... а то и до грѣха не долго...

И такая скверная усмѣшка прошла въ синеватому, скупому рту съемщицы, что у Марьи Трофимовны сдѣлалось что-то въ родѣ дрожи. Этого младенца, ея повитого и принятаго, ея, нѣкоторымъ родомъ, дѣтище, забросать

на дровяной дворъ или въ помойную яму!.. И несчаст-
ненькую побирушку поймають, судить будутъ, сошлютъ,
а если и оправдають, такъ не спасутъ ребенка... Всѣ-то
одинъ въ немъ какой!.. И крикнулъ какъ славно!..

Она подумала, и, когда мать обернулась къ ней ли-
цомъ, спросила ее:

— Ты, голубчикъ, въ воспитательный дитя-то свезти
хочешь?

Та поглядѣла на нее посоловѣлыми глазами и просто-
нала:

— Куды ище... Не знаю я...

— Да куда же инъ? — окликнула ее съемщица черезъ
всю комнату.

— Я возьму! — вырвалось у Марьи Трофимовны звонко,
радостно.

Всѣ такъ же притихли, какъ и предъ приходомъ по-
лиціи, а это былъ часъ сборовъ.

— Да, да! — говорила Евсѣева, качая ребенка и дѣлая
ему губами смѣшливую мину. — Выкормимъ тебя, бутузъ,
кормилку возьмемъ!

И ее наполнила увѣренность, что все будетъ такъ, какъ
она говоритъ; и вывернется она, напишетъ сейчасъ Пе-
реверзевой.

Какъ она о ней не подумала! Та ее возьметъ къ себѣ
въ помощницы и пришлетъ сюда бѣлую ассигнацію, за-
беретъ она этого „бутуза“, подыщетъ кормилку и станетъ
съ нимъ нянчиться еще сильнѣе, чѣмъ нянчилась съ
Марусей... И Маруся прибѣжитъ... У нея тоже можетъ
быть ребеночекъ, какъ и у этой побирушки... Она и его
приметь, и повивать будетъ, и выведетъ въ люди!..

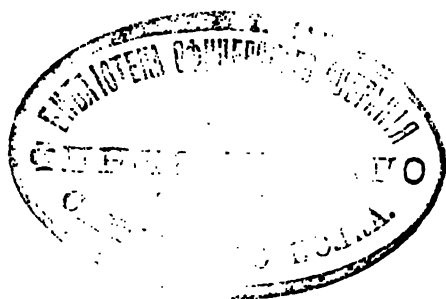
Чего же ей? И такъ пойдетъ до самой смерти, до по-
слѣдняго издыханія...

Утро заглянуло въ окно ночлежной и обволокло свѣт-
лой целеной и бабушку-повитуху, и ея пріемнаго сына.



Оглавление II тома.

	стр.
Безъ мужей. Повѣсть	3
Псарня. Очеркъ	122
Умереть—уснуть... Разсказъ	164
Пристронлся. Повѣсть	199
Безвѣстная. Разсказъ	270



Изданія А. Ф. МАРКСА, СПБ., Малая Морская, 22.

НОВОЕ, 2-ое ИЗДАНИЕ, въ 12-ти ТОМАХЪ,

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛЪСКОВА.

Съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложениемъ пяти портретовъ Н. С. Лѣскова и снимка съ его рабочаго кабинета, гравиров. на стали у Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ.

Второе изданіе состоитъ изъ двѣнадцати объемистыхъ томовъ, заключающихъ въ себѣ: т. I LVI+516 страницъ, т. II 519 стр., т. III 561 стр., т. IV 513 стр., т. V 609 стр., т. VI 513 стр., т. VII 575 стр., т. VIII 575 стр., т. IX 405 стр., т. X 507 стр., т. XI 469 стр., т. XII 468 стр.—всего LVI+8646 страницъ. Въ эти 12 томовъ вошли всѣ сочиненія Н. О. Лѣскова, помѣщенные какъ въ первыхъ десяти томахъ перваго изданія, такъ и въ двухъ дополнительныхъ XI и XII томахъ, и такимъ образомъ оно явилось первымъ по полнотѣ собраніемъ соч. Н. С. Лѣскова. Изданіе отпечатано очень изящно, на хорошей бумагѣ, красивыми, четкими шрифтами.

Цѣна полному собранію соч. Н. С. Лѣскова въ 12 томахъ 15 р., съ перес. 12 р., а въ переплетѣхъ 20 р., съ пересылкою 23 руб.

Цѣна каждому тому отдѣльно, безъ переплета, 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СТИХОТВОРЕНІЙ

Я. П. ПОЛОНСКАГО.

Новое изданіе въ пяти томахъ,

вновь пересмотрѣнное и очень значительно дополненное, съ приложеніемъ двухъ портретовъ Я. П. Полонскаго (въ юношескомъ возрастѣ и въ послѣднемъ снимкѣ), гравированныхъ на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

Собраніе стихотвореній Я. П. Полонскаго, вошедшее въ составъ полнаго собранія его сочиненій изданія 1885—86 гг., совершенно распродано и, составляя біографическую рѣдкость, продавалось въ послѣдніе годы по 20 руб. и дороже.

Новое изданіе отпечатано на превосходной бумагѣ красивыми, четкими шрифтами.

Цѣна всѣмъ 5-ти томамъ 6 руб., съ перес. 7 руб. 50 коп.; въ 5-ти роскошныхъ коленкоровыхъ переплетѣхъ 8 руб. 50 коп., съ перес. 10 руб. 50 коп.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. Н. МАЙКОВА.

Шестое изданіе, вновь пересмотрѣнное и дополненное авторомъ, въ трехъ томахъ, съ автографомъ и портретомъ А. Н. Майкова, гравированными на стали Ф. А. Брокгаузомъ.

Шестое изданіе представляетъ собою самое полное собраніе сочиненій А. Н. Майкова. Въ это шестое изданіе вошли всѣ произведенія автора, — какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ, — прежняго 5 изданія 1885 г.; напечатаны всѣ позднѣйшія произведенія автора, печатавшаяся съ 1888 г. до 1893 г. включительно, и, кромѣ того, стихотворенія, еще нигдѣ не напечатанныя.

Шестое изданіе состоитъ изъ 3 большихъ томовъ, 1672 стр., и отпечатано на лучшей бумагѣ красивыми, четкими шрифтами.

Ученнымъ Комитетомъ Министертства Народнаго Пресвѣщенія 6-е изданіе „Полнаго собранія сочиненій“ А. Н. Майкова рекомендовано для фундаментальныхъ и университетскихъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а также для выдѣли, при выпускахъ, въ награду ученикамъ мужскихъ среднихъ заведеній, окончивающимъ въ оныхъ курсъ.

Цѣна за всѣ три тома 3 руб., съ пересылкою 3 р. 60 к. Въ трехъ роскошныхъ коленкоровыхъ переплетѣхъ 4 р. 50 к., съ пересылкою 5 р. 60 к.

Требованія адресовать: въ контору изданій А. Ф. Маркса, СПБ. Мал. Морская, № 22.



Stanford University Libraries



3 6105 009 633 384

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

--	--

